

ГАНС ЯКОБ КРИСТОФ
ГРИММЕЛЬСГАУЗЕН



СИМПЛИЦИССИМУС

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



H. J. CHR. v. GRIMMELSHAUSEN

Der abenteuerliche
SIMPLICISSIMUS



ГАНС ЯКОБ КРИСТОФ
ГРИММЕЛЬСГАУЗЕН



СИМПЛИЦИССИМУС



ИЗДАНИЕ ПОДГОТОВИЛ
АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО « НАУКА »
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД
1 9 6 7

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
„ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ“

Академики: *Н. И. Конрад* (председатель), *М. П. Алексеев*,
В. В. Виноградов, *В. М. Жирмунский*, *С. Д. Сказкин*,
члены-корреспонденты АН СССР: *И. И. Анисимов*, *Д. Д. Благой*,
Д. С. Лихачев, *А. М. Самсонов*,
член-корреспондент АН Таджикской ССР *И. С. Брагинский*,
доктора филологических наук: *А. А. Елистратова*, *Ю. Г. Оксман*,
доктор исторических наук *С. Л. Утченко*,
кандидат филологических наук *Н. И. Балашов*,
кандидат исторических наук *Д. В. Ознобишин* (ученый секретарь)

Перевод *А. А. МОРОЗОВА* (кн. I—V) и
Э. Г. МОРОЗОВОЙ (кн. VI и прибавления)

Статья и примечания
А. А. МОРОЗОВА

Ответственный редактор
доктор филологических наук
А. В. ФЕДОРОВ

Вновь наилучшим образом упорядоченный
и повсюду многожды исправленный

**ЗАТЕЙЛИВЫЙ
СИМПАЦИУС
СИМПАЦИССИМУС**

То есть:

Пространное, невымышленное
и весьма приснопамятное

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

некоего простосовестного, диковинного
и редкостного бродяги или ваганта по имени

*Мельхиор Штернфельс фон Фуксхейм,
как, где, когда и коим именно образом явился он в мир, как он в нем
поступал, что видел примечания достойного, чему научился и чем зани-
мался, какие и где испытал опасности для жизни и телесного здоровья,
а также чего ради, по доброй своей воле и никем к тому не понуждаем, пре-
зрел сей мир. Особливо приятное и отдохновительное, а также*

*Весьма полезное
и глубокомысленное чтение*

С предисловием, 20 изрядными гравюрами на меди
и тремя Continuationes

Издав:

ГЕРМАН ШЛЕЙФХЕЙМ
ФОН ЗУЛЬСФОРТ

Мне по душе добро творить,
Со смехом правду говорить.

МОМПЕЛЬГАРТ

НАПЕЧАТАНО ТИПОГРАФСКИМ ТИСНЕНИЕМ
У ИОАННА ФИЛИОНА В НЮРНБЕРГЕ,
А В ПРОДАЖЕ НАХОДИТСЯ У В. Э. ФЕЛЬСЕКЕРА

1 6 7 1

Как Феникс, рожден я из пламени был.
Я ввысь воспарял, но себя не сгубил,
Бродил я по странам, в морях я бывал,
Отрады в скитаниях мало знавал,
О том же, что делалось в жизни моей,
Поведал читателю в книжице сей.
Пусть в жизни он следует ныне за мной:
Бежит неразумья, вкушает покой.



Фронтиспис «Немецкого Симплициссимуса» (1669).
Экземпляр ГПБ.

*Благорасположенное
напоминовение
доброхотным читателям!*

Высокочтимые, благосклонные, предорогие
и любезные соотечественники!

Сим издается в свет совершенно новым набором и тиснением мое утешно-занимательное и весьма глубокомысленное *Жизнеописание*, украшенное изрядными гравюрами на меди, изготовленными по моей инвенции,¹ а также моего батьки, матки,² Урселе и сына Симплиция, к чему понуждает меня дерзкий и поистине наглый перепечатник, который, уж не ведаю, по зависти ли себялюбивого сердца или, как мне скорее кажется, по бесстыдному подстрекательству неких недоброхотов, вознамерился пренаглым образом вырвать из рук и совершенно незаконно присвоить себе высокопохвальные труды, издержки, прилежание и усердие моего господина издателя, употребленные на добропорядочное и благопристойное издание сего моего сочиненьица, ему одному только порученного и переданного со всею проистекающею из сего прибылью. Такое бесчинное предприятие, когда я о нем уведомился, повергло меня в пружестокую опасную болезнь, от коей я и по сей день не оправился. Однако ж велел я возлюбленному моему сыну Симплицию составить вместо меня и разослать любезным моим соотечественникам, а также довести до слуха Юстиции трактатец, на титуле коего обозначено:

**ЗАПУСКАЮЩЕМУ ЛАПЫ В ЧУЖОЕ ДОБРО БЕЗЗАКОННИКУ
ПО ПРАВУ ОБРЕЗАННЫЕ КОГТИ³**

Надеюсь, что сие сочиненьице будет вам не докучливо, ибо в нем содржатся такие асана,⁴ которые дают в руки превосходное средство сохранить свое добро в надежном покое и приятной безопасности. Меж тем

пусть сие издание моей книги, на коем обозначено имя моего издателя, будет предпочтено всем прочим; ибо другие экземпляры, кои выпущены противною стороною, я, не будь я Симплициссимусом, не только не признаю своими произведениями, но и стану их всячески преследовать до последнего дыхания и, где только ни увижу, велю пустить на обертку и не премину послать образчик господину Перетырщику. Впрочем же, не могу также не уведомить, что мой издатель с великим прилежанием и издержками намерен выпустить в свет мой «Вечный неизменный календарь», также многие другие презанимательные сочинения, как-то: «Черное и белое, или Сатирический Пильграм», «Побродяжка Кураже», «Затейливый Шпрингинсфельд», «Целомудренный Иосиф и его верный слуга Музаи», приятная для чтения «Любовная гистория и жизнеописание Дитвальда и Амелинды» и еще «Двугла́вый Ratio status»,⁵ за коими в будущем должна последовать, ежели я и сын мой Симплиций будем живы, небольшая ежегодная настольная книга или календарь в кварту, содержащий Continuatio, сиречь продолжение моих диковинных приключений, дабы оказать вам, любезные соотечественники, некоторое удовольствие. А буде объявится наглый и охочий до чужого добра мошенник, который вознамерится и сие перепечатывать и присваивать, то я учиню ему такую баню или отместку, что он до конца дней своих не забудет Симплициссимуса. И сие, прошу вас, господа соотечественники, где бы вы ни пребывали, не оставлять без внимания. Я же, напротив, служу вам, чем только могу и умею, и остаюсь

Вашим покорным слугою

Симплициус Симплициссимус.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОЙ ГЛАВЫ СЕЙ ПЕРВОЙ КНИГИ

- 1-я гл. Симплиций толкует о знатном роде,
Понеже давно он славен в народе.
- 2-я гл. Симплиций пастушеский сан приемлет,
Сей же никто у него не отъемлет.
- 3-я гл. Симплиций дудит на волынке пузатой,
Покуда его не схватили солдаты.
- 4-я гл. Симплициев дом — солдатам награда,
Нигде их разбою не видно преграды.
- 5-я гл. Симплиций в лесу, что малая птаха,
Колотится сердце его от страха.
- 6-я гл. Симплиций в лесу отшельника слышит,
Повергся в ужас, сам еле дышит.
- 7-я гл. Симплиций находит себе кров и пищу,
С отшельником вместе живет, словно нищий.
- 8-я гл. Симплиций в беседе с отшельником сразу
Выводит наружу дурацкий свой разум.
- 9-я гл. Симплиций становится христианином,
А жил он доселе скотина скотиной.
- 10-я гл. Симплиций писать и читать обучен,
В мыслях с пустыней вовек неразлучен.
- 11-я гл. Симплиция повесть о жизни в пустыне,
Что им служило столом и периной.
- 12-я гл. Симплиций смерть зрит, какую бывает,
Отшельника тело в земле погребает.

- 13-я гл. Симплициус хочет пустыню покинуть,
Где ему привелось едва не погинуть.
- 14-я гл. Симплиций видит, как солдаты-черти
Пятерых мужиков запытали до смерти.
- 15-я гл. Симплиций уснул, не насытивши чрева,
Зрит в сонном виденьи пречудное древо.
- 16-я гл. Симплициус грезит о солдатской доле,
Где младший у старших всегда под неволей.
- 17-я гл. Симплиций не может взять себе в толк,
Чего ради охотно дворян берут в полк.
- 18-я гл. Симплиций в лесу письмоцо обретает,
Пустыню затем не к добру покидает.
- 19-я гл. Симплициус ищет лучшую долю,
А сам попадает в злую неволю.
- 20-я гл. Симплиций понуро шагает в тюрьму,
По счастью священник попался ему.
- 21-я гл. Симплициус после тяжких невзгод
Нечаянно зажил средь важных господ.
- 22-я гл. Симплициус слышит, как после сраженья
Отшельник в пустыне обрел утешенье.
- 23-я гл. Симплициус жизнь начинает наново,
Становится пажем у коменданта в Ганау.
- 24-я гл. Симплиций казнит беззаконие мира,
Где каждый избрал себе злого кумира.
- 25-я гл. Симплиций не может в злом мире ужиться.
А мир сердито на него косится.
- 26-я гл. Симплиций взирает ребяческим оком,
Каким солдаты подпали порокам.
- 27-я гл. Симплиций зрит, как крапивное семя
Добро наживает в недоброе время.
- 28-я гл. Симплиций в гаданье теряет кураж,
Его надувает проказливый паж.
- 29-я гл. Симплиций, соблазном смущен, ненароком
Проворно съедает телячье око.

-
- 30-я гл. Симплиций впервой зрит пьяных солдат,
Вздурились за чаркой, сам черт им не брат.
- 31-я гл. Симплициус ставит на пробу кунштюк,
Едва тут ему не случился каюк.
- 32-я гл. Симплициус зрит: на пиру кавалеры
Священника потчуют сверх всякой меры.
- 33-я гл. Симплиций относит на кухню лисицу
С приказом сготовить на ужин с корицей.
- 34-я гл. Симплиций на странных танцоров дивится,
От страху в глазах у него все двоится.



ЗАТЕЙЛИВЫЙ СИМПЛИЦИССИМУС

КНИГА ПЕРВАЯ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

*Симплиций толкует о знатном роде,
Понеже давно он славен в народе.*

В наше время (когда толкуют, что близится конец света) нашло на людей подлого звания поветрие, при коем страждущие от него, коль скоро им удастся нагребастать и набарышничать толико, что они, помимо немногих геллеров в мошне, обзаведутся еще шутовским платьем по новой моде с шелковыми лентами на тысячу ладов или же иным каким случаем прославятся и войдут в честь, тотчас же восхотят они объявить себя господами рыцарского сословия и людьми благородного состояния предвенежного роду; а как частенько оказывается и прилежными поисками подтверждение находит, деды-то их были трубочисты, поденщики, ломовики и носильщики, двоюродные их братья погонщики ослов, фокусники, фигляры и канатные плясуны, братья — палачи и сыщики, сестры — швей, прачки, метельщицы, а то и потаскушки, матери — сводницы или даже ведьмы и, одним словом, весь совокупный род их в 32 предка столь загажен и обесчещен, сколь это повсегда лишь цеху сахароваров¹ в Праге быть возможно; да и сами они, новоиспеченные эти дворяне, нередко столь черны, как если бы они родились в Гвинее и воспитаны там были.

Я не хочу вовсе уподобить себя таким шутовским людям и, хотя не скрою правды, сам не без того, и частенько мнил, что беспрременно происхожу от некоего вельможного барина или по крайности от простого дворянина, ибо от природы питаю склонность к дворянскому ремеслу, — будь у меня на то достаток и снаряжение. Однако ж мое происхождение и воспитание не шутя можно сравнить и с княжеским, ежели не пожелать

усмотреть в них великое различие. Чего? У моего батьки (ибо так зовут отцов в Шпессерте) был собственный дворец, такой же как и у прочих, притом красивый, какого ни один царь в свете, будь он еще более могуществен, чем великий Александр, не сумеет построить, своими руками, и на веки вечные от того удержится; оный дворец был расписан глиною и за-место бесплодного шифера, холодного свинца и красной меди покрыт соломою от благородных злаков; и дабы он, мой батька, своим высоко-чтимым и знатным родом, от самого Адама ведущимся, и своим богат-ством достойно мог величаться, повелел он воздвигнуть вокруг замка стены, да не из камня, что находят на дороге или выкапывают из земли в бесплодных местах, а тем паче не из тех беспутных печеных камней, кои в короткое время изготовлены и обожжены быть могут, как это в обычае у иных важных господ; вместо того взял он бревна от дуба, каковое полезное и благородное дерево (ибо на нем произрастают окорока и колбасы), чтобы прийти в совершенный возраст, требует не менее ста лет. Найдите монарха, который тако же поступил бы! Найдите венценосца, который возмечтал бы сие в дело произвести! Батька мой повелел все комнаты, залы и покои почернить дымом того только ради, что то— самая неотменная краска в мире и подобная роспись более времени для своего исполнения требует, нежели искусный живописец для изряднейших своих картин. Обои там были самой тонкой на земле ткани, ибо та, кто ее нам изготовила, в древности осмелилась с Минервой самой в прядении состязаться.² Окошки там были посвящены святому Николу Бесстеколь-ному,³ не по иной какой причине, кроме той, что ему было ведомо, сколько труда и времени положить надобно на совершенное изготовление такого из конопли, либо льняного семени,⁴ — много более, нежели на самое лучшее и прозрачное стекло из Мурано,⁵ ибо достоинство батьки позволяло ему полагать, что все великим трудом добытое, потому именно и великую цену имеет и тем дороже бывает, а то, что дорого знатным людям, более всего приличествует и сходство с ними во всем являет. Вместо пажей, лакеев и конюхов были от него поставлены овцы, козлы и свиньи, весьма искусно наряженные в подобающую им природную ливрею; они частенько услу-жали мне на пастбище, пока я, утружденный их службой, не отошлю их от себя и не загоню домой. Оружейная палата, или арсенал, вдосталь и наилучшим образом снабжена была плугами, кирками, мотыгами, топо-рами, лопатами, навозными и санными вилами, с каковым оружием батька мой каждодневные упражнения имел. Лес валить и корчевать — вот в чем была его *disciplina militaris*,⁶ как у древних римлян в мирные времена; во-лы в упряжке составляли его команду, над которой он был капитаном, выво-зить навоз было его фортификацией, а пахотьба его походом, рубка дров каждодневным *exercitio corporis*,⁷ подобно тому как очистка хлева благо-родной забавой и турниром.⁸ Сим образом ратоборствовал он со всей землей, сколько мог ее захватить, и каждой жатвой отбивал у нее богатую

добычу. Все сие оставляю и нисколько тем превознести себя не хочу, дабы никто не имел причины осмеять меня и иных, подобных мне, из новой той знати, ибо я почитаю себя не выше моего батьки, коего помянутое жилище стояло на веселом месте, т. е. в Шпессерте, где по ночам подвывают волки: «Покойной ночи!». Ради любезной мне краткости не объявил я еще о присхождении, родословии и прозвании моего батьки, наипаче же потому, что тут и без того не идет речь о дворянском установлении, которое я должен был бы подтвердить под присягою; довольно, когда знают, что я родом из Шпессерта!

Как во всем домоустройстве моего батьки благородство весьма приметно было, то всякий разумеющий отсюда легко заключить может, что и мое воспитание тому сходствовало и подобало; и, кто так рассудит, тот не ошибется, ибо в десять лет я уже постиг помянутые *principia*⁹ благородных батькиных упражнений. Зато в обучении наукам я шел наравне с прославленным Амплистидом,¹⁰ о ком говорит Свида,¹¹ что он не умел сосчитать дальше пяти; но, как видно, батька обладал чрезмерным умом и того ради последовал употребительному обычаю нынешнего времени, по коему многие знатные господа не утруждают себя учеными упражнениями, или как они то называют школьной дуростью, ибо держат пачкунов, которые марают за них бумагу. Впрочем, я изредка игрывал на волынке жалостные песни Ялема,¹² в чем не уступал и славному Орфею, и как тот отличился на арфе, так и я преуспевал перед всеми чрез свою игру на волынке. А что касается до теологии, то во всем христианском мире не сыскалось бы тогда другого, который в моем возрасте со мной поравняться бы в ней мог, в том меня не переспоришь; ибо не было у меня тогда понятия ни о боге, ни о людях, ни о небе, ни о преисподней, ни об ангелах, ни о чертях, и я не знал, как отличить добро от зла. Посему нетрудно усмотреть, что с помощью такого богословского образования жил я, как прародители в раю, кои в своей беспорочности не знали о болезнях, смертном одре и смерти и еще того меньше о воскресении из мертвых. О сколь господское житие (прескотское, мог бы ты воскликнуть),¹³ когда не надо заботиться о медицине! Тем же родом можно уразуметь, сколь превосходен был мой опыт в *studio legum*¹⁴ и других искусствах и науках, какие только есть на земле. И я пребывал в столь полном и совершенном неведении, что не мог постичь даже того, что ничего не знаю.¹⁵ И еще раз скажу: «О сколь господское житие было тогда моим уделом!». Но батьке моему не было угодно оставить меня наслаждаться сим благополучием, и он по справедливости рассудил, что сообразно с моим благородным рождением подобает мне жить и поступать также благородно; для того и стал он привлекать меня к постижению высоких предметов и задавать мне нелегкие уроки.

ВТОРАЯ ГЛАВА

*Симплиций пастушеский сан приемлет,
Сей же никто у него не отъемлет.*

Он даровал мне высокий сан, который учрежден не только при его дворе, но и во всем мире, т. е. древнее достоинство пастуха. Первым делом он вверил мне свиней, затем коз и напоследок все стадо овец, дабы я их стерег, пас и охранял от волков с помощью волюнки (звук которой, по словам Страбона,¹ сам по себе понуждает жиреть овец и ягнят в Аравии); в те времена походил я на Давида, разве только что у него вместо волюнки была всего лишь арфа; сие нехудое начало было добрым предзнаменованием, что со временем и я, ежели подвернется счастье, прославлюсь на весь мир. Ибо от сотворения мира пастухами бывали знатные особы, как мы сами читали в Священном писании² про Авеля, Авраама, Исаака. Иакова, его сыновей и Моисея, который стерег овец тестя до того, как стал предводителем и законодателем 600 000 мужей Израиля. Да, может статься, кто захочет меня упрекнуть, что то-де были святые праотцы, а не деревенский мальчишка из Шпессерта, который даже ничего не слышал о боге. Должен признать это и не стану заперяться; но разве тогдашняя моя простота в том повинна? И среди древних язычников находят такие примеры, как и у народа, избранного богом: так, из римлян, нет сомнения, принадлежали к знатым родам — Бубульки, Статилии, Помпонии, Витуплии, Вителии, Аннии, Капери и др.,³ кои все так наречены были, потому что ходили за скотиною, а может статься, и пасли ее. Право, Ромул и Рем и те были пастухами;⁴ пастухом был Спартак, столь ужасавший владык Рима. Чего? Сын царя Приама Парис и Анхис, отец Троянского князя Энея, были пастухами, как о том говорит Лукиан в «Dialogus Helenae».⁵ Пастухом был и прекрасный Эндимион,⁶ к коему вождела сама непорочная луна, также и свирепый Полифем,⁷ да и сами боги, как говорит Форнутус,⁸ не стыдились этого занятия. Аполлон стерег коров Адмета, царя Фессалии.⁹ Меркурий, его сын Дафний,¹⁰ Пан и Протей¹¹ были изрядными пастухами, того ради до сего дня в устах безрассудных поэтов они именуется покровителями пастухов; пастухом был Меза, царь моавитян,¹² о чем можно прочесть во второй книге царств, Кир, могущественный царь персов, не только был воспитан Митридатом, но и сам пас скот. Гигес¹³ был пастухом и с помощью своего перстня стал царем. Исмаил Сефи, персидский шах,¹⁴ также в юности своей пас скот; так, Филон Иудей¹⁵ изрядно о том судит в «Vita Moysis»,¹⁶ когда говорит: «Пастушество приуготовляет к принятию власти; ибо как bellicosa et martialia ingenia¹⁷ прежде упражняются и совершенствуются на охоте, так должно и тех, кому вручена будет власть, сперва наставить, как пасти с миром

скот». Батька мой должным образом уразумел все сие, ибо имел он изрядный capitoлиум на плечах и весьма пронциательный ум, того ради вперил он в меня немалую и до сего часа не оставившую меня надежду на будущее величие.

Однако ж, возвращаясь к моему стаду,¹⁸ пусть будет ведомо, что волков я знал столь же мало, как и свою простоту: того ради батька мой в своих наставлениях весьма прилежен был. Он сказал: «Малой, держи ухо-то востро, смотри за овцами-то, чтоб не разбежались, играй веселей на волынке, а не то набежит волк да натворит бед, то такой четвероногий плут и вор, жрет людей и скот, а коли ты не досмотришь, то я тебя отдую». Я ответил ему с тою же приятностию: «Батько, скажи-ко, какой такой волк-то, волка-то я еще никогда не видывал». «Ах, ты, дурень глупый, — отвечивал он, — дураком проживешь, дураком помрешь, диву даешься, что с тобой станется, вырос большою орясиною, а того не знаешь, что за плут о четырех ногах, волк-то».

Также преподавал он мне иные многие наставления и под конец возмутился духом, поелику ушел с неким ворчанием, полагая, что мой простой и неотесанный ум еще не довольно вылощен и не может постичь столь субтильных наставлений и еще к тому не способен.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

*Симплиций дудит на волынке пузатой,
Покуда его не схватили солдаты.*

Тут зачал я на своей волынке так всех потчевать, что на огороде жабы могли передохнуть, так что от волка, кой не выходил у меня из ума, мнил я себя в совершенной безопасности; и тем временем вспомнилась мне матка (ибо так зовут матерей в Шпессерте и Фогельсберге¹), как она частенько говаривала: ей забота, как бы куры от моего пения не попередохли, и было мне любо петь, дабы remedium² против волков имел еще большую силу и притом пел я ту самую песню, какую я перенял от матки:

Презрен от всех мужичий род,³
Однако ж кормит весь народ.
Достоин ты премногих хвал
Для всех, кто истину познал.
Когда б Адам пахать не стал,
То б целый свет жить перестал.
С мотыгой землю он прошел,
Чтоб следом князь на трон взошел.
Все, что земля приносит нам,

Возделал ты, презренный хам!
Тобою жатва собрана,
Которой кормится страна.
И даже царь, что богом дан,
Прожить не может без крестьян.
Твой хлеб мужицкий ест солдат,
Хоть от него тебе наклад.
Вино для барского стола
Земля трудом твоим дала.
Земля приносит все плоды,
Когда рожать понудишь ты!
Весь свет давным давно б поник,
Когда б не жил на нем мужик.
Пустыней стала бы земля,
Когда бы не рука твоя.
А посеми тебе и честь,
Зане даешь ты всем нам есть.
Натурой ты исполнен сил
И бог тебя благословил.
Подагра, что дворян разит,
Ногам мужицким не грозит.⁴
Что в гроб низводит богачей,
То не мрачит твоих очей.
А чтоб тебя не ела спесь,
С начала века и до днесь —
Тебе ниспослан тяжкий крест
Нести до самых горних мест.
Твое добро берет солдат
Тебе ж на благо — будь же рад.
Тебя он должен грабить, жечь,
Дабы от чванства уберець...

До сих пор и не долее продолжал я сие сладостное пение, ибо в тот миг окружил меня и мое стадо отряд кирасир, которые заплутались в ча-стом лесу, а моя музыка и пастушеские клики вывели их на правильный путь. «Ого, — подумал я, — так вот они голубчики! Так вот они четверо-ногие плуты и воры, о которых говорил тебе батька», ибо сперва почел я коня и мужа за единую тварь (подобно тому как жители Америки испан-ских всадников) и полагал, что то не иначе, как волки, того ради захотел я ужаснейших сих кентавров⁵ протурить и от них избавиться. Но едва успел я надуть мех своей волынки, как один из них поймал меня за ши-ворот и столь жестоко швырнул на крестьянскую лошадь, которая вместе с другими многими досталась им в добычу, что я перекинулся через нее и упал прямо на милую мою волынку, зачавшую тогда звать столь жа-лостно, как если бы она хотела пробудить весь свет к милосердию; но было то напрасно, хотя и скорбела она о моем несчастье до последнего вздоха, — видит бог, я принужден был снова взгромоздиться на лошадь, чего бы там моя волынка ни пела и ни сказывала; а всего более досаждало мне, что всадники уверяли, будто я в падении зашиб волынку, того ради

она так безбожно и завопила. И так, кляча моя везла меня вперед равномерной как *grimst mobile*⁶ рысью до самого батькиного двора.

Диковинные воображения и тарабарские вздоры наполнили ум мой, ибо понеже я восседал на таком звере, какого отродясь не видывал, а тех, что меня увозили, почел за железных, то возомнил, что и сам я в подобного железного детину метаморфизироваться должен. Но понеже такого превращения не последовало, то взбрелись мне на ум иные дурачества: я полагал, что сии чужие гости напоследок только для того лишь явились, чтобы помочь мне загнать домой овец, поелику ни единую из тех овец они не пожрали, а, напротив того, в совершенном согласии и прямой дорогой поспешили ко двору моего батьки. Того ради оглядывался я весьма прилежно, высматривая моего батьку, не пожелают ли он и matka тотчас выйти нам навстречу с приветливым словом; но тщетно, он и matka моя, вместе с ними Урселе, которая была единственной возлюбленной дочерью моего батьки, сбежали через заднюю калитку, дали тягу и не захотели тех беспутных гостей ожидать.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

*Симплициев дом — солдатам награда,
Нигде их разбою не видно прѣграда.*

Хотя и не расположен я вести миролюбивого читателя вслед за той бездельнической ватагой в дом и усадьбу моего батьки, ибо там случится много худого, однако ж добрый порядок моей повести, которую оставляю я любезному потомству, того требует, чтобы поведал я, какие мерзкие и поистине неслыханные свирепости чинились повсюду в нашу немецкую войну, и особливо своим собственным примером свидетельствовал, что таковые напасти часто ниспосланы нам благостным провидением всевышнего и претворены нам же на пользу. Ибо, любезный читатель, кто бы сказал мне, что есть на небе бог, когда бы войны не разорили дом моего батьки и через такое пленение не принудили меня пойти к людям, кои преподали мне надлежащее наставление? До того мнил я и не мог вообразить себе иначе, что мой батька, matka, Урселе и прочая домашняя челядь только и живут одни на земле, понеже иного какого человека я не видывал и о другом человеческом жилье, кроме описанной перед тем шляхетской резиденции, где я тогда дневал и ночевал, не ведал.

Но вскорости узнал я, каково происхождение людей на сем свете, что нет у них постоянного пристанища, а весьма часто, прежде всякого чаяния, принуждены они идти прочь; был я тогда только по образу своему человек и по имени христианин, а в остальном совершенно скот. Од-

нако ж всевышний, взирая милостивым оком на мою простоту, пожелала привести меня вместе к познанию его и самого себя. И хотя были у него к тому тысячи различных путей, нет сомнения, восхотел избрать тот, на коем батька мой и матка в назидание другим за нерадивое воспитание должным образом наказаны будут.

Первое, что учинили и предприняли те всадники в расписанных копотью покоях моего батьки, было то, что они поставили там лошадей; после чего всяк приступил к особливым трудам, кои все означали сущую погибель и разорение. Ибо в то время как некоторые из них принялись бить скотину, варить и жарить, так что казалось, будто готовится здесь веселая пирушка, другие свирепствовали во всем доме и перешарили его сверху донизу, так что не пощадили даже укромный покой, как если бы там было сокрыто само золотое руно Колхиды. Другие увязывали в большие узлы сукна, платья и всяческую рухлядь, как если бы они собирались открыть ветошный ряд, а что они не положили взять с собою, то разламывали и разоряли до основания; иные кололи шпагами стога соломы и сена, как будто мало им было переколоть овец и свиней; иные вытряхивали пух из перин и совали туда сало, сушеное мясо, а также утварь, как будто оттого будет мягче спать. Другие сокрушали окна и печи, как если бы их приход возвещал нескончаемое лето; сминали медную и оловянную посуду, после чего укладывали ее погнутой и покореженной; кровати, столы, стулья и скамьи они все пожгли, хотя на дворе лежало сухих дров довольно. Напоследок побили все горшки и миски, либо оттого, что с большей охотой ели они жаркое, либо намеревались тут всего один раз оттрапезовать.

Со служанкой нашей в хлеву поступили таким родом, что она не могла уже оттуда выйти, о чем, по правде, и объявлять зазорно. А работника они связали и положили на землю, всунули ему в рот деревянную пялю, да влили ему в глотку полный подойник гнусной навозной жижи, кою называли они шведский напиток,¹ что, однако ж, не пришло ему по вкусу и произвело на лице его удивительные кривляния, через то принудили они его свезти некоторых из них в иное место, где они взяли людей и скот и пригнали на наш двор, а были там посреди других мой батька, моя матка и наша Урселе.

Тут стали они отвинчивать кремни от пистолетов и на их место ввертывать пальцы мужиков и так пытали бедняг, как если бы они хотели сжечь ведьму, понеже одного из тех пойманных мужиков уже засовали в печь и развели под ним огонь, хотя он им еще ни в чем не признался. Другому обвязали они голову веревкой и так зачали крутить палкой ту веревку, что у него изо рта, носа и ушей кровь захлестала. Одним словом, у каждого из них была своя хитрость, как мучить крестьян, и каждый мужик имел свою отличную от других муку. Однако ж батька, по тогдашнему моему разумению, был всех счастливее, понеже он смеючись призна-

вался во всем, что иные принуждены были сказать с болью и жалостливыми воплями, и такая честь случилась ему, нет сомнения, для того, что он был хозяин, ибо они связали его по рукам и ногам так, что он не мог пошевелиться, посадили к огню и натерли ему подошвы мокрой солью, а наша старая коза ее тотчас же слизывала, через что происходило щекотание, так что он, казалось, мог лопнуть со смеху. Сие показалось мне столь приятным и любезным (понеже я моего батьку в таком долгом смехе никогда не видывал и не слыхивал), так что и я ради доброго кумпанства, либо оттого, что не слишком много разумел, принужден был от всего сердца рассмеяться. С тем смехом признал он свою вину и объявил сокровитное сокровище, где золота, жемчуга, драгоценных камней было больше, чем можно было надеяться сыскать у мужика. О захваченных женах, дочерях и служанках не могу особливо ничего сообщить, ибо воины не допускали меня смотреть, как они с ними поступали. Однако ж я довольно знаю, как инде в различных уголках были слышны ужасающие вопли, почитай что и моя матка и наша Урселе не избежали той общей участи. Посреди такого несчастья вертел я жаркое на роженке и ни о чем не заботился, ибо я еще всего того надлежащим образом не разумел; пополуно я помогал поить лошадей, каким средством и привелось мне попасть в хлев к нашей служанке, которая была диковинным образом вся растрепана; я не узнал ее, она же сказала мне хворым голосом: «Малой, удирай-ко отсюдова, а не то заберут тебя те всадники, норови как бы уйти, видишь, как тут худо». Сверх того не смогла она ничего сказать.

ПЯТАЯ ГЛАВА

*Симплиций в лесу, что малая птаха,
Колотится сердце его от страха.*

И тут только впервые размыслил я о том бедственном положении, какое предстало моему взору, и стал обдумывать, как бы это мне полвчее выкрутиться и удрать. А куда? Мой скудный ум не пришел мне на помощь. Однако ж к вечеру мне удалось сбежать в лес, а милую мою волюнку я не покинул даже в беде и крайности. А что ж теперь? Поелику дороги и лес столь же мало были мне знаемы, как и путь через Ледяное море от Новой Земли¹ до Китая; непроглядная ночь укрыла меня, оберегая от опасности, но, по моему темному разумению, она не была достаточно темною; а посему схоронился я в чаще кустарников, куда доносились до меня возгласы пытаемых крестьян и пение соловьев; каковые птички, не взирая на крестьян, коих тоже подчас зовут птицами, не дарили их со-

чувствием, и сладостное то пение не смолкало несчастья их ради; посему и я прилег на бок и безмятежно заснул. А едва утренняя звезда возжглась на востоке, увидел я дом батьки, охваченный пламенем, и не было никого, кто бы желал потушить пожар. Я отправился туда в надежде повстречать кого-либо с нашего двора, но тотчас же пять всадников заметили меня и закричали: «Беги сюда, малец, а то черт подери, пальцем так, что у тебя пар из глотки пойдет». Я же остолбенел и стоял, разинув рот, понеже не знал, что тем всадникам было надобно, и как я смотрел на них, ровно кот на новые ворота, однако ж они не могли перейти ко мне по болоту и, нет сомнения, были оттого в превеликой досаде, и тогда один из них разрядил в меня свой карабин; внезапный огонь и неожиданный треск, повторенный многократным эхом, стали оттого еще ужаснее, чем я так настрашался, понеже никогда ничего похожего не видывал и не слыхивал, что тотчас же упал на землю, растянулся во весь рост и не мог шелохнуться от страха; хотя всадники ускакали своей дорогой и, нет сомнения, почли меня за мертвого, во весь тот день я не собрался с духом, чтоб приподняться или часом оглядеться по сторонам. А когда снова застигла меня ночь, я встал и пошел лесом, покуда не приметил вдалеке мерцания гнилого дерева, отчего напал на меня новый страх; того ради я опрометью бросился назад и шел столь долго, покуда вновь не завидел мерцающие гнилушки, и так же обратился от них в бегство и подобным образом провел ночь, кидаясь туда и сюда от одного гнилого дерева до другого. Наконец любезное утро поспешило ко мне на помощь, повелев деревьям не смущать меня в его присутствии; однако ж от этого весьма мало было мне пользы, ибо сердце мое трепетало в великой тоске и робости, ноги подкашивались от ослабления, пустой желудок был набит голодом, рот полон жаждой, мозг дурацкими воображениями, а в глазах стоял сон.

Невзирая на то, я шел все вперед, однако ж не ведая куда. Чем глубже я заходил в лес, тем более удалялся от людей: тогда претерпел и почувствовал я (неприметно для себя) действия неразумия и неведения; и безрассудный зверь на моем месте скорее нашел бы, как ему надлежит поступить для сохранения жизни. Однако же я был столь смышлен, что когда ночь опять застигла меня, то залез в дупло, прилежно схоронил любезную мою волюнку и так приуготовил себя ко сну.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

*Симплиций в лесу отшельника слышит,
Повергся в ужас, сам еле дышит.*

Едва приуготовил я себя ко сну, достиг моего слуха глас: «О, неизреченная любовь к неблагодарным людям! О, единственная моя отрада, упование мое, сокровище мое и бог мой!», а также иные многие подобные тем слова, чего не мог я ни запомнить, ни уразуметь. Такие речи по справедливости должны были доброму христианина, который бы оказался в тех обстоятельствах, в коих я находился, ободрить, развеселить и утешить. Однако ж, о, простота и невежество! То был для меня дремучий лес и невразумительный язык, какого я не токмо не мог постичь, но и от такой его странности пришел в трепет. А когда услышал я, что говоривший сие утолит голод и жажду, надоумил меня нестерпимый голод и едва не ссохшийся от недостатка пищи желудок пригласить самого себя к столу; того ради собрался я с духом и отважился вылезти из дупла и приблизиться к тому гласу. Тут приметил я человека рослого, с предлинными черносерыми волосами, спадающими ниже плеч в великом беспорядке; борода у него всклокочена и кругла, почти как швейцарский сыр. Лик его изжелта-бледен и худ, однако ж довольно приятен; его долгий кафтан покрыт превеликим множеством различных заплат, насаженных одна на другую, а шея и стан обвиты тяжелой железной цепью ровно, как у святого Вильгельма,¹ впрочем, вид его в моих глазах был столь гнусен и устрашителен, что я задрожал, как мокрый пес. Но что умножило мой страх, так это распятие, примерно в шесть футов длины, которое прижимал он ко груди, и так как в уме своем не имел я о нем никакого понятия, то не мог иного возомнить, кроме того, что седой этот старик, нет сомнения, волк, о ком мне незадолго перед тем сказывал батька. В таком страхе выскочнул я из дупла с моей волянкой, кою, единственное мое любезное и многоценное сокровище, я спас от всадников; я задудел, подал голос и дал о себе знать весьма зычно, дабы ужасного сего волка прогнать; столь внезапной и необычной музыкой в таком диком месте пустынный поначалу немало был изумлен, нет сомнения, полагая, что явилось ему бесовское наваждение тревожить его и смущать в благочестивых помыслах, как то случалось с Антонием Великим.² Но едва пришел он в себя, тотчас же стал глумиться надо мной, как над своим искусителем, скрывшимся в дупле, куда я снова забрался; да и был тем утешен, что наступал на меня, насмехаясь над врагом рода человеческого. «Эй, эй, — говорил он, — да ты, добрый товарищ, подстать святым без божьего произволения», и много иного, чего я не мог уразуметь, ибо приближение его произвело во мне такой испуг и ужас, что я лишился всех чувств и поник без памяти.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

*Симплиций находит себе кров и пищу,
С отшельником вместе живет, словно нищий.*

Чьей помощью пришел я в себя, не знаю, но то верно, что, очнувшись, находился я уже не в дупле и голова моя лежала у старика на коленях, а ворот куртки был отстегнут. Когда я отудобел, то, видя пустытника в такой к себе близости, поднял немилосердный вопль, словно он в ту самую минуту собирался вырвать у меня из груди сердце. Он же, напротив, говорил: «Сын мой, молчи, я не причиню тебе зла, успокойся» и многое другое. Но, чем более утешал он меня и ласкал, тем отчаяннее я вопил: «О, ты сожрешь меня! Ты сожрешь меня! Ты волк и хочешь меня сожрать!». «Вестимо же нет, — сказал он, — успокойся, я не съем тебя». Подобное барахтанье и ужасающий вой продолжались еще долго, покуда я не дозволил отвести себя в хижину, где сама бедность была гофмейстером, голод поваром, а недостаток во всем кухмистером. Там желудок мой усладился овощами и глотком воды, а помраченный дух мой под утешительной лаской старца прояснился и воспрянул, того ради уступил я сладкому побуждению ко сну, отдавая долг натуре. Отшельник, приметя мою нужду, уступил мне свое место в хижине, ибо улечься там мог всего один человек. Около полуночи пробудился я и услышал следующую песнь, какой несколько времени спустя и сам научился:

Приди, друг ночи, соловей,¹
Утешь нас песнею своею!
Пой, милый, веселее!
Воспой творца на небесах,
Уснули птицы на древах,
Один ты всех бодрее!
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних богу!
Хоть солнца луч погас давно,
Но нам и ночью петь вольно,
И тьма нам не помеха!
Восславить бога средь щедрот
И им ниспосланных доброт —
Отрада и утеха.
Громкой трелью
Грянь над кельей, пой свирелью
Славу многу
Богу в небе, в вышних богу!
Пой нежно, как поют в раю,
Подхватит эхо песнь твою —
В ней неземная сладость.

Кто брэнной жизнью утомлен,
 Воспрянет, песнею взбодрен,
 И внидет в сердце радость!
 Громкой трелью
 Грянь над кельей, пой свирелью
 Славу многу
 Богу в небе, в вышних богу!
 Безмолвны звезды в небесах,
 Но ведом звездам божий страх —
 Во славу бога светят!
 В лесу сова в полночный час,
 Хвалы заслышав сладкий глас,
 Хоть воем, да ответит.
 Громкой трелью
 Грянь над кельей, пой свирелью
 Славу многу
 Богу в небе, в вышних богу!
 Так пой, любезный соловей!
 Баюкай песнею своей!
 Заснем мы сном блаженным!
 А поутру зари восход
 Отраду сердцу принесет
 В лесу преображенном!
 Громкой трелью
 Грянь над кельей, пой свирелью
 Славу многу
 Богу в небе, в вышних богу!

Среди такого продолжающегося пения поистине мнилось мне, как если бы соловей, также сова и далекое эхо соединились с ним в лад, и, когда бы мне довелось услышать утреннюю звезду или умел бы я передать ту мелодию на моей волынке, я ускользнул бы из хижины, дабы подкинуть и свою карту в игру, ибо гармония та казалась мне столь сладостной, но я заснул и пробудился не ранее того, как настал полный день и отшельник, стоя возле меня, говорил: «Вставай, малец, я дам тебе поесть и укажу путь из лесу, чтобы ты вышел к людям и до ночи пришел в ближнюю деревню». «А что за штука такая люди и деревня?». Он сказал: «Неужто ты никогда не бывал в деревне и даже не ведаешь о том, что такое люди или, иным словом, человеки?». «Нет, — сказал я, — нигде, как здесь, не был я, но ответь мне, однако, что такое люди, человеки и деревня?». «Милостив бог, — вскричал отшельник, — ты в уме или вздурился?». «Нет, — сказал я, — моей матки и моего батьки мальчонка, вот кто я и никакой я не Вуме и никакой я не Вдурился». Отшельник изумился тому со вздохом, осенил себя крестным знаменем и сказал: «Добро! Любезное дитя, по воле божьей решил я наставить тебя лучшему разумению». Засим начались вопросы и ответы, как то откроется в следующей главе.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

*Симплиций в беседе с отшельником сразу
Выводит наружу дурацкий свой разум.*

Отшельник: Как зовут тебя?

Симплиций: Меня зовут мальчонка.

Отш.: Я и впрямь вижу, что ты не девочка, а как звали тебя родителей?

Симпл.: А у меня не было родителей!

Отш.: А кто же тогда дал тебе эту рубашку?

Симпл.: А моя матка!

Отш.: А как звала тебя твоя matka?

Симпл.: Она звала меня мальчонка, а еще плут, осел долгоухий, болван неотесанный, олух нескладный и висельник.

Отш.: А кто был муж твоей матери?

Симпл.: Никто.

Отш.: А с кем спала по ночам твоя matka?

Симпл.: С баткой.

Отш.: А как звал тебя батка?

Симпл.: Он тоже звал меня мальчонка.

Отш.: А как звали твоего батку?

Симпл.: Баткой.

Отш.: А как кликала его matka?

Симпл.: Баткой, а еще хозяином.

Отш.: А иначе как она его не прозывала?

Симпл.: Да, прозывала.

Отш.: Как это?

Симпл.: Пентюх, грубиян, нажравшаяся свинья, старый дрестун и еще по-иному, когда гневалась.

Отш.: Ты совсем невинный простак, когда не знаешь ни имени родителей, ни своего.

Симпл.: Да ты ведь тоже не знаешь.

Отш.: А ты умеешь молиться?

Симпл.: Нет, я давно перестал мочиться в постель.¹

Отш.: Я не о том тебя спрашиваю, а знаешь ты «Отче наш»?

Симпл.: Я-то! Знаю!

Отш.: Ну, так скажи!

Симпл.: Отче наш любезный, иже еси небеси, святися имя, царство твое прииде, воля твоя будет небеси, яко земли, отпусти нам долги, как омы отпускаем должникам, не вводи нас во зло, но избави нас от царства, силы и славы. Во веки аминь!

Отш.: А ты ходил когда в церковь молиться всевышнему?

Симпл.: Да, я люблю все вишни — лазаю по деревьям и набирал их полную пазуху.

Отш.: Я не о вишнях говорю, а о церкви?

Симпл.: Ага! Черпки! Да, ведь это дикие сливы, ладно? ²

Отш.: Ах, все в твоей воле, господи. Ужели ты ничего не знаешь о вышнем боге?

Симпл.: Да, он стоял у нас в доме наверху над дверями. Матка принесла его с ярманки и прилепила туда.

Отш.: Преблагий боже! Днесь вижу я, сколь неизреченна милость и благодать, кому дано познать тебя, и о, сколь ничтожен тот человек, кому не дано этого от тебя. Подай мне, господи, тако чтить твое святое имя, дабы я достоин стал возблагодарить тебя за дарованную мне великую милость, с тоlikою ревностью, сколь велика была щедрость твоя, ниспослать мне ее. Слушай, Симплициус, ибо иначе я не могу тебя назвать, когда ты читаешь «Отче наш», то должен говорить так: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный даждь нам днесь».

Симпл.: Ладно, а еще сыра?

Отш.: Ах, любезное дитя, молчи и научайся, сие надобно тебе первее сыра. Ты в самом деле нескладный, как говорила твоя матка. Таким мальчикам, каков есть ты, не приличествует вовсе перебивать старших, а, напротив того, молчать, слушать и поучаться. Когда бы я точно знал, где живут твои родители, я с охотою отвел бы тебя к ним, дабы так же наставить их, как надлежит воспитывать детей.

Симпл.: Я не знаю, куда мне деваться: дом наш сгорел и матка убежала, и вернулась вместе с Урселе, и батька мой с ними, и девка заболела, и лежала в хлеву, где сказала мне бежать прочь — да во всю прыть.

Отш.: А кто же сжег дом?

Симпл.: Га! Пришли такие дюжие, железные, сидели на таких штуках, больших, как быки, да без рогов. Эти железные покололи овец и коров, и свиней, разорили окна и печи. Я тогда и сбежал, а после сгорел дом.

Отш.: А где тогда был твой батька?

Симпл.: Га! те железные его привязали, а наша старая коза лизала ему ступни, батька тогда засмеялся и дал тем железным много белых грошей, больших и малых, и другие красивые, желтые, и oprичь того такие хорошие блестящие штуки, а еще красивые нити и на них белые зернушки. ³

Отш.: Когда это случилось?

Симпл.: А как мне дали стеречь овец; они еще хотели отнять у меня волюнку.

Отш.: А когда тебе дали стеречь овец?

Симпл.: Али ты не слышал? А когда те железные пришли, а потом наша лохматая Анна сказала, чтобы я бежал отсюда, а не то волки заберут меня с собой, она так думала о тех, железных, а я и удрал тогда и зашел сюда.

Отш.: А теперь ты куда пойдешь?

Симпл.: О том, правда, не знаю. Хочу остаться у тебя.

Отш.: Удержать тебя здесь нет надобности ни тебе, ни мне. Ешь, потом я отведу тебя к людям.

Симпл.: А ты скажи сперва, что за штука такая люди?

Отш.: Люди суть человеки, как ты и я; твой батька, твоя матка и ваша Анна суть человеки, и коли их много вкупе, то зовут их тогда люди.

Симпл.: Ага!

Отш.: Теперь иди и ешь.

Таково было наше собеседование, во время коего отшельник нередко взирал на меня с глубочайшими вздохами, не знаю, происходило ли сие оттого, что он преисполнен был великим состраданием к моей чрезвычайной простоте и глупому неведению, или по причине, о какой я узнал лишь по прошествии нескольких лет.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

*Симплиций становится христианином,
А жил он доселе скотина скотиной.*

Тут начал я есть и перестал лопотать, что продолжалось не долее, пока я не утолил голод, и старец не сказал мне, что надо уходить. Тогда я стал выискивать нежнейшие слова, какие только могла подсказать мне мужицкая моя грубость, дабы склонить отшельника, чтобы он оставил меня у себя. И хотя мое досадительное присутствие было ему в тягость, однако ж он определил терпеть меня при себе более для того, чтобы наставить меня в христианской вере, нежели затем, чтобы я услужал ему в старости. Великая была ему забота, что в столь нежном возрасте, каков был мой, долгое время никак невозможно снести суровую и весьма трудную жизнь.

Некоторое время, примерно три недели, длилось мое испытание, как раз в ту пору, когда святая Гертруда хозяйничала на полях,¹ так что и я в том ремесле употреблен был. Я вел себя столь исправно, что весьма угодил отшельнику, хотя и не самой работой, — к чему я и до того был приучен, — а тем, что он видел, как я с тою же ревностью внемлю его наставлениям, с какой являю чистую табулу и мягкий воск моего сердца,

готового к восприятию оных. По этой причине стал он с еще большим усердием наставлять меня добру. Поначалу преподавал он мне отпадение Люцифера, затем перешел в рай, и, когда мы вместе с нашими прародителями были оттуда исторгнуты, он, пройдя через закон Моисеев, научил меня посредством десяти заповедей господних с их толкованием (о чем он сказал: «Поистине есть то путеводная нить к постижению воли божьей, и что оной надо руководствоваться, дабы вести жизнь, угодную богу») различать добродетели от пороков, творить добро и отвращаться от зла. Наконец, приступил он к Евангелию и поведал мне о рождении, страданиях, смерти и воскресении Иисуса Христа и заключил Страшным судом, представив моим очам рай и ад, все с приличествующими обстоятельствами и подробностями, однако ж не чрезмерными; но, как ему сдавалось, я наилучшим образом смогу все понять и уразуметь. Справившись с одной материей, он переходил на другую и умел, порою с великим терпением, столь искусно направлять мои вопросы и так со мной поступать, что лучшим образом и нельзя было все сие в меня втемяшить. Жизнь и речи его были для меня беспрестанной проповедью, которая ум мой, кой был не столь уж тяжел и неповоротлив, по божьей милости не оставила без возвращенного плода, понеже все, что должно знать христианину, я не только уразумел в помянутые три недели, но и воспылал такою любовью к моему наставнику и его наставлениям, что не мог оттого спать по ночам.

С того времени неоднократно размышлял я о том и нашел, что Aristot. lib. 3. de anima² изрядно заключает, уподобляя душу человеческую доске, на коей можно начертать разного рода письма, и что сие преблагим творцом для того учинено, дабы оная доска через прилежное надавливание и упражнение была покрыта рисунками и доведена до полного перфекта и совершенства. Отсюда и Commentator Averroes lib. 2. de anima³ (когда философ говорит, что способность ума, сиречь интеллектус, не что иное есть, как potentia,⁴ коя ничем in actum⁵ произведена быть не может, кроме как чрез scientia,⁶ а сие значит, что человеческий разум объять все предметы способен, однако же не может достичь того без прилежного в том упражнения), то непреложное заключение выводит, что оная scientia, или упражнение, и есть совершенствование, или perfectio,⁷ души, которая сама собой ничего того в себе не имеет. Сие подтверждает Cicero lib. 2. Tuscul. quaest.,⁸ уподобляя душу человека без учения, науки и упражнения такому полю, которое, хотя от природы и плодородно, однако когда не обработано и не засеяно, то и не приносит плодов.

Все сие подтверждаю я собственным своим примером, ибо то, что я скоро мог воспринять все преподанное мне благочестивым отшельником, произошло оттого, что ему довелось найти ровную табулу моей души совершенно чистой, без единого отписнутого на ней изображения, а иначе произвести подобное нельзя было без помехи. Однако ж как моя совер-

шенная противу других людей простота все еще во мне оставалась, то (понеже ни ему, ни мне настоящее мое имя было неведомо) прозвал он меня Симплициусом.

Также от него научился я творить молитву; и, когда он мое упрямое намерение не расставаться с ним решил удовольствоваться, построили мы из земли, ветвей и сучьев для меня хижину, наподобие той, что была у него самого, сложенную почти как в поле палатки у мушкетеров или, лучше сказать, в некоторых местах шалаши на огородах у крестьян, правда, столь низкую, что я едва мог в ней сидеть, не согнувшись. Постель моя состояла из сухой листвы и сена и занимала как раз всю хижину, так что я не знаю, назвать ли мне подобное жилище или нору крытым ложем или же хижиною.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

*Симплиций писать и читать обучен,
В мыслях с пустыней вовек неразлучен.*

Когда впервые увидел я отшельника за чтением Библии, то никак не мог вообразить себе, с кем же он ведет такую тайную и по моему рассуждению, весьма важную беседу. Я неотменно видел движения его губ, а также слышал бормотание, тогда как супротив него я никого, кто бы мог говорить с ним, не усмотрел и не почуял, и хотя ничего не знал я о чтении и письме, однако ж по его глазам приметил, что он какое-то с оной книгой имел дело. Я заметил сие и после того, как отшельник отложил книгу, подобрался к ней, и, когда раскрыл как раз на первой главе книги Иова, тотчас же представилась моим очам стоящая там фигура, искусно резанная по дереву и притом весьма красиво раскрашенная. По моему простому разумению, я стал вопрошать сии диковинные картинки о совсем нескладных вещах. Но понеже на то не последовало от них ответа, то впал в нетерпение и в то самое время, когда отшельник неслышно стал за моей спиной, говорил с ними так: «Эй, вы малые нерадеи, али у вас языки поотсохли? Разве вы не довольно болтали с моим отцом (ибо так тогда должен был я звать отшельника)? Я-то вижу, что вы угнали у бедного батьки овец и подожгли дом. Стой! Стой! Я затушу тот огонь и вас обуздаю, чтобы не было больше от вас вреда». С тем поднялся я, дабы пойти за водой, понеже мнилось мне, что в том была нужда. «Куда, Симплициус?» — спросил внезапно отшельник, ибо я не знал, что он стоит позади меня. «Отец, — сказал я, — да ведь это воины, у них овцы, и они вознамерились угнать их прочь, они забрали беднягу,

с которым ты давеча говорил. Вот горит полымем его дом, и когда я его скоро не затушу, то сгорит вовсе». С такими словами указал я ему перстом на то, что видел. «Постой, — сказал отшельник, — в том еще нет беды». Я отвечал с присущей мне церемонностью: «Аль ты ослеп? Погляди-ко, чтоб они не угнали овец, а я воды притащу». «Полно, — сказал отшельник, — изображения сии не живут живой жизнью, а только затем сделаны, чтобы давным-давно приключившиеся события представить нашим очам». Я отвечал: «А ведь ты давеча говорил с ними; отчего же они тогда не живут».

Отшельник принужден был противу своей воли и обычая на такую ребяческую мою глупость и глупое ребячество рассмеяться и сказал: «Любезное дитя! Изображения сии говорить не умеют. А что до их существа и деяний, то узнаю я о том по черным этим знакам, что называется чтением, и когда я таким образом читаю, то мнится тебе, что я говорю с изображениями, однако ж того нет». Я отвечал: «Когда я такой же человек, что и ты, то должно и мне уметь видеть по тем черным строкам, что ты умеешь. Как мне в тот твой разговор вступить? Любезный отец! Наставь меня по справедливости, как мне разуместь сие?». На что отвечал он: «Добро, сын мой! Я научу тебя с оными изображениями беседовать столь же внятно, как и я сам, и ты будешь разуместь, что они означают. Однако ж на то надобно время, к коему от меня терпение, а от тебя прилежание приложатся». После того начертал он на березовой коре для меня азбуку, подобную печатной, и когда я узнал буквы, то стал учиться их складывать, т. е. читать, и под конец писать лучше, чем то умел сам отшельник, ибо я все выводил по-печатному.

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиция повесть о жизни в пустыне,
Что им служило столom и периной.*

Около двух лет, покуда не умер отшельник, и немного долее полугода после его смерти пробыл я в том лесу; того ради полагаю уместным поведать пытливому читателю, который частенько и о малейших вещах непременно все знать желает, наши труды, наше житье-бытье и прохождение времени.

Пищей служили нам различные огородные растения, репа, капуста, бобы, горох, чечевица, просо и тому подобное; также не пренебрегали мы буковыми орехами, дикими яблоками, грушами, вишней, да и желуди нередко утоляли наш голод. Хлеб, или, вернее сказать, лепешки, пекли

мы из толченой кукурузы в горячей золе. Зимой ловили птиц в силки и тенета; весной же и летом посылал нам бог птенчиков прямо из гнезда. Нередко довольствовались мы улитками и лягушками; мы также были охочи ловить удочками и вершами рыбу, так как неподалеку от нашего жилища протекал ручей, где в изобилии водились рыба и раки, все сие должно было конвоировать грубые овощи в нашу утробу. Однажды мы поймали молодого кабана, коего посадили в загон, взрастили на буковых орехах и желудях, откормили и напоследок съели, ибо отшельник знал, что не может быть греха, когда вкушают то, что господь бог сотворил на потребу человеческого рода и предназначил к такому концу. Соли потребляли мы мало, а пряностей и вовсе никаких, дабы не пробуждать в себе охоты к питью, так как у нас не было винного погреба. Необходимую нам соль давал священник, живший примерно в трех милях от нас, о котором мне еще много придется говорить.

А что до утвари, так было ее у нас довольно; ибо имели мы лопату, кирку, топор, топорик и еще железный котелок для варева, кои все, правда, не принадлежали нам, а были взяты у сказанного священника. У каждого было по стершемуся тупому ножу; они-то и составляли нашу собственность, а oprичь того ничего у нас не было. Нам были не надобны миски, тарелки, ложки, вилки, горшки, сковороды, решетки для жаркого, роженьки, солоницы или иная какая столовая и кухонная посуда, ибо наш котелок служил нам миской, а руки заменяли вилки и ложки. Когда же мы испытывали жажду, то утоляли ее из родничка с помощью тростинки, или припадая к воде, как воины Гедеона.¹ А что до различных одежд, шерсти, шелку, хлопчатой бумаги и полотна, потребного для постели, скатертей и обоев, то у нас не было ничего, кроме того, что носили на себе, ибо полагали, что имеем всего довольно, когда можем укрыться от дождя и холода. Впрочем, мы не наблюдали в домоводстве нашем особых правил или порядка, кроме как в дни воскресные и праздничные, когда собирались в путь с полуночи, дабы пораньше и ни от кого не замеченными прийти к помянутому священнику в церковь, что стояла в стороне от деревни, и ждать начала богослужения. Там забирались мы на разбитый орган, с какого места отлично могли видеть как алтарь, так и кафедру. Когда впервые увидел я священника, всходящего на кафедру, то спросил отшельника: «Чего ради он залез в этот большой ушат?». После отпускной молитвы мы так же тайком, как и приходили, возвращались домой и, после того как усталые телом и едва волоча ноги достигали нашего жилища, принимали скудную пищу с великою жадностью; остальное время отшельник проводил в молитве и наставлял меня божественным предметам.

В будни делали мы то, в чем сильнейшая была нужда, как случалось и требовалось по времени года и нашим обстоятельствам. То работали мы в саду, то собирали тучную землю по тенистым местам и в дуплах

деревьев, дабы заместо навоза удобрить ею наш сад. А то плели корзины или верши или запасали дрова, ловили рыбу или заняты были иным каким делом, чтоб не предаваться праздности. И посреди всех таких трудов не оставляла отшельник изрядно поучать меня всему доброму. Меж тем в той суровой жизни научился я переносить голод, жажду, зной, холод и великие труды и всяческие тяготы, а прежде всего был приведен к познанию бога, как ему истинно служить надлежит, что было самым важным. Правда, любезный мой отшельник не восхотел допустить меня к большему знанию, ибо полагал, что христианину для достижения его назначения и цели довольно и того, когда он молится и работает прилежно; того ради проистекло, что хотя я в духовных материях был нарочито искушен, изрядно понимал Христову веру и немецкую речь вел столю приятно, как если бы сама Орфография ее выговаривала, однако же оставался прост, как дрозд, и, покидая лес, являл собою несчастнейшего в свете простофилю, такого, что несмышленного щенка не сумел бы провесть.

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплициус смерть зрит, какою бывает,
Отшельника тело в земле погребает.*

Около двух лет провел я таким образом и едва приучил себя к суровому пустынноческому житию, как лучший в свете мой друг, взяв заступ, а мне вручив лопату, повел меня за руку в сад, где мы по каждодневному нашему обыкновению творили молитву. «Ну, вот, Симплициус, любезное дитя! — сказал он. — Понеже, слава богу, пришло время оставить мне сей мир, воздать долг натуре и покинуть тебя в сем мире, а наипаче как предвижу я грядущие события твоей жизни и хорошо знаю, что ты недолго пробудешь в пустыне, то хочу укрепить тебя на стезе добродетели и преподать тебе в назидание единственное наставление, руководствуясь коим как надежным правилом к достижению вечного блаженства должен ты расположить свою жизнь, дабы вкупе со всем сонмом избранных удостоиться в жизни вечной созерцать лице божие».

Сии слова затопили глаза мои, как перед тем вражья выдумка город Филлинген,¹ и были мне они столь непереносны, что я их не мог перенести, однако ж сказал: «Любезный отче, ужели восхотел ты покинуть меня одного в дремучем лесу, тогда должен ты...». Сверх того не смог я ничего вымолвить, ибо сердечные муки от неизреченной любви, какую я питал к верному моему отцу, так стеснили мою грудь, что я, словно

мертвый, поник к его стопам. Он же, напротив, подняв меня, утешал, как только позволяло время и обстоятельства, и вместе с тем укорял меня, спрашивая, уж не вознамерился ли я противиться предначертанию вышнего: «Разве ты не знаешь, — продолжал он, — что ни небу, ни аду сие не по силам? Так вот, сын мой! Почто же хочешь ты обременять еще мое слабое тело (которое само жаждет покоя)? Вознамерился ли ты принудить меня жить долее в сей юдоли скорби? Ах нет, сын мой, дозволю мне умереть, понеже и без того ни стенаниями, ни еще менее собственною моею волею не склонить меня остаться долее в сей юдоли, когда я призван отсюда по непреложной воле господи и днесь с превеликою радостию приуготовляю я себя к тому, чтобы последовать сему повелению господню. Вместо бесполезных воплей следуй моему последнему наставлению, по коему должен ты час от часу все совершеннее познавать самого себя; и хотя бы достиг ты мафусаиловых лет, не отвращай сердца своего от сего упражнения. Ибо наибольшая часть людей подпадает осуждению вечному по той причине, что не ведали они, кем были и кем могли или должны были сделаться». Засим преподавал он мне неложный совет во всякое время остерегаться худого товарищества, ибо пагуба от него поистине неизреченная. И он привел тому пример и сказал мне: «Когда ты единую токмо каплю мальвазиипустишь в сосуд с уксусом, то она тотчас превратится в уксус; но когда, взяв столько же уксуса, вольешь в мальвазию, то и он также растворится в ней. Любезный сын, — продолжал он, — паче же всего будь тверд духом; не допускай отвращать тебя от тяжкого креста, который ты возложил на себя в предпринятом тобою похвальном деле; ибо претерпевший до конца спасется. А ежели случится против всякого моего чаяния, что и ты подпадешь человеческой слабости, то не ожесточайся во зле, а тотчас же воспрянь духом в честном покаянии!».

Сей попечительный благочестивый муж преподавал мне только сие многое не оттого, что не знал большего, а потому что полагал, что я по причине моей младости не способен буду уразуметь многое, а, кроме того, немногие слова лучше сохраняются в памяти, нежели обильные пустые речи, особливо же когда в тех словах заключена сила и важность, отчего по размышлению проистекает от них большая польза, чем от долгой проповеди, которую, едва уразумев, спешат забыть.

Сии три правила: познавать самого себя, убегать худого товарищества и пребывать твердым — почитал сей благочестивый муж добрыми и необходимыми, нет сомнения, потому что и сам упражнялся в них, в чем ему не было неудачи, ибо когда он познал самого себя, то устранился не только от худого товарищества, но и от всего света, в каковом намерении оставался тверд до конца, от коего, нет сомнения, начиналось блаженство; а коим образом, читай о том дальше. Преподав мне выше-реченные правила, принялся он собственною своею мотыгою копать соб-

ственную свою могилу, в чем я, по его повелению, помогал ему так хорошо, как умел, однако не мог уразуметь, куда сие клонится. Тем временем сказал он мне: «Любезный мой и поистине единственный сын (ибо я не взрастил во славу творца ни единой живой твари, кроме тебя), когда отыдет душа моя во горнии, воздай телу моему последний долг и последнюю честь; закидай меня той же землею, что выкопали мы сегодня из этой ямы». Засим заключил он меня в объятия и, целуя, прижал к груди крепче, чем, как то могло показаться, было ему по силам. «Любезное дитя, — сказал он, — я предаю тебя под покров высшего и умру с тем большею радостью, ибо надеюсь, что он примет тебя под свою защиту». Я же, напротив, мог только вопить и сетовать; я повис на его веригах, которые он носил на себе, и хотел удержать его таким образом, чтобы он не покидал меня. Он же молвил: «Сын мой! Оставь меня, мне надо посмотреть, довольно ли велика для меня могила?», сложил затем с себя вериги и платье и лег в могилу, подобно тому когда кто приуготовляет себя ко сну, сказав: «О всеблагий боже! Прими мою душу, кою ты даровал мне. Господи! В руци твои предаю дух мой!». Засим сомкнул он неслышно уста и смежил очи: я же стоял нем как рыба и не разумел, что его любезная душа навсегда оставила тело, ибо в подобных восхищениях нередко видывал его и прежде.

Я провел, каков был в подобных обстоятельствах мой обычай, несколько часов у могилы в молитве. А когда любезный мой отшельник не восхотел из нее подняться, то спустился я к нему в могилу и начал его трясти, целовать и миловать, однако ж в нем не осталось больше жизни, ибо лютая неумолимая смерть похитила у злополучного Симплиция его блаженного сотоварища. Я орошал или, лучше сказать, бальзамировал бездыханное тело моими слезами и долго метался туда и сюда с горестными воплями и рвал на себе волосы, пока, наконец, не приступил к погребению, причем испускал больше тяжких вздохов, нежели кидал полных лопат; и едва покрыл лицо отшельника, снова сошел в могилу и разгреб землю, чтобы еще раз узреть и облобызать его. Так провел я весь день, покуда не управился со всем и не окончил сих *funeralia*, *exequias* и *luctus gladiatorios*,² понеже и без того не было тут ни одра, ни гроба, ни савана, ни свечей, ни носильщиков, ни провожающих, ни даже клириков, которые бы отпели мертвого.

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций хочет пустыню покинуть,
Где ему привелось едва не погнуть.*

Спустя несколько дней, как преставился дорогой мой и любезный отшельник, пошел я к помянутому священнику и поведал ему о смерти моего господина, а также просил у него совета, как мне надлежит теперь поступить? И невзирая на то что он накрепко отсоветовал мне оставаться долее в лесу, указав на очевидную опасность, коей я подвергал себя, однако же я смело пошел по стопам моего предшественника, понеже целое лето соблюдал все то, что набожному монаху соблюдать должно. Но подобно тому как все меняется со временем, так и скорбь моя об отшельнике, которую я носил в себе, мало-помалу утихла, и жестокая внешняя стужа потушила вдруг внутренний жар твердых моих намерений. Чем более клонился я к непостоянству, тем небрежнее творил молитву, ибо, вместо того чтобы созерцать божественные и духовные предметы, я попустил одолеть меня желанию узреть мир, и как таким образом не было больше никакой пользы от дальнейшего моего пребывания в лесу, то решил я снова пойти к помянутому священнику, дабы услышать, не подаст ли он мне, как было перед тем, совета оставить лес. Для того направился я к нему в деревню, и когда я пришел туда, то увидел, что она охвачена пламенем, ибо в самое то время ватага всадников разграбила ее и подожгла; крестьян же частью порубили, многих прогнали, а некоторых забрали в плен, а среди них и самого священника. О, боже правый! Сколь жизнь человеческая полна скорбей и напастей! Едва минет одно несчастье, подоспеет другое. Я нимало не дивлюсь, что языческий философ Тимон Афинский воздвиг множество виселиц, где люди должны были сами надевать себе петли, чтобы через короткое мучение положить конец бедственной своей жизни. Всадники как раз уезжали и уводили священника на веревке, как бедного грешника. Многие кричали: «Пристрелим плута!». Другие же хотели получить от него деньги. Он же простирал руки и молил о пощаде и христианском милосердии, заклиная Страшным судом; однако напрасно, ибо один из них, наскочив, поверг его наземь и вписал ему такой параграфум в голову, что из нее тотчас пошел красный сок, и он упал наземь и распростерся, вручая душу свою богу. Прочим из оставшихся пленных крестьян было нимало не лучше.

Когда же казалось, что всадники в своей тиранической свирепости вовсе лишились рассудка, поднялась из лесу такая туча ополчившихся крестьян, как если бы кто разорил осиное гнездо. Тут зачали они столь гнусно вопить, столь люто разить и палить, что все волосы мои ошетини-

лись, понеже на такой ярмарке я еще не бывал ни разу; ибо мужики из Шпессерта и Фогельсберга, подобно гессенцам, зауерландцам¹ и шварцвальдцам, мало охочи допускать кого глумиться над их навозом. Оттого-то всадники и дали тягу, не только оставив захваченную скотину, но и побросав все мешки и узлы, и пустили таким образом по ветру свою добычу, чтоб самим не стать добычею мужиков; однако часть их попала к ним в лапы и с ними обошлись весьма худо.

Сия потеха едва не лишила меня охоты оставить пустыню и узреть мир, ибо я думал, когда в нем все так ведется, то пустыня куда приятнее! Однако ж восхотел я также услышать, что скажет о том священник. Он же был совсем слаб, немощен и бессилен от принятых ран и ушибов; но все же сказал, что не может подать мне ни совета, ни помощи, ибо впал сам в такую нужду, что принужден будет нищенствовать, снискивая себе пропитание, и ежели я вознамерился и далее оставаться в лесу, то не могу уповать на его вспоможение, ибо вот перед глазами моими стоят церковь и дом его, объятые пламенем. С тем и отправился я, весьма опечаленный, в лес к моему жилью, и так как на сей стезе я немного был утешен, то укрепился в благочестии и решил в сердце своем никогда не покидать пустыню, а провождать жизнь, подобно моему отшельнику, в созерцании божественных предметов и уже помышлял о том, как бы прожить мне без соли (какую до того уделял мне священник) и совсем обойтись без людей?

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций видит, как солдаты-черты
Пятерых мужиков запытали до смерти.*

Дабы последовать сему решению и стать настоящим пустынножителем, облачился я в оставшуюся после отшельника власяницу и препоясал себя цепями; правда, не ради того, что испытывал в них нужду для мортифицирования необузданной моей плоти, но затем, чтоб не только в жизни, но и обличем с ним сравняться, а также чтобы этой одеждой лучше защитить себя от жестокой зимней стужи.

На другой день, как была разграблена и сожжена помянутая деревня, в то самое время, когда сидел я в хижине, творил молитву и поджаривал себе на пропитание морковь, окружило меня 40 или 50 мушкетеров; они, хотя и подивились диковинному обличью моей особы, однако ж пронесли бурею по моей хижине и со всем тщанием переворошили все до дна в поисках того, чего там не было; ибо ничего-то у меня не водилось, кроме книг, кои все они пошвыряли, раз от них не было им проку.

Наконец, когда они меня получше разглядели и по перьям моим приметили, что за никудышную птицу они словили, то легко могли рассудить, что от меня худая пожива. А посему дивились на мою суровую и весьма строгую жизнь и сожалели мою нежную младость, особливо же офицер, который ими командовал; он даже оказал мне честь и потребовал, вместе с тем как бы упрасывая, чтобы я указал ему и его людям дорогу из лесу, где они уже долго блуждали. Я нимало тому не противился и, чтобы поскорее отделаться от неласковых сих гостей, повел их ближайшей дорогою к деревне, где так худо поступили с помянутым священником, понеже, впрочем, иной дороги я и не ведал. Когда вышли мы на опушку, то завидели с десятков крестьян, часть коих была вооружена пищалями, а остальные трудились, что-то закапывая. Мушкетеры напустились на них с криками: «Стой! Стой!». Те же ответствовали им из пищалей. И когда приметили, что солдаты берут верх, то разбежались кто куда, так что усталые мушкетеры ни одного из них не смогли словить. Того ради захотели они откопать то, что зарыли крестьяне. И сие было тем легче произвести, ибо лопаты и заступы лежали тут же рядом, брошенные мужиками. Но едва мушкетеры взмахнули раза два лопатами, как слышали снизу голос, вопивший: «Ах, вы окаянные плуты! Ах, вы преподлые злодеи! Ах, вы проклятушие бездельники! Али вы вздумали, что небо вас покарает за безбожную вашу жестокость и бесчестные проделки? Э, нет! Немало еще на свете честных ребят, которые так воздадут вам за вашу бесчеловечность, что никто из ваших ближних не будет больше принужден облизывать вам задницы!». Тут стали солдаты переглядываться, ибо не знали, как им поступить. Иные возмнили, что услышали привидение, я же полагал, что грежу. Офицер же их храбро повелел копать дальше. Они тотчас же наткнулись на бочку, разбили ее и нашли в ней детину, у коего недоставало носа и ушей, но он все еще был жив. Как только он немного отудобел и признал некоторых мушкетеров из той ватаги, то поведал, что во вчерашний день, когда несколько солдат из его полка добывали фураж, мужики захватили в полон шестерых из них и не далее, как час тому назад, поставив их в затылок, пятерых застрелили, а так как он стоял шестым и последним, то пуля его не достигла, ибо раньше прошла пять туловищ, а посему они отрезали ему уши и нос, но до того принудили его (s. v.)¹ облизать пятерым задницы. А когда он узрел себя в таком поношении от тех, забывших бога и честь плутов, то, хотя они и были в намерении оставить ему жизнь, осыпал он их самыми наименее полезными словами, какие только мог измыслить, и честил их полным голосом в надежде, что хоть один из них в нетерпеливом гневе наградит его пулею. Но все напрасно; однако когда он их сильно ожесточил, то запихали они его в эту самую бочку и так похоронили заживо, приговаривая, что коли он столь усердно домогается смерти, то желают они, потехи ради, его в том не удовольствовать.

Меж тем, как сей детина жаловался на претерпетое им несчастье, другой отряд пеших солдат пересек лес; они повстречали помянутых мужиков и пятерых захватили в плен, остальных же застрелили. Среди захваченных было четверо, кои незадолго до того так постыдно обошлись с изувеченным рейтаром. Когда оба отряда по окликам признали,² что тут свои, то сошлись вместе и вновь выслушали от самого рейтара, что приключилось с ним и его товарищами. Да, тут было на что подивиться, как пытаются и терзают крестьян. Некоторые пожелали тотчас же прикончить их единым махом, а другие говорили: «Э, нет! Надобно сперва хорошенько помучить негодных сих пташек и отплатить им за все то, что они учинили этому рейтару». Меж тем расточали они мушкетами такие удары под ребра, что мужики захаркали кровью. Под конец выступил вперед солдат и сказал: «Господа, понеже все войско опозорено, что над этим бездельником (разумея тут рейтара) пять мужиков столь жестоко надругались, то будет справедливо, когда мы позорное сие пятно смоем и принудим этих плутов по сто раз облизать у рейтаров». Другой возразил: «Сей маляй не стоит того, чтобы ему воздать такую честь; не был бы он такой продажной шкурой, то скорее бы согласился тысячу раз принять смерть, чем всем добрым солдатам в поношение свершить столь постыдное дело». Под конец единодушно порешили, что каждый из тех подчищенных мужиков сие самое произведет на десятерых солдатах, к каждому разу приговаривая: «Тем самым смываю я и вытираю стыд, кой, по их мнению, приняли солдаты, когда продажная шкура подлизывала нам задницы». А после того как мужики исполнят чистую эту работу, хотели рассудить о том, как поступить с ними далее. Засим перешли они к делу; однако же мужики были столь строптивы, что нельзя их было к тому принудить ни посулом оставить им жизнь, ни различными пытками. Один из солдат отвел пятого мужика, который не был облизан, в сторону и сказал ему: «Ежели ты отречешься от бога и всех святых его, то я отпущу тебя, куда захочешь». На что мужик отвечал, что он всю свою жизнь не якшался со святыми, да и не водил особого знакомства с богом и поклялся в том soleniter,³ что знать не знает бога и не желает царствия небесного. На что солдат пустил ему в лоб пулю, отчего, однако ж, было столько же эффекту, как если бы ее попытались вогнать в стальную гору. Тут солдат выхватил палаш и сказал: «Ага, так вот ты какого разбору! Я обещал пустить тебя, куда захочешь; смотри, как я посылаю тебя в ад, когда ты не пожелал в рай», и с теми словами рассек ему голову до зубов. А когда тот упал, сказал солдат: «Вот как надобно отомщать за себя и карать негодных этих плутов и в сей жизни, и в будущей».

Тем временем прочие солдаты прибрали к рукам четверых оставшихся мужиков, тех, которые были облизаны; они привязали их за руки и за ноги к повалившемуся дереву так ловко, что (s. v.) задницы как раз

торчали кверху, после чего содрали с них штаны и, взяв несколько клафтеров⁴ твердого фитиля,⁵ насадили на него пуговицы и зачали пилить им задницы столь нечисто, что из них пошел красный сок. «Так, — говорили они, — надобно вам, плутам, вычищенные задницы подсушить». Мужики, правда, вопили прежалостно, однако ж не было им милости, а солдатам одна потеха, ибо они не переставали пилить, пока кожа и мясо не сошли с костей. А меня они отпустили домой в мою хижину, ибо последний помянутый отряд хорошо знал дорогу. Так я и не знаю, что в конце концов сталося с теми крестьянами.

ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций уснул, не насытивши чрева,
Зрит в сонном виденьи пречудное древо.*

А когда я воротился домой, то увидел, что мое огниво и вся утварь вместе со всем запасом жалкой моей снеди, которую взрастил я на огороде за целое лето и припас на будущую зиму себе на пропитание, все разом исчезло. «Куда деваться?» — подумал я. Тут научила меня нужда богу молиться. Я собрал весь скудный свой разум, чтобы рассудить, что же мне теперь делать и как поступить. Но как опыт мой в сем весьма был худ и ничтожен, то и не мог я прийти к надлежащему заключению: и лучше всего было, что я предал себя воле божией и возложил на него все упование мое, а не то бы я, нет сомнения, отчаялся и погиб. Сверх того беспрестанно отягощали ум мой пораненный священник и те пятеро столь мерзко распиленных мужиков, коих я в тот день слышал и видел; и я не столько помышлял о съестных припасах и своем пропитании, как о той антипатии, что заложена меж солдат и крестьян; однако по своей дурости много заключить не мог и в то твердо уверовал, что коли они друг друга столь немилосердно преследуют, то бесприменно существуют на свете два рода людей, а не один от Адама, дикие и кроткие, как и среди прочих неразумных тварей.

Посреди таких мыслей заснул я в печали и холоде с пустым желудком. Тогда привиделось мне, подобно как во сне, будто все деревья, произраставшие вокруг моего жилища, внезапно изменились и возымели совсем иной вид. На каждой вершине сидело по кавалеру, а сучья заместо листьев убраны были молодцами всякого звания; некоторые из них держали долгие копья, другие мушкеты, пищали, протазаны,¹ знамена, а также барабаны и трубы. Зрелище сие было весьма увеселительно, ибо все в таком строгом порядке расположилось по рядам и ярусам. Корень же был из незначащих людишек, ремесленников, поденщиков,

а большею частию крестьян, и подобных таких, кои тем не менее сообщали тому древу² силу и давали ему ее вновь, коль скоро оно теряло ее; и они даже заменяли собою недостающие опавшие листья, себе самим еще на большую пагубу! Также сетовали они на тех, кто стоял на ветвях, притом не облыжно, ибо вся тяжесть того древа покоилась на корнях и давила их такою мерою, что вытягивало из их кошельков все золото, будь оно хоть за семью печатями. А когда оно переставало источаться, то чистили их комиссары скребницами, что прозывают военною экзекуциею, да так, что исторгали у них из груди стоны, из глаз слезы, из-под ногтей кровь, а из костей мозг. Однако ж были среди них люди, коих прозывали пересмешниками; они печаловались о немногом, принимали все с легким сердцем и на кресте им заместо утешения была издевка.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплициус грезит о солдатской доле,
Где младший у старших всегда под неволей.*

Итак, корни сего древа обречены были на одни токмо тяготы и сетования, те же, что поместились на нижних сучьях, осуждены с великим усердием сносить и претерпевать великие труды, лишения и невзгоды, однако были они завсегда веселыше первых, а сверх того непокорливы, жестоки, по большей части безбожны и во всякий час составляли нестерпимое для корней бремя. К сему суть вирши:

Холод и зной, бедность и труд,
Голод терпят, от жажды мрут,
Грабят, насилуют, жгут —
Вот как ландскнехты живут!

Вирши сии тем менее вымышлены, понеже они с делами ландскнехтов весьма согласуются; ибо жрать и упиваться, голодать и от жажды изнывать, таскаться и волочиться, кутить да мутить, в зернь и карты играть, других убивать и самим погибать, смерть приносить и смерть принимать, пытать и пытки претерпевать, гнать и стремглав удирать, стращать и от страху пропадать, разбойничать и от разбоя страдать, грабить и ограбленными бывать, боязнь вселять и в боязнь впадать, в нужду ввергать и нужду сносить, бить и побитыми уходить, и в совокупности одну только пагубу и вред чинить, и паки, и паки себя погублять и повреждать, и таковы все их деяния и самая сущность: и ни зима — ни лето, ни снег — ни лед, ни зной — ни стужа, ни дождь — ни ветер, ни холм — ни лог, ни луг — ни топь, ни рвы, ни ущелья, ни моря, ни вода, ни огонь,

ни крепостные валы и стены, ни отец, ни мать, ни брат и сестра, ни ущерб для их телесного здоровья, душевного спасения или совести, ни утрата самой жизни или же царствия небесного, или же иной какой вещи — как она там не зовись — не могут им в том воспрепятствовать. И движутся они в таких подвигах неусыпно вперед, покуда мало-помалу в битвах, осадах, штурмах, походах, а то и на постоях (кои, впрочем, для солдата рай земной, особливо же когда им доведется напасть на жирного мужика) попропадут, повымрут, погинут, попередохнут, исключая тех немногих, кои в старости, ежели они только борзо не нахватают и не наворуют себе, становятся последними побродягами и попрошайками.

Чуть повыше этих бедняг сидели старые травленные жохи, кои многие годы провели в превеликой опасности на нижнем суку, выстояли и обрели счастье уйти на толикую высоту от смерти. По виду они были повальяжнее и поавантажнее, нежели нижние, ибо поднялись на градус выше. Над ними возвышались еще другие, которые и более возвышенные имели воображения, понеже начальствовали над нижними; их прозывали Обломайдубинами,¹ ибо битьем, плевками и бранью начищали они копейщикам спины и головы, а мушкетерам заливали масло за шкуру, чтобы было чем смазывать мушкеты. Выше на стволе сего древа шло гладкое место или коленце без сучьев, обмазанное диковинными материями и странным мылом зависти, так что ни один молодец, будь он даже дворянин, ни мужеством, ни ловкостью, ни наукой не сумеет подняться по стволу, как бы он там — упаси бог! — ни карабкался, ибо отполирован тот ствол ровнее, нежели мраморная колонна или стальное зеркало. Над сим местом сидели те, что со знаменами; одни были юны, а другие в преклонных летах; юнцов вытянули наверх сватья да братья, а старики частью взобрались сами либо по серебряной лесенке, кою прозывают Подмазалия,² либо на ином каком снаряде, сплетенном для них Фортуною из чужой неудачи. Получше расселись те, что были еще выше, у коих также были свои труды, заботы и напасти, однако ж они наслаждались той корыстью, что кошель у них наилучшим образом был нашпигован тем салом, какое они вырезали ножом, прозываемым ими Контрибуция, из корней оного древа; а всего статочнее и удобнее было для них, когда являлся комиссар и вытряхал над древом, дабы оно лучше благоденствовало, целую кадку золота, так что они там наверху подхватывали все лучшее, и почитай что ничего не оставляли нижним. А посему-то нижние и мерли с голоду чаще, нежели гибли от неприятеля, от какой-либо опасности высшие, казалось, были уволены. Того ради происходило на сем древе беспрестанное карабкание и копошение, понеже всяк желал красоваться на том верхнем благополучном месте. Однако были там и такие нерадивые и беспутные остолопы, которые не стоили и того расхожего хлеба, что на них уходил; они мало печалились о возвышении, а отпроявляли свою должность, где приведется. Нижние, коих обуревало честолю-

бие, вздыхали о падении верхних, дабы засесть на их место, и когда одному из десяти тысяч посчастливилось столь высоко забраться, то происходит сие в столь досадительных летах, что ему впору завалиться на печку, а не залечь в поле, дабы отразить неприятеля; а ежели кто исправляет свое дело рачительно и доблестно оказывает себя во всякой опасности, тот облеплен завистью, а то, того и гляди, в дыму непредвиденного несчастного случая лишен чина и самой жизни. Нигде не было такого ожесточения, как на помянутом ровном месте, ибо тот, у кого был стоящий фельдфебель или сержант, неохотно с ним расставался, что, однако, было неминуемо, когда бы его произвели в прапорщики. Того ради заместо старых солдат куда охотнее брали подчишал, камердинеров, подросших пажей, бедных дворянчиков, свойственников или просто подлипал и голодранцев, которые у тех, что заслужили по праву, рвут куски прямо из глотки и сами становятся прапорщиками.

СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций не может взять себе в толк,
Чего ради охотно дворян берут в полк.*

Сие столь раздосадовало некоего фельдфебеля, что он зачал изрядно ругаться, на что дворянский прихвостень¹ сказал: «Али тебе неведомо, что ныне и повсегда к военной должности определялись благородные особы, кои к сему наиболее способны? От седых бород на войне прок невелик, а то иначе бы на врага можно было послать стадо козлов. Сказано ведь:

Приставлен к стаду юный бык,
Хоть молод, да не шальный.
Пасет он лучше, чем старик,
Годами обветшалый.
И пастуху теперь легко,
Спокойно спит под елкой,
От молодого далеко
Не разбредутся телки.

Скажи-ка, старый хрыч, разве войско не больший имеет решпект к офицерам благородного рождения, нежели к тем, кои сами до того были простыми ландскнехтами? А что станется с воинской дисциплиной, когда не будет надлежащего решпекту? Ужели не смеет полководец оказать более доверия кавалеру, нежели какому-нибудь мужицкому сыну, который сбежал от плуга отца своего и даже собственным своим родителям добра не желает? Истинный дворянин скорее с честью умрет, чем чрез

неверность, побег или иной какой подобный поступок запятнает свой род. Посему и приличествует знати иметь всегда преимущество, как то видно из *leg. honor. dig. de honor.*² Иоанн Плато³ говорит о том внятно, что при определении к должности надо преимущество давать знатым и по справедливости предпочесть благородных плебеям, да и сие обычно для всякого права и находит подтверждение в Святом писании, ибо глаголет Сирах в главе десятой: «*Beata terra, cujus rex nobilis est.*»⁴ И сие превосходное свидетельство тому, что знати преимущество иметь подобает. И когда один из вас добрый солдат, который понюхал пороху и во всякой перепалке отличную являет сноровку, то от этого он еще не способен командовать другими и поступать с надлежащею осмотрительностью, напротив того, дворянство в сей добродетели рождено или с юных лет к ней приобыкло. Сенека говорит: «*Habet hoc proprium generosus animus, quod concitatur ad honesta, et neminem excelsi ingenii virum humilia delectant et sordida*», что значит: «Геройский нрав сам по себе имеет то свойство, что ищет славы, точно так же дух возвышенный не благоволит к предметам ничтожным и непотребным».

Сие и *Faustus Poëta*⁵ изъясняет в таком двустишии:

*Si te rusticitas vilem genuisset agrestis,
Nobilitas animi non foret ista tui.*

Сверх того знать располагает средствами воспомоществовать своим подчиненным деньгами, а порядочный отряд пополнить людьми, не то что крестьянин. Так что и по известной пословице, не гоже сажать мужика впереди дворянина, и мужики бы весьма заспесивились, ежели бы их так прямо ставили господами, ведь говорится же:

*Острей не наточить ножи,
Коль господином стал мужик.*⁶

Когда бы крестьяне, подобно знати, по издавна введшемуся похвальному обычаю завладели военными и другими должностями, то, верно, не скоро бы допустили к ним дворянина; к тому же, хотя вам, солдатам Фортуны (как вас прозывают), частенько желают помочь в достижении высоких почестей, да к тому времени обыкновенно вы уже так подряхлеете, что когда испытывают вас и лучших награждают по заслугам, то берет сомнение, повышать ли вас чином; ибо юный жар охладел и помышляете вы по крайности о том, как бы понежить и потешить немощное ваше тело, изнуренное множеством перенесенных превратностей и уже мало пригодное для воинских тягот, а там уж — и пособи бог тому, кто сражается и добывает себе честь; напротив того, молодой пес куда резвее в охоте, нежели старый лев».

Фельдфебель отвечал: «Какой же дурак захочет тогда служить и подвергать себя очевидной смертельной опасности, ежели он не смеет на-

деяться через свою отвагу достичь повышения и тем за свою верную службу быть награжден. Черт побери такую войну! Оным манером, так все равно, кто как ведет себя в схватке, кто врага хватает за горло, а кто труса празднует. Не раз слыхивал я от нашего старого полковника, что он не хотел бы держать в полку солдата, который не забил бы себе в голову, что через свою доблесть станет генералом. Весь свет должен признать, что те нации, которые облегчают произвождение простым, но истым солдатам и награждают их храбрость, обыкновенно одерживают славные виктории, что видно на примере турок и персов. К сему сказано:

Лампада светит нам; но пищу дать ей надо.
Иссякнет сок олив, и свет ее потух.
Где плата хороша, там и ландскнехт петух,
Полезет он в огонь, коль ждет его награда».

Дворянский прихвостень отвечал: «Когда приметят честного мужа надлежащих качеств, то уж, конечно, им не пренебрегут, ибо многих ныне находим, кои от плуга, портняжной иглы, сапожничьей колодки и пастушеского посоха взялись за мечи, отличились доблестию и через такую геройскую отвагу и достохвальное бесстрашие воспарили превыше простых дворян прямо в графское и баронское состояние. Кем был имперский полководец Иоганн де Верд?⁷ Кем шведский Штальганс?⁸ Кем маленький Якоб⁹ и Сант Андреас?¹⁰ Немало еще известно им подобных, коих я ради краткости не намерен всех перечислить. Ну, а то, что нынешним временам не в диковинку, останется и на будущее, что люди низкого звания, однако ж усердные на войне достигают высоких почестей, как то бывало и в древности. Тамерлан¹¹ стал могущественным властелином, наводившим страх на вселенную, а до того пас свиней. Агафокл, тиран Сицилии,¹² — сын горшечника; Телефас, возница, стал царем Лидии;¹³ отец императора Валентиниана¹⁴ был канатный мастер; Маврикий Каппадокиец¹⁵ — крепостной, а после Тиберия стал императором; Иоанн Цимисхий¹⁶ сменил школьную указку на скипетр. Флавий Вописк¹⁷ свидетельствует, что император Боноз¹⁸ был сыном бедного учителя, Гиперболус,¹⁹ сын Гермидуса, сперва был фонарщиком, а потом князем в Афинах; Юстинус,²⁰ правивший перед Юстинианом, до того, как стать императором, пас свиней; Гуго Капет,²¹ сын мясника, впоследствии король Франции; Пизарро²² также свинопас, а потом маркграф Вест-Индии, бочками меривший золото».

Фельдфебель отвечал: «Все сие слышать мне весьма любо, однако ж вижу я, что все лазейки, через кои могли бы мы достичь того или другого высокого чина, закрыты от нас знатью. Дворян, едва они вылупились на свет, тотчас сажают на такие места, на которые мы и в мыслях посягать не смеем, хотя бы того больше заслужили, нежели иной дворянчик, коего ныне производят в полковники. И подобно тому как среди

мужиков гибнет много благородной остроты ума, ибо по недостатку средств они не упражняются в науках, также дряхлеет под своим мушкетом иной доброй солдат, что по справедливости заслужил быть полковником и может оказать полководцу многие полезные услуги».

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций в лесу письмоце обретает,
Пустыню затем не к добру покидает.*

Долее слушать старого сего осла я не захотел, а пожелал ему всего того, на что он сетовал, ибо он частенько лупил бедных солдат, словно собак. И я снова воззрел на деревья, коими вся местность была покрыта, и увидел, как они трепещут и сшибаются друг с другом; тогда сыпались с них градом молодцы, разом треск и падение, вдруг жив и мертв, за единый миг, кто без руки, кто без ноги, а иной без головы. И когда я сие узрел, то возомнилось мне, что совокупные те деревья были единым только древом, простершим сучья свои над всю Европою, а на вершине его восседал бог войны Марс. И, как я полагал, то древо могло своею тенью покрыть весь мир; но понеже зависть и злоба, подозрительность и недоброхотство, спесь, гордыня и скупость, а также иные схожие с ними добродетели обдували его, подобно суровым северным ветрам, то казалось оно весьма жиденьким и реденьким, а того ради на стволе написаны были следующие вирши:

Могучий дуб от бури надломился
И, сучья потеряв, к погибели склонился.
Когда в усобице на брата брат пойдет,
Весь свет в сумятице вверх дном перевернет.

Пресильный шум вредоносных сих ветров и треск обламываемых сучьев пробудили меня ото сна, и увидел я, что нахожусь один в хижине. А посему начал снова размышлять и раскидывать своим умишком, что же мне надлежит предпринять. Оставаться в лесу было мне никак невозможно, ибо все начисто было унесено, так что я не мог далее себя прокормить; и вокруг только и было, что несколько разбросанных и валявшихся как ни попадя книг. И когда я весь в слезах собирал их снова, призывая в мыслях господа, да направит он меня и руководит мною на том пути, коим надлежит мне следовать, то нечаянно обрел письмоце, написанное отшельником еще при жизни, и оно гласило: «Любезный Симплициус, как только найдешь ты сие письмо, тотчас же оставь лес и спасай себя и священника от нынешних бед, ибо он содеял мне много

добра. Бог, на коего ты должен всегда взирать с упованием и прилежно ему молиться, приведет тебя к месту, где будет тебе благо. Однако никогда не отвращай взора твоего от господа и прилежай к тому, чтобы всечасно служить ему, как если бы ты все еще был со мною в лесу. Пещись и непреложно поступай по сему последнему моему совету и тем спасешься. Vale!».¹

Бессчетное число раз оцеловал я письмо и могилу моего отшельника и без дальнейших промедлений отправился в путь искать людей, покуда не найду; и так шел два дня прямою дорогою вперед и, где заставала меня ночь, искал дуплистое дерево, чтобы залезть в него на ночлег, а пищу служили мне буковые желуди, которые я собирал дорогою. На третий день вышел я неподалеку от Гельнгаузена² в открытое поле; там снедал я, словно на брачном пиру, ибо повсюду лежали тучные снопы, которые крестьяне по счастью для меня не успели свезти, ибо их рассеяла знаменитая битва при Нёрдлингене.³ В один из этих снопов я и забрался на ночь, ибо стояла жестокая стужа, и утолил голод, вылушив из колосьев пшеничные зерна, что было для меня деликатнейшим блюдом, ибо ничего подобного я уже давно не едал.

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплициус ищет лучшую долю,
А сам попадает в злую неволю.*

А когда рассвело, то, подкрепившись снова пшеничными зернами, отправился я первым делом в Гельнгаузен и нашел врата его открытыми, частью погоревшими и, однако, еще наполовину ошанцованными навозом. Я прошел их, но нигде не приметил ни единой живой души; напротив того, улочки повсюду были усеяны мертвыми телами, причем некоторые были догола раздеты. Бедственное сие зрелище представило очам моим ужасающий *spectaculum*,¹ как то каждый себе вообразить может; по моей простоте, не мог я уразуметь, каким несчастьем это место приведено в такое состояние. Но вскорости я узнал, что имперские войска захватили тут врасплох веймарских и столь жестоко их отделили. Не прошел я по городу самой малости, на два швырка камнем, как уже до сыта на все посмотрелся; того ради обратился вспять и вышел через ближайший луг на добрую проезжую дорогу, которая и привела меня к знатной крепости Ганау.² Едва только заприметил я стражу, то решил дать стрелача, но меня тотчас же настигли два мушкетера, схватили и свои околки в караульню.

Прежде чем приступлю я к рассказу, что случилось со мною далее, должен я описать читателю тогдашнее курioзное мое обличье, ибо платье мое и ухватки были до чрезвычайности странны, диковинны и претительны, так что губернатор даже повелел намалевать меня красками. Во-первых, волосы мои за полтора года ни на греческий, ни на немецкий, ни на французский лад не были ни стрижены, ни причесаны, ни завиты, ни взбиты, а торчали во все стороны в природном своем беспорядке, усыпанные вместо пудры, муки или тупейного порошку (какое дурачество в заводе у щеголей и щеголих) более чем годовалою пылью, с таким изяществом, что выглядывал я из-под них, словно сыч, норовивший укусьить или подстерегавший мышь. И так как я всегда ходил с непокрытою головою, а волосы от природы были у меня кучерявыми, то приняла такой вид, как если бы я напялил турецкий тюрбан. А все прочее одяние с главным тем украшением было согласно; ибо на мне был кафтан отшельника, когда бы только я мог еще его называть кафтаном, коль скоро сукно на первом платье, которое для него скроили, совершенно истлело, и ничего от него не осталось, кроме одной только формы, каковая и являла себя очам из несчетного множества лоскутов различного цвета и всяческих заплаток и наставок, сшитых вместе и насаженных одна на другую. Сверх сего выношенного и многократ чиненного кафтана носил я вместо епанчи власяницу (отпоров рукава и употребив их вместо чулок); тело мое было обвито железными цепями, уложенными крест-накрест на груди и лопатках, очень красиво, как обыкновенно изображают святого Вильгельма,³ так что я, почитай, был схож с теми, кто побывал в плену у турок и странствует по земле, собирая подаяния на выкуп своих друзей. Башмаки мои были вырезаны из дерева, а завязки к ним сплетены из лыка; а ноги такие красные, как вареные раки, словно на них надели чулки испанской лейб-гвардии или выкрасили фернамбуком.⁴ Мнится мне, что попади я тогда к какому-нибудь фигляру, площадному лекарю или бродяге и объяви он меня самоедом или гренландцем, то повстречал бы немало дураков, которые, раззевавшись на меня, оставляли бы по крейцеру. И хотя всякий разумный человек по моему тощему изголодавшемуся виду и нерадивому платью без труда заключить мог, что я не сбежал ни с поварни, ни из девичьей, ни со двора какого-нибудь знатного господина, однако я строжайшим образом был допрошен в караульне, и подобно тому как солдаты пялили на меня глаза, так и я тарашился на нелепый наряд их офицера, перед коим должен был речь и ответ держать; я не знал, то ли это он, то ли она, ибо волосы и бороду носил он на французский манер; длинные косы висели на обе стороны, словно кобыльи хвосты, бороденка была так презжалостно обкорнана и ободрана, что только и осталось под носом торчать немного волос, таких коротких, что едва можно было их приметить. Не меньше того повергали меня в сомнение — какого же все-таки он пола — его широченные шаровары, которые представлялись мне скорее жен-

скою юбкою, нежели мужскими штанами. Я помыслил про себя: когда мужеск пол, то должна у него быть настоящая борода, ибо сей шут не столь молод, как хочет то показать. А когда он женск пол, то отчего устарой потаскухи на роже так много щетины? Вестимо, то баба, ибо ни один честной муж не дозволит так непотребно окорнать и изуродовать свою бороду; ибо даже козлы, ежели им подрежут бороды, от превеликой стыдливости не пристають к чужому стаду. А посему пребывал в сомнении и не ведал, что ныне пошла такая мода, решил, что то мужчина и женщина в едином лице.

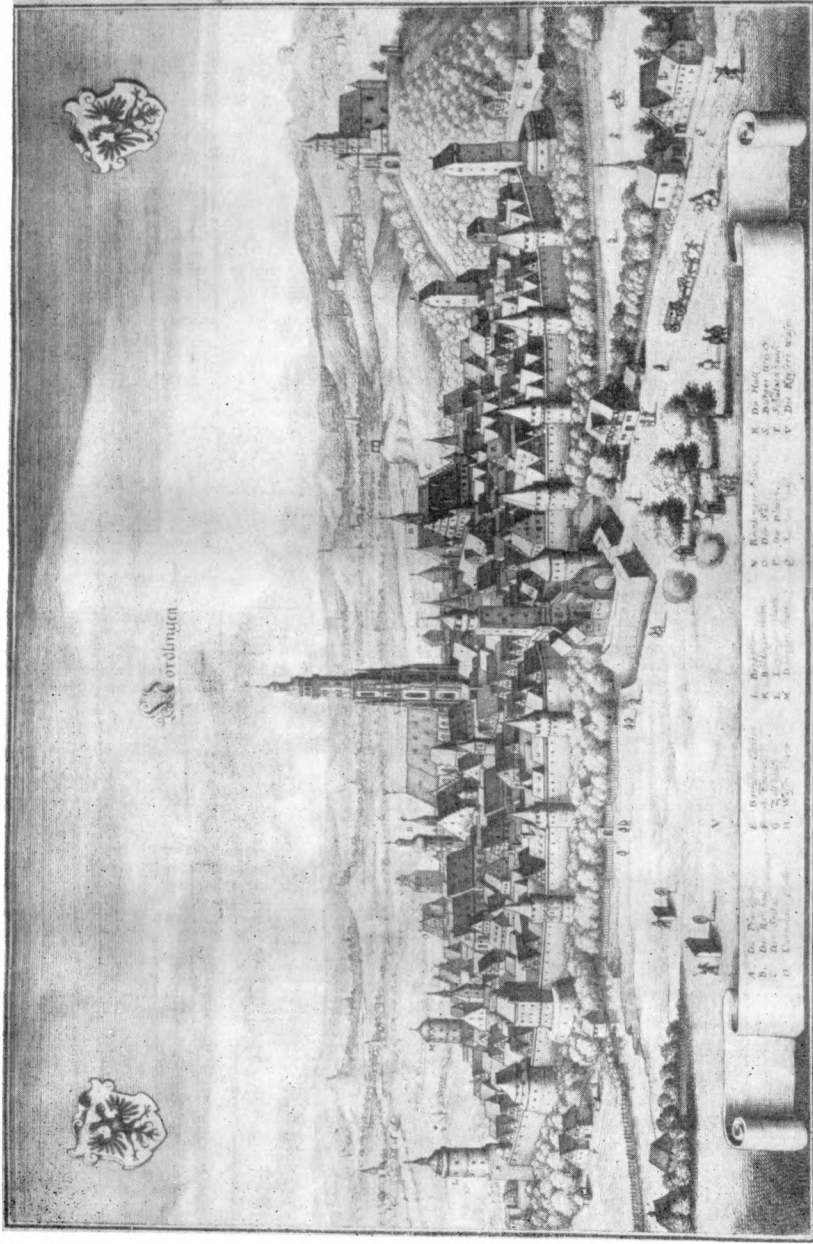
Сей женомуж, или мужежен, как он мне мнился, велел меня всего обыскать, однако ж ничего не нашли, как только книжицу на бересте, куда я вписывал свои каждодневные молитвы и где была также положена цидулька, оставленная мне на прощание благочестивым отшельником, как о том сообщалось в предыдущей главе. Сию книжицу он отобрал у меня, но так как я ни за что не хотел с нею расстаться, то пал ему в ноги, обхватил его колени и сказал: «Ах, любезный мой гермафродит, оставь мне мой молитвенник». «Ты дурень, — ответствовал он, — какого черта ты взял, что я зовусь Германом?». Затем повелел он двум солдатам отвести меня к губернатору, передав им и сказанную книжицу, понеже сей фантаст, как я тотчас приметил, сам ни читать, ни писать не разумел.

Итак, меня отвели в город, и всяк бежал за мною следом не иначе, как если бы везли на показ морское чудо; и подобно тому как всяк хотел получше меня увидеть и точнейшим образом рассмотреть диковинную мою фигуру, так каждый и судил обо мне особливо. Иные почитали меня шпионом, другие безумцем, а некоторые дикарем, а то и призраком, привидением и еще нивесть каким чудом, означающим что-нибудь особое. Были и такие, что приняли меня за дурня; и они-то, пожалуй, и впрямь попали бы в цель, когда я ничего не знал бы о преблагом боге.

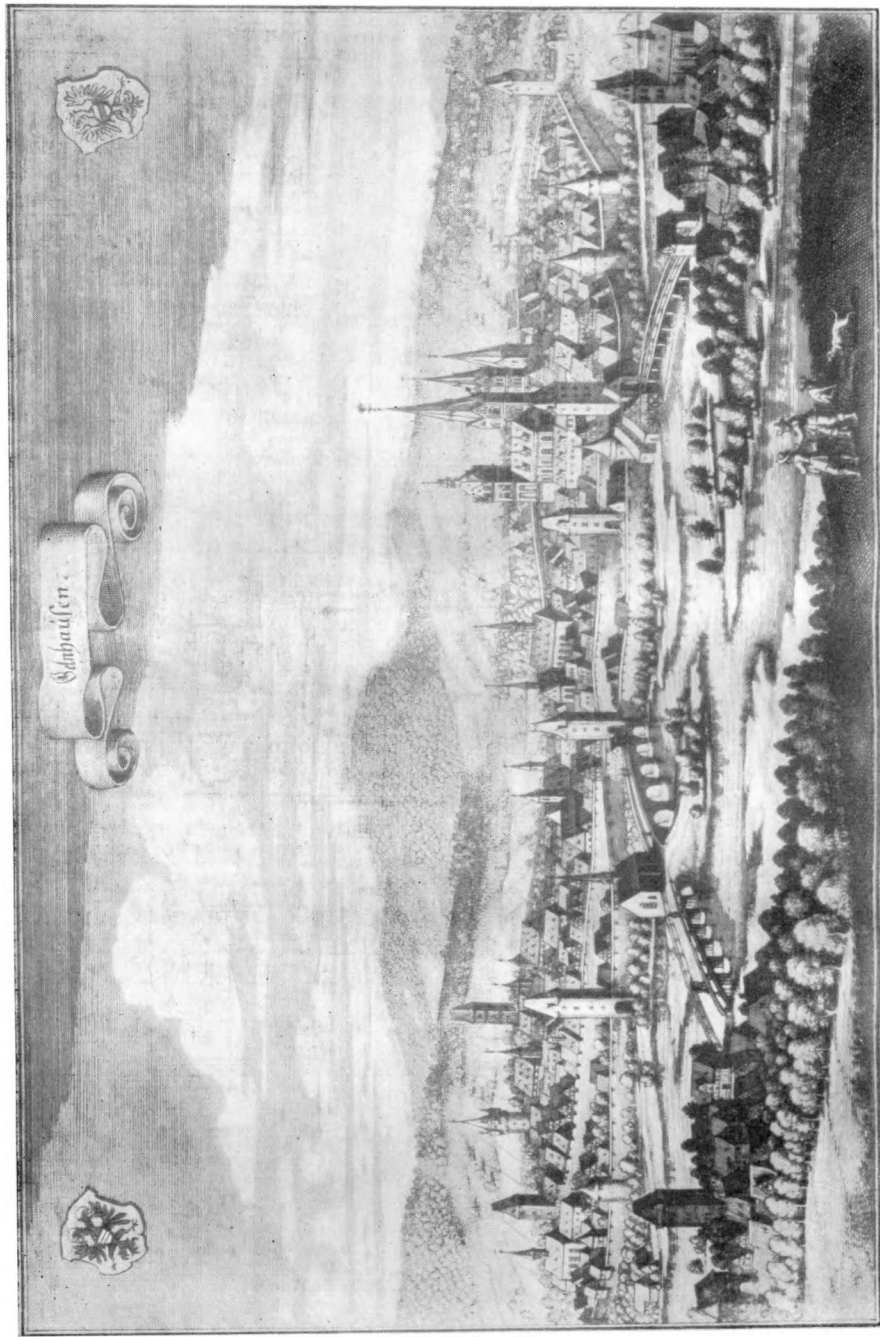
ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций понуро шагает в тюрьму,
По счастью священник попался ему.*

Когда я был приведен к губернатору,¹ то спросил он меня, откуда я пришел. Я же ответил, что не знаю. Он спросил далее: «А куда ты путь держишь?». Я же опять ответил: «Не знаю». «Какого же ты беса знаешь? — воскликнул он. — Что у тебя за промысел?». Я отвечал, как и прежде, что не знаю. Он спросил: «А где твой дом?», и когда я снова ответил, что не знаю, то переменялся он в лице, только вот я не понял, от ярости или удивления. Но как всякий имеет обыкновение подозревать



Вид города Нёрдлингена. Гравюра из книги «Торгогарнія Швеіае» Матиаса Мериана (Франкфурт на Майне, 1643). Экземпляр БАН.



Вид города Гельнгаузена. Гравюра из «Топография Нассиае» Магиса Мериана (Франкфурт на Майне, 1635). Экземпляр БАН.

недоброе, особливо же вблизи неприятеля, который только что, как было сказано, прошлой ночью овладел Гельнгаузенем и истребил там полк драгун, то запала ему в ум та же мысль, как и другим, которые почли меня предателем и лазутчиком, а посему приказал он меня обыскать. А когда он узнал от солдат, которые меня к нему привели, что сие уже было произведено и при мне ничего не найдено, кроме некоей книжицы, каковая ему тотчас была представлена, и он, прочитав в ней несколько строк, спросил, кто мне ее дал. Я же ответил, что она с самого начала была моею, ибо я сам ее смастерил и переписал. Он спросил, почему именно на бересте. Я отвечал, что кора от других деревьев к сему непригодна. «Ты бездельник, — сказал он, — я спрашиваю, чего ради ты не писал на бумаге?». «Эва! — ответил я, — да ведь бумаги-то у нас в лесу не было». Губернатор спросил: «Где, в каком это лесу?». Я же снова ответил на старый лад, что не знаю.

Тогда губернатор обратился к нескольким офицерам, которые его дожидались, и сказал: «Либо он превеликий плут, либо вовсе дурень. Хотя дураком он быть не должен, коли так пишет». И меж тем, говоря сие, столь усердно листал книжицу, чтобы показать мой почерк, что из нее выпало письмецо отшельника. Губернатор велел его поднять; я же побледнел, ибо оно было величайшим моим сокровищем и святынею, что губернатор отлично приметил, и оттого еще больше возымел подозрение, что тут не без предательства, особливо же когда раскрыл письмо и прочел; тогда он сказал: «Я знавал этот почерк и знаю, что это рука хорошо мне известного офицера, только вот не припомню которого». Также и содержание письма показалось ему весьма странным и невразумительным, ибо он сказал: «Сие, нет сомнения, условленная речь, которую никто понять не может, кроме тех, кто о ней условился». Меня же он спросил, как звать, и как только я ответил: «Симплициус», то сказал: «Да, да, ты и впрямь изрядное зелье! Убрать его с глаз долой, заковать по рукам и ногам в кандалы, чтобы повытянуть из него потом что-нибудь другое». Итак, отправившись со мною оба помянутых выше солдата к новому, уготованному для меня убежищу, сиречь в темницу, и препоручили меня смотрителю, который, согласно приказу, украсил мои руки и ноги железными браслетами и цепями, как если бы мне недовольно было тех, коими я уже препоясал свое тело.

Сего начала, коим приветствовал меня мир, было ему недовольно, ибо в скорости пришли палач и помощники профоса с ужасающими орудиями пыток, кои, невзирая на то что я утешал себя своею невиновностью, жестоко усугубили бедственное мое положение. «О, боже! — сказал я самому себе. — Поделом мне сие! Симплициус того ради ушел в мир, оставив служение богу, дабы сей монстр христианства достойную принял награду, которую заслужил своим безрассудством. О, ты злополучный Симплициус! Куда заведет тебя твоя неблагодарность? Смотри, едва бог

вразумил тебя к познанию его и служению ему, как убегаешь ты от сего служения и обращаешься к нему спиною! Разве не было у тебя вдоволь желудей и стручков, чтобы, питаясь ими, невозбранно служить создателю своему? Разве не знал ты, что твой праведный отшельник и наставник бежал от мира и избрал себе пустыню? О безглавый чурбан! Ты покинул пустыню в надежде удовольствоваться постыдную свою страсть узреть мир. Но вот смотри, когда мнил ты, что будешь услаждать взор свой, принужден ты в опасном сем лабиринте пропасть и погибнуть. Разве ты, неразумный простака, не мог наперед помыслить, что покойный твой предшественник не променял бы радостей мира на суровую жизнь в пустыне, когда чаял бы в нем достичь истинного мира, надежного покоя и вечного блаженства? О, бедный Симплициус! теперь ступай и прими награду за тщеславные свои помыслы и дерзостное сумасбродство! И не смеешь ты ни сетовать на оказанную тебе несправедливость, ни утешаться своею невиновностию, ибо сам себе ты стал палачом и поспешил на сретенье уготованной тебе смерти и сам накликал себе предстоящее несчастье!». Так пенял я на самого себя, молил бога о прощении и предавал ему свою душу.

Меж тем приблизились мы к воровской башне, и когда нужда особо велика, то и помощь близка. Ибо когда я, окруженный стражниками, при великом стечении народа стоял перед темницею, дожидаясь, когда ее отворят и введут меня туда, то и священник, чья деревня недавно была разграблена и сожжена, захотел поглядеть, что тут происходит (ибо и он сам недавно был взят под стражу). И когда он выглянул в окошко и завидел меня, то закричал во все горло: «О, Симплициус! ты ли это?». А когда я услышал и увидел его, то иначе не мог, как воздеть к нему руки и завопить: «Отче! Отче! Отче!». Он же справился, что я натворил? Я отвечал, что не знаю; верно, привели меня сюда за то, что я убежал из лесу. А когда он узнал от стоявших вокруг, что меня принимают за лазутчика, то попросил повременить со мною, покуда он не уведомит о моих обстоятельствах губернатора, ибо сие может послужить равно как моему, так и его освобождению и избавить от кары, грозящей нам обоим, ибо он знает меня лучше, нежели кто другой на свете.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

*Симплициус после тяжких невзгод
Нечаянно зажил средь важных господ.*

Ему дозволили пойти к губернатору, а по прошествии получаса потребовали также и меня и отвели в людскую, где уже ожидали двое портных, сапожник с башмаками, торговец со шляпами и чулками и еще купец

с различным платьем, чтобы поскорее меня приодеть. Тут совлекли с меня мой до лохмотьев изношенный и повсюду залатанный пестрыми лоскутами кафтан вместе с цепями и власяницею, чтобы портной мог снять с меня надлежащую мерку. Потом явился цирюльник с едким щелоком и благовонным мылом; но едва только он собрался показать на мне свое искусство, как вышел новый приказ, повергший меня в жестокий страх, ибо гласил, что должен я немедля сызнова облачиться в старое свое одеяние. Однако ж в том не было худого умысла, как я того опасался; ибо тут подошел живописец с предметами своего ремесла, а именно: суриком и киноварью для моих век, лаком, индиго и лазурью для моих кораллово-красных уст, аврипигментом, сандаракон и свинцовой желтью для моих белых зубов, оскаленных от голоду, сосновой сажею, углем и умбрий для белокурых моих волос, белилами для страшных моих глаз и множеством еще иных красок для пестроцветного моего кафтана;¹ также был у него целый ворох кистей. Сей зачал меня оглядывать, обрисовывать, контуровать, отводя голову в сторону, дабы пристальней сравнить свою работу с моим обликом. То подправлял он глаза, то волосы, то дорисовывал ноздри, одним словом, все то, что поначалу было сделано им неисправно, покуда, наконец, не удалось ему запечатлеть натуральнейший образ Симплициуса, каким он был, так что даже я сам, гляючи на отвратительный свой облик, немало ужасался. Тогда только дозволили подступить ко мне цирюльнику; он вымыл мне голову и добрых полтора часа приводил в порядок мои волосы, а потом подрезал их по тогдашней моде, ибо они были у меня в преизбытке. Затем отвел он меня в горенку для мытья и очистил мое тощее и замороженное тело от более чем трех- или четырехгодовой нечистоты. Едва покончил он с этим делом, как принесли мне белую рубаху, башмаки и чулки, также брыжи или воротник, шляпу и перо; штаны были искусно сшиты и отделаны позументами, недоставало только камзола, над коим трудился с великой поспешностью портной. Повар принес укрепляющую похлебку, а погребщица напитки. И сидел господин Симплициус разряжен в пух и прах, как некий граф. Я смело поедал все, что мне ни подавали, невзирая на то что не знал, что со мной потом будет, ибо не ведал тогда еще о последнем обеде перед казнию. А посему, вкушая сие великолепное начало, испытывал я толикую приятность и отраду, что не мог бы того никому довольно изъяснить, нахвалить и прославить. И я не думаю, что когда-либо в жизни получил большую усладу, нежели тогда. Как только камзол был готов, напялил я его на себя, являя в новом сем платье столь неловкую фигуру, словно некий трофеум² или разряженная огородная жердь, ибо портные постарались сшить его пошире в надежде, что я в короткое время раздобрею, в чем они и не ошиблись, ибо от столь приятного столования и лакомых кусков толстел я прямо на глазах. А лесное мое одеяние вместе с веригами и всем прочим было помещено

в кунсткамеру наряду с другими редкостными вещами и древностями, а рядом выставлен мой портрет во весь рост.

После ужина уложили господина (коим был я) в постель, в какой никогда не доводилось мне поживать ни у моего батьки, ни у отшельника; однако мое брюхо ворчало и роптало во всю ночь, так что не давало мне спать, может статься, не по какой иной причине, как оттого, что не разумело еще, что благо, либо изумлялось доставшимся ему новым приятным кушаньям. Я же беспрестанно ворочался всю ночь, покуда вновь не засияло любезное солнце (ибо было холодно) и размышлял о диковинных испытаниях, выпавших мне в последние дни, и как преблагий бог оказал мне столь попечительную помощь и привел меня в надежное сие место.

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА

*Симплициус слышит, как после сраженья
Отшельник в пустыне обрел утешенье.*

Тем же утром велел мне гофмейстер тамошнего губернатора пойти к сказанному священнику и узнать от него, что говорил с ним его господин. Со мной отрядили стражника, который и проводил меня к священнику; тот же провел меня в свой кабинет или музей, сел и, усадив также меня, сказал: «Любезный Симплициус! Отшельник, с коим ты жил в лесу, был не только свояк здешнего губернатора,¹ но и лучший его споспешествователь в делах военных и ближайший друг. И как это было угодно губернатору, поведал он мне, что сей муж от самой своей юности никогда не отступал ни от геройской доблести солдата, ни от набожности и благочестия, присущих скорее служителю бога, каковые две добродетели весьма редко вместе обретаются. Духовные помыслы и неблагоприятные события стеснили, наконец, его на пути мирского благополучия, так что он презрел знатный свой род и наследованные им богатые имения в Шоттенландии² и оставил их, ибо нашел он, что все дела мира тщетны, суетны и преходящи. Одним словом, он уповал сменить нынешнее величие на будущую славу, понеже его высокий дух наскучил всем временным великолепием, и все чаяния и помышления его были устремлены к той бедственной жизни, какую он вел в лесу, когда ты повстречал его и был ему сотоварищем до самой его смерти. По моему разумению, склонило его на то чтение многих папистских книг о житии древних отшельников (или же так же изменчивое и превратное счастье).

Я не хочу также утаить от тебя, как он попал в Шпессерт и, следуя своему желанию, прилепился к тому бедственному пустынножительству,

дабы и ты в будущем мог поведать о том другим людям. На следующую ночь, после того как была потеряна кровопролитная битва при Хёхсте,³ пришел он один-одинехонек к моему приходскому дому, как раз под утро, когда я только что уснул вместе с женою и детьми, ибо от превеликого шума в той местности, какой обыкновенно поднимают в подобных случаях бегущие и преследующие, всю прошлую и половину этой ночи мы прободрствовали. Он сперва чинно постучал, а потом и довольно нетерпеливо, покуда не пробудил меня и заспанную челядь; и когда я после его просьбы и немногих слов, взаимно учтивых, отворил дверь, то увидел кавалера, слезавшего с доброго коня; его дорогое платье было столь же залито вражеской кровью, как и убрано золотом и серебром, и так как он все еще сжимал в руке обнаженную шпагу, то объял меня страх и трепет. Когда же он вложил меч в ножны и не изъявил ничего, кроме редкостной учтивости, то подал и мне причину изумиться, как это столь знатный господин у столь ничтожного деревенского священника так приветливо просит пристанища. По его красивой стати и великолепному виду почел я его за самого Мансфельда.⁴ Он же сказал, что на сей раз он не только сравнялся с ним в благополучии, но и превзошел его. Три предмета оплакивал он, а именно: 1) потерянную жену, брюхатую на последнем месяце, 2) потерянную битву и 3) что ему не выпало счастье, подобно многим другим честным солдатам, во время этой битвы лечь костями за святое Евангелие. Я хотел его утешить, но вскоре заметил, что его великодушье не нуждается в утешении; а посему поделился я с ним всем, чем только располагал мой дом, и велел постелить ему солдатскую постель из свежей соломы, ибо он не пожелал почивать ни на какой иной, хотя и весьма нуждался в покое. На следующее утро он первым делом подарил мне своего коня и деньги (ибо имел он при себе немало золота), а также роздал моей жене, детям и челядинцам несколько драгоценных перстней. Я же не знал, как мне о том рассудить, и не мог сразу с ним сообразоваться, ибо у солдат в обыкновении скорее брать, нежели давать; того ради колебался в мыслях, следует ли мне принимать столь богатые подношения, и приводил в извинение, что вовсе того не заслужил и заслужить не сумею; к тому еще присовокупил, что когда увидят у меня и моих домашних такое богатство, особливо же дорогого коня, коего и скрыть невозможно, то многие подумают, что я ограбил господина, а то и пособил убить. Он же сказал, что я должен о том отложить попечение, ибо он отвратит от меня подобные наговоры, удостоверив все собственноручным письмом; и он даже захотел оставить в моем доме свою рубашку, не говоря уже об остальном платье. И с тем открыл он мне свое намерение стать отшельником. Я же противился ему из всех сил, ибо мне мнилось, что такое предприятие отдает папешством, и я увещевал его, напоминая, что он лучше может послужить Евангелию своим мечом. Но тщетно, ибо он так долго меня упрашивал и уламывал, покуда

я не уступил ему во всем и не снабдил его теми книгами, изображениями и утварью, которые ты у него видел, хотя он пожелал за все, что он мне пожаловал, получить одно только шерстяное одеяло, коим он укрывался в ту самую ночь, когда спал у меня на соломе; из него-то он и велел сшить себе кафтан. Также принужден был я мою тележную цепь, которую он потом беспрестанно влачил на себе, сменить ему на золотую, а на ней носил он портрет возлюбленной своей жены, так что не осталось у него больше ни денег, ни чего-либо, стоящего денег. Мой работник отвел его в самую чащу леса и пособил поставить там хижину. А как провождал он там свои дни и в чем я ему иногда подавал руку помощи и ссужал его, знаешь ты довольно, а то и лучше, нежели я сам. После того как недавно была проиграна битва при Нёрдлингене, и я, как ты знаешь, начисто был ограблен и притом еще и покалечен, то бежал сюда в поисках безопасности, ибо и без того уже хранил здесь лучшие свои вещи. И когда у меня разошлись наличные деньги, то взял я три кольца и сказанную золотую цепь с висевшим на ней медальоном, которые все получил от твоего отшельника, понеже тут был и его перстень с печатью, и отнес к одному еврею на продажу; он же ради искусной работы предложил их купить губернатору, а тот сразу признал герб и портрет, послал за мною и спросил, откуда у меня такие драгоценности. Я поведал ему всю правду, представил собственноручную грамоту, или дарственное письмо, отшельника и рассказал по порядку все, как было, также и о жизни его в лесу и о смерти. Однако губернатор ничему тому не захотел поверить и посадил меня под арест до тех пор, покуда он не разузнает всю правду; и меж тем как он собирался выслать развезд, чтобы достоверно осмотреть хижину отшельника и доставить тебя сюда, как увидел я, что тебя ведут в башню. И понеже у губернатора отныне нет причины сомневаться далее в моих словах, ибо я указал место, где жил отшельник, item сослался на тебя и многих других живых свидетелей, особливо же на моего пономаря, который часто еще до рассвета впускал тебя и его в церковь, а к тому же еще и письмецо, которое нашел он в твоём молитвеннике, не только подтвердило всю правду, но и послужило изрядным свидетельством святости покойного отшельника, то и решил он ради блаженной памяти свояка сотворить нам добро и щедро позаботиться о нас, сколь только ему возможно. Ты должен теперь только рассудить, что тебе пожелать, дабы он это для тебя исполнил. Захочешь ты упражняться в науках, он покроет все необходимые к тому издержки; возымеешь ты охоту обучиться какому-либо ремеслу, он велит обучить тебя; а пожелаешь ты остаться у него, то взрастит он тебя, как родное дитя, ибо он сказал, что, когда бы у покойного его свояка остался хотя бы пес и пришел к нему, он приютил бы и пса». Я же ответил, что мне все едино, как поступит со мною господин губернатор, так мне и будет любезно и придется по нраву.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА

*Симплициус жизнь начинает наново,
Становится пажем у коменданта в Ганау.*

Прежде чем отправиться со мною к губернатору, чтобы сказать ему о моем решении, священник промышкал в наемном своем покое до десяти часов, чтобы попасть на обед, ибо губернатор держал открытый стол. Крепость Ганау находилась тогда в осаде, и время для простых людей, особливо же для беженцев, укрывшихся за ее стенами, было столь стесненное, что даже те, кои немало мнили о себе, не гнушались подбирать мерзлые очистки от репы, которые иногда выбрасывали в переулках богачи.¹ И ему посчастливилось занять место рядом с самим губернатором, я же прислуживал с тарелкою в руках, как мне указал гофмейстер, в чем был столь же ловок, как осел в шахматах или свинья на варгане. Однако священник своими речами восполнил то, чего не дозволяла неуклюжесть моего тела. Он сказал, что я, возвращенный в пустыне, никогда не был среди людей, а посему вполне простительно, что я еще не уразумел, как мне себя вести надлежит; верность, которую я оказал отшельнику, и суровая жизнь, какую я претерпел с ним, поистине удивления достойны и уже по одному тому заслуживают не только того, чтобы терпеливо сносить мое неуклюжество, но и предпочесть меня самому благовоспитанному пажу. Далее поведал он, что я был единственной отрадой и утешением отшельника, который весьма благоволил ко мне, ибо, как он часто говаривал, я был весьма схож лицом на его возлюбленную жену и он нередко дивился моему постоянству и непоколебимой воле оставаться с ним в пустыне и еще многим другим добродетелям, которые он у меня находил и прославлял. Короче, он не находил слов, чтобы передать, с какой душевной горячностью препоручил он меня ему, священнику, и открыл ему, что любит меня столь же сильно, как свое родное чадо. Сие столь приятно было моему слуху, что я считал себя довольно вознагражденным за все, что когда-либо перенес, живя у отшельника. Губернатор же спросил, разве его блаженной памяти свояк не знал, что он теперь командир в Ганау? «Конечно, — отвечал священник, — я сам сказал ему. Однако он выслушал это столь холодно (правда, с лицом радостным и со слабою улыбкою), как если бы никогда не знал Рамзая, так что я, когда размышляю о сем предмете, то дивлюсь постоянству сего мужа и твердому его намерению, как мог он столь совладать со своим сердцем и не только отречься от мира, но и от своего лучшего друга, находившегося в такой близости, и даже выбросить его из ума». У губернатора, который во всем прочем вовсе не отличался бабьим мягкосердечием, а был храбрым и доблестным солдатом, глаза были полны слез. Он сказал: «Когда бы я знал, что он еще жив и где его можно сыскать, то велел бы

доставить его сюда против его воли, дабы вознаградить его за его добрые дела, но коль скоро счастье мне в том не благоприятствует, то хочу я вместо него позаботиться о Симплициусе и таким образом оказать себя благодарным хотя бы по смерти отшельника». «Ах, — промолвил он далее, — сей честный кавалер изрядную имел причину оплакивать беременную свою жену, ибо она была взята в плен во время погони отрядом имперских всадников и также в Шпессерте. Когда я об этом услышал и полагал, что мой свояк пал в битве при Хёхсте, то немедленно выслал к противнику трубача, чтобы справиться о сестре и предложить выкуп, однако ж не добился этим ничего, а только узнал, что сказанный отряд всадников был рассеян в Шпессерте крестьянами и в том сражении сестра моя была ими потеряна, так что я и посейчас не ведаю, куда она подевалась».

Сии и подобные речи вели губернатор и священник, вспоминая во время застольной беседы об отшельнике и возлюбленной его жене, каковая супружеская чета тем большего сожаления была достойна, что соединены они были всего один год. А я стал пажем губернатора и столь важной птицей, что люди, особливо простые мужики, когда я должен был доложить о них моему господину, уже величали меня господин Мальчик, хотя и редко можно увидеть малого, который был бы господином, куда скорее господина, который до того был малым.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

*Симплиций казнит беззаконие мира,
Где каждый избрал себе злого кумира.*

В то время не было у меня большего сокровища, нежели чистая совесть и прямодушный благочестивый нрав, коим сопутствовала и прилежала простота и благородная невинность. О грехах я знал не более того, что довелось мне услышать или прочитать, и когда узрел их воочию, то было это для меня делом диковинным и устрашительным, ибо я взращен и приоблек к тому, чтобы непрестанно созерцать присутствие бога и прилежно следовать его святой воле; и понеже я знал ее, то и судил по ней о поступках и помыслах людей. И в сем упражнении мнилось мне, что вижу я одну только суетную мерзость. Боже правый! Как изумлялся я поначалу, когда размышлял о Ветхом и Новом завете и всех неложных увещаниях Спасителя и в противность им созерцал дела тех, кто объявлял себя его учениками и последователями! О, горе! Вместо прямодушного мнения, какое должно быть у всякого христианина, нашел я у всех, преданных плотским помыслам мирян одно лишь суетное притворство и не-

счетное множество всяких иных дурачеств, так что усомнился, впрямь ли вижу перед собою христиан или нет? Ибо с легкостью мог приметить, что многие знают строгую волю господя, однако ж видел, что никто строго ей не следует.

Итак, родился в уме моем тысячи различных воображений и диковинных мыслей, и я впал в великий соблазн и преступил заповедь господню, которая гласит: «Не судите, да не судимы будете». Тем не менее пришли мне на память слова апостола Павла в послании к галатам в пятой главе: «Дела плоти известны, они суть: прелюбодейние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распря, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, обжорство и иные тому подобные, от коих я вас предостерегал прежде и предостерегаю теперь, что поступающие так царствия божия не наследуют!». Тут я помыслил: «Сие творит ведь почти всяк явно, для чего же не положиться мне чистосердечно на слова апостола, что не всякий наследует жизнь вечную?».

Наряду с гордыней и корыстью и их достопочтенными приспешниками каждодневным упражнением людей с достатком было пьянство и обжорство, распутство и волокитство; более же всего ужасала меня такая мерзость, что многие, особливо же простые солдаты, коих не имели обыкновения строго карать за пороки, вменяли в шутку и свое безбожие, и самое пречистую волю господню и нарочито геройски над нею глумились. К примеру, услышал я однажды прелюбодей, который еще хотел похваляться содеянным и говорил такие безбожные слова: «Поделом терпеливому рогоносцу, что он мною рогами изукрашен, и, по правде, я свершил сие скорее ему в досаду, нежели его женке в усладу, чтобы ему порядком отомстить». «О, низкая месть! — возразила ему честная душа, что стояла рядом. — Через то сквернят собственную свою совесть и получают постыдное имя прелюбодей!». «Чего, прелюбодей? — отвечал он с поносительным смехом. — Да я для одного того не прелюбодей, сиречь браколом, что не ломал, а только малость погнул. А прелюбодей-то те, о которых речет шестая заповедь, когда запрещает залезать в чужой сад и заламывать непочатую вишенку допреж хозяина». Итак, надобно разуметь, объявил он, согласно своему Катехизису дьявола седьмую заповедь, которая сие положение изъясняет явственно, когда речет: «Не укради».¹ Такие хулы извергал он во множестве, так что я украдкой вздохнул и подумал: «О, богохульствующий грешник! ты именуешь самого себя бондарем браков, который их гнет в обручи, а всеблагого бога называешь браколомом, ибо он смертию разлучает мужа и жену!». «Да рассудил ли ты, — воскликнул я с чрезвычайной горячностью и досадою, хотя и был он офицером, — что такими безбожными словами ты грешишь больше, нежели самим прелюбодейнием?». Он же ответил мне: «Заткни глотку, прохиндей! Уж не следует ли мне надавать тебе оплеух?».

И я полагаю, что нахватал бы немало горячих, когда сей малый не побаивался бы моего господина. Я же примолкнул, а впоследствии увидел, что то вовсе не в диковину, когда холостые зарятся на замужних, а замужние на холостых и, опустив все удила и поводья, предаются похотливым утехам.

Когда я еще вместе с отшельником изучал путь к вечному спасению, то дивился, чего ради запретил бог Израилю идолослужение, грозя столь суровыми карами, ибо полагал, что, кто однажды познал истинного предвечного бога, тот никогда не сотворит себе иного кумира, не поклонится и не послужит ему; итак, заключил по глупому своему разумению, что заповедь сия ненадобна и дана напрасно. Но, ах! Я, дурень, не ведал того, о чем размышлял; ибо едва только вступил в мир, то приметил, что (невзирая на сию заповедь) чуть ли не всяк тут избрал себе особенного кумира; а у некоторых их было куда больше, нежели у самых древних и новых язычников. Одни хранили его в ларцах, возлагая на него все свои упования и надежды; другие нашли его при дворе, где стал он единственным их прибежищем, хотя был всего лишь фаворитом, а нередко просто беспутной продажной шкурой, как и его поклонник, ибо вся воздушная его божественность покоилась на одном только благоволении принца, изменчивом, как апрельский ветер. Иные обретали его в почестях и мирской славе, и коль скоро их достигали, то мнили и самих себя полубогами. А еще иные поселили своего кумира в собственной голове, те именно, коим бог истинный даровал здравый ум, так что они способны были постичь различные науки и художества. Сии пренебрегали милостивым подателем всего и полагались на один только дар в надежде, что он доставит им всяческое благополучие. Было и много таких, кому идолом служило собственное их брюхо, коему они каждодневно приносили преизобильные жертвы, как в древние времена язычники Бахусу и Церере; а когда оно на что-либо досадовало или объявлялась еще иная какая телесная немощь, то страждущие ставили себе кумиром медика и с превеликим нетерпением и десперацией искали спасения жизни в аптеках, хотя там им нередко споспешествовали обрести смерть. Иные дурни творили себе кумиров из пригожих потаскушек, коих они нарекали другими именами, поклонялись им денно и ночью со многими вздохами и славали для них песни, где ровно ничего не было, кроме похвал им и смиренных молений, — да смилостивятся они над их сумасбродством и возжелают также стать дурами, подобно тому как они сами стали дураками.

Напротив того, находились женщины, которые нередко избирали своим божеством собственную красоту. «Сия то, — помышляли они, — уж, верно, доставит мне мужа, как бы там ни рассудилось богу вышнему». И сего кумира вместо прочих жертвоприношений каждодневно чтили и ублажали румянами, притираниями, примочками, присыпками и всякими там

еще мазями. Я видел людей, которые почитали божеством дома, расположенные на бойком месте, ибо они уверяли, что, пока живут там, счастье и довольство не покидает их, а деньги словно сыпятся в окошко, каковому дурачеству я весьма дивился, ибо ведал причину, по которой жители оных домов получают добрую прибыль. Я знавал одного малого, который лишился на несколько лет сна ради табачной торговли, ибо отдал ей свое сердце, чувства и помыслы, кои должны быть посвящены единому токмо богу; он же денно и ночью бесчисленное число раз вздыхал по своему кумиру, ибо через него обогатился. А чем кончилось? Сей фантаст помер и сам исчез, как табачный дым. Тогда помыслил я: «О, ты жалкий человек, ты, яко дым ничтожный исчезнувший! Когда бы ты столь же усердно прилежал к спасению твоей души и почитанию бога истинного, как и своему кумиру в образе бразильца со свитком табаку под мышкой и трубкою во рту, что был выставлен напоказ в твоей лавочке, то я неотменно уверен, что в жизни вечной ты унаследовал бы венец праведных». А еще у одного нечистого поОсла² были и вовсе непутевые божества; ибо когда в некоем обществе каждый рассказал, каким родом он во время столь ужасной дороговизны и презестокой голодовки жил и добывал себе пропитание, то он не обинуясь признался на внятном немецком языке, что улитки и лягушки были его божеством, а не будь их, то он принужден был бы помереть с голоду. Я же спросил сего дерьмоеда, а чем же был для него сам господь бог, который послал ему для его пропитания оных insecta?³ Однако пентюх не знал, что на это ответить, и я должен был тому еще более удивиться, ибо мне еще не доводилось нигде прочесть, чтобы у древних идолопоклонников в Египте или у новейших американцев когда-либо подобные гадины были объявлены божествами, как то учинил сей шут.

Однажды зашел я с неким благородным господином в кунсткамеру, где были собраны изрядные древности и редкости. И среди картин ничто мне так не полюбилось, как Esse Homo⁴, ради прежалостного изображения, которое тотчас же восхищает зрителя к состраданию. А рядом висело бумажное полотнище⁵, размалеванное в Китае, где во всем своем великолепии восседали китайские божества, часть коих была чертям подобна. Хозяин дома спросил меня, какой предмет в кунсткамере всего более мне полюбился? Я показал на помянутого Esse Homo. Он же заметил, что я ошибаюсь; китайская картина реже и того ради дороже, он не променял бы ее за десяток таких Esse Homo. Я ответил: «Господин! глаголят ли уста ваши от чистого сердца?». Он сказал: «Уж я-то знаю!». На что я молвил: «Итак, бог вашего сердца тот, чье изображение уста ваши признают самым драгоценным». «Фантаст! — сказал он. — Я эстимирую раритеты!». Я ответил: «Что же есть реже и достойнее удивления сына божьего, пострадавшего за нас, как представляет нам сия картина?».

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА

*Симплиций не может в злом мире ужиться,
А мир сердито на него косится.*

И насколько чтили сих и великое множество всяких иных кумиров, настолько же пренебрегали истинным величием Божиим; ибо ежели мне не доводилось повстречать никого, кто бы пожелал соблюсти слово и заповеди бога, то, напротив того, видел многих, кои во всем им противились, так что и мытарей (почитавшихся в те времена, когда Христос еще ходил по земле, самыми нераскаянными грешниками) превзошли в беззаконии. Христос же речет: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас; да будете сынами отца вашего небесного; ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, то что особенного делаете? Не так ли поступают и мытари?»¹ Однако я не сыскал никого, кто пожелал бы сей заповеди христовой последовать, но всяк поступал как раз напротив и делал все прямо наперекор. Сказано ведь: «Всякий сват — собаке брат!». И я нигде не встречал столько зависти, злобы, недоброхотства, раздоров и свары, как промеж братьев, сестер и других кровных родственников, особливо же когда им доведется делить наследство; тогда грызутся они целый год с таким ожесточением, что своею бешеною лихостию намного превосходят татар и турок.

Также и люди одного ремесла повсеместно ненавидят друг друга, что я мог увидеть воочию и посему заключить, что явные грешники, откупщики податей и мытари, которые за свою злобу и безбожие были от многих столь презираемы, и те в делах любви к ближнему намного превзошли нас, нынешних христиан, ибо сам Христос свидетельствует, что между собою жили они в полюбовном согласии. А посему я рассудил, что ежели мы лишены небесной награды за то, что не любим наших врагов, то какой же заслуживаем мы казни за то, что ненавидим наших друзей. Где надлежало быть великой любви и верности, там обрел я наибольшую измену и жесточайшую ненависть, раздор, гнев, вражду и несогласие. Иной господин бесчестил своих верных слуг и подданных; напротив того, многие подданные бесчестно плутовали у добросердечных господ. Непрестанные распри замечал я между супругами; иной тиран обходился с честною своею женою хуже, нежели с собакой; а иная беспутная потаскушка почитала своего добропорядочного мужа дураком и ослом. Многие наглые господа и мастера обманывали усердных своих слуг при выплате заслуженного ими жалованья и обделяли их в харчах; напротив того, видел я и много бессовестных челядинцев, которые воров-

ством и небрежением разоряли добронравных своих господ. Купцы и ремесленники, словно наперегонки, выколачивали проценты ростовщическими алебардами и различными фортелями и увертками выжимали мужиков до седьмого пота. Напротив того, и мужики нередко были столь безбожны, что когда с них не спускали шкуры, то так и норовили, прикинувшись простаками, насолить погорше ближним и даже самим господам. Однажды я увидел, как солдат отвесил другому здоровенную оплеуху, и вообразил, что побитый тотчас же подставит ему также и другую ланиту² (ибо мне еще ни разу не привелось видеть драку). Но я заблуждался, ибо обиженный вытащил из ножен что надобно и всадил обидчику в голову. Я закричал во весь голос: «Друг, что ты сотворил?» «Черт подери! — воскликнул он. — Тот барабанная шкура, кто сам не отомстит за себя или не лишится жизни! Эге, надо быть вовсе бесчестным человеком, чтобы дозволить так втоптать себя в грязь». Шум, поднятый сими двумя дуэлянтами, все умножался, ибо вступились дружки того и другого, а затем ввязались все, что стояли вокруг или сбежались на тот случай, и пошла свалка; тут услышал я такую легкомысленную божбу и такие клятвы душевным спасением, что не мог поверить, чтобы они дорожили своею душою, как драгоценным сокровищем. Но все то еще было детской забавой; ибо дело не застряло на столь ничтожных и ребяческих клятвах, а за ними тотчас же последовало: «Разрази меня гром, ударь молния, побей градом! Да раздери меня нечистый, да не раз, а сто тысяч раз кряду и провали в тартарары!». Святое причастие призывалось не то что седмижды, а без числа и счету, так что им можно было доверху набить целые бочки, галеры и завалить городские рвы, отчего у меня волосы стали дыбом. Я подумал: «Ежели они впрямь христиане, то где же заповедь Христова, в коей он речет: „А я говорю вам — никогда не клянитесь ни небом, ибо оно престол божий, ни землею, ибо она подножие стопам его, ни Иерусалимом, ибо он город великого царя; также не должен ты клясться своею головою, ибо не можешь ни единого волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше: да, да, нет, нет; а что сверх того, то от лукавого“». ³ Все сие, а также все, что видел и услышал, я прилежно рассмотрел и решил твердо, что сии драчуны вовсе не христиане, а посему стал искать себе другую компанию. Наиужаснее всего было для меня, когда доводилось слышать велеречивых хвастунов, похваляющихся своими злодеяниями, грехами, пороками и бесчестьем, ибо в различное время и притом каждодневно велись такие речи: «Тьфу! Кровь из носу! Как мы вчера нализились!»; «Я за один день упился три раза и столько же раз проблевал!»; «Тьфу! Провал возьми! Как мы этих плутов мужиков помучали!»; «Тьфу! Пропать! Вот это была добыча!»; «Тьфу! Дьявола в печень! То-то была потеха с бабами да девками!»; итем «Я его так рубанул, как градом пришиб!»; «Я в него так пальнул, что глаза на лоб вылезли!»; «Я его столь вежливно переки-

нул через порог, что черти подбирали косточки!»; «Я ему так ногу подставил, что он чуть шею не сломал!»; «Я его так пытал, что он кровью захаркал!». Сии и подобные нехристианские речи беспрестанно наполняли слух мой, а сверх того видел и слышал я, как совершают грехи, поминая имя божие, что весьма сожаления достойно. Особливо же ввели то в обычай на войне, а именно, когда говорили: «Идем с богом в набег, грабить, разорять, убивать, повергать, нападать, поджигать, в полон брать!», и что там еще составляет ужасные их труды и подвиги. Также и барышники вели свою торговлю во имя божие, дабы по дьявольскому корыстолюбию лучше обирать и обдирать. И я видел двух пройдох, болтавших на виселице, которые однажды ночью отправились воровать, а когда они, поминая имя божие, приставили лестницу, чтобы по ней взобраться, то попечительный хозяин, поминая черта, сбросил их вниз, отчего один из них сломал ногу и был пойман, а через несколько дней вздернут вместе со своим камрадом.

И когда я видел или слышал что-либо подобное и пускался по своему обыкновению увещевать священным писанием или чистосердечно отговаривать от таких поступков, то почитали меня люди за сущего дурня или сумасброда; так что я за свои добрые намерения столь часто подвергался осмеянию, глуму и всяческим издевкам, что под конец сам осердился и дал зарок совсем замолчать, чего, однако, по христианской любви не мог соблюсти. Как я желал, чтобы всякий воспитан был моим отшельником, тогда, мнилось мне, многие узрели бы сущность мира очами Симплиция, какими я на него тогда смотрел. И я не был еще настолько смышлен, чтобы сообразить, что когда на свете жили бы одни только Симплициусы, то, верно, и не открылось бы зрелище стольких пороков. Меж тем истинно, что человек, привыкший ко всем грехам и безумствам мира сего и сам их творящий, не может и малой доли того почувствовать, на сколь опасную стезю вступил он вместе со всеми.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА

*Симплиций взирает ребяческим оком,
Каким солдаты подпали порокам.*

Когда же я возомнил, что имею причину сомневаться, обретаюсь ли я среди христиан, то пошел к священнику и поведал ему все, что я слышал и видел и что было у меня о сем в мыслях, а именно, что почитаю я этих людей хулителями Христа и его учения, а вовсе не христианами, и просил, да поможет он мне выйти из сего наваждения, дабы я знал, за кого надлежит мне принимать моих ближних. Священник ответил:

«Вестимо, они христиане, и я не советую тебе называть их как-либо иначе». «Боже ты мой! — воскликнул я. — Как то возможно? Ведь когда я укажу тому или иному на проступок, содеянный им против заповедей господних, и обращаю мысль его ко благу, то все меня поднимают на смех и глумятся надо мною». «Тому не удивляйся, — отвечал священник, — я полагаю, когда бы благочестивые первохристиане, что жили во времена Спасителя, да и сами апостолы ныне восстали из гроба и пришли в мир, то вместе с тобою задали бы тот же вопрос, и в конце концов их, как и тебя, всяк почел бы глупцами. Все, что ты доселе слышал и видел — обыкновеннейшее дело и ребячьи забавы по сравнению с тем, как тайно и явно прегрешают против бога и людей и какие злодеяния чинят в мире. Но не ожесточайся в сердце своем! Таких христиан, как блаженной памяти господин Самуель,¹ сыщешь ты немного!».

Меж тем, как мы так беседовали, провели через площадь несколько человек, захваченных в плен у противника, что расстроило наш дискурс. Когда мы среди прочих также смотрели на пленных, то довелось мне узнать о таком безрассудстве, какое я не посмел бы даже увидеть во сне. То была новая мода встречать и приветствовать друг друга. И вот один из нашего гарнизона, который до того служил также и в имперских войсках и знавал одного из сих пленников, подошел к нему, подал руку, чистосердечно и с полной радостью пожал ее, воскликнув: «Разрази тебя громом (право слово!), так ты еще жив, брат! Да провались ты пропадом, как черт свел нас вместе! Да я, лопни мои глаза, уже думал, ты давно болтаешься в петле!». На что тот отвечал: «Тьфу ты — пропасть! Браток! Да ты ли это или не ты? Черт тебя задерил! Да как ты сюда попал? В жись не подумал бы, что тебя повстречаю; я завсегда полагал, что тебя давно уволокли черти!». И когда они снова расстались, то сказал один другому вместо «Сохрани тебя бог!» «Счастливо висеть! Завтра, быть может, сойдемся снова, то-то налижемся вдрызг и потешимся всласть».

«Сие ли не отрадный благочестивый привет? — спросил я священника. — Не изрядное ли то христианское напутствие? Не святое ли возымели они намерение на завтрашнее утро? Кто же захочет признать их христианами или будет внимать их речам без удивления, когда они по христианской любви так привечают друг друга, то что же начнется, когда они повздорят? О, господин священник, когда сии агнцы христовы, вы же их пастырь, то подобает вам выгнать их на иное лучшее пастбище». «Ах! — отвечал священник. — Любезное дитя! Среди безбожных солдат и не ведется иначе. Боже, умилосердствуй! Ежели я даже принялся бы их усовещевать, то от этого было бы столько же проку, как от проповеди перед глухими, и я навлек бы на себя одну только погубительную их ненависть». Я весьма тому изумился и, покалякая еще малость с ним, пошел услужать губернатору; меня отпускали на некоторое время посмот-

реть город и потолковать со священником, ибо господин мой учуял мою простоту и полагал, что моя дурь уляжется, когда я пошатаюсь всюду, кое-что повидаяю, послушаю, буду многими вышколен или, как говорят, обтесан и выструган.

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ГЛАВА

*Симплициус зрит, как крапивное семя
Добро наживает в недоброе время.*

Благоволение господина моего ко мне день ото дня все умножалось и возрастало, ибо я не только на его сестру, что была за отшельником, но и на него самого все более похож становился; меж тем как добрые харчи и ленивые дни скоро умягчили мои волосы, а лицо мое исполнили приятности. Подобное же благоволение оказывал мне всяк, ибо кто имел какую-либо нужду к губернатору, тот изливал свое расположение и на меня, особливо же доброхотствовал мне секретарь; а как надлежало ему еще обучать меня счету, то была тут немалая потеха по причине моей простоты и неведения. Он только недавно окончил учение, а посему был еще битком набит школьными дурачествами, отчего казалось иногда, что у него на чердаке не все ладно. Он нередко уверял меня, что черное есть белое, а белое — черное, из чего проистекало, что сперва я верил ему во всем, а под конец ни в чем. Однажды похулил я грязную его чернильницу, он же отвечал, сия-де самая распрекрасная вещь во всей канцелярии, ибо из нее достает он все, что пожелает: блестящие дукаты, платья и, одним словом, все, в чем был у него недостаток, выудил он из нее мало-помалу. Я не хотел верить, чтоб из такой столь малой и презренья достойной вещицы столь великолепные предметы извлечь было можно. «Напротив, — сказал он, — сие способен производить spiritus rari¹ (так прозвал он чернила), и чернильный прибор оттого и зовется прибором, что немалые вещи через него к рукам прибирают». Я спросил: «А как же можно их вытащить, когда туда разве что два пальца и просунуть-то возможно?». Он же ответил: «У него-де такое в голове есть хватало, какое сию работу и справляет; он располагает, что вскорости выловит себе пригожую богатую невесту, а ежели посчастливится, то надеется вытащить также поместье с людishками, и что все сие вовсе не ново, а и в старину довольно бывало». Я принужден был таким искусным хитростям изумиться и спросил: «Есть ли еще какие люди, которые бы иным искусством владели или постичь его были способны». «Разумеется, — отвечал он, — все канцлеры, доктора, секретари, прокураторы или адвокаты, комиссары, нотариусы,



Портрет шведского генерал-майора Якоба Рамзая.
Гравюра из «Theatrum Europaeum».



A. Deschamps, B. Pichon, C. Nibelinck, and
F. Van der Vliet, F. Diez, G. H. van
I. M. van der Vliet, K. W. van der Vliet

L. Stambour, M. van der Vliet,
N. van der Vliet, O. van der Vliet,
P. van der Vliet, Q. van der Vliet,
R. van der Vliet, S. van der Vliet,
T. van der Vliet, U. van der Vliet



ГАНУ

Вид города и крепости Гану. Гравюра из книги «Торографіа Hassiae» Матиса Мермана (Франкфурт на Майне, 1655).

купцы и торговые гости и несчетное множество всяких других, которые, ежели они только прилежно ловят и усердно блюдут свой интерес, становятся богатыми господами». Я сказал: «Так значит крестьяне и прочие работающие люди не столь остры умом, что в поте лица добывают себе пропитание и не обучаются сему ремеслу». Он отвечал: «Иные не разумеют пользу сего искусства, а посему и не стремятся ему научиться; другие с радостью ему обучились бы, да им недостает в голове хватала или еще каких средств; некоторые изучают сие искусство и довольно имеют чем хватать, но не знают всех надобных для того хитростей, чтобы через него набогатиться; а есть и такие, что все знают и могут, что сюда надлежит, да только живут они не на везучем месте и не имеют, подобно мне, к тому случая, чтобы в оном искусстве должным образом упражняться».

Когда мы таким образом беседовали о чернильнице (коя неотменно напоминала мне Кошель Фортуната²), попался мне нечаянно в руки титулярник; в нем по тогдашним моим понятиям всяческих глупостей было больше, чем доселе мне доводилось повстречать. Я сказал секретарю: «То ведь все адамовы чада и одного между собою рода, а по правде от праха и пепла! Откуда же повелось столь великое различие? Святейший, Непобедимейший, Светлейший! Не суть ли то свойства божии? Здесь Ваша милость, там Ваша строгость, и к чему еще тут Урожденный? Ведь довольно известно, что никто с неба не падает, из воды не возникает и на земле, подобно капусте, не растет. Почто тут одни токмо Пре-Высоко-Благородные, а нет двоюродных, троюродных, четвероюродных? Что это за дурацкое слово — Предусмотрительный? Разве у кого-нибудь глаза на затылке?». Секретарь принужден был, глядя на меня, рассмеяться и взял на себя труд пояснить, что означает тот или иной титул, и растолковать каждое слово особливо; я же упрямо стоял на том, что титулы даются не по праву; куда похвальнее титуловать кого-либо Ваше Благо-расположение, нежели Ваша Строгость; и тем ежели слово благородный само по себе означает высокую добродетель, так почему же когда соединяют его со словом высокородный (которое означает князя или графа), то сие новое слово Высокоблагородный умаляет княжеский тот титул, ибо прилагается к людям незнатным? Да и само слово Благородие не сущая ли нелепость? Сие засвидетельствует мать любого барона, ежели ее спросят, благо ли ей было во время родов?

Меж тем как я таким образом все высмеивал, то невзначай произвел столь жестокий выстрел легкого пороху, что оба, секретарь и я сам, сильно испугались. Сей немедленно возвестил о себе нашим носам и разнесся по всей комнате с такой крепостью, словно еще не довольно было, что мы перед тем его слышали. «Проваливай, свинья! — закричал на меня секретарь. — В свинной хлев ко всем прочим свиньям, с коими ты, болван, скорее придешь к согласию, нежели в конверсации с людьми почтенными».

5 Симплициссимус

Однако ж и он сам принужден был убраться с того места, оставив его во владение ужасающей вони. Итак, доброе знакомство, которое я свел в канцелярии, я сам по известной пословице себе испортил.

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ГЛАВА

Симплиций в гаданье теряет кураж,

Его надувает проказливый паж.

Однако сия напасть приключилась со мною совсем неповинно, ибо непривычные кушанья и лекарства, какие я получал каждодневно, дабы привести в разум мой ссохшийся желудок и сморщившиеся кишки, возбуждали в животе моем свирепые вихри и презестокые ветры, порядком меня терзавшие, когда они неистово рвались на волю; и так как у меня и в мыслях не было, что я поступаю плохо, когда таким образом снизойду к природе, поелику такой внутренней силе долго противиться и без того было невозможно, да и мой отшельник (ибо оные ветры негусто были у него посеяны) никогда не наставлял меня о том, и мой батька не заказывал мне преграждать путь подобным детинам, так что я пустил их на вольный воздух и выпустил все, что просилось наружу, пока не лишился сказанным манером у нашего секретаря всякого кредиту. Утрата сей милости была бы мне не столь тяжела, когда избавился бы я тем от еще горших злоключений; ибо со мною происходило все так же, как с благочестивым мужем, пришедшим ко двору княжескому, где ополчались Змий на Назика,¹ Голиаф на Давида, Минотавр на Тесея, Медуза на Персея, Цирцея на Уллиса, Эгист на Менелая,² Палудус на Кореба,³ Меддея на Пелия, кентавр Несс⁴ на Геркулеса, ну, и кто там еще, Алтея на собственного сына своего Мелеагра.⁵

Кроме меня, служил у моего господина в пажах некий прожженный плут и прехитрый пролаза, который состоял в сей должности уже два года; ему-то я и открыл свое сердце, ибо был он со мною одинаких лет. Я мнил: сей есть Ионафан,⁶ а ты Давид. Он же ревновал меня по причине того великого благоволения, какое оказывал мне день ото дня все более наш господин, опасаясь, что я перебую у него все блага, и того ради смотрел на меня втайне завистливым и недоброхотным оком, измышляя, каким бы средством подставить мне ногу и через такое мое падение самому возвыситься. Я же обладал очами горлицы, и у меня было совсем иное на уме; и я поверил ему все мои тайности, кои, правда, состояли ни в чем ином, как в ребяческой простоте и благочестии, а посему он никак не мог под меня подкопаться. Однажды долго болтали мы в постели, прежде чем заснули;⁷ и, когда речь зашла о ворожбе и гаданьи, пообещал он обучить меня сей премудрости даром и велел сунуть голову под

одеяло, уверяя, что таким именно родом и надлежит ему передать свое искусство. Я старательно его послушался и с большим вниманием ожидал сошествия на меня прорицательного духа. Тьфу, пропасть! Сей не замедлил вступить мне в нос и столь люто, что от нестерпимой вони не смог я долее оставаться под одеялом и принужден был высунуть голову. «Что это?» — спросил мой наставник. Я отвечал: «Ты подпустил!». «А ты, — объявил он, — угадал, а значит научился сему искусству». Я же не принял того за издевку, ибо не было тогда еще во мне желчи, а только домогался узнать, каким родом оные ветры испускать можно без шума? Товарищ мой отвечал: «Искусство то немудреное, тебе только надобно поднять левую ногу, как собака, что прыскает на угол, и притом тихонько молвить: *je pète, je pète, je pète*,⁸ да и понатужиться изо всех сил, так они и выйдут погулять безо всякого шума, как тати». «Добро, — сказал я, — а когда потом разнесется вонь, то подумают, что собаки испортили воздух, особливо же если я подыму левую ногу на приличную высоту». Ах, подумал я, когда б сегодня в канцелярии я знал про это искусство!

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

*Симплиций, соблазном смущен, ненароком
Проворно съедает телячье око.*

На следующий день задал мой господин своим офицерам, а также всем другим добрым друзьям княжеский пир, ибо получил приятную ведомость, что наши взяли замок Браунфельс,¹ не потеряв при сей okazji ни единого человека; тут надлежало мне, по моей должности, как и другим, служащим за столом, помогать разносить кушанья, наливать чарки и ожидать с тарелкою в руках. В первый же день поручили мне нести большую жирную телячью голову (про каковсе блюдо обыкновенно говорят: «Этот кус не для бедных уст»), и как была она гораздо разварена, то один глаз со всею принадлежашею до него субстанциию изрядно свисал наружу, что было для меня зрелищем умильным и соблазнительным. И понеже свежий запах сальной подливки и толченого инбиря разжигал меня, то восчувствовал я такой аппетит, что у меня слюнки потекли. Одним словом, глаз тот подмигивал и моим очам, и моему носу, и моим устам, как бы упрашивая, не возжелаю ли я принять его в сообщество моего обуреваемого голодом желудка. Я не дозволил себя долго муржить, а последовал своему желанию и на ходу столь ловко выщелушил глаз ложкою, которую и дали-то мне впервые в тот самый день, и столь проворно и без заминки спровадил его в уготованное место, что ни одна душа не заметила, покуда не пришел черед подавать на стол сие кушанье благородных шеффенов,² и тут-то оно и выдало себя и меня. Ибо

как только почали рушить жаркое и открылось, что недостает самый лакомый кусок, то мой господин тотчас же заметил, чего ради замешкался кравчий. Губернатор, по правде, не мог спустить такую проделку, чтобы ему кто-либо посмел подать телячью голову об одном глазе. Повара потребовали к столу, а вместе с ним допросили и тех, кто разносил кушанья; под конец все вышло наружу и про бедного Симплиция, что именно ему поручили нести к столу телячью голову, в коей оба глаза были на месте; а что там с нею случилось далее, про то никто не знал. Мой господин спросил меня с ужасающей миной, куда я подевал телячье око? А я вовсе не испугался столь угрюмого его вида, а проворно вытащил из сумки ложку и подцепил ею другой глаз, показав на деле все, что от меня узнать хотели, ибо в одно мгновение съел его, подобно первому. «*Par Dieu!*³ — вскричал мой господин, — сие зрелище посмачнее десяти телячьих очей!». Все присутствующие господа пришли в восторг от этого изречения, а мой поступок, который я совершил по простоте своей, называли хитрейшей выдумкой и предвестником будущей отваги и неустрашимой твердости, так что я через повторение как раз того, чем заслужил наказание, не только вовсе от него избавился, но и стяжал похвалы от многих застольных балагуров, подлипал и лизоблюдов, уверявших, что я поступил мудро, когда соединил оба глаза вместе, дабы они как в сем мире, так и в будущем могли друг другу пособлять и составить добрую компанию, к чему они были с изначала предназначены самой натурою. Мой же господин сказал, чтобы в другой раз я не смел вытворять что-либо подобное.

ТРИДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций впервой зрит пьяных солдат,
Вздурились за чаркой, сам черт им не брат.*

К сему пиру (я полагаю, что такое ведется и на других) приступили совсем по христианскому обычаю; застольная молитва была прочитана в подобающей тишине и, по всей видимости, весьма благоговейно. И сие благоговейное молчание продолжалось все время, пока подавали суп и другие первые блюда, словно они заседали в конvente капуцинов.¹ Но едва только каждый успел три или четыре раза провозгласить: «Благослови, бог!», как стало гораздо шумнее. Я не в силах описать, как малопомалу голос каждого в отдельности крепчал и возвышался, но хотел бы только уподобить все совокупное общество оратору, который начинает тихонько, а под конец мечет громаы. Принесли блюда, прозванные перекуска, ибо они приправлены были пряностями и назначены как лакомство перед питием, чтобы оно тем легче проходило в глотку; *item* заедки, ибо они

во время питья на вкус не противны, не говоря уже о всяких там французских похлебках, гишпанских олла потрида,² кои все множеством различных искусных приготовлений и неисчислимых приправ такою мерою проперчены, просолены, перетерты и перемешаны и так приготовлены к питию, что через все те пряности и различные примеси приобрели совсем иную субстанцию, нежели та, что была им определена природою, так что их не мог бы распознать и сам Эней Манлий,³ когда только что вошел из Азии и держал при себе лучших своих поваров.

Я подумал: «Разве не могут сии кушанья у человека, который ими лакомится, запивая вином (для чего собственно они и изготовлены), точно так же повредить чувства и разум и переменить всю его натуру, а то и превратить его в неразумного зверя? Кто знает, не те ли самые средства употребила Цирцея, когда обратила в свиней спутников Улисса?». Я видел, что гости на этом пиру пожирали приносимые кушанья, словно свиньи, упивались, как скоты, ломались притом, как ослы, и под конец блевали, как псы кожевника. Благородное Гохгеймерское, Бахерахское и Клингенбергское⁴ вливали они себе в глотку преогромными стеклянными кубками, так что оно сразу же бросалось им в голову; тут было мне на что подивиться, как все переменялись, а именно: самые благоразумные люди, кои незадолго перед тем в полном здравии владели всеми пятью чувствами и вели изрядную беседу, внезапно начали поступать безрассудно и вытворять пренелепейшие дурачества. Глупости, которые они отмачивали, и чарки вина, которые они осушали, становились все больше, словно там бились об заклад, кто кого перещеголяет; под конец превратилось сие ратоборство в мерзостное свинство. Не было зрелища более странного, ибо я не знал, откуда нашла на них такая дурь, понеже действие вина или опьянение мне еще вовсе было неведомо; оттого-то при самом прилежном размышлении не возшло мне на ум ничего, кроме забавных предположений и вздорных фантазий; я отлично видел их диковинные мины, однако же не знал о причине такого их состояния. До сих пор всяк с должным аппетитом выпораживал посуду, а когда желудки наполнились, то все пошло куда хуже, чем у возчика с тяжелой упряжью, что по ровному полю бежит резво, а в гору ни тпру ни ну. Но как только в голову им ударила дурь, то преодолели они сию невозможность, кто почерпнув кураж в вине, кто желая оказать сердечное расположение другу, а кто по немецкому чистосердечию, дабы оказать честь благородному напитку. Но как и тут долго нельзя было устоять, то пустился один заклинать другого осушить чарку за здоровье важных господ или любезных друзей или за его возлюбленную, отчего у иного глаза на лоб лезли и выступал холодный пот, однако ж принужден был пить. Да так, что под конец подняли превеликий шум с барабанным боем, свистом и струнную игрою и зачали палить из мушкетов, нет сомнения, для того, чтобы силою вогнать в желудки вино. Я же дивился, куда они могут все поме-

стить, ибо не знал еще, что не успеет оно у них как следует согреться, как с превеликими муками извергается из того же самого места, куда они его незадолго до того влили с крайнею опасностью для своего здоровья.

Знакомый мне священник также был на сем угощении, что было ему любо, как и всем другим, ибо и он, подобно другим, был человеком и пошел бы противу своей воли, когда бы от того отступился. Я подошел к нему и спросил: «Господин священник, чего ради сии люди вытворяют такие диковины? Отчего это случилось, что они шатаются из стороны в сторону? Мне так мнится, что они не в своем уме. Они все досыта наелись и клялись, что черт их задерет, ежели они могут проглотить хоть капельку, а сами не перестают себя накачивать. Принуждены ли они так поступать или по доброй воле наперекор богу бесполезно все расточают?». «Любезное дитя! — ответил священник. — Вино в голову — ум из головы! Но все сие ничто перед тем, что еще будет. Завтра поутру будет им еще горше, когда придет время расходиться, ибо, когда у них разопрет животы, будет им не так весело». «А не полопаются у них животы, когда они их столь безмерно набивают? И как только могут их души, кои суть подобие божее, обитать в таких откормленных на убой свиных тушах, в коих они без малейшего благочестивого помысла томятся, как в мрачной темнице и кишашем насекомыми воровском каземате? О, вы души высокие, — сказал я, — как попускаете вы себя на такое мучение? Чего ради остаетесь вы заключенными в такой вонючей клоаке? И разве чувства, коими надлежит располагать душе, не погребены во чреве неразумного зверя?». «Попридержи язык, — воскликнул священник, — а не то жестоких нахватаешь оплеух! Здесь не время читать проповеди, а иначе я исправил бы сие получше тебя!». Когда я это услышал, то стал далее уже молча взирать, как своевольно погубляли кушанья и напитки, не взирая на бедного Лазаря⁵ во образе многих сот толпившихся у наших дверей изгнанников из Веттерауера, у которых от голода глаза пучило и коих можно было бы подкрепить всей той снедью, ибо худо жить тому, у кого ничего нет в дому.

ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

*Симплициус ставит на пробу куништюк,
Едва тут ему не случился каюк.*

Когда я таким образом прислуживал с тарелкою в руках, а дух мой был смущен различными воображениями и беспокойными мыслями, то и брюхо мое не оставляло меня в покое; оно ворчало, урчало и роптало беспрестанно, давая тем уразуметь, что заключенные в нем детины хотят выйти до вольного воздуха; я же замыслил пособить самому себе, дабы

избавиться от несносного сего бурчания и приоткрыть дверцу, употребив на тот случай свое искусство, которому меня прошлой ночью обучил мой товарищ. Согласно оному наставлению, отвел я левую ногу и окорочек на возможную высоту и понатужился изо всех сил, что у меня было, и только собрался трижды проговорить тайком заклинание «je rête», как в миг преужасная та запряжка выкатилась из задницы против всякого моего чаяния и с таким превеликим грохотом, что я уже и не ведал, что творю; я так оробел, как если бы стоял на лесенке под самой виселицею, а палач вот-вот накинет мне петлю на шею, и в таком внезапном страхе пришел я в такое смятение, что уже не мог далее распоряжаться членами собственного своего тела, понеже во внезапном сем шуме уста мои также возмутились и не захотели уступить первенство заднице и дозволить ей одной держать слово, а им, сотворенным для речей и криков, проворчать свое втайне. Того ради заднице наперекор исторгли они то, что я собирался произнести тайком, прегромогласно и столь ужасно, как если мне резали бы глотку. И чем несноснее рокотали исподние ветры, тем страшнее извергалось сверху «je rête», как если бы вход и выход моего желудка бились об заклад, кто из них двоих сумеет прогрянуть наиужаснейшим гласом. От всего того получил я немалое облегчение во внутренностях, зато немилостивого господина в лице наместника. От столь нечаянного вопля, трубного звука и задней пушечной пальбы почитай что все его гости протрезвели, а я понеже не смог, невзирая на все свои труды и усилия, совладать с теми ветрами, был разложен на кобыле и так распарен, что и посейчас вспомнить жарко. То были первые побои, которые я получил с тех пор, как в первый раз вдохнул в себя воздух, ибо я столь мерзко его испортил, меж тем как мы должны дышать им сообща. Тут принесли курильницы и свечи, а гости повытащили свои мускусные флаконы и бальзаминники и даже нюхательные табаки, однако же и лучшие ароматы не могли перебить той вони. Итак, спектакль, в коем играл я лучше, чем самый изрядный комедиант на свете, доставил брюху моему мир, горбу — палки, гостям — полные ноздри вони, а слугам — попечение водворить в покоях добрый запах.

ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА

Симплициус зрит: на пиру кавалеры

Священника потчуют сверх всякой меры.

А когда сие миновало, то должен был я снова прислуживать, как и прежде. Священник же еще находился здесь и, как все прочие, был понуждаем к питию; он же отнекивался и сказал, что не охотник напиваться

по-скотски. Напротив, возразил ему некий добрый гуляка, это он, священник, пьет, как скот, а он, питух, и прочие присутствующие здесь пьяницы, как человеки. «Ибо, — сказал он, — скотина выпивает столько, сколько ей по нутру и потребно для утоления жажды, так как не ведает, какое благо вкушать вино; нам же, людям, весьма любо, что мы обратили его себе на пользу и пропускаем в глотку благородный сок виноградной лозы, как поступали наши предки». «Добро! — сказал священник, — однако приличествует мне держаться меры». «Добро! — отвечал питух. — Честный муж держит слово» и с тем велел налить полную мерою здоровенный кубок, который, пошатываясь, поднес священнику. Но тот убежал, оставив питуха с полным ведерком в руках.

Как только спровадили священника, все пошло ходуном и явило такое позорище, как если бы сие угощение доставляло удобный случай и было назначено к тому, чтобы отмещевать друг другу, спаивая, с ног сваливая и всякому глуму подвергая, ибо как только накачают кого-либо, так что он уже не может ни сесть, ни стать, ни шагу ступить, то сие называлось: «Теперича мы квиты! Ты меня намедни допек, так я сегодня тебя допарил, вот и на тебя пришла отплата», и т. д. Тот же, кто мог выстоять и пить долее всех прочих, весьма тем похвалялся и мнил, что он немаловажная птица; под конец такой поднялся содом, словно все белены объелися. Глядеть на них было столь же диковинно, как на масляничное представление, хотя и не было там никого, кроме меня, кто тому дивился бы. Кто пел, кто плакал; один смеялся, другой горевал, один хулил бога, другой молился; иной прегромко кричал: «Эх, кураж!», а у иного язык присох к гортани; один был тих и смиренен, а другой собирался всех чертей перемутить; иной спал и немотствовал, а иной тараторил без умолку, так что никто не мог и словечка вставить. Один повествовал о своих любовных проказах, а другой об устрашительных военных подвигах; иные толковали о церкви и божественных предметах, а иные обсуждали *ratio status*, политику, всесветную и имперскую торговлю; некоторые перебежали с места на место, подобно ртути, и не могли нигде задержаться, а другие лежали в лежку, так что и пальцем пошевелить не могли, не говоря уже о том, чтобы ходить или прямо стоять на ногах; иные жрали, как молотильщики, словно целую неделю страдали от голодухи, а иные выблевывали снова все, что проглотили за целый тот день. Словом, все их деяния и поступки были столь забавными, дурацкими, странными, а притом еще греховными и безбожными, что против них отлучившийся от меня худой запах, за который я был столь немилосердно избит, мог почесться сущою шуткою. Под конец разгорелась на конце стола сурьезная перепалка; тут как зачали швырять друг другу в голову стаканами, кубками, блюдами и тарелками и драться не только кулаками, но и стульями, ножками от стульев, шпагами и чем ни попадя, так что у иных по ушам потек красный сок; однако ж мой господин тотчас же унял потасовку.

ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА

*Симплиций относит на кухню лисицу
С приказом приготовить на ужин с корицей.*

А когда снова водворилось спокойствие, то перебрались искусные те пьяницы, забрав с собою бабенок и музыкантов, в другой дом, где покой были назначены и посвящены иным дурачествам. Мой же господин опустился на софу, ибо почувствовал колику не то от гнева, не то от пресыщения. Я оставил его лежать там, где он прилег, чтобы он мог успокоиться и заснуть; но едва дошел до дверей, как он пожелал меня позвать, да не сумел. Он крикнул только: «Симпл!». Я подскочил к нему и увидел, что у него глаза заходят, как у скотины, когда ее колют. Я стоял перед ним, как пень, и не знал, что делать; он же показал на поставец для напитков и пролепетал: «пр...при...ы...ыы...неси... мне...ее...е... , по...оо...длец, ...бо...о...о...льшой... тааз... , мне...е...е... на-аадо... выпу...у...у...стить ли...ы...ыы...сицу!». Я поспешил сие исполнить и принес ему умывальный таз, но, когда я к нему подошел, щеки у него расперло, как барабан. Он проворно схватил меня за руку и аккомодировал так, что я принужден был держать тот таз у самого его рта. Сей разверзся внезапно с мучительными толчками, словно идущими от самого сердца, и исторг в помянутый таз столь свирепую материю, что я от нестерпимой вони едва не лишился чувств, особливо же (s. v.) оттого что мокрые комочки брызнули мне в лицо. Я чуть сам туда не подбавил, но когда увидел, что он позеленел, то отложил сие намерение из страха и опасения, что душа его расстанется с телом вместе с той скверною, ибо выступил у него на челе холодный пот, а лицом он стал похож на умирающего. Когда же он очнулся, то приказал мне принести свежей воды, чтобы выполоскать рот и очиститься от винного перегару.

Засим велел он мне бурую ту лисицу унести прочь, что мне, ибо она наполняла серебряный таз, не показалось зазорным, а мнилось, что то блюдо с отменною закускою на четырех персон, которое вылить попусту никак не подобало. К тому же знал я твердо, что господин мой не худые яства собрал у себя в желудке, а, напротив, отменные и деликатные паштеты, также всевозможные печенья, птицу, дичину, домашнюю убоину, что все еще хорошо различить и узнать было можно. Я выкатился с этим блюдом, да не знал, куда нести его дальше и как тут поступить надлежит, спросить же у моего господина не осмеливался. Я пошел к гофмейстеру; ему объявил я сей прекрасный трактament и спросил, как мне поступить с этой лисицей? Он же ответил: «Дурень, ступай и отнеси ее скорняку, пусть выделает из нее мех». Я спросил: «А где скорняк?». «Нет, — сказал он, приметив мою простоту, — лучше отнеси доктору, дабы он определил по ней, каково здоровье нашего господина». Я и впрямь отпра-

вился бы туда, подобно как с первым апрелем, ежели бы гофмейстер не побоялся, как это еще обернется; а посему велел мне отнести тот сосуд на кухню с приказом, чтобы девки сию лисицу поскорее приготовили с перцем и корицей, что я с полным рачением исправил, чего ради те негодницы весьма меня поносили.

ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

*Симплиций на странных танцоров дивится,
От страху в глазах у него все двоится.*

А когда избавился я от того сосуда, господин мой уже вышел со двора; я догнал его возле некоего большого дома, где увидел залу, полную мужей, жен и всякой холостежй, которые столь проворно прыгали и мотали ногами, что все кругом так и кипело. Тут поднялся такой топот и гомон, что я возомнил, будто все они вздурились, ибо никак не мог догадаться, что они в таком бесновании и неистовстве замышляют. Да и облик их показался мне столь свирепым, страшным и ужасающим, что все власы мои ошетинились, и я не мог подумать иначе, что все они, кто ни на есть, повредились в разуме. Когда же мы подошли ближе, то я увидел, что то наши гости, которые еще до полудня были в своем уме. «Боже ты мой! — подумал я. — Что же такое вознамерились предпринять сии бедные люди? Ах, верно, обуревают их безумие!». А вскоре пришло мне на ум, что то, может статься, адские духи, кои, приняв сию личину, таким бездельническим скаканием и обезьянством глумятся над всем родом человеческого; ибо полагал, что когда бы в них заключена была душа живая и носили они в себе подобие божие, то так не по-людски не поступали бы. А когда мой господин вошел в сенцы и направился в залу, то беснование как раз стихло, хотя они еще не переставали покачивать и потряхивать головами, скользить и чертить по полу башмаками, так что мне сдавалось, что они вознамерились истребить следы свои, которые оставили во время сего беснования. Пот, струившийся по их лицам, и тяжелое пыхтенье дозволяли мне заключить, что они сильно притомились, однако ж радостные их лица давали уразуметь, что оные труды были им не в тягость.

Меня разбирала превеликая охота узнать, куда столь дурацкое дело завести может; а посему спросил я у моего товарища и чаемого непритворного, надежного и сердечного друга, который незадолго перед тем обучил меня ворожке, что сия ярость означает или к чему сие топтанье и мотанье клонится. Он же поведал мне за чистую правду, что все присутствующие собрались тут единственно затем, чтобы сообща проломить пол в этой зале. «А не то, рассуди, — сказал он, — чего ради стали бы они еще так доблестно куралесить? Али ты не видишь, что от этой потехи стекла

в окошках повыбиты? Точно так же будет и с этим полом». «Господи боже! — воскликнул я. — Так ведь и мы принуждены тогда будем провалиться и в таком падении переломать ноги и свернуть шею?». «Вестимо, — сказал мой товарищ, — к тому дело идет, и оттого-то им сам черт не брат. Ты еще увидишь, что когда они ввадутся в сию гибельную опасность, то каждый схватит пригожую бабенку или девицу; ибо говорят, что когда такая парочка сцепится, то вдвоем мягче падать». И так как я всему тому поверил, то напал на меня такой страх и такая боязнь перед смертью, что я уже не знал, куда мне деваться; а как музыканты, коих я до той поры не приметил, к сему подали голос и молодцы побежали к дамам, ровно солдаты на свои посты и к оружию, когда барабаны забьют тревогу, и всяк подхватил себе по бабенке, то представилось мне, что передо мной уже разверзается пол и я вместе со всеми прочими лечу вверх тормашками и вот-вот сломаю шею. А как зачали они скакать, да так, что все строение задрожало, ибо стали отплясывать потешную уличную. то подумал я: «Тут тебе и карачун пришел! Ну, Симплиций, глядишь ты на свет во последний раз!». Я полагал, что не иначе как разом рухнет все здание, а посему в пружестокоем страхе ухватил внезапно некую даму знатного рода и отменных добродетелей, с коей господин мой в то самое время вел беседу, как медведь, за руку и повис на ней, словно репей. Но так как она дернулась прочь и не могла понять, что за дурацкие воображения взбредли мне на ум, то впал я в дикую десперацию и от преисполнившего меня отчаяния завопил, как если бы меня собирались умертвить. Однако и того еще было недовольно, ибо ушло из меня в штаны нечто, что издало такую чрезвычайную вонь, какую моему носу давненько чують не доводилось. Музыканты внезапно смолкли, плясуны и плясуньи стали, как вкопанные, а достохвальная дама, у коей я повис на руке, нашла, что ей нанесен афронт, ибо возомнила, что мой господин все сие подстроил ей в издевку. На что мой господин велел меня высечь, а потом запереть, куда ни есть, понеже в тот самый день я уже немало натворил всяких дурачеств. Помощники фурьеров, коим надлежало произвести экзекуцию, не только возымели ко мне сожаление, но и не могли учинить сего по причине лихой вонь; а посему уволили меня от порки и заключили под лестницу в гусятник. С того времени неоднократно размышлял я о сем предмете и заключил, что excrementa, кои исходят от испуга и страха, более мерзкий источают запах, нежели когда кто примет проносное лекарство.



КНИГА ВТОРАЯ

- 1-я гл. Симплиций в хлеву глядит из-под-тиха,
Как гусаку пособляет гусиха.
- 2-я гл. Симплиций речет, в кою пору мыться,
Дабы вреда не могло приключиться.
- 3-я гл. Симплиций пажу отплатил за науку,
Поведав, какую сыграл он с ним штуку.
- 4-я гл. Симплиций взирает, с коликим нахальством
В Ганау надули большое начальство.
- 5-я гл. Симплиций чертями в геену ведом,
Где потчуют бесы гишпанским вином.
- 6-я гл. Симплиций внезапно в рай попадает,
Телячье обличье там принимает.
- 7-я гл. Симплиций в телячьем чине исправен,
Стал меж людьми и скотами славен.
- 8-я гл. Симплиций о памяти слышит прение,
Потом суждение про забвение.
- 9-я гл. Симплиций многим на забаву лицам
Похвальную речь сочиняет девицам.
- 10-я гл. Симплиций речет о героях смелых
И о мастерах, в ремесле умелых.
- 11-я гл. Симплиций о жизни всетрудной тужит
Того господина, коему служит.
- 12-я гл. Симплиций приводит схолию ту,
Что ум неразумному дан скоту.
- 13-я гл. Симплиция речи кто ведать желает,
Пусть тот прилежно сие читает.

- 14-я гл. Симплиций беспечно резвится на льду,
Попал он к кроатам себе на беду.
- 15-я гл. Симплицию пало на злую долю
Беды и горя у кроатов вволю.
- 16-я гл. Симплиций скитается в темных лесах,
На двух злодеев наводит страх.
- 17-я гл. Симплиций зрит ведъм на шабаш сборы,
И сам попадает в бесовские своры.
- 18-я гл. Симплиций просит о том не мыслить,
Что льет он пули, лишь только свистни.
- 19-я гл. Симплициус снова играет на лютне,
Готов он приняться за старые плутни.
- 20-я гл. Симплиций с наставником ходит по лагерю,
Где в кости ландскнехты играют сполагоря.
- 21-я гл. Симплиций заводит с Херцбрудером дружбу,
Сослужит она им немалую службу.
- 22-я гл. Симплициус видит, как злым наговором
Невинного друга ославили вором.
- 23-я гл. Симплициус брату дает сто дукатов,
Дабы откупился от злобных катов.
- 24-я гл. Симплиций речет про два предсказанья,
Кои сбылись наглецу в наказанье.
- 25-я гл. Симплиций становится честной девицей,
Но видит, что то никуда не годится.
- 26-я гл. Симплициус схвачен как хитрый колдун,
Вот-вот придет ему злой карачун.
- 27-я гл. Симплициус спасся в сумятице битвы,
Видит, как профос убит без молитвы.
- 28-я гл. Симплициус зрит: победой увлечен,
Херцбрудер и сам попадает в полон.
- 29-я гл. Симплиций толкует тут о солдате,
Как в Парадиз затесался он кстати.
- 30-я гл. Симплиций был егерем, ан солдатом стал,
Солдатскую жизнь дотошно узнал.
- 31-я гл. Симплиций толкует, как дьявол сало
Скрал у попа и что потом стало.



КНИГА ВТОРАЯ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

*Симплиций в хлеву глядит из-под-тиха,
Как гусаку пособляет гусиха.*

Сидючи в гусятнике, рассудил я о сем предмете и составил себе мнение, равно как о танцах, так и о пьянстве, что было уже мною изложено в первой части «Черного и Белого»,¹ и того ради нет нужды здесь более о том распространяться. Однако ж не могу умолчать, что тогда я еще был в нерешимости, впрямь ли те танцоры столь взъярились, что намеревались проломить пол, или же сие было мне только втолковано. Теперь же надлежит мне поведать, как я выбрался из гусятника. Битых три часа, а именно до тех пор, как окончился *Preludium Veneris*² (пречестный танец, должен я заметить), принужден был я высидеть в собственной своей скуке, покуда не подкрался кто-то тишком и не зачал побрякивать засовом. Я затаился, словно свинья, что брыжжет в лужу; детина же, возившийся возле дверей, не только открыл их, но и сам проскочил внутрь и с таким проворством, с каким бы я охотно выскочил наружу; сверх того волочил он за собою сюда за руку женку, подобно тому как довелось мне видеть во время танцев. Я не мог знать, что тут поведется; но понеже в тот самый день привелось дурацкому моему разуму повстречаться со множеством диковинных приключений, то малость к ним приобик и предался на то, чтоб впредь терпеливо и безропотно сносить все, что ниспошлет мне судьба; а посему притулился у двери со страхом и трепетом, ожидая, чем все то кончится. Тотчас же возник промеж них шепот, из коего я, вправду, уразумел только, что одна сторона сожалела о лихой вонии в сем месте (каковая точно происходила из моих штанов), другая ж сторона, напротив, утешала первую. «По чести, прекрасная дама, — сказал он, — я неотменно от всего сердца сокрушаюсь, что завистливая планета неблагоприятствовала нам вкусить наслаждение от плодов любви в ином достойнейшем сего месте. Однако ж всем могу вас уверить, что сладостное

ваше присутствие производит в мерзостном сем закуте более приятностей, нежели в самом раю их имеется». Засим услышал я поцелуи и приметил диковинные позы; но не знал, что то было или должно было бы означать, того ради еще более затаился и так тихо, словно мыш. А как поднялся, кроме того, некий забавный шум, и гусятник, сколоченный под наружной лестницей из одних только досок, зачал гораздо и продолжительно трещать, особливо же как бабенка прикидывалась, что при том упражнении соделалась ей немалая боль, то подумал я: «Сие суть двое от тех бешеных людей, кои пособляли проломить пол, а теперь пришли сюда, дабы и здесь одинаково с тем поступить и лишить тебя жизни!». Коль скоро эти мысли полонили мой разум, столь же скоро устремился я к двери, чтобы уйти от смерти, через то и выскочил я со столь жестоким криком, какой, естественно, был подобен тому, что привел меня в сие место; однако ж был я столь проворен, что задвинул за собой засов и стал искать в доме отпертых дверей. Это была первая свадьба из тех, на коих довелось мне на своем веку когда-либо гулять, невзирая на то что я не был к ней приглашен и не осмелился поднести подарок, хотя впоследствии новобрачный тем дороже вписал мне ту пирушку в счет, какой я своим чередом честно оплатил. Благосклонный читатель, я поведал сию историю не затем, чтобы ты в досталь над ней посмеялся, но для того, чтобы рассказ мой был отменно полон и ты, читатель, уразумел, какие честные плоды от танцев ожидать можно. И в том я точно уверен, что во время танцев производят такие негодные и бездельнические сделки, коих потом вся добрая кумпань принуждена стыдиться.

ВТОРАЯ ГЛАВА

*Симплиций речет, в кою пору мыться,
Дабы вреда не могло приключиться.*

Хотя таким образом я преблагополучно утек из гусятника, однако ж только теперь заметил свое несчастье, ибо штаны мои были полнехоньки, и я не ведал, куда с такой проносной кашей¹ деваться. В покоях моего господина было все тихо и сонно; а посему я не осмелился приблизиться к страже, что стояла перед домом; а в главной караульне или *Corps de garde*² меня бы не потерпели, ибо от меня шла непомерная вонь; оставаться в проулке было невмочь от холода, так что я не знал, куда притулиться. Было далеко за полночь, когда взошло мне на ум, что надобно поискать прибежище у многократно помянутого священника. Следуя сему благоизобретению, застучал я в дверь и был столь досадителен, что под конец служанка нехотя меня впустила. Но когда она расчухала, с чем я

пришел (ибо долгий ее нос тотчас же донес ей о моей тайности), то стала еще сердитей. Того ради зачала она со мной лаяться, каковую перебранку скоро заслышал священник, который к тому времени почтай что уж выпался. Он кликнул нас обоих и велел подойти к постели, как если бы и сам пожелал приобщиться к доброму тому запаху. Но коль скоро он приметил, где раки зимуют, то наморщил нос, сказав, что, невзирая на все предписания календарей,³ нет ничего лучшего в моем теперешнем состоянии, как помыться. Он приказал служанке, вместе с тем как бы ее упрасывая, выстирать, покуда не настал полный день, мои штаны и повесить их возле печи в каморке, а меня самого уложить в постель, ибо он видел, что я совсем закоченел от морозу. Едва я обогрелся, как начало светать, и священник поднялся с постели, чтобы проведать, как мне можется и как справлены мои дела, ибо моя рубаха и штаны были еще мокрехоньки и я не мог встать и подойти к нему.

Я поведал ему обо всем и объявил споначалу о том искусстве, какому обучил меня мой товарищ и сколь худо оно оборотилось. Далее рассказал я, что гости, после того как он, священник, отошел прочь, совсем вздурились и (поелику меня в том уверил мой камрад) вознамерились проломить в доме пол; итем какому устрашительному подпал я страху и каким родом пытался спастись от погибели, за что, однако, был заточен в гусятник, а также какие речи и деяния довелось мне в оном слышать от тех двоих, что меня снова освободили, и каким образом я их обоих вместо себя там запер. «Симплиций, — вскрикнул священник, — вшивое твое дело! Ты изрядно выпутался, однако ж я в опасении, ахти как я опасуюсь, что ты все пустил по ветру. А ну, скорехонько вылезай из постели да проваливай отсюда, чтобы и мне не попасть вместе с тобой в немилость к твоему господину, когда накроют тебя в моем доме». Итак, принужден был я уйти в мокром платье и впервые испытать, в какой чести у всякого тот, кто приобрел благоволение своего господина, и как, напротив того, все глядят на него косо, когда милость сия поколеблена или пошла прахом.

Я отправился в покои моего господина, где все еще спали непробудным сном, кроме повара и нескольких служанок. Сии последние прибирали комнаты, в коих вчера шла пирушка, а повар пережаривал остатки на завтрак или, лучше сказать, на закуску. Допреж всего забрел я к девушкам: там повсюду было навалено битое стекло как рюмочное, так и оконничное, а кое-где полно тем, что выходило у гостей верхом и низом, а в иных местах стояли превеликие лужи от расплеснутого вина и пива, так что пол уподоблялся некой ландкарте, на коей изображены и представлены очам различные моря, острова и надежные сухие материки, куда может ступить стопа человека. Вонь же стояла во всем покое куда несноснее, нежели в моем гусятнике; того ради пребывание мое там было недолгим; я отправился на кухню досушивать у огня свое платье прямо на

теле, со страхом и трепетом ожидая, как-то обернется ко мне Фортуна, когда господин мой проспится. Присем размышляя я о глупости и неразумии мира, представляя себе все, что приключилось со мной прошедшим днем и сей ночью, а также все, что довелось мне, кроме того, видеть, слышать и испытать. И сии мысли произвели во мне то, что я пожелала воротить себе ту скучную и бедственную жизнь, которую я вел с отшельником и теперь почитал за счастливейшую.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

*Симплиций пажу отплатил за науку,
Поведав, какую сыграл он с ним шутку.*

А когда господин мой поднялся с постели, то послал своего лейб-егеря привести меня из гусятника; сей принес ведомость, что нашел двери раскрытыми, а позади засова прорезана ножом дыра, посредством коей заключенный и освободил себя. Однако ж еще до того, как пришло это известие, поведал мой господин от других, что я уже давненько сижу на кухне. Меж тем повсюду были разсланы слуги, чтобы собрать к завтраку вчерашних гостей, в том числе и священника, коему было велено явиться пораньше прочих, ибо господин мой пожелал иметь с ним обо мне беседу до того, как все усядутся за стол. Сперва спросил он священника, как, по его разумению, смышлен я или с придурью, или же столь прост или же, напротив, столь злонаравен, и поведал ему затем все, сколь бесчинно вел я себя прошедшим днем и вечером как за столом, так и во время танцев, что некоторые из его гостей дурно приняли и в худую сторону истолковали, будто бы все сие с умыслом и к нарочитому их афронту было подстроено; и тем что он, дабы обезопасить себя от подобной насмешки, какую я еще мог учинить, велел запереть меня в гусятник, откуда я, однако, выбрался и теперь обретаюсь на кухне, словно дворянчик, коему не надлежит больше ему прислуживать; отродясь не доводилось ему перенести такую шутку, какую сыграл я над ним в присутствии толикого множества почтенных людей, а посему поступит со мной не иначе, как задав мне хорошую порку, и так как я кажусь ему теперь столь глупым, то и прогонит меня ко всем чертям.

Меж тем, как господин мой так на меня жаловался, мало-помалу собралась гости. А когда он все выговорил, то священник ответил, что ежели господину губернатору будет угодно уделить ему короткое время и выслушать его с малым терпением, то он мог бы порассказать о делах Симплиция немало забавного, чудней чего и придумать нельзя, а притом не только откроется совершенная его невинность, но и те, кои по причине

его поступков почли себя оскорбленными, отложат все неправые мысли. Сие было ему дозволено, однако ж с тем, чтобы произошло это за столом, дабы вся кумпань получила надлежащую от того потеху.

Когда наверху в покоях шла обо мне беседа, то на кухне аккордировал¹ со мною сумасбродный фендрик, кой сам друг заперт был в гусятнике заместо меня, и угрожающими словами, а также талером, сунутым мне в руку, добился того, что я обещал ему помалкивать о его делишках. Стол был накрыт и как в прошедший день уставлен кушаньями, а за ним полным-полно гостей. Полынное, шалфейное, девятисиловое,² квитоловое³ и лимонное вино вместе с гиппократовой настойкой⁴ должны были вновь ублажать их головы и желудки; ибо были они почитай что все чертовы мученики. Первая их беседа пошла о самих себе, а именно, как они вчера изрядно друг друга накачали, однако ж не сыскалось среди них ни одного, кто б захотел сознаться, что был полон до краешек, хотя по вечеру и клялись они, подчас даже черным словом, что не могут боле в себя вместить, и паки, и паки восклицали: «Вино — мой господин!». Некоторые, правда, признавались, что они под изрядным хмельком, другие же уверяли, что как только малость захмелели, то уже больше не упивались. Когда же прискучило им толковать и слушать о собственных дурачествах, то пришлось претерпеть и бедному Симплицию; губернатор сам напомнил священнику, что ему надлежит объявить о различных забавных вещах, как он обещал.

Сей сперва попросил не поставить ему в вину, ежели он принужден будет употребить слова, кои могут быть почтены не приличествующими его духовному сану, повел свой рассказ споначалу о том, по какой естественной причине терзали меня внутренние ветры и какую учинил я через то непристойность секретарю в канцелярии и какому искусству вместе с ворожбою был обучен и как худо поставил его на пробу; итем сколь странными показались мне танцы, понеже ничего подобного я никогда не видывал; и какое на вопрос о сем получил я от моего камрада объяснение, по какой причине я вцепился в благородную даму и попал в гусятник. Все сие, однако ж, изъяснил он благопристойнейшим образом, так что все чуть не полопались от смеху, оправдав притом мою простоту и неразумение столь обходительно, что я снова вошел в милость у моего господина и был допущен прислуживать за столом; однако ж о том, что приключилось со мною в гусятнике и каким образом я из него выбрался, он не захотел сказывать, ибо опасался, как бы ни ожесточились против него некие сатурнические⁵ бараньи лбы, кои мнят, что духовным всегда подобают одни только кислые мины. Напротив того, мой господин, чтобы позабавить гостей, спросил меня, чем же я заплатил моему товарищу за то, что он обучил меня опрятному сему искусству, а как я ответил: «Ничем», то он сказал: «Ну, так я ему уплачу сполна за твое ученье», и велел тотчас же разложить его на кобыле и всыпать ему горячих тем же родом,

как было со мною прошедшим днем, когда я испытывал сие искусство и нашел его неверным.

Теперь господин мой был довольно уведомлен о моей простоте, а по-сему пожелал так меня настроить, чтобы еще больше потешить себя и своих гостей; он изрядно усмотрел, что музыканты и в грош не идут, покуда я под рукой, ибо дурацкими своими выходками я мог за пояз заткнуть целый оркестр. Он спросил, чего ради я, сидючи в гусятнике, прорезал дверь и дал тягу. Я ответил: «То, верно, соделал кто другой». Он спросил: «Кто ж тогда?». Я сказал: «Верно, тот, кто ко мне пришел». «А кто к тебе пришел?». Я ответил: «О том я никому не смею сказать». Мой господин был проворен разумом и отлично видел, как меня провести: того ради опередил он меня в мыслях и спросил: «Кто же мне заказал сие сказывать?». Я не медля отвечал: «Сумасбродный фендрик!». Однако ж по общему смеху тотчас же приметил, что сделал большую промашку, а сидевший вместе со всеми сумасбродный фендрик стал красен как рак, и когда бы я не пожелал болтать дальше, то он бы мне сие охотно дозволил. Но моему господину стоило только вместо приказа кивнуть сумасбродному фендрику, и я уже смело мог объявить обо всем, что знал. Потом спросил меня господин: «За каким делом пришел сумасбродный фендрик ко мне в гусятник». Я ответил: «Он привел туда девицу». «А что же учинил он далее?» — спросил господин. Я ответил: «Мнитися мне, что он собирався в том хлеву помочиться». Мой господин спросил: «А что при сем творила девица? Неужто она не застыдилась?». «Вестимо нет, господин, — сказал я, — она задрала юбку и захотела к сему (мой высокочтимый, скромность, целомудрие и добродетель возлюбивший читатель, прости неучтивому моему перу, что пишет оно столь грубо, как я тогда молвил) подложить». Через то поднялся среди всех присутствующих такой хохот, что господину моему не стало возможности меня слышать, не говоря уже о том, чтобы выпрашивать далее; правда, то было более и не надобно, ибо тогда честная и благонравная девица (scil.)⁶ также подпала бы насмешкам.

Засим гофмейстер объявил за столом, что я наемни воротился с болверка, или крепостного вала, и сказал, что мне ведомо, как произвесть гром и молнию; я-де видел на таких полутелегах⁷ большие стволы, изнутри полые; в них-де запихали луковичные семена вместе с такой белой морковкой, у коей обрезан хвост, после чего стволы малость пощекотали зубчатым колышком, отчего спереди вылетели дым, гром и адское пламя. Они немало еще навывдумывали подобных шуток, так что, почитай, во весь завтрак ни о чем другом, как только обо мне, не говорили и ни над кем другим не смеялись. Сие привело ко всеобщему заключению на мою погибель, что ежели меня как следует допечь, то со временем сделаюсь я редкостным застольным шутком, к коим благоволят и величайшие властелины мира и над коими могут посмеяться и простые смертные.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

*Симплиций взирает, с коликим нахальством
В Ганау надули большое начальство.*

А когда собрались все снова, чтоб по вчерашнему пировать и бражничать, то объявили стражники со вручением письма губернатору об ожидавшем у ворот комиссариусе, что был уполномочен повелением от Военной коллегии короны шведской произвести смотр над гарнизоном и визитацию всей крепости. Сие отравило все шутки, и радостный смех вдруг ослабел, как пузырь у волюнки, откуда дух вышел. Музыканты и гости рассеялись, исчезая, словно табачный дым, кой оставляет после себя один только запах; мой господин вместе с адъютантом, несшим ключи, поспешно выкатился к воротам в сопровождении отборного отряда стражников и множества факелов, дабы самому принять чернильную крысу, как он его называл. Он сулил, чтобы черт тысячу раз свернул ему шею, прежде чем тот войдет в крепость. Но как только он его впустил и приветствовал, стоячи на внутреннем подъемном мосту, то мало не доставало, чтобы он сам не подхватил стремя, дабы явить совершенную преданность, и взаимные почести в тот миг достигли того, что комиссариус спешился и пошел с моим господином к его ложементу, и тогда каждый пожелал идти по левую руку. «Ах, — подумал я, — сколь удивительно лживый дух управляет людьми, и как он одного с помощью другого обращает в дурней». Мы приблизились таким образом к главной караульне, и часовой окликнул: «Кто там?», хотя и видел, что то был мой господин. Сей не пожелал ответить, уступая честь другому; того ради еще усерднее прикидывался караульный, повторяя свои крики. Напоследок, на последний оклик: «Кто там?», сказал швед: «Солдат, что дает деньги». А как мы миновали караульню, и я плелся позади, то довелось мне услышать помянутого часового, который был новобранцем, а до сего по ремеслу своему достаточным молодым крестьянином из Фогельсберга, как он проворчал: «Видать, ты прожженный лгунище! Солдат, что дает деньги! Живодер, что берет деньги, вот ты кто! Ты у меня столько их повитыянул, что я желаю, чтоб тебя градом побило до того, как ты снова выедешь из городу». С того часу возымел я в мыслях, что сей чужой господин в коротком бархатном платье, должно быть, святой, ибо не только не задевают его проклятья, но и ненавидящие его оказывают ему всяческую честь, любовь и приятство; в ту же самую ночь его изрядно угостили, напоили до умопомрачения и еще к тому уложили спать в прекрасную постель.

В последующие дни на смотре происходила изрядная кутерьма. Даже я, несмышленный простофиля, был довольно проворен, чтобы мудрого комиссариуса (каковые чины и должности поистине не малым детям вручаются)

обмануть и провести за нос, чему я скорее чем в час обучился, понеже и все то искусство в том состояло, чтобы счесть до 5 и до 9¹ и оное выбивать на барабане, ибо был я еще мал ростом, чтобы презентовать собою целого мушкетера. На сей случай вырядили меня в заемное платье (ибо мои короткие штаны к такому делу не сгодились) и выставили с заемным барабаном, нет сомнения, для того, что и сам-то я весь был заемный; с тем и прошел я смотр благополучно. Но понеже не полагались на мою простоту, что я удержу в памяти непривычное имя, на которое надобно мне откликнуться и выступить вперед, то должен был я остаться Симплициусом; прозвище сочинил мне сам губернатор и повелел внести в списки Симплициуса Симплициссимуса, поставив меня, словно блядина сына, первым в роде, хотя, по собственному его признанию, лицом я был схож на родную его сестру. Я и впоследствии, до тех пор пока не узнал настоящего, удержал сие имя и прозвище, под каким нарочито хорошо и сыграл свою роль к немалой выгоде губернатора и невеликой потере для шведской короны, что было единственной службой, какую сослужил я ей за всю свою жизнь, того ради и враги ее не имеют причин на меня злобиться.

ПЯТАЯ ГЛАВА

*Симплиций чертями в геену ведом,
Где потчуют бесы гишпанским вином.*

По отбытию комиссариуса призвал меня тайно в наемный свой покой помянутый священник и сказал: «О Симплиций, я сокрушаюсь о твоей юности, и будущее твое злополучие подвигает меня к состраданию. Внемли, сын мой, и знай точно, что вознамерился господин твой лишить тебя всякого разумения и соделать из тебя дурака, поелику уже повелел он на сей случай изготовить для тебя платье. Поутру будешь ты принужден вступить в ту школу, где назначено тебе оставить разум; в оной, нет сомнения, станут тебя столь жестоко пытаться, что ты, когда только бог и естественные средства тому не воспрепятствуют, нет сомнения, станешь сумасбродом. Но понеже таковое ремесло сумнительно и опасно, расположился я ради благочестия своего отшельника и собственной твоей простоты по нерушимой христианской любви оказать тебе необходимым советом и спасительным средством вспоможение и вручить тебе настоящее лекарство. А посему следуй моему наставлению и прими сей порошок, кой такую мерю укрепит мозг твой и память, что ты, не повреждая разума, обретешь силу преодолеть все с легкостью. И еще вот тебе бальзам, натри им себе виски, темя и затылок, а также ноздри; и употреби оба средства

вечером, отходя ко сну, поелику ни в едином часе не можешь ты быть уверен, что тебя не подымут с постели. Однако ж смотри и прилежно примечай, чтобы о сем предостережении и переданном тебе снадобье никто не проведаль, а не то нам обоим придется худо. И когда подвергнут тебя проклятому сему лечению, не всему внемли и не во все веруй, в чем захотят тебя убедить, однако ж прикидывайся, как если бы ты всему и впрямь верил. Говори мало, дабы приставленные к тебе не приметили, что обмолачивают пустую солому; а не то продлят они твою муку, хотя и не могу я знать, каким родом станут они с тобой обходиться. Однако ж, как обрядят тебя в дурацкое платье и шутовской колпак, то паки приди ко мне, чтобы я мог послужить тебе дальнейшим советом. Меж тем хочу я помолиться всевышнему, дабы сохранил тебе разум и телесное здравие!». После сего вручил он мне порошок и бальзамическую мазь, с чем я и отправился восвояси.

Как сказал о том священник, так и случилось. По первом сне явились к моей постели четверо в ужасающих бесовских личинах; сии скакали вокруг, словно фигляры и масляничные скоморохи; один с раскаленными вилами, другой с факелом; а двое остальных кинулись на меня, сволокли с постели, поплясали со мною несколько времени и силою напялили на меня платье. Я же прикидывался, как если бы почитал их за всамделишных натуральных чертей, поднял прежалостнейший вопль и произвел на лице испуганные кривлянья; но они возвестили мне, что должен я за ними последовать. Затем обязали они мне голову платком, так что не мог я ни видеть, ни слышать, ни кричать. И повели они меня, бедного простака, дрожавшего, как осиновый лист, различными окольными путями по многим лестницам то вверх, то вниз и под конец завели в погреб, где полыхал большой огонь, и когда развязали меня, то начали потчевать гишпанским вином и мальвазией. Они изрядно втолковали мне, что я помер и днесь нахожусь в преисподней, понеже я прилежно прикидывался, будто я всему тому верю, что они мне нагали. «Пей веселей, — восклицали они, — ведь тебе суждено навеки у нас остаться. А коли не захочешь пристать к доброму кумпанству, то принужден будешь идти в настоящий огонь!». Бедняги притворно меняли голоса и речь, дабы я не мог их узнать; однако ж я тотчас приметил, что то господина моего фурьеры, но не показал виду, а посмеивался себе в кулак, что те, кому надлежит обратить меня в дурня, сами принуждены быть передо мной дураками. Я пил налитое мне гишпанское вино, однако ж они упивались более меня, понеже оный небесный нектар не часто достается подобным детинам, и я могу еще в том поклясться, что они скорей налились до краешек, нежели я. А когда, по моему разумению, настало надлежащее время, представил я, что шатаюсь туда и сюда, как довелось мне намеренно видеть у гостей моего господина, и под конец вовсе не желал пить, а только спать; напротив того, подкалывали они меня вилами, кои во все время лежали у них

в огне, и гоняли по погребу из одного угла в другой, что сходило на то, как если бы сами они вздурились, ибо должен был я больше пить или по крайности совсем не спать. И когда я в такой травле свалился с ног, как я тогда нередко поступал с умыслом, то сгребли они меня снова и прикидывались, будто вознамерились кинуть в огонь. Итак, выпала мне доля сокола, коего неволят без сна,¹ что было для меня тяжким крестом. Правда, в рассуждении упития и сна я бы отлично мог противу них выдержать, однако ж они не оставались все вместе, а сменяли друг друга; того ради под конец привелось мне быть в накладе. Три дня и две ночи провел я в дымном сем погребе, где не было иного света, кроме как от разложенного там огня; оттого голова моя зачала бродить и яриться, как если бы восхотела она лопнуть, так что под конец должен был я измыслить хитрость, чтобы освободиться от той муки и моих мучителей; я поступил, подобно лисице, что брызжет мочой в глаза собакам, когда иначе не надеется уйти от них: и понеже как раз побуждала меня натура отправить нужду (s. v.), в то ж время засунул я палец в глотку, возмутив там в себе рвоту таким образом, что я сразу учтиво наполнил (моим добром) штаны и заблевал весь камзол, оплатив за ту пирушку нестерпимой вонью, так что, казалось, и черти мои не смогли долее при мне оставаться. Тогда завернули они меня в холщевую простыню и прибили столь безжалостно, что у меня чуть было все внутренности и вместе с ними душа не полезли наружу, от чего я толико ослабел и лишился всех чувств, что лежал, подобно мертвому; и я не знаю, как поступили со мной они далее, так неотменно лишился я жизни.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

*Симплиций внезапно в рай попадает,
Телячье обличье там принимает.*

А когда пришел я в себя, то обретался уже не в пустом погребе с чертями, а в изрядном зале на попечении трех старух наискареднейшего вида, каких только когда-либо земля носила. Поначалу, едва приоткрыв глаза, почел я их за натуральных исчадий адовых, однако ж как я уже перед тем читывал древних языческих поэтов, то принял их за Эвменид или по крайности одну из них за Тисифону¹ самолично, коя прибыла из геены, дабы лишить меня разума, подобно Атаманту,² ибо наперед знал, что я для того и был тут, чтобы обратиться в дурня. Глаза у нее были, словно блудящие огни, а меж ними торчал долгий костлявый ястребиный нос, коего конец или острие не иначе как доставал до нижней губы. В пасти ее усмотрел я всего только два зуба, однако были они столь совершенны,

длинные, круглые и толстые, что любой из них по виду едва ли не с безымянным пальцем, а по цвету с багряным золотом сравнить было возможно. Одним словом, кости тут имелось довольно на целый рот зубов, только весьма худо ее разделили. Лицом сия старуха походила на кусок кордуанской кожи, а белые ее космы свисали странно всклокоченные, как если бы только что подняли ее с постели. Долгие ее груди ни с чем иным сравнить не умею, как только с двумя ослабелыми и обвислыми бычачьими пузырями, из коих выпущены две трети заключенного в них духу; в конце каждой свисал бурый сосок в полпальца длиной. Поистине вид ужасающий, кой ничем иным послужить не мог, как изрядным средством от безрассудной горячности похотливых козлов. Другие две были нимало ни красивей, не считая сплюснутых обезьяньих носов и несколько пристойнее надетых платьев. А когда я малость отудобел, увидел я, что то наша судомойка, а те две фурьерские женки. Я притворился, будто разбит всем телом и не могу пошевелиться, как и вправду не было у меня тогда охоты пуститься в пляс, когда сии честные старые мамушки догола меня раздели и, словно новорожденного младенца, омыли от всякой скверны. Однако ж производили сие с отменной мягкостью; во время какой работы оказали они великое терпение и преизящное милосердие, так что я им чуть не объявил, как ладно еще обстоят мои дела. Однако ж подумал: «Э, нет! Симплиций, не должно иметь тебе доверенность ни к одной старой бабе, а подумать надобно, что и то будет немалая victoria,³ когда сможешь ты при своей младости провести трех прехитрых старых потаскух, коим только с чертями в свайку играть; и в случае сем почерпнешь упование, что, возрастая в летах и придя в совершенный возраст, достигнешь ты еще большего». А как тем временем покончили они со мной, то уложили в изрядную постель, где я и уснул без всякого укачивания; они же пошли и унесли с собою вместе с моим платьем и прочими нечистотами бадейки и прочую утварь, в чем они меня обмывали. По моему рассуждению, провел я в беспрестанном сне более суток; и когда я вновь пробудился, у изголовья моего стояли два крылатых отрока в белых рубахах, великолепно изукрашенных тафтяными лентами, жемчугом, драгоценностями, золотыми цепями и другими взрачными предметами. Один держал золоченый умывальный таз, наполненный доверху вафлями, блинчиками, бисквитами, марципанами⁴ и разными другими заедками, а у другого в руках был золоченый кубок. Сии ангелы, как они себя объявляли, восхотели меня уверить, что отныне я обретаюсь в раю, ибо столь счастливо претерпел в чистилище и от черта вместе с его матушкой навеки избавился; того ради надлежит мне только требовать, чего душа моя желает, поелику, что только мне любо, всего у них вдосталь или же в полной их власти сюда доставить. Жажда обуревала меня, и понеже видел я перед собой кубок, то пожелал только питья, что и было мне подано более чем благосклонно. Однако ж было то не вино, а приятный сонный напи-

ток, какой я неукоснительно поглотил, и оттого снова заснул, как только он во мне согрелся.

На следующий день пробудился я вновь (ибо иначе я бы еще спал), однако же обрел себя уже не в постели, не в прежнем зале с ангелами и еще того менее в самом царствии небесном, а в моем старом гусятнике. И была там паки тьма кромешная, как в недавнем погребце; и сверх того было на мне платье из телячьей шкуры шерстью наружу; штаны были на польский или швабский лад, а камзол еще того нарядней и шит на дурацкий манер. А сверху напялили на меня до самой шеи колпак наподобие монашеского капюшона, украшенный парой красивых больших ослиных ушей. Я сам принужден был рассмеяться на злосчастную мою планету, ибо по гнезду и перьям тотчас приметил, какой птицей надлежит мне стать. Тогда-то впервые начал я размышлять о самом себе и о лучшем своем уделе, и как было у меня довольно причин, дабы возблагодарить вышнего за то, что сохранил он мне разум в полном здравии, а также с великим усердием обратиться к нему с молением, чтобы и впредь он меня охранял, направлял и провождал. Я положил намерение придерживаться шутовства, как только возможно, и терпеливо ожидать, что еще ниспошлет мне судьба.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

*Симплиций в телячьем чине исправен,
Стал меж людьми и скотами славен.*

Посредством дыры, кою прежде сего прорезал в двери сумасбродный фендрик, легко мог бы я освободить себя; но, понеже издежало мне быть дурнем, оставил я сие втуне и не только поступил, как дурак, который не столь смышлен, чтобы уйти самому, но и прикинулся голодным телятей, что скучает по матери. Мое мычание вскорости было услышано теми, кто к сему был приставлен, ибо двое солдат подошли к гусятнику и спросили: «Кто там?». Я отвечал: «Вы, дурни, али не слышите, что здесь теленок?». Они росперли хлев, вывели меня наружу и дивились, что теленок может речь вести, и сие пристало им, как принужденные ужимки новоиспеченному неискусному комедианту, когда он персону, которую надлежит изобразить, не весьма-то ловко представляет, так что я подумывал, не должен ли я им в той шутке прийти на помощь. Они посоветовались, что им надлежит предпринять, и согласились на том, чтоб поднести меня губернатору, а он их богаче одарит, нежели б заплатил им за меня мясник, ибо я разумею говорить. Они спросили, ладно ли идут мои дела. Я ответил: «Отменно худо!». Они спросили: «Отчего ж?». Я сказал: «Да оттого,

что здесь в обычае честных телят запирают в гусятник! Надлежит вам, детинам, ежели того хотите, ведать, что предстоит мне вырасти достославным быком, так что и воспитать меня должно, как то честному тельцу приличествует». По окончании краткого сего дискурса отвели сны меня проулком прямо в губернаторов дом; за ними следовала превеликая толпа мальчишек, и так как они, подобно мне, мычали по-телячьему, то слепец на слух заключить мог, что мимо гонят стадо телят; однако ж по виду было то сборищем старых и молодых дурней.

Итак, двое тех солдат презентовали меня губернатору, как если бы во время фуражировки заплучили меня в добычу. Он одарил их деньгами на пропой, мне же посулил, что я получу от него еще лучшие вещи. Я помыслил, как малый у золотаря,¹ и сказал: «Добро, господин, однако ж не следует замыкать меня в гусятник, ибо мы, телята, того не носим, когда надлежит нам возрасти в добрую рогатую скотину!». Губернатор наилучшим образом обнадежил меня и почел себя великим искусником, что сотворил из меня презабавного дурака; я же, напротив, думал: «Эге, любезный мой господин, помедли малость; я претерпел огненную пробу и в ней закалился; теперь давай испытывать, который из двух проведет другого за нос!».

Меж тем некий злополучный мужик гнал скотину на водопой; как только я сие увидел, то оставил губернатора и поспешил с телячьим мычанием за коровами, как если бы захотел сосать вымя. А те, едва я к ним приблизился, ужаснулись меня сильнее, нежели волка, хотя и был я облачен в ихнюю шкуру. И они так всполошились и разбежались во все стороны, как если бы в августе бросили посреди их гнездо, полное шершней, так что хозяин уже не смог согнать их вместе, что произвело немалую потеху. В мгновение ока сбежалась толпа народу, чтобы поглазеть на шутовское сие представление, и мой господин смеялся так, что чуть не лопнул, а потом сказал: «От одного дурня сотня других родится». Я же помыслил: «Ухвати за нос, да самого себя, ибо ты как раз тот, о ком речь держишь».

Подобно тому как всяк с того времени называл меня Теля, так и я в свой черед величал каждого особливым насмешливым прозвищем; оные были, по мнению многих, а паче всего по рассуждению моего господина, весьма метки, ибо каждого окрестил я, как то требовало его свойство. Одним словом, всяк почитал меня за неразумного дурня, а я каждого за отменного дурака. Сей обычай, как я заметил, употребителен еще и поныне, поелику всякий доволен своим умом и мнит себя разумнейшим среди всех прочих, хотя и не лживо сказано: «Stultorum plena sunt omnia».²

Сказанная потеха, какую учинил я с мужиковым стадом, скоротала нам и без того короткое утро; ибо стояла тогда зима как раз у самого солнцеворота. За обеденным столом прислуживал я, как и прежде, но вместе с тем выкидывал диковинные коленца; и как пришел черед меня

накормить, то никто не мог меня принудить отведать какого-либо блюда или напитка, что на потребу людям: я просил только травы, какую достать в то время было никак невозможно. Господин мой повелел принести от мясника две свежие телячьи шкуры и обрядить в них двоих отроков. Сих подсадил он ко мне за стол и угостил нас по первому блюду зимним салатом, приказав нам оказать над ним свою храбрость; также повелел он привести живого теленка и с помощью соли приохотить его к салату. Я уставился оцепенелыми очами, как если бы весьма тому дивился, но стоявшие вокруг увещевали меня к сему присоединиться. «Добро, — говорили они, видя такую мою непреклонность, — в том ведь нет новости, когда телята жрут мясо,³ рыбу, сыр, масло и пр. Чего? Подчас доводится им и допьяна напиваться. Теперь скотам довольно ведомо, что есть добро». «Да, — сказали они засим, — ныне уж до того дело дошло, что меж ними и людьми весьма малое различие находят: чего ради захотел ты один тому не последовать?».

Я тем скорее дозволил себя в том уверить, что меня томил голод, а не для того только, что я сам довольно уже видел, как частию люди здесь были грязнее свиней,⁴ свирепее львов, похотливее козлов, завистливее собак, необузданнее кобыл, бесстыжее ослов, невоздержаннее в питии быков, хитрее лисиц, прожорливее волков, дурачливее обезьян и ядовитее змей и жаб, однако ж все вкушали человеческую пищу и только обликом своим отличались от зверей, наипаче же не доставало им невинности теляти. Я вместе с собратьями моими телятами уписывал за обе щеки, как повелевал мне аппетит, и когда б какому чужестранцу ненароком довелось увидеть нас, сидящих рядышком за столом, эн, нет сомнения, вообразил бы, что вновь воскресла старая Цирцея и обращает людей в скотов, каковое искусство мой господин знал и в оном тогда упражнялся. Тем же порядком, каким свершил я обед, был мне собран и ужин. И подобно тому как мои сотрапезники, или объедалы, оказывали над кушаньями свою храбрость, дабы и я примеру их следовал, также принуждены были они отправиться со мною в постель, ибо господин мой не соглашался, чтобы я снова ночевал в хлеву; и я поступил так, дабы те, что возомнили, будто им удалось обратить меня в дурака, сами довольно были мною подурочены, и твердо из того заключил, что всеблагий бог каждому человеку в том звании, к какому он его назначил, столько дает и ниспосылает ума, сколько для того надобно, дабы он сохранил себя, а посему иные ученые мужи совсем напрасно воображают, они-де одни умны и ко всякой бочке затычка;⁵ ну, нет: и за горами, за лесами тоже сами с усами!

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

*Симплиций о памяти слышит прение,
Потом суждение про забвение.*

Поутру, когда я пробудился, обеих моих сотеляток и след простыл; того ради поднялся я с постели, и когда адъютант взял ключи, чтобы отпереть городские ворота, то проскользнул в дверь и отправился к сказанному священнику. Ему поведал я обо всем, что со мной приключилось как на небе, так и в преисподней. И он, узрев, что меня обуревают раскаяние, ибо я, прикинувшись дурнем, обманул столько людей, и особливо моего господина, сказал: «О сем нимало не печалуйся, глупый свет с великою охотою вдается в обман. Ежели ты еще сохранил ум, то обрати его себе во благо и возблагодари господа, что ты все превозмог, каковой дар бывает ниспослан не всякому. Вообрази себе, что ты, подобно Фениксу, возродился из огня от Неразумия к Разуму и, следовательно, к новому человеческому житию. Но памятуй, что ты еще не вышел сухим из воды, а лишь с опасностью для своего рассудка схоронился под дурацкую эту личину; времена ныне настали шаткие, никто не может поручиться, доведется ли тебе с этой личиною расстаться, не утратив при сем и самой жизни. Скоро и споро провалиться в преисподнюю, а вот чтобы выкарабкаться оттуда, потребно немало попотеть да попытеть. Ты ведь еще гораздо юн и неискушен, чтобы избежать предстоящих тебе опасностей, как ты, видать, уже вообразил. А посему осторожность и рассудок тебе еще более надобны, нежели в то время, когда ты еще не различал, что есть Разум и что есть Неразумие. Положись на волю Божию, молись прилежно, пребывай в смирении и терпеливо ожидай грядущих превратностей».

Сей дискурс его со мною был нарочито столь несхож с прежнею его беседою, что я подумал, уж не написано ли у меня на лбу, сколь возомнил я о себе, раз мне удалось с помощью его искусства учинить столь мастерский обман и проскочить невредимым. Я же, напротив того, заключил по его лицу, что он в гневе и в немалой на меня досаде; да и какой ему был от меня прибыток? Того ради переменял и я свою речь и принес ему великое благодарение за превосходное средство, какое он вручил мне для сохранения моего разума, и я даже давал ему несбыточные обещания со всею благодарностью вознаградить его за все, в чем только был перед ним в долгу.

Сие польстило ему и привело в иное расположение духа; ибо он тотчас же стал изрядно выхвалять свое снадобье и поведал мне, что Симонид Меликус изобрел,¹ а Метродор Сцеписий² немало положил трудов, дабы привести в лучшее совершенство такое искусство, посредством коего он может научить людей все, что они единый раз слышали или прочи-

тали, повторить слово в слово, а это, сказал он, без того крепительного для головы лекарства, какое он мне дал, никак невозможно. «Эва, — помыслил я, — любезный отче, в бытность мою у отшельника я в собственных твоих книгах читывал совсем иное, в чем состоит сцепсиево искусство изошрения памяти!». Однако ж был настолько лукав, что о том не обмолвился; ибо когда дело доходило до правды, то я, с тех пор как мне назначено было сделаться дураком, стал смышлен и в речах своих опаслив. Он же, священник, продолжая свою речь, сказывал, что Кир³ каждого из 30 000 своих воинов звал по настоящему его имени. Люций Сципион⁴ мог поименовать всех граждан Рима, а Киней, посол Пирров, на другой же день по прибытию в Рим мог надлежащим образом перечислить имена всех сенаторов и всадников. «Митридат,⁵ царь Понта и Вифинии, — уверял священник, — властвовал над народами, глаголящими на двадцати двух языках, и мог, как о том пишет Сабелик lib. 10, сар. 9,⁶ всем и каждому порознь оказать справедливость на их наречии. Ученый грек Хармид⁷ говорил наизусть каждому, кто желал узнать что-либо из книг, наполняющих целую Вифлиофику, когда бы только один раз бегло прочитал их. И Люций Сенека⁸ мог перечислить наизусть две тысячи имен и в том же порядке, как они перед тем ему насказаны, и также, по словам Равизия,⁹ двести стихотворений, прочитанных перед ним двумястами школяров от последнего до первого. Ездра,¹⁰ как о том пишет Euseb. lib. temp. Fulg. lib. 8, сар. 7,¹¹ знал наизусть Пятикнижие Моисеево и мог диктовать его слово в слово переписчикам. Фемистокл¹² изучил персидский язык за один год. Красс в Азии¹³ отменно говорил на пяти различных греческих наречиях и мог на них судить своих подчиненных. Юлий Цезарь в одно и то же время читал, диктовал и давал аудиенцию. Об Элии Адриане,¹⁴ Порции Латроне¹⁵ и других римлянах и не буду ничего говорить, скажу только о святом Церониме,¹⁶ что он знал еврейский, халдейский, греческий, мидийский, арабский и латинский. Пустынножитель Антоний¹⁷ с одного только слуха знал наизусть всю Библию. Также приведено в Colegus lib. 18, сар. 23¹⁸ из сочинений Марка Антонио Муретуса¹⁹ о некоем корсиканце, который, выслушав шесть тысяч человеческих имен, мог затем в надлежащем порядке быстро их всех повторить».

«Все сие говорю я для того, — сказал далее священник, — дабы ты не почел несбыточным, что с помощью медицины память человеческая изрядно укреплена и сохранена быть может, как и, напротив того, различным образом ослаблена или даже истреблена вовсе, понеже Plinius lib. 7, сар. 24 изъясняет,²⁰ что ничем так не слаб человек, как памятью, и что от болезней, испуга, страха, забот и скорбей она либо исчезает вовсе, либо теряет большую часть своей силы.

Так об одном ученом афинянине²¹ можно прочесть, что он, после того как на него упал камень, перезабыл все, чему когда-либо научен был, даже азбуку. А другой свалился с башни и стал через то столь забывчив,

что не мог больше назвать по имени друзей и близких родственников. А еще один был ввергнут болезнью в такое беспомыслие, что позабыл имя слуги своего; Мессала Корвин²² не помнил своего собственного имени, а обладал прежде изрядной памятью. Шрамханс в fasciculo Historiarum, fol. 60²³ пишет (однако ж тут столько прилагано, как если бы то писал сам Плиний), что некий священник пил собственную свою кровь и через то разучился писать и читать, прочую же память сохранил неповрежденною; и когда он по прошествии года на том же самом месте и в то же самое время паки испил той же крови от жил своих, то снова мог писать и читать, как и прежде. По правде, более с истиною схоже, что пишет Иоганн Вирус²⁴ в de praestigiis daemon. lib. 3, cap. 18, будто тот, кто съест медвежьи мозги, преисполняется толикими бреднями и превеликими фантазиями, что ему мнится, будто он сам медведем сделался, и сие подтверждает пример испанского дворянина, кой, после того как их отведал, скрылся в лесную чащу и не мнил о себе иначе, как о медведе. И когда бы, любезный Симплициус, твой господин знал бы о сем искусстве, то скорее превратил бы тебя в медведя, подобно Каллисто,²⁵ нежели в тельца, подобно Юпитеру».

Подобных вещей священник насказал мне немало и снова дал мне некую толику лекарства, наставив, как вести себя впредь. С тем я и отправился восвояси, приведа с собою, почитай, сотню мальчишек, которые бежали за мной следом и мычали, как телята; того ради господин мой, только что пробудившийся, подошел к окну и, увидев зараз стольких дурней, изволил от всего сердца рассмеяться.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

*Симплиций многим на забаву лицам
Похвальную речь сочиняет девицам.*

Едва я воротился домой, как должен был пойти в губернаторовы покои, ибо у моего господина находилась благородная госпожа, коя превеликую возымела охоту повидать и услышать новоиспеченного дурня. Представ перед ними, я воззрился, словно немой, а посему той девице, которую намеренно ухватил во время танцев, подал причину сказать, ей-де наговорили, что теленок сей умеет речь вести, а теперь она примечает, что то неправда. Я ж отвечал: «А я, супротив того, думал, что обезьяны не могут речь вести, теперь же изрядно слышу, что в том ошибся». «Неужто, — воскликнул мой господин, — ты почитаешь сих дам обезьянами?». Я ответил: «Когда они не обезьяны, то вскорости ими сделаются: кто знает, что может стрястись; я ведь тоже не знал, что стану теленком,

а вот ведь стал!». Мой господин спросил, из чего же я заключаю, что они должны сделаться обезьянами. Я ответил: «У нашей обезьяны оголена задница, а у этих дам уже груди, тогда как честные девицы обыкновенные имеют их прикрывать». «Ах ты, бездельник! — воскликнул мой господин. — Ты глупый Теля, оттого такое и болтаешь. Сии по справедливости дают зреть то, что зрения достойно, обезьяна же нага оттого, что ей негде взять одёжи. Живо искупи свою вину, в чем нашкодил, а не то я попотчую тебя плетьюми и велю затравить собаками в гусятник, как поступают с теми телятами, что не умеют вести себя подобающе. Дай услышать, можешь ли ты воздать достойную хвалу даме и описать ее красоту, как то ей подобает?». Засим оглядел я ту даму с ног до головы и опять с головы до пят, она же взирала на меня столь пристально и с такою приятностию, словно я собирався на ней жениться или еще раз обхватить. Наконец, я сказал: «Господин, теперь я неотменно вижу, в чем тут промашка, во всем виноват плут-портняжка; он всю материю, что назначена была для шеи и должна была прикрыть грудь, пустил в юбку, оттого-то она и влачится сзади; надобно нерадивому плуту поотрубить руки, ежели он не горазд шить лучше. Девица, — сказал я, обратившись к ней самой, — гони его в шею, когда не след ему тебя так уродовать, да постарайся сыскать портного моего батьки, зовут-то его мастер Павел, он ладно справил моей матке, нашей Анне да Урселе такие-то юбочонки, подолом ровненьки, да все в складках и не волочились по грязи, как твои. Ты и не поверишь, какие нарядные платья мог он шить пригожим потаскушкам, в коих они красовались, словно Бартель».¹ Мой господин спросил, а была ли Анна и Урселе у моего батьки красивее этой девицы? «Вестимо нет, господин! — сказал я. — Ведь у сей девицы волосы такие желтые, словно пеленки замаранные, а пробор на голове такой белый и прямой, словно на кожу наклеили свиной щетины; да волосы у нее так красиво скручены, что схожи с пустыми трубками, или как если бы кто повешал с обоих боков по несколько фунтов свечей или по дюжине сырых колбас. Ах, гляньте только, какой красивый, гладкий у нее лоб; разве не выступает он нежнее, чем самая жирная задница, и не белее ли он мертвого черепа, много лет под дождем провисевшего? Вот жалость, что нежная ее кожа столь мерзко загажена пудрою, ибо когда б увидали ее люди, не имеющие о сем понятия, то, верно, возомнили бы, что девица эта шелудивая от рождения и оттого кожа у нее так шелушится, что было бы еще большею бедою для ее глаз, кои, по правде, чернеют и мерцают яснее, чем сажа на челе батькиной печи, а она так и сверкала, когда Анна растапливала печь соломою, словно было в ней заключено чистое пламя, готовое зажечь весь свет. Щеки сей девы так-то славно румяны, однако ж не столь красны, как намедни новые шнуры да ремни у швабских возчиков из Ульма. Однако ж краска на ее устах и ту далеко превосходит, а когда она смеется или что промолвит (прошу, господин,

только взглянуть на нее со вниманием), то в пасти у нее торчат два ряда зубов, один к одному, все-то белые как сахар, словно их настрогали из редьки. О, дивное творение, я не верю, что ты можешь причинить кому-нибудь боль, когда укусишь! А шея-то у нее, почитай, такая же белая, как стоялое кислое молоко, а груди, что пониже, такого же цвета и, нет сомнения, такие же тугие, как козье вымя, от молока раздувшееся. Уж, верно, не такие дряблые, как у тех старух, что намедни, когда я был на небе, обмывали мне задницу. Ах, господин, гляньте только на ее руки и пальцы, они такие-то тонкие, такие-то длинные, такие-то гибкие, такие-то проворные и так искусны, натурально, как намедни у цыганок, чтобы ловчее было запустить в карманы, когда надумают что-нибудь выудить. Но что все это супротив самого тела, хотя я и не видел его нагим! Разве оно не столь нежно, прелестно и субтильно, как если бы ее восемь недель кряду несла матушка Катарина?»² Тут поднялся столь зычный смех, что уже нельзя было ни мне говорить, ни меня услышать, с тем я и задал лататы, словно голландец, и до тех пор позволял над собою потешаться, токуда мне это не прискучило.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

Симплиций речет о героях смелых И о мастерах, в ремесле умелых.

Засим последовал обеденный стол, во время коего я снова изрядно показал себя, ибо положил за правило порицать все дурачества и казнить всякую суетность, к чему тогдашнее мое состояние весьма было удобно; ни одного сотрапезника не оставил я без того, чтобы не упрекнуть и не укорить его пороками, и когда кому сие было не по нраву, то его еще подымали на смех другие или же мой господин ему указывал, что ни один мудрец на дурака не досадует. Сумасбродного фендрика, который был злейшим моим врагом, я тотчас же вытащил на свет божий и прокатал на осле. Однако ж первый, кто по знаку моего господина возразил мне с разумением, был секретарь; ибо когда я нарек его кузнецом титулов и, высмеивая суетные титулы, спросил, а как титуловать праотца всех людей?¹ он отвечал: «Ты болтаешь, как неразумный теля, ибо не ведаешь, что после первых наших прародителей жили различные люди, кои редкостными добродетелями, мудростью, геройскими деяниями, а также изобретением добрых художеств себя и род свой толико возвысили, что и другие вознесли их превыше всех земных вещей и даже звезд, до самых небожителей. Был бы ты человек или же по крайности читал бы, как человек, историю, то уразумел бы различие, которое существует меж

людьми и охотно придавал бы всякому надлежащий ему честной титул; но понеже ты теленок и человеческой чести не причастен и не достоин, то и рассуждаешь о сих вещах, как глупый теля, и не воздаешь благородному человеческому роду того, что исполняет его веселием». Я отвечал: «Я был человеком, таким же, как и ты, и порядком читывал в книгах, а посему могу заключить, что ты сам либо не вник в спор надлежащим образом, либо твоя корысть понуждает тебя говорить иначе, чем ты сумеешь. Скажи мне, какие надобно совершить геройские деяния и похвальные изобрести художества, дабы их достало на несколько сот лет возвеличить целый род после смерти самого героя или художника? И разве то и другое: сила героя, мудрость и высокое разумение художника не умирают вместе с ними? И коли ты сего не сумеешь, а доблести родителей на детей переходят, то принужден я заключить, что отец твой был палтусом, а мать камбалою». «Ба, — отвечивал секретарь, — коли на то пошло, коли нам честить друг друга, то я мог бы укорить тебя, что твой батька был грубый шпессертский мужик, и хотя в родне и на родине твоей изрядных пентюхов уродилось довольно, однако ж, сделавшись неразумным телятею, ты и вовсе себя унижил». «Вот дело! Тут-то я тебя и прищучил, — сказал я, — да ведь сие как раз то, что я доказать хочу, что добродетели родителей не всегда на детей переходят, а посему и дети почетных титулов родителей своих не всегда достойны. По правде, мне нет в том сраму, что я стал теленком, ибо в сем случае выпала мне честь самому могущественному царю Навуходоносору² последовать. Кто знает, не будет ли угодно богу, чтобы и я, как он, снова стал человеком и притом еще больше возвысился, нежели мой батька? Для того прославляю я тех, кто через собственную свою добродетель учинили себя благородными». «Допустим, но не признаем, — рек секретарь, — что дети не всегда честные титулы родителей своих должны наследовать, все же тебе надлежит признать и в том неотменно со мною согласиться, что те, кто сами доблестными своими деяниями учинили себя благородными, всяческой похвалы заслуживают. А коли так, то отсюда следует, что и детям родителей их ради по справедливости воздают почести, ибо яблочко от яблони недалеко падает. Кто бы ни восхотел в потомках Александра Великого, ежели бы хоть один из них в живых остался, прославить доблестного пращура их на войне отвагу? Сей в юности, когда еще был не способен носить оружие, выказал страсть свою к ратным подвигам слезным сокрушением, что отец его всем завладеет, а ему ничего завоевать не оставит. Разве не покорил он целый свет, не достигши и тридцати лет, и еще не насытился подвигами? Разве в битве с индийцами, будучи покинут своими воинами, не вспотел он от гнева кровавым потом? И разве не сиял его лик, словно вокруг него горели языки пламени, так что устрашенные варвары принуждены были борючись отступить? Кто же не пожелает возвысить и возвеличить его над всеми людьми, ибо Квинт Курций³ свидетельствует о нем, что дыха-

ние его было подобно бальзаму, пот мускусу, а мертвое тело его источало благовоние, будто драгоценные курения? Здесь приличествует также упомянуть Юлия Цезаря и Помпея, из коих один, не считая славнейших побед, одержанных им в гражданских усобицах, пятьдесят раз сражался в открытом поле и 1 152 000 воинов положил в битвах.⁴ Другой же, помимо 940 захваченных у морских разбойников кораблей, завоевал и покорила 876 городов и сел от самых Альп до крайних пределов Гишпани. Я умолчу о славе Марка Сергия⁵ и лишь упомяну о Люции Сикко Дентато;⁶ он был цеховым старшиною в Риме, когда Спурий Турпей и Авл Этерний⁷ были бургомистрами. Сей отличился в 110 битвах и по восемь раз кряду побеждал тех, кто его вызывал на бой; он мог показать на своем теле сорок пять рубцов от ран, принятых в сражениях, все лицом к лицу и ни одну сзади; с девятью полководцами шествовал он в триумфах, которых они получили своим мужеством. А воинская доблесть Манлия Капитолия⁸ была бы не меньше, когда бы он сам при скончании жизни ее ни умалил; ибо он также мог показать тридцать три шрама, не считая того, что он один спас от галлов Капитолий со всеми сокровищами. Где библейские герои — Иосия, Давид, Иоаб, Маккавей и множество иных, из коих первые завоевали обетованную землю, а последние вновь даровали ей свободу? *item* могучий Геркулес, Тезей и др., коих славные подвиги и бессмертную хвалу изречь и описать невозможно! Или они в потомках своих не должны были прославлены?».

«Но оставляю брань и оружие и обращаюсь к различным художествам, кои, правда, кажутся не столь знатны, тем не менее мастера в оных немалую себе приобретают славу. Коликакая способность была у Зевксиса,⁹ чья скорая на выдумки голова и преискусная рука обманывали птиц в поднебесьи? *item* у Апеллеса, который написал Венеру так натурально, красиво и превосходно и во всех линиях столь subtilно и нежно, что в нее влюблялись юноши. Плутарх пишет, что Архимед одною только рукою на одном единственном канате протащил через торжище в Сиракузах большой корабль, груженный купецкими товарами, как если бы он провел на узде смирную скотину, что и двадцати быкам, не говоря уж о двухстах подобных тебе телятах, было бы не под силу. Разве сии достохвалыные мужи не должны почтены быть особливими титулами соразмерно своему искусству? Кто не захочет отличить перед всеми другими людьми тех, кои для персидского царя Сапора¹⁰ изготовили стеклянный сосуд, столь широк и велик, что он мог, воссев посреди его, наблюдать под ногами течение светил? Разве не заслуживает хвалы Архит,¹¹ делавший деревянных голубей с таким искусством, что они летали по воздуху, подобно прочим птицам? Альбертус Магнус¹² отлил из меди голову, которая могла явственно выговаривать разумное слово. Так же и Мемнонов столп,¹³ когда озаряло его восходящее солнце, испускал зычный глас или ворчанье. Помянутый Архимед изготовил зеркало,

с помощью коего посереде моря зажигал вражеские корабли. Вспомняем также диковинное зеркало Птолемея, в коем отражалось столько ликом, сколько часов составляло день. Кто не почтет благородной искусную руку того писца, который всю Илиаду Гомерову в сто тысяч стихов уместил на столь малой бумаге, что ее можно было спрятать в ореховой скорлупе, как о том свидетельствует Плиний.¹⁴ А другой искусник сделал целый корабль со всеми надлежащими к нему снастями столь хитроумно, что пчела могла укрыть его под своим крылом.¹⁵ Кто не захочет прославить того, кто первый изобрел азбуку? И кто не захочет поставить превыше всех других искусств того, кто изобрел благородное и для всего света полезное искусство книгопечатания? Когда Церея, ибо она изобрела хлебопашество и мельницы, почитаема была богиною, то будет ли несправедливым, когда, согласно другим ее качествам, воздадут ей хвалу почетным титулом? По правде, невелика забота, уразумеешь ли ты, нескладный теля, все сие своими неразумными бычачьими мозгами или нет. Ты подобен псу, который, лежа на стоге сена, не подпускал к нему быков, ибо сам не мог им полакомиться; ¹⁶ ты не причастен никакой чести, а посему отказываешь в ней тем, кто ее достоин».

А когда меня так раззадорили, я отвечал: «Превосходные геройские деяния надлежало бы вельми прославить, когда бы не были они соединены с погибелью и разорением прочих людей. Какая же то слава, когда она столь обильно кровью невинных осквернена? И какое же это благородство, что погибелью многих тысяч людей завоевывается и доставляется? А что касаясь до художеств, то что они такое, как не сущее безрассудство и суета? Да они столь же пусты, тщетны и бесполезны, как и сами титулы, что к одному из них прилагаются, ибо служат они либо корысти, либо сластолюбию, либо роскоши, либо на пагубу другим людям, как те страшные штуки, что я видел наемдны на двуколках. Также можно обойтись без тиснения книг и сочинений, по слову и мнению одного святого мужа, утверждавшего, что весь необъятный мир довольно служит ему книгою, дабы дивиться чудесам создателя и познать благостное его всемогущество».

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций о жизни всетрудной тужит
Того господина, коему служит.*

Господин мой также захотел пошутить надо мной и сказал: «Я неотменно примечаю, что ты не надеешься приобрести себе благородство, оттого и ставишь ни во что честные дворянские титулы». Я отвечал: «Господин! Когда б мне надлежало тотчас заступить благородную твою

должность, я бы никак на то не согласился». Господин мой сказал со смехом: «Я думаю, ибо быку пристойна овсяная солома. Но ежели бы ты обладал высоким разумением, какое надлежит иметь благородным душам, то прилежно снискивал бы себе чины и почести. По мне так вовсе нехудо, коли счастье возносит меня над другими». Я же сказал со вздохом: «Ах, сколь многотрудное блаженство! Господин! Я уверяю тебя, что ты наизлополучнейший человек во всем Гэнау».¹ «Как это так? Теля! — воскликнул господин. — Скажи мне, с чего это ты взял, я за собою того вовсе не ведаю». Я отвечал: «Когда ты того не знаешь и не чувствуешь, что ты в Гэнау губернатором и того ради обременен несчетными хлопотами и беспокойствами, значит ослепила тебя чрезмерная жадность к почестям или сотворен ты из железа и вовсе бесчувствен. Правда, ты можешь повелевать, и всяк, кто б ни попался тебе на глаза, должен тебе повиноваться; но разве делают они сие занапрасно? Разве не слуга ты для них всех? Разве не должен ты пещись о каждом? Гляди, теперь ты обложен со всех сторон врагами, и сохранение всей крепости на одного тебя возложено. Ты должен стремиться причинить противнику своему урон, а притом доглядеть, чтобы умысел твой не выведали лазутчики. Разве не приходится тебе частенько самому стоять на карауле, словно простому солдату? Сверх того принужден ты заботиться, чтобы на счете не открылось какой недостачи в деньгах, амуниции, провианте и войске и того ради беспрестанными экзекуциями и насильством собирать со всей округи контрибуцию. Пошлешь за таким делом своих, так у них нет иной работы, как только разбойничать, грабить, красть, жечь и убивать; вот совсем недавно разграбили они Орб,² взяли Браунфельс³ и Штаден,⁴ да сожгли дотла. Правда, они получают от сего добычу, ты же тяжкий на себя примешь ответ перед господом. Я допускаю, что, быть может, наряду с честью также и прибыль доставляет тебе приятность, но знаешь ли ты, кто насладится теми сокровищами, которые ты стяжал? И положим (как то ни сумнительно), что сие богатство у тебя останется, все же ты будешь принужден покинуть его, и ты ничего не возьмешь с собою, кроме греха, коим приобрел его себе. А ежели тебе посчастливится употребить добычу себе на пользу, то расточаешь ты пот и кровь бедняков, которые сейчас страждут в скудости или же вовсе погибают и мрут с голоду. О, сколь часто наблюдал я, как под бременем твоей должности мысли твои приходили в великое рассеяние, тогда как я и другие телята беззаботно почием мирным сном. А ежели ты так не поступаешь, то можешь поплатиться головою, когда упустишь что необходимо для сбережения подначального тебе войска и обсервации крепости. Гляди, от колких печалей я избавлен! И понеже я знаю, что самой натурой положено мне умереть, то не печалюсь, что кто-либо возьмет приступом мой хлев или что я принужден буду вести перестрелку за свое пастбище. Умру я во младости, так минует меня тяжкое ярмо вола; твоей же поги-

бели, нет сомнения, ищут многоразличными способами. Того ради вся твоя жизнь не что иное, как беспрестанная забота и сну помеха; ибо принужден ты опасаться и друзей, и врагов, кои, нет сомнения, умышляют, как бы лишить тебя жизни, либо денег, либо репутации, либо команды, либо еще чего-нибудь, что ты и сам не прочь учинить с другими. Враг нападает на тебя явно, а мнимые твои приятели в тайности завидуют твоему счастью; но и от подначальных ты не всегда в безопасности. Я уже не говорю о том, что всякий день терзают тебя пламенные вожделения и ты бросаешься туда и сюда, помышляя, как бы приобрести себе еще большую славу и честь, выйти в еще большие чины, стяжать еще большее богатство, провести похитрее врага, одолеть его, разорить то или другое селение, одним словом, сотворить все то, от чего другим людям будет скорбь, твоей душе пагуба, а божественному величию неугодность. Но наигоршее зло, что ты ласкателями своими столь испотворен, что не знаешь самого себя, и столь ими пленен и отравлен, что не можешь узреть пагубную стезю, на которую ступил; ибо все, что ты ни сделаешь, они нарекут благом и все пороки твои восхвалят и обратят в сущие добродетели. Лютость твою они объявят справедливостью, а когда ты приказываешь разорять страну и народ, они уверяют, что ты brave солдат, подстрекая тебя, таким образом, на пагубу другим людям, дабы сохранить твое благоволение, да потуже набить свою кошну».

«Ах ты лежебок! Негодник! — сказал мой господин. — Да кто это подучил тебя так проповедывать?». Я отвечал: «Милостивый господин! Разве я говорю неправду, что ты своими ласкателями и потатчиками столь испотворен, что тебе уже пособить невозможно? Напротив, другие люди тотчас же видят твои пороки и осуждают тебя не только в вещах важных и значительных, но и ссыскивают их довольно в самых наиминутных, чтобы порицать тебя. Али мало тебе примеров о великих мужах, что жили в давние времена? Афиняне роптали на Симонида⁵ за то только, что у него был зычный голос; фиванцы жаловались на своего паникулума,⁶ что он рыгал; лакедемоняне бранили Ликурга за то, что он всегда ходил с наклоненной головой; римляне полагали, что не приличествует Сципиону столь громко храпеть во сне; им казалось отвратительным, что Помпей чешется одним ногтем; над Юлием Цезарем они насмехались, ибо он не умел складно и нарядно надеть пояс; жители Утики⁷ бранили доброго Катона за то, что он, как им мнилось, с непомерной жадностью уписывал за обе щеки; а карфагеняне злословили о Ганнибале,⁸ ибо он всегда ходил с обнаженной грудью. Как теперь мнится тебе, милостивый мой повелитель? Все ли еще полагаешь ты, что должен я поменяться с тем, у кого наряду с дюжиной, или тринадцатью, застольных друзей объедал и подлипал, почитай, больше ста, а то и десять тысяч тайных и явных врагов, хулителей и недоброхотных завистников? Да и какое блаженство, какое веселие и радость могут быть у того, под чьим попече-

нием, покровом и защитой живет столько людей? Разве не надобно тебе за всем доглядеть, обо всем печалиться и всякую жалобу и ябеду выслушивать? Разве от сего одного не довольно докуки, даже если бы не было у тебя ни врагов, ни завистников? Изрядно вижу, сколь несладко твое житье и коликими ты обременен тяготами. А какая, милостивый господин мой, напоследок ожидает тебя награда? Ответствуй мне, что приобретешь ты от сего? А ежели ты того не знаешь, то обратись к греку Демосфену,⁹ коего, после того как он доблестно и верно служил и споспешествовал общему благу и правлению афинскому, вопреки всякому праву и справедливости, словно мерзостного злодея, выслали из отечества и обрекли на изгнание. Сократ был изведен ядом;¹⁰ Ганнибал был столь дурно награжден соотечественниками, что принужден был скитаться по свету. То же случилось с римлянином Камиллом;¹¹ и тем же родом отплатили греки Ликургу и Солону,¹² из коих первого побили камнями, а другому выкололи глаз и напоследок изгнали из отечества, словно убийцу. Точно так же Моисей и другие святые мужи подпадали ярости и неистовству черни. Того ради оставайся при своей команде и своем жалованьи, какое ты заслужил; тебе не надобно будет им со мною делиться; ибо когда будет с тобою все благополучно, то по крайности ты не приобретешь себе ничего больше, кроме нечистой совести. А ежели начнешь ты внимать велениям своей совести, так тебя тотчас же отрешат от твоей команды как неспособного не иначе, как если бы ты вроде меня стал несмышленым телятею».

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций приводит схолию ту,
Что ум неразумному дан скоту.*

Посреди такого моего дискурса всяк взирал на меня с изумлением, и все присутствующие дивились, что я способен вести такие речи, чего, как они уверяли, и для разумного человека было бы довольно, когда бы мог он безо всякого предварительного размышления так говорить. Я же заключил речь свою такими словами: «Посему-то, милостивый господин мой, и не желаю я с тобою поменяться! По правде, мне в том нет ни малейшей нужды; ибо вместо твоего дорогого вина родник доставляет мне полезный напиток, а тот, по чьей воле я стал теленком, благословит мне на потребу плоды земные, кои мне, как Навуходносору, весьма сгодятся в пищу и для поддержания жизни. Натура снабдила меня также изрядною шубою, тогда как, напротив, тебе нередко претит самая лучшая снедь, вино помрачает голову и тебя посещают различные немощи».

Мой господин отвечал: «Право не знаю, что мне о тебе и подумать: для теленка, сдается мне, ты слишком разумен; чую я, что под телячьей шкурой кроется изрядный плутяга». Я притворился рассерженным и сказал: «Али вы, люди, и впрямь почитаете нас, зверей, дурнями? Зря забрали вы это себе в голову! Я стою на том, что, когда бы твари по-старше меня могли, как я, речи говорить, они не остались бы у вас в долгу. А ежели вы полагаете, что мы совсем глупы, то скажите, кто научил сизого голубя, жаворонка, черного дрозда и рябчика прочищать себе кишки лавровым листом? А горлиц, турманов и кур пользоваться себя львиным зевом? Кто научил собак и кошек есть траву по росе, когда им надо очистить переполненные желудки? Кто научил черепаху врачевать укушенные места болиголовом? А оленя, когда он подстрелен, лечить себя бадьяном или диким полем? Кто наставил сусликов употреблять руту, когда на них нападает летучая мышь или змея? Кто показал кабанам плющ, а медведям мандрагору и втолковал им, что сие надежное для них лекарство? Кто присоветовал орлу искать орлиный камень и употреблять его, когда приходит время класть яйца? Кто надоумил ласточек врачевать больные глаза птенцов чистяком? Кто внушил змеям, что, когда они готовятся к линьке или для того чтобы прогнать из глаз темную воду, надлежит им употреблять укроп? Кто обучил аиста ставить себе клистиры? Пеликана отворять себе жилу? а медведя позволять пчелам пускать себе кровь? Чего? да я осмелюсь утверждать, что вы, люди, переняли свои науки и искусства от нас, зверей! Вы жрете и упиваетесь до недугов и смерти; того с нами, скотами, не бывает. Лев либо волк, когда он безмерно разжиреет, то соблюдает пост, покуда снова не спадет с тела и не станет здоров и весел. Но каковая тварь разумнее всех? Для сего взгляните на птиц поднебесных! Рассмотрите искусное строение чудных гнезд! И понеже никто не сможет подражать им в работе, то должны вы признать, что они превосходят вас, людей, равно как в разумении, так и в искусстве. Кто говорит перелетным птицам, когда время им лететь к нам по весне и выводить птенцов? А по осени, когда им снова отправляться на зимовье в теплые страны? Кто присоветовал им определять для сего особое сборное место? Кто ведет их или указывает им путь? Или, может быть, вы, люди, ссужаете их мореходным своим компасом, дабы они не заблудились в пути? Нет, любезные человеки, они знают дорогу и без вас, знают, сколь долго принуждены они будут странствовать, когда надлежит им подняться с того или иного места, и так они не нуждаются ни в компасах ваших, ни в календарях. Воззрите также на прилежного паука, чье непрестанное плетение едва ли нельзя почесть чудом! Сыщете ли вы хотя бы единственный узел во всей его работе? Какой охотник или рыбак научил его плести сети, а потом как расставить их и подстергать дичину либо из темного уголка, либо в самом средоточии своего плетения сидючи? Вы, люди, дивитесь ворону,

о коем свидетельствует Плутарх, что кидал он камни в сосуд до тех пор, покуда вода не поднялась настолько, что мог он с легкостью утолить жажду. Что бы вы, люди, стали делать, когда б довелось вам пожить среди зверей и вместе с ними и вы видели бы и наблюдали все прочие их деяния, повадки и обычаи? Тогда только признали бы вы, что судя по всему, все звери как бы наделены своими особливими природными силами и добродетелями, кои проявляются во всех их affectus animi¹ и склонностях духа, в осторожности, крепости, ласке, пугливости, дикости, в обучении и воспитании. Звери ведь узнают друг друга, они отличают себя от других, они перенимают то, что им на пользу, остерегаются того, что им во вред, убегают опасности, собирают сообща то, что им надобно для пропитания, а иногда и обманывают вас, людей. А посему многие древние философы, все сие изрядно взвесив и рассмотрев, не почитали зазорным рассуждать и диспутировать о том, не обладают ли неразумные твари и впрямь умом? Но зачем городить огород? Разве сам мудрый Соломон не поучает нас, когда глаголет в «Притчах», гл. 30: «Четыре же суть малейшие на земле, сии же суть мудрейшие из мудрых: муравьи — народец несильный, однако ж летом заготавливают пищу себе на зиму; хирогулли² — народец слабый, однако ж ставят дома свои на скалах; у саранчи нет царя, но выступает вся она стройно; паук лапками цепляется, но живет в чертогах царевых».

Я не хочу более рассуждать о сем предмете; ступайте и воззрите на пчел, как приготавливают они воск и мед, и тогда поведаете мне суждение ваше».

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиция речи кто ведать желает,
Пусть тот прилежно сие читает.*

Засим последовали различные обо мне суждения сотрапезников моего господина. Секретарь стоял на том, что надлежит почесть меня дурнем, коль скоро я самого себя объявляю и величаю неразумною тварью, понеже те, коим недостает в голове заклепки, а они все же мнят себя умниками, бывают самыми наидиковинными и замысловатыми дурнями. Другие говорили, когда б отнять у меня такое воображение, что я теленок, или же втолковать мне, что я снова сделался человеком, то можно было б почесть меня довольно разумным или смышленным. Господин сказал: «Я почитаю его дурнем, ибо он каждому не страшась говорит правду; однако ж дискурсы его таковы, что не под стать никакому дурню». Все сие говорили они по-латыни, дабы я не мог уразуметь. Он спросил меня, не штудировал ли я различные ученые предметы, когда еще был

человеком? «А я не знаю, что такое штудировать? — сказал я ему в ответ. — Однако ж, любезный мой господин, растолкуй мне, что это за штуды, коими штудируют. Не зовешь ли ты так кегли, которые сшибают?». На что сумасбродный фендрик сказал: «Зряшные растабары с этим молодчиком! Али не видите, что в ём бес засел; он одержимый, вот бес из него и брешет!». Того ради возымел господин мой причину спросить меня, поелику сделался теперь я теленком, то не оставил ли обыкновение творить молитву, как творил до сего, подобно другим людям, и уповаю ли я достичь небесного блаженства? «Вестимо! — отвечивал я. — Ведь осталась же во мне бессмертная моя душа, коя, как ты с легкостью уразуметь можешь, вовсе не стремится попасть в ад, особливо когда мне там довелось столь худо. Я токмо лишь переменялся, как прежде Навуходносор, и могу еще со временем опять стать человеком». «Желаю тебе того», — сказал господин мой с приметным вздохом, почему я легко заключить мог, что его посетило раскаяние, ибо, по его соизволению, и сделался я дурнем. «Однако ж мы хотим послушать, — продолжал он, — как ты молишься!». Тут я пал на колени, воздел руки и возвел очи горе, как подобает честным отшельникам, и понеже раскаяние господина моего изрядно умилило мое сердце, то не мог удержаться от слез, и по прочтении Отче наш с величайшей истовостью творил молитву за всех христиан, за друзей и врагов моих, да сподобит меня всевышний по благости своей провести жизнь не постыдно и мирно, дабы мог я и был достоин прославить его в селении праведных; ибо отшельник научил меня творить молитвы благочестивыми, подобранными в уме словами. Отчего некоторые из взиравших на сие принялись почти что плакать, ибо преисполнились ко мне большим сожалением; да и у самого моего господина стояли в глазах слезы, коих он, сдается мне, сам стыдился, а посему сказал в извинение, что сердце у него готово было разорваться в груди, когда в такой прежалостной фигуре явственно представилась очам его покойная сестра.

После обеда послал мой господин за помянутым священником, поведал обо всем, что я учинил, и дал уразуметь, что он в опасении, все ли со мною ладно и не замешан ли тут нечистый, ибо до сего обнаружил я совершенную простоту и неведение, а теперь рассуждаю о таких предметах, что только диву даешься. Священник, наилучшим образом знавший все мои обстоятельства, отвечал, что надобно было о сем помыслить прежде, чем соделать из меня дурня; люди — подобие божие, и с ними, особливо в столь нежной юности, не следует учинять потеху, как со скотами. Однако ж он никогда не поверит такому попущению, что злой дух мог сюда замешаться, поелику я во всякое время с молитвою прилежно вверял себя богу. А ежели, паче чаяния, и было такое попущение и определение, то тем тяжелее будет ответ перед господом, ибо и без того нет греха горшего, нежели отнять у ближнего разум, а через то лишить.

его возможности возносить хвалу и служить вышнему, для чего собственно и сотворен человек. «Я и допреж сего уверял, что он довольно остер умом, а не мог обхитрить в сем мире по той причине, что был взращен и воспитан в совершенном неведении сперва своим батькой, мужиком неотесанным, а затем в пустыне — вашим свояком. Когда б поначалу малое на него употребили терпение, то со временем он сделался б куда складнее; то было богобоязненное, простодушное дитя, еще не ведавшее ни о чем в этом злобном мире. Однако ж я нимало не сомневаюсь, что ему пособить невозможно, ежели не отнять у него этого мечтания и не добиться того, что он перестанет верить в свое телячество. Писано бо в книгах про одного, кой непреложно уверовал, что сделался глиняным кувшином, того ради наказывал своим домашним ставить его наверх, дабы он не разбился.¹ А другой возомнил, что он не кто иной, как петел; сей кукарекал в своей болезни день и ночь.² А еще иной полагал, что он не иначе как помер и бродит по земле привидением, и того ради отстранял от себя лекарство и пищу, и питье, и никому не удавалось его к тому преклонить, покуда один умный врач не подговорил двух молодых, кои якобы также вообразили себя привидениями, но, невзирая на то, оказывали над кушаньями всяческую храбрость и, подбившись к нему в товарищи, уверили его, что в нынешние времена и привидения не пренебрегают кушаньями и напитками, чем его и поставили на ноги.³ У меня самого в приходе был больной мужик; когда я посетил его, он пожаловался мне, что в брюхе у него скопилися три или четыре ведра воды; коли эту воду из него выпустить, то уповал он, что придет в совершенное здравие, почему и просил меня либо взрезать ему живот, чтобы вся жидкость вытекла, либо подвесить в коптилке, чтобы его хорошенько высушить. На что приступил я к нему с увещанием и убедил его, что сумею избавить от водянки иным способом; засим взял я кран, который употребляю для винных или пивных бочек, навязал на него кишку, приладил другой конец к выступу большой кадки, которую велел дополна налить водою, и притворился, будто вставил тот кран ему в брюхо, обвязанное тряпками, в опасении, как бы оно ни лопнуло. Засим открыл я кран, пустил воду из кадки, чему пентюх от всей души радовался и по исправлении оной процедуры снимал с себя все тряпки, а через короткое время он пришел в совершенное здравие. Таким же манером пособили и другому, который возмечтал, что в брюхе у него запрятана конская сбруя, удила и другие подобные вещи;⁴ сему дал доктор проносное питье и положил под стульчак означенные предметы, дабы малый уверился, что все сие сошло на низ у него самого. Также сказывают о некоем фантасте, который вообразил, что нос его столь велик, что достает до земли; сему привесили к носу колбасу, от коей мало-помалу отрезали по куску, покуда нож не коснулся тела, так что носач закричал, что его нос обрел прежний свой вид;⁵ посему заключаю, что и

доброму Симплициусу, как и тем людям, пособить можно». «Охотно верю сему, — отвечал мой господин, — однако ж смущает меня, что он, пребывая доселе в толиком неведении, теперь рассуждает о различных предметах, представляя их с таким совершенством, как это и у старых, опытных книжечеев за редкость почесть можно. Он наставлял мне о многих свойствах животных и описал мою собственную персону столь искусно, как если бы всю жизнь свою провел в свете, так что я тому дивуюсь и готов почесть сии речи за Оракул или знамение божие». «Господин, — отвечал священник, — сие могло произойти естественным образом. Я знаю, что малый весьма прилежен к чтению, ибо он вместе с отшельником перечел все мои книги, коих было у меня немало, и понеже память у него изрядная, то днесь, когда дух его празден и он не помнит самого себя, то и выкладывает все, что прежде запало в его мозги. Я уповаю, что со временем он и вовсе поправится». С такими словами священник оставил губернатора колеблющимся меж страхом и надеждою; он представительствовал за меня наилучшим образом и доставил мне благополучное житие, а себе благоволение моего господина. Напоследок они порешили, что надобно еще некоторое время смотреть за мною; и сие производил священник более ради своей собственной, нежели моей пользы; ибо беспрестанно приходил то с тем, то с другим, как если бы он утверждал себя великим обо мне попечением, подбиваясь тем в милость к губернатору; того ради пожаловал сей последний его должностию и назначил капелланом при гарнизоне, что в те стесненные времена было не безделицей и чему я от всей души за него радовался.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций беспечно резвится на льду,
Попал он к кроатам себе на беду.*

С того времени милость, щедроты и благоволение господина моего меня не оставляли, чем по справедливости могу похвалиться; ничто не препятствовало моему счастью, кроме как то, что я еще летами не вышел, а из телячьего платья повырос, хотя сам я того не разумел. Также и священник не очень-то хотел, чтобы я пришел в совершенный разум, понеже ему мнилось, что для сего еще не приспело время и ему это не послужит на пользу. Однако ж господин мой, приметив во мне склонность к музыке, велел меня обучать оной и приставил ко мне превосходного лютиста, чье искусство я вскорости постиг довольно изрядно и превзошел его тем, что мог лучше, нежели он, сопровождать свою игру пением. Итак, служил я моему господину для его утех, забавы, увеселения и

дивования. Все офицеры оказывали мне свое благоволение, именитые горожане являли мне почтение, а челядинцы и солдаты мне доброхотствовали, ибо видели расположение ко мне моего господина. Каждый одаривал меня то тем, то этим, ибо они знали, что лукавые шуты нередко входят у своих господ в большую силу, нежели человек правосудный, а посему и склоняли меня подарками, иные, чтобы я не повредил им, снаушничав, а иные, напротив, чтобы я как раз учинил сие ради их корысти, таким-то образом зашибал я немало денег, которые по большей части отдавал сказанному священнику, ибо еще не ведал, на что они годны. И как никто не осмеливался поглядеть на меня косо, то и я ниоткуда не чаял себе напасти, заботы или кручины. Все свои помыслы устремил я к музыке или направлял к тому, как половчее казнить дурачества своих ближних. А посему возрастал я, катаючись, как сыр в масле:¹ рожа моя лоснилась, а телесные силы приметно прибывали; вскорости по мне стало видно, что я не умерщвляю свою плоть в лесу, питаюсь желудями, буковыми орехами, корнями и травами, запивая все это ключевою водою, мне пошел впрок лакомый кусок да еще с глотком рейнского вина или ганауского крепкого пива, что в столь скудные времена за великую милость божию почесть надо было; ибо вся Германия тогда была снедаема жестоким пламенем войны, чумой и голодом, так что и сама крепость Ганау² была обложена неприятелем, но все сие мне нисколько не досаждало. По снятии осады господин мой порешил в мыслях презентовать меня либо кардиналу Ришелье,³ либо герцогу Бернгарду Веймарскому;⁴ ибо, помимо того, что он надеялся подобным подарком получить великую благодарность, ему, как он сам признавал, было непременно видеть долее, как я в столь дурацком одеянии всякий день представляю его очам облик его пропавшей сестры, с коей я час от часу все более схож становился. Сие отсоветовал ему священник, ибо он утверждал, что придет время, когда он сотворит чудо и снова обратит меня в разумного человека, а посему подал губернатору совет припасти две телячьи шкуры и обрядить в них еще двух мальчиков. Засим отрядить к ним третью персону или особенного человека, который, явившись в образе лекаря, пророка или бродячего скomorоха, снял бы с диковинными церемониями с меня и со сказанных двух мальчиков наше дурацкое одеяние, уверяя, что может превращать скотов в людей, а людей в скотов. Подобным образом буду я снова приведен в полный разум, и мне без особенных трудов втолковать будет можно, что я, равно как и другие, снова стал человеком. И как губернатор дал на сие соизволение, то и пересказал мне священник все, о чем он сталкивался с моим господином, и легко уговорил меня на то согласиться. Однако ж завистливая Фортуна не возжелала дозволить мне с толикою легкостью выскользнуть из дурацкого моего платья и наслаждаться долее благополучным и превосходным сим житием! Ибо покудова скорняк и портной трудились над изготовле-

нием потребных для оной комедии нарядов, резвился я с несколькими ребятами на льду перед крепостью;⁵ внезапно, и уж не знаю, какая легкая нанесла на нас отряд кроатов,⁶ которые нас сцапали, посадили на порожних лошадей, только что перед тем отнятых у мужиков, и увезли всем скопом. Правда, сперва они были в сумнении, брать ли меня с собою, покуда один не сказал по-моравски: *Mih weme doho Blasna Sebao, bowe deme no gbabo Oberstwoi*. Сему отвечал другой: *Prschis am bambo ano, mi no pagonie possadeime, wan gosumi niemezki, won bade mit Kratock Willi Sebao*.⁷ Итак, принужден я был сесть на лошадь и познать, что един неурочный час может похитить все благополучие и лишить всего счастья и блаженства, за коими иной гоняется всю жизнь.

ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплицию пало на злую долю
Беды и горя у кроатов вволю.*

И хотя в крепости тотчас же подняли тревогу, повскакали на коней и начали с теми кроатами перепалку, чем их малость приостановили и задержали, однако ж не смогли у них ничего отбить, ибо сия легкая и прыткая ватага вскорости улизнула от погони и направила путь свой на Бюдинген,¹ где они накормили лошадей и отдали на выкуп тамошним горожанам взятых в плен богатеньких сынков из Ганау, а также распродали похищенных лошадей и другие товары. Отсюда поднялись они прежде, чем разгулялась настоящая ночь, не говоря уже о том, чтобы занялось утро, и пересекли бюдингенский лес, направляясь к аббатству Фульда и забирая по пути все, что только могли увезти с собою. Грабежи и разбой нимало не препятствовали скорому их походу, ибо они уподоблялись самому черту, о коем обыкновенно говорят, что он может в одно и то же время бежать и (s. v.) дрестать, нимало не мешкая, по дороге, понеже мы тем же вечером прибыли с большою добычею в аббатство Хиршфельд, где были у них квартиры; тут все пошло в дежеж, я же достался полковнику Корпесу.²

Все претило мне и казалось весьма несуразным при дворе сего нового господина: лакомые яства Ганау переменились на грубый черный хлеб и постную говядину или, когда дела шли хорошо, на кусок краденого сала. Вино и пиво превратились в воду, а вместо мягкой постели привелось мне довольствоваться соломою подле лошадей. А что до игры на лютне, коей услаждал я все совокупное общество, то вместо ее принужден я был, подобно другим мальчишкам, забиваться под стол, лаять по-собачьи и получать тычки шпорами, что было для меня невеселой потехой.

Вместо променадов в Ганау отправлялся я на фуражировку, чистил скребницами лошадей и вывозил навоз. Фуражировать же означало не что иное, как с великим трудом и заботами, а частенько с опасностью для жизни и здоровья рыскать по деревням, молотить, молоть, печь, красть и брать все, что сыщешь, пытать и разорять мужиков, позорить их служанок, жен и дочерей, для какой работы я был еще юн летами. А когда бедные мужики показывали свое неудовольствие или же набирались такой дерзости, что тому или иному фуражиру, захватив посреди таких его трудов, возьмут да и пообломают лапы, что в те времена в Гессене с такими гостями случалось нередко, то зарубали тех мужиков насмерть, как только они попадутся, или же по крайности пускали на дым их хижини. У господина моего не было жены (ибо подобные вояки не имеют обыкновения таскать за собою жен, коль скоро первая встречающаяся всегда может заступить их место), не было у него ни пажа, ни камердинера, ни повара, зато при нем находилась целая ватага конюхов и отроков, кои имели попечение разом и о нем, и о его лошадях, да и он сам не считал для себя зазорным оседлать коня или засыпать ему корму. Спал он завсегда на соломе, а то и на голой земле, укрываясь меховым плащом, а посему частенько можно было узреть странствующих по его платью бекасов, чего он нимало не стыдился, а еще посмеивался, когда кто-нибудь снимал их с него. Он носил короткие волосы и широченные усы, как у швейцарцев, что было ему весьма кстати, ибо он имел обыкновение переодеваться в мужицкое платье, когда отправлялся что-либо поразведать. И хотя он не задавал пирушек, как это ему приличествовало бы, однако ж всем, кто только его знал, как своим, так и чужим внушал любовь, страх и уважение. Мы никогда не жили спокойно, а рыскали повсюду, то нападали сами, то нападали на нас; не было нам угомону, пока можно было трепать гессенцев; также и Меландр³ не давал нам ни отдыха, ни срока, ибо отбивал у нас всадников и отсылал в Кассель.⁴

Сия беспокойная жизнь была мне вовсе не по нутру, а посему я частенько, но тщетно вздыхал по Ганау. Самый тяжкий крест, который мне был ниспослан, состоял в том, что я не мог толком объясниться с этими молодцами, а был принужден сносить от всех и каждого тычки, пинки, побои и всяческие преследования. Наибольшая потеха, какую я доставлял моему господину, заключалась в том, что я пел перед ним по-немецки и, подобно другим конюшнным, должен был трубить в трубу, что, по правде, случалось редко; но тогда получал я столь жестокие оплеухи, что потом долго шла кровь, чего мне надолго было довольно. Напоследок, ибо и без того было видно, что меня еще нельзя было посылать на фуражировку, стал я приучаться к стряпне, а также чистить моему господину оружие, о чем он весьма заботился. Сие исправлял с таким рачением, что, наконец, приобрел расположение моего господина, ибо он

приказал шить мне из телячьей шкуры новое дурацкое платье с ослиными ушами, куда более длинными, нежели раньше; и понеже господин мой был в кушаньях не весьма привередлив, то тем меньше надобно было мне оказывать проворство в поваренном искусстве. А как частенько недоставало мне соли, сала и приправ, то сие ремесло мне прискучило; того ради я беспрестанно размышлял, как бы мне добрым манером отсюда убраться, особливо же потому, что я снова дожид до весны. А когда я решил сие исполнить, то принялся собирать и оттаскивать подале от наших квартир валявшиеся повсюду овечьи да коровьи кишки и черева, дабы они не распространяли столь гнусный запах, что пришлось ему по нраву. А когда я с тем управился, то напоследок, как только стемнело, отлучился совсем и улизнул в ближайший лес.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций скитается в темных лесах,
На двух злодеев наводит страх.*

Однако ж, судя по всему, мое житье-бытье час от часу становилось все несноснее, и было столь худо, что я вообразил, будто рожден для злополучия; ибо не успело пройти несколько часов, как я сбежал от кроатов, а я уже попал в лапы к разбойникам. Сии, нет сомнения, полагали, что словили важную птицу, ибо темной ночью не разглядели моего шутовского наряда, и тотчас же отрядили двух молодчиков отвести меня в уреченное место в самой чаще леса. А когда они завели меня в глубь леса, а темень была хоть глаз выколи, то один из них вознамерился без дальних околичностей повытрясти из меня денежки. Того ради сложил он кожаные свои перчатки и самопал наземь и принялся меня ощупывать, спросив: «Кто таков? Где у тебя деньги?». Но едва только почувствовал он под руками мохнатое мое платье и долгие ослиные уши на моей шапке (кои почел рогами), да еще к тому же увидел перебегающие по мне светлые искорки (как обыкновенно можно приметить на звериных шкурах, ежели их в темноте погладить), то обуял его такой страх, что он весь затрясся. Сие я тотчас же смекнул; того ради, прежде чем он снова отудобел или опамятовался, принялся я обеими руками из всех сил тереть свое платье, да так что оно все засверкало, как если бы я внутри был начинен горящею серою, ответствовав ему ужасающим глазом: «Я черт и сейчас сверну тебе и твоему товарищу шею!», чем сих двоих так устранил, что они оба стремглав бросились от меня, словно их настигал адский пламень. Темная ночь не умедлила скорого их бега, и хотя они нередко спотыкались о пеня, камни, коряги и поваленные

деревья и еще чаще падали кувырком, однако ж проворно вскакивали на ноги. Так мчались они, покуда я не перестал их слышать; я же похотывал им вслед столь зычно, что весь лес отзывался, и сие, нет сомнения, в таковом безлюдьи наводило на них немалый ужас.

Когда я собрался уйти прочь, то запнулся о самопал; я прихватил его с собою, ибо кроаты уже научили меня, как надлежит обращаться с оружием. А когда я зашагал дальше, то наскочил на ранец, сшитый, как и мое платье, из телячьей шкуры; я также его подобрал и увидел, что снизу к нему привязан еще патронташ с пулями, свинцом и прочим нарядом. Я навесил все это на себя, вскинул самопал на плечо, как заправский солдат, и схоронился неподалеку в густом частом кустарнике в намерении малость поспать. Но едва занялось утро, как вся шайка воротилась на сказанное место, чтобы сыскать брошенный самопал и сумку; я же наострил уши, словно лисица, и затаился, как мышь. Но как они ничего не нашли, то подняли на смех тех двоих, которые от меня улепетывали. «Эх, вы, трусливые простофили, — укоряли они, — не стыдно вашим бельмам, что вы двое дозволили одному-единственному малому так вас настращать, прогнать и завладеть вашим оружием!». Но один из них поклялся, чтоб черт его побрал, когда то не был сам черт; он ведь хорошо расщупал его рога и грубую шкуру. Другой же кобенился весьма нескладно и сказал: «По мне будь то хошь черт, хошь его матушка, мне бы только сыскать свой ранец». А один из них, коего я почел старшим, отвечал ему: «Как ты полагаешь, на кой черт занадобились черту твой ранец и самопал? Да я готов прозакладывать голову, когда их не уволок с собою тот малый, который обратил вас в столь постыдное бегство». Но сему прекословил другой товарищ, сказывая, что-де весьма статья может что уже после того бродили тут крестьяне, которые нашли и подобрали сии вещи. Наконец, все согласились с таким мнением, и вся ватага твердо уверовала, что они захватили самого черта, особливо же потому, что тот самый малый, который в потемках подверг меня визитации, не только подтверждал сие ужасною божбою, но и сумел нарасказать им, жестоко все размалевав, про грубую сыплющую искрами шкуру и два рога как несомнительный признак присутствия нечистого. Сдается мне, что ежели бы тогда я ненароком объявился снова, то вся кумпань бросилась бы врассыпную.

Напоследок долгонько поискав и ничего не нашедши, отправились они своим путем; я же раскрыл ранец, намереваясь позавтракать, но едва запустил руку, как достал кошель, в коем находилось примерно триста шестьдесят дукатов. И хотя нет нужды спрашивать, был ли я такую находкою обрадован, однако ж, да поверит мне читатель, котомка сия более увеселяла меня тем, что должным образом была набита провизиею, нежели тем, что я обрел в ней изрядный куш золота. И как у подобных молодчиков среди простых солдат в карманах гуляет ветер и такой куш

таскать им с собою не за обычай, то я решил, что сей малый только в последней переделке промыслил себе тайком эти денежки и проворно засунул их в ранец, чтобы не пришлось поделиться с товарищами.

Засим я беспечно позавтракал, а вскорости обрел веселый родничок, возле коего славно прохлаждался и пересчитывал любезные дукаты. Но когда мне следовало бы объявить, в какой стране или местности я тогда пребывал, я, хоть убей меня, не мог бы о том ничего сказать. Сперва я обретался в лесу, покуда доставало мне провианту, с коим я весьма скупился. Но когда ранец мой стал пустехонек, погнав меня голод к мужичьему жилью: по ночам прокрадывался я к погребам и кухням и забирал все съестное, все, что только мог там сыскать и унести с собою; все это я ташил в лес, в самую глухую чащу. Там я вновь обратился к былой отшельнической жизни, какую вел прежде, кроме разве того, что теперь я много крал и тем меньше молился, а также не было у меня постоянного пристанища, и я бродил по всему лесу. Мне было весьма кстати, что такая жизнь повелась у меня с начала лета, а также что мог я стрелять из самопала, когда только хотел.

СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций зрит ведъм на шабаш сборы,
И сам попадает в бесовские своры.*

Посреди таких странствий доводилось мне встречать в лесах то там, то сям блуждающих мужиков; однако ж они всегда от меня убегали, уж не знаю, по той ли причине, что они и без того были войною напуганы, рассеяны и, почитай, никогда не обретались дома, или же разбойники повсеместно разнесли молву о том приключении, какое было у них со мною, так что те, кому случалось меня потом ненароком увидеть, тотчас же полагали, что злой дух и впрямь рыщет в той стороне. Однажды проплутал я несколько дней в лесах и того ради стал весьма опасаться, что все припасы мои переведутся и я впаду в превеликую крайность и принужден буду снова питать себя травою и кореньями, отчего я уже давненько отвык. Посреди таких мыслей слышал я двух дровосеков, что меня весьма обрадовало; я пошел на стук, и когда их завидел, то вынул из кошеля целую пригоршню дукатов, подкрался близко к ним и, показывая им прельстительное золото, сказал: «Голубчики, коли вы меня тут поджидали, то вознамерился я вам подарить эти денежки!». Но едва они увидели, что у меня в руках засверкало золото, как сами тотчас же засверкали пятками, побросав кувалды и клинья, а заодно и мешок с хлебом и сыром. Сей снедью набил я ранец, углубился в лес и почти что отчаялся, что когда-либо снова стану жить среди людей.

По долгом размышлении о сем предмете сказал я себе: «Кто знает, какая уготована тебе судьбина; у тебя завелись денюжки, и когда ты схоронишь их в надежном месте у добрых людей, то сможешь довольно долго прожить беспечально». Итак, мне взошло на ум, что надобно их зашить; того ради сшил я из моих ослиных ушей, которые нагөняли на всех страх, два зарукавья и, присовокупив мои ганауские дукаты к разбойничьим, заточил их в сказанные зарукавья, подвязав изнутри выше локтя. Ухоронив таким образом свое сокровище, я стал снова наведываться к мужикам, добывая себе из их запасов все, в чем у меня была нужда и что я мог утащить. И хотя я еще был простаком простаком, однако ж у меня достало хитрости, чтобы никогда не возвращаться на то место, где мне привелось чем-нибудь поживиться; а посему в плутнях мне была великая удача и никому еще не удавалось меня изловить с личным.

Однажды в конце мая, когда вознамерился я сим обычным для меня, хотя и запретным способом добыть себе пропитание и на такой конец пробрался на некий крестьянский двор, тихонько зашел на кухню, однако ж вскоре приметил, что там были еще люди (Nota: а туда, где были собаки, я не заглядывал вовсе); того ради растворил я настезь кухонную дверь, что вела во двор, дабы в случае опасности я мог прямохонько дать стрекача, и затаился, словно мышь, ожидая, покуда люди не угомонятся, меж тем приметил я в кухонной ставенке, что выходила в покой, щелку; я подкрался туда, чтобы поглядеть, скоро ли те люди улягутся спать. Однако ж моя надежда была пустой, ибо они только что оделись и заместо свечи стояла там у них на лавке светильня, мерцавшая голубым серным пламенем, при свете коего мазали они помела, метлы, вилы, скамьи и стулья и один за другим вылетали, сидючи на них, в окошко. Сие повергло меня в ужасающую оторопь и вселило немалый страх, но понеже и приобьик и к еще более устрашительным позорищам, да и отродясь не доводилось мне еще слыживать или читывать про таких ведьмаков, наипаче же оттого, что все сие свершалось весьма чинно, то я не особливо остерегался, а напротив, когда все повыскакали, зашел в тот покой, размышляя, что бы мне унести и где еще пошарить, и посреди таких мыслей присел я верхом на скамеечку. Но едва я оседлал ее, как поехал, да что там, взвился с треском и вылетел вместе со скамейкою в окошко, оставив ранец и самопал там, где их положил, возле скляницы с притираниями и прочих колдовских мазей. Сесть, взлететь и сойти долой — все учинилось, словно в мгновение ока! Ибо я, как мне мнилось, в ту же минуту очутился посреди превеликой толпы народа, а, быть может, со страху не приметил, сколько времени провел я в дальнем сем пути. Все тут отплясывали диковинные танцы, коих я отродясь не видывал; ибо они, взявшись за руки и выворотив спины, подобно тому как изображают граций, так что лица их были все наружу, водили

хороводы в несколько кругов, один заключенный в другом. Во внутреннем кругу было примерно семь или восемь персон; в следующем за ним, верно, вдвое больше, а в третьем больше, чем в сих обоих, так что в наружном кругу было их свыше двухсот. И так как один круг, или хоровод, скакал влево, а другой возле него вправо, то и не мог я хорошенько разглядеть, сколько было всего таких кругов, и что стояло там посреди, вокруг чего они плясали. Все сие было весьма странно и устрашительно, ибо головы их преуморительно мелькали перед очами. И сколь странен был сам танец, такова же была их музыка; также сдается мне, всяк припевал к сему танцу еще от себя, что составляло диковинную гармонию. Скамья, на которой я прилетел, опустилась возле музыкантов, стоявших поодаль от того круга, или хоровода; у некоторых из них вместо флейт, флейт-траверсов¹ и свирелей были ехидны, ужи и гадюки, на коих они превесело гудели. Иные же стояли с кошками, которым они дули в задницы, перебирая по хвосту пальцами; и сие звучало, подобно волынкам. А другие водили смычками по конским черепам, словно по наилучшей дискантовой скрипке, а иные ударяли по коровьим остовам, какие можно видеть на живодерне, как по струнам арфы. Был среди них и такой молодец, который держал под мышкою суку; он вертел ей хвост, как рылейщик, перебирая лады на сосках. А к сему трубил дьявол через нос, так что раздавалось по всему лесу, а как сей танец скоро пришел к концу, то принялась вся адская кумпань бушевать, кричать, шуметь, греметь, выть, яриться и неистовствовать, как если бы они все вздурели и взбесились. Тут всякий легко рассудить может, в каком я пребывал тогда страхе и ужасе.

Посреди скаредного сего шума и мерзостного гомона приблизился ко мне молодчик, зажимавший под мышкою преогромную жабу, величиной, почитай, с добрую литавру; все кишки у нее были выворочены из заду наружу и снова запиханы в глотку, что имело вид столь гнусный, что я зачал блевать. «Подыми очи; Симплициус, — сказал он, — ведомо мне, что ты изрядно играешь на лютне, так повесели же и нас своим искусством». Я так испугался, что едва не упал, ибо молодчик назвал меня по имени, и в таком страхе вовсе онемел, возомнив, что мне привиделся худой сон, и того ради усердно помолился в сердце своем всемогущему богу, дабы ниспослал он мне пробуждение и пособил от несносного сего сна избавиться. Однако ж молодчик с жабою под мышкой, с коего я не сводил оцепенелого взора, зачал вбирать и выпускать свой нос, подобно калькутскому петуху, и напоследок толкнул меня в грудь, так что я едва не задохнулся. Того ради стал я громко призывать имя божие, восклицая: «Господь, Иисус Христос!». И едва произнес я сии могущественные слова, как исчезло все воинство. В миг соделалась кромешная тьма, и у меня так замерло сердце, что я повалился наземь, без счету осеня себя крестным знаменем.

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций просит о том не мыслить,
Что льет он пули, лишь только свистни.*

Так как бывают люди, а среди них встречаются также благородные и ученые мужи, кои не верят в то, что на свете есть ведьмы или колдуны, не говоря уже о том, чтобы они носились и летали по воздуху, то я не сомневаюсь, что существуют и такие, которые скажут: «Ну, и мастак же Симплициус отливать пули!». Я не охотник заводить споры с такими людьми, ибо лить пули в нынешнее время стало уже не искусством, а почти заобыкновеннейшим ремеслом, да и признать должен, что из меня вышел бы худой спорщик, как я был еще тогда порядочный простофиля. Однако ж те, что отрицают полеты ведьм, пусть вспомнят одного только Симона Волхва,¹ который силою злого духа поднялся на воздух и по молитве святого Петра низвергнулся вниз. Николай Ремигий,² муж доблестный, ученый и разумный, по чьему повелению в герцогстве Лотарингском была сожжена не одна ведьма, повествует о некоем Иоганне Хембахе, что его мать, которая была ведьмой, на шестнадцатом году его жизни, стала брать его с собою на шабаш, где он, будучи обучен играть на дудке, должен был доставлять музыку к их танцу. Для сего взобрался он на дерево и дудел на дудке прилежно, взирая на сей танец (быть может, потому что все казалось ему весьма диковинным, понеже и впрямь там все ведется дураческим образом); напоследок сказал он: «Помилуй бог, откуда собралось тут столько дурацкой и безрассудной сволочи?». Но едва только вымолвил он сии слова, как тотчас же сверзился с дерева, вывихнул плечо и стал взывать о помощи; но там, кроме него, никого не было. А как потом он расславил на весь мир о сем приключении, то многие почли это за басню, покуда через короткое время не была схвачена за чародейство Катарина Превоция, которая также присутствовала на сем танце: она объявила обо всем, что там велось, хотя ничего не знала о всеобщей молве, которую распустил Хембах. Майолус,³ епископ, приводит два примера о батраке, неотступно следовавшем за своею госпожою, и о некоем прелюбодее, который взял скляницу своей любушки и намазался ее мазью, и так оба они попали на шабаш ведьм.⁴ Рассказывают также об одном батраке, который встал спозаранок и стал мазать телегу; но понеже в потемках подвернулась ему не та банка, что следовало ему взять, то вся телега поднялась на воздух, так что пришлось их обратно тянуть на землю. Олаус Магнус⁵ в lib. 3. Hist. de gentibus septentrional. I, cap. 19 повествует, что Хадингус,⁶ король Дании, после того как он был изгнан некими бунтовщиками из своего королевства, снова возвратился в него по воздуху, будучи пере-

несен через море духом Одина, принявшим облик коня. Также довольно известно, каким образом женки и незамужние девки в Богемии понуюждают своих хахалей совершать с ними по ночам далекий путь верхом на козлах. Пусть-ко почитают, что рассказывает Торквемада⁷ в своем «Гексамероне» об одном школяре. Также Гриландус⁸ пишет о некоем знатном господине, который, приметив, что жена его натирается мазями и потом пропадает из дому, однажды принудил ее взять его с собою на колдовское сборище. А когда они там трапезовали и не случилось соли, то стал он просить, чтобы ему ее подали и, получив после долгих проволочек, воскликнул: «Слава те господи, вот и соль пожаловала», как разом погасли огни и все исчезло. А когда занялся день, узнал он от пастухов, что обретается неподалеку от города Беневенто в Неаполитанском королевстве, а значит более чем в ста милях от своей родины. Того ради, хотя и был он богат, принужден был попрошайничать, чтобы добраться до дому; а когда он воротился, тотчас же объявил перед управителями, что его жена чародейка, каковую затем и сожгли. А как доктор Фауст⁹ и многие другие, которые, однако ж, не были чародеями, перелетали по воздуху с места на место, довольно известно из его «Истории». Также можно прочесть у Боккаччо о некоем дворянине из Ломбардии,¹⁰ чей отец, сам того не ведая, приютил у себя египетского султана; а когда сей дворянин был захвачен в плен и приведен к султану и тот его узнал, то повелел уложить его в великолепную постель и положить рядом с ним много золота и затем с помощью одного чародея сонного перенести в Павию, где и опустить в соборе. Да и я сам знавал одну госпожу и ее служанку, кои, однако ж, в то самое время, когда я это пишу, давно уже померли, хотя отец девки еще жив. Так вот эта девка, однажды стоя у очага, мазала башмаки своей хозяйки, а когда она с одним башмаком покончила и отставила в сторону, чтобы приняться за другой, как тот башмак, что был намазан, внезапно вылетел в каминную трубу; но сие дело замяли. Все сие привожу я для того только, дабы доподлинно знали, что колдуны и чародейки по временам отправляются на свои сборища в телесном виде, а вовсе не затем, чтобы беспреренно уверовали, что и я сам, как было о том рассказано, там бывал; ибо мне все едино, поверит ли кто или нет, а кто не верит, пусть-ко измыслит, каким иным путем был я препровожден из аббатства Хиршфельд или Фульда (ибо я сам не знаю, в каких я тогда блуждал лесах) в епископство Магдебургское.

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплициус снова играет на лютне,
Готов он приняться за старые плутни.*

Приступаю снова к моей истории и хочу уверить читателя, что я так и пролежал на животе, покуда не занялся светлый день, ибо мне не доставало храбрости подняться; к тому же был я еще в сомнении, не привиделись ли мне все сказанные чудеса во сне. И хотя находился я еще в изрядном страхе, однако ж был столь смел, что уснул, ибо рассудил, что не могу обрестись в более лихом месте, нежели в глухом лесу, где я провел большую часть времени с тех пор, как покинул своего батьку, а посему довольно к тому приобик. Было примерно девять часов утра, когда наехал на меня отряд фуражиров, которые меня и разбудили; тут только увидел я, что лежу посреди открытого поля. Фуражиры увезли меня с собою к ветряным мельницам,¹ а затем, смолов там все зерно, отправились в лагерь под Магдебургом,² где представили меня пред ясные очи некоего полковника. Сей спросил меня, откуда я взялся и какому господину принадлежал. Я пересказал все досконально, и понеже не знал, как мне назвать кроатов, то описал их по платью и привел их любимые словечки, а также, что от этих людей я дал тягу; однако ж промолчал о своих дукатах; а все, что я наговорил о полете на шабаш ведьм, почли за вздорные выдумки и дурацкую болтовню, особливо же как пустился я в такие разглагольствования, что прямо уши вяли. Меж тем собралась вокруг меня превеликая толпа народу (ибо не зря сказано, что от одного дурня тысяча других родится); а среди них прилучился тут один, который о прошлом годе был в плену в Ганау и записался там в службу, однако снова перебежал к имперским. Он признал меня и тотчас воскликнул: «Эге! Да ведь это комендантов Теля из Ганау». Полковник тотчас стал расспрашивать его о многих, касающихся меня, обстоятельствах; но сей малый ничего более обо мне не знал, как только, что я умею играть на лютне, item что меня захватили перед крепостью и увели из гарнизона в Ганау кроаты и что сказанный комендант сожалел о такой потере, ибо я был весьма забавный дурень. Засим полковница послала к другой полковнице, которая изрядно играла на лютне и того ради беспрестанно возила сей инструмент с собою, и попросила одолжить ей. Лютню принесли и вручили мне с повелением показать свое искусство. Я же рассудил, что сперва надлежит утолить голод, ибо впалый живот и пузатая лютня произведут худую гармонию. Так и случилось; а когда я изрядно набил зоб и пропустил добрый глоток цербстского пива,³ то показал свое искусство в игре на лютне и в пении, как только мог, а притом еще болтал все, что ни взбретет на ум, и таким образом без особли-

вых трудов вселил в них уверенность, что я сам того же разбору, как и смешное мое телячье платье. Полковник спросил меня, куда я намерен податься, а как я ответил, что мне все едино, то мы скоро порешили, что я останусь у него и буду служить ему пажем. Он пожелал также узнать, куда подевались мои ослиные уши. «Эва, — ответил я ему, — когда ты знал бы, где они, то пришлось бы и тебе как раз впору». Однако ж сумел промолчать, в чем тут сила, ибо в них заключено было все мое богатство.

За короткое время узнали меня все высшие офицеры как в саксонском, так и в имперском лагере,⁴ а особливо женщины, которые украшали шелковыми лентами различных цветов мой колпак, рукава и обкарнанные уши, так что порой думаю, верно уж некоторые щеголи переняли отсюда теперешнюю моду. А все деньги, коими одаривали меня офицеры, я снова щедро расточал, ибо тратил их до последнего геллера, потягивая с добрыми приятелями гамбургское и цербстское пиво, каковые сорта мне более всего пришлось по вкусу, невзирая на то что всюду, куда бы я ни пришел, я мог вдоволь попировать на дармовщину.

А когда мой полковник обзавелся собственной лютнею, ибо возомнил, что я буду при нем находиться до скончания века, то мне уже не дозволяли больше таскаться из одного лагеря в другой и приставили ко мне наставника, дабы он за мною надзирал, а я оказывал ему послушание. Сей муж был по моему нраву, смирен, разумен, изрядно учен, однако ж не весьма искусен в речах и, что превыше всего, необычайно богобоязнен, начитан и знаток всяких наук и художеств. Ночь должен был я проводить в одной с ним палатке, а днем я не смел отлучаться от его глаз. Был он у некоего славного князя советником и чиновником и в то время весьма богат, но как его вконец разорили шведы, а жену унесла смерть, и его единственный сын по бедности не мог далее совершенствоваться в науках и служил писарем в саксонском войске, то и он обрел пристанище у сказанного полковника, у коего согласился стать штальмейстером, дабы переждать, покуда не переменится опасное течение войны у берегов Эльбы и не воссияет вновь солнце прежнего его благополучия.

ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций с наставником ходит по лагерю,
Где в кости ландскнехты играют сполагора.*

Понеже наставник мой был скорее в преклонных летах, а не молод, то не мог он уже спать всю ночь напролет, и сие было причиною того, что ему в первую же неделю открылись все мои тайности, и он несомненно уразумел, что я вовсе не такой дурень, каким прикидываюсь, хотя

он еще и раньше кое-что заметил и по лицу моему распознал, что все обстоит иначе, ибо он был сведущ также и в физиогномике. Однажды пробудился я около полуночи и стал размышлять о собственной жизни и бывших со мною диковинных приключениях и восстал с ложа своего и возблагодарил всевышнего, исчислив все щедроты, которые он излил на меня, и все великие опасности, от коих он меня избавил, а также с ревностным благоговением препоручил богу все свои будущие дела и начинания; и просил его не только отпустить мне все мои прегрешения, содеянные мною под дурацкою личиною, но и милостиво избавить меня от моего дурацкого обличья, дабы и я был сопричастен ко всем прочим разумным людям; засим с тяжкими вздыханиями улегся я снова в постель и тотчас уснул.

Наставник мой слышал все, однако же притворился, что крепко спит, и так повелось несколько ночей кряду, покада он не уверился, что у меня больше разума, нежели у иных старцев, которые премного мнят о себе, но он ничего не сказал мне в палатке, ибо стены ее были слишком тонки, и он по известной причине не хотел, чтобы раньше времени, прежде чем он совершенно убедится в моей невинности, кто-нибудь другой проник в сию тайну. Однажды пошел я погулять за лагерь, что он охотно мне дозволил, дабы я подал ему повод отправиться на поиски и улучшить случай поговорить со мною наедине. Он нашел меня, согласно своему желанию, в уединенном месте, где я давал аудиенцию собственным мыслям, и сказал, обратившись ко мне: «Любезный друг! Понеже я пекусь о твоём благе, то весьма рад, что могу потолковать здесь с тобою наедине. Я знаю, что ты не такой дурень, каким притворяешься, а также что ты вовсе не желаешь проводить жизнь свою в сем плачевном и смеху достойном состоянии. Когда тебе дорого твое благополучие и ты всем сердцем стремишься к тому, о чем всякую ночь молишь бога, и пожелаешь ввериться мне как честному мужу, то можешь поведать мне обо всех твоих обстоятельствах; я же в свой черед пособлю тебе, сколь возможно, советом и делом выбраться из шутовского твоего платья».

Тут пал я ему на шею и от чрезвычайной радости повел себя не иначе, как если бы он был ангел или по крайности пророк, ниспосланный с неба, дабы избавить меня от дурацкого моего колпака. И когда мы присели на землю, поведал я ему всю свою жизнь; он же поглядел на мои ладони и подивился как бывшим со мною, так и грядущим диковинным приключениям, однако ж присоветовал мне ни в коем случае не скидывать вскорости дурацкое мое платье, ибо он, как сказывал, посредством хиромантии узрел, что мой рок уготовляет мне темницу с превеликою опасностью для моего здравия и самой жизни. Я поблагодарил его за расположение ко мне и преподанный совет и молил бога вознаграждать его за такое добросердечие, а его самого просил (ибо я был покинут от всего света) стать и пребывать вовеки моим отцом и другом.

Засим поднялись мы и пошли на игорную площадь, где сражаются в кости и громоздят божбу на божбу, изрыгая такие хулы, что хоть ими мости крепостные рвы, на галеры грузи да вон вывози. Сия площадь была примерно столь же велика, как старей рынок в Кельне, и вся усеяна плащами и заставлена столиками, окруженными игроками. У каждой компании было по три костяных шельмеца, коим вверяли они свое счастье, ибо сии кубики делили их деньги, вручая одному то, что отняли у другого. Под каждым плащом или возле каждого стола стоял посредник, или хозяин, сего обиралища (игралища, хотел я сказать, да обмолвился).¹ Сия должность состояла в том, что им надлежало быть судьями и доглядывать, чтобы не было никакого плутовства; также ссужали они плащами, столиками и костями, за что получали свою мзду и долю от выигрыша, и обычно прихапывали себе большую часть денег, только они не шли им впрок, ибо они обыкновенно снова проигрывали все дотла; а когда им все же приводилось скопить малую толику, то доставались эти денежки маркитанту или хирургу, ибо весьма часто им проламывали головы.

Скопище сих дурней являло весьма диковинное позорище, ибо все они возмечтали выиграть, что вовсе было невозможно, ибо каждый должен был получить барыш из чужого кармана, и хотя все они питали такую надежду, но дело шло по пословице: «Сколько голов, столько умов», ибо всякая голова подумкивала о своем счастье, так что иным была удача, а иным незадача, одни выигрывали, другие продувались. А посему иные ругались, иные изрыгали проклятья, иные плутовали, а иных обдирали, как липку. И того ради выигравшие смеялись, а проигравшие кусали губы; кто спускал платье и продавал все, что было дорого, а кто и снова отигрывал свои денежки, иные орал, чтобы им подали безобманные кости, а другие, напротив, воздыхали о фальшивых и неприметно подсовывали их в игру, а третьи их выхватывали, разбивали и разгрызали зубами и рвали в клочья плащи содержателей сего обиралища. Среди фальшивых костей² были «голландцы»,³ коих надобно было пускать по низу с раскатцем, ибо у них были острые горбовины, словно хребты тощих деревянных ослов, на которых сажали провинившихся солдат;⁴ на них-то и были означены «пятерки» и «шестерки». А еще были там «оберлендцы»,⁵ им надобно было показать баварские горы,⁶ коли норовишь сорвать изрядный куш. А некоторые были поделаны из оленьего рогу, легки сверху и тяжелы снизу; другие же налиты ртутью или свинцом, а иные начинены рублевым волосом, губками, соломою и толченым углем; у одних были острые ребра, а у других, напротив, совсем сточены; одни вытянулись, как бочонки, а другие расплющились, как черепахи. И все они были изготовлены не для чего иного, как для обману; и они делали свое дело, к коему и были предназначены, все едино, брякали ли их с размаху или пускали скользить тихохонько; супротив таких костей уже не могло пособить никакое проворство, не говоря уже о таких, где были по две пятерки или

шестерки или, напротив, по два раза очко или по две двойки; с помощью оных шельмецов выуживали, выманивали и похищали они друг у друга деньги, которые, быть может, сами промыслили себе разбоем или по крайности добыли с превеликою опасностью для жизни и здоровья, либо приобрели каким-либо тяжким трудом и заботою.

А когда я стоял, разинув рот, и глядел на сию площадь, на игроков и все их дурачества, наставник мой спросил меня, любо ли мне то, что тут дется. Я отвечал: «То, что тут так ужасно сквернят имя божие, мне непереносно, а что до всего прочего, худо оно или хорошо, то я этого не касаюсь, ибо сие дело мне неведомо, и я его еще никак не разумею». На что сказал мне мой наставник далее: «Так ведай, что сие самое скаредное и мерзкое место во всем лагере; ибо здесь посягают на чужие деньги, а теряют свои. И когда кто-нибудь ступит хоть один шаг сюда в намерении предаться игре, то уже тем самым он переступает десятую заповедь, коя повелевает нам: „Не пожелай ничего, что елико суть ближнего твоего“. А почнешь играть и выиграешь, особливо же с помощью обмана и фальшивых костей, то переступишь седьмую и восьмую заповедь. И может случиться, что ты станешь убийцею того, кого обыграешь, ежели потеря его будет столь велика, что ввергнет его в бедность, крайнюю нужду и отчаяние или иной какой пагубный порок, и тут не поможет отговорка, когда ты скажешь: „Я ведь ставил и свои деньги и значит честно выиграл“; ибо ты плут и пошел на игорную площадь с намерением обогатиться на чужой беде. А проиграешь, то не искупишь своей вины тем, что лишишься своего достояния, а будешь строгий ответ держать перед господом, подобно богачу, ибо ты бесполезно расточал то, что было даровано тебе на пропитание твое и твоих сродников! Кто отправляется на игорную площадь, дабы предаться игре, тот вдается в опасность лишиться не токмо своих денег, но и телесного здоровья и своей жизни и, что ужаснее всего, душевного спасения. Я говорю это тебе, любезный Симплициус, для твоего сведения, ибо ты уверяешь, что тебе неведомо, что такое игра, дабы ты всю свою жизнь остерегался такой пагубы».

Я спросил: «Любезный господин! Когда сия игра столь ужасна и губительна, то чего ради дозволяют ее начальники?». Мой наставник ответил: «Я не хочу сказать, что сие происходит оттого, что многие офицеры сами привержены к той же игре, а потому, что солдаты не захотят да и не смогут от нее отстать, ибо тот, кто единожды начал играть и предался сей привычке или, лучше сказать, демону игры, тот мало-помалу (невзирая на то, проигрывает он или выигрывает) так в ней увязнет, что отрешиться от нее ему труднее, чем от естественного сна, ибо, как мы тут видим, иные гремят костями всю ночь напролет и готовы проиграть самые лучшие кушанья и напитки и даже уйти отсюда без рубахи. Уже много раз запрещали сию игру под страхом телесного наказания и даже смертной казни, и по приказу генералитета надлежало румормейстеру,

профосу, палачам и ярыжкам открыто с оружием в руках возбранять ее и не допускать до нее силою. Однако ж все сие нисколько не помогло; игроки сходились вместе где-либо в укромных местах за плетнями, обгрывали друг друга, заводили ссоры, и проламывали один другому головы, так что по причине такого душегубства и смертоубийства, особливо же потому, что многие проигрывали своих коней и оружие, да и свой скудный рацион, то не только публично дозволили сию игру снова, но даже принуждены были отвести для нее особую площадь неподалеку от главного караула для предотвращения всякого несчастья, которое могло там случиться, чему, однако, не всегда удается помешать, и то здесь, то там кого-либо да уложат на месте. И понеже сия игра возникла по инвенции самого препакостного дьявола и доставляет ему немалый улов, то он назначил к ней особливых игорных бесов, кои ничего иного не творят, как только шныряют по свету и подстрекают людей к игре. Сии бесы со-вращают различных безрассудных молодчиков и заключают с ними некие союзы и договоры, по коим должны они всегда выигрывать; и все же среди десяти тысяч игроков редко сыщешь хоть одного богатого, а напротив того, они повсеместно бедны и неимущи, ибо их барыш подбит ветром, а посему либо тотчас же уходит в проигрыш, либо расточается в беспутстве. Отсюда-то и повелась весьма справедливая, но слишком уж огорчительная пословица, что черт не покидает игрока, куда не оставит его голехоньким; ибо он похищает его добро, мужество и честь и не расстается с ним до тех пор, куда в конце концов (да не оставит его бесконечное милосердие божие!) не лишит его душу вечного блаженства. А когда игрок от природы своей доброго гумору и столь веселого нрава, что никакое несчастье или потеря не могут ввергнуть его в меланхолию, задумчивость, уныние, печаль и прочие происходящие из сего пагубные пороки, то коварный и злокозненный враг рода человеческого насыляет ему беспрестанную удачу, дабы через мотовство, спесь, обжорство, пьянство, распутство и всякие иные бездельнические поступки, наконец, уловить его в свои сети».

Я осенил себя крестным знаменем и ужаснулся такому попусшению, что в христианском войске творятся подобные дела по умыслу дьявола, особливо же когда столь очевидна и осязаема как временная, так и вечная погибель и всяческие протори, которые из сего воспоследуют. Но мой наставник сказал, что он поведал мне далеко не все; тот же, кто захочет описать всю пагубу, которая проистекает от игры, возложит на себя непосильное бремя, ибо говерят, что всякий швырок, как только разожмешь руку, подхватит черт; так что я не иначе как вообразил, что с каждой костяшкой (когда игрок мечет ее на плащ или на столик) выскакивает бесенок, который ее направляет и открывает столько очков, сколько надобно к выгоде его принцепала. И притом я рассудил, что черти, конечно, не напрасно столь усердно пекутся об этой игре и, нет

сомнения, получают от нее немалую выгоду. «Присем заметь еще, что возле игорной площади обычно толкуются торгаши и евреи, которые задешево скупают у игроков кольца, платья и драгоценные вещи, те, что они выиграли или же намерены проиграть, обратив их в деньги, и тут также подстерегает их дьявол, чтобы сим закоснелым игрокам, невзирая на то, выиграли они или проиграли, внушить и вперить новые мысли, пагубные для их душевного спасения. Удачливых игроков он тешит несбыточными химерами, а тем, от кого бежит Фортуна и чей дух и без того смятен и расстроен и потому отверзт для пагубных наущений, вселяет он лишь такие умыслы и намерения, кои все, нет сомнения, ведут их к вечной погибели. Уверяю тебя, Симплиций, что я намерен посвятить сей материи целую книгу, как только снова обрету себе покой под родным кровом; в ней скажу я о потере благородного времени, которое бесплодно растрачивается на эту игру; так же не премину сказать и об ужасных хулах, коими тогда сквернят имя божие. Я поведаю о тех мерзких ругательствах, какими они бесчестят друг друга, и приведу немало устрашительных примеров и историй, что приключились во время этой игры со всем, что до нее касается; присем я не забуду ни о дуэлях, ни о смертоубийствах, которые из-за нее учиняют. И я хочу самыми живыми красками изобразить и со всею очевидностию представить скупость, гнев, зависть, ревность, лукавство, обман, корыстолюбие, мошенничество и, одним словом, все безрассудства и дурачества игроков в зернь и карты, дабы у того, кто хотя бы единожды прочтает сию книгу, возникло такое отвращение к игре, как если бы он отведал свиного молока (которое и дают без их ведома одержимым сей страстию, дабы отвратить от нее), так что весь христианский мир узрит, что одна единственная кумпань игроков более сквернит пречистое имя божие, нежели целая армия ему услужить может». Я похвалил такое его намерение и пожелал, чтобы ему поскорее представился случай осуществить его на деле.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

*Симплиций заводит с Херцбрудером дружбу,
Служит она им немалую службу.*

Наставник мой час от часу оказывал мне все большую приязнь, а я ему; однако ж мы таили нашу взаимную доверенность. Я, правда, строил еще дурня, но не отмачивал срамных и нелепых шуток, так что мои речи и выходки, хотя и были довольно простоваты, однако ж являли больше остроумия, нежели глупости. Полковник мой, будучи превеликий любитель до ловли птиц, взял однажды меня с собою ловить рябчиков

наволочную сетью, именуемую тираса, каковое изобретение мне весьма полюбилось. Но так как собака, делавшая стойку, была чересчур горяча и бросалась на птицу прежде, чем успеют накинуть на нее тирасу,¹ то наловили мы на сей раз неяро, тут я и подал полковнику совет спарить негодную эту суку с орлом или соколом, подобно тому как обыкновенно случают лошадей и ослов, когда пожелают завести мулов, получить от нее крылатый приплод² и с подросшими тварями ловить рябчиков прямо в поднебесьи. Также приметив, что мы замешкались с осадю Магдебурга и нерадиво ведем дело, подал я совет, как снести с лица земли сию крепость, для чего надобно только изготовить длинный канат толщиною в добрую бочку вина, эдак на полфудера,³ да обвязать им крепостные стены, а затем, собрав в обоих лагерях всех людей и скотов, впрячь их в упряжку и за один день сволочить город в другое место.⁴ Подобные дураческие и замысловатые балясы точил я во множестве каждый день, ибо таково уж было мое ремесло и мой верстак не стоял праздно. А служивший у полковника переписчик, продувной плут и превеликий пакостник, доставлял мне для сего обильную материю, так что я кое-как перебивался, не покидая стези, коей обычно все такие шуты и дурни шествуют, ибо то, что мне втолковывал сей пересмешник, я не только принимал сам на веру, а спешил сообщить другим, когда встревал в диспут или применялся к беседе.

А когда однажды спросил я у сего переписчика, что это за человек наш полковой капеллан, ибо он столь отличен платьем от всех прочих, то услышал в ответ: «Сей господин прозывается *Dicis et non facis*,⁵ что по-немецки означает примерно: „Сам другим жен раздает, а себе ни одной не берет“. Он заклятый враг всем мошенникам, ибо они никогда не говорят, что творят, а он же, напротив, всегда объявляет, чего не делает. Да и мошенникам он не особенно люб, ибо обыкновенно они сводят с ним близкое знакомство, когда их ведут на виселицу». А когда впоследствии я назвал так достопочтенного нашего патера, то все подняли его на смех, а меня почли за лукавого злого плута и по сему случаю хорошо попотчевали лозою. Далее уверил он меня, что вольные непотребные дома в Праге, те самые, что за городской стеною, снесены и сожжены дотла, а разлетевшиеся оттуда искры и пепел разнеслись по всему свету, подобно семенам дурной травы; и тем что меж солдат достигают царствия небесного не мужественные герои и отважные воины, а одни только придурковатые олухи, трусливые разини, слабодушные пентюхи, отпетые лежебоки и им подобные, которые довольствуются своим жалованьем; точно так же не политичные новомодные кавалеры и галантные дамы, а одни лишь долготерпеливые иовы,⁶ подкаблучные мужья, прескучные монахи, унылые попы, богомолки, бедные попрошайки и всяческое отребье, которые ни богу свечка, ни черту кочерга, вкупе с несмышленими младенцами, что повсюду напускают лужи и мараются. Так же налгал он

мне, что хозяева постоянных дворов потому называются трактирщиками, что, занимаясь своим ремеслом, прилежно трактуют о том, кто из постояльцев достанется богу, а кто дьяволу. А о военном деле втолковывал он мне, что порою стреляют золотыми пулями и, чем они дороже, тем больше наносят урон. «Да что там! — продолжал он. — Подчас уведяг в плен на золотой цепи целое войско со всею артиллериею, амунициею и обозами». Далее уверил он меня о женщинах, что больше половины их носит штаны, хотя это и не видно, и что хотя они и не умеют ворожить и не богини, подобно Диане, однако ж многие насадили своим мужьям на головы пребольшие рога, подобно тем, что носил Актеон;⁷ и тем что многие из них живут в браке, оставаясь незамужними, а я всем словам его верил, ибо был неразумным дурнем.

Напротив того, наставник мой, когда мы оставались наедине, вел со мною совсем иные беседы. Он также познакомил меня со своим сыном, который, как о том было упомянуто раньше, служил в саксонской армии писарем и обладал совсем иными достоинствами, чем копиист моего господина полковника, а посему последний не только благоволил к нему, но и помышлял откупить его у начальствовавшего над ним капитана и поставить его полковым секретарем, на каковую должность метил и сказанный копиист.

С этим-то писарем, который так же, как и его отец, прозывался Ульрих Херцбрудер, вошел я в такую приятельность, что мы побратались навеки и дали клятву никогда не покидать друг друга ни в счастье, ни в злополучии, ни в горе, ни в радости. И когда сей союз был заключен с ведома его отца, то тем тверже и непоколебимей мы в нем укрепились. А посему мы больше всего помышляли о том, каким бы средством с честью избавить меня от дурацкой моей личины, дабы могли мы прямо и несокровенно служить друг другу, на что, однако ж, старый Херцбрудер, коего я чтил, как родного отца, и ставил себе в пример, не дал своей апробации, а несомненно объявил, что когда я вскорости переменею свое состояние, то засим воспоследует для меня тягостное заточение в темницу с превеликою опасностью для жизни и здравия. И как провидел он также себе самому и своему сыну превеликое поругание, то по сей причине подал совет жить с тем большею осмотрительностью и опаскою, и тем менее желал он вмешиваться в дела того, кому, как то было открыто его взору, предстояла великая опасность. И еще был он озабочен тем, чтобы не разделить со мною мое несчастье, когда я откроюсь, ибо он уже задолго до того узнал мои тайности, да и во всем прочем знал меня вдоль и поперек, однако ж не объявил полковнику о всех моих обстоятельствах.

Вскоре после того заметил я еще явственнее, что копиист нашего полковника прежде всего завидует моему названному брату, ибо весьма опасается, что тот заступит должность секретаря; ибо я отлично видел, как он

порою скрежетает зубами от досады на немилость и утеснение и что он всякий раз погружается в тяжкую задумчивость, как только завидит старого или молодого Херцбрудера. Посему заключил я и несомненно уверился, что он строит планы, как бы подставить ножку моему брату и привести его к падению. Я по неложному чувствованию и дружественной обязанности поведал ему все, о чем возымел подозрение, дабы он немного поостерегся сего Иуды. Однако ж брат мой выслушал меня с легким сердцем по той причине, что лучше сего копииста владел не токмо пером, но и шпагою, а к тому же еще полагался на великое благоволение и милость к нему полковника.

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА

*Симплициус видит, как злым наговором
Невинного друга ославили вором.*

Как повелось на войне обыкновение ставить профосами старых испытанных солдат, то и в нашем полку был подобный жох и притом еще такой тертый прожженный плут и злыдень, о ком по правде можно было сказать, что он куда больше всего изведал, чем было надобно, ибо был он завзятый чернокнижник,¹ умел вертеть решето² и заклинать дьявола, и не только сам был крепок, как булат, но и других мог сделать неуязвимыми, а вдобавок напустить в поле целые эскадры всадников.³ Наружностью своею он всего более подходил к тому, как поэты и живописцы представляют нам Сатурна,⁴ окромя костылей и косы. И, хотя бедные пленные солдаты, попадавшие в безжалостные его руки, от таких его повадок и беспрестанного присутствия почитали себя еще злополучнее, все ж находились и такие люди, которые охотно водили знакомство с сим выворотнем, особливо же Оливье, наш копиист; и чем более распалялся он завистью к молодому Херцбрудеру (который был весьма беспечного нрава), тем сильнее стаскивался он с профосом. А посему не велик был мне труд расчислить по конъюнкции Сатурна и Меркурия,⁵ что сие для нашего прямодушного Херцбрудера не предвещает ничего доброго.

Как раз в то самое время наша полковница разрешилась от бремени сыном и крестинная похлебка была сварена прямо по-княжески, а услужать на этой пирушке пригласили молодого Херцбрудера; и как он по своей учтивости с охотою согласился, то Оливье и улучил давно ожидаемый случай произвести на свет свою плутню, кою он столь долго носил под сердцем; и вот, как только отошла пирушка, хватились золотого кубка, принадлежащего нашему полковнику, чему не так просто было прспасть, ибо сей кубок был налицо и после того, как разбрелись все посто-

ронние гости. Паж, правда, уверял, что последний раз видел кубок у Оливье, однако тот отперся. Затем, дабы должным образом расеудить о сем деле, призвали профоса и приказали ему, ежели он может, с помощью своего искусства открыть вора так, чтобы о нем стало ведомо одному только полковнику, который, ежели сей проступок учинил кто-либо из его офицеров, не охотно подверг бы его такому сраму.

Но как всякий знал свою невинность, то мы все весело собрались в большую палатку полковника, где ворожей приступил к своим трудам. Тут каждый стал прилежно примечать за другим и хотел знать, чем все обернется и где объявится похищенный кубок. Едва только чародей пробормотал несколько слов, как почитай что у каждого повыскакивали из карманов, рукавов, ботфорт, прорешек, словом, отовсюду, где только были прорези и отверстия, сразу по две, по три, а то и больше молоденьких собачонки, которые проворно забегали по палатке и всюду совали свой нос; а были они все весьма красивенькие, самых различных мастей, а притом еще каждая изукрашена на особый манер, так что прямо загляденье. И этих самых щенят было столько напущено в мои узкие кроатские штаны, что я принужден был их вовсе скинуть, а так как моя рубаха за бытность в лесу давно истлела на теле, то и стоял я голешенек, открывая взору спереди и сзади все, что там было. Под конец у молодого Херцбрудера прямо из прорешки выскочила собачонка, самая шустрая из всех, в золотом ошейнике; она пожрала всех других щенят, коими кишела вся палатка, так что и ступить было некуда. А когда она всех их одну за другой убирала, то сама вытягивалась и становилась все меньше, а ошейник на ней зато все больше, покуда, наконец, не превратился в застойный кубок нашего полковника.

Тут не только полковник, но и все совокупное общество уверилось, что не кто иной, как юный Херцбрудер и похитил кубок; того ради полковник сказал: «Вот каков ты, неблагодарный гость! Неужто за все мои благодеяния заслужил я такое бездельничество, какого никогда не ожидал от тебя? Гляди! Уже завтра поутру собирался я поставить тебя своим секретарем, а теперь ты заслуживаешь, чтобы я еще сегодня приказал тебя повесить, что непременно бы случилось, когда бы я не щадил твоего честного старого родителя. Проваливай поскорее из моего лагеря и до скончания дней своих не смей показываться мне на глаза!» Юный Херцбрудер хотел вымолвить что-то в свое оправдание, однако никто не захотел его выслушать, ибо содеянное им представлялось всем самоочевидным; и когда он пошел прочь, то добрый старый Херцбрудер лежал в полном беспмятстве, так что было довольно хлопот, чтобы он оправился, и сам полковник немало утешал его и говорил, что добропорядочный отец не расплачивается за вину злонаправного своего сына. Итак, Оливье с помощью дьявола получил то, чего давно домогался, но не мог достичь путем праведным.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА

*Симплициус брату дает сто дукатов,
Дабы откупился от злобных катов.*

Как только капитан, у коего был под началом молодой Херцбрудер, узнал о сем происшествии, то тотчас же отставил его от писарской должности и вручил ему пику; с какового времени стал он так презрен, что собаки, когда б только хотели, могли подымать над ним ногу, и оттого нередко призывал он на себя смерть. А отец его так сокрушался, что впал в тяжкий недуг и собрался умирать. Особливо же как он сам еще раньше предсказывал, что 26 июля (и сей день уже стоял у порога) предстоит ему великая опасность для жизни и здравия, то испросил у полковника разрешения повидаться и побеседовать с сыном, который всеми покинут, чтобы открыть ему свою последнюю волю. Они не таились от меня, и я был третьим сопечальником их встречи. Тут увидел я, что сыну нет нужды оправдываться перед отцом, ибо тот хорошо знал его нрав и доброе воспитание и посему был поистине уверен в его невиновности. И он как муж премудрый, глубокомысленный и разумный, взвесив все обстоятельства, без труда заключил, что Оливье с помощью профоса устроил сию баню его сыну; но что мог он предпринять против такого чародея, ибо был в опасении еще горших бед, ежели тот умножит свою мстительность. Сверх того провидел он приближение смерти, но не мог опочить с миром, оставив сына в таком бесчестии. Однако и сын не хотел больше жить в презрении и потому тем сильнее желал умереть прежде отца. И взирать на горесть сих двух было столь тяжело, что я от всего сердца заплакал. Под конец пришли они к единодушному нераздельному согласию терпеливо положиться на волю божию, а сыну искать способ и средство отойти от своего отряда и поискать счастья где-либо еще на белом свете. Но когда они трезво рассудили обо всем, то открылась препона в деньгах, коих неоставало, чтобы откупиться у капитана, и они размышляли и сокрушались о том, в какое злополучие повергла их бедность, так что оставили всякую надежду на облегчение своей участи; тут только и вспомнил я про дукаты, все еще зашитые в ослиных моих ушах, и того ради спросил, сколько надобно денег, чтоб пособить им? Юный Херцбрудер ответил: «Когда б сыскался кто и дал мне сотню талеров, то полагаю, что буду избавлен от всех бед!». Я сказал: «Брат! Когда тебе пособить возможно, то мужайся, ибо я дам тебе сто дукатов». «Ах, брат! — воскликнул он. — С чего это ты? Или ты и впрямь отменный дурень или столь легкомыслен, что смеешься над нами в нашей печали и крайности?». «Да нет же! — возразил я. — Я и впрямь хочу отсыпать тебе денег». Засим, скинув камзол, вытащил из рукава ослиное ухо, распорол его и отсчитал молодому Херцбрудеру сто дукатов, оставив про-

чие у себя, причем сказал: «А сии намерен я употребить, чтобы ухаживать за твоим больным отцом, ежели ему это будет надобно». Тут пали они мне на шею, целовали и не помнили себя от радости, называли меня ангелом, ниспосланным богом для их утешения, а также хотели составить письменное обязательство, по коему я должен был наследовать старому Херцбрудеру вместе с его сыном, а ежели они с помощью божией доберутся до своих, то с превеликою благодарностию возвратят мне всю сумму вместе с причитающимся интересом, от чего я наотрез отказался, вверяя себя лишь неотменной их дружбе. Засим молодой Херцбрудер хотел принести клятву отомстить Оливье или сложить свою голову! Но отец воспретил ему сие, уверяя, что тот, кто убьет Оливье, в свой черед примет смерть от меня, Симплициуса. «Однако, — заключил он, — мне неотменно ведомо, что ни один из вас не умертвит другого и что вы оба не погибнете от оружия». Затем предложил он нам поклясться в любви и верности по самую смерть, и что мы будем стоять друг за друга в любой беде. Молодой Херцбрудер поладил с капитаном на тридцати рейхсталерах и получил от него честную отставку, а с остальными деньгами при первом удобном случае отправился в Гамбург, где купил двух лошадей и, экипировавшись таким образом, поступил в шведскую армию, вверив моему попечению нашего отца.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

*Симплиций речет по два предсказанья,
Кои сбылись наглецу в наказанье.*

Никто из челядинцев нашего полковника не умел лучше меня принориться к болезни старого Херцбрудера и ходить за ним, а так как и сам болящий был весьма мною доволен, то полковница, которая оказывала ему много добра, и возложила всецело на меня сию должность; и при столь добром уходе, а также будучи утешен участью своего сына, стал он крепнуть день ото дня, так что еще перед самым 26 июля пришел почитать что в совершенное здравие. Однако ж почел за благо повременить в постели и сказаться еще больным, покуда не минует помянутое число, коего он приметно страшился.¹ Меж тем посещали его различные офицеры из обоих лагерей, кои все хотели проведать у него о грядущем своем счастье или злополучии, ибо был он добрый математик и разумел течение светил, а также изрядный физиогномист и хиромантик, так что его предсказания редко не сбывались; и он даже назначил день, в который потом случилась битва при Витштоке, ибо к нему являлись многие, коим как раз в это время угрожала насильственная смерть. Полковнице

же он предвестил, что ей придется после родов вылежать шесть недель еще в лагере, ибо раньше этого срока нашим не удастся взять Магдебург. Лицемерному Оливье, который нагло подбивался к нему, он сказал твердо, что тот умрет на свою смертью и что я, Симплициус, когда б сие ни случилось, отомщу за него и лишу жизни его убийцу, по каковой причине Оливье с тех пор стал оказывать мне почтение. Мне же старый Херцбрудер поведал все дальнейшее течение моей жизни с такою обстоятельностью, как если бы она уже окончилась, а он во все время со мною не разлучался, на что я, однако, тогда мало взирал, хотя потом и не раз вспоминал о многих вещах, сказанных им мне наперед, когда они уже сбылись или оказались справедливыми; особливо же предостерегал он меня от воды, ибо опасался, что я найду тут себе погибель.

А когда наступило 26 июля, то просил он верою и правдою, и неоднократно напоминал мне и фурьеру (приставленному к старому Херцбрудеру, по его просьбе, на тот день полковником), чтобы мы никого не пускали к нему в палатку. Итак, лежал он там один-одинешенек и беспрестанно творил молитву; но вот уже после полудня прискакал из рейтарского лагеря лейтенант, который спросил, где штальмейстер нашего полковника. Он направился к нам, но мы тотчас же ему отказали, он же не дозволил себя спровадить и принялся упрашивать фурьера со всяческими посулами, чтобы его допустили к штальмейстеру, с коим ему непременно надобно переговорить еще сегодняшним вечером. Но как сие нимало ему не помогло, то начал он изрыгать проклятья, врать и метать и орал, что он уже не раз приезжал сюда в угоду его милости штальмейстеру и никогда не заставлял его дома, а теперь когда он тут обретается, то не хочет оказать ему такой чести перемолвиться с ним одним словом; засим он спешился и, нимало не задумываясь, отстегнул полу палатки, причем я укусил его за руку, за что был награжден крепкою оплеухою. Как только вошел он в палатку и узрел моего старика, то сказал: «Господин не откажет в извинении, что я дозволил себе такую вольность, чтобы молвить ему несколько слов?». «Добро! — ответил штальмейстер. — Но что же все-таки угодно господину?». «Ничего иного, — сказал лейтенант, — как только обременить господина просьбою, не соблаговолит ли он составить мой гороскоп». Штальмейстер возразил: «Ласкаю себя надеждою, что высокочтимый господин простит мне ради теперешнего моего недуга, ежели я на сей раз не исполню его желания, ибо для такой работы потребны многие исчисления, коих слабая моя голова не сможет нынче совершить; но ежели только ему будет угодно повременить до завтра, то чаятельно, что тогда смогу я должным образом его удовлетворить». «Господин, — сказал на то лейтенант, — так погадай мне по крайности хоть по руке!». «Господин мой, — ответил старый Херцбрудер, — искусство сие весьма обманчиво и ненадежно и того ради прошу меня от него уволить; поутру же я охотно свершу все, что господин от меня требует». Однако

лейтенант не захотел удалиться ни с чем, а подступил к самой постели моего названного отца, протянул ему руку и сказал: «Господин! Прошу только вымолвить накоротко, какая ожидает меня кончина, и уверяю, что ежели она хоть в малом постыдна, то я послушествую речам господина, как предостережению божьему, дабы тем лучше блюсти себя и остерегаться дурного; а посему заклинаю господина именем божьим откровенно сказать мне об этом и не утаить от меня правды!». На что прямотушный старик сказал ему коротко: «Ну что ж, пусть господин поостережется, чтобы его сим часом не повесили». «Чего? Ах, ты старый плут! — вскричал лейтенант, который перед тем изрядно выпил. — Да как ты посмел сказать такие слова кавалеру?», обнажил саблю и заколол в постели моего любимого старого Херцбрудера. Я и фурьер тотчас же подняли шум и завопили караул, так что все побежали к оружию; лейтенант же, не мешкая, дал тягу и, нет сомнения, ускакал бы и ушел от возмездия, когда бы как раз в то самое время не проезжал мимо собственно персоной в сопровождении многочисленной свиты курфюрст Саксонский,² который и приказал его нагнать. И когда курфюрст узнал, как обстояло дело, то обратился к Мельхиору фон Хатцфельду,³ который был нашим генералом, и сказал только всего: «Худая должна быть дисциплина в имперском лагере, ежели и больной в постели от смертоубийства не безопасен». То была острая сентенция и вполне достоянна, чтобы лишить лейтенанта жизни, ибо наш генерал тотчас же распорядился накинуть веревку на его разлюбезную шею и непромедлительно вздернуть высоко в воздухе.

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА

*Симплиций становится честной девицей,
Но видит, что то никуда не годится.*

Из сей правдивой истории заключить можно, что не все прорицания должны быть тотчас же отвергнуты, как поступают некоторые дурни, которые и вовсе им не веруют. Так же отсюда явствует, что человеку трудно предотвратить свой жребий, когда ему задолго или недавно предвещено подобное злополучие. А ежели кому доведется спросить: надобно ли, полезно ли и к добру ли, что люди гадают о будущем и закаывают себе гороскопы, я отвечу одно: старый Херцбрудер насказал мне так много всего, что я нередко желал и посейчас еще желаю, лучше бы он о том умолчал, ибо я не мог избежать ни одного из тех злосчастий, которые мне были предвозвещены, а те, кои мне еще предстоят, тщетно мрачат мой ум, ибо они неотменно приключатся со мною, как и те, что уже приключились, все равно, остерегусь я или нет. А что касается до сча-

стливых случаев, которые кому-либо были предсказаны, то полагаю, что они более обманчивы или по крайности сбываются не столь полной мерой, как то бывает при злополучных предвещаниях. Чем пособило мне, что старый Херцбрудер всем на свете божился, будто я рожден от благородных родителей и воспитан был ими, ежели я не знал никого другого, кроме своего батьки и матки, неотесанных мужиков из Шпессерта? Item чем пособило Валленштейну, герцогу Фридланскому, пророчество, что под сладостную музыку возложат ему на главу королевскую корону? Али не знают, как его угомонили в Эгере? ¹ А посему пусть над этим ломает себе голову, кто хочет, я же вновь возвращаюсь к своей истории.

Когда я сказанным образом лишился обоих Херцбрудеров, опостылел мне весь лагерь под Магдебургом, который я и без того имел обыкновение называть холщовым и соломенным городком с земляными стенами. И я был так намаян и досыта употчеван шутовским своим платьем и должностью, как если бы хлебал одними железными уполовниками; и вот однажды замыслил я не позволять более всем и каждому надо мной глумиться и решил скинуть дурацкий свой наряд, а там — рассуди бог, сбьется ли тому, что предвещал мне Херцбрудер, даже если бы оттого я лишился жизни и здравия. И сие намерение я тотчас же произвел в дело и весьма безрассудно, как о том будет поведено, ибо не представлялось иного лучшего способа.

Оливье, секретарь, который после смерти старого Херцбрудера, стал моим наставником, частенько позволял мне выезжать с солдатами за фуражем. И когда мы однажды прискакали в большую деревню, где была назначена рейтарам поклажа, и все разбрелись по домам пошарить, нельзя ли тут чем-нибудь поживиться, то улизнул и я поразнюхать, не сыщется ли и для меня какого-нибудь мужицкого обноска, дабы сменить на него шутовский свой наряд. Однако ж ничего не нашел по себе и принужден был удовольствоваться женским платьем. Оглядевшись и никого вокруг не приметив, я облачился в него, а свое спустил в нужник, возомнив, что отныне избавился от всех зол и напастей. Вырядившись таким манером, направил я свои стопы в проулок к стоявшим там офицерским женам, и так мелко семенил, словно Ахиллес, когда его мать вела к Ликомеду.² Но едва вышел из-под крыши, как увидели меня наши фуражиры, чем тотчас же придали мне больше прыти. Они кричали: «Стой! Держи!», а я мчался, словно палимый адским пламенем, и раньше их поспел до помянутых офицерш, пал перед ними на колени и стал умолять ради женского целомудрия и добродетели защитить мое дество от похотливых сих срамников, так что просьба моя не только была уважена, но одна ротмистерша взяла меня в прислуги, и я обретался у нее, покуда наши не взяли Магдебург,³ а затем шанцы у Вербера, Хавельберг⁴ и Перлеберг.⁵

Сия ротмистерша уже не дитяtko, хотя еще была молода, так врезалась в мое гладкое лицо и стройный стан, что после долгих подходов и напрасных околичностей дала мне уразуметь чересчур откровенно, где ей припекло. Я же в ту пору был слишком совестлив и поступал так, словно вовсе того не примечал, показывая всеми своими поступками девицу отменного благонравия. Ротмистр и его конюх страждали тем же недугом; и того ради ротмистр велел жене одеть меня попрigляднее, чтобы мое скаредное крестьянское платье не принуждало ее стыдиться. Она исполнила больше, нежели ей было наказано, и вырядила меня, как французскую куклу, что только подлило масла в огонь, так что напоследок все трое так распались, что господин и конюх ревностно домогались от меня того, в чем я никак их не мог удовольствовать и даже самой госпоже учтивейшим образом отказывал. Напоследок вознамерился ротмистр улучшить случай и добиться силою того, чего ему однако ж от меня получить было невозможно. Сие заметила его жена, и как она все еще надеялась меня уломать, то перебегала ему дорогу и упреждала все его умыслы так, что он был в опасении, что сойдет от этого с ума или совсем вздуруется. Однако ж из всех трех жалел я более всего бедного простофилю, нашего конюха, ибо госпожа и господин могли взаимно утолить необузданную свою похоть, а сей дурень ничем не располагал. Однажды, когда ротмистр и его жена почивали, сей молодец очутился перед повозкой, где я спал каждую ночь, и, заливаясь горячими слезами, принялся сетовать на свою любовь и столь же умильно просить о благоволении и милости. Я же выказал себя жесточе камня и дал ему уразуметь, что хочу сохранить девство свое до брака. Когда же он несчетное число раз обещал мне жениться и не хотел ни о чем другом слышать, сколько я его не уверял, что мне с ним соединиться в браке невозможно, впал он в такое отчаяние или по крайности искусно в том притворился; ибо он извлек шпагу, приставил острие к груди, а эфес к повозке не иначе, как если бы вознамерился тотчас себя заколоть. Я помыслил: «Лукавый силен», того ради стал его ободрять и сказал в утешение, что завтра поутру объявлю ему окончательный ответ. Сим он был умягчен и пошел спать, я же, напротив, не смыкал очей, ибо размышлял о своем диковинном положении. Я довольно вразумел, что течение времени не приведет меня к добру, ибо чем далее, тем нецеремонливей будет приступать со своими прелестями ротмистерша, тем отважнее делается в своих домогательствах ротмистр и в тем горшее отчаяние впадет конюх от своей неизменной любви; однако ж не знал, как мне из такого лабиринта выбраться. Частенько приводилось мне ловить блох на моей госпоже, дабы мог я видеть ее белые, как мрамор, груди и осязать ее нежное тело, что мне, понеже и я был из плоти и крови, час от часу становилось все трудней переносить. А когда госпожа оставляла меня в покое, то принимался меня терзать ротмистр, а когда я собирался отдохнуть от них обоих ночью, то мне докучал конюх, так что жен-

ское платье показалось мне куда несноснее, нежели моя дурацкая личина. Тогда-то (однако слишком поздно) вспомнил я предсказание и предостережение покойного Херцбрудера и вообразил не иначе, что я и впрямь уже заточен в темницу и мне грозит опасность для жизни и здравия, как он мне предвещал, ибо женское платье держало меня в заточении, понеже я не мог из него выскочить, и ротмистр обошелся бы со мною весьма худо, когда бы узнал, кто я такой, и застал у своей прекрасной супруги во время ловли блох. Но как надлежало мне поступить? Напоследок положил я намерение, едва минет ночь и забрезжит утро, открыться во всем конюху, ибо я помыслил: «Его любовная горячность тогда утихнет, и когда ты еще уделаешь ему некую толику любезных дукатов, то он еще поможет тебе раздобыть мужское платье и пособит во всех прочих твоих напастях». То была бы отменная выдумка, когда бы в ней способствовало мне счастье; но оно пошло мне наперекор.

Мой дуралей принял полночь за ясный день, и едва только я хорошенько разоспался, ибо, почитай, всю ночь бодрствовал, размышляя о своем положении, стал ломиться в повозку, дабы услышать о моем согласии. Он принялся звать меня, пожалуй, слишком уж громко «Сабина! Сабина! Сокровище мое! Подымайся и сдержи свое обещание», так что допреж меня пробудил ротмистра, ибо его палатка стояла рядом с моей повозкою. У него, нет сомнения, от ярости завертелись зеленые и желтые круги перед глазами, ибо он и без того уже начал ревновать; однако ж он не вышел из палатки, чтоб не спугнуть нас, а лишь встал с постели поглядеть, что меж нами поведется. Наконец конюх своей нецеремонливостью пробудил меня, приневоливая либо выйти к нему из повозки, либо пустить к себе; я же выбрал его и спросил, неужто почитает он меня за потаскуху; мое вчерашнее обещание покоится на добром супружестве, помимо чего он меня получить не сможет. Он же отвечал, что мне все равно надобно вставать, уже светает и пора приготовить пищу для всей челяди; а он наносит дров и воды и к тому же разведет огонь. Я отвечал: «Покуда ты со всем справишься, то я могу тем дольше поспать; ступай-ко туда, я скоро за тобой последую». Но как сего глупца не удалось мне спровадить, то я поднялся скорее для того, чтобы исправить свою работу, нежели вступать с ним в конверсацию, ибо мне показалось, что вчерашнее дурацкое отчаяние его оставило. Я довольно мог в походе сойти за девицу, ибо научился у кроатов стряпать, печь хлебы и стирать, а прясть в походе у солдатских женок не было в обыкновении. А что до прочего, что я не умел исправлять, как это делают служанки, к примеру чистить щеткою (причесывать) и укладывать (заплетать) косы, то моя госпожа ротмистрша охотно мне это спускала, ибо довольно знала, что я тому не обучен.

А когда я с засученными рукавами сошел вниз с повозки, то мой подстреленный амурной стрелой дуралей, завидев мои белые руки, так вос-

пламенился, что никак нельзя было его удержать, чтобы не поцеловал меня; а так как я и не особенно тому противился, то ротмистр, на глазах коего все сие происходило, не мог того снести и выскочил из палатки с обнаженной шпагой, намереваясь заколоть моего бедного полюбовника, но он дал стрекача и позабыл воротиться. А ротмистр сказал: «Непотребная тварь! Ужо я тебя проучу!». Промолвить что-либо еще не дозволила ему ярость. Однако ж он бросился на меня, как если бы совсем потерял разум. Я начал кричать, так что он должен был перестать, чтобы не учинить аларму, понеже обе армии, саксонская и имперская, стояли тогда друг против друга, ибо шведы под начальством Банера⁶ приближались.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА

*Симплициус схвачен как хитрый колдун,
Вот-вот придет ему злой карачун.*

А когда наступил день, выдал меня господин ротмистр на потеху рейтарам как раз в тот час, когда поднялись обе армии; то было скопище всякого сброда, а посему тем горше и ужаснее должна была быть травля, которая мне предстояла. Они поспешили со мной в кусты, чтобы удобнее утолить скотскую похоть, как у такого дьявольского отродья было в обычае, когда им подобным родом отдают женщин. Следом за ними, однако ж, пошли четверо парней, которые видели сие прежалостное зрелище, а среди них был и мой дуралей. Он не упустил меня из виду, и когда приметил, какая уготована мне участь, то вознамерился спасти меня силою, хотя бы это стоило ему головы. У него сыскались заступники, ибо он сказал им, что я его нареченная невеста. Они возымели сожаление ко мне и к нему и пожелали оказать ему помощь. Однако ж сие пришлось не по вкусу рейтарским молодчикам, ибо они возомнили, что у них больше на меня права, и не хотели упускать из рук столь лакомую добычу. Тут принялись они тузить друг друга, и такая поднялась кутерьма и шум, что сбежалось множество народу, так что все, почитай, смахивало на турнир, где всякий отличается в честь прекрасной дамы. Их ужасающие крики привлекли начальника караула, который пришел как раз в то самое время, когда они, волоча меня в разные стороны, разодрали на мне все платье и увидели воочию, что я за девица. Сие водворило мертвую тишину, ибо его боялись больше, нежели самого черта; также утихомирились все, кто принимал участие в потасовке; он коротко обо всем уведомился, и в то время, как я надеялся, что он избавит меня от всех напастей, напротив того, он взял меня под арест, ибо то было нестасочное и весьма сумнительное дело, что мужчина в армии захвачен в женском платье. Таким образом шествовали

он и его караульный со мною мимо полков (которые все выстроились в поле, готовясь выступить в поход) в намерении передать меня генерал-аудитору или генерал-профосу. Когда же мы поравнялись с полком моего полковника, то меня узнали, окликнули, немудро приодели по приказу полковника и передали пленником нашему старому господину профессу, который наложил на мои руки и ноги оковы.

Мне было весьма не сладко маршировать в цепях и узах; и у меня бы изрядно подвело живот, когда бы не щедрость секретаря Оливье; ибо я не осмеливался вытащить на белый свет свои дукаты, которые мне до сих пор удалось сохранить; я ведь все равно тогда бы их лишился да в придачу навлек бы на себя еще горшую опасность. Помянутый Оливье поведал мне в тот же вечер, чего ради учинено мне столь жестокое пленение, а наш полковой экзекутор получил приказ непромедлительно меня допросить, чтобы тем скорее представить мое показание генерал-аудитору, понеже меня почли не только за опасного лазутчика и шпиона, но еще и такого, который умеет ворожить, ибо вскоре после того, как я оставил полковника, было сожжено несколько колдуний, которые признались и на том стояли по смерть, что они видели меня во время своих сборищ, когда замыслили высушить Эльбу, чтоб тем легче врагу было захватить Магдебург.

Пункты, на которые мне надлежало дать ответ, были следующие:

Первое, учился ли я в школе или по крайности умею ли писать и читать.

Второе, чего ради явился к лагерю под Магдебургом в дурацком платье, когда на службе у ротмистра, равно как и ныне, нахожусь в довольном разуме.

Третье, по какой причине вырядился я в женское платье.

Четвертое, бывал ли я среди прочей нечисти на шабаше ведьм.

Пятое, где мое отечество и кто были мои родители.

Шестое, где я обретаюсь до того, как пришел в лагерь под Магдебургом.

Седьмое, где и с каким намерением обучился женской работе — стирать, печь хлебы, стряпать, итм играть на лютне.

На сие вознамерился я поведать о всей моей жизни, дабы все обстоятельства диковинных моих приключений достоподобным образом объяснены были и на все те вопросы можно было дать искусный и вразумительный ответ по всей правде. Однако ж полковой экзекутор не был столь любопытен, а утомлен походом и сердит; того ради потребовал отвечать ему коротко и без обиняков на то только, о чем спрошено. Сообразно тому я и отвечал так, что ничего доподлинно и толком выразуметь было невозможно, а именно:

На первый вопрос: я, правда, не учился в школе, однако умею читать и писать по-немецки.

На второй: понеже не было у меня никакого другого платья, принужден я был облачиться в дурацкое.

На третий: понеже мне прискучило мое дурацкое платье, а мужское не сыскалось.

На четвертый: да, однако ж, не по своей доброй воле туда отправился, а воровать не умею.

На пятый: отечество мое в Шпессерте, а родители мои крестьяне.

На шестой: в Ганау у губернатора и у кроатского полковника, прозываемого Корпес.

На седьмой: у кроатов принужден был я против своей воли научиться стирать, печь хлебы и стряпать, а в Ганау играть на лютне, к чему у меня была большая охота.

Когда мои показания были все записаны, экзекутор сказал: «Как можешь ты отрицать и отнекиваться, что не учился в школе, когда ты, почитаемый всеми за дурня, во время мессы на слова священника: „Domine, pop sum dignis“,¹ также изрек по-латыни, что ему бы не след это говорить, когда он о том наперед знает». «Господин, — отвечивал я, — меня подучили тогда другие люди, уверив, что это слова молитвы, которую творят во время мессы, когда отправляет богослужение наш капеллан». «Так, так, — сказал полковой экзекутор, — я довольно примечаю, что тебе надобно развязать язычок под пыткой». Я помыслил: «Помоги, боже, когда дурацкой голове придется худо».

На другой день рано поутру был прислан нашему профосу приказ от генерал-аудитора наблюдать за мной хорошенько, ибо он был намерен, как только армии станут лагерем, допросить меня сам, при каком случае, нет сомнения, не миновать мне пытки, ежели богу не будет угодно расположить все иначе. В этом тюремном заточении я непрестанно вспоминал о священнике в Ганау и о покойном старом Херцбрудере, ибо они оба предсказывали, что со мною станет, когда я скину свою дурацкую личину. Я размышлял также, сколь трудно и невозможно бедной девице во время войны соблюсти и сохранить неповрежденным свое девство.

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ГЛАВА

*Симплициус спасся в сумятице битвы,
Видит, как профос убит без молитвы.*

Тем же вечером, едва мы расположились лагерем, отвели меня к генерал-аудитору; перед ним лежали мои показания, а рядом был письменный прибор; и мне был учинен строжайший допрос; я же, напротив, поведал о своих делах, как они и впрямь велись. Однако ж мне не было веры, и

генерал-аудитор не мог решить, кто же тут — дурень или прожженный злодей, ибо вопросы и ответы так складно подходили друг к другу, а все дело само по себе представлялось весьма замысловатым. Он велел мне взять перо и писать, дабы убедиться, что я сие умею, а также разведать, не известен ли мой почерк и нельзя ли будет, судя по нему, что-либо открыть. Я схватил перо и бумагу столь искусно, как если бы в том каждодневные упражнения имел, спросив, что же мне надлежит писать. Генерал-аудитор (который был в превеликой досаде, быть может, оттого, что мой экзамен затянулся до глубокой ночи) ответил: «Ну, пиши: твоя мать потаскуха!» Я в точности так и написал, а когда сии слова были прочтены, то дело мое обернулось хуже, ибо генерал-аудитор сказал: теперь-то он уразумел, что я за птица! Он спросил профоса, был ли учинен обыск и не нашли ли при мне каких подозрительных бумаг. Профос отвечал: «Нет! Чего его обыскивать, когда начальник караула доставил его нам нагишом!». Но, ах! Сие не помогло; профос принужден был меня осмотреть в присутствии всех, а когда произвел то с прилежанием, то — о, злополучие! — сыскал оба ослиных уха с зашитыми в них дукатами, обвязанные вокруг моих рук. А сие значило: «Какие надобны нам еще доказательства? Этот предатель, нет сомнения, подослан учинить превеликую плутню; ибо иначе чего ради разумный залезет в дурацкое платье или мужчина притворит себя женщиною! Что разумелось тут еще, с каким намерением снабдили его столь знатной суммой денег, как не затем, чтобы произвести что-либо ужасное? Разве не признался он сам, что у губернатора Ганау, наипродувного солдата во всем свете, он обучился играть на лютне? Рассудите господа, в каких еще хитростных переделках мог наостриться он у этого лукавца? Скорая ему дорожка отправиться завтра на пытку, как он того и заслужил, да поспешить к огоньку, понеже он и без того обретался среди чародеев и ничего лучшего не достоин». Каково было тогда у меня на душе, каждый с легкостью вообразить себе может; правда, я знал о своей невинности и твердо уповал на бога, однако ж видел предстоящую мне опасность и оплакивал потерю красивых дукатов, которые генерал-аудитор засунул к себе в карман.

Но, прежде чем сия строгая процедура была надо мной произведена, на наших навалилось войско Банера; поначалу сражались обе армии за выгодные позиции, а там уже дело пошло из-за больших пушек и мортир, которые наша армия разом все потеряла. Правда, наш нежный и так славно умевший вилять хвостом господин профос вместе со своими стражниками и узниками держался далеко от главной баталии, однако ж мы были столь близко от нашей бригады, что могли узнать каждого по платью, даже со стороны спины, и когда шведский эскадрон схватился с нашими, то и мы вместе со сражающимися находились в смертельной опасности, ибо во мгновение ока воздух наполнился поющими пулями, так что мнилось, что в честь нас произведен салют, отчего сгорбились бо-

язливые, как если бы хотели спрятаться в самих себя; те же, кто обладал храбростью и чаще бывал в подобных переделках, пропустили пули пролетать мимо, не мертвевя лицом. Однако ж в самой схватке каждый старался предупредить смерть, зарубив первого, кто на него покушается. Прежестокая пальба, стук щитов, треск копий, вопли раненых и нападающих вместе с трубными звуками, барабанным боем и свистом производили ужасную музыку! Тогда ничего не было видно, кроме густого дыма и пыли, как если бы хотели они прикрыть всю скаредную мерзость ран и мертвецов. Посреди сего слышимы были жалостные стенания умирающих и веселые крики тех, кто еще бился со всею храбростию; казалось, что и лошади, чем долее, тем со все большей горячностью защищают своих всадников; столь ярились они, исполняя все то, к чему их понуждали. Некоторые рушились мертвыми под своими господами, приняв неповинно множество ран за свою верную службу; другие по той же причине падали на своих всадников и таким образом через смерть удостаивались чести взгромоздиться на тех, кто взгромоздался на них в течение всей их жизни. Иные же, освободившись от мужественной ноши, коя ими командовала, оставляли людей, предающихся неистовству и ярости, вырывались от них и искали в открытом поле свою прежнюю свободу. Земля, у которой в обычае покрывать мертвых, тогда сама была покрыта мертвыми телами, кои все лежали на свой лад: головы, потерявшие своих природных хозяев, и, напротив того, тела, коим недоставало голов; у иных же прежалостным и ужасающим образом вывалились внутренности, а у иных разможены черепа, так что и мозги разбрызгало. Там можно было видеть безжизненные тела, лишенные всей собственной крови, и, напротив, живых, облитых чужою кровию. Там лежали оторванные руки, на коих еще шевелились пальцы, как если бы они все еще хотели участвовать в схватке; напротив того, молодцы, которые еще не пролили ни капли крови, давали стрекача. Там валялись отделенные от тела бедра, кои, будучи освобождены от тяжести туловища, которое они поддерживали, были, однако ж, тяжелее, чем прежде. Там можно было видеть изувеченных солдат, просивших уско- рить им смерть, невзирая на то что они и так были к ней близки; напротив того, находились другие, которые молили о пощаде и даровании жизни. *Summa summarum*¹ сие было не что иное, как прежалостное и прежалкое зрелище! Победоносные шведы погнали наше разбитое войско с того места, где оно столь злополучно сражалось, после того как его разъединили и скорым преследованием совершенно рассеяли, при каковых обстоятельствах наш господин профос со своими узниками также обратился в бегство, хотя мы со всем тем, чем располагали для своей защиты, не могли навлечь на себя неприязнь победителей; меж тем, как профос, угрожая смерти, понуждал нас удирать вместе с ним, прискакал молодой Херцбрудер с еще пятью всадниками и приветствовал его выстрелом из пистолета: «Гляди ж, старый пес! — воскликнул он. — Разве не самое

время тебе еще наплодить щенят? Вот я тебе воздам за труды!». Однако ж выстрел столь же мало повредил профосу, как стальной наковальне. «Ах, вот ты какого разбора? — сказал Херцбрудер. — Ну, я не зря и не для твоей потехи сюда явился; ты, собачий сын, должен будешь умереть, даже если твоя душа к тебе приросла», понудив вслед затем одного мушкетера из стражи, сопровождавшей профоса, чтобы он, коли хочет получить пощаду, зарубил его топором. Итак, профос получил по заслугам; я же, едва Херцбрудер меня признал и освободил от уз и цепей, тотчас был посажен на его лошадь и отправлен вместе с его слугой в безопасное место.

ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ ГЛАВА

*Симплициус зрит: победой увлечен,
Херцбрудер и сам попадает в полон.*

В то время как слуга моего избавителя увозил меня от дальнейшей опасности, господин его, напротив, был столь увлечен жадной славой и добычи, что, сражаясь, заехал так далеко, что и сам попал в плен. А посему когда победоносные победители делили добычу и погребали своих мертвецов, мой же Херцбрудер нигде не объявился, то его ротмистр получил в наследство в придачу к слуге и лошадям также и меня, после чего я был приставлен на конюшню; он обнадежил, что ежели я буду исправен и приду в совершенный возраст, то поставит он меня рейтаром, а покауда я должен буду все сносить терпеливо.

Вскороности мой ротмистр был произведен в подполковники; я же получил от него должность, какую в старые времена исправлял Давид у Саула, ибо на постое играл я на лютне, а в походе принужден был возить за ним кирасу, что было для меня беспокойным делом. И хотя оружие того, кто его носит, оградить должно от вражеских козней, однако ж со мною приключилось противное, ибо меня мои же молодчики, коих я взрастил, тем усерднее донимали под его покровом. Тут-то и пойдет у них беготня, забавы да потехи без всякой помехи, словно я носил латы не для своей, а для их защиты, ибо я не мог пустить в ход руки, чтобы внести среди них смятение. Солдатская песенка на старинный лад к сему как раз подошла, вот она:

*Затяну я песенку для солдатских ушей,
У меня по левому плечу ползет тыща вшей,
По правому того боле,
А на спине целое войско вышло в поле!*

Я беспрестанно ломал голову над стратагемой, как мне истребить эту великую армаду; но у меня не было ни времени, ни удобного для сего

случая прибегнуть к огню (как то производят в жарких печах), к воде или к яду (ибо я отлично знал, что к тому пригодна ртуть), дабы их перевести; тем менее располагал я каким-либо средством раздобыть себе другое платье или рубаху и был принужден таскаться со всем этим воинством, отдав ему на милость свою плоть и кровь. И как они меня под латами томили и точили, то извлек я пистолет, будто вознамерился затеять с ними перестрелку, однако ж взял только шомпол и совал его под панцирь, дабы отогнать от брашна. Напоследок изобрел я такую уловку: обертывал шомпол в лоскуток меха и прилаживал к нему еще красивую мелкую сеточку; и когда я такую удочку для вшей спускал за панцирь, то всякий раз вылавливал их из тихой заводи целыми дюжинами; среди них попадали в плен и весьма жирные знатные персоны, с коими я, впрочем, обращался, как с простолюдными, и сбрасывал их с коня долой; жаль только, что это мало пособляло.

Однажды мой подполковник был отправлен с надежным отрядом в разъезд по Вестфалии, и когда бы у него в отряде было столько рейтаров, сколько у меня вшей, он устранил бы весь свет; но, понеже сего не было, он был принужден продвигаться с большой осторожностью и хорониться в Геммер-Марке, как прозывают лес между Гаммом¹ и Зустом.² Вот когда мне пришлось от моих минеров и вовсе худо; они мучили меня и вели подкопы столь жестоко, что я был в опасении, не собираются ли они расположить свои ложементы между моей шкурой и мясом. Не диво, что жители Бразилии, ярясь от гнева и жажды мести, пожирают вшей, когда они их так допекают! Однажды, уверившись, что долее не в силах сносить толикую муку, отошел я, когда из рейтаров кто чистил коней, кто спал, а кто был на карауле, немного в сторону под дерево, чтобы зачать битву с моими врагами. На сей случай снял я с себя латы, невзирая на то что иные надевают их, готовясь к сражению, и тут учинил я такое побоище и смертоубийство, что оба меча на больших пальцах³ были залиты кровью и увешаны мертвыми телами или, лучше сказать, кожурами; тех же, кого я не пожелал умертвить, оставил в нужде и крайности делать променад под деревом. Тут помыслил я о второй строфе старинной песенки, что мне довелось слышать:

Повел я тут битву — с ногтей кровь не смоешь.
Рекла вошь другой: «Себя от смерти не скроешь!».
Кабы не вышла смертушка в поле,
Гуляло б войско по своей воле.

Как только взойдет мне на ум сия строфа, у меня начинает почесываться вся шкура, как если бы я все еще находился в самом разгаре того сражения. Я, правда, думаю, что мне не следовало бы столь жестоко казнить свою собственную кровь, подобно царю Ироду, особливо же своих верных слуг, которые вместе со мной пошли бы на виселицу и подверглись

четвертованию, да еще служили вместо мягкой перины, когда мне доводилось почивать в чистом поле на голой земле. Я так свирепствовал, словно жестокосердный тиран, что и не приметил, как имперские всадники сцапали моего подполковника, а затем добрались и до меня, ужаснув бедных моих вошек, а самого меня забрав в плен; ибо их нимало не устршило мое мужество, с коим я незадолго перед тем уложил тысячи, превзойдя тем храброго портняжку,⁴ побившего семерых одним махом. Я достался одному драгуну, и самая большая добыча, захваченная у меня, была кираса моего подполковника, которую драгун прелобополучно продал коменданту в Зусте, где они стояли на квартирах. Итак, во время этой войны у меня сменился шестой господин, ибо я должен был стать его отроком.⁵

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

*Симплиций толкует тут о солдате,
Как в Парадиз¹ затесался он кстати.*

Наша хозяйка вовсе того не желала, чтобы я захватил весь ее дом под построй моим молодчикам, так что она принуждена была меня от них избавить, и она без дальних околичностей сунула мою одежку в горячую печь, да и выжгла их так-то чистенько, ровно старую трубку, после чего зажил я без сих насекомых, словно в розариуме; да никто и вообразить не может, какое я получил облегчение, избыв муку, кою претерпевал несколько месяцев, словно сидючи посреди муравейника. Но тут достался на мою долю новый крест, ибо господин мой принадлежал к числу тех солдат, которые надеялись живыми попасть на небо, и положил за правило неотменно довольствоваться только своим жалованьем и больше ни о ком не печалиться; все его благополучие зиждилось на том, что он заслужит на караулах да накопит от своего еженедельного жалованья. И хотя оно было весьма мизерно, он трясся над ним, как иной над восточным жемчугом; каждый бломайзер² зашивал он в полу своего платья, а дабы он мог накупердяйничать себе малую толику, должны были ему в том пособлять я и его бедная лошадь. Посему привелось мне ломать зубы о черствый ржаной хлеб, запивать его водою, а ежели посчастливится, пробавляться жиденским пивом, что мне было не по нутру, понеже сухой черный хлеб драг мне глотку, и я сильно спал с тела, так что и вовсе отошал. А когда мне хотелось пожрать получше, принужден я был поворовывать, да только с приличествующей сему скромностью, дабы он о том не проведал. Ради него не завели бы виселицу, палачей, ослиное седло,³ тюремщиков и ци-

рюльников, а также не было бы маркитантов и барабанщиков, что выбивают зарю на барабанах, ибо всем своим житием удалялся он от обжорства, пьянства, игры и всяческих дуэлей. Когда же его отправляли куда-нибудь в конвой, разведку или еще какой разъезжий отряд, он волочился за ним, как старая баба с клюкой. Также сдается мне несомненно, что ежели бы сей добрый драгун не обладал столь геройскими воинскими доблестями, то я и не достался бы ему в плен, ибо он не обратил бы внимания на обовшивившего мальчишку, а погнался бы за моим подполковником. Я не мог разжиться у него какой-либо одежкой, ибо и сам-то он ходил совсем оборванный, почитай, не лучше моего отшельника. Седло его и вся сбруя едва ли стоили больше трех монеток с медведем,⁴ а лошадь такая утлая, что ни швед, ни гессенец не мог страшиться ее погони.

Все сие побудило нашего полковника отправить его в Парадиз, как прозывался женский монастырь, нести там сторожевую службу, правда, не столько ради того, что в том была нужда, сколько затем, чтобы он мог нагулять себе жирок и произвести изрядную экипировку, особливо же потому, что монахини просили отрядить к ним воина благочестивого, добросовестного и кроткого. Итак, он потрусил туда верхом, а я поплелся рядом, ибо на беду у него была всего одна лошадь. «Черт побери! Симп-рехт!⁵ (ибо он никак не мог упомнить имя Симплициус). Попадем в Парадиз, вот уж где отожремся!». Я отвечал: «В названии добрый знак. Пошли-то, боже, чтобы сие местечко было с ним схоже. Амен». «Вестимо, — сказал он (ибо толком не уразумел моих слов), — коли мы каждый день тамо выдуем по два ама хорошего пива, то нас от него не отвадишь! Только веди себя хорошо, я решил вскорости справить себе изрядный новый плащ, тогда получишь мой старый, из него выйдет тебе порядочная одежка». Он по праву назвал его старым, ибо, я полагаю, что сей плащ помнил еще битву при Павии,⁶ так он весь обтрепался и повылинял, что тем посулом я был мало обрадован.

Парадиз и впрямь оказался таким, как мы его себе намечтали, и даже того более; вместо ангелов были там прекрасные девы, так потчивавшие нас различными явствами и питиями, что я вскорости снова наел себе гладкую рожу; ибо там ставили на стол добрейшее пиво, наилучшую вестфальскую ветчину и копченую колбасу, вкусное и весьма нежное мясо, которое варили в соленой воде и подавали холодным. Там научился я намазывать на черный хлеб соленое масло в палец толщиной, да еще поверху накладывать сыр, дабы все лучше проходило в глотку; а когда я добирался до бараньего окорока, нашпигованного луком, да еще рядышком стояла кружка крепкого пива, то мое тело и моя душа испытывали такое блаженство, что я позабывал все перенесенные мною напасти. Одним словом, сей Парадиз пришелся мне по нраву, как если бы он был доподлинным раем; у меня не было иной заботы, кроме того, что я знал, что это

не будет длиться вечно и что я принужден ходить в отрепье, лоскутах и лохмотьях.

Но подобно тому как раньше беды и напасти наваливались на меня всем скопом, то и возмнилось мне, что теперь решила вступить в игру сама Фортуна. Ибо когда мой господин послал меня в Зуст доставить все его пожитки, то по дороге я нашел сверток, а в нем добрый отрез шарлаху на плащ, да еще красный бархат на подбой. Я прихватил находку и поменял в Зусте у суконщика на обыкновенное зеленое сукно на платье вместе со всем прикладом с условием, что он сошьет его на свой счет да еще в придачу даст мне новую шляпу. А так как недоставало мне еще рубахи и башмаков, то отдал я ветошнику серебряные пуговицы и галуны, кои надлежали к плащу, за это он снабдил меня всем, в чем я еще нуждался, и таким образом вырядился я на славу. Итак, воротился я разодетый в Парадиз к своему господину, который рвал и метал, что я не принес ему находку; он даже пригрозил меня высечь и отобрал бы все до нитки (когда бы этого не стыдился и мое платье было бы ему впору), раздел бы меня и сам бы все носил, хотя мне мнилось, что я поступил по праву.

Меж тем сей жалкий скряга и скупердяй принужден был устыдиться, что его слуга одет лучше, чем он сам; того ради поскакал он в Зуст, занял деньги у своего полковника и наилучшим образом экипировал себя, обещав выплатить все из своего еженедельного жалованья за сторожевую службу, что он добросовестно исполнил. Он, правда, и сам располагал для сего достаточными средствами, однако ж был слишком хитер, чтобы выдать себя, ибо стоило только ему так поступить, как он лишился бы теплой берлоги в Парадизе, куда залег на эту зиму, а на его место определили бы какого-нибудь другого голыша. Таким родом принужден был полковник и вовсе его там оставить, ежели желал получить обратно свои ссуженные денежки. С того времени повелась у нас самая разлежебокая жизнь, что ни на есть на свете, когда самой тяжелой у нас работой было сшибать кегли. После того как я, бывало, вычищу, накормлю и напою бегунца своего драгуна, то приступал к дворянскому ремеслу и совершал променады. На сторожевую службу в монастыре был отряжен также и гессенцами, нашими противниками, захватившими Липпштадт,⁷ один мушкетер; сей по своему ремеслу был скорняк, а притом еще не токмо изрядный певец, но и превосходный фехтовальщик; и, дабы не позабыть сего искусства, упражнялся он со мной от скуки каждодневно со всяким оружием, в чем я стал так ловок, что не боялся сразиться с ним, когда он того хотел. Мой драгун вместо фехтования играл с ним в кегли, правда не на что иное, как только на то, кто за столом больше выпьет пива; так что за каждый проигрыш расплачивался монастырь.

Монастырь сей владел собственным угодьем для охоты, а посему при нем находился егерь; и понеже я был одет во все зеленое, то пристал к нему, обучившись той осенью и зимой всем его хитростям, особливо же

тому, что касалось звериной ловли. По этой причине, а также потому, что имя Симплициус было непривычно и простым людям было трудно его упомянуть или выговорить, то всяк звал меня «Егерек». Тут вызнал я все пути и тропы, что мне потом весьма пригодилось. А когда ради худой погоды не бродил я по лесам и полям, то читал без разбору книги, которые давал мне монастырский управляющий. Однако ж, коль скоро благородные монахи узнали, что я, помимо того что обладаю приятным голосом, еще умею играть на лютне и даже на спинете, то стали наблюдать за мною прилежнее, а как сюда еще приспело статное телосложение и взрачное лицо, то по всем манерам, складу, делам и поступкам почитали меня благородным, достолюбезным юношей, соблюдающим во всем пристойность. Таким образом, я ненароком стал любезным дворянчиком, приводившим всех в удивление тем, что обретаюсь в услужении у столь беспутного драгуна.

А покуда я таким образом роскошествовал всю зиму, мой господин был отрешен от должности, каковое отлучение от привольной жизни привело его в такую досаду, что он занемог; а как к сему присоединилась пружестокая лихорадка и открылись старые болячки, нахваганные им за всю его походную жизнь, то все сие скоро его свернуло, понеже мне через три недели довелось его хоронить. Я сочинил ему такую эпитафию:

Здесь скряга погребен, прехрабрейший солдат,
Он кровь не проливал, но выпивке был рад.

По праву и обычаю коня и оружие должен был наследовать полковник, а остальные пожитки фендрик; но как я уже довольно подрес, был крепким малым, который со временем сумеет за себя постоять, то и предложили мне все отдать, когда я запишусь в солдаты заместо покойного господина. Я тем охотнее согласился, ибо знал, что мой драгун зашил в старых штанах порядочно дукатов, которые он наскреб за всю жизнь; и когда я дал привести дело к такому окончанию, назвал свое имя, а именно Симплиций Симплициссимус, а полковой писарь (которого звали Кирияк) никак не мог его написать по всем правилам орфографии, то и воскликнул: «Ни у одного дьявола в преисподней нет такого имечка!». И как я его проворно спросил, а нет ли в аду такого, какой бы звался Кирияк, а тот не нашелся, что ответить, хотя и корчил умника, то сие так понравилось моему полковнику, что он поначалу составил обо мне высокое мнение и получил добрую надежду увидеть в будущем примеры моей доблести.

ТРИДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций был егерем, ан солдатом стал,
Солдатскую жизнь дотошно узнал.*

Понеже у коменданта в Зусте на конюшне не доставало конюха, а я, как мнилось ему, к сему был пригоден, то было ему не по сердцу, что я стал солдатом, и он пытался меня все еще удержать, выставляя предлогом мою юность и не желая допустить, чтобы меня признали совершеннолетним. И когда все это выговорил он моему господину, то послал за мной и сказал: «Послушай, егерек, ты должен поступить ко мне в услужение». Я же спросил, в чем будет состоять моя должность? Он же отвечивал: «Ты должен будешь водить лошадей на водопой». «Господин, — сказал я, — мы не сойдемся: по мне так лучше иметь господина, у которого на службе будут лошадей водить за мною; а коли я не могу приобрести такого, так уж лучше останусь солдатом». Он сказал: «У тебя еще борода не выросла!». «Ан, нет! — отвечал я. — Берусь поспорить со стариком, которому минуло восемьдесят лет, борода выросла, ума не вынесла, а не то бы козлы в превеликом у всех были решпекте». Он же сказал: «Когда твоя храбрость не уступает похвальбе, я не буду противиться твоей апробации». Я же отвечал: «Сие можно будет испытать в первой же стычке», и дал ему тем уразуметь, что не намерен дозволить употребить себя на конюшне. Итак, он оставил меня в прежнем положении, сказав, что дело мастера боится и вскорости будет видно, совершу ли я что-либо, как о том возомнил.

Засим вытащил я старые штаны, оставшиеся после драгуна, и произвел над ними анатомию, извлеки из их внутренностей добрую солдатскую лошадь и самое лучшее оружие, какое только мог достать, так что все у меня блестело, как зеркало. Я снова приоделся во все зеленое, ибо прозвание «егерь» мне весьма полюбилось, а старое платье, из коего я вырос, отдал своему отроку. Итак, разъезжал я повсюду, как заправский молодой дворянин, да и впрямь возмечтал, что я не лыком шит. Я был столь дерзок, что украсил свою шляпу диковинным султаном из перьев, словно офицер; а посему скоро приобрел недоброхотов и завистников, с которыми у меня доходило до весьма чувствительных слов, а под конец и до затрещин. Однако ж стоило мне показать одному, другому, чему я научился у скорняка в Парадизе и что я привык возвращать удары, какие они мне отсчитывали, то меня не только все оставили в покое, но еще каждый стал искать моего расположения. А сверх того меня можно было отрядить на рекогносцировку равно конным или пешим, ибо я одинаково хорошо сидел в седле и был скор на ноги, как никто; а когда дело доходило до схватки с неприятелем, я бросался туда, как черт в прорубь, и всегда хотел быть впереди всех. Посему стал я через короткое время

известен друзьям и врагам и столь знаменит, что те и другие были обо мне весьма высокого мнения, ибо мне стали поручать самые опасные предприятия, на какой конец мне доверяли командовать целыми отрядами. Тут принялся я грабить, как богемец, а когда подцеплю что-либо стоящее, то уделял своим офицерам на их долю столь жирный кусок, что мог заниматься оным ремеслом даже там, где это было запрещено строго-на-строго, ибо мне везде была потачка. Генерал граф фон Гёц¹ оставил в Вестфалии три неприятельских гарнизона, а именно: в Дорстене,² в Липпштадте и Косфельде;³ им был я весьма докучлив, ибо, почитай, каждый день появлялся с небольшим отрядом у них под самыми воротами и захватывал изрядную добычу; а как мне всегда все счастливо сходило с рук, то разнесся слух, будто я могу становиться невидимкой и столь неуязвим, как железо и сталь. Посему меня боялись, как чумы, так что и тридцать человек неприятелей не стыдилось обратиться в бегство, когда я появлялся поблизости всего с каким-нибудь полуторадесятком. Напоследок дело дошло до того, что где только ни понадобится наложить контрибуцию или стребовать ее с мешкотных контрибуентов через рискованную военную экзекуцию, то все сие возлагалось на меня. Оттого мой кошелек стал столь же увесист, как и моя репутация; все мои офицеры и камрады любили Егеря; самые отчаянные разьезды противника ужасались; местные жители милостью и страхом были привлечены на мою сторону, ибо я умел наказывать строптивых и щедро вознаграждать тех, кто оказал мне хотя бы наималейшую услугу, так что едва не половину своей добычи вновь раздавал или тратил на своих соглядатаев. По этой-то причине ни один разьезд, ни один конвой, ни одна вылазка противника не могли проскользнуть мимо, чтоб меня не известили; тогда разгадывал я их намерения и сообразно сему располагал свои предприятия, и как мне в том почти всегда сопутствовало счастье, то всяк дивился моей юности, так что даже многие офицеры и храбрые солдаты противника только и желали меня повидать. Притом оказывал я моим пленникам всяческое благоволение, так что нередко их содержание обходилось мне дороже, нежели вся моя добыча; и когда я мог своему противнику, особливо же офицерам, даже если их не знал вовсе, показать свое вежество, я не упускал к тому случая, если то можно было учинить, не нарушая воинского долга и службы.

При таком поведении я неотменно был бы вскорости произведен в офицеры, когда б не препятствовала тому моя юность; ибо тот, кто в таком возрасте, как у меня, домогался получить прапорец, должен был по крайности принадлежать к дворянскому роду; к тому же мой полковник не мог произвести меня, ибо в полку у него не было надлежащей вакансии, а уступить меня кому-нибудь другому — значило потерять не одну дюнную корову; однако ж я был объявлен Освобожденным от караульной службы. Сия честь, что я был предпочтен иным старым солдатам, хотя и

была сама по себе ничтожна, а также похвалы, кои мне каждодневно рачтчали, действовали на меня, подобно шпорам, побуждая стремиться к еще большим подвигам. День и ночь я ломал голову, что бы такое мне учинить, дабы еще более себя возвеличить, прославить и привести всех в удивление; так что от таких дурацких умствований частенько не мог даже уснуть. И понеже видел я, что мне недостает случая показать на деле, сколь велико мое мужество, то сокрушался, что не каждый день доставляет мне повод сразиться с неприятелем. Я часто мечтал для себя о Троянской войне или осаде Остенде,⁴ и я, дурень, не помышлял о том, что повадятся кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить. Однако ж все идет своим чередом, а не иначе, когда молодой безрассудный солдат наделен деньгами, счастьем и храбростью; ибо следом за ними приходит кичливость и чванство, и ради такой спеси держал я при себе заместо одного отрока двух конюхов, коих изрядно приодел и снабдил лошадьми, чем навлек на себя зависть всех офицеров, с превеликим неудовольствием взиравших на то, что они по недостатку мужества не могли приобрести сами.

ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

Симплиций толкует, как дьявол сало

Скрал у попа и что потом стало.

Должен я поведать одну или несколько историй о том, что иногда со мною приключалось до того, как я покинул драгун; и хотя сии повести не столь уж авантажны, все же будет весело их послушать, ибо я не только совершал великие дела, но не пренебрегал и малыми, ежели мог предположить, что они возбудят в людях удивление и послужат к моей славе. Однажды мой полковник был отряжен примерно с полусотней пехотинцев к крепости Реклингузен¹ для исполнения некоего предприятия; и понеже мы полагали, что, прежде чем мы сие дело произведем, придется нам денек, а то и более хорониться в лесной чаще, то каждый из нас взял с собой на восемь дней провианту. Но как богатый караван, который мы подстерегали, к назначенному сроку не явился, то у нас вышел весь хлеб, который мы не могли достать реквизицией, дабы не выдать себя и не погубить тем замышленного предприятия; посему нас жестоко томил голод. Также и у меня не было здесь, как в иных местах, верных людей, которые могли бы что-нибудь доставить нам тайно; по такой причине принуждены мы были промыслить себе провиант другим манером, когда не хотели воротиться с пустыми руками. Мой камрад, латынщик-подмастерье, лишь недавно удравший из школы и завербовавшийся в солдаты, пона-

прасну вздыхал по ячменной похлебке, какую варили ему в родительском доме, он же ее презрел и покинул; и как он раздумывал о былых кушаньях, то вспомнил и свою школьную суму, не разлучаясь с коей, он был сытехонек. «Ах, брат, — сказал он мне, — не стыд ли мне будет, что я не настолько понаторел в разных премудростях, посредством коих мог бы прокормить себя в теперешних обстоятельствах? Братец! Я знаю tevega,² когда бы мог я пробраться к попику вон в той деревне, то можно было бы у него учинить изрядный *convivium*».³ Я поразмыслил малость над его словами и прикинул, в каком мы находимся положении, и понеже те, кому ведомы все пути и тропы, не могут высунуть носа, чтоб их не признали, а те, кто незнакомы, не располагают случаем что-нибудь тайно промыслить или купить, то я и расположил весь свой умысел в надежде на этого студента, доложив сие дельце полковнику. И хотя наличествовала помянутая опасность, однако ж его доверенность ко мне была столь велика, а наши дела обернулись столь худо, то и склонился он к моему плану и, несколько помедлив, дал соизволение.

Я поменялся платьем с одним из наших и потащился вместе со студентом в сказанную деревню далеким кружным путем, хотя до нее было рукой подать. Когда мы туда пришли, то, завидев ближайший дом к церкви, решились, что в нем обитает священник, ибо дом сей был выстроен по-городскому и примыкал к стене, которая шла вокруг всего церковного двора. Я дал студенту инструкцию, что ему надлежит говорить, ибо у него еще сохранилась потрепанная студенческая одежонка; а себя объявил подмастерьем живописца, рассудив, что в деревне не будет мне надобно показывать свое искусство, ибо у мужиков не часто повстречаешь расписные палаты. Духовный отец встретил нас учтиво; а когда мой товарищ засвидетельствовал ему глубочайшее уважение по-латыни, да еще приврал к сему целый короб небылиц, каким-де образом его во время путешествия ограбили солдаты и похитили у него все, что было на пропитание, то он тотчас же сам предложил ему хлеба с маслом и глоток вина; я же притворился, что иду сам по себе, и сказал, что направляюсь в корчму чем-нибудь перекусить, а затем зайду к нему, чтобы еще засветло отмахать добрую часть пути. Итак, я отправился в корчму не столько затем, чтобы утолить голод, сколько поразведать, что тут можно будет раздобыть той же ночью. Дорогой мне посчастливилось приметить мужика, который залеплял глиною печку, а в ней посажены на целые сутки большие ржаные ковриги, дабы хорошенько выпеклись. Я помыслил: «Лепи, лепи! Мы все равно доберемся до этого изрядного провианта». Я не мешкал у корчмаря, ибо и без того знал, где поживиться хлебом. Купил несколько колобашек (как зовут там белый хлеб) для моего полковника, а когда воротился во двор священника напомнить своему камраду, что пора собираться в путь, он уже досыта набил себе зоб и наскзал священнику, что я живописец и направляюсь в Голландию, чтобы привести там свое искусство в полное

совершенство. Священник сему весьма обрадовался и стал просить меня пойти с ним в церковь, где хотел показать мне несколько картин, которые надлежало подправить. Он провел нас через кухню, и когда отпер висячий замок на тяжелой дубовой двери, что вела на церковный двор — о, мігум! о, диво! — тут узрел я под черным небом черным-черно от развешанных лютней, флейт и скрипок — я разумею, конечно, окорока, копченые колбасы и лопатки, подвешенные в камине. Я окинул их умильным взором, ибо мне показалось, что они посмеиваются вместе со мною, и пожелал, но тщетно, чтобы они отправились к моим камрадам в лес; они были столь упрямы, что мне в досаду остались висеть. Тут принялся я обдумывать способ, как бы их присоседить к той печи, что набита хлебом, однако ж не мог ничего измыслить, понеже, как выше было о том поведено, церковный двор был обнесен стеною, а все окна надежно защищены железными решетками; также лежали на дворе два преогромных пса, кои, как я опасался, наверное, не будут спать ночью, когда норовят украсть то, что причитается им самим получить в награду за верное стережение. И вот, когда мы пришли в церковь и стали молоть всякую всячину о картинах и рядиться со священником, который непременно хотел некоторые из них поновить, а я всячески отнекивался под тем предлогом, что мне надобно продолжать свое путешествие, то находившийся тут ризничий или звонарь сказал: «Эй, малый, ты скорее похож на беглого солдата, нежели на подмастерье-живописца». Я хотя и не привык к подобным речам, однако принужден был стерпеть; я только легонько тряхнул головой и отвечал ему: «Эй, малый, подавай сюда да попроворней кисть и краски. Я во мгновение ока намалюю тут дурня, каков ты есть и какой во всем будет с тобою схож и тебе подобен». Священник обратил все сие в шутку, заметив, что не приличествует вступать в пререкания в столь святом месте, а тем дал понять, что он нам верит; дал нам еще пропустить по глотку вина и отпустил идти своим путем. Сердце же мое пребывало там, где висели окорока и колбасы.

Еще до наступления ночи вернулись мы к нашим товарищам, тут я снова одел свое платье и взял оружие, рассказал полковнику о своем замысле и выбрал шестерых молодцов, которые должны были помогать тащить хлеб. Около полуночи пробрались мы в деревню и тихонько вынули ковриги из печи, так как с нами был один малый, который умел укрощать собак; и когда мы проходили мимо церковного двора, то я не мог превозмочь сердца и пойти дальше, не прихватив сала. Я замер, как вкопанный, и прилежно стал наблюдать, нет ли какой возможности обратиться на поповскую кухню, однако ж не приметил другого входа, как только через дымовую трубу, которая должна была стать с сего часа моей дверью. Мы отнесли хлеб и оружие на церковный двор, сложили все это в часовенке, забрали в одном из сараев на дороге лестницу и канат, и так как я умел карабкаться вверх и вниз не хуже любого трубо-

чиста (чему я с юности научился, лазая по высоким деревьям), то я тотчас же сам поднялся на крышу, которая к великому удобству для исполнения моего намерения была в два ряда выложена полными черепицами. Я завязал пучком свои длинные волосы и, взяв конец каната, спустился к любезному мне салу, а там, не долго думая, принялся навязывать на канат окорок за окороком и одну свиную лопатку за другой, что затем добрым порядком выудил на крышу и передал другим, чтобы они отнесли в часовенку. Черт побери, вот невезение! Когда я уже со всем покончил и собрался вылезти наружу, лесенка опрокинулась, и бедняга Симплициус брякнул вниз, и злополучный егерь сам попал, как в мышеловку. Мои камрады, остававшиеся на крыше, спустили мне вниз канат, чтобы меня вытащить, но и он оборвался прежде, чем они меня подняли. Я помыслил: «Ну, егерь, теперь тебе придется выдержать травлю, в которой тебе самому порвут кожу, как некогда Актеону». Тогда священник, пробужденный моим падением, велел кухарке тотчас же зажечь свет. Она вышла ко мне на кухню в одной рубашке, набросив юбку на плечо, и стала так близко от меня, что едва меня не задевала; она взяла уголек и, поднеся светильницу, принялась дуть; я же зачал дуть еще сильнее, чем она сама, отчего сия добрая душа так напугалась, что вся задрожала и затряслась от страха, побросала жар и светильню и ретировалась к своему господину. Итак, получил я передышку, чтобы подумать, каким средством мне отсюда выбраться, однако ж мне ничего на ум не всходило. Мои камрады через дымовую трубу дали мне знать, что они намерены вломиться в дом и меня выручить; я же не дал на то согласия, а велел им сходить за оружием, а на крыше оставить одного Шпрингинсфельда и дожидать, сумею ли я выбраться, не подымая суматохи и шума, дабы все наше предприятие не уничтожилось; а ежели сие произвести не удастся, тогда уж они должны будут употребить все свое старание. Меж тем духовный отец сам зажег свет; кухарка же поведала ему, что на кухне объявился ужасающий призрак о двух головах (ибо она, вероятно, почла пучок моих волос за особливую голову). Я все сие слышал, а потому принялся грязными руками тереть сажей, пеплом и углем себе лицо, так что, нет сомнения, не стал схож с ангелом (как меня прежде называли в Парадизе монахини), а ризничий, когда бы он меня видел, должен был бы признать меня преискусным живописцем. Я учинил на кухне ужасающий стук и грохот, зачав несносно шуметь и греметь, швырять и бросать куда ни попадя кухонную посуду; под руку попался таган, я надел его на шею, а кочережку держал в руках, дабы защитить себя в крайней нужде. Однако все сие не совратило благочестивого попа с пути истинного; ибо он пришел на кухню с целой процессией, в коей приняла участие его кухарка, несшая две восковые свечи и кропильницу со святой водой, висевшую на руке. Сам же он был облачен в стихарь вместе со столою⁴ и вооружен кропилом в одной руке и книгою в другой: по ней-то он и стал меня заклинать, во-

прошая, кто я таков и с какою целью явился. Понеже он почел меня за самого черта, то и я рассудил, что будет вполне пристойно, ежели и я поведу себя, как взаврадошный черт, и пособлю еще тому ложью; того ради ответил ему: «Аз есмь черт и намерен тебе и твоей кухарке свернуть шею!». Он же продолжал свои экзерциции и объявил мне, что я ни ему, ни его кухарке ничего худого учинить не волен, и заклил меня наисильнейшими заклятиями отправиться туда, откуда я пришел. Я же отвечал ужасающим голосом, что сие невозможно, хотя я сам того желаю. Между тем Шпрингинсфельд, который был прожженным плутом и не разумел полатыни, учинил на крыше диковинный spectaculum, ибо слышал, какая кутерьма поднялась на кухне и что я выдаю себя за черта, каковым почитает меня и духовная особа, а посему заухал, как сова, залаял, как собака, заржал, как лошадь, заблеял, как козел, закричал, как осел, а затем то примется визжать, как спарившиеся мартовские кошки, а то захочет, как курица перед тем как снести яйцо, ибо сей молодец умел подражать голосам всех животных и, когда того хотел, мог так натурально выть, как если бы тут собралась целая стая волков. Сие повергло священника и его кухарку в немалый страх, мне же было совестно, что меня заклиняют, как черта, за какового он меня и впрямь принимал, ибо где-то вычитал или услышал, что черти охотнее всего являются в зеленом платье.⁵

Посреди таких обоюдных страхов, которым особливо предавалась бедная кухарка, я на свое счастье заметил, что дверь, которая вела на церковный двор, не была заперта на задвижку. Я проворно отодвинул ее, проскользнул за дверь на церковный двор (где все мои товарищи встретили меня, разинув рот), предоставив попу, сколько ему вздумается, заклинять черта. А когда Шпрингинсфельд принес шляпу, которую я оставил на крыше, и мы набили мешки провиантом, то отправились к себе в лес, ибо в деревне нам больше нечего было делать, после того как мы потихоньку положили на место позаимствованную лестницу и веревку.

Весь отряд подкрепился тем, что было нами украдено, и никто после ни разу не пикнул — столь благословенные мы были люди! Также вдоволь посмеялись все моей проделке; только студенту не понравилось, что обокрали попа, который дал ему кус на солдатский вкус; и он даже с великою божбою уверял, что охотно бы заплатил ему за это сало, когда бы у него только были под рукой деньги, а притом уписывал за обе щеки, как если бы взял на то подряд. Итак, залегли мы еще на два дня в том же месте и дожидались тех, кого мы уже так долго подстерегали. Мы не потеряли в схватке ни единого человека, тогда как захватили более тридцати пленных и такую обильную добычу, какую мне еще не доводилось видеть на дележке. Мне за мою храбрость и доброе поведение положили двойную долю, понеже я употребил все свое старание: то были три пре-

восходных фризландских жеребца, навьюченных различным купеческим товаром, какой только можно скоро увезти; и когда б у нас было довольно времени хорошенько пошарить добычу и надежно ухоронить ее, то каждый получил бы на свою долю немалое богатство, ибо мы больше побросали, нежели взяли с собою, понеже принуждены были со всем тем, что сумели захватить с превеликою поспешностию, оттуда убраться; итак, ретировались мы ради большей безопасности в Ренен, где подкрепились и поделили добычу, ибо там стояли наши, хотя это и не было нам по пути. Тут снова вспомнил я о попе, у коего похитил сало. Читатель может рассудить, какая отчаянная, дерзновенная и тщеславная была у меня голова, ежели мне было не довольно обокрасть и столь жестоко напугать благочестивого священника, а я еще вознамерился приобрести тем себе честь и славу. Того ради выбрал я золотое кольцо с сапфиром, что недавно подцепил вместе с другою добычею, и отослал из Ренена с неким посыльным помянутому священнику со следующим письмецом:

«Ваше преподобие! Когда бы на сих днях в лесу было у меня вдосталь провианта, то и не было бы у меня причины покрасть у Ваш. препод. сало, чрез что, чаятельно, Вы были весьма напуганы. Свидетельствую перед Вышним, что Вы претерпели толикий страх противу моей воли, того ради надеюсь тем скорее заслужить прощение. Что же касемо до самого сала, то по справедливости надлежит за него заплатить, посему посылаю вместо уплаты настоящее кольцо, кое отдано теми, по чьей милости и были взяты товары, с прилежною просьбою к Его преподобию соблаговолить тем себя удовольствовать; заверяя при сем, что в прочем при всех обстоятельствах найдет готового к услугам и верного слугу в том, кого его ризничий не почел живописцем и кого в остальном называют

Егерь».

Мужику же, у коего я опустошил пекарню, отряд послал 16 рейхс-талеров из общей добычи в уплату за его караван; ибо я наставлял их, что таким образом они привлекут на свою сторону крестьянина, который частенько может выручить отряд из всякой беды или, напротив, предать, продать и выдать головой. Из Ренена держали мы путь на Мюнстер, а оттуда на Гамм, а затем домой в Зуст на наши квартиры, где я по прошествии нескольких дней получил от священника ответ, который гласил:

«Благородный Егерь! Когда бы тому, у кого Вы похитили сало, было ведомо, что Вы явитесь к нему в образе черта, то не испытывал бы он столь частого желания повидать прославленного егеря. Но понеже взятые на веру мясо и хлеб оплачены с излишней щедростию, тем легче

будет избыть претерпенный страх, особливо же как он был причинен столь знаменитою особою противу ее воли, чем всеконечно получает прощение с просьбою обращаться всякий раз без боязни к тому, кто не побоялся заковать самого черта. Vale!».

Так поступал я повсюду, через что и приобрел великую славу, и, чем больше я раздавал и награждал, тем бóльшая ко мне притекала добыча, так что я полагал, что сие кольцо, хотя оно и стоило примерно 100 талеров, было употреблено с пользою. Однако ж на сем кончается вторая книга.



КНИГА ТРЕТЬЯ

- 1-я гл. Симплиций, егерь, повсюду рыщет,
Берет с избытком, чего не сыщет.
- 2-я гл. Симплиций, как егерем в Зусте был,
Лжеегеря здорово проучил.
- 3-я гл. Симплиций Юпитера в плен берет,
О гневе богов от него узнает.
- 4-я гл. Симплиций внемлет — Юпитер глаголет:
Немецкий Герой весь мир приневолит.
- 5-я гл. Симплиций внемлет: не ведая меры,
Немецкий Герой поравняет все веры.
- 6-я гл. Симплициус зрит, что блохи учинили —
Юпитера тело до костей источили.
- 7-я гл. Симплиций, егерь, себе добыл дичи,
В Зуст воротился и рад добыче.
- 8-я гл. Симплиций арапа обрел в конуре,
Думал — сам черт укрылся в ларе.
- 9-я гл. Симплиций в неравном хитрит поединке
И наглого рейтара бьет без заминки.
- 10-я гл. Симплиций подстроил в осаде мороку,
Да вышло ему от сего мало проку.
- 11-я гл. Симплиций, не ведая, в чем тут утеха,
Заводит амуры скорее для смеха.
- 12-я гл. Симплиций находит в погребе клад,
Что некогда был колдуном заклят.

- 13-я гл. Симплиций страшится покражи денег,
Не хочет остаться без них худенек.
- 14-я гл. Симплициус, егерь, в плен снова захвачен,
Но не дает он себя околпачить.
- 15-я гл. Симплиция шведы на волю пустили,
Споначалу о том его думы и были.
- 16-я гл. Симплиций решил, что с Фортуной сдружился,
Не успел оглянуться, опять оступился.
- 17-я гл. Симплиций раскинул умом и смекалкой,
Снова свел шашни со старой гадалкой.
- 18-я гл. Симплиций пустился в отчаянный блуд,
А девки стадами к нему так и льнут.
- 19-я гл. Симплиций заводит бесчисленных друзей,
Но слышит укоры он дружбе сей.
- 20-я гл. Симплиций попу насказал всяких врак,
А сам потихоньку смеется в кулак.
- 21-я гл. Симплиций торчит под окошком светлицы,
В ловушку попал из-за этой девицы.
- 22-я гл. Симплиций болтает о свадьбе своей,
Каких ни назвал на нее он гостей.
- 23-я гл. Симплиций, женившись, решает дельно
Деньги забрать, что положены в Кельне.
- 24-я гл. Симплициус ловит зайца на рынке,
Домой отсылает в хозяйской корзинке.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

*Симплиций, егерь, повсюду рыщет,
Берет с избытком, чего не сыщет.*

Благосклонный читатель из предшествовавшей книги вполне заключить мог, сколь честолюбив был я в Зусте и что я снискивал и находил себе честь, славу и благоволение такими поступками, кои всякому иному принесли бы наказание. Теперь же намерен я поведать, как я продолжал чинить всяческие безрассудства, чрез что жил в непрестанной опасности получить увечье или лишиться жизни. Я был (как уже о том упомянуто) столь одержим погонею за славой и почетом, что лишился от этого сна; и когда мне сие втемяшится и я ночь напролет проведу, размышляя всякие уловки и хитрости, всходили мне на ум диковинные затеи. Таким образом изобрел я особого рода башмаки, которые можно было надевать задом наперед, так что каблуки приходились на место пальцев. Сих велел я нашить на свои протори тридцать пар различной величины, и когда я роздал их своим молодцам и отправился с ними в разъезд, то было невозможно нас выследить; ибо мы обували то эти, то настоящие башмаки, а другие носили в ранцах; и когда кто-либо попадал на то место, где я приказывал переменить башмаки, то по следам можно было увидеть не иначе, как если бы там повстречались два отряда, которые потом вместе исчезли. А когда я оставался при новосшитых башмаках, то можно было подумать, что я только что отправился туда, где я уже был, или что я пришел оттуда, куда я еще направляюсь. А так как и без того мои пути, коль скоро доходило до следов, были еще более запутаны, нежели в каком-нибудь лабиринте, так что тем, кому надлежало бы дознаться обо мне по следам или же настичь, никак невозможно было меня поймать и залучить в свои сети, то частенько находился я в самой малой близости от противника, который полагал, что меня надо искать где-либо далеко.

а еще чаще за много миль пути от того перелеска, который они со всех сторон окружили и насквозь изъездили, чтобы меня изловить. И, подобно тому как поступал я с пешим отрядом, также я учинял, и когда выезжал верхом; ибо мне было не в диковинку на распутье или перекрестке невзначай приказать спешиться и перековать задом наперед лошадей. А что до простых уловок, которые употребляют, когда хотят, чтобы о слабом отряде по следам заключили, как о сильном, или о многочисленном рассудили, что он малолюден, то они были для меня делом столь обыкновенным, что я не вижу нужды о сем рассказывать. А притом измыслил я некий Инструмент, с помощью коего мог я ночью, в безветерье, услышать, как за три часа пути от меня затрубит труба или за два часа заржет лошадь, или пролает собака, или за час пути переговариваются люди. Каковое искусство держал я в превеликой тайне, приобретая тем себе уважение, ибо всяк почел бы сие невозможным.

Днем же сказанный Инструмент (который я обыкновенно носил вместе с першпективной трубкой в кармане штанов) не мог принести мне много пользы, разве только в каком пустынном тихом месте; ибо тогда приходилось слышать всех, кто только шевелился и подавал голос в целой округе, начиная от лошадей и коров до самой неприметной птахи в небе и лягушки в воде, что производило гомон не иначе, как если бы кто очутился посреди превеликого скопища людей и животных (как в толчее базара), где каждый кричит свое так, что один не может уразуметь другого.

Правда, я хорошо знаю, что в настоящее время същутся люди, которые не поверят тому, что я только что рассказал; однако ж, хотят они верить или нет, все же это правда. С помощью своего Инструмента мог я ночью отличить по голосу человека, когда он говорит не громче, чем это у него в обыкновении, хотя бы он был так далеко от меня, что днем я мог бы его узнать лишь по платью через першпективную трубку. Но я не могу пенять ни на кого, кто не поверит тому, что сейчас пишу; ибо мне не верил никто из тех, кто своими собственными очами видел, как я многократно употреблял сей Инструмент и говорил им: «Я слышу, скачут рейтары, ибо кони у них подкованы; я слышу, едут мужики, ибо лошади у них без подков; я слышу, гремит повозка, но это крестьяне, — я распознал их по говору; вот приближаются мушкетеры, примерно столько-то их, о чем заключаю по громыханью их бандельеров;¹ за той горушкой или лесом находится деревенька, я слышу, кричат петухи, лают собаки и пр.; а там гонят стадо, я слышу, как блеют овцы, мычат коровы, верезжат свиньи», и т. д. Мои собственные камрады, спервоначалу почитали такие речи шуткой, и т. д. Мои собственные и бахвальством, а когда они и впрямь убедились, что всякий раз я говорю правду, то все стали приписывать это колдовству, а то, что я им сообщил, было-де поведено мне самим чертом или его матушкой. Итак, полагаю, что и любезный

читатель думает не иначе. Тем не менее мне таким образом частенько доводилось счастливо и весьма ловко удирать от противника, когда тот получал обо мне ведомость и намеревался захватить меня врасплох; также полагаю, когда бы я открыл сию хитрость, то она бы с тех пор вошла у многих в обычай, понеже весьма пригодна на войне, особливо же во время осады, ибо осаждающие и осажденные одинаково могли бы употребить ее себе на пользу. Однако ж я возвращаюсь к своей истории.

А когда я не отправлялся с отрядом, то принимался красть так, что ни лошади, ни коровы, ни свиньи, ни даже овцы в омшанниках не были от меня в безопасности, коих я уводил за несколько миль; рогатому скоту и лошадям, дабы их не могли выследить, я умел прилаживать сапожки или башмаки, пока прогнью до проезжей дороги. После чего я перековывал лошадей задом наперед; или когда это были коровы и быки, то надевал им башмаки, которые для того нашил, и так доставлял в надежное место. Больших жирных свиных особ, которые по причине лени не хотели утруждать себя ночным переездом, умел я также искусно понуждать к сему, хотя они хрюкали и артачились. Я замешивал на муке и воде хорошо просоленную кашу и пропитывал ею банную губку, обвязанную крепкой бечевкой, а после давал тем, кого приваживал сожрать эту сочную губку, а шнур держал в руке, после чего они без дальней перебранки покорно шли за мной, расплачиваясь за доставленную им пирушку окороками и колбасами; и когда я доставлял что-либо подобное, то честно делился как с офицерами, так и с моими камадами. Посему и дозволялось мне снова выходить на поживу; а когда мое воровство бывало обнаружено или выслежено, то они искусно помогали мне выпутаться. В остальном же я был слишком высокого о себе мнения, чтобы красть у бедняков, ловить кур или подбирать, как мышь, какие-либо крохи. А посему начал я предаваться в пище и питии эпикурейству, ибо позабыл наставления отшельника и никого не было, кто бы руководил моей юностию или служил бы мне примером; ибо мои офицеры были соучастниками, когда у меня прихлебательствовали; и те, кому бы надлежало меня увещевать и наказывать, еще более меня подзадоривали ко всяческим беспутствам. Оттого стал я наконец столь безбожен, дерзок и нечестив, что не было такой плутни на свете, которую бы я не осмелился учинить. Напоследок приобрел я себе тайных завистников, особливо же среди своих камадов, что удачливее других ворую, а среди офицеров оттого, что своей отвагой и фортуной во время разбегов вошел в большую славу и честь, нежели они. Я также был вполне убежден, что мной бы скоро пожертвовали, если бы я не был столь щедр.

ВТОРАЯ ГЛАВА

*Симплиций, как егерем в Зусте был,
Ажеегеря здорово проучил.*

Когда я таким образом хозяйничал и был озабочен тем, чтобы изготовить несколько бесовских личин и принадлежащие к сему устрашительные одеяния с лошадиными и коровьими копытами, дабы с помощью оных вселять страх врагам, а при случае неузнанным отнимать у друзей их достояние, к чему мне подало мысль приключение с покражей сала, получил я ведомость, что некий молодчик, стоявший в Верле¹ и весьма удачливый в набегах, оделся во все зеленое и повсюду рыщет под моим именем, особливо же появляясь среди тех, кто платил нам контрибуцию, причем чинил всякие непотребства, грабежи и насильничал женщин, по какой причине на меня стали возводить мерзкие обвинения, так что мне пришлось бы жестоко расплачиваться, если бы я не мог несомненно доказать, что в то самое время, когда он учинял, сваливая на мою голову, различные проделки, я находился в совершенно другом месте. Я вовсе не собирался спустить ему такие поступки, а еще менее сносить, чтобы он долее прикрывался моим именем и под моим облищем получал добычу, повреждая поносно мою репутацию. С ведома коменданта в Зусте я пригласил его сразиться в чистом поле на шпагах или пистолетах; но как у него недостало духу явиться, то я оповестил, что намерен учинить ему хороший реванш и что сие будет произведено в Верле, в округе того самого коменданта, который его за это не подверг наказанию. И я говорил открыто, что ежели застигну его во время разъезда, то обойдусь с ним, как с врагом! Сие произвело, что я не только забросил мысль о личинах, с помощью коих вознамерился было совершить великие дела, но изрубил на мелкие куски и публично сжег в Зусте свой зеленый егерский наряд, невзирая на то что одно только мое платье без перьев и конского убора стоило более ста дукатов. И в такой ярости я поклялся, что первый, кто отныне назовет меня егерем, либо убьет меня, либо должен будет погибнуть от моей руки, хотя бы мне самому это стоило головы! Также не хотел больше принять команду ни над одним разъездом (к чему и без того не был обязан, ибо меня еще не произвели в офицеры), так как уже почуял своего противника из Верле. Итак, я отстранился и больше не нес никакой солдатской службы, кроме караулов, а когда меня отряжали куда-либо нарочито, то я исправлял это весьма нерадиво, как и другие сонные пентюхи. Весть об этом скоро разнеслась по всему околотку, отчего разъезды противника так обнадежились и осмелели, что, почитай, каждый день появлялись у наших шлагбаумов, что мне становилось долее непереносно. Больше всего мне

досаждало, что егерь из Верле все еще продолжал выдавать себя за меня и под моим именем захватывал порядочную добычу.

Меж тем, как всяк полагал, что я, подобно медведю, залег на спячку в берлогу, из коей не так уж скоро выберусь, разведывал я о делах и поступках своего противника из Верле и узнал, что он не только перенял мое имя и платье, но также имеет обыкновение свершать кражи по ночам, когда может чем-нибудь поживиться; того ради я неожиданно пробудился ото сна, в чем и заключался весь мой умысел. Двоих моих конюхов я мало-помалу натаскал, как лягавых собак; и они были мне так преданы, что в случае нужды каждый без оглядки прыгнул бы в огонь, ибо у меня было для них полное раздолье в кушаньях и вине, да и получали они изрядную поживу. Я и подослал в Верле к моему противнику одного из таких молодых; сей выставил предложением, что я, который был раньше его господином, зажил теперь, как лежебок и молокосос, поклявшись никогда больше не бывать в разъездах, вот он и не захотел долее у меня оставаться, а пришел служить ему, ибо он, облачившись вместо прежнего господина в егерское платье, ведет себя, как подобает заправскому солдату. Он-де в той стране знает все дороги и тропы и может ему присоветовать, как напасть на хорошую добычу, и т. д. Мой неразумный простофиля и впрямь поверил этому конюху и дал себе уговорить, что примет его к себе и в уреченную ночь отправится вместе с ним и своим камрадом в некую овчарню подцепить себе жирных барашков, — что я все со Шпрингинсфельдом и другими молодцами заранее высмотрел и подкупил пастуха, чтобы он привязал собак и дозволил пришельцам безо всякой помехи подкопаться под сарай, где я намеревался попотчевать их доброй баранинкой. А когда они проделали дыру в стене, то егерь из Верле захотел, чтобы мой конюх тотчас же полез туда первым. Он же отвечал: «Э, нет, там может быть засада, и кто-нибудь еще стукнет меня по башке; теперь-то я вижу, что ты не очень ловок на такие проделки, сперва надо поразведать»; засим вытащил он шпагу, повесил на острие свою шляпу, сунул несколько раз в дыру и сказал: «Вот так-то надобно сперва увериться, дома ли святой Влас² или нет». Когда сие было учинено, то егерь из Верле сам полез первым. Но Шпрингинсфельд тотчас же схватил его за руку, в которой тот держал шпагу, спросив его, не запросит ли он пардону. Сие услышал его сообщник и хотел ударить; я же не ведал, кто из них егерь, и, будучи проворней его, кинулся за ним и в два прыжка его поймал. Я спросил: «Что за люди?». Он отвечал: «Имперские». Я спросил: «Какого полка? Я тоже имперский. Плут тот, кто отрекается от своего господина!». Тот отвечал: «Мы драгуны из Зуста и пришли раздобыть себе баранины; братец, коли ты тоже имперский, то, надеюсь, наспустишь». Я спросил: «Кто вы такие будете в Зусте?». Он отвечал: «Мой камрад в омшаннике — егерь». «Плуты вы! — сказал я. — Чего ради грабите вы собственные свои квартиры?»

Егерь из Зуста не такой дурень, чтобы позволить захватить себя в омшаннике». «Ах, из Верле, хотел я сказать», — отвечивал тот мне снова; и как мы таким образом вдвоем диспутировали, пришли снова мой конюх и Шпрингинсфельд вместе с моим противником. «Видишь, честная птаха, — сказал я, — разве мы не повстречались? Когда бы я не имел решпекта к имперскому оружию, кое дано тебе, чтобы сражаться против врагов, то я бы тотчас же всадил в твою башку пулю! Я егерь из Зуста, был им доселе, я тебя почитаю плутом, пока ты не выберешь себе шпагу и не переведаешься со мною по доброму солдатскому обычаю!». Меж тем мой конюх (который, как и Шпрингинсфельд, напаялил мерзкую бесовскую личину с бараньими рогами) положил у наших ног две совершенно одинаковые шпаги, захваченные мною из Зуста, и предложило егерю из Верле взять одну из них, какую ему угодно, что так напугало беднягу егеря, что с ним приключилось то же самое, что со мною в Ганау, когда я испортил танец. Ибо он напустил полные штаны, да так, что рядом с ним никто не мог стоять; он и его камрад дрожали, как мокрые псы, они упали на колени и молили о пощаде. Но Шпрингинсфельд словно с цепи сорвался, налетел на него и сказал егерю: «Дерись, а не то я тебе сверну шею». «Ах, достопочтенный господин черт, — отвечал тот, — я пришел сюда совсем не для драки; господин черт, избавь меня от этого, и я сделаю все, что ты захочешь». Среди таких сбивчивых речей мой конюх дал ему шпагу, а мне другую; он же так дрожал, что не мог удержать ее в руке. Месяц светил ясно, так что пастух и подпасок могли все превосходно видеть и слышать из своих шалашей. Я позвал его подойти, дабы у меня в этой тяжбе был свидетель. Сей же, когда подошел, притворился, как будто он тех двух, что были в бесовских личинах, и не приметил, и спросил, чего ради я затеял такую долгую перебранку с этими молодцами; коли у меня есть до них дело, то надобно мне убираться отсюда в иное место, ему же до нашей перепалки нет нужды; он платит исправно каждый месяц контребуху,³ а посему хочет жить спокойно у своей овчарни. Тех же двух он спросил, чего ради они дозволяют мне так себя мучить и меня не прикончат? Я сказал: «Ты, пентюх, они хотели покрасть твоих овец». Мужик ответил: «Ну, коли так, тогда пусть оближут у меня и моих овец задницы», и с теми словами отошел прочь. Засим понуждал я лжеегеря снова биться на шпагах; но бедняга едва держался на ногах от страха, так что был мне весьма жалок, да он и его камрад повели столь жалобные речи, что под конец я им все простил и их помиловал. Однако же Шпрингинсфельд был тем недоволен и принудил егеря одну из трех овец (ибо столько замыслили они украсть) поцеловать под хвостом, а вдобавок расцарапал ему рожу столь мерзко, как если бы он жрал с кошками из одной миски, каковая потеха прилась мне по вкусу. Этот егерь скоро исчез из Верле, так как не знал, куда деваться от стыда, ибо его камрад раззвонил

повсюду и уверял, подтверждая свои слова ужасными клятвами, что при мне в услужении и впрямь состоят два взаправдошных черта, отчего я стал внушать к себе еще больший страх и тем меньшую любовь.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

*Симплиций Юпитера в плен берет,
О гневе богов от него узнает.*

Сие вскорости я хорошо приметил; того ради я оставил прежнее свое безбожное житие и смиренно вступил на стезю добродетели. Правда, я, как и раньше, отправлялся в разъезды, однако ж обходился с друзьями и врагами столь ласково и учтиво, что все те, кому доводилось попадать ко мне в лапы, принуждены были обо мне думать совсем иначе, нежели прежде обо мне слышались; сверх того отвратился я от безрассудного расточительства и скопил себе порядочно отличных дукатов и драгоценностей, каковые все прятал в зустовской лошине по дуплам деревьев, как мне присоветовала знакомая ворожейка, уверяя, что у меня больше недругов в самом городе и нашем полку, нежели за его стенами и во вражеских гарнизонах, и все-то зарятся на мои деньги. И меж тем едва разнесется весть, что егерь улизнул, и некоторые начнут этим себя тешить, я ненароком падал им, как снег на голову; и прежде чем куда-нибудь дойдет слух, что я где-либо в другом месте учинил вред, как уже сам там объявлюсь, ибо повсюду носился, как буря, появляясь то здесь, то там, так что обо мне шло больше толков, нежели раньше, когда еще один молодец выдавал себя за меня.

Однажды засел я с 25 мушкетерами неподалеку от Дорстена, подстерегая с нарочитой осторожностью конвой, сопровождавший фуры, которые должны были прийти в Дорстен. По своему обыкновению я сам стоял на карауле, ибо мы находились поблизости от неприятеля. Тут вышел один-единешенек некий человек, одетый с приличествующею скромностию; он беседовал сам с собою и своей гишпанской тростью производил диковинные фехтовальные упражнения. Я не мог ничего уразуметь, когда он сказал: «Я хочу, наконец, покарать мир, пусть тогда мне откажут в моей божественности», отчего и предположил, что то, верно, какой-нибудь могущественный властелин, который, переменяв платье, странствует повсюду, дабы проведать о жизни и нравах своих подданных, и вознамерился их (понеже они в чем-нибудь преступили его волю) надлежащим образом наказать. Я помыслил: «Когда сей муж из вражеского стана, то это сулит добрый выкуп; а коли нет, то надобно обойтись с ним с толикой вежливостью и так умягчить его сердце, чтобы в будущем тебе на всю жизнь сопутствовала фортуна», а посему выскочил впе-

ред, наставил мушкет с взведенным курком и сказал: «Да соблаговолит господин последовать со мною в кустарник, где его не будут трактовать как неприятеля». На что он с превеликой серьезностью ответил: «Такая трактация мне подобным не приличествует». Я же вежливо подталкивал его, говоря: «Господин не соизволит противиться тому, чтобы на сей раз примениться к обстоятельствам!». И когда я провел его в кустарник к моим молодцам и назначил караул, спросил я его, кто он таков. Он же отвечал весьма великодушно, что мне до того нет нужды, ибо я это и сам уже знаю; он ведь великий бог. Я подумал, быть может, он меня знает, это, мол, какой-нибудь дворянин из Зуста и так говорит, чтобы меня подразнить, ибо у зустовских жителей в обыкновении с издевкою помянуть великого бога и его золотеное опоясание,¹ однако ж скоро убедился, что заместо какого-нибудь князя захватил в плен архисумасброда, который заучился выше головы, а притом еще чрезмерно ударился в поэзию; ибо когда он у меня малость обогрелся, то объявил себя Юпитером.

Я, правда, желал, чтобы мне такая дичина лучше бы не попадалась вовсе; но, понеже дурень был уже у меня, принужден я был его у себя оставить до тех пор, пока мы оттуда не уберемся, а как и без того мне пережить время порядком прискучило, то решил я настроить этого молодца, дабы обратит себе на пользу его таланты, а потому сказал: «Ну, вот, любезный Йове,² как же это случилось, что твоя высокая божественность оставила свой небесный трон и снизошла к нам на землю? Прости, о, Юпитер, что задаю тебе вопросы, которые ты можешь почесть докучливыми; ибо мы ведь тоже несколько сродни небесным богам и многие сильваны рождены фавнами и нимфами, от коих эти тайности, по справедливости, не должны быть сокровенны». «Клянусь Стиксом,³ — отвечивал Юпитер, — ты не узнал бы о сем ничего, даже если бы доводился родным сыном самому Пану, когда бы не был столь похож на моего виночерпия Ганимеда,⁴ ради коего я и поведаю тебе, что превеликий вопль о пороках сего мира проник через облака и достиг моего слуха, о чем в совете всех богов решено было, что я, по справедливости, могу, как во времена Ликаона,⁵ истребить все на земле, наслав на нее потоп. Но понеже я к роду человеческого благоволю с особливою милостию, да и без того всегда прибегаю скорее к добру, нежели к жестокому обращению, то вот брожу и скитаюсь теперь повсюду, дабы самому проведать людские дела и обычаи; и хотя все здесь ведется куда пакостнее, нежели мне мнилось, все же я не намерен искоренить всех людей без разбору, а покарать только тех, кто кары заслуживает, а потом взрастить тех, кто останется по моему изволению».

Хотя меня разбирал смех, однако ж я постарался удержать себя, сколько мог, и сказал: «Ах, Юпитер, все твои труды и старания непременно пойдут прахом, ежели ты снова, как некогда, не пройдешь весь мир с водою или даже с огнем. Ибо нашлешь ты на него войну — то сбегутся

отовсюду отчаянные злыдни, которые будут только терзать и мучить миролюбивых людей; найдешь голод — сие послужит желанным случаем для всех лихоимцев, ибо тогда подорожает зерно; а коли найдешь мор — то будет прибыль жадным и корыстным людям, ибо они тогда много получают в наследство; того ради истреби весь мир с корнем и сердцевиною, ежели впрямь хочешь его покарать».

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

*Симплиций внемлет — Юпитер глаголет:
Немецкий Герой весь мир приневолит.*

Юпитер отвечал: «Ты рассуждаешь о вещах как природный человек, как если бы тебе не было ведомо, что мы, боги, властны так все устроить, что только злые будут наказаны, а добрые пощажены. Я хочу пробудить немецкого Героя, который призван острою мечом все исполнить; он истребит всех нечестивцев, а людей благочестивых сохранит и возвысит». Я сказал: «В таком разе сей Герой принужден будет набрать солдат, а где солдаты, там и война, а где война, там достается правым и виноватым». «А разве земные божества так же думают, как и земные люди, — сказал в ответ Юпитер, — и вовсе ничего уразуметь не могут? Я хочу ниспослать такого Героя, которому не было бы нужды держать солдат и который все же должен переменить порядок во всем свете; в час его рождения я дарую ему статное и сильное тело, подобное тому, каким обладал Геркулес, которое с избытком будет украшено предусмотрительностью, мудростью и пониманием; сама Венера наградит его прекрасным лицом, так что он превзойдет красотой даже Нарцисса,¹ Адониса² и моего Ганимеда; ко всем его добродетелям прибавит она еще особливую приятность, врачность и пригожество, что соделает его любезным всему свету, понеже я по той же причине тем благосклоннее буду взирать на констелляцию звезд при его рождении. А что до Меркурия, то ему надлежит снабдить его несравненным быстрым разумом, и непостоянный месяц будет ему не только ни в чем не вредительным, но и полезным, ибо Меркурий вперит в сего Героя неимоверное проворство. Паллада возрастит его на Парнасе, а Вулкан должен в hora Martis³ выковать ему оружие, особливо же меч, коим он покорит весь мир и повергнет в прах всех нечестивцев без всякой помощи хотя бы от единственного человека, который служил бы ему солдатом; он не должен нуждаться ни в какой помощи. Всякий большой город должен трепетать при его приближении, и каждая крепость, даже самая неприступная, в первые же четверть часа должна ему покориться и принять его иго; напоследок он станет повеле-

вать всеми великими монархами на всем свете и установит такое правление на земле и на море, что боги, равно как и люди, будут им весьма довольствованы».

Я сказал: «Как же можно без кровопролития повергнуть в прах всех нечестивцев и получить команду над всем светом без того, чтобы не употребить особливую силу и власть жестокой руки? О, Юпитер! Я признаюсь тебе без утайки, что, будучи смертным человеком, не могу сего постичь!». Юпитер отвечал: «Сие не диво, ибо тебе еще не ведомо, какой редкостной силой наделен будет меч моего Героя. Вулкан изготовит его из той же самой материи, из коей он делает для меня громовые стрелы, а добрые свойства сего меча таковы, что стоит только моему великодушному немецкому Герою его обнажить и только один раз взмахнуть им по воздуху, как слетят головы у целой армады, даже если она укрыта от него горою за целую швейцарскую милю,⁴ так что они даже не сумеют узнать, что с ними приключилось! А когда он только выйдет в поход и подойдет к какому-нибудь городу или крепости, то он поступит по примеру Тамерлана⁵ и выставит белый прапорец в знак того, что он тут объявился ради мира и всеобщего благоденствия. Ежели выйдут ему навстречу и покорятся, хорошо; а нет, то он извлечет из ножен помянутый меч, силой коего у всех колдунов и ворожеек, какие только есть в городе, будут снесены головы, и тогда он выставит красный прапорец; а ежели и тогда никто не явится, то сказанным образом лишит он жизни всех убийц, ростовщиков, воров, плутов, прелюбодеев, потаскух и мошенников, после чего выставит черный прапорец. Когда же те, кто еще остался в городе, со смирением к нему не придут и не явятся, то истребит он весь город и его жителей, как жестоковыйный и непокорный народ, однако ж и тут казнит лишь тех, кои отвращали других от повинения и послужили причиною того, что народ ранее не предался его власти. И так будет он шествовать от одного града к другому и каждому городу передаст для мирного управления прилежащую к нему страну, и от каждого города пс всей Германии возьмет он по два умнейших и ученейших мужа, из коих составит парламент и навеки соединит вместе все города; он упразднит по всей германской земле крепостную неволю вместе со всеми пошлинами, налогами, податями, оброками и питейными сборами и заведет такие порядки, что больше уже никто не услышит никогда о барщине, караулах, контрибуциях, поборах, войнах и о каком-либо отягощении народа, а все поведут жизнь еще блаженнее, нежели в Елисейских полях.⁶ Тогда, — продолжал Юпитер, — я буду часто собирать весь сонм богов и спустаться на землю к любезным германцам, дабы блаженствовать вместе с ними среди виноградных лоз и смоковниц; тогда я перенесу Геликон⁷ в их пределы, и музы вновь обретут там благоденствие; а три грации уготовят моим германцам неисчислимые утехы. Я ниспощлю Германии во всем изобилие большее, нежели в Счастливой Аравии, Месопотамии

или окрестностях Дамаска. Я отрешусь тогда от греческого языка и буду говорить только по-немецки, одним словом, окажу себя добрым немцем, что наконец дозволю им, как некогда римлянам, простереть свою власть над всем светом». Я сказал: «Высочайший Юпитер, а что скажут к сему князья и государи, когда грядущий Герой вознамерится столь незаконным образом отнять у них имение и передать под начало городам? Неужто не воспротивятся они тому силою или по крайности не обратятся к суду божескому и человеческому?». Юпитер отвечал: «О сем Герой не будет много печалиться! Он разделит всех великих мира сего на три части и тех, кто живет беспутно и нечестиво, покарает, как и простолюдинов, ибо никакая земная сила не может противиться его мечу; остальным же предоставит он на выбор — либо остаться в стране, либо покинуть ее. Те, кои, любя свое отечество, пожелают остаться, будут жить наравне с простыми людьми; однако приватная жизнь немцев тогда будет проходить в большом довольстве и благоденствии, нежели ныне жизнь и бытие самого короля, так что каждый немец станет сущим Фабрицием,³ который не пожелал разделить с царем Пирром его царство, ибо любил свое отечество столь же сильно, как честь и добродетель; так будет и с другими. Третьи же, которые восхотят остаться господами и повелителями, будут через Венгрию и Италию отвезены в Молдавию, Фракию, Грецию, а там и через Геллеспонт⁹ в Азию, и пусть они заберут с собою всех наемных головорезов из всей Германии, дабы они завоевали им эти страны и понаделали их истыми королями. Засим он в один день возьмет Константинополь и всем туркам, которые не обратятся в христову веру или не будут послушны, приставит головы к задницам; тогда восстановит он священную Римскую империю германской нации и вместе с членами парламента, который он, как о том уже поведано, составит, взяв по двое от каждого немецкого города, и наречет их предстоятелями и отцами немецкого отчества, построит посреди Германии город, кой будет обширней Маноа¹⁰ в Америке и более блистать золотом, нежели Ерусалим во времена Соломона; крепостные валы его можно будет уподобить Тирольским горам, а рвы по ширине морскому проливу между Испанией и Африкой. Внутри же воздвигнет он храм из чистых алмазов, рубинов, смарагдов и сапфиров; и в кунсткамере, кою он учредит, будут собраны со всего света диковинные редкости из богатейших подарков, которые ему пришлют властелины Китая, Персии, великий могол¹¹ восточной Индии, великий хан татар, священник Иоанн в Африке¹² и великий царь в Москве. Турецкий султан будет всех усерднее, понеже сказанный Герой не отнимет у него царства и сделает его ленником римского императора».

Я спросил Юпитера, что же при этом будут делать и исполнять христианские короли. Он ответил: «Те, что в Англии, Швеции и Дании, поелику они немецкой крови и происхождения, останутся, те же, что в Испании, Франции и Португалии, понеже в древности немцы зани-

мали помянутые страны и ими правили, получают свои короны, королевства и входящие в них земли от немецкой нации по доброй воле в ленное владение, и тогда воцарится вечный нерушимый мир между всеми народами по всему свету, как во времена Августа».

ПЯТАЯ ГЛАВА

*Симплиций внемлет: не ведая меры,
Немецкий Герой поравняет все веры.*

Шпрингинсфельд, который также слышал наши речи, едва не прогневал Юпитера и чуть не испортил всю потеху, ибо сказал: «И тогда в Германии жизнь пойдет, как в стране Пролежи-бока,¹ где дождик моросит чистым мускатом, а крейцерпаштеты вырастают за одну ночь, как сыроежки! Вот когда я буду уписывать за обе щеки, словно молотильщик, и так упиваться мальвазией, что глаза на лоб полезут». «Да, конечно, — отвечивал Юпитер, — особливо когда я дарю тебе мучку Эрисихтона,² ибо ты, как мне сдается, насмехаешься над моим величеством». Обратясь же ко мне, он сказал: «Мне мнилось, что я нахожусь среди сущих сильванов; однако ж вижу, что повстречал завистливого Мома³ или Зоила.⁴ И таким предателям возвещать о том, что решено на небесах, метать под ноги свиньям благородный бисер! Да, конечно! Наложил себе на горб кучу дерьма!». Я помыслил: «Сей диковинный и нечистый сквернавец, ибо наряду со столь высокими предметами обращается со столь мягкою материею». Я отлично приметил, что смех ему не по нутру, а посему крепился изо всех сил и сказал: «Преблагий Юпитер, ведь ты из-за нескромности неотесанного фавна не утаишь от своего второго Ганимеда, что поведется далее в Германии». «О нет! — отвечивал он. — Однако ж сперва накажи сему Феону,⁵ чтобы он впредь держал на привязи свой гиппонаксов язычок,⁶ пока я его (как Меркурий Баттума⁷) не превращу в камень. Ты же признайся мне, что ты мой Ганимед и не прогнала ли тебя в мое отсутствие ревнивая Юнона из небесной обители?». Я пообещал ему рассказать обо всем, как только услышу от него, что мне так хотелось бы узнать. На что он сказал: «Любезный Ганимед (только не отнекивайся больше, ибо я отлично вижу, что это ты), к тому времени в Германии алхимическое златоделство станет столь доверным и заобычным, как ремесло горшечника, так что едва ль не каждый постреленок на конюшне будет таскать повсюду lapidem philosophorum». ⁸ Я спросил: «А как же водворится в Германии столь нерушимый мир, когда столько различных вер? Разве не будут разноверные попы подстрекать свою паству и не сплетут друг на друга новую войну»

ради своей религии?». «О нет, — отвечивал Юпитер, — мой Герой мудро предотвратит сие опасение и беспременно соединит вместе все христианские религии во всем свете». Я сказал: «О, чудо из чудес! То было бы превеликим, радостным и поистине превосходным делом! Как же сие совершенно будет?». Юпитер отвечал: «Открою тебе это с превеликою охотою. После того как мой Герой установит универсальный мир на всем свете, обратится он ко всем духовным и светским правителям и главам различных христианских народов и различных церквей с весьма умиленным предиком, изрядно представляя им прежнее пагубное несогласие в делах веры и приводя их разумными доводами и неопровержимыми аргументами к тому, что они сами возжелают сего повсеместного соединения и порекомендуют ему дирижировать, согласно светлomu своему разумению. Засим соберет он со всех концов земли нанострейших, ученейших и богобоязнейших теологов всех исповеданий и повелит поставить им келии в привольной, однако ж тихой местности, как некогда Птоломей Филадельф⁹ семидесяти двум толковникам, дабы они могли беспрепятственно размышлять о важных предметах, снабдить их там кушаньем и питием, а также всем другим необходимым на потребу и наказать им, дабы они, елико возможно скорее, однако ж со всею рачительностию и основательностию рассмотрели совокупные распри, какие ведутся между их исповеданиями, и сперва уладить, а потом с достолюбым единомыслием и согласно Священному писанию, древнейшим преданиям и апробованному учению святых отцов письменно расположить правую, истинную святую христианскую религию. Тут-то Плутон и почешет хорошенько у себя за ухом, ибо ему придется опасаться умаления своего царства; и он примется измышлять всяческие уловки, каверзы, хитрости и коварства, дабы вставить свое que,¹⁰ и если не повернуть вспять всего дела, то по крайности отложить его *ad infinitum* или *indefinitum*,¹¹ чего он будет изо всех сил добиваться. Он будет подбиваться к каждому богослову, выставляя перед ним его интересы, его сан, его спокойную жизнь, его жену и детей, его репутацию и все прочее, что может склонить его к особливому мнению. Но мой доблестный Герой также не будет лежать на боку; он велит все время, покуда продолжается сей консилиум, звонить во все колокола во всем христианском мире и тем непрестанно призывать христиан к молитве Вышнему о ниспослании духа правды. Но ежели он приметит, что тот или иной поддастся Плутону, то он начнет морить голодом всю конгрегацию, как ведется на конклаве;¹² а когда они все еще не захотят поспешествовать сему великому делу, то прочитает им всем небольшую проповедь о виселице или покажет им свой чудесный меч; итак, сперва добром, потом строгостию, испугом и угрозою приведет их к тому, что они приступят *ad rem*¹³ и своими жестоковейными, ложными мнениями не будут больше дурачить весь мир, как то они чинили доселе. По достижении согласия устроит он высокаторжественный праздник и рас-

публикует по всему свету новую просветленную Религию, а кто и тогда будет веровать прекословно, то надлежит учинить им изрядный martirium¹⁴ смолоу и сероу или же, обвязав самшитовыми прутьями,¹⁵ подарить на новый год Плутону.¹⁶ Теперь, любезный Ганимед, ты знаешь обо всем, что знать пожелал; так поведай же мне, по какой причине ты покинул небесную обитель, где частенько подносил мне чашу драгоценного и превосходного нектара».

ШЕСТАЯ ГЛАВА

*Симплициус зрит, что блохи учинили —
Юпитера тело до костей источили.*

Я помыслил про себя: «Малый-то, быть может, вовсе не такой дурень, каким себя выставляет, а заговаривает мне зубы, как я сам проделывал в Ганау, чтобы тем ловчее было ему от нас улизнуть». Того ради вознамерился испытать его гневом, ибо подлинного дурня тем легче всего распознать можно, и сказал: «Причина, по которой я покинул небо, та, что я соскучился по тебе и потому взял крылья Дедала¹ и полетел на землю тебя искать. Но где бы я о тебе ни справлялся, повсюду о тебе шла худая слава, ибо Зоил и Мосх² тебя и всех прочих богов обнесли перед всем светом столь злочестивыми, распутными и мерзкими, что вы лишились у людей всякого кредита. Да и ты сам, сказывают они, не кто иной, как заеденный плотицами похотливый блудодей. По какой такой справедливости собираешься ты казнить мир за подобные грехи? Вулкан-де, терпеливый рогоносец, отпустил прелюбодеяние Марса, не воздав достойного мщения; какое же после этого оружие будет ковать хромой балбес? А Венера-де ради своего сластолюбия — наинепотребнейшая потаскуха во всем свете; какую же милость и благоволение может она оказать другим? Марс-де — душегуб и разбойник, Аполлон — бесстыжий распутник, Меркурий — суетный пустослов, вор и сводник, Приап — вместилище скверны, Геркулес — изверг с помутившимися мозгами, одним словом, вся совокупная кумпань небожителей столь злочестива и распутна, что надлежит отвести им квартиры для постоя ни в каком ином месте, кроме как в Авгиевых конюшнях, которые и без того воняют на весь свет». «Ах! — отвечивал Юпитер. — Диво ли, что я отложу свою доброту и обрушусь громом и молнией на сих злоязычных беззаконников и богохульствующих клеветников? Как полагаешь ты, мой верный и наилубезный Ганимед? Должен ли я сих пустословов казнить вечною жаждою, как Тантала? Или должен я повелеть перевешать их всех на горе Торакс подле самоправного пустомели Дафита?³ Или истолочь их в ступе вместе с Ана-

ксархом? ⁴ Или засунуть их в раскаленного быка Фалариса ⁵ в Агригенте? Нет, нет! Ганимед! Всех этих совокупных казней и мучений слишком мало! Я хочу снова наполнить ларец Пандоры ⁶ и высыпать его на этих бездельников, на нечестивые их головы; Немезида должна пробудить и наслать на них Алекто, Мегеру и Тисифону, ⁷ а Геркулес позаимствовать у Плутона Цербера и травить с ним этих злых негодников, как волков. А когда я их таким образом довольно погоняю, помучаю и поистязую, то повелю их привязать в адских чертогах к колонне подле Гезиода и Гомера, чтобы Эвмениды безо всякого наималейшего сожаления терзали их там веки вечные». Меж тем, как Юпитер грозил своею немилостию, спустил он при мне и в присутствии всего отряда безо всякого стыда штаны и принялся вытряхивать из них блох, кои, как хорошо было видно по его испещренной расчесами коже, ужаснейшим образом его тиранили. Я не мог догадаться, что тут поведется, покуда он не сказал: «Проваливайте-ко прочь отсюда, маленькие лиходеи! Клянусь Стиксом, что до скончания века вы не получите того, о чем столь старательно имеете хождение». ⁸ Я спросил его, что понимает он под сими словами? Он отвечал, что блошиный народ, проведая, что он сошел на землю, отрядил к нему депутацию для принесения надлежащего комплимента. Сии сделали ему представление, что хотя он и определил им житьельствовать на собачьих шкурах, однако ж иногда, частью по причине неких свойств, присущих женской коже, частью же по оплошности, доводится им попадать к женщинам в шерсть; и вот они, бедные заблудшие простофили, терпят от женщин столь жестокое обращение, что их не токмо подвергают пленению и умерщвлению, но еще перед тем прежалостнейшим образом растирают между перстами и подвергают таким мукам, что даже бесчувственный камень можно подвигнуть к состраданию! «Да, — сказал далее Юпитер, — они представили мне все дело столь трогательно и умилительно, что я возымел к ним жалость и обещал им заступление, однако ж с уговором, что прежде должен я также выслушать женщин. Блохи же отнекивались от сего, выставляя предлогом, что ежели женщинам будет дозволено держать прекословные речи и публично им возражать, то наперед известно, что они-то уж сумеют либо вовсе заговорить мою незлобивость и доброту своими ядовитыми собачьими языками и перекричать самих блох, либо обольстить меня ласковыми словами и своею красою, и таким образом привести меня к несправедливому, им же, блохам, весьма вредительному приговору; а потом просили дозволить им изъявить мне верноподданническое свое усердие, каковое они повсегда мне оказывали и надеются оказывать и впредь, ибо они во всякое время ближе всех присутствовали и лучше всех знали, что происходило между мною и Каллисто, ⁹ Ио, ¹⁰ Европой ¹¹ и многими другими, однако ж никогда не переносили о том вести и ни единым словом не обмолвились перед Юноной, хотя также имели обыкновение пребывать и у нее, и

поелику они с таким рачением соблюдали молчаливость, то и по сей день ни один человек (невзирая на то что они при всех полюбозвниках весьма близко находятся) нисколько о том не проведал, подобно тому как Аполлон через своего ворона.¹² А ежели мне будет угодно выдать их головою женщинам, так что сим будет дозволено их ловить и казнить по Вейдманскому праву,¹² то их нижайшая просьба — учредить такой порядок, чтобы их предавали геройской смерти, либо сражая топором, как быков, либо стреляя, как лесную дичь, а не столь поносно растирать между перстами и колесовать, уподобляя тем самым собственные члены, коими женщины частенько осязают и нечто иное, орудиям палача, что и для всякого честного мужчины сущий срам и неизгладимое поругание. Тут я сказал: „Ну, вы, господчики, должны их ужась как мучать, понеже они вас столь жестоко тиранят!“. „Это уж, конечно! — объявили они в ответ. — Они, впрочем, столь досадают на нас, быть может оттого, что берет их забота: мы видим, слышим и ощущаем слишком много, как если бы они не довольно обнадежены были нашею молчаливостию. Как же теперь быть? Ведь они не оставляют нас в покое даже на нашей собственной территории, ибо многие из них с помощью щеток, гребешков, мыла, щелока и прочих вещей так вычесывают своих постельных собачек, что мы поневоле принуждены покидать свое отечество и искать себе другие квартиры, невзирая на то что сии дамы могли бы употребить то самое время с большею пользою, обирая вшей со своих собственных чад“. На сие представление дозволил я им поселиться у меня, дабы земное мое тело могло познать их присутствие, обычаи и повадки, так что я смогу составить о сем надлежащее суждение и вынести свой приговор. Тут принялась вся эта сволочь так меня допекать, что я принужден был их спровадить, как вы это и видели. Я велю прибить им на нос привилегию, согласно коей женщины могут их рвать, терзать и меж перстами растирать, сколько душе угодно; да и когда мне самому доведется захватить с личным такого злого молодчика, то я и сам обойдусь с ним не лучше».

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

*Симплиций, егерь, себе добыл дичи,
В Зуст воротился и рад добыче.*

Мы не осмеливались смеяться зычно, ибо должны были хорониться в тиши, а также потому, что Фантасту сие было не по сердцу, так что Шпрингинсфельд готов был лопнуть и разорваться на куски. В то самое время наши караульные, сидевшие на высоком дереве, подали знак, что они завидели кого-то вдалеке. Я поднялся к ним и увидел через першпек-

тивную трубку, что там и вправду движется тот самый обоз, который мы подстерегали; однако же с ними не было ни одного пешего, а их конвоировало примерно человек с тридцать всадников. Посему я легко мог прикинуть, что они не поедут лесом, где мы засели, а будут держаться в открытом поле, дабы нам не иметь над ними перевесу, хотя в тех местах была прескверная дорога, которая тянулась по равнине примерно в шестистах шагах от нас и около трехсот шагов от опушки леса или горы. Мне вовсе не хотелось долго прохладиться в тамошних местах или заполучить в добычу одного дурня, того ради измыслил я другую хитрость, которая мне и удалась.

В том месте, где мы залегли, шла вниз к открытому полю по ущелью водомойна (удобная для проезда верхом). Я приказал занять этот выход двадцати молодчикам и сам присоединился к ним, оставив Шпрингинсфельда на том же самом месте, где мы перед тем находились, занимая выгодное положение; я велел своим молодцам, чтобы, когда конвой приблизится, каждый неотменно взял на себя по человеку, также каждому наказал, кому стрелять, а кто должен держать выстрел про запас. Некоторые бывалые жохи ворчали, чего это я удумал и уж не возомнил ли, будто конвой пойдет этими местами, где вовсе нечего делать и куда за сто лет не забредал ни один мужик. Другие же, из тех что верили, что я умею кондовать (ибо в то время шла обо мне такая слава!), полагали, что я приворожу неприятеля прямохенько к нам в лапы. Однако ж мне вовсе не надобно было полагаться на бесовское искусство, а на одного только Шпрингинсфельда; ибо как только конвой, который был порядком силен, поравнялся с нами, намереваясь следовать далее, как Шпрингинсфельд, исполняя мое повеление, зачал страшно рычать, словно бык, и ржать, словно жеребец, так что отозвалось по всему лесу и всяк бы поклялся, что тут бродит целое стадо коров и табун лошадей. А как только конвоиры сие заметили, то возмечтали поживиться какой-нибудь добычею, что в той местности было мудрено, ибо весь край был весьма пустынен. Они поскакали всем скопом прямо в нашу засаду и столь поспешно и нестройно, как если бы каждый из них хотел опередить всех прочих, дабы заполучить наилучшую взбучку, каковая и была учинена им вскорости столь исправно, что с первым же приветствием, посланным нами, сразу же опросталось тринадцать седел, а к тому же еще несколько человек из них было покалечено.

Вслед засим Шпрингинсфельд выскочил прямо на остальных и побежал вдоль ущелья, крича: «Охотники, сюда! Сюда, охотники!», отчего те молодцы перепугались еще более и пришли в такое замешательство, что не знали, куда им податься верхом, а посему соскочили с коней и бросились бежать пеши; но я забрал в плен всех семнадцатерых вместе с лейтенантом, который ими командовал, и затем устремился к повозкам, отпряг две дюжины лошадей и захватил только несколько кусков шелка

да голландского полотна; ибо не мог употребить столько времени, чтобы обобрать мертвецов, не говоря уже о том, чтобы хорошенько обыскать повозки, так как возницы, едва началась перепалка, ускакали прочь, по какой причине обо мне могли узнать в Дорстене и перехватить по дороге. Едва только мы снарядились в путь, как прибежал из лесу Юпитер и погнался за нами вслед, вопя, неужто Ганимед его покидает? Я ответил ему: конечно, ибо он не захотел даровать блохам чаемую привилегию. «По мне так, — отвечал он снова, — пусть они все вместе провалятся на дно Кокита»,¹ чем немало меня рассмешил; а так как у нас оставались еще порожние лошади, то я велел посадить дурня, но понеже он умел ездить верхом не лучше, чем пустой орех, то я должен был распорядиться, чтобы его привязали к лошади. Тогда изрек он, что наша стычка напомнила ему о той битве, какую вели лапифы с кентаврами² на свадьбе Перифоя.

А когда все миновалось и мы с нашими пленниками убрались отсюда с такою поспешностию, как будто бы за нами гнались по пятам, спохватился плененный лейтенант, какую грубую свершил он ошибку, что столь неосмотрительно завел во вражеские сети отличный конный отряд и послал на убой тринадцать отважных молодцов, и того ради впал в полную меланхолию и отказался от пардона, который я ему дал, и он даже возымел намерение склонить меня к тому, чтобы я приказал его застрелить, ибо он не только возомнил, что его оплошность принесла ему великое бесчестие и будет непростительна, но и полагал, что она послужит помехой его дальнейшему произвождению в чинах, ежели только он не избавится от сего, заплатив головой за понесенный урон. Я же увещевал его и напоминал ему, что многим честным солдатам непостоянное счастье коварно подставляло ногу; однако мне еще никого не доводилось видеть, кто бы от сего унывал или даже впадал в отчаяние. Его намерение — знак малодушества; храбрые же солдаты помышляют о том, как бы возместить и вновь наверстать принятые убытки; меня бы он никогда не привел к тому, чтобы я нарушил картель³ или учинил столь постыдное деяние, противное всякому праву и похвальному солдатскому обычаю и обыкновению. А когда он уверился, что я на сие не согласен, зачал он меня ругать поносной бранью в надежде привести меня в гнев и сказал, что я не сражался с ним в честном и нелукавом бою, а поступил, как плут и разбойник, прячущийся в кустах, похитив жизнь у находившихся под его командой солдат, как вор и прожженный подлец, каковыми словами его собственные молодцы, коих мы забрали в плен, были весьма напуганы, а мои камрады столь же сильно разгневаны, так что непременно изрешетили бы его пулями, когда бы только я им это дозволил, понеже мне пришлось довольно их от того удерживать. Я же нимало не склонился на его речи, а только призвал друзей и врагов быть свидетелями, что тут происходит, и затем велел его, лейте-

нанта, связать и стеречь, как рехнувшегося; обещал также ему, лейтенанту, что, как только мы прибудем к нашим постам и мой офицер даст на то соизволение, я снаряжу его моими собственными лошадьми и оружием, которое он сам себе изберет, и ему пистолетом и саблею публично докажу, что употреблять на войне хитрость против своего противника дозволено милитерским правом; отчего же он не остался при возах, охранять кои он был приставлен, или, коль скоро ему вздумалось проведать, что скрывается в лесу, отчего же он прежде не распорядился произвести необходимую рекогносцировку, что ему более бы приличествало, нежели сейчас вытворять безрассудные дурачества, на кои уж, верно, никто не обратит и малейшего внимания. На что как друзья, так и враги оказали мне справедливость, объявив, что им никогда не доводилось повстречать в целой сотне развезжих отрядов такого человека, который бы в ответ на такие поносные речи не только бы не застрелил лейтенанта, но и не предал бы смерти всех пленников. Итак, на следующее утро доставил я преблагополучно свою добычу и пленников в Зуст, снискав себе в сей операции более чести и славы, нежели когда-либо прежде. Всяк говорил: «Объявился новый юный Иоганн де Верд!»,⁴ что весьма льстило моему тщеславию; однако ж наш комендант отнюдь не соглашался дозволить мне переведаться с лейтенантом на пистолетах или на тесаках, сказывая, что я его уже дважды одолел. И чем более умножалась таким образом моя слава, тем все сильнее возрастала зависть тех, кто и без того не доброхотствовал моему счастью.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

*Симплиций арапа обрел в конуре,
Думал — сам черт укрылся в ларе.*

Мне никак не удавалось избавиться от Юпитера, ибо комендант вовсе не стремился его заполучить, понеже тут нечем было поживиться, а по сему объявил, что дарит его мне. Итак, приобрел я теперь своего собственного шута, которого мне не надо было покупать, хотя всего за год до того сам я принужден был дозволять обходиться с собою так же. Столь удивительно счастье и переменчивы времена! Недавно еще точили меня вши, а теперь получил я власть над самим болиным богом! Всего за полгода перед тем служил я у негодного драгуна конюхом; ныне же повелеваю двумя слугами, которые называют меня господином. Не прошло и года, как за мной гнались рейтары, покушавшиеся на мое девство, теперь же сами девицы из любви ко мне готовы были за мной гоняться. Итак, довелось мне заблаговременно узнать, что нет на свете ничего

более постоянного, как само непостоянство. А посему надлежало мне поостеречься, когда переменчивое счастье начнет строить мне козни и заставит меня жестоко расплачиваться за нынешнее благополучие.

В то самое время граф фон Валь,¹ военный губернатор всей Вестфалии, собирал понемногу людей из всех гарнизонов, чтобы снарядить кавалькаду, которая бы через Мюнстерское архиепископство прошла на Фехт,² Меппен,³ Линген⁴ и окрестные местечки, особливо же разделалась с двумя отрядами гессенских драгун, засевших в Падерборнском монастыре, в двух милях от Падерборна,⁵ причиняя там нашим немалое беспокойство. Я был назначен в команду с нашими драгунами, и когда отдельные отряды собрались в Гамм, то поспешно отправились в поход и напали на квартиры сказанных конников, каковые были расположены в городишке, находившемся под весьма худым призором, покуда его не заняли наши. Они сумели удрать, но мы загнали их опять в их логово. Им был предложен свободный пропуск без лошадей и оружия, однако со всем тем, что можно схоронить за поясом; но они не захотели на то согласиться и палили из самопалов, как мушкетеры. Итак, дело дошло до того, что я еще в ту самую ночь должен был испытать свое счастье во время приступа, ибо драгуны напали первыми; и я в сем так преуспел, что вместе с Шпрингинсфельдом в числе первых совершенно неповрежденным ворвался в городишко. Мы скоро очистили улицы, ибо все, у кого было оружие, были побиты, а горожане нам оказывали нам сопротивление; так было во всех домах. Шпрингинсфельд присоветовал занять дом, перед которым лежала большая куча навозу, ибо в таких-то домах и обретаются самые богатые и зажиточные скупердяи, у которых и располагаются на постой офицеры. Вслед засим мы и захватили такой дом, в коем Шпрингинсфельд учинил визитацию конюшне, а я жилью с таким уговором, что мы поделим друг с другом все, что каждый из нас добудет. Итак, зажгли мы свои восковые колодки, я кликнул в доме хозяина, однако ж не получил ответа, ибо все попрятались; меж тем забрел я в некую каморку, где ничего не нашел, окромя пустой кровати да запертого ларя, который я взломал в надежде сыскать что-либо ценное: однако ж едва приподнял я крышку, как из ларя выметнулась во весь рост черная как уголь фигура, кою я почел за самого Люцифера. Могу в том поклясться, что за всю жизнь я еще не был так напуган, как в ту минуту, когда я столь нечаянно завидел черного сего дьявола. «Провались ты пропадом!» — сказал я в толиком страхе и схватил топорик, которым разбил ларь, однако ж не собрался с мужеством треснуть его по черепу. Он же опустился на колени, воздел руки и пролепетал: «Богом прошу, добрый господин, даруй мне жись!».⁶ Тут внял мой слух, что то был не сам черт, ибо он поминал имя божие и просил за свою жизнь, а посему велел ему выбраться из ларя. Он учинил сие и пошел со мною наг, каким его сотворил господь. Я отрезал свечу от восковой колодки и дал

ему мне посветить; он учинил сие смирнехонько и провел меня в комнатушку, где я нашел хозяина со всею челядью, который, взирая на веселое сие позорище и трепеща всем телом, униженно молил о пощаде и даровании ему жизни. Сие получил он с легкостью, ибо нам и без того было запрещено чинить утеснение горожанам, и он вручил мне все пожитки ротмистра, среди коих был порядком набитый запертой кожаный чемодан, уведомив меня, что ротмистр и его слуги, кроме одного конюха и находящегося здесь арапа, отправились на свои посты, как положено в обороне. Меж тем Шпрингинсфельд поймал на конюшне сказанного конюха с шестью оседланными дородными лошадьми; мы завели их в дом, заперли на засов и велели арапу одеться, хозяину же приказали объявить все, что он знает о ротмистре. Но когда снова были отперты городские ворота, установлены посты и прибыл наш генерал-фельдцейхмейстер господин граф фон дер Валь, занял он под квартиру тот самый дом, где мы находились; а посему принуждены были мы темною ночью искать себе другое пристанище. Сие обрели мы у своих камрадов, которые также участвовали в приступе и занимали городок; у них мы расположились на славу и провели остаток ночи, пируя и бражничая в полное раздолье, после того как я и Шпрингинсфельд поделились друг с другом своею добычею. Я получил на свою долю арапа и двух превосходных лошадей, из коих одна была гишпанской породы, так что на ней только и оставалось гарцевать перед противником, чем я впоследствии немало чванился. А из чемодана получил я многообразные драгоценные кольца и в золотой коробочке, усаженной рубинами, поясной портрет принца Оранского,⁷ ибо все остальное я оставил Шпрингинсфельду; итак, на мою долю пришлось, ежели бы я пожелал все обратить в деньги за полцены, с лошадьми и всем прочим более чем на двести дукатов; а что касается арапа, который доставил мне наибольшую доуку, то генерал-фельдцейхмейстер, которому я его презентовал, пожаловал меня за него всего двумя дюжинами талеров. Оттуда направились мы поспешно в Эмс,⁸ однако ж немного разведывая по сторонам; и как случилось, что мы проходили также и мимо Реклингузена, то испросил я дозволение отлучиться, дабы вместе со Шпрингинсфельдом посетить священника, у коего незадолго перед тем покрал сало. С ним я изрядно повеселился, рассказав ему, что арап отплатил мне таким же страхом, какой недавно испытал он сам и его кухарка; поднес ему так же, как дружественный Valetе, отличные часы с боем для ношения на цепочке, которые я извлек из ротмистрова чемодана; итак, имел я обыкновение обращаться в своих друзей тех, у кого в ином случае была причина меня ненавидеть.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

*Симплиций в неравном хитрит поединке
И наглого рейтара бьет без заминки.*

Мое высокомерие умножалось вместе с моим счастьем, из чего под конец могло воспоследовать не что иное, как мое падение. Мы стояли лагерем примерно в получасе пути от Ренена, когда я вместе с моим лучшим камрадом стал просить об отпуске, чтобы сходить в этот городишко и произвести там кое-какую починку нашего оружия, что нам и было дозволено. Но так как мы сошлись в мыслях, что следовало бы хоть разок повеселиться на славу, то и завернули в самую наилучшую корчму и велели позвать музыкантов, дабы под их скрипки вино и пиво без скрипа проходило в глотку. Тут все пошло *in floribus*¹, и ни за чем дело не стало, что помогло бы порастрясти денежки; я наприглашал разделить со мною компанию молодчиков из других полков и корчил из себя юного принца, который владеет целой страной и народом и всякий год расточает уйму денег. Того ради нам услужали с большим проворством, нежели компании рейтаров, бражничавших в той же корчме, ибо они не столь жестоко куролесили, как мы; сие произвело в них немалую досаду, и они зачали нас поругивать. «Откуда, — толковали они между собой, — у этих сигай через плетень² (ибо они почли нас мушкетерами; понеже не сыскать другой такой твари на сем свете, которая больше бы походила на драгуна, нежели мушкетер, и когда драгун свалится с лошади, то подыметя мушкетер), откуда у них завелись денежки?»³. Другой отвечал: «А вон тот сосунок беспрременно деревенский дворянчик, коему матушка послала малость деньжат из своей кубышки, а он не скупится на угощение своих камрадов, дабы они его по нужде вытащили из кучи навоза или перенесли через канавку». Такими речами они метили в меня, ибо принимали меня за молодого дворянина. Все сие насаждала мне в уши корчемная служанка; но понеже я сам того не слышал, то и не мог предпринять ничего другого, как тотчас же налил вином большую пивную кружку и пустил ее по кругу во здравие всех честных мушкетеров, а к сему каждый учинил от себя такой трезвон, что нельзя было расслышать ни единого слова. Сие привело наших соседей в еще большую досаду, а потому они стали говорить нам в лицо: «Какого черта так разбушевались эти сигай через плетень?». Шпрингинсфельд отвечал: «А тебе, замарай голенище,³ какая до этого нужда?». И, видать, это его чувствительно задело, ибо при сих словах он поглядел столь свирепо и строил столь страшные и угрожающие мины, что никому не следовало бы его задирать. Однако ж тех так и подмывало, особливо же одного дюжего молодца, который сказал: «А где им, брустверным дрестунам (он полагал, что мы залегли где-либо в гарнизоне, ибо наша одежда

не столь выгорела, как у мушкетеров, которые принуждены день и ночь проводить в поле), сидючи на своем дерьме, еще разгуляться, чтобы себя показать? Довольно всем ведомо, что любой из них в открытом бою да в чистом поле станет нашей добычей, как голубь у сокола». Я сказал в ответ: «Мы должны брать города и крепости, которые нам потом вверяют охранять, вы же, рейтары, напротив, не выманите ни одного шелудивого пса из самого захудалого крысиного гнезда. Так чего же нам вдосталь не повеселиться в том месте, которое нам принадлежит боле, нежели вам?». Рейтар отвечал: «Кто побеждает в поле, тому покоряются крепости; но как мы должны выиграть сражения в открытом поле, то из сего следует, что я таких трех дитяток, каков ты есть, вместе с вашими мушкетами не только не страшусь, а еще насажу на шляпу вместо перьев, а только третьего спрошу, куда ты подевался? А сидел бы я с тобой, — добавил он и вовсе уж глумливо, — то я надавал бы дворянчику с гладкой рожей еще хороших затрепчин для подкрепления истины!». Я отвечал ему: «Полагаю, что у меня тоже сыщется пара пистолетов, как и у тебя, и хотя я не рейтар, а стою, как гермафродит,⁴ посредине меж вами и мушкетерами, гляди-ко! У дитяти достанет храбрости с одним мушкетом в открытом поле да еще пешим сразиться с таким хвастуном, каков есть ты, на коне, при всем твоём оружии». «Ах! ты soujon,⁵ — закричал молодчик, — я почту тебя пренегодным трусом, коли ты, как подобает честному дворянину, тотчас же не подтвердишь своих слов делом!». На сии слова бросил я ему перчатку и сказал: «Смотри, коли ты не подашь ее мне снова в открытом поле пешим, к чему принудит тебя мой мушкет, то в твоей силе и власти почитать и объявить меня повсюду тем, кем обозвала меня твоя наглость». После чего расплатились мы с корчмарем, и рейтар, мой супротивник и антагонист, приготовил карабин и пистолеты, а я мушкет; и когда он отправился со своими камрадами в назначенное нами место, то сказал Шпрингинсфельду, что ему-де надлежит загодя припасти мне могилу. Тот же отвечал, это уж его печаль заблаговременно распорядиться вырыть могилу своему камраду; мне же он выговаривал за мою отчаянную дерзость и сказал без утайки, что опасается, как бы я не сыграл на дуде. Я засмеялся ему в ответ, ибо давно обдумал, как надлежит встретить сего хорошо экипированного рейтара, ежели он вражески нападет на меня пешего в чистом поле, а я буду вооружен одним мушкетом. И когда мы пришли на то самое место, где должна была пойти куролесица, то я уже зарядил мушкет двумя пулями, насыпал свежий затравочный порох и смазал салом крышку на полке, как то в обыкновении у предусмотрительных мушкетеров, когда они в дождливую погоду хотят уберечь от воды затравку и порох на полке.

Прежде чем мы пошли друг на друга, определили между собой наши камрады, что нам надлежит сойтись в чистом поле и на такой конец

занять огороженное место одному на востоке, а другому на западе, и тогда пусть каждый употребит все старание, чтобы поразить другого, как то побоеет доброму солдату, когда он таким образом завидит перед собою неприятеля. Также не должен никто с обеих сторон ни перед схваткой, ни во время ее, ни после не покушаться пособлять своему камраду или отмещевать его смерть или понесенные им увечья. А когда они дали в том слово и руку, также я и мой противник подали друг другу руки и простили друг другу свою смерть; в толикой наибезрассуднейшей глупости, какую когда-либо мог совершить разумный человек в надежде доказать преимущество одного рода солдат перед другим, как если бы от исхода нашего дьявольского и в высшей степени бесчинного предприятия зависела честь и репутация тех или других. А когда я стал на назначенном месте на уреченном поле с двумя зажженными фитилями лицом к лицу перед моим противником, то сделал вид, что засыпаю старый затравочный порох; чего я, однако ж, не сделал, а только потрогал порох на крышке мушкетной полки да взял щепотку двумя пальцами, как то в обыкновении; и, прежде чем мой противник, который также хорошо за мной примечал, мог завидеть белое облачко, приложился я к мушкету и поджег впустую свой обманный порох на крышке. Мой бешеный противник возомнил, что мушкет мне отказал и у меня заложило затравку, и того ради с алчностью кинулся на меня напрямки в намерении отплатить за мою дерзость и дать мне последний карачун. Но не успел он оглядеться, как я открыл полку и снова ударил и приветствовал его таким родом, что выстрел и падение свершились разом.

Засим отправился я к своим камрадам, кои встретили меня, так сказать, с лобызаньями; противниковы же товарищи высвободили его из стремян и поступили с ним и нами, как то надлежит честным людям, понеже прислали мне с превеликою похвальбою обратно мою перчатку. Но, как только почувствовал я себя на вершине славы, явилось из Ренена двадцать пять мушкетеров и заключило под стражу меня и моих камрадов. На меня же вскорости наложили цепи и узы и отправили на суд генералитета, ибо всякие дуэли были запрещены под страхом телесного наказания и даже смертной казни.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

*Симплиций подстроил в осаде мороку,
Да вышло ему от сего мало проку.*

Понеже наш генерал-фельдцейхмейстер имел обыкновение наблюдать строжайшую военную дисциплину, то был я в немалом опасении, что не сносить мне головы. Меж тем не покидала меня и надежда как-нибудь

выкрутиться, ибо уже в столь ранней юности я всегда оказывал храбрость против неприятеля и снискал себе немалую славу и честь. Однако же сия надежда была зыбкой, ибо таковые повседневные стычки неотменно требовали остротки надлежащим примером. Наши как раз в то самое время обложили укрепленное крысиное гнездо и потребовали сдачи, но получили отказ, ибо осажденные знали, что у нас нет осадных пушек. Того ради граф фон дер Валь двинулся против сказанного места всем войском и, выслав трубачей, вновь потребовал сдачи, угрожая штурмом; однако ж и на это не воспоследовало ничего иного, кроме нижеследующего послания:

«Высокородный граф и прочая, и прочая, и прочая. Из присланного мне вашей графск. светл. сделалось мне известно, чего Онный домогается именем его велич. имп. св. Римск. импер. Однако ж вашей Высокографск. светл. по ваш. высокому разумению изрядно ведомо, сколь бесчестно и непотребно для солдата, когда бы он без особенной крайности передал противнику такое место, как это; чего ради Онный, чаятельно, не будет в претензии, ежели я буду стараться того не допустить, покуда оружие вашей светл. к сему не склонит. Но ежели вашей светл. представится случай в чем-либо, не относящемся к моей должности, потребовать от моего ничтожества повинения, пребуду

Вашей светлости
всепокорнейший слуга
N. N.».

Засим последовали у нас в лагере различные толки и споры; ибо оставить сие предприятие вотще было бы неблагоприятно, а брать укрепленное место приступом, не пробив брешу, стоило бы много крови, да к тому же не без сумнительства, удастся ли одержать верх или нет. Тащить же сюда из Мюнстера или Гамма пушки со всем снаряжением, до них надлежащим, значило б употребить на сие слишком много трудов, времени и издержек. Меж тем, как всяк от большого до малого тщился пособить тут своим советом, пришло мне в голову обратиться к себе на пользу, чтобы освободиться. Итак, собрал я весь свой ум и все свои пять чувств и поразмыслил хорошенько, как бы мне обмануть врага, ибо недоставало нам только пушек. И как мне тотчас же взошло на ум, что тут надлежит предпринять, довел я до слуха моего подполковника, что измыслил способ, как заполучить ту крепость безо всякого труда и иждивения, ежели только получу пардон и свободу. Некоторые старые и бывалые солдаты посмеивались и говорили: «Висельник и за веревку хватается! Молодчик задумал от беды отбрезаться!». Однако ж сам подполковник и другие, кто меня знал, приняли мои слова как символ веры, вследствие чего он самолично отправился к генерал-фельдцейх-

мейстеру и доложил ему о моем умысле, насаказав ему при этом обо мне все, что он мог рассказать. А как граф и прежде сего слышал о егере, то распорядился привести меня и на то время снять с меня оковы. Когда я пришел, у графа как раз шла трапеза, и подполковник рассказывал ему, что прошедшей весной я первый раз стоял в карауле у ворот св. Якова в Зусте, как внезапно пошел сильный ливень с превеликим громом и ураганом, так что всяк, кто обретался в поле или саду, спасался бегством в город, отчего в воротах учинились стеснение и давка от бегущих и всадников, и у меня уже в то время достало смекалки призвать стражу к оружию, ибо в такой сумятице всего легче захватить город, что не всякому бы и старому солдату взошло на ум. «Под конец, — сказал далее подполковник, — прибрела к воротам старуха мокрым-мокрехонька, которая, идучи мимо егеря, молвила: „У меня эта погодушка уже две недели в спине свербела!“. Когда егерь услышал сии слова, а в руках у него был батожек, то ударил ее по загривку и сказал: „Ах, ты, старая ведьма! Ужель ты не могла пораньше ее выпустить? Али тебе надобно было дожидаться, покуда придет мой черед идти в караул?“. А как его офицер за ту старуху заступился, то сказал: „Поделом ей! Старая карга целый месяц слышала, как всяк молил о хорошем дождике, чего же она раньше добрых людей не удовольствовала? Тогда, быть может, лучше уродились бы ячмень и хмель?“, чему генерал-фельдцейхмейстер, хотя во всем прочем был господин сурьезный, изрядно посмеялся. Я же подумал: «Ежели подполковник рассказывает графу о таких дурачествах и проказах, то уж, верно, не умолчал о том, что я еще натворил!». Но тут я получил аудиенцию.

А когда генерал-фельдцейхмейстер спросил меня, в чем же состоит мое представление, я отвечал: «Милостивый господин! Хотя мой поступок и справедливый приказ и указ вашей светлости навлекают на меня смертную казнь, однако ж всепокорнейшая верность, кою, не щадя живота, надлежит мне оказывать моему всемилостивейшему государю Его Римскому императорскому величеству, повелевает мне любыми путями и средствами, какие только откроются моему ничтожеству, чинить вред неприятелю и способствовать пользе и успехам оружия Его высокореченного Римского императорского величества». Граф перебил меня, спросив: «А не ты ли наведни доставил мне арапа?». Я ответил: «Вестимо, милостивый господин!». Тогда он сказал: «Твое усердие и верность, может стать, заслуживают того, чтобы даровать тебе жизнь, но в чем же все-таки состоит твой умысел выкурить неприятеля из сего укрепленного места без особенной потери времени и войска?». Я ответил: «Понеже местечко сие не способно устоять противу тяжелой артиллерии, то ничтожество мое посему заключает, что неприятель скоро запросит пардону, коли уверится в том, что мы обзавелись осадными пушками». «Дурацкие это речи, — заметил граф, — да кто ж сумеет их так убедить, чтобы они

тому поверили?». Я отвечал: «Их собственные глаза! Я наблюдал в першпективную трубку за их караулами; их можно обмануть, ежели поставить на телеги с сильной упряжкой колоды, похожие на колодезные трубы, и вывезти в поле, то им сразу померещится, что это тяжелая артиллерия, особливо когда ваша графская светлость еще прикажет пошанцевать кое-где в поле, как если бы хотели укрепить там пушки». «Любезный мой юнец! — возразил граф. — Там засели не дети; они не поверят такой блазни, а захотят услышать, как грохочут эти пушки». «А ежели сия проделка не удастся, — сказал он, обратившись к стоящим вокруг офицерам, — то станем мы посмешимся всего света». Я ответил: «Милостивый господин! Я-то уж произведу в их ушах пальбу из пушек, стоит только мне раздобыть несколько добрых пищалей да порядочной величины бочку; а иначе, конечно, без пальбы не достичь никакого эффекта. А когда, паче чаяния, дело не выгорит и ничего, кроме осмеяния, не получится, то я, по чьей инвенции сие учинено было, как мне уже и без того надлежит умереть, прихвачу с собой эту насмешку на виселицу и пушу на ветер вместе с моей жизнью». И хотя граф не хотел давать на то своего согласия, однако мой подполковник склонил его к сему, представляя, что я весьма удачлив в подобных проделках, так что он почти не сомневается, что мне посчастливится учинить и такую потеху. Того ради повелел ему граф распорядиться по своему усмотрению всем, что надлежит, добавив в шутку, что вся слава, которую он добудет в этом деле, ему одному и достанется.

Итак, разыскали три колоды, какие были надобны, и перед каждою впрягли по 24 лошади, хотя и пары было бы довольно, а под вечер провели их на виду у неприятеля; меж тем промыслил я также три пищали¹ и пороховую бочку, которую добыли в замке, и, устроив все, как того хотел, ночью же доставил к нашей диковинной артиллерии. В пищали вложил я двойной заряд и приказал стрелять через сказанную бочку (у коей выбили переднее донце), как если бы надлежало подать три сигнальных выстрела; а сие так возгремело, что всяк бы накрепко побожился, что то были фальконеты² или полукартауны.³ Наш генерал-фельдцейхмейстер, гляючи на такую дурацкую мороку, принужден был от всего сердца рассмеяться, однако ж велел снова предложить неприятелю договориться о сдаче, присовокупив, что ежели они в тот же вечер не покорятся, то поутру им придется куда солонее. Засим вскорости прибыли от обеих сторон посланцы, заключен договор, и еще в ту же самую ночь отворены городские ворота, что доставило мне особливую приятность, ибо граф тотчас же не преминул показать, сколь высоко он меня ценит; он не только даровал мне жизнь, коей я в силу его строжайшего запрещения должен был лишиться, но и повелел в ту же самую ночь предоставить мне полную свободу, приказав в моем присутствии подполковнику, чтобы он вручил мне первый же прапор, который окажется празд-

ным, что тому было весьма неспособно, ибо у него водилось такое множество зятьев и свойственников, подыскивавшихся к такой чести, что я никогда не мог бы раньше их сего дожидаться.

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций, не ведая, в чем тут утеха,
Заводит амуры скорее для смеха.*

Во время этого похода мне не повстречалось больше ничего, примечания достойного. А когда я снова воротился в Зуст, то гессенцы, из Липпштадта угнали у меня с луга вместе с конем и конюха, которого я оставил на постое стеречь мои пожитки. От него-то противник и выведал все мои дела и поступки; а посему они возымели ко мне еще большее почтение, нежели прежде, ибо, наслушавшись всеобщей молвы, и впрямь уверовали, что я умею колдовать. Он также объявил им, что был одним из тех чертей, которые до смерти напугали в овчарне егеря из Верле. А когда помянутый егерь об этом узнал, то так устыдился, что снова дал тягу и переметнулся к голландцам. Но для меня было большим счастьем, что конюх мой попал в плен, как станет известно из дальнейшего течения моей истории.

Возымев знатную надежду вскорости получить прапор, я начал пещись о своей репутации и вести себя более чинно, нежели прежде. Мало-помалу стал я водить компанию с офицерами и молодыми дворянами, кои метили как раз на то же, что, как я возомнил, мне скоро достанется. По этой причине сделались они злейшими моими врагами, хотя, напротив того, казали вид, будто они лучшие мои друзья; также и подполковник был не очень-то ко мне благосклонен, ибо получил приказ произвести меня в обход своих родичей. А полковник охладел ко мне, оттого что лошади, платье и оружие были у меня куда великолепнее, нежели у него самого, и я больше не подносил старому скупердю таких щедрых подарков, как раньше. И он охотнее поглядел бы, как мне на днях снесли бы голову, нежели услышал, что мне обещан прапорец, ибо помышлял о том, чтоб унаследовать моих лошадок; а лейтенант мой возненавидел меня за одно только слово, которое я безрассудно вымолвил. А случилось это так. Во время последней кавалькады мы были назначены вместе в отводной караул.¹ А когда я заступил караул (в который, невзирая на темную ночь, пришлось залечь), то лейтенант приполз ко мне на брюхе, словно змея, и сказал: «Часовой, ты что-нибудь приметил?». Я отвечал: «Да, господин лейтенант!». «Что такое? Что такое?» — зашептал он.

Я отвечал: «Я заметил, что господину боязно». С того времени лишился я всякого его благоволения, и там, где было всего жарче, туда-то меня в первую голову и посылали; везде и всюду искал он случай и повод вышибить из меня дух, прежде чем я сделаюсь фендриком, ибо против его происков не мог я себя ничем защитить. Не менее того злобились на меня и все фельдфебели, ибо я был предпочтен им всем. А что до простых рейтаров, то их любовь и дружба также поколебались, ибо, по всей видимости, можно было заключить, будто я их презрел, ибо, как о том было уже сказано, меньше водил с ними компанию, а подбивался к большим господам, коим не стал оттого любезней. Горше всего было то, что не сыскалось ни одного человека, который открыл бы мне, как всяк на меня досадует; а сам я того не мог приметить, ибо тот, кто говорил мне в лицо самые лучшие слова, охотнее всего увидал бы меня мертвым. А посему жил я все равно, как слепой, и час от часу становился все заносчивей, и хотя уже знал, что тому или другому не по сердцу, когда я превосходил в роскоши знатных и благородных офицеров, однако ж сие меня не удерживало; и я не устыдился, как только стал разводящим, напялить на себя колет ценою в шестьдесят рейхсталеров, красные кармазиновые штаны и белые атласные рукава, сплошь расшитые золотом и серебром, как в те времена было в обычае у высших офицеров, чем всякому колол глаза. Был я тогда ужасным молодым дурнем, который выпускал зайцев из кармана,² вместо того чтобы вести себя толком, и ежели бы денежки, которые я из простой спеси и без всякой пользы навешивал на себя, истратил бы на то, чтобы подмазать, где следовало, то не только вскорости получил бы прапор, но и не нажил бы себе такое множество врагов. А вдобавок я на этом не остановился, а убрал лучшего своего коня, того самого, которого Шпрингинсфельд добыл у гессенского ротмистра, таким седлом, сбруей и оружием, что когда я восседал на нем, то меня можно было почесть за второго святого рыцаря Георгия.³ Ничто так не досаждало мне, как то, что я не могу облачить моего конюха и слуг в собственную ливрею. Я помыслил: «Всему свое начало: когда у тебя есть герб, то у тебя будет и своя ливрея; а когда ты станешь фендриком, то сможешь обзавестись собственной печатью, хотя ты и не дворянин». Я недолго томил себя такими мыслями, как схлопотал себе через *comitem Palatinum*⁴ герб: три красных личины на белом поле,⁵ а на шлеме поясное изображение молодого дурня в телячьем одеянии с парой заячьих ушей, украшенных спереди бубенцами, ибо полагаю, что сие всего более подходило к моему имени, ибо звали-то меня Симплициусом. Такое употребление вознамерился я дать моему шутовству, чтобы, достигнув будущего высокого положения, прилежно и неотступно вспоминать, что за птица был я в Гану, дабы не слишком-то вдаваться в спесь, ибо я уже и сейчас возомнил, что гусь свинье не товарищ. Итак, наконец-то приобрел я надлежащее имя, ро-

дословие и герб, и ежели кому-либо взошло бы на ум меня тем укорить, то, нет сомнения, предложил бы я ему на выбор либо шпагу, либо пару пистолетов.

Хотя я в то время еще не помышлял о женщинах, однако ж отправлялся вместе с теми дворянчиками, которые посещали неких девиц, во множестве обитавших в городе, дабы покрасоваться и покичиться красивыми своими локонами, платьем и султаном. Должен признаться, что за мое обличье меня предпочитали всем прочим, но притом доводилось и слышать, как развращенные потаскухи сравнивали меня с красивой хорошо обструганной деревянной куклой, у коей, кроме наружной красоты, нет ни силы, ни сока; ибо, помимо того, не было у меня ничего, что пришлось бы им по вкусу. Итак, я, кроме игры на лютне, ничего не мог учинить или произвести, что доставило бы им приятность, ибо еще ничего не ведал о любви. А когда те, что увивались возле девок, дабы снизить их благоволение и похвастать своим красноречием, насмеялись над моею неловкостью и одеревенелостью, то я возражал, что мне довольно, когда я могу потешить себя блестящей саблей и добрым мушкетом. А когда под конец и девки одобрили такие мои речи, то сие так раздосадовало молодых, что они тайно поклялись предать меня смерти, невзирая на то что среди них ни у кого не достало мужества послать мне вызов или подать повод к тому, чтобы я вызвал одного из них, для чего довольно было бы нескольких оплеух или чувствительных слов; а как я еще швырял деньгами, то девки рассудили, что я достойный юноша, а также говорили не обинуясь, что ради моего обличья и достохвального образа мыслей одно мое слово больше значит для девицы, нежели все прочие комплименты, которые когда-либо изобретал Амур, что еще больше озлобляло всех присутствующих.

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций находит в погребѣ клад,
Что некогда был колдуном заклят.*

У меня было два прекрасных коня, которые в то время составляли всю мою радость на свете. Во все дни выезжал я на них на манеж или просто на прогулку, когда был свободен; и поступал так не для того, что еще была надобность обьезжать лошадей, а чтобы люди могли подивиться, какие добрые твари принадлежат мне. А когда я во всем великолепии гарцевал по какому-нибудь переулку или, вернее, конь вытанцовывал там со мною и глупый народ пялил на меня глаза и толковал между собой: «Гляди-ко, да это егерь! Ах, вот так лошадь! Ах, какой красивый сул-

тан!» или «Провал возьми! Вот изрядной детина!», то я изо всех сил навастривал уши и так услаждал свой слух, как если бы сама царица Савская¹ Никаула уподобила меня премудрому Соломону в его высоком присутствии. Но я, дурень, не слышал, как, быть может, в то же самое время судили обо мне разумные и опытные люди и что говорили мои недоброжелатели. Сии последние, нет сомнения, желали, чтоб я сломил себе шею и ноги, ибо ни в чем не могли со мною сравняться. Иные же, наверно уж, полагали, что ежели бы всяк получал по заслугам, то я так бешено не разъезжал бы. Одним словом, самые умные несомненно почитали меня молодым дуралеем, чья спесь недолговечна, ибо покоится на худом фундаменте и держится одной ненадежной добычей. И коли мне надлежит сказать все по правде, то должен признаться, что сии последние судили не несправедливо, хотя я этого тогда не разумел, ибо мог своему противнику или антагонисту задать хорошенько перцу, подобно простому доброму солдату, хотя тогда я был еще сущим ребенком. Но я вознесся столь высоко по той причине, что в теперешнее время ничтожнейший мальчишка с конюшни может убить нахрабейшего в целом свете героя;² не был бы до сего времени изобретен порох, так я сидел бы смирехонек.

Когда я таким образом разъезжал повсюду, вошло у меня в обыкновение обрыскивать все дороги и тропы, все рвы, болота, кустарники, холмы, ручьи и озера, старательно все примечать и удерживать в памяти, дабы в будущем, когда в том или ином месте случится стычка с неприятелем, мог бы с пользою сообразоваться с местностью ровно как в *offensive*, так и в *defensive*.³ С таким намерением проезжал я однажды недалеко от города мимо старых развалин, на месте коих некогда стоял дом. Я тотчас же подумал: «Вот удобное местечко, где можно устроить засаду или куда ретироваться, особливо же нам, драгунам, когда нас одолеют рейтары или принудят к бегству». Я въехал в покосившийся двор, чтобы посмотреть, можно ли в случае нужды там укрыться с лошадьми или обороняться спешившись. И когда я, чтобы хорошенько все высмотреть, вознамерился проехать к погребу, стены которого еще хорошо сохранились, то конь мой задичился, и ни лаской, ни жестокостью не смог я его побудить повернуть куда надо, хотя обыкновенно он не обнаруживал ни малейшего страха. Я колол его шпорами, так что мне даже стало его жалко, но ничто не помогало, и он не двигался с места. Я сошел с коня и взял поводья в руку, чтобы свести его вниз по обсыпавшимся ступеням, чего он боялся, с тем, чтобы снова его туда направить. Но он изо всей мочи отпрянул назад; все же под конец ласковыми словами и поглаживанием удалось мне свести его вниз, и когда я его ласкал и гладил, то заметил, что он от испуга покрылся потом и неотступно смотрел в угол погреба, куда совсем не желал идти и где я не видел ничего, что могло бы вспугнуть самую норовистую

лошадь. А когда я стоял так в изумлении, взирая на коня, который дрожал от страха, на меня самого напал такой ужас, не иначе как если бы кто внезапно схватил меня за волосы и вылил на меня полный ушат холодной воды. Однако ж я не мог ничего рассмотреть; конь же повел себя еще диковиннее, так что я уже не мог помыслить ничего иного, как только то, что, быть может, буду тут вместе с ним околдован и найду себе конец в сказанном погребе. Того ради решил я повернуть назад, но конь мой и тут заартачился, отчего мой ужас еще умножился, и я так обомлел, что едва понимал, что делаю. Под конец положил я на руку пистолет и привязал коня к крепкой бузине (которая росла посреди погребка) в намерении выйти наружу и поискать поблизости людей, которые бы помогли мне вывести лошадь; и меж тем, как я обретался в погребке, вошло мне на ум, а не скоронен ли в этих старых стенах какой-нибудь клад, отчего тут и не чисто. Я поверил такой догадке, прилежно огляделся вокруг и тотчас же в том самом углу, куда ни за что не хотел идти конь, приметил, что часть стены примерно такой величины, как обыкновенный домашний сундук, которая по своему цвету и кладке со всеми другими стенами была не во всем схожа. Но когда я вознамерился туда пойти, то со мной повторилось то же самое, так что волосы мои ошетились, но сие еще больше укрепило и утвердило меня в догадке, что именно тут, должно быть, сокрыт клад.

Десять, да что там, и сто раз охотней побывал бы я в перестрелке, нежели выстоять такой страх. Меня мучали, а я не знал кто, ибо ничего не видел и не слышал. Я взял с седла и другой пистолет и хотел уйти, оставив лошадь, однако ж не мог подняться по ступенькам, ибо, как мне померещилось, навстречу мне пахнул сильный ветер; вот тут-то и впрямь мне словно кошка вцепилась в загривок. Под конец вошло мне на ум разрядить оба пистолета, чтобы работавшие поблизости мужики прибежали ко мне на выручку и пособили советом и делом. Так я и поступил, ибо больше не было у меня ни средства, ни способа, ни надежды как-нибудь вырваться из этого страшного заколдованного места. Я так разозлился или, вернее, так перетрусил (ибо я и сам не знал, что со мною творится), что, стреляя, направил свои пистолеты прямо на то место, где, как я предполагал, была заложена причина моего странного приключения, и всадил в помянутую часть стены две пули с такою силою, что пробил дыру, в которую можно было просунуть два кулака. А когда раздался выстрел, то заржал мой конь и наострил уши, что меня сердечно утешило; уж не знаю, то ли чудище или привидение исчезло, либо бедная животина так обрадовалась выстрелу, но у меня разом отлегло от сердца, и я без всякого страха и препятствия подошел к отверстию, которое пробили мои пули. Тут начал я рушить стену, покуда не обрел столь богатый клад серебра, золота и драгоценных камней, что мне и по сей день жилось бы хорошо, когда б сумел я надлежащим образом

его сохранить и употребить. Тут было шесть дюжин серебряных застольных кубков старинной работы, большой золотой бокал, несколько стаканов для игральные костей, четыре серебряные и одна золотая солонка, старинная золотая цепь, различные алмазы, рубины, сапфиры и смарагды как в кольцах, так и в других драгоценных уборах; *item* целый ларец, полнехонек окатистым жемчугом, только все испорчены или иссохли; еще в заплесневевшем кожаном мешке восемьдесят старейших ефимков из чистого серебра, затем 893 золотых с французским гербом и орлом, а какие это монеты, никто не мог распознать, ибо, как уверяли, нельзя было прочесть, что на них написано. Все эти монеты, кольца, драгоценности насовал я в карманы, сапоги, штаны и пистольную сумку, и так как не взял я с собою мешка, ибо выехал ради одной забавы, то срезал с седла чапрак (который был сшит с подкладкой, так что мог служить заместо мешка) и запихал в него остальную серебряную утварь, повесил себе на шею золотую цепь, сел весело на коня и поскакал к нашим квартирам. А когда я выезжал со двора, то приметил двух мужиков, которые, завидев меня, хотели удрать; я же с легкостью догнал их, ибо три пары ног да чистое поле весьма тому способствовали; и спросил их, отчего они пустились наутек и чего ради обуял их такой страх. Тогда признались они, что им померещилось, будто я тот самый призрак, который обитает в здешнем запустелом барском дворе и престоко отделяет тех, кто слишком близко к нему подступится. А когда я стал далее расспрашивать обо всех обстоятельствах, то они отвечали, что из страха перед этим чудищем никто по многу лет не заглядывал на сказанный двор, разве что заблудится и ненароком забредет туда какой-нибудь чужеземец. По всеобщей молве,⁴ там спрятан железный сундук, полный денег, который стерегут черный пес и проклятая дева; и, как гласит древнее предание, да и они сами слыхивали от дедов, должен объявиться в той местности чужеземный дворянин, который не ведает ничего о своем отце и матери, освободить деву, отпереть огненным ключом железный сундук и завладеть спрятанными деньгами. Подобных нелепых историй насаждали они мне немало, присовокупив, что еще не слыхивали, чтобы кто-нибудь без вреда или какого приключения там побывал и счастливо возвратился, не натерпевшись чрезвычайного страха, который нагнало на него ужасное чудище. Правда, еще на их памяти некоторые бродячие подмастерья и заклинатели бесов отправились туда копать клад, однако ж были столь странно встречены и спроважены, что с тех пор ни у кого не стало охоты искать там сокровище, особливо как пошел слух, что оно дастся в руки лишь тому, кто ни разу не отведал женского молока. Я сказал, так, верно, придется ему лежать там до скончания мира. «А кто же сказал вам, что там обитает проклятая дева?». Мужики отвечали: «Несколько лет тому назад девчонка из их деревни пасла на луговине неподалеку от того места коз. А когда одна из них

отбилась и забежала в сказанный двор, девчонка, которая ничего не знала о чуде, погналась за нею, чтобы вернуть в стадо; тут к ней вышла Дева и спросила, что ей тут надобно, и когда девчонка ответила, что хотела разыскать козу, которая сюда забралась, то Дева показала ей полный короб вишен, промолвив: „Ступай и возьми то, что видишь перед собою, и уведи козу; но не возвращайся и не оглядывайся назад, чтобы с тобою не приключилась беда!“. Эти слова напугали девчонку, и в таком страхе схватила она семь вишен, которые, как только она вышла из развалин, превратились в монеты».

Засим спросил я у мужиков, а что им обоим тут было надобно, когда они все равно бы не посмели заглянуть в развалины. Они ответили, что слышали выстрел и громкий крик, вот и прибежали посмотреть, что тут творится. А когда я сказал им, что я выстрелил в такой надежде, что люди придут ко мне на помощь, ибо и мне также стало довольно страшно, однако ж я не слышал никакого крика, то они ответили: «Долгонько пришлось бы стрелять в этом замке, покуда прибежал бы сюда кто-нибудь из соседей; и, по правде, здесь повелось столь затейливые чудеса, что мы ни за что не поверили бы молодому барину, будто он там побывал, ежели б не увидели своими глазами, как он оттуда выехал». Засим захотели они выведать у меня множество вещей, особливо же что там внутри творится и видал ли я Деву и черного пса возле железного сундука, так что когда я пожелал бы прихвастнуть, то мог бы им наврать с три короба всяких диковин; однако ж я не поведал им даже самой малости, особливо же что обрел драгоценный клад, а поскакал своей дорогой к нашим квартирам, посматривая на свою находку, которая меня сердечно радовала.

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций страшится покражи денег,
Не хочет остаться без них худенек.*

Те, кому ведомо, в какой цене деньги, и посему почитают их своим богом, не имеют к тому и малейшей причины, ибо если кто в целом свете познал их силу и божественные добродетели, так это я. Я знал, как чувствует себя тот, у кого их порядочный запасец; но не раз доводилось мне также испытать, каково на сердце у тех, у кого нет ни единого геллера. И я даже берусь утверждать, что деньги обладают большею силою и способностями, нежели все добродетели и свойства, коими наделены драгоценные камни;¹ ибо, подобно алмазу, они рассеивают всяческую меланхолию, подобно смарагду, возбуждают охоту и любовь к ученым заня-

тиям,² а посему сынки богачей и становятся чаще студентами, нежели дети бедняков. Подобно рубину, они уничтожают робость³ и делают людей веселыми и счастливыми; подобно гранату,⁴ могут нередко отнять сон и, напротив, подобно гиацинту,⁵ способны доставить сон и покой; они укрепляют мужество и прогоняют все напрасные тревоги, вселяют в сердце радость, бодрость, благонравие и милосердие, подобно сапфирам⁶ и аметистам;⁷ они прогоняют дурные сновидения, веселят, острят разум и помогают, как сардус,⁸ одержать победу в тяжбах, особливо ежели хорошенько подмазать судью. Они усмиряют похоть и нецеломудренные желания, особливо ежели с их помощью заполучить хороших бабенок. Одним словом, всего и не перечислишь, чего можно достичь, обладая любезными денежками, ежели только уметь правильно их держать и расходовать, как о том мне уже доводилось писать в трактате «Черное и белое».

А что до меня надлежит, то все добытое мною как грабежом, так и обретенным сего клада было диковинного свойства, ибо сделало меня еще более заносчивым, нежели прежде, и во мне вызвало превеликую досаду, что я должен носить одно только имя Симплициус. Сие лишило меня сна, подобно как от действия аметиста; и я целые ночи напролет прикидывал, что бы такое устроить и приобрести еще больше. Все сие сделало меня искусным арифметиком, ибо я подсчитывал, сколько может стоить серебро и золото, которое было у меня не в монетах; складывал все это с тем, что было припрятано у меня в различных местах, и еще с тем, что я держал при себе в мешке; в итоге же, не считая драгоценных камней, получалась изрядная сумма. Сие богатство дало мне изведать все свое врожденное плутовство и злую природу, должным образом растолковав мне пословицу: у кого всего много, тот всегда желает еще большего, так что превратило меня в совершенного скупердя, которого всяк должен был возненавидеть. И оно-то втемяшило в меня различные дурацкие затеи и диковинные мечтания, однако ж ни единому из тех замыслов я не последовал. Как-то взошло мне на ум, что должен я рассчитаться с войною, где-либо осесть да поглядывать из окна, высунив свое неумытое рыло. Но я тотчас же раскаялся в таких мыслях, особливо же когда рассудил, какую распривольную жизнь я веду и какую питаю надежду со временем стать большим барином. «Эге, Симплиций, возведи себя в дворянство, наwerbовав из своего кошелька отряд драгун императору — вот и готов молодой господин, который со временем вознесется еще выше!». Но когда я принимал в соображение, что мое величие может разлететься в первой же неудачной схватке или вскорости быть низвергнутым вместе с войною при заключении мира, то у меня пропала к тому всякая охота. Тогда принялся я мечтать, как бы скорее прийти в совершенный мужской возраст. «Вот когда ты возмужаешь, — сказал я самому себе, — то возьмешь красивую, молодую, богатую жену,

а там купишь какое ни есть дворянское поместье да и заживешь на покое». Я собирался разводить скот и честным путем получать большой барыш; но коль скоро мне было известно, что я для того еще слишком молод, то принужден был оставить и сие намерение. Сих и подобных тому замыслов было у меня немало, покуда, наконец, я не решил лучше схоронить свои вещи где-либо в хорошо защищенном городе у надежного человека и с твердостью ожидать, что далее пошлет мне Фортуна. Тогда я еще держал при себе Юпитера, ибо никак не мог от него отделаться; он же по временам вел весьма сублильные речи и несколько недель был в полном разуме, а также безмерно полюбил меня, ибо я сделал ему немало добра; и как теперь он видел меня в беспрестанной задумчивости, то и обратился ко мне с такими словами: «Любезный сын! Раздари-ка ты лучше свое награбленное богатство со всем золотом и серебром!». Я сказал: «А чего ради, любезный Иове?». «А для того, — отвечивал он, — чтобы приобрести себе таким образом друзей и избавиться от бесполезных забот». Я же сказал, что охотней бы приумножил и то, что имею. «Как знать, на что мне оно пригодится?». Он же сказал: «Гляди, сын, где ты больше нахватаешь; но на такой стезе не обретишь ты до конца дней ни друзей, ни покоя. Оставь скупость старым скрягам, ты же веди себя, как надлежит бравому молодцу; тебе куда более надо печалиться, что ты оскудел друзьями, нежели деньгами». Я помыслил о сем и хотя нашел, что Юпитер рассудил справедливо, но скупость уже так одолела меня, что вовсе не хотел что-либо раздаривать. Все же под конец я преподнес коменданту несколько серебряных и позолоченных стаканчиков для игры в кости, моему полковнику несколько серебряных солонок, чем не достиг у них ничего, как только растравил их жадность к тому, что у меня оставалось, ибо то все были редкостные старинные вещи. Моему верному камраду Шпрингинсфельду презентовал я двенадцать рейхсталеров; он же мне присоветовал схоронить богатство где-либо подальше, а не то ждать себе беду, ибо офицеры косо посматривают, когда у простого солдата заводится денег больше, чем у них. Также доводилось ему видеть, как ради денег один камрад тайком убивал другого; а до сего времени я мог с легкостью хранить в тайне то, что удавалось нахватать и накопить из добычи, ибо всяк думал, что я все снова растранижил на платье, коня и оружие, теперь же я не мог никому втереть очки или убедить в том, что у меня не осталось денег, ибо всяк воображал найденный клад куда больше, чем он был на самом деле, а вдобавок я стал куда меньше швырять деньгами, нежели прежде. И ему, Шпрингинсфельду, доводилось слышать, какая молва шла среди драгун; на моем-де месте он позволил бы войне идти своим чередом, а сам поселился бы, где безопаснее, да положился на волю божию. По его мнению, не следовало мне долее испытывать Фортуну, довольно добыл я себе чести и всякого добра и так преуспел

во всех своих делах, как это удавалось едва ли одному из тысячи. Я отвечал: «Послушай, брат! Как же могу я так легко расстаться с надеждой сделаться фендриком?». «Вот, вот, — сказал Шпрингинсфельд, — да пропади я пропадом, когда ты получишь прапор; другие, кто так же, как и ты, к нему тянутся, сто раз пособят тебе сломать шею, когда увидят, что один освободился и ты должен его получить. Не учи меня ловить карпов, у меня самого отец был рыбак! Уж положишься, братец, на меня! Я-то больше повидал, как все ведется на войне, нежели ты! Али не видишь, что иной фельдфебель поседел возле своей алебарды, хотя и отличился перед прочими в походах; али ты полагаешь, что они не такие молодцы, чтобы на что-нибудь надеяться? К тому же им и по праву причисляется такое произвождение, что ты и сам признаешь». Я принужден был смолчать, ибо Шпрингинсфельд с такою преданностью от всего чистого немецкого сердца сказал мне сущую правду и ни в чем не лицемерил; но втайне я стиснул зубы, ибо премного тогда возомнил о себе.

Все же я прилежно рассмотрел его слова, а также речи моего Юпитера, помыслив, что нет у меня ни одного закадычного друга, который подоспел бы ко мне на помощь в нужде, а коли меня убьют, так тайно или явно отомстил бы за мою смерть. Также с легкостью мог я принять в соображение все обстоятельства, каковы они были на самом деле; однако ж ни мое честолюбие, ни жадность к деньгам и еще более того надежда возвыситься не дозволяли мне расквитаться с войною и обрести себе покой; но я утвердился в прежнем своем намерении, и, так как в то самое время представился случай побывать в Кельне (ибо я был наряжен вместе с сотней драгунов конвоировать туда купцов с товарами из Мюнстера), уложил я свои найденные сокровища, забрал их с собой и отдал на хранение тамошнему самому богатому купцу, от коего получил особливую законную расписку. Там было чистого нечekanного серебра на семьдесят четыре марки, пятнадцать марок золотых, восемьдесят ефимков, да в особливом запечатанном ларце кольца и драгоценные вещи, всего со всем золотом и камнями восемь с половиной фунтов весом, вместе с восьмьюстами девяноста тремя старинными золотыми монетами, из коих каждая весила столько же, сколько полтора золотых гульдена. Моего Юпитера я также захватил с собою, ибо он этого весьма желал и в Кельне у него были знатные родственники. Перед сими последними выхвалял он благодеяния, которые я ему оказывал, и побудил их принять меня с превеликою честью. Мне же он не переставал твердить, что надлежало лучше употребить деньги и приобрести себе друзей, кои доставили бы мне больше пользы, нежели золото в ларе.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплициус, егерь, в плен снова захвачен,
Но не дает он себя околпачить.*

На возвратном пути обдумывал я на все лады, как надлежит мне поступить, чтобы все благоволили ко мне, ибо Шпрингинсфельд запустил мне в ухо пребеспокойную блошку, уверив, что всяк мне завидует, как оно, по правде, и было. Также вспомнил я, что мне присоветовала знаменитая ворожейка в Зусте, отчего меня стало одолевать еще большее раздумье. И вот подобными размышлениями изострил я свой ум и убедился, что человек, который живет без забот, почти подобен скотине. Я доискивался, по какой причине тот или иной должен был меня возненавидеть, и принимал в соображение, как мне к каждому из них подступиться, дабы вернуть его благоволение, и немало дивился иным притворщикам, кои, не питая ко мне никакой любви, осыпали меня словами чистейшего расположения. Того ради умыслил я притворяться, как и другие, и говорить всякому то, что ему больше всего по нраву и доставляет приятность, а также оказывать каждому почтение, хотя бы к нему у меня вовсе не лежало сердце; особливо же я уразумел, что собственная моя заносчивость по большей части и обременяла меня врагами. Посему почел я, что надобно вновь прикинуться тихоней, хотя им и не был, якшаться по-прежнему с простыми солдатами, держать шляпу пониже перед высшими, да поменьше роскошествовать в нарядах, покуда не перемену своей должности. У купца в Кельне я взял сто талеров, которые должен был возвратить ему с интересом, когда он мне снова вручит мои сокровища; половину этих денег я намеревался раздать конвою, ибо наконец-то понял, что скупостью не приобретешь себе друзей. Подобным же образом решил я переменить свою жизнь и положить начало сему еще на дороге. Но я вознамерился устроить пирушку без хозяина, и все мои замыслы разом пошли прахом. Ибо когда мы проезжали горной дорогой, то нас подстерегли в особливо удобном для сего месте восемьдесят мушкетеров и пятьдесят рейтаров, как раз когда я с отрядом всего в пять душ вместе с капралом был послан вперед произвести рекогносцировку. Когда мы поравнялись с засадою, то неприятель затаился и пропустил нас вперед, чтобы, напав на нас, не предупредить конвой до тех пор, пока сами не нападут на него; но послали вслед за нами корнета с шестью рейтарами, которые не упустили нас из виду, покуда остальные не напали на конвой, а мы поворотили назад, чтобы показать и свою отвагу. Тут-то они и устремились на нас и закричали, не хотим ли мы к ним на постой? Что до меня, то я был хорошим наездником и подомной был лучший из моих коней, но я не захотел пускаться наутек, а скакал вокруг по небольшой равнине, высматривая, нельзя ли тут чем-

нибудь заслужить честь. Меж тем я тотчас же смекнул по залпу, которыми встретили наших, какая поднялась заваруха, и посему решил обратиться в бегство, однако корнет все предусмотрел и сразу отрезал мне путь; и когда я захотел пробиться вперед, то он, приняв меня за офицера, снова предложил пойти на постой. Я помыслил: «Сохранить жизнь лучше, чем идти на ненадежный риск», а потому спросил, хочет ли он взять меня на постой, как честный солдат? Он ответил: «Да, по справедливости!». Итак, презентовал я ему свою шпагу и сдался в плен. Он тотчас же спросил меня, кто я такой, ибо почел меня за благородного, а следовательно, за офицера. А когда я ему ответил, что меня прозвали егерем из Зуста, то он сказал: «Ну, так тебе повезло, что ты не попался нам недельки за четыре; тогда бы я не смог предоставить тебе квартиру, ибо у нас тебя еще все почитали отъявленным колдуном!».

Сей корнет был доблестным молодым кавалером и старше меня не более чем двумя годами. Он не весть как обрадовался, что ему выпала честь взять в плен знаменитого егеря, а посему весьма добросовестно сдержал свое обещание на манер голландцев, у коих было в обычае не залезать в пояс к пленным гишпанцам и ничего у них не брать; и он был так учтив, что ни разу не подверг меня визитации, я же был столь деликатен, что сам извлек денежки из сумы и предложил им устроить дележку; а также сказал тишком корнету, пусть он потщится, чтобы ему достался мой конь, седло и сбруя, ибо в седле он найдет еще тридцать дукатов, а конь у меня и без того такой, что подобного ему навряд сыщешь. От этого корнет стал ко мне так благорасположен, как если бы я доводился ему родным братом; он сразу же вскочил на моего коня, а мне дозволил ехать на своем. Наш же конвой потерял не более шести человек убитыми, да тридцать были взяты в плен, из них восемь раненых; остальные же пробились, но у них не достало мужества попытаться отбить добычу в чистом поле, что они могли бы довольно легко совершить, ибо все были на лошадях.

Когда поделили добычу и пленников, шведы и гессенцы в тот же вечер разошлись в разные стороны, ибо они были из разных гарнизонов. Меня, капрала и еще трех драгун получил корнет, так как взял нас в плен; после чего препроводил в крепость,¹ расположенную меньше чем в двух милях от нашего гарнизона. И так как я в тех местах раньше немало набедокурил, то имя мое было там хорошо известно, и меня больше боялись, нежели любили. Когда мы завидели город, то корнет выслал вперед рейтара, чтобы известить коменданта о своем прибытии, а также доложить, как было дело и кто взят в плен, что произвело в городе такую суматоху, что и сказать нельзя, ибо всяк хотел поглядеть на егеря, умевшего вытворять всякие чудеса. Тут кто говорил обо мне одно, кто другое, и все было не иначе, как если бы какой-нибудь великий потентат вздумал туда пожаловать.

Мы, пленники, были тотчас же приведены к коменданту, который весьма дивился моей юности. Он спросил меня, не служил ли я когда у шведов и где моя родина. А когда я ему сказал по правде, то захотел узнать, нет ли у меня желания снова перейти на их сторону. Я отвечал, что мне все едино, но понеже я учинил присягу августейшему императору, то думаю, что подобает ее хранить. Засим повелел он отвести нас к смотрителю, однако разрешил корнету устроить на своем иждивении нам вечером пирушку, ибо я раньше подобным же образом угощал своих пленников, среди которых был и его брат. А когда наступил вечер, то различные офицеры, как благородные кавалеры, так и солдаты Фортуны, сошлись все вместе у корнета, который велел позвать меня и капрала; и должен признаться, по правде, они потчевали меня с величайшей учтивостью. Я так веселился, как будто ничего не потерял, и вел такую откровенную и дружескую беседу, как если бы находился среди лучших друзей, а не был пленником у врагов; присем старался я соблюдать приличествующую скромность, насколько мне сие удавалось, ибо легко мог себе представить, что коменданту снова донесут о моем поведении, что и случилось, как я потом узнал.

На другой день все мы, пленники, поодиночке предстали перед полковым судьей, который учинил нам допрос. Капрал был первым, я вторым. Едва я вошел в залу, как стал он дивиться моей молодости и сказал с укоризною: «Дитя мое! чем тебя обидели шведы, что ты стал с ними воевать?». Это весьма меня раздосадовало, особливо же как я приметил у них столь же юных солдат, как я сам, а посему отвечал: «Шведские солдаты отняли у меня глиняные шарики или пульки,² а мне хотелось заполучить их обратно». А когда я ему таким родом отрезал, устыдились некоторые, сидящие с ним офицеры, ибо один из них заговорил по-латыни, что надлежит поговорить со мною о серьезных делах, он довольно слышался, что перед ним не ребенок. Тут я приметил, что его зовут Евсебиус, ибо так называл его помянутый офицер. Тогда судья спросил меня о моем имени, и когда я назвался, то заметил: «Ни одного черта в преисподней не зовут Симплиссимусом!». На это я отвечал: «Чаятельно, в аду нет никого, кто бы звался Евсебиусом!». Таким образом изрядно отплатил ему, как некогда нашему полковому писарю Кирияку,³ что, однако ж, не пришлось по вкусу офицерам, ибо они заметили, что мне надлежит помнить, что я нахожусь в плену и призван к ним не для шуток. Но сие напоминание не заставило меня покраснеть или просить у них прощения, а побудило сказать в ответ, что ежели они считают меня пленным солдатом, а не дитятей, которого надо отпустить домой, то мог бы ожидать, что они надо мной не станут подшучивать, словно над младенцем; как меня спрашивали, такой я и ответ держал, однако же надеюсь, что мне не будет за то оказано несправедливости. Затем спрашивали они меня о моем отечестве, происхождении и роде, особливо же, не служил ли я

прежде на стороне шведов, item как обстоят дела в Зусте, сколь велик там гарнизон и о всяких других вещах. Я отвечал на все скоро, коротко и внятно, а о Зусте и его гарнизоне ровно столько, чтобы за это не быть в ответе, однако ж почел за благо умолчать о своем шутовском ремесле, чего уже и сам стыдился.

ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиция шведы на волю пустили,
Споначалу о том его думы и были.*

Меж тем проведали в Зусте, чем кончилось дело с конвоем и что меня вместе с капралом и прочими захватили в плен, а также куда нас отвели; того ради на другой же день явился барабанщик, чтобы нас выручить; с ним были отпущены капрал и трое других, а также передано нижеследующее письмо, которое комендант послал мне для прочтения:

«Monsieur, через возвращающегося сего барабанщика вручено мне было ваше послание, в ответ на каковое с получением выкупа отправляю присем к вам капрала вместе с тремя остальными пленными; а что касается Симплициуса, то оный, как служивший ранее на нашей стороне, не может быть снова отпущен на противную. Но ежели в чем-либо остальном, не относящемся к моей должности, могу удовлетворить господина, то оный найдет во мне усерднейшего слугу, коим являюсь и пребываю.

готовый к услугам

Н. де С. А.»¹

Сие послание не пришлось мне по нутру, однако ж я принужден был поблагодарить за то, что мне его сообщили. Я пожелал поговорить с комендантом, но получил в ответ, что он сам пришлет за мною, как только отправит барабанщика, что случится рано поутру, а покамест я должен заpastись терпением.

Когда уже давно прошло назначенное время, комендант прислал за мною, что случилось в обеденную пору. Тут впервые выпала мне честь сидеть с ним за одним столом. Покуда шла трапеза, он изрядно потчевал меня вином и ласково беседовал, ни словом не обмолвившись, как он намерен поступить со мною, да и мне не пристало о том заговаривать. А когда мы отобедали и я порядком захмелел, сказал он: «Любезный егерь! Из моего письма тебе ведомо, под каким предлогом я тебя удержал; и, по правде, не учинил я ничего незаконного или же противного военному пра-

ву и обычаю, ибо ты сам признался мне и полковому судье, что прежде служил на нашей стороне при главной армии, того ради следует тебе решиться перейти на службу под мою команду; тогда со временем, ежели ты поведешь себя должным образом, я буду спешествовать твою производению, да так, что ты, будучи у имперских, никогда не посмел бы даже мечтать о чем-либо подобном. В противном же случае не пеняй, ежели я снова отошлю тебя к тому самому подполковнику, у которого тебя увели в плен драгуны». Я отвечал: «Высокочтимый господин полковник (ибо в то время еще не было обыкновения солдат Фортуны величать «Ваша милость!»), хотя бы они даже были полковниками)! Понеже я никогда не присягал ни шведской короне, ни ее союзникам, ни тем более реченному подполковнику, а был только помощником у конюха, то не обязан вступать в шведскую службу и нарушить присягу, данную мною августейшему императору; того ради наипокорнейше прошу высокочтимого господина полковника, не будет ли ему угодно избавить меня от такого домогательства». «Что? — вскричал полковник. — Значит, ты презираешь шведскую службу? Тебе надобно помнить, что ты у меня в плену, и, вместо того чтобы отпустить тебя в Зуст служить противнику, я скорее учиню над тобой новый суд или сгною в тюрьме; вот о чем надлежит тебе прежде всего поразмыслить». Я хотя и был напуган такими словами, однако ж и не помыслил о капитуляции, а отвечал: «Да хранит меня бог от такого презрения, как и от нарушения клятвы. В прочем пребываю во всеподданнейшей надежде, что господин полковник, следуя своей хорошо всем известной учтивости, поступит со мной, как с солдатом». «Да, да, — сказал он, — я-то отлично знаю, как надлежит с тобой поступить, ибо намерен провести процедуру со всею строгостию, но лучше поразмысли хорошенько, чтобы у меня не было причины учинить тебе кое-что похуже!». Засим я снова был отведен в каземат.

Всяк с легкостью заключить может, что в ту ночь я не много спал, а предавался различным мыслям. Утром зашло ко мне несколько офицеров вместе с полонившим меня корнетом под тем предлогом, чтоб сократить время, а по правде сообщить мне, что полковник якобы вознамерился учинить надо мною суд по обвинению в колдовстве, ежели я не переменю своего намерения; они хотели, значит, меня застрашать и разведать, что тут за мной кроется. Но понеже я черпал утешение в чистой совести, то принял все с холодным спокойствием и был довольно молчалив, заметил только, что вся загвоздка не иначе как в том, что полковнику не любо, если я ворочусь в Зуст, ибо он легко может себе вообразить, что когда я освобожусь, то не захочу расстаться с тем местом, где чаю себе производения и где у меня еще остались два славных коня и немало всяких дорогих вещей. На следующий день призвал меня комендант снова к себе и спросил сурово, к какому я пришел решению. Я же отвечал: «Вот, господин полковник, мое решение: лучше принять смерть, нежели согла-

ситься нарушить присягу! Но если мой высокочтимый господин полковник соблагоизволит освободить меня и не будет принуждать вступить в военную службу, то я готов всей честью поручиться господину полковнику, что в течение шести месяцев не приму и не подыму оружия против шведов и гессенцев». Сии слова весьма полюбились полковнику, так что он сразу протянул мне руку и тотчас же подарил мне следовавший за меня выкуп, также повелел секретарю составить двойной реверс, который мы оба и подписали, где он обещал мне покров, защиту и полную свободу, покуда я буду находиться в оной крепости. Я же, напротив того, обязался, согласно упомянутым двум пунктам, покуда буду пребывать в оной крепости, не чинить никакого вреда и ущерба, а скорее споспешествовать их пользе и прибыли, всякий же ущерб по возможности отвращать, также ежели сие место будет атаковано неприятелем, то надлежит мне пособлять в обороне.

Засим он снова оставил меня отобедать и оказывал мне такую честь, о какой я у имперских не смел бы и помыслить. Подобным образом он мало-помалу так расположил меня к себе, что я не захотел возвращаться в Зуст, хотя он уже меня туда отпускал и хотел освободить от данного ему обещания. Вот это и означало нанести урон неприятелю без пролития крови, ибо с тех пор зустовские разведчики ровно ничего не стоили, так как меня там не было, о чем следует сказать, хотя и не в укор им или в похвалу самому себе.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций решил, что с Фортунной сдружился,
Не успел оглянуться, опять оступился.*

Уж ежели чему быть, то все тому способствует. Я возомнил, что вступил в брак с самою Фортунною или по крайности коротко с нею сошелся, так что даже наименее приятнейшие приключения служат к моему благополучию, когда, сидючи за столом у коменданта, узнал, что мой конюх явился ко мне из Зуста с двумя лучшими лошадьми. Но не ведомо было мне (в чем я в конце концов убедился), что изменчивое счастье подобно сиренам, кои всегда сладостнее представляются тем, кого особливо хотят погубить, и по сей причине тем выше его возносят, чтобы тем глубже потом низвергнуть.

Сей конюх (которого я незадолго перед тем взял в плен у шведов) был чрезвычайно мне предан, ибо я оказал ему много добра, а посему каждый день седлал он обоих моих коней и выезжал из Зуста далеко вперед на встречу барабанщику, который послан был нас выручать, дабы не при-

шлось мне возвращаться после долгого пути не только одному, а, чего доброго, нагишом или в лохмотьях (ибо он полагал, что меня раздели). Итак, повстречал он барабанщика и возвращавшихся пленников и уже вынул лучшее мое платье, но, как только увидел, что меня нет, и уведомился, что я оставлен противником, чтобы начать у него службу, то пришпорил лошадей и сказал: «Прощай, барабанщик, и ты, капрал, где мой господин, туда и я!». Итак, ушел он от них и явился ко мне как раз в то время, когда комендант обещал мне свободу и оказывал превеликую честь. Он промыслил для моих лошадей постоянный двор, покуда я не расположусь по своему желанию, и перевозил как особое счастье верность моего конюха; также дивился, что я, простой драгун, да еще в столь юных летах, мог обзавестись такими красивыми и превосходными конями, да еще так их снарядить; а когда я распрощался с ним и отправился к сказанному постоялому двору, то выхвалял одного коня столь усердно, что я сразу смекнул, что он с большою охотою у меня его купил бы. Но понеже он из учтивости не предложил мне купли, то я сказал, когда б я мог надеяться на такую честь, что ему полюбится мой конь, то он всецело к его услугам. Он же наотрез отказался, больше всего потому, что я был под хмельком, и он не хотел, чтобы пошла молва, будто он облестил пьяного, который сболтнул, что он легко расстанется с благородным конем, о чем протрезвившись, быть может, горько сетовал бы.

В ту ночь размышляя я, как мне в будущем получше устроить свою жизнь; того ради решил пробыть шесть месяцев там, где я был, и, значит, провести зиму, которая уже стучалась в ворота, в покое, на что у меня достало бы денег, ибо я еще не затронул своего сокровища в Кельне. «За это время, — раздумывал я, — вырастешь ты сполна и обретешь совершенную силу, так что сможешь потом с еще большею доблестью отправиться в поход с имперским войском».

Рано поутру произвел я анатомию моему седлу, которое было нашпиговано не в пример лучше, нежели то, которое получил корнет; потом велел я привести лучшего моего коня к полковничьей квартире и сказал: «Так как я решил шесть месяцев, в течение коих я не должен принимать участие в войне, провести здесь на покое, под покровом господина полковника, то лошади мои простоят без пользы, и будет весьма сожалеательно, ежели они испортятся, и того ради не будет ли ему угодно дозволить поместить этого солдатского бегунка среди своих коней и не в тягость принять его от меня как знак благодарной признательности за оказанную мне милость». Полковник поблагодарил меня с величайшей учтивостью и куртуазными приношениями и, дабы показать свое особое благоволение, в тот же самый день пополудни послал мне со своим гофмейстером откормленного живого быка, двух жирных свиней, бочку вина, четыре бочки пива, двенадцать возов дров, приказав все сие доставить к моему новому дому, который я нанял на полгода, и сказать мне, что как только

он уведомился, что я вознамерился обзавестись хозяйством и по первоначалу может случиться какой недостаток в провизии, то он посылает на новоселье глоток винца и кусок мяса да малость дровец для очага, присовокупив, что ежели он может мне в чем-либо содействовать, то не преминет сие совершить. Я же поблагодарил его с такою учтивостию, как только мог, пожаловал гофмейстеру два дуката и попросил его наилучшим образом рекомендовать меня своему господину.

А как увидел я, что своею щедростию снискал столь великую честь у полковника, то вознамерился приобрести почтение и добрую славу также и у простых солдат, чтобы не почли меня негодным увальнем, а посему позвал в присутствии хозяина дома своего конюха и объявил ему: «Любезный Никлас! Ты соблюдал мне такую верность, какой ни один командир не смеет ожидать от своего солдата; однако ж теперь, когда я не знаю, как тебя вознаградить, ибо не состою ни у кого под началом и, следовательно, не принимаю участия в войне и лишен какой-либо добычи, чтобы заплатить тебе, как это приличествует, наипаче же ради того, что отныне я вознамерился вести тихое житие и решил больше не держать конюха, то даю тебе заместо жалованья вторую лошадь вместе с седлом, сбруей и пистолетом; прошу тебя, довольствуйся сим и поищи себе другого господина. А ежели впоследствии могу тебе в чем-либо помочь, то тебе вольно во всякое время ко мне обратиться!». Тут добрый мой Никлас залился слезами и сказал: «Ах, господин! Я не заслужил столько всего за какую-то четверть года, что провел у вас; оставьте лучше этого коня у себя, да и меня вместе с ним, ежели вам сие угодно; да я с большею охотою буду у вас сносить голод, нежели жить в довольстве у другого господина, ежели только буду знать, что смогу тем хорошо услужить вам». «Нет! — воскликнул я. — Не могу я держать при себе слугу, когда сам не могу жить, как господин; поищи себе место повыгоднее, ибо я не хочу, чтобы ты стал сотоварищем моего неблагополучия». Он же целовал мне руки и от слез почти не мог говорить, и ни за что не соглашался принять коня, а уверял, что будет лучше, ежели я разменяю его на серебро и употреблю на свое пропитание. Под конец мне удалось его уговорить принять все, после того как я пообещал ему взять его к себе снова на службу, ежели мне кто-нибудь понадобится. Сие прощание так разжалобило хозяина дома, что глаза у него были полны слез, и подобно тому как мой конюх растробил всей солдатне о таком моем поступке, также и хозяин отзывался обо мне с превеликою похвалою и превозносил меня среди горожан как небывалое чудо. Комендант же почитал меня наилучшим молодцом, чье слово надежнее любого замка, ибо я не только свято соблюдал присягу, данную императору, но и крепко держал уговор, который подписал с ним, так что даже отдал моему верному слуге прекрасного коня и оружие. Итак, стал я господин самому себе, подобно всякому нищему, который не находится ни у кого под командой. Так и течет

все в этом превратном мире, где другие должны приносить присягу, когда вступают в военную службу, — я же должен был дать слово, когда ее оставил.

СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций раскинул умом и смекалкой,
Снова свел шашни со старой гадалкой.*

Сдается мне, что нет на свете человека, у которого не было бы своего дурачества, ибо мы все ведь скроены на один лад, так что я по своей глупости хорошо замечаю, когда созрели другие. «Ну, пострел! — могут мне возразить. — Коли ты сам дурень, то не потому ли и мнишь, что все другие таковы же?». Нет, я этого не говорю; то были бы совсем напрасные речи. Я только полагаю, что один лучше скрывает свое дурачество, нежели другой. И посему нельзя всякого почестъ дурнем, хотя бы у него были дурацкие выдумки, ибо в юности мы все обыкновенно на одну колудку; но кто сие дурачество выпускает наружу, тот и слывет дурнем, ибо другие либо вовсе его скрывают, либо обнаруживают лишь наполювину. Те, кто его совсем подавляют, сущие угрюмые быки; тех же, кто по временам и при случае дозволяют ему высунуть уши и перевести дух, чтобы совсем не задохнуться, почитаю я самыми лучшими и разумными людьми. Что до меня надлежит, то я слишком далеко его выставил, когда почувствовал такую вольность, да еще при деньгах, понеже принял к себе на службу детину, которого обрядил, ровно благородного пажу, в платье дурацких цветов, а именно: фиолетовый и желтый, что должно было знаменовывать мою ливрею, ибо мне так полюбилось; сей малый должен был меня ожидать, как если бы я был важным бароном, не то что незадолго перед тем простым драгуном, а еще за полгода вшивым мальчишкой на конюшне.

То была первая глупость, какую я совершил в этом городе, и хотя она была великонька, однако ж ее никто не приметил, а еще менее того похулил. Но к чему сие приводит? Свет до того набит дурачествами, что уже больше никто их не замечает, не осмеивает и не дивится, ибо так с ними и родится. Вот также и я вошел в славу как умный и добрый солдат, а не как молодой дурень, у которого еще молоко на губах не обсохло. Я столкнувался с хозяином, что буду у него столоваться вместе со слугою, отдав в уплату с превеликой уступкой в цене все мясо и дрова, коими почтил меня комендант за мою лошадь; а что надлежит до напитков, то ключом от них владел мой малый, так как я охотно давал прикладываться всем, кто меня посещал, ибо был я не бюргер и не солдат и никто не мог

разделить со мною общество на равных правах, посеми и водил я компанию как с теми, так и с другими, так что, почитай, всякий день обретал с избытком товарищей, которые не покидали меня, не угостившись. Горожане помогли мне свести знакомство с тамошним органистом, ибо я весьма любил музыку и (можно сказать без похвалы) обладал превосходным звучным голосом, которому не позволял оскудеть. Органист научил меня, как надлежит сочинять музыку, и тем как брэнчать на инструменте, а также на арфе; а как я и без того был мастер играть на лютне, то завел себе собственную и почитай каждый день с нею забавлялся. А когда мне прискучит музицировать, то, бывало, призову того самого скорняка, который еще в Парадизе обучал меня управляться со всяким оружием; с ним я усердно упражнялся, дабы достичь еще большего совершенства. Также упросил я коменданта, чтобы один из его канониров, сведущий в артиллерийском искусстве и отчасти в пороховом деле, обучил меня сему за надлежащую плату. Во всем прочем жил я тихо и скромно, так что всяк дивился, видя, что я беспрестанно сижу за книгами, словно студент, хотя приобьик к разбою и кровопролитию.

Мой хозяин был у коменданта заместо ищейки и вместе с тем мой сторож, понеже я приметил, что все мои деяния и поступки становятся тому известны. Правда, я не могу это вменить в зазор полковнику, ибо будь я на месте коменданта и будь у меня такой гость, каким меня почитали, то и сам поступил бы точно так же. Однако ж я ловко сумел все обернуть себе на пользу, ибо ни разу не помянул о военной службе, и когда о ней заводили речь, то вел себя так, словно никогда и не был солдатом, а живу здесь лишь для того, чтобы исправлять каждодневные упражнения, за которые только что взялся. Я, правда, изъявил желание, чтобы условленные шесть месяцев протекли поскорее, но никто не мог понять, кому я потом захочу служить. Всякий раз, когда я приходил на поклон к полковнику, он приглашал меня к столу; тут иногда заводилась беседа, чтобы выведать мои мнения, умыслы и намерения; я же всякий раз отвечал с такою осторожностью, что нельзя было узнать, каких я держусь мыслей, так что все его подходы оставались втуне. Однажды он сказал мне: «Ну, как дела, егерь? Ты все еще не надумал перейти к шведам? У меня как раз вчера помер фендрик». Я отвечал: «Высокочтимый господин полковник, пристало ли бабе сразу после смерти мужа идти под венец? Так отчего бы и мне не потерпеть полгодика?». Подобными речами отходил я всякий раз и чем далее, тем больше приобретал расположение полковника, так что он даже позволял мне бродить повсюду как в самой крепости, так и за ее стенами; да что там, под конец я мог охотиться на зайцев, рябчиков и прочую птицу, чего он не разрешал даже собственным своим солдатам. Также рыбачил я в Липпе, да так счастливо, что можно было подумать, будто я привораживаю в воде рыбу и раков. На сей предмет заказал я себе дешевое егерское платье, в коем шнырял по ночам

(ибо знал все пути и тропы) в окрестностях Зуста, где откапывал спрятанные мною то здесь, то там клады и перетаскивал их в помянутую крепость и делал вид, будто решил навсегда остаться у шведов.

Тем же путем пришла ко мне ворожейка из Зуста, которая сказала: «Гляди-ко, сын мой! Я ли тебе не присоветовала схоронить свои денежки подальше от Зуста? Могу тебя уверить, тебе здорово повезло, что ты попал в плен; ежели бы ты воротился, тебя прикончили бы на охоте молодцы, которые поклялись предать тебя смерти, ибо некие девицы оказывали тебе предпочтение». Я отвечал: «Как может кто-нибудь меня ревновать, когда я в девицах несведущ?». «Вестимо, — молвила она, — ежели ты не переменишь своих теперешних мыслей, то женщины прогонят тебя с глумом и срамом на все четыре стороны. Ты всегда подымал меня на смех, когда я тебе еще что-нибудь предвещала; захочешь ли ты мне поверить, когда я тебе еще что-нибудь скажу? Разве там, где ты сейчас, не обрел ты людей, более расположенных к тебе, нежели в Зусте? Клянусь тебе, что ты им весьма полюбился и сия чрезвычайная любовь обратится тебе во вред, ежели ты не поведешь себя надлежащим образом». Я отвечал, что ежели ей так много ведомо, как она о себе наговаривает, то пусть-ка объявит мне, что случилось с моими родителями, повстречаю ли я их когда-нибудь снова, да не темными словами, а внятным немецким языком. На сие сказала она, что мне надлежит справиться о родителях, когда я ненароком повстречаю своего воспитателя, который ведет на веревочке мою молочную сестру, и смеялась чрезвычайно громко; присовокупив к тому, что она по доброй воле открыла мне больше, нежели тем, которые ее об этом просили. Впредь же я немного от нее узнаю; но напоследок она хочет все же мне объявить, что ежели я желаю себе благополучия, то надобно мне расщедриться на подмазку и вместо бабенок прилепиться к бранному оружию. «Ах ты, старая колотушка, — сказал я, — да ведь я так и поступаю!». Засим она проворно убралась прочь, так как я стал над ней насмехаться, особливо же как перед тем я пожаловал ей несколько талеров, ибо не охотно носил при себе серебро. У меня тогда скопилось немалая толика денег, да еще много дорогих колец и всяких драгоценностей; ибо как только случилось мне среди солдат или во время разъездов или иначе узнать, что где-либо водятся драгоценные камни, как я приобретал их себе, да к тому же нередко за половинную цену против того, что они стоили. И они взывали ко мне непрестанно, что желают снова возвратиться к людям; мне надобно их выпустить на волю, ежели я хочу быть в чести. Я последовал сему с превеликой охотой, ибо возымел немалую спесь, чванился своим богатством и без опасения показывал его хозяину, который потом нарасказал повсюду куда больше, нежели было на самом деле. Люди же дивились, откуда я его достал, ибо уже разнесся слух, что я оставил найденный мною клад на сохранение в Кельне, так как корнет, взявший меня в плен, прочитал расписку, данную мне тамошним купцом.

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций пустился в отчаянный блуд,
А девки стадами к нему так и льнут.*

Мое намерение за эти шесть месяцев изучить в совершенстве артиллерийское дело и фехтовальное искусство было похвально, и я это разумел. Однако ж сего было не довольно, чтобы совсем уберечь меня от праздности, что бывает причиной многих зол, особливо как не было никого, кто бы мог повелевать мною. Правда, я прилежно сидел за различными книгами, откуда почерпнул много доброго, но попались в мои руки и такие, кои были мне столь же надобны, как собаке трава. Бесподобная «Аркадия»,¹ по коей я хотел научиться красноречию, была первой, склонившей меня от правдивой истории к любовным сочинениям и от истинных происшествий к героическим поэмам. Подобного рода книжицы добывал я, где только мог, и когда мне удавалось заполучить такую, то я не отрывался от нее, покуда не прочту до конца, хотя бы пришлось просидеть над нею день и ночь. Они наставили меня вместо риторики ловить на клейкий прут перепелочек.² Однако ж у меня сей порок тогда не приобрел еще такой силы и горячности, чтобы можно было назвать его вместе с Сенекой божественным неистовством или, следуя описанию, сделанному Томасом Томеи³ в его «Вертограде мира», докучливой болезнью: ибо там, куда меня влекла любовь, я с легкостью и без особых трудов получал все, чего домогался, так что у меня вовсе не было причины сетовать на судьбу, подобно другим любовникам и волокитам, кои битком набиты диковинными мечтаниями, заботами, вожделением, тайными страданиями, гневом, ревностию, жаждой мести, слезами, бешенством, досадой, угрозами, а также бесчисленными иными дурачествами и от нетерпения призывают на себя смерть. У меня были деньги, и я не давал им заплевать, а сверх того обладал приятным голосом и упражнялся на различных инструментах вместо того, чтобы предаваться танцам, к коим я никогда не был расположен, ибо не мог в них наловчиться, да и без того почитал их бессмысленным дурачеством, а свой стройный стан я показывал, когда вместе с помянутым скорняком упражнялся в фехтовании. Сверх того было у меня гладкое красивое лицо, и я приучил себя к ласковой обходительности, так что женщины, хотя я особливо о них не печалился, сами льнули ко мне (подобно тому как Аврора преследовала Клита,⁴ Цефала и Титона, Венера Анхиса, Атиса и Адониса, Церера Глакуса,⁵ Уллиса и Ясиона,⁶ а сама целомудренная Диана своего Эндимиона) куда больше, нежели я того домогался.

Около того времени подошел день святого Мартина;⁷ тогда у нас, немцев, начинают пировать и бражничать почитай что до самой масленицы.

Тогда многие, как офицеры, так и горожане, стали приглашать меня в гости отведать мартынова гуся. И тогда порой, бывало, кое-что содеется, ибо при таких обстоятельствах я заводил знакомство с женщинами. Моя лютия и пение побуждали каждую поглядеть на меня, и когда они пялили глаза, то я сопровождал новые любовные песенки, которые сам и сочинял, такими умильными взорами и ухватками, что иная пригожая девица вовсе дурела и нечаянно оказывала мне свою благосклонность. А чтобы не прослыть скрягою, задал я два пира: один для офицеров и другой для горожан, чем приобрел благоволение тех и других и получил к ним доступ, ибо всех великолепно угощал и изрядно потчевал. Все сие я учинял ради одних только милых девиц, и хотя я то у одной, то у другой и не получал того, что искал (ибо бывали и такие, которые еще могли себя соблюдать), однако же обходился со всеми одинаково, дабы те, кои оказывали мне больше милости, не подпали бы никакому злomu подозрению, как то и подобает честным девушкам, а все должны были полагать, что гакже и с ними я веду одни только беседы. И я уговаривал каждую из них особливо, так что она думала не иначе, как будто она одна только мною владела.

А у меня было как раз шестеро, которые меня любили, а я их взаимно, однако ж ни одна из них не владела всем моим сердцем или мной одним; у одной нравились мне только ее черные очи, у другой золотистые волосы, у третьей милое приятство, а у остальных тоже что-нибудь, чего нет у прочих. Когда же я, кроме этих шести, посещал еще и других, то происходило сие либо по сказанной причине, либо потому, что мне это было ново и в диковину, а я и без того не упустил и не презирал ничего, меж тем как не собирався оставаться в том месте навсегда. У слуги моего, отъявленного плута, было довольно хлопот сводничать и таскать туда и сюда любовные цидульки, а так как он умел держать язык за зубами и сохранять втайне мои распутные шашни то с одной, то с другой, все и оставалось шито-крыто, чем я вошел в немалый фавор у потаскушек и что мне обходилось дорогонько, ибо таким образом расточал я свою репутацию, так что вполне мог сказать: «То, что взял под барабанный бой, уходит от тебя с дудой». Притом все свои делишки я обделывал в такой тайности, что и сотый человек не помыслил бы, что я веду распутную жизнь, не считая священника, у которого я уже не брал для чтения так много духовных книг, как прежде.

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций заводит бесчисленных друзей,
Но слышит укоры он дружбе сей.*

Когда изменчивое счастье вознамерится кого-нибудь низвергнуть, то сперва вознесет его превыше небес, и прилагий бог так верно предостерегает каждого от его падения. Так приключилось и со мною, однако я не внял сему предостережению. Я совершенно уверился в том, что тогдашнее мое благополучие покоится на столь прочном основании, что его не поколеблет никакое несчастье, ибо всяк, особливо же сам комендант, был ко мне весьма расположен. Благосклонность тех, кто был у него в большой чести, приобретал я всяческими изъявлениями почтительности; его верных слуг склонял я на свою сторону щедростию и подарками; с теми же, которые стояли чуть выше меня, братался я за чарою вина и клялся им в нерушимой верности и дружбе, а простые бюргеры и солдаты благоволили ко мне, ибо я с каждым из них говорил ласково. «Что за любезный малый этот егерь, — говаривали они частенько друг другу, — ведь он и потолкует с младенцем на улице и не прогневит старца!». А случилось мне поймать зайца или рябчика, я посылая его на кухню к тем людям, чью дружбу хотел снискать, а напросившись в гости, доставлял также и добрый глоток вина, которое в тех местах стоило дорого, словом, устраивал так, что все расходы ложились на меня. А когда на такой пирушке я заводил с кем-либо беседу, то говорил лишь о том, что было ему любо слушать, выхвалял каждого, да только не самого себя, и напускал на себя такое смирение, как если бы никогда не был обуян гордыней, хотя и знал, что на войне это не бесчестие. Поелику приобрел я себе таким образом общее благоволение и всяк судил обо мне весьма высоко, то я и не помышлял, что мне может приключиться какое-либо несчастье, особливо же потому, что мой кошелек был набит еще довольно туго.

Я часто посещал жившего в том городе престарелого священника, который во множестве ссужал меня книгами из своей библиотеки, а когда я возвращал их, то вел со мною собеседования о многоразличных вещах; и мы так хорошо сошлись, что с большою охотою толковали друг с другом. А когда прошло время не только мартынова гуся и супа с колбасой, но и миновало Рождество, то преподнес я ему на Новый год бутылку страсбургской водки, которую он охотно потягивал по вестфальскому обычаю с леденцами, и, явившись к нему, застал его как раз за чтением моего «Иосифа»,¹ переданного ему моим хозяином без моего ведома. Я побледнел от мысли, что столь ученый муж заполучил в свои руки мое сочинение, особливо же потому, что, как полагают, лучше всего можно узнать человека по его почерку, он же пригласил меня подсесть к нему

и с похвалою отозвался о моей инвенции, однако ж похулил за то, что я столь пространно описываю любовные ухищрения Зелихи² (коя была женою Потифара). «Чем сердце полно, то и льется через уста, — сказал он далее, — когда бы молодой господин сам не знал, что творится на душе у распутника, то не мог бы описать или представить нашему взору любовную сграсть сей женщины». Я отвечал, что все написанное придумано не мною самим, а взято от скуки из других книг, из коих я и составил подобные экстракты ради упражнения в письме. «Так, так, — сказал он, — сему я охотно верю (scil.), но пусть он не сомневается, что я о нем больше знаю, нежели он воображает!». Услышав такие слова, я испугался и подумал: «Уж не святой ли Фельтен³ тебе это открыл?», и так как он приметил, что я изменился в лице, то продолжал вести свои речи: «Господин свеж и молод, он красив и празден, живет без забот и, как я слышал, во всяческой роскоши; того ради прошу и предостерегаю его именем Вышнего помыслить, в каком опасном он сейчас положении; и ежели он заботится о своем счастье и вечном спасении, то да остережется опасного зверя в юбке. Правда, господин может рассудить: „Какое дело этому попу, что я творю и как поступаю (а я как раз подумал: «Да, ты угадал!»), или как смеет он мне что-либо указывать?“. То правда, но ведь я пастырь духовный! и я могу уверить господина и моего благодетеля, что мне, по христианской любви и милосердию, столь же дорого его временное благополучие,⁴ как если бы он был собственным моим сыном. Достойно жалости, и ты не сможешь держать ответ перед отцом небесным, отцом в Вечности, почто напрасно зарыл в землю талант свой, который он даровал тебе, и повредил благородный ingenium,⁵ который узрел я в сем сочинении. И мой неотложный и отеческий совет тебе: приложи свою юность и свои средства к учению, дабы рано или поздно они послужили богу, людям и тебе самому, оставь военные дела, к коим, как довелось мне слышать, ты приобрел большую охоту, покуда не получишь нечаянно шлепка от Фортуны и на тебе не сбудется пословица: „С молодости солдат, под старость нищий“». Я слушал сию сентенцию с превеликим нетерпением, ибо не привык внимать подобным речам, однако ж повел себя совсем иначе, чем было у меня на сердце, чтобы не потерять своей славы учтивого кавалера, каким меня почитали; посему возблагодарил его за чистосердечие и обещал поразмыслить обо всем, что он мне присоветовал, сам же подумал про себя, словно малый у золотаря, что б там ни наговорил поп, как мне устроить свою жизнь, ибо я в то время превознесся весьма высоко и вовсе не был расположен отказываться от извещенных мною любовных утех. И вот не иначе случается со всеми подобными предостережениями, когда юность отвыкает от узды и шпор добродетели и во весь опор скачет навстречу своей гибели.

ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций попу наказал всяких врак,
А сам потихоньку смеется в кулак.*

Я еще не совсем погряз в чувственных удовольствиях и не так вздурился, чтобы не стараться сохранить дружбу с каждым человеком, покуда намеревался пробыть в сказанной крепости, а именно до конца зимы. Точно так же я хорошо разумел, сколько дерьма навалится на того, кто навлечет на себя ненависть духовенства, которое у всех народов, какой бы они ни были религии, пользуется немалым кредитом; того ради я навестрил уши и на следующий же день отправился по свежим следам к помянутому священнику и налгал ему с три короба, да все учеными словами, каким родом решил я последовать по его стопам, чему он, как я мог заключить по его mine, от всего сердца возрадовался. «Вот, — сказал я, — мне доселе, также и в Зусте, ничего так не доставало, как такого небесного советчика, какого я повстречал в лице моего высокоученого господина. Когда б поскорее кончилась зима или погода стала благоприятней, чтобы я мог отсюда уехать!». Просил его также и в дальнейшем споспешествовать мне добрым советом, в какую мне направиться академию. Он отвечал, что касается его, то он обучался в Лейдене, мне же хочет присоветовать Женеву,¹ ибо у меня верхненемецкое произношение. «Иисус-Мария! — вскричал я. — Да Женева дальше от моей родины, нежели Лейден!». «Что я слышу? — воскликнул он с превеликим изумлением. — Я неотменно примечаю, что господин оказывается папист! Бог ты мой, сколь жестоко был я обманут!». «Как так, как так, господин священник? — спросил я. — Неужто я сделался папистом, оттого что не захотел поехать в Женеву?». «О нет! — отвечивал он. — Я заключил сие потому, что ты призвал имя Мариам». Я сказал: «А разве не подобает христианину произносить имя матери нашего спасителя?». «Всеконечно, — ответил он, — но я увещеваю и прошу тебя, ради всего святого, сказать правду перед лицом Всевышнего и открыть мне, какой ты держишься веры. Весьма сомневаюсь, что ты следуешь святому Евангелию (хотя и видел тебя каждое воскресенье у себя в церкви), ибо в прошедший праздник Рождества Христова ты не подходил к престолу господнему ни у нас, ни у лютеран».² Я отвечал: «Господин священник, да будет вам ведомо, что я христианин, и когда не был бы им, то не стал бы так часто слушать проповедь и присутствовать на богослужении; в прочем же признаю, что я не следую ни Петру, ни Павлу, а верую по своей простоте, согласно двенадцати правилам всеобщей христианской веры, и не склонен всецело прилепиться к одному толку, покамест те или другие с помощью надежных аргументов не убедят меня, что только они одни перед прочими исповедуют правую, истинную и спасительную религию». «Теперь-то, — сказал

он, — я убедился, что у тебя храброе солдатское сердце, чтоб со всей отвагой лезть в пекло, ибо ты осмеливаешься жить без религии и богослужения, уповая на старого императора, закинув в шанцы свое вечное блаженство! Боже мой! как может смертный, которого ожидает либо осуждение, либо вечное блаженство, оказывать себя столь дерзким? Разве господин взращен в Ганау и нигде не получил христианского наставления? Поведай мне, чего ради не последовал ты по стопам своих родителей в чистой христианской религии? Или чего ради не склонился к той или другой вере, коей основания с такой непреложной очевидностью покоятся на началах природы и Священного писания, так что ни папист, ни лютеранин за целую вечность не смогут ее поколебать?». Я отвечал: «Господин священник! То же самое объявляю и все другие о своей религии; кому же надлежит мне верить? Или господин полагает, что это сушая безделица, если я доверяю свое вечное спасение одному толку, который бесчестит оба других и обвиняет их в лжеучении? Пусть взглянет он (но только моими беспристрастными очами), что издают в свет в публичном тиснении Конрад Феттер³ и Иоганн Наз⁴ против Лютера и, напротив того, Лютер и его присные против папы, особливо же что пишет Шпангенберг⁵ против Франциска,⁶ коего несколько сот лет кряду почитали святым и благочестивым мужем. Какой же стороне должен я отдать предпочтение, когда каждая поносит другую, да так, что ни на волос не обретет в ней ничего доброго? Или господин священник полагает, что я худо поступаю, отложив о сем попечение до той поры, когда приду в совершенный разум и смогу отличить черное от белого? Должен ли мне кто-либо советовать плюхнуться туда с размаху, словно муха в горячую кашу? Э, нет! чаятельно, сие господин священник мне по совести не советует. Необходимо заключить, что одна религия истинная, а две другие ложные; но должен ли я без зрелого размышления признать одну из них правильной, ведь таким образом я могу неправую веру получить заместо истинной, о чем потом буду сокрушаться в вечности. Да я скорее останусь на распутьи, нежели вступлю на неправую стезю; к тому же немало есть еще церквей в одной только Европе, как-то: армянская, коптская, греческая, грузинская и другие подобные, и бог весть, какой именно я последую, так что я еще принужден буду с моими единоверцами диспутировать со всеми прочими. А ежели только господин священник захочет стать моим Ананием,⁷ то я с превеликой благодарностью ему последую и приму религию, которую он сам исповедует».

На сие он сказал: «Господин жестоко заблуждается и весьма приблизился к душевной своей гибели; но я уповаю на господя, что он просветит его своим светом и извлечет из трясины; для того намерен я утвердить перед ним наше исповедание веры, покоящееся на святом Писании, так что и врата ада не одолеют ее». Я сказал, что сие отвечало бы сокровенному моему желанию, про себя же помыслил: «Когда бы ты не

укорял меня больше моими любушками, то я вполне согласился бы с твоей религией». Посему читатель заключить может, каким был тогда я безбожным и злым малым, ибо доставил доброму священнику много напрасного труда затем только, чтобы он не мешал мне продолжать беспутную жизнь, помышляя притом: «Покуда ты управишься со своими доводами, я, чего доброго, уже уберусь ко всем чертям!».

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

*Симплиций торчит под окошком светлицы,
В ловушку попал из-за этой девицы.*

Насупротив моей квартиры жил подполковник, ожидавший себе должности; ¹ у него была дочь чрезвычайной красоты, которая поступала во всем совершенно по-благородному. Я охотно свел бы с ней знакомство, невзирая на то что поначалу она не показалась мне такой, чтобы я мог полюбить ее одну и сочетаться с ней навеки; все же я частенько прогуливался у нее под окнами и еще чаще бросал на нее ласковые взоры; однако она находилась под столь надежной охраной, что мне, как я того желал, ни разу не удалось заговорить с нею, также не смел я бессовестно вломиться к ним в дом, ибо не был знаком с ее родителями, а сие место для малого столь низкого происхождения, которое я знал за собой, казалось слишком высоким. Скорее всего мог я подбиться к ней при входе или выходе из церкви; тут я так наловчился примечать удобное время, что нередко мог приблизиться к ней, испущая нежные вздохи, на что я был мастер, хотя и шли они от неверного сердца. Она встречала их с такою холодностию, что я должен был вообразить, что ее не так-то легко ввести в соблазн, как дочек худородных горожан; и когда я думал о том, с каким превеликим трудом она мне достанется, то сие еще более распяляло мои желания.

Моя звезда, которая впервые привела меня к ней, была той же самой. Какую носили в то время года повсюду школяры, знаменуя приснопамятный день, когда три волхва, ведомые подобным светилом, пришли в Вифлеем, что поначалу почел я добрым предзнаменованием, ибо она горела в покоях помянутой девицы, когда ее отец сам послал за мною. «Monsieur, — сказал он мне, — нейтралитет, который вы соблюдаете между солдатами и бюргерами, послужил причиною тому, что я пригласил вас к себе, так как я собираюсь уладить тут одно дело между обеими сторонами, для чего надобен беспристрастный свидетель». Я полагал, что он замышляет учинить что-то чрезвычайно важное, ибо на столе были письменный прибор и бумага, того ради всеусерднейше предложил ему свои услуги в любом честном предприятии с присовокуплением особого комплимента, что я именно почту для себя превеликой честью, когда мне

выпадет счастье сослужить ему службу. Однако ж это было не что иное, как устройство «Царства» (как то во многих местах в обычае), ибо как раз наступил день трех волхвов,² притом надлежало мне наблюдать за порядком и раздавать по жребью должности, невзирая на то, какой персоне они достанутся. К сему делу, к которому был также приставлен секретарь коменданта, велел помянутый подполковник доставить вина и конфект, ибо он был изрядный запивоха, да и время уже было послеужинное. Секретарь писал жеребья, я выкликал имена, а вкоренившаяся в мое сердце девица тащила цидульки, родители же взирали на все это; мне неохота обстоятельно рассказывать, как все пошло, и я все-таки свел тогда с нею знакомство. Она посетовала на долгие зимние ночи и дала мне уразуметь, что я, дабы лучше их скоротать, мог бы завернуть к ним на огонек, ибо без того у нее не столь уж много дела. А это было как раз то, чего я давным-давно желал.

С того самого вечера (хотя я лишь совсем мало узнал эту девицу) зачал я снова гоняться с клейким прутом за перепелкой и балансировать на дурацком канате, так что и сама девица, и ее родители должны были вообразить, что я клюнул на приманку, хотя я и наполовину не вытворял того всерьез, а старался лишь о том, чтобы сыграть свадьбу, оставаясь холостым. К ночи, когда я собирался идти к ней, я всегда начищал себя, как ведьма, а днем возился с любовными книжками (бреднями), составляя по ним нежные письма к своей возлюбленной, как если бы жил от нее за сто миль или не встречался с нею много лет кряду. Под конец повел я себя там совсем запросто, ибо родители ее не особенно препятствовали мне волочиться, а еще и упрашивали меня обучить их дочь играть на лютне. Тут я получил свободный доступ в ее покои как днем, так и по вечерам, так что перекроил на новый лад свои старые вирши

Я да летучая мышь
Любим ночную тишь —

сочинив песенку, в коей прославлял свое счастье, даровавшее мне не только несколько приятных вечеров, но и отрадные дни, когда я в присутствии возлюбленной могу усладить очи и отчасти доставить утешение сердцу. Напротив того, в той же самой песне сетовал я на свое несчастье, которое наполняет горечью мои ночи и не позволяет провождать их, так же как и дни, в любовных забавах! И хотя это было несколько вольно, я все же напевал моей милой сию песенку, сопровождая ее нежными вздохами и дразнящей мелодией, чему отлично пособляла лютня, и неотступно умолял девицу, дабы и она споспешествовала тому, чтобы я мог провождать ночи столь же счастливо, как и дни. Однако ж я получил довольно твердый отказ, ибо она была остра разумом и могла отменно вежливо отворотить все хитрости, какие только я употреблял иногда с немалой учтивостью. Я решил на будущее держать ухо востро, чтобы не заикнуться

о свадьбе, и так как о том уже заходила речь, то я все свои слова поставил на двусмысленный винт. Сие скоро приметила замужняя сестра моей девицы и посему стала чинить мне и моей милой всяческие помехи, чтобы мы больше не оставались вдвоем так часто, как бывало, ибо она хорошо видела, что ее сестра возлюбила меня всем сердцем и что таковое дело рано или поздно добром не кончится.

Нет нужды обстоятельно описывать все сумасбродства, коим предавался я, волочась за той девицей, ибо подобными дурачествами полны все любовные сочинения. Довольно, ежели благосклонный читатель узнает, что сперва я достиг того, что поцеловал мое нещечко, а под конец осмелился и на различные другие дурачества; сие желанное продолжение моего благополучия сопровождал я всевозможными приятностями до тех пор, покуда моя возлюбленная не впустила меня к себе ночью и я славно устроился в ее постельке, как будто век к ней принадлежал. И понеже всяк знает, как и что ведется при таких приключениях, то читатель, чего доброго, вообразить может, что я учинил что-нибудь неподобающее! Ан нет! Я хотя и отлично знал, зачем пожаловал, ибо мне было не впервой подобным образом попадать к женщинам, да и ведал, что и где надлежит искать. Но все было попусту, все мои любовные ухищрения тщетны, и все мои обещания напрасны. И я встретил такой отпор, какого никогда не мог ожидать от женщины, ибо все ее помыслы были устремлены на сохранение чести и честное замужество, и, хотя я самыми ужасными клятвами обещал ей жениться, она не захотела меня допустить к себе прежде брачного сочетания; однако же дозволила мне остаться лежать рядом с нею в постели, где я, совершенно измученный такою досадою, под конец тихо заснул. Но меня ожидало весьма беспокойное пробуждение, ибо в четыре часа поутру возле постели уже стоял подполковник с пистолетом в одной руке и факелом в другой. «Кроат! — закричал он во весь голос своему слуге, который также стоял рядом с обнаженною саблею. — Скорее, кроат, зови сюда попа!», от какового крика я и пробудился и тотчас приметил, в какой нахожусь опасности. «Горе мне! — подумал я. — Тебе надлежит исповедаться, прежде чем он тебя прикончит!». У меня поплыли желтые и зеленые круги перед глазами, и я не знал, открыть ли мне их пошире или закрыть вовсе. «Беспутный вертопрах! — сказал он, обращаясь ко мне. — Должен ли был я застичь тебя, когда ты бесчестишь мой дом? Буду ли я неправ, ежели сверну шею тебе и этой потаскухе, которая легла с тобою? Ах ты, скотина! Да могу ли я удержать себя от того, чтобы тотчас же не вырвать у тебя сердце и, изрубив его на мелкие куски, не бросить собакам?». При этом он скрежетал зубами и закашивал глаза, как неразумный зверь. Я же не знал, что сказать, а моя сопостельница, которую он также престоко честил, могла только плакать. Под конец, когда я немного очнулся и только хотел заикнуться о нашей невинности, как он приказал мне держать язык за зубами и не захотел услышать ни

слова; итак, принужден я был молчать и предоставил вести речь ему одному, понеже он снова набросился на меня с упреками, что он мне во всем доверился, я же, напротив, поступил с величайшим вероломством, какое только мыслимо на свете. Меж тем прибежала и его жена, которая завела новехонькую проповедь, да так, что лучше бы мне лежать в терновнике; и я полагаю, она не кончила бы и через два часа, ежели бы кроат не привел священника.

Прежде чем пришел священник, я несколько раз норовил подняться, но подполковник с грозною миною заставлял меня оставаться в постели, так что мне довелось узнать, как уходит душа в пятки, когда поймают малого за неладным делом, и каково на сердце у вора, когда его схватят в чужом доме, хотя бы ему еще ни разу не довелось ничего украсть. И я вспомнил разлюбезное времечко, когда мне повстречался подполковник с двумя подобными кроатами, и как я погнал их всех трех, теперь же лежал я, как и все прочие увальни, и не хватало у меня мужества пошевелить языком, не то что там кулаками. «Взгляните, господин священник! — сказал подполковник. — Вот славное позорище, к которому пригласил я вас быть свидетелем моего бесчестья!». И едва успел он толком выговорить сии слова, как снова принялся бушевать и неистовствовать, так что я только и слышал, как сворачивают шею и купают руки в крови. У него пена била изо рта, словно у кабана, так что, казалось, он вовсе повредился в уме, и я каждую минуту ожидал: «Ну, вот теперь он всадит тебе пулю в башку!». Священник же всеми правдами уверял, что не стряслось такой смертельной беды, о чем пришлось бы потом сокрушаться. «Что ж? — сказал он. — Да обратится господин подполковник к своему светлому разуму и вспомнит пословицу: „Что случилось, надо поминать добром“. Сия прекрасная юная чета, равную коей едва ли сыщешь по всей стране, не первая и не последняя подпала непреодолимой силе любви; ошибка, которую они совершили, ибо это не что иное, как ошибка, может быть ими же с легкостью исправлена. Правда, я не считаю похвальным таким образом справлять свадьбу, однако же сия юная чета не заслужила таким поступком ни виселицы, ни четвертования, и господин подполковник не должен ожидать от этого какого-либо себе бесчестья, когда он свершенный уже поступок (о коем еще никто не знает) сохранит в тайне, простит и даст согласие сочетать их браком, скрепив его обычным порядком в церкви». «Что? — закричал он. — Так я еще должен вместо заслуженной кары задать им свадебный пир и оказать превеликую честь? Да я, прежде чем займется день, прикажу лучше связать их обоих и утопить в Липпе! Вы должны в сей же миг сочетать их браком, понеже я того ради и посылал за вами, или я их обоих передую, как цыплят!».

Я помыслил: «Ну, что тут поделаешь? Вот что называется „пташка пой или голову долой!“, к тому же она такая девушка, которой тебе не следует стыдиться, а когда ты оглянешься на свое происхождение, то

увидишь, что едва достоин сесть там, где она ставит свои башмаки». Все же я клялся всеми клятвами и свято уверял, что мы не учинили ничего бесчестного. Но мне ответили, что нам надобно помалкивать, дабы не могли нас заподозрить в чем-либо дурном, а такими речами мы никого не разуверим. Засим, сидючи в постели, мы сочетались браком, совершенным сказанным священником, и как только сие произошло, принуждены были встать и покинуть дом. В дверях подполковник объявил мне и дочери, чтобы мы во веки вечные не смели показываться ему на глаза. Я же, когда снова пришел в себя и навесил саблю, ответил словно в шутку: «Не знаю, господин тесть, чего ради устроил ты все так безрассудно; когда другие молодожены совершат бракосочетание, то ближайшие родственники провожают их в опочивальню, он же не только прогоняет меня с постели, но еще и навсегда из дому и, вместо того чтобы пожелать мне в супружестве счастья, не хочет осчастливить меня тем, чтобы я мог взирать на своего тестя и служить ему. Поистине, коли такой обычай войдет в моду, то от таких свадеб во всем свете немного поведется дружбы».

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА

*Симплиций болтает о свадьбе своей,
Каких ни назвал на нее он гостей.*

Все люди, жившие со мною под одним кровом, когда я привел домой эту девицу, пришли в удивление, которое еще умножилось, когда они увидели, как она безо всякой робости пошла со мной спать. И хотя шутка, которую надо мной шутили, и наполнила ум мой досадными бреднями, все же я не был так глуп, чтобы унижать свою невесту. Правда, я получил возлюбленную в свои руки, но тысячи разных мыслей теснились в голове, когда я прикидывал все барыши и убытки. То я рассужу: «Ну, поделом тебе!», а то подумаю, что мне нанесена наигоршая во всем свете обида, которую я не могу снести с честью без справедливого отомщения. А когда я вспоминал, что эта месть должна обратиться против моего тестя, а следовательно, и против моей непорочной и благонаравной возлюбленной, то все мои мстительные помыслы разлетались в прах. И я так стыдился, что принял намерение затвориться и не показываться никому на глаза; признаю, однако, что тогда-то я и совершил бы самую большую глупость. Под конец я решил во что бы то ни стало вновь приобрести расположение моего тестя, в прочем же казать перед всеми такой вид, как будто бы со мной не приключилось никакой беды, и все хорошенько приготовить к свадьбе. Я сказал самому себе: «Понеже все случилось и получило свое начало самым странным и диковинным образом, то и тебе подобает устроить все на такой же лад. А ежели люди узнают, что ты до-

садуешь на свою женитьбу и тебя сочетали браком против твоей воли, словно бедную девицу со старым богатым хрычом, то заслужишь ты только насмешку».

С такими мыслями встал я рано поутру, хотя всегда был охотник понежиться в постели. Первым делом послал я за своим свояком, мужем сестры моей жены, коротко объявил ему, в каком мы теперь близком родстве, присовокупив просьбу, не соизволит ли он прислать свою милую кое в чем пособить на кухне, чтобы приготовить угощение к моей свадьбе, а сам он не соблаговолит ли умилоствовать нашего тестя и тещу, я же тем временем пойду созывать гостей, которые и водворят между нами окончательный мир. Он с полной готовностью и охотой согласился все сие исправить, а я побрел к коменданту. Ему я представил все в забавном и затейливом виде, какая нами, мной и моим тестем, заведена новая мода справлять свадьбы таким родом, где все идет столь проворно, что за один час свершится обручение, путь в церковь и бракосочетание; но поелику мой тесть поскупился на утреннюю похлебку для молодых, то я вознамерился заместо нее угостить всех честных людей на ужин свиным супом, к коему нижайше прошу его пожаловать. Комендант чуть не лопнул со смеху от столь веселого доклада; и когда я увидел, что он пришел в надлежащее расположение духа, то еще больше приоткрыл завесу и стал приводить в извинение, что еще, должно быть, не совсем хорошо соображаю, ибо другие новобрачные четыре недели до и после свадьбы бывают не в полном уме; но, по правде, у других-то новобрачных четыре недели времени, когда они могут неприметно выпустить наружу всю свою дурость и таким образом изрядно скрыть оскудение своего ума, мне же, на кого все сватовство свалилось неожиданно-негаданно, придется выкинуть не одно дурачество, дабы потом тем благоразумнее жить в супружестве. Тогда он спросил меня, а как обстоит дело с брачным контрактом и сколько мой тесть отвалил мне на свадьбу рыжичков, коих у старого скупердяя водится немало? Я отвечал, что весь наш брачный договор состоял из одного-единственного пункта, который гласил, чтобы я и его дочь вовеки не смели больше показываться ему на глаза; но понеже ни нотариуса, ни свидетелей при этом не было, то я надеюсь, что он возьмет сей договор обратно, особливо же принимая во внимание, что все браки учреждены для распространения дружбы, а то получилось бы, что он отдал свою дочь в замужество, подобно Пифагору,¹ чему я никогда не поверю, ибо по совести я его ничем не оскорбил.

Подобными шутивными речами, каких от меня в здешних местах не слыхивали, достиг я того, что комендант пообещал прийти ко мне отве- дать свиного супа вместе с моим тестем, которого он хотел уломать. Он также, не мешкая, послал ко мне на кухню бочку превосходного вина и целого оленя; я же велел так все приготовить, как если бы надлежало потчевать целое скопище князей, графов и других высоких знатных пер-

сон, созвал также изрядную компанию, которая не только знатно повеселилась, но и прежде всего помирила моего тестя и тещу со мною и их дочерью, да так, что они нажелали нам куда больше счастья, нежели прошлой ночью надавали проклятий. А по всему городу распустили слух, что наше бракосочетание было нарочито совершено на некий чужеземный лад, дабы злые люди не могли напустить на нас порчу. Мне же скоропостижная сия свадьба пошла на пользу, ибо доведись мне жениться и получить оглашение с кафедры, как то во всеобщем обычае, то уж, наверно, сыскались бы такие неугомонные потаскушки, которые сумели бы подстроить мне всякие каверзы и препятствия; ибо у меня среди бюргерских дочек водилось с полдюжины таких, которые были знакомы со мною более чем коротко, так что теперь все они остались на бобах.

Назавтра тесть мой держал стол для свадебных гостей, однако ж далеко не такой богатый, как у меня, ибо он был скупенек; тут со мной повели речи, каким-де я занят ремеслом и какое намерен повести хозяйство. Тут я впервые уразумел, что потерял свою благородную свободу и стал подвластным. Я оказал послушание и как разумный кавалер пожелал сперва выслушать добрый совет любезного моего тестя и ему во всем последовать, каковой мой ответ весьма одобрил комендант, сказавший: «Понеже он еще молодой новоиспеченный солдат, то было бы немалою глупостью, когда бы он при теперешних военных обстоятельствах взялся бы за иное какое ремесло, кроме солдатской службы; куда сподручней поставить свою лошадь в чужое стойло, нежели в своем собственном кормить чужую. Что ж до меня надлежит, то я вручу ему прапор, когда он того пожелает». Мой тесть и я поблагодарили коменданта, и я уж больше не отказывался наотрез, как прежде, однако ж предъявил ему расписку кельнского купца, который взял на хранение мой клад. «Вот что, — сказал я, — надобно мне получить прежде, чем я вступаю в шведскую службу, ибо как только проведуют, что я перешел к противнику, то в Кельне мне тотчас покажут кукиш и заграбастают мое добро, которое так просто на дороге не сыщешь». Они оба со мной согласились, и мы все втроем уговорились, условились и порешили, что в ближайшие же дни я отправлюсь в Кельн, заберу там свое добро, а затем вернусь в крепость и получу прапор; присем был назначен и день, когда моему тестю будет передана под команду рота вместе с должностью подполковника в полку у нашего коменданта, а поелику граф фон Гёц обретался в то время с большим имперским войском в Вестфалии и расположил свою квартиру в Дортмунде,² то комендант полагал, что предстоящей весной начнется осада, и посему старался приобрести себе надежных солдат, хотя его забота была напрасной, ибо помянутый граф фон Гёц (понеже Иоганн де Верд³ был разбит в Брисгау) принужден был тою же весною оставить Вестфалию и на Верхнем Рейне у Брейзаха⁴ снова тревожить князя Веймарского.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА

*Симплиций, женившись, решает дельно
Деньги забрать, что положены в Кельне.*

Всею своя участь: к одному злосчастье приходит исподволь и поменьку, а на другого сваливается разом; мое ж получило сладостное и приятное начало, так что я и не помышлял ни о каком злополучии и почитал его величайшим своим счастьем. Едва миновала неделя, которую провел я в супружестве с моею милою женою, как я, обрядившись в егерское платье и взвалив мушкет на плечи, простился с нею и ее друзьями, дабы отправиться за всем тем, что оставил на хранение в Кельне. Я благополучно пробрался туда, ибо все дороги были мне хорошо знаемы, так что в пути не повстречал никакой опасности, и мне даже не попался ни один человек, покуда не вышел я к заставе у Дютца, что расположен на правой стороне насупротив Кельна. Тут увидел я множество людей, особливо же заприметил одного мужика в одежде рудокопа, который мне неотменно напомнил моего батьку в Шпессерте, а его сына лучше всего было сравнить с Симплицием. Сей мальчишка пас свиней, и когда я хотел пройти мимо, то свинья, почуяв меня, принялась хрюкать, а парнишка ее ругать, чтоб ее разразил гром и молния и «сам черт тому пособил». Услышав такие слова, служанка принялась кричать на малого, чтоб он унялся, или она нажалуется отцу. На что мальчишка ей отвечал, пусть она ему облизнет задницу и «понудит к тому свою матушку». Мужик, также услышавший ругань своего сына, выскочил из дома с дубиной и заорал: «Постой, окаянный пострел, уж я тебя отважу от божбы, разрази тебя гром, да подери тебя черт!», и, схватив его за шиворот, стал дубасить, как медведя на ярмарке, приговаривая с каждым ударом: «Ах, ты, бездельник! Я те поучу ругаться, черт тебя задери; я те покажу, как лижут задницу, я те поучу нудить твою мать» и т. д. Сие воспитание, естественно, напомнило мне меня самого и моего батьку, и все же я не был столь честен и благочестив, чтобы возблагодарить бога за то, что он исторг меня из толикой темноты и невежества и привел меня к лучшей науке и познанию; чего же ради счастье, кое он ниспосылал каждый день, должно было и впредь пребывать со мною? Когда я пришел в Кельн, то завернул к Юпитеру, который был тогда в совершенном чувстве и разуме. Когда же я объявил ему по тайности, зачем я сюда приехал, он тотчас же сказал, что я намерен молотить пустую солому, ибо купец, коему я вверил свое имяние, обанкрутился и утек; правда, мои вещи опечатаны магистратом, а купца велено доставить обратно, но весьма сомнительно, чтоб он воротился, ибо все лучшее, что можно было унести, он забрал с собою, а куда разберут дело, много воды утечет в Рейне. Сколь приятна мне была

сия ведомость, всякий с легкостью рассудить может; я ругался похлеще ломового извозчика, да что толку? Вещей-то у меня не было, а сверх того никакой надежды получить их обратно. Вдобавок взял я с собою на пропитание не более десяти талеров, так что не мог прожить там так долго, сколько было надобно. А сверх того еще была немалая опасность оставаться там долго, ибо мне следовало остерегаться, что меня выследят, так как я пристал к вражескому гарнизону, и я не только лишился бы своего имения, но еще и попал бы в немалую беду; а возвращаться ни с чем, оставив на произвол судьбы свое имение, и понапрасну сновать взад-вперед также казалось мне бесполезным, даже смешным. Под конец решил я оставаться в Кельне до тех пор, покуда не разберут дело, и известить мою милую о причине моего отсутствия; засим отправился я к стряпчему, который был нотариусом, и, поведав ему свое дело, просил по его должности пособить мне советом и хлопотами, обещав в случае скорого окончания сверх положенной платы почтить его еще изрядным подарком. А так как он надеялся кое-что из меня выудить, то принял меня с большою охотою, а также договорился, что я буду у него столоваться; на другой день отправился он к тем самым господам, коим поручено было разобрать дело о банкротстве, вручил им засвидетельствованную копию расписки помянутого купца и представил оригинал, на что получил ответ, что нам надобно обождать до окончательного разбора всего дела, ибо вещи, перечисленные в расписке, не все в наличии.

Итак, я снова приготовился к праздности на все время, покуда не нагляжусь, как и что ведется в больших городах. Мой хозяин, у которого я столовался, был, как сказано, нотариус и стряпчий, а кроме того, держал с подюжины постояльцев и восемь лошадей на конюшне, которых имел обыкновение сдавать внаем проезжающим, притом были у него в кучерах один немец и один итальянец, которых можно было посылать с повозкой или верхом во все стороны, куда понадобится, словно почтальонов, а лошади были всегда наготове, так что сим тройным или четверным ремеслом он не только хорошо зарабатывал на пропитание, но и, нет сомнения, был в больших барышах; и понеже в помянутый город не допускали тогда евреев, то ему тем легче было промышлять всякими нечистыми делами.

В короткое время, какое я провел у него, я многому научился, особливо же распознавать различные болезни, что ведь самое большое искусство для доктора медицины, ибо не зря говорится: «Хорошо распознать болезнь — значит наполовину вылечить пациента». Причиной тому, что я постиг подобную науку, был мой хозяин, ибо, начав с его персоны, я стал взирать на других и примечать их комплекцию. Тут нашел я, что многие смертельно больны, хотя частенько сами не знают о своей болезни, а также и другими людьми, даже самими докторами, почитаются здоровыми. Я узнал людей, кои страждали гневом, и когда этот недуг напал

на них, то кривились в лице, как черти, рычали, как львы, царапались, как кошки, крушили все, как медведи, кусались, как собаки, и дабы представить себя более лютыми, чем бешеные звери, швыряли об землю все, что только подвернется им под руку, словно дурни. Говорят, сия болезнь происходит от желчи, я же полагаю, что она приключается, когда иного дурня одолеет спесь; того ради если услышишь, как бушует гневливый, особливо из-за какой-либо безделицы, то смело заключить можешь, что он более горд, нежели умен. От этой болезни проистекает неисчислимое множество бед как для самого недугующего, так и для других; для больного под конец паралич, подагра и безвременная смерть, если не вечная погибель! И этих больных, хотя они опасно больны, по совести нельзя назвать пациентами, ибо им-то больше всего и недостает *patientia*.¹ Иных видел я подверженных зависти, о коей говорят, что она грызет собственное сердце, ибо они всегда бледны и печальны. Сию болезнь почитаю я наипаснейшею, ибо она ведет свое начало от дьявола, хотя и возникает из чистой радости, которая обуревает врага того, кто ею страждет; и ежели кому удастся основательно излечить кого-либо от нее, тот почти вправе похвалиться, что возвратил погибшего в христианскую веру, ибо сия болезнь не посещает истинного христианина, который досадует только на грех и порок. Горячность к игре я также почитаю болезнью не потому только, что в самом имени своем она содержит горячку, а потому, что те, кого она обуяет, падки на нее до остервенения. Сия болезнь ведет свое начало от праздности, а не от сребролюбия, как полагают некоторые, а когда ты отнимешь прихоть и праздность, то сия болезнь проходит сама собою. Я нашел, что чревоугодие и пьянство — также особливая болезнь, которая происходит от привычки, а не от роскоши. Бедность, правда, в сем случае пособляет, однако ж вовсе исцелить сей недуг неспособна, ибо я видел нищих обжор и богатых скряг, изнывавших от голода. Эта болезнь носит на своем горбу и лекарство от нее, которое зовется скудостью, ежели не в имени, то в остальном телесном здравии, так что под конец пациенты сами собою выздоравливают, когда, либо обеднев, либо занедужив, уже не смогут больше обжираться. Спесь почитаю я особливым родом фантазии, коя берет начало в невежестве; ибо когда кто познает самого себя и ведает, откуда он пришел и куда отыдет, то совсем невозможно, чтобы он сделался таким надутым дурнем. Когда я вижу павлина или индюка, который распустил хвост и притом еще и клохчет, то меня разбирает смех, что сии неразумные твари столь искусно насмеются над бедными людьми, обретающимися в такой болезни. Я не мог сыскать никакого особливого лекарства против сего недуга, ибо тех, кто от него страждут, нельзя иначе лечить, как только прописав им смирение, подобно как и другим дурням. Я нашел также, что и смех — это болезнь, ибо от него умер Филемон,² да и Демокрит³ был им заражен до самой смерти. Также по сей день еще говорят наши женщины, что вот-вот помрут

со смеху! Сказывают, что он рождается в печени, однако ж я скорее поверю, что он происходит от чрезвычайной дурости, поелику изобильный смех обличает неразумного мужа. Бесполезно и не стоит труда назначать лекарство против этой болезни, ибо это не только веселый недуг, но и проходит у многих раньше, чем надоест. Не менее того заметил я, что и любопытство — это болезнь, едва ли не прирожденная женскому полу; и хотя кажется ничтожной, однако же, по правде, весьма опасна, ибо мы все еще искупаем любопытство нашей праматери. Обо всех же прочих, как-то: лени, мстительности, ревности, своеволия, любострастии и других подобных недугах и пороках, я на сей раз умолчу, а возвращуся снова к моему хозяину, который и подал мне причину поразмыслить о сих прегрешениях. Он был одержим скупостью и скряга до мозга костей.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

*Симплициус ловит зайца на рынке,
Домой отсылает в хозяйской корзинке.*

Сей, как о том было уже объявлено, сколачивал деньги различными промыслами; он никогда не разделял трапезы с постояльцами и никогда не приглашал их к своему столу; и он мог бы до отвала есть сам и питать своих челядинцев на то, что ему давали, ежели бы старый жмот тратил все на провизию; но он откармливал нас на швабский манер и здорово нагревал руки. Поначалу я столовался не вместе со всеми постояльцами, а с его детьми и челядью, ибо у меня не было довольно денег; там подавали такие тощие блюда, что моему желудку, привыкшему к вестфальской пище, казалось весьма диковинным; нам не доставалось к столу ни единого доброго куска мяса, а только то, что за неделю перед тем подавали студентам, которые его порядком обглодали, да еще и такое серое от старости, словно праотец Мафусаил.¹ Сверх того жена хозяина (которая сама должна была управляться на кухне, ибо он не подряжал для этого служанки) варила нам черную похлебку и дьявольски ее переперчивала; тут все косточки так чисто обглаживали, что из них тотчас же можно было вытачивать фигуры для шахмат, но и тогда их не выбрасывали, а складывали в назначенный для сего короб, и когда у нашего скряги скопится их довольно, то надлежало еще их изрубить на мелкие куски, чтобы вытопить из них жир до последней капли, и уж не знаю, клали ли потом этот жир в суп или мазали им башмаки. В постные дни, коих было предостаточно, — и все они соблюдались самым торжественным образом, ибо в сем пункте хозяин был весьма добросовестен, — принуждены были мы лакомиться вонючими копчеными селедками, солеными

лещами, тухлой треской и другой порченой рыбой, ибо он покупал все самое дешевое и ради этого не ленился таскаться на рынок, где забирал то, что рыбаки намеревались побросать и выкинуть. Хлеб у нас обыкновенно полагался черной и черствый, напитоком же служило жиденькое кислое пиво, от которого у меня начиналась резь в кишках, хотя хозяин и уверял, что то самое лучшее мартовское пиво. Сверх того узнал я от его немецкого кучера, что летом кормят еще хуже, ибо тогда хлеб заплесневелый, мясо полно червей, а на ужин горстка салату. Я спросил, чего же ради торчит он у этого скупердяя, он же отвечал мне, что по большей части проводит время в дороге и потому больше рассчитывает на те деньги, которые ему дают на водку проезжающие, нежели на своего заплесневелого скупердяя. Он не доверяет даже жене и детям спускаться в погреб, ибо и себе самому почти не позволяет выпить каплю вина, одним словом — это такой жадный до денег волк, какого едва ли где сыщешь. То, что мне пока довелось увидеть, еще сущая безделица; когда тут пообживусь, то пойму, что он не постыдится за одного жирного монашка² содрать шкуру с осла. Однажды принес он домой шесть фунтов требухи или говяжьих кишок и замкнул в погребе; и, к немалому счастью для его детей, дневное окошко стояло открыто, так что они, навязав вилку на длинную веревку, выудили все по кусочкам и тотчас же с большой поспешностью съели полусырым, сказав потом на кошку. Но наш сквалыга не захотел тому поверить и поднял шум на весь дом, словил кошку, взвесил ее и нашел, что она со всей шкурой и шерстью весит меньше, чем съеденная требуха. Он не только не устыдился такой пустой шутки, но еще и похвалялся своей умной выдумкой, коей научила его скупость. По-неже он поступал с таким бесстыдством, то я не пожелал далее разделять трапезу с его домашними, а захотел сесть за помянутый стол для студентов, сколько бы это ни стоило, однако же мало тем себе помог, ибо все кушанья, которые там подавали, были наполовину сырыми, отчего нашему хозяину была двоякая выгода: во-первых, на дровах, которые он сберегал, и оттого что мы не могли переварить много такой пищи. Сверх того, сдается мне, он считал у нас каждый кусок в глотке и чесал в затылке, когда мы хорошо наедались. Вино у него было порядочно разбавлено и не такого сорта, чтобы споспешествовать пищеварению; сыр, который ставили под конец каждой трапезы, обыкновенно был, как камень, голландское же масло так пересолено, что никто не мог взять ни одного лота на закуску, плоды же подавали и уносили до тех пор, покуда они не размякнут и станут не пригодны в пищу; а когда тот или иной пенял на это, он начинал пружалостную перебранку со своей женой, чтобы мы слышали; тайком же приказывал ей тянуть ту же песню. Впрочем же, в его доме было прибрано и чисто, ибо он не терпел ничего под ногами, ни малейшей соломинки или обрывка бумаги или еще чего-либо, что можно было предать огню, тотчас же подбирал сие сам или относил на кухню.

со словами: «Из нескольких капелек собирается ручеек»; ибо думал: «И зубочисток пучок дает горячий огонек». Золу он собирал куда заботливее, нежели иной — шафран, ибо ухитрялся ее продавать. Однажды поднес ему один из его клиентов в подарок зайца, которого он подвесил в погребке, что я заметил и тотчас подумал: «Ну, вот мы и отведаем дичины»; однако кучер-немец сказал мне, что мы понапрасну точим зубы, ибо хозяин поставил в контракте, что не обязан потчевать своих постояльцев подобными деликатесами; мне только надобно пойти после полудня на рынок и поглядеть, не продает ли он там этого зайца. Засим отрезал я у зайца кусочек уха, и когда мы сидели за обедом, а нашего хозяина с нами не было, то я рассказал, что он собрался продать зайца, а я умыслил провести старого скупердяя, ежели кто-нибудь из них захочет со мною пойти, так что мы не только учиним себе потеху, но и полакомимся зайчатинною. Всяк тут охотно согласился, ибо все они давно хотели подстроить ему какую-нибудь шутку, за которую он не мог бы потянуть к ответу. Итак, пополудни отправились мы к тому месту, где, как научил меня кучер, обыкновенно становится наш хозяин, когда собирается что-нибудь продать, и наблюдает, сколько выручит продавец, дабы не упустить ни одного жирного монашка. Мы узрели его в обществе почтенных людей, с коими он вел дискурс. Я подговорил одного малого, который подошел к торгашу, продававшему зайца, и сказал: «Земляк! А заяц-то мой, и я беру его себе по праву, как украденное у меня добро; нынешней ночью его выудили у меня из окошка, и ежели ты не возвратишь мне зайца по доброй воле, то я на твой риск и судебные протори пойду с тобою всюду, куда ты пожелаешь». Торгаш отвечал, что он охотно поглядит, что из сего получится, вон там стоит благородный господин, поручивший ему продать зайца, которого он, нет сомнения, не думал красть. Как только эти двое стали препираться, вокруг них собралась толпа, что наш скряга сразу заметил и узнал, с какой стороны загорелось, а посему подмигнул продавцу, чтобы тот отступился от зайца, ибо весьма устыдился и не захотел, чтобы пошла молва, что он продает зайчатину, когда у него столько постояльцев, а к тому же не знал, где взял зайца тот молодец, который ему его преподнес. А малый, которого я подговорил, учтиво показал всем собравшимся кусочек заячьего ушка и приставил к отрезанному месту, так что всяк признал его правоту и присудил ему зайца. Меж тем подошел я со всей компанией, словно мы все очутились там ненароком, и стал торговаться с малым, завладевшим зайцем, и когда мы с ним поладили, то вручил покупку нашему хозяину с просьбой взять ее с собой и приготовить к нашему столу, а малому, которому я поручил это дельце, дал вместо платы за зайца денег на две кружки пива. Итак, принужден был наш скряга противу своей воли угостить нас зайчатинной и не смел даже пикнуть, чему мы немало посмеялись; и ежели я пробыл бы в его доме подольше, то учинил бы там еще немало подобных проделок.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

- 1-я гл. Симплиций в Париж обманом спроважен,
Живет поначалу не в авантаже.
- 2-я гл. Симплицию новый сыскался патрон,
Советом и делом помог ему он.
- 3-я гл. Симплиций в Париже среди важных лиц
Игрой на театре пленяет девиц.
- 4-я гл. Симплиций, что прозван у дам Beau Alman,
Легко поддался на Венерин обман.
- 5-я гл. Симплиций неделю забыл все на свете,
Венерину гору покинул в карете.
- 6-я гл. Симплиций бежит из Франции прочь,
Недобрую хворь он сумел перевозмочь.
- 7-я гл. Симплиций, Фортуну упустив оплошно,
Теряется в мыслях, сколь жить стало тошно.
- 8-я гл. Симплициус, странник и нищеврод,
Обманом деньги с мужиков дерет.
- 9-я гл. Симплициус, лекарь, немало болтал,
К имперским солдатам в лапы попал.
- 10-я гл. Симплиций, свалившись в бурный поток,
Дает добродетели строгой зарок.
- 11-я гл. Симплиций решает прибегнуть к обману,
Не хочет поверить грехи капеллану.
- 12-я гл. Симплиций встречает Херцбрудера снова,
Незыблемо дружбы и верности слово.

- 13-я гл. Симплиций попал в лихую компанию,
О ней повествует со всем стараньем.
- 14-я гл. Симплиций дерется с разбойником лютым,
Обоим в той схватке приходится круто.
- 15-я гл. Симплиций, взяв верх, узнает в изумленье,
С кем дрался в лесу он в таком озлобленье.
- 16-я гл. Симплиций рядится в новое платье,
Ему Оливье набивается в братья.
- 17-я гл. Симплиций идет с Оливье на добычу,
Не хочет одобрить безбожный обычай.
- 18-я гл. Симплициус слышит рассказ Оливье,
Как был тот воспитан в купецкой семье.
- 19-я гл. Симплициус слушает новую повесть,
Как жил Оливье, позабыв честь и совесть.
- 20-я гл. Симплиций узнал, сколь злые фокусы
Чинил Оливье, стакнувшись с профосом.
- 21-я гл. Симплициус слышит: Оливье — солдат,
Искусный наездник и тверд, как булат.
- 22-я гл. Симплиций дивится божьему промыслу,
Устремляет к нему все свои помыслы.
- 23-я гл. Симплициус зрит: Оливье сколь жесток,
Решает уйти, дай только срок!
- 24-я гл. Симплиций глядит: Оливье убит,
За лютую смерть люто и мстит.
- 25-я гл. Симплиций встречает названного брата,
Что нищим скитался в жалких заплатах.
- 26-я гл. Симплициус слышит про муки и беды,
Какие Херцбрудер в походах изведal.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

*Симплиций в Париж обманом спроважен,
Живет поначалу не в авантаже.*

Где чересчур остро, там и зазубрина, а когда перетянешь лук, то под конец он лопнет. Шутки с зайцем, которую я сыграл моему хозяину, показалось мне не довольно, и я учинил еще множество других, чтобы казнить его ненасытную жадность. Я научил своих сотрапезников промывать в воде пересоленное масло и удалять таким путем избыточную соль, жесткий же сыр скоблить, как пармезан, и смачивать вином, чем колол скупердяя в самое сердце. Я вытворял такие кунштюки, что за столом отделял воду от вина и сочинил песенку,¹ в коей сравнивал скрягу со свиньей, от которой нельзя ждать проку до тех пор, покуда мясник ее не освежает. Сие пел я в сопровождении лютни и допелся до того, что подал ему повод живо отплатить мне нижеследующим коварством, ибо я вовсе не был приглашен в его дом для подобных упражнений.

Двое благородных юношей получили от своих родителей вексель и приказание отправиться во Францию, дабы научиться тамошнему языку, как раз в то время, когда кучер-немец был где-то в дороге, а итальянцу хозяин, как он утверждал, не мог доверить лошадей до Франции, ибо он его еще хорошенько не знает, и опасался, как он сказывал, что тот забудет воротиться назад и он лишится своих лошадей; того ради попросил он меня, не соблаговолю ли я оказать ему превеликую услугу и не доведу ли я на его лошадях обоих дворянчиков в Париж, ибо и без того мои дела еще не будут решены за эти четыре недели, он же, напротив того, будет со всем тщанием и верностью вести все хлопоты, на которые я его полностью уполномочил, как если бы я сам тут присутствовал. Также и дворянчики просили меня об этом, да и собственное мое любопытство подстрекало меня повидать Францию, ибо теперь я мог бы совершить сие без особых расходов, вместо того чтоб четыре недели кряду отлеживать бока и

еще вдобавок проедать свои денежки. Итак, отправился я с этими благородными господами заместо почтальона, во время какого путешествия мне не повстречалось ничего примечательного или достойного описания. Когда же мы прибыли в Париж и завернули к тому банкиру, у коего должны были получить по векселю оба дворянина и с кем вел корреспонденцию наш хозяин, то в тот же день я был не только взят под арест вместе с лошадьми, но еще кредитор объявил, что мой хозяин задолжал ему знатную сумму денег, и с дозволения квартального комиссара отобрал и распродал лошадей, невзирая на все, что я тут только ни говорил. Итак, я сел, как каменный болван, что на мосту в Дрездене,² не ведая, чем тут пособить самому себе, а еще того меньше, как пуститься в обратный столь дальний и по тем временам весьма ненадежный путь. Оба дворянина засвидетельствовали мне превеликое свое сожаление в постигшем меня гнусном приключении и тем щедрее дали на водку; также не захотели они меня отпустить от себя, покуда я не сыщу себе хорошего господина или удобный случай возвратиться в Германию. Они наняли себе покои, и я провел с ними несколько дней, прислуживая одному из них, который от непривычки к столь далеким путешествиям, слегка занемог. И я ухаживал за ним с такой учтивостью, что он подарил мне свое платье, которое он снял, так как захотел приодеться по новой моде. Они посоветовали мне пробыть год-другой в Париже и научиться языку; то, что мне полагается получить в Кельне, от меня не уйдет, ибо наш прежний хозяин уж не преминет забрать это в свои рачительные руки. Пока я еще сомневался и раздумывал, что мне надлежит предпринять, услышал один медик, который пользовал больного дворянина и всякий день приходил к нам, как я играю на лютне и под ее аккомпанемент пою немецкую песенку, и сие ему так понравилось, что он предложил мне стол и хорошее жалованье,³ ежели я только захочу перейти к нему обучать двух его сыновей, ибо он уже лучше меня самого знал все мои обстоятельства и что я никогда не подведу хорошего господина. Итак, мы скоро поладили, понеже и оба дворянина также сие одобрили и дали мне изрядную рекомендацию. Однако ж я условился с ним на срок не далее как от одной четверти года до другой.

Сей доктор говорил по-немецки так же изрядно, как я сам, а по-итальянски, словно то был его родной язык; а посему я тем охотнее с ним сговорился. А когда я на прощанье угощался с моими дворянами, он также был с нами; и тут полезли мне в голову недобрые мысли, ибо представилась моему воображению моя новобрачная, обещанный мне прапор и сокровище в Кельне, все, с чем я столь легкомысленно дозволил себя разлучить их уговорами; и когда речь зашла о скупости нашего прежнего хозяина, тут взошло мне на ум нечто, и я брякнул за столом: «А кто знает, не умыслил ли наш хозяин отправить меня сюда, чтоб получить и заграбастать мое добро в Кельне!». Доктор же отвечал, что

сие может статься, особливо ежели он полагает, что я малый подлого происхождения. «Э, нет, — сказал один из тех дворян, — ежели он послал его сюда затем, чтобы он тут остался, то случилось это лишь оттого, что он чересчур донимал его за скупость». Большой же заметил: «Я полагаю, что тут замешана иная причина. Когда я намеренно находился в своей комнате, то наш хозяин начал громко разговаривать с кучером-итальянцем, я же полюбопытствовал, о чем там у них спор, и под конец уразумел из перековерканных речей итальянца, что он просит расчет и не будет больше смотреть за лошадьми, ибо егерь бесчестил его перед хозяйкой, а ревнивый шут по причине невнятной и дурной речи итальянца понял его превратно и подумал о чем-то бесчестном и того ради стал уговаривать его остаться, так как егеря он скоро уйдет. С тех пор я отлично приметил, что старый дурень стал коситься на свою жену и ссориться с нею пуще прежнего».

Доктор сказал: «По какой бы там причине сие не случилось, но я вполне допускаю, что все было так замечано, что ты принужден был здесь остаться. Но ты не давай себя сбить с толку: я же при удобном случае пособлю тебе воротиться в Германию; тебе только надобно написать стряпчему, чтобы он хорошенько наблюдал за сокровищем, а не то придется ему держать строгий ответ. И я возымел немалое подозрение, что все это приключение нарочито подстроено, ибо тот, кто объявил себя кредитором, на самом деле добрый приятель твоего хозяина и его здешнего поверенного, и я полагаю, что обязательство, по которому лошади были отобраны и распроданы, ты только теперь сюда привез».

ВТОРАЯ ГЛАВА

*Симплицию новый сыскался патрон,
Советом и делом помог ему он.*

Мусье Канар, как звали моего нового господина, вызвался помочь мне советом и делом, чтобы я не лишился своего добра в Кельне, ибо он отлично видел, что я опечалился. Едва поместил он меня в своем доме, как тотчас же приступил ко мне, чтобы я поведал ему все обстоятельства, дабы он мог все основательно уразуметь и решить, как мне лучше всего пособить. Я хорошо понимал, что немного буду стоять, ежели открою свое происхождение, а посему выдал себя за бедного немецкого дворянина, у которого нет ни отца, ни матери, а лишь несколько родных в крепости, занятой шведским гарнизоном, что я, однако, принужден был утаить как от моего хозяина, так и от обоих дворян, ибо они держали сторону имперских, дабы им не вздумалось захватить мое добро, как вражеское имущество. Я был такого мнения, что мне надобно написать ко-

менданту сказанной крепости, под началом у коего находился полк, где я получил место фендрика, и не только его уведомить, каким образом я был сюда препровожден, но и попросить его, не соизволит ли он получить мое добро и до тех пор, пока я не сыщу случая воротиться в полк, вручить его моим друзьям. Канар рассудил, что мое намерение благоразумно, и обещал доставить мое письмо в назначенное место, будь то хоть в Мексике или в Китае. Засим составил я письма к своей женушке, зятю и полковнику де С. А.,¹ коменданту в Л.,² коему я также адресовал конверт, присвокупив туда и два остальных письма. Содержание их гласило, что я хочу вернуться к своей должности со всею поспешностию, как только получу средства на то, чтобы совершить столь дальнее путешествие, и просил обоих, моего тестя и коменданта, порадеть о том, чтобы посредством военных переговоров вернуть мое имение, прежде чем все дело быльем порастет, присвокупив к тому перечень, сколько там золота, серебра и драгоценностей. Сии письма я написал *in duplo*;³ одну часть взялся доставить мусье Канар, а другую я сдал на почту с тем, что ежели одна пропадет, то дойдет другая. Итак, я снова стал беспечален и с большою легкостию давал наставление обоим сыновьям моего господина, которые были воспитаны, как юные принцы; и понеже господин Канар был весьма богат, а также весьма чванлив и всегда был не прочь показать, какой болезнью он заразился у важных господ, то он, почитай, каждый день водил знакомство с князьями и, глядя на них, обезьянил во всем, что подобает одним только могущественным властелинам. Дом свой он содержал не хуже какого-нибудь графа, так что ежели чего там недоставало, так того только, чтобы его величали милостивым государем, а воображение его было столь знатно, что и с неким маркизом, который его иногда посещал, он обходился не иначе, как с равным. Чтобы надлежащим образом пользоваться его лечением, нужно было быть принцем крови или иным каким могущественным князем и домогаться этого не одною только щедростию, но и всем своим авантажем. Он, правда, уделял кое-что из своих средств простолюдинам, но и деньги брал немалые, чаще же всего прощал то, что оставались ему должны, дабы стяжать тем еще большую славу. Как он умел повсюду поспеть и себя выставить, то его приглашали нарасхват, а посему был он в превеликой чести не только что при королевском дворе и в городе Париже, но и по всей Франции, так что другие медики о нем говаривали, что, ежели он соскребет с хлеба горелую муку и даст своим пациентам, они больше уверуют в сие средство, нежели если бы они принимали *quintam essentiam*.⁴ Сие приносило ему изрядные доходы, и он проживал их, как богач, в чем я был ему помощником, ибо деньги и всякие припасы валили, словно снег со всех сторон, так что и я мог рядом с ним высунуть в окошко свою грязную рожу. Так как я был весьма любопытен и знал, что он чванится моей особой, когда я наряду с другими слугами следую за ним к больному, а также всегда помогал

ему в лаборатории готовить лекарство, то я довольно коротко с ним сошелся, ибо он и без того охотно говорил по-немецки; того ради спросил я его однажды, почему он не упоминает в письме при своем имени дворянского поместья, которое он недавно купил себе за 20 000 крон неподалеку от Парижа? *item* почему он решил своих сыновей поделаться докторами и понуждает их так прилежно учиться, заместо того чтобы купить им (раз уж он приобрел дворянство), подобно другим кавалерам, какую-либо должность и тем совершенно утвердиться в благородном звании? «Нет, — отвечал он, — когда я прихожу к какому-нибудь князю, то слышу: „Господин доктор, садись!“, а дворянину говорят: „Подожди!“». Я сказал: «А разве господину доктору не ведомо, что у каждого врача три различных лика: первый ангельский, когда на него взирает страждущий, второй божеский, когда он помогает, и третий дьявольский, когда кто выздоравливает и его выпроваживают? Итак, сия честь длится до тех пор, покуда в нутре у больного гуляет ветер, а когда оные ветры выйдут наружу и прекратятся колики, то приходит конец чести и тогда говорят: „Доктор! твое место за дверью!“. И разве тогда дворянину не больше чести от его стояния, нежели доктору от его сидения, ибо дворянин неотлучно находится подле своего принца и имеет честь никуда от него не отлучаться? Господин доктор наемни взял в рот нечто княжеское,⁵ дабы изведать сие на вкус; я же скорее соглашусь десять лет стоять и прислуживать, нежели захочу отведать чужие нечистоты, хотя бы меня усаживали на одни розы». Он отвечал: «Мне не надобно было сие делать, но я сделал это охотно затем, что когда князь увидит, сколь нелегко мне составить верное суждение о его здравии, так его почтение ко мне возрастет еще более. И отчего бы мне ни попробовать нечистоты того, кто мне за это даст в вознаграждение несколько сот пистолей, я же, напротив, ему ничего не заплачу, когда он сожрет у меня что-нибудь почище? Ты судишь о сем, как немец; а когда бы ты принадлежал к другой нации, то я сказал бы, что ты говоришь, как дурак». Я удовольствовался сей сентенцией, ибо приметил, что он готов осерчать, и, дабы снова привести его в веселое расположение духа, просил его не посетовать на мою простоту, при-совокупив к тому различные приятности.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

*Симплиций в Париже среди важных лиц
Игрой на театре пленяет девиц.*

Так как мусье Канару перепало даже больше, чем иной раз пожирали те, у кого были собственные дачи для охоты, и ему подносили куда больше домашней живности, нежели он мог съесть сам со своими домаш-

ними, то каждый день толпилось у него множество обедал, так что там все велось, как будто он держал открытый стол; однажды посетили его королевский церемониймейстер и другие важные при дворе особы, коим он предложил княжескую collationem,¹ ибо хорошо знал, каких надобно заполнить друзей, а именно тех, кои неотлучно состоят при короле или пользуются его милостями. И, дабы показать им свое величайшее благоволение и доставить им всяческую приятность, стал он меня упрашивать, не захочу ли я к его чести и удовольствию сего знатного общества усладить слух немецкой песенкой, аккомпанируя ей на лютне. Я охотно согласился, ибо как раз был в надлежащем расположении духа, как то бывает у музыкантов, подверженных самым диковинным фантазиям, а потому потщился позабавить их на славу, и так удовольствовал всех присутствующих, что церемониймейстер сказал, какая жалость, что я не знаю по-французски, а то бы он не преминул доложить обо мне королю и королеве. Мой же господин, обеспокоенный, что меня могут от него сманить, отвечал ему, что я знатного рода и не намерен долго пробыть во Франции, так что будет трудно определить меня музыкантом. На сие церемониймейстер сказал, что за всю жизнь ему еще не довелось повстречать, чтобы в одном лице соединены были столь редкостная красота, столь чистый голос и столь искусная игра на лютне; в скором времени в Лувре² в присутствии короля должна быть сыграна комедия, и если бы ему представилась возможность найти мне там применение, то он питает надежду заслужить этим себе и мне немалую честь. Мусье Канар перевел это мне; я же отвечал, что когда мне объявят, какую особу должен я представить и что надлежит мне петь и играть, то я мог бы заучить мелодию и песни и исполнять все на лютне, хотя бы то было на французском языке; ведь легко может статься, что у меня память не слабее, чем у школяров, коих обыкновенно наряжают к сему, невзирая на то что им также сперва надобно заучить слова и все мины. Когда церемониймейстер увидел, что я весьма к тому склонен, то взял с меня обещание прийти на завтра в Лувр, дабы учинить пробу, пригосен ли я к сему делу. Итак, предстал я в уреченное время, согласно нашему уговору. Мелодии различных песен, которые мне надлежало спеть, я тотчас же ловко приноровил к своему инструменту, ибо захватил с собою табулаторную книжицу,³ после чего получил и французские песни, чтоб хорошенько их вытвердить вместе с произношением, а к ним также и немецкий перевод, дабы я мог сообразовать их с подобающими минами. Сие оказалось для меня весьма нетрудно, так что я управился скорее, нежели кто-либо мог ожидать, да так, что когда слушали, как я пою (понеже меня расхвалил мусье Канар), то всяк мог бы поклясться, что я прирожденный француз. И когда мы все сошлись на репетицию, то я сумел выступить со своими песнями, мелодиями и минами столь жалостливо, что все подумали, будто я и есть сам Орфей,⁴ а не только его представляю, уж так я горевал о своей Эвридике. Никогда за

всю жизнь не провел я более приятного дня, чем тот, когда была представлена комедия. Мусье Канар дал мне некое снадобье, дабы мой голос звучал еще чище; и так как он хотел умножить мою красоту с помощью olei talci⁵ и намеревался напудрить мои вьющиеся, мерцающие от черноты волосы, то под конец нашел, что он этим меня только портит. Я был увенчан лавровым венком и облечен в античное одеяние цвета морской воды, в коем вся моя шея, верхняя часть туловища, руки до локтей, колени от половины бедер до половины икр оставались обнаженными и открытыми взору. А сверху накинул я тафтяной телесного цвета плащ, который скорее всего можно уподобить полевому прапору. В сем одеянии увивался я возле моей Эвридики, взывал в нежной песенке к заступничеству Венеры и под конец покорила сердце возлюбленной; во время этого действия я изрядно все представлял и обращался к возлюбленной, испуская вздохи и вращая глазами. А после того как я потерял свою Эвридику, то облачился в совершенно черное одеяние, сшитое по тогдашней моде так, что моя белая кожа сияла из него, как снег. В нем я сетовал об утрате супруги, и столь горестно все себе вообразил, что посреди печальной мелодии и песни выступили на глазах моих слезы и рыдания едва не прервали пение. Однако ж мне удалось с приятностию заключить эту сцену, покуда я не предстал в аду пред Плутоном и Прозерпиною; сим представил я в умильной песне их взаимную любовь с напоминовением заключить посему, с какою великою мукою я и Эвридика были разлучены друг с другом; а посему с наиболее приятными взорами и минами умолял их, напевая под звуки лютни, вернуть мне супругу. И когда я получил от них согласие, то возблагодарил их радостною песнею и сумел свое лицо и все свои мины исполнить такою радостию, что поверг в изумление всех присутствующих. А когда я нечаянным образом снова потерял Эвридику, то вообразил себе великую опасность, какая ведь ожидает каждого человека, отчего так побледнел, что казалось, вот-вот упаду в обморок. И понеже я стоял тогда на сцене один, а все зрители смотрели на меня, то я тем ревностнее исполнял свою роль, добывая себе честь тем, что я так искусно все представляю. Затем сел я на скалу и принялся жалостливыми словами в сопровождении печальной мелодии оплакивать утрату возлюбленной и взывать о сожалении ко всякой твари. Засим обступили меня всевозможные домашние и дикие звери, холмы, деревья и все прочее, так что поистине все возымело такой вид, как если бы с помощью волшебства было устроено сверхъестественным образом. И я не учинил ни единой ошибки, кроме как в конце представления, когда я, отрешившийся от всех женщин, был задушен Вакхом и брошен в ручей (который был так устроен, что оставалась видна только моя голова, остальное же тело помещалось в совершенной безопасности под сценою) и меня должен был сгрызть дракон; малый же, который в одного дракона был запихан, дабы им управлять, не мог видеть моей головы, а посему пасть дракона покоилась рядом с нею; сие показалось

мне столь нелепым, что я не мог удержаться, чтоб не насупиться, что и было замечено дамами, которые на меня взирали.

От этой комедии получил я, кроме похвал, которые мне расточали в преизбытке, не только великое почтение, но и новое имя, ибо с того времени французы называли меня не иначе, как Beau Alman.⁶ А как тогда справляли масленицу, то было дано еще немало подобных представлений и балетов, которые также не обошлись без моего участия, однако ж под конец объявилось, что мне стали завидовать, ибо я сильно привлекал к себе взоры зрителей, а особливо женщин; того ради я отступил от этого дела, наипаче же потому, что однажды получил довольно крепкий удар, когда я в образе Геркулеса, напялив на себя поверх голого тела львиную шкуру, сражался с Ахелоем⁷ из-за Деяниры и меня отделили с большею неучтивостию, нежели в подобных играх принято за обычай.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

*Симплиций, что прозван у дам Beau Alman,
Легко поддался на Венерин обман.*

Сим образом приобрел я знакомство знатных особ, так что, казалось, передо мною снова воссияла Фортуна, ибо мне даже была предложена служба у короля, а такая удача подвалит далеко не всякому большому барину. Однажды пришел лакей, который спросил мусью Канара и передал ему письмецо касательно меня как раз в самое то время, когда я обретался в лаборатории, где производил реверберацию¹ (ибо я по своей охоте уже научился у доктора производить перлютацию, растворение, возгонку, коагуляцию, дигерирование, кальцинирование, фильтрование и другие подобные бесчисленные алхимические операции, с помощью коих он приготавливал свои снадобья). «Monsieur Beau Alman, — сказал он, — сие послание до тебя касается. За тобой посылает некий знатный господин, который желает, чтобы ты к нему пришел, ибо он намерен переговорить с тобою и узнать, не согласишься ли ты научить его сына игре на лютне. Он присовокупил весьма кургуазное обещание приличествующим образом вознаграждать тебя за труды и просил меня замолвить слово, чтобы ты не вздумал отказать от этого посещения». Я отвечал, что ежели могу кому-либо служить, кроме него (разумея мусье Канара), то готов употребить на сие все старание. На что он сказал, что мне надобно только переодеться и пойти с лакеем; меж тем, покуда я собирался, велел он приготовить мне что-нибудь поесть, ибо мне предстояло отправиться довольно далеко, так что я мог прийти в назначенное место только под вечер. Итак, хорошенько принарядившись и проглотив второпях кое-что, приготовленное для вечер-

ней пирушки, особливо же несколько маленьких деликатных колбасок, которые, как мне почудилось, изрядно разили аптекой, проплутал я более часа с помянутым лакеем различными диковинными переулками, покуда под вечер не подошли мы к садовой калитке, которая была только притворена. Лакей распахнул ее настежь, а когда я последовал за ним, тотчас же затворил и запер на ночной замок, что был изнутри; засим повел он меня в загородный дом, стоявший в углу сада, и, когда мы прошли довольно длинной аллеей, постучал в дверь, которую сразу же открыла нам старая благородная дама. Она весьма учтиво приветствовала меня по-немецки и пригласила войти; лакей же, не разумевший немецкого языка, остался за дверью, и, когда я поблагодарил его кивком головы, с глубоким поклоном удалился. Старая дама взяла меня под руку и ввела в залу, которая была увешана драгоценными гобеленами, да и во всем прочем изрядно убрана; старуха пригласила меня присесть, чтобы я мог отдышаться, а также узнать, по какой причине я был доставлен в сие место. Я охотно последовал ее словам и уселся в кресло, приготовленное у камина, который тогда топили из-за порядочных холодов; она же села рядом со мною в соседнее кресло и сказала: «Мусье! когда тебе хоть немного ведома сила любви, а именно, что она превозмогает и покоряет наихрабрейших, крепчайших и умнейших мужчин, то ты тем менее удивишься, что она одолевает слабую женщину. Тебя вовсе не приглашал сюда некий господин ради твоей лютни, как в том уверили тебя и мусье Канара, а призвала ради несравненной твоей красоты самая что ни на есть прекрасная дама в Париже, которая готова помереть, ежели вскорости не увидит ангельский облик господина и не насладится его созерцанием. Того ради приказала она мне объявить о сем господину как моему соотечественнику и умолить его, как Венера своего Адониса, чтобы он провел у нее сей вечер и дозволил любоваться своею красотою, в чем он, чаятельно, не откажет ей как знатной даме». Я отвечал: «Мадам! Я, право, не знаю, что и подумать, а еще того менее, что сказать должен. Я не знаю за собой таких качеств, чтобы дама, занимающая столь высокое положение, могла искать мое ничтожество. А сверх того всходит мне на ум, что ежели дама, которая возжелала меня видеть, столь прекрасна и знатна, как то объявляет и дает понять моя высокочтимая соотечественница, то, верно, послала бы за мной рано поутру, а не велела бы позвать меня в столь уединенное место на ночь глядя. Чего ради она не приказала прямо прийти к ней? Что мне тут делать в этом саду? Да простит мне высокочтимая госпожа соотечественница, ежели я, одинокий чужестранец, испытываю страх, что тут нечто кроется, поелику мне было сказано, что меня зовут к некоему господину, а на деле происходит все по-иному. Но ежели я примечу, что тут столь предосудительным и злокозненным образом покушаются на мою жизнь, то уж сумею перед смертью найти применение своей шпаге!». «Тише, тише, мой высокочтимый господин соотечественник, — сказала она, — женщины

осторожны и своенравны в своих затеях, так что сразу к ним нелегко приноровиться. Когда бы та, что любит его паче всего, пожелала, чтобы он получил об ее особе совершенную ведомость, то уж, конечно, велела бы привести его сперва не сюда, а прямехонько к ней. Вон там лежит капюшон (показала она на стол), который надлежит надеть господину, когда его отсюда поведут к ней, ибо она также вовсе не хочет, чтобы он узнал место, не говоря уже о том, у кого побывал; а посему прошу и заклинаю господина всем святым, чем только могу, оказать себя достойным перед сей дамой как ее высокого положения, так и той неизреченной любви, какою она к нему воспылала; а ежели он рассудит по-иному и не захочет ей услужить, то да будет ему ведомо, что у нее достанет власти в тот же миг покарать его гордыню и пренебрежение. А когда он поведет себя с нею надлежащим образом, то может быть уверен, что и малейшая услуга, которую он ей окажет, не останется без награды».

Мало-помалу стемнело, и меня одолели всяческие тревоги и опасливые мысли, так что я сидел, как деревянный истукан, и не в силах был вообразить, что смогу с легкостью улизнуть оттуда; того ради согласился я на все, чего от меня желали, и сказал старухе: «Ну что ж, высокочтимая госпожа соотечественница, когда все обстоит так, как вы мне обсказали, то уверяю свою персону вашей прирожденной немецкой честности в надежде, что вы не допустите, а еще менее того поспешествуете тому, чтобы ни в чем не повинный немец попал в какую-нибудь коварную западню. Так исполняйте все, что вам было велено совершить со мною; чайтельно, у дамы, о которой вы мне говорили, глаза не василиска, чтобы от их взора свернуть мне шею!». «Упаси бог! — воскликнула она. — Было бы жаль, когда б такой статный юноша, коим может гордиться вся наша нация, принял столь безвременную кончину. Он увидит больше всяких забав, нежели мог до сего дня помыслить!». Как только получила она мое согласие, то кликнула Жана и Пьера; они тотчас же выступили из-за гобелена, каждый облачен в сверкающую кирасу, вооруженные с головы до пят, с алебардами и пистолетами в руках; сие повергло меня в такой страх, что я весь помертвел. Старуха это заметила и сказала с улыбкой: «Не следует так бояться, когда идешь к женщине!». Засим велела она им обоим снять латы, взять фонари и следовать за нами с одними только пистолетами. Засим натянула она мне на голову капюшон черного бархата, взяла под мышку мою шляпу и повела меня за руку диковинными путями. Я отлично заметил, что меня провели через множество дверей, а затем мы проходили по мощеной дороге. Наконец, примерно через четверть часа, пришлось мне взойти по небольшой каменной лесенке. Тут открылась маленькая дверца; отсюда я прошел по тесному проходу и затем по винтовой лестнице вверх, затем снова несколько ступенек вниз, и тут через шесть шагов перед нами широко распахнулась еще одна дверь. Когда я наконец вошел туда, то старуха сняла с меня капюшон, и я очутился в зале, убран-

ной с чрезвычайною роскошью. Стены были увешаны красивыми картинами, поставец полон серебряной посуды, а стоявшая там кровать убрана расшитыми золотом занавесями. Посреди же стоял великолепно накрытый стол, а у камина ванна для купания, весьма даже красивая с виду, однако ж, по моему разумению, она поганила всю залу. Старуха сказала мне: «Добро пожаловать, господин соотечественник! Неужто и теперь ты еще станешь утверждать, что тебе готовят предательство? Так отбрось всякую досаду и веди себя так, как намедни в театре, когда Плутон возвратил тебе Эвридику. Могу тебя уверить, что здесь ты обретишь более красивую, нежели там потерял».

ПЯТАЯ ГЛАВА

*Симплиций неделю забыл все на свете,
Венерину гору покинул в карете.*

Из сих слов я заключил, что должен буду в сем месте не токмо дозволить собою любоваться, но и совершить нечто иное; того ради сказал престарелой своей соотечественнице, что тому, кто страдает от жажды, мало проку, когда он сидит у запретного колодца. Она же сказала, что во Франции не такие недоброхоты, чтобы запрещать пить воду из колодца, когда она льется через край. «Эх, мадам! — возразил я. — Сказали бы вы мне о том, когда я еще не был женат!». «Вздорные выдумки! — воскликнула безбожная старуха. — Да и кто тебе нынче поверит: женатые кавалеры редко приезжают во Францию; да хотя бы и так, я все равно не поверю, что господин такой дурень, что решит скорее умереть от жажды, нежели дозволит себе испить из чужого колодца, особливо когда тут повеселее и водица повкуснее, чем у себя дома». Таков был наш дискурс, во время коего благородная девица, смотревшая за камином, сняла с меня башмаки и чулки, которые я, пробираясь в темноте, сильно замарал, ибо в то время Париж и без того был весьма грязный город. Засим тотчас последовал приказ выкупать меня перед ужином; сказанная девица забежала туда-сюда и вскорости нанесла все необходимое для мытья, отчего запахло мускусом и благовонным маслом. Простыни же были изготовлены из чистейшего полотна, вытканного в Камбре,¹ и обшиты дорогими голландскими кружевами. Я застыдился и не захотел, чтобы старуха видела меня голым, но ничто не помогло, и я принужден был дозволить ей себя раздеть и вымыть; девушка же на сие время немного отошла в сторону. После мытья дали мне тонкую рубашку и дорогой шлафрок из фиолетовой тафты, а также пару шелковых чулок такого же цвета. А ночной колпак и туфли были расшиты золотом и жемчугом, так что после купанья восседал я так

важно, словно червонный король. Меж тем старуха вытирала и причесывала мои волосы, ибо ухаживала за мною, как за князем или за малым дитятей; многократно помянутая девица вносила различные кушанья, а когда весь стол был ими заставлен, то вошли в залу три божественные молодые дамы, чьи белые, как алебастр, груди, пожалуй, были слишком открыты, однако ж лица совершенно сокрыты под масками. Все три показались мне изрядно красивыми, однако ж одна была куда красивей двух прочих. Я в полном молчании отвесил им глубокий поклон, и они поблагодарили меня с тою же церемонностью, и сие, естественно, имело такой вид, как если бы собрались немые, которые вздумали передразнивать говорящих. Они сели все разом, так что я никак не мог угадать, какая же из них самая знатная, а еще менее того, кому я должен буду тут служить. Первое, о чем у нас зашла речь, не говорю ли я по-французски? Моя же соотечественница ответила: «Нет». На что другая велела передать, не угодно ли будет мне сесть. Когда сие произошло, то третья распорядилась, чтобы моя переводчица также села с нами, а я посему снова не мог заключить, какая же из них самая знатная. Я сидел рядом со старухою насупротив этих трех дам, так что, нет сомнения, моя красота тем разительнее выступала подле такого древнего шкелета. Все три дамы бросали на меня приветливые, ласковые и благосклонные взоры, и я могу поклясться, что груди их источали бесчисленные вздохи. Блеск их очей был для меня сокрыт под масками. Старуха спросила меня (ибо больше никто не мог со мною изъясняться), которую из трех я нахожу самой прекрасной. Я отвечал, что не могу ни на ком остановить свой взор. Тут она засмеялась, так что показала все четыре зуба, еще обретавшиеся у нее во рту, и спросила: «С чего бы это?». Я отвечал, оттого что я их не могу хоршенько рассмотреть, но насколько я вижу, то все три не безобразны. Все, что спрашивала старуха и что я давал в ответ, дамы тотчас же хотели знать; старуха толмачила и еще привирала, что я будто бы сказал, что каждый рот заслуживает ста тысяч поцелуев; я мог хорошо разглядеть под масками их губы, особливо же той, что сидела прямо против меня. Такой хитростию старуха возбудила во мне мысль, что эта дама и будет самая знатная, и я тем пристальней стал за ней наблюдать. В том и состоял весь наш застольный дискурс, во время коего я притворился, что не разумею ни единого слова по-французски. И понеже все шло так тихо, а подобные безмолвные вечера не особенно веселы, то мы скоро отужинали. Засим пожелали мне дамы спокойной ночи и удалились в свои покои, я же не успел проводить их далее, чем до дверей, ибо старуха сразу за ними заперла. Увидев сие, я спросил, где же я буду спать. Она отвечала, что я должен буду вместе с ней довольствоваться той кроватью, что стоит в зале. Я отвечал, что постель была бы довольно хороша, когда бы хоть одна из тех трех в ней почивала. «Ну,— сказала старуха,— по правде, сегодня тебе ни одна не достанется, придется тебе сперва пробавляться

мною». Меж тем, как мы таким образом калякали, прекрасная дама, лежавшая в кровати, отвела полог немного назад и сказала старухе, чтоб она перестала молотить вздор и шла спать! Тут я взял у старой хрычовки свечу, чтоб поглядеть, кто лежит в постели. Она же погасила свечу и сказала: «Господин, коли тебе мила жизнь, то не отваживайся на то, что умыслил! Ложись, но будь уверен, что ежели ты и впрямь потышишься узреть сию даму наперекор ее воле, то никогда не уйдешь отсюда живым!». С такими словами прошла она через комнату и заперла за собою дверь; девушка же, смотревшая за огнем, также совсем его потушила и ушла через скрытую за гобеленом дверь. Засим дама, лежавшая в постели, сказала: «Alle, monsieur Beau Alman,² иди спать, сердце мое! Подъ сюда, прижмись ко мне!»³ — стольким-то словам ее обучила старая немка. Я направился к постели, чтобы поглядеть, как тут обернется дело, и едва только подошел, как лежавшая там женщина бросилась мне на шею, привечая меня несчетными поцелуями, так что от нетерпеливого своего желания едва не откусила мне нижнюю губу, и она стала теревить мой ночной колпак и рвать на мне рубашку, привлекла к себе и так повела себя от безрассудной горячности, что и сказать невозможно. Она не знала по-немецки других слов, как только «Прижмись ко мне, сердце мое!». Все остальное она давала понять телодвижениями. Я, правда, тайком помыслил о своей милой, да чем тут пособишь? Увы, я был человек и обрел столь изрядное во всех пропорциях тело, исполненное такую приятностию, что был бы доподлинным чурбаном, когда б мог уйти оттуда непорочным; сверх того оказали свое действие и колбаски, коими угостил меня на дороге доктор, так что мне самому представилось, как если бы я обратился в козла.

Сим образом провел я в том месте восемь дней и столько же ночей и полагаю, что и другие три возлежали со мною, ибо не все они говорили, как первая, да и не предавались такому дурачеству. И понеже меня и там потчевали точно такими же колбасками, то я уверился, что и они были приготовлены мусье Канаром, который довольно уведомлен о моих делах. Был я тогда в полном расцвете моей юности, черный пушок едва-едва стал пробиваться над губою. И хотя пробыл я у этих четырех дам полных восемь ден, однако ж не могу похвалиться, что мне было дозволено поглядеть хоть на одну из них иначе, как под флеровым чепчиком или когда стемнеет. По прошествии же сказанного времени, т. е. восьми дней, посадили меня во дворе с завязанными глазами в карету вместе со старухою, которая дорогою мне их развязала и привезла к дому моего господина; затем кучер быстро укатил. Мое вознаграждение состояло в двухстах пистолях, а когда я спросил старуху, надо ли мне из этих денег кому-либо отсчитать на водку, то она сказала: «Бога ради, не делай сего, ибо ты весьма бы тем раздосадовал наших дам, и они, чего доброго, подумали бы, будто ты возомнил, что побывал в непотребном доме, где надобно за все платить».

Впоследствии у меня было немало подобных приглашений, отчего я так одеревенел, что под конец от немоги все эти дурачества мне весьма прискучили, ибо и напичканные пряностями колбаски уже почти не могли пособить, из чего я заключил, что и мусье Канар должен тут наполовину почитаться сводником, ибо он их приготавливал.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

*Симплиций бежит из Франции прочь,
Недобрую хворь он сумел превозмочь.*

Такими-то делами промыслил я себе столько подарков деньгами и различными вещами, что меня пронял страх, и я уже более не дивился, что женщины поступают в бордель и сие скотское распутство превращают в ремесло, ибо оно приносит столь изрядную прибыль. Однако ж я принялся размышлять и углубился в себя, правда, не по причине благочестия или побуждений совести, а из опасения, что рано или поздно меня на такой дорожке изловят и воздадут по заслугам. Того ради стал я помышлять, как бы возвратиться в Германию, а тем более что комендант в Л. мне написал, что он захватил живьем несколько кельнских купцов, коих он не собирается выпускать из своих рук прежде, чем ему не вручат принадлежащие мне вещи, item что он еще бережет для меня обещанный прапор и желал бы, чтобы я объявился еще до весны, ибо иначе, ежели я не прибуду к тому времени, он будет принужден отдать эту должность другому. При сем случае и жена моя присовокупила письмецо, наполненное милыми свидетельствами ее нетерпеливого ожидания. Но ежели бы она ведала, какую повел я тут честную жизнь, то, верно, вложила бы туда совсем иной привет.

Я с легкостью мог представить себе, что мне будет трудненько отделаться от мусье Канара, а посему умыслил уйти тайком, как только улучу к тому случай, что на мою великую беду мне и удалось. Ибо как только я повстречал однажды нескольких офицеров из веймарской армии, то поведал им, что я прапорщик под началом у полковника де С. А. и обретаюсь некоторое время в Париже по своим делам, ныне же возымел твердое намерение снова возвратиться в полк, обратился к ним с просьбою принять меня в свое общество попутчиком. Итак, открыли они мне день своего выступления в поход и охотно взяли меня с собою; я купил себе резвого клепера и снарядился в путь так скрытно, как только мог; уложил свои деньги (примерно пятьсот дублонов, кои все были добыты мною зазорною работою у безбожных бабенок) и убрался вместе с моими камерадами, не испрашивая дозволения мусье Канара, однако ж написал ему

с дороги, выставив на письме Маастрих,¹ дабы он подумал, что я отправился в Кельн. В сем послании я брал абшид, объявляя, что мне невозможно долее пребывать у него, ибо я больше не в состоянии переваривать его арсматные колбаски.

На втором ночном привале после Парижа приключилась со мною беда, как натурально бывает с тем, кто заболевает рожею, и голова моя причиняла мне столь ужасную боль, что невозможно было подняться. Мы остановились в прескверной деревеньке, где я не мог сыскать никакого медикуса, а всего горше было то, что не было никого, кто бы мог за мною ходить и оказать мне помощь, ибо рано поутру офицеры, следуя приказу, отправились в путь, оставив меня лежать при смерти, как человека, до коего им не было дела. Однако ж перед отъездом они поручили трактирщику меня и мою лошадь и уведомили деревенского старосту, чтобы он наблюдал за мною, как за офицером, который служит своему королю на войне.

Итак, пролежал я там несколько дней в полном беспамятстве и бредил, как помешанный. Привели ко мне попа, который, однако, не мог внять от меня ничего разумного. И понеже он увидел, что не сможет уврачевать мою душу, то обратил свои помыслы на то, что посильно помочь телу, ибо велел мне пустить кровь, дать потогонного питья и уложить в постель, дабы я хорошенько пропотел. Сие подействовало на меня столь благотворно, что в ту же ночь я опамятовался и стал понимать, где нахожусь, как туда попал и заболел. На следующее утро пришел ко мне снова помянутый священник и застал меня в полном отчаянии, ибо у меня не токмо похитили все мои деньги, но я еще возомнил не что иное, как то, что я (s. v.) нахватал любезных францей,² ибо, по справедливости, они приличествовали мне более, нежели пистолы, так что по всему телу у меня пошли пятна, как у тигра. Я не мог ни ходить, ни стоять, ни сидеть, ни лежать, и у меня вовсе не было терпения сносить сие, и подобно тому как я не мог бы псверить, что потерянные деньги были ниспосланы мне богом, то и теперь впал в такое буйство, что пожелал, чтоб черт снова меня попутал. От моей божбы все небо могло почернеть, и я повел себя так, словно хотел совсем изойти от отчаяния; посему доброму священнику стоило немалых трудов меня утешить, ибо башмак сильно жал мне сразу в двух местах. «Друг мой, — сказал он, — образумься, ежели хочешь нести свой крест, как подобает честному христианину! Что ты делаешь? Неужто хочешь ты, кроме денег, лишиться также и жизни и, что еще важнее, вечного спасения?». Я возразил: «О деньгах я не печалюсь, когда б не навязал я себе на шею эту проклятую скаредную болезнь или по крайности попал в такое место, где мог бы ее хорошенько вылечить!». «Тебе надобно потерпеть, — отвечал священник, — как принуждены терпеть бедные маленькие дети, коих эта болезнь в здешней деревне повалила больше полусотни!». Едва я услышал, что и дети одержимы такою же болезнью, то сразу приободрился, ибо легко мог сообразить, что помянутая мерзкая

зараза не могла к ним пристать; того ради взял я кожаный свой чемодан поглядеть, что там могло еще остаться, однако в нем не нашлось ничего ценного, кроме чистого белья и медальона с изображением некой дамы, кругом усаженного рубинами, который подарила мне некая дама в Париже. Я вынул изображение, а остальное передал духовному лицу с просьбою продать в ближайшем городе, чтобы мне было на что прохарчиться. Сие привело к тому, что я едва получил третью часть того, что все это стоило; а так как мне этого не надолго хватило, то я принужден был также расстаться и с моим клепером. Так протянул я в немалой скудости до того времени, покуда не начали подсыхать струпья и мне снова не полегчало.

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

*Симплиций, Фортуну упустив оплошно,
Теряется в мыслях, сколь жить стало тошно.*

Чем кто грешит, тем и наказан. Оспа так изрябила мое лицо, что с тех пор женщины оставили меня в добром покое. Я получил такие выбоины, что стал похож на мостовину в овине, где молотили горох, и превратился в такую уродину, что мои прекрасные вьющиеся волосы, в коих запутывалось столько женщин, устыдившись меня, покинули свою родину. Вместо них отросли другие, наподобие свиной щетины, так что я с необходимостью принужден был носить парик; и подобно тому как на моей коже не осталось снаружи никакой красоты, так и приятный мой голос пропал, ибо горло у меня было все в струпьях. Глаза мои, всегда сверкавшие любовным огнем, так что способны были воспламенить любую, теперь стали красны и слезились как у восьмидесятилетней старухи, сведшей знакомство с господином Корнелиусом.¹ А сверх того я находился в чужой стране, где не знал ни единой собаки и ни единого человека, который бы мне доверял, не понимал языка и почитай что издержал все деньги.

Тут только поразмыслил я обо всем прошедшем, сокрушаясь об удачливых обстоятельствах, способствовавших моему благополучию, которые я беспутно и оплошно упустил. Тогда лишь я оглянулся назад и заметил, что чрезвычайное счастье на войне и обретенное мною сокровище были не что иное, как причина и приуготовление к теперешнему моему несчастью, и Фортуна никогда б не смогла низвергнуть меня столь глубоко, когда б перед тем не прельстила меня лживыми своими взорами и не вознесла бы так высоко; и я нашел, что то самое добро, которое я повстречал и почитал добром, было на самом деле злом и привело меня к крайней гибели. И не было тогда со мной ни отшельника, который чистосердечно печалю-

вался обо мне, ни полковника Рамзая, который призрел меня в горькой нужде, ни священника, который подавал мне добрые советы, словом, ни одного-единственного человека, кто был бы ко мне расположен; а как деньги мои уплыли, то и меня погнало прочь искать пристанища где-либо в ином месте, так что я, подобно блудному сыну, должен был довольствоваться обществом свиней. Тогда-то впервые подумал я о добром совете, что подал мне тот пастор, который полагал, что мне надобно приложить мои средства и мою юность к учению; однако ж было уже слишком поздно хвататься за ножницы, чтобы подрезать крылья пташке, ибо она улетела. О, скорая и злополучная перемена! Всего месяц назад я был молодцом, который приводил в изумление князей, восхищал женщин и народ как искуснейшее творение природы, да что там, казался самим ангелом, теперь же стал столь ничтожен, что на меня мочились собаки. Я терялся в мыслях, за что бы мне ухватиться; хозяин не захотел меня держать и вытолкал из дома, ибо я не мог больше платить. Я охотно пошел бы на даровые хлеба, да ни один вербовщик на меня не зарился, ибо я более походил не на солдата, а на шелудивого пса и обтрепанного полотняного ткача. Работать я не мог, ибо был еще слишком слаб, да и сверх того не знал никакого ремесла. Или надобно было мне снова стать пастухом, как у моего батьки, или даже нищенствовать, чего я стыдился. Ничто так не утешало меня, как то, что близилось лето и я мог по крайности заночевать под забором, ибо меня никто не хотел пускать в дом. У меня еще сохранилось нарядное платье, которое я сшил на дорогу, а также чемодан с дорогим полотняным бельем, однако ж никто их у меня не покупал, опасаясь, чтоб я не передал с ними болезнь. Я взвалил эти пожитки на плечи, взял шпагу в руки, а путь-дорогу под ноги, которая и привела меня в маленький городишко, где, однако же, была аптека. Я зашел туда и велел приготовить мне мазь, чтобы согнать с лица оспины; и так как у меня не было денег, то предложил аптекарскому подмастерью красивую тонкую рубашку, а он не был столь брезглив, как другие дурни, которые не хотели брать у меня платье. Я помыслил, когда бы тебе только поскорее отделаться от гнусных пятен, то дела пойдут лучше, и твоя нужда полегчает. И когда аптекарь меня утешил, что стоит миновать неделю, как глубокие рубцы, коими меня изукрасила оспа, станут менее приметны, то я порядочно приободрился. Рядом был рынок, где я увидел зубодера, который зашибал изрядные деньги, навязывая людям, всякие негодные снадобья. «Дурачина, — сказал я самому себе, — что ты делаешь, да неужто сам ты не можешь изготовить такой же хлам; коли ты не довольно прожил у мусье Канара и не обучился настолько, чтобы облапошивать глупых мужиков и тем добывать себе пропитание, то ты совсем жалкий олух».

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

*Симплициус, странник и нищелюбив,
Обманом деньги с мужиков дерет.*

Я мог тогда жрать, как молотильщик, ибо мой желудок был поистине ненасытен и непрестанно требовал от меня все больше и больше, хотя у меня ничего уже не было в запасе, кроме одного-единственного золотого кольца с адамантом, который стоил примерно двадцать крон. Я спустил его за двенадцать, и понеже мог с легкостью вообразить, что им скоро придет конец, ибо в придачу к ним я ничего не выручил, то решил стать врачом. Я купил себе *materialia*¹ для составления *theriacaе Diatesseron*² и приготовил его, чтобы продавать в маленьких городах и местечках. А для пользования мужиков взял я немного можжевельного латверга,³ смешал его с дубовым листом, ивовыми почками и тому подобными жестокими ингредиентами. Затем приготовил я из трав, корней, масла и некоторых жиров зеленую мазь для врачевания ран, да такую, что ею можно было лечить и покалеченную лошадь, *item* из гальмея,⁴ кремня, рачьих жерновов,⁵ шмиргеля⁶ и трепела⁷ — порошок, чтобы чистить добела зубы; далее изготовил я голубой элексир из щелока, меди, нашатыря и камфоры — от цинги, дурного запаху во рту, зубной боли и глазной хворобы, а также приобрел целый ворох жестяных и деревянных коробочек, бумаги и скляниц, дабы рассовать в них свои товары, а чтоб придать себе важности, велел я составить и отпечатать на французском языке ярлычки, на коих было обозначено, к чему годно то или другое снадобье. В три дня я управился с этой работой, издержав, когда покинул городишко, едва три кроны в аптеке и на покупку склянок. Итак, уложил я вещи и порешил, странствуя от деревни к деревне и сбывая по дороге свои товары, добраться до Эльзаса, а следовательно, до Страсбурга как нейтрального города, а там при случае выйти на Рейн и вместе с купцами отправиться в Кельн, а оттуда своим путем к любезной женушке. Умысел-то был хорош, да предприятие незадачливо!

Когда я первый раз объявился перед церковью с моим знахарством и стал предлагать свои товары, то моя торговлишка пошла из рук вон плохо, ибо был я еще столь прост, что не пожелал пособлять ей ни языком, ни какими-либо шарлатанскими выдумками; однако ж тотчас заметил, что надо взяться за дело иначе, ежели только хочу зашибить деньгу и сбыть это дерьмо. Я пошел со своим хламом в трактир и за столом узнал от хозяина, что после полудня под липами у его дома собирается народ, тут я мог бы кое-что продать, ежели у меня хорошие товары; однако по всей стране шатается столько обманщиков, что люди тугο расстаются со своими денешками, покуда воочию не увидят надежной пробы, что террак отменной доброты. Когда я услышал, в чем заминка, то раздобыл стеклянный

стакан превосходной страсбургской водки и поймал особого вида лягушку, из тех, что зовут жерлянка, или монашка,⁸ кои по весне да и летом заводятся в нечистых лужах и там поют; они золотисто-желтые или почти что красно-желтые, а внизу на брюхе с черными пятнами, весьма невзрачные с виду. Одну такую я и посадил в скляницу с водою и поставил рядышком с моими товарами под липами. Когда люди стали собираться и столпились вокруг меня, то многие полагали, что я примусь выдирать зубы клещами, которые позаимствовал у трактирщика; я же повел такие речи: «Э, господа и добры други (ибо я еще совсем скверно говорил по-французски)! Я не какой-нибудь там Выдеримнезуб, а есть у меня в запасе славная примочка для глаз, чтоб они не были красны да не было из них течи». «Вот, вот, — ответил мне один, — сие сразу видно по твоим очам, они горят, как болотные огни!». Я сказал: «То правда; но когда б у меня не было этой примочки, то я бы и вовсе ослеп. Впрочем, я не торгую этой водою; я продаю териак и порошок для белых зубов и мазь от ран, а примочку я даю в придачу. Я не какой-нибудь там шарлатан или Обсериснарод. Я продаю этот териак, ибо учинил ему пробу, и коли он тебе не нравится, то тебя никто не неволит его покупать». Меж тем велел я одному из обступивших меня людей выбрать коробочку с териакком, вынул из нее катышок размером с горошинку, опустил его в стакан с водкой, кою зрители почитали простою водою, растер его там и, вытащив щипцами лягушку из скляницы, сказал: «Смотрите, добры други! Когда сия ядовитая тварь напьется териака и не околет, то снадобье ни к чему не годно, и вы его у меня не покупайте!». С такими словами взял я бедную лягушку, коя родилась и возвращена была в водной стихии и никакого другого элемента или ликвара не могла вынести, и сунул в стакан с водкой, прикрыв лоскутом бумаги, дабы она оттуда не выскочила. Тогда зачала она там яриться и корчиться, куда жесточе, чем если бы я ее бросил на раскаленные уголья, ибо водка была для нее чересчур крепка; и после того как она некоторое время потрепыхалась, то потихоньку околела, протянув все четыре лапы. Тут мужики разинули рты и кошельки, ибо своими собственными очами увидели надежную пробу. Они возмнили, что на всем свете нет лучшего териака, нежели у меня, и тут было немало хлопот заворачивать в ярлыки эту дрянь и считать деньги. Тут сыскались и такие, что покупали по три, по четыре, по пять и по шесть заверток, чтобы запастись таким превосходным противоядием на случай какой нужды; и они закупили также для своих друзей и родственников, живших в других местах, так что я глупейшим образом, ибо тогда был не базарный день, выручил в тот же вечер десять крон и еще сохранил больше половины своего товара. В ту же ночь я подался в другую деревню, ибо находился в опасении, чтобы какой-нибудь мужик не оказался столь любопытен и не опустил жабу в воду, учинив пробу моему териакку, а когда она не удастся, не наклал мне по заливку. Мне ведь не было надобности употреблять такие

обманства, которые раскрывает высокоученый Маттиолус⁹ в шестой книге Диоскорида «De venenis», когда пишет о базарных лекарях и шарлатанах. И покуда я мог находить сказанного монашка, мне не было нужды держать обезьяну или какое другое редкостное животное, чтобы морочить глупых людей. А в Париже научился я у одного немецкого фигляра проделывать преизящные фокусы на картах, чтоб собирать зевак и завлекать их до тех пор, покуда не учиню вышеописанным образом пробу моему териаку и не подстрекну народ растрясти мошну. А чтоб я мог доказать отменную доброту моего противоядия также и другим манером, изготовил я из муки, шафрана и чернильного ореха желтый мышьяк,¹⁰ а из муки и купороса — Mercurium sublimatum.¹¹ И когда я хотел учинить пробу, то ставил на стол две совершенно одинаковые скляницы с водою, подмешав в одну из них aqua fortis,¹² либо spiritus vitrioli.¹³ В сей склянице я разбалтывал малую толику моего териака, а затем натирал в обе того и другого яду, сколько было потребно. От этого вода, в которой не было териака, а значит, и не было селитряной кислоты, становилась черной, как чернила, другая же оставалась чистой, как была, по причине селитряной кислоты. «Эге! — говорил тогда народ. — Гляди-ко, то поистине славный териак, да еще задешево!». А когда я потом сливал оба стакана вместе, то все снова становилось прозрачно. Тут-то добрые мужики и развязывали кошелки и покупали у меня, что не только пришлось весьма кстати для моего истомившегося желудка, но и посадило меня на коня, да еще к тому же снабдило немалыми деньгами на дорогу, и таким образом я счастливо достиг немецкой границы. А посему, любезные крестьяне, не верьте с такою легкостью чужестранным площадным шарлатанам! А не то будете ими жестоко обмануты, ибо они заботятся не о вашем здравии, а подбираются к вашим денежкам.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

*Симплициус, лекарь, немало болтал,
К имперским солдатам в лапы попал.*

Пока я пробирался через Лотарингию, разошлись все мои товары, а так как я опасался городов, где стояли гарнизоны, то не мог запастись другими. Того ради принужден был я взяться за что-либо иное, покуда не улучш случай снова изготовлять териак. Я купил две мерки водки, подкрасил ее шафраном, разлил по скляницам — каждая по полулоте — и продавал людям, выдавая за превосходную золотую воду,¹ весьма полезительную при лихорадке, выручив за нее тридцать флоринов. И когда мне стало недоставать пузырьков, а я прослышал про стекловарню во Флекен-

штейне,² то отправился туда, чтобы запастись необходимым снаряжением; и меж тем, как я кружил окольными путями, меня захватил филиппбургский разъезд,³ что тогда стоял в замке Вагельнбург;⁴ итак, я лишился всего, что сумел вымотать у простофиль во время этого путешествия. А как мужик, который пошел со мною показать дорогу, объявив молодцам, что я медикус, то и повезли меня как доктора в Филиппбург наперекор всем чертям.

Там мне учинили допрос, а я вовсе не побоялся признаться, кто я такой, но мне не хотели верить, полагая, что я более важная птица, чем на самом деле; и я должен быть доктором. Я клялся, что принадлежал к имперским драгунам в Зусте и был взят в плен шведами из Л., item что от противника, который не захотел отпустить меня за выкуп, я ушел в Кельн, дабы произвести экипировку, а оттуда противу своей воли попал во Францию, теперь же возвращаюсь в свой полк. А о том, что я взял себе жену на стороне противника и еще должен там получить прапор, я искусно умолчал в надежде, что мне удастся отговориться и получить свободу. Хотелось мне тогда спуститься вниз по Рейну и снова отведать вестфальской ветчины. Но все обернулось совсем иначе, ибо мне ответили, что императору надобны солдаты как в Зусте, так и в Филиппбурге; мне надлежит остаться у них, покуда не представится удобный случай воротиться в полк. А ежели сие предложение мне пришло не по вкусу, то я могу довольствоваться темницей, где, покуда не освобожусь, со мной будут обходиться, как с доктором, которого ведь они и взяли в плен.

Итак, я пересел с лошади на осла и принужден был противу моей воли стать мушкетером. Тогда пришлось мне солоно, ибо командиром там был скряга и солдатский паек страх как мал. Я не зря сказал: страх как мал, ибо всякое утро, когда я его получал, на меня нападал страх, ибо я знал, что должен довольствоваться им весь день-деньской, тогда как я без малейшего труда мог умять его зараз. И сказать по правде — прежалкая это тварь мушкетер, который принужден подобным образом провождать жизнь в гарнизоне и довольствоваться разлюбезным черствым хлебом, да еще впроголодь. Да ведь это все одно, что пленный, который влачит свою печальную жизнь на хлебе и воде. И пленнику даже живется лучше, и он куда счастливее; ибо он не должен ни бодрствовать, ни ходить дозором, ни стоять на карауле, а полеживает себе спокойно, и у него ровно столько же надежды когда-нибудь со временем выбраться из такой тюрьмы, как и у бедной гарнизонной крысы. Хотя были там и такие, что умели самым различным манером несколько поправить свой недостаток; однако ни один из таких способов, которые я мог выбрать, чтоб насытить утробу, не был пристойным. Ибо некоторые в такой беде брали себе жен (хотя бы то были отставные потаскухи) затем только, чтобы они могли их прокормить шитьем, стиркой, пряденьем либо мелочной торговлей, плутнями, а то и воровством. Там среди баб была одна фендрикша, которая

получала жалованье, как гефрейтер; другая была повитуха и своим ремеслом доставляла себе и мужу изрядные угощения. А другие умели стирать и крахмалить; они полоскали у холостых офицеров рубахи, чулки, подштанники, и не знаю, что еще, отчего получали особые прозвища. Иные продавали табак и набивали молодчикам трубки, когда у них в том была нужда; а другие торговали водкой, и шла слава, что они разбавляют ее водою, которую сами дистиллируют, отчего она, однако ж, не теряет во вкусе. А иные умели шить и могли выделывать всякие стежки и модели, чем и зарабатывали деньги; а были и такие, которые кормились на поле: зимою выкапывали улиток, весною сеяли салат, летом обирали птичьи гнезда, осенью же умели добывать всякие лакомые кусочки. Некоторые таскали на себе дрова на продажу, как вьючные ослы, а другие промышленяли какой ни на есть торговляшкой. Снискивать подобным образом себе пропитание и насыщать утробу было не по мне, ибо у меня уже была своя жена. Иные молодчики промышленяли игрой, ибо знали всякие кунштюки почище любого жулика и умели облапошивать своих простофилей-камадров фальшивыми костями и картами, но подобные профессии мне претили. А другие рыли шанцы и ломали, как лошади, но я был на то слишком ленив. А еще другие занимались всякими ремеслами, я же, олух, не знал ни одного. Правда, ежели бы понадобился музыкант, то я пришелся бы тут кстати; но в такой голодной обители обходились одними дудками да барабанами. Некоторые несли караульную службу за других и день и ночь не отлучались с караулов; я же предпочитал лучше голодать, нежели так изнурять свое тело. А иные перебивались тем, что участвовали в разъездах, но мне ни разу не доверили выйти за ворота. Были такие, что умели подстергать добычу лучше кошки; но я ненавидал подобные промыслы хуже чумы. Одним словом, куда бы я ни повернулся, ни за что не мог ухватиться, чтобы насытить утробу. А что мне всего более досаждало, так то, что я еще принужден был сносить насмешки, когда парни говорили: «Что это за доктор, у которого подвело живот?». Под конец заставила меня нужда выудить несколько отменных карпов из крепостного рва, но как только проведал о том полковник, то я принужден был погарцевать на деревянном осле, и мне запретили показывать свое искусство под страхом виселицы. Под конец чужое несчастье обернулось мне счастьем, ибо стоило мне вылечить кое-кого от желтухи и лихорадки из тех, кто особенно уверовал в мое врачевание, как мне было разрешено отлучаться из крепости под тем предлогом, что мне надо собирать травы и коренья для моих лекарств. Вместо того я ставил силки на зайцев, и мне особенно посчастливилось, ибо в первую же ночь поймал сразу двух; я преподнес их полковнику и получил за это в подарок не только талер, но и дозволение уходить из крепости ловить зайцев, когда хочу, если только не назначен в караул. А как тогда вся страна порядком запустела и никого не было, кто охотился бы за зайцами, хотя они здорово размножились, то вода снова по-

текла на мою мельницу, ибо все казалось не иначе, как если бы шел снег из зайцев или я загонял их в свои силки каким-либо колдовством. А когда офицеры убедились, что мне можно доверять, то мне снова позволили отпираться в разбеге. Тут повелись у меня деньги, как бывало в Зусте, не считая того, что я уже не командовал отрядом и не вел его за собою, как в Вестфалии, ибо сперва надобно было вызнать все дороги и тропинки, равно как и течение Рейна.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

*Симплиций, свалившись в бурный поток,
Дает добродетели строгой зарок.*

Прежде чем поведаю я о том, как избавился я от мушкета, хочу рассказать еще несколько историй: одну о превеликой опасности для жизни и телесного здоровья, коей я по милости божией избежал, другую об опасности душевной гибели, в коей я жестоковейно застрял, ибо я не желаю скрывать свои пороки, так же как и добродетели, не затем только, дабы полнота моей повести не потерпела ущерба, но и того ради, чтобы неискuschenный читатель узнал, сколь диковинные сумасброды бывают на свете, что мало помышляют о боге.

Как в конце предыдущей главы было уже сказано, позволили мне принять участие в разбегах, ибо в гарнизоне доброхотствовали не всяким беспутным ветрогонам, а заправским солдатам, которые могут понюхать пороху. Итак, однажды вышли мы, девятнадцать молодцов, через Унтермаркское графство,¹ выше Страсбурга, дабы подстеречь корабль из Базеля, на котором должны были тайно находиться несколько веймарских офицеров и всякое добро. Выше Оттенхейма² мы нашли рыбацью лодку, чтобы перебраться на ней и залечь на Вердере,³ откуда было весьма удобно принудить приближающееся судно пристать к берегу, ибо десятеро из наших уже были счастливо перевезены рыбаком. Но когда один из нас, который, впрочем, хорошо мог управлять лодкой, переправлял остальных девятерых, среди коих был и я, то лодка нечаянно перевернулась, и мы все внезапно очутились в Рейне, да притом в наипоопаснейшем месте, где самое сильное течение. Я не больно-то печалился о других, а подумал о самом себе. И хотя я напрягал все силы и пустил в ход всю сноровку хорошего пловца, могучий поток швырял меня, как мяч, и то подбрасывал вверх, то тащил в бездну. Я сражался с волнами столь доблестно, что нередко едва мог перевести дух; будь вода похолоднее, то я никогда бы так долго не продержался и не уцелел. Часто пытался я достичь берега, но водоворот не позволял мне сего, бросая из стороны в сторону; и хотя

вскорости меня отнесло к Гольдшейеру,⁴ время, которое ушло на это, показалось мне столь долгим, что я почти потерял надежду на спасение. Но когда миновал деревеньку Гольдшейер и уже приготовился к мысли, что меня живым или мертвым вынесет к страсбургскому мосту через Рейн, то завидел я большое дерево, выставившее из воды свои ветви совсем неподалеку от меня. Поток стремительно несся прямо на него; того ради употребил я все остающиеся силы, чтобы подплыть к дереву, в чем мне была удача, ибо вода и мои старания посадили меня на большой сук, который я сперва принял за целое дерево. Однако кипение вод и волны так его терзали, что он беспрестанно трещал, отчего в животе моем происходило такое сотрясение, что, казалось, могло извергнуть легкие и печень. Я прежалостно держался на нем, ибо у меня диковинным образом зарябило в глазах; тут выворотило из меня наружу все, что я съел еще во Франции и Вестфалии; и меж тем, когда я блевал, словно пес у кожевника, штаны мои также стали полнехоньки, но все это добро тотчас смыли и унесли прочь волны Рейна, ибо сук, на котором я сидел, поминутно окунался в воду. Я и сам снова охотно бросился бы в воду, но здраво рассудил, что было бы недостойно мужчины не осилить того, что было сущей безделицей по сравнению с тем, что я уже выстоял; того ради принужден был остаться, питая непрочную надежду на нечаянное избавление, которое ниспослет мне бог, ибо иначе придется мне распротиться с жизнью. Однако совесть моя не подавала мне к сему твердого упования. Меж тем как я выговаривал самому себе, что я уже не один год нерачительно пренебрегал такою спасительною благодатию, все же надеялся я на лучшее и принялся так истово молиться, как если бы получил воспитание в монастыре: я решил вести впредь благочестивую жизнь и давал различные обеты. Я отрекался от солдатской жизни и заклился навеки от разъездов, также забросил патронташ и ранец и повел себя не иначе, как если бы вознамерился снова стать отшельником, дабы искупить грехи, воссылая благодарение божественному милосердию за чаятельное свое спасение. И меж тем, как я провел в таком страхе и надежде на том суку два или три часа, показался шедший вниз по Рейну тот самый корабль, который я должен был подстергать. Тут принялся я прежалостно вопить и взывать о помощи ради самого бога и Страшного суда; и когда корабль проходил неподалеку от меня, а посему мое бедственное положение и опасность, в какой я находился, тем явственнее предстали очам, так что всех побудил к милосердию, ибо они тотчас же отправились к берегу, чтобы посоветоваться, как мне пособить.

И как по причине великого течения и водоворота, производимого корнями и сучьями дерева вокруг меня, нельзя было без опасности для жизни ни подплыть ко мне, ни приблизиться на большом или малом судне, то для моего спасения потребно было немалое время, чтобы поразмыслить. Тут всякий легко уразумеет, каково было у меня тогда на душе. Наконец,

послали они двух молодых на челне, которые зашли по реке выше меня и бросили мне по течению канат, оставив у себя один его конец; другой же конец выловил я с превеликим трудом и обвязал вокруг туловища так крепко, как только смог, и так потянули меня, как рыбу на удочке, сперва в челн, а потом доставили на корабль.

И когда таким образом по божией милости я избежал смерти, то, по справедливости, должен был на берегу пасть на колени и возблагодарить божественную благодать за свое спасение, а также положить начало к исправлению, согласно зароку и обету, что я дал, обретаясь в жестокой беде. Но, ах, жаль! я, бедный человек, пренебрег сим. И когда меня спросили, кто я такой и как попал в такую опасность, то зачал так лгать, что небо могло почернеть, ибо я подумал: «Когда ты им откроешь, что намеревался их ограбить, они тотчас же снова бросят тебя в Рейн»; итак, выдал себя за выгнанного органиста и сказал, что когда я поспешал в Страсбург, чтобы подыскать за Рейном должность учителя или какое другое место, то меня захватил развезд, обобрал и бросил в реку, которая и вынесла меня к этому дереву. И после того как я сумел всячески приукрасить эту ложь и подтвердить клятвами, мне в том крепко поверили, дали кушанье и питье, чтобы я мог подкрепить свои силы, в чем я тогда изрядно нуждался. У страсбургской таможи⁵ большинство людей сошло на берег и я вместе с ними; и когда я изъявлял им глубокую благодарность, то приметил среди прочих молодого купца, чье лицо, походка и мины позволяли заключить, что я не раз видел его и раньше, хотя и не мог вспомнить где, однако же догадался по разговору, что то был тот самый корнет, который (прежде сего) взял меня в плен. По правде, я не мог взять в толк, как из такого молодого бодрого солдата получился купец, особливо же потому, что он был прирожденный дворянин. Охота узнать, обманули меня глаза и слух или нет, побудила меня подойти к нему и сказать: «Мусье Шёнштейн, это он или не он?». А он мне ответил: «Я никакой не Шёнштейн, а купец». Тогда я сказал: «Так ведь и я не егерь из Зуста, а органист или, вернее, нищенствующий побродяга». «О, брат! — воскликнул он. — Так какого черта тебе тут надобно? Где ты шатаешься?». Я сказал: «Когда самим небом тебе назначено было помочь спасти мне жизнь, как то уже случилось дважды, то, нет сомнения, мне суждено быть неподалеку от тебя». Засим взялись мы за руки, как два верных друга, которые прежде того поклялись во взаимной приязни до самой смерти. Я принужден был у него остановиться и все рассказать, что со мною случилось с тех пор, как я уехал из Л. в Кельн с своим сокровищем; не умолчал я и о том, каким образом отправился с развездом подстерегать их корабль и что с нами произошло. Однако ж о том, какую жизнь вел я в Париже, молчал, как рыба, из опасения, что он может проболтаться в Л., отчего наживу я у моей жены худую славу. В свой черед и он открыл мне, что был послан гессенским генералитетом к герцогу Бернгарду,⁶ князю Веймарскому, по

различным делам особой важности касательно дел военных, дабы составить реляцию и учинить конференцию о предстоящей кампании и приготовлениях к оной, что все он должным образом исправил, и в обличьи купца, как то я видел собственными очами, возвращается восвояси. Также рассказал он мне, что, когда уезжал, моя дражайшая была на сносях и находилась в добром здравии, равно как ее родители и родственники; item что полковник все еще сохраняет для меня прапор, и поддразнивал, уверяя, что как мое лицо сильно изрыла оспа, то моя жена и другие женщины в Л. еще более возомнят об егере и встретят его с особливою куртуазностию и т. д. Засим уговорились мы, что я останусь с ним и с такою оказиею возвращусь в Л., чего я так сильно желал. И так как я был в лохмотьях, то он дал мне взаймы немного денег, чтобы я экипировался как лавошный слуга.

Но, говорят, чему не бывать, то и не случится. Сие сбилось и на мне, ибо когда мы плыли вниз по Рейну и наш корабль в Рейнхаузене⁷ был подвергнут визитации,⁸ то меня тотчас же опознали филиппсбуржцы, схватили и увезли в Филиппсбург, где я принужден был снова стать мушкетером, как и прежде, что весьма огорчило доброго моего корнета, равно как и меня самого, ибо нам пришлось разлучиться. Но он не посмел вмешаться в мои дела, ибо ему самому пришлось подумать о том, чтобы не попасться.

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций решает прибегнуть к обману,
Не хочет поверить грехи капеллану.*

Итак, благосклонному читателю уже ведомо, в какой опасности для жизни и здравия я находился. А что касается опасности для моего душевного спасения, то надобно знать, что, стоя под мушкетом, я порядочно одичал и стал человеком, который больше не печалуется ни о боге, ни о своем слове: не было такого злодейства и такой недоброй выходки, коих я не был бы способен совершить. Тут были забыты все милости и благодеяния, когда-либо ниспосланные мне богом; я не творил молитвы ни о временном, ни о вечном блаженстве, а, положась на старого императора, жил, как скот. Никто не поверил бы мне, что я воспитан был благочестивым отшельником. Редко посещал я церковь и вовсе не для исповеди; и так как нимало не помышлял о своем душевном спасении и всех божественных предметах, то тем горше досаждал своим ближним. Я порицал людей не только тайно, но оскорблял их явно, едва представится к тому случай. Где б ни довелось мне зацепить кого-нибудь, уж

я не упущу того, и я даже похвалялся, что, почитай, никто не избежал моих насмешек. За это меня частенько дубасили, а еще чаще приходилось мне гарцевать на деревянном осле, и мне даже грозили виселицей и удавкой,¹ но ничто не помогало: я продолжал безбожное житие, так что казалось, будто я поставил все на карту и со всем старанием мчусь прямо в ад. И хотя я и не свершил никакого злодеяния, коим заслужил бы себе смерть, однако ж был столь нечестив и порочен, что, не считая колдунов и содомитов, навряд ли можно было повстречать другого более беспутного человека.

Сие заметил наш полковой капеллан, и понеже он был поистине благочестивый пастырь, радевший о душевном спасении, то послал он на пасхальной неделе за мною, дабы узнать, чего ради я не явился к исповеди и не причащался святых даров. Я же после его многих чистосердечных увещаний обошелся с ним так же, как перед тем с пастором в Л., так что сей добрый и честный господин не мог ничего от меня добиться. И когда казалось, что вода и елей были потрачены на меня напрасно, то сказал он напоследок: «О, бедный человек! Я-то думал, что ты заблуждаешься по неведению, ныне же примечаю, что ты закоснел в грехах по нечестию и злему умыслу. Ах, кто же, думаешь ты, возымеет сострадание к твоей бедной душе и пожалеет о ее погибели? Со своей стороны во всеулышание объявляю перед богом и людьми, что не несу вины за твою гибель, ибо пекусь и буду неусыпно печься о том, чтобы обрести тебе вечное спасение. Но ежели бедная твоя душа покинет тебя в теперешнем твоём закоснении, то мне не останется ничего более, как погresti тебя не на освященной земле вместе с прочими благочестивыми христианами, а подле живодерни, куда сволакивают околевшую скотину, или же в таком месте, где закапывают таких же заблудших и умерших без покаяния».

Сия суровая угроза столь же мало подействовала на меня, как и прежние увещания, и не по иной какой причине, кроме той, что я стыдился исповеди. О, какой же я был дурень! Я нередко рассказывал о своих проделках целой компании, да еще прилыгал к тому немало, а теперь, когда должен был покаяться и смиренно признаться в своих грехах одному-единственному человеку заместо бога, получить отпущение, то молчал, как ожесточившийся немой! Я молвил правильно: ожесточившийся, ибо и впрямь ожесточился, сказав в ответ: «Я служу императору как солдат, и когда я умру по-солдатски, то не диво, что меня, подобно другим солдатам (коих отнюдь не всегда погребают на освященной земле, а частенько где-либо на поле, в канавах, а то и в желудках волков и воров), похоронят не на церковном кладбище».

Итак, отошел я от сего духовного лица, который со всем своим святым усердием о спасении моей души ровнешенько ничем от меня не поживился, кроме того, что однажды я преподнес ему зайца, о чем он

часто просил меня под тем предлогом, что ему не подобает самому ставить силъя, ибо если петля захлестнет его самого и лишит жизни, то будет неприлично предать его как удавленника погребению на освященной земле.

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций встречает Херцбрудера снова,
Незыблемо дружбы и верности слово.*

Итак, мое исправление в нравах не воспоследовало, и я, напротив, час от часу становился все непутевее. Однажды полковник сказал мне, что так как я не хочу вести себя добропорядочно, то он с позором прогонит меня, как негодяя. Но понеже я хорошо знал, что это сказано не взаправду, то ответил ему: «Сие не токмо что с легкостию и без особливых издержек учинить можно, но и без ущерба для меня самого, когда только он соблаговолит отпустить со мною помощника профоса». Итак, оставил он все по-прежнему, ибо отлично уразумел, что меня нельзя застрашать наказанием, а можно удержать только добром, дав мне полную волю; а посему принужден был я, скрепя сердце, остаться мушкетером и терпеть голод, покуда не наступило лето. Однако, чем ближе придвигался со своею армиею граф фон Гёц,¹ тем более приближалось мое освобождение, ибо когда он расположил главную свою квартиру в Брухзале,² то мой Херцбрудер (коему я как верный друг помог деньгами в лагере под Магдебургом³) был послан генералитетом с некоторыми поручениями в нашу крепость, где его приняли с превеликим почетом. Я как раз стоял на карауле перед покоями полковника, когда там давали славную пирушку; и, хотя Херцбрудер был одет в черный бархатный камзол, я тотчас узнал его с первого взгляда, однако ж не отважился тотчас же заговорить с ним, ибо опасался, что он при таком стечении важных гостей постыдится меня или же вообще не захочет со мною знаться, ибо, судя по платью, был в больших чинах, я же был вшивым мушкетером. Но меня сменили, я справился у слуги об имени и звании его хозяина, дабы быть в совершенной уверенности, что не принял за него другого, но и тут не собрался с духом заговорить с ним, а написал ему нижеследующее письмецо, которое поутру отдал для вручения его камердинеру:

«Monsieur etc. Когда высокородному моему господину угодно будет также и ныне спасти из наибедственнейшего в свете положения, в которое забросила его игра непостоянной Фортуны, того, кого он однажды своею доблестию избавил от уз и оков во время битвы при Виттштоке, то сие

не токмо не потребует от него особых трудов, но и доставит ему вечно благодарного и без того повсегда преданного ему слугу, ныне же наименее счастливого и покинутого

С. Симплициссимуса».

Едва только прочитал он сию цидульку, как велел тотчас же впустить к себе и сказал: «Земляк, а где тот малый, что дал тебе это письмо?». Я отвечал: «Господин, он сидит в плену в сей крепости». «Ладно, — сказал он, — так ступай к нему и скажи, что я намерен ему пособить, даже если на него уже надели петлю!». Я сказал: «Господин, к тому нет нужды, однако ж благодарю за такую редкостную готовность». И понеже я видел, что он столь снисходителен, то продолжал свою речь и сказал: «Я везд тот самый бедный Симплициус, который пришел теперь, чтобы возблагодарить за избавление у Витштока,⁴ а также и с просьбою снова освободить его от мушкета, который принужден был взять противу своей воли». Он не дал мне всего досказать и, обняв меня, уверил, сколь готов он оказать мне помощь. Одним словом, он сделал все, что только может сделать верный друг; и, еще не расспросив меня, как я попал в крепость и принужден был нести такую службу, послал он своего слугу к тамошним евреям купить для меня коня и платье. Меж тем поведаль я ему, что со мною приключилось с того времени, как его отец умер под Магдебургом, и когда он услышал, что я и был тот самый егерь из Зуста (о котором он немало наслышался хвалебных солдатских рассказней), то пожалел, что не узнал об этом раньше, ибо уже тогда мог бы пособить мне получить хорошее местечко.

А когда явился еврей, навьюченный целым ворохом всевозможного солдатского платья, то Херцбрудер выискал для меня самое лучшее, велел мне его надеть и отправился вместе со мною к полковнику. И он сказал ему: «Господин! В вашем гарнизоне встретил я сего стоящего перед вами солдата, коему я обязан столь многим, что не могу допустить, чтобы он оставался в столь низком звании, хотя бы он по своим качествам и не заслуживал лучшего; того ради прошу господина полковника, не соизволит ли он доставить мне такую угодность: либо обеспечить ему лучшее произхождение, либо разрешить мне взять его с собою, чтобы помочь продвинуться по службе в армии, к чему, быть может, господин полковник здесь и не располагает случаем». Полковник перекрестился от удивления, когда услышал, что кто-то меня похвалил, и затем сказал: «Да не прогневается высокочтимый мой господин, ежели я думаю, что ему угодно только испытать меня, готов ли я услужить ему так же, как он того стоит; и когда он так мыслит, то пусть потребует что-либо другое, что находится в моей власти, дабы оказать ему всю мою готовность. А что касается до этого малого, то, по его словам, он собственно принадлежит не мне, а к полку драгун, да к тому же это детина столь».

дурной и замысловатый, что с тех пор, как он здесь, у моего профоса прибавилось работы больше, чем прежде было на весь полк, так что я и впрямь думаю, что его ни в какой воде не утопить!». Кончил на сем свою речь, засмеявшись и пожелав мне успехов на поле брани.

Однако ж сего было моему Херцбрудеру не довольно, и он попросил еще полковника, не будет ли он против того, чтобы пригласить меня к столу, на что получил согласие. А в довершение всего рассказал в моем присутствии полковнику все, о чем наслышался обо мне в разговорах от графа фон дер Валя и коменданта в Зусте, расписав таким родом, что все присутствовавшие должны были почесть меня наилучшим солдатом. Притом я держался так скромно, что полковник и его подчиненные, которые знавали меня прежде, не могли иначе подумать, как то, что вместе с новым платьем я стал совсем другим человеком. А когда полковник пожелал узнать, откуда ко мне пристало прозвище доктор, как меня тогда обыкновенно называли, то поведал я обо всем своем путешествии от Парижа до Филиппсбурга, и сколько мужиков я обманул, чтобы насытить свою утробу, чему они немало посмеялись. Наконец, признался напрямик, что возымел намерение всяческими злокозненными инвенциями, наглостью и доуками так его, полковника, истомить и измучить, чтобы он в конце концов принужден был спровадить меня из гарнизона, дабы обрести покой и избавиться от множества нареканий на меня.

Засим рассказал полковник о несчетных проделках, которые я учинил за то время, что находился в гарнизоне, а именно, как я наварил гороху, сверху залил топленным салом и продал за подлинный шмальц; item полный мешок песку за чистейшую соль, наложив песок на дно, а сверху насыпав соли; далее, как я водил за нос то одного, то другого и донимал народ всякими пашквилями, так что во весь обед только обо мне и шла речь, что породило изумление и немало смеху. Однако ж не будь у меня столь значительного друга, то все бы мои деяния почтены были бы достойными наказания. При сем случае получил я надлежащий пример того, как ведется при дворе, когда иной негодный плут в фаворе у короля.

К тому времени, когда окончилась трапеза, еврею не удалось раздобыть лошади, как о том распорядился Херцбрудер, но понеже он был в такой чести, то полковник, не желая лишиться его благоволения, одарил его из своей конюшни, придав также седло и сбрую, на какового коня воссел господин Симплициус и вместе с любезным Херцбрудером поскакал из крепости. Некоторые камрады кричали ему вдогонку: «Счастливого пути, брат, счастливого пути!». Другие же, завидуя моему счастью, говорили с ненавистью: «Удачливый плут не наденет хомут!».

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций попал в лихую компанию,
О ней повествует со всем стараньем.*

По дороге Херцбрудер уговорился со мною, что я буду выдавать себя за его двоюродного брата, дабы приобрести себе больше уважения; к тому же обещал он мне промыслить еще одну лошадь вместе с конюхом и отправить меня в Нейнекский полк,¹ где я могу определиться свободным рейтаром, покуда в армии не освободится офицерская должность, занять которую он мне поможет.

Итак, снова против всякого чаяния я скоропалительно стал таким молодцом, который не уступит ни одному доброму солдату; однако ж тем летом не учинил ничего особенного, не считая того, что то там, то здесь в Шварцвальде помогал угонять коров и порядком изведаль местность в Брейсгау и Эльзасе. Во всем же прочем звезда моя потускнела; ибо с тех пор, как под Кенцингеном² веймарцы полонили моего конюха вместе с лошадей, принужден был я своего второго коня так жестоко гонять, что заездил его до смерти, так что должен был соприсчислить себя к ордену братьев-меродеров.³ И хотя Херцбрудер охотно помог бы мне снова экипироваться, но понеже я так скоро распростился с первыми лошадьми, то удержался и решил дать мне побарахтаться, покуда я научусь получше распоряжаться своим добром. Да и я этого от него не домогался, ибо обрел у своих новых сотоварищей столь приятную компанию, что, покуда мы не стали на зимние квартиры, и не желал для себя лучшего промысла.

Мне все же надобно малость порассказать, что за народ братья-меродеры, ибо, нет сомнения, найдутся такие, особливо же не изведавшие войны, кому ничего о них неизвестно. И мне самому до сих пор еще не повстречался ни один писака, который в своих сочинениях сообщил бы что-нибудь об их повадках и обычаях, правах и привилегиях, невзирая на то что было бы весьма полезно не только теперешним полководцам, но и мужицкому сословию знать, что это за цех такой. Во-первых, что надлежит до их прозвища, то я не хотел бы думать, что оно позорит честь того самого храброго кавалера, под командой коего они его получили, иначе я не стал бы столь открыто навязывать сие на нос первому встречному. Мне довелось видеть особого рода башмаки, на коих вместо дырок были понаделаны кривые швы; их называли мансфельдовыми башмаками, ибо изобрели их мансфельдовы конюхи, чтобы удобнее было шлепать по навозу. Но ежели по сей причине кому вздумается самого Мансфельда⁴ обругать навозным сапожником, того я почту диковинным сумасбродом. Точно так же нужно понимать и это прозвище, которое

не забудется, покуда немцы воюют. Но тут сокрыто особенное обстоятельство. Когда помянутый кавалер привел в армию новонавербованный полк, то его молодцы были так слабы, что, подобно французским бретонцам, едва держались на ногах, так что не могли выдержать ни маршей, ни иных тягот, которые должен переносить в поле солдат; того ради их бригада была такой слабой, что едва могла прикрыть знамя; и бывало, где только не повстречают — на базаре, в дому или за тыном и забором — такого больного, либо увечного ткача-основу⁵ да спросят: «Какого полку», то получают в ответ: «Мероде!». Отсюда и повелось, что под конец всех, будь кто болен или здоров, ранен или целехонек, ежели только отбился от походной колонны и не залег на бивуаке вместе со своим полком, стали звать братьями-меродерами, каковых молодцов прежде прозывали кабанниками да медорезами. Ибо они, подобно трутням в ульях, что, утратив свое жало, больше ни к чему не годны, не приготавливают меда, а только жрут его. Когда рейтар лишится своего коня, а мушкетер здоровья, или заболеют у него жена и ребенок и он захочет с ними остаться, то вот и готово еще несколько меродеров, той самой сволочи, которую ни с чем лучше нельзя сравнить, как с цыганами, ибо они не только по своей воле шатаются всюду в армии и вокруг нее, но еще и схожи с ними своими нравами и повадками. Вот они целым выводком посиживают друг подле друга (как рябчики зимою) где-нибудь под забором в холодке или по своему обыкновению на солнышке или разлеглись у костра, покуривают трубочки, лодырничают, когда заправский солдат где-либо в ином месте претерпевает жару, жажду, голод, мороз и всевозможные напасти. А там выступает целая ватага, чтобы поразжиться всяким добром, в то время как бедный солдат изнывает от усталости под тяжестью оружия и вот-вот рухнет и испустит дух. Они рыщут повсюду, тащат все, что подвернется впереди, вокруг и позади войска; а чем не могут попользоваться, то портят. Так что солдаты, следующие с полком, когда занимают квартиры или становятся лагерем, то частенько не найдут и глотка воды; а когда помянутая братия вздумает где-либо осесть со своим багажом, то частенько оказывается, что он потяжеловесней, чем вся армия. И когда они всем скопом маршируют, квартируют, табуруют и торгуют, то нет у них ни вахмистра, чтоб подавать команду, ни фельдфебеля или экзекутора, чтоб наложить им по горбу или, вернее, себе в торбу, ни капрала, который бы их будил, ни барабанщика, который бы им зорю бил и напоминал о караулах и патрулях, словом, никого, кто бы вместо адъютанта расставлял их в баталии или вместо фурьера разводил по квартирам, так что они жили, как бароны. Но когда дело доходило до раздачи солдатского пайка, то они получали его первыми, хотя вовсе того не заслужили. Напротив того, начальники караулов и главные смотрители в лагере были для них сущею чумою, ибо, когда они чересчур разбушуются, накладывали им на руки и ноги железные

оковы, а то и жаловали их пеньковым воротником, да приказывали вздернуть за разлюбезную шею.

И они несли караулов,⁶ не рыли шанцев, не ходили на приступы и не становились ни в какие боевые порядки, и, однако, находили себе пропитание! А какой урон был от них полководцу, селянину и самой армаде, в коей скопилось много подобной сволочи, то и описать невозможно. Самый никудышный конюх у рейтара, который ничего другого и не делает, как только добывает фураж, куда полезней для полководца, нежели тысяча братьев-меродеров, превративших сие в промысел и безо всяких трудов провождающих свое время в праздности. Их угоняет в плен противник, а кое-где им крепко дают по рукам мужики, по каковой причине армия редеет, а враг матереет; и когда такой беспутный лежебок (я разумею тут не бедных больных, а пеших рейтаров, которые нерачительно губят своих лошадей и затем идут в меродеры, чтобы спасти свою шкуру, холить свою лень и нежиться в праздности) за лето отобьется, то с ним приходится поступать не иначе, как заново экипировать к зиме, чтобы в будущем походе он опять что-нибудь потерял. Надобно их всех сажать на одну веревку, как гончих собак, и учить воевать, сидючи в гарнизоне, а то и приковывать к галерам, коли они не хотят нести службу своему господину в пешем строю, покуда снова не заполучат коня. Я здесь умалчиваю о том, сколько деревень было ими спалено как от нерадения, так и с умыслом, сколько молодцев из своей собственной армии они поснимали с лошадей, ограбили, тайно обворовали, а то и поубивали, сколько заводилось среди них шпионов, едва только кто-нибудь из них прознает, как называется один полк или отряд во всей армаде. Подобным честным молодцем был я тогда и оставался таким до самой битвы под Виттенвейером,⁷ в то время когда главная квартира была расположена в Шюттерне;⁸ а когда я вместе с несколькими камрадами отправился в Герольдек,⁹ намереваясь угнать коров или быков, как то было у нас в обычае, то меня самого захватили веймарцы, которые умели лучше обходиться с такими молодцами, ибо они взвалили нам на плечи мушкеты и рассовали по полкам.¹⁰ Я попал к солдатам, что находились под командою полковника Хаттштейна.¹¹

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций дерется с разбойником лютым,
Обоим в той схватке приходится круто.*

Вот тогда-то я и смог уразуметь, что рожден для несчастья, ибо примерно за четыре недели до помянутого сражения услышал я, как несколько зауряд-офицеров промеж себя толковали о войне; тут сказал

один: «Без потасовки это лето не пройдет! Побьем мы врага, так будущей зимой заберем Фрейбург и Лесные города; ¹ а ежели поколотят нас, то все едино получим зимние квартиры». Из сего предсказания сделал я верное заключение и сказал самому себе: «Ну, Симплиций, радуйся, будешь ты по весне попивать доброе заморское и некарское вино ² и попользуешься всем, что заполучат веймарцы». Однако ж я весьма обманулся, ибо с того самого часа, как я стал веймарцем, был я приуготовлен судьбою осаждать Брейзах, ³ понеже сия осада была полностью произведена тотчас же после многократ упомянутого сражения под Виттенвейером, и тогда я, подобно другим мушкетерам, принужден был день и ночь нести караул да рыть шанцы и не приобрел от сего никакой пользы, кроме того, что научился, как надлежит делать вокруг крепости апроши, ⁴ на что под Магдебургом мало обращал внимания. Во всем прочем дело мое было вшивое, понеже сидели они на мне в два, а то и в три ряда, одна на другой; кошелек мой был пуст и празден; вино, пиво и мясо стали сущими раритетами, яблоко и жесткий заплесневелый хлеб ⁵ (да и то в обрез) — вот что служило мне вместо лакомой дичины.

Сие было мне весьма несносно, по каковой причине помышлял я о египетской мясной похлебке, сиречь о вестфальской ветчине и копченых колбасках в Л. Я никогда не думал так много о своей жене, как в то время, когда лежал в своей палатке, почти окоченев от мороза. Тогда-то частенько говорил я самому себе: «Ну, Симплициус, впрямь ли ты думаешь, что тебе будет оказана несправедливость, ежели кто-нибудь оплатит тебе тем же, что чинил ты в Париже?». Подобными мыслями терзал я самого себя, как всякий ревнивый рогоносец, тогда как мог быть уверен, что моей жене приписать возможно одну токмо честь и добродетель. Под конец сделался я столь нетерпелив, что открылся своему капитану, как обстоят мои дела, отправил также с почтою письмо в Л. и в ответ получил от полковника С. А. и моего тестя известие, что они подавали прошение князю Веймарскому и добились того, что мой капитан отпустит меня с паспортом.

Примерно за полмесяца до Рождества замаршировал я с добрым мушкетом за плечами из лагеря вдоль Брисгау ⁶ в намерении получить во время той же святочной ярмарки в Страсбурге двадцать талеров, посланных мне тестем, а затем отправиться вместе с купцами вниз по Рейну, ибо по пути было расположено немало имперских гарнизонов. Но когда я проходил мимо Эндингена ⁷ и приблизился к одному дому, то в меня выстрелили, да так, что пуля прострелила край моей шляпы и вслед засим тотчас же выскочил из дома дюжий широкоплечий детина и заорал, чтобы я сложил оружие. Я отвечал: «Клянусь богом, землячок, не подумаю!» и взвел курок. Он же выхватил из ножен вещичку, коя скорее походила на меч палача, нежели на шпагу, и поспешил ко мне. А как я приметил, что тут дело не шуточное, то выстрелил и так залепил

ему в лоб, что он завертелся кубарем и под конец рухнул наземь. И дабы не оплошать, я быстро вырвал у него из кулачища меч и собрался вонзить в его тушу; но сие мне не удалось, ибо он внезапно вскочил на ноги и сгреб меня в охапку, а я его; однако его меч я уже отбросил в сторону, и он не мог им воспользоваться. Тут пошла у нас столь серьезная потеха, когда каждый со всем ожесточением напрягал силы, однако ж никто не мог одержать верх. То я лежал под ним, то он подо мною, то в мгновение ока мы оба были на ногах, но не надолго, ибо каждый хотел смерти и погибели другого. Кровь то и дело заливала мне нос и рот, и я отплеывал ее в лицо врагу, который так сильно ее жаждал; сие пошло мне на пользу, ибо мешало ему видеть. Итак, катали мы друг друга в грязи и снегу часа полтора и до того умучались, что бессилие одного не могло совершенно одолеть усталость другого одними кулаками, и никто не мог только своею силою безо всякого оружия убить другого до смерти.

Борецкое искусство, в коем я частенько упражнялся в Л., пришлось мне тогда весьма кстати, ибо иначе, нет сомнения, я был бы в накладе и задал карачун, ибо мой враг оказался куда сильнее меня и крепок, как скала. И когда мы друг друга истомили почитай что до смерти и мне уже больше не доставало силы держать под собой противника, он, наконец, взмолился: «Уймись, братец, сдаюсь под твою власть!». Я сказал: «Сперва тебе надобно было мне уступить дорогу!». «Какая тебе прибьль», — отвечал он, — оттого что я умру?». «А что бы ты приобрел, ежели бы меня пристрелил, ведь у меня все равно нет ни единого геллера в кошмне?». На сии слова попросил он у меня прощения, так что я умягчился и позволил ему подняться, после чего он поклялся мне всеми правдами, что не токмо будет соблюдать мир, но и хочет стать моим верным другом и слугою. Однако ж я не верил ему и не полагался на его слова, ибо мне памятны были учиненные им бездельнические поступки и злодейские ухватки.

Когда мы оба поднялись, то подали друг другу руку, обещаясь предать забвению все, что произошло, и взаимно дивились, что сыскался такой мастак, ибо каждый мнил и воображал о себе не иначе, как если бы наши шкуры были заколдованы от ран. Я постарался оставить его в сей уверенности, чтобы он, ежели бы я отдал ему оружие, еще раз не попытался на меня насесть. От моего выстрела он заполучил большую шишку на лбу, а я был весь в крови; но ничему так не досталось, как нашим загривкам, которые так были разделаны, что ни один из нас не мог как следует поднять голову, столь изрядно таскали мы друг друга за волосы.

А как время шло к вечеру, то и мой противник сказал мне, что я не повстречаю до самого Китцинга⁸ ни единой кошки или собаки, а еще меньше того какого-нибудь человека; он же живет неподалеку

от дороги в уединенном домике и может предложить добрый кусок жаркого и глоток винца, так что я позволил себя уговорить и отправился вместе с ним, меж тем как он то и дело со многими вздохами уверял, сколь ему горестно, что он меня оскорбил.

ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций, взяв верх, узнает в изумленьи,
С кем дрался в лесу он в таком озлобленьи.*

Бравый солдат, который посвятил себя тому, чтобы подвергать опасности свою жизнь и мало о ней печалиться, подобен самой глупой скотине, что, словно овца, позволяет вести себя на бойню. Можно перебрать тысячу молодцов, среди коих не сыщешь ни одного, кто б отважился пойти неведомо куда в гости к человеку, который только что напал на него как убивец. Я спросил по дороге, в чьем он войске; тогда он сказал, что теперь нет над ним господина, а воюет он за самого себя; и в свой черед захотел узнать, чей я буду? Я ответил, что был веймарским, а нынче получил абшид и намерен податься домой. Засим спросил он, как меня зовут, и когда я ответил: «Симплициус», то обернулся ко мне (ибо я, не доверяя ему, пустил его впереди себя) и пристально поглядел мне в лицо. «А не зовут ли тебя еще Симплициссимусом?». «Да, — сказал я в ответ, — тот негодяй, кто отрекается от своего имени. А как зовут тебя?». «Ах, брат! — сказал он. — Я — Оливье, которого ты знавал под Магдебургом», отшвырнул в сторону мушкет и пал на колени, умоляя простить его за то, что он вознамерился так худо поступить со мною, сказывая, что он не может и помыслить, что обретет когда-либо в целом свете лучшего друга, ибо я должен доблестно отомстить за его смерть, как предвещал старый Херцбрудер. Я же, напротив, не мог надивиться столь редкостной встрече, но он сказал: «Сие не в диковинку; это лишь гора с долиной никогда не сходятся; но удивительно мне то, что мы оба столь переменились, понеже из секретаря и бравого офицера сделался я лесным рыболовом, а ты из забавного дурня храбрым солдатом. Эх, когда б удалось собрать тысяч десять таких молодцов, как ты да я, то, поверь, мы уже завтра поутру взяли бы Брейзах, а в конце концов овладели бы всем светом».

Посреди такого дискурса дошли мы, когда уже наступила ночь, до небольшой уединенной хижины, где обычно живут поденщики, и хотя мне претило подобное хвастовство, однако ж я ему поддакивал, особливо же как мне был ведом его лукавый притворный нрав. Мне надобно было поддерживать расположение его духа, дабы он не учинил вероломства,

покуда я от него не избавлюсь. И хотя я не верил ему ни на волос, однако-ж последовал за ним в сказанную хижину, где в то время какой-то мужик топил печку. Оливье спросил: «Ты чего-нибудь сварил?». «Нет, — отозвался мужик, — но у меня припасен жареный телячий огузок, что я сегодня раздобыл в Вальдкирхе». ¹ «Ну, ладно, — сказал Оливье, — ступай и волоки сюда все, что у тебя завелось да прихвати еще бочонок вина!».

А когда мужик ушел, то я сказал Оливье: «Брат (я назвал его так, чтоб уверенней быть от него в безопасности, хотя не прочь был свернуть ему шею, чтобы отомстить за Херцбрудера, когда б только мог сие учинить), у тебя усердный трактирщик». «Плуту повезло, — сказал он, — я кормлю всю его семью, а к тому же он и сам весьма добычлив. Все платье, которое мне достается, я отдаю ему на потребу». Я спросил, а куда мужик подевал свою жену и детей, на что Оливье ответил, что хозяин спровадил их во Фрейбург, где навещает два раза в неделю и привозит оттуда съестные припасы, порох и дробь. Далее поведал он мне, что давненько промышляет разбоем и теперь ему куда лучше живется, нежели когда он служил какому-либо господину, так что он не намерен оставить этот промысел, покуда не набьет хорошенько мощну. Я сказал: «Брат, ты пустился в опасное ремесло, и когда тебя захватят за разбоем, то как, мнишь, с тобою поступят?». «Ба, — воскликнул он, — что я слышу! ты все еще прежний Симплициус; а что до меня, то я знаю, куда играют в кегли, надо ставить на кон. Но тебе надобно знать, что господам в Нюрнберге, ² прежде чем кого повесить, нужно его сперва заполучить». Я отвечал: «Но положим, брат, что тебя не поймают (что, однако ж, весьма сумнительно, ибо известно — повадился кувшин по воду, сломить ему голову), то все же жизнь, которую ты ведешь, наибесчестнейшая во всем свете, так что я не поверю, чтобы ты желал законеть в ней до самой смерти». «Что, — воскликнул он, — бесчестнейшая? Да уверяю тебя, бравый мой Симплициус, что разбойничество — это самое благороднейшее ремесло ³ во всем свете, какое только может быть в наше теперешнее время. Скажи-ка мне, много ли королевств или княжеств не добыто или не приобретено разбоем? И где, и какому королю или князю почли позором или поставили в вину, когда он пользуется доходами со своих земель, кои все добыты или приобретены разбоем? А что еще можно назвать благороднее того промысла, в который я теперь пустился? Разве не видишь ты каждодневно своими очами, как даже величайшие венценосцы то и дело грабят друг друга? Разве ты не видишь, как сильнейший норовит запихать в мешок более слабого? Я примечаю, что ты охотно возразил бы мне, многих таких за учиненные ими убийства, разбой и татьбу колесовали, перевешали, обезглавили; про то я знаю наперед, ибо так повелевают законы; однако ты не увидишь на виселице никого, кроме бедных и ничтожных воришек, ⁴

что и справедливо, ибо они покусились на столь превосходное дело, которое приличествует и подобает только храбрым душам. Доводилось ли тебе когда-либо видеть, чтобы юстиция покарала какую-нибудь знатную персону за то, что она чересчур отягощала свою страну? Да что там, разве наказан хоть один ростовщик, который тайно предается этому дивному искусству и притом еще под покровом христианской любви! Разве достоин я наказания, когда по доброму старонемецкому обычаю открыто занимаюсь своим ремеслом без малейшего притворства и утайки? Любезный мой Симплициус, ты еще не читал Макиавели.⁵ Я человек прямодушный и предаюсь сему образу жизни с полной откровенностью и безо всякой боязни. Я сражаюсь и подвергаю опасности свою жизнь, подобно героям древности, притом знаю, что деяния, при коих творящий их подвергает себя опасности, дозволительны. А понеже я подвергаю свою жизнь опасности, то из сего неопровержимо следует, что и мое упражнение в сем искусстве дозволительно и справедливо».

На это я отвечал: «Положим, татьба и разбой, будь они тебе дозволены или нет, как мне ведомо, противны закону природы, по коему ни один не должен чинить другому того, чего не хочет, чтобы причинили ему самому. И подобные несправедливые поступки также противны и мирским законам, которые повелевают вешать татей, рубить головы разбойникам и колесовать убийц. И напоследок, сие также противно богу, что важней всего, ибо он ни единого греха не оставляет без воздаяния». «Сие означает, как я уже говорил прежде, что ты все еще Симплициус, который не штудировал Макиавелли, — отвечал мне Оливье, — а когда мог бы я на таковых принципах основать монархию, то желал бы поглядеть, кто потом стал бы мне против сего особо проповедовать». Мы немало еще диспутировали бы о сем предмете, но подоспел мужик с кушаньем и питьем, и мы уселись за стол и насытили наши утробы, что мне тогда было весьма надобно.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций рядится в новое платье,
Ему Оливье набивается в братья.*

Трапезой послужил нам белый хлеб и жареный холодный телячий огузок; а присем еще добрый глоток вина и вдобавок теплая комната. «А что, Симплициус, — сказал Оливье, — здесь получше, нежели в апрошах под Брейзахом?». Я ответил: «Конечно, когда б только можно было вести такую жизнь с большею честью и в некоторой безопасности». На что он расхохотался во все горло и сказал: «А разве бедняги, что

сидят в апрошах, пребывают в большей безопасности, нежели мы, и не приходится ли им каждую минуту ждать вылазки? Любезный Симплициус, я, правда, вижу, что ты сбросил дурацкий колпак, однако сохранил на плечах дурацкую башку, а ей никак невдомек, что хорошо, а что худо; не будь ты Симплициус, который, согласно предвещанию старого Херцбрудера, должен отомстить за мою смерть, то ты б у меня сразу согласился, что я веду благородную жизнь, не хуже иного барона». Я подумал: «Что-то будет? Тут надобно выбирать другие слова. а не то сей изверг с такой подмогой, как этот мужик, тебя ужокошит». А потому сказал: «Слыханое ли дело, чтоб подмастерье лучше понимал ремесло, нежели сам мастер? Вот что, брат, раз уж, по твоим словам, ты ведешь столь благородную и счастливую жизнь, то ради старого нашего товарищества приобщи меня к своему благополучию, ибо неотменное счастье мне весьма надобно». На что отвечал Оливье: «Брат, будь уверен, что я люблю тебя столь же свято, как самого себя, и то оскорбление, какое я нанес тебе сегодня, причиняет мне еще горшую боль, нежели твоя пуля, которая задела мой череп, когда ты защищался от меня, как подобает удалому молодцу; чего ради мне негоже тебе в чем-либо отказывать. Оставайся у меня, коли это тебе любо; я буду о тебе заботиться, как о себе самом; а коли нет у тебя охоты, то дам тебе деньжат и провожу туда, куда ты пожелаешь. А чтобы ты уверился, что сии слова идут от чистого сердца, то поведаю тебе, по какой причине я так искренне полюбил тебя и так высоко ценю, хотя почитать кого-либо вовсе не в моем обыкновении. Ты, конечно, помнишь, как верно все предвещал старый Херцбрудер; вот, видишь, под Магдебургом он сделал предсказание, которое я до сих пор прилежно храню в памяти: „Оливье, погляди хорошенько на нашего дурня, придет час, когда он своею храбростию вселит в тебя страх и выкинет с тобой такую штуку, какой не доведется тебе повстречать за всю свою жизнь, ибо ты его к тому понудишь в такое время, когда вы оба не узнаете друг друга. Однако он не только дарует тебе жизнь, которая будет всецело в его власти, но и по прошествии некоторого времени явится на то место, где тебя убьют; и будет там столь удачлив, что как победитель отомстит за твою смерть“. И вот, любезный Симплициус, ради этого прорицания готов я разделить с тобою последнюю рубашку, и подобно тому как уже исполнилась первая часть его предвещания в том, что я неведомо для себя самого подал тебе причину выстрелить, как и подобает бравому солдату, мне прямо в голову и отнять меч, чего, разумеется, еще никто со мной не учинил, а также даровать мне жизнь, когда я лежал под тобою и истекал кровью, то и не сомневаюсь, что точнехонько сбудется и все остальное, что было предсказано о моей смерти. И сие отпущение позволяет мне, любезный брат, заключить, что ты мне самый верный друг и станешь им еще больше, ибо не будь ты таковым, то и не обременил бы себя сей

мestью. Вот перед тобою раскрыт чертеж моего сердца, а теперь скажи мне, что ты предпринять намерен». Я помыслил: «Пусть тебе сам черт поверит, только не я! Ежели возьму я у тебя денег на дорогу, то ты, чего доброго, меня укокошишь, а останусь с тобой, должен буду опасаться, чтобы нас вместе не четвертовали». А посему решил провести его за нос и остаться у него, покуда не представится случай улизнуть; того ради сказал, что ежели он готов снести мое присутствие, то хотел бы пробывать у него покамест с недельку, дабы посмотреть, приобьикну ли я к такой жизни; полюбится ли она мне, то он получит во мне верного друга и исправного солдата, а не полюбится, то мы можем во всякое время по добру разойтись. Тут приступил он ко мне с вином; я же не доверял ему и представился упившимся до того, как захмелел, чтобы увидеть, не учинит ли он мне какой каверзы, когда я больше не смогу защищаться.

Меж тем меня изрядно допекали живульки, коих я порядком набрался в Брейзахе; ибо они отошли в тепле и не хотели больше довольствоваться моими лохмотьями, а выбрались наружу, чтобы разгуляться на воле. Сие приметил Оливье и спросил, не завелись ли у меня вши? Я ответил «Конечно, и даже больше, чем я когда-либо в жизни нахва-таю дукатов». «Ну, не зарекайся! — сказал Оливье. — Когда ты у меня останешься, то получишь больше грошей, чем теперь у тебя вшей». Я ответил: «Это столь трудно, как избыть вшей, что меня сейчас безжалостно точат». «Эва, — воскликнул он, — будет и то, и другое!» и тотчас же велел крестьянину принести платье, которое было запрятано в дупле неподалеку от дому. Там были серая шляпа, рейтарский колет из лосиной кожи, пара красных кармазиновых штанов и серый камзол; чулки и башмаки он обещал дать мне утром. Увидав такое его благодеяние, я возымел уже к нему большее доверие и весело пошел спать.

СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций идет с Оливье на добычу,
Не хочет одобрить безбожный обычай.*

Рано поутру Оливье сказал: «Вставай, Симплициус! Пойдем во имя божие поглядим, чем можно будет поживиться!». «Боже мой! — подумал я. — Неужто должен я с твоим пресвятым именем отправиться на разбой? Да и прежде, с тех пор как оставил отшельника, не был я столь дерзок, чтоб без содрогания мог услышать, как один зовет другого: „Пойдем-ка, брат, разопьем во имя божие чарку вина“, ибо почитал двойным грехом, когда кто-либо напется во имя твое! Отец небесный, о сколь же я переменялся! Преблагий боже, кем же я стану, ежели

не обращусь на путь правый? Пресеки же неправедную стезю, что приведет меня прямо в ад, ежели я не покину ее и не покаюсь!». С такими словами и мыслями последовал я за Оливье в деревню, где не было ни единой живой души; там взобрались мы для лучшего обозрения местности на колокольню, так что святой храм послужил нам вместо разбойничьего замка или вертепа. Здесь схоронил он чулки и башмаки, которые обещал мне вечером, а также два караваея хлеба, несколько кусков вяленого мяса и полбочонка вина, с каковым запасом он мог тут за милую душу отсидеться целую неделю. Меж тем, покуда я натягивал на себя его подарки, поведал он мне, что имеет обыкновение подстерегать хорошую добычу, того ради он и запасае тут провиантом, присокупив, что у него есть еще несколько таких же удобных пристанищ, кои все обеспечены снедью и напитками на тот случай, когда из одного места уйдет святой Влас, он мог бы сыскать его в другом. Правда, я принужден был похвалить его благоразумие, однако ж дал ему понять, что не нахожу пристойным подобным образом осквернять благое место, которое посвящено богу. «Что, — воскликнул он, — осквернять? Церкви, когда только могли бы они заговорить, поведали бы, что все, учиненное мною в их стенах, почесть можно сущею безделицею по сравнению с теми беззакониями, что творились там прежде. Как ты легко рассудить можешь, сколько всякого люда, мужчин и женщин, входило в сей храм с тех пор, как он был воздвигнут под видом служения богу лишь затем, чтобы покрасоваться новым платьем, взрачною фигурою, высоким саном, да мало ли еще чем! Вот приходит в церковь некий человек, разряженный, как павлин, и подступает к самому алтарю, словно хочет отбить всех святых от царствия небесного; там стоит в уголку другой и вздыхает, словно мытарь в храме, однако ж его вздохи предназначены его возлюбленной, в очи которой он не может наглядеться, и ради нее он сюда и пришел. А третий прибрел в церковь, когда ему вздумалось, со связкою долговых писем, словно тот, кто собирает деньги на погорельцев, лишь для того, чтобы напомнить о себе своим должникам, а не затем, чтобы молиться; когда бы он не знал, что его должники соберутся в церковь, то преспокойно остался бы сидеть дома, просматривая свои реестры. Да и нередко случается, когда власти намерены предписать что-либо деревенской общине, должен о сем объявить в воскресенье перед церковью особый бирюч, отчего многие крестьяне трепещут перед церковью сильнее, нежели бедный преступник перед судейским домом. Разве ты не думаешь, что многие из тех, кои погребены в церкви, не заслуживали бы скорее меча, виселицы, костра и колеса? Многие не довели бы до конца свои любовные шашни, ежели бы им не способствовала в том церковь. Когда надо что-нибудь продать или ссудить, то в некоторых местах прибывают о том объявление к церковным дверям. Когда у иного ростовщика не достает времени на неделе обдумать все свои козни,

то сидит он в церкви во время богослужения, измышляет и прикидываёт, куда ему метнуть ростовщичыё копье. А иные сидят кучками и во время мессы и проповеди дискутируют друг с другом, как если церковь для того только и была построена, и там нередко обсуждают и решают такие дела, о коих поостереглись бы говорить в ином приватном месте. Некоторые сидят там и дрыхнут, как если бы на то подрядились. А у иных только и дела, что судачить о людях и говорить: „Ах, как ловко сегодня в проповеди священник намекнул на того или другого!“. А иные с большим прилежанием следят за проповедью, но не затем, чтобы исправиться, а для того чтобы можно было, ежели их отец духовный в чем-нибудь (по их разумению) собьется, его укорять и над ним насмеяться. Я умалчиваю уже об историях, какие вычитал в книгах,¹ о любовных делах, которые с помощью сводников начинаются и кончаются в церквях; сейчас мне и не вспомнить всего, что я мог бы еще сказать об этой материи. Однако ж надлежит тебе еще знать, что люди не токмо при жизни грязнят церковь своими пороками, но и после смерти наполняют их тщеславием и глупостью. Едва зайдешь в какой-нибудь храм, как тотчас же увидишь по надгробным плитам и эпитафиям, как еще чванятся те, кого уже давно сожрали черви. А взглянешь вверх, то перед тобой замелькает столько гербов, щитов, мушкетов, шпаг, знамен, сапог, шпор и других подобных вещей, что не сыщешь и в оружейной палате, так что не диво, если кое-где во время этой войны мужики, засев в церкви, оборонялись, как в крепости. Так чего ради, спрошу тебя, не дозволено мне как солдату исправлять в церкви свое ремесло, если некогда два духовных отца² из-за одного только первенства учинили в храме кровавую баню, так что дом божий скорее походил на бойню для скота, нежели на святое место? Я-то хоть еще не учиняю этого, когда отправляют богослужение, ибо я человек мирской, а те как духовные лица не оказывают никакого респекта его кесарскому величеству. Так чего ради следует запретить мне снискивать себе пропитание, обращаясь к помощи церкви, когда она кормит столько людей? Разве справедливо, что иной богач за немалые деньги погребен в самой церкви, дабы засвидетельствовать свою спесь и удовлетворить тщеславие своей родни, тогда как бедняк, который такой же христианин да, пожалуй, еще более благочестивый человек, но у которого ничего нет, закопан в дальнем углу за ее стенами? Тут уж как кто изловчится. Когда я знал бы, что тебя смутит, что я подстерегаю добычу в церкви, то хорошенько обдумал бы, что надо тебе сказать; меж тем довольствуйся пока этим, покуда мне не представится случай убедить тебя другими аргументами!».

Я охотно возразил бы Оливье, что то самые беспутные люди, в том числе и он сам, которые оскверняют церкви и уже одним тем уготовили себе воздаяние. Но как я и без того не доверял ему и у меня не было охоты еще раз схватиться с ним, чтобы защитить свою жизнь, то дозво-

лил ему одержать надо мной верх. Засим пожелал он, чтобы я поведал ему обо всем, что со мной приключилось с того времени, как мы разошлись под Виттенбергом, и откуда у меня взялось дурацкое платье, в коем я заявился в Магдебургский лагерь? Но как я был весьма скучен по причине болезни в горле, то привел сие в извинение и попросил его, не захочет ли он прежде поведать о забавных приключениях своей жизни, коих, верно, у него было довольно, и в том мне повезло, ибо Оливье согласился и нарасказал мне о таких вещах, что я с легкостью заключить мог: ежели я до того объявил бы ему обо всем, что учинил с тех пор, как стал солдатом, то он, нет сомнения, сбросил бы меня с церковной башни, о чем читатель узнает из нижеследующих глав.

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплициус слышит рассказ Оливье,
Как был тот воспитан в купецкой семье.*

«Мой отец, — начал Оливье, — родился неподалеку от Аахена¹ от людей незнатных, того ради в юности принужден был он поступить на службу к богатому купцу, который торговал медью. Он показал себя столь благонравным, что купец обучил его писать, читать и считать и поставил во главе всех своих дел, подобно тому как в прежние времена Потифар² поставил Иосифа управителем всего своего домашнего хозяйства. Сие послужило ко благу и преуспению того и другого, ибо прилежание и предусмотрительность управителя час от часу приумножали богатство патрона и гордость моего отца, который все больше превозносился, так что стал даже стыдиться своих родителей, на что они тщетно сетовали. Когда же отцу моему исполнилось двадцать пять лет, купец умер, оставив старуху вдову и единственную дочь, которая незадолго перед тем оплошала и дозволила себя обрюхатить лавошному служителю, родив мальчишку, вскорости последовавшего за своим дедом в могилу. Когда мой отец увидел, что дочь осталась без отца и ребенка, однако ж не без денег, то не поглядел на то, что она сваялась до брака, а, подсчитав ее богатство, подбил к ней в мужья, что вдова охотно дозволила не только для того, чтобы прикрыть венцом грех, но и потому, что мой отец был сведущ во всякой торговле, а также умел ловко метать ростовщичье копьё. Итак, нечаянным образом после такой свадьбы стал мой отец богатым купцом, а я его первым наследником, коего он по своему достатку взрастил в роскоши. Меня наряжали, словно дворянина, кормили, как барона, а во всем прочем обходились со мною, как с графом,

за что должен был я возблагодарить медь и цинковую руду более, нежели серебро и золото.

Прежде чем пришел я в отроческий возраст, открылись мои задатки, ибо молодая крапива рано жжет. Никакое плутовство и бездельничество не казались мне недозволенными, и ежели мне представится случай сыграть какую-нибудь шутку, то я уж не премину ее учинить, ибо ни отец, ни мать никогда меня за них не наказывали. Я носился со своими сверстниками и сорванцами постарше, сломя голову по улочкам и уже смело лез в драку с более сильными, чем был тогда сам; а когда, бывало, мне надают тумаков, то мои родители негодовали: „Что же это? такой большой болван, а колотит младенца!“. А когда я брал верх (ибо царापался, кусался и бил куда ни попадя), то они говорили: „Наш Оливерко станет изрядным молодцом!“. Отчего дерзость моя возрастала чрезвычайно. Для молитвы был я еще малехонек, а когда ругался, как возница, то это значило, что я еще несмышлениш. Итак, становился я час от часу несносней, покуда меня не отправили в школу. Тут, что б ни измышляли злые сорванцы, которые, однако ж, из опасения розог сами побаивались это учинить, я тотчас же исполнял. Когда я рвал книги или ставил на них кляксы, то мать доставала мне новые, на что мой скупой отец, однако, не гневался; а когда я чинил наглые проказы, к примеру выбивал камнями у людей окна (отчего также себя не удерживал), то умел так жалостливо отговориться, что и тут у отца руки на меня не подымались. Учителю своему досаждал я свыше всякой меры, а он не осмеливался держать меня в строгости, ибо получал изрядные подношения от моих родителей и отлично знал об их необузданной обезьяньей любви ко мне. Летом ловил я полевых кузнечиков и тайком напускал их в школу, чтобы они устраивали нам добрую музыку; а зимою крал сушеную чемерицу и сыпал ее возле того места, где ученикам задавали розги. А когда наказываемый начинал барахтаться, что бывает нередко, то мой порошок разлетался повсюду, и все принимались чихать, что доставляло мне немалую потеху. Однажды я убил сразу двух зайцев, что мне отлично удалось, а именно: подстроил учителю хорошенькую штучку и тотчас же сумел свалить ее на другого, который выдал меня, когда я стрелял из просверленного ключа, зарядив его порохом. Послушай только, как я это славно устроил! Я подобрал промерзший катышек из тех, что мужики накладывают у забора, пришел пораньше в школу, распорол кожаную подушку на стуле у нашего учителя и зашил в нее свою находку. А иголку с зеленой ниткой, торчавшей еще в ушке, воткнул под воротник моему врагу, когда мы грелись у печки, да так, что нитка свисала наружу. И как только учитель расселся на моем подарочке, размял и согрел его, то пошла такая вонь, какую, казалось, никто не мог снести. Тут пошла изрядная потеха, ибо все стали обнюхивать друг у друга задницы, словно собаки при встрече;

наконец сыскали горчицу в том самом месте, куда я ее подложил. А учитель по зеленой нитке тотчас же заметил, что дельце свеженькое, да и по самой работе видно было, что трудился не искусный портной. Меж тем всяк клялся в свое оправдание, что то учинил не он, учитель же распорядился произвести обыск, чтобы сыскать иголку. Их, правда, нашли у нескольких мальчиков, но все с белыми нитками, так что ни один из них не сделал стежков на коже. А когда уже все думали, что опасность миновала, мальчики увидели зеленую нитку, высунувшуюся из-под воротника моего недруга, о чем тотчас же было объявлено, и невинному как неопровержимо уличенному преступнику задали презластную порку, меж тем как я смеялся в кулак. После того мне уже казалось слишком легким устраивать обыкновенные проделки, и все свои плутни я учинял по сказанному образцу. Нередко случалось, что я украду что-нибудь у одного и суну в мешок другому, когда хочу подвести под колотушки; таким манером мне удавалось вытворять все тихонько так, что я, почитай, ни разу не засыпался. Мне не для чего сейчас рассказывать о баталиях, которые мы учиняли обычно под моей командой, итм о тумачах, что мне частенько доставались (ибо я вечно ходил с расцарапанной рожеею и шишками на голове); ведь всякому и без того хорошо известно, что вытворяют мальчишки. Так что ты по рассказанным приключениям судить можешь, как и во всем прочем вел я себя в юности».

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

Симплициус слушает новую повесть,

Как жил Оливье, забыв честь и совесть.

«Так как богатство отца моего приумножалось день ото дня, то объявилось у него великое множество обедал и подлипал, кои изрядно хвалили мои отменные способности к учению, а обо всех моих дурных склонностях и повадках помалкивали или сыскивали оправдание, ибо чужды, что ежели будут поступать иначе, то не сыщут благоволения ни у моего отца, ни у матери. Того ради родители мои не могли нарадоваться на свое дитяtko, подобно птице мухоловке, которая высидела кукушонка. Они наняли мне собственного гувернера и послали с ним в Люттих¹ больше для того, чтобы я обучался там языкам, нежели каким-либо наукам, ибо хотели воспитать из меня купца, а не богослова. Наставник мой получил приказание не очень строго со мной обращаться, дабы не привить мне боязливого рабского духа. Он не должен был отворачивать меня от общества молодых людей, дабы я не стал робким, и

памятовать, что они хотят воспитать из меня не монаха, а светского человека, который умеет отличить черное от белого.

Однако помянутый наставник не нуждался в подобной инструкции, ибо сам был склонен ко всякому вертопрашеству; как мог он что-либо мне воспретить или укорить за ничтожный проступок, когда вытворял куда более паскудные? Более всего привержен был он к пьянству и волокитству, тогда как я по своей натуре был более склонен ко всяким стычкам и драке; а посему провождал я время с ним и подобными ему студиязусами шатиссимо и болтаниссимо² по улицам и вскорости обучился всем порокам куда лучше, нежели латыни. А что касается до учения, то я больше полагался на изрядную свою память и быстрое изображение и оттого становился все нерадивее, погрязнув во всех пороках, плутнях и бесчинствах; а совесть моя стала такой широкой, что сквозь нее уже мог проехать воз с сеном. Я ни во что не ставил, ежели во время проповеди в церкви читаю³ Берни,⁴ Бурчелло⁵ или Аретино⁶ и во всем богослужении самыми сладостными были для меня слова: „Ite, missa est“.⁷ Притом я вовсе не почитал себя свиньей, а, напротив, человеком весьма светским. Всякий день у нас шла пирушка, как в вечер святого Мартина или на масленице; и так как я корчил из себя совершенного кавалера и смело пускал на ветер не только те деньги, коими щедро снабжал меня мой родитель, но и кровные сбережения моей матушки, то стали нас приманивать к себе девицы, особливо же моего наставника. У этих потаскушек научился я волочиться, распутничать и бросать кости; буйствовать, драться и учинять свалку умел я и раньше, а мой наставник не удерживал меня от обжорства и выпивки, ибо и сам охочь был ко мне присоседиться и возле меня полакомиться. При столь благородной и свободной студенческой жизни навешали мы на себя потаскушек больше, чем монахи-якобиты⁸ раковин, хотя я был еще довольно молод. Развеселая эта жизнь продолжалась полтора года, покуда не узнал о ней отец, уведомленный обо всем своим фактором в Люттихе, у которого мы на первых порах столовались. Он получил от отца моего приказание взять нас под строгий присмотр, прогнать наставника, посылнее натянуть повод и не давать мне зря тратить денег. Сие привело нас обоих в великую досаду, и хотя гувернер мой получил отставку, однако ж всяческими путями сходились мы вместе днем и ночью. А так как мы не могли транжирить денюжки, как бывало прежде, то и пристали к компании таких молодцов, которые по ночам раздевали на улице людей, а то и топили их в Маасе. Все, что таким образом добывали мы с превеликою для себя опасностью, мы тотчас же проматывали с нашими любушками, почти совсем забросив всякое учение.

А однажды, когда мы по своему обыкновению шныряли ночью по улице, отбирая у студентов плащи, то нас самих одолели, закололи моего наставника, а меня вместе с пятеркой отъявленных плутов схватили и

заклучили под стражу. А когда на следующее утро нам учинен был допрос и я назвал фактора, который посредничал у моего отца и был человек весьма почтенный, то послали за ним и, справившись обо мне, отпустили ему на поруки; однако ж впредь до окончательного приговора должен был я находиться в его доме под арестом. Меж тем похоронили моего наставника и наказали тех пятерых, как татей, разбойников и убийц, а моего отца известили о моих поступках. Он поспешил в Люттих, уладил с помощью денег мои дела, сурово отчитал меня, выговаривая, какой тяжкий крест, огорчение и несчастье принес я ему, item что моя мать уверяет, что своим дурным поведением я поверг ее в полнейшее отчаяние, грозил также, что ежели я не исправлюсь, то он лишит меня наследства и прогонит ко всем чертям. Я обещал исправиться и поехал с ним домой, на чем и закончилось мое обучение».

ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций узнал, сколь злые фокусы
Чинил Оливье, стакнувшись с профосом.*

«Когда отец привез меня домой, то нашел, что я испорчен до мозга костей. Я вовсе не стал почтенным *domine*,¹ как он, верно, надеялся, а хвастуном и спорщиком, который возомнил, что отлично все разумеет и превзошел всех умом! Не успел я малость обогреться у домашнего очага, как отец объявил мне: „Слушай, Оливье, я приметил, что ослиные уши у тебя час от часу отрастают все длиннее; ты бесполезное бремя на земле, ты ни к чему не способный вертопрах. Обучать такого верзилу ремеслу поздно; отдать в услужение какому-нибудь господину — так для этого ты слишком груб, а чтобы постичь мое дело и вести его, ты и вовсе негоден. Ах, что приобрел я, издержав на тебя столь великое иждивение? Я-то надеялся сделать тебя настоящим мужчиною и обрести в старости себе утешение; а мне пришлось выкупать тебя из рук палача, и вот к величайшему своему прискорбию принужден я смотреть, как ты на глазах у меня шманаешься и шалберничаешь, как будто ты на то и создан, чтобы отяжелить крест мой. Стыд и срам! Самое лучшее, ежели я перетер бы тебя с перцем и заставил отведать *miseriam cumaceto*,² куда ты не заслужишь иной участи, искупив свое дурное поведение“.

Сии и другие подобные проповеди принужден был я выслушивать каждодневно, так что под конец мне это прискучило, и я сказал отцу, что во всем виноват не я, а он сам и мой наставник, который меня совратил; а то, что он не обретет во мне утешение, будет справедливо, поелику и его родители не получили этого от него, ибо он допустил их умереть

в нищете и голоде. Он же схватился за плетку, дабы вознаградить меня за такое предвещание, и стал клясться всеми скрытыми, что отправит меня в тюрьму в Амстердам. Тогда я сбежал и укрылся первую ночь на мельнице, недавно купленной отцом, и, улучив случай, ускакал в Кельн на самом лучшем коне, который только стоял на мельничном дворе.

Сказанного коня я продал и снова попал в общество продувных мошенников, плутов и татей, подобных тем, коих оставил в Люттихе. Они сразу спознали меня по тому, как я вел игру, а я их, ибо у нас есть на то свои приметы. Я тотчас же поступил в их цех и пособлял по ночам объезжать на кривой. А после того как вскорости одного из наших сцапали, когда он собирался подтибрить толстый кошель у некой знатной дамы на старом рынке, и мне довелось с полдня глазеть, как его выставили в железном ошейнике у позорного столба, отрезали ему ухо и наказали батогами, то сие ремесло мне опротивело; того ради дозволил уговорить меня пойти в солдаты, ибо как раз в то время полковник, у которого мы были под началом в Магдебурге, набирал молодых, чтобы пополнить свой полк. Меж тем отец мой проведал, куда я утек, а потому написал своему фактору, чтобы он точнейшим образом все разузнал обо мне. Сие случилось как раз, когда я уже получил денежки на ладонь; фактор сообщил об этом моему отцу, который распорядился снова откупить меня, чего бы это ни стоило. Когда я про то услышал, то испугался, как бы не угодить в тюрьму, и не захотел, чтобы меня откупили. Чрез то и полковник прознал, что я сын богатого купца, и так натянул поводья, что мой отец отступился и оставил меня в полку, полагая, что когда я малость побарахтаюсь на войне, то, быть может, еще пожелаю исправиться.

Спустя немного времени у нашего полковника помер копиист, и я был взят на его место, в каковой должности ты меня и застал. Тогда начал я возноситься в мыслях в такой надежде, что буду восходить от ступеньки к ступеньке, так что под конец сделаюсь генералом. Я учился у нашего секретаря, какое надлежит мне иметь обхождение, и мое намерение возвыситься побудило меня вести себя более чинно и не предаваться, как то прежде было у меня в обыкновении, различным дурачествам, плутням и лени. Однако ж дело не шло вперед, покуда не помер наш секретарь; тут я помыслил: „Надобно мне постараться заполучить это место“. Я щедро раздавал подарки и подмазывал, где только мог. А когда моя мать узнала, что я взялся за ум, то стала присылать мне деньги. Эти-то кровные сбережения моей матери пускал я в ход всюду, где это, как мне казалось, могло пойти мне на пользу. А так как юный Херцбрудер приболел к сердцу нашего полковника и он предпочел его мне, то я тшился убрать его с дороги, ибо прознал, что полковник окончательно решил отдать ему секретарскую должность. Такая проволочка с моим произвождением, коего я с таким пылом домогался, сделала меня столь

нетерпеливым, что я открыл нашему профосу свое крепкое, как булат, намерение учинить дуэль с Херцбрудером и заколоть его шпагою. Но мне никаким манером не удавалось к нему подступиться. Да и наш профос отговаривал от такого умысла и уверял меня: „Когда ты его прикончишь, то сие принесет тебе больше вреда, нежели пользы, ибо ты убьешь самого любимого слугу нашего полковника“, подав мне совет украсть что-нибудь в присутствии Херцбрудера и доставить ему, профосу, то он уж сумеет промыслить, что тот выйдет из милости полковника. Я последовал его совету и во время крестин у полковника стянул позолоченный кубок и отнес профосу, который, воспользовавшись им, сумел отстранить юного Херцбрудера, что ты, верно, и сам хорошо помнишь, когда в большой палатке у полковника он и тебе напустил в штаны собачонок».

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

*Симплициус слышит: Оливье — солдат,
Искусный наездник и тверд, как булат.*

Желтые и зеленые круги поплыли у меня перед глазами, когда пришлось мне из собственных уст Оливье услышать, как поступил он с бесценным моим другом Херцбрудером, а я не смел отомстить за него. И я еще принужден был таить свою печаль, чтобы он ничего не приметил, и того ради попросил его рассказать, что приключилось с ним после битвы при Виттштоке, понеже мне хорошо известно, как до того проходила его жизнь.

«Во время сего сражения, — сказал Оливье,¹ — вел я себя не как канцелярская крыса, которая только и умеет, что чинить перья для чернильницы, а как заправский солдат, ибо я был искусный наездник и тверд, как булат, а так как я не был приписан ни к одному эскадрону, то решил показать свой кураж, как человек, который возымел намерение либо проложить себе путь к возвышению своею шпагою, либо сложить голову. Я носился, как вихрь, вокруг нашей бригады, упражнясь в ратном деле и доказывая нашим, что мне более приличествует держать в руках палаш, нежели перо. Но это не помогло; превозмогла шведская Фортуна, и я должен был разделить наше злополучие, поелику принужден был пойти на постой к неприятелю, хотя я незадолго перед тем никому не давал пардону.

Итак, погнали меня вместе с другими пленными пешком в полк, что стал на отдыхе в Померании, а как там было множество желторотых новобранцев, я же показал немалый кураж, то меня тотчас же произвели в капралы. Но я порешил там долго не копить навоза, а поскорее по-

даться к имперским, на чьей стороне мне было более по душе, хотя, нет сомнения, что у шведов меня ожидало скорейшее произведение. Свое намерение я произвел в дело таким манером: я был отряжен вместе с семью мушкетерами на наши отдаленные квартиры, дабы, учинив там надлежащую экзекуцию, выжать приличную контрибуцию. Добыв таким образом более восьмисот гульденов, показал их своим молодцам, так что у них зубы загорелись, и мы стакнулись поделить денежки между собою и задать стрекача. А когда мы так поступили, подговорил я трех из них помочь мне укокошить четырех остальных, и, учинив сие, поделили денежки так, что каждому досталось по двести гульденов. Засим замаршировали мы в Вестфалию. Дорогою улестил я одного из моих сотоварищей помочь мне также пристрелить еще двоих, а когда мы принялись делить добычу, придушил и последнего, после чего, забрав все деньги, преспохватно отправился в Верле, где изрядно пображничал и повеселился.

Когда же мои денежки стали подходить к концу, а я весьма пристрастился к пирушкам, так что готов был коротать в них день и ночь, особливо же как пошла кругом слава о некоем молодом солдате из Зуста, который собирал изрядную добычу во время разъездов, то и я захотелся последовать его примеру. А как был одет он во все зеленое, то прозвали его егерем; того ради и я справил себе зеленое платье и грабил под его именем как по его, так и по своим собственным квартирам, учиня всевозможные непотребства, так что нам обоим хотели воспретить подобные разъезды. Егерь, правда, залег дома, я же продолжал хищничать под его флагом сколько душе было угодно, так что по этой причине сказанный егерь послал мне вызов; но пусть с ним дерется сам черт, ибо он, как мне передавали, был весьма дюж и мог бы уничтожить мою стойкость.

Но мне все же не удалось избежать его хитростей, ибо он с помощью своего конюха заманил меня и моего камрада в овчарню и хотел принудить вступить с ним в единоборство при полном лунном свете и в присутствии двух всамделишных чертей в качестве секундантов. Но понеже я на то не согласился, то учинили они надо мной самую что ни на есть на свете гнусную насмешку, о чем мой камрад распустил всеобщую молву, коей я так устыдился, что сбежал оттуда в Липпштадт и поступил на службу к гессенцам; однако ж пробыл у них недолго, ибо они мне не доверяли, после чего перешел в Голландскую службу, где хотя и получал изрядную плату, но скучная военная лямка не пришлась мне по нутру, ибо нас содержали, как монахов, и мы принуждены были вести себя благонравнее монахинь.

Понеже я более не осмеливался пристать ни к имперским, ни к шведам, ни к гессенцам, ибо в таком случае по доброй воле подверг бы себя опасности среди бела дня попасть под арест, а у голландцев не мог

далее мешкать, ибо насильным образом низложил непорочность одной девицы, что по всем приметам скоро должно было обнаружиться, то и порешил искать пристанища у испанцев в надежде улизнуть тайком и от них, чтобы поглядеть, как поживают мои родители. Но когда я с таким намерением пустился в путь, то мой компас так вздурился, что я ненароком попал к баварцам. С ними я, замешкавшись среди братьев-меродеров из Вестфалии, отмаршировал до Брейсгау, кормясь тем, что поворовывал или выигрывал в кости. Заводились у меня денежки, то днем бросал я их на игорный стол, а ночью швырял маркитанткам; а не было ни гроша, так крал где что подвернется. Доводилось мне на дню уводить по две, а то и по три лошади как с пастбища, так и с конюшен на постоях, продавать и тут же спускать все, что удавалось выручить; я тайком прокрадывался ночью к палаткам и выуживал оттуда самое ценное прямо из-под подушек. А во время похода в узких ущельях поглядывал я бдительным оком на кожаные чемоданы, которые возили за собой женщины, срезал эту кладь и пропадал с глаз долой, покуда не случилось сражение при Виттенвейере, когда меня захватили в плен и снова погнали пешком и запихали в полк, на сей раз веймарским солдатом. Однако ж лагерь под Брейзахом не пришелся мне по вкусу, а посему я заблаговременно смотал удочки и ушел оттуда, чтобы отныне воевать за самого себя, как ты и видишь. И знай, брат, что с той поры уложил я немало кичливых молодцов и зашибал немало денег, от чего не отстану, покуда не увижу, что больше и братья ничего не осталось. А теперь твой черед поведать мне о своей жизни».

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА

*Симплиций дивится божьему промыслу,
Устремляет к нему все свои помыслы.*

Когда Оливье таким образом закончил свою повесть, то не мог я довольно надивиться божественному промыслу. И я постиг, как прежде всего в Вестфалии преблагий бог не токмо отечески хранил меня от сего изверга, но еще и к тому направил, что вселил в него передо мной ужас. Тут только я уразумел, какую штуку я выкинул с Оливье, о чем ему предвещал старый Херцбрудер, и что он, Оливье, как то можно усмотреть в главе 16, к моей немалой выгоде истолковал по-своему. Ибо когда б этой бестии стало ведомо, что я был егерем из Зуста, то уж, верно, он отплатил бы мне за то, что я тогда учинил с ним в овчарне. И я рассудил так же, сколь мудро и темно излагал Херцбрудер свои предсказания, и помыслил про себя, что хотя его предвещения обычно

неотменно сбываются, однако ж маловероятно и весьма диковинно, чтобы я должен был отмещевать смерть такого человека, который заслужил виселицу и колесо и за свой беспутный нрав недостойн ступить по земле. Я нашел также, что мне весьма было на пользу, что я наперед не поведал ему о своей жизни, ибо тогда я сам открыл бы ему, чем я его перед тем оскорбил; также заключил из сего, что преблагий бог еще не оставил меня своею милостию, и возымел надежду, что он снова ниспошлет мне счастливое и непостыдное избавление. Меж тем, как я предавался таким мыслям, заметил я на лице у Оливье несколько шрамов, которых под Магдебургом у него еще не было, того ради вообразил, что эти рубцы были отметинами, поставленными еще Шпрингинсфельдом в то время, когда он в обличье черта расцарапал Оливье всю рожу, а потом спросил его, откуда у него эти зарубки, присовокупив, что хотя он и поведал мне всю свою жизнь, однако ж я с легкостью мог догадаться, что он умолчал о самом любопытном, ибо еще не объявил мне, кто же его так пометил. «Эх, брат, — отвечал он, — когда я стал бы тебе пересказывать все мои проделки и плутни, то нам обоим, тебе и мне, это рано или поздно прискучило бы. Однако ж, чтобы ты уверился, что я ничего не утаил от тебя из своих приключений, то хочу тебе сказать всю правду и об этом, хотя, кажется, что сие было учинено мне в насмешку.

Я совсем уверовал, что мне еще в утробе матери было предустановлено ходить меченым, ибо уже в юности школяры раскарябали мне рожу, когда я с ними сцепился. Также престоко досталось мне и от одного из тех чертей, которые подстерегли меня с егерем из Зуста, поелику следы от его когтей заживали на моем лице добрых шесть недель; но мне все же удалось свести их начисто. А эти шрамы, которые ты сейчас еще видишь на моем лице, приобрел я совсем по иной причине, а именно: когда я еще стоял на квартире у шведов в Померании и завел себе красивую метреску,¹ то хозяин дома принужден был покинуть свою постель и предоставить ее нам. А его кошка, которая привыкла каждый вечер забираться в ту же самую постель, учиняла нам каждую ночь великое неудобство, ибо вовсе не собиралась уступить нам законное свое место с такою же легкостью, как ее хозяин и хозяйка. Сие привело мою метреску (которая и без того терпеть не могла кошек) в такую досаду, что она поклялась всеми клятвами, что ни под каким видом не окажет мне своей любви, покуда я прежде не спроважу кошку, что ежели хочу и далее наслаждаться ее благосклонностью, то уж не только исполню ее желание, но и отомщу хорошенько этой кошке, доставив самому себе приятное упрямление; того ради не без больших хлопот запихал ее в мешок, взял с собою двух здоровенных крестьянских собак (которые и без того весьма свирепы до кошек, а мною были приручены) и оттащил мешок на привольный широкий луг, где собирался устроить веселую

потеху и забаву, ибо полагал, что раз нет поблизости ни одного дерева, куда могла бы сия кошка ретироваться, то собаки погоняют ее по ровной местности, словно зайца, чем изрядно меня потешат. Но, о злополучная планета! Тут пришлось мне тошнехонько, и я узнал не только собачью, как обычно у нас говорят, но и кошачью жись (каковая невзгода мало изведена, а иначе, нет сомнения, давно сложили бы о том пословицу), ибо кошка, едва только я развязал мешок, очутившись в чистом поле, где рыщут ее злейшие враги, не увидела никакой верхушки, где могла бы найти себе пристанище; того ради, не желая оставаться внизу, где ее мигом разорвали бы в клочья, прыгнула мне прямо на голову, ибо не могла сыскать более высокого места; а когда я стал от нее отбиваться, то с меня слетела шляпа. Чем больше силился я ее от себя отодрать, тем крепче она запускала в меня когти. Жадные и без того лютые на кошек псы не взирали равнодушно на такое наше сражение, а вмешались в игру; они скакали с разверстыми пастями вокруг нас, норовя схватить кошку, которая ни за что не хотела покинуть меня, изо всех сил вцепившись когтями не только в волосы, но и в лицо. А когда она, отбиваясь от собак, промахнется своим когтистым кастетом, то уж наверняка съездит по мне. А так как ей все же иногда удавалось садануть псов по носу, то и они старались своими лапами стащить ее вниз и ненароком весьма чувствительно раздирали мне лицо. А когда я сам хватал кошку обеими руками, чтобы оторвать от себя, то она кусалась и царапалась, что было сил. Итак, попал я в переделку сразу и к кошкам, и к собакам, которые меня всего искушали, исцарапали и так изуродовали, что я, почитай, уже не походил на человека; а самое скверное, я все время был в опасности, что псы, ярясь на кошку, могут ухватить меня за нос или за ухо и откусить напрочь. Мой воротник и колет так залило кровью, как на кузнице у столба, где холостят жеребцов и пускают им кровь в день святого Стефана;² и я не мог измыслить никакого средства, как мне спастись от такой муки. Под конец принужден был я, ежели не хотел больше оставлять свой capitoлиум ареной такого сражения, по доброй воле упасть на землю, чтобы псы могли схватить кошку. И хотя они разорвали ее, однако ж я не получил от этого столь отменной потехи, на какую надеялся, а одно только посмеяние и такое лицо, как ты еще и по сию пору мог увидеть. Того ради я так озлился, что вскорости пристрелил обеих собак, а мою метреску, которая подала случай к сему дурачеству, так отшелушил, что из нее можно было жать масло, после чего она сбежала, ибо, нет сомнения, не могла долее любить такую мерзкую образину».

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА

*Симплициус зрит: Оливье сколь жесток,
Решает уйти, дай только срок!*

Я охотно посмеялся бы над историей, поведенной мне Оливье, но принужден был показать к нему сожаление. А когда я своим чередом приступил к повести о моей жизни, завидели мы приближающуюся повозку с двумя всадниками; того ради спустились мы с церковной башни и засели в дом, расположенный у самой дороги, и потому весьма удобный для нападения на проезжающих. Свой мушкет я держал заряженным про запас, а Оливье сразу уложил одним выстрелом лошадь и одного всадника, прежде чем они нас открыли, после чего другой сразу утек; а когда я с взведенным курком подступил к кучеру и заставил его слезть с козел, подскочил Оливье и одним махом рассек ему палашом голову до самых зубов и хотел также прикончить женщину и детей, забившихся в карете и уже более похожих на мертвецов, нежели на живых. Я же решительно тому воспротивился и напрямик отрезал ему, что ежели он хочет исполнить свое намерение, то должен сперва умертвить меня. «Ах, — воскликнул он, — неразумный Симплициус, вот уж никогда не подумал бы, что ты и впрямь такой пентюх, каким себя выставляешь!». Я отвечал: «Брат, какой вред могут причинить тебе эти невинные дети? Когда б то были взрослые молодцы, которые могли бы защищать себя, тогда другое дело». «Что? — возразил он. — Когда яйца на сковородке, из них не выведешь цыплят! Я-то отлично знаю этих юных кровососов; их отец майор — сущий живодер и злейший Обломайдубина, какой только был на свете!». С такими речами он все еще порывался убивать и хотел прирезать бедных детей; но я удерживал его до тех пор, покуда он, наконец, не смягчился. Там были жена майора, ее служанка и трое пригожих детей, коих мне было от всего сердца жаль; а чтобы они нас вскорости не выдали, их всех заперли в погреб, где они не могли сыскать себе иного пропитания, кроме брюквы и других овощей, покуда кто-нибудь их не освободит. Засим ограбили мы повозку и угнали семерку отличных лошадей в лес, в самую чащу.

А когда мы привязали лошадей и малость огляделись, завидел я неподалеку от нас молодчика, тихонько стоявшего у дерева; я показал на него Оливье, полагая, что надобно поостеречься. «Эх, дурень! — сказал он. — Да ведь это жид, которого я тут привязал; он, плут, давным-давно замерз и околел». Меж тем подошел он к нему, двинул кулаком под челюсть и сказал: «Ну, пес, и ты мне немало дукатов принес». И когда он его таким манером пошевелил, высыпалось у него изо рта несколько дублонов, которые бедный плут туда запрятал и держал до самой смерти. Оливье немедля засунул ему в пасть руку и вытащил двенадцать дубло-

нов и превосходный рубин. «Этой добычей, — сказал он, — обязан я тебе, Симплидий». И засим подарил мне рубин, а сам отправился за своим мужиком, наказав мне оставаться у лошадей, но смотреть в оба, чтобы мертвый жид меня не покусал, чем втер мне за мое мягкосердечие и намекнул, что нет у меня такого куража, как у него.

А покуда Оливье ходил за мужичком, я стал предаваться докучливым мыслям и рассудил, в сколь опасное попал я положение. Я решил вскочить на лошадь и удариться в бегство, но возымел опасение, что Оливье застанет меня за исполнением сего намерения и сразу пристрелит, ибо я подозревал, что он теперь лишь испытывает мое постоянство и где-либо затаился поблизости, чтоб меня подстеречь. Возшло мне на ум уйти оттуда пешком, но я принужден был поразмыслить и о том, что ежели мне сейчас и удастся сбежать от Оливье, то я непременно попаду в лапы крестьян в Шварцвальде, о коих шла слава, что они учиняют солдатам крепкую нахлобучку. А заберешь ты, раздумывал я, всех лошадей, чтобы отнять у Оливье средство к погоне, а тебя захватят веймарцы, то не избежать тебе колеса, как уличенному злодею. Одним словом, не мог я измыслить надежного способа к своему бегству, особливо же очутившись в густом лесу, где не знал я ни дороги, ни тропки; сверх того пробудилась моя совесть и терзала меня, ибо я остановил кучера и послужил причиной, что его так безжалостно лишили жизни, и представились моим очам обе женщины и невинные дети, запертые в погребе, где они, быть может, обречены на смерть и погибель, подобно сему еврею. И я, несчастный, хотел утешить себя своей невиновностью, ибо действовал против собственной воли и по принуждению; но моя совесть представила мне, что я всеми другими своими худыми делами давно уже заслужил, чтобы меня в сообществе с этим архизлодеем предать в руки юстиции, дабы получить справедливое наказание, быть может, праведный бог и определил мне такую кару. Под конец возымел я великое упование на близость божию и молил спасти меня от напасти; и когда я исполнился умиления, то сказал самому себе: «Дурень! ведь ты не под замком и не привязан; весь необъятный мир открыт перед тобою. Али мало у тебя лошадей, чтобы пуститься в бегство? А когда не пожелаешь ехать верхом, разве не проворны твои ноги, чтобы унести тебя отсюда?». Меж тем, как я подобным образом терзал и мучил себя, не решаясь на что-либо, воротился Оливье вместе с нашим мужиком. Он проводил нас вместе с лошадьми на мызу, где мы подкрепились и по очереди один за другим проспали несколько часов. После полуночи мы поскакали дальше и к полудню достигли внешних постов швейцарцев, где Оливье хорошо знали и устроили нам великолепное угощение. И покуда мы веселились, послал наш хозяин за двумя евреями, которые купили у нас лошадей,¹ хотя и за полцены. Все было совершенно так приятно и толково, что не потребовало особых разговоров. Самое главное, о чем спросили евреи,

было: «Чи это лошади — имперские или шведские?». А когда узнали, что они достались нам от веймарцев, то рассудили: «Так нам надобно гнать их не в Базель, а в Швабию к баварцам!», немало подивив меня своею превеликой осведомленностью и откровенностью.

Мы пиروвали по-барски, тамошние лесные форели и отличные раки изрядно пришились мне по вкусу. А как уже наступил вечер, то мы снова отправились в путь, нагрузив нашего крестьянина, словно осла, жарким и другими припасами; со всем этим мы на другой день завернули на уединенный крестьянский двор, где нас приняли весьма дружелюбно; и мы провели там несколько дней по причине худой погоды, ибо ветер, дождь и снег — плохие попутчики. Потом пробрались мы сплошным лесом и окольными тропинками снова к той самой хижине, куда меня Оливье привел спервоначала, когда он меня взял с собою.

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

*Симплиций глядит: Оливье убит,
За лютую смерть люто и мстит.*

Когда мы там засели, чтоб отдохнуть и утолить голод, Оливье отослал мужика купить съестных припасов, а также порох и дробь. Когда тот ушел, Оливье снял камзол и сказал: «Брат, не могу я больше таскать один эти чертовы деньги», после чего отвязал пару валиков или колбасок, которые он носил прямо на голом теле, бросил их на стол и сказал: «Ты также должен потрудиться и поносить это, покуда наберем, что хватит нам обоим, да и пошабашим; а то эти проклятушие деньги натерли мне бока; так что я уже не могу их таскать на себе». Я отвечал: «Брат, было бы у тебя их столько, как у меня, они не натерли бы тебе бока». «Что? — перебил он меня. — Знай, что мое, то и твое, а что мы добудем вместе, то поделим пополам!». Я поднял оба мешочка и почувствовал, что они тяжелехоньки, ибо набиты чистым золотом. Я сказал, что все сие весьма неудобно укладено, и ежели ему угодно, то мог бы так все ушить, что носить будет куда легче. А когда он предоставил сие на мою волю, то я пошел с ним к дуплистому дубу, где у него были схоронены ножницы, иголки и нитки; там смастерил я из пары штанов себе и ему нарамники, или наплечья, и упаковал в них славные красные монетки. И после того как мы надели эти наплечья под рубахи, получилось не иначе, как если бы на нас спереди и сзади были надеты золотые панцири, что было весьма ладно, ибо мы были теперь в большей безопасности ежели не от пули, то по крайности от клинка. Я же тому дивился и спросил его, по какой причине нет при нем серебра, узнав в ответ, что у него запря-

тано в дупле более тысячи дукатов, над коими дозволил он хозяйничать своему мужику, и не ведет им счет, ибо ни во что не ценит такой овечий помет.

Когда с этим было покончено и деньги уложены, отправились мы в наш ложемент, где ночью варили себе пищу и грелись у печки. А днем около часу, когда мы этого меньше всего ожидали, в нашу хижину, широко распахнув дверь, вломилось шестеро мушкетеров с капралом с оружием на изготове и зажженными фитилями и заорали, что мы должны им сдать! Однако Оливье (который так же, как и я, держал во всякое время рядом с собой заряженный мушкет, а при себе острый меч и как раз сидел за столом, тогда как я стоял за дверью у печки) ответил им несколькими пулями, отчего двое свалились на землю, я же двумя равномерными выстрелами уложил третьего и покалечил четвертого. Затем Оливье выхватил из ножен свой меч, выручавший его из любой беды, и такой острый, что резал волос (и может быть сравнен со славным мечом Калибурном,¹ мечом английского короля Артура), и разрубил пятого от плеча до живота, так что у него вывалилась вся требуха и он отвратительнейшим образом на ней распластался. Меж тем треснул я шестого по голове прикладом, так что он разом протянул ноги. Подобную же штуку учинил седьмой с Оливье, да с такой силой, что у него мозги вылетели; я же в свой черед так саданул убившего, что и он, подобно своим камрадам, растянулся, составив им мертвую компанию. А когда раненый, которого я подстрелил поначалу, увидел такой удар и приметил, что я поворотил мушкет и хочу вышибить из него дух, то бросил свое оружие и дал такого стрекача, как если бы за ним гнался сам черт. И на все это сражение ушло времени не более, чем понадобилось бы на то, чтобы прочитать «Отче наш», за который срок семеро храбрых солдат успело сложить свои головы.

И когда таким образом я один завладел всем полем, то осмотрел Оливье, чтобы удостовериться, не осталось ли в нем хоть на каплю жизни, но когда нашел его совсем бездыханным, то рассудил, что не приличествует оставлять мертвому телу столько денег, в коих ему нет никакой нужды; того ради снял я с него золотую шкуру, которую только вчера ему изготовил, и повесил на плечи поверх собственной. И понеже мой мушкет был разбит, то забрал я оставшийся после Оливье, а также его острый боевой меч; вооружившись всем этим на случай опасности, я дал тягу и притом по той дороге, по которой, как я знал, должен был воротиться наш мужик. Я сел в сторонку неподалеку от того места, чтобы его дожидаться, а также поразмыслить, что мне надлежит предпринять в будущем.

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА

*Симплиций встречает названного брата,
Что нищим скитался в жалких заплатах.*

Не просидел я и получасу, погрузившись в размышления, как объявился наш мужик, пыхтевший, как медведь; он бежал изо всей мочи и не приметил меня, покуда я его не нагнал. «Чего спешить? — спросил я. — Что стряслось?». Он сказал: «Тикай отсюда поскорее! Сюда идет капрал с шестью мушкетерами, а у них приказ взять под стражу тебя и Оливье и живыми или мертвыми доставить в Лихтенек.¹ Они захватили меня в полон и принуждали провести к вам, но мне посчастливилось удрать и прибежать сюда». Я подумал: «Эге, плут! Ты нас предал, чтоб завладеть деньгами Оливье, спрятанными в дупле»; но не показал виду, ибо нуждался в проводнике, а потому сказал, что Оливье и все, кому надлежало его взять под стражу, лежат мертвыми. А как мужик не хотел тому поверить, то я оказал ему доброту и пошел с ним на место, где он мог увидеть бедственное зрелище — семь поверженных тел. «Седьмому из тех, кто хотел нас захватить, я дозволил убежать, и видит бог, ежели я мог бы снова оживить тех, кто здесь полегли, то я не преминул бы так поступить!». Мужик оторопел от ужаса и удивления и воскликнул: «Что же делать?». Я отвечал: «Что делать, уже решено! Выбери одно из трех: либо ты тотчас проведешь меня надежными тропами через лес в Филлинген,² либо покажешь дупло, где схоронены деньги Оливье, либо умрешь на месте и составишь добрую компанию этим мертвецам! Ежели проводишь меня в Филлинген, то тебе одному достанутся все деньги, а покажешь дупло, то я разделю их с тобою пополам, а не учинишь ни того, ни другого, то я пристрелю тебя и пойду своею дорогою». Мужик с большой охотой улизнул бы от меня, но страшился мушкета и того ради пал на колени и предложил провести меня через лес. Итак, отправились мы со всею поспешностью и безо всякой пищи, питья и самого короткого отдыха, шли весь тот день и следующую ночь, ибо на наше счастье было довольно светло, а под утро завидели город Филлинген, где я отпустил мужика. На сем пути мужика подгонял страх, а меня желание спасти жизнь и свои денежки, так что я принужден был почти уверовать, что золото сообщает человеку большую силу, ибо хотя я нес на себе порядочную тяжесть, однако ж никакой особой усталости не чувствовал.

Я почел счастливым предзнаменованием, что в то самое время, когда я подошел к Филлингену, городские ворота были открыты. Караульный офицер учинил мне допрос, и когда услышал, что я назвал себя вольным рейтаром из того самого полка, куда меня определил Херцбрудер, когда освободил от мушкетерства в Филиппсбурге, а также что я сбежал из

лагеря под Брейзахом от веймарцев, куда попал после того, как был взят в плен у Виттенвейера и затолкан в их войско, а теперь хочу снова воротиться в свой полк к баварцам, то снарядил со мною мушкетера, который отвел меня к коменданту. Тот еще почивал в постели, ибо за полночь прободрствовал за делами, так что пришлось мне прождать добрых полтора часа перед его квартирою, но как люди шли от ранней обедни, то меня обступили со всех сторон горожане и солдаты, и всяк домогался узнать, как идут дела под Брейзахом; от этого крика пробудился комендант, который без дальнейших проволочек велел пустить меня к себе.

Он учинил мне новый экзамен, а я ответил все то же, что перед тем сказал у городских ворот. Засим спросил он меня об особенных частностях касательно осады и прочем, и тут признался я во всем, а именно, что я недели две находил прибежище у одного молодца, который тоже был из беглых, и с ним вместе напали на повозку и ограбили ее, намереваясь добыть у веймарцев столько, чтобы снова обзавестись конями и, должным образом экипировав себя, явиться каждому в свой полк; однако ж только вчера на нас внезапно напал капрал с шестью мушкетерами с тем, чтобы нас захватить, вследствие чего мой капрал и еще шестеро, посланных от противника, полегли на месте, седьмой же бежал, равно как и я, притом каждый на свою сторону. О том же, что я намеревался пробраться в Л.³ в Вестфалии к своей женушке и что на мне надеты два изрядно начиненных наплечья, молчал я, как мертвый. И, по правде, нимало того не совестился, что смолчал, ибо какое ему до того было дело? Он также не спрашивал меня о сем, а только дивился и почти не хотел верить, что мы вдвоем с Оливье уложили шестерых человек, а седьмого обратили в бегство, хотя мой капрал и заплатил за это свою жизнь. Во время сего дискурса представился мне удобный случай завести речь и о превосходном мече Оливье, который я носил при себе и не мог им нахвалиться. И он так полюбился коменданту, что я, ежели хотел отойти от него добрым манером и получить пашпорт, принужден был поменяться с ним на шпагу. И, по правде, то был изрядный меч, красивый и добрый, и на нем был нагридирован целый вечный календарь, так что меня не переспорить, что он не был выкован самим Вулканом в *hoga Martis* и уж, конечно, был изготовлен, как описано в «Сокровищнице героев»,⁴ по какой причине все другие клинки ломаются об него и самые неустрашимые неприятели и храбрые, как львы, мужи пускаются наутек, словно робкие зайцы. Когда же он меня отпустил и приказал выписать мне пашпорт, отправился я кратчайшим путем на постоялый двор, где не знал, то ли мне завалиться спать, то ли поесть. Однако решил сперва утолить голод и потому велел принести мне какие ни есть кушанья и напитки, раздумывая, как я устрою свои дела и при моих деньгах уж наверное доберусь до Л. к своей жене, ибо у меня было ровно столько же охоты ворочаться в полк, как и сломить себе шею.

Меж тем, как я предавался в своем уме подобным спекуляциям и затевал в мыслях различные другие хитрости, в горницу приковылял какой-то молодчик с костылем в руке: у него была обмотана голова, а руки на перевязи и столь жалкое рубище, что я не дал бы за него ни единого геллера. Едва трактирный слуга завидел его, то хотел тотчас же прогнать, ибо от него шла нестерпимая вонь и он был до того осыпан вшами, что ими можно было усеять всю швабскую степь. Он же молил дозволить ему, ради самого бога, хоть малость обогреться, но тщетно. Но когда я сжалился над ним и попросил за него, то его подпустили к печке, как нищего. Он смотрел на меня, как мне показалось, томясь от голода и с большим благоговением, как я наворачиваю, и притом несколько раз тяжело вздохнул; и когда трактирный слуга вышел, чтобы принести мне жаркое, то подошел к моему столу и протянул мне глиняную кружку. Так как я легко мог вообразить себе, зачем он пришел, то взял у него кружку и налил сполна пивом, прежде чем он успел попросить. «Ах, друг, — сказал он, — ради Херцбрудера дай мне также немного поесть!». Когда я сие услышал, у меня захолонуло сердце, и я уразумел, что то сам Херцбрудер. Я едва не повергся в обморок, когда увидел его в столь бедственном положении, но скрепился, бросился ему на шею и усадил рядом с собою, ибо нам обоим застили глаза слезы, мне от сожаления, ему от радости.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

*Симплициус слышит про муки и беды,
Какие Херцбрудер в походах изведal.*

Нечаянная наша встреча до того нас всполошила, что не могли мы ни есть, ни пить, а только спрашивали друг друга, что приключилось с тех пор, когда мы в последний раз виделись. Однако ж мы не могли пуститься в откровенную беседу, ибо трактирщик и его слуга беспрестанно сновали взад и вперед. Трактирщик дивился, что я не гнушаюсь такого обовшивевшего малого, я же сказал, что на войне у заправских солдат то за обычай. Так как я уразумел, что Херцбрудер до сего обрeтался в госпитале и жил подаением и что раны его весьма худо перевязаны, то уговорился с хозяином, чтобы он отвел ему особый покой, уложил Херцбрудера в постель и велел позвать к нему лучшего костоправа, которого можно сыскать, а также портного и швею, чтобы приодеть его и вывести всех вшей, которые его до костей источили. У меня в кошельке еще водились дублоны, которые Оливье вытащил из глотки у мертвого еврея. Я хлопнул ими по столу и сказал Херцбрудеру так,

чтобы слышал трактирщик: «Гляди, брат, вот мои деньги; я хочу истратить их на тебя и проесть вместе с тобою», так что хозяин стал нам весьма усердно прислуживать. А цирюльнику я показал рубин, также вынутый из помянутого еврея, ценою примерно в двадцать талеров, и сказал: «Понеже те малые деньги, которые я при себе имею, уйдут на наше пропитание и на платье моему камраду, то намерен я дать ему сей рубин, ежели он вскорости поставит на ноги помянутого камрада»; чем цирюльник был весьма доволен и потому употребил самое лучшее лечение.

Итак, ухаживал я за Херцбрудером, как за своим вторым Я; отдалшить ему простое платье из серого сукна, но сперва отправился к коменданту из-за пашпорта и поведал, что встретил тяжко раненного камрада и хочу дожидаться, покуда он совсем не выздоровеет; оставить же его тут не осмеливаюсь, дабы не держать ответ за него в полку. Комендант похвалил такое мое намерение и дозволил остаться, сколько мне надобно, обещав снабдить нас добрым пашпортом, когда мой камрад сможет пуститься в путь вместе со мною.

А когда я воротился к Херцбрудеру и сел у его ложа, то попросил не таясь поведать мне, как попал он в столь бедственное положение; ибо я вообразил, что по какой-либо важной причине или совершенной им оплошности он был лишен прежнего высокого звания и чести и вторгнут в теперешнее злополучие. Он же сказал: «Брат, ты ведь знаешь, что я был самый любимый и довереннейший друг и фактотум графа фон Гёца;¹ тебе также довольно ведомо, сколь злополучно окончилась минувшая кампания, в коей он был главный генерал и командир, когда мы не только проиграли битву под Виттенвейером, но к тому же не смогли высвободить из осады Брейзах. И понеже о том пошли по всему свету различные толки, наипаче же, как упомянутого графа призывали к ответу и повезли в Вену, то я от стыда и страха добровольно поверг себя в такое ничтожество и часто желаю себе либо умереть в сей бедности, либо жить в сокрые, покуда не обнаружится, что названный граф ни в чем не повинен, ибо, насколько я знаю, он всегда сохранял верность римскому императору. А что он прошедшим летом не был счастлив, то, как я думаю, надлежит приписать скорее предопределению всевышнего (который ниспосылает победу тому, кому хочет), нежели оплошности графа.

Когда вознамерились мы освободить от осады Брейзах и я увидел, что у наших дело идет ни шатко, ни валко, то вооружился и пошел на осадный плавучий мост, как если бы один мог все привести к окончанию, в чем тогда не был сведущ и что не вменялось мне в обязанность; однако ж я хотел тем подать пример остальным, а как прошедшим летом нам ничего не удалось исполнить, то по счастью или, вернее, несчастью я оказался в первых рядах нападавших, и мне первому довелось столкнуться с неприятелем, тут и пошла потеха. И хотя я был первым в нападении, однако ж оказался последним в защите, ибо мы не выдержали

неистового натиска французов, и потому раньше всех попал в руки врагам. Меня поразила выстрел в правую руку и тотчас же другой в бедро, так что я не мог ни бежать, ни выхватить шпагу; и как теснота места и великая опасность не позволяли ни просить, ни давать пардону, то получил я еще удар в голову, от которого рухнул наземь, и так как на мне было весьма доброе платье, то меня с остервенением раздели и сбросили, как мертвого, в Рейн. В такой беде воззвал я к всевышнему и совершенно предался его святой воле, и когда я давал различные обеты, то почувствовал его заступление: Рейн выбросил меня на берег, где я заткнул свои раны мохом, и хотя едва не замерз, однако ж ощутил в себе особенную силу, так что смог уползти оттуда, поелику мне помогал бог, так что я, хотя и прежалостным образом изувеченный, попал к братьям-меродерам и солдатским женкам, которые возымили ко мне сожаление, хотя вовсе не знали меня. Они уже не помышляли о счастливом освобождении крепости, что мне причиняло боль сильнейшую, нежели мое увечье. Они покормили и обогрели меня у костра, снабдив платьем, и прежде чем я успел толком перевязать свои раны, как должен был узреть, что наши приготовились к позорному отступлению и признали дело проигранным, что меня весьма сокрушало; того ради решил я никому себя не открывать, дабы и на мою долю не досталось насмешек, а посему пристал к нескольким раненым из нашей армии, с которыми шел фельдшер; ему я отдал свой золотой крестик, еще висевший у меня на шее, за что тот перевязал мне раны. Так и влачил я, дорогой Симплициус, до сих пор сию бедственную жизнь, положив намерение никому не открываться, покуда граф фон Гёц не выиграет свое дело. И теперь, видя твою верность и добросердечие, обретаю я великое упование, что милосердный бог еще не покинул меня, понеже сегодня утром, когда я шел от ранней обедни и увидел тебя возле комендантской квартиры, то представилось мне, что бог ниспослал тебя ко мне вместо своего ангела, который должен прийти ко мне на помощь во всяческой моей скудости».

Я утешал Херцбрудера, как только мог, и открыл ему, что у меня куда больше денег, чем те несколько дублонов, которые я показал, и что все это теперь к его услугам; и меж тем рассказал я ему о падении Оливье и каким образом принужден был я отомстить за его смерть, и сие так взбодрило его дух, что споспешествовало и его телесному здравью, ибо день ото дня раны его заживали все лучше.



КНИГА ПЯТАЯ

- 1-я гл. Симплиций, проведав, что друг дал обет,
Решает по дружбе идти ему вслед.
- 2-я гл. Симплиций завел с сатаной канитель,
Страхом объятый лезет в купель.
- 3-я гл. Симплиций с Херцбрудером живут, как братья,
Проводят время в полезных занятиях.
- 4-я гл. Симплиций снова Фортуна пытается,
Но на войне не преуспевает.
- 5-я гл. Симплиций в Кельне в роли Меркурия,
Юпитера речи — смесь ума и дури.
- 6-я гл. Симплиций, давно позабыв все обеты.
На Кислых водах вытворяет курбеты.
- 7-я гл. Симплиций друга отнес на кладбище,
Себе утешенье с крестьянкою ищет.
- 8-я гл. Симплициус снова не прочь ожениться,
Узнав, кто он родом, не стал сим гордиться.
- 9-я гл. Симплицию двух сыновей и то много,
А третий подброшен лежит у порога.
- 10-я гл. Симплицию врут мужики-ротозеи,
Что ведомо им о делах Муммельзее.
- 11-я гл. Симплициус слышит: честят эскулапов,
Не хочет попасть он в их хитрые лапы.
- 12-я гл. Симплициус дышит в воде невозбранно.
Он с сильфом уходит на дно Океана.

- 13-я гл. Симплиций, плывя с князьком Муммельзее,
На много чудес дивится, глазаея.
- 14-я гл. Симплиций дорогою дискурс ведет
О том, как у сильфов жизнь их идет.
- 15-я гл. Симплиций в беседе на дне Океана
Не может ответить царю без обмана.
- 16-я гл. Симплиций отправился в Маре дель Сур,
Где жемчуг с кулак и в бездне пурпур.
- 17-я гл. Симплиций из озера вышел тишком,
Сам невредим и в платье сухом.
- 18-я гл. Симплиций во сне ненароком подмок,
Источник под ним не на месте потек.
- 19-я гл. Симплиций встречает перекрещенцев,
По нраву ему жизнь сих отщепенцев.
- 20-я гл. Симплиций со шведским воякой спознался,
С ним до Москвы он легонько добрался.
- 21-я гл. Симплиций готовит мушкетное зелье,
В чужом он пиру получает похмелье.
- 22-я гл. Симплиций на Волге неожиданным манером
К татарам попал, а затем на галеры.
- 23-я гл. Симплиций зрит жизни суетный плен,
Все для него здесь тщета, прах и тлен.
- 24-я гл. Симплиций от мира сего отрекается,
Строгим отшельником жить собирается.

КНИГА ПЯТАЯ

ПЕРВАЯ ГЛАВА

*Симплиций, проведая, что друг дал обет,
Решает по дружбе идти ему вслед.*

Когда Херцбрудер совсем поправился и исцелился от ран, поведал он мне, что, обретаясь в жестокой беде, дал он обет свершить паломничество в Эйнзидлен.¹ А как теперь он и без того находится неподалеку от швейцарской границы, то и вознамерился сие исполнить, питаюсь в дороге милостыню; мне же было весьма приятно о том услышать; того ради предложил я ему деньги и свою компанию и хотел тотчас же купить двух клеперков, дабы отправиться с ним в путешествие, правда, не по той причине, что меня побуждало и наставляло к сему благочестие, а потому что желал поглядеть швейцарскую республику, которая была единственной страной, где процветал вожделенный мир. Меня также немало обрадовало, что мне выдался случай во время такого путешествия услужить Херцбрудеру, ибо я возлюбил его, как самого себя; он же отверг и то, и другое: и мою помощь, и мое общество под тем предлогом, что паломничество надо было свершить пешком, и притом насовав в сапоги гороху. А ежели я хочу составить ему компанию, то не только тем нарушу его благоговение, но и доставлю себе самому превеликое неудобство ради его медленного и тяжкого передвижения. А помощи от меня он не примет, ибо совесть не позволяет ему во время такого святого путешествия содержать себя на деньги, добытые смертоубийством и разбоем; а сверх того не желает он вводить меня в великие протори и объявляет мне непритворно, что я уже сделал для него более, нежели я был ему должен, а он того ожидал. Тут зачали мы приятельскую перебранку, и сие было так мило, что ничего похожего я еще не слыхивал; ибо мы не употребляли иных доводов, кроме того, что каждый уверял, что еще не доставил своему другу ничего, что надлежало бы ему сделать, и благодеяния, которые оказал один другому, еще не оплачены. Херцбрудер более всего сетовал на

то, что я, как он говорил, осыпаю его щедротами и изъясляю ему свою услужливость и неложную дружбу такою мерою, что он никогда не сможет воздать мне тою же; я же упрекал его в том, что ныне, когда мне представился случай услужить ему и доказать на деле свою благодарность за все его благодеяния, что я его неложный друг и усердный слуга, то отвергает он меня как недостойного его службы, напомнив ему последнюю волю блаженной памяти его родителя, и как мы оба под Магдебургом скрепили клятвами нашу дружбу, каковой ныне он меня лишает, и тем нас обоих сразу хочет соделать клятвопреступниками. Но все сие нимало не склонило его принять меня товарищем своего путешествия, покуда я не приметил, что ему претит не токмо золото Оливье, но и моя безбожная жизнь. Того ради прибег я ко лжи и уговорил его, что меня побуждает к паломничеству в Эйнзидлен мое намерение исправиться; а ежели он удержит меня от этого доброго начинания и я умру нераскаянным, то он будет в тяжком за то ответе. Таким манером удалось мне его уломать, так что он напоследок согласился посетить святые места вместе со мною, особливо же как я показывал (хотя все то было ложью) великое раскаяние о своей беспутной жизни, а также уверял его, что я сам вознамерился наложить на себя эпитимию и вместе с ним свершить паломничество в Эйнзидлен, шествуя в сапогах, набитых горохом.

Едва окончилось сие препирательство, как началось другое, ибо Херцбрудер был чересчур добросовестен. Он не соглашался, чтобы я выправил у коменданта для нас обоих пашпорта на мой полк. «Что? — воскликнул он. — Разве не возымели мы намерение исправиться и пойти на покаяние в Эйнзидлен? И посуди, бога ради, ты хочешь положить сему начало обманом и запечатать очи людей ложью! Кто отречется от меня в сем мире, от того отрекусь и я перед отцом моим небесным, сказал Христос! Разве мы трусливые зеваки? Когда бы все мученики и исповедники христовы так поступали, то мало было бы святых на небе. Ежели мы отправимся с именем Божиим и под его покровом, куда направят нас его святая воля и назначение, и предадим себя его благому промыслу, то уж наверное бог проведет нас туда, где наши души обретут успокоение!». Но как я ему представил, что нам не следует испытывать бога, а применяться ко времени и употреблять средства, от коих мы не можем отказаться, особливо же потому, что паломничество среди солдат не за обычай, и когда мы откроем свое намерение, то почтут нас дезертирами, а вовсе не пилигримами, что может доставить нам немалое беспокойство и несчастье, а также подвергнуть опасности наше здравие и самую жизнь, наипаче же как святой апостол Павел, с коим мы никак не можем себя поравнять, удивительным образом применялся ко времени и обычаям мира сего, то под конец Херцбрудер уступил мне, так что я получил пашпорт, чтобы отправиться в свой полк. Имея оный пашпорт, вышли мы с надежным провожаемым из города в то время, как закрывались ворота, как если бы собира-

лись в Роттвейль,² но вскорости свернули на окольную дорогу и в ту же ночь перешли швейцарскую границу, а на следующее утро завернули в деревню, где экипировались, купив себе долгополое черное платье, паломнические посохи и четки, а нашего провожатого отпустили домой с хорошим вознаграждением.

Все в этой стране показалось мне весьма дивным, не как в других немецких землях, словно бы я очутился в Бразилии или в Китае. Я узрел, как там, в мире и тишине, всяк занят своим ремеслом, хлевы полны скотиною, мужицкие двory кишат курами, утками и гусями; улицы безопасны для путешественников, в трактирах полным-полно людей, предающихся веселию. Там живут, не ведая страха перед неприятелем, опасения грабежа и заботы лишиться своего добра, здравия, а то и самой жизни; всяк живет беспечно среди своих смоковниц и виноградушков и, ежели сравнить с другими немецкими землями, в полном довольстве и радости, так что я почел сию страну земным раем, хотя по своим обычаям она казалась порядком грубой. Сие произвело, что я всю дорогу только и делал, что глазел по сторонам, в то время как Херцбрудер перебирал четки; того ради я иногда получал от него укоризны, ибо он желал, чтобы я беспреестанно творил молитвы, к чему я никак не мог привыкнуть.

В Цюрихе он проведал все мои хитрости и посему весьма сухо выложил мне всю правду, ибо когда мы прошедшей ночью заночевали в Шаффхаузене³ (где у меня от гороху жестоко разболелись ноги), то поутру я забоялся идти на горохе и велел его сварить, а затем снова запихал в сапоги, после чего весело дошел пешком до Цюриха; он же с трудом волочил ноги и сказал мне: «Брат, на тебе почиет великая благодать божия, ибо ты, невзирая на горох в сапогах, шагаешь с таким веселием». «Всеконечно, — ответил я, — достопочтенный и любезный Херцбрудер, я его сварил, а не то б не смог отмахать такой путь». «Боже милостивый! — воскликнул он. — Что ты натворил? ты бы лучше вовсе выбросил его из сапогов, ежели только не пожелал бы учинить насмешку. Мне надо позаботиться, чтобы бог не покарал нас обоих, тебя и меня. Не вмени сие во зло, друг, когда я по братской любви скажу тебе с немецкой прямою все, что у меня залегло на сердце, а именно: я о том горюю, что если только ты не перестанешь гневить бога, то лишишь себя вечного спасения. Признаюсь с охогою и уверяю тебя по правде, что я никого так не люблю в целом свете, как тебя, однако ж не хочу таить от тебя, что ежели ты не исправишься, то принужден буду устыдиться продолжения сея дружбы». Я онемел от страху, так что, казалось, больше не мог вымолвить ни единого слова; наконец открыто повинился ему, что положил горох в сапоги не ради благочестия, а единственно ему в угодность, чтобы он взял меня с собою паломничать. «Ах, брат! — отвечал он. — Вижу я, что ты далеко отошел от стези спасения, когда бы даже не было тут никакого гороху. Да ниспошлет тебе бог исправление, ибо без него не устоит наша дружба».

С того самого времени следовал я за ним в глубокой печали, подобно человеку, коего ведут на виселицу; совесть начала отягощать меня, и когда я раздумывал, то вставали перед моими очами все бесчестные мои проделки, которые я учинил в течение жизни. Тогда прежде всего оплакал я свою простоту, с какою вышел из лесу и которую потом всячески расточил в мире; и мое сетование еще умножило то, что Херцбрудер был молчалив со мною и только взирал на меня со вздохами, отчего было мне не иначе, как если бы он ведал о вечном моем осуждении и сожалел о сем.

ВТОРАЯ ГЛАВА

*Симплиций завел с сатаной канитель,
Страхом объятый лезет в купель.*

Таким-то образом добрались мы до Эйнзидлена и зашли в храм как раз в то время, когда священник заклинал бесноватого,¹ что мне было внове и в диковинку, того ради оставил я Херцбрудера преклонить колени в молитве, сколько ему вздумается, а сам ради курioзности пошел поглядеть на сей спектакулум. Но едва я успел немного приблизиться, как злой дух завопил из бедняги: «Эге, парень, и тебя принесла не легкая? Я-то думал, что, воротившись восвояси, повстречаю тебя в нашей адской обители в компании с Оливье; да вот вижу, ты объявился здесь, ах, ты, беспутный, прелюбодей и смертоубийца! Али ты и впрямь вообразил, что тебе удастся улизнуть от нас? Эй, вы, попы! не принимайте его к себе, он лжец и притворщик почище меня самого, он только и делает, что водит за нос и глумится над богом и религией». Заклинающий беса повелел злomu духу замолчать, ибо ему, как архилжецу, и без того никто не поверит. «Вот, вот! — выкрикивал он. — Спросите-ка спутника беглого сего монаха, он вам наверняка расскажет, что сей атеист не утрашился сварить горох, на коем он пожелал бы прийти сюда по обету». Я совсем потерял голову, когда услышал такие слова, и все на меня уставились; но священник заклял беса и заставил его умолкнуть, однако не смог его в тот день изгнать. Меж тем приблизился и Херцбрудер, как раз в то время, когда я совсем помертвел от страху и, колеблясь между надеждой и отчаянием, не знал, как мне поступить. Херцбрудер утешал меня, как только мог, и притом уверял собравшихся вокруг нас, а особливо патера, что я никогда в жизни не был монахом, а всего-навсего солдат, который, быть может, и натворил больше зла, нежели добра, при-совокупив, что дьявол — лжец и всю историю с горохом представил куда горше, нежели то было на самом деле. Я же был так смятен духом, что чувствовал себя не иначе, как если бы меня уже жег адский пла-

мень, так что и священникам стоило немало труда меня утешить. Они увещевали меня исповедоваться и принять причастие, но злой дух снова возопил из бесноватого: «Вот-вот, он славно исповедуется! Да ведь он и понятия не имеет, что такое исповедь! Чего вы от него добиваетесь? Он еретическое отродье и давно наш, его родители были даже не кальвинисты, а перекрещенцы и т. д.». Но экзорцист² еще раз повелел злому духу замолчать и сказал ему: «В таком случае тем досадительнее будет тебе, когда бедная заблудшая овца будет вырвана из твоей пасти и вновь возвратится к стаду христову». Тут бес так ужасно завопил, что жутко было слышать, из какого мерзостного песнопения почерпнул я немалую отраду, ибо подумал, что когда бы не было у меня более надежды на милость божию, то дьявол так бы жестоко не корчился.

И хотя тогда я не отважился пойти к исповеди, да и никогда во все дни не питал такого намерения, ибо от стыда меня брал такой страх, как черта перед распятием, однако ж ощутил я в то мгновение такое раскаяние в содеянных грехах и столь горячее желание покаяться и отказаться от своей злонравной и безбожнической жизни, что тотчас же пожелал призвать к себе духовника, каковое внезапное обращение и исправление весьма обрадовало Херцбрудера, ибо он приметил и отлично знал, что я до сего времени не принадлежал ни к какой религии. Засим я объявил во всеуслышание, что принимаю католическую веру, пошел к исповеди и, получив отпущение грехов, причастился, после чего у меня стало так легко и хорошо на сердце, что я и сказать не могу. А что было всего удивительнее, так то, что с тех пор злой дух, мучивший бесноватого, оставил меня в покое, ибо до исповеди и причастия он беспрестанно укорял меня различными проделками, которые я чинил, как если бы он только затем и был приставлен, чтобы вести счет моим грехам; однако ж никто из слышавших не верил ему, как лжецу, ибо мое достойное пилигримское одеяние представляло очам совсем иное.

Мы провели полных две недели в благодатном сем месте, где я благодарил вышнего за свое обращение и размышлял о сотворенном там чуде, что довольно подвинуло меня к умиленнию и благочестию. Однако ж сколь бы долго ни была преисполнена сим моя душа, понеже мое обращение возникло не из любви к богу, а из боязни и страха вечного осуждения, то стал я мало-помалу впадать в леность и нерадение, ибо исчезал из памяти тот ужас, который нагнал на меня злой дух, и когда мы вдоволь насмотрелись на святые реликвии, облачения и другие достопримечательные предметы дома господня, то отправились в Баден,³ дабы там перезимовать.

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

*Симплиций с Херцбрудером живут, как братья,
Проводят время в полезных занятиях.*

В Бадене снял я для нас обоих веселенькую светлицу с каморкой, какие обыкновенно снимают, особливо же в летнее время, богатые швейцарцы, которые приезжают на воды более затем, чтобы позабавиться и покрасоваться, нежели ради каких-либо своих немощей. Также уговорился я и о нашем коште, и когда Херцбрудер увидел, что я широко размахнулся, то стал толковать мне о бережливости, напоминая о долгой суровой зиме, которая нам еще предстоит, ибо не был уверен, что моих денег достанет на́долго. Мне еще, уверял он, надобно приберечь деньги на весну, когда мы захотим отсюда выбраться; деньги уходят проворно, ежели только брат и ничего обратно не класть; они исчезают, как дым, чтобы никогда больше не воротиться, и пр. и пр. После таких чистосердечных увещеваний не мог я далее скрывать от Херцбрудера, каким богатством набит мой кошель и что я намерен из него удовольствоваться нас обоих, понеже происхождение и приобретение сих денег таково, что на них и без того не почит благодарать, так что я не помышляю купить на них мызу; и поелику я не собираюсь вложить во что-либо деньги, чтобы содержать моего лучшего на земле друга, то было бы только справедливо, ежели бы он, Херцбрудер, получил из денег Оливье удовлетворение за бесчестие, понесенное от него под Магдебургом. И так как я чувствовал себя в совершенной безопасности, то снял оба наплечья и вылушил оттуда дукаты и пистолы, после чего сказал Херцбрудеру, что он может располагать этими деньгами, как ему заблагорассудится, употреблять и делить их на части, как, по его мнению, будет всего полезнее для нас обоих.

Когда он не только увидел, какое я питаю к нему доверие, но и такую уйму денег, с помощью коих я и без него мог бы стать порядочным господином, то сказал: «Брат, все время, сколько я тебя знаю, ты только и делаешь, что оказываешь мне свою деятельную любовь и верность! Однако ж, скажи мне, как, по-твоему, смогу я снова тебе за все отплатить? Дело не только в деньгах, коими ты меня одалживаешь, ибо со временем, быть может, их удастся возратить, но чем воздам я тебе за любовь и верность, особливо же за твою высокую ко мне доверенность, чему нет цены? Сие понуждает меня покраснеть от стыда, ибо я должен признаться, что никогда ни одному человеку в целом свете не доверял настолько, как ты мне. Одним словом, брат, твой добродетельный нрав обращает меня в твоего раба, и то, что ты делаешь для меня, более приводит в удивление, нежели дозволяет отплатить тебе. О, честнейший Симплициус, коему в наши безбожные времена, когда мир

полон вероломства, не всходит на ум, что бедный и обретающийся во всякой скудости Херцбрудер может присвоить себе порядочный куш денег и самого его вместо себя свергнуть в нищету! Будь уверен, брат, что твоя неложная дружба более привязывает меня к тебе, нежели богатч, который дарил бы мне тысячи. Однако же, прошу тебя, брат мой, оставайся ты владыкой, хранителем и даятелем своих денег; с меня довольно, что ты мне друг!». Я отвечал: «Что за диковинные речи, высокочтимый Херцбрудер! Ты изустно объявляешь мне и даешь уразуметь, что ты привязан ко мне и противишься тому, чтобы я без пользы расточал наши деньги ко вреду тебе и себе самому». И так вели мы подобные ребячливые речи, ибо были преисполнены взаимной любви, так что я готов был поверить, что плоха та любовь и доверенность у людей, когда они порой не мелют между собою всякого вздора. Итак, стал мой Херцбрудер в одно и то же время моим наставником, моим казначеем, моим слугой и моим господином, а в досужее время поведал он мне историю своей жизни, каким способом стал он известен графу фон Гёцу и получил от него произхождение, после чего и я рассказал Херцбрудеру все, что приключилось со мною после того, как умер его блаженной памяти родитель, ибо раньше еще не было у нас такого досуга; и когда он узнал, что у меня в Л. осталась молодая жена, то упрекнул меня в том, что я не отправился к ней вместо того, чтобы идти с ним в Швейцарию; ибо сие мне куда более приличествовало и подобало. Я же оправдывался тем, что не мог совладать со своим сердцем и покинуть в такой беде своего лучшего на земле друга, после чего уговорил он меня написать моей жене и поведать ей мои обстоятельства с обещанием вскорости к ней возвратиться, к чему присовокупил я еще свои извинения ради долгого моего отсутствия, что довелось мне испытать многообразные препятственные приключения, и с какою бы охотою я вместо того пребывал у нее.

Когда же Херцбрудер из обычных ведомостей узнал, что обстоятельства графа фон Гёца весьма поправились, особливо же что он оправдался перед его императорским величеством и снова вышел на свободу и даже получит командование армией, то послал ему в Вену рапорт о своем положении, а также написал в армию баденского курфюршества о своем имуществе, которое оставалось еще там, и стал возлагать надежду на свою фортуна и дальнейшее счастливое произхождение; того ради порешили мы будущей весной расстаться, ибо он собрался отправиться к сказанному графу, я же в Л. к своей жене. А чтобы зима не проходила в праздности, изучали мы у здешнего инженера фортификацию, да так, что ни испанский, ни французский король не мог бы построить столько крепостей, сколько возвели мы на бумаге. Попутно свел я знакомство с некоторыми алхимистами. Приметив, что у меня водятся денежки, они вознамерились обучить меня, как делать золото, лишь бы я взял на себя издержки, и, я

думаю, им бы удалось меня уговорить, когда бы Херцбрудер их не спровадил, сказав им, что тому, кто обладает подобным искусством, незачем бродить попрошайками и клянчить у других деньги.

Меж тем как Херцбрудер получил из Вены от вышепомянутого графа приятный ответ и надежные обещания, я же — ни единого словечка из Л., невзирая на то что писал различные письма *in duplo*. Сие весьма меня раздосадовало и послужило причиной того, что весною я не направил свои стопы в Вестфалию, а упросил Херцбрудера взять меня в Вену, чтобы насладиться ожидаемым счастьем. Итак, на деньги, что были у меня, обзавелись мы платьем, лошадьми, слугами и оружием, словно два кавалера, и отправились через Констанцу¹ в Ульм,² откуда поплыли по Дунаю и через восемь дней счастливо пристали в Вене. По пути мне не удалось приметить ничего особенного, ибо мы очень торопились, не считая того, что бабенки, жившие по берегам, когда проплывающие мимо задирали их криками, ответствовали не токмо словесно, но и показывая такие доводы, что было на что подивиться.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

*Симплиций снова Фортуны пытается,
Но на войне не преуспевает.*

Как все диковинно повелось в переменчивом сем мире! Обыкновенно говорят: «Тот, кто знал бы все, скоро бы разбогател», я же скажу: «Кто умел бы всегда приноровиться ко времени, тот скоро бы стал великим и могущественным. Иной живодер или сквалыга (ибо сии почтенные титулы дают скрягам) быстрее бы разбогател, когда бы знал и умел находить всюду выгоды, а посему-то он никогда не войдет в честь, а пребывает и будет пребывать в жалком ничтожестве, как до сего обретался в бедности. Но кто умеет возвыситься и стать могущественным, за тем богатство гонится по пятам». Фортуна, которая дарует власть и богатство, весьма милостиво взирала на меня и, когда я пробыл в Вене с недельку, не раз представляла мне случай без малейшей препоны взойти по ступеням чести; но я не свершил сего. Почему? Я полагаю оттого, что мой фатум назначил мне иную стезю, а именно ту, по коей меня повело мое фатовство.

Граф фон дер Валь, под чьим командованием я некогда отличился в Вестфалии, обретался как раз в Вене, когда мы с Херцбрудером туда прибыли; на банкете, где наряду с прочими имперскими военными советниками и самим графом фон Гёцом был и помянутый командир, зашла речь о различных замысловатых людях, находчивых солдатах и удачливых до-

зорных, также вспомнили о егере из Зуста и порассказали о нем немало историй с такою похвалою, что многие дивились его младости и сокрушались, что лукавый гессенский полковник С. А. навязал ему на шею чурбан, дабы он либо отложил в сторону шпагу, либо взял в руки шведский мушкет. Тут помянутый граф фон дер Валь подробно объявил, как сей полковник в Л. обошел меня. Мой верный Херцбрудер, который случился при той беседе и весьма хотел споспешествовать моему благополучию, попросил извинить его и позволить ему вставить слово, объявив, что он знает егеря из Зуста лучше, нежели любой человек во всем свете, и что это не токмо добрый солдат, который не страшится понюхать пороху, но также изрядный наездник, искусный фехтовальщик, отличный стрелок и пушкарь, а сверх того не уступит ни одному инженеру; он оставил в Л. не только жене, с коей его сочтали таким поносным манером, но и все свое достояние и теперь снова желает вступить в имперскую службу, понеже в прошедшую кампанию находился под командою графа фон Гёца, и когда сего егеря захватили в плен веймарцы и он вместе с одним капралом, его товарищем, и шестью мушкетерами захотел снова перейти к имперским, то те, что были посланы за ними в погоню, их побили и ограбили; и понеже он сам прибыл с ним в Вену, дабы снова сражаться с врагами римского императорского величества, однако же на таких кондициях, которые были бы для него пристойны, ибо он не желает больше служить посмешищем как рядовой.

Тогда вся сия знатная компания уже до того воспламенилась от приятных напитков, что пожелала удовольствоваться свое любопытство и поглядеть на егеря, ибо Херцбрудер был столь проворен, что доставил меня туда в своей повозке. По дороге он наставлял меня, как надлежит мне держать себя в столь знатном обществе, ибо от этого зависело мое произвождение и будущее благополучие. Того ради отвечал я, когда мы пришли, на все вопросы коротко и афористично, так что кругом стали дивиться, ибо я не говорил ничего лишнего, а ежели уж и говорил, то глубокомысленно. Одним словом, я оказал себя так, что был каждому приятен, ибо и без того граф фон дер Валь похвалил меня как доброго солдата. Но тут я захмелел и стал куражиться и думаю, что дал приметить, как мало я еще бывал в свете. Кончилось все тем, что один пехотный полковник обещал мне роту в его полку, отчего я не отказался, ибо подумал: «Заделаться капитаном взаправду дело не шуточное». Но на другой день Херцбрудер выговаривал мне за мое легкомыслие и сказал, что когда б только я смог подольше продержаться, то продвинулся бы еще выше.

Итак, в чине капитана я был представлен роте, которая, хотя и была полностью укомплектована начальством со мною *in prima plana*,¹ однако ж насчитывала не более семи будочников. Узрев сие, сказал я самому себе: «Когда б я был полководцем и у меня завелся такой капитан, у коего под

командою было не больше, чем у тебя, то я прогнал бы его ко всем чертям!». А к тому же еще мои унтеры были по большей части старыми песочницами, так что мне пришлось из-за них почесать себе затылок: и вскорости меня с этой командой тем легче растрепали во время жестокой перепалки,² когда граф фон Гёц лишился жизни. Херцбрудер поплатился своими тестикулами, которые у него отстрелили, а я получил свою часть в бедро, что, впрочем, было не ахти какой уж раной. Посему отправились мы вдвоем в Вену, чтобы полечиться, ибо там было оставлено все наше имение. Кроме той раны, что получил Херцбрудер и которая скоро зажила, впал он в весьма опасное состояние, которое медики не сразу сумели распознать, ибо у него отнялись сразу все конечности, словно у холерика, у которого испортилась желчь, хотя по своей комплекции он был менее всего предрасположен к гневливости. Тем не менее ему присоветовали полечиться на кислых водах, а именно в Грисбах³ в Шварцвальде.

Так нечаянно переменилось счастье: Херцбрудер незадолго перед тем решил жениться на благородной девице и на такой конец стать бароном, а меня возвести в дворянство. Теперь же принужден был он помышлять совсем об ином; и вот, понеже он утратил то, что потребно для продолжения рода, а вдобавок его разбил паралич, грозивший долгим недугом, при коем он не мог обойтись без помощи доброго друга, то составил он завещание, объявив меня единственным наследником всего своего имения, особливо же как увидел, что я ради него презрел свою фортуна в Вене и расступился со своим батальоном, дабы сопровождать его на Кислые воды и там ухаживать за ним, пока он не поправит своего здоровья.

ПЯТАЯ ГЛАВА

*Симплиций в Кельне в роли Меркурия,
Юпитера речи — смесь ума и дури.*

А когда Херцбрудер снова смог сесть на лошадь, перевели мы наличные наши деньги (ибо с того времени у нас была одна казна) векселем на Базель, обзавелись лошадьми и слугами и отплыли вверх по Дунаю в Ульм, а оттуда на помянутые Кислые воды, ибо как раз наступил май и самое веселое время для путешествия. Там сняли мы себе ложемент, я же поскакал в Страсбург не только затем, чтобы получить там часть денег, которые мы перевели из Базеля, но и для того чтобы отыскать там искусных медиков, которые прописали бы рецепты и дали наставления, как надлежит пользоваться водами Херцбрудера. Они отправились вместе со мною на Кислые воды и нашли, что Херцбрудера опоили, и понеже яд

оказался не настолько силен, чтобы умертвить его сразу, то поразил его конечности, откуда сей яд можно эвакуировать с помощью лекарств, противоядий и потовых бань, и на такое лечение понадобится недель восемь. Тут Херцбрудер тотчас же вспомнил, кто и когда его опоил, именно те, кои охотно заступили бы его место, а так как он еще услышал от врачей, что для лечения его вовсе не надобно было посылать на кислые воды, то непоколебимо уверился, что его полевой медикус был подкуплен теми же самыми его ривалями, дабы спровадить его куда подальше; однако же решил он закончить лечение в Заурбрунне, ибо там был не только здоровый воздух, но и многообразное приятное общество среди съехавшихся на воды гостей.

Столько времени я не хотел провести понапрасну, ибо испытывал сердечное желание повидаться со своею женою, и так как Херцбрудер не особенно во мне нуждался, то я открыл ему свою печаль. Он похвалил мое намерение и подал совет не откладывать сего, а навестить ее и, чем скорее, тем лучше, дал мне также некоторые драгоценности, которые я должен был преподнести ей от его имени, и с тем испросить у нее извинения за то, что он послужил причиною, что я не наведаясь к ней раньше. Итак, поскакал я в Страсбург, где не только запасся деньгами, но и порасспросил, как надежнее всего совершить мне дальнейший путь, узнав только, что никак нельзя ехать верхом, ибо было весьма беспокойно от разъездов среди столь многих гарнизонов обеих воюющих сторон; того ради выправил паспорт для страсбургского нарочного и сочинил несколько писем моей жене, ее сестре и родителям, как если бы я собирался их с ним отправить в Л., и, представив, словно я переменял свое намерение, выманил паспорт у посыльного, отослал обратно со слугою свою лошадь, переделался в белую с красным ливрею и на корабле добрался до Кельна, каковой город в то время соблюдал нейтралитет.

Прежде всего пошел я проведать давнишнего своего знакомого Юпитера, который когда-то объявил меня своим Ганимедом, дабы разузнать, как обстояло дело с моими вещами, оставленными на хранение. Но он снова повредился в уме и гневался на весь род человеческий. «О, Меркурий! — залопотал он, как только меня увидел. — Какие новые ведомости принес ты из Мюнстера? Не вознамерились ли люди наперекор моей воле заключить мир? Не бывать тому! Они наслаждались им, почто же они его нарушили? Разве, когда они побудили меня наслать на них войну, пороки их не преисполнили всякую меру? Чем же они с тех пор заслужили, чтобы я вновь даровал им мир? Разве с той поры они раскаялись? Разве не стали еще злее и не стекались на войну, как на ярмарку? Или же раскаялись они от дороговизны, которую я наслал, отчего перемерло столько тысяч народу? Или, быть может, их устрашил жестокий мор (что унес миллионы людей), так что они исправились? Нет, нет, Меркурий, те, что уцелели и своими очами видели прежалостное бедствие, не только

не исправились, а стали куда злее, нежели были когда-либо прежде! Но ежели они не исправились после стольких суровых испытаний и под тяжким крестом и посреди напастей не перестали вести безбожную жизнь, то что учинят они, когда я вновь ниспущу им златосмеющийся мир? Мне надобно поостеречься, дабы они, как некогда гиганты, не попытались низринуть небеса! Но я не премину загодя пресечь их дерзкое своеволие и обречь их еще немалое время мерзко прозябать в войнах».

Но как я довольно знал, что у сего громовержца сразу завшивеет язык, ежели его как следует подзудить, то сказал: «Боже праведный, однако ж весь свет вздыхает о мире и дает обет исправиться, почто же хочешь с ним еще помедлить?». «Вот, вот, — отвечал Юпитер, — они-то вздыхают, да ради самих себя, а не меня; и не для того чтобы сидеть под виноградными лозами и фиговыми деревьями, воссылая хвалы богу, а чтобы поесть благородные сии плоды в доброй тишине и в полном удовольствии. Намедни спросил я некоего шелудивого портняжку, должен ли я даровать мир? Он же отвечал, что ему все едино, и в мирные и в военные времена фехтует он ножницами. Схожий ответ получил я и от медеплавильщика, который сказал, что, когда мир, ему не дают лить колокола, а когда война, то у него только и дела, что отливать пушки да мортиры. Также отвечивал мне и кузнец, который сказал: „Ежели в военные времена мне не доводится ковать шворни для мужицких телег, зато мне вдоволь нагонят рейтарских коней и военных повозок, так что я могу обойтись и без мира“. Так вот рассуди, любезный Меркурий, чего ради должен я даровать им мир? Правда, немало найдется таких, которые вожделуют мира, но, как уже сказано, ради своего спокойствия и чревоугодия; напротив того, немало и таких, которые хотят сохранить войну не потому, что такова моя воля, а ради своего прибитка. И подобно тому как каменщики и плотники желают мира, дабы строить и возрождать из пепла разрушенные дома и тем зашибить деньгу, точно так же и те, кои не надеются в мирные времена сыскать себе работу, домогаются продолжения войны, дабы хорошенько пограбить».

Когда Юпитер пустился в подобные рассуждения, то я с легкостью заключить мог, что при таком замешательстве его ума я немного разузнаю тут о своих близких, а посему не открылся ему, а взял от ворот поворот, да и побрел окольными путями, кои все были мне хорошо ведомы, в Л., где сперва справился о моем тесте, словно сторонний посыльный, и тогда же узнал, что он вместе с моей тещей за полгода перед тем распрощался с белым светом и что любимая моя жена, после того как разрешилась от бремени сыном, который сейчас находится у ее сестры, вскоре же после родов также покинула временную сию юдоль. Засим вручил я моему свояку письма, которые я сам написал тестю, моей женушке и тому же свояку; он же пожелал меня приютить, дабы разузнать как от посыльного, в каком теперь положении и что поделывает Симплиций Симплицис-

симус? Я долго вел дискурс о сем предмете с моею свояченицею и весьма красноречиво выложил все, что только знал за собою хвалы достойного, ибо оспины до того изуродовали и изменили мое лицо, что меня уже не мог признать ни один человек, кроме фон Шёнштейна,¹ который был моим лучшим другом и потому набрал полный рот воды.

После того как я подробнейшим образом нарасказал, что у господина Симплициуса множество прекрасных лошадей и слуг, в какой он чести и как расхаживает в черной бархатной шляпе, расшитой золотом, свояченица воскликнула: «Ну, вот, я всегда думала, что он не столь низкого происхождения, как себя выдавал. Здешний комендант уговаривал моих блаженной памяти родителей выдать за него мою сестру, а та была весьма благонаравной девицей, и обнадеживал их большой от себя выгодой, так что я никогда не ожидала, что сие приведет к доброму концу; тем не менее он подавал тут добрые надежды и решил вступить в шведскую или, лучше сказать, гессенскую службу в здешнем гарнизоне, ибо намеревался забрать сюда имущество, оставленное в Кельне. Но вышла заминка, и его самым бесчестным образом спровадили во Францию, а он оставил тут беременную мою сестру, которая и знала-то его меньше месяца, да еще обрухотил с полдюжины мещаночек; так что все по очереди (а моя сестра последняя) разродились одними мальчишками. А как потом померли мои родители, а у меня и мужа нет надежды на потомство, то мы и объявили племянника наследником всего нашего достояния, а с помощью здешнего господина коменданга заполучили все имение его отца, оставленное в Кельне, которое примерно составит 3000 гульденов, так что, когда мальчонка придет в совершенный возраст, ему не будет надобности записываться в солдаты. Я и муж мой полюбили мальчика так сильно, что не отдадим его отцу, даже если бы он сам за ним явился и захотел забрать его с собою; сверх того он самый красивый из всех своих побочных братьев и похож на отца, как вылитый; и я знаю, что ежели бы мой зять знал, какой у него здесь пригожий сын, то ничто бы не удержало его от того, чтобы приехать сюда (хотя бы он опасался увидеть всех остальных своих выблудков), чтобы только поглядеть на любезное свое серденько».

Таковыми и другими подобными речами дала мне свояченица почувствовать свою любовь к моему дитяти, которое бегало кругом еще в первых штанишках и тешило мое сердце. Того ради вынул я драгоценности, которые отдал мне Херцбрудер, чтобы я преподнес их от его имени своей жене; их-де (сказал я) послал со мною господин Симплициус, дабы вручить его ненаглядной, как привет от него; но как она умерла, то, я полагаю, будет справедливо, ежели я оставлю сии драгоценности ее ребенку, что мой свояк и его жена приняли с радостию, заключив посему, что я не нуждаюсь в средствах и птица совсем иного полета, нежели они до того воображали. Меж тем попросил я об отпуске, и когда получил рас-

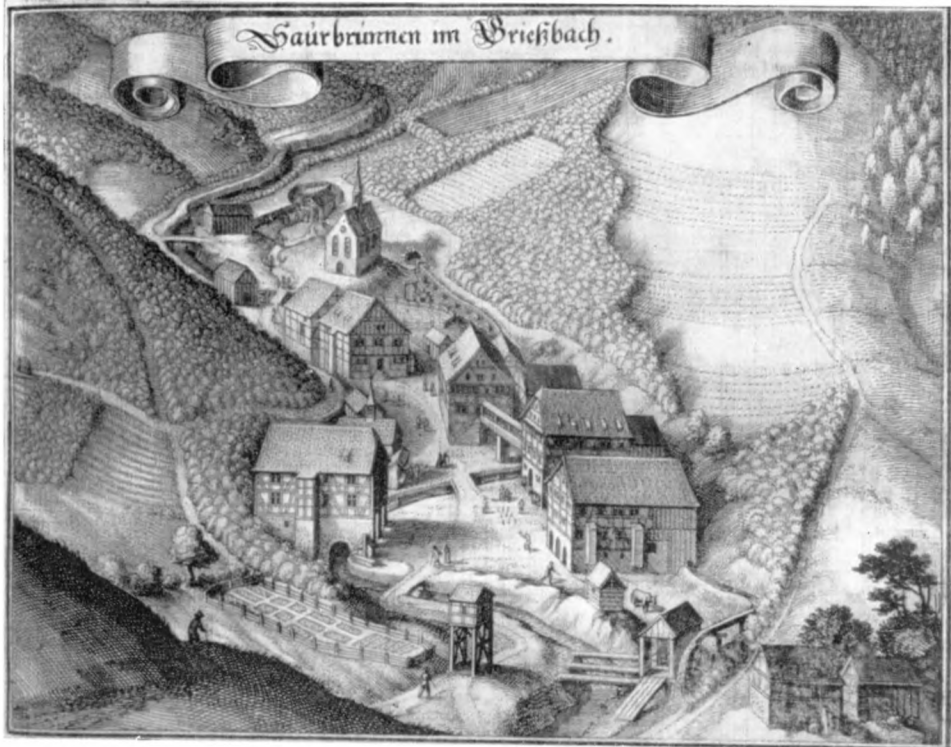
писку, то пожелал от имени Симплициуса поцеловать его юное чадо, чтобы потом поведать о том его отцу. А когда моя свояченица мне сие дозволила, то у нас обоих, у меня и дитяти, вдруг кровь потекла из носу,² отчего у меня готово было разорваться сердце; но я затаил свои чувства и, дабы не дать времени для размышлений о причине подобной симпатии, поскорее удалился и через две недели с превеликим трудом воротился на Кислые воды в рубище нищего, ибо по дороге был обобран дочиста.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

*Симплиций, давно позабыв все обеты,
На Кислых водах витворяет курбеты.*

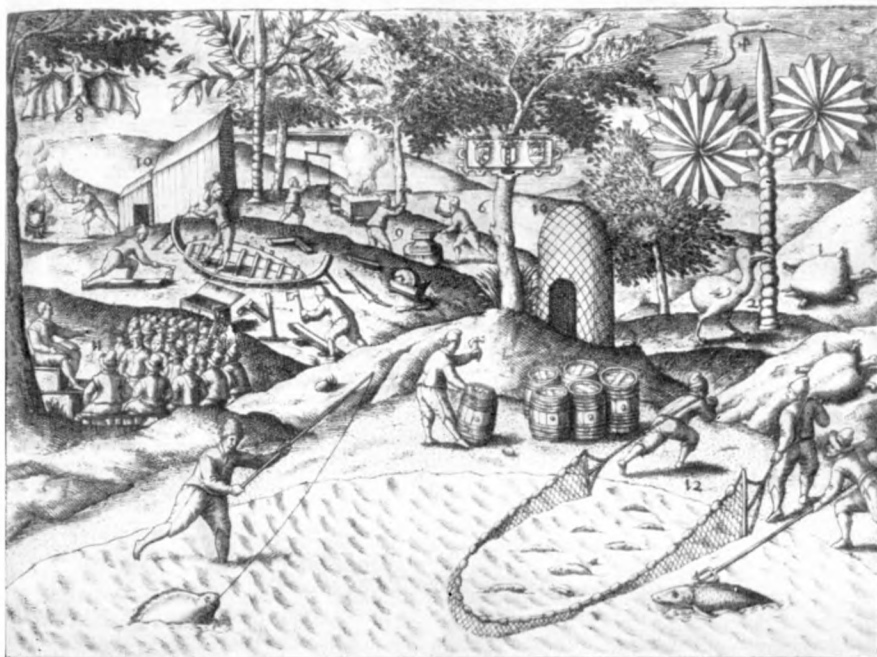
Возвратившись, увидел я, что здоровье Херцбрудера скорее ухудшилось, хотя доктора и аптекари пичкали его настойчивей, чем гуся на откорм: сверх того я заметил, что он стал совсем, как дитя, и едва волочит ноги. Я, правда, ободрял его, как только мог, да не больно-то успешно: он сам понимал, что силы его тают и он долго так не протянет. Самым большим утешением для него было то, что я останусь с ним, пока он не смежит очи навеки.

Я же, напротив, прилепился к прежним веселостям и искал ветреные забавы всюду, где только мог их найти, однако ж так, чтобы не мешать уходу за любимым моим Херцбрудером. А так как я теперь знал, что сделался вдовцом, то моя привольная жизнь и молодость раззадоривали меня на волокитство, чему я тогда изрядно предался, ибо все обеты, какие я надавал в Эйнзидлене, были давно позабыты. На Кислых водах повстречал я некую прекрасную даму, которая выдавала себя за благородную, однако, по моему разумению, была не столько *pobilis*, а скорее *mobilis*.¹ Сей мужеловке принял я изрядно угождать, ибо она показала мне весьма пригожей, так что вскорости я не только получил к ней свободный доступ, но и все утехи, каких только мог желать и домогаться. Но вскорости же я почувствовал отвращение к ее ветрености и старался пристойным образом от нее избавиться, ибо мне показалось, что она больше намеревалась подрезать мой кошелек, чем заполучить меня в мужья. К тому же, куда бы я ни шел и где бы я ни появлялся, она награждала меня нежными пламенными взорами и другими свидетельствами ее жгучей склонности, так что я принужден был стыдиться за нас обоих. На тех же водах находился также некий знатный и богатый швейцарец, у коего утащили не только что деньги, но и все уборы жены его из золота, серебра, жемчуга и драгоценных камней. И так как с подобными вещами расстаются с такою же легкостью, как тяжело они



Зауербрунн (Кислые воды) в Грисбахе. Гравюра из «Topographia Alsatia»
Матиаса Мериана (Франкфурт на Майне, 1663).

Anzeigung desjenigen so die Hol-
länder in der Insel Mauritius gesehen/vnd was sie
dasselbst außgerichtet haben.



Гравюра из пятой книги «Восточной Индии» братьев де Бри
(Франкфурт на Майне, 1601). Экземпляр БАН.

приобретаются, то сказанный швейцарец пускался на всевозможные средства и хитрости, чтобы вернуть украденное, и для того призвал из Гейсхаута² прославленного чернокнижника, который своими закладаниями так донял вора, что тот собственной персоной принес похищенное добро на надлежащее место, за что ворожей и получил в подарок десять рейхсталеров.

Я охотно повидал бы сего чернокнижника и имел с ним конфиденцию, однако ж без ущерба для моей репутации (ибо тогда мнил я о себе, как о весьма добропорядочном человеке); того ради, проведая, что он превеликий охотник до вина, подучил я своего слугу пображничать с ним тем же вечером, дабы поглядеть, не смогу ли я таким манером свести с ним доброе знакомство и выудить у него что-либо для меня небесполезное, ибо мне нарасказали о нем такое множество всяких диковин, что я не мог тому поверить, покуда сам от него не услышу. Я переоделся странствующим торговцем из тех, что продают снадобья, и подсел к нему, чтобы узнать, догадается ли он или подскажет ему черт, кто я такой. Но я не приметил ни малейшего следа его проникательности, ибо он беспрестанно пил и обходился со мной сообразно моему платью, так что и мне поднес несколько стаканчиков и оказывал мне меньше решпекту, нежели моему слуге. Сему последнему открыл он по тайности, что ежели бы тот, что обокрал швейцарца, самую малость из того бросил в проточную воду и таким образом выделил праздному черту его долю, то не было бы никакой возможности ни назвать вора, ни воротить назад похищенное.

Слушал я о такой дурацкой примете и дивился тому, как коварный и искусный в бесчисленных хитростях враг бедного рода человеческого завлекает в свои когти столь ничтожными уловками. Я с легкостью мог усмотреть и без труда заключить, что сия проделка лишь одно из условий того пакта, который он заключил с дьяволом, и мог рассудить, что сие искусство не поможет вору, когда, чтобы открыть кражу, позовут такого чернокнижника, в чьем договоре нет такой клаузулы; посему велел моему слуге, который умел воровать почище любого цыгана, чтобы он напоил до бесчувствия нашего ворожея и затем похитил у него десять рейхсталеров, но тотчас же несколько грошей бросил в Ренх. Сие слуга мой учинил с великим прилежанием. А когда рано поутру ворожей хватился своих денежек, то отправился на берег дикого Ренха, нет сомнения, затем, чтобы посоветоваться со своим *spiritu familliarum*,³ но был столь жестоко отделан, что воротился с синяками и расцарапанной рожей, чем меня бедный старый плут так разжалобил, что я воротил ему деньги и велел наказать, что отныне, когда он узрел, какой обманщик злой дух есть дьявол, должен он от него отречься и не водить с ним компанию, и не услужать ему, а снова обратиться к богу. Но от сего увещевания вышло для меня мало проку, ибо с того самого времени мне ни в чем

не было ни счастья, ни удачи; вскорости пали лучшие мои лошади, которые были испорчены колдовством. Да и, по правде, чем тут можно было воспрепятствовать? Жил я безбожно, словно эпикуреец, и никогда не отдавал себя под покров божий; так отчего бы этому ворожею и не отомстить мне?

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

*Симплиций друга отнес на кладбище,
Себе утешенья с крестьянкою ищет.*

Чем дольше жил я на Кислых водах, тем больше входил во вкус, ибо не только день ото дня умножалось число гостей, но и самое то место и весь образ жизни пришлись мне весьма по душе. Я перезнакомился с самыми веселыми людьми из приезжих и стал обучаться куртуазным речам и комплиментам, на что всю жизнь не обращал особого внимания.

Меня принимали за дворянина, так как мои слуги величали меня господин капитан, а таких должностей не часто достигают солдаты Фортуны, да еще в столь молодом возрасте, в каком я тогда был. А посему богатые щеголи не только заводили со мною, а я с ними знакомство, но и заключали братскую дружбу, так что всякие потехи, игры, пирушки и попойки были в то время главным моим делом и заботою, на что уходило немало славных дукатиков, однако ж я не очень-то за сим примечал и о том печалился, ибо мешок с наследством Оливье все еще был тяжеленек.

Меж тем здравие Хердбрудера час от часу все ухудшалось, так что в конце концов он должен был возвратиться в лоно природы, после того как его покинули врачи и аптекари, которые немало от него поживились. Он еще раз подтвердил свое завещание, оставив мне все, что ему самому досталось от его блаженной памяти родителя; я же похоронил его с полным великолепием, а его слуг распустил по домам, наградив помпезным платьем и деньгами.

Его кончина сокрушила мое сердце, особенно же потому, что его извели ядом, и хотя сего я не мог никак изменить, но сие изменило меня самого, ибо я день ото дня удалялся от всякой компании, все более горевал и искал уединения, чтобы предаться печальным мыслям. На такой конец хоронился я куда-либо в кустарник, рассуждая не только о том, что я потерял друга, но и что никогда в жизни не обрету подобного ему. Присем строил я всякого рода предположения, как надлежит мне расположить будущую мою жизнь, и ни к какому решению не приходил.

То я снова собирался на войну, но невзначай вспоминал, что самому ничтожному крестьянину в здешних местах живется лучше, чем полковнику, ибо тут не рыщут дозоры. Также не мог я довольно вообразить, что бы тут могла натворить армия, дабы вконец разорить эту страну, где еще всякий крестьянский двор цел и крепок, как в мирные времена, а хлева полны скотиной, тогда как в долинах в деревнях уже не повстречаешь ни кошки, ни собаки.

Однажды прилег я между дорогой и речкой в траву под толстым тенистым деревом, чтобы послушать соловьев, чье пение лучше всего утешало меня в моей печали; ибо я слушал их прекрасную трель не оплошно, а с большим прилежанием по укоренившейся привычке и всякий раз дивился, как из столь узенькой дудочки, или горлышка, исторгается такой светлый высокий голос и благозвучная гармония. И когда я уже довольно долго увеселял себя слушанием, воображая, что соловей сладостным своим пением завораживает других птиц, понуждая их умолкнуть и внимать только ему, подошла к противоположному берегу красавица, которая (ибо она носила простое крестьянское платье) более привлекла меня, чем пригожая барышня. На голове она несла корзину с кругами свежего масла, чтобы продать его на Кислых водах; она прополоскала это масло в воде, чтобы оно не растаяло от жары; меж тем села она на траву, отбросила прочь покрывало и крестьянскую шляпу и утирала пот с лица, так что я мог хорошо ее наблюдать, насыщая свои нескромные очи сим зрелищем. Тогда помнилось мне, что за всю жизнь не довелось мне еще увидеть такой красавицы; пропорции ее тела были совершенны и безупречны, руки и кисти белы как снег, лицо свежее и приятное, а черные, полные огня глаза метали пленительные искры. Когда она снова уложила масло в корзину, я крикнул ей: «О, дева!¹ Ты своими прекрасными руками остудила масло в воде, но твои светлые очи ввергли мое сердце в темень!». Едва только она меня слышала и увидела, как тотчас же бросилась бежать со всех ног, словно за нею была погоня, и не промолвила в ответ ни единого слова, оставив меня обремененного всеми теми дурачествами, которые обыкновенно обуревают всех влюбленных фантастов.

Мое страстное желание погреться подольше в лучах этого солнца не только побудило меня покинуть уединенное место, которое я себе избрал, но и произвело во мне то, что соловьиное пение почел я теперь стоящим внимания не более, чем вой волков. Того ради помчался я на Кислые воды и послал своего слугу отыскать крестьяночку и приторговываться к маслу, покуда я не поспею. Он смекнул свое дело, а я, когда подошел, свое; однако ж я встретил каменное сердце и такую холодность, какой никогда бы не ожидал от крестьянской девушки, отчего я тем сильнее влюбился, невзирая на то что, побывав в подобных переделках, с легкостью мог себе представить, что ее не так-то просто провести.

В то время не было у меня ни лютого врага, ни доброго друга; врага, чтобы я, устремив все свои помыслы против него, позабыл о шальной своей любви, или друга, который присоветовал бы мне что-либо иное и отговорил бы меня от того дурачества, которое я собрался учинить. Но вот горе! У меня ничего не было, кроме денег, своих и Херцбрудера, которые меня ослепляли, безоглядных желаний, которые меня соблазняли, ибо я снял с них узду, и грубого безрассудства, которое погубило меня и ввергло во всяческое злополучие. Я обратился к сводникам и сводницам в надежде хотя бы с их помощью достичь своей цели и, впад в еще горший грех, получить сатисфакцию грешным моим желаниям; однако ж я не попал в мишень, в которую целился, а уведался, что сия деревенская девка отвергла с презрением все то, чего как раз от нее добивались другие, что меня почти сводило с ума. Но я, глупец, должен был хотя бы по нашим одеждам, как по некоему дурному предзнаменованию, вывести заключение, что мне не повезет с ее любовью; ибо как я потерял Херцбрудера, так и у этой девицы умерли родители, и посему мы оба, когда впервые увидели друг друга, еще носили траурное платье, то какие это могло предвещать нам любовные утехи? Одним словом, я сильно увяз в тенетах Венеры или, лучше сказать, в силке для дурней и того ради совсем ослеп и лишился разума, как дитя Купидо, и так как я не надеялся утолить скотскую свою похоть иначе, то принял решение жениться. «Что ж? — подумал я. — По своему происхождению ты мужицкий сын, и все равно у тебя никогда не будет наследного замка; страна здесь благодатная и по сравнению с другими цвела и благоденствовала во все время этой жестокой войны; сверх того у тебя еще достанет денег купить в сей местности наилучший крестьянский двор; ты женишься на честной крестьянской девушке и спокойно заживешь, как барин, среди крестьян. Где еще сыщешь ты столь приятное обиталище, как не вблизи Кислых вод; ибо по причине частых приездов и отъездов гостей каждые шесть недель открывается перед тобой новый мир и ты можешь вообразить, что то шар земной сменяет одно поколение за другим». Множество таких и подобных мыслей теплилось в голове моей, пока, наконец, я не стал склонять свою любимую к браку и, хотя не без труда, получил на то согласие.

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

Симплициус снова не прочь ожениться,

Узнав, кто он родом, не стал сим гордиться.

Я изрядно приготовился к свадьбе, ибо был на седьмом небе от блаженства; я не только выкупил полностью крестьянский двор, где родилась моя невеста, но и принялся возводить новую красивую постройку,

как если бы собрался завести тут большое хозяйство; и, еще не справив свадьбу, поставил свыше тридцати голов скота, ибо как раз столько можно было продержат там круглый год. Словом, я устроил все как ни на есть лучше и даже обзавелся самою дорогою утварью, какую только могла промыслить моя дурость. Но вскорости моя дудочка шлепнулась прямо в грязь, ибо в то самое время, когда я думал, что с попутным ветром заведу свой фрегат в узкую бухточку в Англии,¹ попал я против всякого чаяния в просторный канал в Голландии, и тут-то, однако ж слишком поздно, узнал, по какой причине моя невеста с такою неохотою пошла за меня замуж; а всего более мне досаждало, что я никому не мог посетовать на смешное свое горе. Правда, теперь мог я рассудить, что мне пришлось по справедливости расплатиться за свои старые грехи, однако ж такой приговор не подвинул меня к смирению, тем менее к благочестию, напротив, увидев себя столь бесчестно обманутым, решил я обманывать сию обманщицу и принялся пастись на всякой травке, где только ее находил; сверх того свое время провождал я более в приятном обществе на Кислых водах, нежели у себя дома; одним словом, я повел свое хозяйство спустя рукава; да и моя супружница также была весьма нерадива: был у нее бык, которого я велел забить на нашем дворе и засолить мясо в бочонках; а когда она захотела попотчевать меня молочным поросенком, то умудрилась общипать его, словно птицу, а также порывалась варить зайчатину, жарить на решетке раков и на вертеле форелей. По сим двум примерам с легкостью судить можно, сколь рачительно я с нею жил. Также с большой охотою попивала она вино и подносила его другим добрым людям, что предвещало мне грядущую погибель.

Однажды, прогуливаясь, спустился я с несколькими щеголями в долину, чтобы проведать общество, собравшееся на водах; по дороге повстречался нам старый крестьянин, который вел на веревке козу на продажу; и как мне помнилось, что я когда-то видел этого мужика, то спросил его, откуда он идет с этой козой. Он же сдернул шляпенку и ответил: «Благородный барин, про то не могу тут молвить». Я сказал: «Ты, верно, ее не украл?». «Нет, — продолжал мужик, — я-то веду ее из местечка,² что там в долине, а из какого, не могу молвить при барине, раз у нас речь зашла о козах». Сие повергло всю компанию в смех, и как я изменился в лице, то все подумали, что я приведен в досаду или устыдился, что мужик меня так ловко поддел. Но у меня были другие мысли; ибо по большой бородавке, которая торчала у мужика посреди лба, словно рог, я уверился, что то был мой батька из Шпессерта, и того ради захотел сперва, прежде чем открою ему себя и порадую таким знатным сыном, каким я тогда казался по платью, разыграть ворожея, а потому спросил: «Любезный мой старый батюшка, а ты часом не из Шпессерта?». «Да, барин!» — отвечал мужик. Тогда я сказал: «А не

у тебя ли лет эдак восемнадцать тому назад всадники разорили и сожгли дом?». «Да, боже ты милостивый! — воскликнул мужик. — Неужто с тех пор прошло столько времени?». Я же продолжал: «А не было ли у тебя в ту пору двух детей, взрослой дочери и мальчонки, который у тебя пас овец?». «Барин, — отвечал батка, — девка вправду была моей дочерью, а мальчонка нет; я хотел вырастить его себе вместо сына». Тут из его слов я уразумел, что не был сыном этого грубого пентюха, что меня отчасти обрадовало, но также и опечалило, ибо мне взшло на ум, что я, должно быть, бастрюк или подкидыш; того ради спросил своего батьку, где он раздобыл себе этого мальчонку, или по какой причине решил он вырастить его вместо сына. «Ах, — отвечал он, — с ним вышло все диковинно: мне принесла его война, и война же его у меня отняла». Но понеже был я в опасении, что тут может выйти наружу какая-нибудь диковинная история о моем рождении и повредит моей репутации, то повернул я наш дискурс снова на козу и спросил, не собирается ли он продать ее трактирщице на кухню, что мне весьма странно, ибо гости, съезжающиеся на Кислые воды, не жалуют старой козлятины. «Э, нет, барин! — отвечал мужик. — У трактирщицы-то полно коз, и она не даст за нее ни гроша. Я веду ее к графине, что там купается на водах, а дохтур Ковсякойбочкезатычка прописал ей всякие травы, так что коза должна их жрать, а молоко от нее берет дохтур и готовит лекарство, а графиня должна то молоко пить и от него выздороветь. Бают, что у графини хвороба в утробе, а коли ей коза пособит, то от нее будет больше проку, нежели от дохтура и его хаптекаря».³ Слушая сию реляцию, обдумывал я, каким образом мне устроить, чтобы еще поговорить с мужиком, а потому предложил за козу на талер больше, чем ему за нее давал доктор или графиня, на что мужик сразу же согласился (ибо и малейший барыш скоро переменяет людские намерения), однако ж с условием, что он должен сперва объявить графине, что я предложил ему талером больше; захочет она тогда взять за эту цену, то ее почин, а нет, так он отдаст козу мне и вечером обскажет мне, каков был торг.

Итак, пошел мой батка своею дорогою, а я со всей компанией своей; но я никак не хотел, не мог и не был в силах долее с ними прогуливаться, а своротил в сторону и пошел туда, где повстречал мужика, который все еще стоял с козой, ибо те, что рядились с ним, за нее так много не дали, так что я на таких богатых людей подивился, но не стал от этого скупее. Я отвел его на свой новокупленный двор, заплатил за козу, и когда мы это дельце вспрыснули и он был под хмельком, то спросил его: а откуда взялся у него тот мальчонка, о котором мы сегодня утром баяли. «Ах, барин, — отвечал он, — мансфельдова война меня им одарила, битва при Нёрдлингене опять забрала». Я сказал: «Забавная, должно быть, история!», и попросил, коли уж нам не о чем больше говорить,

то рассказать мне ее скуки ради. Тогда он поведал мне следующее: «Когда Мансфельд⁴ проиграл сражение под Хёхстом, то его разбитое войско рассыпалось повсюду, ибо не знали, куда им ретироваться. Много их забрело в Шпессерт, где они прятались в кустарниках, но, избежав смерти в долине, обретали ее в наших горах, и понеже обе воюющие стороны почитали справедливым грабить и убивать друг друга на нашей кровной земле, то и мы давали им нахлобучку. Тогда редко какой мужик ходил по зарослям без мушкета, ибо когда корчуеть да пашешь, то не приходится сидеть дома. Во время этой заварухи, после того как послышалось несколько выстрелов, набрел я неподалеку от нашего двора в диком нечищеном лесу на красивую молодую женщину на дородной лошади; я сперва почел ее за мужчину, так молодцевато скакала она верхом, но когда я увидел ее очи и руки, воздетые к небу, и услышал, как она прежалостно лопочет не по-нашему⁵ и взывает к богу, то опустил мушкет, хотя уже собрался в нее стрелять, но отвел курок, ибо ее крики и мины уверили меня, что эта женщина в горе, чем она и склонила меня к сожалению. Тут приблизились мы друг к другу, и, завидев меня, она сказала: „Ах! Когда ты честная христианская душа, то, прошу тебя, ради бога и его милосердия, ради самого Страшного суда, перед коим мы все предстанем и дадим отчет о наших делах и поступках, отведи меня к честным женщинам, которые бы с божиею помощью помогли мне разрешиться от бремени“. Сие напоминание о столь священных предметах совокупно с ласковым словом и хотя печальным, но все же прекрасным лицом побудило меня к такому сожалению, что я взял под уздцы ее лошадь и вывел через все заросли и кустарники в самую чащобу, куда сам укрыл свою жену, ребенка, челядь и скотину. Там-то не далее как через полчаса и родила она мальчонку, о котором мы сегодня толковали».

Таковыми словами закончил рассказ мой батька, отхлебнув разок, я же щедро ему подливал. Когда же он опорожнил стакан, я спросил: «Ну, а что сталося потом с этой женщиной?». Он же отвечал: «Когда она разрешилась от бремени, то позвала меня в кумовья, и как я хотел вскорости отнести дитя крестить, назвала мне свое и мужнино имя, чтобы записать их в церковные книги; меж тем открыла она свой чемодан, в котором было много отличных и драгоценных вещей, и подарила мне, моей жене, дочери и служанке и еще одной, случившейся тут женщине, столько всего, что мы остались ею весьма довольны. Но меж тем, как она с нами обходилась и рассказывала о муже, умерла она у нас на руках, вверив нам своего сына. Но как по всей стране было великое нестроение и беспокорство, так что никто не осмеливался остаться дома, то нам едва удалось сыскать пастора, который был бы при погребении и крестил младенца; когда же все свершилось, то наш староста и священник наказали мне, что я должен воспитать ребенка, покуда он не подрастет, и за свои труды и иждивение взять все после родильницы, кроме четок, некоторых

драгоценных камней и всякой мелочи, что надлежит отдать дитяти. И вот вскормила моя жена этого младенца козьим молоком, и мальчонка нам так полюбился, что мы думали, когда он подрастет, отдасть за него в замужество нашу дочь; но после битвы при Нёрдлингене⁶ потерял я обонх, девочку и мальчонку, вместе со всем, чем только владел».

«Ты поведал мне, — сказал я своему батьке, — премилую и весьма курioзную историю, но позабыл самое лучшее: ты не объявил мне, как звали эту женщину, ее мужа и мальчонку». «Ах, барин, — отвечал он, — да мне и невдомек было, что тебе охота о сем знать. Благородную женщину звали Сюзанна Рамзай, мужа — капитан Штернфельс фон Фуксгейм, а как меня самого зовут Мельхиором, то я при крещении младенца нарек этим именем и велел записать его в церковные книги Мельхиором Штернфельсом фон Фуксгеймом».

Из сего рассказа я достоверно уведомился, что довожусь моему отшельнику и сестре губернатора Рамзая любимым сыном; но, ах горе! Слишком поздно, ибо родители мои были оба мертвы, а о моем дядюшке Рамзае я не мог ничего разузнать, кроме того, что ганауерцы его выдворили из города вместе со всем шведским гарнизоном, так что он от досады и гнева повредился в уме.

Я напил своего крестного отца допьяна, а на другой день велел позвать и его жену. А когда я им открылся, то они этому поверили не прежде, пока я не показал им на груди волосатое пятно, которое было у меня от рождения.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

*Симплицию двух сыновей и то много,
А третий подброшен лежит у порога.*

Вскорости после того взял я своего крестного к себе и отправился с ним верхом в Шпессерт, дабы раздобыть себе достоверное свидетельство и документы о своем происхождении и рождении в законном браке, что я и выправил без особых трудов по церковным книгам и свидетельству моего крестного. Я сразу же завернул к священнику, который жил в Ганау и призрел меня там. Сей выдал мне письменное свидетельство о кончине блаженной памяти моего родителя, и что я находился при нем до самой его смерти, а потом под именем Симплициуса некоторое время пребывал у господина Рамзая, губернатора в Ганау; и я позаботился, чтобы вся моя история была собрана из всех устных свидетельств и обстоятельно изложена в документе, заверенном нотариусом, ибо помыслил: «Кто знает, зачем тебе это еще может понадобится!». Сия по-

ездка обошлась мне в четыреста талеров, ибо на обратном пути нас захватил, спешил и ограбил разъезжий отряд, так что я и мой батька, или крестный, воротились домой наги и босы и едва не лишившись жизни.

Меж тем и дома все пошло неладно; ибо как только жена моя узнала, что ее муж дворянин, то не только стала корчить знатную госпожу, но и своим нерадением расточала все в доме, что я сносил молча, ибо она тогда ходила на сносях; сверх того пришла беда в хлев, и у меня пала лучшая скотина.

Все сие еще можно было снести, но — о, *mirum!*¹ — ни одна беда не приходит одна: в тот самый час, когда жена разрешилась от бремени,² лежала в родах и служанка. По правде, дитя, которое она принесла, было весьма со мной схоже, а то, что родила моя жена, походило, как две капли воды, на нашего батрака. Вдобавок и та самая дама, о коей выше было рассказано, в ту же самую ночь подложила к моим дверям младенца с письменным извещением, что я довожусь ему отцом, так что я одним махом заполучил троих детей, и мне уже казалось, что не иначе, как из каждого угла повылезет еще по одному, отчего можно было поседеть. Но такова, а не иная какая участь ждет тех, кто повел столь безбожную и распутную жизнь, какой я предавался в то время, следуя своим скотским вождениям.

Ну чем тут пособить? Я принужден был окрестить детей, да к тому же еще стерпеть наложенный на меня по закону штраф, и так как власть тогда была шведская,³ я же до того служил имперским, то мне тем дороже пришлось платить за чужое похмелье, что все, однако, было только прелюдией моей новой гибели. И в то время как сии нечаянные беды меня чрезвычайно огорчали, жена моя мало о том печалилась и вдобавок еще день и ночь меня донимала, терзала и мучила за веселенькую находку у нашего порога и за то, что мне пришлось заплатить столько денег штрафу. А когда бы она дозналась, какие шашни завел я со служанкой, то уж, наверно, тиранила бы меня еще злее; но добрая девка была так простодушна, что поладила со мною ровно за ту же самую сумму денег, какую я должен был бы уплатить из-за нее штрафу, и согласилась приписать своего младенца одному щеголю, который в прошлом году у меня пировал на свадьбе, но во всем прочем ее совершенно не знал. Все же ей пришлось убраться из дому, ибо моя жена подозревала меня в том, что я подумывал о ней и работнике, но не могла ни к чему подкопаться, ибо я ей втолковал, что не мог в один и тот же час быть и у нее, и у этой девки. Меж тем во время всех этих препирательств мучился я мыслью, что должен буду взрастить дитя, прижитое от работника, а мое собственное не станет моим наследником, и что я еще принужден помалкивать и радоваться, что никто о сем ничего не проведал.

Подобными мыслями терзал я себя каждодневно, тогда как моя жена ежечасно ублажала себя вином, ибо с самой свадьбы не расставалась

с кружкой, так что редко отнимала ее ото рта, и каждую ночь отправлялась спать в изрядном подпитии. И так она безвременно спила в гроб свое дитя и произвела в своей утробе такое воспаление, что вскорости снова сделала меня вдовцом, что я так близко принял к сердцу, что едва не заболел со смеху.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

*Симплицию врут мужики-ротозеи,
Что ведомо им о делах Муммельзее.*

Когда я таким образом обрел наконец старую свободу, кошелек мой порядочно отощал, а все мое домоводство отягощено множеством скота и челяди; посему принял я в дом моего крестного как отца, мою крестную как мать, а байстрюка Симплициссимовича, которого мне подбросили к дверям, объявил своим наследником, передав обоим старикам дом и двор со всем моим имуществом, кроме малой толики рыжечков да кое-каких драгоценностей, которые я еще сберег и отложил на случай крайней нужды; и я получил такое отвращение к сожительству и самому обществу женщин, что решил, раз уж мне с ними пришлось так солоно, никогда более не жениться. Сия престарелая чета, с коей *in te rusticorum*¹ никто не мог бы сравняться, тотчас же перекроила все мое хозяйство на совсем другой образец; они сбыли со двора всю бесполезную челядь и скотину и обзавелись всем тем, от чего можно было ожидать прибыток. Мой старый батюшка, или новый крестный, вместе с моею маткою нажелали мне всяческого добра и обнадежили, что ежели я оставлю их тут хозяйничать, то они всегда будут держать для меня лошадь в стойле и так все устроят, что я в любое время смогу с честным человеком распить бочонок вина. Я тотчас же приметил, кому препоручил свой двор: крестный с челядью принялся распахивать поле, промышлять торговлю и барышничать скотом, лесом и смолою похлеще любого еврея, а моя матка ходила за скотиной и столько выручала и откладывала в кубышку, сколько не могли мне принести десять скотниц, которых я держал. В короткое время мой двор был достаточен необходимой утварью всякого рода, а также крупной и мелкой скотиной, так что прослыл самым лучшим во всей той местности. Я же мог спокойно разгуливать и производить различные обсервации, ибо видел, что моя крестная больше выколачивала из пчел воском и медом, нежели моя жена получила от рогатого скота и свиней и пр., то и мог с легкостью себе представить, что и во всем остальном ничего не прозевают.

Однажды отправился я прогуляться на Кислые воды скорее затем, чтобы побывать у источника, нежели для того, чтобы по своему старому обыкновению свести знакомство со щеголями, ибо я стал прислушиваться к сетованиям своих приемных родителей, которые мне отсоветовали особенно водиться с такими людьми, что бесплодно проматывали свое и родовое имение. Однако ж я попал в компанию людей среднего достатка, ибо они вели между собой дискурс о редкостном предмете, а именно о Муммельзее,² бездонном озере, расположенном поблизости на одной из самых высоких гор; они также подозвали нескольких престарелых крестьян, которые могли порассказать, что доводилось им слышать о диковинном сем озере, чьи реляции слушал я с великим удовольствием, хотя и почитал их пустыми выдумками, ибо они казались мне столь же живыми и смехотворными, как некоторые басни у Плиния.

Один уверял, что если взять нечет горошин, камешков или все равно чего и завязать в носовой платок, а затем спустить в озеро, то вытащишь чет, а опустишь чет, то вытащишь нечет. Другой, а за ним и прочие утверждали и приводили тому примеры: когда кто бросит в озеро один камень, а то и несколько, тотчас же подымется, какая бы перед тем ни была ясная погода, жестокая буря с ужасающим ливнем, градом и ветром. Засим перешли они на всевозможные странные истории, которые там приключились, и какая там диковинная блазнь от гномов и водяных, и о чем они толкуют с людьми. Один поведал, что в то самое время, когда некие пастухи пасли скот возле озера, из него вышел бурый бык и тотчас же вошел в стадо, а затем выскочил крохотный человечек и стал загонять его в озеро, а когда бык заартачился, то человечек пригрозил, что ежели он не воротится, то на его голову падут все человеческие беды, и после таких слов они нырнули обратно. Другой рассказал, что в то самое время, когда озеро уже замерзло, некий мужик безо всякого вреда переехал по нему на быках, которые везли несколько горбылей для настилки полов, а когда за ним побежала его собака, то лед под ней проломился, только ее и видели. А еще один уверял за правду, что некий стрелок шел за дичью по следу до самого озера, где на берегу сидел крохотный водяной, а у него полны колени золотых монет, которыми он забавлялся; а когда охотник собрался в него выстрелить, человечек пригнулся и молвил: «Когда бы ты меня попросил помочь тебе в твоей бедности, то ты бы разбогател со всею своею семьею. А за такую проделку ты и все твои потомки навеки останутся бедняками». Но самым баснословным из всего, что они нарасказали, было следующее: «Давным-давно поздним вечером пришел к одному мужику в Хайдехёфе³ крохотный человечек и попросил приютить на ночь; мужик извинился, что у него нет лишней постели, но ежели гость довольствуется скамейкой или сеновалом, то он охотно пустит его переночевать. В ответ человечек попросил лишь позволить ему проспать ночь в мочильне для конопли, где ему более любо, нежели в са-

мой мягкой постели. „По мне, — сказал мужик, — ночуй хоть в рыбном садке или водопойном корыте, ежели тебе это сгодится“. С таким дозволением человек на глазах у мужика отправился на мочильню и забился меж стеблей и грязи, словно лягушка или тот, кто в студеную пору зарывается в стог сена, чтобы провести ночь. Когда же рано поутру мужик поднялся, чтобы будить батраков на работу, то сказанный человек вылез из воды и стал перед ним в совершенно сухом платье, в каком он забрался в мочильню, чему мужик весьма подивился и сказал: „До чего же странный и диковинный гость забрел ко мне!“. „Всеконечно, — отвечал человек, — может статься, что тут лет сто никто вроде меня не ночевывал“. Гуторя таким образом, дошли они в своих речах до того, что человек, наконец, признался, что он-де водяной, который потерял свою жену и хочет теперь сыскать ее в Муммельзее, упрасившая сделать ему такую угодность и проводить туда, на что мужик охотно согласился, ибо по платью своего гостя приметил, что то, должно быть, важная персона и ему тут доведется увидеть еще немало всяких диковин. По дороге малыш нарасказал мужику немало всяких удивительных историй, что и как ведется по озерам, где он уже искал, но не нашел свою похищенную жену, особливо же какое множество водится там всяких гадов, наипаче же в Черном озере,⁴ где живут жабы величиною с хлебную печь. Когда же они пришли к Муммельзее, то человек нырнул туда, но сперва попросил мужика подождать, пока он не воротится или не подаст ему какой-либо знак. А когда он прождал примерно два-три часа возле озера, то вдруг посреди его показался из воды посох, который имел при себе человек, и появилась кровь целыми пригоршнями, так что мужик легко мог уразуметь, что то обещанный ему знак, после чего распрощался с озером и поспешил домой».

Сия и другие подобные ей истории, коих я немало наслушался, показались мне сказочными, которыми тешат детей, так что я смеялся над ними и не мог поверить, что может быть на вершине горы такое бездонное озеро; но тут случились и другие крестьяне и притом старые, достойные доверия люди, которые рассказывали, что еще на их памяти и на памяти их отцов высокие княжеские особы подымались в горы, дабы осмотреть сие озеро, а однажды правящий герцог Вюртемберга и прочая, и прочая, и прочая велел построить плот и проплыть на нем на середину, чтобы измерить глубину озера; но после того как мерильщики спустили с грузилом девять мотков суровой пряжи (мера, с коей шварцвальдские крестьянские женки лучше управляют, нежели иные геометры) и не достали еще дна, стал их деревянный плот, вопреки всякой натуре, погружаться в озеро, так что те, кто были на нем, принуждены были спастись на берег, где и по сей день можно видеть обломки плота, княжеский герб Вюртемберга и всякие другие изображения, высеченные на камне в память об этом происшествии. Другие уверяли меня, ссылаясь на многих свиде-

телей, будто эрцгерцог Австрии и прочая, и прочая, и прочая собирался даже спустить озеро, что ему всячески отсоветовали и по предстательству земских чинов от того удержали из опасения, что вся страна будет затоплена и погибнет. Сверх того помянутые князья повелели сбросить туда несколько чанов с форелями; однако ж не прошло и часу, как все они передохли и были вынесены течением из озера, невзирая на то что река, которая протекает в долине под горою, где расположено озеро, и носит то же название, от природы кишит теми же рыбами и берет в нем свое начало и ту же самую воду.

ОДИННАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиуc слышит: чествуют эскулапов,
Не хочет попасть он в их хитрые лапы.*

Сие последнее сказание произвело то, что я почти всему поверил, и оно так распалило мое любопытство, что я сам вознамерился осмотреть диковинное озеро. Среди тех, кто вместе со мною внимал этим рассказам, всяк судил по-своему, что явствовало из их многообразных и противоречивых мнений. Я, правда, сказал, что немецкое название Муммельзее¹ довольно дает уразуметь, что тут, как на маскараде, все сокрыто под обманчивою личиною, так что не всякий сможет узнать его истинную сущность, так же как и глубину, которая так до сих пор и не вымерена, хотя сие и предпринимали столь высокие особы; после чего я отправился на то место, где в прошлом году впервые повстречал покойную мою жену и вкусил сладостный яд любви.

Там лег я на зеленую мураву в тени, но не внимал, как бывало прежде, тому, что насвистывают соловьи, а размышлял о том, какие я претерпел перемены. Тут представилось моим очам, как я на этом самом месте положил начало тому, что из свободного молодца стал рабом любви, так что из офицера превратился в мужика, а из богатого мужика в бедного дворянина, из Симплиуcа в Мельхиора, из вдовца в молодожена, из молодожена в рогоносца, из рогоносца опять во вдовца; итем что я из мужицкого сына стал сыном добропорядочного солдата и опять снова сыном своего батьки. Тогда взошло мне на ум, как рок лишил меня любезного Херцбрудера и, напротив, даровал мне престарелую супружескую чету. Я помыслил о богоугодном житии и кончине моего родителя, о прежалостной смерти моей матери, а также о многообразных превратностях, коим я подвергался в жизни, так что не мог удержаться от слез. И тут вспомнил я их и пропустил через глотку, и едва только стал о том сокрушаться, как приблизились ко мне двое дородных обжор и пьяниц, коим подагра

разломила суставы, отчего они охромели и теперь нуждались в купаниях и кислых водах. Они сели неподалеку от меня, ибо там было приятное место для отдохновения, и, полагая, что они одни, стали жаловаться друг другу на свои беды. Один сказал: «Мой доктор послал меня сюда, либо потеряв надежду на мое выздоровление, либо потому, что должен был убаготворить трактирщика, который наемни прислал ему в презент бочонок масла; по мне так уж лучше бы я его вовсе никогда не видел или по крайности присоветовал бы он мне спервоначалу отправиться на Кислые воды, то либо у меня осталось бы больше денег, нежели сейчас, либо я был бы здоровее, ибо Кислые воды мне сильно пособили». «Ах! — отвечал другой. — Я благодарю создателя за то, что он не ущедрил меня деньгами больше, чем их было; ибо когда бы мой доктор почуял, что у меня водятся деньжата, то еще долго бы не посылал на Кислые воды, покуда не поделил бы их с аптекарем, который недаром же каждый год его подмазывает, а я бы оттого окачурился и помер. Эти скупердяи присоветуют нам целебное место не прежде, чем убедятся, что больше не могут и не знают, чем помочь, или же когда уже нечем больше поживиться. И если уж говорить по правде, то те, кого они возле себя удерживают и чувят, что у них водятся денежки, выгодны им лишь тогда, когда они больны».

Сии двое еще долго честили своих докторов, но я не расположен все то передавать, ибо, чего доброго, господа медики на меня озлобятся и пропишут мне такое проносное зелье, которое изгонит мою душу из тела. И я привожу их дискурс потому только, что один из пациентов вознес благодарение создателю за то, что тот не ущедрил его деньгами, и сие меня так утешило, что я выбил из своей головы все заботы и тяжелые раздумья из-за денег или чего-либо иного, что почитают в мире. И я принял намерение философствовать и прилежать богоугодному житию, также оплакивать свою нераскаянность и дерзать, подобно моему блаженной памяти родителю, подняться на высшую ступень добродетели.

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплициус дышит в воде невозбранно,
Он с сильфом уходит на дно Океана.*

Мое желание осмотреть Муммельзее возросло еще более, когда я узнал от моего крестного, что он там бывал и дорога туда ему ведома. Но когда он услышал, что я беспремменно хочу сам туда отправиться, то сказал: «А что ты там добудешь, ежели доберешься? Господин сын и его батька ничегошеньки там не увидят, кроме своего отражения в озере, которое

укрылось в густом лесу, и когда ты за свою теперешнюю охоту заплатишь тяжелой досадой, то ничего не приобретешь взамен, кроме раскаяния, натруженных ног (ибо верхом туда навряд ли доедешь) и ходьбы в оба конца. Меня бы ни один черт туда не загнал, ежели бы ни привелось мне туда спастись бегством, когда доктор Даниель (он хотел молвить Дюк де Ангиен¹) со своими вояками забирал всю долину под Филиппсбургом». Однако ж мое любопытство не поддалось его увещаниям, и я подрядил одного малого, чтобы он проводил меня до озера. Когда же батька увидел, что я не отложил своего намерения, а как овес был уже посеян и не надобно было ничего ни корчевать, ни пахать, то пожелал сам показать мне туда дорогу; ибо он возымел ко мне такую любовь, что не хотел упускать из очей, и так как все тамошние жители думали, что я его кровный сын, то кичился мною и готов был ради меня на все, что только способен бедняк сделать для своего сына, который ковал свое счастье без его поддержки и вспоможения.

Итак, побрели мы через горы и долины, покуда менее чем через шесть часов не пришли к Муммельзее, ибо крестный мой был человек крепкий и отменный ходок, словно юноша. Сперва мы отдали честь кушаньям и напиткам, что взяли с собою, ибо дальняя дорога и крутизна горы, на которой расположено озеро, весьма нас утомили и заставили проголодаться. А когда мы подкрепились, то я осмотрел озеро и сразу же нашел несколько струганых жердей, которые мы с батькой почли за весла с вюртембергского плота. Я прикинул или измерил длину и ширину озера с помощью геометрии, ибо было весьма затруднительно идти вокруг озера и мерять его шагами и стопами, и начертил его границы в уменьшенном масштабе на апсидной дощечке; а когда я с этим покончил, то захотел, ибо небо было чистое и воздух безветрен и тепл, испытать, сколь правдив слух о том, что ежели бросить в озеро камень, то подымется непогода; ибо я по минеральному вкусу воды уже заключил, что молва о том, что в озере не могут жить форели, справедлива.

Для учинения такой пробы пошел я налево вдоль озера к тому месту, где вода, которая, впрочем, прозрачна, как кристалл, по причине ужасной глубины кажется черной, словно уголь, и потому имеет столь устрашительный вид, что жутко смотреть, там принялся я бросать в озеро самые большие камни, какие только мог поднять и донести. Мой крестный, или батька, не только не захотел пособлять мне в этом, но просил и увещевал, покуда еще возможно, отступить от сего намерения; я же усердно продолжал свое дело, и те камни, которые не в силах был из-за их величины и тяжести поднять, скатывал вниз, покуда не накидал их более тридцати. Тут зачал дуть ветер и небо стали затягивать черные тучи, из коих доносился ужасающий гром, так что мой батька, что стоял по другую сторону озера у истока и причитал, глядячи на мои труды, закричал мне, чтобы я оттуда поскорее ретировался, дабы нас не захватили дождь

и непогода или не стряслась иная какая еще горшая беда. Я же крикнул ему в ответ: «Батька, я тут останусь и дождусь, чем все кончится, хотя бы с неба метали копьями». «Эва, — ответил батька, — ты ведешь себя, как все сорвиголовы, коим на все начхать, хоть пропади весь свет!».

Меж тем как я безо всякого внимания слушал его руготню, однако ж не сводил взора от омута, полагая, что со дна озера забулькают пузыри, как то обычно бывает, когда бросают камень в глубину стоячих или текучих вод; но я не увидел ничего подобного, а приметил, что в самой бездне крутятся и трепыхаются какие-то создания, схожие с лягушками, взметываются и рассыпаются, словно швермеры² из запущенной высь фейерверочной ракеты, когда она рвется в воздухе; и чем ближе они подплывали ко мне, тем все более росли у меня на глазах и становились по обличью своему похожими на людей, что сперва привело меня в удивление, а под конец, когда узрел я их совсем близко, повергло в великий ужас, страх и содрогание. «Ах! — сказал я тогда самому себе, полон страха и изумления, однако ж так громко, что мой батька, что стоял по другую сторону озера, мог хорошо расслышать, хотя преждестоко гремел гром. — Сколь дивны и велики творения создателя даже во чреве земли и в бездне морской!». Едва успел я вымолвить сии слова, как один из этих сильфов уже поднялся из воды и ответил: «Гляди, ты признаешь сие, еще ничего не увидав; что же речешь ты, когда спустишься в centrum terra³ и узришь селения наши, которые так тревожат твое суемудрие?». Меж тем то здесь, то там во множестве выныривали крохотные пловцы, пучили на меня глаза и тащили обратно камни, которые я набросал в озеро, чему я несказанно дивился. Первый и самый знатный среди них в одеянии, сверкавшем от чистого золота и серебра, бросил мне самоцвет величиною с голубиное яйцо и такой зеленый и прозрачный, словно смарагд, сказав такие слова: «Возьми сей драгоценный камень, дабы было тебе потом что порассказать о нас и об этом озере!». Но едва я его подхватил и спрятал, как сперло у меня дыхание, как будто сам воздух сдавил и душил меня, того ради не смог я даже устоять на ногах, а завертелся, как мотовило, и, наконец, бултыхнулся в озеро. Но едва я очутился в воде, как тотчас же оправился и под действием силы, заключенной в камне, что оставался при мне, стал дышать водою, словно воздухом; и я смог столь же легко и без малейших усилий плавать в озере, как и водяные человечки, ибо вместе с ними ушел в пучину, подобно тому как если бы стайка птиц из вышних слоев нагретого воздуха слетала на землю.

Когда мой батька увидел сие чудо (а именно то, что произошло над водою) и мое внезапное погружение, помчался он сломя голову прочь от озера, словно за ним гнались по пятам, прямо домой, где поведал обо всем происшествии, особливо же о том, что водяные человечки повывтаскивали обратно все камни, которые я побросал в озеро, и, невзирая на ужасную грозу, разнесли их по прежним местам и что потом уволокли



Гравюра, приложенная к книге «Симплициу-наперекор, или Пространное и диковинное жизнеописание проженной обманщицы и побродяжки Кураже» (1670). Экземпляр ГПБ.



Фронтиспис «Вечного календаря» (1670). Экземпляр БАН.

меня с собою на дно. Некоторые, слушавшие его, верили, а бóльшая часть почитала сие за басню; нашлись и такие, которые вообразили, что я, словно второй Эмпедокл Аригентский⁴ (бросившийся в жерло Этны, дабы каждый подумал, понеже его нигде не могли сыскать, что он вознесся на небо), сам низринулся в озеро, а своему отцу наказал распустить обо мне такие басни, чтобы обессмертить свое имя; также по моей меланхолии давно можно было заключить, что я пришел в такое отчаяние и т. д. Иные же, кто не знал телесной моей силы, охотно поверили, что мой приемный отец, как старый скупердяй, сам меня укокошил, дабы навсегда отделаться от меня и завладеть всем моим именем. Так что в то время на Кислых водах и по всей стране ни о чем другом больше не толковали и не судили вкривь и вкось, как только о Муммельзее, обо мне, моем нисхождении в пучину⁵ и моем батьке.

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций, плывя с князьком Муммельзее,
На много чудес дивится, глаза.*

Плиний в конце второй книги своей «Historiae naturalis» сообщает о геометре Дионисии Дорусе,¹ что его друзья нашли в его гробнице письмо, написанное им, Дионисием, в коем он уведомляет, что достиг из своей могилы до самого центра земли и нашел, что до него 42 000 стадий.² Однако князь Муммельзее, который меня сопровождал и вышереченным образом затащил в бездну, несумнительно объявил, что из centri terrae через половину земного шара до поверхности будет как раз 900 немецких миль, все равно отправиться ли в Германию или к антиподам, каковые путешествия должны они свершать через подобные озера, коих то здесь, то там по всему свету наберется числом столько же, сколько дней в году, и все сии бездны сходятся возле дворца их повелителя. И такое ужасное расстояние мы одолели меньше чем за час, так что столь скорое путешествие ничуть или на самую малость отставало от течения луны; и сие произошло без всякого отягощения, так что я не только не почувствовал никакой усталости, но и при таком мягком парении мог еще вести дискурс о разных материях с вышепомянутым принцем Муммельзее; ибо когда я приметил его дружелюбие, то спросил его, чего ради взяли они меня с собою в столь дальнюю, опасную и ни одному человеку не привычную дорогу. Тогда ответил он мне весьма учтиво, тот путь не далек, который за час прогулки свершить можно, да и не опасен, ибо меня сопровождает он сам и его свита, а кроме того, меня хранит врученный мне превосходный камень; а что мне сие непривычно, то это нисколько не удивительно;

впрочем, он взял меня с собою не только по повелению своего короля, который пожелал со мной побеседовать, но и затем, чтобы мог я узреть чудеса природы в водах и под землею, коим уже дивился на ее поверхности, еще едва увидев только их тень. Засим попросил я его объявить мне, чего ради прелюбимый творец создал такое множество диковинных озер, понеже от них, как мне мнится, нет никакой пользы людям, а скорее может произойти вред. Он же отвечал: «Поистине ты спрашиваешь пристойно о том, чего не знаешь или не разумеешь. Сии озера созданы по троякой причине: во-первых, посредством их все какие ни есть моря, и особливо великий Океан, пришиты к земле словно гвоздями; во-вторых, через эти озера (подобно каналам, трубам и насосам, коими пользуются люди в гидравлическом искусстве) нами перегоняется вода из бездны Океана во все источники земли (что является делом, к коему мы приставлены), откуда выходят все ключи во всем свете, текут большие и малые реки, орошают землю, увлажняют растения и напояют людей и скот; в-третьих, мы живем здесь, как разумные твари, сотворенные всевышним, исполняем наши дела и славим бога в его дивных чудесах. Для того-то и созданы сии озера, которые и будут стоять до Страшного суда. Когда же мы в эти последние времена по той или иной причине прекратим сии дела наши, к коим мы сотворены и определены богом и натурою, пресечем и оставим, то весь мир необходимо должен будет сгореть в огне, что, чаятельно, наступит не прежде, чем Луна (*donec auferatur luna. Psal. 71*),³ Венера или Марс перестанут быть утренними и вечерними светилами, ибо должны сперва погибнуть *generationes fructuum et animalium*⁴ и все воды исчезнуть, прежде чем земля сама от солнечного жара воспламенится, подвергнется кальцинации⁵ и вновь регенерирует.⁶ Но сие ведомо одному только богу, а нам не приличествует знать, кроме того, что мы можем лишь предполагать или почерпнуть из того, что о своем искусстве бормочут ваши химики».

Когда я услышал такие речи и что он приводит слова Священного писания, то спросил, смертные ли они создания, кои чают после временного сего мира будущей жизни, или же они духи, кои исполняют возложенные на них дела, покуда стоит свет. Он отвечал: «Мы не духи, а смертные человечки, кои, правда, как и вы, люди, наделены разумом, однако ж умираем вместе с нашими телами и пропадаем. Бог столь дивен в своих творениях, что не может изъяснить язык никакой твари, все же, что надлежит до нас, намерен я поведать тебе все так, чтобы ты мог постичь, насколько мы отличны от других созданий божьих. Пречистые ангелы справедливы, разумны, свободны, целомудренны, светлы, прекрасны, ясны, скоры и бессмертны, они суть подобие божие и для того созданы, дабы в вечной радости хвалить, величать, чтить и прославлять его святое имя, а в сей временной жизни на земле услужать церкви божией и исполнять наисвятейшие божественные повеления, по какой причине и называют их

иногда благовестниками. И создано их было сразу столько сот тысячей тысяч миллионов, сколько было угодно божественной мудрости. После же того как несчетно множество их обуяла гордыня и они, возмутившись, отпали, сотворены были богом прародители людей с такою же разумною и бессмертною душою по подобию Божию и наделены телом, дабы они могли сами плодиться, покуда их род не сравняется с числом павших ангелов. На такой конец и был создан мир со всеми остальными тварями, дабы земной человек, размножившись до числа павших ангелов, восполнил его и, живя на земле, прославлял бога среди всех прочих созданных на ней тварей, господином над коим бог его поставил, дабы они служили для пропитания его брэнного тела. Тогда получил человек отличие от святых ангелов в том, что был наделен бременем земного тела и не знал, что есть добро и зло, и посему не мог обладать ни силою, ни быстротою ангелов, однако ж не было у него ничего общего и с неразумными тварями. Когда же человек после грехопадения в раю обрек на смерть свое тело, стал он, как мы почитаем, посредником между святыми ангелами и неразумными тварями. Ибо подобно тому как оставившая тело бессмертная душа земного, однако ж озаренного небесным светом человека обладает всеми прекрасными свойствами святых ангелов, так и лишившееся души тело земного человека подвержено тлению, подобно всякой другой падали неразумного зверя. Нас же самих мы почитаем посредниками между вами и всеми прочими живыми тварями на сем свете, поелику мы, хотя и обладаем душами, наделенными разумом, однако же они умирают вместе с нашими телами, подобно тому как исчезает живой дух неразумных тварей вместе с их смертию. Правда, нам ведомо, что предвечный сын Божий, который также и наш создатель, наивеличайшим образом вознес вас, приняв ваш облик, и, свершая божественную справедливость, успокоил гнев отца своего и вновь открыл вам вечное блаженство, что ставит род ваш высоко над нами. Но я поминаю и разумею тут не вечность, коей мы вкусить не сподобимся, а одну лишь временную сию жизнь, в коей всеблагий создатель довольно одухотворил нас, наделив как добрым и здравым умом со способностью познать пресвятую волю Божию, насколько то нам надобно, так и здоровым телом и долголетием с благородною свободою, необходимыми науками, художествами и разумением всех естественных вещей; и наконец, что наипаче всего, мы безгрешны, а посему не подпадаем ни гневу, ни наказанию божьему и не подвержены никакой наималейшей болезни; что я тебе столь пространно изъясняю, вспомянув при сем святых ангелов, земных человек и неразумных животных, дабы ты все как можно лучше уразуметь мог».

Я отвечал, что не могу взять в толк, раз они не совершают никаких проступков и, значит, не подвержены наказаниям, зачем им нужен король; и тем как они могут рождаться и потом умирать, когда не испытывают ни страданий, ни болезни. Принц сказал в ответ, что у них король не для

того, чтобы вершить суд и юстицию, и не затем, чтобы ему услужали, а он у них, как матка в пчелином улье, направляет все их деяния, и подобно тому как их жены *in coitu*⁷ не испытывают плотского вожделения, то не чувствуют и муки во время родов, что я могу некоторым образом представить себе на примере наших кошек и могу увериться, что они зачинают в муках, а рожают с наслаждением. Также и умирают они не в муках и не в преклонном возрасте от дряхлости или болезней, а потухают, как свеча, когда она отсветила свое время, и тела их исчезают вместе с душою. А со свободою, кою он прославлял, не сравнится свобода самого великого монарха на земле, коя не более, как тень; ибо ни они сами и ни одна тварь на свете не в силах никого из них умертвить или принудить склонить к чему-либо, что им не любо, и еще менее того заточить в тюрьму, ибо они могут проходить сквозь огонь, воду, воздух и землю безо всякого труда и усталости (о коих они даже не ведают). Тут сказал я: «Когда вы так устроены, то ваш род еще более вознесен и одухотворен нашим создателем, нежели род людской». «О, нет! — возразил принц. — Тот прегрешает, кто так думает, ибо приписывает благость вышнего вещам, кои ее не имеют; род людской одухотворен неизмеримо более, нежели наш, ибо вы созданы для вечного блаженства и беспрестанного созерцания лика божия, в какой райской жизни один из вас, кто ее достигнет, в единое токмо мгновение вкусит более радости и блаженства, нежели весь наш род от начала творения и до самого Страшного суда». Я сказал: «А что от того тем, кто проклят?». Он же привел мне такое возражение: «А разве причастна к сему божественная доброта, когда один из вас напояет себя ядом, предается всем постыдным вожделениям, не держит в узде свои скотские похоти и тем равняет себя с неразумными тварями, более того, таким непослушанием богу становится себе ближе к адским духам, нежели к блаженным? И такой осужденный на вечные муки, в кои он вверг себя сам, не умоляет величия и благородства рода людского, поелику такой человек, как и всякий другой в своей временной жизни, мог достичь вечного блаженства, когда бы только пожелал пойти назначенной к тому праведною стезею».

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций дорогою дискурс ведет
О том, как у сильфов жизнь их идет.*

Я сказал князьку, что понеже мне еще на поверхности земли доводилось слышать о сей материи больше, нежели могло послужить мне на пользу, того ради хотел бы я попросить его, не соизволит ли он объявить, по какой причине подымается иногда непогода, когда в подобные озера

бросают камни; ибо я вспоминаю такие же рассказы о Пилатовом озере¹ в Швейцарии, да читал я и об озере Камарина² в Сицилии, о коем пошло присловье: «Сагагинат мовеге». Он отвечал: «Понеже все, что имеет тяжесть, не перестает падать до centri terrae, покуда не упадет на твердую почву, на коей остается лежать, а сии озера все бездонны и открыты, то камни, брошенные в них естественным образом, с необходимостью падают на селения наши и будут лежать там до тех пор, покуда мы не вынесем их наружу на то же самое место, откуда они к нам попали; и мы исправляем сию работу с такою свирепостию, дабы утратить и обуздать тех, кто, побрасывая камни, чинит нам такое помешательство, ибо сие есть одна из благороднейших частей нашего дела, ради коего мы и созданы. А ежели мы будем попускать или безропотно сносить, что нам кидают камни, и безо всякого возмущения выволакивать их обратно, то в конце концов у нас ничего иного не останется, как только возиться с подобными своевольниками, кои потехи ради посылают нам со всего света каменья. И по сему одному только делу, которое мы исправляем, ты заключить можешь, сколь необходимо существование нашего рода, поелику ежели бы мы сказанным образом не выносили наверх камни, а каждодневно бы через подобные озера, что расположены здесь и там по всему свету, набрасывали их к центру земли, где мы обитаем, то в конце концов были бы разрушены все связи, коими моря скреплены и утверждены на земле, и все проходы, по коим устремляется вода из бездны моря в источники и расходитя по земле, были бы заперты, что могло бы привести лишь к постыдному конфузу и гибели всего мира».

Я поблагодарил его за такое пояснение и сказал: «Как я уразумел, что ваш род через подобные озера снабжает водою всю поверхность земли, то хотел бы также получить объяснение, отчего воды не все одинаковы, а различны по запаху, вкусу и пр., а также силе и действию, хотя, как я понимаю их круговращение, все берут свое начало из бездны великого Океана, куда снова потом изливаются. Ибо некоторые источники несут приятные кислые воды и полезны для здравия; а другие хотя и кислы, однако же не благоприятны и вредны для питья, а иные даже ядовиты и смертельны, как тот родник в Аркадии, из коего Иолла³ намеревался отравить Александра Великого. Некоторые источники тепловаты, другие горячи, как крутой кипяток, а иные холодны как лед; встречаются и такие, что разъедают железо, словно селитряная кислота, как источник близ Цепузиума⁴ или в графстве Ципс в Венгрии; другие же, напротив, исцеляют все раны, как тот, что должен находиться в Фессалии;⁵ а некоторые воды претворяются в камень, соль, а иные в купорос. Озеро неподалеку от Циркница⁶ в Каринтии полно водою только в зимнюю пору, а летом совершенно пересыхает; а ручей у Энгстлена⁷ бежит только летом и только в те часы, когда поят скот; ручей Шендлебах⁸ у Оберненхейма полон воды только в такую пору, когда на всю страну пришла какая-нибудь

беда. А *Fluvius Sabbathicus*⁹ в Сирии пресекает свое течение всякую субботу, чему я весьма дивился, когда размышлял о сем предмете, и не мог довестись причины».

На сие ответил князь, что все сии вещи имеют свои натуральные причины, кои довольно испытаны естествословами рода людского и по большей части по многообразным свойствам этих вод, их запахам, вкусу, силам и действиям выведены, объявлены и известны на земной поверхности. Когда воды из недр, где они пребывают, устремляются к своим выходам, кои мы называем источниками, и проходят через различные каменные породы, то остаются сладкими и холодными; когда же на своем пути встречают они металлы (ибо великое чрево земли в различных местах обладает различными свойствами), как-то: золото, серебро, медь, цинк, свинец, железо, ртуть и пр., или полуминералы, а именно: серу, соль во всех ее родах, как-то: *sal gemmae, sal nativum, sal radicum, sal nitrum, sal ammoniacum, sal petrae etc.*¹⁰ белого, красного, желтого и зеленого цветов, также *victril, marchasita aurea, argentea, plumbea, ferrea, lapis lazuli, alumen, arsenicum, antimonium, risigallum, electrum naturale, chrysocolla, sublimatum etc.*,¹¹ то принимают они их вкус, запах, свойство, силу и действие, так что становятся либо целебными, либо вредными для людей. И именно посему располагаем мы столь различными солями, из коих одни хороши, другие дурны. В Червии и Комакио¹² соль довольно черна, в Мемфисе красновата, в Сицилии бела как снег, из Чентаропио¹³ пурпурного цвета, а Каппадокийская¹⁴ отдает желтизною. А что касается до теплых вод, продолжал он, то принимают они свой жар от огня, который горит в чреве земли и, так же как наши озера, имеет свои дымоходы или каминные трубы, как можно заключить по знаменитой горе Этне в Сицилии, Гекле¹⁵ в Исландии, Гумапи в Банду¹⁶ и многих других. А что до Циркницского озера, то воды его в летнюю пору находят у антиподов в Каринтии, а вода источника Энгстлена в известные часы и время года появляется на других местах земной поверхности, дабы ею могли пользоваться так же, как то заведено у швейцарцев. Подобным же свойством обладает и ручей Шёндлебах в Оберненхейме, источником коего ведают и управляют люди нашего рода по воле и установлению бога для умножения его хвалы. А что касается до *Fluvium Sabbathicum* в Сирии, то у нас пошло обыкновение, когда мы почием в седьмой день недели, делать привал и отдыхать в его истоке и каналах, как в самом привольном месте всего нашего акватория, и того ради помянутый ручей пресекает свое течение до тех пор, покуда мы пребываем там во славу божию.

По окончании сего дискурса спросил я принца, может ли он возвратить меня в мир не через Муммельзее, а в другое место на земле. «Вестимо, — отвечал он, — отчего же нельзя, когда на то будет соизволение божие? Ибо таким образом в древние времена праотцы наши перенесли в Америку несколько хананеян,¹⁷ которые бежали от меча Иосии¹⁸ и

в смертельном отчаянии бросились в подобное озеро, понеже потомки их по сей день показывают озеро, из коего вышли и произошли их предки». А когда я приметил, сколь дивится он моему удивлению, как если бы во всем его рассказе не было ничего удивительного, то спросил его, разве не дивятся также они сами, когда примечают у нас, людей, что-либо редкостное и необычайное. На сие он ответил: «Мы ничему так не дивимся у людей, как тому, что вы, созданные для вечной блаженной жизни и нескончаемых небесных радостей, позволяете так ослепить себя временными земными наслаждениями, кои редко бывают без досады и скорбей, как розы без шипов, что теряете уготованное вам на небе, лишаете себя блаженного созерцания пресвятого лика божия и вместе с падшими ангелами ввергаете себя в осуждение вечное! Ах, когда б род наш мог оказаться на вашем месте, то как бы всяк из нас тщился в каждое мгновение ничтожного и скоропреходящего временного бытия вашего выдержать искус лучше, нежели вы. Ибо жизнь, которую вы ведете, это не ваша жизнь; ибо ваша жизнь или смерть будет дарована вам тогда только, когда вы покинете сию временную юдоль; а то что вы сейчас называете жизнью, это всего лишь момент или мгновение, кое отпущено вам, дабы познать бога и приблизиться к нему, дабы он взял вас к себе. Посему считаем мы мир пробирным камнем бога, на коем всемогущий испытывает человек, так же как богач ставит пробу на золоте и серебре после того, как изведает их качество по густоте штриха или, очистив их на огне, отделяет добрые и знатные сорта золота и серебра и берет их в небесную сокровищницу, худые же и поддельные бросает в вечный огонь, что ваш спаситель и наш создатель довольно изъяснил и возвестил в притче о пшенице и плевелах».¹⁹

ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций в беседе на дне Океана
Не может ответить царю без обмана.*

Таков был конец нашей беседы, ибо мы приблизились к королевской резиденции, куда я был доставлен безо всяких церемоний или проволочек. Тут было у меня довольно причин подивиться его величеству, ибо я не узрел там ни благоустроенного придворного штата, ни какой-либо пышности, ни по крайности ни одного канцлера или тайного советника, ни толмачей или трабантов или лейб-гвардии, ниже шута, повара, погребщика, пажу, ни единого фаворита или лизоблюда; а вокруг него парили только князья различных озер, что рассеяны по всему свету, причем каждый из сих князей был облачен в одеяние той страны, в коей находится

подвластное ему озеро, простирающееся от центра земли. А посему узрел я зараз подобия китайцев и африканцев, троглодитов¹ и жителей Новой Земли, татар и мексиканцев, самоедов и обитателей Молуккских островов и даже тех, что живут под полюсами Арктики и Антарктики, что было зрелищем весьма диковинным. Те двое, что имели смотрение за Диким и Черным озерами,² были, разумеется, наряжены так же, как и тот князь, что меня сюда конвоировал, ибо их озера расположены неподалеку от Муммельзее; тот же, что надзирал за Пилатовым озером, носил чинную широкую бороду и шаровары, как добропочтенный швейцарец, и те, что были поставлены над помянутым выше озером Камарина, были по платью и ухваткам так похожи на сицилийцев, что можно было поклясться чем угодно, что они никогда не покидали Сицилии и не знали ни единого слова по-немецки. Итак, глядел я словно в альбоме одеяний на обличье персов, японцев, московитов, финнов, лапландцев и всех других наций, какие только есть на свете.

Мне не надобно было изъяслять много учтивостей, ибо король сам заговорил со мною на отменном и превосходном немецком языке, и первое, что он мне сказал, было: «По какой такой причине осмелился ты с таким своевољством набросать такую грудку камней?». Я ответил коротко: «Понеже у нас каждому дозволено стучать в запертые двери». На это он сказал: «Ну, а что ежели тебе придется расплатиться за твою допытливую наглость?». Я отвечал: «Меня нельзя покарать более чем смертию; но поелику я уже узрел столько чудес, сколько не посчастливилось увидеть ни одному из множества миллионов людей, то, ежели я умру или приму смерть, сие нельзя почесть или назвать наказанием». «О, жалкая слепота! — воскликнул король и возвел очи горé, словно от удивления, после чего сказал. — Вы, люди, можете умереть лишь единожды, и вы, христиане, должны встретить смерть не прежде, чем посредством веры и любви к богу обретете твердое упование, что как только смежит очи брeнное ваше тело, то ваши души сподобятся узреть лик вышнего! Однако ж я на сей раз хочу побеседовать с тобою об ином».

Засим сказал он: «Мне представили экстракт о делах земных людей, особливо же о том, что вы, христиане, ожидаете скорого прихода Страшного суда,³ ибо не только исполнились все предсказания, наипаче же те, что оставили Сивиллы,⁴ но также все живущее на земле погрязло в столь ужасных беззакониях, что всемогущий бог не станет более медлить с концом света. Но понеже и наш род погибнет в огне вместе со всем миром, хотя мы и живем в воде, то и мы немало ужасаемся перед приближением столь страшного времени и того ради повелели мы доставить тебя сюда, дабы услышать, какие тревоги и упования ожидают нас. Мы, правда, еще не могли заключить по звездам или приметить по движению шара земного, что близится такая скорая пертурбация, а посему принуждены получать известия у тех, кому некогда сам их спаситель поведал некоторые

знамения своего будущего пришествия, того ради просим тебя со всею учтивостью объявить нам, сохранилась ли еще на земле та вера, которую грядущий судия едва ли найдет при своем пришествии?». Я отвечал королю, что он вопрошает о таких материях, кои для меня недостигаемы: ибо будущее, а особливо срок второго пришествия, знает один токмо бог. «Ну, ладно, — продолжал король, — тогда поведай нам, как отправляют на земле свою должность различные сословия, дабы мог я посему заключить, ожидать ли всему миру и нашему роду скорой погибели или же предстоит, по слову моему, всем нашим и мне самому долгая жизнь и счастливое правление. За это покажу я тебе все, что еще тут смотраения достойно, а затем отпущу тебя с таким подарком, который будет увеселять тебя всю жизнь, ежели только ты откроешь мне всю правду». А когда я на сие промолчал и задумался, то король стал меня подбадривать и сказал: «Ну же, ну же, начни с самых высших и закончи низшими; надо же тебе отважиться, ежели ты и впрямь хочешь выбраться на поверхность земли!».

Я отвечал: «Коли уж того не миновать и мне должно рассуждать о высших, то по справедливости начать надо с духовных. Сии все, какого бы они ни были вероисповедания, обыкновенно таковы, как о них пишет Евсевий⁵ в своей проповеди, а именно: „Истинные презрители косности, удаляющиеся от похоти, усердные в своей должности, снисходительные в осуждении и ревностные к чести, бедные имуществом, богатые совестью, смиренные в своих доблестях и высокомерные ко греху“; и точно так же стараются они услужать богу и привести в его царство не столько словом, сколько своим примером, и других людей, и потому светские высокие особы и управители пекутся лишь о любезной им юстиции, кою они соблюдают, невзирая на личность, сплошь и напрямик оказывая и воздавая справедливость бедному и богатому. Теологи все кряду чистейшие Иеронимы⁶ и Беда,⁷ кардиналы — сущие Борромеи,⁸ епископы — Августины,⁹ настоятели — новые Илларионы и Пахомии,¹⁰ а все остальное духовенство подобно сообществу отшельников в Фиванской пустыне. Купцы торгуют не из жадности или прибыли, а для того чтобы снабжать своих ближних товарами, которые доставляют из далеких стран с превеликими трудами и опасностями. Трактирщики занимаются своим промыслом не затем, чтобы разбогатеть, а для того чтобы творить дела милосердия усталым и обессилевшим людям и все алчущие, жаждущие и путешествующие могли у них подкрепиться. Также и медики не ищут своей пользы, а пекутся токмо о здравии своих пациентов, к чему стремятся и аптекари. Ремесленники и слышать не хотят о какой-либо корысти, лжи или обмане, а тщатся снабдить своих заказчиков долговечными и добротными вещами. У портных не рябит в глазах от наворованного, а ткачи по причине своей честности так бедны, что у них даже мышонку нечем поживиться, ежели они не швырнут в него моток пряжи. У нас и не

слыхивали о ростовщиках, а достаточные люди помогают оскудевшим из чистой христианской любви, даже не прощенные о том. И когда бедняк не может уплатить без приметного ущерба и убыли своего пропитания, то богач с легким сердцем прощает ему долги. Никто не чванится, ибо всяк знает, что он смертен. И нигде не приметна зависть, ибо каждый почитает другого образом и подобием Божиим, любимым своим создателем. Никто не гневается на ближнего своего, ибо знает, что Христос пострадал и принял смерть за всех. Не слышно ничего и о плотской нечистоте или непопущенном плотском вожделении, а все, что случается, происходит единственно от чадолюбия и желания потомства, дабы умножилось царство господне. Не сыщешь также нигде пьяниц и запивох, а ежели один другому поднесет винца, то оба довольствуются вполне христианским хмельком. Также нет нерадения к богослужению, ибо всяк тшится показать неутомимое усердие и прилежание, как он ревнует перед другими в истинном служении госуду; и по сей именно причине идут сейчас на земле тяжкие войны, ибо одна сторона полагает, что другая несправедливо служит богу. И ныне нет уже больше скряг, а остались только бережливые, нет расточителей, а только щедрые, нет головорезов, которые грабят и разоряют, а одни только храбрые солдаты, кои защищают отечество, нет распущенных ленивых попрошайек, а только презрители богатства и любители добровольной бедности, нет иуд, скупщиков хлеба и вина, а только предусмотрительные люди, кои в избытке делают запасы, дабы на случай голоду помочь народу изрядно продержаться и воспрянуть».

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций отправился в Маре дель Сур,
Где жемчуг с кулак и в бездне пурпур.*

Я умолк, дабы перевести дух и поразмыслить, о чем бы мне еще объявить ему, но король сказал, что он столько уже от меня всего наслышался, что ему не надобно знать ничего более или по крайности он того не желает ведать. А ежели я хочу, то его подданные тотчас же вынесут меня на то место, откуда я был к нему доставлен; но ежели («Ибо я отлично вижу, — сказал он, — что ты весьма замысловат») я захочу осмотреть сперва то и се в его царстве, что таковым людям, как я, нет сомнения, будет в диковину, то меня в полной безопасности проведут в любое место, находящееся под его юрисдикцией, куда я только пожелаю; а засим он отпустит меня с таким подарком, что я останусь доволен. Но как я не знал, на что мне решиться, и не мог собраться с ответом, то король обратился к некоторым своим подданным, которые в то самое время отправлялись в бездну Маре

del Sur,¹ где, словно в некоем саду или на охоте, они добывали провизию; им-то и повелел король: «Возьмите его с собою и вскорости принесите обратно, дабы еще сегодня он вышел на поверхность земли!». Мне же он предložил тем временем подумать, что бы он мне мог дать из того, что в его власти, в награду и на вечное воспоминание об его царстве. Итак, проплыли мы с сильфами через канал в несколько сот миль длиною, пока не достигли дна выше помянутого Тихого океана. Там подымались коралловые гребни с зубцами, высокими, как дубы; они набрали себе таких, что еще были бесцветны и не затвердели, ибо поедают их, как мы рожки молодых оленей. Там можно было увидеть раковины высотой, как крутая замковая башенка, и шириною, как ворота в сарае; item жемчужины величиной с кулак, которые они поедали вместо яиц, и многие другие морские диковины, так что я даже не сумею их все перечислить; а протекавшие по дну ручейки были усеяны смарагдами, бирюзой, рубинами, алмазами, сапфирами и другими великолепными драгоценными камнями, что так ценятся у людей, да еще такими большими, как булыжники. Там можно было увидеть могучие утесы, вздымающиеся со дна на много миль ввысь над морем, где они образовали приветливые острова. Сии утесы были опоясаны различными веселыми и курioзными морскими растениями и населены диковинными, ползающими, неподвижными и бегающими тварями, подобно тому как поверхность земли людьми и животными; а большие и малые рыбы неисчислимого множества пород, шнырявшие над нами во все стороны, напоминали мне различных птиц, которые в весеннюю и осеннюю пору увеселяют нас на воздухе; и понеже время пришлось на полнолуние и было светло (ибо солнце стояло тогда на нашем горизонте, так что у наших антиподов была ночь, а у европейцев день), то мог я сквозь воду узреть месяц и звезды вместе с Polo antarctico,² чему я весьма подивился. Однако ж тот, чьему попечению я был поручен, сказал мне, когда б там стоял день, а не ночь, то я мог бы еще больше подивиться, ибо тогда издали видно, какие горы и долины открываются в бездне моря, куда более красивые, нежели самые прекрасные ландшафты на поверхности земли. А когда он увидел, что я дивлюсь на него и всю его свиту, ибо они были одеты, как перуанцы, бразильцы, мексиканцы, японцы, индонезийцы и обитатели островов de los latrones,³ а вдобавок изрядно говорили по-немецки, то сказал мне, что они не только знают по несколько языков, но и разумеют языки всех народов во всех концах земли, как и их самих все понимают, что происходит потому, что их род не сотворил той глупости, какую учили люди, вознамерившиеся воздвигнуть Вавилонскую башню.

Когда же мой конвой порядком запасся провизией, то мы через другую расщелину возвратились из Тихого океана к центру земли. По дороге рассказал я некоторым из них, что я полагал, что центр земли внутри пуст и в этой пустой полости, как в зубчатом колесе, бегают по кругу пигмеи⁴ и понуждают вращаться весь земной шар, дабы его повсюду освещало

солнце, которое, по мнению Аристарха⁵ и Коперника, стоит неподвижно посреди неба; за какую простоту был я жестоко высмеян, и мне присоветовали почестъ суетным мечтанием как мнения обоих сказанных философов, так и свою собственную выдумку. «Мне, — сказали они, — вместо таких материй лучше поразмыслить, какой подарок получить у их короля, чтобы не воротиться на поверхность земли с пустыми руками». Я ответил, что многообразные чудеса, которые довелось мне здесь увидеть, до того потрясли ум мой, что я не могу опаматоваться и потому прошу их посоветовать мне, что мне просить у короля. Мне казалось, что ежели он управляет всеми источниками на свете, то можно пожелать, чтобы в моем дворе объявился источник целебной воды, как тот, что не столь давно сам собою забил в Германии,⁶ хотя только с одною пресною водою. Князь, или регент Тихого океана и его каналов, ответил мне, что сие не подвластно его королю; и хотя бы он мог это сделать, и он хотел бы меня отблагодарить таким образом, но целебный источник не будет долговечным и пр. Я попросил его, ежели сие не в труд будет, поведать мне, по какой же это причине случится. Он сказал: «В земном недре в различных местах образуются пустоты, которые мало-помалу наполняют металлы, ибо сами они рождаются *ex exhalatione humida, viscosa et crassa*, сиречь из влажных, вязких и жирных испарений; меж тем как происходит сие рождение, поступают из расселин *marchasitae aureae vel argenteae*,⁷ а из центра земли, откуда нагнетаются все источники, вода, которая застаивается между металлами на много сотен лет и принимает в себя их благородные качества и целебные свойства. Когда же воды, устремляющиеся из центра земли, со временем умножаются и с большим напором ищут и находят выход на поверхность, то вода, сотни и даже тысячи лет заключенная среди металлов, извергается первой и производит в человеческом теле то удивительное действие, которое мы наблюдаем в подобных целебных источниках. Но как только сия первая вода, находившаяся столь долгое время среди металлов, сойдет, то последующая за ней, хотя она проходит теми же самыми проходами в скором своем течении, не успевает принять доброту или силу металлов, а потому уже не столь целебна, крепка и пользительна для здравия людей. И ежели я, — продолжал он, — так уж пекусь о своем здравии, как то показываю, то надлежит мне упросить короля, чтобы он отрекомендовал меня на лечение королю саламандр, с коим он в самых добрых состоит отношениях; сей умеет очищать человеческие тела и придает им с помощью благородного камня такое свойство, что они не могут сгореть ни на каком огне, словно то удивительное минеральное полотно,⁸ какое мы находим в земле и чистим в огне, когда оно загрязнится; и вот сажают такого человека прямо в огонь, как старую осклизлую вонючую табачную трубку, и выжигают дурной гумор⁹ и вредоносные жидкости, так что пациент выходит из него молодой, свежий, здоровый и обновленный, как если бы принимал элекси́р Теофраста».¹⁰ Я не знал, дурачил он меня или

говорил серьезно; однако ж поблагодарил его за благой совет и сказал, что, будучи холериком, опасаясь, как бы сие лечение не оказалось для меня слишком жарким; мне же ничто так не любо, как если бы я мог вынести на поверхность земли редкостный целебный источник, который доставил бы моим сочеловекам пользу, их королю честь, мне же бессмертную славу и вечную благодарную память. Князь ответил, что когда я сего домогаюсь, то он замолвит за меня доброе слово, хотя король их такого нрава, что честь или поругание, оказываемое ему на земле, в равной мере ему безразличны. Меж тем прибыли мы снова к средоточию шара земного и предстали пред лицом короля, когда он и все принцы как раз собирались трапезовать. То был завтрак, подобный греческим нефалиям,¹¹ без возлияния вина и каких-либо крепких напитков; заместо того выпивали они жемчужины, как пьют сырые или сваренные всмятку яйца, когда они еще не затвердели, но довольно уже густы или, как говорят мужики, сытненькие.

Там наблюдал я, как светозарное солнце освещает одно за другим бездонные озера и его лучи проникают через них на сию страшную глубину, так что сиффы никогда не испытывают недостатка света. И в этой бездне все освещено солнцем с такою же ясностию, как и на земной поверхности, так что они даже отбрасывают тени, и им, сиффам, их озера служат заместо люков или окон, сквозь которые они получают свет и тепло; и хотя сие не везде исправно, ибо некоторые озера идут криво, однако ж это возмещается с помощью отражения, ибо натура расположила в различных углах скалы из кристаллов, алмазов и карбункулов, которые приносят вниз свет и ясность.

СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций из озера вышел тишком,
Сам невредим и в платье сухом.*

Меж тем приблизилось время отправиться мне восвояси; того ради повелел мне король объявить, чем, по моему мнению, он мог бы одарить меня. Тогда я сказал, что он не мог бы оказать мне большей милости, чем ежели бы соизволил, чтобы на моем дворе забил источник марциальных кислых вод. «Только и всего? — удивился король. — Я-то полагал, что ты возьмешь несколько больших смарагдов из американского моря и попросишь дозволения пропустить тебя с ними на поверхность земли. Днесь вижу, что у вас христиан нет жадности». Засим вручил он мне камень диковинно переливчатого цвета и сказал: «Спрячь его у себя, и когда ты положишь его где-либо на земной поверхности, то начнет он искать центр земли и пролагать себе пути через самые удобные минералы, покуда он снова не доберется до нас, а по дороге откроет и пошлет тебе самый ве-

ликолепный источник кислых вод, кои придутся тебе по нутру и пойдут на пользу так же, как и ты послужил нам, открыв всю правду». Засим князь Муммельзее заключил меня тотчас же снова в свой конвой и проследовал со мною весь прежний путь по озеру, через которое мы спустились.

Сие возвращение показалось мне куда более долгим, нежели первое путешествие, так что я полагал, мы прошли две с половиной тысячи отменных швейцарских миль; однако ж, нет сомнения, время тянулось так медленно по той причине, что я почти ни о чем не беседовал с моим конвоем, узнав только, что они живут до трехсот, четырехсот и даже пятисот лет, никогда ничем не болея. Впрочем, ум мой был полон богатством и величием, которые должны были принести мне кислые воды, так что все мои помыслы и вся моя смекалка были довольно заняты, прикидывая, где я открою источник и какую извлеку из него пользу. У меня уже были наготове планы, какие мне возвести просторные строения, дабы гости, съезжающиеся на воды, с удобством могли расположиться, а я бы огребал с них немалые денежки за постой. Я уже придумывал, как половчее подмазать медиков, чтобы они мои новоявленные чудесные целительные воды предпочли всем другим, даже швальбахским,¹ и наслали мне целую толпу богатых пациентов. Я уже сравнивал с землею целые горы, дабы приезжающих и отъезжающих не обременяла трудная дорога; я нанимал себе продувных слуг для дома, скупых поварих, осторожных горничных, стережливых конюхов, опрятных надзирателей при ваннах и у источника и уже подыскал место неподалеку от моего дома в диких горах, где я разобью увеселительный сад и засажу его всевозможными редкостными растениями, дабы приезжающие на воды чужестранные господа и их жены могли там совершать променады, больные дышали бы свежим воздухом, а здоровые прохлаждались в различных забавных играх и потехах. Тут медики должны будут за хорошую мзду сочинить на бумаге великолепный трактат о моем чудесном источнике и его преизящных свойствах, каковой трактат я потом отдам напечатать на превосходной бумаге с красивой гравюрой на меди, где будет помещен абрис моего крестьянского двора, так чтобы любой живущий вдалеке больной, прочитав сие, был бы уже наполовину здоров и весьма обнадежен. Я велю собрать всех моих детей, привезти их из Л. и обучить всему, что надлежит до устройства моих новых вод; и никто из гостей не должен отлынивать от пользования водами, ибо я положил твердое намерение хорошенько порастрасти у них если не животы, так кошельки.

С такими изобильными мыслями и счастливыми умствованиями достиг я снова воздушной стихии, ибо многожды помянутый принц Муммельзее высадил меня из озера на твердую землю и, разумеется, в сухом платье; однако же должен был я без промедления вернуть драгоценный камень, который он спервоначала мне дал, когда мы спускались в озеро, ибо иначе я бы задохся в воздухе или же, чтобы дышать, принужден

был бы сунуть голову снова в воду, понеже сказанный камень обладал таковым действием. Когда же сие произошло и принц взял камень себе, благословили мы друг друга, как люди, которые расстаются навеки и никогда более не сдвигаются. Он сгорбился и нырнул вместе со своими в бездну; я же пошел прочь со своим lapide,² что мне дал король сильфов, и такой радостный, как если бы принес оттуда само золотое руно из Колхиды.

Но, ах, радость моя, которая напрасно тщилась утвердить себя на прочном основании, была недолгой, ибо едва я отошел в сторону от этого диковинного озера, как начал плутать в дремучем лесу, ибо не имел ни малейшего понятия о том, откуда батька вывел меня к этому озеру. Я уже прошел порядочно, прежде чем приметил, что заблудился, и все еще сочинял себе календарь; какие кислые воды откроются на моем дворе и как я распрекрасно все расположу и устрою и заживу спокойной господской жизнью. Таким-то образом, чем более, тем все дальше удалялся я неприметно для самого себя от того места, куда более всего стремился, а, что всего горше, смекнул это только, когда солнце уже пошло на закат и я уже ничем не мог себе пособить. И я стоял посреди лесной чащи, как истукан на мосту в Дрездене,³ без пищи и оружия, в чем я, глядячи на предстоящую ночь, весьма нуждался. Но меня утешал славный мой камешек, который я принес из самых сокровенных недр земли. «Терпение! Терпение! — говорил я самому себе. — Сей камень вознесит тебя после всех перенесенных невзгод. Добрый плод не вдруг поспевает, а без забот и труда не вытащишь и рыбку из пруда. Кто хочет полакомиться орешком, сперва должен разгрызть твердую скорлупку, а то любой болван, не попотев и не попыхтев, станет почем зря открывать такие благородные источники, как тот, что у тебя в кармане».

Ободрив себя подобными речами, я вместе с новой решимостью обрел и новые силы, ибо зашагал куда веселее, нежели прежде, хотя ночь и опережала меня. Полный месяц, правда, светил во всю прыть, но высокие ели не пропускали столько света, как прошлую ночь глубокое море. Однако ж я все шёл и шел, покуда около полуночи не завидел огонь и не пошел прямо на него, наткнувшись на мужиков-лесовиков, гнавших смолу. И хотя таким молодцам не следовало доверять, но жестокая нужда и моя собственная храбрость побудили меня заговорить с ними; я тихонько подкрался к ним и окликнул: «Доброй ночи, господа, или добрый день, или доброе утро, или добрый вечер! Скажите мне сперва, какое сейчас время, чтобы я мог знатно вас приветствовать!». Все шестеро, что там были, кто стоял, кто сидел, задрожали от страха и не знали, что им молвить; и, должно быть, моя долговязая фигура в черном траурном платье, которое я еще носил по недавно умершей жене, да еще ужасная дубина в руках нагнали на них немалую жуть и ужас. «Как? — воскликнул я. — Никто из вас не хочет мне отвечать?». Они некоторое время еще находились

в изумлении, пока один из них не опамятовался и не пробормотал: «Откуда ты взялся, барин?». Тут я смекнул, что они швабы, которых, правда (и совершенно зря), почитают придурковатыми, и того ради сказал им, что я странствующий школяр, который возвращается с Венериной горы,⁴ где обучался множеству диковинных вещей. «Эге, — сказал старый крестьянин, — слава богу, теперь я уже верю, что доживу до мирных деньков, раз по свету опять пошли странствующие школяры».

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций во сне ненароком подмок,
Источник под ним не на месте потек.*

Итак, вступили мы в разговор, и они встретили меня с такою учтливостью, что позвали к костру и предложили кусок черного хлеба и тощего коровьего сыра, коим я и отдал честь. Наконец, прониклись они ко мне такою доверчивостью, что стали упрашивать меня как странствующего школяра погадать им без утайки. И как я был немного сведущ в физиогномике и хиромантии, то начал им подряд врать, что, по моему мнению, каждому было бы любо слышать, так как не хотел потерять у них кредит, ибо среди таких лесных молодцов было мне не очень-то спокойно. Они домогались, чтобы я обучил их различным колдовским хитростям, я же, сославшись на то, что утро вечера мудренее, добивался, чтобы они дали мне немного роздыху. Некоторое время я таким образом представлял цыгана, а затем улегся в сторонке, не столько от большой охоты заснуть (хотя меня и изрядно тянуло ко сну), а чтобы прислушаться и узнать, что у них на уме. И чем сильнее я храпел, тем больше они настораживались; они принялись тихонько переговариваться и судить да рядить, кто я такой. На солдата я словно и не похож, ибо на мне черное платье, а горожанином тоже нельзя почесть, ибо я в столь неурочное время забрался в такую глушь до самого Мюкенлоха (ибо так прозывался тот лес). Под конец решили они, что я латынщик-подмастерье, который запутался здесь или, как я сам назвался, странствующий школяр, ибо ловко умею гадать. «Эва, — заговорил еще один, — видать потому-то он и не силен в таких делах; да он беглый вояка и только вырядился школяром, чтобы высмотреть наш скот и все тропинки в лесу. Ах, когда бы мы знали наивно, то спровадили б его спать так, чтоб он забыл проснуться. Доверять нельзя никому: яйца на сковородку — так не выведутся цыплятки!». Но тотчас же нашелся еще один и стал возражать, полагая, что я совсем иного разбору. Я же лежал, наострив уши, помыслив: «Ежели на меня нападут эти пентюхи, то уж я уложу двоих или троих, покуда они меня схватят и прикончат».

И вот, когда они так совещались, а я корчился от страха, внезапно мне показалось, что кто-то улегся рядом со мной и пустил под себя мочу; ибо я нечаянно вешь подмок. О, mirum! Погибла Троя! И все мои великолепные планы пошли прахом, ибо я тотчас же приметил по запаху, что то мой целебный источник. И я пришел от гнева и досады в такое неистовство, что готов был один броситься на всех шестерых мужиков и начать с ними драку. «Ах, вы, безбожные болваны! — закричал я, размахивая дубинкою. — По сему источнику, что сейчас забил подо мною, можете рассудить, кто я такой. Не диво, ежели я так накажу вас, что черти костей ваших не соберут, коли вы посмели замышлять на меня зло!». И притом корчил такие угрожающие и устрашающие мины, что подверг их всех в ужас. Однако ж я тотчас опамятовался и приметил, какую учинил глупость. «Нет уж, — помыслил я, — лучше потерять целебный источник, нежели самую жизнь, которой ты легко можешь поплатиться, связавшись с этими пентюхами и невеждами»; того ради снова заговорил с ними ласково и сказал: «Гляньте-ка да отведайте из этого превосходного источника кислых вод, что забил в этой глуши и коим отныне по моей милости будут пользоваться все дровосеки и смолокуры!». Они никак не могли взять в толк, что такое я им говорю, а только пучили глаза друг на друга, словно палтусы, пока не увидели, что я преспокойно зачерпнул шляпой и сделал первый глоток. Тут они один за другим поднялись от коста, у коего сидели, подивившись на чудо, и отведали воды, и вместо того, чтобы оказать себя благодарными, принялись поносить меня, сказывая, чтобы я убрался со своими кислыми водами куда подальше; коли их господа прознают об этом, то замучают всю Дорненштедтскую округу¹ повинностями и заставят прокладывать сюда дорогу, отчего им будет великое отягощение. «Совсем напротив, — сказал я, — когда станут им все пользоваться, то вы зашибете больше денег за своих кур, яйца, масло, мясо и все такое прочее». «Нет, нет, — заладили они, — нет! Барин посадит тут трактирщика, он один и разбогатеет, а мы только будем на него гнуть спины, как дурни, да чистить дороги и тропинки, а никто даже словечка в благодарность не скажет!». Под конец разделились они в мнениях, двое пожелали оставить источник, а четверо полагали, что я должен его снова убрать отсюда и, понеже это в моей власти, открыть его где-либо в другом месте, не впутывая их в такое дело и не помышляя об их прибыли или убытках.

А как тем временем занялся день, и мне там делать было нечего, и я опасался, что ежели мы долго тут будем валандаться, то чего доброго еще передеремся², а посему сказал, коли они не хотят, чтобы во всем Байерсбрунне² у коров шло кровавое молоко до тех пор, куда не иссяк этот источник, то должны они немедленно вывести меня к Зеебаху,³ на что они согласились, отрядив двоих провожатых, ибо идти одному со мною было боязно.

Итак, расстался я с сей страной, и хотя вся она была бесплодна, как Аравийская пустыня, и не произрастало там ничего, кроме словых шишек, однако ж желал ей еще горшей участи, ибо потерял там все свои надежды. Однако ж шел молча со своими проводниками, покуда мы не вышли на вершину горы, где я мог уже оглядеться и немного признать местность. Тогда я сказал им: «Вы, господа, можете получить немалую выгоду от сего источника, ежели пойдете и объявите о нем властям; и вы войдете в большую честь, ибо тогда сам владетельный князь⁴ велит тут строить ради своей славы и пользы всей страны и распубликует о нем по всему свету для умножения своей прибыли». «Эва! — сказали они. — Мы были бы изрядные дурни, когда б накликали розги на свои собственные задницы; нет уж, мы бы лучше хотели, чтоб черт унес тебя вместе с этим треклятым источником; ты довольно уже насышался, по какой причине мы не хотим его тут видеть». Я возразил: «Эх, вы, злочестивые олухи, ну не заслужили ли вы прозвание вероломных плутов, ибо вы столь далеко отошли от праведной стези ваших благочестивых предков? Они были так преданы своему князю, что он хвалился, что может с полным доверием положить голову на колени каждому из своих подданных и спокойно заснуть; а ваши трусливые душонки столь бесчестны, что убоялись даже ничтожной работы, которая вдобавок со временем окупилась бы и доставила бы всем вашим потомкам изрядную утеху, вашему достохвальному князю пользу, а многим страждущим здравие и благополучие, ежели бы открылся сей целебный источник. Что с того, если бы каждому пришлось для этого отбыть несколько деньков барщины и малость попотеть?». «Что? — закричали они. — Да мы скорее забьем тебя на барщине до смерти, чтоб твой источник остался никому не ведом». «Эх, пташки, — сказал я. — Мало вас тут слетелось!» и, взмахнув дубинкой, погнал их ко всем чертям, а сам пошел с горы на запад и полдень; и после превеликих трудов и мучений под вечер пришел к моему мужицкому двору, на деле узнав, что наперед предвещал мне мой батька, а именно, что из сего паломничества ничего не получится, кроме натруженных ног и ходьбы туда и обратно.

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций встречает перекрещенцев,
По нраву ему жизнь сих отщепенцев.*

Возвратившись домой, повел я уединеннейшую жизнь; самой большой отрадой и утехой стало для меня чтение; я раздобыл множество книг, трактовавших о различных предметах, особливо же таких, кои требовали большого размышления. То, что принуждены твер-

дять школьники и грамотей, мне скоро прискучило, да и арифметика также надоела; а что касается музыки, то я давно уже возненавидел ее, как чуму, так что вдребезги разбил свою лютню. Математику и геометрию я еще жаловал; но как только они привели меня к астрономии, то я им также дал абшид и на некоторое время прилепился к сей последней науке совокупно с астрологиюю, которая меня изрядно увеселяла. Но под конец показалась мне ложной и ненадежной, так что я недолго в ней упражнялся, а ухватился за «Великое искусство» Раймонда Луллия,¹ однако ж нашел, что там много крику, да мало проку, и как я почел сие сочинение простым извитием риторических речей, сиречь *topica*,² то закинул его и обратился к знаменитой «Каббале»³ евреев и к иероглифам египтян, под конец же уразумел, что из всех моих наук и художеств нет ничего лучше теологии, ибо посредством ее научаются любви к богу и служению ему. И, следуя ее предписаниям, открыл я для людей такой образ жизни, который может быть скорее назван ангельским, нежели человеческим, когда бы они составили общество, куда вошли бы холостые и женатые как мужчины, так и женщины, которые бы на манер перекрещенцев снискивали себе пропитание трудами рук своих под разумным смотрением своего настоятеля, а в свободное время славили бога и заботились о спасении своей души. И как я уже прежде видел подобную жизнь в Венгрии⁴ на перекрещенских дворах, и понеже сии добрые люди и им подобные не запутались в еретических мнениях, противных всеобщей христианской церкви, и не погрязли в них, то я по свободной совести пристал к ним или по крайности стал почитать их жизнь, как самую блаженную во всем свете, ибо они предстали передо мною во всех своих делах и начинаниях такими же, как Иосиф Флавий⁵ и другие авторы описывали еврейских ессеев.⁶ У них было собрано большое богатство и в изобилии припасы, коих они, однако ж, не расточали по-пустому или без пользы; у них нельзя было услышать проклятий, ропота или нетерпения, даже ни единого пустого слова. Там видел я ремесленников, работавших в мастерских, как если бы они подрадились; их учителяставляли юношество, как если бы все они были собственные их чада; нигде не видел я, чтобы мужчины и женщины находились вперемешку, а, напротив, каждый пол держался особливо, исполняя возложенную на него работу. Я видел у них покои, отведенные для рожениц, кои вместе со своими детьми безо всякого попечения своих мужей получают необходимую помощь от своих сестер и со всею щедростию обеспечены всем необходимым; другие пречудные залы наполнены там ничем иным, как множеством колыбелей с младенцами, за коими смотрят приставленные к ним няньки, которые их кормят и подтирают, так что их матерям не надобно о них печалиться, когда они трижды на день приходят, чтобы кормить их обильной млеком грудью; и ходить за роженицами и младенцами препоручено одним только вдовам.

В другом месте видел я женщин, которые были заняты ничем иным, а только прядением, так что в одном покое стояло рядом свыше сотни пряток или пряслиц. Там у всякой была своя работа: одна — прачка, другая — постельница, третья — скотница, четвертая — судомойка, пятая — погребщица, шестая — ключница, что смотрела за чистым бельем, также и все прочие, так что каждая знала, к чему она приставлена. И подобно тому как рачительно были разделены все должности у женского пола, также и среди мужчин и юношей всяк исправлял свое дело самым достохвальным и непринужденным образом. А когда кто-либо, все равно мужчина или женщина, заболает, то приставляют к ним особого служителя или сиделку, а также посылают к ним медика и аптекаря, хотя при похвальной умеренности в пище и добром порядке во всем болезни там редки; ибо мне доводилось видеть у них почтенных старцев, находившихся в полном здравии и весьма преклонных летах, что в других местах повстречаешь нечасто. У них назначены часы на трапезу и отведены часы для сна, но ни единой минуты для игр и гульбищ, кроме юношества, которое ради сохранения телесного здоровья прогуливается один час после принятия пищи со своим наставником, в то же время вознося молитвы и распевая духовные песнопения. Там не знали ни гнева, ни досады, ни мести, ни зависти, ни вражды, никаких забот о временном, никакого чванства, скуposti, страсти к игре или танцам, никакого душевного сокрушения! Одним словом, то была такая отрадная гармония, коя, казалось, была предназначена, чтобы со всею честностью приумножать род людской и царство божие. Ни один мужчина не видит своей жены до тех пор, покуда в уреченное время не ввидет с нею в спальный покой, где найдет приготовленную постель, а кроме того, лишь ночную посудину, кружку с водою и чистое полотенце, дабы мог он помыть руки, отходя ко сну и поднявшись поутру перед тем, как отправиться на работу. Сверх того называли они друг друга братьями и сестрами, однако ж сия честная взаимная доверенность не подавала причины к нарушению целомудрия. И столь благородную и праведную жизнь, кою вели сии еретики-перекрещенцы, я бы охотно повел сам, ибо мне сдается, что она превосходила даже монастырскую. Я помыслил: «Когда бы мог ты завести под своим началом такую честную христианскую жизнь, то стал бы новым Доминикусом⁷ или Франциском!».⁸ «Но, ах! — вздыхал я частенько. — Когда бы ты мог склонить перекрещенцев, чтобы научили они своей праведной жизни твоих единоверцев, то вот был бы ты святой человек! Или когда бы ты мог уговорить своих сохристиан, чтобы они, подобно сим перекрещенцам, повели такую же, по всей видимости, честную и христианскую жизнь, то чего бы только ты не достиг?». Я, правда, говорил самому себе: «Дурень, какое тебе дело до других людей? Пойди в капуцины. Тебе и без того опостылили все бабы!». Но потом я скоро одумывался: «Ты завтра будешь не тот, что сегодня, и кому ведомо,

какие средства будут потребны в будущем, дабы праведно следовать по стопам Христа? Нынче ты одержим целомудрием, а на завтра воспламенишься похотью».

Такие и подобные сему мысли обуревали меня долгое время, и я охотно бы отдал какому-нибудь соединенному христианскому обществу и мой двор, и все мое достояние, чтобы они приняли меня к себе. Но мой батька сказал напрямик, что мне никогда не собрать вокруг себя таких молодых.

ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций со шведским воякой спознался,
С ним до Москвы он легонько добрался.*

Той же осенью нахлынули к нам французские, шведские и гессенские войска, чтобы отдохнуть, а вместе с тем осадить соседний имперский город,¹ тот что был построен одним английским королем и по имени его назван; по этой причине всяк бежал со своим скотом и самыми ценными вещами в окрестные леса. Я поступил так же, как и мои соседи, оставив довольно пустым дом, в коем расположился шведский полковник на временном жалованьи. Сей нашел в моем кабинете несколько книг, ибо я впопыхах не все успел захватить, в том числе и несколько математических и геометрических чертежей и сочинений по фортификации, коими обыкновенно пользуются инженеры, а посему заключил он, что его квартира ранее принадлежала не простому мужику, и того ради начал справляться о моих обстоятельствах и старался заполучить к себе меня самого, так что с помощью куртуазных представлений вперемежку с угрозами удалось ему добиться, что я пришел к нему на свой собственный двор. Там принял он меня с отменною вежливостью и запретил своим людям без нужды что-нибудь у меня губить и портить. Таким дружелюбием склонил он меня к тому, что я поведал ему обо всех своих обстоятельствах, особливо же о своем роде и происхождении. Тут удивился он, что я во время войны обретаюсь среди мужиков и смотрю, как другие привязывают лошадей у моего тына, когда я с большею честью мог бы сам привязать своих коней у других; я должен, говорил он, снова навесить шпагу и не допустить, чтобы талант, дарованный мне богом, заплесневел за печкой и плугом; он уверен, что ежели я вступлю в шведскую службу, то при моих качествах и знании военного искусства вскорости произведен буду в высокие чины и заделаюсь знатным кавалером. Я выслушал сие с полнейшею холодностью и сказал, что произхождение остается за семью горами, когда у человека нет друзей, которые ведут его под руки. На это он отвечал, что отменные мои качества до-

ставят мне то и другое: друзей и произвождение; сверх того он не сомневается, что в шведской армии я встречу родственников, которые что-нибудь да значат, ибо там много знатных шотландских дворян. Правда, и ему самому, продолжал он, Торстенсон² обещал полк; и когда он его получит, в чем он совершенно не сомневается, то тотчас же назначит меня своим подполковником. Сими и другими подобными речами добился он того, что у меня слюнки потекли, и понеже не было еще доброй надежды, что скоро заключат мир, то меня ожидали дальнейшие постои и совершенное разорение, то я и решил снова испытать Фортуны и обещал полковнику отправиться вместе с ним, ежели он сдержит свое слово и доверит мне место подполковника в будущем своем полку.

Так и сварили мы пиво; я велел позвать моего батьку, или крестного, ибо он все еще хоронился вместе с моим скотом в Байришбруннской долине.³ Ему и его старухе отписал я мой двор и все имущество, однако ж с условием, чтобы после его смерти все сие наследовал мой бастард Симплициус, коего подбросили к моему порогу, ежели не объявятся законнорожденные наследники. Засим достал я себе коня и захватил все деньги и драгоценности, которые еще у меня оставались; и когда я уладил все свои дела и отдал распоряжения о воспитании моего вышесказанного прибудного сына, то затеянная осада была снята, и мы не успели оглянуться, как замаршировали на соединение с главными силами. Я изображал гофмейстера при моем полковнике, командовал лошаадьми и конюхами, ведал всем его хозяйством, которое состояло в грабеже и разбое, что по-солдатски звалось фуражировкою.

Торстенсоновы обещания, коими мой полковник так похвалялся на моем дворе, оказались на проверку не столь велики, как он мне наговорил, и сдается мне, на него глядели с презрением. «Ах! — говорил он мне. — Какой шелудивый пес оговорил меня перед генералитетом? Ну, тогда я тут надолго не останусь». И так как он подозревал, что я не собираюсь у него зря околачиваться, то сочинил он письмо, как если бы ему надлежало в Лифляндии, откуда он был родом, навестовать свежий полк, и так сумел уговорить меня, что я отправился с ним в Висмар,⁴ а оттуда поехал в Лифляндию. Но все это был один пшик, ибо ему не токмо никто не поручал навестовать новый полк, но и сам он оказался пребедным дворянчиком, и было у него только то, что он получил за женою — поместье и приданое.

И хотя уже дважды был я им обманут и завезен в такую даль, однако ж клюнул на его приманку и в третий раз, ибо он показал мне грамоту, которую он получил из Москвы, в коей, как он уверял, предлагали ему сан большого воеводы, ибо он так растолковывал мне по-немецки сие послание и много хвастал, какое обещано ему изрядное жалование. И так как он поднимался с женою и детьми, то я помыслил: «Ну, за зря он с ребятишками туда не потащится!». И того ради пустился

с ним в путь с веселым упованием на будущее, понеже я и без того не видел ни случая, ни средства воротиться в Германию. Но как только мы пересекли русскую границу и нам стали попадаться навстречу отставные немецкие солдаты,⁵ особливо же офицеры, то у меня мурашки пошли по спине, и я сказал своему полковнику: «Какого черта нам тут зандобилось? Оттуда, где идет война, мы убрались, а тащимся туда, где царит мир, солдаты не в цене и уволены в отставку!». Он же все еще подбадривал меня добрым словом и сказал, что мне нужно только положить на него, ибо он лучше меня знает, что надлежит делать, чем эти трусоватые молодчики, от коих мало проку.

Когда же мы благополучно прибыли в стольный город Москву, то я тотчас же приметил, что свершил большую промашку; правда, мой полковник каждодневно имел конференции с тамошними магнатами и притом более с митрополитами, нежели с князьями, так что тут запахло не столько порохом, сколько ладаном, что вперило в ум мой диковинные помыслы и воображения, хоть я и не мог додуматься, куда он метит. Наконец, объявил он мне, что война тут не причем, а что совесть понуждает его принять греческую веру.⁶ И он от чистого сердца советует мне последовать его примеру, ибо отныне он не может больше мне пособить в том, что обещал. Его царское величество уже получил добрую ведомость о моей особе и моих отменных качествах; и ежели я поведу себя надлежащим образом, то буду милостиво пожалован богатым дворянским поместьем со множеством крепостных, от какового всемилостивейшего предложения не следует отказываться, ибо всякому более полезно приобрести в столь великом монархе всемилостивейшего повелителя, нежели неблагоклонного великого князя. Такие речи повергли меня в изумление, и я не знал, что ответить; ибо повстречай я этого полковника где еще, то он получил бы от меня в ответ добрую оплеуху. Однако ж принужден я был держать нос по ветру и приноровиться к месту, где я очутился, словно в плену, и того ради долго молчал, прежде чем решить дать ответ. Наконец, я сказал ему, что хотя намерен был служить его царскому величеству как солдат, для чего он, господин полковник, и побудил меня сюда приехать, но как ныне моя служба не нужна государю, то я не могу сие изменить или тем менее пенять на то, что ради него совершил понапрасну столь дальний путь, понеже он не призвал меня грамотою; но ежели бы его царское величество всемилостивейше соизволило оказать мне такую высокую милость, то мне более пристало бы прославлять ее на весь свет, чем всенижайше принять и заслужить, понеже я еще не могу решиться переменить свою религию, и потому выражал желание воротиться на мужицкий свой двор в Шварцвальде, не доставляя никому хлопот и неудобств. На что он ответил: «Вольному воля, но я думаю, что когда к нему бог и Фортуна милостивы, то следует по справедливости возблагодарить обоих. Когда же человек не кует

свое счастье, а сам хочет жить, как принц, то, надеюсь, его таковым и почтут, я же не щадил для него ни трудов, ни иждивения». Засим ответил он мне глубокий поклон и пошел своей дорожкой, оставив меня сидеть на месте и даже не дозволил, чтобы я проводил его до дверей.

А когда я сидел, пригорюнившись, и размышлял о теперешнем своем положении, слышал я, как к нашему дому подкатили две русские колымаги, а поглядев в окошко, увидел, что мой добрый господин полковник садится в одну из них со своими сыновьями, а в другую госпожа полковница с дочерьми. То была колымага и слуги великого князя, а кроме того, были тут кое-кто из духовенства, которые провожали эту чету и оказывали ей всяческое благоволение.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

*Симплиций готовит мушкетное зелье,
В чужом он пиру получает похмелье.*

С того самого времени стерегло меня несколько стрельцов, правда, не явно, а тайно, так что я даже ни разу это не приметил, а мой полковник пропал с глаз долой со всею семьею, и я не знал, куда он подевался. Тогда, о чем легко можно догадаться, самые нелепые мысли забирались мне в голову, а на ней прибавилось немало седых волос. Я свел знакомство с немцами, как обретавшимися в Москве по торговым делам, так и с ремесленниками, и посетовал им на свои обстоятельства, и как хитро меня обошли; они утешили меня и присоветовали, как мне воротиться в Германию с надежною оказиею. Но как только они прознали, что царь решил меня оставить в стране и хочет меня к тому приневолить, то все словно воды в рот набрали и так чуждались меня, что мне стало трудно найти себе пристанище, ибо я уже проел своего коня вместе с седлом и уздечкой и тратил один за другим дукаты, которые я мудро зашил про запас в своем платье. Под конец я начал продавать кольца и другие драгоценности в надежде прокормиться до тех пор, покуда не улучу счастливый случай воротиться в Германию. Меж тем прошло три месяца, после чего сказанный полковник был перекрещен в православие вместе со всеми своими домочадцами и пожалован знатным дворянским поместьем со множеством крепостных.

В то самое время был объявлен указ, воспрещавший под страхом великого неотменного наказания всякое тунеядство как тамошним жителям, так и чужестранцам, и всех праздношатающихся, дабы они не обжирали работающих и не рвали у них кусок хлеба из глотки, выслать из всей страны в течение месяца, а из Москвы в двадцать четыре часа.

Итак, собралось нас душ пятьдесят с тем, чтобы сообща с божьей помощью держать путь через Подолию¹ в Германию; однако ж мы не успели удалиться от города на два часа пути, как нагнал нас отряд русских всадников и поворотил обратно под тем предлогом, что его царское величество весьма прогневалось за то, что мы самовольно и в таком большом числе собрались ватагою и осмелились без паспортов проезжать по его стране, с присовокуплением, что его величество не почтет несправедливым за такое учиненное нами превеликое бесчинство сослать всех нас в Сибирь. На возвратном пути узнал я, к немалому своему огорчению, сколь плохи мои дела; ибо начальник того отряда всадников сказал мне несомнительно, что его царское величество не дозволит мне выехать из Московии, а посему чистосердечно советует мне склониться перед всемилостивейшей волей его величества, перейти в их веру и, как поступил полковник, не пренебречь взрачным дворянским поместьем с таким уверением, что ежели я от сего откажусь и не пожелаю жить у них, как господин, то противу своей воле принужден буду служить у них, как слуга; и его царское величество никогда не передумает и не выпустит из страны столь сведущего человека таких отменных качеств, как это описал уже многожды помянутый полковник. В ответ на сии слова я стал умолять его и сказал, что господин полковник уж верно приписал мне куда больше добродетелей, наук и художеств, нежели я обладаю. Правда, я затем и приехал сюда, чтобы служить до последней капли крови его царскому величеству и достославной российской нации против его врагов, но на то, чтобы переменить свою веру, я еще не могу решиться. Во всем же прочем, в чем только могу я служить его царскому величеству без отягчения совести, готов я не щадить и последние свои силы.

Меня отделили от всей ватаги и поставили на квартиру к одному купцу и теперь уже открыто держали под стражей, зато довольствовались отменными кушаньями и дорогими напитками со стола его величества, также каждодневно навевывались ко мне различные люди, которые вели со мною разговоры, а то и зазывали в гости, особливо же один лукавый муж, коему, нет сомнения, я был поручен; сей являлся ко мне каждый день и веселил меня дружескою беседою, ибо я уже довольно наострился по-русски. Он толковал со мною по большей части о различных механических художествах, и тем о военных и других машинах,² о фортификации, артиллерии и пр. Под конец, когда он уже несколько раз меня прошупал, не склонен ли я уступить намерениям его царского величества, и не обрел никакой надежды, что я хоть немного поколебался в своих мыслях, то пожелал и стал склонять меня к тому, что ежели я не хочу перейти в русскую веру, то по крайности должен я поведать и сообщить великому царю к чести их нации кое-что из того, чему научен в науках, и государь за такую мою готовность пожалует меня своей высокою царскою милостью. На сие отвечал я, что служить верою и правдою его царскому ве-

личеству было всегда моим сокровенным желанием, понеже я для того и прибыл в Московию, и что я еще и посейчас нахожусь в том же намерении, хотя и вижу, что меня содержат тут, как пленника. «Вовсе нет, сударь, — сказал он, — ты не в плену, а токмо его царское величество оказывает тебе такое любление, что не хотел бы расстаться с твоею особою!». «Так чего же ради, — спросил я, — меня держат под стражею?». «А для того, — отвечал он, — что его царское величество печется о том, как бы ни приключилось тебе какой досады или беды твоему здравью».

Когда же он уразумел мою пропозицию, то сказал, что его царское величество всемилостивейше изволило повелеть в своей стране копать селитру и готовить порох; но как у них не было таких мастеров, которые бы сие умели, то я сослужил бы весьма угодную службу его царскому величеству, ежели бы только мог сие произвести; они бы доставили под мою команду довольно людей и всего, что к тому потребно, и он от себя самого чистосердечно просит меня не отвергать сего всемилостивейшего предложения, понеже получил достоверную ведомость, что я изрядно разумею сие дело. На что я отвечивал: «Господин, я, как прежде, так и нынче, уверяю, что готов всем, чем только могу, служить его царскому величеству и не пощажу никаких трудов, ежели только его величество милостиво соизволит мне остаться в своей вере». Мои слова так развеселили этого россиянина, который был одним из самых знатных князей, что он распил со мною больше вина, нежели любой немец.

На следующий день пришли ко мне от его величества два князя и толмач, дабы окончательно порешить обо всем и одарить меня богатым русским платьем, пожалованным мне царем. Итак, в скором времени принялся я искать селитрянную землю³ и наставлять россиян, кои мне были препоручены, как надлежит извлекать и очищать селитру, а тем временем изготовил я также чертежи пороховой мельницы⁴ и обучал, как следует обжигать уголь, так что в короткое время мы стали изготовлять как отменный ручной, так и грубый пушечный порох изрядного качества,⁵ ибо у меня на все было довольно людей, а кроме того, и мои диковинные слуги, что должны были мне услужать или, лучше и честнее сказать, меня охранять и стеречь.

А когда, казалось, я так изрядно все наладил, то заявился ко мне со всею пышностию не раз помянутый полковник в дорогом русском платье со множеством слуг, нет сомнения, затем, чтобы сим показным великолепием склонить меня к тому, чтобы я переменял веру. Однако ж я хорошо знал, что платье ссудили ему из государевой казны⁶ для того, чтобы у меня слюнки потекли, ибо при царском дворе то была обычная хитрость.

И дабы читатель уразуметь мог, как там обычно идут дела, хочу я рассказать о том на своем примере. Однажды был я на пороховой мельнице, что была мною построена под Москвой на реке, и отдавал распоря-

жения приданным мне людям, какую кому из них надлежит исправить работу в тот самый и на следующий день; как неожиданно поднялась тревога, ибо в четырех милях от нас появились татары, почище коих в сто тысяч коней разорвало страну и быстро продвигалось вперед.⁷ Тогда я принужден был тотчас и безотлагательно отправиться вместе со всеми своими людьми в Кремль, где нас экипировали из царской оружейной палаты и конюшни. Мне, правда, достался вместо кирасы заплатанный шелковый панцирь, который хотя и задерживал стрелы, но мог быть пробит любой пулей; также дали мне сапоги, шпоры, княжеский шлем с пучком перьев и саблю, такую острую, что рубила волос, вдобавок отделанную чистым золотом и усеянную драгоценными камнями; а из царской конюшни привели для меня превосходного коня, какого я за всю свою жизнь не видывал, не говоря уже о том, чтоб им владеть. И сам я, и конский убор блистали золотом, серебром, жемчугом и драгоценными камнями; я привесил стальную булаву, которая сияла, как зеркало, и была так хорошо сделана и такая тяжелая, что с легкостью могла убить всякого, на кого обрушится, так что сам царь, ежели бы он отправился на битву, не мог бы снарядить себя лучшим образом. За мною везли белое знамя с двуглавым орлом, к коему со всех сторон стекались ратники, так что не прошло и двух часов, как собралось тысяч сорок, а спустя четыре часа тысяч шестьдесят конников, которые все и выступили против татар. Каждые четверть часа я получал устное приказание от великого князя, коим он всякий раз напоминал мне не о чем ином, как о том, что я должен оказать себя сегодня храбрым солдатом, каким себя рекомендовал, дабы и его царское величество могло почесть и признать меня таковым же. С каждою минутою наше войско умножалось в числе, ибо к нему притекали простые воины и начальники целыми отрядами и поодиночке, так что в этой суматохе я не мог распознать, кто командует всем корпусом и кому надлежит вести баталию.

Мне неохота рассказывать все обстоятельства этого сражения, ибо оно почти не относится к моей истории; я хочу только поведать, что татары на истомленных лошадях и отягченные множеством добычи были внезапно, и когда они того меньше всего ожидали, настигнуты и атакованы нами в долине или довольно глубокой лощине с такою яростию, что мы поначалу сразу же их разъединили. В первой сшибке сказал я по-русски тем, что следовали за мной: «Ну, с богом! Пусть каждый творит то же, что и я». Они все прокричали друг другу о том же, и я, опустив забрало, ринулся на врагов и первому, кого повстречал, а это был мирза, проломил голову с такою силою, что мозг его, смешавшись с кровью, прилип к стальной моей булаве. Русские последовали сему геройскому примеру так, что татары не устояли противу такого нападения, а обратились во всеобщее бегство. Я же бился, словно бешеный, или как человек, который в отчаянии ищет себе смерти и не может ее обрести. Я валил и крушил

всех, кто мне попадался навстречу, не разбирая, татары то или русские. А те, коих царь приставил ко мне, с таким усердием теснились за мной, что все время надежно прикрывали меня с тыла. Воздух был напоен стрелами, словно летел рой шмелей или пчел, из коих одна впиалась мне в руку, ибо я засучил рукава, чтобы легче было управляться с саблей и булавой, кромсать и убивать до смерти. И до тех пор, покуда я не перехватил стрелу, сие кровопролитие веселило мое сердце, когда же я увидел, что пролилась собственная моя кровь, то веселие переменилось в ярость. После того как лютые враги были обращены в повальное бегство, то некоторые князья повелели мне по царскому указу доставить радостное известие о том, как мы одолели татар, самому государю. Итак, возвратился я по их слову назад в сопровождении свиты примерно в сто всадников. Я проскакал через весь город к царскому дворцу, встречаемый радостными криками и благословениями всего народа; однако ж как только я доложил о сражении, хотя великий государь был обо всем уже довольно известен, то принужден был бережно снять с себя княжеское одеяние, которое было возвращено в царскую казну, хотя все оно вместе с конским убором было забрызгано и замазано кровью, так что стало ни к чему негодным, и я полагал, что не иначе, как мне его вместе с лошадию пожалуют в награду за то, что в этом сражении я бился, как рыцарь; а посему узнал, как у русских обстояло дело со всею пышностью в одеждах, коими щеголял передо мною мой полковник, ибо они были заемными товарами, кои, как и все другие вещи во всем русском государстве, принадлежат одному только царю.

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА

*Симплиций на Волге неожиданным манером
К татарам попал, а затем на галеры.*

Все время, пока не зажила моя рана, меня угощали по-княжески; и я все время расхаживал в мурмолке, расшитой золотом и отороченной соболем; и хотя рана моя была вовсе не смертельной и не опасной, за всю жизнь я не пользовался такой жирной кухней, как тогда. Но сие было единственной моей добычей, которую я получил тогда за все труды, не считая похвалы, коей удостоил меня царь, каковая, однако ж, была отравлена мне завистью некоторых князей.

А когда я совершенно поправился, то был отправлен на корабле вниз по Волге в Астрахань, дабы и там учредить приготовление пороха, ибо царю было весьма несподручно всякий раз снабжать эту пограничную крепость свежим и добротным зельем из Москвы, да и столь дальний

путь по воде был сопряжен с немалыми опасностями. Я охотно согласился сие исполнить, ибо был обнадежен, что по исправлению сего дела царь отправит меня в Голландию и пожалует меня деньгами сообразно своему величию и моим заслугам. Но горе! Когда мы более всего уверимся в своих надеждах и предположениях, то нечаянно подымется ветер и разом опрокинет все зыбкое строение, которое мы столь долго сооружали.

Воевода в Астрахани потчевал меня так же, как и царь, и вскорости я все там наладил; залежалую амуницию, которая прогнила и заржавела, так что от нее нельзя было больше ожидать никакого эффекта, я переделал заново подобно жестянику, который старые оловянные ложки переливает в новые, что тогда у русских было делом неслыханным; по сей причине, а также и другим моим художествам одни почитали меня колдуном, другие новоявленным святым или пророком, а некоторые новым Эмпедоклом или Горгием Леонтином.¹ Однажды, когда я был занят по горло и заночевал на пороховой мельнице, устроенной за крепостной стеной, меня воровским образом захватила и полонила шайка кочевых татар, которые увели меня вместе со множеством других в глубь своей страны, так что я не только повидал там редкостное растение боранец,² но и отдал его. Кочевые татары поменяли меня на различные китайские товары нючженьским татарам,³ а те презентовали меня как особую диковинку королю Кореи, с коим они только что заключили перемирие. Там я снискал себе превеликое уважение, ибо никто не мог сравниться со мною в умении владеть тесаком, и я обучал короля, как изловчиться, чтоб, положив мушкет на плечо и повернувшись к мишени спиной, все же попасть в самую сердцевину, по каковой причине он стал так милостив, что по моей верноподданной просьбе даровал мне свободу и через Японию отправил в Макао к португальцам, но те немного обо мне печалились; того ради бродил я повсюду, словно овца, что отбилась от своей отары, покуда, наконец, диковинным образом не был захвачен турецкими или магометанскими морскими разбойниками, а они целый год таскали меня по морям среди невиданных чудных народов, обитавших на восточноиндийских островах, пока не сторговались с несколькими купцами из Александрии в Египте. Они доставили меня вместе со своими товарами в Константинополь, и понеже турецкий султан снаряжал в то время галеры против Венеции,⁴ то явилась недостача в гребцах, и многие турецкие купцы принуждены были уступить, однако ж за наличные деньги, своих рабов-христиан, среди коих оказался и я, ибо был молодым и здоровым детиною. Итак, принужден был я научиться грести; но такая тяжелая служба продолжалась не более двух месяцев, ибо в Леванте⁵ нашей галерой рыцарски овладели венецианцы, и я вместе со всеми моими товарищами был вызволен из турецкой неволи. А когда помянутая галера вместе с богатой добычею и несколькими знатными турецкими пленниками была приведена в Венецию,

то мне предоставили полную свободу, ибо я вознамерился совершить паломничество в Рим и Лоретто,⁶ дабы осмотреть эти места и возблагодарить бога за свое избавление. Для такой цели я с легкостью получил паспорт, а некоторые благочестивые люди, особливо же немцы, оказали мне изрядную поддержку, так что я был снабжен долгополым пилигримским одеянием и смог отправиться в путешествие.

Засим пустился я кратчайшим путем в Рим, где мне изрядно повезло, ибо я вынищенствовал себе у знатных и простолюдинов немало всякого подаяния; и после того, как провел там примерно шесть недель, отправился я в Лоретто вместе с прочими паломниками, среди коих были и немцы, особливо же из Швейцарии, которые хотели воротиться домой. Оттуда перевалил я через Готтард и пересек Швейцарию, добравшись до Шварцвальда к моему батьке, который сохранял мой двор и своим управлением привел его в наилучшее состояние, тогда как я не принес домой ничего, кроме бороды, отросшей у меня на чужбине.

Я пробыл в отлучке три года и несколько месяцев, за каковое время перешлыл различные моря и нагляделся на многие народы, но повсюду встретил больше зла, нежели добра, о чем можно было бы написать большую книгу. Меж тем был заключен немецкий мир,⁷ так что теперь могу жить у моего батьки в надежном спокойствии; я оставил его хозяйничать и заботиться обо всем, сам же снова засел за книги, кои отныне стали моим упражнением и отрадой.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА

*Симплиций зрит жизни суетный плен,
Все для него здесь тщета, прах и тлен.*

Однажды я прочитал, какой ответ дал оракул Аполлона римским посланам, когда они спросили его, что надлежит учинить, дабы с миром править подданными: «*Nosce te ipsum*»,¹ т. е. пусть каждый познает самого себя. Сие произвело то, что я оглянулся на прожитую жизнь и возжелал отдать отчет о ней самому себе. «Жизнь твоя была не жизнью, а смертью; дни твои — тяжкие тени, годы — тяжкие сны, наслаждения — тяжкие грехи; твоя юность — мираж, твое благополучие — сокровище алхимика, которое вылетает в трубу и покидает тебя, прежде чем ты успеешь сие уразуметь! Ты испытал бесчисленные опасности на войне, где перепало тебе немало счастья и злополучия, то ты возносился, то падал, то был знатен, то ничтожен, то богат, то беден, то радостен, то печален, то любим всеми, то ненавидим, то в почете, то в презрении. Но ты, о бедная моя душа, что обрела ты в сем странствии? Вот что

стало твоим уделом: я оскудел добротою, сердце мое отягощено заботою, я нерадив ко всему доброму, ленив и испорчен, а что горше всего, совесть моя смущена и встревожена, сам же я погряз в скверне греха и беззакония! Тело устало, разум помрачен, невинность исчезла, лучшая пору юности растрочена, золотое время потеряно. Ничто уже не радует меня, и сверх того стал я чужд самому себе. Когда после смерти блаженной памяти отца моего пришел я в мир, то был прост и чист сердцем, прямодушен и честен, правдив, смирен, скромн, воздержан, целомудрен, стыдлив, богобоязнен и благочестив, но вскорости я стал зол, лукав, лжив, заносчив, задирилив и безбожен во всех делах своих, каковым всем порокам обучился я без наставника. Я соблюдал свою честь не ради ее самой, а для того чтобы возвыситься. Я смотрел на время не затем, чтобы употребить его для душевного спасения, а для того чтобы улаживать свое тело. Я много раз подвергал опасности свою жизнь, но никогда не печалился о том, чтобы ее исправить, дабы обрести себе непостыдную и блаженную кончину. Я взирал на одну токмо временную жизнь и преходящую пользу и ни разу не помыслил о будущем и еще менее о том, что принужден буду дать отчет перед престолом вышнего!». Такими мыслями терзал я себя каждодневно, и как раз в это время попались мне в руки некоторые сочинения Гевары, из коих я приведу несколько слов, ибо они были столь сильны, что совершенно отвратили меня от мира. И сии слова были следующие:

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

*Симплиций от мира сего отрекается,
Строгим отшельником жить собирается.*

«Прощай, мир! Ибо на тебя нельзя ни положиться, ни надеяться; в твоей обители уже исчезло прошлое, уплывает из рук настоящее, а будущее никогда не приходит, наипостояннейшее рушится, наикрепчайшее разлетается в прах и наивечное приемлет свой конец, так что ты не кто иной, как мертвец среди мертвецов, и за целые века не даруешь нам ни единого часа жизни.

Прощай, мир! Ибо ты пленяешь нас и никогда не отпускаешь на волю; ты вяжешь нас и не развязываешь, ты огорчаешь без утешения, ты грабишь и не отдаешь обратно; ты обвиняешь без причины, ты осуждаешь, не выслушав сторон, и так ты убиваешь нас без приговора и погребашь без смерти! И нет у тебя ни единой радости без печали, мира без несогласия, любви без подозрения, спокойствия без страха, изобилия без

скудости, чести без пятна, имения без нечистой совести, сословия без недовольства и дружбы без лицемерия.

Прощай, мир! Ибо в твоём дворце дают посулы, не помышляя об их исполнении; служат без вознаграждения, ласкают, чтобы умертвить; возвышают, чтобы низвергнуть; поддерживают, чтобы подтолкнуть; чтят, чтобы обесславить; берут в долг, чтобы не возвращать; карают без помилования.

Спаси тебя бог, мир! Ибо в твоём доме низвергают великих господ и избранных Фортуны, предпочитают недостойных, осыпают милостями предателей, а верных держат у порога; злодеев оставляют на свободе, а невинных карают; мудрейших и сведущих прогоняют в отставку, а неспособным назначают большое жалованье; лукавым верят, а правдивых и честных лишают всякого кредита; и каждый творит, что он хочет, и никто не делает того, что ему надлежит.

Прощай, мир! Ибо никто в тебе не назван своим настоящим именем; дерзкого называют отважным, трусливого осторожным, настырного прилежным, а малодушного миролюбивым. Расточителя именуют щедрым, а скрягу бережливым, лукавого болтуна и пустобреха красноречивым, а молчаливого дурнем или фантастом; прелюбодея и растлителя девиц нежным вздыхателем, порочного зовут галаном, мстительного горячим и мягкосердечного сумасбродом, так что ты сбываешь нам дельного за бездельника, а бездельника за дельного.

Прощай, мир! Ибо ты соблазняешь каждого: честолюбцам сулишь ты почести, беспокойным перемену, чванливым милость у князей, нерадивым должности, скрягам превеликое сокровище, обжорам и развратникам наслаждение и сладострастие, враждующим месть, ворам утайку, молодым долготлетие, фаворитам беспреостанное княжеское благоволение.

Прощай, мир! Ибо в твоём дворце не обретут себе прибежища ни правда, ни верность! Кто вступит с тобою в беседу, уйдет со стыдом; кто тебе доверится, будет обманут; кто тебе последует, впадет в соблазн; кто тебя страшится, с тем обойдутся горше всех; кто тебя возлюбит, будет худо вознагражден, а кто больше всех на тебя положится, тот больше всех будет посрамлен. Тебя не умилоствит никакими подарками, что дают тебе, и никакою услугою, что тебе оказывают, и никакими ласковыми словами, что тебе говорят, и никакой верностию, что тебе соблюдают, и никакой дружбой, что тебе изъявляют; ты же обманываешь, низвергаешь, растлеваешь, сквернишь, угрожаешь, губишь и забываешь всякого; а посему всяк плачет, вздыхает, стонет, сетует, никнет и обретает себе погибель. В тебе не узришь и не научишься ничему иному, как только ненавидеть друг друга до душегубства, болтать до полной жи, любить до дикости, торговать до грабежа, просить до обмана и грешить до смерти.

Спаси тебя бог, мир! Ибо тот, кто последует тебе, расточит время в забвении, юность в беготне и скакании, носясь через тын да плетень, по

дорогам и тропам, по горам и долинам, по лесам и пустошам, по морям и рекам, в дождь и снег, в жару и холод, в ветер и непогоду. Зрелость изнурит в том, чтоб руду копать и плавить, камни сечь и гранить, лес рубить и плотничать, растения сажать и возделывать, тшиться в помыслах и мечтаниях, судить да рядить, в хлопотах и жалобах, в купле и продаже, в ссорах и раздорах, на войне, во лжи и обмане. Старость иссушит нас в горести и нищете, изнеможет дух, дыхание станет зловонным, лицо покроется морщинами, стан сгорбится, очи померкнут, все члены будут дрожать, на носу повиснет капля, голова облысеет, уши оглохнут, обоняние притупится, вкус пропадет, только и останется, что вздыхать да кряхтеть, гнить да слабеть и, одним словом, до самой смерти, кроме трудов да забот, ничего не иметь.

Прощай, мир! Ибо никто не стремится в тебе к благочестию. Каждодневно казнят злодеев, четвертуют предателей, вешают воров, уличных грабителей и мошенников, рубят головы смертоубийцам, сжигают колдунов, наказывают клятвопреступников и изгоняют возмутителей.

Спаси тебя бог, мир! Ибо слуги твои не ведают иных трудов и потех, как только предаваться лени, глумиться и поносить друг друга, соблазнять девиц, любезничать с женщинами и заводить с ними шашни, играть в карты и бросать кости, бражничать со сводниками, вздорить с соседями, переносить сплетни, задумывать новые происки, драть ростовщичьи проценты, изобретать новые моды, измышлять новое коварство и вводить новые пороки!

Прощай, мир! Ибо никто не доволен и не удовлетворен тобою. Кто беден, тот хочет разбогатеть; кто богат, тот тшится завладеть еще большим; кто презрен, тот мечтает возвыситься; кто оскорблен, тот жаждет мести; кто в милости, тот стремится повелевать; кто порочен, тот не желает себе ничего иного, кроме бодрости.

Прощай, мир! Ибо в тебе ничто не постоянно. В высокие башни ударяет молния, мельницы сносят потоки воды, дерево точат черви, зерно поедают мыши, плоды — гусеницы, а платья — моль; скот гибнет от дряхлости, а утлый человек от болезни. У одного стружья, у другого рак, у третьего волчанка, у четвертого францы, у пятого подагра, у шестого хирагра, у седьмого водянка, у восьмого камни, у девятого песок, у десятого легочная чахотка, у одиннадцатого лихорадка, у двенадцатого проказа, у тринадцатого падучая, а у четырнадцатого безумие! В тебе, о мир, никто не поступает так же, как другой; ибо когда один плачет, то другой смеется; один вздыхает, другой радостен; один постится, другой бражничает; один пирует, а другой страждет от голода; один гарцует на коне, а другой бредет пешком; один говорит, другой помалкивает; один играет, другой работает; и когда один рождается на свет, другой умирает. И вот каждый живет не так, как другой; один повелевает, другой служит; у одного паства — люди, а другой пасет свиней; один следует за двором, дру-

гой идет за плугом; один плавает по морям, а другой путешествует по стране, перебираясь с ярмарки на ярмарку; один трудится у огня, другой копошится в земле; один ловит рыбу в воде, а другой птицу в воздухе; один работает в поте лица, а другой ворует и грабит страну.

О, мир, избави тебя бог! Ибо в твоём доме не ведут праведной жизни, а равно и не обретают блаженной кончины. Один умирает в колыбели, другой в юности на постели, третий на виселице, четвёртый под мечом, пятый на колесе, шестой на костре, седьмой тонет в вине, а восьмой в реке, девятый задыхается от чревобесия, а десятый обкормлен ядом, одиннадцатый умирает скоростижно, двенадцатый в сражении, тринадцатый от чародеев, а четырнадцатый топит свою бедную душу в чернильнице.

Спаси тебя бог, мир! Ибо мне прискучила твоя беседа! Жизнь, кою ты нам даруешь, — прехалкое странствие, непостоянное, ненадежное, жестокое, грубое, скоропреходящее и нечистое житие, полное скудости и заблуждений, так что надлежит скорее наречь его смертью, нежели жизнью, в коей мы каждое мгновение умираем от множества пороков преходящего бытия на многообразных стезях смерти. Ты не довольствуешься горечью самой смерти, коей ты препоясан и пропитан, но коликое ещё множество людей прельщаешь своим ласкательством, подзадориванием и лживыми посулами; из золотого кубка, что у тебя в руках, ты даешь им испить горечь и обман, превращая их в слепцов, глухих, бешеных, питухов и безумцев! О, сколь блаженны те, кто бежит твоего общества и не хочет свергнуть себя в погибель вместе с сим коварным и бессовестным обманщиком. Ибо ты обращаешь нас в темную пропасть, жалкую юдоль, дитя гнева, вонючую падалю, нечистый сосуд в выгребной яме, сосуд тления, полный смрада и мерзости; ибо как только ты заманишь и истомишь нас своими обольщениями, ласками, угрозами, боями, мучениями, пытками и тиранством, тотчас же предаешь наше истерзанное тело могиле, а душу переселяешь в ненадежные шанцы. Ибо хотя нет ничего вернее смерти, однако ж человек не уверен, когда и как он умрет и (что всего жалостнее) куда отправится его душа, и каково ей там будет. Горе тогда бедной душе, что тебе, о, мир! Служила, повиновалась и следовала твоему роскошеству и похоти; ибо как только в скором и внезапном страхе разлучится она со своим бранным телом, то окружают ее не друзья и слуги, кои окружали сие тело при жизни, а полчища наигнуснейших ее врагов, которые повлекут ее к дивному Судилищу Христа. Посему, о, мир, спаси тебя бог, ибо я твердо знаю, что ты отступишься и покинешь меня не только, когда бедная моя душа предстанет пред ликом строгого судии, но и когда прогремит наужасающий приговор: „Грядите вы, отверженные, в огонь вечный!“.

Прощай, мир! Презренный скаредный мир! О, ты, смрадная жалкая плоть! Ибо ради тебя и за то, что следовала, служила и повиновалась тебе безбожная, нераскаянная душа, будет осуждена она на вечное проклятие, в коем во веки вечные ожидает ее вместо быстротечных радостей

безутешная мука, вместо обжорства ненасытный голод, вместо пышности и великолепия непроглядная темнота, вместо триумфа и возвеличения беспрестанные вопли, плач и стенание, пекло без прохлады, огонь неугасимый, хлад безмерный и печаль бесконечная.

Спаси тебя бог, о, мир! Ибо вместо обетованных тобой радостей и утех наложат на нераскаянную осужденную душу свои лапы демоны и во мгновение ока увлекут в преисподнюю; там не узрит и не услышит она ничего иного, как токмо ужасающие облики дьяволов и осужденных, тьму кромешную и чад, огонь без отблеска, крики, вой, скрежет зубовой и богохульство. С того часу минет всякая надежда на прощение и милость, и никто не воззрит на земную честь и достоинство; чем выше кто поднялся, чем тяжелее его грехи, тем глубже будет он низвергнут и тем жесточе будет его мука. Кому много дано, с того много и спросится, и кто больше возвеличился в тебе, о скарредный презренный мир, тому больше будет отпущено пыток и мучений; ибо того требует божественная справедливость.

Спаси тебя бог, о, мир! Ибо хотя тело и будет некоторое время лежать и гнить в тебе, однако ж в день Страшного суда оно восстанет и по решению последнего приговора соединится с душою в вечном адском пламени. И тогда воскликнет бедная душа: „Будь проклят ты, мир! Ибо по твоему соблазну забыла я бога и самую себя и предала все дни жизни своей твоим роскошствам, злобе, греху и сраму! Проклят будь тот час, в который бог сотворил меня! Проклят будь тот день, в который я родилась в тебе, о, скарредный злой мир! О, вы, горы, холмы и скалы, падите на меня и сокройте меня от жестокого гнева Агнца, от лица того, кто восседает на троне судии! О горе и паки горе вовек!“.

О, мир! Полный скверны мир! Того ради я заклинаю тебя, я умоляю тебя, я увещаю тебя, я протестую против тебя, чтобы ты ни в чем не был ко мне причастен. И, напротив, я не возлагаю более надежды на тебя, ибо тебе ведомо, что я принял твердое намерение, а именно: „*Posui finem curis, spes et fortuna, valete!*“¹.

Все сии слова я взял в рассуждение с великим прилежанием и, неотступно размышляя, преклонил себя к тому, что покинул мир и снова стал отшельником. Я бы с большею охотою поселился в глуши у моего источника, но мужики по соседству не захотели того допустить, хотя для меня то была бы отрадная пустыня. Они боялись, что я объявлю об этом источнике и тем склоню власти по случаю заключенного мира понудить их проложить туда дороги и тропы; того ради отправился я в другую дикую местность, где снова повел жизнь, как в Шпессерте; но, пребуду ли я там, как мой блаженной памяти родитель, до конца дней своих, покажет время. Бог да ниспошлет всем нам свою милость и уготовит нам то, к чему нам всем более всего стремиться должно, а именно, блаженный

Новорасположенного и многажды исправленного
Заново перелитого

ЗАТЕЙЛИВОГО СИМПАЦИССИМУСА

*Продолжение и конец,
или Шестая книга*

Рачением

ГЕРМАНА ШЛЕЙФХЕЙМА
ФОН ЗУЛЬСФОРТА

МОМПЕЛЬГАРТ
У ИОАННА ФИЛЛИОНА 1671

О, ты, непостоянство! Прременчивы дела!
Себя в покое мнишь ты, летишь же, как стрела,
Обманчивый покой ввергает в заблужденье.
О, суета сует, о, скорое паденье!
Познал вещей я тленность и смерти произвол
И на себе самом я сей опыт произвел!
А посему и в книге твержу я неустанно,
Одно непостоянство на свете постоянно.

КНИГА ШЕСТАЯ

- 1-я гл. Симплиций рассказ начинается вступлением
О том, как жилал он чужим иждивеньем.
- 2-я гл. Симплициус зрит, как Люцифер ярится,
С миром в Европе не хочет примириться.
- 3-я гл. Симплициус зрит в преисподней парад,
Грехов и пороков пред ним маскарад.
- 4-я гл. Симплициус слышит в сонном мечтаньи
Скряги и Роскоши пререканье.
- 5-я гл. Симплициус видит двух юношей в гавани,
Оба пустились в опасное плавание.
- 6-я гл. Симплиций с Юлием в путь снарядился,
Авар от сего весьма поживился.
- 7-я гл. Симплиций видит: ворует Авар,
А Юлия долг не кидает в жар.
- 8-я гл. Симплиций взирает полон боязни,
Как совершают две страшные казни.
- 9-я гл. Симплициус дискурс ведет с Бальдандерсом,
С коим в лесу он долго валандался.
- 10-я гл. Симплиций в пустыне замыслил спроста
Направить стопы во святые места.
- 11-я гл. Симплиций в месте укромном над дыркой
Беседу ведет с шершавой Подтиркой.
- 12-я гл. Симплиций внимает продолжению повести,
Поступает с Подтиркою по чистой совести.
- 13-я гл. Симплициус бюргеру пишет цидулю,
Дабы берегла его вечно от пули.

- 14-я гл. Симплиций напелл простакам небылицы
О странах диковинных, рыбах и птицах.
- 15-я гл. Симплициус в замке, где призраки бродят,
Со страху душа его в пятки уходит.
- 16-я гл. Симплиций из замка выходит на волю,
Защиты дукаты в новом камзоле.
- 17-я гл. Симплиций в одежде худой пилигрима
Решает добратся до Иерусалима.
- 18-я гл. Симплиция водят на цепи по майданам,
Набивают бродяги себе карманы.
- 19-я гл. Симплициус после кораблекрушения
Обретает камрада себе в утешение.
- 20-я гл. Симплиций и плотник находят стряпуху,
Подпадают искушению злого духа.
- 21-я гл. Симплиций и плотник ставят крест,
Который виден далеко окрест.
- 22-я гл. Симплиций на острове один пребывает,
А друга своего во гроб полагает.
- 23-я гл. Симплиций кончает другим в назидание
На пальмовых листьях рукописание.
- 24-я гл. Ян Корнелиссен — голландский капитан
Обрел Симплициссимуса среди диких стран.
- 25-я гл. Симплиций в неложном страхе и тревоге
Укрылся от матросов в каменной берлоге.
- 26-я гл. Симплиций и капитан уговор учинили,
Безумным матросам разум воротили.
- 27-я гл. Симплиций с голландцами простился сердечно,
А сам на острове остался навечно.

К О Н Е Ц



ПЕРВАЯ ГЛАВА

*Симплиций рассказ начинается вступлением
О том, как жила он чужим иждивением.*

Ежели кто возомнит, что я поведал свою историю только затем, чтобы себе и другим скоротать время или посмешить людей, как то в обычае у лукавых шутов и балагуров, тот весьма ошибается! Ибо когда подымется много смеху, то мне самому тошнехонько, а кто понапрасну упускает благородное невозвратное время, тот расточает без пользы дар божий, ниспосланный нам, дабы мы памятовали и пеклись о нашем душевном спасении. Чего же ради стал бы я споспешествовать такому суетному дурачеству и безо всякой причины понапрасну докучать людям такую потехою? Словно я не знаю, что таким образом делаю я себя сопричастным чужому греху? Любезный читатель, я отважился посвятить себя подобной профессии, дабы хоть немного соделать добро; того ради кто пожелает обзавестись шутом, то пусть приобретет двоих; они и подымут его на смех. А ежели я порой и подпущу какую смешинку, то единственно ради тех неженков, что могут не проглотить целительные пилюли, ежели они сперва не позлащены и не подслащены, не говоря уже о тех высокопочтенных мужах, кои, когда им доведется читать пресерьезное сочинение, скорее выронят из рук книгу, когда им подвернется такая, что иногда побудит их немного посмеяться. А может быть, начнут обвинять меня в том, что я чересчур ударяюсь в сатиру; но мне вовсе нельзя поставить сие в упрек, ибо многие предпочитают, чтобы всеобщие пороки обличались и казнились генерально, вместо того чтобы их дружески укоряли в собственных прегрешениях. И такой теологический штиль у господина Аминя¹ (кoему я однажды поведал свою историю) в нынешнее время, к сожалению, также не больно-то в чести, чтобы я мог к нему прибегнуть. Сие с легкостью заключить можно, глядячи на ярмарочных лекарей или шарлатанов² (кои сами себя именуют знатными врачами, окулистами, грыже- и камнесечцами, а также имеют о том добрые пергаменные грамоты с привешенными к ним печатями), когда кто-нибудь из них выходит

на ярмарочные подмостки вместе с Гансвурстом или Гансом Супом³ и с первого же выкрика и диковинных прыжков и ужимок своего шута собирает вокруг себя куда больше зевак и слушателей, нежели прилежный пастырь духовный, который со звоном во все колокола трижды созывает вверенных его попечению овецек, дабы прочитать им плодоносную целительную проповедь.

Как бы там ни было, я объявлял перед всем светом, что не почту себя виновным, ежели кто посетует, что я вырядил Симплициссимуса по той моде, которую люди сами требуют, когда хотят их наставить чему-нибудь полезному. А коли они тешат себя скорлупкой и пренебрегают скрытым в ней орешком, то хотя и останутся довольны сею повестью, как весьма забавной, однако ж далеко не уразумеют того, что я собственно хотел им преподать: засим зри снова слова, коими я довольствовался в конце пятой книги.

Там любезный читатель узнает, что я снова сделался отшельником, а также по какой причине сие произошло; того ради приличествует мне поведать, какую жизнь повел я с того часу. Первые месяцы, покуда было еще тепло, все шло весьма хорошо: жажду плотских утех или, лучше сказать, грехов, коим я прежде усердно предавался, смирял я поначалу без особого труда, ибо с тех пор как я отрекся от служения Бахусу и Церере, то и прекрасная Венус не захотела меня больше посещать. Однако ж таким путем я не достиг совершенства, ибо то и дело претерпевал много-различные искушения, и когда я, дабы побудить себя к раскаянию, помышлял о своих прежних распутных похождениях, то разом приходили мне на память все утехы, коими я повсюду ублажал себя, что не всегда споспешествовало моему здравью и духовному совершенствованию. Но как я с того времени поразмыслил и рассудил о сем предмете, то праздность, злейший мой враг, и свобода (ибо надо мною не стоял ни один священнослужитель, который пекся бы обо мне и надзирал за мною) были причиною того, что я не всегда твердо стоял на избранной мною стезе. Я поселился на высокой горе, прозванной Моховая голова,⁴ что возвышается в Шварцвальде среди темного елового леса, так что передо мною на востоке открывался прекрасный вид на лощину Оппеннау⁵ и ее окрестности, на юге Киндигская долина⁶ и графство Герольдек,⁷ где посреди двух соседних гор стоял высокий замок, словно король на кегельбане, на западе я мог видеть верхний и нижний Эльзас, на севере тянулось вниз по Рейну маркграфство Нижний Баден⁸ и в той же стороне горделиво подымался город Страсбург с его высокой соборной башней, словно сердце, заключенное в плоть. Созерцая и наблюдая столь прекрасные местности, я более увеселял себя, нежели усердно молился: к сему меня изрядно приохотила моя першпективная трубка, с коей я не расстался. А когда я по причине темной ночи не мог ею пользоваться, то брал инструмент, который я изобрел для усиления слуха, и прислушивался к тому, как за

несколько часов пути от меня брешут деревенские собаки или пробегает дичь поблизости от моего жилья. В таких дурачествах провождал я свое время, но не находил его для трудов и молитвы, чем поддерживали свою плоть и свой дух древние египетские отшельники.⁹ Поначалу, когда я был в тех местах еще внове, бродил я от дома к дому в ближних долинах и снискивал себе пропитание милостыню, однако ж не брал ничего сверх того, в чем у меня была нужда, особливо же презирал я деньги, что все окрестные соседи почитали превеликим чудом и как бы своего рода апостольскою святостью. Но как только узнали, где я живу, то кто бы ни отправлялся в лес за своим делом, всегда приносил мне что-нибудь съестное. Они прославляли повсюду мою святость и беспримерную отшельническую жизнь, так что даже люди из более отдаленных местностей, то ли из любопытства, то ли из благочестия, с немалым трудом пробирались ко мне со своими подношениями. Так что у меня не только не было недостатка в хлебе, масле, соли, сыре, сале, яйцах и других подобных припасах, а скорее изобилие, от чего я не становился благочестивее, а напротив, чем далее, тем нерадивее, ленистнее и хуже, так что меня уже почти можно было назвать лицемером или продувным святошей. Однако ж я не перестал мысленно рассуждать о пороках и добродетелях и помышлять о том, что мне надлежит делать, ежели я хочу попасть на небо. Но все шло у меня безо всякого толку и надежного совета и также твердого намерения приложить к сему всю серьезность, какую требовало мое исправление.

ВТОРАЯ ГЛАВА

*Симплициус зрит, как Люцифер ярится,
С миром в Европе не хочет примириться.*

Мы читаем в книгах, что в давние времена в установленных богом различных христианских церквах мортификация, сиречь умерщвление плоти, преимущественно состояло в молитве, посте и бдении; но как я в первых сих упражнениях был мало прилежен, то и позволял одолевать себя сладостному дурману сна, когда только мне не вздумается сию вину (которую мы разделяем со всеми тварями) приписать самой натуре. Однажды предавался я лени в тени под елью и прислушивался к бесполезным моим мыслям, вопрошая, какой грех больше и горше — скупость или расточительство? Я сказал: «Бесполезным моим мыслям» — и повторю еще раз! Ибо, любезный читатель, чего ради надобно было мне печалиться о расточительстве, когда мне нечего было расточать? И какое мне было дело до скупости, когда мое состояние, кое я сам избрал себе добровольно, требовало от меня, чтобы я провождал свою жизнь в бедности

и скудности? Но, о, безумие, тогда я так сильно хотел этого дознаться, что уже не мог больше отделаться от сих мыслей, так что посреди них задремал. Чем кто занят, когда он бодрствует, о том он обычно и грезит, и сие как раз и приключилось тогда со мною; едва я смежил очи, как привиделось мне в темной ужасающей пропасти адское полчище во главе с князем тьмы Люцифером, кой хотя и восседал на судейском своем троне, однако ж был окован цепью, дабы не мог оказать над миром свое бешенство; множество адских духов, коими он был окружен, ублажали его адское могущество усердным своим служением. Когда я наблюдал сию придворную челядь, то внезапно по воздуху пролетел скорый гонец, который опустился перед Люцифером и возвестил: «О великий князь! Заключение немецкого мира принесло покой почти всей Европе. Повсеместно возносится к небу „Gloria in excelsis“¹ и „Te Deum laudamus“², и всяк, благоденствуя среди виноградных лоз и смоковниц,³ тщится служить богу».

Когда Люцифер услышал сию ведомость, то сперва повергся в столь жестокий страх, кой можно было поравнять только с его злобою к благополучию рода человеческого, когда же он малость опаматовался и рассудил про себя, какие протыри и убытки понесет по всем статьям его адское царство, то пришел в ужасающее неистовство; он скрежетал зубами с такою свирепостью, что все вокруг сотрясалося от страха, а глаза его от ярости и гнева сверкали так люто, что из них, подобно молнии, вырывалось серное пламя и наполняло все адское его обиталище; что поверглись в трепет не токмо бедные осужденные человеческие души и ничтожные адские чины, но и самые знатные князья ада и тайные его советники. Наконец, выставив рога, стал он бросаться на адские скалы, так что содрогалась вся преисподняя, и так бушевал и ярился, что приближенные не могли вообразить ничего иного, как то, что он совсем обезпамятствовал и вздурился, ибо долгое время никто из них не отваживался к нему подступиться и еще того менее прекословить ему хотя бы единым словом.

Наконец Белиал⁴ так осмелел, что изрек: «Могущественный князь! Что означают сии мины вашего бесподобного величества? Что такое? Или великий государь запаматовал самого себя? Что означают сии необычные ухватки, кои не доставят вашему адскому величеству ни пользы, ни славы?». «Ахти мне! — воскликнул Люцифер. — Ахти мне, мы тут все проспали и по собственной нашей лености допустили, что Ierna malorum⁵ — любезный наш знак, кой мы, заполнив им Европу, возрастили со столь великими трудами и усердием, всякий раз пожиная сторицею обильную жатву, отныне исторгнут из немецких пределов, и коли мы ничего не предпримем, то надобно опасаться, что будет извержен также изо всей Европы! И среди вас всех не нашлось ни одного, кто бы доподлинно о том сокрушался! Не позор ли вам всем, что те немногие дни, что еще остались до конца света, мы расточаем с таким беспутством? Эх! Вы сон-

ные обезьяны, разве вам неведомо, что в сии последние времена надлежит нам собрать богатейшую жатву? Какая мне будет честь перед самым концом света, ежели мы, как загнанные псы, устанем от охоты и станем ни к чему годны! Начало и течение войны, правда, были нам желанным лакомым куском; но на что нам теперь возложить надежды, когда Марс, за коим следует по пятам *legna malorum*, отступил в Европе до польской границы?».

Когда Люцифер скорее выпалил, чем выговорил сие мнение, то хотел снова предаться прежнему бешенству; однако ж Белиал удержал его от этого такими речами: «Надобно нам не терять твердости духа и не поступать, подобно слабым людям, когда им навстречу подует противный ветер. Разве ты не знаешь, о великий государь, что люди более гибнут от вина, нежели от меча? Разве для людей, и притом христиан, благоденствие мира, что несет на своих раменах похоть, и не более вредоносен, нежели сам Марс? Разве не довольно ведомо, что добродетели невесты христовой никогда не сияют так светло, как в годину великих бедствий?». «Мое желание и воля, — провозгласил Люцифер, — чтобы люди как во временной сей юдоли претерпевали одни несчастья, так и по смерти были обречены на вечные муки; а не то наша мешкотность приведет к тому, что они будут наслаждаться земным благополучием, а в конце концов еще и наследуют вечное блаженство». «Эва! — воскликнул Белиал. — Мы оба знаем, какое у меня ремесло, так что у меня редко выдавались свободные деньки, и я мотался всюду, дабы исполнить твою волю и желание, чтобы *legna malorum* еще долго пребывала в Европе или ей приключились бы еще какие болячки; но твое величество должно принять в рассуждение, что я ничего не смогу добиться, если Сущий расположит иначе».

ТРЕТЬЯ ГЛАВА

*Симплициус зрит в преисподней парад,
Грехов и пороков пред ним маскарад.*

Дружеская беседа сих двух адских духов была столь яростной и ужасною, что произвела суматоху во всей преисподней, понеже вскорости стеклось туда все адское воинство, дабы услышать, не надлежит ли им что-нибудь сотворить. Тогда явились первое чадо Люцифера, Гордыня со своими дочерьми, Жадность со своими детьми, Гнев вместе с Завистью и Ненавистью, Мстительностью, Недоброхотством, Клеветой и всеми прочими родичами, затем Сластолюбие со всею своею свитою, как-то: Похоть, Чревоугодием, Праздностью и прочими, item Леность, Неверность, Своеволие, Ложь, Любопытство, что набивает цену девственницам,

Фальшь со своею любимой дочерью Лестью, коя заместо опахала несла лисий хвост, — так что все вместе представили странную процессию и зрелище, весьма удивительное, ибо каждый был там наряжен в особливую диковинную ливрею. Одни были разряжены со всею роскошию, другие же одеты, как нищие, а третьи, как Бесстыдство и ему подобные, почти вовсе наги. Один жирен и тучен, как Бахус, другой желт, бледен и тощ, словно старая иссохшая кляча; кто казался мил и приятен, словно Венус, а у кого был такой кислый вид, как у Сатурна, иной свиреп, как Марс, а другой коварен и скрытен, как Меркурий. Кто был силен, как Геркулес, или строен и быстр, как Гиппомен,¹ а иной хром и колченог, как Вулкан, так что, глядя на столь многообразные диковинные обличья и наряды, можно было вообразить, что то какое-либо неистовое войско из тех, о коих поведали нам древние столько удивительных историй. И, кроме сих, помянутых выше, явилось еще множество иных, коих я не могу ни назвать, ни узнать, понеже некоторые были совсем закутаны или сокрыты под капюшонами.

К сему чудовищному сброду обратился Люцифер с укоризненною речью, в коей порицал как все скопище *in genere*,² так и каждую особу, в частности, за нерадение и упрекал их всех в том, что из-за их мешкотности *legna malorum* принуждена была отступить из Европы; он позорил Ленью как негодного бастарда, что развратил его собственное стадо, и изгнал ее навеки из адского царства, повелев ей искать себе пристанища на поверхности земли.

Засим со всею серьезностью начал он подстрекать остальных с еще большим прилежанием, нежели они до того показывали, вгнездиться к людям; и все сие — со страшными угрозами престокого наказания, ежели в будущем он приметит, что кто-нибудь не будет исправлять своей должности, хотя бы в самой малости, не согласно его намерениям и без должного усердия; также роздал им новые инструкции и мемориалы и тем, кто будет прилежно соблюдать оные, обещал изрядные виды на повышение.

А когда сие государственное собрание шло к концу и все адские чины собирались воротиться к своим делам, прискакал на старом драном волке старец, облаченный в рубище и весьма бледен лицом; конь и всадник казались такими оголодавшими, тощими, изнуренными и хилыми, как если бы долгое время пролежали в одной могиле или на свалке для падали. Сей принес жалобу на дородную даму, коя горделиво гарцевала перед ним на неаполитанском скакуне ценою в сотню пистолей. Ее платье и весь конский убор сверкали жемчугом и драгоценными камнями; стремена, бляхи, все пряжки и застежки, мундштук или уздечка вместе с цепошкою были из чистого золота; копыта у лошади были подбиты не какими-то железными подковами, а наилучшим серебром, сама же она видела знатный, пышный и кичливый, лицо ее цвело, как роза на стебле,

или по крайности можно было подумать, что была она под хмельком, ибо все ее телодвижения отличались отменной живостью. От нее так и разило пудрою, бальзамом, мускусом, амброй и другими благовониями, так что всякой другой, только не ей, досталось бы от матери. Одним словом, вся она была убрана с таким великолепием, что ее можно было бы почесть могущественною королевою, когда бы только на ней была корона, каковая ей и приличествовала, ибо она самовластно повелевала деньгами, а не деньги ею; и того ради поначалу было мне весьма удивительно, что помянутый жалкий голодранец, притащившийся верхом на волке, осмелился против нее заикнуться; однако он оказался хорохористой, чем я ожидал.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

*Симплициус слышит в сонном мечтаньи
Скряги и Роскоши пререканье.*

Ибо он протиснулся к трону самого Люцифера и сказал: «Могущественнейший князь! Почитай, на всей земле не сыщется большего мне супротивника, нежели эта негодница, которая величает себя перед людьми Щедростию, дабы под сим живым именем с помощью Гордыны, Сластлюбия и Чревоугодия притеснять меня и ввергнуть в презрение. Это она ставит повсюду мне палки в колеса, дабы учинить мне помешательство во всех трудах и начинаниях и разрушить все, что я с толиким тщанием и заботою воздвиг для славы и процветания твоего государства. Разве не ведомо всему адскому царству, что сами смертные нарекли меня корнем всякого зла? Но какая мне радость или честь, или утешение от великолепного сего титула, ежели сия молодая сопливка домогается себе предпочтения? Должен ли я, — я говорю это! Я! — заслуженная в твоём совете персоне и знатнейший слуга и величайший споспешествователь твоего государства и адских интересов, дожить до того, чтобы в моем возрасте уступить во всем сей негоднице, зачатой в похоти и чванстве, и признать ее преимущество? Нет, никогда! Могущественный князь! Подобаёт ли твоему величию или отвечает ли твоим высоким намерениям терзать род человеческий, ежели ты дозволишь сей вздурившейся моднице своими поступками нарушать мои права? Я, правда, оговорился, когда сказал нарушать права, ибо по мне все одно, что право, что неправье; я хотел лишь сказать, что сие приводит к уничтожению твоего царства, ибо мое усердие, которое я столь неумоимо прилагаю с незапамятных времен до самого нынешнего дня, награждаемое таким презрением, умаляет мой высокий престиж, почет и уважение у людей, а тем самым

под конец и я сам теряю цену, исторгнутый из их сердец! Того ради повели сей юной неразумной побродяжке, чтобы она уступала мне дорогу, как старшему, и не чинила препон моим предприятиям, дозволив мне во имя твоих государственных интересов невозбранно продолжать свое дело по всей мере и форме, как то велось до сего, когда во всем свете о ней еще и не слыхивали».

По изъявлению сего мнения, предложенного Маммоном¹ со множественством других околичностей, ответ держала Роскошь, она же Расточительность, коя выразила безмерное удивление тому, что ее дедушка осмелился с толиким бесстыдством бесчестить свой собственный род, подобно новому Ироду Аскалониту.² «Он назвал меня, — возразила она, — негодницею! Сей титул хотя мне и подобает, понеже я довожусь ему внучкою, однако ж по причине моих собственных качеств не может быть мне придан. Старик попрекнул меня тем, что порою я выдаю себя за Щедрость и под такую личиною обделываю свои делишки. Вот пустопорожние бредни старого шута, который более заслуживает осмеяния, нежели мои поступки осуждения! Али не ведомо старому дурню, что среди адских духов не сыщется ни единого, кой бы иногда по насущной нужде и обстоятельствам дела не претворял бы себя в ангела света? Пусть мой высокопочтенный предок ухватит за нос да самого себя! Разве он сам, когда стучится к людям и просит пристанища, не именует себя Бережливостью? Надлежит ли мне его за это укорять или даже обвинять? Нет, ни в чем! И того ради не могу я быть ему ненавистна, поелику мы все принуждены пробавляться подобными фортелями и обманами, покуда не откроем себе свободный доступ к людям и неприметным образом не вотремся к ним. И хотела бы я послушать праведного благочестивого человека (ибо нам и надлежит обольщать только таких, понеже безбожные и без того не уйдут от нас), что он скажет, когда кто-нибудь из наших примчится к нему и объявит: „Аз есмь Скупость и хочу тебя спровадить в ад! Аз есмь Расточительность и хочу тебя погубить! Аз есмь Зависть, последуй за мною, и ты обретешь осуждение вечное! Аз есмь Спесь, дозвожь мне у тебя поселиться, и я сотворю из тебя подобие черта, который будет отлучен от престола господня! Я тот или этот, ежели ты будешь подражать мне, то не успеешь принести покаяние, ибо тебе уже никогда не удастся избавиться от вечных мук!“. Не думаешь ли ты, — обратилась она к Люциферу, — могущественный князь, что такой человек воскликнет: „Проваливай ты во имя всех святых поскорее в тартары к твоему разлюбозному дедушке, что послал тебя, и оставь меня в покое“? Кто из вас, — сказала она, обратившись ко всем присутствующим, — не будет спроважен подобным образом, ежели только осмелится объявить правду, которая и без того повсюду гонима? Должна ли я одна оставаться в дурах и таскаться с правдою, а не следовать нашему престарелому дедушке, обыкшему заарканывать ложью?»

Столь же неосновательно хочет умалить меня старый Скряга, когда уверяет, что Гордыня и Сластолюбие — первые мои пособники. И хотя бы они ими были, то токмо по своей должности и для приумножения адского царства. Но удивительнее всего, что он недоброхотствует мне в том, без чего он сам обойтись не может. Разве не свидетельствуют адские протоколы, что сии оба закрадывались в сердце не одному простофиле, дабы проложить дорожку Скупости, прежде чем он, Скряга, успел помыслить или отважиться подступиться к такому бедняге? Стоит только перелистать сии протоколы, как тотчас же обнаружится, что тем, кого совратит Скупость, следует подпустить Спеси, ибо им потребно имение, чтобы было чем чваниться, или вперить Сластолюбие так, чтобы было им надобно кое-что скопить прежде, чем они заживут в роскоши и удовольствиях. Так чего ж ради разлюбезный мой дедушка не хочет дозволить, чтобы они пособляли и мне, когда сослужили ему столь изрядную службу? А что касается до Чревоугодия и Пьянства, то я не виновна, что жадина Маммон держит подданных своих в черном теле и живется им не так привольно, как моим. Я, правда, мирволю им, ибо таково мое ремесло, и также не прекословлю им, когда они кутят без ущерба для своего кошелька. Однако ж я не скажу, что он чинит какое-либо непотребство, понеже в нашем государстве издавна повелось, что всякий гражданин подает другому руку и мы все вместе образуем цепь. Касательно же титула моего предка, что он ныне и присно и во веки веков должен именоваться корнем всякого зла и что я своим поведением тщусь его умалить или даже быть ему предпочтенной, то на сие отвечу, что я нимало не завидую подобающей и вполне заслуженной им чести, в коей ему не отказывают даже сыны человеческие, и вовсе не стремлюсь оную у него похитить; однако среди всех адских духов не сыщется ни один, который упрекнул бы меня, когда я стараюсь, положась на собственные свои способности, превзойти или по крайней мере сравняться со своим дедушкой, что скорее к его чести, нежели сраму, ибо я признаю, что веду от него свой род. Правда, тут он внес сумятицу касательно моего происхождения, ибо стал меня стыдиться; меж тем как я вовсе не дщерь Похоти, как он объявил, а его собственного сына Избытка, который произвел меня на свет от Гордыни, старшей дочери нашего могущественного князя как раз в то же время, когда и Похоть от Глупости. А посему я по своему роду и происхождению столь же знатна, как и сам Маммон, а к тому же полагаю, что по моим качествам (хотя я кажусь и не столь умна) способна принести такую же и даже бóльшую пользу, нежели старый хрыч, так что не только ни в чем ему не уступаю, но еще обскачу его; также уповаю, что великий князь и все адское воинство одобряют мои поступки и заставят старого Скрягу все взведенные им на меня поносные слова и напраслины взять обратно и впредь не чинить помешательства в моих делах, а ока-

зывать мне всяческую честь и уважение как знатнейшей особе адского царства».

«Кому не горестно, — воскликнул Маммон, восседавший на волке, — породить столь строптивых детей, которые совсем от рук отбились? И я еще должен нишкнуть да помалкивать, когда эта потаскуха не токмо во всем чинит мне наперекор, но таковым послушанием бесчестит мою старость и тщится надо мною возвыситься?». «О, старость! — возразила Расточительность. — Нередко случалось и отцу производить на свет детей, которые лучше его!». «Но чаще всего, — отвечивал Маммон, — родители печалуются на детей незадачливых».

«К чему вся эта перебранка? — сказал Люцифер. — Пусть каждый объявит, какая от него перед другими польза для нашего царства; тут мы и рассудим, кого надлежит предпочесть. И для такого приговора важна суть, а не старость или младость, пол или еще что; ибо тот, кто больше всего учинит супротивного Вечному и напакостит роду людскому, тот по нашему старому обыкновению и порядку, и будет самой важной кошкой в лукошке».

«Поелику, великий князь, дозволено мне, — сказал Маммон, — изъяснить свои качества и многообразные заслуги перед адским государством и, коли мне удастся, изложить все счастливо и с достодождной обстоятельностью и меня прилежно выслушают, то не сомневаюсь, что не только все адское царство признает мое превосходство перед Роскошью, но и вновь дарует и пожалует мне честь и место древнего Плутона,³ под чьим именем я тут почитался высшим начальником, каковой чин мне справедливо подобает получить. Я вовсе не хочу похвалиться тем, что род людской прозвал меня корнем всех зол, сиречь причиной, трясинной и паутиной всяческой скверны, коя пагубна и вредоносна для души и тела, а для нашего адского царства, напротив того, весьма полезна, ибо то общеизвестные вещи, о коих знают даже малые дети; не хочу я также чваниться тем, что даже те, кто предан всем сердцем великому Сущему, каждодневно восхваляют и прославляют меня, как прокисшее пиво, чтобы возбудить в людях отвращение ко мне, хотя то немалая для меня честь, когда объявится, что я, невзирая на подобные присносушие гонения, сумел подбиться к людям и так утвердился в их сердцах, что меня оттуда никаким ветром не выдуть. Разве не приносит мне довольно чести уже одно то, что я покораю тех, кого сам Сущий увещевал и предостерегал, что нельзя одновременно служить ему и мне и что слово его сгинет у меня, как доброе семя среди плевел? Однако ж о сем я лучше помолчу, ибо то старая штука, о чем уже говорено и давно ведомо. Но вот чем хочу я похвалиться, что из всех духов и подданных нашего адского царства никто лучше меня не производит в дело намерений нашего адского величества; ибо сей не желает и не требует ничего иного, а только того, чтобы род людской не ведал покоя,

довольства и мира в сей временной жизни, а также не унаследовал и не вкусил бы вечного блаженства.

Воззрите и подивитесь, как начинают мучать сами себя те, к коим я обрету доступ; в каком неотступном страхе находятся те, кто допустил меня поселиться в своем сердце; понаблюдайте хоть малость пути всех тех, кого я полонил и кем завладел вовсе. Засим скажите мне, сыщется на земле хоть единая более жалкая тварь или довелось ли когда-либо единому адскому духу одолеть или совратить сильнейшего или более стойкого мученика, нежели тот, кого я затаскиваю в наше царство? Я беспрестанно лишаю его сна, коего требует от него собственная его природа; и когда он бывает принужден отдать сей долг натуре, то терзаю и дразню его беспокойными и тягостными грезами, так что он не находит себе покоя и грешит во сне куда более, нежели иной наяву. В кушанье и питье, а также во всем том, что приятно ублажает тело, я так урезаю богачей, что они довольствуются меньшим, чем иные неимущие. И когда я в угоду Гордыне не зажмуриваю один глаз, то они одеваются беднее самого жалкого нищего. Я не позволяю им вкушать ни единой радости или удовольствия, обрести мир и покой, одним словом, ничего, что можно назвать добром и что послужит к благополучию их тела, не говоря уже о душе, так что даже лишаю их тех чувственных утех, к коим привержены другие дети человеческие и чрез то низвергаются к нам в преисподнюю. Плотские утехы, к коим стремятся по самой натуре все, что копошится на земле, я отравляю им горечью, сочетая цветущих юношей со старыми отжившими потаскухами и, напротив, наикрасивейших девиц с седыми ревнивыми рогоносцами и тем лишая их радостей. Их наибольшая утеха терзать себя в заботах и опасениях, их наивысшее удовлетворение, когда им удастся после жизни, полной трудов и усилий, наскрести немного червонной пыли, кою они, однако ж, не могут унести с собою, чтобы умилостивить ад.

Я не допускаю их до праведной молитвы, еще менее того до дел искреннего милосердия; и хотя они часто постятся или, лучше сказать, претерпевают голод, то происходит сие не из благочестия, а мне в угоду, чтобы что-нибудь скопить. Я ввергаю в опасность их жизнь и здравие не только на кораблях в море, но и тащу их в самую пучину, и они принуждены копать в глубочайших недрах земли, и когда можно было бы что выловить в воздухе, то они у меня научились бы и этой ловле. Я уже не буду говорить о войнах, на которые я их подстрекаю, ни о бедствиях, отсюда происходящих, ибо обо всем этом известно всему свету; не буду и перечислять, сколько ростовщиков, мошенников, воров, разбойников и убийц я породил, понеже я в особливую ставлю себе заслугу, что все, кто мне предается, принуждены влачить жизнь, полную горестных забот, страха, нужды, трудов и тягот; и подобно тому как жестоко истязую я их тела, так что не требуется никакого иного палача, я так терзаю их в соб-

ственной их душе, что не надобно никакого иного злого духа, дабы они предвкусили адские муки, не говоря уже о решпекте, который они к нам восчувствуют. Я застрашиваю богатых, томлю бедных, я ослепляю Юстицию, я прогоняю христианскую любовь, без коей никто не спасется, и при мне умолкает милосердие».

ПЯТАЯ ГЛАВА

*Симплиций видит двух юношей в гавани,
Оба пустились в опасное плавание.*

Меж тем как Скрыга болтал без умолку, выхваляя себя и домогаясь, чтобы его предпочли Расточительности, прилетел туда адский дух, который иссох, сгорбился, раскорячился и едва держался на ногах от дряхлости; он пыхтел, словно медведь, который только что поймал зайца, чего ради все присутствующие наострили уши, дабы услышать, какую такую принес он новость или словил дичь; ибо среди прочих адских духов слыл он особливим ловчилюю. Но, рассмотрев его хорошенько, приметили, что то было Ничто, а тут еще и Когда-б-не-то, которое и учинило первому помешательство в его намерениях; ибо когда ему велено было объявить реляцию, то тут обнаружилось, что он понапрасну подстерегал Юлия дворянина из Англии и его слугу Авара¹ (которые отправились в путешествие во Францию), дабы накрыть их обоих или по крайности хоть одного; однако ж не смог он совратить первого из них по причине его благородного нрава и добродетельного воспитания, а второго из-за его благочестивого простодушия; того ради просил Люцифера назначить ему подмогу.

Как раз в то самое время, когда Маммон, по-видимому, собирался закончить свою речь, а Расточительность приступить к дискурсу, Люцифер изрек: «Не надобно расточать столько слов; мастера хвалит дело. Каждому из супротивников наказываю взять на себя по англичанину, дабы со всей хитростию и ловкостию его беспрестанно искушать, иссушать, распалять и подстрекать до тех пор, покуда тот или другой из вас его опутает и завлечет в свои сети и спровадит в наше царство; и тот, кто своего подопечного самым надежным и добросовестным образом сюда доставит или приволокет, тот и должен получить приз и преимущество перед другим». Сей приговор был одобрен всеми адскими духами, и оба спорщика, по совету Гордыни, полюбовно согласились на том, что Маммон приберет к рукам Авара, а Расточительность Юлия с неперменным условием и обязательством, что ни та, ни другая сторона не будут чинить друг другу ни малейшего ущерба и не посмеют совращать на противопо-

ложный манер, исключая лишь того, когда сие неотменно потребуется в интересах адского царства. Тут было на что подивиться, когда все остальные пороки стали желать сим обоим удачи и предлагать свое общество, помощь и услуги. С тем и разошлось все адское собрание, после чего поднялся столь страшный ураган, который во мгновение ока подхватил меня вместе с Расточительностью и Маммоном и всеми их прихвостнями и пособниками в пролив между Англией и Францией и опустил на тот самый корабль, на коем переправились оба англичанина и как раз сбировались сойти на берег.

Гордыня прямехонько пошла к Юлию и сказала: «Отважный кавалер! Я госпожа Репутация; и понеже вы теперь вступили в чужую страну, то было бы недурно, ежели бы вы взяли меня своею гофмейстериною. Вы можете своею особливою элегантностию вперить тутошним жителям, что вы не какой-нибудь захудалый дворянин, а происходите из древнего королевского рода, а когда не так, то все же вам приличествует к чести вашей нации показать французикам, каких бравых мужей взрастила Англия».

После сих слов Юлий приказал Авару, своему слуге, расплатиться с владельцем корабля за фрахт золотыми монетами, хотя и грубой чеканки, но все же весьма приятными и взрачными с виду, вследствие чего корабельщик отвесил Юлию нижайший поклон и несколько раз кряду назвал его милостивым государем. Сие Гордыня тотчас же обратила себе на пользу и сказала Авару: «Гляди, как чтят того, у кого водятся такие рыжик!» А Маммон прибавил: «Завелось бы золотце у молодца, так тебе не пристало бы швырять его, как твой господин; куда лучше сотворить запасец, а излишек пустить в известный интерес, чтобы со временем им попользоваться, а не то столь бесполезно проматывать во время путешествия, которое и без того полно толиких трудов, забот и опасностей».

Как только оба юноши сошли на берег, а уж Гордыня доверительно уведомила Расточительность, что она не токмо получила доступ к Юлию, но утвердилась в его сердце, едва лишь постучалась к нему, присовокупив напоминание, что она может позаботиться о том, чтоб приобрести и других ассистентов, дабы тем верней и надежней осуществить свое намерение; она, правда, хотела бы всегда быть у нее под рукою, однако ж должна оказывать столь же немалые услуги и ее супротивному Скрыге, какие ожидает от нее и Расточительность.

Мой благосклонный и высокочтимый читатель, когда б должен был я поведать какую-либо историю, то потщился бы изложить ее покороче и не пустился бы в такие околичности. Должен признаться, что собственное мое любопытство неукоснительно требует от всякого пишущего историю, чтобы он своими сочинениями никому долго не докучал; однако ж то, что я предлагаю сейчас, это Видение или Сон и, следовательно, нечто совсем иное. Я не осмеливаюсь тут слишком торопиться, а должен привести

и некоторые незначительные частности и обстоятельства, дабы я мог более совершенно изложить все то, что я вознамерился сообщить здешним людям, что все должно послужить не чем иным, как примером, как из ничтожной искры мало-помалу разгорается большое пламя, когда пренебрегают осторожностью, ибо подобно тому как редко кто сразу достигает высшей степени святости, точно так же никто внезапно или, так сказать, во мгновение ока не превращается из благонравного в плута, а исподволь, помаленьку да полегоньку, со ступеньки да на ступеньку, каковые все суть ступени погибели, что в сем моем Видении по справедливости надлежит не оставлять без внимания, дабы каждый мог своевременно поостеречься, на каковой конец я все описываю, понеже с сими двумя юношами обстояло, как с молодою дичью, которая завидит охотника и поначалу не разумеет, надлежит ли ей пуститься в бегство или стоять на месте, а то и падает, сраженная стрелком, прежде чем его распознает. Правда, они попали в сети скорее, нежели то обычно случается, но тому было причиной, что у каждого был заложен сухой трут, который тотчас же воспламенился от искр того и другого порока. Ибо, как молодая скотина, отощавшая за зиму, когда по весне ее выпустят из опостылевшего хлева на привольное пастбище, начинает скакать и взбрыкивать, так что на свою погибель даже может застрять в плетне или какой расщелине, так же ведет себя и безрассудная юность, когда выйдет из-под лозы отеческого попечения и, удалившись от глаз родительских, обретает себе долгожданную свободу, обычно не обладая должным опытом и предусмотрительностью.

Все вышереченное Гордыня насказала Расточительности вовсе не от скуки, а сама тотчас же обратилась к Авару, возле коего уже вертелись Зависть и Недоброжелательность, каковых камрадов наслал Скрыга, дабы они приуготовили ему путь; того ради она и направила к сему свой дикурс и принялась втолковывать Авару: «Послушай-ка, Авар! Разве ты не такой же человек, как и твой господин? Разве ты не такой же англичанин, как Юлий? Так отчего же это одного величают милостивый государь, а другого зовут его слугою? Разве вас обоих не родила и не произвела на свет Англия, и притом совершенно одинаких? По какой такой причине здесь в стране, чужой и ему и тебе, его принимают как милостивого господина, а с тобой обходятся, как с рабом? Разве вы оба как один, так и другой не переплыли море? Разве он так же, как и ты, вы оба, не должны были утонуть вместе со всеми людьми, если корабль потерпел бы крушение? Или же он, будучи дворянином, подобно некоему дельфину, уплыл бы под волнами и укрылся от бури в надежную гавань? Или, может быть, он взвился бы орлом в облака (где сокрыто начало и ужасная причина вашего кораблекрушения) и так спас бы себя от погибели? Нет, Авар! Юлий такой же смертный, как ты, а ты такой же человек, как он! Чего же ради он так предпочтен тебе?». Тут Гордыню перебил Маммон и сказал: «Разве это дело подстрекать к полету того, у кого

еще не подросли крылья, словно никому не ведомо, что вся сила Юлия в деньгах? Деньги, деньги сотворили его тем, кем он стал, и более ничто, говорю я, ничто, кроме того, что сделают из него деньги. Повремени малость, дружок, и давай поглядим, не удастся ли мне с помощью Прилежания и Послушания доставить Авару столько же денег, сколько промотает Юлий, и тем самым сделать его таким же щеголем, как сам Юлий».

В таком облике предстало перед Аваром первое Искушение, к коему он не только преклонил слух свой, но и положил намерение ему последовать; также и Юлий не преминул со всем усердием прилепиться к тому, что вперила в него Гордыня.

ШЕСТАЯ ГЛАВА

*Симплиций с Юлием в путь снарядился,
Авар от сего весьма поживился.*

Милостивый государь, то бишь господин Юлий, переночевал в том же местечке, где мы высадились, и пробыл там следующий день и ночь, чтобы отдохнуть и получить деньги по векселю, а также приготовиться к поездке через Испанские Нидерланды в Голландию, каковые Соединенные Провинции он желал не только осмотреть, но и исправить там кое-какие дела, наказанные ему его родителем. Для сего нанял он диковинную карету, правда, только для себя и слуги своего Авара, однако ж Гордыня и Расточительность, а также Скряга и все их прихвостни не пожелали от них отставать и расселись, кто как сумел, Гордыня на крышу, Расточительность рядом с Юлием, Скряга заполз в сердце Авара, а я примостился и устроился на запятках, ибо там не случилось Смирения, чтобы занять это место.

Также и мне посчастливилось осмотреть во сне множество красивых городов, сколько наяву едва ли доведется посетить или увидеть. Путешествие шло гладко, и хотя встречались опасные затруднения, однако ж тугой кошель Юлия все их преодолевал, ибо он не стоял ни за какими деньгами и повсегда получал за них (понеже мы принуждены были проезжать через различные враждующие гарнизоны) необходимый конвой и дорожные паспорта. Я не особенно обращал внимания на то, что в тех странах было достопримечательного, а прилежно наблюдал за тем, как сказанные пороки час от часу все более завладевали обоими юношами и они им чем дальше, тем более предавались. Тут видел я, как Юлий также поддал соблазну Любопытства и Нецеломудрия (каковое почитается таким грехом, коим карается Тщеславие) и был ими полон, вследствие чего мы ча-

стенько заживались в таких местах, где обитали зазорные девки, и трагали денег куда более, чем то было надобно. А тем временем Авар лез из кожи вон, чтобы наскрести деньжат, сколько мог; он не только обжужливал своего господина, но и трактирщиков и гостинников, где ему удавалось; порой становился ловким сводником и не брезгал то здесь, то там обворовывать наших хозяев, даже если ему доводилось подцепить хотя бы серебряную ложку. Таким-то образом проехали мы Фландрию, Брабант, Геннегау,¹ Голландию, Зееландию, Зут, Гельдерн, Мехельн и прибыли на французскую границу, а наконец, и в Париж, где Юлий нашел себе роскошные и удобнейшие апартаменты, какие только мог заполучить. Авара разодел он, как дворянчика, да и звал его юнкером, дабы всяк его самого тем выше ставил и полагал, что он немаловажная особа, ибо ему прислуживает благородный, который его величает милостивый государь, по какой причине его почитали за графа. Он тотчас нанял себе лютенщика, фехтовальщика, танцмейстера, берейтера и мастера в игре в мяч скорее для того, чтобы покрасоваться, нежели затем, чтобы перенять их искусство и умение. Все это были прожженные плуты, которые слыли искусными мастерами обчищать подобных залетных гостей; они скоро свели его с пригожими бабенками, ибо подобные знакомства не обходятся без мотовства, а также втерли в различные компании, где умели порастрасти денежки, а ему одному приходилось развязывать кошелек. Ибо Расточительность призвала на помощь Слостолюбие со всею свитою, дабы они сразились с ним и совсем доконали его.

Правда, поначалу он довольствовался только комедиями и балетом, игрой в мяч, метанием копья и другими подобными дозволенными и честными упражнениями, к коим давно приобык и сам в них участвовал; но когда он огяделся и стал известен, то пустился в такие места, где стал просиживать денежки в кости да карты, пока, наконец, не взворошил все знатнейшие бордели. А в его апартаментах повелось, как при дворе короля Артура,² ибо он каждый день знатно угощал свору прихлебателей не репой и капустой, а дорогими французскими похлебками и гишпанскими *olla potrida*,³ ибо нередко один завтрак обходился ему в 25 пистолей, особливо если присчитать к сему музыкантов, которых он обыкновенно нанимал; сверх сего немалых денег стоили ему и новые платья и моды, которые проворно следовали друг за другом, возникали и снова переменялись, каковым дурачеством он тем более красовался, что ему как чужестранному кавалеру не возбранялись никакие наряды. Все то надлежало расшить золотом и обложить позументами, и не проходило месяца, в коем он не обряжался в новое платье, и ни одного дня, когда бы он не пудрил по нескольку раз на дню свой парик; ибо хотя природа и наделила его прекрасными кудрями, однако же Гордыня уговорила его срезать их и украсить себя чужими, понеже таков обычай; ибо, уверяла она, чудачки, которые довольствуются своими природными волосами, даже когда они краси-

вые, все равно слывут ни к чему негодными бедняками, которые не могут выложить сотню дукатов наличными за дюжину красивых париков. Одним словом, он принужден был все устраивать и заказывать по беспре-
станной инвенции Гордыни и наущению Расточительности.

И хотя Скрыге, который совсем завладел Аваром, такая жизнь каза-
лась препротивной, однако ж он дозволил, чтобы она ему, Авару, весьма
полюбилась, так как он может тут немало пожить; ибо Маммон уже
склонил его предаться Неверности, ежели он хочет тут получить себе про-
фит; по какой причине он не упускал случая, в чем только мог, обирать
своего господина, который и без того попусту швырял деньгами. По край-
ности он обсчитывал швеек и прачек, коим он убавлял их обычную плату,
а все, что у них урвет, шло к нему в карман. Ни один счет за починку
платья или чистку башмаков не казался ему слишком ничтожным, чтобы
к нему ничего не прибавить, а излишек не сунуть себе в карман; не говоря
уже о том, как при больших издержках он всеми правдами и неправдами,
per fas et nefas⁴ хватал и хапал, сколько мог и хотел. С носильщиками
паланкинов, на которых его господин тратил уйму денег, улаживал он
дело быстро, ежели они только выделяли ему долю из своего заработка;
паштетники, кухмистеры, погребщики, дровяники, рыбники, пекари и все
прочие поставщики провизии принуждены были делиться с ним своим
барышом, ежели хотели сохранить Юлия своим заказчиком; ибо Авар так
возжелал обладать деньгами и имуществом и через то поравняться со
своим господином, как некогда сам Люцифер, когда он, возгордившись
своими высокими дарованиями, полученными им от творца, покусился на
всемогущего бога. И так провождали свою жизнь оба юноши безо вся-
кого чужого подстрекательства, прежде чем познали, как они живут; ибо
Юлий был столь же богат всяческими благами преходящего имения, сколь
скуден Авар, и того ради каждый из них мнил, что ведет себя, как при-
личествует и подобает по его состоянию, я хочу сказать, как того требует
его состояние и обстоятельства, когда один соразмерно своему богатству
чванится роскошью и великолепием, а другой выбивается из бедности и
норовит чем-нибудь пожить, воспользовавшись случаем, который ему
доставляет в руки его вертопрашный господин. Однако ж внутренний
страж, свет разума, неумолчный свидетель, а именно совесть, не преминул
меж тем каждому из них своевременно представить их ошибки и напо-
нить об иной участи.

«Легче! Легче! — сказано было Юлию. — Воздержись-ка без пользы
расточать то, что твои предки приобрели тяжким трудом и старанием,
а может быть, и потерей своего блаженства, и так верно стерегли для
тебя; и так помести сие, чтобы в будущем мог ты отдать о том отчет богу,
честному человеку и своим потомкам и т. п.». На такое и ему подобные напо-
миновения или внутренний добрый глас, который призывал Юлия к уме-
ренности, был дан ответ: «Что? Я не какой-нибудь лежебок или скаред-

ный жид, а кавалер; надлежит ли мне благородные свои упражнения совершать во образе нищего или побродяги? Нет! Не повелось такого обычая или обыкновения! Я тут не для того, чтобы терпеть голод и жажду, и еще менее затем, чтобы торговаться, как старый скупердяй, а жить на свои доходы, как подобает истинному кавалеру!». Когда же добрые помыслы, которые он имел обыкновение именовать меланхолическими раздумьями, не умолкали от таких возражений, а продолжали его увещевать, то приказывал наигрывать ему песенку: «Насладимся днем насущным, бог лишь знает, что нас ждет!» и т. д. или посещал женщину или какую ни на есть веселую компанию, с которой бражничал допьяна, и чем дальше, тем горше, так что под конец сделался совершенным эпикурейцем.

В свой черед внутренний голос увещевал и Авара, что сей путь, на коем он вознамерился стяжать себе богатство, сущее вероломство, с напоминованием, что он приставлен к молодому господину не только затем, чтобы ему услужать, но дабы отвращать от него вред, споспешествовать его пользе, возбуждать к добродетели, предостерегать от постыдных пороков, особливо же со всевозможным усердием беречь и соблюдать временное его добро, кое он, напротив, сам расхищает, и к тому же еще посягает его, Юлия, вторгнуть в пучину всяческих пороков; item разве он не понимает, что будет держать ответ перед богом, которому должен дать отчет во всех своих деяниях, перед благочестивыми родителями Юлия, вверившими ему, Авару, своего единственного сына, наказав смотреть за ним со всею верностию и, наконец, перед самим Юлием, когда он придет в совершенный возраст и рано или поздно уразумеет, что таковое потворство и неверность отвратили его от добра и безо всякой пользы расточили его богатство? «Но и сего, о, Авар, еще не довольно; ибо, кроме строгого ответа, который ты будешь держать за деньги и душу Юлия, ты сквернишь себя постыдным пороком воровства и обрекаешь на петлю и виселицу; ты поверг свою разумную, свою небесную душу в тину земного богатства, вознамерившись стяжать его самым вероломным и наименее позволительнейшим образом, тогда как язычник Кратес Фебанус⁵ бросил его в море, дабы оно не погубило его, хотя и приобрел его по праву. И ты легко можешь догадаться, сколь погубительнее будет твое, когда ты хочешь выловить его из пучины твоей неверности! Или ты и впрямь осмелился вообразить, что тебе оно пойдет впрок?».

Сии и другие подобные добрые увещевания здравого разума и совести хотя и зарождались в душе Авара, однако ж у него не было недостатка в оправданиях, дабы приукрасить свои злые поступки и отговориться. «К чему? — воскликнул он вместе с Соломоном, приводя против Юлия притчу двадцать шестую. — К чему глупцам честь, почести и добрые дни? Они не знают, как ими воспользоваться! А к тому же у него, Юлия, и без того довольно, и кто знает, каким путем приобрели себе это богатство

его родители? Разве не лучше, ежели я приберу себе то, что он все равно и без меня расточит, чем дозволю разойтись по чужим рукам?».

Итак, оба юноши следовали ослепившим их страстям и утопали в пучине сластолюбия, покида Юлий не нахватал любезных францей и недельки с четыре принужден был изнурять себя потогонным лечением, разом очищая тело и кошелек, что однако ж нисколько не исправило его и не послужило ему предупреждением; ибо он оправдал поговорку «хворь минуется — все позабудется».

СЕДЬМАЯ ГЛАВА

*Симплиций видит: ворует Авар,
А Юлия долг не кидает в жар.*

Авар наворовал столько денег, что его пронял страх, ибо он не знал, что с ними поделаться, чтобы скрыть свою Неверность от Юлия; того ради измыслил такую хитрость, чтобы отвести ему глаза: он поменял часть присвоенного золота на низкопробное немецкое серебро, напихал его в большой кожаный чемодан и прибежал с ним в ночную пору в спальню своего господина с заранее придуманными лживыми речами, а сказать повежливее, с повестью о том, какая ему попалась находка. «Милостивый господин, — объяснил он, — я спотыкнулся об этот чемодан, когда некие галаны¹ прогнали меня от дома вашей возлюбленной, и если бы не звон чеканной монеты, то я готов был бы поклясться, что я перекатился через мертвое тело». С такими словами он высыпал деньги и спросил: «Какой совет подаст мне ваша милость, чтобы мне воротить эти деньги их законному владельцу? Я обнадеживаю себя, что он мне за это пожалует на знатную выпивку». «Дурень, — ответил ему Юлий, — что взял, то и держи! А какую резолюцию ты принес мне от милой девы?». «Сим вечером, — сказал Авар, — я не мог с нею поговорить, ибо, как сказано, принужден был с великою опасностью спастись от ее воздыхателей и ненароком нашел эти деньги». Таким-то образом отолгался, как сумел, подобно прочим молодым неопытным вора, у коих в обыкновении говорить, что они нашли все, что ими украдено.

Как раз в то самое время Юлий получил от отца письмо с жестокими укоризнами, что он ведет распутную жизнь и тратит безбожно много денег; ибо английские купцы, которые выплачивали Юлию по векселю и вели корреспонденцию с его отцом, сообщили все, что узнали о поведении Юлия и Авара, за исключением того, что последний обкрадывает своего господина, а тот сего не замечает, от чего старик так закручинился, что впал в тяжкую болезнь. Он написал сказанным купцам, что впредь они

не должны давать его сыну денег более того, чем надобно простому дворянину, чтобы тот мог сносно прожить в Париже, с присовокуплением, что ежели они вручат ему больше, то он сего им никогда не выплатит. Юлию же он пригрозил, что ежели он не исправится и не расположит свою жизнь иначе, то лишит его наследства и никогда больше не признает своим сыном.

Юлий, хотя и был тем изрядно обескуражен, однако ж не положил намерения жить бережливо, да и когда бы он захотел удовольствовать своего родителя и воздержаться от обычных своих больших расходов, то это было бы для него невозможно, ибо он уже слишком глубоко залез в долги; тогда б он потерял всякий кредит сперва у постоянных своих заимодавцев, а затем неизбежно у всякого, что ему настойчиво отсоветовала Гордыня, ибо сие весьма повредило бы его репутации, которую он приобрел ценою больших издержек. Того ради обратился он к своим соотечественникам и сказал: «Вы знаете, господа, что мой отец не только имеет свою долю во многих кораблях, которые ходят в обе Индии, Восточную и Западную, но и у нас на родине в своих поместьях стрижет по четыре, а то и по пять тысяч овец, так что с ним не поравняется ни один дворянин в нашей стране, не говоря уже о том, чтобы получить перед ним преимущество; я уже умалчиваю о наличных деньгах и имениях, коими он владеет. Также ведомо вам, что я ныне и присно единственный наследник всего его состояния и что помянутый господин мой отец идет к могиле; кто же может подумать, что я тут должен лежмя лежать? Когда бы так, то разве сие не послужило бы к посрамлению всей нашей нации? Я прошу вас, господа, не допустить меня до такого стыда, а по-прежнему помогать мне деньгами, которые я вам возьму с благодарностью, а до полной уплаты предлагаю вам купеческий интерес,² а также каждому в отдельности с таким награждением, что он останется много доволен».

Выслушав такие речи, одни пожалы плечами и принесли извинение, что часом не располагают деньгами, по правде же, они были честны и не желали прогневить отца Юлия; другие же прикинули, какую птицу смогут они ощипать, ежели заполучат себе в когти Юлия. «Кто знает, — думали они про себя, — сколько еще времени протянет старик? А меж тем денежки трату любят. Захочет отец лишить его наследства, однако ж не закажет ему получить после матери». Одним словом, они ссудили Юлию тысячу дукатов, за что обязался уплатить им то, что они сами потребовали, и положив ежегодно восемь pro cento,³ что и было по всей форме заключено и подписано. Но с этими деньгами Юлий далеко не ушел; ибо когда он расплатился с долгами и Авар урвал свою долю, то осталось совсем немного, так что вскорости был он принужден снова занимать деньги и выдавать новые обязательства, о чем своею временем уведомили его отца другие англичане, у коих тут не было своего интереса. и чем так разгневали старика, что он послал протест тем купцам, кото-

рые, вопреки его приказанию, выдали деньги его сыну, и, напомнив им о своем прежнем письме, не преминул уведомить, что он не только не заплатит им ни гроша, но еще, как только они снова пожалуют в Англию, обвинит их перед Парламентом как развратителей юношества, кои споспешествовали его сыну в подобном мотовстве. Самому же Юлию он собственноручно написал, что отныне отрекается от него, как от сына, и не желает больше его видеть.

Когда пришли такие ведомости, дела Юлия пошатнулись. У него, правда, оставались кое-какие деньги, однако ж недостаточно для того, чтобы поддерживать свое расточительное великолепие или чтобы снарядить себя в путешествие, с тем чтобы на своих конях послужить на войне какому-нибудь господину, на что его усердно подбивали Гордыня и Расточительность; и понеже никто не хотел ему в сем пособить, обратился он с мольбою к верному своему Авару ссудить его по нужде тем, что тот нашел на улице. Авар же ответил: «Вашей милости довольно известно, что я был бедняк бедняком и ничего не имел за душою, покуда наемни мне не послал бог». (Ах, лицемерный плут, помышлял я, разве бог послал тебе то, что ты накрал у своего господина и разве не должен ты прийти к нему на помощь его же деньгами? Тем более что ты, покуда у него они водились, расточал их вместе с ним и пособлял ему их прожрать, пропить, проблудить, проиграть, промотать и пробанкетировать? Ох, пташка, подумал я, ты хотя и прибыл сюда из Англии ровно овца, но, с тех пор как обуяла тебя Скаредность, стал ты во Франции сущей лисицей, да почитай что и волком). «Ежели я теперь, — продолжал Авар, — пренебрегу сим даром божьим и не положу надежное основание своему будущему, то надлежит опасаться, что я сделаюсь недостойн того счастья, на которое еще уповаю в своей жизни. Кого милует бог, тот должен быть ему благодарен! Вряд ли когда еще мне придется найти такое сокровище! Должен ли я определить его туда, куда больше не решаются вложить свои деньги богатые англичане, ибо уже потеряли свои лучшие залогов? Кто мне сие присоветует? К тому же, ваша милость, сами мне сказали, что взял, то и держи; и сверх того я уже поместил деньги в вексельный банк, откуда не могу их забрать, когда заблагорассудится, чтобы не лишиться большего интересу».

Такие речи пришлось весьма не по нутру Юлию, ибо он не привык выслушивать их ни от своего верного слуги, ни от кого бы то ни было; однако ж башмаки, в которые обула его Гордыня и Расточительность, жали ему так жестоко, что он должен был снести сии слова и признать их справедливыми и неотступными просьбами склонить Авара ссудить его всеми наплутованными и наворованными деньгами с уговором, что все его жалованье вместе с теми деньгами, что он мог бы получить за месяц как свой интерес, будет причтено к главной сумме, по которой положено платить восемь pro cento годовых, и дабы сия сумма, а равно и заслуженная

им пенсия были должным образом обеспечены, дать ему закладную на поместье, которое завещала ему, Юлию, его тетка с материнской стороны; что тотчас же было заключено по наилучшей форме в присутствии других англичан, приглашенных свидетелями; сумма же достигала шестисот фунтов стерлингов, что в пересчете на наши немецкие деньги составило изрядный куш.

Едва только заключен был помянутый контракт, учинены подписи и выплачены деньги, как Юлий получил известие о радостной печали, а именно, что его господин отец отдал дань природе, по какой причине Юлий тотчас же облачился в роскошный траур и принял решение поспешно выехать в Англию не столько затем, чтобы утешить свою мать, сколько для того, чтобы вступить в наследство. Тут смог я подивиться, как вокруг Юлия снова столпилось множество приятелей, коих он завел в прежние деньки. Также заметил я, какой из него получился лицемер; ибо когда он был на людях, то притворялся весьма опечаленным смертью своего родителя; а оставшись наедине с Аваром, сказал ему: «Прожил бы старик еще подольше, то я был бы принужден побираться, особливо же когда ты не пособил бы мне своими деньгами».

ВОСЬМАЯ ГЛАВА

*Симплиций взирает полон боязни,
Как совершают две страшные казни.*

Итак, Юлий поспешно собрался в путь вместе с Аваром, перед этим рассчитав и отпустив с честью всю свою челядь, как-то: лакеев, пажей и прочих бесполезных, испорченных и прожорливых людей. Тут мне пришлось, так как я хотел узнать конец этой истории, отправиться вместе с ним; однако ж мы путешествовали не с одинаковыми удобствами: Юлий гарцевал на взрачном жеребце, ибо ничему так хорошо не научился, как верховой езде, позади него восседала Расточительность, как если бы она была его невестой или возлюбленной. Авар трясся на мерине, или, как их зовут, кладене, а позади себя вез Скрыгу; так что все имело такой вид, как если бы площадной лекарь или шарлатан ехал на ярмарку со своей обезьяной. Гордыня же летела по воздуху высоко над ними, словно это путешествие не особенно ее касалось; прочие же ассистирующие пороки маршировали рядом, как то в обычае у челяди; я же по временам хватал за хвост то одну, то другую лошадь, чтобы дотащить ее к ним до Англии; захотелось мне страсть поглядеть, что там за сласть, раз уж я, как пострел, столько чужих стран осмотрел. Скоро достигли мы гавани, где мы

прежде высадились, и через короткое время с попутным ветром благополучно отплыли в Англию.

Юлий застал свою матушку при последнем дыхании, ибо она в тот же день скончалась, так что он, как единственный сын, который к тому времени достиг совершеннолетия, стал разом господином и управителем всего имения, оставленного по смерти его родителями. Тут снова пошла развеселая жизнь, куда привольней, чем в Париже, ибо он получил в наследство изрядный куш наличными: он зажил как богач в шестнадцатой главе у евангелиста Луки. Да что там, как принц! То у него полно гостей, то он в гостях, и почти каждый день у него прием. Он возил на прогулку по морю и по суше чужих дочерей и жен, как это в обыкновении в Англии, завел собственных трубачей, берейтеров, камердинеров, шутов, конюхов, кучеров, двух лакеев, одного пажу, егеря, повара и прочую челядь. Всем он оказывал благоволение, особливо же Авару, коего он как верного своего спутника произвел в гофмейстеры и поставил управляющим или фактором по всем делам, а также отдал в полную его собственность и переписал на него то самое дворянское поместье, которое он перед тем заложил у него за главную сумму, интерес и его жалованье, хотя оно стоило намного дороже. Одним словом, он так повел себя с каждым, что я не только подумал, будто он ведет свой род от древних королей, как он похвастался во Франции, но твердо уверовал, что он происходит от родословного древа самого короля Артура, который прославился своею щедростию до конца света.

Меж тем Авар не упускал случая половить рыбку в мутной воде и глядел в оба: он обкрадывал теперь своего господина пуше прежнего и обдывал свои делишки, как пятидесятилетний еврей. Но самой бесстыжей плутней, какую только учинил Авар, было то, что он, спутавшись с одной дамой благородного происхождения, потом свел ее со своим господином, а через девять месяцев приписал ему юного выблядка, которого сам ей сварганил; и понеже Юлий никак не мог решиться взять ее в жены и подвергался большой опасности от всех ее приятелей, то тут снова выступил прямодушный Авар и дозволил себя уговорить покрыть браком честь той, с коєю он забавлялся больше, чем Юлий, да и склонил ее к падению, за что выговорил себе самое доходное поместье из всех, что были у Юлия, удвоив такую оказанною верностью благоволение своего господина. И все же он не перестал от случая к случаю щипать перья, покуда был цел павлин, а когда дело дошло до кожицы, то стал обдирать и ее.

Однажды Юлий прогуливался по Темзе на увеселительном судне вместе со своею ближайшею роднею, где среди прочих находился и его дядя по отцу, весьма мудрый и рассудительный господин. Сей разговаривал с Юлием с большею дружественною откровенностию, нежели обычно, и самыми учтивыми словами, но с суровою укоризною выговорил

ему за его нерадивое хозяйничанье; ему надлежит получше наблюдать за собой и за своим именем, чем до сего, и т. д. Когда бы юность знала то, что ведает старость, то сто раз прикидывала бы прежде, чем издержать один дукат, и т. д. Юлий засмеялся на такие речи, снял с руки кольцо, бросил в Темзу и сказал: «Господин дядюшка, как нельзя снова воротить мне сей перстень, точно так же нельзя мне расточить свое имение!». Но старец вздохнул и ответил ему: «Полегче, господин племянник! Можно расточить и королевское имение и исчерпать колодезь. Погляди, что ты делаешь!». Но Юлий повернулся к нему спиною и возненавидел его за сие отеческое увещевание еще больше, чем он должен был бы его за это возлюбить.

Вскоре после того прибыло из Франции несколько купцов и потребовало уплаты всей суммы, коей ссудили Юлия в Париже, и со всем интересом, ибо они получили неложную ведомость о том, как он проводит свою жизнь, и что богато нагруженное судно, посланное его родителями в Александрию, захвачено в Средиземном море пиратами. Он расплатился с ними одними драгоценностями, а это послужило верной приметой, что у него туго с наличными; сверх того пришло надежное известие, что и другое его судно разбилось у берегов Бразилии и английский флот, судьбой коего родители Юлия были особенно озабочены, пущен ко дну голландцами неподалеку от Молуккских островов, а уцелевшие корабли захвачены. Все подобные известия скоро разнеслись по всей стране, а по-сему каждый, у кого были какие-либо претензии к Юлию, потребовал уплаты, так что, казалось, несчастья устремились к нему со всех концов света. Однако все сии бури устроили его меньше, чем его повар, показавший ему как диковинку золотое кольцо,¹ найденное им в брюхе рыбы, которое Юлий тотчас же признал своим и отлично вспомнил, с какими словами он бросил его в Темзу.

Юлий хотя был весьма опечален и почти впал в отчаяние, однако ж стыдился обнаружить перед людьми, каково было у него на сердце. Между тем услышал он, что старший принц обезглавленного короля² счастливо высадился с войском в Шотландии, где обрел успех и получил немалую надежду отвоевать королевство своего отца. Юлий решил не упускать сего случая, дабы восстановить свою репутацию. Того ради экипировал он себя и своих людей на последние средства, которые у него еще были, и составил изрядный отряд всадников, над которыми лейтенантом поставил Авара, наобещав ему золотые горы, так что тот согласился и все под предлогом сослужить службу своему патрону. Когда все было готово, Юлий быстрым маршем повел свой отряд навстречу юному шотландскому королю и соединился с его корпусом; также немало отличился, ибо королю в то время сопутствовала фортуна. Когда же Кромвель рассеял эту военную силу, то Юлий и Авар бежали, едва сохранив жизнь, и не осмеливались нигде показаться. Того ради принуждены они были, подобно

диким зверям, таиться в лесах и промышленять грабежом и разбоем, покуда их, наконец, не словили на таких делах и не предали казни, Юлия на плахе, а Авара на виселице, кою он уже давно заслужил.

Тут я снова пришел в себя или по крайности пробудился от сна и долго размышлял о сем видении или сонном мечтании и, наконец, решил, что Щедрость легко может стать Расточительностью, а Бережливость Скупостью, когда ими не предводительствует Мудрость, которая управляет Щедростью и Бережливостью с помощью Умеренности и держит их в узде. Однако ж я не могу сообщить, кому достался приз — Скрыге или Расточительности, но полагаю, что они и по сей день враждуют друг с другом и спорят о первенстве.

ДЕВЯТАЯ ГЛАВА

*Симплициус дискурс ведет с Бальдандерсом,
С коим в лесу он долго валандался.*

Однажды прогуливался я в лесу, склоня слух свой к тщеславным помыслам, как натолкнулся на каменного болвана, распростертого в натуральную величину, так что, казалось, то была какая-нибудь статуя древнего немецкого героя, ибо он был изображен в старинном одеянии римского солдатского покроя с большим нагрудником спереди и, по моему разумению, изваян с чрезвычайным искусством и верностью природе. Когда я там стоял, созерцая сие изваяние, и дивился, как оно могло попасть в эту чащобу, взшло мне на ум, что, должно быть, в этих горах в незапамятные времена стояло языческое капище и сей идол находился в нем, того ради сказал самому себе, а не сыщется ли еще что под его фундаментом, но нигде такового не приметил; а так как я нашел шест, который, верно, был брошен каким-нибудь дровосеком и мог послужить рычагом, то подошел к истукану, чтобы перевернуть его и поглядеть, каков он со спины. Но едва только завел я рычаг ему под шею и начал на него напирать, как он сам зашевелился и сказал: «Оставь меня в покое, я Бальдандерс — Наперемениускор!». Я, правда, сильно испугался, однако тотчас оправился и сказал: «Вижу я, что ты скор на перемену, ибо только что ты был мертвым камнем, а теперь шевелишься, как живое тело; кто же ты на самом деле: сам черт или его матушка?». «Нет! — ответил он, — я ни тот, ни другой, а Бальдандерс Всегдашней, понеже ты сам меня признал; да и быть тому не можно, чтобы ты не был со мною знаком, ибо я во всякое время не отлучаюсь от тебя ни на шаг. А то что мне еще не доводилось потолковать с тобою, как с неким сапожником из Нюрнберга по имени

Ганс Сакс,¹ примерно в конце июля, в лето от Рождества Христова 1534, тому причиною, что ты никогда не замечал меня, невзирая на то что по моей воле был ты, не в пример прочим людям, иной раз велик, иной мал, иной богат, иной беден, иной возвышен, иной унижен, иной весел, иной печален, иной зол, иной добр и, одним словом, иной раз такой, а иной раз другой — всегда на перемену скор». Я сказал: «Когда ты не можешь ничего другого, то на сей раз отвяжись от меня!». Бальдандерс сказал: «Подобно тому как мое происхождение ведется от самого парадиза, а все дела мои и сама сущность пребудут, покуда стоит свет, точно так же я не покину тебя, пока ты снова не станешь прахом, из коего ты родился, все равно, любо тебе это или мерзко». Я спросил его, годен ли он к чему иному, кроме того чтоб чинить людям во всех их предприятиях наперекор. «О, да! — отвечал Напеременуускор. — Я могу обучить их такому искусству, что они смогут вести беседу со стульями и скамьями, котлами и горшками и всякими прочими вещами, которые от природы немые, понеже я наставил сему Ганса Сакса, как то видно из его книги, где он поведал несколько историй, кои поведали ему золотой дукат и лошадиная шкура!».² Тут я сказал: «Любезный Бальдандерс! Когда бы ты с божьей помощью обучил и меня сему искусству, то я был бы тебе благодарен до конца дней своих!». — «Отчего ж нет, — отвечал он, — с большою охотою», взял у меня книгу, что я держал при себе, и, превратившись в писца, начертал мне в ней следующие слова:

Аз есмь начало и конец и повсеместно чтут меня все:

Nanoha jolid ifis arum nanoca zalitan atast sisac hone nahani eriw sale celotah watale sisac halit sisac heliosale jemeni sunoto tolostabas celotah ilamen irio sale marod ifis karatu ritatas sinotu diledi pomono sale metelu gegad erolop retoma walod alaw orat tolostabas celotah torotomo nala doloro tulow oremej eleam uzad usur alast sarak oniorim uzul uzarib otorap ylost salet wopalu.³

Когда он сие написал, то превратился в могучий дуб, а вскоре после сего в супоросую свинью, затем проворно в сырую колбасу и внезапно в большую кучу мужицкого говна; потом он обратился в клеверный луг, и не успел я оглянуться, в коровьи лепехи, item в прекрасные цветы или веточку тутового дерева, а засим в красивый шелковый ковер и так много раз, покуда снова не принял человеческий образ, да и его он менял несть числа, как то описано у сказанного Ганса Сакса. И понеже о столь быстром превращении не доводилось мне читать ни у Овидия,⁴ ни у других авторов (ибо многократ помянутого Ганса Сакса я тогда еще не видел), то подумал, что то снова восстал из мертвых старый Протей⁵ и блазнит меня своими проделками, или то, быть может, сам черт искушает меня и хочет соблазнить, как отшельника. После того как он мне объяснил, что он к своей чести поместил на своем гербе месяц, подобно турецкому султану, item что Непостоянство — его пристанище, а По-

стоянство — злейший враг, ради коего он не поступится и самой малостью, ибо частенько обращает его в бегство, Бальдандерс обратился в птицу и улетел прочь, оставив меня в задумчивости.

Тогда присел я на траву и стал прилежно рассматривать те слова, что написал мне Бальдандерс, дабы постичь искусство, которому я хотел у него научиться, однако ж не мог собраться с духом, чтобы прочитав их вслух, ибо они показались мне схожими с теми, с помощью коих чернокнижники заклинают адских духов и также учиняют различные другие колдовские проделки, понеже казались они мне столь же диковинными, тарабарскими и непонятными. И я сказал самому себе: «Начнешь ты их выговаривать, кто знает, каких призовешь ты сюда призраков? Быть может, сей Бальдандерс сам Сатана, который вознамерился тебя таким образом совратить, али ты не помнишь, что приключилось со старым отшельником?». Однако ж любопытство не оставляло меня, побуждая беспрестанно рассматривать и пялить глаза на сии письмена, ибо я с большою охотою услышал бы, как говорят немые предметы, поелику другие уже разумеют неразумных тварей; и чем далее, тем сильнее приковывало меня к ним, и так как я, скажу без похвальбы, был искусен в тайнописи, так что мне ничего не стоило написать письмо на нитке или даже на волосе, да так что ни один человек не смог бы его расшифровать или разгадать, к тому же, как и прежде, доводилось мне не раз разбирать потаенные письма и тритемиеву стеганографию;⁶ и когда я поглядел на сии письмена здравыми очами, то тотчас же нашел, что Бальдандерс не только показал мне на деле оное искусство, но и сообщил о сем в приведенной выше записи добрыми немецкими словами с бóльшим прямотишем, нежели я от него ожидал. Чем я остался весьма доволен, однако ж не уделил особого внимания сей новой науке, а отправился в свою хижину, где принялся читать жития древних святых не столько для того, чтобы взять с них добрый пример, сколько для провождения времени.

ДЕСЯТАЯ ГЛАВА

*Симплиций в пустыне замыслил спроста
Направить стопы во святые места.*

Первое, что попало мне на глаза, когда я раскрыл книгу, было Житие святого Алексея;¹ тут прочитал я, с каким презрением к неге оставил он богатый дом отца своего, с благоговением посетил различные святые места и закончил свои странствия и жизнь в величайшей бедности под лестницею, но с несравненным терпением и удивительным постоянством

как блаженный. «Ах, — сказал я самому себе, — Симплициус, а что делаешь ты? Ты залег тут, как медведь в берлоге, и не служишь ни богу, ни людям! Того, кто один, ежели он упадет, кто подымет его? Разве не лучше, ежели ты будешь служить своим ближним, а они послужат тебе, вместо того чтобы безо всякой приязни сидеть в одиночестве, как сын? Разве ты не станешь мертвым сучком на древе рода человеческого, когда здесь закоснеешь? Да и как сможешь ты перенести тут зиму, когда горы покроет снег и никто из соседей не доставит тебе пропитания? Правда, они сейчас чтят тебя, как Оракула; но когда ты здесь заматореешь, то они перестанут почитать тебя, будут взирать на тебя с презрением и вместо того, что они приносят теперь тебе, будут спроваживать тебя от своих дверей со словами: „Бог подаст“. Быть может, Бальдандерс потому и явился тебе собственной персоною, чтобы ты заблаговременно сие предвидел и применился к Непостоянству мира сего». Такими и подобными размышлениями и укоризнами терзал я самого себя, пока, наконец, не принял решения стать паломником или пилигримом.

Итак, схватил я ненароком свои ножницы и обрезал полы долгого моего кафтана, который достигал мне до пят и в то время, покуда я был отшельником, служил мне не только одеянием, но и заместо постели и одеяла; отрезанные лоскуты я нашил, где казалось удобно, так, чтобы они пригодились мне, как мешки и карманы, чтобы было куда спрятать все то, что я собираю как милостыньку; и понеже я не мог раздобыть себе соразмерного посоха св. Иакова² с искусным витым набалдашником, то довольствовался стволом дикой яблони, коим спокойно мог уложить почивать и того, у кого в руке сабля; и сию богемскую клюку³ благочестивый кузнец снабдил еще острым наконечником, дабы было чем обороняться от волков, коли они повстречаются мне во время моего странничества.

Снаряженный таким образом, отправился я в Дикий Шапах⁴ и выпросил у тамошного священника свидетельство или документ, что я жил истым отшельником неподалеку от его пастората, ныне же по своей воле отправился с миром по святым местам, хотя пастор и объявил, что не особенно мне доверяет. «Я полагаю, друг мой, — сказал он, — что ты либо учинил какую-нибудь недобрую проделку, ибо столь внезапно покидаешь свое жилище, либо вознамерился уподобиться Эмпедоклу Агригентскому,⁵ который бросился в жерло огнедышащей Этны, дабы подумали, понеже его нигде не могли сыскать, будто он вознесся на небо. Статочное ли дело, если одно из этих предположений справедливо, а я пособлю тебе в нем своим надежным свидетельством?». Однако ж я сумел употребить всю свою хитрость и под покровом набожной простоты и смиренной откровенности склонить его к тому, что он под конец выдал мне просимый документ; и мне показалось, что я почувствовал у него благочестивую зависть или ревность и что он взирает с охотою на избранный мною

путь, понеже простолюдины по причине моей необычайно строгой и примерной жизни ставили меня выше некоторых духовных, обитавших по соседству, невзирая на то что я был дурным беспутным малым, ежели бы меня ценить по сравнению с истинными справедливыми священниками и служителями бога.

Тогда не был я еще столь безбожен, как стал впоследствии, но считал себя таким заблудшим, у коего сохранились добрые помыслы и намерения. Но как только спознался я с другими старыми бродягами и повел с ними компанию, то час от часу становился все бесстыднее, так что под конец мог сойти за предводителя, коновода и наставника всего их сообщества, для коего странничество стало ремеслом, дабы снискивать себе пропитание. К тому же мое одяние и весь мой облик были весьма удобны и немало способствовали тому, чтобы подвигнуть людей к щедрости. Когда я забредал в какое-нибудь местечко или пробирался в город, особливо же по воскресеньям и в праздники, то меня тотчас же обступал стар и млад, словно опытного шарлатана, который возит с собою шутов, обезьян и мартышек. Тогда одни по причине длинных волос и бороды, кою я носил во всякое время года, почитали меня за старого пророка, другие же за диковинного сумасброда, а большая часть полагала, что я Вечный жид, который принужден скитаться по свету до самого Страшного суда. Я не принимал милостыню деньгами, ибо помнил, как пошло мне на пользу сие обыкновение во время моего отшельничества; и когда меня кто-нибудь понуждал их принять, то говорил: «У нищих не должно быть денег!». Таким образом я достигал того, что там, где я с презрением отвергал несколько медяков, мне надают кушаний и напитков куда больше, чем я мог бы купить за пригоршню «головушек».⁶

Итак, прошел я добрым маршем вверх по Гутаху,⁷ через Шварцвальд на Виллинген, направляясь в Швейцарию, на каковом пути мне не довелось повстречать ничего достойного памяти или необычайного, кроме того, о чем я только что объявил. Оттуда я уже сам знал дорогу на Эйнзидлен, так что мне не надобно было ни у кого о том спрашивать; и когда я пришел в Шаффгаузен, то был не только допущен в город, но и, после того как народ довольно на меня поглазел и натешился, обрел дружеское пристанище у одного честного зажиточного горожанина; и как раз вовремя, ибо он, как много ездивший по свету дворянин, который, нет сомнения, в своих путешествиях испытал немало радостей и огорчений, подоспел и сжалился надо мною, когда под вечер уличные злые мальчишки принялись забрасывать меня грязью.

О ДИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций в месте укромном над дыркой
Беседу ведет с шершавой Подтиркой.*

Мой радушный хозяин был под хмельком, когда привел меня домой; посему он особенно допытывался от меня: откуда, куда, что у меня за ремесло и пр. И когда он узнал, что я умею порассказать о многих странах, где я побывал и которые не каждому доведется посмотреть, как-то: о Московии, Татарии, Персии, Китае, Турции и даже о наших антиподах, то немало тому подивился и изрядно угостил меня чистым велтинским и этшинским вином.¹ Сам же он повидал Рим, Венецию, Рагузу, Константинополь и Александрию; и когда я смог описать ему множество примет и обычаев сих мест, то он поверил и всему тому, что я нагнал ему о далеких странах и городах, ибо я следовал совету Самуеля фон Голау² в его виршах, когда он говорит:

Кто хочет врать, соври про даль!
Скачи туда, узнай, кто враль!

И когда я увидел, что это мне так хорошо удалось, то пустился на словах странствовать по всему свету: я сам побывал в густом лесу Плиния,³ который иногда встречается неподалеку от *Aquae Cutiliae*,⁴ и когда его потом, не щадя никаких трудов, ищут снова, то не могут больше найти ни днем, ни ночью. Я сам отведал дивный диковинный плод бора-нец⁵ в Татарии, и хотя я никогда в жизни его не едал, однако ж так сумел наскзать о приятном вкусе моему хозяину, что у него слюнки потекли. Я говорил: «У него мясо, как у рака; цвет, как у рубина или красного персика, и запах, который сразу напоминает о дыне и померанце». Нарассказал я ему также, в каких привелось мне участвовать сражениях, схватках и осадах, причем много к сему прилгал, ибо видел, что он охоч слушать и все эти росказни его тешат, как детей сказки, покуда он под них не заснул, а меня отвели в прекрасно убранную комнату, где была мягкая постель, в которой я заснул без убаюкивания, ибо мне давно не приходилось нежиться на таких пуховиках.

Я пробудился гораздо раньше всех домочадцев, а потому не мог отлучиться из комнаты, чтобы облегчить себя от тяжести, которая хотя и не велика, но весьма обременительна, ежели ее придется носить сверх положенного времени; однако ж сускал за обоями укромное местечко, которое иногда зовут кафедрой, куда лучше устроенное, чем я мог помышлять в такой нужде. Там поспешно призвал я самого себя на суд и рассудил сидючи, сколько сей богато убранной комнате предпочтена должна быть благородная моя пустыня, где свой и чужой в любом месте,

где ему глянется и не претерпевая такого страха и стеснения, как довелось мне, может прямо присесть на корточки. По отправлении сего дела, когда я как раз подумал о наставлениях и искусстве Бальдандерса, вытянул я из ящичка, висевшего надо мною, большой лист из целого свитка бумаги, дабы подвергнуть его экзекуции, к чему он был осужден вместе со многими другими своими камадами и заточен там. «Ахти мне! — вдруг заговорил сей лист. — Итак, принужден я за верную свою службу и претерпетые столь долгое время многообразные мучения, перенесенные опасности, труды, страхи, горести и печали познать и принять совокупную благодарность неверного света! Ах, почто в цветущей моей юности меня не склевал зяблик или снегирь, чтобы тотчас же превратить в помет, тогда я сразу воротился бы к моей матери-земле и стал ей служить и через прирожденные мне свойства помог бы ей вырастить прекрасный лесной цветок или травку до того, как буду принужден подчищать задницу такому бродяге и найти свою конечную погибель в нужнике? Или почто не употреблен я в секретном кабинете короля Франции, коему подтирает задницу сам король Наварры, что принесло бы мне куда больше чести, нежели услуга какому-то беглому монаху?». Я отвечал: «Слышу по твоим речам, что ты никудышный бездельник и не достоин никакого иного погребения, кроме того, которое я тебе сейчас уготовлю; да и не все ли едино, погребет ли тебя в вонючем сем месте король или нищий, о чем ты говоришь так грубо и невежливо, я же, напротив, тому весьма радуюсь. Но ежели можешь ты привести что-либо в оправдание своей невинности и объявить о верных услугах, оказанных тобою роду человеческому, то изволь: я охотно дам тебе аудиенцию, ибо в доме все еще спят, и, рассудив обо всех вещах, сохраню тебя от падения и гибели».

На сие ответил Подтирка: «Предки мои,⁶ по свидетельству Плиния, lib. 20, cap. 23, были обретенны в лесу, где они жили и, умножая род свой на их собственной земле в первобытной свободе, были приневолены, как дикое племя, служить людям, а они нарекли их Коноплею; от них-то я произошел и созрел как маленькое семечко во дни короля Венцеслава⁷ в деревне Золотари,⁸ о коей идет молва, что там родится самое лучшее в свете конопляное семя. Там взрастивший меня снял с родительского стебля и продал перед весной лавошнику, который смешал меня с другими чужими мне конопляными семенами и начал нами торговать. Этот лавошник, значит, и продал меня одному крестьянину по соседству, выручив за каждый сестер⁹ по полгульдену золотом, ибо мы нечаянно возросли в цене и подорожали; и, как уже поведено, лавошник был вторым, кто получил от меня барыш, ибо взрастивший меня, который продал меня сначала, уже получил первую прибыль. Мужик же, который купил меня у лавошника, бросил меня в хорошо возделанное плодородное поле, где я в нестерпимом смраде конского, свинячьего, коровьего и всякого прочего на-

воза должен был сгнуть и умереть; однако ж я произвел из самого себя высокий и гордый стебель конопли, в коем мало-помалу изменялся и, наконец, сказал самому себе: „Ну, вот и ты, подобно твоим предкам, станешь плодovитым умножателем своего рода и произведешь больше семян, нежели кто-нибудь из них прежде“. Но едва малость потешил я себя на свободе подобными самонадеянными мечтаниями, как довелось мне услышать от прохожих: „Глянь-ко-се, какое большое поле висельной травы!“, что тотчас почел недобрым предзнаменованием для себя и моих братьев. Однако ж нас приутишили речи некоторых почтенных старых крестьян, когда они рассуждали: „Смотрите, какая славная выросла конопля!“. Но, ах! Вскорости мы узнали, что люди по своей ненасытной жадности и для удовлетворения жалких своих потребностей не дозволят нам далее продолжать свой род, — особливо же когда мы как раз собирались породить семя, — а с помощью дюжих молодцов самым немилосердным образом повыдергают нас из земли и, словно плененных злодеев, свяжут всех вместе в большие снопы, за какую работу им причитается надлежащая плата, а значит, в третий раз извлекут прибыль, которую люди привыкли от нас получать.

Наши муки и тирания людей только еще начинались, дабы мы, благородные злаки, были употреблены на то, чтоб подделывать чистую брагу (как иногда называют разлюбезное пиво); ибо потом сволокли нас в глубокую яму, навалили друг на дружку и так придавили камнями, как если бы сунули нас под гнет; и отсюда вышла четвертая прибыль, которую получили те, кто исправлял сию работу. Засим напустили в яму до полна воды, так что нас повсюду залило, как если бы сперва хотели нас утопить, невзирая на то что мы и так уж весьма ослабели. В такой вымочке находились мы до тех пор, покуда не погнула вся наша краса — и без того уже поблекшие и опавшие листья погнили, — а мы сами едва не захлебнулись и не погибли; засим спустили воду и вынесли нас из ямы на зеленый луг, где нас пекло солнце, поливал дождь, продувал ветер, так что даже свежий воздух, словно напоенный нашей горестью и бедой, казалось, переменялся и разносил вокруг нас такое зловоние, что, почитай, никто не проходил мимо, кто бы ни заткнул нос или по крайности не сказал: „Тьфу, пропасть!“. Однако ж те, кто с нами возился, получали за это плату, что было уже пятой прибылью от нас. В таком положении принуждены мы пребывать, покуда солнце и ветер не отнимут у нас последней влаги и вместе с дождем нас хорошенько отбелят; засим наш мужик продал нас конопельщику или коноплянному мастеру, получив шестой барыш. Итак, получили мы четвертого хозяина с тех пор, как я был конопляным семенем. Сей мастер сперва сложил нас под навес на короткий отдых, а именно до тех пор, пока не покончит с другими делами и не возьмет поденщиков, чтоб мучить нас далее. Когда же подоспела осень и все прочие полевые работы миновали, стал он нас вытаскивать сноп за снопом

и ставить по две дюжины в маленькую каморку за печью, которую так на-топил, как если бы мы должны были потом сгонять с себя францей,¹⁰ в какой-то адской беде и опасности я часто помышлял о том, что мы, чего доброго, вознесем я в пламени к небу вместе со всем домом, что нередко и случилось. Когда мы от такой жары стали куда более способны воспламениться, нежели самая лучшая серная спичка, передал он нас в руки еще более жестокого палача, который стал пригоршнями бросать нас под мяло и все наши внутренние жилы сокрушил и изломал на мелкие куски, как то имеет обыкновение злейший смертоубивец, когда предает кого колесованию, а засим стал колотить нас изо всех сил палкою, чтобы наши разбитые жилы все чистехонько повыпадали, так что, казалось, он совсем взбеленился и у него вырывались вздохи, а также и то, что с ними в рифму. То было седьмое дело, когда мы снова принесли доход.

Мы думали, — ну, теперь-то уже ничего нельзя больше измыслить, чтобы доставить нам еще горшую муку, особливо же как мы после сей операции были так разъединены и вместе с тем так сплетены и перепутаны, что всяк не узнавал сам себя и своих родичей, и каждое волоконце, и каждая кожуринка должны были повиниться, что все мы стали мятою коноплею. Но нас еще потащили на трепало, где дубасили, толкли, можжили и корежили, словом, так растерли и растрепали, как если бы хотели превратить нас в амиант,¹¹ асбест, хлопок, шелк или по крайности изготовить из нас льняную кудель. И за эти труды получил конопельщик восьмую прибыль, которую принесли людям я и подобные мне мученики. В тот же день отдали меня как хорошо вытрепанную и проявленную коноплю нескольким старым чесальщицам и молодым ученицам, которые учинили мне величайшую пытку, какой я еще не испытал; ибо своими многообразными орудиями они подвергли меня такой анатомии, что и вымолвить невозможно. Сперва вычесали они гребнем грубую паклю, затем прядево, а под конец худые охлопья, пока я не заслужил похвалы как тонкая конопля и добрый купеческий товар и был красиво уложен и упакован на продажу, отнесен во влажный погреб, чтобы отлежавшись стал мягче на ощупь и тяжелее по весу. Таким-то образом вновь обрел я на короткое время покой и возрадовался, что, претерпев толикие муки и печали, стану, наконец, материей, которая всем людям столь полезна и надобна. Меж тем сказанные чесальщицы получили от меня девятую прибыль. И сие послужило мне утешением и вперило в меня странную надежду, что отныне (ибо мы выстрадали и достигли до счета девять, какое число ангельское¹² и наидиковинное из всех чисел) минуют все наши мучения».

ДВЕНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций внимает продолжению повести,
Поступает с Подтиркою по чистой совести.*

«В ближайший базарный день отнес меня мой хозяин в некий покой, который называли проверочной палатой, или пакгаузом; там меня осмотрели, признали законным купеческим товаром и взвесили, затем передали маклеру, взяли пошлину, погрузили в повозку, отвезли в Страсбург, где доставили в купеческий дом, снова осмотрели, признали добротным, еще раз обложили пошлиной и продали купцу, который велел отвезти меня на тележке к себе домой, где поместил в чистую комнату, при каковой купле и продаже мой прежний хозяин получил от меня двенадцатую, таможенник тринадцатую, посредник четырнадцатую, возчик пятнадцатую, купеческий дом шестнадцатую, а носильщики, которые доставили меня в дом нового купца, семнадцатую прибыль. Они же забрали и восемнадцатую, когда им заплатили за то, что они отвезли меня в тележке на корабль, на коем был я отправлен вниз по Рейну в Цволле,¹ но я уже не могу рассказать про всех, кто по пути взимал пошлины и другие поборы и, значит, получил от меня прибыль; ибо я был так упакован, что не мог об этом проведать.

В Цволле я снова наслаждался коротким отдыхом; потом был также отделен от среднего или английского товара, вновь подвергнут пытке и анатомии, растерзан в самых внутренностях своих, выбит, расчесан гребнями, покуда не стал таким тонким и нежным, что хоть сучи из меня такие субтильные вещи, как брабантская монастырская нитка. Засим был я отправлен в Амстердам, где меня покупали и продавали, наконец, передали в женские руки, которые меня превратили в нежнейшую пряжу, а притом еще женщины беспрестанно меня целовали и лизали, так что я вообразил, что пришел конец всем моим страданиям; но вскорости меня помыли, намотали в клубок и передали ткачу, навертели на шпули, пустили в ткацкий станок и выткали из меня тонкое голландское полотно, засим отбелили и продали купцу, который стал торговать мною, отмеривая на локти. Пока я до сего дошел, то претерпел немалый урон. Первая убыль — грубое волокно, что пошло на фитили,² которые затем были вымочены в коровьем навозе и сожжены. Вторая убыль — то, что отдано было старым бабам, которые выпряли грубую пряжу на тик и мешковину; третья убыль — грубое прядево, что обыкновенно называют волосянкой, а продают как чистую конопляную; четвертая убыль — та, что, правда, ушла на более тонкую пряжу и сукно, но не могла со мною сравниться, не говоря уж о громадных канатах, которые свили из других моих камрадов — конопляных стеблей, что пошли на изготовление щипаной пеньки,

так что род мой принес людям знатную пользу и я, почитай, не в силах пересказать, какая была еще от него повсеместная прибыль. Последнюю убыль претерпел я сам, когда ткач оторвал от меня и швырнул под стол вороватым мышам несколько мотков пряжи.

У сказанного купца купила меня некая благородная дама, которая разрезала кусок и раздала челяди в подарок на новый год. Отрез, на который ушла большая часть моего естества, достался горничной девушке, а та сшила из него себе рубашку и очень много кичилась. Тут узнал я, что они не все девушки, как их обыкновенно называют; ибо не только писец, но и сам господин находил к ней дорожку, ибо она была собою пригожа. Но сие тянулось не долго, ибо однажды госпожа сама увидела, что служанка заняла ее место, но она не разбушевалась, а поступила как благоразумная дама, рассчитала горничную и отпустила ее с миром. Дворянину же не пришлось по вкусу, что такой лакомый кусочек вырвали у него прямо из зубов; того ради он стал выговаривать жене, зачем она прогнала эту горничную, которая была так ловка, поворотлива и прилежна в работе. На что жена ответила: „Любезный муженек! Не печалься, теперь всю ее работу я берусь исполнять одна“.

Засим отправилась моя девица со всем своим багажом, среди коего находился и я, к себе на родину в Комбре,³ куда привезла довольно тяжелый узел, ибо немало заслужила и у господина, и у госпожи, а также заботливо сберегла и свое жалованье. Там она не обрела такого жирного стола, какой оставила, однако ж подцепила несколько любовников, которые в нее втюрились и таскали ей шить и мыть, ибо она избрала сие своим ремеслом, дабы снискать себе пропитание. Среди них был один молодой баран, которого она заарканила за рожки и так обошла, что за целку сошла. Справили свадьбку; но как миновал медовый месяц, то объявилось, что у молодоженов всего их имения и прибытков не хватит, чтобы ее содержать так, как она привыкла, живучи у господ; к тому же в Люксембурге была недостача солдат, а ее юный супруг был трубач или, лучше сказать, рогач, а все верно оттого, что сумели до него протрубить тот рог. Тогда и я стал жить скудно и паскудно, проносился и прохудился; того ради моя госпожа изрезала меня на пеленки, ибо вскорости ожидала наследника. После того как она оправилась от родов, сей пашенок беспрестанно марался, так что нас каждодневно стирали и под конец так истрепали, что мы стали ни к чему не годны, и наша госпожа нас выбросила. Но хозяйка, сдававшая ей жилье, по своей домовитости нас подобрала, отстирала и забросила на чердак, где у нее хранилось всякое тряпье. Там мы принуждены были пребывать, покуда не приехал молодец из Спинала,⁴ который собирал нас повсюду и отвозил на бумажную фабрику. Там нас передали старым женщинам, которые изорвали нас на мелкие лоскутки, так что мы издавали прежалостные вопли, скорбя о своей участи. Но на том наши беды еще не кончились, ибо нас растерли на

бумажных мельницах в детскую кашину, так что нас уже никто бы и не признал коноплей или льном, и в довершение всего нас еще заморили в извести и в квасцах и, наконец, распустили в воде, так что, говоря по правде, мы совсем пропали. Однако ж нечаянно был я возведен в тонкий лист писчей бумаги, а по исполнении многих различных работ вместе с другими моими камрадами превратился в тетрадь, затем в стопу бумаги, потом снова попал под пресс, а под конец упакован в кипу и отправлен на предстоящую ярмарку в Цурцах,⁵ там был продан купцу из Цюриха, который привез нас к себе домой и ту самую стопу, в коей я находился, перепродал фактору или домоуправителю одного важного господина; сей фактор смастерил из меня гроссбух, или счетную книгу. Но пока сие произошло, я тридцать шесть раз перешел из рук в руки с тех пор, как стал ветошью.

Сию книгу,⁶ в коей я, как честный лист бумаги, представлял две страницы, фактор столь же возлюбил, как Александр Великий Гомера; она была ему вместо Вергилия, коего столь прилежно изучал Август, заменяла ему Оппиана,⁷ коего с таким усердием читал Антоний,⁸ сын Септимия Севера; служила ему как „Комментарии“ Плиния Младшего, которые так высоко ценил Ларгий Лициний,⁹ она же была его Тертулианом,¹⁰ которого не выпускал из рук епископ Киприан,¹¹ была его „Киропедией“,¹² которую так ославил Сципион; его Филолаем Пифагорейцем,¹³ к коему так благоволил Платон; его Спевсиппом,¹⁴ коего так любил Аристотель, его Корнелием Тацитом,¹⁵ коим так гордился император Тацит; его Комином,¹⁶ которого Карл Пятый¹⁷ предпочитал всем другим писателям, и, одним словом, его Библией, которую он штудировал день и ночь, правда, не затем, чтобы все счета были верными и справедливыми, а для того, чтобы запутать свои воровские проделки и все так расписать, чтобы все сошлось со счетною книгою.

Когда же помянутая книга была вся исписана, то меня заставили в угол, и я наслаждался долгим покоем, покуда господин и госпожа не ушли путем всех смертных. Когда же оставшееся имущество поделили наследники, то они разорвали счетную книгу и употребили на упаковку, при каковой оказии я был положен на расшитый камзол, дабы предохранить от порчи ткань и позументы, и таким образом был привезен сюда и, после того как все было развернуто, осужден в скаредном сем месте в награду за всю верную мою службу человеческому роду принять конечную погибель и смерть, от чего ты меня, однако, можешь спасти».

Я ответил: «Понеже твое произрастание и размножение берут свое начало, происхождение и пищу из твердой почвы, умягченной экскрементами различных animalia, к тому же раз ты и без того к оной материи привычен и как великий краснойбай о ней рассуждать умеешь, то будет справедливо, ежели ты возвратишься к своему началу, к чему тебя приговорил и собственный твой господин». Сим огласил я свой приговор; но

Подтирка сказал: «Подобно тому как сейчас ты судил меня, так же поступи с тобою Смерть, когда снова превратит тебя в прах, от коего ты взят, и никто не даст тебе отсрочки, какую ты мог мне дать на сей раз».

ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплициус бюргеру пишет цидулю,
Дабы берегла его вечно от пули.*

За прошедший вечер я потерял реестр всех моих хитростей и кунштюков, в коих я когда-либо упражнялся, составленный мною для того, чтобы я их не так легко мог забыть; однако там не было записано, каким образом и с помощью каких средств сие учинить можно. Для примера приведу здесь начало сего реестра:

«Фитили, или запальные веревки, изготавливать так, чтобы они не воняли, ибо через таковой запах нередко обнаруживали мушкетеров и сводили на нет их умыслы.

Фитили изготавливать так, чтобы они горели, даже когда были подмочены.

Порох изготавливать так, чтобы он не воспламенялся, даже когда сунут в него раскаленную сталь, что особливо полезно в крепостях, в коих нужны держать большие запасы сих опасных вещей.

В людей и птиц стрелять порохом так, чтобы они сваливались за смертью, а через некоторое время безо всякого повреждения могли подняться.

Придать человеку двойную силу, не прибегая к кабаньему корню¹ и другим подобным запрещенным средствам.

Когда во время вылазок не удастся заклепать пушки у неприятеля, то второпях устроить так, чтобы они разлетелись на куски.

Испортить кому-нибудь мушкет так, что он только распугает всю дичь, покуда его не почистят снова известной материею.

Положив мушкет на плечо и повернувшись к мишени спиною, попадать в самую сердцевину лучше, нежели когда кладут его и стреляют по общему обыкновению.

Известный кунштюк, чтобы тебя не сразила пуля.

Изготовить Инструмент, с помощью коего, особливо же в безветренную ночь, диковинным образом услышать в неимоверной дальности всякий звук и голос (что иначе никак невозможно для человеческого слуха), весьма полезно для всякой стражи, особливо же во время осады, и т. д.»

Точно так же в сказанном реестре были перечислены и другие различные куншты, каковую бумагу нашел и подобрал мой хозяин; того ради

вошел он ко мне в комнату, показал перечень и спросил, статочное ли дело, чтобы все эти хитрости естественным образом учинить было можно; он, правда, не очень-то может сему поверить, однако ж должен признаться, что в юности, когда он еще был пажем у фельдмаршала Шауенбурга² в Италии, то ходил слух, что все савойские князья заговорены от пули. Сие захотел испытать помянутый фельдмаршал на принце Томасе Савойском,³ которого он осаждал в крепости; и когда они заключили на час перемирие, чтобы предать земле мертвых, и имели между собою конференцию, то приказал он некоему капралу из своего полка, которого почитали самым отменным стрелком во всей армии, ибо он мог из своего мушкета за пятьдесят шагов сбить с горящей свечи нагар, не погасив ее, сказанного принца, вышедшего для переговоров на бруствер крепостного вала, подкараулить и, как только пройдет уреченный час перемирия, попочевать пулею. Сей капрал должен был только прилежно приметить время и не упускать из виду сказанного принца во все время перемирия и, когда с первым ударом колокола оно окончится и каждый поспешит ретироваться в надежное укрытие, дать выстрел. Однако ж против всякого чаяния мушкет отказал, и пока капрал снова заправил его, то принц скрылся за бруствером, после чего капрал показал фельдмаршалу, который спустился к нему в апроши, на одного швейцарца из лейб-гвардии принца, в которого он нацелился и попал так метко, что он только закувыркался, из чего воочию можно было увидеть, что тут дело нечисто, а именно, что никого из князей Савойи не поразит и не заденет никакая пуля. Однако ж достигается ли сие подобным искусством или, быть может, то особливая милость бога, что почиет над княжеским домом Савойи, ибо он, как говорят, происходит от самого царя и пророка Давида, про то он не ведает.

Я отвечал: «Про то я также не ведаю, но знаю наверное, что все перечисленные кунштюки естественные, а не чародейские». И когда он тому не захотел поверить, то я сказал, что ему только надобно объявить мне, который из них он почитает самым наидиковинным и наимвозможным, и я ему тотчас же учиню его, ежели только он не потребует долгого времени и особливых обстоятельств, кои потребны, чтобы произвести сие дело, ибо я должен сразу же продолжать свое путешествие. В ответ он сказал, что самым невозможным он почитает, чтобы порох не воспламенился, когда к нему поднесут огонь, ежели я только перед тем не высыплю его в воду. Когда я сие смогу учинить естественным образом, то поверит он и всем прочим кунштюкам, число коих в том реестре было более шестидесяти, чего он не видал и чему без такой пробы поверить не сможет. Я отвечал, что ему надобно только поскорее доставить заряд пороху и еще кое-какую материю, которая мне потребна для сего дела, а также принести огонь, и он тотчас же увидит, что кунштюк правильный. И когда он сие принес, то я велел ему надлежащим образом все исправить, а по-

том поджечь, однако ж он смог лишь мало-помалу спалить несколько зерен пороху, хотя и бился с тем добрых четверть часа и достиг только того, что раскаленное железо, служившее ему фитилем, и даже угольи потушил в самом порохе. «Ну, вот! — сказал он наконец. — Теперь весь порох пропал». Я же ответил ему делом и поджег порох без особых усилий, так что он воспламенился скорее, чем кто успел бы сосчитать до шестнадцати. «Ах! — воскликнул он. — Когда в Цюрихе знали бы о сем искусстве,⁴ то не понесли бы такого урона, как намедни, когда молния ударила в их пороховую башню».

Когда он доподлинно увидел, что сей естественный кунштюк подтвержден опытом, то вскорости захотел узнать, каким средством можно уберечь человека от пули, но объявить ему о сем было некстати. Он подбивался ко мне со всякими ласкательствами и обещаниями; я же сказал, что мне не надобны ни деньги, ни богатства. Тогда он подступил ко мне с угрозами, я же отвечал, что ему не к чести задерживать паломника, направляющегося в Эйнзидлен. Он укорял меня в неблагодарности за оказанное мне дружеское гостеприимство; напротив, представлял я ему, что он уже довольно от меня научился. Но как он ни за что не хотел от меня отвязаться, то вознамерился я его обмануть; ибо тот, кто хотел бы ласкою или силой узнать от меня сие искусство, должен быть весьма высокою персоною. И понеже я приметил, что он оставил без внимания, крестился я или бормотал заклинания в то время, когда он пытался поджечь порох, то и решил окопачить его тем же манером, как меня самого окопачил Бальдандерс, да так чтобы не выставить себя лжецом и все-таки не открыть ему истинного способа, ибо написал ему такую записочку:

Письмена на сей цидуле
Сберегут тебя от пули.

Asa vitom nahores arjes clitira menalem alomade zakam buruman oldit inabl renan nasiore sikur ratam Herodan ani oreми asa vitom ore rahoremathi salet arast vojос oreми elitira nasiore zatam kolyman sacer oreми diled robit lapukar ardes laert asa racel tuhil.

Когда я ему составил сей заговор, то он ему поверил, ибо полагал, что это такая тарабарщина, которую никто не понимает. Таким образом удалось мне от него отвязаться, да еще заслужить такую милость, что он пожаловал мне несколько талеров на пропитание в дороге; но я отказался их принять, а пошел от него, довольствовавшись одним завтраком. Итак, зашагал я вниз по течению Рейна к Эглизау,⁵ однако ж присел по пути у водопада, где река, с превеликим шумом и гулом пенясь и кипя, низвергает свои воды.

Тут взяло меня сомнение, не учинил ли я моему хозяину, который так радушно приютил меня, слишком большую пакость, отдарив его таким кунштюком. Ведь, может быть, размышляя я, он впоследствии вручит эту

цидульку и дурацкие слова как надежное средство своим детям или каким-либо друзьям, которые потом, положившись на него в беде и опасности, прежде времени сложат головы; кто тогда будет повинен в их ранней смерти, как не ты? Спohватившись, хотел бежать назад, чтобы сделать отмену, да поостерегся, рассудив, что когда я снова попаду к нему в лапы, то он обойдется со мной куда жестче, нежели прежде, или по крайности оплатит мне за обман, а посему продолжал свой путь в Эглизау; там выпросил я себе пищу, питье и ночлег, а также поллиста бумаги, на коем написал следующее: «Благородный, благочестивый и высокочтимый господин! Я благодарю еще раз за добрый приют и молю бога, дабы он тысячерицею воздал за него господину. Впрочем же, питаю опасение, что впрямь господин может свергнуть себя в опасность и начнет испытывать бога, ибо он перенял от меня изрядное искусство уберечь себя от пули; должен предостеречь господина и пояснить ему сие искусство, дабы оно ему ненароком не причинило вреда. Я написал:

Письмена на сей цидуле
Сберегут тебя от пули.

Сие надлежит господину уразуметь правильно и, вынув из каждого тарабарского слова, которые все не волшебные и не обладают никакой силой, средние буквы, сложить их по порядку одну за другой, и тогда получится: „Стой там, куда никто не стреляет, и ты цел будешь“.

Сему пусть следует господин, поминает меня добром и не почитает меня обманщиком, ибо я веряю нас обоих под покров бога, который один хранит того, кого захочет. Datum etc.».

На следующий день меня не хотели выпустить, так как у меня не было денег, чтобы уплатить пошлину, того ради принужден был просидеть битых два часа, покуда не пришел почтенный муж, который уплатил за меня во имя божие что надлежало. Но то, должно быть, случился не кто иной, как палач, ибо сборщик сказал ему: «Не сдается ли тебе, мастер Христиан, что этот малый попадет к тебе в переделку?». «Не знаю! — отвечал мастер Христиан. — Я еще не показал своего искусства ни на одном пилигриме, ровно как и подобном тебе мытаре». Сборщик, таким образом, остался с носом, а я убрался прочь, направившись в Цюрих, где первым делом отправил свое послание в Шафхаузен, ибо у меня было беспокойно на душе с таким делом.

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций наплел простакам небылицы
О странах диковинных, рыбах и птицах.*

Тогда-то узнал я, как худо приходится на свете тому, у кого нет денег для поддержания своей жизни, даже тогда, когда он с полною охотою желал бы от них отказаться. Прочие паломники, направлявшиеся в Эйнзидлен, у которых водились деньги, сели на корабль, дабы переправиться через озеро; я же принужден был тащиться пешком окольными путями не по иной какой причине, кроме той, что мне нечем было заплатить перевозчику. Однако ж меня это нимало не раздосадовало, а напротив, я шел с прохладцей, довольствуясь любым пристанищем, когда его находил, хотя бы мне пришлось переночевать в склепе. Когда же меня пускал к себе какой-нибудь любопытный хозяин, привлеченный моею странною внешностью, дабы услышать от меня что-нибудь диковинное, то я угощал его такими историями, какие он больше всего хотел услышать, и навирал ему с три короба о том, что мне довелось видеть, слышать и испытать во время моих странствий, причем не стыдился пересказывать выдумки, басни и бредни древних писателей и поэтов, выдавая все за правду, как если бы я сам был всему и повсюду соучастник и очевидец; например, я сам видел понтийское племя,¹ прозванное фибеями, у коих в одном глазу два человеческих глазных яблока, а в другом лошадиное, и в доказательство ссылался на свидетельство Филарха;² я был у истоков Ганга, где обитают астомеи,³ которые ничего не едят, да и не имеют для сего ртов, а, согласно свидетельству Плиния, вкушают через нос запахи и тем питают себя; item у вифинских женок в Скифии и трибалиев в Иллирии,⁴ у коих по два глазных яблока в каждой глазнице, понеже о них сообщали Аполлонид⁵ и Исигон.⁶ За несколько лет перед тем я спознался с жителями горы Милас,⁷ у коих, как уверял Мегасфен,⁸ ноги, как у лисиц, а на каждой ноге по восемь пальцев; и у троглодитов на западе я взаправду бывал, у коих, о чем повествует Ктесий,⁹ нет ни головы, ни шеи, а глаза, рот и нос помещаются на груди, а также у моносцелиев и скиоподибов, у коих только одна нога, которой они прикрывают свое тело от дождя и зноя, но могут на той одной большой ноге перегнать оленя. Я видел антропофагов в Скифии и кафров в Индии,¹⁰ что поедают человеческое мясо; андабатов, что воют с закрытыми глазами и бьются кучею; агриофанов, что пожирают мясо львов и пантер; аримфеев, что без опасения спят под деревьями безо всякой стражи; бактриев, которые живут так умеренно, что у них нет более ненавистного порока, чем пьянство и чревоугодие; самоедов, которые живут за Москвой под снегом; островитян в Персидском заливе у Ормуза, кои по причине нестерпимой жары спят в воде;

гренландцев, у коих жены ходят в штанах; берберов, кои всех, кто достигает у них 50 лет, закалывают и приносят в жертву своим богам; индейцев за Магеллановым проливом на *Mare pacificum*,¹¹ чьи жены носят короткие волосы, а сами мужчины длинные косы; кондеев, что питаются змеями; язычников, что живут за Лифляндией¹² и в известные времена года превращаются в оборотней; каспиев, которые замаривают голодом своих стариков, когда они достигнут семидесятилетия; черных татар, у которых рождаются дети с зубами; гетов, у которых все общее, в том числе и жены; гимантоподов, которые ползают по земле, как змеи; бразильцев, что встречают чужеземцев вином; и мосинеков, что потчуют своих гостей колотушками. Да что там, я видел даже селениток, которые, как утверждает Геродот,¹³ кладут яйца и высиживают из них людей, а те в десять раз больше, нежели мы в Европе.

Точно так же довелось мне узреть множество диковинных источников,¹⁴ как тот, откуда берет начало Висла, и воды сего источника затвердевают в камень, так что из него строят дома; итем источник у Цепузио в Венгрии, чьи воды резьдеают железо или, лучше сказать, претворяют его в материю, из коей впоследствии выплавляют медь, ибо дождь там превращается в купорос; и еще там же ядовитый источник, вода коего то прибывает, то убывает, словно месяц, и где он увлажнит землю, произрастает одна только волчья трава; и еще там же источник горячий в зимнюю пору, а летом холодный, как чистый лед, в коем можно охлаждать вино. Я видел два родника в Ирландии, и кто изопьет воды из одного, тот станет стар и сед, а из другого — юн и пригож, также ручей у Энгстлена в Швейцарии, который течет только в то время, когда скот приходит на водопой; итем различные источники в Исландии: один горячий, другой холодный, третий сернистый, четвертый несет растопленный воск; еще колодцы у св. Стефана,¹⁵ что насупротив Зааненланда¹⁶ в Швейцарском Союзе, куда люди смотрят, как в календарь, ибо вода там темнеет, когда собирается дождь, и, напротив, светла, когда погода должна проясниться; также ручеек Шендебах у Оберненхейма в Эльзасе, который начинает течь только в то время, когда на всю страну надвигается большая беда, как-то: глад, мор или война; ядовитый родник в Аркадии, что отнял жизнь у Александра Великого; воды Сибара,¹⁷ что возвращают черный цвет седым волосам; воды Синесваны,¹⁸ что излечивают женщин от бесплодия; воды на острове Энария,¹⁹ что изгоняют песок и камни из почек; воды Клитумно,²⁰ от коих белеют быки, когда их там выкупают; воды Соленио, кои исцеляют любовные раны; родник Алеос,²¹ что разжигает любовный жар; родник в Персии, источающий чистое масло, и наш в Кронвейсенбурге,²² извергающий один только деготь и колесную мазь; воды острова Наксос,²³ опьяняющие тех, кто их пьет; родник Аретузы,²⁴ источающий сладкую воду. Также знал я обо всех знатных топяx, озерах, болотах и трясиных, как-то об озере у Циркница²⁵ в Каринтии,

где водятся рыбы, достигающие двух локтей длины, а когда оно высыхает к лету, то все они остаются на дне, и их собирают крестьяне, которые потом засевают озеро, жнут и собирают урожай; а после с осени оно само собою наполняется водою на 18 локтей глубины и к будущей весне снова кишит рыбами; о Мертвом море в Иудее, озере Леомондо на Лемносе, которое простирается на 24 мили в длину и на нем немало островов, а среди них и плавающий остров, гонимый ветром вместе с пасущимся на нем скотом и всем, что там находится. Я мог порассказать о Федерзее²⁶ в Швабии, о Бодензее в Констанце, о Пилатовом озере²⁷ на хребте Франктмонт, об озере Камарина в Сицилии,²⁸ Лаку Бебейде в Фессалии,²⁹ Гигео в Лидии, Марето в Египте, Стимфалид в Аркадии, Асканию в Вифинии, Икомед в Эфиопии, Феспотио в Амбракии,³⁰ Трасименто³¹ в Умбрии, Меотид³² в Скифии и еще о многих других.

И точно так же повидал я все знатные реки на свете: Рейн и Дунай в Германии, Эльбу в Саксонии, Молдаву в Чехии, Инн в Баварии, Волгу в России, Темзу в Англии, Тахо в Испании, Амфриз в Фессалии, Нил в Египте, Иордан в Иудее, Гипаним³³ в Скифии, Баграду³⁴ в Африке, Ганг в Индии, Рио де ла Плата в Америке, Эврот в Лаконии,³⁵ Эфрат в Месопотамии, Тибр в Италии, Кидн в Киликии,³⁶ Ахелой³⁷ между Этолией и Акарнанией, Борисфен во Фракии, Саббатикус³⁸ в Сирии, что течет шесть дней, а на седьмой исчезает; итею реку в Сицилии, в которой, по свидетельству Аристотеля, задушенные и задохшиеся в силках птицы и звери снова оживали; а также Галлум во Фригии, который, по словам Овидия, наводит безумие на того, кто пьет из него. Я видел также пливиев источник Додона,³⁹ и сам произвел пробу, узрев, как над ним горящие свечи потухают, а потухшие возгораются. Был я также и у источника в Аполлонии,⁴⁰ который прозван чашей Нимфеи и тому, кто изопьет из него, по словам Теопомпуса,⁴¹ открывает все предстоящие ему несчастья.

Подобным же образом знал я и умел наказать с три короба о множестве наидиковиннейших вещей на свете, как-то о Каламинских лесах,⁴² кои странствуют с места на место, куда им заблагорассудится; был я также и в Циминском лесу,⁴³ где остерегся воткнуть посох в землю, ибо там все, что туда попадает, сразу пускает корни, так что обратно не выдернешь, и разрастается в большое дерево. Видел я и два леса, о которых упоминает Плиний, где стволы деревьев то треугольны, то четвероугольны, а то тупоугольны; а также скалы, которые то можно столкнуть, едва пошевельив пальцем, а то и не сдвинешь никакою силою.

Сумма суммагум я не только умел наврать кое-что о редких и диковинных вещах, но и сам видел все собственными очами, хотя бы то были прославленные строения, слывшие семью чудесами света, вавилонская башня и тому подобные, которые уже много сот лет как исчезли с лица земли. Так же поступал я, когда доводилось мне говорить о птицах, звезрах, рыбах, земных недрах, чтобы потешить моих хозяев, развесивших

уши. Когда же я встречал сведущих людей, то старался не пересаливать, и так полегоньку добрался до Эйнзидлена, где свершил богомолье, и отправился в Берн, не только для того чтобы осмотреть сей город, но и затем, чтобы оттуда пробраться через Савойю в Италию.

ПЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплициус в замке, где призраки бродят,
Со страху душа его в пятки уходит.*

Мне изрядно повезло, ибо по дороге я встречал чистосердечных людей, кои давали мне от щедрот своих пищу и пристанище, и чем далее, тем охотнее, ибо видели, что я не прошу и не принимаю денег, хотя бы мне давалъ всего один или два энгстера.¹ В Берне приметил я весьма молодого разряженного человека, вокруг которого резвились дети, называвшие его папою, чему немало подивился, ибо еще не знал, что такие молодчики для того так рано женятся, чтобы тем скорее заделаться государственными персонами² и пораньше засесть в префектуре. Сей увидел, как я пробираюсь под окнами, и когда я собирался пройти мимо него с почтительным поклоном (ибо не мог снять шляпу, потому что ее на мне не было), вместо того чтобы по бесстыжему нищенскому обыкновению бежать за ним по улице, то опустил руку в кошелек и сказал: «Эй, чего ж ты не просишь у меня милостыньки? На, вот, держи луцер».³ Я ответил: «Господин, я легко мог вообразить, что ты не носишь при себе хлеб, а потому и не утруждал тебя; а денег мне не надобно, ибо их не подобает иметь нищему». Меж тем обступила нас разношерстная толпа, к чему я уже давно привык; он же возразил мне: «Ты, видать, гордый нищий, ежели отвергаешь с презрением деньги». «Нет, господин, соизволь мне поверить, — сказал я, — что я отвергаю их, чтобы не возгордиться». Он спросил: «А где обретешь ты ночлег, ежели у тебя нет денег?». Я ответил: «Когда бог и добрые люди соизволят мне отдохнуть в этом сарае, в чем я сейчас весьма нуждаюсь, то вполне буду доволен и убогатворен сим пристанищем». Он же сказал: «Когда б я знал, что у тебя нет вшей, то приютил бы у себя и уложил в мягкую постель». Я же возразил ему, хотя у меня столь же мало вшей, как и грошей, однако ж не могу рассудить, стоит ли мне почивать в постели, ибо сие может меня изнежить и отвратить от привычки к суровой жизни. Тут подошел весьма взрачный почтенный старик, к коему молодой обратился с такими словами: «Погляди, бога ради, на второго Диогена Циника!».⁴ «Эге, братец! — сказал старик. — Что ты там такое говоришь? Разве он кого-нибудь облаял или укусил? Подай ему милостыньку, и пусть он

идет своею дорогою». Молодой ответил: «Господин дядюшка! Он не берет денег и не принимает благодарения, какое ему хотят оказать». И тут поведал старику обо всем, что я говорил и как поступал. «Эва! — воскликнул старик. — Сколько голов, столько умов!», и затем приказал своему слуге отвести меня на постоялый двор и пообещать трактирщику заплатить за все, что мне потребуется на эту ночь; молодой же крикнул мне вдогонку, чтобы я непременно снова пришел к нему поутру, он даст мне на дорогу отменный кусочек холодного жаркого.

Итак, сбежал я от обступившей меня толпы, которая куда сильнее улюлюкала, чем я тут описываю; однако я попал из Чистилища в Пекло, ибо в трактире было полно пьяных и вздурившихся людей, которые задали мне такую баню, какую мне еще не доводилось повидать за время моего паломничества. Всяк хотел знать, кто я такой. Один уверял, что я шпион или лазутчик, другой говорил, что я перекрещенец, третий объявил меня дурнем, четвертый почел меня за святого пророка, а большая часть полагала, что я Вечный жид, о чем я уже повествовал раньше, и едва не принудили предъявить доказательство того, что я не обрезан. Наконец, трактирщик сжалился надо мною, вырвал меня от них и сказал: «Оставьте вы его в покое, я не знаю, кто из вас больший дурень, он или вы все!». Засим отвел он меня спать.

На другой день отправился я к дому молодого господина, чтобы получить у него обещанный завтрак; но не застал его, а ко мне вышла его жена со всеми детьми, верно, затем, чтобы подивиться на мое странное обличье, о чем ей нарасказал муж. Я сразу понял из ее речей, что он пошел в сенат с нерушимой надеждой заступить в тот же день должность ландфогта или ландамтмана; мне надобно, сказала она, только малость подождать, ибо вскорости он вернется. Пока мы с нею так толковали, вышел он из переулка и, как мне показалось, куда менее веселый, нежели был вчера вечером. Едва только он ступил на порог, жена его воскликнула: «Бесценный мой! Ну, как тебя назвали?». Он же взбежал по лестнице и на ходу крикнул ей: «Гунсвотом⁵ меня назвали!». Тут я помыслил: «На сей раз он не окажет тебе особой милости», и того ради тихонько пошел прочь, однако его дети побежали за мною следом, чтобы вдосталь на меня надивиться; к ним по дороге пристали другие, перед коими они похвалялись с превеликою радостью, какую почетную должность получил их отец. «Вона, — говорили они каждому встречному, — наш-то батюшка теперь стал гунсвотом», на какую их простоту и глупость принужден был я рассмеяться.

А когда я заметил, что в городах мне не столь вольготно, как в деревне, то положил намерение никогда больше не заглядывать ни в один город, ежели только возможно его обойти. Итак, пробавлялся я молоком, сыром, слабым творогом,⁶ маслом и куском хлеба, что уделяли мне сельские жители почитай что до самой савойской границы. Однажды стран-

становал я в тамошней местности и месил грязь до лодыжек, пока не набрел на дворянское поместье, как раз в то время, когда припустился такой дождь, словно поливали из кадки. Когда я приблизился к сказанному благородному замку, то, по счастью, попался на глаза самому его владельцу. Он не только подивился диковинному моему платью, но и моей стойкости; и понеже я при столь сильном ненастье не просился под крышу, хотя был у меня к тому довольный повод, то сперва почли меня за сущего дурня. Однако ж, уж не ведаю, из сострадания или любопытства послал он вниз слугу, который сказал, что его господин желает узнать, кто я такой и по какой причине брожу вокруг его дома в столь ужасную непогоду.

Я отвечал: «Друг мой! Скажи твоему господину, что я — мяч преходящего счастья, образ изменчивости и зеркало непостоянства жизни человеческой. А странствую я в такую непогоду не по иной какой причине, кроме той, что с того самого часа, как начался дождь, никто не предложил мне пристанища». Когда слуга передал это своему господину, тот сказал: «Сие не дурацкие речи; к тому же дело к ночи, и в такую худую погоду не гонят со двора и собаку!», того ради велел меня впустить в замок и отвести в людскую, где я вытер ноги и высушил платье.

У сего кавалера служил дворецким, наставником его детей и в то же время писцом, или, как они теперь хотят чтобы их называли, секретарем, некий малый, который стал меня допрашивать: откуда, куда, из какой страны и какого званья. Я же рассказал ему по правде мои дела, где жительствовавал и где обитал, когда был отшельником, а теперь возымел намерение посетить святые места. Все сие передал он своему господину, который соизволил меня пригласить отужинать с ним, и меня там угостили на славу, а я, по желанию владельца замка, принужден был повторить все, что раньше поведал его писцу о своем житии и странствии. Он расспрашивал меня обо всех подробностях с такою точностью, как если бы сам там бывал, ровно у себя дома; и когда меня провожали спать, то он сам пошел вместе со слугою, который светил нам, и отвел меня в такой великолепный покой, что почивать там было впору какому-нибудь графу, каковая чрезмерная учтивость повергла меня в изумление, так что я не иначе вообразить мог, что делает он это из одного токмо благочестия, ибо возомнил, что всем своим обличьем я похожу на набожного пилигрима. Но тут крылось совсем другое; ибо когда он был со слугою, державшим свечу в дверях, а я проворно улегся в постель, то сказал: «Ну, вот, господин Симплициус! Приятного сна! Я-то знаю, что ты не боишься привидений, однако ж могу тебя уверить, что тех, которые бродят по этому покою, ты не прогонишь никакой плеткой». С такими словами замкнул он покой, оставив меня в смятении и страхе.

Я ломал голову и долго не мог уразуметь, каким образом меня признал сей господин и где видел; ибо доподлинно назвал меня прежним

моим именем, пока после долгих размышлений не взошло мне на ум, что однажды уже после смерти друга моего Херцбрудера на Кислых водах зашла у меня с несколькими кавалерами и студентами беседа о привидениях и двое швейцарцев, доводившихся друг другу братьями, повели диковинную историю, как в доме их отца куралесили духи не только ночью, но нередко и днем; я же тогда возразил им и с большою дерзостью утверждал, что тот, кто страшится привидений, трусливый простофиля, после чего один из сих братьев, вырядившись во все белое, пробрался ночью ко мне в комнату и зачал там греметь, вознамерившись меня напугать и, когда я, помертвев от страха, буду лежать не шелохнувшись, стащить с меня одеяло, а затем по учинению сей шутки жестоко поиздеваться надо мною и тем наказать за дерзкую мою самонадеянность. Но когда он стал колобродничать так, что я пробудился, то выскользнул из постели и, схватив подвернувшуюся под руку плетку, огрел призрак меж лопаток и принялся что есть силы лупить его, приговаривая: «Ого, парень, там, где бродят привидения, девки становятся бабами, но сегодня господин дух прибрел понапрасну!», покуда он в конце концов от меня не вырвался и не убежал.

Когда я вспомнил эту историю и принял в рассуждение последние слова моего Амфитриона, то легко мог уразуметь, откуда ветер дует. И тут я сказал самому себе: «Ежели они сказали тебе правду о страшном привидении в доме их отца, то, нет сомнения, лежишь ты сейчас в той самой комнате, где всего злее бушует всякая нечисть; а ежели они тебе набрехали скуки ради, то уж, наверно, велят отхлестать тебя плетью, так что тебе потом долго не поздоровится». Пораздумав, вскочил я с постели в намерении выпрыгнуть в окошко; однако ж там повсюду были железные решетки, так что я не мог ничего поделать, и горше всего, что у меня не было при себе никакого оружия, даже моего тяжелого страннического посоха, которым в случае нужды я сумел бы отбиться; а посему снова юркнул в постель, хотя и не мог заснуть, ожидая со страхом и тревогою, что принесет мне сия жестокая ночь.

Около полуночи растворились двери, хотя я надежно задвинул их изнутри на засов. Первым вошел почтенный важный старец с длинною седою бородою, одетый по старинной моде в долгополый талар из белого атласа, расшитый золотыми цветами и подбитый норкою; за ним следовали трое, также мужи весьма почтенные; и когда они вступили в комнату, то сразу стало так светло, как если бы они несли факелы, хотя я не заметил даже свечки или чего еще подобного. Я сунул нос под одеяло, оставив снаружи одни глаза, словно напуганный трусливый мышонок, когда он забился в норку и высматривает, есть ли опасность. Они же, напротив, подступили к моей постели и стали меня прилежно оглядывать, а я их. Сие продолжалось весьма малое время, а затем они все отступили в угол и подняли одну из каменных плит, коими был устлан пол, и вы-

нули из-под нее полный прибор, какой надобен цирюльнику, когда он собирается окорнать у кого-нибудь бороду. С сим инструментарием подступили они ко мне снова, поставили посреди покоя стул и, показывая на него, дали уразуметь, что надлежит мне подняться с постели, усесться и дозволить себя побрить. Но как я все еще тихонько лежал, то самый важный из них стал срывать с меня одеяло, чтобы силой принудить меня сесть на стул; тут каждый может вообразить, какие мурашки побежали у меня по спине. Я уцепился что есть силы за одеяло и сказал: «Господа, что вам угодно? Что вознамерились вы у меня остричь? Я бедный пилигрим, у коего ничего нет, окромя его собственных волос, дабы укрыть голову от дождя, ветра и зноя. Да вы и не похожи совсем на эту сволочь цирюльников; того ради оставьте меня небритым и нестриженным». На мои слова отвечал знатнейший: «Мы-то и есть самые заправские цирюльники; но ты можешь нам пособить и должен нам это обещать, коли хочешь остаться небритым-нестриженным». Я сказал: «Когда сия помощь мне под силу, то обещаю исполнить все, что могу и что для сего надобно; того ради откройте мне, чем же я должен пособить вам». На то старший из них объявил: «Я — предок владельцев здешнего замка и затеял со своим двоюродным братом из рода N. несправедливую тяжбу из-за двух деревенок N.N., кои ему принадлежат по праву, и с помощью всяких хитростей и уловок так повернул дело, что сии трое были избраны криводушными судьями, коих я различными обещаниями и угрозами склонил присудить мне обе сказанные деревеньки. Засим принялся я так стричь, драть и кровь отворять у своих подданных, что наскреб немалую толику денег, они-то и схоронены тут в уголке, а я до сих пор не расстаюсь с сим ремеслом в расплату за свое живодерство. Когда бы эти деньги вернулись к людям (ибо обе деревни тотчас же после моей смерти снова достались законному владельцу), ты бы помог мне так, как ты только сможешь, ежели расскажешь о сих обстоятельствах моему правнуку. А дабы они словам больше поверили, попроси поутру отвести тебя в так называемую зеленую залу; там отыщешь ты мой портрет, перед коим и поведаешь ему обо всем, что ты от меня услышал». Когда он мне все сие объявил, то протянул руку и потребовал, чтобы я дал ему руку в уверение того, что все то исполню. Но понеже я не раз слыхивал, что ни одному привидению нельзя подавать руку, то сунул ему уголок от простыни, который тотчас же воспламенился и сгорел, едва он к нему пригнулся. Духи же отнесли весь свой цирюльничий прибор на старое место, уложили плиту и поставили стул туда, где он стоял прежде, после чего вышли гуськом из комнаты. Я же потел, как жаркое на огне, однако ж у меня достало храбрости снова уснуть посреди таких страхов.

ШЕСТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций из замка выходит на волю,
Защиты дукаты в новом камзоле.*

Уже давным-давно стоял белый день, когда владелец замка вместе со своим слугою подошел к моей постели. «Доброго здравия, господин Симплициус, — воскликнул он, — ну, как почивал ты нонешней ночью? Не случилась ли тебе нужда в доброй плетке?». «Нет, мусье, — отвечал я, — те, что тут обитают, не нуждаются в ней, как те, что собирались подшутить надо мною на Кислых водах». «Однако, как тут все сошло? — продолжал он расспрашивать. — Ты все еще не боишься привидений?». Я отвечал: «Не буду уверять, что обходиться с привидениями — приятная потеха, но никогда не признаюсь, чтоб оттого я стал их бояться. А как тут все сошло, тому свидетель эта обгорелая простыня; и я обо всем поведаю господину, как только сведет он меня в зеленую залу, где я должен показать ему доподлинный портрет главного призрака, который доселе бродит в здешних местах». Он поглядел на меня с удивлением и мог легко догадаться, что я беседовал с духами, ибо не только помянул зеленую залу, о которой ничего ни от кого не слышал, но и показал обгорелую простынь. «Теперь-то, наконец, ты поверил, — спросил он, — всему тому, что я рассказал на Кислых водах?». Я отвечал: «Какая нужда мне верить, когда я сам все испытал?». «Ну, вот! — продолжал он. — Я охотно обещал бы тысячу дукатов тому, кто снимет с меня этот тяжкий крест». Я отвечал: «Пусть господин оставит их при себе; он будет избавлен от сего, не потратив ни единого гроша, да еще получит в придачу добрый куш денег».

Тут я встал с постели, и мы вместе отправились прямо в зеленую залу, которая в то же время служила потешной палатой и кунсткамерой. Меж тем подоспел и его брат, которого я отстегал плетью на Кислых водах; а за ним ради меня послали гонца, ибо он жил примерно в двух часах пути от замка; и так как он поглядел на меня довольно сердито, то я обеспокоился, не помышляет ли он о мести. Однако ж я не показал ни малейшего страха, а как только мы пришли в сказанную залу, то сразу отыскал среди прочих искусных картин и редкостей тот самый портрет, ради коего пришел. «Вот, — сказал я, обратившись к обоим братьям, — вот ваш предок, который незаконным образом отсудил у рода N. две деревни N. N., каковые ныне снова принадлежат законным их владельцам. С помянутых деревень предок ваш содрал знатные денежки, которые в том самом покое, где я нонче купил свой грех, учиненный мною на Кислых водах, когда я натешился плеткою, велел при жизни своей замуравать, по каковой причине он доныне так страшно гремел в здешнем

замке вместе со своими пособниками». Когда же они хотят, чтобы он угомонился и дом их впредь обрел покой, то должны они размуровать эти деньги и поместить их туда, где, по их мнению, они послужат добру. Я же хотел только показать им, где лежит клад, и потом с божьим именем отправиться своим путем. И понеже я сказал им сущую правду об их предке и помянутых двух деревнях, то они рассудили, что я не налгал им и о схироненном кладе, того ради отправились мы снова в мою спальню, где подняли каменную плиту, откуда призраки вынули брадобрейный прибор, а потом положили туда же. Однако ж не нашли там ничего, кроме двух глиняных горшков, которые казались совсем новешенькими; один полон красного, а другой белого песку, а посему оба брата принуждены были расстаться с надеждой выудить там какое-либо сокровище. Я же нимало о том не сокрушался, а возвеселился оттого, что мне открылся случай проверить на опыте то, что пишет удивительный Теофраст Парацельс в своих сочинениях в Том. IX «*Philosophiae occultaе*»¹ о трансмутации потаенных сокровищ; того ради, захватив оба горшка с содержащейся в них материей, я отправился с ними в кузницу, которая стояла на переднем замковом дворе, поставил их на огонь и нагнал надлежащий жар, как то обычно делают при таких процедурах, когда хотят выплавить металл. И когда я дал им самим по себе охладиться, то нашли мы в первом горшке большой слиток дукатного золота, а во втором глыбу четырехугольного серебра, так что не могли узнать, какие это были монеты. Когда мы окончили с этой работой, подоспел обед, во время каковой трапезы мне не только не пошли в горло ни кушанья, ни напитки, но стало так худо, что принуждены были уложить меня в постель; уж не знаю, по той ли причине, что я несколько дней перед тем умерщвлял свою плоть под холодным дождем, или оттого, что меня прошедшей ночью так напугали призраки.

Целых двенадцать дней принужден был я пролежать, не вставая с постели; и не умерев не мог бы проболеть жесточе. Одно-единственное кровопускание и добрый уход изрядно мне помогли. Меж тем оба брата без моего ведома призвали золотых дел мастера и учинили пробу спекшейся массе, ибо опасались какого-нибудь обмана. Но как оба слитка объявились доподлинными, а к тому же ни один призрак больше не бродил по замку, то оба брата прямо не знали, какую бы еще мне оказать честь и услугу, так что даже почитали меня святым человеком, от кого не сокрыто ничего тайного, ниспосланного им самим богом, чтобы вернуть их дому тишину и порядок. Того ради владелец замка почти не отходил от моей постели и был весьма рад, когда мог вести со мной беседу. И сие продолжалось до тех пор, пока ко мне не вернулось совершенное здравие.

В это время владелец замка чистосердечно рассказал мне, что, когда он был еще юным отроком, к отцу его явился некий бродяга, который вызвался заклясть духа и избавить дом от такой нечисти; и для исполне-

ния сего дела заперли его в том самом покое, где мне пришлось провести ночь. Однако ж, когда те же призраки и в том же самом облике, как я их описал, столпились над ним, выволокли из постели, усадили в кресло и по своему усмотрению постригли и окорнали; и так несколько часов тиранили и стращали, что поутру нашли его полумертвым; за одну ночь у него совершенно поседела борода и волосы, хотя с вечера ложился в постель черноволосый тридцатилетний мужчина; признался мне хозяин и в том, что поместил меня на ночлег в эту комнату не по какой иной причине, а чтоб хорошенько отплатить за своего брата и заставить меня поверить всему тому, что он прежде рассказал об этом привидении и чему я никак не хотел поверить; просил меня о прощении, а также обязался, что всю жизнь пребудет моим верным другом и покорным слугою.

А когда я снова выздоровел и стал собираться в путь, то предложил он мне лошадь, платье и денег на пропитание; а когда я ото всего этого наотрез отказался, то не захотел ни за что отпускать, упрашивая не превращать его в самого наименее благодарного человека на свете и взять на дорогу по крайности хоть немного денег, ежели я только намерен в столь жалком одеянии окончить свое паломничество. «Кто знает, — сказал он, где они могут понадобится господину?». На такие его слова я принужден был рассмеяться и сказал: «Господин мой, мне право чудно, что ты называешь меня господином, когда видишь, что я прилагаю все старание, чтобы остаться бедным нищим». «Будь по-твоему, — ответил он, — но тогда оставайся у меня до конца дней своих и принимай каждодневно милостыню от моего стола». «Господин, — возразил я ему, — когда я так поступлю, то стану еще более важным барином, чем ты сам. А что же тогда станет с бранным моим телом, когда я заживу тут без забот, как богач, положась на старого императора? ² Разве привольные деньки не изнежат его? А ежели господин все же хочет одарить меня, то прошу его распорядиться, чтобы мне подбили кафтан, ибо дело идет к зиме». «Ну, слава богу, — воскликнул он, — Что нашлось хоть что-то, чем я могу оказать свою благодарность!». Засим велел он принести мне халат на меху, чтобы я носил его, покуда мой кафтан подобьют сукном, ибо я не хотел принять никакой другой подкладки. Когда все было готово, он отпустил меня, надавав писем к родным, чтобы я вручил их по пути, не столько для того, чтобы сообщить что-либо важное, сколько затем, чтобы откомендовать меня.

СЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций в одежде худой пилигрима
Решает добраться до Иерусалима.*

Итак, отправился я странствовать по свету, намереваясь в сем нищем облике посетить наисвященные и знаменитейшие места, ибо вообразил, что сам бог воззрел на меня милостивым своим оком, и полагал, что ему угодны мое терпение и добровольно принятая бедность и он вспомоществует мне, как я всегда незримо чувствовал на себе его помощь и заступление. На первом же ночлеге пристал ко мне некий почтарь, который уверял, что он направляется туда же, куда и я, а именно в Лоретто.¹ И так как я не знал туда дороги, да и не разумел тамошнего языка, он же уверял, что не особенно скор в ходьбе, то мы порешили держаться вместе и составить друг другу компанию. У почтаря также обычно находились дела там, где я должен был представить письма владельца замка и где нас по-княжески угощали. Когда же ему случалось завернуть в какой-нибудь трактир, то принуждал он меня идти с ним и платил за меня, чего я долго не хотел от него принимать, ибо думал, что таким образом помогаю расточать его плату, которую он зарабатывает в поте лица своего. Он же говорил, что угощается там, где я представляю письма, пирует по моей милости и может сберечь свои денежки. Так перевалили мы через горы и пришли вместе в плодоносную Италию, где мой спутник наконец-то признался, что вышепомянутый владелец замка поручил ему сопровождать меня и платить за меня по трактирам; того ради просил меня, чтобы я дозволил ему быть со мною и не презрел добровольной милостыни, которую послал мне вслед его господин, ибо лучше вкушать от нее, нежели по нужде выпрашивать у разных недоброхотов. Я подивился благородству души сего господина, однако ж не захотел, чтобы мнимый почтарь долее со мною оставался или тратил еще что-нибудь на меня под тем предлогом, что он уже и так оказал мне много чести и благодеяний, за которые никогда не сумею ему отплатить; по правде же потому, что положил твердое намерение презреть всякое человеческое утешение и в жалком смиреннии нести свой крест и страдания, положившись на единого бога. Я также не принял от своего спутника ни проводов, ни пищи, когда бы знал, что он затем только и был отряжен.

Когда же он увидел, что я наотрез отказываюсь от его присутствия и, отверотившись, попросил передать от меня поклон его господину и еще раз поблагодарил за все оказанные мне благодеяния, то с немалою печалью простился со мною и сказал: «Ну, ладно, дорогой Симплициус, хотя ты теперь не поверишь, сколь чистосердечно хотел мой господин сотворить тебе добро, однако ж узнаешь о сем, когда порвется подкладка

твоего кафтана или ты сам надумаешь его починить». И с тем исчез из глаз моих, словно его подгонял ветер.

Тут я подумал: «Что бы могли означать слова этого малого? Никогда б не поверил, что его господин раскаялся в том, что дал мне подкладку для кафтана. Нет, Симплиций! — сказал я самому себе. — Он не послал бы этого почтаря за свой счет в столь дальний путь, чтобы прекратить меня тем, что он велел подбить мой кафтан; тут кроется что-то другое». А когда я учинил осмотр своему кафтану, то обнаружил, что он велел вшить под сукно один за другим дукаты, так что без моего ведома я унес на себе знатную сумму денег. Сие весьма меня обеспокоило, и я бы хотел, чтобы все это лучше осталось у него. Я терялся в мыслях, куда мне девать и на что употребить эти деньги: то думал о том, чтобы воротить их назад, то предполагал снова обзавестись своим домом, то купить себе доходное место; под конец же решил издержать их на путешествие в Иерусалим, которое нельзя совершить без денег.

Следуя сему намерению, пошел я прямой дорогой в Лоретто, а оттуда в Рим. А когда я пробыл там некоторое время, совершил богомолье и свел знакомство с некоторыми паломниками, которые также вознамерились посетить Святую Землю, то отправился вместе с одним генуэзцем на его родину. Там навевались мы, не представится ли случай переплыть Средиземное море, и после недолгих расспросов нашли судно, грузное купеческими товарами, готовое к отплытию в Александрию и ожидавшее только способного ветра. Какое чудесное, прямо божественное средство деньги в руках мирского человека! Патрон, или владелец судна, не хотел взять меня на борт ради нищенского моего одеяния, хотя шел я с золотою молитвою и медным грошем; ибо когда он увидел меня и поговорил со мною в первый раз, то наотрез отверг мою просьбу; но как только показал я ему пригоршню дукатов, кои были назначены на мое путешествие, то мы тотчас же без всяких дальних просьб и не торгуясь ударили по рукам, после чего он сам преподал мне инструкцию, какой надлежит мне заpastись провизией, а также о прочих надобностях. Я последовал его наставлениям и с божьим именем на устах отплыл.

Во время всего плавания не испытали мы ни малейшей опасности от непогоды или противного ветра; однако морские разбойники, которые иногда появлялись на виду и обнаруживали намерение на нас напасть, часто побуждали нашего капитана удирать от них, ибо он хорошо знал, что ему надлежит более полагаться на скорость своего корабля и искать спасения в бегстве, нежели в сражении с ними; и так прибыли мы в Александрию быстрее, чем того ожидали все, кто плыл на нашем судне, что я почел добрым предзнаменованием благополучного окончания моего путешествия. Я уплатил за провоз и остановился у французов, которые обшновались в тамошних местах; от них я узнал, что совершить паломничество в Иерусалим на сей раз невозможно, ибо как раз в то самое время

турецкий паша из Дамаска возмутился против своего султана и находился тогда *in armis*,² так что ни один караван, будь он мал или велик, не мог пройти из Египта в Иудею, даже дерзостно подвергнув себя опасности потерять все.

В то время в Александрии, где и без того нездоровый воздух, свирепствовала прилипчивая болезнь, что принудило ретироваться оттуда многих чужестранцев, особливо же европейских купцов, которые больше страшатся смерти, нежели турки и арабы. С подобной компанией отправился я в Розетту,³ большое поселение в устье Нила. Там сели мы на корабль и на раздутых парусах поплыли по Нилу до местечка, откуда примерно час пути до большого города Аль-Каира,⁴ также называемого Старый Аль-Каир; там высадились мы около полуночи, нашли себе пристанище и дождалась утра, когда отправились в теперешний доподлинный Аль-Каир, где я узрел смешение многообразных наций. Там также можно было встретить столько же диковинных растений, как и людей; но что показалось мне найдиковинным, так то, что жители в разных местах выводят в особо устроенных для того печах цыплят из яиц, к которым не подпускают кур с тех пор, как они их снесли; и заняты таким делом у них старухи.

Хотя мне еще не довелось видеть такой большой многолюдный город, где бы можно было дешевле прокормиться, чем в Аль-Каире, но тем не менее дукаты мои мало-помалу исчезали, и, как ни было там дешево, я легко мог рассчитать, что не смогу продержаться до тех пор, пока мятеж, поднятый в Дамаске пашой, уляжется и путь в Иерусалим, куда я направлялся, станет безопасен; того ради я спустил поводья моих желаний поглядеть на различные другие вещи, к чему подстрекало меня любопытство. Среди них было место по ту сторону Нила, где выкапывают мумию;⁵ я посетил его несколько раз; *item* то место, где стоят две пирамиды Фараона и Родопы,⁶ и так вызнал дорогу, что хотя был там чужой и никому не ведом, осмеливался ходить туда проводником. Однако последний раз мне не очень-то повезло; ибо когда я отправился с несколькими людьми, чтобы добыть мумию, к египетским могилам, где также стояли пять пирамид, то нас подстерегли разбойники, которые в тех местах грабили охотников за страусами; они захватили нас врасплох и вывели различными окольными путями через пустыню к Красному морю, а там распродали поодиночке.

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиция водят на цепи по майदानам,
Набивают бродяги себе карманы.*

Только меня одного оставили непроданным, ибо когда четверо самых отчаянных разбойников приметили, что глупые люди дивятся на мою косматую швейцарскую или капуцинскую бороду и длинные волосы, то решили обратить это себе на пользу и того ради взяли меня как свою долю в добыче, отделились от всей прочей шайки, содрали с меня мой кафтан и прикрыли мне стыд, опоясав особым красивым мохом, который в Arabia Felici¹ обычно растет в лесах, обвивая некоторые деревья, и по-неже я и так обых ходить босым и с непокрытой головою, то вид имел весьма диковинный и странный. В таком образе водили они меня как дикого человека по городам и весям по всему Красному морю и показывали всюду за деньги, уверяя, что нашли меня и взяли в плен в Arabia Deserta² далеко от всякого человеческого жилья. Я не смел вымолвить на людях ни единого слова, ибо в противном случае они грозили мне смертью; и мне было весьма трудно от того удержаться, так как я уже научился немного лепетать по-арабски; но они разрешали мне это, когда я оставался с ними один. Тогда я стал им наговаривать, что мне такой их промысел весьма пришелся по нраву, ибо они содержат меня хорошо, и я довольствуюсь теми же кушаньями и напитками, что они сами, по большей части рисом и бараниной. Такими речами склонил я их к тому, что они позволяли мне по ночам, а иногда и днем на дорогах укрывать себя от холода кафтаном, в коем еще застряло несколько дукатов.

Сим образом переправился я через Красное море, ибо мои четыре хозяина посещали города и майданы по обе его стороны. Мои похитители собрали за короткое время изрядную сумму денег, пока мы, наконец, прибыли в большой торговый город, где находился двор турецкого паши и было большое стечение народа всех наций со всего света, ибо там выгружали индийские купеческие товары и оттуда через Алеппо и Аль-Каир переправляли на Средиземное море. Там двое моих хозяев, получив разрешение у властей, ходили по знатнейшим базарам того города с дудкою и кричали по их обыкновению, что тот, кто хочет повидать дикого человека, которого поймали в каменной пустыне Аравии, должен направиться в такое-то и такое-то место. Меж тем двое других сидели со мною в нашем пристанище и убирали меня, т. е. как можно наряднее взбивали мои волосы и бороду и прилагали к тому больше стараний, нежели я сам за всю свою жизнь, дабы ни единой волос не упал с головы моей, ибо приносил им немалую прибыль. Тем временем собралось отовсюду и столпилось невероятное множество народу, среди коего, как я заметил по-

платью, были и европейцы. Ну вот, подумал я, близится час твоего освобождения, и откроются обман и разбойничьи поступки твоих хозяев. Однако я еще долго помалкивал, пока не услышал, что некоторые стали переговариваться между собою на верхнем и нижнем немецком языке, а некоторые по-французски или по-итальянски. Когда же они повысказали обо мне свое суждение, то я не мог больше удержаться и пробормотал, немного запинаясь, по-латыни (дабы меня сразу могли уразуметь все европейские нации), как сумел: «Прошу вас всех, господа, ради Христа нашего спасителя, спасите меня из рук этих разбойников, которые плутовским образом устроили здесь со мной позорище». Едва только успел я вымолвить сии слова, как один из моих хозяев выхватил ятаган, чтобы положить конец моим речам, хотя он и не уразумел, что я сказал; однако честные европейцы помешали его намерению. После чего сказал я по-французски: «Я немец и хотел по обыкновению пилигримов совершить паломничество в Иерусалим, также был снабжен необходимыми подорожными паспортами к пашам в Александрии и Аль-Каире, однако ж по причине дамасской войны не мог далее совершать путь и некоторое время пребывал в Аль-Каире, дожидаясь удобного случая, чтобы продолжать мое путешествие, когда меня вместе с некоторыми другими добропорядочными людьми захватили в плен неподалеку от сказанного города, разбойническим образом увели с собою и, до сего времени показывая меня, собрали изрядную сумму денег, обманув несчетное множество народа». Засим обратился я к немцам с просьбою не покидать своего земляка. Меж тем незаконные мои господа не хотели отдать меня добром; но как случились тут в толпе чиновники из Аль-Каира, которые засвидетельствовали, что они полгода назад видели меня в своем отечестве в одежде; засим европейцы пожаловались паше, который принудил четырех моих хозяев предстать перед ним. Паша, выслушав жалобу и ответ, а также показание обоих свидетелей, рассудил и вынес приговор, согласно коему мне была снова предоставлена полная свобода, четверо разбойников, понеже они попрали подорожные паспорта, пашою осуждены на галеры в Средиземном море, половина же собранных ими денег отходит в казну, другая же половина делится на две части, из коих одну надлежит вручить мне за претерпелые мною несчастья, а другую употребить на выкуп всех остальных людей, которые были вместе со мною взяты в плен и проданы в рабство. Сей приговор не только был оглашен публично, но и тотчас же приведен в исполнение, по коему я получил свободу, мой кафтан и знатную сумму денег.

Когда я избавился от цепи, на которой водили меня эти мошенники как дикого человека, облачился снова в старый кафтан и получил деньги, которые мне присудил паша, то меня хотел взять к себе консул или резидент каждой европейской нации: голландцы потому, что считали меня своим соотечественником, остальные потому, что полагали, что я их еди-

новерец. Я же благодарил всех, особливо же за то, что они сообща так по-христиански освободили меня, правда от шутовского, но тем не менее опасного пленения, и обдумывал, как мне надлежит повести себя, когда я снова против своей воли и чаяния приобрел много денег и друзей.

ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплициус после кораблекрушения,
Обретает камада себе в утешение.*

Мои земляки уговорили меня переменить платье; и понеже у меня не было никакого дела, то перезнакомился я со всеми европейцами, которые как по христианской любви, так и ради моей диковинной судьбы охотно со мною толковали и нередко приглашали в гости. И как все еще было мало надежды, что дамаская война в Сирии и Иудее придет к скорому окончанию и я смогу снова предпринять и совершить паломничество в Иерусалим, то замыслил иное и вознамерился на большом португальском паруснике (кой был готов к отплытию на родину с большим грузом дорогих купеческих товаров) отправиться в Португалию и взамен паломничества в Иерусалим посетить святого Якова Компостельского,¹ а затем где-либо поселиться на покое, проживая то, что послал мне бог. И как сие могло быть совершено без особых издержек (ибо едва я получил много денег, как стал скупенек), то и сговорился на судне с португальским главным купцом, что он заберет себе все мои деньги и употребит на свои нужды, а в Португалии вернет их и interim² вместо процентов доставит меня домой, а на время плавания возьмет меня к своему столу; напротив того, я неукоснительно обязывал себя ко всем работам на воде и на суше, которые могут потребовать случай или нужда на корабле. Но я устроил пир без хозяина, ибо не знал, что уготовил мне преблагий бог; и я пустился в сие далекое и опасное путешествие с тем большею горячностью, понеже минувшее плавание по Средиземному морю было весьма благополучно.

А когда мы на том корабле вышли из Sinus Arabici, или Красного моря, в Океан, то с желанным способным ветром стали держать путь на мыс Доброй Надежды и плыли под парусами весьма благополучно несколько недель, так что и не могли бы желать себе более благоприятной погоды. Однако, когда мы полагали, что вскорости дойдем до острова Мадагаскар, внезапно налетела такая буря, что мы едва успели спустить паруса. Сия буря умножалась час от часу, так что мы принуждены были срубить мачту и отдать корабль во власть и на волю волн. Они вздымали нас ввысь к облакам и в ту же минуту погружали в бездну, что продолжалось с пол-

часа, когда мы научились прилежно молиться. Наконец бросило нас на скрытый под водою каменный кряж с такою силою, что корабль наш с ужасающим треском разбился, наполнив воздух прежалостными стонами и криками. В одно мгновение все вокруг было усеяно ящиками, балками и обломками корабля; повсюду, как на гребнях волн, так и в бездне, можно было увидеть и услышать, как злополучные люди, уцепившись за все, что только подвернулось им под руку в случившейся напасти, с прежалостными воплями оплакивали свою погибель и вручали свои души богу. Я и корабельный плотник лежали на большом обломке судна с уцелевшими перекладами, за которые мы крепко держались и подбадривали друг друга. Меж тем мало-помалу стих ужасающий ветер, и постепенно укротились и улеглись бушующие волны расвирепевшего моря; но засим настала непроглядная ночь со страшным ливнем, так что, казалось, мы будем посреди моря потоплены сверху. Так продолжалось до самой полуночи, когда мы претерпели самую жестокую напасть. Потом небо прояснилось, так что мы завидели звезды, по коим приметили, что ветер относит нас от берегов Африки в Океан *ad terram australem incognitam*,³ что нас весьма озадачило. Под утро снова стало так темно, что мы не могли видеть друг друга, хотя и лежали совсем близко. В такой темени и бедственной скуке плыли мы все дальше и дальше, покуда нечаянно не сели на мель и не остановились. У плотника за поясом был заткнут топор, коим он предал глубину и обнаружил, что с одной стороны вода по колено, что нас весьма обрадовало и вселило несомнительную надежду, что бог поможет нам выбраться на землю, и сие подтвердили нам и донесшиеся до нас благовонные дуновения, которые мы почуяли, как только немного пришли в себя. Но так как было еще темно и мы оба пришли в совершенное изнеможение, а близился день, то мы не отважились сойти в воду и плыть на поиски земли, невзирая на то что уже нам слышался щебет птиц, как то и было на самом деле. Но едва только на востоке забрезжил любезный день, завидели мы сквозь мглу совсем близко от нас полоску берега, поросшую кустарником; того ради мы тотчас же спустились в воду против сказанного места и побрели по морю, которое становилось все мельче, покуда, наконец, к превеликой нашей радости, не ступили на сушу. Тут упали мы на колени, целовали землю и возблагодарили всевышнего, что он отечески сохранил нас и вывел на сушу. Сим образом я попал на неведомый остров.

Мы еще не знали, попали ли мы в обитаемую или необитаемую страну, на материк или на одинокий остров, однако ж тотчас же приметили, что земля там изобильна и плодоносна, ибо вся поросла деревьями и кустарниками так густо, как в коноплянике, так что мы едва пробирались. А когда наступил день и мы углубились в чащу примерно на четверть часа от берега и нигде не приметили человеческого обитания, а только множество повсюду диковинных птиц, которые вовсе нас не пугались, а даже дозво-

ляли хватать руками, то легко могли уразуметь, что попали в неведомую, но весьма плодоносную страну. Мы нашли там лимоны, померанцы и кокосовые орехи,⁴ каковыми плодами изрядно подкрепили свои силы; а когда солнце поднялось высоко, вышли на равнину, поросшую пальмами (от коих и происходит *vin de palma*), что моего камрада, большого охотника до пальмового вина, несказанно обрадовало. Тут присели мы на солнце, чтобы высушить платье, которое сняли и развесили на деревьях, сами же разгуливали в одних рубашках. Плотник подрубил топором одну пальму и нашел, что она полна вина; однако ж у нас не было никакого сосуда, чтобы его собрать, ибо оба потеряли во время кораблекрушения свои шляпы. А когда любезное солнце обсушило наше платье, мы надели его и поднялись на скалистую гору, что расположилась по правую руку от нас на севере между морем и помянутой равниною, где огляделись на все стороны и тотчас же увидели, что находимся не на материке, а на острове, который можно обойти менее чем за полтора часа пути, и понеже ни вблизи, ни вдали мы не увидели ничего, кроме моря и неба, то весьма приуныли и потеряли всякую надежду когда-нибудь снова узреть людей; однако ж утешились тем, что по милости божией попали на сей надежный и плодоносный остров, а не в какое-нибудь иное бесплодное или населенное людоедами место. Тут стали мы раздумывать, что нам предпринять или начать; и понеже мы принуждены жить вместе на сем острове, подобно пленникам, то поклялись друг другу в нерушимой верности. На сказанной горе не только гомозилось и летало множество птиц, но вся она была унизана гнездами с яйцами, чему мы весьма дивились. Мы выпили несколько яиц и взяли еще много с собой, когда спускались с горы, где обрели ручей пресной воды, который тек на восток к морю с такой силой, что мог бы приводить в движение небольшой мельничный жернов, чему мы снова обрадовались и порешили возле сего источника поставить себе жилище.

На все наше новое домашнее обзаведение было у нас двоих утвари: один топор, одна ложка, три ножа, один *ригон*, или вилка, и одни ножицы, а больше ничего. Правда, у моего камрада было несколько дукатов, которые мы все с большою охотою отдали бы за камень и огниво, когда бы их тут можно было купить; но деньги эти были нам совершенно без пользы, даже еще менее стоили, нежели мой рожок с порохом. Я высушил на солнце порох, ибо он размяк в кашу, отсыпал немного на камень, обложил легковоспламеняющимися материями, как-то: мохом и лыком от кокосовой пальмы, потер ножом порох и высек огонь, который нас так же обрадовал, как спасение от моря. И когда были бы у нас только соль, хлеб и посуда, куда мы наливали бы напитки, то мы почли бы себя наисчастливейшими людьми на свете, хотя всего за сутки могли считать себя среди самых несчастных. Столь неизреченны доброта, верность и милосердие бога нашего, коего чтим во веки веков. Аминь!

Мы тотчас же словили несколько птиц, которые во множестве безо всякой боязни сновали вокруг, ощипали их, вымыли и посадили на вертел. Тут принялся я вертеть жаркое, а тем временем мой камрад подносил топливо и строил хижину, дабы было нам где укрыться на случай нового ливня, ибо индийские дожди, что идут над Африкой, весьма нездоровы; а недостачу соли восполнили мы лимонным соком, приправив им наши кушанья.

ДВАДЦАТАЯ ГЛАВА

*Симплиций и плотник находят стряпуху,
Подпадают искушению злого духа.*

Таков был наш первый завтрак, который мы вкусили на нашем острове; и когда мы с ним покончили, то принялись собирать сухой валежник, чтобы поддержать огонь. Мы с большою охотою осмотрели бы весь остров, но изнеможение склонило нас ко сну, так что мы улеглись и проспали, покуда снова не забрезжило утро. А когда мы пробудились, то пошли вдоль ручья или речки вниз до самого устья, где при впадении в море множество рыб величиною с мелкую семгу или крупного карпа плыло вверх по пресной воде, так что казалось, будто кто-то хотел загнать большое стадо свиней (чему мы весьма подивились). И так как мы еще набрали на бананы и потаты, весьма изрядные плоды, то сказали друг другу, что попали в блаженную страну Пролежи-бока¹ (хотя и не встретили четвероногих), ежели только обрели бы добрую компанию, с которой на сем благодатном острове наслаждались бы изобилием плодов земных, а также рыбой и птицами; однако ж не могли приметить ни малейшего следа, что здесь когда-либо обитали люди.

А когда стали держать совет, как нам устроить далее свое хозяйство и как обзавестись утварью, чтобы готовить пищу и собирать пальмовое вино, а затем его выдерживать, чтобы оно могло доставить нам приятность, и, беседуя таким образом, прогуливались вдоль берега, завидели мы — плывет в море нечто, а что именно, не могли разглядеть по дальности, хотя оно и казалось больше, нежели было на самом деле; ибо когда сей предмет приблизился и был выброшен на берег, то оказался полумертвой женщиной, лежавшей на ящике, который она обхватила обеими руками, а мы по христианской любви перетащили ее на сухое место и, решив по платью и чертам лица, что она абиссинская христианка, с тем большим усердием стали приводить ее в чувство, ибо мы хотя и со всей почтительностью, как в таких случаях приличествует поступать с честными женщинами, поставили ее на голову, пока у нее изо рта не вылилось довольно много воды. И хотя у нас не было ничего, чтобы подкре-

пить ее силы, кроме лимонов, мы не преминули поднести ей к носу спиртуозную жидкость, которая собирается снаружи на лимонной кожуре, а также хорошенько потрясти эту женщину, покуда она не начала сама шевелиться и не заговорила по-португальски. Едва только мой камрад сие услышал и приметил, что на лице ее снова появился живой румянец, то сказал: «Эта эфиопка была на нашем корабле в услужении у знатной португальской госпожи; я их обеих хорошо знал: они жили в Макао² и собирались с нами вместе приплыть на остров Аннабон». ³ Едва только услышала она эти речи, то весьма возрадовалась, назвала его по имени и вспомнила не только все путешествие, но и сказала, сколь она обрадована не только тем, что осталась жива, но и тем, что повстречала его как старого знакомого на твердой земле в совершенной безопасности. Засим плотник спросил у нее, что за товары положены в ящик; на что эфиопка ответила, что там несколько кусков китайской материи на платье, различное оружие, а также всевозможная крупная и мелкая фарфоровая посуда, которую посылал в Португалию некий знатный князь. Сие чрезвычайно нас порадовало, ибо то все были вещи, которых нам всего более недоставало. Тут приступила она к нам с просьбою оказать ей такую милость и взять ее к себе; она с превеликою охотою будет нам стряпать, стирать и угождать, как добрая служанка, и подчиняться, как крепостная раба, ежели только возьмем мы ее под свой покров и заступление и дозволим ей вместе с нами вкушать плоды, которые нам ниспосллют в сей местности Фортуна и Натура.

Засим перетащили мы с превеликим трудом и усилиями сказанный ящик к тому месту, которое назначили себе жилищем. Там раскрыли его и нашли такие вещи, обзавестись коими для нашего домоводства мы по тогдашнему нашему положению не могли и помышлять. Все эти товары мы распаковали и разложили сушить на солнце, в чем новая наша стряпуха прилежно и со всею услужливостью нам пособляла. Потом принялись мы бить птицу, варить и жарить; и, в то время как плотник отправился добывать пальмовое вино, пошел я в горы собирать яйца, чтобы сварить их вкрутую и употребить заместо хлеба. Меж тем созерцал я с благоговением и благодарностью превеликие дары и милости господни, ниспосланные нам ныне благостным его промыслом с таким отеческим попечением, дабы мы и впредь их вкушали; и я пал ниц, распростер руки и, вознесясь духом, воскликнул: «О, преблагий отец небесный! Днесь узрел я по делам твоим, что ты склоняешься на моления наши и даруешь нам по молитве нашей! И ты, благостный господи, от изобилия щедрот своих изливаешь на нас свои милости неизмеримо большею мерою, нежели мы, бедные твари, дерзаем просить тебя. О, попечительный отец наш, по неизреченной своей благодати соизволил ты всемилосердно ниспослать нам свои дары и милости, дабы мы употребили их не иначе, как, согласно святейшей твоей воле, в угодность тебе и во славу и честь твоего неизре-

ченного имени, и тем сопричислить себя к сонму праведных, дабы могли мы в сей временной и в будущей жизни вечно славословить, хвалить и величать тебя!». С такими и еще многими другими словами и мыслями, которые все текли от искреннего и благочестивого сердца из самой глубины моей души, бродил я по горам, пока не насобирал птичьих яиц, сколько было надобно, и не воротился к нашей хижине, где уже был приготовлен знатный ужин на том самом ящике, который мы в тот день выловили в море вместе с нашею стряпухою и который мой камрад употребил заместо стола.

Меж тем, пока я был в отсутствии, собирая сказанные яйца, мой камрад, коему было около двадцати лет от роду, мне же перевалило за сорок, учинил уговор с нашею стряпухою, который должен был послужить за погибели нас обоих. Ибо когда они остались одни и вспомнили про старину, и особливо повели между собою речь о плодородии сего благословенного и, можно сказать, счастливого острова, и какой большой доход он может принести, то пришли к такой взаимной доверенности, что заговорили о том, чтобы им пожениться, о чем, однако, чаемая эфиопка не хотела и слышать, разве только если мой камрад, плотник, станет один владыкою всего острова и уберет меня со своего пути. Нестаточное дело, говорила она, чтобы мы обитали тут в спокойном браке, когда бок о бок с нами будет жить неженатый. «Посуди сам, — говорила она плотнику, — какая начнет тебя терзать подозрительность и ревность, когда ты на мне женишься, а старик будет каждый день со мною беседовать, хотя бы у него никогда не было на уме наставить тебе рога. Правда, я знаю, как все устроить наилучшим образом, коли мне уж придется выйти замуж и умножить род человеческий на сем острове, который может прокормить тысячу человек, а то и больше, а именно, чтобы старик женился на мне. ибо когда так случится, то лет через двенадцать, от силы же четырнадцать, мы вырастим дочку, которую и выдадим за тебя, плотника, замуж. Тогда будешь ты еще не в таких годах, как теперь старик. А меж тем между вами поселится несомнительная надежда, что первый станет тестем второму, а второй зятем первому, что оградит вас от всякого злого подозрения, а меня от всех опасностей, коим я в противном случае могу быть подвержена. Правда, такой молодой женщине, как я, было бы куда приятнее пойти за молодого, нежели за старика. Однако ж нам надобно применяться к обстоятельствам, как того требует наше теперешнее положение, дабы предусмотреть, чтобы и я и та, которую я вырожу, бросили вернее кости на кон».

Сим дискурсом, который простерся на многие другие предметы и распространился больше, нежели я тут описываю, а также красотою чаемой эфиопки, сиявшей при свете костра в очах моего камрада сильнее, чем когда-либо прежде, и ее живыми минами был мой добрый плотник так одурачен и приведен в такое исступление, что не устыдился сказать, что

он скорее бросит старика (меня то есть) в море и пометает весь острв, чем отступится от такой дамы, как она. Засим и был учинен между ними помянутый уговор, однако ж с тем, что он зарубит меня топором либо сзади, либо во время сна, ибо он страшился моей телесной силы и моего посоха, который он изготовил мне сам наподобие богемской клюки.

После того как они уговорились, стряпуха показала моему камраду неподалеку от нашей хижины залежи первосортной гончарной глины, из коей она умела изготовлять красивую посуду, какую обыкновенно делают индианки, живущие на гвинейском берегу, а также поведала ему множество других своих замыслов, как она на сем острове устроит, прокормит и обеспечит себе и своему потомству до сотого колена спокойную и привольную жизнь. И она не могла довольно нахвалиться, какую пользу сумеют они получить от волокна, что покрывает кокосовые пальмы и до-ставит одеяние ей и всем ее потомкам.

Я же, злополучный бедняга, вернулся, ни на волос не заподозрив их сделку и проделку, и сел к ним, дабы вкушать то, что было приготовлено, а перед тем по христианскому и весьма похвальному обыкновению произнес застольную молитву. Но едва только я сотворил крестное знамение над кушаньями и моими сотрапезниками и призвал на них божье благословение, мигом все исчезло: ⁴ и наша стряпуха, и ящик со всем тем, что в нем было, оставив после себя столь страшное зловоние, что мой камрад повалился замертво.

ДВА ДЦАТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА

*Симплиций и плотник ставят крест,
Который виден далеко окрест.*

Когда же он снова отудобел и к нему воротились все семь чувств, то пал передо мною на колени, сложил молитвенно руки и добрых четверть часа бормотал только: «Ах, отец! Ах, брат! Ах, отец! Ах, брат!» — и, повторяя сии слова, заплакал с такою горячностью, что от рыданий не мог уже вымолвить ни одного вразумительного слова, так что я вообразил, что он, должно быть, от страха и воня повредился в уме. Когда же он не переставал сокрушаться и неотступно просил у меня прощения, то я сказал: «Любезный друг! Что же такое должен я тебе простить, ведь ты во всю свою жизнь ничем меня не обидел? Скажи мне, чем тебе пособить?». «Прощения, — воскликнул он, — прощения молю я, ибо я согрешил против бога, против тебя и против себя самого». И снова стал горевать по-прежнему и продолжал сие до тех пор, покуда я не сказал, что

не ведаю о нем никакого зла, и когда он прегрешил в чем-либо, что томит его совесть, то я не только от всего сердца прощаю и отпускаю ему все, что касается меня, но ежели он преступил против бога, то готов взывать вместе с ним о милосердии и помиловании. После сих слов охватил он мои ноги, целовал колени и взирал на меня с такой тоскою и волнением, что я оттого сам онемел и никак не мог догадаться или узнать, что же все-таки стряслось с бедным малым. Когда же я дружески поднял его и прижал к груди, упрашивая рассказать мне, что с ним такое и чем я мог бы ему пособить, то поведал он мне все до самой малости, какой был у него дискурс с мнимою эфиопкою и какой учинил он на меня уговор, прегрешив против бога, против природы, против христианской любви и против закона верной дружбы, в коей мы торжественно поклялись друг другу; и сие признание совершил он такими словами и с такими минами, по коим нетрудно было увидеть и распознать его искреннее раскаяние и сокрушенное сердце.

Я утешал его, как мог, и сказал, что, быть может, бог попустил сие нам в предостережение, дабы мы в будущем тем успешнее противились искушениям и соблазнам дьявола и провождали свою жизнь в страхе божьем; и хотя он, плотник, и должен горячо молить бога о прощении по причине злого своего умысла, однако ж еще более обязан он возблагодарить всевышнего за то, что он по своей неизреченной доброте и милости отечески спас его от козней и тенет сатаны и оградил от вечного падения. Отныне надобно нам поступать с большею осмотрительностию, как если бы мы жили в мире среди людей; ибо ежели один из нас или мы оба падем, то никто не вспомоществует нам, кроме бога, коего мы того ради должны тем усерднее вспоминать и беспрестанно молить о помощи и заступлении.

И хотя был он таким и другими подобными увещаниями немного утешен, однако ж, не довольствуясь этим, смиреннейшим образом просил меня наложить на него епитимью. И, дабы он немного воспрял духом, сказал я ему, что понеже он и без того по ремеслу плотник и топор у него всегда наготове, то надлежит ему на берегу моря, на том самом месте, где мы выбрались на берег и где также обрели дьявольскую нашу стряпуху, поставить крест. И таким образом он не только свершит угодное богу покаяние, но и достигнет того, что злой дух, который страшится святого креста, не подступится с такою легкостию к нашему острову. «Ах! — воскликнул он. — Не только один крест на берегу хочу я поставить, но еще воздвигну два на горе, когда только, отец, снова заслужу твою милость и благоволение и получу надежду на прощение от бога». И он тотчас же с превеликим усердием приступил к работе и не переставал до тех пор, покуда не изготовил три креста, из коих мы один поставили на берегу моря, а два других, каждый по отдельности, водрузили на высочайших вершинах, какие только были на острове, со следующей надписью:

«Богу всемогущему во славу, а врагу рода человеческого в досаду изготовил и воздвиг сей крест Симон Меран из Лисабона, что в Португалии, по совету и с помощью своего друга Симплициуса Симплициссимуса, немца из Верхней Германии, в ознаменование страданий Спасителя нашего по христианскому обету».

С того времени повели мы жизнь более богобоязненную, нежели до того; и дабы мы могли святить и праздновать день субботний, делал я взамен календаря каждый день зарубку на полочке, а по воскресеньям ставил крест. Тогда садились мы вместе и беседовали друг с другом о святых и божественных предметах; и я был принужден обходиться таким образом, ибо еще не измыслил, чем мог бы пользоваться вместо бумаги и чернил, чтобы записывать что-либо для памяти.

В заключение сей главы должен я вспомнить здесь об одной диковинной вещи, которая нас изрядно напугала и устарила в тот самый вечер, когда наша учтивая стряпуха с нами распрощалась, и чего мы в первую ночь по причине изнеможения сил и великой усталости не заметили, ибо нас тотчас одолел сон. А было это так: когда очам нашим еще представлялось, какими бесчисленными кознями стремился погубить нас лукавый во образе эфиопки, а посему не могли уснуть и долгое время бодрствовали и творили молитву, как вдруг, едва только стемнело, вокруг нас замерцали и залетали по воздуху целыми роями бесчисленные огоньки, которые источали такой свет, что мы могли отличить на деревьях плоды от листьев. Тут возомнили мы, что то опять какое-либо новое измышление дьявола, чтобы нас помучить, и того ради притихли и не шевелились, однако ж под конец уразумели, что то особого рода Ивановы жучки или светлячки¹ (как их прозывают у нас в Германии), которые копошились на гнилом дереве, растущем на этом острове. И они светят так сильно, что их можно употреблять вместо самой яркой свечи, ибо я написал при них большую часть сей книги; и когда они расплодятся бы в Европе, Азии и Африке, то свечные торговцы получили бы худой барыш.

ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА

*Симплиций на острове один пребывает,
А друга своего во гроб полагает.*

И понеже мы увидели, что придется нам заматореть на сем острове, то завели свой домовый обиход совсем по-иному: мой камрад изготовил из черного дерева,¹ которое, когда высохнет, становится совсем как железо, мотыги и лопаты, с помощью коих мы, во-первых, поставили три помянутых креста; во-вторых, отвели от моря канавы, дабы выпаривать с них

соль, как мне довелось видеть в Александрии в Египте; в-третьих, принялись насаждать приятный вертоград, ибо считали праздность началом нашей гибели; в-четвертых, запрудили ручей так, что могли по своему желанию отводить воду, обнажая до дна старое русло, и, не замочив ни рук, ни ног, собирать рыбу и раков; в-пятых, нашли неподалеку от сказанного ручья отменно добрую глину, и хотя не было у нас ни гончарного круга, ни колеса, а к тому же ни бурава или какого еще инструмента или устройства, чтобы вертеть на нем всевозможную посуду, и хотя мы оба не учились этому ремеслу, однако ж измыслили такой фортель, что под конец добились своего; ибо, приготовив и хорошенько промяв глину, скатывали мы из нее колбаски такой толщины и длины, как английские курительные трубки; сии лепили мы одну на другую, завивая наподобие улиток, так что получали посуду, какая нам была надобна, большую и малую, горшки и миски, чтобы варить и хлебать из них. А когда нам впервые удалось их обжечь, то не было причины жаловаться на скудость; ибо хотя у нас не было хлеба, зато вволю сушеной рыбы, которую мы и потребляли вместо него. Со временем удалась нам и выдумка с получением соли, так что уже совсем не на что было жаловаться, и мы зажили, как в первый золотой век. Мало-помалу научились мы взамен хлеба выпекать из яиц, сухих рыб и лимонной кожуры, перетирая между камнями сии две последние материи в нежнейшую муку, вкусные лепешки на птичьем сале из водившихся там тошнюх² (так прозывали этих птиц). А мой камрад наловчился собирать пальмовое вино в большие горшки и оставлять его на несколько дней, покуда оно не перебродит; после чего он так упивался им, что ходил пошатываясь; и сие учинял он под конец, почитай, каждый день, невзирая на все мои увещания; ибо он уверял, что ежели вино оставлять дольше, то оно претворится в уксус, что отчасти было и правда. А когда я говорил ему, что не надо зараз собирать столько вина, а брать лишь для утоления жажды, то он возражал, что грех пренебрегать божьим даром; надо своевременно вскрывать жилы у пальмовых деревьев, чтобы они не погибли от избытка собственных своих соков. Итак, принужден был я отдать его во власть собственным желаниям, ибо не мог больше слышать, что не позволяю ему вкушать от ниспосланного нам изобилия.

Итак, жили мы, как выше объявлено, подобно первым людям, в золотом веке, когда благодное небо понуждало землю производить для них все плоды земные, не требуя от них малейшего труда. Но подобно тому как не бывает в сем мире жизнь столь сладостна и счастлива, чтобы порой не горчилась желчью страданий, так случилось и с нами; ибо наскольکو день ото дня улучшалась наша кухня и погреб, настолько же обносились мы одеждою, покуда она на нас совсем не истлела. Хорошо еще, что мы доселе не ведали зимы, даже не испытали ни малейшего холода, хотя к тому времени, когда мы стали ходить нагишом, провели на сем

острове, согласно моим зарубкам, более чем полтора года, однако погода была такой, какая обыкновенно держится у европейцев в мае и июне, за исключением того, когда примерно с конца июля и в августе льют сильные дожди и гремят грозы. Точно так же от одного солнцеворота до другого день и ночь бывают не короче и не длиннее, чем на час с четвертью. И хотя мы жили на том острове одни, однако не хотели ходить по нему нагишом, как неразумные твари, а желали одеваться, как подобает честным христианам в Европе. Ежели на том острове водились бы четвероногие звери, то мы знали бы, как поступить, и облачились бы в их шкуры; но по недостатку оных стали сдирать кожу с больших птиц, как-то: дронтов и пингвинов,³ из коей изготовили себе штаны. Но как по недостатку инструментов и надлежащих материалов мы не могли их изготовить надолго, то едва успели оглянуться, как они пожухли, заскорузли и прямо сползли с тела. Кокосовые пальмы, правда, доставляли нам довольно волокна, но мы не умели ни ткать, ни прясть; однако мой камрад, который прожил несколько лет в Индии, показал мне на кончиках листьев нечто, напоминающее шип, а когда мы его обломили и потянули до ребра листа, подобно тому как стягивают шелуху с турецких бобов, называемых фазеоли, когда их очищают от волокон, то на этом шипе повисла нить такой длины, как лист или его ребро, так что мы могли употребить его вместо иголки с ниткою. Сие подало мне повод и случай смастерить себе из пальмовых листьев штаны, скрепив их помянутой ниткою, взятой от того же самого растения.

Меж тем, как мы таким образом хозяйничали и устроили свои дела так, что у нас не было больше причины сетовать на какие-либо тяготы, скудость, недостачу или огорчения, мой камрад не переставал ни на один день утешать себя пальмовым вином, как он начал, и приобрел к тому привычку, покуда у него, наконец, не воспалились легкие и печень, и не успел я оглянуться, как преждевременная смерть разом заставила его распротиться и с островом, и с пальмовым вином. Я похоронил его с честью, как только мог, и меж тем, созерцая бренность человеческого бытия и многое другое, сочинил следующую эпитафию:

Погребен я в сем месте, а не в синем море,
Ибо три вещи из-за меня были в споре:
Первая: бушующий великий Океан,
Вторая: враг рода человеческого — шайтан.
Сих двоих избежал я по милости бога,
Да вот пальмового вина пил слишком много.

Итак, остался я один властелином всего острова и стал снова вести отшельническую жизнь, к чему у меня был не только довольный случай, но также твердое намерение и непоколебимая воля. Я, правда, пользовался всеми богатствами и дарами сего острова, воссылая сердечное благодар-

ние господу, благостью и всемогуществом коего был я столь щедро одарен, однако ж старался не употребить во зло сие изобилие. Я часто возносил молитвы, чтобы честные христиане, которые, подобно мне, дали где-либо обет бедности и нищеты, поселились вместе со мною, дабы вкушать дары господни, ибо хорошо знал, что всемогущий бог мог бы (ежели была бы на то его воля) легчайшим и чудеснейшим образом доставить на сей остров больше людей, нежели прибыло со мною, и сие часто подавало мне повод со всем смирением благодарить господа и его божественное Провидение за то, что он предпочел меня тысячам других и отечески привел в сие спокойное и мирное место.

ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА

*Симплиций кончает другим в назидание
На пальмовых листьях рукописание.*

Не прошло и недели после смерти моего камрада, как я заметил, что вокруг моего дома нечисто. «Ну, ладно, Симплиций! — подумал я. — Теперь ты тут один-одинешенек, что же разве злой дух покусится смутить тебя? Не возомнил ли ты, что сей злыдень учинит тебе жизнь несносною? Почто вспоминаешь ты о нем, когда бог — твой заступник? Тебе надобно только беспрестанно в чем-нибудь упражняться, дабы праздность и преизбыток не привели тебя к погибели; и опричь того нет у тебя иного врага, кроме тебя самого и увеселительного изобилия сего острова. Того ради соберись с мужеством и сразись с тем, кто мнит себя наисильнейшим во всем. И когда ты с помощью вышнего одолеешь сего врага, то, если того захочет бог, по его божественной милости, возьмешь верх и над самим собою».

С такими мыслями бродил я несколько дней вокруг, чем довольно себя укрепил и проникся благочестием, ибо предвидел ратоборство, кое мне, нет сомнения, предстояло совершить с дьяволом. Однако ж на сей раз я вверг в обман самого себя, ибо когда однажды вечером снова заметил кое-что, подававшее о себе знать шорохом, то вышел из хижины, стоявшей неподалеку от скалы, под коей проходил главный ручей пресной воды, протекавший с гор через весь остров к морю; там узрел я моего камрада, стоявшего у отвесной скалы и колулавшего пальцем в расселине. Я испугался, как то с легкостью вообразить можно, однако ж скоро совладал с сердцем и, осенив себя святым крестным знамением, предал себя под покров господа, подумав: «Когда-нибудь должно сие случиться. Лучше сегодня, нежели завтра!»; засим двинулся на привидение и заклил его теми словами, которые обыкновенно употребляют в подобных случаях,

однако сейчас же уразумел, что то в самом деле мой умерший камрад, который при жизни запрятал туда свои дукаты, полагая, что рано или поздно наш остров посетит какой-нибудь корабль и тогда он их вытащит и возьмет с собою. Он также дал мне понять, что полагался на малую толику сих денег более, чем на бога, надеясь с их помощью воротиться домой, по какой причине он и не обрел покоя после своей смерти и принужден был, противу своей воли, причинить мне такое неудобство. Снизойдя к его мольбам, я вынул золото из расселины, но презрел его, как пустую вещь, чему тем легче поверить, ибо оно не могло принести мне никакой пользы. Сие был первый страх, коему подвергся я с тех пор, как остался один на острове; однако ж потом напускались на меня и другие духи, кроме сего, о чем не хочу тут распространяться, но объявлю только, что с божиею помощью и милостию не осталось у меня ни единого врага, кроме многообразных собственных моих мыслей, кои нередко посещали меня, ибо они, как говорят, не без пошрины у бога живут, и за них надобно будет ответ держать.

И дабы они не оскверняли меня грехами, старался я не только отгонять от себя негодные мысли, но и назначать себе на всякий день телесное упражнение, которое совершал вместе с обычною молитвою, ибо человек рожден, чтобы трудиться, как птица, чтобы летать, тогда как праздность повреждает душу и тело тлетворными болезнями и под конец, когда о сем меньше всего помышляешь, ввергает в конечную погибель. Того ради насадил я сад, кой мне куда меньше был надобен, нежели телеге пятые колесо, ибо весь остров можно было назвать не иначе, как благоухающим садом. Вся моя работа состояла не в чем ином, как только привести то или иное в приглядный порядок, хотя иному природный беспорядок произрастений, в каком они смешались между собою, мог показаться куда более приятным для взора, ибо я, как объявлено выше, превозмогал праздность. О, сколь часто, когда я утомлю свое тело и принужден дать ему покой, помышлял я о духовных книгах, в коих обрел бы себе утешение, отраду и наставление; но у меня их не было. Но как довелось мне некогда прочесть об одном святом муже, который сказал, что весь необъятный мир для него великая книга,¹ по коей он познает дивные творения бога и научается воздавать ему хвалу, то решил я последовать сему мужу, хотя, так сказать, уже не принадлежал больше миру. Сей малый остров должен был стать для меня целым миром, и всякая вещь в нем, всякое деревцо служить напоминовением и побуждать к благочестивым помыслам, приличествующим всякому честному христианину. Итак, узрев какое-нибудь колючее растение, приводил я себе на память терновый венец Христа;² узрев яблоко или гранат, памятовал о грехопадении наших праотцов и сокрушался о нем; а когда видел, как пальмовое вино истекает из древа, то представлял себе, сколь милосердно пролил за меня свою кровь на святом кресте мой искупитель; глядел на море или на

горы и вспоминал то или иное чудесное знамение или историю, случившуюся в подобном месте с нашим спасителем; находил я камень, удобный для бросания, или целую их груду, и тотчас же представлял своему взору, как иудеи побивали Христа камнями; пребывал у себя в саду, то помышлял о скорбном молении на Масляничной горе или у гроба Иисуса, и как он по воскресении явился в саду Марии Магдалине и т. д. Такими и другими подобными мыслями я каждодневно упражнял себя; я никогда не вкушал пищу, не припамятовал о Тайной вечере господина нашего Иисуса Христа, я не сварил ни одной похлебки без того, чтобы сей временный огонь не напоминал бы мне о вечных муках во аде.

Под конец открыл я, что, смешав сок бразильского фернамбука, различные сорта коего произрастали на этом острове, с лимоном, можно изрядно писать на больших пальмовых листьях, что меня весьма обрадовало, ибо отныне я мог слагать и записывать порядочные молитвы. И вот, созерцая с сердечным сокрушением пройденную жизнь, вспомнив и представив очам своим плутни и беззакония, учиненные мною в юности, и что милосердный бог, презрев все тяжкие мои прегрешения, доселе не токмо хранил меня от осуждения вечного, но и даровал мне время и случай исправиться, обратиться на путь правый, испросить у него прощения и возблагодарить его за все его щедроты и милости, — описал я все, что мне вспало на ум, в сей книге, которую я изготовил из сказанных листьев, схоронив вместе с помянутыми выше дукатами моего камрада в сем месте, дабы, когда рано или поздно сюда придут люди, могли бы они их тут найти и узнать, кто некогда населял сей остров. И когда, сегодня или завтра, до моей смерти или после нее, кто-либо обретет и прочтает сие рукописание, прошу я его, ежели здесь встретятся ему какие-либо выражения, которые не приличествует говорить, а не то что писать тому, кто вознамерился свершить покаяние, то пусть не посетует на него, а примет в рассуждение, что повесть о безрассудных поступках и приключениях требует надлежащих слов, дабы о сем поведать. И подобно тому как каменную руту ни один дождь просто не промочит, точно так же истинный благочестивый дух не смутит, не отравит и не совратит любой дискурс, каким бы он ни был исполнен легкомыслием, и всякий благонамеренный христианский читатель скорее подивится и вознесет хвалу божественному милосердию, когда узнает, что такому беспутному человеку, каким я был, все же дарована богом милость отречься от мира и начать такое житие, в коем он обретает надежды стать сопричастником вечной славы и унаследовать вечное блаженство ради крестной муки спасителя в мирной кончине.

РЕЛЯЦИЯ ЯНА КОРНЕЛИССЕНА ИЗ ГААРЛЕМА,
ГОЛЛАНДСКОГО КОРАБЕЛЬНОГО КАПИТАНА,
ОТПРАВЛЕННАЯ ГЕРМАНУ ШЛЕЙФХЕЙМУ
ФОН ЗУЛЬСФОРТУ,
ЕГО ДОБРОМУ ПРИЯТЕЛЮ, О СИМПЛИЦИССИМУСЕ

ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

*Ян Корнелиссен¹ — голландский капитан
Обрел Симплициссимуса среди диких стран.*

Нет сомнения, Получателю еще памятно, по какой причине обещал я Ему при нашем отплытии сообщить о наидиковиннейших раритетах, кои повстречаются мне во всей Индии, а также во время нашего путешествия; и хотя собрал я различные редкостные прозябания моря и земли, дабы Господин мог украсить ими свою Кунсткамеру, однако ж самым наиудивительным и примечания достойным показалась мне прилагаемая книга, кою некий муж, обитающий на одиноком острове посреди моря, написал на верхненемецком языке по причине недостатка бумаги на пальмовых листьях и поведал в оной книге всю свою жизнь. А о том, как попала мне в руки сия книга, и что за человек помянутый немец, и какую он ведет жизнь на острове, должен я сообщить несколько подробнее, хотя он и сам объявил о том с достождною обстоятельностью в сказанной книге.

Когда мы с полным грузом отбыли с Молуккских островов и направились к мысу Доброй Надежды, то вскорости приметили, что наше возвратное путешествие не столь удачливо, как мы надеялись поначалу, ибо ветры по большей части были *contra*² и столь переменчивы, что нас долго носило по морю и понуждало к стоянкам, по какой причине на всех кораблях нашей армады³ было помногу больных. Наш адмирал дал пушечный выстрел и выкинул флаг, созывая капитанов всей флотилии на свой корабль; там держали совет и порешили постараться достичь острова Святой Елены, где дать укрепнуть больным и дожидаться сносной погоды; *item* в случае, ежели непогода рассеет нашу армаду, как мы не зря ожидали, то первый корабль, который прибудет на сказанный остров, должен дожидаться прочих две недели, что все было обдуманно и решено, меж тем как начавшаяся буря так разметала нашу флотилию, что ни одно судно не осталось на виду у другого. А когда я с вверенным мне кораблем остался один при противном ветре, недостатке пресной воды и множестве больных, то принужден был довольствоваться жалким лавированием, что, однако, подавало весьма малую надежду достичь многократно помянутого

острова Святой Елены (до коего, мы считали, оставалось примерно сорок миль), ежели только ветер не переменится.

В таком беспрепятственном походе и тяжелой беде, притом еще отягченные множеством больных, число коих с каждым днем умножалось, завидели мы на востоке далеко в море, как нам показалось, одинокий утес; мы взяли курс на него, в надежде обрести там твердую землю, хотя на наших картах ничего подходящего не было означено. Когда же мы подошли к самому утесу с полуночной стороны, то на первый взгляд решили, что то, должно быть, скалистая высокая бесплодная гора, одиноко торчавшая из моря, так что высадиться или хотя бы пристать с этой стороны показалось нам совсем невозможно; однако ж по донесшемся до нас благоуханию почувствовали мы, что находимся неподалеку от плодородной земли. Помянутая гора кишела множеством птиц, и когда мы за ними наблюдали, то приметили на самой высокой вершине два креста, почему легко могли заключить, что они воздвигнуты человеческими руками и, значит, на сию гору возможно подняться. Того ради обогнули мы остров и на противоположной стороне сказанной горы нашли, правда, небольшую, но приветливую местность, подобно какой мне не доводилось еще встречать в обеих Индиях. Мы бросили якорь на глубину в десять клафтеров в добрый песчаный грунт и выслали лодку с восьмью матросами на берег, дабы разузнать, нет ли там каких свежих припасов.

Они скоро воротились и доставили в превеликом изобилии всевозможные фрукты, как-то: лимоны, померанцы, кокосы, бананы, бататы, и что больше всего нас обрадовало, так ведомость, что на острове нашли они отменно добрую питьевую воду; и хотя они и повстречали на острове одного немца, который, по всей видимости, давно уже там обретается, однако ж сие место полным-полно птиц, которые позволяют хватать себя голыми руками, так что могли бы их наловить и набить целую лодку. А что касаясь помянутого выше немца, то они полагают, что он учинил на каком-нибудь корабле злодеяние, а посему в наказание высажен на сей остров, с чем мы тогда согласились; сверх того они почитали несомнительным, что тот малый был не в себе и, верно, уж сущий дурень, ибо не могли добиться от него ни единого толкового слова или ответа.

И как от сей ведомости вся команда, особливо же больные, от всего сердца возрадовались, то всяк домогался, чтобы его спустили на берег, дабы подкрепить силы. И я отправлял туда лодку за лодкой не только затем, чтобы вернуть здоровье недужным, но и для того, чтобы снабдить корабль пресной водою, в чем мы тогда весьма нуждались, так что много раз приставали к острову. Мы обрели там скорее земной рай, нежели неведомое пустынное место. Я тотчас же приметил, что сказанный немец вовсе не такой дурень и еще того меньше злодей, каким его сперва почли наши матросы, ибо все деревья, кои по своей породе обладали гладкою корою, покрыл он библейскими и другими благочестивыми изречениями,

дабы ободрить к христианской добродетели и вознести к богу дух свой; там же, где не могло уместиться целое изречение, там нашли мы по крайней мере четыре буквы, служившие надписью на кресте, INRI⁴ или имя Иисуса и Марии, или то или иное орудие мучений Христа, по чему мы предположили, что он, нет сомнения, папист, ибо все это, по нашему разумению, относилось к папешской вере. Где было начертано по-латыни «Memento mori»;⁵ в другом месте «Ieschua Hanosri Melech Haijehudim»⁶ по-древнееврейски, а еще в ином месте что-либо подобное по-гречески, немецки, арабски или молуккски (каковой язык распространен по всей Индии) не для чего иного, как только для христианского напоминания о небесных и божественных предметах. Мы нашли также могилу его камрада, о коем помянутый немец довольно рассказывает в своем жизнеописании, а также три креста, воздвигнутые ими над морем, по какой причине (особливо же еще потому, что, почитай, на каждом дереве был вырезан крест) наша команда назвала сие место Крестовым островом. Однако ж все сии краткие и замысловатые изречения были для нас загадочны и невразумительны, как сущий оракул, почему мы заключили, что их автор вовсе не дурень, а должно быть глубокомысленный поэт, паче же всего благочестивый христианин, который особливо предается созерцанию божественных предметов. Следующие вирши, которые были вырезаны на одном из деревьев, по мнению нашего корабельного пастора, который ходил за мною и многое записал из того, что нам попадалось, были самые превосходные, быть может, оттого что он нашел в них для себя нечто новое; итак, вот они:

Божественная мудрость, одетая светом,
Ты смертными очами не можешь быть узрета.

Ибо он, наш утешитель страждущих, который был гораздо ученым мужем, сказал: «Сего и не далее достигает в сем мире человек, ибо только бог, по милости своей, открывает ему высшее благо!».

Меж тем мои матросы, которые были здоровы, исходили весь остров, собирая различные свежие припасы для себя и наших больных и разыскивая помянутого немца, ибо все офицеры, что были на корабле, весьма хотели его повидать и с ним побеседовать. Однако нигде не могли его сыскать, кроме глубокой пещеры в каменной расщелине, наполненной водою, где, как они предполагали, он укрывался, ибо туда вела узкая тропинка. Проникнуть же туда они не могли по причине стоявшей там воды и непроглядной темени, хотя зажигали факелы и смоляные венцы для того, чтобы осмотреть пещеру, но они тотчас же гасли, прежде чем удавалось углубиться в нее далее чем наполовину расстояния от брошенного камня, так что потратили понапрасну немало времени.

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГЛАВА

*Симплиций в неложном страхе и тревоге
Укрылся от матросов в каменной берлоге.*

А когда наши матросы отрепортовали о напрасных своих трудах и я вознамерился самолично осмотреть сие место и рассудить, нельзя ли тут предпринять что-либо, дабы заполучить в руки сказанного немца, то не только все заколебалось от ужасающего землетрясения, так что мои люди решили, что весь остров в одно мгновение погибнет, но и почти вся команда, что была на берегу, пришла в весьма диковинное и тревожное состояние, так что меня со всей поспешностью позвали к ним. Там один стоял с обнаженною шпагою перед деревом, колот его и утверждал, что сражается с великаном; другой, вперив в небо радостный взор, объявлял за сущую правду, что узрел бога и все небесное воинство, ликующее в небесах; третий же с превеликим ужасом и трепетом смотрел на землю, уверяя, что видит в разверзшейся страшной пропасти праздного черта со всеми его присными, кишашими в бездне; а еще один размахивал дубиною, так что к нему нельзя было подступить, и взывал о помощи против обступивших его волков, которые его хотят разорвать. Один гарцевал верхом на бочке (которую мы доставили на берег, чтобы набрать пресной воды) и прищипоривал ее что есть мочи; а другой сидел с удочкой на сухом месте и хвастал перед товарищами, какая у него клюет крупная рыба. Одним словом, справедливо сказано: сколько голов, столько умов, ибо у каждого была своя диковинная блажь, коя нимало не походила на причуды другого. Ко мне подбежал один и сказал со всею серьезностию: «Господин капитан, прошу тебя ради самого бога, сверши правый суд и огради меня от сего злодея!». А когда я спросил: кто его обидел? — то он отвечал, показывая рукою на всех прочих, которые столь же вздурились и были повреждены в разуме, как и он сам: «Сии тираны хотят меня понудить сожрать две бочки селедок, шесть вестфальских окороков, двенадцать голландских сыров, да еще бочку масла, и все за один присест! Господин капитан, — продолжал он далее, — как можно сие учинить? Ведь это никак невозможно, и я должен буду лопнуть или задохнуться!». С такими и подобными вздорными мечтаниями бродили они вокруг, что доставило бы немалую потеху, когда наперед можно было бы знать, что все кончится без малого вреда; но меня и всех, кто еще оставался в здравом уме, более всего заботило и вселяло истинный страх то, что таковых безумных людей становилось все более, и мы не ведали, когда избавимся от странного сего сумасбродства.

Наш пастор, который был кротким и благочестивым мужем, а также некоторые другие решили, что многократ помянутый немец, коего наши

сперва повстречали на острове, должно быть, святой и угодный богу человек и слугитель высшего, а нам ниспослано с неба такое наказание за то, что мы порубили деревья, обобрали плоды, перебили птиц и тем разорили его обитель; другие же офицеры на корабле полагали, что это, должно быть, волшебник, который с помощью своих чар вызвал землетрясение и мучает нас подобным наваждением, чтобы тем скорее выпроводить нас отсюда или погубить вовсе; всего лучше, говорили они, захватить его в плен и принудить вернуть разум всем нашим. В таком разноречии каждая партия отстаивала свое суждение, от коих мне становилось одинаково боязно, ибо я помыслил: «Ежели он угоден богу и сия кара постигла нас за него, то бог защитит его от нас, а ежели он волшебник и умеет творить такие кунштюки, кои сейчас у нас перед очами, и мы восчувствовали их на своей шкуре, то, верно, сможет учинить еще что-нибудь и похуже, так что мы его никогда не изловим. И кто знает? Не стоит ли он незримо среди нас». Наконец, порешили мы поискать его и добром или силою подчинить нашей власти, а посему снова отправились с факелами, смоляными венцами и фонарями в сказанную пещеру. Однако ж с нами случилось то же самое, что было раньше с другими, а именно, нам не удалось занести далеко свет, а мы сами, как ни пытались, не могли пробраться вперед из-за воды, темени и острых скал. Тут одни принялись молиться, а другие изрыгать проклятия, и никто не знал, что надлежит предпринять в таком страхе.

И когда мы стояли так посреди темной пещеры, не зная куда податься, понеже всякий ничего другого не делал, как только сетовал и плакался, слышали мы, как из темной глубины, еще далеко от нас, стал нам кричать немец и притом следующие слова: «Эй, господа, — говорил он, — почто тщитесь вы понапрасну проникнуть ко мне сюда в эту пещеру? Разве не видите вы, что сие совершенно вам невозможно? Когда вы не довольствуетесь свежими припасами, что бог ниспослал вам на сем острове, а захотели разбогатеть на мне, бедном голом человеке, у коего нет ничего, кроме жизни, то уверяю вас, что вы вознамерились молотить пустую солому. Посему, прошу вас, ради Христа, спасителя нашего, отступитесь от намерения вашего, вкушайте плоды земные сего острова для вашего выздоровления и, покуда вам, по воле божией, не приключилось напасти, оставьте меня с миром в сем убежище, куда меня побудили укрыться ваши тиранические и угрожающие речи, услышанные мною вчера в моей хижине». Тут пришелся бы в пору добрый совет, однако наш пастор в ответ ему прокричал: «Ежели кто-нибудь вчера досадил тебе, то нам от всего сердца жаль; сие учинила грубая команда, которая не ведает о скромности. Мы же пришли сюда вовсе не для того, чтобы грабить или получить добычу, а затем только, чтобы испросить совет, как пособить нашим, которые по большей части на сем острове лишились разума, не говоря уже о том, что мы охотно побеседовали бы с тобою, как с добрым

христианином и соотечественником, а также оказать тебе по последней заповеди нашего спасителя всяческое любление, честь, верность и дружбу, и коли ты этого захочешь, то доставить тебя вместе с нами в твое Отечество».

На сие получили мы в ответ, что, хотя он вчера хорошо расслышал, как мы к нему расположены, однако, следуя заповеди нашего спасителя платить добром за зло, он не станет скрывать от нас, как можно пособить нашим исцелиться от их неразумного сумасбродства; мы должны, продолжал он, тем, кто впал в такое состояние, дать съесть зернушек от тех слив, обожравшись коих они лишились рассудка,¹ то всем им сразу полегчает, что мы и без его совета должны были бы уразуметь, вспомнив о персиках,² чье горячительное зерно уничтожает губительный холод мякоти, когда его съест вместе с нею. А как мы, быть может, не знаем тех деревьев, на коих растут подобные сливы, то надобно нам только обратить внимание на вырезанную на них надпись, которая гласит:

Дивися моей волшебной затее,
Я тут превращаю, подобно Цирцее.

Сим ответом и первыми речами немца уверились мы, что он был напуган нашими матросами, кои первыми высадились на острове, а посему принужден был ретироваться в эту пещеру; item что он муж истинно немецкого нрава, ибо он, невзирая на претерпетую им досаду, тем не менее открыл нам, по какой причине наши лишились рассудка и каким способом можно их снова опаматовать. Тут только с превеликим раскаянием вспомнили мы, какие недобрые мысли и неверные суждения были у нас о нем, вследствие чего мы и понесли заслуженное наказание, попав в эту опасную темную пещеру, откуда, казалось, нельзя было выбраться без света, ибо мы слишком далеко зашли в нее. Того ради наш пастор снова возвысил голос и сказал прежалостно: «О, честный соотечественник, те, что вчера вечером оскорбили тебя своими нескладными речами, то были грубые неотесанные люди с нашего корабля; теперь же стоит тут капитан вместе со знатнейшими офицерами, дабы принести извинение, дружески приветствовать и предложить угощение, а также сообщить о своей полной готовности услужить тебе во всем, что только в наших силах, и когда ты сам того пожелаешь, вывезти тебя из досадительного сего одиночества и вместе с нами привезти в Европу». Он же ответил нам, что хотя благодарит нас за доброе предложение, однако ж не хочет принять сию пропозицию; ибо как он по милости божьей уже свыше пятнадцати лет с превеликим удовольствием мог обходиться безо всякой человеческой помощи и сожительства, то вовсе не стремится воротиться в Европу, дабы безрассудным образом сменить теперешнее счастливое и спокойное житие на далекое и опасное путешествие и беспрестанное злополучие.

ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ ГЛАВА

*Симплиций и капитан уговор учинили,
Безумным матросам разум воротили.*

Выслушав сию отповедь, мы могли бы покинуть сказанного немца, когда только сумели бы выбраться из его пещеры, но то было невозможно; ибо у нас не только не было света, но и надежды на помощь наших матросов, которые продолжали бесноваться на острове. Того ради стояли мы там в превеликом страхе и источали все ласковые слова, чтобы уговорить немца помочь нам выйти из пещеры, что он оставлял без внимания, покуда, наконец, после того как мы живо представили ему бедственное положение наших матросов, да и он сам должен был уразуметь, что без его помощи и мы не сможем пособить друг другу, а мы укоряли его перед всемогущим богом, что он по жестоководности своей обрекает нас на смерть и погибель, за что придется ему держать ответ на Страшном суде, с присовокуплением, что ежели он не пожелает пособить нам живыми выбраться из сей пещеры, то принужден будет в конце концов, когда мы тут все пропадем и перемрем, повытаскать отсюда мертвыми, и как он еще обретет на острове довольно мертвецов, у коих будут причины взывать о вечном отомщении ему, ибо он не подоспел к ним на помощь, прежде чем они, как мы опасаемся, в безумии наложили на себя руки. Такими уговорами добились мы, наконец, что он обещал вывести нас из пещеры, однако ж должны мы ему наперед истинно, твердо и нерушимо, со всей христианскою верностию и старонемецкою честной откровенностию дать слово соблюсти следующие пять пунктов: во-первых, обязуемся мы тех матросов, кои поначалу были посланы на остров, за то, что они покусились на него, ни словом, ни делом не наказывать; во-вторых, напротив того, также простить и предать забвению, что он, немец, укрылся от нас и столь долгое время не склонялся на наши просьбы и желания; в-третьих, что мы не будем принуждать его как свободную персону, коя никому не подвластна, противу его воли плыть с нами в Европу; в-четвертых, что мы никого из нашей команды не оставим на острове; в-пятых, что мы никому ни письменно, ни устно, а тем более на карте не объявим и не покажем, где и под каким градусом расположен сей остров. После того как мы свято поклялись соблюсти все сие, он тотчас же показался нам, озаренный множеством огней, которые сияли в темноте, как ясные звезды. Мы отлично видели, что это не доподлинные огни, ибо его волосы и борода были целы и не воспламенялись, и того ради решили, что то были чистые карбункулы, которые, как говорят, светятся в темноте. Он переходил со скалы на скалу и в некоторых местах принужден был брести по воде и приближался к нам такими диковинными ходами и кривыми путями, что мы не

могли бы их отыскать, даже если бы снабжены были подобными же светильниками. Все сие более походило на сон, нежели на правду, а самого немца скорее можно было принять за призрак, нежели за живого человека, так что некоторые из нас воображали, что мы, подобно нашей команде на острове, одержимы сумасбродными мечтаниями.

А когда через полчаса (ибо столько времени пришлось ему употребить, карабаясь вверх и вниз) он подошел к нам, то по немецкому обыкновению подал каждому руку, дружески нас приветствовал и просил простить его за то, что по недоверию он так долго медлил и не вывел нас раньше на белый свет, засим вручил каждому свои светильники, но то были не драгоценные камни, а черные жучки, такие же крупные, как жук рогач в Германии. Под шейей у них было белое пятно величиною с пфенниг, которое в темноте источало свет, более яркий, нежели от свечи, так что мы с этими диковинными светильниками благополучно вышли из ужасной сей пещеры вместе с помянутым немцем.

Был он муж рослый, сильный, хорошо сложенный, с крепкими мускулами; у него был отменно здоровый цвет лица, кораллово-красные губы, приятные карие глаза, звонкий голос и предлинны черные волосы и такая же черная борода, лишь кое-где взбрызнутая сединою, волосы с головы его спадали до самых бедер, а борода простиралась ниже пупа; стыд прикрывал он передником из пальмовых листьев, а на голове у него была широкая шляпа, сплетенная из папоротника и покрытая камедью, так что служила ему вместо парасоля, защищая от дождя и солнцепека; а во всем вид его был подобен тому, как обыкновенно паписты малюют святого Онуфрия.¹ В пещере он не хотел с нами говорить, но как только вышел наружу, то объявил нам причину, а именно следующую: когда внутри пещеры произвести большой грохот, то от этого содрогается весь остров и происходит землетрясение, а те, что находятся на поверхности, думают, будто им суждено погибнуть, и он много раз учинял сему пробу при жизни своего камрада, что все напомнило нам о глубокой пропасти неподалеку от города Выборга в Финляндии, о чем сообщает в двадцать второй главе своей «Космографии» Иоганн Рауе.² Он упрекал нас за то, что мы столь безбожно вторглись в пещеру, а также рассказал, что он и его камрад потратили целый год, прежде чем вызнали дорогу туда, и это им вовек не удалось бы, ежели бы не помянутые светлячки, ибо там гаснет всякий огонь. Меж тем подошли мы к его хижине, которую наши матросы расхитили и разорили, что меня сильно раздосадовало; он же взирал на все с полным хладнокровием и ничем не обнаружил, что это его огорчило. Также утешило его и мое извинение, что все сие было учинено противу моей воли и повеления, бог знает, по чьему произволению, быть может, дабы познать, сколь обрадует его появление и присутствие людей, особливо же христиан, и притом его европейских соотечественников. Вся добыча, кою заготовили разорители в его бедной хижине, не стоит больше

тридцати дукатов; *in specie*,³ что он им охотно прощает; напротив, для него было бы великой потерей, какую он перенес, книга, в коей он описал всю свою жизнь и как он попал на сей остров. Засим он сам напомнил нам, что надобно поспешить, дабы вовремя прийти на помощь тем, кто сожрал вместе со сливами свой разум.

Итак, достигли мы помянутых деревьев, где наши как больные, так и здоровые разбили лагерь. Тут узрели мы диковинную замысловатую картину: ни один среди них не был в здравом рассудке, те же, что еще сохранили разум, рассеялись и попрятались от безумцев, кто на корабле, а кто на острове. Первый, кто попался нам навстречу, был оружейник; он ползал на четвереньках, хрюкал как свинья и беспрестанно повторял: «Солод! Солод!», упорствуя, ибо он возомнил, что превратился в свинью и мы будем его откармливать солодом. Того ради дал я ему, по совету нашего немца, несколько зернушек тех слив, на которых все они сожрали свой ум, пообещав ему, что когда он их съест, то будет здоров. И только он их отведал и они разогрелись в его утробе, как он снова стал на ноги и заговорил разумно. Подобным же образом менее чем за час привели и всех остальных в полный разум. Тут всяк с легкостью уразуметь может, сколь сильно сие меня обрадовало и сколь я был обязан сказанному немцу, поелику мы без его помощи и совета, нет сомнения, принуждены были бы погибнуть со всем кораблем и всею командою.

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ГЛАВА

Симплиций с голландцами простился сердечно,

А сам на острове остался навечно.

Когда же я снова привел все в добрый порядок, то велел трубить в трубы, чтобы созвать всю остальную команду, которая, как было объявлено, хотя и сохранила разум, но в страхе рассыпалась по острову. А когда все собрались, то я убедился, что в этой сумятице никто не пропал; того ради наш каплан, или исповедник, произнес проповедь, в коей он славил чудеса божии, особливо же говорил о вышереченном немце с такою похвалою, которую тот выслушал почти с неудовольствием, что матросы, похитившие у него тридцать дукатов и книгу, сами по своей охоте снова принесли их и положили к его стопам; он же не захотел принять деньги, а попросил меня взять их с собою и отвезти в Голландию, где раздать бедным на помин души его покойного камрада. «Будь у меня целая бочка денег, — сказал он, — я не ведал бы, куда их употребить». А что касается сей книги, то пусть господин примет ее в подарок и сохранит на добрую память о нем.

Я приказал доставить с корабля араку,¹ испанское вино, несколько окороков вестфальской ветчины, рис и другие припасы, варить и жарить, чтобы хорошенько угостить помянутого немца и оказать ему всяческую честь; он же, напротив, не принимал моих учтивостей и довольствовался весьма малым и притом брал только самые скверные кушанья, что, как говорят, даже противно всякому немецкому обычаю и обыкновению. Наши матросы выпили у него весь запас пальмового вина; того ради пробавлялся он водою и не хотел отведать ни гишпанского, ни рейнского; однако ж вид имел радостный, ибо видел, что мы веселились. Самой большой радостью для него было ходить за больными, коих всех он обнадежил скорым выздоровлением и говорил нам, что возрадовался тому, что мог услужить людям, особливо же христианам и особенно своим соотечественникам, коих он уже столько лет не видел. Он был и поваром, и лекарем сразу, ибо усердно советовался с нашим медиком и цирюльником, чем и как можно пособить тому или иному страждущему, так что офицеры и команда взирали на него с обожанием.

Я и сам задумывался, чем бы ему услужить; я задержал его у себя и без его ведома приказал нашим корабельным плотникам поставить ему новую хижину, подобно тому как у нас устраивают веселые садовые беседки; ибо отлично видел, что он заслуживает большего, нежели я могу для него сделать или он захочет от меня принять. Его беседа была весьма приятна, однако слишком немногословна; и когда я спросил его кое-что о нем самом, то он лишь указал мне на помянутую книгу, заметив, что в ней он довольно написал обо всем, о чем ему теперь вспоминать досадно. А когда я напомнул, что лучше было бы ему возвратиться к людям, дабы не умереть тут в одиночестве, подобно неразумной твари, и ему представляется теперь удобный случай отправиться вместе с нами, то он ответил: «О, боже! Куда вы влечете меня? Здесь мир — там война; здесь неведомы мне гордыня, скупость, гнев, зависть, ревность, лицемерие, обман, всяческие заботы об одежде и пропитании, ниже о чести и репутации; здесь тихое уединение без досады, ссоры и свары, убежище от тщеславных помыслов, твердыня противу всяких необузданных желаний, защита от многообразных козней мира, нерушимый покой, в коем надлежит служить вышнему и созерцать, восхвалять и славословить дивные его чудеса. Когда жил я еще в Европе, там повсюду (о горе, что сие должен я свидетельствовать о христианах!) была война, пожар, смертоубийство, грабежи, разбой, бесчестие жен и дев и пр.; когда же, по благодати божией, миновали сии напасти совокупно с моровым поветрием и голодом и бедному утесненному народу снова ниспослан благородный мир, тогда явились к ним всяческие пороки, как-то: роскошь, чревоугодие, пьянство, в кости игра, распутство, гульба и прелюбодеяние, кои все потащили за собою веренищу других грехов и соблазнов, покуда не зашли столь далеко, что каждый открыто и без стеснения тщится задавить другого, дабы

подняться самому, не щадя для сего никакой хитрости, плутни и политического коварства. А всего горше то, что нет и надежды на исправление, ибо каждый мнит, что ежели он раз в неделю присутствует на богослужении и примерно раз в год якобы мирится с богом, то он как набожный христианин не только исправляет все как надлежит, но и бог за такое примерное его благочестие у него еще в долгу. Надлежит ли мне вновь стремиться к таким людям? Не должен ли я помыслить о том, что ежели покину сей остров, куда перенес меня чудесным образом господь, то не приключится ли со мною в море то же, что и с пророком Ионою? ² Нет, нет, — говорил он, — да сохранит меня бог от такого начинания!».

Когда я увидел, что нет у него никакой охоты отправиться с нами, завел я с ним другой дискурс и спросил, как может он тут один-одинехонек прокормить себя и обойтись со всем; и тем не страшится ли он тут жить, отлученный на столько сот и тысяч миль от любезного христианского мира; особливо же разве не помышляет он о том, что когда придет его смертный час, кто подаст ему утешение и молитву, не говоря уже о вспомоществующей длани, которая будет ему надобна во время болезни; не помрет ли он тогда, покинутый всем светом, подобно дикому зверю или скотине. На сие он ответил: что надлежит до пропитания, то по благости божьей ему ниспослано больше всякой снеди, нежели тысяче других людей; он же может круглый год лакомиться особого сорта рыбою, которая заходит в устье реки метать икру в пресной воде. Сими благодеяниями бога пользуется он и когда снедает птиц, кои время от времени спускаются на остров для кормежки и отдыха или чтобы класть яйца и выводить птенцов; а о плодородии острова нет надобности повещать, ибо сие я видел собственными очами. А что касается помощи от людей, коей он лишится после нашего отплытия, то он нимало о ней не печалится, ибо бог его отрада! Ибо покуда он находился в мире среди людей, то у него всегда было больше огорчений и врагов, нежели приятностей и друзей, да и друзья нередко доставляли ему больше неудобностей, нежели того можно было ожидать от их дружбы. А ежели нет у него тут друзей, которые его любили бы и услужали ему, то нет и врагов, которые его ненавидели бы, да и те, и другие легко могут ввести каждого во грех, так что он отрекся и от тех, и от других, дабы тем спокойнее служить богу. Правда, поначалу подпадал он немалому искушению как от самого себя, так и от врага всего рода человеческого, однако ж сумел претерпеть и выстоять перед ними, поелику, по божьей милости, в крестных ранах Искупителя обрел единственное свое прибежище, помощь и заступление, утешение и спасение.

В подобных беседах и дискурсах проводил я время с помянутым немцем. Меж тем наши больные час от часу выздоравливали,³ так что через четыре дня не было никого, кто жаловался бы на какой-либо недуг; мы починили на корабле все, что надобно было исправить, запаслись пресной водой и всем прочим на острове и, довольно отдохнув и набравшись сил,

отплыли на седьмой день, направившись к острову Святой Елены, где мы повстречали несколько кораблей из нашей армады, на которых также выхаживали больных и поджидали остальные суда, после чего мы все благополучно возвратились в Голландию.

Присем посылаю для вручения господину также несколько светящихся жучков, благодаря коим я с многократ помянутым немцем посещал сказанную пещеру, которая была вместилищем всяческих чудес. В ней хранился большой запас яиц, ибо, как мне сказал немец, в это время года здесь было самое прохладное место. В самом дальнем углу пещеры поместил он сотни этих светляков, которые давали такой свет, словно в хоромах, где без счета зажгли свечей. Он сообщил мне, что сии жуки плодятся всегда в одно и то же время года на особого рода деревьях, однако в течение месяца всех их пожирают чужестранные птицы чужестранной породы, которые слетаются на остров выводить птенцов; а посему он был принужден измыслить способ, как сохранить этих светляков, дабы употреблять вместо свечей круглый год, особливо же для посещения сей пещеры. Находясь там, светляки сохраняют свою силу весь год, однако на свежем воздухе светящаяся жидкость высыхает, так что они больше не испускают ни малейшего света, а погибают через неделю. И так как с помощью сих ничтожных жучков немец хорошо вызнал пещеру и обратил ее в надежное убежище, то мы, помимо его воли, не смогли бы извлечь его оттуда никакою человеческою силою, хотя бы нас было сто тысяч. Мы подарили ему перед отплытием английское зажигательное стекло, чтобы он мог добывать себе огонь от солнца, и то был единственный предмет, который он пожелал от нас получить; и хотя он не хотел больше от нас ничего принимать, однако ж мы оставили ему топор, лопату, кирку, два куска хлопчатой материи из Бенгалии, полдюжины различных ножей, ножницы, два медных горшка и несколько кроликов — испытать, не разведутся ли они на острове, после чего весьма дружественно распростились с ним; и мне сдается, что то был наиздоровейший по климату остров, ибо все наши болящие в течение пяти дней снова обрели силы, а немец за все время, что он там пробыл, не ведал никаких болезней.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Высокочитимый и благосклонный любезный читатель. Сия книга «Симплициссимус» сочинена Самуелем Грейфензоном фон Хиршфельдом, понеже я не только обрел ее после его смерти, но и он сам указывает в ней на самого себя как на сочинителя «Целомудренного Иосифа», а в «Сатирическом пилигриме» на своего «Симплициссимуса», коего он частью написал еще в юности, когда был мушкетером. А по какой причине он изменил свое имя, переставив в нем буквы и обозначив себя на титуле как Герман Шлейфхейм фон Зульсфорт, про то я не ведаю. Впрочем, он оставил после себя весьма искусные сатирические вирши, кои, ежели это сочинение полюбится, можно издать в свет, о чем пусть будет читатель известен. Сие заключение я не мог сделать ранее, ибо первые пять частей были надрукованы еще при его жизни. Будь здрав, читатель! Dat. Рейнек, 22 апреля anno Domini 1671.¹

Г. И. К. Ф. Г.

П. в Цернхейне.

К О Н Е Ц

**ПРИБАВЛЕНИЕ
И ПЕРВОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ, ИЛИ CONTINUATIO,
ЗАТЕЙЛИВОГО И ВЕСЬМА ДИКОВИННОГО
СИМПЛИЦИЯ СИМПЛИЦИССИМУСА.**

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ К ДОСТОПОЧТЕННЫМ
И ВЫСОКОЧТИМЫМ ЧИТАТЕЛЯМ

Преблагосклонный читатель! Хотя и вознамерился я провести остаток дней моих на краю света в страшной безлюдной пустыне в непрестанном созерцании и упражняясь в сочинении дальнейшей повести о моих приключениях, однако ж, по правде, все сие осталось только одними помыслами, с коими моя Судьба и Фатум, однако, не пожелали прийти в согласие, так что я против моей воли принужден был совершить путешествие и начать снова скитальческую жизнь и отличиться перед своими любезными господами соотечественниками и ближайшими родственниками. Но понеже я пожелал в особливом трактатце,¹ который еще находится в печати, представить себя как некую новоявленную птицу Феникс и уже с надлежащею обстоятельностью изложил поистине диковинные и весьма странные приключения моей жизни, то на сей раз хочу тебя, преблагосклонного и печалящегося о моем благополучии читателя, кратко, однако с немалыми подробностями уведомить, как провождал я жизнь в течение двух лет, когда скитался повсюду, появляясь то там, то здесь, подобно летучему страннику,² и что повидал на свете примечательного и достопамятного; льшу себя надеждою, что такое мое намерение не будет тебе противно, ибо оно исходит от Симплициссимуса и в высшей степени достойно приятя и благосклонности. Засим живи благополучно и ожидай вскорости новых сочинений о подобных же материях. Adieu.

«Кому вода подступит к самому горлу, тот скоро научится плавать», — справедливо гласит старая пословица. Я, тертый малый, побывал везде и всюду и, скажу без похвальбы, порядком испытан в свете и его обыкновениях, так что хорошо известный Симплициссимус может спеть о том

диковинную песенку. Не в редкость была мне самая крайняя нужда, которая и научила меня измышлять и выдумывать различные никому не ведомые искусства, хитрости, забавные штуки и кунштюки, дабы заработать на кусок хлеба и насытить свой, томимый голодом и жаждой желудок; но все сии художества и инвенции пособляли недолго; и стоило мне возомнить, что я малость отудобел и могу доставлять своей утробе каждодневное пропитание (а о большем я и не помышлял), как, не успею я оглянуться, все мои надежды плюхнулись в лужу. Тяжелая работа была не по мне, ибо я неохотно ворочаю бревна, из боязни, как бы нежные мои руки (кои более всего походили на грубый рог) не повредили выпавшие на них пузыри, а козлиный запах любезного моего пота не привлек ко мне снова пригожих бабенок, которых я порядком возненавидел. Воровать тоже было для меня неподходящей работой, ибо мне уже не раз приходилось от нее солоно и у меня до сих пор перед глазами маячит виселица, которая угнетает меня горше самой смерти. Не раз брался я за ремесло площадного лекаря и морочил людей своими лекарствами от поноса, зубным порошком, семенем от глистов, пастилками, мозольным пластырем, золотою водою, латверном от яда и тому подобными снадобьями; пробавлялся тем некоторое время недурно. Но вот однажды в некоем весьма знатном городе зашел я в аптеку, дабы купить различные потребные мне материи, и там увидел на столе рецепт, начало коего я прочитал, а там было написано: «*Recipe carnes mali medicis*».³

Упаси бог! Как стало мне тревожно и боязно на душе! И из меня даже ушло нечто, весьма испортившее приятный аптечный запах, ибо возомнил я ни много ни мало, что добираются до моего живого мяса, распознав во мне бессовестного лекаря, однако мне после растолковали, что там по-латыни было написано не что иное, как: возьми лимонной мякоти! Я со всех ног бросился из аптеки, собрал весь свой хлам и побежал что есть мочи за городские ворота, как если бы за мною гналось по пятам само адское пламя, и вскорости оставил сие, по тогдашнему моему воображению, весьма опасное ремесло, решив, особенно не раздумывая (ибо был довольно находчив), приняться за что-нибудь другое. Я поразмыслил: «Любезный Симплициссимус! В жизни твоей было немало диковинных делишек и забавных, затейливых, даже смехотворных выдумок, кои ты предлагал разумному свету, и, однако ж, не всегда в том раскаивался; а что ежели ты на старости лет примешься выкликать ведомости,⁴ заведешь повсюду торг календарями, да не лентяшь хорошенько поработаешь своей собственной глубокомысленной башкой? Ручаюсь, что все получится не так уж глупо и бестолково». Подобные мысли вовсе не смущали меня; напротив того, они мне нравились, да так, что я сразу уселся на лужайке, развязал кошелек и стал пересчитывать оставшиеся у меня денежки, хватит ли у меня столько, чтоб начать такое дельце с ведомостями и календарями. Но у меня сразу упало сердце, когда я увидел, что кошелек

у меня тощ, да вспомнил, какое множество календарей печатают повсеместно на продажу и что придется держать по нескольку штук каждого сорта, чего только ни спросят. К примеру, вспомнились мне «Календарь Кометы», польский, шведский, датский календари, испанский, индианский, английский, чешский, календарь погоды, семейный, брачный, мифологический, исторический, театральный, музыкальный, торговый, поваренный, кондитерский, даже заячий календарь и множество иных подобных. Под конец я все же решил преодолеть все препоны и выпустить в свет календарь под моим, слава богу, порядком известным в Европе, если также и не в Азии, Африке и Америке, именем Симплициссимуса, и так его составить и расположить, чтобы он полюбился моим братьям и друзьям, коих немало обретается по всем градам и весям. Одним словом, чем больше я обмозговывал это дельце, тем больше у меня к нему было охоты, а когда я еще посоветовался со своим зеркалом, то оно, к моему превеликому удовольствию, представило очам моим совершенный образец искусственного газетира. И понеже как раз подошло такое время года, когда изпод типографского станка выходили свежие и новоиспеченные календари, то я отправился со всею возможною поспешностью в хорошо известный всем и немало прославленный город в Германии,⁵ дабы присмотреть себе удобное пристанище, где я мог бы без помехи сплестать печальные ведомости о смертоубийствах, морских сражениях и других подобных происшествиях. Но стоило мне одною ногою ступить в сей город, как отовсюду набежали мальчишки, один тянул меня за рукав, другой дергал бантики на штанах, спрашивая, что это за птички, третий и вовсе вознамерился меня перевернуть, а все вместе полагали не иначе, что я прибыл с Новой Земли, и потому не переставали глазеть на меня с презрительным удивлением. Когда же под конец они меня разозлили, то зачал я трясти головою, что обросла вся словно лесом, и подал столь же геройский голос, как обыкновенно жарким летом некие животные в Аркадии.⁶ Но едва только вырвались из моей глотки, как из пустой расщелины, первые слова, то все пустились наутек в таком страхе, что никто даже не оглянулся, и я спустя малое время остался совсем один, хотя перед тем едва мог отбиться. Немало было у меня хлопот, чтобы сыскать постоянный двор, куда меня пустили бы ночевать, хотя и было их в том городе больше, нежели дней в году, покуда, наконец, надо мною не сжалился один балагур-трактирщик, торговавший пивом и приобывший писать счета двойным мелком; он-то и обещал приютить меня на короткое время. Я скоро спознался со всеми его гостями, коим пришелся по нраву, так что они меня высоко оценили, ибо я умел с превеликою серьезностью рассказать самые найдиковинные истории. Слушая мои рассказы, они разевали рты, раздували ноздри, раскрывали глаза и наостривали уши; а иные сидели, обалдев от восхищения. Когда же я кончал рассказ о каком-нибудь приключении, то всяк лез первым меня чем-нибудь угостить, что мне было весьма кстати,

ибо деньги в моем кошельке и без того предназначались на другое. Всю ночь обуревало меня множество мыслей, как бы мне счастливо довести до конца свое предприятие. Едва только взошло солнце, я покинул этих гуляк, дрыхнувших на соломе, чтобы лучше свести знакомство с трактирщиком и разузнать у него, где обретаются другие сочинители ведомостей и типографщики, а он после вчерашних моих реляций стал ко мне так благосклонен, что предложил пойти вместе со мною и наилучшим образом меня отрекомендовать. Начало было хорошо, да и продолжение нехудо, ибо я нашел у сочинителей ведомостей столько всякой материи, что мне бы и не приснилось. Особливо же в то время, а именно в месяце июне Anno 1668, повсюду шла молва об отменной храбрости венецианцев в известной всему миру крепости Кандии⁷ и неистовстве турецкого визиря при осаде и штурма оной. Писцы, которых набивалось душ по десяти в каждой каморке, с таким усердием строчили письма, снимая копии, что всяк, кто только на них посмотрит, мог бы поклясться, что тут кроется нечто такое, от чего зависит благополучие всей Римской империи. Я скоро заполучил всякого сорта ведомости о сказанной материи, поспешно вернулся с ними в мое логово, выбрал самые лучшие, изукрасил их наиприятнейшим манером своим пером, а также принялся сочинять песню, в коей излагал весь ход морского сражения,⁸ которое было дано вторым капитаном венецианской республики Лионом десяти варварским кораблям, дабы при случае публично распевать ее на базарах. И я живо представил, как два венецианских капитана взорвали на воздух свои собственные корабли, дабы погубить вместе с ними и вражеские, а к сему особливо приличествовал мой нежный голос, коим, подобно новому Орфею, можно было побудить к состраданию не только людей, но также и диких зверей. В сей песне я превознес обоих капитанов за их геройскую храбрость превыше звезд и отвел им в загробном мире место рядом с храбрейшим богом войны Марсом; напротив того, когда речь шла о великом визире, то не жалел ничего, что могло бы послужить к его унижению, особливо же когда я представлял, как сей свирепый тиран в безрассудной ярости четыре часа кряду штурмует крепостицу Сабιονеру, вознамерившись захватить и покорить ее. Засим начинал я радоваться тому, что он, невзирая на все свое бешенство, не преуспел в том, а принужден был, оставив свыше трех тысяч мертвых, отступить со множеством раненых, и в заключение от всего сердца возносил желание, чтобы всевышний и впредь милостиво взирал на великолепных венецианских сеньоров и помогал им сражаться против кровавых турецких псов. Как только я с этим покончил, то поспешил, как если бы у меня загорелось под ногами, вместе с моим хозяином, который полюбил меня всюю душою за мои побасенки, по пословице: «Одно к одному, вот и пара», прямехонько к типографщику, мысль о коем тотчас же засела и угнездилась в моей голове, как червяк в гнилом сыре. Короче, он не только тотчас же отпечатал сие первое мое произведение (или новую

ведомость, хотел я сказать), но и повременил с новым молитвенником, который как раз в то самое время лежал под прессом, дабы мне не было ни малейшего помешательства в осуществлении моего намерения. Меж тем прохаживался я по его каморке, как малый, который привык все вынюхивать, и, оглядевшись, заметил кипы календарей, сложенных на полках, и сие зрелище произвело в моем сердце столь великую радость, что я проворно вскочил на стоявшую там лесенку, но во мгновение ока перекувырнулся и полетел сломя голову вниз, так что в падении мой и без того узкие штаны лопнули с таким треском, как если бы там был запрятан терцероль, или, иными словами, малый итальянский пистолет, и они расплозились по всем швам. Мой хозяин поспешил ко мне на помощь, а также чтобы поглядеть, не приключилось ли мне от сего глухого выстрела какой раны; однако, оглядев меня спереди и сзади, не нашел, как сказано, ничего другого, как только рану на штанах, примерно на поллоктя в длину, которую лучше всего умеют врачевать портные. Меж тем типографщик так смеялся, что у него все брюхо ходуном ходило, как это в его доме я учинил такой грохот, к чему он, впрочем, порядком привык, ибо едва я снова собрался теперь уже осторожно и тихонечко встать на приступочку, чтобы посмотреть на превосходные календари, как он дружески присоветовал мне этого не делать, а не то опять явлю точно такое же смехотворное зрелище, как незадолго перед тем; и рассказал при этом, какие приключения происходили у него в иные годы с календарями, а именно, что тот или другой как из здешних, так и приезжих не стыдится еще до того, как его календари поступят в публичную продажу, посмотреть их, выбрать что получше и издать в свет под новым титулом, и таким образом наживается с немалым для того, типографщика, убытком; так что, наконец, он изобрел еще средство, дабы отныне его календари никто не перепечатывал; когда же он увидел, что я собирался за ними полезть, то хотел меня верой и правдой предостеречь от сего.

Я, как истый Симплициссимус, не принял сего близко к сердцу, а объявил типографщику, что сам замыслил заняться календарным промыслом и на такой конец покупаю порядочное количество всякого сорта календарей, за которые уплачу наличными деньгами, за чем, собственно, я сюда и пожаловал. Едва мой господин печатник слышал о деньгах, как с немалым проворством притащил новую лестницу, взобрался на нее и стал подавать мне пачку за пачкой всевозможные новехонькие календари, совсем недавно вышедшие из-под станка. Все они мне чрезвычайно понравились, ибо я увидел, что на титулах, красиво отпечатанных красным шрифтом, обозначено много превосходных вещей. «Ах! — воскликнул типографщик, протягивая календарь, который мне особенно приглянулся. — У меня тут, насколько помню, собралось как раз девяносто девять календарей различных авторов; когда бы я мог еще получить сотый, купить или издать какого-нибудь сведущего в астрологии мужа, то

охотно приложил бы к сему знатную сумму и не поскупился бы ни на какие издержки». Тут я тайком подумал: «Вот это для меня пожива! Когда все семь планет мне милостиво благоприятствуют, способствуют и соизволят, то я и впрямь весьма благополучный Симплициссимус». А посему начал столь замысловатый дискурс об астрологии, что мой собеседник слушал и не мог довольно наслушаться. Я говорил: «Что это за сочинители календарей? В некоем весьма отдаленном отсюда месте, где я, скажу без похвальбы, провел целых десять лет, находится сонм астрономов: они столь надежно и совершенно разумеют течение светил, что можно подумать, будто они со всем тщанием переняли свое искусство у селенитов или обитателей луны. Ежели кто из них предскажет в календаре на какой-либо день дождь, а в назначенный день он не пойдет или не случится что-либо другое, что там обещано, то такого предсказателя всю жизнь будут почитать за обманщика». Под конец я столь искусно и великолепно повел речь, что типографщик принялся меня уговаривать составить для него календарь и принести ему чем скорее, тем лучше, а все мои труды он возместит такою мерою, что я-то уж буду доволен. Тут я еще наговорил ему всякой всячины о своем искусстве, ибо заметил, что он ценит меня куда больше, чем я того стою, и пообещал как можно скорее представить образчик моего искусства, так что ему не придется раскаиваться, что он увидел меня в своем доме и свел со мною знакомство. Во время этой сделки с календарями (коих я получил бездежно не одну дюжину на мой счет) принес подмастерье отпечатанные ведомости; их я тоже забрал добрую пачку и, надавав множество обещаний об особливом усердии, с каким я изготовлю диковинный календарь, простился и отправился вместе с моим трактирщиком к нему домой, продолжая всю дорогу вести разговор о сочинении ведомостей. Там я прежде всего стал держать с ним совет, как мне дальше приняться за дело; он же сразу мне присоветовал разложить мои календари вблизи его дома, который и без того находился неподалеку от базарной площади, на столике, которым он меня ссудит, и, став за ним на скамейку, с веселым и неробким видом бойко выкликать свои новоиспеченные ведомости. Но как в тот самый день по причине худой погоды людей было мало, то я отложил свое намерение на завтра. Меж тем изготовил я добрый кусок обещанного календаря, который мне самому так понравился, что я досадовал на самого себя, зачем раньше не избрал столь великолепное искусство своей профессией. А когда занялся приятный день, в коем я должен был учинить похвальную пробу своему таланту, то постарался, подобно другим искусным певцам, прочистить и промочить свое горло, в чем мне пособил мой хозяин, выставив несколько кружек доброго пива. Снарядившись и запровадившись таким образом, отправился я во имя Меркурия, бога всех шарлатанов и обманщиков, на базарную площадь, разложив как можно пригляднее моих превосходных авторов, возгромоздился на скамейку,

как на проповедническую кафедру, и стал раздувать и разглаживать бороду, которая закрывала мой рот и подбородок, как несокрушимый болверк, так что прохожие по большей части останавливались ради одного того, чтобы, наконец, услышать, что же такое я скажу и объявлю после того, как столь долго пыхтел и откашливался. Множество зевак напомнило мне не что иное, как тучу мух вокруг молочного горшка. А когда я приятно и довольно звонко зазвенел своим соловьиным голосом, то стоявший в толпе трубочист принялся так смеяться от всего сердца, что своротил челюсть и не мог закрыть рта. Упаси бог! Какая тут поднялась кутерьма. Одни смеялись еще громче, чем трубочист; другие же перепугались, увидав, что добрый малый не может затворить рот; третьи старались вправить ему челюсть; а иные сердились на меня, что я своей болтовней учинил ему такую напасть. Когда я это приметил, то мне стало весьма не по душе, однако же я не показал виду, а попросил тех, кто стоял ко мне поближе, подвести ко мне этого чернушку и поклялся своею бородою и любезным своим календарным промыслом, что пособлю так скоро, что они и ахнуть не успеют. Когда же они услышали, что я им с таким жаром обещал, то несколько таких же черномазых молодцов подвели ко мне пациента и, по моему приказанию, поставили его ко мне на скамейку; засим я стал держать речь перед народом и сказал: «О, любезные мой господа и присутствующие здесь добрые друзья! Не напрасно изрек известный, высокоученый и прославленный муж: „Saere etiam sub sordido palliolo latet sapientia“, сиречь „под нечистою тогою нередко скрывается преизящная мудрость“.⁹ А кто сему не верит, пусть поглядит, что я сейчас учиню.

Скажу без похвальбы, что я не только торгую календарями и не только выкрикиваю ведомости, а также с давнего времени апробованный хирург, врачующий раны и вырезающий грыжи и камни, и с божьей помощью пособил уже многим людям избавиться от их телесных недугов. Но иной, пожалуй, спросит, а почем знать, правда ли все это? Нынче ведь повсюду шатаются целые шайки обманщиков, которые мочат не только отдельных людей, но и всю страну, бахвалятся, что могут творить чудеса, а на самом деле не могут вылечить ни одну паршивую клячу. Не так, не так судите обо мне, милостивые господа! Я не задержу надолго ваше внимание. Вы теперь сами должны на деле убедиться, за кого вы должны меня почитать?». И, разглагольствуя таким манером, впел я трубочисту такую затрещину, что он, нет сомнения, полетел бы кувырком со скамейки, ежели бы я его со всей силою не держал за руку. Когда все зеваки увидели, как я поступил, то хотели кинуться на меня, чтобы хорошенько отдубасить, но когда они услышали, что мой пациент внятными и ясными словами от всего сердца благодарит меня за оказанное ему лечение, то и все стали расхваливать меня как преизящного мужа; тут всяк приступил ко мне, чтобы закупить

календарей, другие хотели доведаться, откуда я пришел и долго ли намерен тут пробыть, и т. д. Я же каждому отвечал коротко и завел свою прежнюю песню со столь благим успехом, что в недолгое время распродал все ведомости, да и календарей осталось совсем немного. А так как время подошло к полудню, то я собрал свои вещи и воротился в трактир, где стал дописывать свой календарь с такою поспешностью, как только мог. Когда я с ним управился, то пошел к типографщику и вручил ему свою первую работу, получив от него изъявление, что он считает себя совершенно благополучным, получив от меня подобную материю. Я взял у него еще кипу ведомостей и порядочное количество календарей, поприятельски распростился с ним, пообещав, что в следующий раз доставлю ему новую, особливо приятную материю. Точно так же я поступил с моим трактирщиком, который почти все время кормил меня безденежно и обещал мне, когда я снова вернусь сюда, дружески и с большою охотою принять к себе. Засим отправился я с именем Божиим в дорогу, взвалив все свое добро на спину, и за короткое время исходил не только всю Германию, но и посетил различные чужие страны, где мне привелось увидеть немало диковинных и забавных историй, которые все тут поведать было бы слишком долго и затруднительно.

Однако ж не могу не объявить об одном, что, странствуя целый год в жару и холод, в дождь и непогоду через Германию, Францию, Испанию, Португалию, Польшу, Московию и другие места, было ли у меня там много или мало дел, я всегда присматривался к обычаям тех стран и все редкие и примечания достойные вещи запрытывал в свой черепной коробок, решив все сии диковинные истории применить к моей профессии и, составив обо всем надлежащую концепцию, снова проехать через Германию, сообщив затем обо всем примеченном мною своим любезным соотечественникам.

СИМПЛИЦИАНСКИХ ДИКОВИННЫХ ИСТОРИЙ ВТОРОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ, ИЛИ CONTINUATIO

Когда я однажды на своем острове, где я жил, словно в стране Пролежи-бока, устав после ловли рыбы или другого подобного занятия и выпив, по своему обыкновению, немного пальмового вина, прилег вздремнуть в прохладной тени некоего дерева, как неожиданно меня разбудило с превеликим шумом шестеро мужчин прегнусного вида, коих я сперва по их отвратительному обличью, безобразным лицам и нескладным фигурам почел за адских духов, и того ради беспрестанно творил крестное знамение. Но как они от него и не подумали исчезнуть, то стал говорить с ними по-малайски, но они не разумели меня; я обратился к ним по-португальски, но они не отвечали, а бормотали мне и между собой на каком-то языке, который больше всего напоминал клекотанье рассерженных индийских петухов. Меж тем, как ни я их, ни они меня не могли понять, надавали они мне сильных тумачков под ребра, взъерошили длинную мою бороду и волосы, связали мне руки и ноги и просунули палку между ними, двое взяли ее на плечи и так отправились со мною к берегу моря, где стоял диковинный плот с парусом и рулями спереди и сзади. На плоту находились еще четверо мужчин, три женщины и двое детей, которые все ни на йоту не были красивее первых: руки их от природы скорее были пепельно-серыми, нежели черными, однако так причудливо и недепо покрыты всевозможными красками, что я даже не знал, с чем бы их можно было сравнить. На них не было никакой одежды, кроме шнура на поясе; ни у кого из них не было бороды, а волос на голове у всех вместе не больше, нежели у меня одного в бороде. В остальном же я приметил, что у них было столько же понятия о благородной стыдливости, как у неразумных скотов. Море в то время ужасно бушевало, и мне сдается, что эти дикари были принуждены непогодю пристать к моему острову.

Когда же они привели меня на плот, то я увидел, что, покуда я спал, они уже сволокли туда всю мою утварь и всю снедь, что была у меня припасена, битую птицу и рыбу и положили меня рядышком, и еще навалили плодов, дичи, что набили на острове, и тому подобное. Тут я ни-

чего иного не мог вообразить, как только то, что попал к людоедам, в чьих желудках скоро обрету себе могилу; каковыми они, нет сомнения, и были на самом деле. А когда разгневанное море немного утихло и подал приятный восточный ветер, то сии дикари предали ему и поплыли на Запад. У них не было компаса, но, как я приметил, они днем шли по солнцу, а ночью по звездам, коих они почитали или, лучше сказать, коим поклонялись со странными церемониями. Подобными же кривляниями и диковинными песнями встречали они поутру солнце; мне же приходилось весьма солоно, ибо я лежал крепко связанный. Когда они ели, то и мне уделяли часть, однако таким манером, как обыкновенно кормят детей кашей или евреи пичкают каплунов, ибо я не мог пользоваться руками. Они пили воду прямо из моря, что противно природе. Нет сомнения, что я принужден был лежать связанным, потому что они боялись, как бы я не прыгнул от них в море.

Не прошло и трех часов после рассвета, как нас завидел португальский корабль, с коего нам подали сигнал спустить парус. Но дикари сего не уразумели, как и моего языка; не мог я им также растолковать знаками, ибо, как уже сказано, был связан. А посемуплыли они напропалую вперед; когда же помянутый корабль к нам приблизился, то с него выпалили из пушки, первое ядро не долетело, зато второе тем вернее поразило плот и не только разнесло две главных балки, но и разбило в щепы мачту, причем двое мужчин и женщина были убиты насмерть и свалились в море. Итак, мы попали к португальцам.

На сем судне были люди самых различных наций и многоопытные мореплаватели, однако среди них не сыскалось ни единого, кто мог бы объясниться с этими дикарями. Некоторые, и даже большая часть, почитали их людоедами, обитающими на островах под сороковыми или пятидесятыми градусами южных широт в неизведанных странах, обычно называемых Terra del fuego, или Огненная Земля. Их всех обратили в рабство, меня же освободили от моих пут и уз, а затем, как диковинного монстра (ибо моя борода достигала колен и волосы свисали до пояса), доставили на корабль ко всеобщему удивлению, особливо же как я умел немного говорить по-португальски.

Первое, что я учинил, — приготовился к исповеди, ибо на корабле было несколько патеров, а от обращения, коему подвергли меня дикари, я весьма ослабел; и когда я, по просьбе знатнейших, что были на судне, поведал о своей жизни, ибо они желали знать, как я очутился в отдаленнейших сих странах и попал в лапы дикарей, то вдруг на том же судне нашлись и такие, кто знавали меня еще в Красном море в ту пору, когда арабские разбойники водили меня напоказ, как дикого человека, и собирали немалые денги; они-то и помогли мне избавиться от сих разбойников и отправиться на том самом корабле, на коем я потерпел крушение и был выброшен на остров, каковая история весьма подробно рассказана

и изложена в моем Жизнеописании. После чего вся команда стала оказывать мне любовь и уважение; знатнейшие пожаловали меня новым платьем и обходились со мною, как с унтер-офицером, пообещав доставить меня вместе с ними в Европу, однако ж с условием, что я буду делать все, что в случае нужды на корабле может быть потребовано от матроса, за что мне будет идти положенная честная плата. Но еще до того как мы достигли острова Святой Елены, умер наш лекарь, или хирург, вследствие чего я должен был заступить его место, разделяя труды с патером, также сведущим в медицине, каковую должность я принял с тем большею охотою, что хорошо знал все снадобья, которые были в нашей аптеке, и получил в помощь ученого и благочестивого мужа.

Хотя мы благополучно достигли сказанного острова Святой Елены, однако ж на борту у нас объявилось много больных, так что мы были вынуждены на долгую стоянку, и еще до того, как мы собирались отплыть, зашли туда два английских корабля, которые намеревались идти через пролив де ла Мэр¹ в Новую Англию; им-то и продали дикарей, которые взяли меня в плен. Мы простояли примерно две недели на острове сем, который хотя и почитается благодатным, однако не может сравниться с тем, на коем я до того жил и, к несчастью, проспал. Я раньше думал, что никакая армия и никакая человеческая военная сила не может лишить меня этого острова и моего благополучия; но вот эти дикие варвары, которые были больше похожи на неразумных зверей, нежели на людей, показали мне, сколь тщетны были мои самонадеянные помыслы и сколь бесполезна моя хорошо снабженная всякой снедью пещера. Ну, чем тут пособить? Все миновало. Когда наши больные поправились, то мы отплыли в Португалию и через короткое время благополучно прибыли в Лисабон.

В Лисабоне обрезаю я длинные свои волосы и бороду, однако немало и оставил на лице, как у пышнобородого швейцарца. Владельцы корабля отпустили меня, наградив вместо жалованья порядочною суммою денег, так что я мог быть доволен, а самые знатные и богатые люди в городе одарили меня различными подарками; да, нет сомнения, и сам король милостиво пожаловал бы меня богатыми дарами, когда бы его особа не была отвлечена другими весьма странными и удивительными делами,² открывшимися и опубликованными как раз в то самое время. И понеже мне не на что было там больше надеяться, то я велел сшить себе длинный черный камзол из тонкого сукна, выправил себе паспорт и отправился на богомолье в Компостелла, где повстречал немецких пилигримов-якобитов,³ которые насажали мне целую кучу добрых вестей из Германии: и о всеобщем-то мире,⁴ и о здоровом воздухе, и о полной дешевизне, и о многом другом, так что у меня просто слюнки потекли, и я вообразил, что заживу теперь посреди Германии, как у себя на острове, посему немедля решил снова ее повидать, ибо и без того давно уже таил преве-

ликое желание узнать, как там живет юный Симплиций, и люб ли мой род людям, или, говоря честно по-немецки, может ли он еще преуспеть в сем мире.

На сей предмет откупил я себе место на корабле, на коем совершил благополучное плавание из Компостелла до Амстердама, а затем то по воде, то сушею через Нидерландские соединенные провинции, что находились под властью испанского королевства, добрался до Цволле.⁵ Оттуда же прошел в Вестфалию, далее в Гессен, item в Веттерау⁶ и, наконец, горными дорогами через Нижний Пфальц и маркграфство Баден вверх к моему батьке, моей матке и моему юному Симплициусу в Шварцвальд, где двух первых нашел в глубокой старости, а последнего в цветущей юности, однако все трое вели весьма благоразумную жизнь. Итак, мои высокочтимые, преблагосклонные, возлюбленные господа соотечественники, я снова появился в Европе и вот достиг Германии, что и было концом моего второго путешествия, которое я совершил в дальние страны, согласно тому как это поведено в моем Жизнеописании.

А что со мною то здесь, то там, то в ином каком месте приключилось странного и диковинного во время последнего путешествия, то все описать не хватило бы двух слоновых шкур, не говоря уже о сем календаре. Но ежели мне удалось бы к моим уже тягостным и досадительным годам прибавить единицу и нолик, да поместить сии две ничтожные циферки в надлежащем месте для мультипликации, то я уж сумел бы оставить после себя столько сочинений, что и Сократ через тридцать тысяч лет (когда именно закончит свой цикл великий год Платона⁷ и Дионисий будет владычествовать в Сиракузах, а Юлий Цезарь в Риме и других местах, и снова примутся воевать Ганнибал в Италии, Сципион с Карфагеном, Александр Великий с Дарием) нашел бы в них довольно всякой материи. Но понеже сие навряд ли случится, а у меня в запасе еще несколько пустых страниц, то решил я на сей раз их заполнить и сообщить, что обрел возлюбленных моих детей Симплициев, ибо, чтобы поглядеть на них, я главным образом и воротился, а не видел я их с тех самых пор, как их матери здесь ли, там ли, словом в разных местах, выродили, то бишь, хотел я сказать, вырастили. И один носил такое же украшение, как Мидас,⁸ другой, как Актеон, а третий был, словно тот боязливый зверек,⁹ коего подают к господскому столу сразу на двух блюдах, перед четвертым гнули спину, пятый, шестой и седьмой и т. д., а посему я не мог приметить, чтобы кому-нибудь из них пошло впрок или повредило их симплициссимуство, а их простота споспешествовала к возвышению или падению того или другого, так что всяк оставался в том состоянии, которое у него было, что с давних времен приписывают безрассудной вещи, кою мир обычно зовет слепым счастьем.

Меж тем во время этого дальнего путешествия мои португальские денешки порядком разошлись по рукам, так что почти подошли к концу,

когда я еще не успел пройти Вестфалию. Самый последний дукат я разменял в Касселе, где пристал к возчикам, направлявшимся с купеческими товарами во Франкфурт. Путь, который мне еще предстояло совершить, был для меня по беднежью моему далековек, ибо мне было нелегко обеспечить себе пропитание; того ради измышлял я способы, как бы мне прокормиться. Нищенствовать, подобно другим братьям св. Якоба, я стыдился и к тому же боялся, что в Гессене и на горных дорогах, где господствовала реформатская церковь, не получу ничего, кроме насмешек, ибо тамошние жители не очень-то уважали пилигримов, обвешанных ракушками. Но когда я особенно страшился, что мне не удастся по дороге найти себе пропитание, то одно нечаянным образом приключившееся несчастье послужило к моему счастью и побудило меня, как некогда во Франции, заделаться врачом. Ибо когда мы заночевали в одном местечке неподалеку от Фрицлара,¹⁰ то как раз у одного тамошнего богача потекла кровь из носа, да так, что страшились за его жизнь; родные его побежали и поскакали по всем окрестным селениям, разыскивая людей и средства, чтобы унять кровь, но все было напрасно! Как только я услышал об этом от трактирщика и его слуг, то сразу прихвастнул, что знаю, как ему пособить. Сие тотчас же передали пациенту и его дворне, и меня, уже на ночь глядя, поспешно позвали к больному. Я нашел его скорее мертвым, нежели живым; ибо он уже весь побледнел, позеленел и посерел, как свинец, не говоря уже о других признаках приближающейся смерти, которые можно было у него приметить. Рядом стояла целая лохань, полная крови, вместимостью, я думаю, в 35 метцов,¹¹ не считая того, что было повсюду залито и забрызгано. Сверх того его уже пользовали всяческими самыми крайними средствами, пугали, обливали холодной водой, давали прохладительные и вяжущие снадобья, перетягивали бедра, руки и грудь, словно узнику, даже не пощадили его, отворив ему кровь и наставив по всему телу банок, а также наложив на лоб, нос и виски всякие примочки. Но ничто не помогало, а только пошли у него один за другим обмороки. Когда я увидел, как обстоят дела и что пациент обрел во мне надежду и утешение, то распорядился учинить все наоборот. Я велел укутать его в теплое одеяло, распустил все бинты и повязки, растирать ему руки и ноги, жечь крапивой под мышками и употреблять другие средства, чтобы не допустить обмороков. Меж тем, как ему все это делали, я вылил немного его крови на сковородку и поставил на огонь, приготовив ему подобающим образом и согласно своим познаниям столь превосходную нюхательную соль, с помощью какого симпатического средства остановил у него кровь раньше, чем кто-либо мог сосчитать до ста. Таким-то образом я учинил знатное чудо и с тех пор не делал ничего другого, как только врачевал сего больного различными сердцекрепительными и очищающими кровь средствами, кроме того, наружно помогал ему, укутывая теплыми одеялами, и кормил

его особю деликатно приготовленными протертыми блюдами, так что к полудню он мог причислить себя к здоровым, а я со своими возчиками пуститься в путь. Но так как жена моего пациента и другие его родственники не особенно верили в его излечение и страшлись опасного рецидива, то никак не хотели отпустить господина доктора, невзирая на то что я отговаривался поспешностью своего путешествия и тем, что упускаю случай уйти с обозом. Они же сулили мне золотые горы и уверяли, что через несколько дней пойдет новый обоз и по той же самой дороге, что и теперешний, так что уговорили меня остаться, тем более что я без того терпел большую нужду в деньгах, а потому пробыл у них целую неделю, за какое время у больного час от часу прибывало силы и оживал цвет лица. Всеобщая молва об этом лечении распространилась с такою быстротою, что за несколько дней ко мне стеклось множество пациентов из соседних селений, как если бы тут был сеньор Борри¹² собственною персоною. Тогда пришлось мне поступить, как всякому, кто не желает потерять кредит. Когда я понимал в болезни, то знал и средство против нее; а когда я не разбирался в состоянии больного, то отсылал его с утешительными словами к доктору или цирюльнику. Те, кого я принимал, обыкновенно выздоравливали, и мне почти кажется, что то происходило по большей части от доброй веры, которую я им внушал. Засим снова пришел обоз, направлявшийся во Франкфурт; с ним я и поспешил в путь, ибо мой кровоточивый пациент собрался с силами и скорее мною тяготился, чем во мне нуждался. Он отпустил меня, наградив шестью рейхсталерами, невзирая на то что поначалу мазал меня по губам сотнями; я же тем довольствовался, ибо другие больные пожаловали мне немало талеров, так что решил продолжать сие ремесло, деньги же приберечь, дабы употребить их на то, чтобы закупить в ближайшей аптеке всяческих снадобий для такого знахарства. Следуя сему намерению, я на первом ночлеге ел и пил совсем мало; хозяйка же постоялого двора поступил со мною, как некая скаредная трактирщица, которая говорила своим гостям: «Кто тут не ест, тот тут и не спит!», ибо не отвел мне постели, а спровадил на конюшню. Там я устроил себе ложе за яслями, как раз перед мордой лошади, ибо другого места не было. Два возчика легли спать в гамаках, подвешенных к потолку в конюшне либо для того, чтобы удобней было вовремя кормить лошадей, либо затем, чтобы их охранять и быть поблизости, если они захрапят или стряется еще что-либо. Мы все трое заснули без убаюкивания; но когда перевалило за полночь, то меня разбудили стук и шум, который подняли лошади; а когда я приоткрыл глаза, то обомлел от страха, увидев призрак толстой дородной женщины с тускло горевшей свечой в руках, одетой, как обычно в тех местах обряжаются, когда носят траур или о чем-нибудь горюют. Она стояла как раз у меня в головах в углу над яслями и светила, не сводя пристального взора со стены, как если бы хотела разгля-

деть там блоху. Я внимательно наблюдал за нею и сразу заметил, что это привидение, так что от одной этой мысли у меня волосы зашевелились на голове, как если бы они были живыми или по мне заползали кучи червей. Лошади отпрянули назад, храпели и гремели цепью, которой были привязаны. Возницы же, устав с дороги, продолжали храпеть, словно бились в том об заклад. Когда я довольно нагляделся на привидение, то повернулся лицом к стене и закрыл глаза, с нетерпением ожидая, когда наступит утро или пробудятся возчики, что вскорости и случилось, ибо едва только, как мне мнилось, призрак пошел прочь, то все лошади в конюшне всполошились, отчего один из возчиков закричал на них; а когда я снова повернулся, то кругом была полная темень, привидение исчезло, и лошади утихомирились.

На следующее утро я отозвал трактирщика в сторону и спросил, не завелась ли у него в конюшне какая-либо нечисть? «Что! — закричал он. — Уж не собрался ли ты, бродяга, ославить мой постоянный двор?» Я ответил: «Полегче, господин трактирщик, потише! Не ославить, а избавить тебя от привидения!». «Ну, тогда другое дело! — сказал хозяин. — Коли ты в таких делах искусен, то не пожалею дать и дюжину дукатов». Я же, напротив того, сказал, что избавлю конюшню от нечисти, но с таким условием, что он мне позволит взять все, что я там найду, а дюжину талеров может оставить себе. Трактирщик был малый не промах; когда он увидел, что я намерен взяться за дело без всякого обмана и на свой страх и риск, не требуя от него никаких расходов, то наострил уши и подумал, что в конюшне, должно быть, скрыт большой клад, и потому захотел войти со мной в долю. Я сказал, что он может забрать все один, только ему сперва придется самому поискать и покопать, а я отправлюсь вместе с возчиками. Под конец мы порешили, как он мне сам предложил, что все равно, сыщу я клад или нет, все же он обещает и дает мне двенадцать талеров, коими я и должен довольствоваться, ежели не обрету клад, однако выкурю привидение из конюшни; а ежели обрету клад, то все равно получу двенадцать талеров, однако ж должен поделить с ним клад, как бы велик или мал он ни был. Так мы решили по обоюдному согласию и учинили о сем договор, который потом для верности разрезали по зигзагу, чтобы потом можно было его сложить вместе, и каждый из нас взял себе половинку. А так как, покуда мы уговаривались, возчики убрались и конюшня опустела, то я и направился туда вместе с хозяином и стал долбить стену в том месте, куда с таким благоговением взирал призрак женщины, и вскоре всего после нескольких ударов извлек оловянную коробочку, в которой лежало почти триста дукатов. Трактирщик и радовался, и горевал; радовался, потому что мы нашли столько денег, а горевал оттого, что должен был ими со мной поделиться; однако его скоро утешило, что теперь он надежно избавлен от привидения, которое весьма досаждало ему и его домочадцам и распугало у него немало

гостей и челяди. Того ради мы поладили и поделили деньги весьма миролюбиво, так что он отдал и обещанные двенадцать талеров и чистосердечно признался, что у него в конюшне переколело лошадей больше, чем на триста талеров, ибо ни одна не оставалась здоровой более чем полгода. И как мой кошель снова был изрядно набит, то я отставил шарлатанство и медицину и с изрядною суммою денег возвратился, как уже сказано, к своему батьке.

ЕЩЕ ОДНА СИМПЛИЦИАНСКАЯ ДИКОВИННАЯ ИСТОРИЯ ТРЕТЬЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ, ИЛИ CONTINUATIO

Надобно быть крепким малым, чтобы сносить хорошие деньки; эту старую и верную пословицу говаривал мой батька, справедливость коей он испытал на себе, да и на мне она не раз оправдалась, как то довольно ясно можно усмотреть по сему продолжению моего Жизнеописания. Едва успел я, как о том поведано в прошлом году,¹ получить, хотя и с немалым принуждением и околичностями, у трактирщика свою долю в кладе, который я нашел в конюшне, как я снова предался распутной жизни и проводил день за днем в роскоши. Ну, и распривольное житье пошло тогда у моего батьки, у коего я поселился; ибо раньше-то он всю неделю пробавлялся одним молоком и черствым хлебом, а когда хотел попировать, принужден был валяться в ногах у моей матки, чтоб дала ему овсяной каши, а тут стал я прилежно водить его с собою по трактирам, что бы там ни говорила моя matka, и сие угощенье так пришлось ему по вкусу, что он скоро нашил себе красный загривок и приметно раздобрел. Мы так загуливали на постоянных дворах, что повсюду пошел слух обо мне и моем батьке; особливо же привечали нас хозяева, ибо мы не только заказывали у них лакомые кусочки и промачивали глотки благородным виноградным вином, но и выделявали такие коленца, что потешали всю пьяную компанию и приваживали гостей заглядывать туда почаще. Короче, где был Симплициус, там всегда слышалось, как весело наигрывают брачи,² дудки и волынки, стучат кости, шелестят карты и щелкают шашки. Жизнь текла, как в стране Пролежи-бока, и мне ничто так было не любо, как смотреть, когда порою в трактир приходили крестьянские женки и так жестоко чехвостили своих упившихся мужей, что единым духом награждали и меня столь же отменными почетными титулами, да так, что я не мог вставить ни словечушка, на что я, однако, со всеми своими собутыльниками не обращал ни малейшего внимания; когда же их мельницы начинали трещать и ворчать без умолку, брал я у музыканта волынку и заводил такую кудрявую мелодию, что заглушал всю

эту бабью трескотню, и ее почти нельзя было расслышать, не то что понять. Однажды сидели мы с батькой честь честью в трактире и соби-
рались отведать водяных колбасок (как зовут мои земляки угрей) и жа-
ренных цыпляток; и я только что подложил целенького на тарелку моему
батке, как — о, злополучная Фортуна! — в горницу ввалилась старая
наша матка с санными вилами в руках и с первого же шага, едва только
она вошла и нас завидела, ласково возвысила свой голос, словно мар-
тышка, у коей вздумали отнять детеныша: «Вот, стало, бесстыжая твоя
рожа, как ты в поле сено гребешь? Срамитель-то какая, ты тут хлещешь
вино, а мы с Уршеле спину гнем, на солнце сопрели, а ты тут прокла-
ждаешься, словно последний пьянчушка! А ты, Симпел, тут рассижи-
ваешь да небо коптишь, словно вонючая лучина; пошел бы да сочинял
свой календарь, а не то опять на войну иди, да моего старика не муги;
он совсем ошалел и с панталыку сбился, когда ты тут объявился. Ували-
вай прочь отсюда, чтоб и духа твоего не было!». Когда батька мой услы-
шал такие слова и увидел, как на него наступает старая матка, нос у нее
красен, глаза горят, да еще вилы в руках, то задрожал он, словно оси-
новый лист, и от страха не мог вымолвить ни слова. Я же сказал:
«Любезная матушка! Иди с миром! День-то сегодня жаркий, так что мы
не стерпели жажды, да и собрались уже по домам. Иди сюда, я тебе под-
несу!». «Ключевой воды испить, хвостун!» — сказала матка, однако не
столь уж грозно и проворчала еще что-то, только я не мог разобрать.

Наконец, после долгой перебранки и пререканий наша матка утихо-
мирилась, а я молвил ей ласковое слово и пригласил к столу, а как
выпивка пришлась ей по нутру, то не успели мы оглянуться, а она уже
сильно захмелела. Тут можно было подивиться, какой вздор болтают и
впережку ревмя ревут старые бабы, когда не в меру зальют разлюбез-
ным винцом себе глотку. Под конец я с батькой поволок ее домой, да и
наверяд ли бы мы ее дотащили, когда бы Урселе, которая нам повстреча-
лась на дороге, не подпихивала ее сзади. И так повелось частенько,
покуда мой кошелек порядком не отощал и меня стал навещать господин
Прореха. Но понеже никакая печаль никогда не крушила моего сердца,
так же было со мной и на сей раз, а наш трактирщик хотя и приметил,
как обстоят мои дела, однако ж не встречал меня оттого с неохотой,
невзирая на то что я стал проедать у него куда меньше прежнего, ибо
я ведь и без того принес ему столько прибыли, что он мог бы кормить
меня даром всю неделю кряду.

Надежит мне рассказать о том, какую я учинил штуку, когда со-
всем расположился на житье у трактирщика, взявшего меня на даровой
стол, чтобы я ему пособлял умножать доход. Однажды под вечер завер-
нуло к нам в трактир несколько торговцев скотом, чтобы устроить пи-
рушку, а ночью при ярком свете месяца продолжить свой путь. Мой
хозяин приметил, что у них водится сальце, и не прочь был полакомиться,

когда бы только знал, как подступиться к делу, а посему обратился ко мне и сказал, что не поскупится на добрый подарок, ежели я так устрою, что они проображничают всю ночь и ему удастся хорошенько пообщипать сих жирных пташек. Я ответил: «Хозяин! Не домай понапрасну голову! Не будь я Симплициус, ежели не учиню так, что они беспременно тут заночуют, хотя бы и противу своей воли!». Как все вышло? Через несколько часов гости потребовали, чтобы трактирщик подал счет за выпивку, а он прикинулся, что занят по горло, да приговаривал, что ночью ехать опасно и все такое прочее. Но ничего не помогло, и они стали собираться в путь-дорогу. А когда я увидел, что они собрались расплачиваться, то проворно побежал на конюшню, оседлал стоявшего там большого козла, накинул на себя длинный черный плащ, весь им окутался и вылетел со всею поспешностью, направившись к тому переулку, где, как я знал, должны были пройти сии скототорговцы. Они уже порядочно отъехали от деревни, а по счастью было довольно темно, на что они не обращали внимания, ибо хорошо знали дорогу. Не успели они оглянуться, как я выскочил из кустов на козле и помчался прямо на них, не переставая его щипать и теревить, так что весьма явственно было слышно — мек, мек, мек!

Я хорошо закутался и лишь чуть-чуть выставил лицо, зажав в зубах гнилушку, которая сильно светилась, так что казалось, будто я изрыгаю из пасти огонь. Нет нужды расписывать, какие мины скорчили наши путники, когда завидели в темноте меня с козлом; они помчались опрометью назад, сбившись такой тесной кучей, что я и посейчас дивлюсь, когда о том вспоминаю; и притом еще орали: «Караул, разбой, спасите!». Первый, кто меня увидел, испустил жалобный вопль, так что я сам забоялся, а мой козел и вовсе перепугался, уперся и не пошел вперед, а только блеял. Я же особенно его не понукал, ибо увидел, что все скототорговцы помчались обратно к трактиру; я же только гарцевал на козле почти на одном месте, чтобы они попроворнее ретировались, хотя они и без того делали это с превеликим усердием, так что не потребовалось особых трудов ни мне, ни моему хозяину, чтобы загнать их на наш двор. Я вернулся прежним путем через заднюю калитку, поставил козла в конюшню и принялся ходить взад и вперед по трактиру, как если бы мне надлежало исправить какое-нибудь дело, и зашел в их покой в то самое время, когда они рассказывали о приключившемся с ними несчастье нашему хозяину, который подливал масла в огонь и увещевал не полагаться впредь с таким легкомыслием на ночь, тем более что у них было надежное пристанище, где им не грозила никакая опасность, и все в том же духе. «Вот, вот! — воскликнул один. — Это мне наука никогда больше не путешествовать по ночам!». «А привидение, — рассказывал другой, — было такое ужасное и восседало на козле, так что я совершенно уверен, то был сам дьявол — упаси нас от него, господи!». А третий ска-

зал: «А я думал не иначе, что козел наступает мне на пятки, в таком-то я был страхе, да это видно по нам самим». «Черт побери, а как скакал этот зверь!» — воскликнул первый. «Как мерзко плевал огнем злой дух!» — добавил второй. «А как он мчался на нас, — заметил третий, — словно собрался ни одного в живых не оставить». Я же подумал про себя: «Попали пальцем в небо! Знали бы вы, что эту штуку я вам построил, то уж, верно, мне солоно пришлось бы за эту поездочку на козле!». Однако я сказал: «Жаль, что меня тут не было, я предостерег бы господ от этой беды, ибо со мной самим однажды приключилось такое, что козел схватил меня неожиданно-негаданно на дороге и донес в зубах до самой конюшни, а потом внезапно исчез, о чем я до нынешнего дня еще никому не рассказывал». Они возымели ко мне сожаление, что мне пришлось испытать нечто еще худшее, нежели довелось им самим. Сей перенесенный страх мой хозяин возжелал обратить им в радость, а мне на пользу и потому подносил им кружку за кружкой самого наилучшего вина и угощал их на славу, что они охотно принимали и развеселились так, что пропировали всю ночь и заметно порастрясли кошельки. Хозяин же подумал и обо мне и велел заместо верхового козла приготовить мне отличного индейского петуха, а сам подсел к моему столу и веселился со мною, ибо мы не могли довольно нахохотаться, вспоминая счастливую шутовскую проделку, которую удумали и учинили скототорговцам.

До сих пор со знавал я одни только счастливые деньки. А теперь послушайте, что со мною приключилось далее: спустя несколько дней в мое пристанище заявился неведомый врач и площадной шарлатан; он был превеликий хвастун, а в медицине понимал не более меня, не считая того, что не умел так заливать, как я, старый практик — Симплициссимус. Я свел с ним знакомство, и так как хорошо уразумел, что образ жизни, который вел я до сих пор, не сулит мне ничего доброго в будущем и все сойдет с *la* на *mi*, то повел с ним ласковые речи и наговорил ему с три короба о моем искусстве и о том, какие знатные успехи в медицине показал я в разное время в Польше, Москве, Данциге и других местах. «Эге! — сказал врач, который приказывал всем величать его доктором. — Ежели ты пожелаешь оказать мне верную службу и согласишься стать моим слугою, ибо, как ты говоришь, тебе сейчас приходится туго, то я охотно исполню твоё желание; однако ты должен будешь самым прилежным образом соблюдать мой интерес и споспешествовать моему благополучию». «А как же иначе? — возразил я. — Я уже давно помышлял о таком счастливом случае. Ежели только господин соблаговолит меня принять, то я уже поведу себя так, что у него, когда он меня узнает, не будет причины в том раскаиваться». Тут мы сочинили и подписали контракт; один только мой хозяин был недоволен, что я собрался от него уходить, ибо немало был обязан мне и моим кунштукам приметным приумножением своих доходов. Я тайком его утешил, сказав, что не пройдет

много времени, как я снова буду у него, чему он весьма обрадовался. Мой господин меж тем задумал учинить пробу моему искусству, так ли я его хорошо разумею, как похвалялся; того ради на другой день открыл свой фургон и велел мне выкликать его товары, согласно данной мне полной инструкции, которую я и раньше знал не хуже его. Я постарался на славу, что мне было и нетрудно, ибо я за несколько лет перед тем занимался тем же ремеслом, так что господин весьма дивился и, не мешкая, на другой же день отправился со мною в путь, к великому огорчению моего батьки, матки, Урселе и трактирщика. По дороге я почти что раскаивался, что на старости лет должен буду услужать такому господину, который, как я час от часу примечал все лучше, не понимал и половины того, что я знал, но я все время думал: «Кто знает, что случится? Утешься, Симплициус! — говорил я самому себе. — Все устроится лучше, нежели ты сейчас воображаешь». Мы порядочно поколесили повсюду, и мой господин загребал моими трудами немалые деньги, меня же кормил впроголодь и еще того меньше давал мне выпивки, что было вовсе не по мне, ибо я не мог привыкнуть к такой скряжнической кухне.

Я вздумал разбогатеть на игре в карты, доставляя себе иногда добрый выигрыш с помощью такого искусства, в коем знал толк, что мне порой и удавалось, так что мой кошелек снова был тугонек; однако было у него такое же свойство, как и у ясного месяца: то он полон, то на ущербе, а то я не мог вытянуть из него ни единого геллера, ибо у меня было обыкновение разом все проматывать, либо пропивать, либо спускать в карты, каковые мои добродетели хорошо вызнал мой господин. Однажды сей мой господин и я с ним прискакали в некий знатный польский город в намерении устроить там нужные дела. Там, когда мой господин, притомившись, улегся в постель и пожелал переночевать, пристал я к одной компании, и мы сперва изрядно выпили, а потом принялись, к моему несчастью, играть в карты. Я не только проиграл все деньги, но и свой камзол, красный кушак и т. д., вплоть до штанов и рубахи. Я пошел полураздетым, ибо уже стемнело, на постоялый двор, и так как мой господин спал крепким сном, то произвел визитацию его кошелек и, забрав денежки, выскользнул как можно проворнее, воротился к своей компании, однако с полным невезением, ибо карты все шли против меня. Не успел я как следует разыгаться, чтобы воротить проигрыш, — ан, глядь, и эти деньги уплыли, так что я снова принужден был отправиться в трактир, где ночевал мой господин, который меж тем пробудился и тотчас же заметил, что хотя его кошелек на месте, а денежки из него выудили. А когда он за такую неожиданность жестоко выговаривал хозяину, хозяйке и всей челяди, то на свою беду пришел я туда в одной рубахе и портках, ибо, как о том уже сказано, проигрался в пух и хотел забрать также и платье моего господина и поставить на карту.

Когда он меня завидел, то стоило поглядеть, как он на меня накинулся, ибо я был столь бесстыден, что еще попросил у него денег выкупить платье. Он призывал тысячу бед на мою голову и добавил, что хочет отправить меня по горячим следам на виселицу, но скоро переменял свое мнение и велел мне поскорее забрать пожитки и больше никогда не попадаться ему на глаза, а не то мне придется весьма худо. Я был в превеликом страхе, ибо увидел, что он поставил свою оседланную лошадь рядом с моею и собирался уехать, а потому стал просить и заклинать его именем божиим не покидать меня в такой напасти; однако ничего не помогло: он ускакал. Я подумал: «Ну, вот как говорится: „Лопай, пташка, или околевай!“», и потому побежал что есть мочи рядом с лошадьми,³ покуда мы не удалились на порядочную дистанцию от деревеньки, а я все еще не переставал кланяться деньгами, чтобы выкупить платье, но тщетно. Наконец, завидел я нескольких мужиков, возвращавшихся домой с полевых работ; тут завопил я прежалостным голосом, чтобы они помогли мне против этого разбойника, который забрал у меня лошадь и все мое добро, а мне взамен бросил свои лохмотья. Мои жалобные крики не прошли мимо слуха этих легковерных людей; они быстро подбежали, и так как почли за сущую правду все, что я им наговорил, то сгребли моего доктора и обошлись с ним весьма круто, отняли у него лошадь, надавали ему крепких тумачков, стащили с него изрядный камзол и вручили его мне, а я его проворно взял и напялил на себя. Что тут врач ни уверял, все было напрасно; мои жалостные вопли и крики «разбой!» совершенно проняли мужиков. Засим я вскочил на лошадь, а другую взял за поводья и повел рядом, поблагодарив мужиков за то, что они вовремя подоспели ко мне на помощь, и, оставив доктора в одной рубаше, ускакал полным галопом с такою поспешностью, как только мог. Но все же отъехав несколько, обернулся и крикнул им, чтобы они не причиняли врачу вреда, то будет несправедно, а ссудили бы его платьем, за такое благодеяние он им окажет благодарность. Сказав это, я отпустил вторую лошадь. Итак, я избавился от самой большой беды, в какую только попадал за всю жизнь. Я нигде долго не останавливался, покуда не прибыл снова в ту страну, где мог снова приняться за составление календарей, и за короткое время заработал так много денег, что послал моему врачу, о коем ненароком услышал, что он пребывает в одном хорошо известном городе в Швеции, по векселю ровно столько, сколько я у него раньше взял, чрезвычайно благодарил его за оказанную мне доброту, пообещав вскорости повстречаться с ним в другом состоянии и принести ему устное извинение в нанесенном ему по причине крайней нужды бесчестии.

Итак, я снова стал сочинителем календарей, и это хорошее дело славно у меня пошло; особенно ж способствовало моему счастью (что, впрочем, в короткое время обернулось весьма плачевно), что я взял к себе столоваться богатого юношу, который весьма пристрастился к составлению ка-

лендарей, так что я под конец стал его наставником, а он доставлял мне немалую прибыль и оказывал всяческое послушание. Он любил меня от всего сердца, ибо я позволял ему все, к чему у него была охота. По соседству с нами жила некая весьма приличная девица по имени Цецилия, которая по недостатку денег добывала себе пропитание и насущный хлеб собственными руками и поддерживала свою скудную жизнь тем, что пряла пряжу; на нее-то и устремил свои взоры, чувства и помыслы мой воспитанник Андреолус и через короткое время так пленен был ее ласковыми словами и благонаравными минами, что поклялся либо умереть, либо заполучить в свои руки прелестную соседку, связавшись с нею чистыми брачными узами. Он не упускал ни единого случая ни днем, ни ночью, чтобы оказать ей какую-либо услугу и дать понять, сколь сильно любовная страсть сжигает его сердце, что Цецилия принимала не то чтоб хладнокровно, но и не слишком горячо, покуда он ее не упросил дать обещание прийти в расположенный неподалеку от нашего дома сад, куда в уреченное время должен был явиться он сам вместе со мною как его гувернером, дабы самым честным образом договориться о будущем бракосочетании. Но все приготовления привели к нашему величайшему злополучию. Мой Андреолус встретил Цецилию с веселою приятностию, и она ему ответила тем же, в то время как я прогуливался взад и вперед по саду, созерцая редкостные и приятные растения, оба влюбленные уселись под большим красивым кустом шалфея и вели беседу, которую я не всегда мог расслышать. Однако не прошло много времени, как я услышал горестные вопли, плач и крики, чем был весьма озадачен, покуда ко мне не подбежала Цецилия и, не переставая жалобно рыдать и ломать руки, закричала: «Андреолус! Мой любезный Андреолус мертв! О, горе, он лежит там на траве бледный как смерть!» и пр. С перепугу я не мог вымолвить ни слова, а поспешил со всех ног к тому месту, где мой Андреолус распростерся на траве и, как я его ни тряс и ни тормозил, не подавал никаких признаков жизни, а уже совсем окоченел, распух и весь пошел черными пятнами. «Боже милосердный! — воскрикнул я. — Андреолус отравился, и это ты, бесстыжая (показывая на Цецилию), нет сомнения, дала ему яд. О, ты умертвила моего Андреолуса! Кто пособит мне разделаться с тобой и лишит тебя жизни за твою злобу?» В бешенстве я наговорил бы ей еще немало, когда бы на наши крики ни сбежались соседи, с удивлением воззрившиеся на сие печальное позорище и все как один заподозрившие Цецилию, которая хотя от сердечной скорби и приключившегося несчастья едва не лишилась чувств, однако поклялась самыми святыми клятвами, что совершенно не виновна, и ежели только пожелают ее терпеливо выслушать, то готова поведать до мельчайших подробностей, как все случилось. Я же никак не мог успокоиться, ибо от сердечного сокрушения уже не помнил, что делаю.

Она начала рассказывать, как Андреолус подвел ее к сему шалфей-

ному кусту и после долгих скромных любовных речей оторвал листик, чтобы немного его пожевать, заметив, что шалфей превосходное и весьма здоровое средство для зубов и десен, которое освежает и очищает их от всего, что на них осыпается от пищи, о чем нередко говаривал мне господин Симплициссимус; после того продолжал вести со мною беседу, но горе, посреди самых ласковых речей закатил он прекрасные свои очи, побледнел лицом и затем, к моему величайшему испугу и печали, испустил свой благородный дух. «Глядите! — сказала она, сорвав листик шалфея и потеряв им зубы, — вот так и он, вот так и он делал». Меня же это еще более раздосадовало, и я сказал, что то пустые отговорки, коими она никогда себя не оправдает за постыдное убийство. Но едва я смолк, как сломленная жестоким горем и скорбью бедная Цецилия внезапно побледнела, как если бы впала в бесчувствие, и поникла на землю, где тотчас же испустила дух к немалому ужасу нас всех, кто тут присутствовал. «О, праведный боже! — воскликнул я. — Что же это такое? Что тут сказать? Неужто сегодня напали на меня разом все несчастья? Какие только зоключения не привелось испытать мне в жизни, но никогда еще мне не приходилось так тяжело, как теперь. Ручаюсь головой, что этот шалфейный куст пропитан ядом, что, впрочем, сему растению вовсе не свойственно. Давайте безо всяких проволочек вырвем его с корнем из земли и сожжем!».

Мы немедленно так и поступили, и когда кирками и лопатами отрыли и вытащили куст из земли, что не так скоро нам удалось, то сразу узнали или, лучше сказать, увидели воочию причину смерти обоих любовников; ибо под его корнями нашли преужасную жабу, которая, по всей видимости, своим ядовитым дыханием и отравила куст. Я распорядился тотчас же уведомить о сем прежалостном случае судью тамошнего места, который, опросив очевидцев, велел похоронить столь плачевно погибших особ в одной могиле и предать земле по христианскому обычаю.⁴ По сему поводу предался я весьма горестным размышлениям и решил отныне провести остаток дней моих в непрестанной скорби, а также как можно скорее оставить злополучное сие место, что я и совершил. Однако же первое не мог так скоро исполнить, как бы сильно того ни желал, ибо сему препятствовали различные обстоятельства. Едва я вернулся в свое жилище, как нашел письмо, которое мне прислали мои соотечественники, в коем сообщили, что некоторые сочинители календарей вздумали потешаться над моим и возбудить к нему презрение, отчего мне в голову полезли весьма диковинные мысли. А когда стал я читать далее и узнал, что сыскалось немало и таких людей, коим мои писания наперекор всем завистникам весьма полюбились и приятны, то я успокоился и подумал: «Разве на всех угодишь?», а посему отписал моим соотечественникам, чтобы они уведомили моих недоброхотов, что ежели они не довольны моим календарем (ибо вышло их уже девять, а мой Симплициссимусовский сотый), то пусть отложат его в сторону и не читают, а увеселяются своими собствен-

ными, сколько душе угодно; а я взялся за свое веселое перо в угоду моим соотечественникам, вознамерившись доставить им после тяжких трудов немного отдохновения рассказами о своих приключениях. А ежели мои хулители захотят меня обесславить невеждою, то пусть только не поленились перелистать мой «Вечный неизменный Календарь» и многие другие глубокомысленные трактатцы и поразмыслят о том, сколь часто под нечистым хитоном скрывается добрый философ, а точно так же порою под простым именем и незначительными словами на дешевой бумаге сокрыто нечто такое, что не всякий сразу уразумевает. Впрочем же, я не могу им ничего лучше присоветовать, как свернуть из моего Календаря цигарку или сделать кулек для перца и других пряностей, меж тем как мои высокочтимые господа соотечественники могут без помехи найти в нем себе увеселение. Написав сие письмо, я собрался в дорогу и вскорости уехал. А что довелось мне увидеть и испытать, о том впредь будет неукоснительно сообщено читателю.

**ДОБАВЛЕНИЕ
ОТ ПРЕУДИВИТЕЛЬНОГО СТРАНСТВУЮЩЕГО
ПО ВСЕМУ СВЕТУ ВРАЧА СИМПЛИЦИССИМУСА,
В КОЕМ ОН КАК ИСПЫТАННЫЙ БРОДЯГА,
ИЛИ ВАГАНТ,
НА ОСНОВАНИИ СОБСТВЕННОГО ОПЫТА
И ПРАКТИКИ ДАЕТ
НАСТАВЛЕНИЕ,
КАК ЛЕЧИТЬ И ПОЛЬЗОВАТЬ НЕКОТОРЫЕ
ВООБРАЖАЕМЫЕ БОЛЕЗНИ.
ВСЕМ ОТЦАМ СЕМЕЙСТВА И ДОБРЫМ ХОЗЯЙКАМ
ДЛЯ РАЧИТЕЛЬНОГО, ПОЛЕЗНОГО, УСЕРДНОГО
И ГЛУБОКОМЫСЛЕННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ
НА БЛАГО ИХ ЧАД И ДОМОЧАДЦЕВ**

Хотя уже во времена славного Ганса Сакса жил некий лекарь, что иссекал из чрева глистов, хотя уже лет тридцать назад объявился доктор Глистогон,¹ и в ту же пору изобретен шлифовальный камень для чрезмерно длинных носов и ветряная мельница-моложейка, что перемалывала старух на молодых, а совсем недавно устроен верстак для обтесывания молодых лоботрясов² по самоновейшей моде; однако ж на деле все хитрости, инструменты и мѣхины не принесли почитай что никакой пользы. Уж не знаю, оттого ли, что сами мастера не верят своим кунштам или страшатся такого лечения, и потому сами его не употребляют. Того ради я в течение долговременного моего путешествия, побывав в Ост-Индии у яванцев, кои в здоровом уме с хорошей осанкою и сильным телосложением доживают до трех-, четырех- и даже пятисотлетнего возраста (понеже один из них был еще во времена графа Моритца в Голландии³), подсмотрел их карты и научился у них кое-каким кунштам; и так как я привез в Европу сие искусство на пользу и утешение страждущим, то публично о сем здесь объявлено, дабы подать совет равно как в случае недостатка, так и излишества чего-либо для их телесного и душевного здравия. А ежели какой беспутный юнец занедужит, то ему пособит весьма сносное (проносное,

хотел я сказать) лекарство, приготовленное из затвердевшего березового сока, дабы еще не закосневший дуралей с младых лет избавился от запора невежества, когда у пациента неисправный стул и он бывает принужден лечь животом на лавку. Также пользительно доброе рвотное или отворить кровь, особливо же когда пациент уже вообразит, что малость перерос, чтоб подвергать его вышереченному лечению, и мудрый лекарь прописывает ему на спину прут от вербы (а вовсе не вербену), а ежели будет нужда, то и пятипальцевую мазь для щек и ослиных ушей, а то и на все свиное рыло. А ежели у зараженного сим прилипчивым недугом столь крепкая натура, что сказанные средства на него не подействуют, то самое лучшее сунуть его в печь и всего наново перепечь, *id est*⁴ отнять его от материнской груди и посадить на чужие хлеба, да в такое место, где заведен добрый порядок, а начальником, чего доброго, скупердьяй (Боже, упаси нас от каторжной тюрьмы!⁵). Когда пойдет он своею стезею, подобно блудному сыну, то соскочат с него все паразиты, что точили и губили его и не хотели раньше убраться. А ежели зараза вкоренилась так сильно, что не помогает вся совокупная медицина, ибо пациента давным-давно прозвали Ослоухим, Зайцепасом, глупым, как треска, побродягой, свиным сычугом, крохобором, дураком, у которого голова, что чан, а ума ни на кочан, и набита она всяким вздором и дерьмом, дурацкими воображениями и фантазиями, как бочка с сельдями пополам с червями, так что сказанное лечение никак на него не подействует; погляди, как тогда дистиллирует сидящая у печи старость и пропускает матерню через искусный и удобный змеевик, так что все улетучивается, словно дым, туман и облака. И подобно тому как для сего надобно время, точно так же принуждены и те, что от природы или по несчастному случаю приобрели зоб, килу, горб, заячью губу и прочее в избытке, или, напротив, недостает им роста, силы, здоровья, красоты и мало чего еще доброго, то лишь в любезной старости сносят все сие и вспоминают, что теперешний хитроумный свет, дабы они могли оставаться в чести и почтении, измыслил для них изрядные премушества, как-то, например: ежели французы увезли все сено с твоего чердака (о прирожденной парше я умалчиваю), так что у тебя плешь во всю голову, то нахлобучь парик и уверяй, что такова теперь мода. Ежели у тебя глупое лицо, то напяль очки; а шрамы на лице прикрой швейцарской бородою! Зоб прикроет красивый воротник, галстук или брыжи, горб — просторный камзол или китель на французский, польский или кроатский манер; узкие бедра скроют широкие шаровары; тощие дряблые икры заменят подкладкой в чулках; когда одна нога короче другой, то тут пособит сапожник неравными каблуками. А что касается крошечных карликов, коих обычно прозывают запечеными тараканами, то я не знаю, для них иного средства, не считая высокой шляпы, как только заново их перелить, будто оконничный свинец, и затем расплющить и раскатать, что можно видеть на изображении моей мастерской.⁶ Принимая в рассу-ж-

дение, что подобное удлинение претерпевает холодный свинец губительного и неумолимого Сатурна, то отчего бы также не подвергнуть ему маленькое тело, содержащее *spiritus vitalis*.⁷ А что касается шлифования носов, то на сие никто не дивится и не досадует; а раз возможно сей дистиллятор мозга во мгновение ока отрубить напрочь безо всякого разумения, то разве нельзя немного отточить с разумом? И если возможно нарастить новый нос из чужого мяса, то отчего бы не отшлифовать по любому фасону свой собственный! *Valeat*, любезный мой пациент, подумай о своем начале и конце! и соблюдай или, скорее, воспитай в себе терпение, что советует тебе как ртуть изменчивый и все же верный вагант Симплициус Симплициссимус.

К О Н Е Ц

КОММЕНТАРИИ





ГАНС ЯКОБ КРИСТОФ ГРИММЕСГАУЗЕН И ЕГО РОМАН «СИМПЛИЦИССИМУС»

1. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА

«Симплициссимус» вышел в свет в 1669 г. в обстановке таинственности и мистификации. На фронтисписе изображено странное существо. Носатое, улыбающееся, умное лицо с выпяченным подбородком, с подозрительными рожками и длинными остроконечными ушами. Через плечо на голое тело с толстым животом надета тонкая шпага на перевязи. На крутых бедрах видны птичьи крылья, вероятно гусиные. Существо стоит на двух лапах, одна кончается раздвоенным копытом, другая — утиной перепонкой. Сзади толстый чешуйчатый рыбий хвост с плавниками. В руках большая книга с множеством изображений. Можно различить корону, шутовской колпак, папиру, игральные кости, замковую башню, корабль, спеленутого младенца, пушку на лафете и др. Эти изображения расположены на плоскости, как в букваре или народном календаре. Лапы странного существа попирают разбросанные театральные маски. На титульном листе означено, что это «Жизнеописание диковинного ваганта по имени Мельхиор Штернфельс фон Фуксхейм», а издано оно в свет неким Германом Шлейфхеймом фон Зульсфортом. Судя по титульному листу, книга была отпечатана в малоизвестном городе Монпельгарте неведомым издателем Иоганном Филлионом.¹

В том же году появилась *Continuatio*, или шестая книга «Симплициссимуса»,² где сообщалось, что это сочинение Самуэля Грейфензона фон

¹ Der Abentheurliche Simplicissimus Teutsch. Das ist: Die Beschreibung deß Lebens eines seltzamen Vaganten, genant Melchior Sternfels von Fuchshaim, wo und welcher gestalt Er nemlich in diese Welt kommen, was er darinn gesehen, gelernet, erfahren und außgestanden, auch warumb er solche wieder freywillig quittirt. Überauß lustig und männiglich nutzlich zu lesen. An Tag geben Von German Schleifheim von Sulsfort. Mompelgart. Gedruckt bey Johann Fillion. [1669], Kl. 12^o, 618 S. Экземпляр ГПБ. Шифр — 6.39.11.50. Сохранился гравированный фронтиспис.

² *Continuatio des abentheurlichen Simplicissimi, oder Der Schluß desselben.* Durch German Schleifheim von Sulsfort. Mompelgart. Bey Johann Fillion. [1669], Kl. 12^o,

Хиршфельда, который по неизвестным причинам поместил на титульном листе другое имя, для чего «переставил буквы» своего подлинного. Труд издается посмертно, хотя первые пять частей автор успел сдать в печать. Книгу он частично написал, когда еще был мушкетером. Заметка была подписана загадочными инициалами: «Н. I. C. V. G. P. zu Cernhein». Прочитав все это в послесловии, читатель, пожалуй, мог догадаться, что с ним ведут какую-то игру.

В 1670 г. появился роман «Симплицию-наперекор, или Пространное и диковинное жизнеописание прожженной обманщицы и побродяжки Кураже ... продиктованное прямо под перо автору, на сей раз назвавшемуся Филархом Гроссусом фон Тромменхеймом. Напечатано в Утопии у Феликса Стратиота».³ В том же году от имени того же автора был издан роман «Диковинный Шпрингинсфельд, сиречь исполненное балагурства, смехотворное и весьма потешное Жизнеописание некогда бодрого, испытанного и храброго солдата, ныне же изнуренного, дряхлого, однако же весьма продувного бродяги и нищего... Напечатано в Пафлагонии у Феликса Стратиота».⁴ Таким образом, указан один и тот же издатель, но место издания разное и притом, очевидно, вымышленное. Но вот в 1672 г. появляется первая часть романа «Чудесное птичье гнездо»,⁵ связанного по содержанию с предыдущими. Автором его назван уже Михаэль Рехулин фон Земсдорф. А когда (около 1673 г.) вышла последняя (вторая) часть того же романа, то сочинитель ее обозначен целой шеренгой букв, из

Не пагинировано. Число страниц — 163. Экземпляр ГПБ. В одном конволюте и под одним шифром с предшествующим изданием в пяти книгах. В том же конволюте помещено издание: *Des neueingerichten und vielverbesserten Abenteuerlichen Simplificissimi Fortsetzung und Schluß oder Sechstes Buch. Durch German Schleifheim von Sulsfort. Mompelgart. Bey Johann Fillion. 1669, Kl. 12°, 5 нум. + 610—722 S.*

³ Trutz Simplex: Oder Ausführliche und wunderseltzame Lebensbeschreibung Der Ertzbetrügerin und Landstörtzerin Courasche. Wie sie anfangs eine Rittmeisterin, hernach eine Hauptmännin, ferner eine Leutenantin, bald eine Marketenterin, Mußquetirerin und letztlich eine Ziegeunerin abgegeben. Meisterlich agiret, und ausbündig vorgestellt: Eben so lustig, annemlich und nützlich zu betrachten, als Simplificissimus selbst. Alles miteinander von der Courasche eigner Person dem weit und breitbekanten Simplificissimo zum Verdruß und Widerwillen, dem Autori in die Feder dictirt, der sich vor dißmal nennet Philarchus Grossus von Trommenheim auf Griffsborg. Gedruckt in Utopia bei Felix Stratiot. [Nürnberg, 1670], 264 S. Экземпляр ГПБ. Шифр — 6.39.11.51.

⁴ Der seltzame Springinsfeld, Das ist kurtzweilige, lusterweckende und recht lächerliche Lebens-Beschreibung eines weiland frischen, wohlversuchten und tapffern Soldaten, Nunmehr aber ausgemergelten, abgelebten, doch dabey recht verschlagenen, Landstörzers und Bettlers. Aus Anordnung des weit und breit bekanten Simplificissimi Verfasset und zu Papier gebracht Von Philarcho Grosso von Trommenheim. Gedruckt in Paphlagonia bei Felix Stratiot. Anno 1670.

⁵ Das Wunderliche Vogelnest. Der Springinsfeldischen Leierin. Voller abenteuerlichen, doch lehrreichen Geschichten, auf Simplificianische Art sehr nützlich und kurzweilich zu lesen ausgefertigt Durch Michael Rehulin von Sehmsdorff. Gedrückt in zu End laufenden 1672 Jahr.

которых предлагалось составить его имя.⁶ Автор словно не столько укрывался под маской, сколько указывал на возможность приоткрыть ее. И, по-видимому, для многих это не составляло особой тайны. Но он перемудрил, и, как только изменились исторические обстоятельства, ключ к загадке, который он совал в руки читателя, был потерян.

А между тем посыпался целый град книжек, уже ничем не связанных с содержанием названной выше серии романов, а просто прикрепленных к имени Симплициссимуса. В 1670 г. вышла забавная брошюрка «Первый лежебок», являющаяся переработкой народной легенды с добавлением «Карманной книжки фокусов Симплициссимуса»⁷ — серии гравюр с изображением веселящихся шутов, горожан, ландскнехтов, мифологических существ, изображениями палаточного города, оружия, медалей, карт и таинственных надписей. Гравюры, как нередко поступали лубочные издатели, были «заимствованы» из знаменитой серии «Новая карточная игра» Иоста Аммана,⁸ перетасованы и снабжены довольно нескладными стихами. Как явствует из подзаголовка, брошюрка предназначалась для «всех скоморохов, ярмарочных крикунов (торговцев), игроков, одним словом, для всех тех, кому нужда и польза на публичных рынках ловить удобный случай или увеселить собравшееся общество». Автор сам себя именует Невеждой и даже Идиотом.

В 1672 г. вышла не менее примечательная книга, полная причудливой выдумки и острой сатиры, — «Затейливого Симплициссимуса Мир навыворот», выпущенная неким Симоном Ленгфришем фон Хартенфельсом.⁹ А через год после нее появилось сочинение, полное суеверных рассказов и легенд о волшебном корешке «Альрауне» (мандрагоре), якобы вырастающем под виселицей, — «Симплициссимусовский висельный человек», изданный неким Израелем Фромшмидтом фон Гугенфельсом.¹⁰ А чуть раньше замысловатый трактат на социально-политические темы «Судейская Плутона, или Искусство стать богатым», где выступает Симплициссимус и вся его родня, собравшаяся на модном курорте, чтобы по-

⁶ Des wunderbarlichen Vogelneſt zweiter Teil. An Tag geben von Aceeffghhillmmnnoorrasstuu. S. 1, s. a.

⁷ Der erste Bärnhäuter, nicht ohne ſonderbare darunter verborgene lehrreiche Geheimnus... Samt Simplicissimi Gaukeltasche Von Illiterato Ignorantio, zugenannt Idiota. Gedruckt im Jahr 1670.

⁸ Künstliche und wolgerissene Figuren in new Kartenspiel, durch den Kunstreichen und weitberühten Jost Amman. Nürnberg, Anno 1588.

⁹ Des Abenteuerlichen Simplicissimi Verkehrte Welt... entworfen von Simon Lengfrisch von Hartenfels. Gedruckt im Jahr 1672.

¹⁰ Simplicissimi Galgen Männlin, oder Ausführlicher Bericht, woher man die sogenannte Allräungen oder Geldmännlin bekommt, und wie man ihrer warten und pflegen soll... Nachgehende mit nützlichen Anmerk- und Erinnerungen erläutert durch Israel Fromschmidt von Hugenfels. In Einer Harten Zeit So Das CeLd, wie EinIge LeIth CLagten. OhngLeICh Gethellt; DoCh ALLEN Ihr gebIhr Geben Hat [1673]. Экземпляр библиотеки университета им. Ив. Франко (Львов) (БАН, микрофильм).

толковать о том и о сем. Трактат, изложенный в театрализованной форме, не лишен едкой сатиры, пародирует распространенные в то время литературные светские беседы и игры. Издан он от имени Эриха Штайнфельса фон Груфенсхольма.¹¹

В 1673 г. некий сеньор Мессмаль выпустил серьезное рассуждение о чистоте немецкого языка под веселым названием «Всемирно прославленного Симплициссимуса Хвастовство и Похвальба своим Немецким Михелем, с дозволением всякому, кто только сможет, читать без смеху».¹² Местом издания названа страна, где изобретен печатный станок (Нюрнберг), а год издания нехитро засекречен с помощью выделения отдельных букв (как и в издании некоторых других книг с именем Симплициссимуса). И в том же году вышла анонимно книжечка — шуточный новогодний подарок — «Война бород, или Отбрех неправоназванной Красной бороды от всемирно прославленной Черной бороды Симплициссимуса», также обличавшая галломанию и воздающая хвалы рыжебородым.¹³

Мог ли один человек за короткое время выпустить такое множество больших романов и мелких сочинений со столь разнообразной тематикой? Набрал ли он себе такой ворох псевдонимов, или у автора «Симплициссимуса» нашлось множество подражателей, в том числе какой-то безвестный Ганс Якоб Кристоф фон Гриммельсгаузен, выпустивший наряду с двумя «галантными романами» — «Дитвальд и Амелинда» (1670)¹⁴ и «Проксимус и Лимпида» (1672),¹⁵ вызвавшими насмешки знатоков и ценителей этого жанра, также политический трактат-памфлет «Симплицианский двуглавый Ratio Status»?¹⁶ С какой стати пристроился он к имени

¹¹ Rathstübel Plutonis, oder Kunst reich zu werden... Von Erich Stainfels von Grufensholm. Gedruckt in Samarien. Im Jahr 1672.

¹² Deß Weltberuffenen Simplicissimi Pralerey und Gepräng mit seinem Teutschen Michel, Jedermänniglichen, wanns seyn kan ohne Lachen zu lesen erlaubt. Von Signeur Meßmahl. Gedruckt unter der Preß, in demjenigen Land, darinnen dasselbe lobwürdig Geschirr erstmals erfunden worden. Als seine LLebe Inwohner, neben anDern VöLCKern anflengen, Den J. ahren Vnsers HeLLs naCh, In gLeICher Zahl zV zähLen. Nürnberg, 1673.

¹³ Bart-Krieg, oder Des ohnrecht genanten Roht-Barts Wiederbellung gegen den weltberuffenen Schwartz-bart deß Simplicissimi... De dato 1673 Dem ersten Jenner S. N.

¹⁴ Dietwalts und Amelinden anmutige Lieb- und Leids Beschreibung... Zusammen gesucht und hervorgegeben von H. J. Christoffel von Grimmelshausen, Gelnhusano. Nürnberg, 1670 (ГБЛ).

¹⁵ Des Durchleuchtigen Printzen Proximi und seiner ohnvergleichen Lympidae Libs-Geschichte-Erzehlung ... an Tag gegeben von H. I. Christoffel von Grimmelshausen, Gelnhusano. Nürnberg, 1672.

¹⁶ Simplicianischer Zweyköpfiger Ratio Status, lustig entworffen Unter der Histori des waidlicher Königs Saul, des sanfftmutigen König Davids, des getreuen Printzen Jonathae und deß tapffern Generalissimi Joabi, von Hans Jacob Christoph von Grimmelshausen Gelnhusano, Nürnberg. Gedruckt und zu finden bey Wolf Eberhard Fellßeckern. Im Jahr Christi 1670, 82 S. Экземпляр БАН (гравюра не сохранилась). Шифр — 7916, q. 18903—18930 R.

героя простонародной книги? Да и не псевдоним ли и это новое имя? Никто на этот вопрос в то время ответить не мог. А ведь сам Симплициссимус называет себя в романе еще автором по крайней мере двух книг — «Сатирический Пильграм, или Белое и черное»¹⁷ и «Целомудренный Иосиф» (1667),¹⁸ за которым последовал небольшой роман о слуге Иосифа продувном Музаи.

Вопрос об авторе (или авторах) всех этих произведений был далеко не праздным. В те времена присваивали себе имена и произведения и весьма прославленных авторов. При жизни самого Сервантеса выходили подложные продолжения «Дон Кихота», появлялись мнимые переводы и бесконечные продолжения «Гусмана» Кеведо и «Филандера» Мошероша. Имя Симплициссимуса стало своего рода имуществом без хозяина.

Появляется несколько «Симплицианских» народных календарей, наполненных хозяйственными советами и астрологическими предсказаниями, забавными анекдотами о Симплициссимусе и даже целыми повестями, служащими продолжением романа, приложенными к более позднему его изданию (1671 г.).¹⁹ Как будто бы по крайней мере эти продолжения надо приписать одному автору. Ну, а как быть с выпускавшимся в Нюрнберге от имени Симплициссимуса «Большим астрологическим ежегодником», содержащим забавный «дискурс», в котором принимают участие Симплициссимус, шут Гонелла (персонаж из фавелл Поджо Браччолини), Гусман, некий Ян Перус и др.?²⁰ Вызывает недоумение и роман о Яне Перусе, вышедший в 1672 г. без указания места издания, но, по-видимому, во Франкфурте, названный «симплицианским».²¹ Новая

¹⁷ Satyrischer Pilgram. Das ist: Kalt und Warm, Weiß und Schwartz, Lob und Schand, über Guths und Böß, Tugend und Laster, auch Nutz und Schad, vieler Ständt und Ding der Sichtbarn und Unsichtbarn, der Zeitlichen und Ewigen Welt. Beydes lustig und nützlich zu lesen von Neuem zusammen getragen durch Samuel Greifnson von Hirschfeld. Daselbst druckts Hieronymus Grisenius, und im Leipzig Bey Georg Heinrich Frommannen, Buchhändlern zu finden. Anno 1667, 254 S. Anderer Theil, Leipzig (1667, 153 S.). Экземпляр ГПБ. Шифр — 6.39.11.52.

¹⁸ Des Vortrefflich Keuschen Josephs in Egypten, Erbauliche, recht ausführliche und vielvermehrte Lebensbeschreibung... Nunmehr aber... samt des unvergleichlichen Josephs Getreuen Schaffners Musai Lebens-Lauff... Nürnberg. Gedruckt im Jahr Christi 1670.

¹⁹ Des Abenteuerlichen Simplicissimi Ewig-währender Calender. Nürnberg, 1670 Bey Wolf Eberhard Felßcker (БАН). С предисловием от имени Симплициссимуса, не подписанным Melchior Sternfels von Fugshaim; Europaischen Wundergeschichten-Calender Mitgeteilt von Simplicio Simplicissimo. Nürnberg, 1670—1675; H. S. Chr. von Grimmeshausen. Ewig-währender Kalender nebst Stücken aus dem Jährlichen Wunder-Geschichtskalender. Herausgegeben durch Engelbert Hegauer [W. S. Oeftering]. München, 1925

²⁰ Großes Astrologisches Jahrbuch über den Wunder-Geschichten-Calender... von Simplicio Simplicissimo... Nürnberg, 1773, 1775.

²¹ Simplicianischer Jan Perus. Worinnen enthalten dessen Geburt- und Herkommen Kurtzweiliger Lebens-Lauff, unterschiedliche Verheyratungen, Renke, Schwenke, Elend Reise, Gefängnuß, Verurtheilt und Bekehrung. S. l., 1672 (2. Aufl., Franckfurt a. M. 1696).

цепочка романов, то занимательных, то водянистых историй о приключениях разных бродяг, отставных солдат, шутов и проходильцев, наполненных то описаниями военных действий, то шутовских проделок, как например «Симплицианский Таращи-глаз-на-весь-мир, или Похождения Яна Ребху в четырех частях» (1677—1679),²² «Предиковинное жизнеописание французского вояки Симплициссимуса» (1682), вдобавок выпущенный издателем Филлионом, чье имя стоит на первых изданиях «Симплициссимуса»,²³ «Венгерский или Дацианский Симплициссимус» (1683)²⁴ и, наконец, «Весьма потешный и затейливый Малькольмо фон Либандус... Для редкостного увеселения сочинен Симплицием Симплициссимусом» (1686).²⁵

В 1683—1684 гг. нюрнбергский издатель Иоганн Ионатан Фельсекер выпустил собрание симплицианских сочинений в трех томах с обильными комментариями неизвестного автора. Предисловие к первому тому возвещало: «Высокочитимому читателю да будет угодно ведать, что сей восставший из могилы забвения Немецкий Симплициссимус весьма улучшен, приумножен и украшен дополнением превосходных примечаний и благозвучных стихов, а равно многими важнейшими отдохновительными и поучительными вещами, чем когда-либо ранее». Слова о «могиле забвения» следует считать издательской уловкой, рассчитанной на то, что о «Симплициссимусе» еще хорошо помнили, но достать его было уже трудно. Иначе не вышли бы вскоре еще два собрания сочинений, выпущенных наследниками И. Фельсекера в 1685—1699 гг. и 1713 г. В издание Фельсекеров включены стихотворные обращения к читателю и пояснения гравюрованных титульных листов. Двустихия, излагающие содержание глав, проведены через все издание.²⁶ В конце романа «Шпрингинсфельд» и «Чу-

²² Der Simplicianischen Welt-Kuckers, oder Abentheuerlichen Jan Rebhu... S. I., 1679. Экземпляр ГПБ. Шифр — 6.44.12.66. Отдельные части этого произведения выходили под различными заглавиями. Автор книги — Иоганн Беер (1655—1700), придворный музыкант герцога Вейсенфельса. См.: R. Al e w u n. Johann Beer. Leipzig, 1932.

²³ Deß Frantzosischen Kriegs-Simplicissimi Hochverwunderlicher Lebens-Lauff... Druckts und Verlegts J. J. Fillion. Freyburg, 1682 (2. Aufl., Freyburg, 1683) экземпляр ГПБ. Шифр — 6.36.6.36.

²⁴ Ungarischer oder Dacianischer Simplicissimus. Vorstellend seinen wunderlichen Lebens-Lauff und sonderliche Begebenheiten gethaner Raisen. S. I., 1683 (2. Aufl., 1686). Экземпляр первого издания в ГПБ. Шифр — 6.45.8.61. Автором романа был Даниель Шпеер (1636—1707), органист и музыкальный писатель. О нем см.: Н. J. M o s e r. Der Musiker Daniel Speer als Barockdichter. Euphorion, Bd. 34, 1933. Шпееру, по-видимому, также принадлежит книга «Simplicianischer Lustig-Politischer Haspel Hannß». S. I. [1684] (2. Aufl., Ulm, 1684).

²⁵ Der überaus Kurtzweilige und Abentheuerliche Malcolmo von Liebandus... Zu sonderbarer Belustigung vorgetragen von Simplicio Simplicissimo. S. I., 1686. Экземпляр ГПБ. Шифр — 6.36.9.28.

²⁶ Deß Aus dem Grab der Vergessenheit wieder erstandenen Simplicissimi... Lebens-Wandel... 3. Th. Nürnberg, 1683—1684. Мы пользовались экземплярами издания Фельсекера

десное птичье гнездо» также помещены морализирующие стихи, отсутствующие в первых изданиях. Попали в него и некоторые малоизвестные сочинения, сопряженные с именем Симплициссимуса, относительно которых долгое время нельзя было сказать с полной определенностью, кому же они все-таки принадлежат.

Все произведения, вошедшие в это издание, были напечатаны под теми же псевдонимами, под которыми они появились в свое время. Биография автора, сообщенная Комментатором, как мы еще увидим, оказалась сбивчивой и иллюзорной. Можно смело сказать, что к концу века память о нем стерлась. Осталось только имя героя.

«Симплициссимуса» читали в различных кругах немецкого общества. В апреле 1688 г. Лейбниц писал герцогине Софии Шарлотте Ганноверской, что в Мюнхене в соборе ему довелось слышать, как иезуитский проповедник вставил в проповедь «смеха ради» «пасхальную сказочку» из «Симплициссимуса», произведения в духе «Франсиона» (Сореля). Лейбниц напрасно пояснял своей корреспондентке, что такое «Симплициссимус». Герцогиня хорошо знала этот роман и 5 июля 1670 г. писала о нем своему брату. Читала она и «Кураже». ²⁷ Наибольшим успехом «Симплициссимус» пользовался в бюргерской и грамотной простонародной среде. Раннее немецкое просвещение ослабило интерес к этому роману. Век разума не мог оценить апофеоза «дурачества». «Неправдоподобные», причудливые картины, вроде полета ведьм на шабаш, натуралистические сцены, старомодная ученость, запутанные книжные периоды, пересыпанные простонародными словечками — все это казалось «грубым» и «нелепым» читателям, приобщавшимся к литературе по готшедовским прописям и ценившим прежде всего простоту и ясность стиля. Но даже в кругах, близких к Готшеду, «Симплициссимус» привлекал к себе внимание. В 1734 г. Фредерика Каролина Нейбер, борющаяся за реформу немецкого театра вместе с Готшедом, преподнесла основанному им «Немецкому обществу» первый том фельсекеровского издания в качестве новогоднего подарка «от немецкой комедиантки». ²⁸

В 1751 г. «Всеобщий лексикон ученых» Йохера сообщал под рубрикой «Симплициус», что это «фальшивое имя одного сатирика, под коим в 1669 г. вышел „Затейливый Симпл. Симплициссимус“, переложенный на немецкий Германом Шлейфхеймом; 1670 г. „Вечный календарь“, „Висель-

из библиотеки университета им. Ив. Франко во Львове (т. I, 1713; т. II, 1713; т. III, 1699) и экземплярами ГБЛ (т. I, 1684; т. II, 1683).

²⁷ G. W. Leibniz. Sämtliche Schriften und Briefe. 1. Reihe. Bd. V. Berlin, 1954, № 43; Briefwechsel der Herzogin Sophie von Hannover mit ihrem Bruder dem Kurfürsten Karl Ludwig von der Pfalz. Publicationen aus den preußischen Staatsarchiven, Bd. 26, Leipzig, 1885, №№ 161, 163.

²⁸ J. Scholte. Grimmelshausens Popularität. Festschrift anlässlich der Grimmelshausentage vom 17. bis 20. August 1951, Renchen, 1951, SS. 43—44.

ный человек“, к которому написал примечания Израель Фромшмидт или Иог. Людв. Гартманн; „Мир навыворот“; 1671 г. „Сатирический Пильграм“; 1679 г. „Тараши из глаз на весь мир“ в 4°; и в 1681 г. немецкий перевод Франциска из Клаустро „Bestia Civitatus“». ²⁹ Сведения эти фантастичны. Автору «Симплициссимуса» приписаны книги, к которым он не причастен, и упущены важнейшие, являющиеся его продолжением: «Курраже» и «Шпрингинсфельд». Израель Фромшмидт отождествлен с малоизвестным писателем Иоганном Людвигом Гартманном (1640—1684). Составитель заметки, по-видимому, не видал ни одного экземпляра «Симплициссимуса», ибо опустил фамилию «Зульсфорт», выставленную на всех изданиях этой книги, и не знал, что она была раскрыта как псевдоним Самуеля Грейфензона фон Хиршфельда. «Симплициссимусом» заинтересовался Лессинг и даже собирался переработать его для нового издания. Он стал составлять заметку о его авторе для «Дополнений» к словарю Йохера, где она и была помещена Аделунгом в незаконченном виде: «Грейфензон (Самуель) из Хиршфельда жил в прошлом столетии и в молодости был мушкетером. Более о нем ничего неизвестно, хотя он написал различные произведения, а именно: „Симплициссимус“ — любимый в его время роман, который он поначалу издал под подставным именем Германн Шлейфхейм фон Зельсфорт (Selsfort) и который в 1684 г. был снова издан в Нюрнберге в двух частях в 8-ю долю листа вместе с другими чужими произведениями. „Целомудренный Иосиф“ ... также в двух частях нюрнбергского издания предшествующего. „Сатирический Пильграм ... (Из рукописного наследия Лессинга)“». ³⁰

В 1798 г. Фридрих Бланкенбург в «Литературных дополнениях к Всеобщей теории изящных искусств Иоганна Георга Зульцера», перечислив известные ему сочинения Самуеля Грейфензона фон Хиршфельда, замечает, что до сих пор «подлинное имя сочинителя неизвестно». ³¹ Это замечание осталось без последствий.

После появления романа Дефо началось увлечение «робинзонадами». Математик и поэт Абрагам Кестнер (1719—1800) обратил внимание на то, что еще задолго до Александра Селькирка, чья история дала толчок для написания «Робинзона Крузо», жизнь человека на необитаемом острове описал «один немец», хотя и приукрасил свой рассказ «диковинными вещами», в которые еще верили в 1669 г. или по крайней мере еще охотно читали. ³²

²⁹ J ö c h e r. Allgemeines Gelehrten Lexikon. IV Th. Leipzig, 1751, Sp. 614.

³⁰ Fortsetzung und Ergänzungen zu Christian Gottlieb Jöchers Allgemeinen Gelehrten Lexico von Johann Christoph Adelung. Leipzig, 1787, Sp. 1603.

³¹ F. v o n B l a n k e n b u r g. Litterarische Zusätze zu Johann George Sulzers Allgemeiner Theorie der Schönen Künste. Bd. III. Leipzig, 1798, SS. 76—77.

³² A. G. K ä s t n e r. Ob Robinson Crusae auch Robinson I ist? В кн.: A. G. K ä s t n e r. Vermischte Schriften. II Th. Altenburg, 1772, SS. 162—165.

Интерес к «Симплициссимусу» во второй половине XVIII в. не угасал, но читали его преимущественно в народных низах. Родившийся в 1778 г. Клеменс Брентано в посвящении к «Сказке о Гокеле и Хинкеле» рассказывает о старом чудаковатом слуге их дома, большом любителе чтения. У него были «Азиатская Баниза» (Циглер), «Симплициссимус», «Остров Фельзенбург» (Шнабель), Робинзон, морские разбойники, «Картуш» и другие увлекательные книги, способные разжечь необузданную фантазию.

В 1756 г. появилась книга «Перемена Счастья и Несчастья во время войны, или Диковинные происшествия в жизни господина Мельхиора Штернфельса фон Фуксхейма, прирожденного дворянина, который спервоначалу был воспитан в глухом лесу крестьянином, а после того отшельником, бывшим, хотя и неизвестным образом, его собственным отцом ... и т. д.».³³ Это пересказ первых пяти книг «Симплициссимуса», причем опущена не только затруднительная ученость, но и крупные эпизоды романа, а также все стихи. Форма повествования от первого лица сохранена. Книга была отпечатана крупным шрифтом на дешевой бумаге и явно предназначалась для невзыскательного читателя. Автор этой переработки не установлен.

Иной характер несла переработка Христиана Якоба Вагензейля (1756—1839), поместившего несколько отрывков из «Симплициссимуса» в «Библиотеке романов» Рейхарда (в 1779 г.),³⁴ а в 1785 г. издавшего роман отдельной книгой на тонкой бумаге с изящной гравюрой.³⁵ В «Преуведомлении» Вагензейль ссылается на «совет и одобрение» Лессинга, что должно побудить читателя снисходительней относиться к его труду. Сам Вагензейль был им вполне удовлетворен. «Тот, кто захочет потрудиться и сравнить этот старый роман с моим новым, скоро на каждой странице с легкостью заметит, что я в этом повествовании многое сократил, многое добавил, многое, надеюсь, безусловно улучшил и вообще сделал более

³³ Der Wechsel des Glücks und Unglücks im Krieg, oder Wunderbahre Begebenheiten Herrn Melchior Sternfels von Fuchsheim, Eines gebohrnen Edelmanns: Welcher in einem einsamen Wald, anfangs von einem Bauern, nachgehends von einem Einsiedler, der, wiewol unbekannter Weise, sein eigener Vater gewesen, ist erzogen worden, sich durchgehends im Krieg durch seine tapfern Thaten besonders hervorgethan und viel Unglücksfälle überstanden, endlich aber, als ein Einsiedler sein Leben beschlossen hat. Franckfurt a. M. und Leipzig, 1756, Oct., XIV + 417 S. Экземпляр библиотеки университета в Марбурге. В своей работе, вышедшей в Бонне, Гизелла Хербст не только указывает, что «титальный лист этой книги неизвестен» (он описан еще А. Келлером!), но и приписывает издание 1756 г. Христиану Вагензейлю, что совершенно невероятно, так как он только родился в этом году (Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 40). См.: G. Herbst. Die Entwicklung des Grimmelshausenbildes in der Wissenschaftlichen Literatur. Bonn, 1957, SS. 36, 147.

³⁴ Reichards Bibliothek der Romane, Bd. 4. 1779, SS. 127—140. Указано в кн.: B. Salditt. Das Werden des Grimmelshausenbildes in 19. und 20. Jahrhundert. Chicago, 1933, S. 3 (ГБЛ).

³⁵ Der Abentheuerliche Simplicissimus. Auch Melchior Sternfels von Fuchsheim. Neu bearbeitet. Leipzig, 1785, in 8°, 180 S. (БАН, микрофильм).

приятным для чтения». По справедливому замечанию Барбары Зальдит, на обработке Вагензейля сказались «общая позиция снисходительного превосходства, исполненного собственного достоинства XVIII в. по отношению к попавшему в дурную славу XVII». ³⁶ В пересказе Вагензейля все подчинено новому «просвещенному вкусу». Повествование ведется от третьего лица приглашенным, нейтрализованным языком. Опущены не только ученые рассуждения и аллегорические картины, но и места, показавшиеся неуместными: описание усадьбы батьки, эпизод с кражей сала у священника, сцены с Юпитером и др. Книга открывается рассуждением автора о «тяготах и утеснениях» Тридцатилетней войны, что должно объяснить и отчасти извинить поведение героя, получившего воспитание у крестьянина: «Один из мудрейших людей признался, что его величайшая мудрость заключается в том, что он познал, что ничего не знает, но нашему Симплиссимусу даже не приходило в голову, что можно что-то знать. Добро и Зло было в его глазах одно и то же, и у него было столько же понятия об их различии, как у слепорожденного о системе смешения цветов, а у глухого о гармонии тонов». Встреча мальчика с отшельником выглядит следующим образом: только Симплиций «собрался улечься спать, когда его внимание привлек молящийся голос совсем неподалеку. Голод побудил мальчика пойти на голос, и он увидел перед собою мужчину, благородные черты лица коего вселили ему доверие. Почтенные серебристые седины покрывали темя старца. Он был облачен в длинное коричневое платье со множеством складок, поддерживаемое поясом, а поверх были надеты четки. В правой руке держал он распятие, которое с ревностною горячностью прикладывал к губам и груди. Оба, Симплиссимус и отшельник, сперва смутились и не знали, как им поступить. Однако человечность никогда не может совсем заглушить свой голос, даже если она укрылась бегством в темнейшие леса. Отшельник заговорил с заблудившимся столь дружественно, что тот вскоре обрел присутствие духа и доверие к нему». Для довершения облика отшельника были приведены стихи, заимствованные из «Оберона» Виланда:

In seinem Ansehn war die angeborne Würde
 Die unverhüllbar, auch durch eine Kutte scheint;
 Sein offner Blick war aller Wesen Freund
 Und schien gewohnt, wiewol der Jahre Bürde
 Den Nacken sanft gekrümmt stets himmelswärts zu schau.

(SS.19—20).³⁷

³⁶ B. Salditt. Das Werden des Grimmelshausenbildes. . ., S. 3.

³⁷ Перевод: «В его облике было прирожденное достоинство, которое неприкрыто просвечивало и через рясу; его открытый взор был дружествен всякому существу и, казалось, привык, хотя бремя лет и слегка наклонило его выю, непрестанно обращаться к небу».

Вагензейль даже упомянул последнюю литературную новинку — сочинение И. Г. Циммермана «Об уединении», вышедшее в 1784 г. В отличие от издателей 1683—1713 гг., лишь сопровождавших комментариями основной текст, Вагензейль ввел дополнения прямо в роман. Рецензент «Всеобщей немецкой библиотеки» нашел, что в новом виде роман и впрямь выиграл и стал гораздо приятнее.³⁸ Но рецензент «Всеобщей литературной газеты» решительно высказался против произвола по отношению к тексту, включения стихов Виланда и парафраз из «Музариона», что порождает убогодный «смешанный стиль». Рецензент издевается над гравюрой, приложенной к книге, где юный Симплициус изображен в модном фраке и высоких ботфортах: «Жаль, что не выпущены также две цепочки от часов».³⁹ А в заключение высказывает ядовитое пожелание, чтобы еще через 116 лет (а ровно столько уже протекло со времени первого издания «Симплициссимуса»), т. е. в 1901 г., если кто-нибудь вздумает обработать собственные сочинения Вагензейля, то они попали бы в лучшие руки! Рецензент допускает некоторую обработку и «удаление ржавчины и грязи» со старинного памятника, но чтобы это не задевало «дух автора».

В 1790 г. появляется «столь в прошлом столетии прославленный на весь мир Симплиций-Простак, в новом платье покроя 1790 года. Новое издание, переработанное по вышедшему в 1685 году оригиналу в шести книгах».⁴⁰ Автор переработки также ссылается на Лессинга и не отказывается от мысли сделать роман «более приятным», и поэтому некоторые «притянутые издали политические и моралистические рассуждения» либо сокращены, либо опущены «наряду с бесполезными образцами его начитанности». Орфография была обновлена, а некоторые стихи заменены другими, в том числе и «Песня» отшельника (I, гл. 7). Четверостишие в аллегорическом «сне» (I, гл. 16) разросло до двадцати строк. На сей раз рецензент «Всеобщей литературной газеты» даже отметил, что внесенные изменения вовсе не столь предосудительны, как это можно было заключить по заглавию,⁴¹ тогда как критик «Всеобщей немецкой библиотеки» заметил, что «многое опущено без нужды», как например стихи в третьей главе первой книги, но оставлены «грязные места», которые

³⁸ Allgemeine deutsche Bibliothek, Bd. 76, 1787, SS. 441—442.

³⁹ Allgemeine Literatur-Zeitung, № 230, 25. September 1787 (ГПБ). Рецензент указывает, что издание в трех томах (1713 г.) «еще можно кое-где достать в книжных лавках за 1 рейхсталер 12 грошей». Согласно каталогу Йорденса, издание Вагензейля 1785 г. продавалось за 12 грошей.

⁴⁰ Der im vorigen Jahrhundert so weltberufene Simplicius v. Einfaltspinsel, in einem neuen Kleide nach den Schnitt des Jahres 1790. Neue nach dem 1685 aufgelegten Original umgearbeitete Auflage in 6 Büchern. Franckfurt a. M. und Leipzig, 1790, 8°, 4 + 876 S. Экземпляр университетской библиотеки Галле (Заале).

⁴¹ Allgemeine Literatur-Zeitung, 1795, № 27, S. 215.

могли быть удалены путем легких вычерков.⁴² Оба рецензента отметили, что, судя по языку, автор должен быть родом из Австрии.

Не забыв о «Симплициссимусе», XVIII в. почти ничего не сделал для его изучения. На рубеже нового века книга продолжала оставаться занимательным романом, не лишенным исторического значения, даже более «дельным и приятным», чем «Жиль Блаз» Лесажа, как отозвался о «Симплициссимусе» Гёте, прочитавший его в декабре 1809 г.⁴³

2. «СИМПЛИЦИССИМУС» И НЕМЕЦКИЕ РОМАНТИКИ

Утвердилось мнение, что «Симплициссимус» был воскрешен немецкими романтиками, пробудившими к нему интерес после мертвой спячки в период Просвещения.⁴⁴ Мнение это верно лишь отчасти.

Преодоление узкого рационализма Готшеда, обращение Гердера к истории и фольклору, переоценка эстетических ценностей и возрождение на немецкой почве Шекспира — все это не могло не вызвать нового отношения к «Симплициссимусу», Романтиков волновало средневековое, которое они идеализировали. Их привлекал к себе и трагический XVII век — век европейского кризиса, религиозных войн, бедствий и потрясений. В письме к Brentano Людвиг Тик перечислял писателей XVII в., привлечших его внимание: «Пауль Флеминг, Опитц, Лээнштейн, Логау, Андреас Грифиус и его сын Иоганн, Андреас Черинг».⁴⁵ «Симплициссимус» стал известен ему еще раньше. В 1796 г. в альманахе Николаи «Straußfedern» Тик поместил новеллу «Дневник». Юноша, который ведет эти записи, с восторгом отзывается о «Симплициссимусе», где «весьма наглядно изображена целая жизнь», и переписывает в «Дневник» эпизод с Юпитером, оборвав его в конце пятой главы. В 1799 г. Тик включил в первое издание пьесы «Принц Цербино» песню отшельника из «Симплициссимуса», так как задумал переиздать этот роман и «хотел предпослать ему как пробу это стихотворение».⁴⁶ Впоследствии он его не перепечатывал,⁴⁷ так как в 1806 г. Арним и Brentano включили его в свою антологию «Чудесный рог мальчика», а Brentano привел эту песню еще и в своей «Сказке о школьном учителе Клопфштоке и его пяти сыновьях» (1814). Включив

⁴² Allgemeine deutsche Bibliothek, Bd. 111, 1792, SS. 130—133.

⁴³ F. W. R i e m e r. Mitteilungen über Goethe. Leipzig, 1921, S. 314.

⁴⁴ H. R a u s s e. Grimmelshausen und die Romantik. Wissenschaftliche Beilage zur «Germania», 1910, S. 191; H. S t e u d e. Die Wiederentdeckung Grimmelshausens durch die Romantik und ihre deutsche Bedeutung. Würzburg, 1939; J. H. S c h o l t e. Die Romantik und Grimmelshausen. Germanisch-Romanische Monatsschrift, N. F., Bd. III, 1953, H. 3, SS. 190—200.

⁴⁵ L. T i e c k. Deutsches Theater. Bd. I. Berlin, 1817, S. III.

⁴⁶ L. T i e c k. Prinz Zerbiно, oder die Reise nach dem guten Geschmack. Gewissenmaßen eine Fortsetzung des Gestiefelten Katers. Leipzig und Jena, 1799.

⁴⁷ См. об этом: L. T i e c k. Sämtliche Werke. Bd. II. Paris, 1837, S. XV.

в «Дневник» эпизод с Юпитером, Тик перенес его в совершенно другую интеллектуальную и художественную атмосферу. Эстетизм и утонченный индивидуализм романтического юноши, который предается ироническим самонаблюдениям и по собственному признанию «играет комедию с самим собой», не имеют ничего общего с раздумьями Симплициссимуса о себе и окружающем его мире. Выписки из «Симплициссимуса» и «Филандера» Мошероша воспринимаются на фоне журналистики в период наполеоновских войн и приобретают публицистическое звучание. Переписав эпизод с Юпитером, автор «Дневника», за которым скрывается сам Тик, говорит, что «тут больше сатиры, нежели это замечает большая часть людей, да и во всей книге больше поэзии и куда лучше стиль, нежели можно было тому поверить. Это место и к нам еще не неприменимо, и подлинный вечный мир может быть доставлен нам только подобным героем. Я всегда вспоминаю этого Юпитера, когда слышу и читаю разнообразные проекты, коими должно быть осчастливлено человечество. Однако теперь никто не читает эту старую забытую книгу, а одни только новые политические газеты».⁴⁸

В 1809 г. Людвиг Хакен (1767—1835) выпустил анонимно курьезную брошюру «Герой девятнадцатого столетия. Апокалипсис семнадцатого, или Исполнившееся предсказание нашего времени».⁴⁹ Автор высмеивает склонность к политическим предсказаниям и пророчествам, основанным на чтении Апокалипсиса и других древних книг, ибо они лишены какой-нибудь определенности, так что из них можно вычитать «все и ничего, с одинаковым успехом отнести к французской революции и тысячелетнему царству в новом Иерусалиме, к появлению Антихриста и ... недавнему падежу скота и кур». Другое дело «Симплициссимус», где события начала XIX в. предвещаются безумцем и тем самым «поясняют нам, что мир, в котором могут происходить подобные вещи», также «созрел для сумасшедшего дома». Хакен приводит в своей переделке, «согласно требованиям современного вкуса», эпизод с Юпитером и комментирует его в свете современных событий, вплоть до мельчайших, вроде упоминания о подаренных Александром I Наполеону ваз и колонн из сибирского малахита (со ссылкой на «Vossische Zeitung», 1808, № 108). В качестве «немецкого героя», описанного Юпитером, выступает Наполеон Бонапарт, что на первый взгляд странно, но, как уверяет сочинитель, все дело в «чистом

⁴⁸ L. Tieck's Schriften. Bd. XV. Berlin, 1829, S. 293.

⁴⁹ Der Held des neunzehnten Jahrhunderts. Eine Apokalypse des siebzehnten, oder die erfüllteste Weissagung neuerer Zeiten. Kommentirt und erläutert. Bey Wilhelm Heinrichshofen. Magdeburg, 1809, 88 S. На экземпляре из библиотеки братьев Гримм (в настоящее время в университетской библиотеке в Марбурге) помечено: «От составителя серой папки», т. е. Хакена, издавшего под этим псевдонимом сборник рассказов и очерков «Die graue Mappe» (Bd. LIV, Berlin, 1790—1793). См.: Der Abentheuerliche Simplicissimus Teutsch. Bibliothek der Abentheurer in zweckmäßigen Auszügen. Vom Verfasser der «Grauen Mappe». Bd. I. Magdeburg, 1810.

патриотизме» автора «Симплициссимуса», не сумевшего «подняться до высот космополитизма» и оказавшегося «слепым орудием в руках суфлирующего ему демона». В 1810 г. Хакен издал свой пересказ «Симплициссимуса».

Романтиков коробило от натуралистических сцен «Симплициссимуса» и «Филандера». В «Дневнике» Тик говорит о Мошероше: «Его время, Тридцатилетней войны, воспитало его, и все писатели той эпохи несут на себе отпечаток терпкой грубости, которая особенно великолепна в их языке», но у него нет и в помине «грациозной правды» и «парящей поэзии». ⁵⁰ В представлении романтиков действительность является в искусстве грациозно и поэтично. И это требование вступало в свои права, как только они обращались к «Симплициссимусу». В 1809 г. Арним издал сборник «Зимний сад», где поместил повесть «Филандер среди бродячих солдат и цыган во время Тридцатилетней войны», скомпанованную на основании главы «Солдатская жизнь» в книге «Филандер» Мошероша. Решив воссоздать живую картину эпохи, Арним вплепел в повесть рассказ Шпрингинсфельда о проделках над ним Кураже. Только героем выступает теперь уже Филандер. Некоторые мотивы из «Симплициссимуса» попали в роман Эйхендорфа «Предчувствие и действительность» (1812), а также обработаны в его новелле «Авантюристы» (1841). «Симплицианские романы властвуют над всей средой „Авантюристов“, — писал К. Вейхбергер. — Кларинет — переряженный ландскнехт, выдававший себя за странствующего музыканта, — это сам Симплициссимус, безрассудная Зинка соответствует Кураже, да и действие происходит во время Тридцатилетней войны». ⁵¹ Но как раз эта новелла может служить примером поверхностного усвоения симплицианских мотивов. Картины студенческой жизни в Галле анахронистичны. Оба главных героя скорее варианты персонажей из повести Эйхендорфа «Из жизни одного шалопа», чем ландскнехт и маркитантка времен Тридцатилетней войны. Тяжелая борьба в труднейшей ситуации, порожденной суровой действительностью, подменяется беззаботным скольжением по воле случая. Вся обстановка далека от «Симплициссимуса». Горький смех подменен легкой иронией. Все залито лунным светом и исполнено неопределенной мечтательности.

Романтики наделяли симплицианских героев своими чувствами, томлениями и порывами, превращая их в условные персонажи, отвлеченные от своего времени. Заслугой романтиков было то, что они обратили внимание на мелкие симплицианские сочинения, заимствуя из них сказочные и легендарные мотивы, которые изобретательно и разнообразно перерабатывали в своих сочинениях. Особенно полюбили им две народные книжки:

⁵⁰ L. Tieck's Schriften. Bd. XV, S. 305.

⁵¹ K. Weichberger. Incognito, ein Puppenspiel von J. v. Eichendorff. Oppeln, 1901, S. 82.

«Первый лежебок» (1670) и «Симплиссимусовский Висельный человек» (1673).⁵² В 1808 г. в издававшейся Арнимом и Гёрресом «Газете для отшельников» Брентано напечатал повесть «История и происхождение первой Медвежьей шкуры, в коей изложено народное сказание, снятое с бумажного календарного неба и сладостной толстой Гусиной лапки, согласно рассказу старой няньки, записанному Херцбрудером». ⁵³ Брентано дополнил сказку множеством забавных деталей, ввел злободневную сатиру на противника романтизма издателя Котта, выступающего в роли мецената, опустившегося ландскнехта «Медвежьей шкуры». Обогащение оказалось мнимым. Сказка порывала с народной традицией. Словно старинную ксилографию с ее резкими и прямыми линиями перерисовал иронический рисовальщик, лишенный внутренней глубины и силы. К истории «Медвежьей шкуры» (дословно «облаченного в медвежью шкуру») — лентя и лежебоки — обращались и другие романтики. В 1811 г. Юстинус Кернер пишет комедию для театра теней «Медвежья шкура в Зальцбаде», где зло и метко высмеивает рационализм, ставший к тому времени старомодным.⁵⁴

В 1812 г. Арним в повести «Изабелла из Египта» превращает симплиссимусовского ландскнехта в услужливого, добродушного и плутоватого странствующего мертвеца, который, возвращаясь в могилу, озобоченно пересчитывает полученные днем чаевые. В повести использован и мотив «висельного человечка», получивший новую трактовку. Вместо злого корешка, обладающего демонической силой, от которой и предостерегал симплицианский трактат, появляется выпестованный доброй цыганкой кобольд, наделенный смешными недостатками и слабостями, кичливый и ревнивый, но в сущности еще безобидный предтеча «Крошки Цахеса» Э. Т. А. Гофмана. Повесть Арнима — самая удачная и художественно-цельная вещь из всех произведений немецких романтиков на симплицианские мотивы. Но как далека и чужда она подлинному миру Симплиссимуса! В 1804 г. Тик разработал мотив «висельного человечка» в новелле «Руененберг», нагнетая мрачно-демонические картины и подчеркивая душевное смятение героя, что уводило от простодушной и наивной серьезности народной легенды. Этот мотив использован Брентано в драме «Основание Праги» (1814). Написанная со всей легкостью банального романтизма фантастическая повесть Фуке «Висельный человек» (1810) изобиловала театральными эффектами. В 1817 г. ее переделал в феерию для

⁵² B. R i s t o w. Grimmelhshausen Studien. Diss. Berlin, 1952, SS. 76—89 (Maschinenschrift).

⁵³ Geschichte und Ursprung des ersten Bärnhäuters. Worin die Volksage vom papiernem Calender-Himmel und vom Süßen breiten Gansefuß, nach Erzählung einer alten Kinderfrau aufgeschrieben von Herzbruder. Zeitung für Einsiedler, 1808, №№ 22—25, SS. 168—199. Под псевдонимом «Херцбрудер», заимствованным из «Симплиссимуса», Брентано печатал мелкие, чаще всего юмористические произведения.

⁵⁴ Опубликовано Николаем Ленау (Frühlingsalmanach, Stuttgart, 1835, SS. 191—266).

венской сцены Фердинанд Розенау («Вицлипуцли»). Фуке контаминировал мотивы симплицианских книг. В его повести фигурирует не классический альраун, а «spiritus familiaris», которым завладела Кураже. В 1827 г. Фуке написал об альрауне еще повесть «Мандрагора».⁵⁵

Немецкие романтики не подошли вплотную к «Симплициссимусу», довольствуясь лишь отдельными мотивами, близкими их мироощущению. Прошедшие интеллектуальную муштру эпохи Просвещения, пропитанные философией Канта, Фихте и Шеллинга, обладавшие высокой литературной культурой, немецкие романтики при всем своем культе «непосредственности» остались чужды простонародной сущности «Симплициссимуса», хотя и восхищались им.

Интерес романтиков к «Симплициссимусу» способствовал его изучению. На него обратили внимание братья Гримм. 3 октября 1809 г. Вильгельм Гримм написал Якобу, что приобрел экземпляр романа, а вскоре и Якоб сообщил, что «Симплициссимус» вышел в новой переработке, «вероятно скверной». В декабре того же года В. Гримм посетил в Веймаре Гёте, когда тот «как раз читал Симплициссимуса». Отзыв Гёте о нем В. Гримм обещал пересказать изустно, и он до нас не дошел. В следующем году В. Гримм в рецензии на роман Арнима «Графиня Долорес» не только попутно отметил «великую жизненность» «Симплициссимуса», но и поставил его в один ряд с «Вильгельмом Meisterом» и сочинениями Жан Поля.⁵⁶ В предисловии к «Ирландским сказкам об эльфах» В. Гримм указал на сходство отдельных мотивов «Симплициссимуса» с народными сказаниями (эпизод с Муммельзее).⁵⁷ Другие мотивы симплицианских сочинений рассматриваются и в «Немецкой мифологии», «Немецких сказаниях» и других работах братьев Гримм.

Многое, что вызывало раньше порицание, стало предметом похвалы. А. В. Шлегель в 1803—1804 гг. противопоставлял «Симплициссимуса» «опицевской школе» и ставил ему в заслугу, что он не имел ничего общего со «школьной ученостью», «а брал свои наблюдения из истории и нравов своего времени».⁵⁸ Близкий к романтикам Людвиг Вахлер (1867—1838) в «Лекциях по истории немецкой национальной литературы» в 1819 г. утверждал, что «Симплициссимус» «в отношении здоровья, грубоватой крепости и правдивости своей внутренней жизни самый содер-

⁵⁵ Поверье об альрауне встречается у Ганса Сакса. Источником Гриммельсгаузена могла быть книга Харсдёрфера (G. Ph. Harsdörfer. Der droße Schau-Platz jämmerlicher Mord-Geschichte. Hamburg, 1666, Cap. XLV; J. Grimm. Deutsche Mythologie. 4. Aufl. Bd. II. Berlin, 1876, SS. 1005—1006; A. T. Starck. Der Alraun. Ein Beitrag zur Pflanzensagenkunde. Baltimore, 1917.

⁵⁶ Briefwechsel zwischen Jacob und Wilhelm Grimm aus der Jugendzeit, Weimar, 1963, №№ 54, 58, 64, 65.

⁵⁷ W. Grimm. Kleinere Schriften. Berlin, 1881, SS. 297—292.

⁵⁸ A. W. Schlegel. Vorlesungen über schöne Literatur. Th. III. Heilbronn, 1804, SS. 72—73.

жательный роман среди всех современных и многих позднейших». Он запечатлел «необычайно верную картину ужасов и постыдных деяний войны», следуя «реально ошутимым событиям грубой действительности».⁵⁹

Фридрих Бутервек (1766—1828) даже полагал, что «притязания множества писак, которые разглагольствовали в своих романах о геройских деяниях и важных государственных делах, не имея в том ни малейшего опыта ... побудили выступить солдата, который в качестве мушкетера участвовал в Тридцатилетней войне». И вот он под именем Шлейфхейма фон Зульсфорта выпустил роман, выхваченный из жизни, чтобы показать, как «дикинно и все же весело ведется в доподлинном мире». Бутервек определяет «Симплициссимус» как «комический роман».⁶⁰

Об авторе загадочного романа по-прежнему ничего не было известно. Историк литературы и романист Франц Горн (1781—1837) в 1805 г. в книге «Поэзия и Красноречие немцев» (1822) «реконструировал» портрет Самуэля Грейфензона фон Хиршфельда, который служил во время Тридцатилетней войны мушкетером: «Сомнительно, чтобы он продвинулся по службе дальше обыкновенного солдата, хотя во всяком случае оказал бы честь и более высокому посту. После окончания войны, обогащенный опытом всякого рода, он не нашел лучшего употребления для свободного времени, как написать роман», — «при пламени, которым было охвачено его отечество», «на его еще дымящихся развалинах». Он «все принимал не с легкостью, но и не слишком близко к сердцу». «Это была здоровая, не особенно глубокая, сангвинически легкая натура; он обладал фантазией — я назвал бы ее фантазией поверхностной, — быстротой ума, гибкостью, талантом описания». Но «того, что мы в высоком смысле называем идеями, вряд ли следует нам искать у него». Главное достоинство романа — «картины происшествий, которые автор пережил сам». Тут все важно. «Даже божественный образ побродяжки Кураже мы не должны упускать из виду, ибо она подобно смолянному факелу, горящему кровавым светом, все же освещает нам исторические моменты, ради чего мы должны сносить и отвратительный чад, идущий от этого факела».⁶¹

Подводя итоги, можно согласиться с утверждением Барбары Зальдит, что в это время ученые еще не занялись серьезно ни самим автором, ни его произведением и что сделанное в свое время замечание Бланкенбурга еще не побудило никого к научному исследованию.⁶²

⁵⁹ L. Wachler. 1) Vorlesungen über die Geschichte der deutschen Nationalliteratur, Th. 2. Franckfurt a. M., 1819, SS. 70—71; 2) Handbuch der Geschichte der Literatur, 3. Umarbeitung, 3. Th., Leipzig, 1833, S. 423.

⁶⁰ F. Bouterwek. Geschichte der Poesie und Beredsamkeit seit dem Ende der dreizehnten Jahrhunderts. Bd. X. Göttingen, 1817, S. 386.

⁶¹ F. Horn. 1) Geschichte und Kritik der deutschen Poesie und Beredsamkeit. Berlin, 1805, SS. 158—159; 2) Die Poesie und Beredsamkeit der Deutschen. Bd. I. Berlin, 1829, SS. 284—287.

⁶² B. Salditt. Das Werden des Grimmelshausenbildes. ..., S. 6.

3. РАСКРЫТИЕ ПСЕВДОНИМА

Оживление интереса к «Симплициссимусу» в период романтизма вызвало несколько новых изданий. В 1822 г. поэт и сатирик Фридрих Вайсер (1761—1836) выпустил в двух частях свою переработку романа: «Плутство и простота, или Симплициссимус XVII столетия в одеянии XIX». ⁶³ Особенного успеха она не имела. Следующая попытка была предпринята Эдуардом фон Бюловым (1803—1853), который в 1834 г. включил в составленную им антологию европейской новеллы переработанную им симплицианскую брошюру «Первый лежебок». ⁶⁴ В 1836 г. Бюлов выпустил «Симплициссимуса», сославшись в предисловии на Л. Тика, который «так полюбил эту книгу, что собирался ее обработать». ⁶⁵ Бюлов свысока отзывается о своих предшественниках и подчеркивает, что в отличие от них он рассматривает свою работу как труд «реставратора доброго старого портрета, который тот лишь очищает от грязи и возможных записей или исправляет поврежденные места, а сам не берется за кисть, чтобы по нему малевать». Он разрешил себе лишь исправить некоторые «погрешности стиля» и устранить слишком грубые выражения.

Сложилось мнение, что Бюлов бережно отнесся к роману, а его книга положила начало изучению Гриммельсгаузена, ибо «тут впервые была сделана попытка соединить с изданием текста его критическую оценку». ⁶⁶ Мнение это неверно. Предисловие Бюлова не содержало никаких открытий и не дало новых сведений об авторе или тексте. А переработка была вовсе не такой уж безобидной. Бюлов жестоко сократил роман, так что первая, по-видимому самая «грубая», книга сжалась до 26 глав (вместо 31). Он опустил большинство стихов, выбросил последнюю главу пятой книги («Прощай, мир!»), нейтрализовал и пригладил стиль, согласно представлениям и вкусам романтиков. Но времена переменились, и вместо ожидаемых похвал Бюлов встретил уничтожающую критику. «Он слишком много или слишком мало внес изменений, — иронически писал Германн Курц, — и в результате его работа не удовлетворила ни ученых филологов, ни читающую публику». ⁶⁷

⁶³ Schalkheit und Einfalt, oder der Simplicissimus des XVII Jahrhunderts im Gewande des XIX. Ein Roman in zwei Theilen. Berlin, 1822.

⁶⁴ Das Novellenbuch, oder Hundert Novellen nach alten italienischen, spanischen, französischen, lateinischen, englischen und deutschen. Bearbeitet von E. v. B. Bd. II. Leipzig, 1834, SS. 559—567.

⁶⁵ Die Abenteuer des Simplicissimus. Ein Roman aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges. Herausgegeben von Eduard von Bülow. Leipzig, 1836, in 12°, XXVI + 471 S. Экземпляр Германской государственной библиотеки в Берлине.

⁶⁶ B. Salditt. Das Werden des Grimmelshausenbildes. . ., S. 6.

⁶⁷ Der Spiegel. Zeitschrift für litterarische Unterhaltung und Kritik, Stuttgart, 1837, № 5 (18. Januar), № 6 (21. Januar). Статья Курца считалась утраченной, но после обращения, напечатанного Иоахимом Беком в «Weimarer Beiträge» (1957, № 1), уда-

Германн Курц (1813—1873), поэт и историк, и был тем человеком, который положил начало раскрытию подлинного имени автора «Симплициссимуса». Еще в 1835 г. в письме к Адальберту Келлеру он обратил догадку, что «под множеством псевдонимов Грейфензона скрывается истинное имя Кристоффеля Гриммельсгаузена». После выхода книги Бюлова Курц изложил в рецензии свои соображения. Он пользовался трехтомным изданием Фельсекера и смело приписал все произведения, входящие в него, одному автору. Главным его аргументом был сонет, предпосланный роману «Дитвальд и Амелинда», где Гриммельсгаузен прямо назван автором «Симплициссимуса».

Курц напечатал свою статью в малораспространенном и недолговечном журнале «Der Spiegel». Она прошла почти незамеченной.

С резкой статьей обрушился на издание Бюлова Теодор Эхтермайер (1805—1844), основавший вместе с Арнольдом Руге журнал левых гегельянцев «Hallische Jahrbücher». Он упрекал Бюлова не за обработку романа, а за вступление, в котором тот пытался дать историко-культурную и литературную оценку романа, руководствуясь лишь своим эстетическим вкусом. Сочинителем «Симплициссимуса» у Бюлова «все еще назван Грейфензон фон Хиршфельд», — восклицает Эхтермайер, по-видимому знавший об открытии Курца. Однако подлинное имя автора (Christoffel von Grimmelshausen) можно получить путем перестановки букв во всех известных ему псевдонимах в трехтомном собрании Фельсекеров, как-то:

1. Полностью из ряда букв *A. c. eee. ff. g. hh. ii. ll. mm. nn. oo. rr. sss. t. uu* — на титуле второй части «Чудесного птичьего гнезда».

2. Из Самуель Грейфензон фон Хиршфельд — Samuel Greifn-Son vom Hirschfeld, — взятом из многих сочинений. Не покрываются только «d» и «l».

3. Из Эрих Штейнфельс фон Груфеншолм — Erich Steinfels von Grufensholm — из «Судейской Плутона». Не покрываются только одно «m» и «n».

4. Из Израель Фромшмидт фон Гугенфельс — Israel Fromschmidt von Hugenfels — из «Висельного человечка». Совпадает, кроме двух взятых в скобки букв.

лось разыскать полный комплект журнала. Важнейшие выдержки из статьи Курца приведены И. Беком (J. G. Boeckh. Hermann Kurz als Grimmelshausenforscher. Weimarer Beiträge, 1961, № 2, SS. 332—348). Германн Курц пронес интерес к Гриммельсгаузену через всю жизнь. В 1836 г. он написал новеллу «Симплициссимус» (Morgenblatt für gebildete Stände, №№ 105—110). В 1865 г. опубликовал статью «Zur Geschichte des Romans Simplicissimus and seines Verfassers» (Beilage zur Allgemeinen Zeitung, 1865, №№ 194—196, 217—219, 221—222). Статья подписана: Hermann Kurz in Tübingen, так как автор уже тогда страдал оттого, что его смешивают с издателем текстов Гриммельсгаузена — Генрихом Курцем (1805—1873). В 1871 г. Курц ввел эпизод с Юпитером в свою книгу «Aus den Tagen der Schmach» (Stuttgart, 1871). См. также: H. Kindermann. Hermann Kurz als Literaturhistoriker. Festschrift Theodor Siebs, Breslau, 1933, S. 348.

5. Герман Шлейфхейм фон Зульсфорт — German Schleifheim von Sulstfort — с титульного листа «Симплициссимуса». В таком написании полностью.

6. Филархус Гроссус фон Тромменхейм — Philarchus Grossus von Trommenheim — из «Шпрингинсфельда, и «Кураже». Покрывается Христофорос фон Гриммельсгаузен Christophorus von Grimmelshausen, кроме «т» вместо «п».

7. Сильбор Мессмаль — Signeur Messmahl — из «Немецкого Михеля». Содержит полностью имя Гриммельсгаузен.

8. Мельхиор Штернфельс фон Фуксхейм — Melchior Sternfels von Fuchsheim — согласуется, кроме «с» вместо «g» и «е» вместо «а». Имя самого Симплициссимуса.

9. Михаель Рехулин фон Земсдорф — Michael Rechulin von Sehmsdorff — из первой части «Чудесного птичьего гнезда». Покрывается не полностью.

10. Симон Ленгфриш фон Хартенфельс — Simon Lengfrisch von Hartenfels — из «Мира навыворот». ⁶⁸ Покрывается не полностью.

Естественно возникал вопрос, а не является ли само имя Гриммельсгаузен также вымышленным, если все псевдонимы выводятся один из другого? Эхтермайер указывает, что на книгах, изданных под именем Гриммельсгаузена, помечено, что он «гельнгаузенец», и ссылается на комментатора фельсекеровского издания, который сообщал, что автор «Симплициссимуса» «был преисполнен благородной любви к своей родине Гельнгаузену». Сведения, помещенные в шестой книге «Симплициссимуса», что автор умер, едва успев сдать в печать первые пять частей, являются мистификацией, так как большинство его произведений вышло после 1669 г.

Эхтермайер не противопоставляет «Симплициссимуса» «искусственной поэзии» силезцев, а считает их двумя сторонами одного и того же процесса. Обычное осуждение «силезской школы» как чего-то уродливого — это «аномалия не развития, а понимания». Силезцы, обогащенные поэтикой, заимствованной у французов и голландцев, а также наследием античности, развивали формальную сторону поэзии в интересах протестантского севера. Они скоро исчерпали себя в пустой риторике и формальных ухищрениях. Принцип их поэзии — «остроумие». Она «глупо аффектирована». Ее отрицание — «низвержение формализма» — было неизбежно. Началось преодоление «догматической оцепенелости». В процесс вступает «народная поэзия юга» с ее «неосознанной наивной традицией», восходящей к средневековью. Эта поэзия — а к ней и принадлежит «Симплициссимус», — находится в оппозиции к рыцарству и формализму. Попервоначально

⁶⁸ Hallische Jahrbücher für deutsche Wissenschaft und Kunst, 1838, № 52, Sp. 415 (БАН).

она рядится в шутовское платье. Гриммельсгаузен сам писал романы в духе силезской школы и, по-видимому, придавал им особое значение, ибо подписывал их подлинным именем. Таким образом, «в одном и том же человеке совершенно внешне и неорганично сочетались формальная простота школьной (схоластической) поэзии и эта народная поэзия, которая для него столь же внешняя, как и искусственная».

Эхтермайер указывал на связь «Симплициссимуса» с Фишартом, Мошерошем, испанским плутовским романом. И наконец сравнивает «Симплициссимус» с «Дон Кихотом» и находит в нем «демонизм Фауста, непристойности Эйленшпигеля и фантастику Фортуната». Кроме того, «на всем своем протяжении» «Симплициссимус» пародирует «Парцифалья».⁶⁹

Догадка Германа Курца, нашедшая подтверждение в статье Эхтермайера, все же воспринималась как хитроумная гипотеза. Автора «Симплициссимуса» продолжали именовать Самуелем Грейфензоном фон Хиршфельдом, который «в молодости был мушкетером».⁷⁰ Понадобились новые усилия и аргументы. Решающее значение имели разыскания филолога Вильгельма Артура Пассова (1814—1864), который независимо от Эхтермайера в 1843 г.⁷¹ пришел к тем же выводам, хотя и шел другими путями. Эхтермайер, сопоставив имена всех «авторов» симплицианских сочинений в трехтомном издании 1713 г., раскрыл их как анаграммы, восходящие к основной форме — Гриммельсгаузен. Пассов изучил все, доступные ему, издания «Симплициссимуса» и другие сочинения, приписываемые Гриммельсгаузену, чтобы установить их авторское единство. Ключом для раскрытия загадки он избрал шестую книгу «Симплициссимуса». Принадлежит ли она автору первых пяти книг? В том, что «Заключение» в конце шестой книги было мистификацией, он не сомневался. Но кто мистифицировал, автор всех шести книг или только последней, ловкий подражатель и фальсификатор, «дописавший „Симплициссимуса“»? По мнению Пассова, шестая книга уступала первым «в поэтической ценности, но это могло быть объяснено перенесением действия в далекие, малоизвестные страны, отчего изложение потеряло «свою наглядность и индивидуальность». Но замечательный язык, свежесть и «редкая простота» изложения позволяют думать, что это подлинное продолжение романа. Трудно

⁶⁹ Там же.

Против последнего толкования возражал уже Кледен (C. Kl ä d e n. Über die Bedeutung des «Simplicissimus». Germania. Neues Jahrbuch der Berlinischen Gesellschaft für deutsche Sprache und Altertumskunde, Bd. IX, 1850, SS. 86—92).

⁷⁰ F. A. P i s c h o n. Denkmäler der deutschen Sprache von den frühesten Zeiten bis jetzt. III Th. Berlin, 1843, S. 475; K. F. R i n n e. Innere Geschichte der Entwicklung der deutschen National-Litteratur. II Th. Leipzig, 1843, S. 140.

⁷¹ W. A. P a s s o w. Christoffel von Grimmelshausen, der Verfasser des «Abenteuerlichen Simplicissimus». Ein Beitrag zur Literaturgeschichte Deutschlands in 17. Jahrhundert. Blätter für literarische Unterhaltung, Leipzig, 1843, №№ 259—264, SS. 1037—1954 (БАН).

предположить, что «в XVII столетии могли найтись два человека, которые могли бы так писать». Доказательство подлинности шестой книги «Симплициссимуса», он нашел в «Судейской Плутона» (1672), где имеется ссылка на «историю Авара», рассказанную в этой книге. Но если она подлинная, то ее автор не думал умирать в 1669 г. Заметив, что в «Симплицианском вечном календаре» (1670) сообщается, что Симплициссимус в отрочестве был захвачен гессенцами примерно в 1635 г. и, сопоставив это с утверждением в предисловии к «Сатирическому Пильграму», что герой «стал под мушкет» в десятилетнем возрасте, Пассов устанавливает приблизительную дату рождения Гриммельсгаузена — 1625 год. Дата эта оказалась неверной, но первый шаг был сделан.

Пассов придавал особое значение сонету, предпосланному «Дитвальду и Амелинде», на который указывал уже Германн Курц. Сонет был подписан условным именем — «Сильвандер». Его мог написать и сам Гриммельсгаузен точно так же, как поступил в «Дон Кихоте» Сервантес. Вот этот сонет:

Der Grimmelshausen mag sich wie auch bei den Alten
 der alt Protheus thät, in mancherley Gestalten
 verändern wie Er will, so wird Er doch erkandt,
 an seiner Feder hier, an seiner treuen Hand.
 Er schreibe was Er woll, von schlecht, von hohen Sachen,
 Von Schimpf, von Ernst, von Schwäncken die zu lachen machen,
 vom Simplicissimo, der Meuder und dem Knan,
 von der Courage alt, von Weiber oder Mann.
 Vom Frieden oder Krieg, von Bauern und Soldaten,
 von Aenderung eines Staats, von Lieb. von Heldenthaten,
 so blickt doch klar herfür, daß er nur Fleiß ankehr,
 wie er mit Lust und Nutz den Weg zur Tugend lehr.⁷²

Обращает на себя внимание, что Гриммельсгаузен уподоблен Протею. И в самом деле он постоянно меняет свое обличье. Вот и на титульном листе «Кураже» сказано, что автор «на сей раз называет себя Филархус Гроссус фон Тромменхейм из Гриффберга», т. е. откровенно признает, что и это имя псевдоним. Но кто же все-таки Гриммельсгаузен? Подлинное имя или новый еще более хитроумный псевдоним? Двойная и даже тройная игра с псевдонимами была в обычае того времени. Пассов сопоставляет все известные ему датировки, выделив прежде всего те, которые находились в книгах, подписанных именем Гриммельсгаузен:

К «Дитвальду и Амелинде» — Hybspinthal, den 3. Mertz Anno 1669.

К «Проксимусу и Лимпиде» — Renichen, den 21. Juli Anno 1672.

К «Ratio Status» — Rheinnes, den 26. Juli 1670.

⁷² Перевод: «Как бы многообразно, подобно старому Протею, Гриммельсгаузен не менял, сколько ему вздумается, свой облик, он все же будет узан здесь по своему перу и своей верной руке. Что бы он ни писал о плохих и возвышенных вещах, о глуме и сурьезе, о шванках, которые побуждают к смеху, о Симплициссимусе, его матке и батке, о старой Кураже, о женщинах или мужчине, о мире и войне, о мужиках и сол-

«Письмо» Симплициссимуса к сыну, изданное Израелем Фромшмидтом фон Гугенфельсом в брошюре «Висельный человек», датировано Hegeinen, den 29. Juli 1973. (вместо 1673). В предисловии к книге «Сатирический Пильграм», изданной от имени Самуэля Грейфензона фон Хиршфельда, указано «Hybspinthal, 15. Febr. 1666». Подобную местность трудно было с чем-либо отождествить, и все это походило на мистификацию. На сей раз уже в книгах, подписанных именем Гриммельсгаузена!

Присмотревшись к географии «Симплициссимуса», Пассов обнаружил, что таинственный автор прекрасно знает область Верхнего Рейна и его приток Некар. На это указывают и названия различных местностей, и ландшафты в пятой книге романа. Все три лица, которым посвящал свои книги Гриммельсгаузен: Филипп Ганнибал фон унд цу Шауенбург из Некара (роман «Дитвальд и Амелинда»), жена юртембергского советника юстиции Мария Доротея фон Флекенштейн (роман «Проксимус и Лимпида») или советник Крафт фон Карлсхейм из Нейхауза — так или иначе связаны с этими местами. Эти наблюдения позволили Пассову, наконец, открыть, что «Renichen», «Rheinnes», «Hercinen», «Cernhein» — это либо различные старинные наименования маленького городка Ренхен (Renchen) в Оберкирхене, неподалеку от Страсбурга, либо анаграммы того же названия. Осталось нераскрытым только значение «Hybspinthal».

Теперь удалось связать между собой большое число произведений и с большей вероятностью приписать их одному автору. Но вопрос об его истинном имени мог быть окончательно решен только на основе подлинных документов. И Пассов их нашел! Уже в первой статье он приводит купчую, датированную 1711 г. и подписанную неким Кристофом фон Гриммельсгаузенем, почтмейстером в Ренхене. Пассов предположил, что это сын автора «Симплициссимуса». В следующем 1844 г. Пассов нашел гравюру на меди с изображением нюрнбергского издателя Вольфа Эбергардта Фельсекера с небольшим стихотворным посвящением, подписанным Иоганн Якоб Кристоф Гриммельсгаузен.⁷³ Историческое существование писателя было доказано! Последнее решающее открытие сделал все тот же Пассов. В 1847 г. в церковных книгах Ренхена он обнаружил латинскую запись, сделанную священником Каспаром Бейером: «В лето 1676, 17 августа почил в бозе достопочтенный муж великого ума и учености Иоанн Христофор фон Гриммельсгаузен, претор здешнего места, и хотя он по случаю военной смуты вступил в военную службу, и его дети были разбросаны повсюду, однако же случайно все собрались здесь, и он, благоче-

датах, о переменах в государстве, о любви, о геройских деяниях, то всегда ясно можно усмотреть, что он лишь прилагает все старание, чтобы с приятностью и пользойставлять на стезю добродетели».

⁷³ Noch ein Zeugniß für den Verfasser des «Simplicissimus». Blätter für literarische Unterhaltung, 1844, № 119, S. 476.

ство причастившись святых тайн, умер и похоронен, какового душа да упокоится с миром».⁷⁴ Так наконец была раскрыта загадочная буква «Р» (претор) в подписи под «Заключением» в конце шестой книги «Симплициссимуса», теперь уже безусловно вышедшей при жизни автора. Пассов не сразу разыскал эту важнейшую запись, ибо был убежден, что Гриммельсгаузен — протестант. Стало несомненно, что он по крайней мере умер католиком, да и не мог бы занять место претора в городке, находящемся под юрисдикцией страсбургского архиепископа.

Из тумана истории выступила фигура реально существовавшего писателя Гриммельсгаузена, который и занял место таинственного Самуеля Грейфензона фон Хиршфельда.

4. ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ

В середине XIX в. интерес к «Симплициссимусу», переместился. Согретые живым эстетическим чувством, но поверхностные и дилетантские труды романтиков никого не удовлетворяли. Роман перешел в руки филологов, занимавшихся изучением текстов и изданием старинных литературных памятников, выработавших довольно строгие и точные приемы их публикации. Потребность в научном издании «Симплициссимуса» была несомненна, однако филологи натолкнулись на неожиданные и трудно преодолимые препятствия. С неразрешимыми задачами встретились библиографы и книговеды. Издания «Симплициссимуса», обращавшиеся преимущественно в народной среде, сохранились в весьма малом числе. Но уцелевшие экземпляры удивительно отличались друг от друга, даже когда на них был выставлен один и тот же год и одно и то же место издания. Какое же из них считать подлинным? Тем более что сам автор «Симплициссимуса» предостерегал против злостных «перепечатчиков» и грозился «пообрубать им когти». Вот два экземпляра «Симплициссимуса» — оба изданы в 1669 г. неведомым издателем Иоганном Филлионом в малоизвестном городе Момпельгарте. Орфография одного из них отличается диалектальными чертами, другого — подогнана к нормам формирующегося литературного языка. Кроме того, были обнаружены два

⁷⁴ W. A. Passow. Noch einmal der Verfasser des «Simplicissimus». Blätter für literarische Unterhaltung, 1847, № 273, S. 1091. Пассову удалось разыскать и еще несколько документов, относящихся к Гриммельсгаузену: набросанный им собственноручно 13 октября 1667 г. устав для мельниц, запись о его жене Катарине Хеннингер, о рождении у него дочери и смерти сына. Не избежал Пассов и некоторых ошибок. Не поняв, что упоминание в записи о смерти Гриммельсгаузена, о вызванных войной неурядицах подразумевает войну с Францией 1672 г., Пассов отнес эти события к концу Тридцатилетней войны, что заставило его отодвинуть и дату рождения Гриммельсгаузена, якобы имевшего уже в то время взрослых сыновей (S. 1092). Претор (по-немецки «Schultheiß») здесь обозначает должность, охватывающую обязанности старшины, судьи по мелким делам и сборщика податей.

экземпляра отдельно изданной шестой книги «Симплициссимуса», столь же отличных друг от друга. Казалось несомненным, что роман был выпущен параллельно по крайней мере двумя различными издательствами. Сличение шрифтов, типографских особенностей, книжных украшений, даже опечаток показало, что разнообразие сохранившихся экземпляров этим не исчерпывается. Даже из одной и той же типографии в одном и том же году вышло несколько изданий или «заводов». А может быть, просто на поздних перепечатках выставлялся старый год изданий, как поступали еще в XVIII в.? А может быть, напротив, какое-либо издание вышло уже в 1668 г., а год был выставлен вперед, чтобы книга не устарела? Где в действительности напечатан «Симплициссимус», так как место издания, по-видимому, выставлено фиктивно? Кто такой Иоганн Филлион и какое отношение имеет он к нюрнбергскому издателю и книгопродавцу Иоганну Фельсекеру, помещавшему объявление об этой книге в каталоге, выпущенном перед Лейпцигской ярмаркой еще в 1668 г.?⁷⁵ Был ли он комиссионером таинственного издателя или просто укрылся за его именем? От решения этих вопросов зависел выбор текста для научного издания. Филологическая наука того времени склонялась к «editio princeps», т. е. первому изданию, а оно-то и не было надежно установлено. Но медлить с изданием «Симплициссимуса» уже было невозможно.

Первым, кто предпринял такую попытку, был Вильгельм Людвиг Холланд (1822—1891). В 1851 г. он выпустил «Симплициссимус». «Опыт издания по четырем старейшим тиснениям», где перепечатал 21-ю главу первой книги романа.⁷⁶ В основу издания Холланд положил текст 1669 г. (по экземпляру, принадлежавшему поэту Людвигу Уланду). Холланд обозначил его буквой «А». Титульный лист этого издания начинался словами: «Вновь расположенный и значительно улучшенный Затейливый Симплициссимус».⁷⁷ В примечаниях были приведены разночтения по другим изданиям, также получившим буквенные обозначения: «Немецкий

⁷⁵ A. Bechtold. Grimmelshausens Schriften in den Meßkatalogen 1660—1675. Euphorion, Bd. 23, 1921, SS. 496—499; M. Speter. Über die Ausgabe «C» (IV) von Grimmelshausens «Simplicissimus». Euphorion, Bd. 26, 1925, S. 278; M. Koschlig. Grimmelshausen und seine Verleger. Untersuchungen über die Chronologie seiner Schriften und den Echtheitscharakter der frühen Ausgaben. Berlin—Weimar, 1939 (то же: Palaestra, H. 218, Leipzig, 1939).

⁷⁶ Der abenteuerliche Simplicissimus. Versuch einer Ausgabe nach den vier ältesten Drucken von W. L. Holland. Tübingen, 1851, X + 53 S. (BAH).

⁷⁷ Neu-eingerichteter und vielverbesserter Abenteuerlicher Simplicissimus. Das ist: Beschreibung deß Lebens eines seltsamen Vaganten, genant Melchior Sternfels von Fuchshaim, wie, wo und welcher Gestalt Er nemlich in diese Welt kommen, was er darin gesehen, gelernet, erfahren und außgestanden, auch warum er solche wieder freywillig quittiret hat, überaus lustig, und männiglich nützlich zu lesen. An Tag geben von Germann Schleifheim von Sulsfort. Mompelgart. Gedruckt bey Johann Fillion. Im Jhar MDCLXIX, kl. 12^o, 608 S.

Симплициссимус» («Simplicissimus Teutsch»), 1669 г. («В»),⁷⁸ «Симплициссимус» по изданию 1670 («С») и 1671 г. («D»). Не совсем ясно, чем руководствовался Холланд, приняв за основное издание книгу, по титульному листу которой уже можно было заключить, что она выходит не первый раз. Возможно, его привлекала «исправность» этого издания, нормализация языка и правописания по сравнению с другим изданием 1669 г., отличавшимся резкими диалектальными чертами.

Позднее голландский филолог Я. Схольте обозначил издание «А» как «издание школьного учителя» («Schulmeister-Ausgabe»),⁷⁹ так как оно было «заботливо переработано по грамматике Кристина Квенца», чтобы сделать его «более доступным для посредственного читателя». Возможно, что это было сделано с ведома и согласия автора. Как показал Тёрнвалл, многие различия из этого издания перешли в последнее прижизненное издание 1671 г. («D»),⁸⁰ что уже трудно было приписать неправомочному издателю. А. Келлер (1811—1883), осуществивший в 1854—1862 гг. первое критическое издание «Симплициссимуса», сохранил буквенные обозначения Холланда, но в основу своего издания положил «Немецкого Симплициссимуса» 1669 г. («В»),⁸¹ Особенность издания Келлера — привлечение трехтомного издания Фельсекера. Следующее научное издание «Симплициссимуса» было выпущено в 1863—1864 гг. Генрихом Курцем⁸² по изданию 1671 г. («D»),⁸³ где, помимо шестой книги, были помещены три «Continuatio», взятые из симплицианских календарей, и «летучий лист» — объявление от имени врача Симплициссимуса. В издании по-

⁷⁸ См. сноску 1.

⁷⁹ J. H. Scholtz. Die Romantik und Grimmelshausen. Germanisch-Romanische Monatsschrift, N. F., Bd. III. 1953, H. 3, S. 198.

⁸⁰ G. Einar Törnvall. Die beiden ältesten Drucke von Grimmelshausens «Simplicissimus» sprachlich verglichen. Uppsala, 1917.

⁸¹ Der Abenteuerliche Simplicissimus und andere Schriften von Hans Jacob Christoph von Grimmelshausen. Herausgegeben von Adelbert Keller. Stuttgart, 1854 (Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart. Bd. 33—34). Описание титульного листа издания «В» см. сноску 1.

⁸² H. J. C. v. Grimmelshausens Simplicianische Schriften. Herausgegeben von Heinrich Kurz. Bd. I—IV. Leipzig, 1863—1864.

⁸³ Gantz neu eingerichteter allenthalben viel verbesserter Abenteuerlicher Simplicius Simplicissimus. Das ist: Außführliche, unerdichtete und recht memorable Lebens-Beschreibung eines einfältigen, wunderlichen und seltsamen Vaganten, Nahmens Melchior Sternfels von Fuchshaim, wie, wo, wann, auch welcher Gestalt er nemlich in diese Welt gekommen, wie er sich darinnen verhalten, was er Merck- und Denkwürdiges gesehen, gelernet, gepracticiret und hin und wieder mit vielfältiger Leibs- und Lebens-Gefahr ausgestanden, auch warum er endlich solche wiederum freywillig und ungezwungen verlassen habe. Annehmlich, erfreulich und lustig zu lesen. Wie auch sehr nützlich und nachdenklich zu betrachten. Mit einer Vorrede, samt 20 anmuthigen Kupffern und 3 Continuationen von German Schleichheim von Sulsfort. Es hat mir so wollen behagen, mit Lachen die Wahrheit zu sagen. Mompelgart. Gedruckt bei Johann Fillion. Nürnberg, zu finden bei W. E. Felbeckern. [1671]. Параллельное издание (с тождественным текстом) указано Келлером («J»).

мещено двадцать гравюр, отсутствовавших в прежних, орфография переработана, внесены небольшие дополнения, прозаические обозначения содержания в начале каждой главы заменены двустушиями. По мнению Схольте, все эти «новшества» были порождены издательской борьбой с конкурентами, хотя и «не без сопричастности автора».⁸⁴ Схольте дал изданию 1671 г. опознавательную кличку «Барочный Симплициссимус», ибо переработка текста «показывает применение нового стилового принципа, который должен был придать народному роману модный характер барокко».⁸⁵ «И чтобы увенчать все это бесчинство, — пишет он в другом месте, — у конкурента-издателя был похищен нормализованный язык... Так был опущен в могилу язык гриммельсгаузеновского „Симплициссимуса“ до того, как сам сочинитель покинул земную юдоль».

Гриммельсгаузен не просто «дозволил» издателю воспользоваться трудами корректора 1669 г. («А»), а принял их, так как это обеспечивало более широкое распространение книги по всей Германии. Сохраняя диалект как стилистическое средство для характеристики персонажей, Гриммельсгаузен убрал или позволил убрать диалектальные черты своей авторской речи. В издании 1671 г. сняты некоторые поправки корректора и внесены новые изменения, вставлены эпитеты и простонародные выражения, что мог сделать только сам автор.⁸⁶ Издание 1671 г. отвечало последней воле автора. Оно наиболее зрелое в художественном отношении. А различные продолжения и прибавления появились в нем далеко не случайно.

Феликс Бобертаг (1841—1907), подготовивший критическое издание «Симплициссимуса»,⁸⁷ положил в основу его текст 1671 г., который был воспроизведен (вместе с иллюстрациями) по параллельному (очень близкому) изданию «J». Текст «D» был принят и Г. Борхердтом в последнем по времени научном издании сочинений Гриммельсгаузена (1921).⁸⁸ В 1874 г. Юлиус Титманн (1814—1883) издал «Симплициссимус», по тексту «B», иными словами, повторил издание А. Келлера.⁸⁹ В 1880 г.

⁸⁴ Continuatio des abentheuerlichen Simplicissimi, oder der Schluß desselben. Herausgegeben von J. H. Scholte. Halle, 1939, S. VII.

⁸⁵ J. H. Scholte. Grimmelshausen und das Barock. Festschrift für Julius Petersen, Leipzig, 1938, S. 73.

⁸⁶ G. Einar Törnvall. Die beiden ältesten Drucke von Grimmelshausens «Simplicissimus» sprachlich verglichen. Uppsala, 1917.

⁸⁷ Grimmelshausens Werke. Herausgegeben von Felix Bobertag. Bd. I—III. Berlin und Stuttgart, 1882—1883. In: Deutsche National Litteratur. Herausgegeben von I. Kürschner. Bd. 33—35 (Bd. 33—34 — «Simplicissimus»).

⁸⁸ Grimmelshausens Werke in vier Theilen. Herausgegeben von Hans Heinrich Borcherdt. Berlin—Leipzig, 1921 (Th. I—II — «Simplicissimus»).

⁸⁹ Der Abentheuerliche Simplicissimus und Simplicianische Schriften von H. J. C. v. Grimmelshausen. Herausgegeben von Julius Tittmann. Bd. I—IV. Leipzig, 1874 (2. Aufl., Leipzig, 1877).

Рудольф Кёгель (1855—1899) отважился завершить дело Холланда и издал «Симплициссимуса» по тексту «А».⁹⁰

В этом кратком обзоре критических изданий «Симплициссимуса», мы познакомились и с особенностями основных прижизненных изданий, кроме одного, которое никогда не перепечатывалось полностью, а лишь привлекалось для сравнительного изучения. Это так называемое издание «С»⁹¹ 1670 г., которое Схольте назвал «Календарный Симплициссимус» (Calender-Simplicissimus), потому что на его титульном листе было объявлено, что оно выходит вместе с симплициссимусовским «вечным дяковинным календарем». Такой календарь вышел в 1670 г., но в другом формате у издателя Вольфа Эберхардта Фельсекера, тогда как издание «С» появилось отдельно, с прежним фиктивным указанием места (Момпельгарт) и издателя (Иоганн Филлион), но на титульном листе остались следы первоначального замысла. В предварительном каталоге Лейпцигской осенней ярмарки 1669 г. было обнаружено указание на титул «Симплициссимуса» с упоминанием «Вечного календаря». Это издание помогло установить книгоиздателя, выпустившего экземпляр с таким титульным листом. Но это вовсе не означало, что все книги, выпущенные под именем Иоганна Филлиона, были изданы Фельсекером!

У Гриммельсгаузена были два издателя: Фельсекер в Нюрнберге и Георг Мюллер во Франкфурте, осуществивший издание «А». Но с кем из них он раньше вступил в деловые отношения? Не познакомился ли он с Фельсекером, только когда порвал с Мюллером? Не стал ли Фельсекер издателем «Симплициссимуса» только после того, как возникла мысль об издании симплициссимусовского календаря? Поспешность, с какой был изготовлен титульный лист, который потом даже не успели переделать, казалось бы, косвенно это подтверждала. Также выяснилось, что титульный лист издания «А» представляет собой плохую перегравиюровку титульного листа «В», что заметил уже А. Келлер, тогда как сравнение титульных листов изданий «В», «С», «Д» и даже подсчет штрихов на гравиюре указывали на одного и того же издателя. В таком случае издание «В» тоже осуществлено Фельсекером. Но и это не решало вопроса о первом издателе «Симплициссимуса». Еще Генрих Курц, Р. Кёгель и

⁹⁰ Der Abentheuerliche Simplicissimus von H. J. Chr. von Grimmelshausen. Abdruck der ältesten Originalausgabe 1669. Herausgegeben von R. Kögel. Halle, 1880 (Neudrucke deutscher Literatur-Werke des XVI und XVII Jh., №№ 19—25).

⁹¹ Der Abentheurliche Wiederum gantz neu umgegossene und Mit seinem ewigwehrenden wunderbarlichen Calender, auch anderen zu seinem Lebens-Lauff gehörigen. Neben-Historien, vermehrte und verbesserte Simplicissimus Teutsch. Das ist: Die vollkommene Beschreibung des Lebens, eines seltsamen Vaganten, denannt Melchior Sternfels von Fugshaim, wo und welcher Gestalt er nemlich in diese Welt kommen, was er darinn gesehen, gelernet, erfahren und ausgestanden, auch warum er solche wieder freywillig quittirt. Ueberaus lustig und Männiglich nützlich zu lesen. Am Tag gegeben Von German Schleichheim von Sulsfort. Mompelgart. Gedruckt bey Johann Fillion im Jahr 1670.

Ф. Бобертаг предполагали, что известные экземпляры «Симплициссимуса» могли быть позднейшими перепечатками и существовало еще одно, не дошедшее до нас издание «Х». Находили новые, неизвестные ранее экземпляры, но они ставили новые загадки. По печаткам, и притом на титульных листах, были установлены два параллельных издания «В». На одном стояло «Mompelgart» вместо «Mompelgart», а на другом искажено имя мнимого автора «Ssyleifheim». Какое же из них самое первое? А не существовал ли еще таинственный третий издатель, который и осуществил «editio princeps»? Одно время Схольте так и думал. Он основывался на наблюдениях Г. Кённеке, который «твердо» установил, что весь типографский материал «Симплициссимуса» «В», начиная от шрифтов и кончая книжными украшениями, близок к тому, который употребляли в типографии франкфуртского издателя Вильгельма Зерлина, выпускавшего в 1668—1669 гг. «Continuatio Diarii Europaei».⁹² А ведь из этого издания Гриммельсгаузен и почерпнул материал для «робинзонады» в шестой книге «Симплициссимуса».

Скоро эти соображения вступили в противоречие с другими догадками. Еще в 1912 г. Схольте выяснил, что у нюрнбергского издателя Вольфа Эберхардта Фельсекера (1626—1680) был сын Иоганн Ионатан, которому в год издания «Симплициссимуса» было примерно одиннадцать лет от роду. Схольте предположил, что это имя и послужило анаграммой для обозначения мнимого издателя. Johann Jon. fil., т. е. filius (лат.) — сын, превратилось в Fillion fil. Joh. Стало быть, Вольф Фельсекер принял участие в затейливой мистификации автора. Унаследовав дело отца, Иоганн Ионатан предпринял издание трехтомного собрания «симплицианских сочинений», вышедшее в 1683 г. с его предисловием. Он же пригласил Комментатора, оставшегося нам неизвестным, и, вероятно, снабдил его какими-то сведениями об авторе. Сам участник мистификации, он не раскрыл ни имени Гриммельсгаузена, ни подробностей издания его книги. Не сделала это и его наследники (издания 1693 и 1713 гг.).

Открытие Схольте оставалось остроумной догадкой, но не служило безупречным доказательством. Смущало, что книга под именем Иоганна Филлиона была выпущена двумя различными издателями в 1669 г. Озадачивало и то, что в 1682 г. был выпущен в свет «Французский Симплициссимус», издателем которого также обозначен Иоганн Филлион. А может быть, он все же существовал? И еще в 1927 г. Р. Алевин продолжал утверждать, что далеко не доказано, будто Фельсекер и Филлион идентичны.⁹³ Только в 1939 г. М. Кошлиг после скрупулезного изучения

⁹² См. предисловия Схольте к изданиям «Simplicissimus Teutsch» (1938) и «Continuatio» (1939).

⁹³ R. Alewyn. Felssecker und Fillion. Zur Verlegerfrage bei Grimmelshausen. Zeitschrift für Bücherfreunde, N F., XIX Jg., 1927, H. 2, SS. 38—40.

типографских особенностей издания 1669 г. «В» сумел доказать, что уже «*Simplicissimus Teutsch*» («*editio princeps*») был напечатан в Нюрнберге в типографии Фельсекера.⁹⁴ В 1949 г. с ним, наконец, согласился Схольте.

Неоспоримой заслугой Схольте было филологически точное издание основных произведений Гриммельсгаузена симплицианского круга, осуществленное им с 1923 по 1943 г. Исследователи также получили сводку всех разночтений «Симплициссимуса» по изданиям 1669—1671 гг. Занимаясь свыше пятидесяти лет изучением текстов и биографических материалов Гриммельсгаузена, маститый голландский ученый сделал большое число ценных открытий. Но он подавлял своим авторитетом, а необычайное упорство, с каким он отстаивал «*editio princeps*», надолго задержало правильную оценку места и значения последнего прижизненного издания (1671 г.).

5. БИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОИСКИ И НАХОДКИ

Последнее научное издание сочинений Гриммельсгаузена в XIX в. было осуществлено Ф. Бобертагом. Дальнейшее изучение упираюсь в биографическую проблему. Об авторе «Симплициссимуса» все еще было мало известно, а Бобертаг даже предрекал, что ничего важного и не будет найдено. Биографы Гриммельсгаузена по-прежнему обращались к фельсекеровскому изданию, где Симплициссимус оговорился с автором книги. Комментатор этого издания сообщал, что Симплициус хорошо знал «промысел живущих в Шпессерте поселян», занимавшихся разведением скота, и в отличие от других людей «низкого происхождения», которые, если их вознесет Фортуна, «не хотят о нем помнить, оказывал благодарную любовь к своей родине Гельнгаузену». Он «пользовался расположением при княжеских дворах» и занимал «почетное место старшины в Ренхене в Шварцвальде — древнем городе, разоренном гуннским тираном Атиллою, ныне же торговом местечке». «Неустанными трудами и удивительным предначертанием счастья» Симплициссимус достиг «обоих благородств»: «рыцарского дворянства» и «благородства свободных людей» (под чем надо разуметь ученость). Находки Пассова, казалось, лишь подтверждали достоверность Комментария. Издатели сочинений Гриммельсгаузена расцвечивали эти скудные сведения деталями, вычитанными из романа, хотя еще престарелый А. Келлер настойчиво призывал к осторожности. Филологическая точность приходила в противоречие с произвольными домыслами, от которых не отказался даже Генрих Курц, не говоря уже о Рудольфе Кёгеле, заставившем Гриммельсгаузена совершить путешествие по Франции, Нидерландам и другим странам. Усиливаю-

⁹⁴ M. Koschlig. *Grimmelshausen und seine Verleger. Untersuchungen über die Chronologie seiner Schriften und den Echtheitscharakter der frühen Ausgaben.* Weimar, 1939.

щееся под влиянием естественнонаучных воззрений и философии позитивизма стремление объяснить творчество писателя только воздействием внешней среды, его биологическими и социальными особенностями, но не подкрепленное реальными документами приводило к наивным представлениям о «типичном» мушкетере эпохи Тридцатилетней войны, вышедшем из самых низов крестьянского сословия и «бесхитростно» поведавшем историю своей жизни, разукрасив ее «во вкусе своего времени» некоторыми вымышленными эпизодами и подробностями. Но вскоре последовали неожиданные открытия.

В 1881 г. библиотекарь в Касселе Альберт Дункер обнаружил черную купчую 1571 г., которую заключил «сотник» («Zentgrafe») в Рейнхенбахе Йорг Кривов фон Гриммельсгаузен и его жена на приобретение дома в городе Гельнгаузене за 135 гульденов с обязательством нести все городские подати. Удалось отыскать и деревеньку Grymaltshusen в герцогстве Саксен-Майнинген и установить, что она была продана еще в 1327 г. ее владельцем, причем купчая была скреплена печатью графа Хенненберга, так как собственная печать у скромного «оруженосца» («armiger») дворянина Гриммельсгаузена отсутствовала.⁹⁵ Предками Гриммельсгаузена оказались не бедные, жившие в лесной глуши крестьяне, а обедневшие и огорожавившиеся дворяне. И, следовательно, он приобрел свое «благородство» не личными заслугами, как утверждал Комментар. Вскоре барон Георг фон Шауенбург, занимавшийся генеалогическими разысканиями, натолкнулся на большое число документов, из которых явствовало, что некий Кристоф фон Гриммельсгаузен с 1650 по 1656 г. состоял на службе у его предков в качестве управляющего и некоторое время жил в деревушке Гайсбах неподалеку от Оберкирха. Не он ли автор «Симплициссимуса»? Барон привлек для дальнейшего изучения историка Ф. Рупперта,⁹⁶ а затем Густава Кёнке (1845—1920), который придал этим разысканиям невиданный размах. Он не пропустил ни одной местности, так или иначе указывавшей на Гриммельсгаузена, чтобы не побывать там и не обследовать сохранившиеся архивы. Результаты превзошли все ожидания. Во втором издании своего «Атласа картин по истории немецкой национальной литературы», вышедшем в 1895 г., Кёнке воспроизвел факсимиле некоторых найденных документов и кратко изложил биографию Гриммельсгаузена со множеством новых дат и сведений.⁹⁷

⁹⁵ A. D uncker. 1) Ein Gelnhäuser Kopialbuch des 16. Jahrhunderts mit der ersten Erwähnung der Familie Grimmelshausen. Zeitschrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde, N. F., Bd. IX, 1882, SS. 385—396; 2) Die Grimmelshausen, ein Thüringisches Adelsgeschlecht. Zeitschrift für deutsches Alterthum und deutsche Litteratur, Bd. XXVI, 1882, SS. 287—289.

⁹⁶ Ph. Ruppert. Johann Jacob Christof von Grimmelshausen. Zeitschrift für die Geschichte der Oberrheins, N. F., Bd. I, H. 3, Freiburg, 1886, SS. 371—375.

⁹⁷ G. K ö n n e c k e. Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationalliteratur. 2. Aufl. Marburg, 1895, S. 189.

Однако обещанная Кённеке публикация собранных документов и материалов надолго задержалась. Лишь после его смерти они были изданы в 1926—1928 гг. Я. Схольте, составив два обширных тома.⁹⁸

Одновременно вели поиски и другие ученые. Все новые находки то ставили в тупик, то указывали пути для дальнейших разысканий. В церковных книгах, протоколах ратуш и судов, в епископских канцеляриях и военных архивах было обнаружено множество документов и записей, важных не только для установления биографии Гриммельсгаузена, но и для истолкования его произведения. В. Гротефенд нашел в протоколах ратуши Гельнгаузена имя «капитана армии» Каспара Гриммельсгаузена из Гану и его жены Катарины, которых поспешили объявить родителями писателя.⁹⁹ Кённеке высказал предположение, что это его старший брат, а позднее выяснилось, что это его дядя.¹⁰⁰ А. Оверманн разыскал документы, раскрывающие обстоятельства, при которых Гриммельсгаузен получил должность претора в Ренхене.¹⁰¹

Долгое время к числу волнующих загадок принадлежало обозначение «Hubsprinthal», выставленное при датировке «Сатирического Пильграма» и романа «Дитвальд и Амелинда», вдобавок, как мы знаем, подписанного полным именем Гриммельсгаузена. И вот в генеральном архиве в Карлсруэ, куда были переданы акты из Оберкирхена, Схольте обнаружил письмо сына Гриммельсгаузена Франца Кристофа от 12 апреля 1711 г. В этом письме упоминалось местечко «Шпитальбюне» («Spitalbühne»), принадлежавшее некоему «господину Эльтцу, постоянно жившему в Эйсфельдте», где он был амтманом. Местечко так запустело, что было оценено судом в Гайсбахе всего в 15 флоринов. Его и откупил себе в «наследственное владение» Гриммельсгаузен в 1653 г. и затем, как пишет его сын, «обработал, засадил деревьями и, наконец, построил там два дома, и владел тем местом, покуда не помер».¹⁰² Новая биографическая подробность разрешила филологическую загадку. Гриммельсгаузен и на сей раз прибег к анаграмме.

В 1914 г. Артур Бехтольд, занимавшийся архивными изысканиями параллельно с Кённеке и Схольте, опубликовал биографию Гриммельсгау-

⁹⁸ G. Könnicke. Quellen und Forschungen zur Lebensgeschichte Grimmelshausens. Herausgegeben von J. H. Scholte. Bd. I—II. Weimar, 1926—1928.

⁹⁹ W. Grotefend. Grimmelshausens Eltern. Hessenland. 1897, Jg. XI, SS. 234—235.

¹⁰⁰ J. Koltermann. Kaspar Christoph v. Grimmelshausen, der Oheim des Dichters und seine Hanauer Umwelt. Neues Magazin für Hanauesche Geschichte, Bd. II, 1951—1954, SS. 1—19; H. Bott. Eine Erwähnung des Dichters Grimmelshausen in einen Althanauer Ratsprotokoll. Neues Magazin für Hanauesche Geschichte, SS. 19—20.

¹⁰¹ A. Overmann. Neues zur Lebensgeschichte J. Chr. v. Grimmelshausen. Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, N. F., Bd. XIV, 1899, SS. 486—489.

¹⁰² J. H. Scholte. «Hubsprinthal». Zeitschrift für Deutsche Philologie, Bd. XLIII, 1911, SS. 234—236.

зена, в которой прослеживал его жизненный путь на фоне событий его времени, в особенности Тридцатилетней войны.¹⁰³ Он не «вычитывает» биографических фактов из романа, а комментирует его на основании известных событий и взаимоотношений Гриммельсгаузена с исторически установленными лицами.

Начиная с 1639 г. биография Гриммельсгаузена стала известна во множестве подробностей, но весь ранний период его жизни оставался неизвестным. Приходилось искать косвенные свидетельства. Особенное внимание привлекали события и обстоятельства, упоминаемые Гриммельсгаузеном, которые он не мог узнать или почерпнуть из книг или официальных известий своего времени, однако достоверность которых частично или полностью подтверждается сохранившимися историческими документами. Было установлено, что многие эпизоды «Симплиссимуса» отвечают исторической действительности, но это все же не означало, что автор был свидетелем или участником описываемых им событий. Достоверность их описания говорила лишь о том, что он пользовался надежными источниками. В то же время тщательная проверка частных фактов показала, что Гриммельсгаузен довольно свободно обращался с несомненно известными ему фактами, а сопоставление «хронологии» романа и действительной хронологии событий раскрыло ее условность.

Отождествление Гриммельсгаузена с личностью главного героя стало невозможно. Путем сложного анализа документов и событий в романе Кённеке установил, что Гриммельсгаузен не был в крепости Липпштадт, где на долю Симплиссимуса выпало немало приключений, не совершал, как он, путешествия в Кёльн, а оттуда в Париж, не был в Филиппсбурге, когда его занимали имперские войска, не принимал участие в осаде крепости Брейзах веймарцами и т. д. При оценке биографического значения «Симплиссимуса» приходилось все более и более считаться с художественным замыслом произведения, его композицией, внутренним развитием действия и психологией героя.

Немаловажное значение имел и произведенный Кённеке анализ «Шпрингинсфельда», изобиловавшего описаниями военных событий. Сопоставление их с эпизодами «Симплиссимуса» помогло раскрыть технику введения Гриммельсгаузеном исторических деталей и установить некоторые его источники. Точно так же из других произведений Гриммельсгаузена, в особенности из составленного им «Симплицианского вечного календаря» (1670), были извлечены некоторые автобиографические признания, достоверность которых подтверждалась рядом веских соображений. Биография Гриммельсгаузена несколько потускнела и стала выглядеть прозаично. Перед нами уже не вечный бродяга, шут, ландскнехт, по-

¹⁰³ A. Bechtold. J. J. Chr. von Grimmelshausen und seine Zeit. Heidelberg, 1914 (2. Aufl., München, 1919).

рой даже мародер, а солидный и здравомыслящий бюргер, хотя и немало всего повидавший в это бурное и тревожное время.

Вот как в настоящее время вкратце представляется его биография. Предки его были владельцами деревушки Гримельсгаузен (Гримальтхузен) на левом берегу реки Верра в десяти километрах к северо-западу от города Гельнгаузена, обюргерились и утратили связь со своим сословием. Мельхиор, дед писателя, был пекарем и трактирщиком. В то же время он выступал в роли «ходатая» беднейших горожан. Предполагают, что и отец писателя занимался тем же. Дата рождения Ганса Якоба Кристофа Гриммельсгаузена и даже место рождения точно не установлены. Вероятней всего, он родился в Гельнгаузене в 1621 г. Если же принять, что он указал дату рождения Симплициссимуса, сообразуясь со своей собственной (день битвы при Хёхсте), то он родился 22 июня 1622 г. Опираясь на некоторые сведения в «Вечном календаре», можно утверждать, что с 1627 г. Гриммельсгаузен посещал начальную школу в Гельнгаузене, где учился до сентября 1634 г., когда город был захвачен и разорен имперскими войсками. В 1634 г. находился среди беженцев, укрывшихся в крепости Ганау. В начале 1635 г., вероятно, был захвачен кроатами, а затем гессенцами. С осени 1637 до весны 1639 г. находился в Вестфалии, пристав к армии Гёца, и принимал участие в различных операциях, в том числе в битве под Виттенвейером (август 1638 г.). Первые документальные свидетельства о его жизни датируются концом 1639 г., когда он занял должность писца у коменданта города и крепости Оффенбург в Бадене барона Ганса Рейнгарта фон Шауенбурга. Последний документ, прошедший в этой канцелярии через руки Гриммельсгаузена, датирован 5 мая 1647 г. С середины 1648 г. он служит в должности писца у полковника Иоганна Буркхарда барона фон Эльтера, коменданта Вассербурга на Инне. После заключения Вестфальского мира (24 октября 1648 г.) Гриммельсгаузен, по-видимому, пробыл на зимних квартирах в Верхнем Пфальце до весны 1649 г. Возвратившись в Оффенбург, вступил в брак с Катариной Хеннингер (30 августа 1649 г.), а вскоре занял должность управляющего родовым поместьем баронов Шауенбургов в Гайсбахе в Рентале, у подножья Шварцвальдских гор, неподалеку от города Оберкирхена. Должность его состояла в надзоре за имением и сборе податей с крестьян, находившихся в крепостной зависимости у Шауенбургов. С конца 1656 до 1658 г. он держит в Гайсбахе небольшой трактир, пытается начать торговлю лошадьми. В 1653 г. приобретает у «кригсрата» фон Эльца пустошь Шпитальбюне (также принадлежавшую Шауенбургам как верховным владельцам). Здесь он строит два дома, один из которых сдает в аренду Гансу фон Шауенбургу, получив взамен дом управляющего под замковой горой, который он отремонтировал, чтобы открыть трактир. Задолжав деньги Шауенбургам, он в 1660 г. оставил место управляющего и в 1661 г. поступил на службу к страсбургскому врачу Иоганну Куферу, получившему в залого-

вый лен поместье и замок Уленбург, где Гриммельсгаузен, наделенный титулом «бургфогта», исполнял обязанности управляющего и эконома. В Уленбурге была библиотека, и он, вероятно, получил возможность по-полниту пробовать в образовании. Иоганн Куфер, насчитывавший среди своих пациентов герцога Вюртембергского и страсбургского епископа, знал лично Мошероша, а также Румплера фон Лёвенталья и Иоганна Шнейбера, основавших в 1633 г. в Страсбурге учено-литературное общество «Под елью». Соприкоснувшись с литературной жизнью высших кругов, Гриммельсгаузен не вынес ничего, кроме горечи и разочарования, о чем свидетельствуют сатирические выпады в «Немецком Михеле» против «Лилиенштадта» (герб Страсбурга — лилия) и его насмешливое отношение к медикам (в «Сатирическом Пильграме», и «Симплиссимусе»), где в лице доктора Канариса он, по-видимому, вывел Иоганна Куфера). Гриммельсгаузен привел Уленбург в цветущее состояние, отремонтировал замок, построил хозяйственные службы, заложил виноградники. Не поладив с владельцами, он в 1665 г. возвращается в Гайсбах и в Шпитальбюне в своем старом доме открывает трактир «У серебряной звезды». Материальное положение его в это время тяжелое, о чем свидетельствует расписка от 20 февраля 1666 г. о перерасчете долга с бароном Филиппом Ганнибалом фон Шауенбургом.¹⁰⁴ К этому времени относится и датировка его книги «Сатирический Пильграм» — «Хибспинталь, 15 февраля 1666 года». Начав, по-видимому, еще в Уленбурге литературную деятельность, Гриммельсгаузен продолжает ее в Гайсбахе и Ренхене, где после долгих хлопот получает должность претора («Schultheiß»). Ренхен с приписанными к нему двумя деревеньками принадлежал страсбургскому епископству, но все городские должности были выборными. В обязанности претора входили не только разбор мелких судебных дел, составление имущественных актов и охрана порядка, но и сбор податей и налогов. Поэтому Гриммельсгаузен должен был представить залог, которым и послужило Шпитальбюне. После соблюдения всех формальностей 20 апреля 1667 г. он был утвержден в этой должности. Не следует преувеличивать ее значение или видеть в ней особый почет. «Должность эта, как раньше, так и впоследствии, всегда заступалась местным бюргером, который управлял ее наряду со своими ремесленными или сельскохозяйственными занятиями; она не требовала особенного образования и не давала права говорить о каком-то высоком, соответствующем заслугам, poste».

Ренхен был маленьким городишком, вдобавок разоренным Тридцатилетней войной и обезлюдевшим. Однако он стоял на торговых путях из Швейцарии, Тироля и Баварии, что дало ему возможность несколько оправиться. В Ренхене, невзирая на множество мелких и докучливых административных дел, Гриммельсгаузен и написал все основные произведе-

¹⁰⁴ Ph. Ruppert. Johann Jacob Christof von Grimmelshausen, S. 374.

дения, а также занимался составлением календарей. Последние годы его жизни совпали с французско-нидерландско-немецкой войной. В 1675 г. Ренхен попал в сферу военных действий, что чрезвычайно осложнило жизнь Гриммельсгаузена, который был тяжело болен. Литературная работа его пресеклась. 17 августа 1676 г. он умер, а в 1879 г. в тот же день в Ренхене был открыт памятник. В 1924 и 1951 гг. в Ренхене торжественно отмечались его годовщины и были выпущены специальные литературные сборники.¹⁰⁵

Достоверных портретов Гриммельсгаузена нет.¹⁰⁶ На основании упоминаний в документах, автобиографических и косвенных свидетельств о его облике сложилось такое представление: он был высокого роста, огненно-рыжий, дюж, вынослив, вспыльчив, общителен, деловит, большой любитель горячительных напитков,¹⁰⁷ балагур и рассказчик. Отличался хорошей памятью и любознательностью. По-видимому, он немного знал латынь, умел разбираться в географических картах, был начитан и обладал жизненным опытом. Почерк его, как отметили первые же архивисты, которые с ним столкнулись, был отменно разборчив, ясен, чист, «почти красив, так что даже трудно предположить, чтоб эта рука, кроме пера, когда-либо держала мушкет».¹⁰⁸

6. УСТАНОВЛЕНИЕ АВТОРСТВА

В конце XIX в. трехтомное (фельсекеровское) издание Гриммельсгаузена почти утратило значение биографического источника, но сохранилось убеждение, что по крайней мере все сочинения, вошедшие в него, принадлежат одному автору. Находка отдельных изданий лишь «уточняла» хронологию произведений, но не ставила под сомнение их авторство. Начало литературной деятельности Гриммельсгаузена стали относить к 1659—1660 гг., когда вышли книги «Летучий странник на луне или весьма затейливое и предиковинное описание Нового света луны» (1659) и «Диковинное сонное видение о Тебе и обо Мне», напечатанное вместе с еще одним сочинением — «Краткое и забавное описание неслыханного доселе

¹⁰⁵ Festschrift der Stadt Renchen zu Grimmelshausens 300 Geburtstag. Renchen, 1924; Festschrift anlässlich der Grimmelshausenstage von 17. bis 20. August 1951. Renchen, 1951.

¹⁰⁶ В разное время высказывались предположения, что портрет Гриммельсгаузена помещен на фронтисписе «Вечного календаря» (1670). Одни находили его в изображении старого Симплициссимуса, другие его сына. Последнее изображение помещено как портрет Гриммельсгаузена при статье о нем в «Meyers Neues Lexicon» (Bd. 3, Leipzig, 1962). Однако никаких документальных оснований для этого не имеется.

¹⁰⁷ В «Целомудренном Иосифе» автор говорит о себе, что ему не довелось побывать на пире, который задал Иосиф братьям, да если бы он на нем и был, то все равно «так бы упился до полного умопомрачения», что на следующий день ничего бы не помнил.

¹⁰⁸ Ph. Ruppert. Johann Jacob Christof von Grimmelshausen, S. 373.

путешествия, которое недавно совершил господин Бильграм фон Хоевандерн в Новый высокий мир луны» (1660).¹⁰⁹

Все три произведения вошли в собрание сочинений, изданное Фельсекерами в 1683—1713 гг. Имя путешественника Бильграм наводило на мысль о «Сатирическом Пильграме», принадлежавшем Гриммельсгаузену (на что он сам указывал в предисловии к «Симплициссимусу» в издании 1671 г. и в 1-й главе II книги романа). И когда в 1864 г. издатель словаря немецких псевдонимов Эмиль Веллер высказал мнение, что Гриммельсгаузен все же не был автором ни «Летучего странника», ни «Сонного видения о Тебе и обо Мне», то этому не придали значения.¹¹⁰ Генрих Курц уже знал, что «Летучий странник» является переводом французской книжки, выпущенной в 1648 г. Ф. Бодуэном¹¹¹ и в свою очередь переведенной не с испанского, как на ней обозначено, а с английского повести Френсиса Годвина (1592—1633).¹¹² Но он не усомнился в принадлежности перевода Гриммельсгаузену, ибо усматривал достаточное доказательство в словах Симплициссимуса в первом «Continuatio», где сказано, что он «скитался повсюду подобно летучему страннику».¹¹³

В 1914 г. было найдено издание «Летучего странника» 1667 г., выпущенное Вольфом Эбергардтом Фельсекером без указания места издания, но несомненно в Нюрнберге.¹¹⁴ В книге были два «Прибавления», отсутствующие во всех других изданиях: «Некоторые диковинные антиквитеты, кои летучий странник во время своего продолжающегося путешествия укрыл в отдаленной крепости на море, обитаемой турками, узрел и описал», и «Экстракт знатному трапезному и прочим проторям, что господин фон Хиршау в прошлую масляницу издержал и по заведенному обычаю торжественно исхарчил». Это как будто снова указывало на Самуэля Хиршфельда, будущего автора «Симплициссимуса». И хотя складывалось сомнение, что перевод «Летучего странника» принадлежал Гриммельсгаузену, можно было думать, что он был автором «Прибавлений», близких

¹⁰⁹ В числе известных в настоящее время одиннадцати изданий «Сонного видения» (отдельно и в комбинациях с двумя другими) укажем: *Satyrische Gesicht und Traumgeschichte*: 1) *Der fliegende Wanders-Mann*; 2) *Seltame Traum-Geschicht von Dir und Mir*; 3) *Kurtze und Kurtzweilige Reise-Beschreibung nach der obern neuen Monds-Welt. Alle lustig und nützlich zu lesen. Gedruckt Anno 1667. S. l., in kl. 12° (1—117; 1—96; 1—62 S.)*. Экземпляр ГПБ. Шифр — 6.39.11.53.

¹¹⁰ E. Weller. 1) *Annalen der poetischen National-Literatur der Deutschen in XVI und XVII Jahrhundert. Bd. 2. Freiburg, 1864, S. 394*; 2) *Neuer Anzeiger für Bibliographie und Bibliothekwissenschaft. Freiburg, 1857*.

¹¹¹ D. Gonzales. *L'Homme dans la Lune. Paris, 1648*.

¹¹² F. Godwin. *The Man in the Moon. London, 1638*.

¹¹³ H. Kurz. H. J. C. v. Grimmelshausens *Simplicianische Schriften. Bd. I. Leipzig, 1863 (Einleitung, SS. XXV—XXVI)*.

¹¹⁴ H. Elsner. *Grimmelshausen. «Der Fliegende Wandersmann nach dem Mond»*. *Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen, Bd. 132, 1914, H. 1—2, SS. 1—35*.

по духу «Симплициссимусу». В этом курьезном реестре были такие «раритеты»: 1. Адама, нашего первого праотца, жемчужный шнур на шляпу, зеленым шелком и золотыми пластинками вышитый, какой он носил, когда шел в кумовья. 2. Его плащ из дамаскина, подбитый дорогим московским мехом, который он надевал, когда просил кого-нибудь к себе в кумовья. 3. Перламутровый ларец, в коем покоятся пятнадцать волосков из бороды Мафусаила, кои выпали у него, когда он достиг 800 лет своего возраста, вследствие чего он предсказал, что скоро помрет... 7. Кусочек фигового листа, которым прикрывалась Ева. 8. Колыбель аугсбургской работы, в которой Ева качала своих детей... 23. Перекладина лестницы, которую Иаков видел во сне... и т. д. Что же касается «Сонного видения» и «Путешествия Бильграма», то сомнений в их авторской принадлежности уже не возникало. В 1921 г. Г. Борхердт включил оба произведения в «Собрание сочинений» Гриммельсгаузена. Но вскоре Юлия Целариус нашла и описала ранее неизвестный экземпляр «Сонного видения о Тебе и обо Мне», изданный в 1656 г. в Шлауерхаузене, принадлежавший Мошерошу, который в собственноручно составленном им каталоге обозначил: «Г. Венатор. „Обо Мне и Тебе“». ¹¹⁵ Подтверждалось это и заметкой, составленной в 1725 г. Георгом Иоаннисом, сообщавшим, что Венатор опубликовал сатиру под названием «Сонное и ночное видение» («Traum- und Nacht-Gesicht»), в которой под вымышленными именами вывел различных лиц, близких к герцогскому двору Пфальц-Цвейбрюкен, где он сам долго служил, а также что «некоторые» приписывают Венатору перевод «Летучего странника», вышедший в 1660 г. ¹¹⁶

Изучая биографию Венатора, Э. Фолькманн сопоставил собранные им факты с содержанием «Сонного видения». Все решительно географические имена, религиозные, политические и литературные отношения и взгляды указывали на Венатора и не подходили к Гриммельсгаузену. ¹¹⁷ Бальтазар Венатор (1594—1664) — скромный писатель, прошедший жизнь при мелких немецких дворах, ученый и дипломат, близкий к кругу Опица и Мошероша, был несомненно автором первых двух книг. Что же касается «Летучего странника», то перевод его Венатором Фолькманн считал маловероятным, а «Прибавление» ему уже вовсе нельзя было приписать, так как оно появилось после его смерти.

¹¹⁵ J. Cellarius. Zur seltzamen Traumgeschichte. Euphorion, 17. Ergänzungsheft, 1924, SS. 97—99.

¹¹⁶ G. Chr. Joannis. Miscella historiae Palatinae, cum maxime vero Bipontinae inservientia. Franckfurt a. M., 1725.

¹¹⁷ E. Volkman n. Balthasar Venator. Berlin, 1936. Помимо стихотворных панегириков на латинском языке и мелких сочинений Венатору принадлежит «эпистола» польскому магнату Андрею де Лесно с описанием бедствий и разорения во время Тридцатилетней войны (Epistola Balthasari Venatoris de calamitatibus ducatus Bipontini ad illustrissimum comitem dominum Andream de Lesno Polonum. Francofurti, 1637).

По-видимому, Гриммельсгаузен, который как раз в это время завязал отношения с Фельсекером, действительно написал это «Прибавление», когда его предприимчивый издатель решил перепечатать «Летучего странника». По мнению Фолькманна, этим и объясняется появление всех трех произведений в составе позднейшего собрания симплицианских сочинений Фельсекера. Этот аргумент нельзя считать особо надежным, ибо как раз «Прибавление» и отсутствует во всех трех изданиях этого собрания. Важнее другие соображения Фолькманна, который заметил, что и содержание «Прибавления» говорит в пользу этой гипотезы. Пункт 51 «описи»: «Стеклянные витые рюмочки, которые выдeldывал мастер Бартель в Шпессерте, из коих Ной впервые напился дoпьяна», — указывает на родину Симплициссимуса. К этим замечаниям Фолькманна следует еще добавить, что в «Прибавлении» дважды упоминается «першпективная трубка» — одна, которой (вместе с морским компасом) «пользовался Иона во чреве кита», и вторая — царя Давида, служившая ему для наблюдения за Вирсавией. В «Симплициссимусе», герой также пользуется «першпективной трубкой» (III, I и VI, 1). 87 «Антиквитетов» описи (из 89 номеров) относится к Библии, а из них в свою очередь 75 к Ветхому завету, а как раз в это время Гриммельсгаузен закончил свой роман на библейскую тему «Целомудренный Иосиф», изданный в том же году Фельсекером.¹¹⁸

М. Кошлиг отметил в «Прибавлении» ряд совпадений индивидуальных языковых форм с различными другими произведениями Гриммельсгаузена.¹¹⁹ Так было установлено, что, за исключением «Прибавления» к «Летучему страннику», которое с большой вероятностью можно приписать Гриммельсгаузену, все три его ранних произведения в действительности ему не принадлежат. Еще раньше, в 1912 г., Схольте, занимавшийся изучением «собрания сочинений», изданного Фельсекерами, доказал, что включенный в него трактат «Объявление Симплициусом причин, по коим он не мог бы стать католиком», напечатанный от имени некоего Бонамико, не принадлежит Гриммельсгаузену. Схольте установил подлинного автора трактата — им был Ангелус Силезиус. Схольте также вывел из состава сочинений Гриммельсгаузена «Манифест против тех, кто по странному неблаговолению и злобе глумится над красными и червонными бородами».¹²⁰ Было разыскано и установлено и несколько произведений Гриммельсгаузена, не включенных в «Собрание сочинений» Фельсекером.

Существенное значение имела находка, которую сделала Герта фон Цигезар. В «Continuatio» к роману (в издании 1671 г.) Симплициссимус

¹¹⁸ В «Прибавлении» можно еще указать несколько слов, также встречающихся в «Симплициссимусе»: волынка («дискантовая скрипка»), московские меха, город Ульм, упоминаемый в «Вечном календаре», и др.

¹¹⁹ М. Koschlig. *Grimmelshausen und seine Verleger*. Berlin, 1939, SS. 56—65.

¹²⁰ J. H. Scholte. *Probleme der Grimmelshausenforschung*. Groningen, 1912.

выступает как составитель календарей. Было почти несомненно, что и эти истории предназначались для них. То, что они туда не попали, вызывало недоумение. Если предпрятие не состоялось и Гриммельсгаузен просто приложил к изданию «Симплициссимуса» написанные ранее истории, то почему их оказалось три? Недоумения отчасти рассеялись в 1924 г., когда была обнаружена сперва библиографическая запись о выходявшем с 1670 г. «Симплиция Симплициссимуса европейском календаре Диковинных историй», а потом и само издание за годы 1671—1673 и 1675. В календаре за 1672 г. было обнаружено «Третье прибавление, или Continuatío» к «Симплициссимусу».¹²¹ Кроме того, в этих календарях были напечатаны «Шутливые речи» и анекдоты, прикрепленные к имени Симплициссимуса. Участие Гриммельсгаузена в календаре 1675 г. и в «Астрологическом ежегоднике» 1673 и 1675 гг. окончательно не доказано.

Издание народных календарей было для Гриммельсгаузена кровным делом, с которым он был долго связан. «Народный календарь» в XVII в., да и позднее, нередко был единственной настольной книгой для целой семьи зажиточного крестьянина, ремесленника или мелкого торговца. К нему обращались за справками и назидательным чтением стар и млад. Помещенные в календарях занимательные истории, анекдоты, полезные сведения из самых различных областей читались и перечитывались по многу раз. Спрос на календари был велик. Они предназначались для самых разных целей и выходили под множеством заманчивых и затейливых названий. Имя Симплициссимуса, по-видимому сразу завоевавшее популярность, очень подходило к народным календарям, а Гриммельсгаузен был как бы их прирожденным составителем.

Следует упомянуть и о находке М. Кошлига, обнаружившего (в 1940 г.) экземпляр ранее неизвестной исследователям брошюры «Война бород, или Отбрех неправоназванной Рыжей бороды от всемирно прославленной Черной бороды Симплициссимуса», изданной в качестве «утешительной безделицы» на 1673 г.¹²² По мнению Кошлига, при издании «Собрания сочинений» Иоанн Ионатан и его помощники ошибочно поместили в нем «Манифест», так как смутно помнили, что автор «Симплициссимуса» был рыжебородым и им была написана шуточная книжка в защиту рыжих. Так шаг за шагом устанавливался состав литературного наследия Гриммельсгаузена от «Симплициссимуса» до связанных с ним мелких трактатов и календарных поделок, которые в свою очередь многое объясняют в этом романе.

¹²¹ H. von Ziegeler. Grimmelshausen als Kalenderschriftsteller und die Felbecker-schen Verlagsunternehmungen. Euphorion, XVII Ergänzungsheft, 1924, SS. 50—79.

¹²² M. Koschlig. Der Bartkrieg, ein Werk Grimmelshausens. Neophilologus, Bd. 24, 1940, S. 42 ff. «Война бород» перепечатана в кн.: Grimmelshausens Simpliciana in Auswahl. Herausgegeben von J. H. Scholte. Halle, 1943.

7. ИСТОЧНИКИ

В вышедшем в 1670 г. «Вечном календаре» помещен «дискурс» Симплициссимуса с его матушкой:

«Мать: Сударь сын, сдается мне, что ты взаправду купил еще шесть календарей. Дивуюсь, что ты так глупо переводишь деньги.

Симплициссимус: Любезная матушка! Лучше потратиться на книги, нежели проиграть. Ведь у меня нет другой радости на свете, как читать».¹²³

Эти слова могут быть отнесены к самому Гриммельсгаузену. Составитель народных календарей, он, разумеется, читал продукцию своих конкурентов, но круг его чтения не ограничивался календарями. Его сочинения наполнены горделивой эрудицией, украшены библейскими, мифологическими и историческими именами, пестрят ссылками на античных, средневековых и позднейших писателей. Он знает имена Демокрита, Эмпедокла, Аристотеля, Плутарха, Цицерона, Овидия, Сенеки, Апулея, Филона Иудея, Иосифа Флавия, Плиния, Страбона, Аполлониды, Аверроеса, Галена, Раймунда Луллия, Парацельса, Коперника, Афанасия Кирхера и др. В романе «Целомудренный Иосиф» он ссылается на Талмуд и сочинения раввинов, а в «Дитвальде и Амелинде» приводит перечень источников и «хроник», «по коим составлена сия история». Он был начитан в богословской и политической литературе, обладал познаниями в области географии и естественных наук, имел представление о медицине. Откуда все это взялось?

А. Келлер полагал, что автор «Симплициссимуса», как и его герой, вырос без всякой школы, да и впоследствии был не слишком учен. В «Сатирическом Пильграме» сочинитель сообщает, что он «ничего не изучал, ничему не учился и ничего не знал», ибо уже «с десяти лет стал возгревшим мушкетером», и потому «вырос неотесанным грубияном, невежественным ослом, игнорантом и идиотом». Но уже Генрих Курц заметил, что это «признание» относится не к автору, а к литературному герою, явившемуся прообразом Симплициссимуса. Сам Гриммельсгаузен, по мнению Курца, владел латинским и французским языками и, вероятно, еще греческим и испанским, знал античных писателей и сочинения «отцов церкви». Ю. Титман, напротив, полагал, что Гриммельсгаузен усвоил лишь начатки латыни, а свои знания почерпнул «из энциклопедических трудов, которые идут навстречу склонности к многостороннему, хотя и поверхностному образованию». Ф. Бобертаг утверждал, что автор «Симплициссимуса» почти не знал латыни, ибо допускал элементарные ошибки

¹²³ Des Abenteurlichen Simplicissimi Ewig-währender Calender. Nürnberg, 1670, S. 40.

в цитатах. Его знания «языческих поэтов» отрывочны, естественнонаучный кругозор узок.

В XVII в. даже образованные люди, ученые и писатели, охотно пользовались известиями, кочующими из одной книги в другую, не утруждая себя их критической проверкой. Полнота знаний понималась как накопление их объема, что порождало простое коллекционирование и нанизывание различных сведений, внутренне не связанных между собой, при этом особо ценились неслыханные, поражающие воображение факты, события и подробности. Это было время кунсткамер и раритетов, монстров и диковин, обильных, но не достоверных цитат. Память была девизом эпохи, опорой разума, признаком одаренности, едва ли не синонимом самого знания. Памятью кичились и восхищались, ее берегли и воспитывали. И не случайно во второй книге «Симплициссимуса» ей уделено столько внимания. На этом фоне и надо воспринимать причудливую «ученость» народного писателя Гриммельсгаузена. Не получив систематического образования, он все же был человеком начитанным и памятливым, цепко собиравшим знания на протяжении всей своей жизни. В 1912 г. А. Бехтольд даже предположил, что Гриммельсгаузен должен был «обладать незаурядной библиотекой», даже если вычесть книги, которые он, вероятно, не читал, а цитирует по современным компиляциям.¹²⁴ Теперь можно считать установленным, что Гриммельсгаузен не располагал значительной библиотекой. Под рукой у него было всего пять-шесть книг энциклопедического содержания, которые он до отказа использовал. Его настольной книгой была составленная итальянским полигистором Томазо Гарцони (1549—1589) «Piazza universale, сиречь всеобщее Позорище, или Торжище и Сходбище всех профессий, искусств, занятий, промыслов и ремесел». Книга вышла в 1585 г. в Венеции, а ее первый немецкий перевод появился в 1619 г.¹²⁵

¹²⁴ A. Bechtold. Zur Quellengeschichte des «Simplicissimus». Euphorion, Bd. XIX, 1912, H. 1, S. 22.

¹²⁵ Th. Garzoni. Piazza universale, das ist. Allgemeiner Schauplatz, oder Marckt und Zusammenkunfft aller Professionen, Künsten, Geschäften, Händlen und Handtwercken, so in der gantzen Welt geübt werden. . . Franckfurt a. M., 1619, fol. 731 + XII (Register). Экземпляр БАН. Изд. 1641, Franckfurt a. M., quarto. Изд. 1659, Franckfurt a. M., quarto, 1084 S. (БАН). Первый указал на книгу Гарцони М. Мейснер (M. Meißner. Zur Geschichte der Simplicianischen Schriften. Mitteilungen der Geschichts- und Altertumsforschenden Gesellschaft des Osterlandes, Bd. XI, 1904, SS. 259—304). обстоятельно исследовал этот источник Я. Г. Схольте, установивший, что в «Сатирическом Пильграме» 146 заимствований из книги Гарцони, в «Симплициссимусе» 39 (из 17 дискурсов и «Вступления»), в «Кураже» 3, в «Чудесном птичьем гнезде» 13, в «Судейской Плутоне» 24, в «Немецком Михеле» 15, в «Ratio Status» 5, в «Мире наыворот» 21. J. H. Scholte. Zonagri Discurs von Waarsagern. Ein Beitrag zu unserer Kenntnis von Grimmelshausens Arbeitsweise in seinem Ewigwährenden Calender mit besonderer Berücksichtigung des Eingangs des Abentheuerlichen Simplicissimus. Verhandelingen der koninklijke Akademie van Wetenschappen. Afdeling Letterkunde. Nieuwe Reeks Deel XXII. Amsterdam, 1921, SS. 1—155, XII Taf.

Эта своеобразная энциклопедия состояла из 153 дискурсов, сгруппированных вокруг различных сторон человеческой деятельности. Рассуждение о поэзии, например, было включено в дискурс о «людях, пишущих книги». По словам Схольте, книга Гарцони заменяла Гриммельсгаузену целую библиотеку. В «Симплициссимусе» использовано по меньшей мере 16 дискурсов Гарцони и его предисловие. «Сатирический Пильграм» почти целиком построен на материале, заимствованном у Гарцони. В «Вечный календарь» перенесены два дискурса: «О писании календарей» и «О ворожке и гадании», причем мудрец, беседующий с Симплицием, анаграмматически обозначен Цонагри. Да и в «Сатирическом Пильграме» Гарцони назван по имени. Таким образом, Гриммельсгаузен и не думал скрывать свой основной источник.

Нельзя полностью отвергать и знакомство Гриммельсгаузена с латинскими источниками. По-видимому, несмотря на слабое знание латыни, он пытался обращаться к сочинениям на этом языке или пользовался помощью людей, на которых полагался. Борхердтом установлено, что Гриммельсгаузен перенес в «Симплициссимус» (II, 8) ошибочную ссылку на хронику церковного писателя IV в. Евсевия из энциклопедического сочинения Цвингера «Theatrum vitae humanum» (Basel, 1565), послужившего ему непосредственным источником.¹²⁶

Эрудиция Гриммельсгаузена простонародна. Его полигисторство наивно. Он заимствует латинские цитаты вместе с печатками. Он не только не проверяет, но и не согласовывает свои источники, так что название одной и той же местности может оказаться у него в разных транскрипциях. На критику источников он и вовсе не отваживается, и если однажды заметил, что Плиний «завирается», то последовал в этом Гарцони, представлявшему для него еще больший авторитет. Но сила его художественного дарования такова, что Гриммельсгаузен не перегружает «Симплициссимуса» заимствованным материалом и не вносит его механически, как поступало большинство его современников. Он перерабатывает и переосмысляет «чужой» материал, переводит нейтральный, безличный текст в сказовую форму, придает ему пластичность. И что самое главное — меняет его социальный смысл и направленность. Именно так использовано им затерянное в огромной книге Гарцони рассуждение о знати (дискурс XIX). Гарцони лишь мимоходом делает выпад против «подлых и ничтожных людей», которые «силятся стать рыцарственными господами и покупают себе дворянские дипломы и повсюду чванятся таким благородством, что заставляют долго говорить о себе и указывать на них пальцами, что все служит не к их чести, а к стыду и посмеянию», ибо «ни о чем другом нельзя порассказать о них, кроме того, что их деды, а то и отцы были

¹²⁶ H. H. Borchardt. *Miszellen zu Grimmelshausens «Simplicissimus»*. Euphorion, Bd. 23, 1921, SS. 288—294.

поденщики и носильщики, их двоюродные братья — медведчики, братья — палачи, сестры — шлюхи, матери — сводни и, одним словом, весь их род столь загажен и обесчещен, да и они сами так черны, как если бы сбежали из закопченной кузницы хромого Вулкана, как доподлинные братья Бронта и Стеропа». Гарцони объявляет, что подобным «нобилистам» можно прямо в лицо сказать, что «деревенская хижина была их дворцом, в котором они рождены и воспитаны . . . их поместья — простое поле, на котором они выискивали свое жалкое пропитание, их убранные коврами покои и залы — грязная и закопченная дыра, где по-настоящему не увидишь ни солнца, ни месяца, их слуги и лакеи — овцы, козы и свиньи, которых они пасли, плуг — их рыцарское оружие, с которым они упражнения имели, доение коров — их дворянская потеха, рытье канав — их *disciplina militaris*, погонять ослов или таскать на носилках и возить на тележках навоз — их капитанство, и тому подобные вещи, коих они должны стыдиться, когда это будет брошено им в упрек, дабы осадить их высокомерие».

Займствовав эту цитату, Гриммельсгаузен разрывает ее на две части. Первая составляет зачин «Симплициссимуса» и сатирически заострена против «новой знати», вторая служит противоположной цели — новоявленным «нобилистам» противопоставляется древнее благородство мужицкого рода, «от самого Адама ведущегося». В барочной учено-риторической форме прославляется труд крестьянина, «ратоборствующего со всей землей» и кормящего все остальные сословия. Сухое и отвлеченное рассуждение Гарцони наполняется горечью и иронией, приобретает сатирический смысл, превращается в патетическую метафору.

В «Вечном календаре» Гриммельсгаузен как бы беседует с книгой, пребывает ее нетерпеливыми репликами и замечаниями, которые вкладывает как в уста Симплициссимуса, так и поучающего его Цонагри. Длинное рассуждение об ауспичиях (со ссылкой на Филострата и Аполлония Тианского) завершается рассказом о мудрости змей и языке птиц. Цонагри сообщает, что, по словам Демокрита, если смешать кровь некоторых известных птиц, а затем выпить, то начнешь понимать их речь. Симплициссимус пребывает его: «И я читал в одной старой монастырской книге, что ежели взять язык коршуна и продержать его три дня в меду, а затем положить себе под язык, то начнешь понимать всевозможных птиц».

Цонагри: А чего ж ты сам до сих пор не попробовал?

Симплициссимус: Да я-то уж не преминал бы, когда бы только раздобыл коршунный язык.

Цонагри: Ты должен сей книге, а также всему тому, что я допреж сего тебе тут поведал, меньше давать веры, нежели зубодерам и продавцам териака, ибо сие не что иное, как здоровенная, ядреная, хорошо начиненная ложь».

Гриммельсгаузен был охотник до сочинений, в которых исторические сведения смешивались с фантастикой и народными поверьями. В книге Иоганна Преториуса (1630—1680) «*Anthropodemus plutonicus*, сиречь все-светное описание диковинных людей» (1666) Гриммельсгаузен нашел заимствованные у античных авторов сведения о легендарных народах: гиперборейях, аримаспах и др., упоминаемых в «Симплициссимусе». Но эта же книга содержала рассказы и рассуждения о сильфах, русалках, кобольдах, гномах и пр. Интересно, что и сам Преториус ссылается на сочинение Самуэля Хиршфельда «Сатирический Пильграм»¹²⁷ и упоминает о нем в другой своей книжке «Волшебный прут» (о рудоискательной «вилке»), вышедшей в следующем году.¹²⁸

Кое-что почерпнул Гриммельсгаузен в сочинении итальянского полигистора Пиетро Мексиа «*Sylva variarum lectionum*, сиречь гисторический природный и диковинный мир достопримечательных рассказов, странных и удивительных событий, различных темных и тонких вопросов и т. д.» (Севилья, 1540; немецкий пер.: Базель, 1664; вторично Нюрнберг, 1668).¹²⁹

Неоднократно использована в «Симплициссимусе» «Натуральная магия, сиречь Книга искусств и чудес, в коей содержатся диковинные секреты, тайны и кунштуки» Вольфганга Хильдебранда, вышедшая в 1612 г. и затем неоднократно переиздававшаяся под все более пышными заглавиями.¹³⁰ Естественноисторические сведения были в ней перемешаны со множеством практических советов и рецептов, имеющих отношение к народной медицине и ветеринарии. Здесь можно было узнать, и по каким признакам выбирать себе лошадь, и как с помощью «чихательного порошка» определить, не согрешила ли до замужества невеста, а заодно и получить средство, как скрыть такой грех, если он был. Последнюю часть этого издания составляла «Книга планет» — краткий самоучитель по астрологии, физиогномике и хиромантии. Автор, благочестивый протестант, отмежевывается от черной магии, некромантии и других ужасов, «от каковых злых дел да хранит нас всемилостивый бог!». Большой дискурс об астрологии и составлении гороскопов в «Вечном календаре» Гриммельсгаузен составляет на основе материала, заимствованного из со-

¹²⁷ J. Praetorius. *Anthropodemus Plutonicus. Das ist eine Neue Welt-Beschreibung...* Th. II. Magdeburg, 1667 (ГПБ).

¹²⁸ J. Praetorius. *Gazophilaci gaudium. Das ist: Ein Ausbund von Wünschel-Ruthen...* Leipzig, 1667.

¹²⁹ P. Mexia. *Sylva variarum lectionum. Das ist: Historischer Geschicht-, Natur- und Wunderwald, allerhand merkwürdiger Erzehlungen, sonderbarer und seltsamer Begebenheiten, Auflösung unterschiedlicher dunckler und subtiler Fragen etc...* Nürnberg, 1669, (ГПБ).

¹³⁰ W. Hildebrand. *Magia naturalis. Das ist Kunst- und Wunderbuch Darinnen begriffen wunderbare Secreta, Geheimnisse und Kunststücke...* Erfurt, 1663 (БАН).

чинения франкфуртского астролога Иоганна фон Хагена, приверженца реформации, выступавшего под псевдонимом Индагине.¹³¹

Гриммельсгаузен обращался к книгам, вышедшим как из протестантских, так и из католических кругов. Среди его источников была «Сокровищница сверхъестественных, чудесных и достопримечательных историй» женеvского пастора Симона Гулара (1543—1628), вышедшая в немецком переводе в 1613 г.,¹³² но ему была известна и «Демонomanия», переведенная еще в 1581 г. Иоганном Фишартом, воинствующая книга католического философа и юриста Жана Бодена,¹³³ потратившего всю свою ученость на оправдание процессов ведьм, и сочинение Николая Ремигиуса «*Demonolatria*, сиречь о нечисти и волшебствующих духах».¹³⁴ Эти сборники были наполнены не только рассуждениями, но и потрясающими воображении рассказами о «подлинных происшествиях». Из книги Ремигиуса в «Симплициссимус» и перенесен рассказ о некой колдунье Катарине Превота, имеющий столетнюю давность, однако прикрепленный Гриммельсгаузенoм к «недавнему времени» (II, 18). От его внимания ускользнул появившийся в 1652 г. на немецком языке составленный испанским католическим писателем Антонио Торквемада¹³⁵ «Гексамерон, или Шесть дней, или, точнее, Шестидневные беседы о некоторых трудных вопросах различных наук наряду с достопримечательными и доселе неслыханными историями», где одновременно с описанием мифологических кентавров, фавнов и сатиров немало места уделялось бродячим рассказам о привидениях.

Возможно, ему была известна и переведенная с французского языка книга Франсиска Россета «*Theatrum Tragicum*», содержащая тридцать назидательных и устрашающих новелл, дополненных учеными рассуждениями и «примерами, согласующимися с рассказанным», с обширным

¹³¹ Первое латинское издание 1522 г. Немецкий перевод: J. I n d a g i n e. Die Kunst der Chiromantzey, der Physiognomey, Natürlichen Astrologie, Complexion eins yeglichen Menschens... Natürlichen Ynflüsez der Planeten. Der zwölf Zeichen Angesychten. Etliche Canones, zu erkantnüß der menschlichen Kranckheiten... Straßburg, 1523 (2. Aufl., 1528).

¹³² S. Goulart. Schatzkammer übernatürlichen, wunderbaren und wohlndenckwürdiger Geschichten. Straßburg, 1613.

¹³³ J. Bodin. De daemonomania magorum. Von Außgelassenen Teuffelsheer, der besessenen Hexen und Hexenmeister... Straßburg, 1581 (БАН); 2. Aufl., 1591 (ГПБ).

¹³⁴ N. Remigius. Demonolatria, das ist von Unholden und Zauber-Geistern... Franckfurt a. M., 1598 (БАН); изд. 1693 (ГПБ). Заимствования из книги Ремигиуса установлены Г. Борхердтом (H. B o r c h e r d t. Miscellen zu Grimmelshausens «Simplicissimus». Euphorion, Bd. 23, 1921, H. 2, SS. 291—292). О роли магии в представлениях немецких писателей XVII в. см.: F. G. W a g m a n n. Magie and natural science in german baroque literature. N. Y., 1942.

¹³⁵ A. de Torquemada. Hexameron oder Sechs Tage-Zeiten oder vielmehr Sechstägiges Gespräch über etzliche schwere Puncten in verschiedenen Wissenschaftten, beneben vielen denckwürdigen und zuvor fast nie erhörten Historien... Cassel, 1652 (ГПБ). Эта книга упомянута в «Симплициссимусе» (II, 18).

библиографическим указателем источников.¹³⁶ Особенно привлекали Гриммельсгаузена описания путешествий в далекие* и малоизвестные страны, во множестве появившиеся после великих географических открытий XVI в. Подлинные и вымышленные, ученые и баснословные, приукрашенные фантастическими подробностями, они являлись своеобразным литературным жанром. В романе «Чудесное птичье гнездо» он ссылается на «Путешествие Адама Олеария в Московию и Персию» как на один из источников «Иосифа». В «Сатирическом Пильграме» помещено известие, что в Московии запрещено «пить табак», а у ослушников отрезают носы, о каковых строгостях сообщал и Олеарий. Все это говорит о раннем знакомстве Гриммельсгаузена с «Путешествием» Олеария, давшим ему материал для трех глав «Симплиссимуса», посвященных пребыванию героя в Московии (V, 20—22), дополненных некоторыми сведениями из «Theatrum Euroraeum» и из книги Мартини «История татарской войны» (1654).

Последние главы шестой книги «Симплиссимуса» изложены в виде «реляции» голландского капитана Яна Корнелиссена, сообщающего сведения о жизни Симплиссимуса на острове, куда он был выброшен бурей. Подобные «реляции» издавались в виде отдельных брошюр и «летучих листов» и шли нарасхват, особенно среди моряков. Как раз в 1668 г., когда дописывалась шестая книга «Симплиссимуса», всю Европу обошла «реляция» некоего Генри Корнелиуса фан Слуттена, изданная в Лондоне и в течение года переведенная на главнейшие европейские языки.¹³⁷ Во Франкфурте «реляцию» выпустили одновременно два издателя: Сигизмунд Латомус и Вильгельм Зерлин — последний в качестве приложения к издаваемому им «Diarium Euroraeum» под отдельным заглавием: «Вновь открытый остров Пинес, или Доподлинное описание четвертого островка, названного Пинес, лежащего в неизведанной южной стране, который в 1589 г. был населен одним мужчиной и четырьмя женщинами английской нации, кои были заброшены туда злополучной бурей и кораблекрушением, обжились там и расплодился многолюдно, а в прошедшем 1667 г. снова открыты нидерландским судном. Тут же поведено местоположение и особенности сказанного острова, какие плоды и животные там обретаются и как английская нация там разделалась. Все описано первым зачинателем сей нации и через сыновей его сыновей сообщено нидерландским корабельщикам и переведено на немецкий язык

¹³⁶ F. Rosset. Theatrum Tragicum, oder Wunderlich und Traurige Geschichten. 3. Aufl. Tübingen, 1634 (БАН).

¹³⁷ Только в 1668 г. вышли два английских, три голландских, по крайней мере пять немецких, французское, итальянское и др. издания как в кратких, так и в более пространных редакциях. Библиографию см.: M. Hirpe. Eine Vor-Defoesche englische Robinsonade. Englische Studien, Bd. XIX, 1894, SS. 66—104; J. H. Scholte. Die Insel der Fruchtbarkeit. Zeitschrift für Bücherfreunde, N. F., Bd. XXII, 1930, H. 3, SS. 49—55; A. O. Aldridge. Polygamy in early fiction: Henry Neville and Denis Veiras. Publications of the modern Language-Association of America, 1950, june, pp. 464—472.

с напечатанного в 1668 г. в Амстердаме нижненемецкого экземпляра. Украшено двумя приличествующими сему предмету фигурами, резанными на меди».¹³⁸

В царствование королевы Елизаветы компания английских купцов получила разрешение отправиться в Восточную Индию, чтобы основать там фактории. С этим караваном из четырех судов отправился купец, намеревавшийся обосноваться в Индии. Он взял с собой жену, сына лет двенадцати и дочь лет четырнадцати, двух служанок и арапку, а также бухгалтера по фамилии Пинес, от имени которого и ведется рассказ. В понедельник 3 апреля 1589 г. они погрузились на судно, взявшее 150 ластов груза, 14 мая с попутным ветром они прошли мимо Канарских островов, а 1 августа достигли о. Св. Елены, где задержались, так как на кораблях появились больные. Когда они были уже на виду острова Св. Лоренца, поднялась буря, рассеявшая флотилию. На корабле, где находился Пинес, утратили счет дням, со страхом ожидая, что в любое время «натолкнутся на скалы или подводные камни». Однажды рано поутру они завидели «высокий скалистый остров», отчего страх их умножился, ибо буря не утихала, и они потеряли всякую надежду «на спасение корабля и самой жизни». Капитан, купец и другие пассажиры соскочили в большой бот, другие попрыгали через борт, спасаясь вплавь, но все потонули. Только бухгалтер, дочь хозяина, две служанки и арапка, не умевшие плавать, остались на корабле. А когда судно разбилось о рифы, они на оторвавшемся бушприте добрались до острова, оказавшегося необитаемым. У бухгалтера нашлись трут и огниво. Море выбросило много клады с разбитого корабля, так что они нашли немного платя и утварь. Из ящиков и обломков корабля построили хижину и покрыли ее парусиной. Остров изобилдовал плодами, на нем водились крупные беспомощные птицы (дронты) и кроткие животные, похожие на коз. Благодатный климат и образ жизни способствовали свободе отношений. Ими овладело стремление «продолжить наш род, дабы не остаться под старость без утешения». Через сорок лет пребывания на острове у бухгалтера насчитывалось 47 человек детей, 560 внуков и 1789 правнуков. Раз в месяц он собирал население острова, поучал из Библии и устанавливал новые браки. Он разделил всех на четыре фамилии (по материнской линии), запретив браки внутри одной фамилии. Дожив до восьмидесяти лет, он благословил всех, вручив бразды правления старшему сыну (от дочери хозяина).

¹³⁸ Экземпляр ГПБ. Издание Латомуса (восходящее к сокращенной голландской редакции изд. 1668 г.) воспроизведено в статье Я. Схольте «Die Insel der Fruchbarkeit». М. Кошлиг на основании языковых наблюдений пришел к выводу, что Гриммельсгаузен воспользовался изданием «Wahrhaftige Beschreibung des neuerfundenen Pineser Eylands sampt dessen Völcckern. Mit Anhang aus eines Bohtsmans Munde...». S. I., 1668 (в библиографии М. Хиппе, № 14), текст которого нам был недоступен.

Когда голландцы вновь открыли остров, население его за 78 лет составило от десяти до двенадцати тысяч человек.

Это была литературная мистификация, но многие приняли ее всерьез. В 1674 г. в Бремене юрист Вольпманн даже защитил диссертацию, рассматривавшую права Георга Пинеса на владение островом. Нарочитая бесхитрость рассказа, обилие «точных» дат и привычных деталей (наполнение бочек свежей водой, наличие больных на судне и т. д.), поведение людей во время бури прекрасно имитировало содержание подобных «реляций» об удачных и злополучных плаваниях.¹³⁹

Как показал М. Кошлиг, «реляция» стала известна Гриммельсгаузену, когда первоначальная редакция шестой книги «Симплициссимуса» была закончена.

Художественный замысел Гриммельсгаузена сложился независимо от истории Пинеса.¹⁴⁰ Он лишь извлек из нее некоторые дополнительные мотивы и детали повествования. Протестантское благочестие бухгалтера приобрело католический привкус, а соблазнявшая его простоватая арапка превратилась в таинственную абиссинку, манящую спасшегося вместе с Симплициссимусом плотника миражем благоденствия на плодородном острове. Ее пребывание на острове завершается театральным эффектом, в котором даже не обошлось без адского серного дыма. Гриммельсгаузен не поддался заманчивым, напрашивающимся в роман скользящим ситуациям, а скорее пародировал их (в сцене с абиссинкой). Не соблазнила его и идея «естественного государства» и патриархальной идиллии, сложившихся на острове. Он остался верен первоначальной концепции жизнеутверждающего отшельничества. Форма «реляции» оказалась удобной для описания острова глазами удивленного очевидца и вместе с тем способом передать миру жизнеописание Симплициссимуса, написанное «на пальмовых листьях».

Важнейшим источником для «Робинзоны» в шестой книге «Симплициссимуса» послужила «Восточная Индия» Иоганна Теодора и Иоганна Израеля де Бри — роскошное издание со множеством гравюр. Пятая часть этого издания содержала отчет о путешествии в Индию

¹³⁹ История Пинеса пользовалась успехом до конца XVIII в. В 1736 г. на немецком языке вышло «Жизнеописание Иориса Пинеса, родом из Дублина в Ирландии», якобы составленное на основании португальских источников и переведенное с английского (в библиографии М. Хиппе, № 17). «Жизнеописание» Пинеса — водянистый роман (424 стр.), однако выдержавший четыре издания (последнее в 1744 г.). A. K i r p e n b e r g. *Robinson in Deutschland bis zur «Insel Felsenburg»*. Hannover, 1892.

¹⁴⁰ M. K o s c h l i g. *Grimmelshausen und seine Verleger*, S. 90. Можно указать на некоторые противоречия между «Реляцией Яна Корнелиссена» (VI, 24—27) и «Заключением» романа, где сказано, что Самуэль Грейфензон фон Хиршфельд еще при жизни сдал в печать первые пять частей, а остальное осталось после его смерти, тогда как в «реляции» Корнелиссена отшельник Симплициссимус передал свое жизнеописание голландскому капитану. По-видимому, «Заключение», датированное 22 апреля 1668 г., написано раньше «реляции».

в 1598—1600 гг. голландской торговой флотилии, в частности побывавшей на острове Св. Маврикия.¹⁴¹

Частью источников Гриммельсгаузен пользовался по памяти. Этим, вероятно, объясняются ошибки в наименовании книг даже на немецком языке, которые он иногда допускает, как например в названии книжки Томаса Томен, которую Симплициссимус читает еще мушкетером (III, 18). Другие книги он, вероятно, читал в Страсбурге, когда служил у доктора Куфера, получал на время у издателей, просматривал в книжных лавках, когда бывал в Нюрнберге, слышал их содержание в чем-либо пересказе и т. д. Антон Бирлингер полагал, что Гриммельсгаузен черпал мотивы для своих произведений из устных рассказов бывалых людей и ландскнехтов, а отчасти из сборников шванков и народных книг.¹⁴² А. Диффенбахер даже советовал не придавать значение книжным источникам и в тех случаях, когда на них ссылается сам автор.¹⁴³ Общительный трактирщик из Гайсбаха, конечно, был не только веселым рассказчиком, но и прилежным слушателем. Шванки и суеверные рассказы долго бродили в устной передаче, прежде чем попадали в печатные сборники. И не случайно даже книжный анекдот о кальвинистах, включенный в «Чудесное птичье гнездо», рассказывает крестьянин в трактире. Художественное воображение Гриммельсгаузена питалось из народных источников, но любил он опираться на книгу.

Симплициссимус сообщает о своем чтении в Липпштадте: «Бесподобная „Аркадия“, по коей я хотел научиться красноречию, была первой, склонившей меня от правдивой истории к любовным сочинениям, от истинных происшествий к героическим стихам». Это упоминание отчасти указывает на литературное развитие самого Гриммельсгаузена. По-видимому, он рано познакомился с «Аркадией» — «пастушеским романом» Филиппа Сиднея, переведенным на немецкий язык в 1629 г. Валентином Теокритом, а в 1642 г. переработанным Опитцем.

В «Симплициссимусе» Гриммельсгаузен иронически упоминает и о рыцарском романе «Амадисе Гальском», который был любимым чтением Дон Кихота. Написанный во второй половине XV в. «Амадис» разрастался за счет нескончаемых продолжений и в 1559—1594 гг. появился в немецком переводе в 24 томах. (Шестой том был переведен Фишартом,

¹⁴¹ J. Theodor und J. I. de Bry. Fünfter Theil der Orientalischen Indien. Frankfurt a. M., 1601 (БАН). На этот источник впервые указано в статье: M. Günther, Zur Quellengeschichte des «Simplicissimus». Germanisch-Romanische Monatsschrift, Jg. X, 1922, H. 11—12, SS. 360—367.

¹⁴² A. Birlinger. 1) Zu Grimmelshausens «Simplicissimus». Alemannia, Bd. X, 1882, SS. 79—81; 2) Studien zu Grimmelshausens «Simplicissimus». Alemannia, Bd. XIV, 1886, SS. 79—101, 252—256.

¹⁴³ J. Dieffenbacher. Grimmelshausens Bedeutung für die badische Volkskunde. Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts und Altertumsvereine, 1901, SS. 193—197.

снабдившим его стихотворным предисловием). По этому роману побродяжка Кураже учится галантному искусству комплиментов. В заключении первой книги «Чудесного птичьего гнезда» Гриммельсгаузен выражает надежду, что его повесть позволит скоротать время с пользой, нежели чтение «Амадиса». Но Гриммельсгаузен нигде не ссылается на произведения, к которым он стоял ближе всего — на плутовские романы.

В противоположность аристократическим жанрам галантно-рыцарского и пастушеского романа плутовской роман был жанром демократическим, отражавшим социальные противоречия, которые в эпоху первоначального накопления особенно рано и остро обнаружили в Испании. Испанский плутовской роман пришелся по вкусу в Германии, способствовал оживлению реалистических тенденций бюргерской литературы XVII в. Однако в испанском плутовском романе были и внутренние противоречивые тенденции, особенно сказавшиеся на судьбе и формировании этого жанра в Германии, куда он был занесен деятелями контрреформации, вносящими в занимательную фабулу моралистическую и религиозную проповедь, называвшими на пикаро моралистические рассуждения и религиозные концепции, которые оставались вне героя и его судьбы.

Первым плутовским романом, появившимся в Германии, был «Бродяга Гусман из Альфараче» (1599), вышедший в 1615 г. в Мюнхене.¹⁴⁴ Первая часть «Гусмана» — перевод одноименного испанского романа Матео Алемана с морализующими вставками и примерами из немецкой жизни (о комедиантах, невоздержанности и пьянстве и т. д.). Переводчиком был Эгидиус Альбертинус (1560—1620) — немецкий католический писатель. Вторая часть немецкого «Гусмана» целиком сочинена Альбертинусом. Это уже не повесть о приключениях пикаро, а трактат морально-аскетического содержания, в котором резко усилена религиозно-схоластическая тенденция, намечавшаяся и в испанском «Гусмане». В конце книги Гусман встречается с отшельником, который читает ему длиннейшие поучения, пересыпанные латинскими цитатами, и склоняет совершить паломничество в Иерусалим. После смерти Альбертинуса была выпущена под псевдонимом Мартин Фрейденхольд и третья часть «Гусмана» (1632),¹⁴⁵ где герой, выполняя обет, отправляется в Александрию, терпит кораблекрушение, попадает в рабство, бежит в Триполи, промышляет торговлей целебными снадобрями, пробирается в Венецию, сводит знакомство с алхимиками, разоряется, бежит в Амстердам, нанимается в солдаты Вест-Индской компании, посещает различные страны, в том числе Японию.

¹⁴⁴ Мы пользовались изданием: Der Landstörtzer Gusman von Alfarche oder Picaro genant, dessen wunderbarliches, abentheurlichs und possirlichs Leben ... hierin beschriben wird. Durch Aegidium Albertinum... S. I., 1631, 454 S. + Register (ГПБ).

¹⁴⁵ Der Landstörtzer Gusman von Alfarche oder Picaro genant, Dritter und Lezter Theil, darinnen seine Reyß nach Jerusalem ... durch Martinum Frewdenhold... S. I., 1632 (ГПБ).

Фрейденхольд пытается соединить тенденции первой и второй книг «Гусмана», но побеждает вторая. Действие романа иссякает и теряется в море описательного материала. Внешне занимательная фабула служит лишь предлогом для рассуждений о разнообразных предметах — алхимии, изготовлении зеркал, действиях планет и т. д. Текстуальные совпадения, в том числе зачина «Симплициссимуса» с «Гусманом» Фрейденхольда, долгое время заставляли видеть в нем источник «Симплициссимуса». Лишь позднее выяснилось, что Фрейденхольд беззастенчиво списывал целые дискурсы у Гарцони и таким образом у обоих авторов оказался общий источник.¹⁴⁶ Гриммельсгаузен, конечно, знал и «Гусмана» Альбертинуса — Фрейденхольда, заимствовал оттуда некоторые мотивы.

Необходимо указать на связь «Симплициссимуса» с дидактико-сатирическим обзорением Ганса Мошероша «Диковинные и истинные видения Филандера фон Зиттенвальда» (1640—1643),¹⁴⁷ являющимся переработкой испанского источника «Сновидения» Франсиска Кеведо (1580—1645), воспользовавшегося восходящей еще к средневековой традиции формой аллегорических картин для создания сатиры на современную Испанию. Сохранив и даже усилив условный характер «Сновидений», Мошерош внес мотивы, близкие к немецкой бюргерской сатире XVI в., и разбавил их колоссальной ученостью. Используя гротескный аллегоризм Себастьяна Брандта и изощренную словесную технику Фишарта, Мошерош все дальше уходил от своего образца и, наконец, в «Видении», названном им «Солдатская жизнь», окунулся в страшную действительность Тридцатилетней войны, бушевавшей в Германии. «Филандер» Мошероша разошелся в нескольких изданиях, пополняясь все новыми «видениями», и вызвал подражания, а вернее сказать, подделки.¹⁴⁸ Пиратскими перепечатками и подделками особенно прославился франкфуртский издатель Шёнветтер. Одна из книг, выпущенных им от имени Филандера, называлась «Новые видения и дискурсы о диковинных вещах на свете» (1648); она содержала «беседы» некоего «Expertus Rupertus» со своими спутниками во время двенадцатидневного путешествия по Испании.¹⁴⁹ Это собрание дискурсов энциклопедического содержания: «о высоте Пиренейских гор»,

¹⁴⁶ J. H. Scholte. Zonagri Discurs von Waarsagern, SS. 143—144.

¹⁴⁷ Visiones de don Quevedo. Wunderliche und Warhafftige Gesichte Philanders von Sittewald... Zum andern mahl auffgelegt von Philander selbst. ... Gedruckt bey Johann Philipp Müllben. Straßburg, 1642 (Andere Theil, 1643) (ГПБ).

¹⁴⁸ A. Bechtold. 1) Kritisches Verzeichnis der Schriften J. M. Moscherosch. München, 1922; 2) Zur Moscherosch Bibliographie. Euphorion, Bd. 26, 1925: C. von Faber du Faur. Johann Michael Moscherosch, der Geängstigte. Euphorion, 3. F., Bd. 51, 1957, H. 3, SS. 233—249.

¹⁴⁹ Les visions de don Quevedo Philandri von Sittewaldt Complementum. Das ist: Discursus Historico Politico Don Experti Ruperti von Wunder-Geschichten der Welt... In Verlegung Johann Gottfried Schönwettters. Franckfurt a. M., 1648 (ГПБ). Кроме того, в ГПБ имеются издания «Филандера»: Страсбург, 1643; Франкфурт, 1645; Страсбург, 1650; Страсбург, 1677; Лейден, 1646 (подложный).

«о книгопечатании», «о ночных танцах» (сходбищах ведьм), «об искусных ворах» (с включением древнеегипетской новеллы о Рампсените) и пр. Среди географических сведений сообщается, что в Москве свирепствуют такие морозы, что «слюна на лету смерзается в бисер, прежде чем упадет на землю». Эти поддельные «продолжения» дали Гриммельсгаузену такое обилие мотивов и характерных выражений, что А. Бехтольд даже высказал предположение, что автор «Симплициссимуса» имел дело только с поздней пиратской перепечаткой и никогда не держал в руках оригинала Мошероша.

Позднее стала выясняться связь «Симплициссимуса» с другими литературными произведениями. Правда, еще в 80-х годах XIX в. Ф. Бобертаг указал на некоторую близость «Симплициссимуса» к «Франсиону» Сореля,¹⁵⁰ но тогда был известен лишь один немецкий перевод этого романа (1668), что делало маловероятным использование его в том же году. Лишь в 1957 г. М. Кошлг установил существование немецкого издания «Франсиона» 1662 г. и предположил, что Гриммельсгаузен нашел в нем мотивы, послужившие для создания фигуры Юпитера, материал для парижского эпизода в «Симплициссимусе» и даже имя злодея Оливье. Пробразом Юпитера якобы послужил выведенный в романе Сореля полупомешанный поэт-педаант Гортензий, которого насмешники убедили, что он избран королем Польши, а некоторые дополнительные черты дал другой персонаж — полубезумец-полушут Колие.¹⁵¹ И хотя вряд ли «Симплициссимус» в такой степени «накладывается» на роман Сореля, параллельное рассмотрение их может быть плодотворно.

Еще сложнее обстоит дело с «Дон Кихотом». В первой половине XVII в. роман Сервантеса большого интереса в Германии не возбуждал. Он появился в немецком переводе лишь в 1648 г. и заключал только первые 23 главы первого тома.¹⁵² Переводчик Иоахим Цезарь в предисловии противопоставляет его «книжкам о сражениях» («Schlachtbücher»), т. е. рыцарскому роману, и прежде всего «Амадису». Он характеризует «Дон Кихота» как «дурацкое произведение» («Narrenwerck») и тем самым сближает его с такими книгами, как «Смех и дело» И. Паули и «Корабль дураков» Себастьяна Брандта (1494), т. е. соотносит со старой немецкой традицией XVI в., на фоне которой он отчасти и воспринимался.¹⁵³

Был ли знаком Гриммельсгаузен с «Дон Кихотом» вообще, а если и был, то в немецком издании 1648 г. или в голландском переводе (1657),

¹⁵⁰ Grimmelshausens Werke. Herausgegeben von F. Bobertag. Bd. I. 1882, SS. XXVIII—XXXIII.

¹⁵¹ M. Koschlig. Das Lob des «Francion» bei Grimmelshausen. Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft, I Jg., 1957, SS. 30—73.

¹⁵² P. B. von der Sohle. Don Kichote de la Mantzscha, das ist: Juncker Harnisch auß Fleckenland. Franckfurt a. M., 1648. Herausgegeben von H. Tiemann. Hamburg, 1928.

¹⁵³ H. Tiemann. Das spanische Schrifttum in Deutschland. Hamburg, 1936, S. 88.

до сих пор не ясно. Большинство мотивов, на которые указывают исследователи, или далеки от «Симплициссимуса», как например рассказ о «кошке, расцарапавшей лицо» (IV, 22; Дон Кихот, т. II, гл. 47), или являются общим достоянием времени, как например мысль о пагубном воздействии изобретения пороха на душевные качества людей (III, 13; Дон Кихот, I, 38), о мудрости животных, у которых люди научились многому (II, 12; Дон Кихот, II, 12). Поверхностным кажется и сходство между рыцарем печального образа и скупым драгуном в «Симплициссимусе» (II, 29), чтобы можно было видеть здесь проекцию образа Дон Кихота.¹⁵⁴ Совпадение мотивов само по себе еще не служит доказательством прямого заимствования. Подтвердить его могут лишь дословные заимствования и мельчайшие конкретные детали.

Г. Вейдт построил сложную гипотезу, по которой до Гриммельсгаузена дошла вставная новелла второго тома «Дон Кихота» — рассказ цирюльника о двух безумцах, возомнивших себя Юпитером и Нептуном.¹⁵⁵ Посредствующим звеном был роман Сореля «Экстравагантный пастух», где молодой человек, начитавшийся уже не рыцарских, а «пастушеских» романов, вытворяет различные чудачества. Роман Сореля нашел преломление в «Пегницких пастухах» Биркена и Клая. Оба мотива представлены в компилятивных сборниках Харсдёрфера: «Женские беседы для игры и забавы» («Шалый пастух») и в «Позорище отдохновительных и назидательных историй» («История двух безумцев»). Вейдт рассматривает эпизод с Юпитером как своеобразную проекцию «Дон Кихота», даже пытается найти общность в их политических суждениях (например, о турецкой войне).

Все же несомненно, что наследие великого испанского писателя нашло отражение в «Симплициссимусе», хотя и не непосредственно. В 1617 г. в Аугсбурге вышла книжечка «Две забавные, веселые и смехотворные истории», описанные неким Николаем Уленхартом.¹⁵⁶ Первая была пересказом испанского плутовского романа «Ласарильо из Тормес» (1554), на что указывалось и в заглавии. Вторая подана как история «Исаака Винкельфельдера и Иобста фон дер Шнейда» и так препарирована, что долгое

¹⁵⁴ G. K ö n n e c k e. Quellen. Bd. I, S. 225, Anmerkung 1.

¹⁵⁵ G. W e y d t. Don Quijote Teutsch. Studien zur Herkunft des Simplicianischer Jupiters. Euphorion, 3. F., Bd. 51, 1957, H. 3, SS. 250—270.

¹⁵⁶ Zwo kurtzweilige, lustige und lächerliche Historien, die Erste von Lazarillo de Tormes, einen Spanier... Die Ander von Isaak Winkelfelder und Jobst von der Schneid... Durch Niclas Ulenhart beschrielen. Augspurg, 1617 (ГПБ). О немецких переводах «Ласарильо», «Гусмана», «Истории об Исааке Винкельфельдере и Иобсте фон дер Шнейде» см.: W. B e c k. Die Anfänge des deutschen Schelmenromans. Studien zur frühbarocken Erzählung. Zürich, 1957. См. также издание: Leben und Wandel Lazaril von Tormes... Verdeutsch (Breslau), 1614. Nach der Handschrift herausgegeben und mit Nachwort, Bibliographie und Glossar versehen von Hermann Tiemann für die Maximilian-Gesellschaft in Hamburg. Glückstadt, 1950.

время считалась оригинальным произведением немецкой литературы. Однако это была перелицованная на немецкие и чешские нравы новелла Сервантеса «Ринконете и Кортадильо» (1613). Из Севильи действие было перенесено в Прагу. Испанские носильщики и погонщики мулов превратились в «силезцев» и «богемских мужиков». Герои повести — два плута — пользуются пражским воровским аргю. Живо описаны улочки Праги, Градчан и гетто. Удачно подменена и бытовая обстановка, костюмы, кухня, прозвища. Из этой книжечки, пройдя мимо Ласарильо, Гриммельсгаузен и позаимствовал упоминание о цехе воров и мошенников — «сахароваров» в Праге, понадобившееся ему для заострения первого абзаца «Симплициссимуса» (взятого им у Гарцони и совпадающего с заимствованием у Фрейденхольда).

Труднее судить о происхождении новеллистических мотивов в «Симплициссимусе», так как они восходят к общему репертуару бродячих сюжетов в фольклоре и мировой литературе. Поэтому важно не столько установить отдельный источник, сколько принимать во внимание всю их совокупность. В качестве примера может служить эпизод с похищением сала у священника Симплициссимусом, выдавшим себя за черта (II, 31). Этот мотив встречается в фольклоре и представлен в сборнике шванков, например в книге Ганса Кирхгофа «Отврати печаль» (1563), в шуточных песнях и народных представлениях. Его можно найти и у Ганса Сакса, в литературных сборниках «Веселое общество» Петра Мемеля¹⁵⁷ и «Веселое позорище различных курioзных вещей Эразма Франсиска».¹⁵⁸

Так же обстоит дело и с более сложными новеллистическими мотивами. В подложном продолжении «Филандера» два пажа, наряженных ангелами, переносят мертвецки пьяного мужика в княжеский замок, а потом снова в жалкую хижину, оставляя до конца дней в уверенности, что он побывал в раю. Но и в литературном сборнике Харсдёрфера «Frauenzimmer Gesprächspiele»¹⁵⁹ сходная история изложена в сопровождении серии гравюр. Также и в «Гусмане» переряженные черти мучают героя и оставляют его полумертвым.

По-видимому, Гриммельсгаузен обращался к сборникам Георга Филиппа Харсдёрфера (1607—1658), одного из основателей прециозного общества «Пегницких пастухов» и составителя пресловутой «Поэтической воронки» (1647) — руководства по стихосложению, обещавшему за шесть

¹⁵⁷ J. P. de M e m e l. 1) Erneuerte und vermehrte Lustige Gesellschaftt... Zippel-Zerbst, 1656; 2) Die Lustige Gesellschaftt. S. I., 1660 (ГПБ).

¹⁵⁸ E. F r a n c i s c u s. Die lustige Schaubühne von allerhand Curiositäten. Bd. I—III, Nürnberg, 1663, 1048 S.

¹⁵⁹ Frauenzimmer-Gesprechspiele. Durch einen Mitgenossen der Hochlöblichen Fruchtbringenden Gesellschaft, Bd. I—VIII, Nürnberg, 1641—1649 (в библиотеке АН это издание представлено отдельными выпусками: 1642 и 1644 гг.).

часов научить каждого писать стихи и притом без помощи латинского языка (три части, 1647—1653).¹⁶⁰

Харсдёрфер, кроме серии книг «Женские беседы для игры и забавы» (с картинками, песенками, играми, пословицами и т. д.), выпустил сборники «Великое позорище отдохновительных и поучительных историй» (1650—1651) и «Великое позорище прежалостных и смертоубийственных историй» (1650),¹⁶¹ содержавшие множество анекдотических и новеллистических мотивов, заимствованных более чем у семисот авторов, в том числе Боккаччо, Банделло, Сервантеса, Бельфоре, Жана Камю (де Белле), Буато, Гулара и др.¹⁶² Отличительная черта новеллистического материала у Харсдёрфера — его необычайная сжатость, сводящая его к основному сюжетному зерну. Большие новеллы и целые повести съезжались до одной-двух страничек. Это был своего рода каталог мотивов, а расцвечивать и разрабатывать их как бы предоставлялось светскому рассказчику, который воспроизводил «по памяти» недавно прочитанную или лучше всего услышанную занимательную историю, а то и был ее очевидцем. Харсдёрфер сопровождал каждую новеллу назидательным вступлением и заключением, нередко притянутым без внутренней связи с содержанием. Это были как бы светские «притчи», подобные «примерам» барочной католической проповеди. По-видимому, через посредство Харсдёрфера к Гриммельсгаузену и пришли некоторые мотивы Банделло и Сервантеса, а возможно, и других новеллистов. Заимствованный литературный материал Гриммельсгаузен перерабатывает в народно-реалистическом плане, вносит бытовые и сказочные черты, дополняет свей фантазией. Подхваченные из разнородных источников отдельные детали, мотивы, даже целые эпизоды подчинены общему художественному замыслу.

Заимствованные мотивы вступают в сложное взаимодействие со всей художественной тканью произведения, дают толчок для дальнейшего фабулирования. Гриммельсгаузен осложняет и оживляет фабулу реалистическими подробностями, вводит новые персонажи. Он не «нанизывает» мотивы на героя, как в плутовском романе, а придает им индивидуальную, чаще всего ироническую окраску. Его живое воображение, талант и темперамент народного рассказчика сообщают повествованию единство и реалистическую убедительность.

¹⁶⁰ Poetischer Trichter, das ist die teutsche Dicht- und Reim-Kunst ohne Behuf der lateinischen Sprache in VI Stunden einzugieszen... durch ein Mitglied der hochlöblichen Fruchtbringenden Gesellschaft. Nürnberg, 1650 (БАН).

¹⁶¹ G. Ph. Harsdörffer. 1) Der Grosse Schauplatz Lust und Lehrreicher Geschichte. Erste und Andere Hundert. Hamburg, 1660 (ГПБ); 2) Der Grosse Schauplatz Jämmerlicher Mordgeschichte. Erster und Ander Theil. Hamburg, 1650. Dritte und Vierte Theil. Hamburg, 1649 (ГПБ).

¹⁶² G. We y d t. Zur Entstehung barocker Erzählkunst. Harsdörffer und Grimmelshausen. Wirkendes Wort, 1. Sonderheft (1953), SS. 61—72.

8. СЮЖЕТ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

«Симплициссимус» воспринимается на грозном фоне Тридцатилетней войны, опустошившей Германию, подорвавшей социальные силы бюргерства и крестьянства, вызвавшей упадок экономики и культуры. Если обратиться к историческим свидетельствам, официальным документам, донесениям и реляциям, частным письмам и воспоминаниям современников, то вся Германия представляется сплошным зачумленным пепелищем. Повсюду встречались обезлюдевшие города и выжженные деревни. Поля поросли кустарником или превратились в болота. Плотины и водоотливные каналы разрушены и приведены в полную негодность. Многие деревни, в особенности в Тюрингии и Гессене, вымерли или были брошены, исчезли с лица земли. И только руины церквей еще напоминали о том, что здесь некогда кипела жизнь. Запуганные одичавшие крестьяне укрывались в лесах, питались травой и падалью. Они утратили почти весь сельскохозяйственный инвентарь и возвратились к примитивным формам земледелия, лопате и мотыге. Домашний скот стал редкостью, но неизменно расплодился волки, которые стаями забегали даже в города. Недаром в то время сложилась пословица, что «волки жили в домах, а люди в лесах».¹⁶³

В городах свирепствовали голод и поварьные болезни. Смертность в некоторых местностях в несколько раз превышала рождаемость. Горожане так обнищали и все их имущество так обесценилось, что в 1642 г. бюргер одного маленького городка в Силезии сменял свой дом на пару сапог. «Иные дома столь долго простояли необитаемыми, — писал хронист из Нидернгаузена, — что на очагах повыросли вишневые деревья, проросли через трубу и разметали над крышами свои сучья и ветви». В Саксонии во Фрейберге, славившемся своими серебряными рудниками, к 1640 г. из 1700 домов уцелело едва 500, а в его окрестностях 15 местечек исчезло вовсе. Торговля, в особенности заморская, захирела, промышленность и ремесла пришли в упадок. В Хемнице из 6000 ткачей едва сохранилось 500, и больше 2000 домов пустовало. Любек утратил большинство торговой флотилии. Рудники и шахты были повсюду заброшены.¹⁶⁴

Упадок культуры был всеобщим. Университеты влачили жалкое существование. В пламени пожаров гибли великолепные дворцы и церкви, библиотеки, собрания картин и редкостей. Немецкий живописец Иоахим

¹⁶³ В. E r m a n n s d ö r f f e r. Deutsche Geschichte von Westfälischen Frieden bis zum Regierungsantritt Friedrich des Großen. 1648—1740. Bd. I. Berlin, 1892, SS. 104—105.

¹⁶⁴ Сводка актового и другого документального материала из истории отдельных городов и местностей Германии во время Тридцатилетней войны приведена в кн.: К. F. H a n s e r. Deutschland nach dem dreißigjährigen Kriege. Leipzig, 1862.

Зандрарт в 1673 г. писал, что во время войны художники «впали в нищету и презрение, а посему побросали палитры и вместо кистей взяли в руки бердыши или нищенские посохи, так что благородные люди стыдились посылать своих детей в обучение к столь презренным людям.¹⁶⁵ Даже изысканное, стремящееся игнорировать действительность искусство барокко, ютившееся при малых и больших дворах Германии, озарялось отблесками опустошительной войны. В поэзию врывались ноты отчаяния, а фоном для репрезентативных портретов служили пылающие города.

Ужасающим было положение деревни, где люди разучились читать, дошли до полного отупения. Густав Фрейтаг в «Картинах из немецкого прошлого» писал: «Народ достиг последней грани несчастья. Тупое прозябание было всеобщим... Там, где проходило опустошительное войско и свирепствовал голод, люди и собаки ели одни и те же трупы». ¹⁶⁶ Если крестьянство XVI в. было воинственно и активно, то теперь оно было подавлено, истощено и обессилено, ввергнуто в состояние покорной безнадежности. «На протяжении жизни целого поколения, — говорит об этом времени Энгельс, — по всей Германии хозяйничала самая разнузданная солдатня, какую только знает история. Повсюду налагались контрибуции, совершались грабежи, поджоги, насилия и убийства. Больше всего страдал крестьянин там, где в стороне от больших армий действовали на собственный страх и риск и по своему произволу мелкие вольные отряды, или, вернее, мародеры. Опустошение и обезлюдение были безграничны. Когда наступил мир, Германия оказалась поверженной — беспомощной, растоптанной, растерзанной, истекающей кровью; и в самом бедственном положении был опять-таки крестьянин». ¹⁶⁷

Жестокости и насилия, чинимые повсюду ландскнехтами, почти всегда оставались безнаказанными. В реляции, прославляющей «искусные и рыцарские деяния» Эрнста Мансфельда (1622), с полнейшей откровенностью говорится: «Неоспоримо, что когда тем солдатам не идет жалованье, их нельзя удержать в надлежащей военной дисциплине. Они и их кони не могут жить воздухом. Все, что они носят, оружие или платье, изнашивается и ломается. Должны они себе его опять купить или спривить, то для этого надобны деньги. И ежели их в том не удовольствовать, то они берут там, где найдут, и притом не за счет тех, кто им должен, ибо они не считают и не взвешивают... они берут все, они вынуждают отдать все, они бьют и побивают все, что им противится. Одним словом, нельзя измыслить такого бесчинства, которого бы они не натворили». Потерявшие всякий человеческий облик ландскнехты пытали детей и сжигали их в пе-

¹⁶⁵ J. Sandrart. Teutsche Academia. 1675; R. West. Der 30-jähriges Krieg und die Kunst. Preußische Jahrbuch, Bd. 159, H. 1 (1915).

¹⁶⁶ G. Freitag. Bilder aus der deutschen Vergangenheit. Bd. IV. Leipzig, 1925, S. 99.

¹⁶⁷ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, 2-е изд., т. 19, М., 1961, стр. 341.

чах заживо, потешаясь их предсмертными криками. Плачущие, убитые горем женщины и девушки были принуждены плясать голыми в лагерях имперской солдатни, которая потом всячески издевалась над ними, отрезала груди, выкраивала ремни из спины и т. д. Главная цель всех насилий и пыток — вымогательство, жажда денег, которые тут же уплывали из карманов, пропивались, проматывались, проигрывались в кости. Жестокости чинили и католики, и протестанты. При взятии Регенсбурга шведами солдаты поджигали дома и сараи, полные соломы и конопли, разбивали лари и сундуки в домах и, добываясь золота, пытали детей на глазах матерей, беременных женщин и больных.¹⁶⁸

Разноязычный и разноплеменный сброд людей, утративших отечество, свободно менявших религиозные и политические убеждения, а вернее, вовсе их не имевших, служивших тому, кто платит и дает безнаказанную возможность грабить и насильничать. Когда солдаты одной стороны попадали в плен к другой, то их рассовывали малыми партиями по своим отрядам. Так поступали и в католических имперских, и в протестантских войсках. Картины тягот и бедствий войны встречаются во многих литературных памятниках того времени. Реальные сцены запечатлены в «Филандере» Мошероша. С крутой горы Филандер с горестью взирает, как четверо крестьян впряглись в плуг на место лошадей, перепахивая дно спущенного пруда, «так что у меня от сожаления сердце и глаза зашлись, ибо видел я, как тяжело было беднякам снискивать себе пропитание и подвергаться еще более ужасным мучениям денег ради». Согнанные с насиженных мест крестьяне, в особенности батраки, и сами уходили с ландскнехтами. Филандер видел, как один из ландскнехтов, напомнив своему прежнему хозяину, захваченному в плен, что он его «нагого частенько стегал плетью до крови», потребовал, чтобы он «теперь ему в утеху пообещал лошадь и 50 рейхсталеров». Когда же тот сказался неимущим, он учинил ему жестокую пытку. «Тут помыслил я про себя: справедлива пословица — когда кто захочет в конец разорить крестьянина, должен употребить для того никого иного, как только крестьянина».

Роман изобилует множеством фактов и подробностей, поддающихся исторической проверке, находящих подтверждение в документах, в том числе и заведомо недоступных Гриммельсгаузену. Следовательно, хотя бы часть их восходит к его личному опыту и наблюдениям или почерпнута им из устных свидетельств. Но «Симплициссимус» не является «бесхитрым рассказом» современника обо всем, что он видел и знал, как думали вплоть до начала XX в.¹⁶⁹ Это не собрание «сцен» лагерной, походной, городской и деревенской жизни, написанных «с натуры». Но это и не

¹⁶⁸ K. F. Hanser. Deutschland nach dem dreißigjährigen Kriege. S. 212.

¹⁶⁹ Так рассматривает роман еще Артур Кёлер (A. Köhler. Der Kulturgeschichtliche Gehalt der Simplicianischen Schriften. Studium Lipsiense. Ehrengabe Karl Lamprecht dargebracht. Berlin, 1909, SS. 225—269).

исторический роман. Ни один из решающих военных эпизодов, ни одно сколько-нибудь значительное историческое лицо не выведены в книге. Тридцатилетняя война служит лишь фоном, исторической обстановкой, совокупностью обстоятельств, определяющих судьбу героя.

В «Филандере» Мошероша герой является условной фигурой, с помощью которой демонстрируется цепь картин, приправленных необозримой ученостью. Они не связаны с личностью героя и не участвуют в сюжетном развитии, которое едва намечено. У Гриммельсгаузена реальные исторические события и детали так или иначе связаны с их сюжетной ролью. Между романом и биографией автора тянутся многочисленные нити, но этот автобиографический слой тонок и неопределен. «Как раз факты, которые мы знаем о Гриммельсгаузене из документальных источников, — его многолетнее пребывание в Оффенбурге, его брак, его деятельность в Ренхене — не нашли в романе никакого употребления или попали в него случайно», — писал В. Эфтеринг.¹⁷⁰ Все же удастся наметить некоторую связь повествования с биографией Гриммельсгаузена, в особенности с историей его детства и юности. Но эта связь, как и некоторые реальные исторические подробности, подчинена общему художественному замыслу и ведению сюжета.

В первой книге рассказывается о тяжелой участи беженцев, укрывшихся в занятой шведами крепости Ганау, куда попал и юный Симплициус (I, 23). Это находит подтверждение в протоколах военного совета крепости.¹⁷¹ О голоде и дороговизне в городе сообщает Б. Хемниц в книге, посвященной участию шведов в немецкой войне. Он с сочувствием отзывается о шведском коменданте крепости генерал-майоре Рамзае и отмечает его доблесть и предусмотрительность.¹⁷² Книга Хемница вышла в 1653 г. и могла попасть в поле зрения Гриммельсгаузена, хотя отсутствие интересных подробностей скорее говорит против возможности ее использования. Дальнейшие эпизоды романа позволяют заключить, что в его художественную ткань вошел личный опыт автора. Симплициссимус, ставший пажом и шутком губернатора, однажды зимой вышел за крепостной вал, чтобы поиграть на льду, и был захвачен разъездом кроатов (II, 14—15), а затем вскоре попал в плен к гессенцам. Протоколы ратуши Ганау свидетельствуют, что зимой 1634/35 г. стояла небывалая стужа, и крепостные рвы действительно замерзали так, что их приходилось разбивать кирками.¹⁷³ А сохранившиеся в военном архиве в Вене

¹⁷⁰ W. E. Oeftering. Die schöne Literatur der Ortenau. Die Ortenau, Bd. XVI, 1929, S. 305.

¹⁷¹ K ö n n e c k e. Quellen, Bd. I, S. 168.

¹⁷² B. P. V. Chemnitz. Königlich Schwedischen in Teutschland Geführten Krieg. Ander Theil. Stockholm, 1653, SS. 643, 963 (БАН).

¹⁷³ K ö n n e c k e. Quellen, Bd. I, S. 174.

приказы Пиколомини и донесения к нему полковника Корпеса (упоминаемого под тем же именем в романе) говорят о том, что отряды кроатов производили в январе 1635 г. разведку неподалеку от Ганау, а в феврале несколько кроатов попало в плен к гессенцам.¹⁷⁴ В соответствующих эпизодах «Симплициссимуса» угадывается непосредственная жизненная ситуация. Но она прежде всего отвечала внутренней потребности развития сюжета и личности героя, которого надо было освободить от шутовской личины, принятой им в Ганау. В дальнейшем, когда все больше вступает в свои права сюжет, расхождение между биографией автора и его героем становится все больше. С середины третьей книги эта связь почти обрывается. Биографическая основа романа превращается в литературную фикцию.

Хронология романа устанавливается на основании отрывочных сведений о некоторых исторических лицах, упоминаний о происходивших битвах, осаде крепостей и других военных событиях, а также календарных праздниках и временах года. Эти упоминания создают «время романа», поддерживают иллюзию автобиографического рассказа. Это «время» условно и лишь приблизительно отвечает общей исторической хронологии, которую Гриммельсгаузен то и дело нарушает. Уже в первых двух книгах он перепрыгивает через события, концентрирует их. При описании жизни в Ганау он упоминает о таких происшествиях, которые фактически случились после того, как юный Симплициус покинул крепость. Гриммельсгаузен иногда не считается с бегом реального времени. Оно то замедляется, то летит слишком быстро. В конце третьей—начале четвертой книги за время от святок до масленицы Симплициссимус успеваеt жениться и переменить множество мест. Хронология романа—это не хронология исторических событий, а хронология героя, куда входит и его полет на шабаш ведьм, после чего он чудесным образом переносится из окрестностей Херсфельда в Магдебург. Этот «перелет» не только изменяет топографию романа, но и «скрадывает» два года времени, ускользающих от сопоставления с биографией автора.

«Шабаш ведьм», описанный в «Симплициссимусе» (II, 17), был для Гриммельсгаузена исторической реальностью. Поднявшаяся в период Тридцатилетней войны волна суеверий породила много судебных процессов над колдунами и ведьмами, которые на допросах под пытками рассказывали о своих сборищах подобные же вещи.¹⁷⁵ В трактате «Висельный человечек» Гриммельсгаузен сообщает, что когда был еще «школяром», то слышал историю о колдуне Конраде Визеле, который бывал на «сборищах» ведьм, где его однажды даже подняли на смех, так как он явился в будничном платье. Процесс над колдуном с тем же именем и фамилией

¹⁷⁴ Там же.

¹⁷⁵ K. Reinfeld. *Auszuge aus den Hexenprozeß-Protokollen des Amts Bühl aus der Jahre 1628 und 1629. Alemannia*, Bd. 43, 1916, H. 1, SS. 1—21.

был историческим фактом. Конрад Визель был казнен 1 августа 1633 г.¹⁷⁶ Можно с уверенностью предположить, что Гриммельсгаузен и в «Симплициссимусе» пользовался не только книжными источниками, но и устными рассказами.

Топография романа так же обусловлена сюжетом, как и его хронология. Гриммельсгаузен превосходно знал местности, в которых разворачивается действие романа. В начале шестой книги перед взором Симплициссимуса открывается ландшафт, который он созерцает с высоты одной из гор Шварцвальда. Редкий для немецкой литературы XVII в. словесный пейзаж отвечает реальной топографии местности. Он пронизан живым поэтическим чувством природы и вместе с тем дает образное отражение первого отшельничества героя. Гриммельсгаузен охотно заставляет своего героя смотреть с высоты. В шестой книге Симплициссимус, подымаясь в гору, осматривает необитаемый остров, куда его забросило кораблекрушение. И точно так же он оглядывает окружающую местность с заброшенной колокольни, подстергая добычу вместе с разбойником Оливье (IV, 17). Название ближайшего городка (Эндинген) и замка Лихтенек, откуда прибыл позднее отряд мушкетеров, убивших Оливье, все как будто указывало на определенную местность. Местная легенда прикрепила эту сцену к колоколенке церкви св. Михаила в деревне Лангенденцлинген.¹⁷⁷ Исследования Бехтольда и Кённеке показали условность и этой топографии. При попытках прикрепления эпизода к определенной точно фиксированной местности все близко, все похоже и все немного не сходится! Место действия эпизода должно быть очерчено более широко, а его хорошее знание объясняется тем, что Гриммельсгаузен летом 1638 г. побывал на Верхнем Рейне с армией Гёца. Гриммельсгаузен не воссоздавал реальную обстановку конкретного события, а стремился к общей достоверности сцены, сочетая личные воспоминания с художественным вымыслом.

Даже исторические лица появляются в «Симплициссимусе» не как плоские проекции реальных людей, известных автору или связанных с его биографией, а прежде всего как персонажи романа, наделенные определенной сюжетной ролью. Шведским комендантом и губернатором города и крепости Ганау был генерал-майор Рамзай. Юный Симплиций, которого с дозволения самого же Рамзая делают шутом, вызывает в нем участие, тем более что он похож на его покойную сестру. В конце романа Сусанна Рамзай оказывается истинной матерью Симплициссимуса, а ее муж, ставший отшельником, его неузнанным отцом. Между вымышленным героем и подлинными историческими лицами не делается никакого различия. Их поведение определяется их ролью в развитии действия.

¹⁷⁶ K ö n n e c k e. Quellen, Bd. I, S. 137.

¹⁷⁷ A. B e c h t o l d. Die Räubergeschichte in Grimmelshausens «Simplicissimus» und ihr Schauplatz. Alemannia, Bd. 43, 1916, H. 2—3, SS. 65—85.

Вымышленные персонажи «Симплициссимуса» не лишены исторической подосновы. На них наслаиваются исторические и литературные реминисценции. Злодей Оливье не только тип озверевшего и потерявшего человеческий облик ландскнехта. Вероятно, его появление в романе навеяно реальным эпизодом, свидетелем которого был Гриммельсгаузен вскоре после окончания Тридцатилетней войны. В апреле 1649 г. деморализованный полк имперских драгун, находившийся под командой полковника Бартеля, поднял мятеж, подавленный с большой жестокостью. Возможно, Гриммельсгаузен сам принимал участие в подавлении этого мятежа. Среди злостных зачинщиков был нидерландец Антони Оливер, которому удалось бежать. Это имя Гриммельсгаузен мог найти и в романе Сореля «Франсион», который был ему известен по немецкому переводу 1662 г. А отдельные детали повествования Оливье несомненно восходят к литературным источникам, прежде всего к «Филандеру» Псевдо-Мошероша. Оливье собирает черты из содержащихся там историй о разбойниках Кароне, Карвусе и «маленьком Якобе». Гриммельсгаузен также заимствует некоторые детали из дидактической книжки Викрама «Детское зеркало», из книги Харсдёрфера, смешивает с элементами народных сказаний («чудесный меч» Оливье).¹⁷⁸ Весь этот разнородный материал и переплавлен в законченный слитный образ. Фигура Оливье играет важную роль в ведении сюжета романа, связывая хронологически отдаленные эпизоды второй и четвертой книг.

Когда Гриммельсгаузен описывает исторические события независимо от того, был ли он их непосредственным участником или нет, он пользуется литературными и риторическими средствами. Существенно не само описание, а отношение к нему героя. Гриммельсгаузен как будто отказывается от исторической конкретности в пользу обобщенной оценки. Сражение при Виттштоке описано им риторическими средствами, хотя, вероятно, он сам в нем участвовал и вдобавок пользовался подробным описанием в «Theatrum Europaeum» — многотомном своде современных политических и военных событий в Европе. И, конечно, не случайно в главе, следующей за описанием битвы при Виттштоке, Гриммельсгаузен пародирует его сценой «кровавой битвы» Симплициссимуса с одолевшими его насекомыми, причем использована военная терминология.

Не только описание военных и политических событий, битв и сражений, но и многое другое, что раньше относилось к личному опыту Гриммельсгаузена, находит аналогии в исторических и литературных источниках. Иногда он словно подменял свой жизненный опыт книжным материалом. То, что было хорошо известно ему самому, он излагал не только книжными словами, но и с помощью заимствованных цитат. Человек из

¹⁷⁸ E. Kliengebiel. Die Olivier-Handlung in «Simplicius Simplicissimus». Kiel, 1956 (Машинопись).

народа, вкусивший грамоты и несколько почерпнувший от образованности, он опирается на книгу, даже когда описывает то, что видел собственными глазами. Книга была подспорьем его памяти, свидетельством собственной учености, риторическим наставником. Он обращался к ней не столько за историческим материалом, сколько искал в ней подтверждения своего понимания и своей оценки действительности. Он берет из книг только то, что ему необходимо, и не пользуется ими с безрассудной неумеренностью, как многие его ученые современники. Гриммельсгаузен не придерживался хроникально-документальной точности, даже когда это было ему вполне доступно. Г. Кённеке, скрупулезно сверявший роман со всеми доступными ему источниками и свидетельствами, привел много примеров неточного, поспешного и поверхностного использования даже такого общеизвестного в то время издания, как «Theatrum Euroraem».

Гриммельсгаузен стремился придать роману общую убедительность и, апеллируя к зыбкой памяти читателей, не видел нужды соблюдать точность в подробностях. Достоверность частного у него подчинена правдивости общего.

«Симплициссимус» свободен от мелочной опеки над действительностью. Некоторые картины и отдельные сцены романа даже «неправдоподобны» с точки зрения наивно-документального историзма. «Для чего понадобилось привести на крестьянский двор мужчин и женщин? Мужчин подвергли пыткам, а женщин изнасиловали. То и другое можно было совершить на месте», — недоумевал немецкий историк Роберт Хенигер, сомневавшийся в исторической достоверности «Симплициссимуса».¹⁷⁹ Эти недоумения легко продолжить. Вслед за описанием затерянной в глухом лесу убогой избушки батьки, черной от копоти и паутины, следует сцена невероятного грабежа. Ландскнехты увязывают в большие узлы неизвестно откуда взявшиеся сукна, платья, оловянную и медную посуду, а крестьянин из Шпессерта после пытки объявляет, где сокрыто сокровище, «где золота, жемчуга, драгоценных камней было больше, чем того можно было надеяться сыскать у мужика» (I, 4). В пятой книге романа это находит довольно искусственное объяснение: богатство оставлено знатной дамой, матерью Симплициуса. Но и этого мало. В доме бедного «кнана», который только что один на один «ратоборствовал» со всей землей, оказывается несколько работников и прочей челяди. Пустынная местность, где только волки подвывали друг другу, становится неожиданно населенной. В этом нет художественного противоречия. Автор задается целью раскрыть перед глазами не знающего ничего о мире Симплициуса все бедствия и горести войны, собрав их разом во двор его батьки. Общая картина действительности дана во всей своей зрительной и непосредственной неоспоримости.

¹⁷⁹ R. Hoeniger. Der dreißigjährige Krieg und die deutsche Kultur. Preussische Jahrbücher, Bd. 138, 1909, SS. 416—417.

Условное построение реальности, представление одновременного в одновременном роднит сцены «Симплициссимуса» с принципами старинной народной гравюры. Те же принципы «оптического реализма» мы находим и у Жака Калло, отразившего бедствия и страдания Тридцатилетней войны. Офорт Калло из цикла «Большие бедствия войны» представляет собой как бы параллель к четвертой главе первой книги «Симплициссимуса». На переднем плане солдаты учиняют всяческие насилия над обитателями дома. Один прикалывает мужчину. Другой тащит за волосы женщину. Ландскнехты расхищают сундуки и лари, снимают навешенные под потолком окорока и колбасы. Кругом лежат убитые козы, овцы, гуси, даже кошки. В одном углу трое солдат угрожают мужчине оружием, видимо требуя выдачи спрятанного сокровища. В другом подвешивают мужчину за ноги над очагом. Третьего пытаются, подпаливая у огня подошвы (как и батьку Симплициуса). В глубине кровати с балдахином, на которой двое вооруженных солдат насилюют женщину. Рядом через открытую дверь виден винный погреб, где бесчинствуют ландскнехты. На небольшом пространстве, представляющем одновременно кухню, кладовую, спальню, словом весь дом, размещены тридцать две тщательно детализированные и мастерски расположенные в группы фигуры, строго подчиненные композиционному заданию, связывающему их между собой. Калло свел на перспективную панораму, представил для одновременного обозрения все злодеяния, какие чинились ландскнехтами. Он создает условное пространство с мнимой одновременностью событий, достигая потрясающей художественной насыщенности и выразительности. То же можно сказать и о «Симплициссимусе». Художественная концентрация достигается не только путем одновременного сведения деталей, но через последовательность видения, чередование картин, эпизодов и ситуаций.

Эпизоды «Симплициссимуса» лишь соотношены с исторической действительностью, но не прикреплены к ней наглухо. В романе тесно переплетены подлинные события и вымысел, непосредственный житейский опыт и заимствованный книжный материал. Не превращаясь в хрониста, не нагнетая исторических эпизодов и подробностей, Гриммельсгаузен сумел дать исторически правдивую картину своего страшного времени.

9. ГРИММЕЛЬСГАУЗЕН И ЛИТЕРАТУРА ЕГО ВРЕМЕНИ

Гриммельсгаузен не был признан литературой своего времени. Ученые и титулованные писатели либо вовсе его не замечали, либо отзывались о нем с пренебрежением. Он платил им той же монетой. В симплициссимусском «Вечном календаре» приведена такая сценка: «Увидел он (Симплициссимус) у швейцарцев, переваливающих через горы, ослов и мулов, навьюченных апельсинами, лимонами, померанцами и прочими товарами

из Италии, и сказал тогда своему побратиму: „Глянь-ко-се, бога ради, вот итальянское Плодоносное общество“».

Основанное в 1617 г. по итальянскому образцу учено-литературное «Плодоносное общество» к 1662 г. насчитывало в своих рядах одного короля, трех курфюрстов, 49 герцогов, 60 графов и десятка полтора признанных писателей. Общество носило пуристический характер и стремилось к очищению немецкого языка от варваризмов, нахлынувших в него во время Тридцатилетней войны. Но вместе с тем «Плодоносное общество» восставало против простонародной «грубости» и ставило своей задачей «сохранение и распространение рыцарских добродетелей». Менее аристократическое «Честное общество под елью», с которым Гриммельсгаузен познакомился в Страсбурге, также внушило ему неприязнь.

Даже плодотворная работа этих обществ, стремившихся упорядочить и нормализовать немецкий литературный язык, вызывала у него насмешливое отношение. Он шел иными путями и, осуждая языковые нелепости, чуждался ученого педантизма. В «Сатирическом Пильграме» Гриммельсгаузен говорит о «героях языка», которые не только щеголяют «новенькими с иголочки словами в своих писаниях, но и употребляют их в обыденных речах». «И хотя они частенько столь пусты и неосновательны, что их может поднять на смех и поправить самый темный крестьянин, однако ж мнят они, что Отечество еще и обязано им благодарностью за такие дурацкие выдумки».

Гриммельсгаузен начал литературную деятельность, вступив в составление с «высокой» учено-галантной прозой своего времени. В 1666 г. он выпустил первое публицистическое сочинение «Сатирический Пильграм», а в 1667 г. библейский роман «Целомудренный Иосиф». Но и после выхода и несомненного успеха «Симплициссимуса» он продолжал писать и издавать галантные исторические романы.¹⁸⁰

В 1670 г. Филипп Цезен выпустил роман «Ассенат», разрабатывающий ту же тему, что и «Целомудренный Иосиф». Цезен снабдил его учеными примечаниями, в которых вскользь упоминает и книгу Самуеля Грейфензона и довольно сдержанно указывает на некоторые допущенные им неточности.¹⁸¹ По-видимому, Гриммельсгаузен почувствовал себя уязвленным. И вот в его новом романе «Чудесное птичье гнездо» скучающий трактирщик читает вперемешку «Ассената» и «Целомудренного Иосифа». Входит Симплициссимус, называет себя автором «Иосифа» и жестоко укоряет Цезена за то, что он украшает себя перьями, вырванными из чужих сочинений. Он подвергает сомнению источники Цезена: апокрифическое «Завещание двенадцати патриархов» (вышедшее на не-

¹⁸⁰ Предисловие к роману «Дитвальд и Амелинда» датировано 3 апреля 1669 г. Роман «Проксимус и Лимпида» вышел в 1673 г.

¹⁸¹ F. von Z e s e n. Assenat. Amsterdam, 1670, SS. 353, 394, 408, 417 (БАН).

мецком языке в 1569 г.) и позднее раввинское сочинение «История Ассената» (использованное в «Историческом зеркале» Бове). Симплициссимус похваляется, что и у него были свои источники, оставшиеся неизвестными Цезену. «Уж коли хотите знать, откуда я взял имя жены Потифара Селиха, то раскройте знаменитое „Описание персидского путешествия“ Олеария, так увидите, что ее имя мною не из пальца высосано» (гл. 15). Гриммельсгаузен подвергает роман Цезена психологической критике. Руководствуясь здравым смыслом, он утверждает, что Иосиф не мог «с такой легкостью запятнать себя и сочетаться браком с той, чей отец покушался сделать из него содомита, а мачеха совершить с ним прелюбодеяние, особливо же в то время, когда он был господином в Египте, обладая богатством и почестями и мог избрать себе невесту из всех девушек царства». Впрочем, это вовсе не значит, что психология Иосифа разработана в самом романе Гриммельсгаузена. Он даже честно признается, что не совсем ее понимает и удивлен его целомудрием. После всех прелъщений и уловок Селихи, которые «могли самого Сатурна воспламенить похотью, так что он, как юный сатир, вскочил бы к ней на постель. И я легко могу себе вообразить, что иной читатель при сем помышляет: „Вот кабы да мне такой лакомый кусочек“».

Цезен написал утонченный галантный роман, снабдив его комментариями. Гриммельсгаузен лишь стремился «более пространно» изложить историю Иосифа, оживив ее своим воображением. Природенные свойства народного рассказчика вступают в свои права. Словно прискучив библейской темой, он уделяет главное внимание вымышленному персонажу — продувному слуге Иосифа Музай, наделенному чертами пикаро. Сам Иосиф — простой, целомудренный и умный человек из народа, только в силу своих способностей прокладывающий путь к власти и богатству. Рассказывая о судьбе Иосифа, Гриммельсгаузен противопоставляет своего героя египетской знати. Иосиф чуждается ее распущенности и пороков. Кульминационным пунктом этого противопоставления и была сцена искушения Иосифа. Роман одобрен простонародным юмором. Описывая пиршество, автор признается, что сам он на нем не был, да если бы и случилось ему побывать, то «не преминул бы по уши нализаться... И все равно на другое утро ровнешенько ничего бы не помнил, что там происходило, не говоря уже о теперешнем времени, когда с тех пор прошло почитай что 3390 лет» (гл. 15). Тут было от чего пожать плечами не только Цезену!

«Высокая» литература немецкого барокко была вне живых реальных отношений. Действие в галантных и пастушеских романах происходило в условной, оторванной от жизни среде. Они как бы являлись проекцией идеализированного феодального общества и воплощали его государственные начала и добродетели. Многоотный роман герцога Антона Ульриха Брауншвейгского «Светлейшая сириянка Арамена» (1669) лишен конкретно-исторического содержания и лишь формально прикреплен ко вре-

менам библейского Авраама. Нареченные «восточными» именами, разодетые в маскарадные экзотические наряды герои ведут себя подобно дамам и кавалерам версальского двора. Одновременно происходит множество военных, политических и придворных событий, связанных запутанной любовной интригой, охватывающей тридцать четыре знатных любовника — королей и принцев. Роман завершается семнадцатью сиятельными браками, разрешающими все династические, территориальные и дипломатические споры, распри и войны.

Гриммельсгаузен противостоял эстетике прециозной литературы. Уже в «Сатирическом Пильграме» он говорит о редком вдохновении поэта, «которое, по словам „Оригена“, не что иное, как очищение сердца и просветление души». Оно-то и сделало Гесиода, «простоватого крестьянского парня, превосходным поэтом, что можно также сказать и о нашем старофранкском Гансе Саксе».¹⁸² Гриммельсгаузен противопоставляет их современным «фантастам», которые подмешивают в свои поэмы столько «поэтических бредней», что «иной ученый и опытный малый, не говоря уже о простых людях, почитай, ничего из того не смыслит». Он говорит о «бедных дурнях», которые «ни о чем другом не помышляют, не говорят и не пишут, как только один о своей *Philis*, другой о своей *Chlois*, третий о своей *Galataeae*, а четвертый о своей *Amarilis*, для которых составляют различные вирши, девизы и искусные хотя усладительные, однако ж вздорные побасенки, где уподобляют волосы их не токмо что шелку или золоту, а лучам солнца, глаза звездам, брови черному деревцу, щеки распускающимся розам, уста кораллам, зубы жемчугам, лоб слоновой кости, кожу рук снегу, шеи алебастру, а груди двум кускам сахару». Эту эстетику выворачивает наизнанку юный Симплициссимус, когда господин предлагает ему «воздать достойную хвалу даме и описать ее красоту, как то ей подобает». Симплициус отвечает: «У сей девицы волосы такие желтые, словно пеленки замаранные, а пробор на голове такой белый и прямой, словно на кожу наклеили свиной щетины, а волосы у нее так красиво скручены, что схожи с пустыми трубками, или как если бы кто повешал с обоих боков по несколько фунтов свечей или по дюжине сырых колбас. Ах, гляньте только, какой красивый, гладкий у нее лоб; разве не выступает он нежнее, чем самая жирная задница, и не белее ли он мертвого черепа, много лет под дождем повисевшего?» (II, 9). Этому портрету противопоставит другой — самого Симплиция — ребенка, изнуренного лишениями, в которые ввергла его война. Портрет дан в перечислении красок, которыми запасся живописец, чтобы запечатлеть его «куриозный» образ: «...суриком и киноварью для моих век, лаком, индиго и лазурью для моих караллово-красных уст, аврипигментом, сандараком, свинцовой желтью для моих зубов, оскаленных от голода, сосновой сажею, углем и

¹⁸² «Старофранкский» — здесь в значении «истиннонемецкий», «старонемецкий».

умбрией для белокурых моих волос, белилами для страшных моих глаз и множеством еще иных красок для пестроцветного моего кафтана», т. е. изодранной и заплатанной его одежды (I, 21). Гриммельсгаузен не только пародирует принципы словесного портрета барокко — репрезентативность и маринистическую красочность, но и сталкивает их с реальной действительностью.

Отношение Гриммельсгаузена к галантному роману напоминает позицию Сореля. Оба противостоят прециозной литературе и пародируют ее. Само понимание стиля, «манеры», предложенное в предисловии к «Франсиону» Сорелем, отвечает эстетическим взглядам Гриммельсгаузена, насколько можно судить о них по «Сатирическому Пильграму» и отрывочным замечаниям, рассыпанным в симплицианских сочинениях. Сорель декларирует моралистическую пользу своего сочинения, ибо только глупцы «вообразят, что я писал это только для их развлечения, а не для того чтобы исправить их дурные нравы». Автор принужден скрашивать «горькие пойла, чтоб легче было их глотать». «Низменные» (комические) предметы «доставляют нередко больше удовольствия, нежели самые возвышенные». Писать надо просто и правдиво, причем правда понимается как полнота рассказа. Автора не должны останавливать низменные предметы и подробности — «без них история была бы неполной».¹⁸³ Опустить что-либо — значит впасть в красивую ложь, которой хочет избежать автор.

Гриммельсгаузен также обращается к читателю, мотивируя внесение щекотливых или натуралистических деталей тем, что «поведал сию историю не затем, чтобы ты вдосталь над ней посмеялся, но для того чтобы рассказ мой был отменно полон» (II, 1). Он просит не прогневаться на него, если употребит наиболее подходящие (т. е. грубые) слова, «когда поведеет рассказ о каких-либо бездельнических проделках» (VI, 23). В этих словах слышится уже требование адекватности стиля изображению, а не только «полноты» изображения, без которой не может быть подлинной правды. «Добрый порядок повести» заставляет его поведать, «какие мерзкие и поистине неслыханные свирепости чинились повсюду в нашу немецкую войну» (I, 4). И тут уже не до красивых слов! И здесь намечается его расхождение с «Франсионом». Оба романа довольно далеки друг от друга как в социальном отношении, так и по своим художественным средствам. «Симплициссимус» неизмеримо сложнее по композиции и многообразию охваченного материала. «Франсион» более расплывчат, лишен большого напряжения, страсти и порыва. Его герой не переживает «зла мира» и не ставит перед собой никаких этических проблем. Он испорчен до мозга костей и не желает исправиться. Сорель глумится над прециозной литера-

¹⁸³ Ш. Сорель. Правдивое комическое жизнеописание Франсиона. М.—Л., 1935, стр. 457—458, 590, 195—196. Гриммельсгаузен в «Дитвальде и Амелинде» пишет, что «не смеет умолчать и всенародно должен присвокупить к нашей истории, дабы она достигла своей полноты».

турой, но герои его остаются светскими кавалерами или представителями буржуазного патрициата, льнувшего ко двору. Рассуждения о моралистической пользе и полноте описания служат лишь для оправдания слишком откровенных сцен.

«Симплиссимус» социально и художественно глубже и значительней «Франсиона». Крестьяне, выведенные Сорелем, — «мужланы», гротескно-комические фигуры, полускоты, над которыми безжалостно потешаются светские кавалеры, тогда как значительная часть романа Гриммельсгаузена посвящена прославлению крестьянина, кормящего все другие сословия, униженного, попранного, однако сознающего свое достоинство и социальное значение.

Социальные позиции Гриммельсгаузена определили его отношение к внутреннему содержанию, мироощущению и художественным средствам галантного историко-героического и библейского романов. Более сложны его связи с жанром пастушеского романа, с которым он также был хорошо знаком. В «Симплиссимусе» прямо упоминается «Аркадия» Сиднея, долгое время пользовавшаяся успехом в Германии (III, 18). «Пастушеские игры», в которых приняли участие патрицианские слои бюргерства, воспринимались в разных аспектах: от философских раздумий об утраченной близости человека к природе до притворно утонченной тоски пресыщенных придворных по простой жизни.

Гриммельсгаузен слишком близко стоял к народу, чтобы поддаться букалической жи. Он видел и знал беспросветную нищету и темноту деревенской жизни, бесправие и беззащитность запуганной и разоренной войной крестьянской массы, сожженные дворы, полные опасности дороги, оторванность от жизни больших городов, бесконечное насилие и гнет. Пастушеский роман претерпевает у него удивительные превращения. Маскам аркадских пастушков он придает сатирический смысл. Фавн, выступавший еще в ренессансной пастушеской комедии как олицетворение сил природы, подает руку пастушонку Симплицию, охраняющему овец от волков игрой на волынке. Идиллия лесной жизни дана в сложной ироникориторической оправе на фоне страшной действительности, повторяется в новом преломлении, сочетаясь с идеей отшельничества и пантеистической лирикой песни «Приди, друг ночи, соловей». Вместе с тем мотивы пасторалей пародируются Гриммельсгаузенем в сцене, когда бывалый солдат Фортуны слушает в лесном уединении пение соловьев и встречается со своей «пастушкой» (V, 7—8). Некоторые идеи пастушеского романа иронически осмыслены в утопии Муммельзее при описании сильфов, живущих в полном слиянии с природой (V, 12—17).¹⁸⁴ Гриммельсгаузен не

¹⁸⁴ По мнению К. Хезельхауса, связь «Симплиссимуса» с пастушеским романом объясняется выбор вымышленного места издания Момпельгарт, где еще в 1619 г. появился немецкий перевод романа Д'Юрфе «Астрея», В кн.: *Der deutsche Roman*.

только вступает в конфликт с галантным стилем своего времени, но и не находит в нем этической основы для интерпретации действительности. Он апеллирует к «старонемецким» (altfränkischen) нравам, обычаю, укладу жизни, «доподлинным историям» и народным книгам. Фантастика «Мелюзины» и народных поверий для него более правдива, чем утонченная ложь галантных романов.

Гриммельсгаузен отталкивался от прециозного стиля, но он не мог миновать барокко и избежать его влияния. Барокко окружало его со всех сторон, встречало на улице и в церкви, раскрывалось перед ним в импортируемых своей ученостью и велеречием книгах. И его собственные галантные романы — это отчаянная попытка самоучки из народа прорваться в «высокую литературу», доказать всему свету и самому себе, что и он не лыком шит и способен писать такие же произведения, как знаменитые и ученые писатели. В этом сказалась социальная слабость и незрелость общественных слоев, которые он представлял.

Немецкая литература барокко в ее верхнем слое отвечала потребностям и вкусам феодальной верхушки, стремившейся воспарить над действительностью и поставить себя на недостижимую для народа высоту. Она поддерживалась всей совокупностью придворного быта, празднеств, карнавалов и иллюминаций. Подхватив пышные и чувственные формы барокко, католическая церковь насаждала спиритуалистическое восприятие мира и презрение к нему.

Стремясь подчинить себе сознание народа, господствующие классы навязывали ему свою идеологию, свои художественные вкусы. Сила сопротивления поднимающихся классов, и в особенности народных низов, выражалась не только в том, что они постепенно вырабатывали свою идеологию и стремились выразить свои антифеодальные настроения и формирующееся сознание в новых художественных формах, но и в том, что они подхватывали и использовали готовые средства выражения, трансформировали и переосмыслили их в своих собственных интересах. Поэтому не следует рассматривать барокко только как художественный стиль аристократических верхов, порожденный феодальной реакцией.

Литература барокко отразила историческую действительность эпохи первоначального накопления, колониальной экспансии, всеевропейского экономического, политического и социального кризиса, нескончаемых войн и первых буржуазных революций. Наиболее трагически сложилась обстановка в Германии, истерзанной Тридцатилетней войной, где умственное брожение и чувство неустойчивости задело представителей господствующих классов и наиболее сильно было в бюргерской среде. Усталость и

Von Varock bis zum Gegenwart. Hrsg. v. Benno von Wiese. Bd. I. Düsseldorf, 1963, S. 61. Эти соображения кажутся более убедительными, чем хитроумная гипотеза Я. Схольте, видевшего в этом «скрытую религиозную и политическую сатиру».

подавленность народных масс, апатия и трусливая покорность горожан облегчали наступление реакции

Успехи науки и техники в эпоху Возрождения хотя и сыграли свою роль в подготовке промышленного переворота, но не могли дать решительный толчок развитию экономики или способствовать преодолению разразившегося кризиса. Отсюда разочарование и неверие в силу науки, попытки переосмыслить ее выводы в мистико-теософском или ортодоксально-теологическом духе, чему способствовало и ограниченно механистическое понимание природы, мелочный эмпиризм XVII в. Самые искушенные умы поддавали под двусмысленное очарование каббалы, магии, астрологии, увлекались сбивчивым сочинением Горраполлона, якобы дававшего ключ к чтению египетских иероглифов и сокрытых под ними «сокровенных истин», или мечтали вместе с великим Кеплером о музыке «небесных сфер». Глубокие научные идеи уживались с фантастическими концепциями, как это мы видим начиная с XVI в. у Парацельса, а затем у Ван Гельмонта или Даниеля Зеннерта, растворялись в полигисторстве и приверженности к курезам и раритетам. Гуманистические идеи подверглись ожесточенному натиску со стороны представителей еще цепкого и живучего схоластического мировоззрения.

Но великие идеи, вынашиваемые человечеством, не умерли под натиском реакции. Они продолжали пробиваться вперед, но часто принимали фантастические и утопические черты. В своих лучших проявлениях литература барокко проникнута «трагическим гуманизмом».¹⁸⁵ Рационалистические движения мысли облекались в риторические и мистические одежды. В конце XVII в. в Германии еще пылали костры, сжигавшие ведьм и еретиков, но на свете уже жили Лейбниц и Томазиус. В ретортах алхимиков рождалась научная химия.

Беспокойное и напряженное искусство барокко питало пристрастие к динамическим и экспрессивным формам выражения. Оно обращалось к художественному наследию готики и эллинизма. В Германии, разоренной Тридцатилетней войной и отброшенной далеко назад в экономическом и культурном развитии, застоялись различные художественные традиции, характерные для ранних форм барокко. Немецкие поэты наивно пересаживали на родную почву все, что за полвека перед тем было модно во Франции и Италии, а иногда виртуозно усложняли и обостряли эти художественные средства, чтобы выразить свое отчаяние и ощущение трагизма, как мы это видим в творчестве Андреаса Грифиуса. Многообразные литературные произведения эпохи при всем их видимом отличии не были разделены между собой непроницаемыми перегородками, отражали одну и ту же историческую действительность, оказывали воздействие друг на

¹⁸⁵ А. А. Смирнов. Из истории западноевропейской литературы. М.—Л., 1965. стр. 195.

друга и пользовались родственными средствами, используя и трансформируя их в соответствии с возникающими задачами.

Гриммельсгаузен не отказался от художественных средств, предоставленных ему его временем. Барочная поэтика и стилистика просачивались в его творчество не столько из прециозной литературы, сколько из всей совокупности книжных источников, шли к нему от образованности, к которой он стремился всю жизнь.

В XVII в. риторика воспринималась как общее достояние культуры. Знание ее было достоинством. Проповеди, веками раздававшиеся с церковных кафедр, до известной степени риторизировали народное мышление. Риторические средства становились достоянием народного красноречия. И Гриммельсгаузен пользовался всем их арсеналом, начиная от ораторского строя речи и кончая сложными аллегориями, притчами и назидательными примерами. Прежде чем назвать вещь, он описывает ее с помощью отвлеченных метафор. Он говорит о двух персонажах, которые сами выступают как часть большой аллегории, что их не оставлял «внутренний страж, свет разума, неумолчный свидетель, а именно совесть» (VI, 12). Гриммельсгаузен был не лишен пристрастия к интеллектуальным построениям и решениям, унаследованным от схоластической риторики, но он остался чужд умственной взвинченности, которая так характерна для поэзии барокко.

Книжная речь в «Симплициссимусе» сложнейшим образом соотносится с реальной действительностью, которую Гриммельсгаузен пропускает через риторическую призму. В начале романа риторическая тирада (вдобавок заимствованная) как будто отодвигает на задний план реальную жизнь пастушонка с его овцами и волынкой. Он лишь намекает на пастушескую жизнь невинного и не ведающего о мире Симплиция, но не описывает ее на основе реальных наблюдений. Гриммельсгаузен был несравненным знатоком народной жизни и умел, когда находил нужным, изображать ее в живых и непосредственных сценах с легкостью и непринужденностью народного рассказчика, но в зачине «Симплициссимуса» он предпочел обратиться к книжной риторике, ибо в его глазах она обладала могучей действенностью. Использование риторических средств в сочетании с реалистической правдивостью создавало напряжение и усиливало ощущение трагизма.

Гриммельсгаузен пользуется формой учено-схоластического дискурса, в котором предмет рассматривается со всех сторон. По этому принципу схоластической диалектики составлена его первая книга — «Сатирический Пильграм», где каждая глава разделялась на три отдела: «За», «Против» и «Заклечения». Дискурсивный метод изложения, только в более сложной форме, находит применение и в «Симплициссимусе». Гриммельсгаузен не только пользуется этим методом, но и пародирует его, создавая юмористический аспект восприятия. Даже беседа с отшельником,

в которой раскрываются все неведение и вся простота юного Симплиция, названа дискурсом. А недоуменные реплики обоих собеседников — «речи» и «противоречия» (1, 8).

Дискурсивность захватывает изложение романа, где отдельные эпизоды и случаи из многотрудной жизни героя становятся предметом рассмотрения как своего рода этический и даже юридический «казус», который разбирает строгий и нелюбезный судья, выслушивающий все за и против. При этом чаще всего в качестве «сторон» и свидетелей выступают и ведут между собой дискурс старое Я умудренного опытом Симплициссимуса и «несведущего» Симплиция, выступающего в конкретном эпизоде романа. Поступки оцениваются по двум нормам поведения и морали: тем, которые сложились в описываемое время у Симплициссимуса, и тем, которые он выработал впоследствии. Сталкиваются между собой различные степени «зрелости», жизненного опыта и сознания, восприятия мира и отношения к нему. А «приговор» выносит сама жизнь, что придает моралистическому «выводу» предметный и ненавязчивый характер. Каждое событие в истории Симплициссимуса не только «казус», который выносится на моральное судилище, но и некое испытание, «искус», которому подвергается герой на его пути к моральному оправданию бытия. И в то же время эпизод раскрывается как жизненная задача, «ловушка», в которую попадает герой и из которой ему приходится выбираться, полагаясь только на свою сметливость и сноровку. И только впоследствии Симплициссимус, вспоминая и размышляя о былых приключениях, извлекает из них назидательные «выводы».

Излюбленным средством риторического воздействия была аллегория, призванная выразить в конкретно-чувственных образах общие идеи и отвлеченные понятия. Обобщенные аллегорические образы дополнялись «примерами» (exempla), чаще всего обыденными и житейскими, также долженствующими подтвердить общую мысль.

Гриммельсгаузен вводит в роман аллереорию, нередко мотивируя ее как «сновидение», — прием, имевший давнюю литературную традицию и получивший распространение в сатирико-дидактической литературе XVII в.

Аллегорические элементы в «Симплициссимусе» в отличие от Альбертинуса и Мошероша тесно связаны с сюжетом романа и личностью героя. Они играют важную роль в структуре и композиции произведения, а не приданы ему извне. В первой книге «Симплициссимуса» аллегорическое «видение» предстает перед внутренним взором юного Симплиция, когда он еще ничего не ведает о мире, в который ему еще предстоит вступить. Оно *предваряет* и предлагает в общей форме те представления о феодальной армии и ее порядках, которые потом находят подтверждение на всем опыте частной жизни Симплициссимуса, ставшего ландскнехтом. Мир, еще не познанный в чувственной конкретности, запечатлен в обобщающей аллегорической картине, за которой следует дискурс ста-

рого фельдфебеля с «дворянским прихвостнем», где дополнительно объясняются отношения в армии между «солдатами Фортуны» и «дворянчиками» (I, 15—17). При этом «видение» в начале и конце обрамлено сценами из реальной действительности Тридцатилетней войны. Личная перспектива Симплициссимуса дополняется и раздвигается аллегоризованным миром идей, что с особой силой проявляет себя в последней (шестой) книге романа.

Художественное мышление Гриммельсгаузена было в значительной мере дедуктивно. В этом сказывалось общее давление средневекового мировоззрения, еще владевшего народными массами. Аллегорическое осмысление действительности проходит через весь роман о Симплициссимусе, то обращаясь к старинным формам средневековой аллегии, то принимая сказочно-фантастические формы, как в облике Бальдандерса (VI, 9), знакомом еще Гансу Саксу, то контаминируя различные книжные источники и создавая такие гротескные фигуры, как Юпитер (III, 3—6), то сливаясь с сатирической утопией, как в эпизодах, связанных с посещением Симплициссимусом таинственного озера Муммельзее (V, 12—17), то разворачиваясь в сложные композиции, где традиционные аллегорические образы чередуются с дискурсами и оживляются множеством реалистических подробностей, а то и содержат целые вставные новеллы. Таково аллегорическое «сонное видение», которое зрит Симплициссимус перед тем, как решает вступить на новую стезю и оставить праздную жизнь на Моховой горе (VI, 3—8). Перед его очами развертывается ад, обставленный со всем великолепием театрального барокко. Слышатся тирады Люцифера, вполне уместные на подмостках школьной драмы. Люцифер ведет дискурс с Белиалом о войне и мире в феодальном обществе. Что больше развращает человечество — нескончаемая война, несущая бедствия и разорение, или мир в порочном мире, полном коррупции, социального неустройства и несправедливости? Адское воинство приходит к мысли, что во всяком случае «немецкий мир», положивший конец Тридцатилетней войне, не принесет избавления человечеству.

Включение злободневного политического материала предваряет аллегорическое «шествие» персонифицированных пороков с соблюдением их градации и соподчинения по традиционной схеме «семи смертных грехов», разработанной схоластикой еще со времен Фомы Аквината.¹⁸⁶ Происходит «спор» Скряги и Роскоши о преимуществах этих пороков и их значении в развращении человечества.

Согласно теологизированной психологии схоластов, «пороки» не только коренятся в «греховной природе» человека, но и порождаются внешними обстоятельствами, соблазнами мира и происками демонических сил. Эга

¹⁸⁶ W. E. Sch ä f e r. Laster und Lastersystem bei Grimmlshausen. Germanisch-Romanische Monatsschrift, N. F., Bd. XII, 1962, H. 3, SS. 233—243.

общая мысль иллюстрируется на частном примере «притчей в лицах» о постепенном развращении и падении, греховной жизни и гибели расточительного английского дворянина и его слуги стяжателя Авара, повестью, разработанной с большим числом бытовых подробностей, переносащихся в финансовый мир Парижа и Лондона, что придает ей живое ощущение реальности. Эти вставные новеллы существуют как бы сами по себе и в то же время соотнесены с общим аллегорическим содержанием эпизода, являются его частным аллегоризированным «примером».

В аллегорическом аспекте романа и остальные его персонажи предстают в том же сатирико-дидактическом свете, что облегчается резким ограничением их характера главенствующим пороком. Стряпчий в Кельне становится воплощенной скупостью, мусье Канар в Париже олицетворяет гордыню. Женщина под маской «на горе Венеры» соблазнительница в тангейзеровском духе — персонифицированная «Luxuria». При всей насыщенности аллегорикой «Симплиссимус» не становится отвлеченным метафизическим романом, оторванным от живой реальности или противостоящим ей. На первый план выступает зримый, предметный, физически ощутимый мир, корчащийся в муках и страданиях. Голод и жажда, зной и холод, боль и наслаждение — далеко не отвлеченные понятия. Даже забираясь в аллегорическую картину (как, например, при изображении «солдатской жизни»), эти понятия не теряют конкретного смысла, ибо поддерживаются всей действительностью, раскрывающейся в романе, и воспринимаются на ее фоне. Аллегорические элементы переплетаются с изображением действительности, вырастают в художественную ткань романа, создавая два аспекта восприятия — условного, метафорического, сатирико-дидактического и реалистического. Эта «двойственность» придает роману стереоскопичность, глубину, ассоциативное богатство, одновременно спасает его от иссушающей схоластики и натуралистической ограниченности. Живая, непосредственная жизнь врывается в роман, создавая его реалистическую основу, воздействует на его аллегоризм и подчиняет себе. Не следует преувеличивать значение дидактической и теологической интерпретации мира в романе Гриммельсгаузена. Метафизическое и «идеальное» почти всегда отступают перед живым и конкретным. Жизнь на каждом шагу побеждает аллегорическую схему. Симплиссимус выступает в романе носителем здравого смысла, непосредственного восприятия природы. Он связан с чувственным и конкретным народным опытом. Книжно-аллегорический аспект восприятия сталкивается с темпераментом народного рассказчика и фабулиста. Его оглядка на аллегорию свидетельствует о стремлении добраться до сущности вещей и найти обобщенное выражение и этическое оправдание мира, усилить дидактическое воздействие повествования и его сатирическое жало. Гриммельсгаузен сумел поставить глубокие этические и социальные вопросы, мучившие его поколение. Бледные схемы и аллегории облекаются в плоть и кровь, стано-

вятся живым отражением мировоззрения, чаяний, тревог, поисков социальной справедливости и этического оправдания бытия. Аллегорические элементы «Симплициссимуса» сродни формам средневековой аллегории в народном преломлении ярмарочных зрелищ и лубочных картинок. Живая струя народных представлений, действенные черты старинной литературы и театра более отвечали народному вкусу и здравому смыслу, нежели прециозные произведения «высокого барокко».

Аллегорика «Симплициссимуса», даже когда она на первый взгляд тесно связана с теологической интерпретацией действительности, пропитана живыми реалистическими элементами, отражает народное понимание жизни. Это особенно наглядно выступает в аллегорических образах, воплощающих общую идею «vanitas»: бренность, суетность и преходящность земного бытия. В шестой книге «Симплициссимуса» эта идея выражена в двух внешне совершенно самостоятельных и не связанных между собой аллегориях. Одна из них иллюстрирует грозную проповедь контрреформации о тщетности и ничтожестве всего земного. Симплициус вступает в дискурс с жалкой Подтиркой, и он выслушивает повесть о своей жизни маленького ростка конопли, пробившейся к солнцу и исполненной радостных надежд и значительности своего бытия. Но не успела она возрасти и дать плоды, оправдать свое жизненное назначение, как внешние силы и обстоятельства, от которых она не могла никуда уйти, вторглись в ее жизнь, мяли, трепали и терзали ее, извлекали из нее многообразную прибыль — и все для того только, чтобы пойти в конце концов на подтирку бродяге и быть спущенной в нужник (VI, 11—12). Из земли ты родилась и в землю отойдешь! Не такова ли судьба всего земного бытия? Не такова ли судьба, уготованная всем людям? Не таков ли конечный результат всех их страданий и усилий? Аллегория проникнута горьким сарказмом, но в ней просвечивает и составляет ее фон живая непосредственная действительность. Она «набита» жизненным материалом, содержит дотошное описание технических процедур выращивания, обработки конопли, торговых операций с ней, выработки полотна, бумаги, бытовые подробности и целую вставную новеллу с описанием жизни горничной и приключений ее рубашки, своего рода фламандскую «жанровую картинку». Безжалостная гротескная концовка приобретает не столько мрачно-философский трагический смысл, сколько юмористическое звучание. Раблезианский эпизод с Подтиркой открывает возможность сатирического, если не пародийного решения темы.

Еще большее значение для понимания аллегоризма Гриммельсгаузена имеет сцена встречи Симплициссимуса с фантастическим существом Балдандерсом (что по-русски можно перевести Напеременушкор). Блуждая по лесу, Симплициссимус натолкнулся на «каменного болвана», который оказался забытой всеми статуей «древнего немецкого героя». Стоило его пошевелить, как он заговорил, поведал свою историю и после многих пре-

вращений обратился в птицу и улетел прочь (VI, 9). Бальдандерс — немецкий вариант Протея, как его определяет сам Гриммельсгаузен в конце эпизода, связывая его с античной традицией (он вспоминает и «Метаморфозы» Овидия). Аллегория воспринимается в различных аспектах. Она переключается и с эпизодом, в котором безумец Юпитер предвещает появление «немецкого Героя», как бы еще раз подчеркивая несбыточность и неосуществимость этого идеала, невозможность вернуться к прошлому или удержать быстротечное настоящее. Бальдандерс олицетворяет вечную изменчивость вещей, но вовсе не возвещает, что они ничтожны или недостойны даже скоропреходящего бытия. Это отзвук античных представлений, а не иллюстрация к религиозной проповеди о бренности жизни. Все течет, все изменяется, сверкает, переливается, претворяется одно в другое. Это вечная сущность материального мира, а не его отрицание. Каждая вещь умирая дает жизнь другой. Превращения Бальдандерса жизнерадостны, хотя и не лишены насмешливости. Идея преходящности бытия теряет свое религиозно-аскетическое содержание и становится воплощением народной философии жизни. И, разумеется, не случайно основной мотив этой сцены и само имя сказочного персонажа подхвачены Гриммельсгаузеном у Ганса Сакса. И в свете этого оптимистического в своей сущности понимания вещей осмысливается и последующая аллегория — дискурс Симплициссимуса с Подтиркой. Именно это осмысление и открывало возможность гротескно-юмористического отношения к теме смерти и преходящности бытия. У Гриммельсгаузена нет мотива обреченности. Бренность бытия не означает его тщетности. Изменчивость вещей не делает их призрачными. Изображаемый им мир при всей своей пестроты, изменчивости и непостоянстве — не обманчивая иллюзия, не видимость и не тягостный мираж. Он полон живой конкретности, хотя все вещи в нем ненадежны и непрочны. Жизнь — не сон и не фантазмагория. Она ценна сама по себе, а не является лишь приурочиванием к смерти. Гриммельсгаузен чужд фатализма и чувства безысходности.

Если Бальдандерс олицетворяет непостоянство земных вещей, то Симплициссимус — непостоянство человеческой природы. Симплициссимус сознает изменчивость своей природы: «Быть может, Бальдандерс потому и явился тебе собственной персоною, чтобы ты заблаговременно сие предвидел и применился к Непостоянству мира сего», — рассуждает он сам с собой (VI, 10). Барочная риторика и дидактика сочетаются с симплицианским отношением к жизни, приемлющим ее, иронически плутоватым, не лишенным этического релятивизма. На протяжении своей жизни, исполненной всяких превратностей, Симплициссимус сталкивается с различными нормами поведения, ибо мораль ландскнехта и крестьянина далеко не совпадает. Что для одного молодечество, то для другого беда! Как можно судить о человеке по неизменным нормам морали, когда не только он, но и весь мир непрестанно изменяется подобно Бальдандерсу. Внут-

ренную ценность человека определяют не моральные принципы, приложенные к нему извне, а их приложение на практике. И в конечном счете торжествует не отвлеченная мораль, а здравый смысл и врожденная доброта.

Это практическая мудрость человека из народа, который в конце концов приходит к мысли, что он все же так ничего и не добился и не получил от жизни. Эта неудовлетворенность и сознание неблагополучия в устройстве человеческого общества выдвигают этическую проблему: «Ты испытал бесчисленные опасности на войне, где перепало тебе немало счастья и злополучия: то ты возносился, то падал, то был знатен, то ничтожен, то богат, то беден, то радостен, то печален, то любим всеми, то ненавидим, то в почете, то в презрении. Но ты, о бедная душа, что обрела ты в сем странствии?» (V, 23).

Эти слова представляют собой слегка видоизмененную (для сближения с сюжетом романа) цитату из моралистического сочинения Антонио Гевары (1490—1545) «Тяготы придворной и блаженство сельской жизни». Трактат Гевары, представляющий собой блестящий образец маньеристической прозы, пользовался большим успехом и был переведен на несколько языков, в том числе на немецкий.¹⁸⁷ Близкий к придворной жизни Гевара умел порицать ее, противопоставляя ей сельское гораццианское уединение, открывающее все радости созерцательного покоя. Умудренный опытом старый придворный устало взирает на суету светской жизни, обманчивую игру страстей и домогательств, интриг и происков, тщеславия и коварства. Это аристократический уход от жизни при дворе в уединение загородного поместья — интеллектуальное отречение от мира. «О, сколь блаженна ты, сельская жизнь, где дома в приятном отдалении, люди прямодушны, воздух чист, солнце светит ярче, земля чище, рынок малолюден, виселицы не переполнены, чернь менее озлоблена, провизия дешевле и здоровее, занятия плодотворней, общество не столь вероломно, забот меньше, а отдохновительных забав больше».

Заемствованное из трактата Гевары «Прощание с миром» занимает почти всю двадцать четвертую главу пятой книги «Симплициссимуса», и эффектно завершает роман в его первоначальном варианте. Тирада из Гевары, предваренная заимствованиями, сделанными из того же трактата, в 23-й главе вырастает в роман и представляется его естественным концом,¹⁸⁸ заключительным аккордом, подготовленным предшествовавшим содержанием романа. И в то же время она как бы возвращала к патетиче-

¹⁸⁷ A. Guevara. Zwei schöne Tractätlein. Leipzig, 1636, SS. 131—132 (БАН).

¹⁸⁸ G. Weydt. «Adieu Welt». Weltklage und Lebensrückblick bei Guevara, Albertinus, Grimmelshausen. Neophilologus. Jg. 46, 1962, 2. aflev., p. 120. В «Прощание с миром» Гриммельсгаузен внес лишь незначительные поправки, хотя они весьма характерны. Так, например, он заставляет сжигать «каждодневно» «колдунов», тогда как у Гевары «еретиков» (хотя к тому времени Гриммельсгаузен был католиком).

скому началу романа со всей его книжной риторикой, пафосом, иронией и горечью. Замыкается и тематический круг — мотив отшельничества. Симплиций ведет жизнь пустынножителя, еще не ведая ничего о мире, но, познав его, отрекается от него и становится на стезю своего отца. В этом отречении от мира видели последний этап «развития личности» Симплициссимуса или последнюю «станцию» на его жизненном пути. Появление шестой книги романа, а затем целой серии «календарных историй» казалось посторонним добавлением, нарушающим первоначальную стройность и цельность произведения. Однако, как мы еще увидим, это не так.

Гриммельсгаузен заимствовал наиболее существенную и патетическую часть трактата Гевары, вытравив упоминание о дворе и придворной жизни, немилости князя, зависти приближенных, долгах и подагре. Он оставляет самое общее и в то же время вкрапывает реальные детали только что поведанной истории Симплициссимуса, которая сама становится риторической притчей.

Изолировав тираду Гевары от всего содержания трактата, Гриммельсгаузен распространяет ее значение на весь мир. Однако он не только «переводит ее из придворного в общечеловеческое», но и переносит ее в иной литературный, историко-культурный и социальный контекст. Связь с сюжетом, изменение функции, переосмысление и трансформация заимствованного материала сглаживают его чужеродность и облегчают вхождение в художественную ткань романа.

Гриммельсгаузена, как и других писателей его времени, привлекало все необычайное, загадочное, редкое, причудливое — неведомые земли, плавающие острова, таинственные озера, подземные реки, диковинные звери и птицы, люди с глазами на груди, засыпающие на полгода, о которых повествовали античные географы. Этот экзотический материал наполняет полигисторские вставки «Симплициссимуса». Гриммельсгаузен не только стремится удивить и поразить воображение читателя. Он удивляется сам со всем простодушием и восторгом народного рассказчика. Его полигисторство приобретает фольклорные черты, обрастает мотивами народной фантастики. В книжных источниках Гриммельсгаузен часто заимствовал не самый острый, а нужный ему материал, который он пытался связать с сюжетным развитием и личностью Симплициссимуса, причем не только чисто ассоциативно. Так, например, начиненное ученостью рассуждение Симплициуса о памяти (II, 8) непосредственно следует за эпизодами, описывающими, как именно его и пытались лишить памяти (II, 5—6).

Гриммельсгаузен раскрывает действительность без кокетливого притворства. Он показывает прежде всего не преходящее великолепие жизни, а ее скудость и нищету, страдания и бедствия народа. Он остался чужд холодной извращенности аристократического барокко, его изысканности и аффектации. Но ему свойствен барочный динамизм и пристрастие к раз-

щей обнаженной детали. При всей откровенности некоторых сцен «Симплициссимуса» у него нет прециозной игры с натурализмом, и он по существу не эротичен. Натурализм Гриммельсгаузена иной природы, чем галантного романа. Это нагота жизни, а не жеманная обнаженность. Но он чужд и натуралистического спиритуализма барокко, когда острая, земная деталь использовалась для нагнетения душевного напряжения и экзальтации, подстегивала чувственное восприятие мира, подчеркивала его бренность и смертность, обращая взоры к небесному и нетленному. Натуралистические сцены «Симплициссимуса» вступают в сложное взаимоотношение с действительностью. Они существуют сами по себе как картины живой жизни и в то же время соотнесены со всей художественной тканью романа. Окружая аллегорические образы, они не дают им оторваться от земли, а, создавая чувственно-конкретный аспект восприятия, своей «наглядностью», усиливают дидактику. Симплициссимус, о чем бы он ни повествовал, все время думает о чем-то более важном и глубоком. Он не довольствуется видимостью вещей, их оболочкой, которую вдобавок считает обманчивой, а доискивается до их сокровенной сущности и назначения. И это вновь приводит его к мыслям о тщетности и превратности бытия, т. е. возвращает к барочному кругу представлений. Но идея «vanitas», хотя и проходит через весь роман как лейтмотив, не подчиняет себе героя и не надламывает его волю к жизни.

Гриммельсгаузен не остался чужд театральности барокко. Маски актеров, вернее даже мимов, лежат у лап загадочного существа, изображенного на фронтиспise «Симплициссимуса». Идея «ряженья», обманчивого маскарада жизни, составляет один из лейтмотивов романа. Еще в «Сатирическом Пильграме» Гриммельсгаузен писал: «Впрочем, маски или maschery куда обыкновеннее в мире, который не только хочет быть им по имени, равно как у людей, так и самих чертей, коим надобен маскарад, когда они соблазняют бедных людей и присовокупляют их к жалкой конгрегации своих ведьм и всякой нечисти» (II, гл. 7). Как подводная волшебная феерия, развертывается эпизод посещения Симплициссимусом таинственного озера Муммельзее. Все шире и шире раздвигаются кулисы, освещенные лунным и солнечным сиянием, пропущенным через толщу прозрачной воды, открывая ландшафты на дне океана, усеянного гигантскими драгоценными камнями, раковинами и причудливыми растениями. Несмотря на наличие народных сказочных черт, вся обстановка, речи персонажей, даже их движения принадлежат театру барокко. Да и само название озера связано с понятием ряженья и имеет в виду загадочную обманчивость этого места.

Описывая галантные похождения Симплициссимуса в Париже, Гриммельсгаузен заставляет его принять участие в оперном представлении и сыграть самого Орфея, а потом, завязав ему глаза, испытать весьма сомнительное приключение с тремя дамами в масках, когда он играет роль

наемного «Beau Alman»'а. (IV, 5). Театральная иллюзия сталкивается с низменным маскарадом жизни.

Гриммельсгаузен питал пристрастие к сценическим эффектам. Его аллегории театрализованы, как например «шестые грехов» в шестой книге «Симплициссимуса». Да и сам герой, став отшельником на необитаемом острове, предстает перед озадаченными голландскими моряками в гроте, наполненном сталактитами и освещенном почти призрачным мерцанием тропических светлячков, неведомых в Европе. Театральность описания сочетается с экзотизмом барокко. Но Гриммельсгаузен лишен театральной праздничности придворного быта. «Кулисы» его «театра» чаще всего подсвечены ироническими или даже зловещими огоньками. В этом и заключается его позиция по отношению к иллюзионизму барокко. Прециозная литература старалась скрыть под обманчивой театральной подлинную картину действительности. Гриммельсгаузен стремится прорваться за кулисы, сорвать маску с жизни, дознаться до ее сущности.

В «Симплициссимусе» не только уживаются, но и сливаются в сложное и противоречивое единство абстрагирующее и натуралистическое начало, конкретное и метафизическое, аскеза и чувственность, цинизм и благочестие, ирония и простодушие, искренность и лукавство. Антиномичность романа отражает трагические коллизии сознания, столкнувшегося с неразрешимыми противоречиями жизни. Значение Гриммельсгаузена не в том, что он остался вне литературного стиля барокко, а в том, что он раздвинул его рамки, использовал и трансформировал его художественные средства. В силу заложенных в нем социальных устремлений Гриммельсгаузен подчинял риторические средства барокко новым потребностям осмысления и отражения действительности. Народный вариант барочного романа пережил своих литературных современников. Немецкая проза XVII в. за немногими исключениями оказалась беспомощной перед лицом страшной действительности, взорванной войной и глубокими социальными потрясениями. Только Гриммельсгаузен в «Симплициссимусе» сумел создать художественное обобщение эпохи, использовав все средства и все возможности, которые она ему открывала.

10. ЛИЧНОСТЬ СИМПЛИЦИССИМУСА

В течение XIX в. сложился взгляд на «Симплициссимуса» как на «роман развития» («Entwicklungsroman») или «воспитательный роман» («Bildungsroman»),¹⁸⁹ раскрывающий и показывающий внутреннее совершенствование героя, его «просветление» по мере познания добра и зла, как в «Парцифале», или его душевное развитие и достижение им внутренней зрелости, отражающей «воспитательный идеал» века, как в «Виль-

¹⁸⁹ Оба термина близки по значению и часто употребляются как синонимы.

гельме Мейстере» Гёте.¹⁹⁰ Это был шаг вперед по сравнению с наивными суждениями о книге как бесхитроном рассказе или «картине» из эпохи Тридцатилетней войны. Подчеркивалась художественная организация материала и подчинение его проблеме личности. Развитие характера и этическая позиция героя выдвигались как главное отличие «Симплициссимуса» от «плутовского романа» и его «аморального реализма».¹⁹¹ С различными оговорками эта точка зрения удерживается до настоящего времени. В 1930 г. Р. Алевин усомнился в этой «традиционной схеме», указав, что в «Симплициссимусе» много неорганичных вставных эпизодов, которые не находятся ни в каком отношении с внутренним миром героя. Роман не раскрывает характера, изменений в душе Симплициссимуса, и даже его конечное отречение от мира внутренне не подготовлено и не твердо.¹⁹² Но еще раньше В. Шухардт¹⁹³ утверждал, что в «Симплициссимусе» нет ощущения, будто бы «достигнута новая, высшая ступень жизни», как в «Парцифале», и его «переживания и судьбы» движутся «в слое типического и жанрового», а не индивидуального развития личности.

На присутствие в «Симплициссимусе» готовых «твердых форм» указывал Клеменс Луговский.¹⁹⁴ Вслед за ним Лео Домагалла объявил, что «Симплициссимус» — не «роман развития». Его «внутренней формой» является «народный календарь».¹⁹⁵ Они выросли на одной почве. Симплициссимус — не конкретная личность с определенным характером, а «фигура из календаря», «носитель», готовых литературных форм и мотивов. Одинаковы по своей структуре и содержанию истории, приведенные и в романе, и в симплицианских календарях. Их можно менять местами. В «Симплициссимусе» мальчик, увидав в книге, которую читал отшельник, изображение горящего дома, хотел бежать за водой, чтобы залить огонь (I, 10). В симплицианском «Вечном календаре» мальчик, приметив, что, когда батька курил трубку, у него из ноздрей пошел дым, принес воду и вылил отцу на голову, решив, что он загорелся. Многие эпизоды романа происходят не в определенное время, а «однажды». Они как бы вклеены в роман и могли бы с таким же успехом найти место в народном календаре как самостоятельные шванки, получив особое название, например

¹⁹⁰ M. Gerhard. Der deutsche Entwicklungsroman bis zu Goethes «Wilhelm Meister». Halle, 1926.

¹⁹¹ E. Jenisch. Vom Abenteuer — zum Bildungsroman. Germanisch-Romanische Monatsschrift, 1926, H. 9—10, S. 340. R. Bottacchiari. Grimmelshausen. Saggio su L'avventuroso Simplicissimus, Torino, 1920.

¹⁹² R. Alewyn. Grimmelshausen-Probleme. Zeitschrift für Deutschkunde, 1930, H. 2, SS. 89—102.

¹⁹³ W. Schuchardt. Studien zu Grimmelshausen. Diss. Rostock, 1926, S. 31.

¹⁹⁴ C. Lugowski. Literarische Formen und lebendiger Gehalt im «Simplicissimus». Zeitschrift für Deutschkunde, 1934, H. 9, SS. 622—634.

¹⁹⁵ Leo Domagalla. Der Kalendermann Grimmelshausen und sein «Simplicissimus». Würzburg, 1942.

«Кунсткамера» (I, 24), «Искусство воровать» (I, 28), «Украденный заяц» (III, 24) и многие другие.

Поведение Симплициссимуса исходит из «готового опыта». Рассуждения пастушонка, а затем шута в Ганау и его неожиданная эрудиция не отвечают ни возрасту, ни какой-либо «ступени развития». Остроумие Симплициссимуса — не проявление личности в неповторимой обстановке, а готовые «находчивые ответы» шутов и персонажей из анекдотов, пригодные для любых сходных ситуаций. В аналогичных ситуациях сам Симплициссимус дает однотипные ответы (II, 29; III, 14). Его поведение определяется не развитием личности, а местом, отведенным ему в романе. По мнению Домагаллы, следует говорить не о личности Симплициссимуса, а лишь о некоем «общеэзначимом» симплицианском поведении, симплицианском отношении к жизни, запечатленном в романе. Домагале удалось показать несостоятельность внеисторического понимания «Симплициссимуса», как «романа развития», что не только отрывало его от ближайшей литературной традиции, но и от всего остального творчества Гриммельсгаузена. Положения, выставленные К. Луговским и Домагаллой, оказали влияние на дальнейшую интерпретацию «Симплициссимуса». Коллективная «История немецкой литературы», выходящая в ГДР, также называет основной формой этого романа «рассказы для календарей».¹⁹⁶ Даже Я. Схольте, убежденный в том, что «Симплициссимус», является последовательным «романом развития», не удержался от замечания, что Гриммельсгаузен смотрел на свое произведение, как «на выросшую до исполинских размеров историю для календарей».¹⁹⁷ За последнее время стремление отвергнуть «тривиальное» толкование «Симплициссимуса» как «романа развития» особенно сильно в среде литературоведов Западной Германии и США, увлеченных формально-структуралистическими изысканиями.¹⁹⁸

Домагалла возвращал Симплициссимуса к уровню плутовского романа. Он не увидел качественного различия между ним и персонажами шванков и «календарных историй». Материал народных календарей и романа вовсе не идентичен, несмотря на близость и даже совпадение мотивов. Это понимал сам Гриммельсгаузен. Выпуская новые издания «Симплициссимуса», он не ввел в сложившийся текст романа ни одного нового шванка, хотя и вносил различные изменения. Он, правда, прикреплял шванки и готовые «находчивые ответы» к имени Симплициссимуса в «симплицианских календарях». Но в них Симплициссимус проще, бесцеремон-

¹⁹⁶ J. G. Boeckh und and. Geschichte der deutschen Literatur. Bd. V. Berlin, 1952, S. 470.

¹⁹⁷ J. Scholte. Simplicissimus und sein Dichter. Tübingen, 1950, S. 172.

¹⁹⁸ G. Rorbach. Figur und Charakter. Strukturuntersuchungen an Grimmelshausens Simplicissimus. Bonn, 1959; E. Dahl. Grimmelshausens Simplicissimus. A study of a critical deformation. Los Angeles, 1961.

ней, лишен особых раздумий. Совсем иначе в романе. Введенные в него шванки, готовые «остроумные ответы» отражают движение мысли Симплициссимуса, соотносены с его личностью и характером. Одни характеризуют его детскую наивность, простоту и неведение, другие относятся к тому периоду, когда он уже приобрел житейский опыт, ловкость и лукавство. Включенные в роман шванки и бродячие мотивы не так-то просто поменять местами! Симплициссимуса нельзя рассматривать только как «носителя» готовых мотивов и сентенций, «фигуру», механически передвигающуюся из одной ситуации в другую, причем меняются только кулисы, а сам он остается неизменной сценической маской, с постоянно определившимся поведением, подобно персонажам «Commedia del arte» или народных ярмарочных представлений. И, хотя он не лишен родства с ними, Симплициссимус перерос их, так же как впитанный им материал шванков и плутовского романа.

Гриммельсгаузен «наизывал» на Симплициссимуса не любой, подвернувшийся под руку материал, а лишь подходящий к его облику, его поведению, поставленным перед ним задачам. Каждое приключение расширяет его познание мира, сталкивает с новыми аспектами бытия, приумножает жизненный опыт и ставит перед ним все новые этические проблемы.

Потребность в последовательном развитии отвечала риторико-дидактической цели. «Никто внезапно или, так сказать, во мгновение ока не превращается из благонавного в плута, а исподволь, помаленьку да полегоньку, со ступеньки да на ступеньку, каковые все суть ступени погибели», — резонерствует Симплициссимус, поведавая историю Юлия и Авара (VI, 5). Но это нарастание греховности или, напротив, праведности человека не является ступенями его «внутреннего развития». Грех приходит извне как соблазн и совращение, происки и козни демонических сил. Важно удержаться вовремя. Тирада включается в общую символику эпизода, выражает не идею «развития», а дидактическую проповедь воздержания от соблазна. Этот же принцип приложен не только к малому «назидательному примеру», вставленному в аллегорическую картину, но и ко всему роману. Этическая каузальность связывается с мотивом раскаяния (III, 9; IV, 7; V, 11, и др.). Но Симплициссимус не был бы Симплициссимусом, если бы даже свои угрызения совести не подцвечивал юмористическими огоньками (VI, 13). Он не лишен не только лукавства, но и своеобразного жизнерадостного озорства.

«Симплициссимус» обладает энергией поступательного движения, последовательностью в изложении темы. «Похождения» героя воспринимаются как превратности в его жизни и судьбе. Они, правда, не возносят его к окончательному «просветлению» или мудрому совершенству, но достаточны для достижения ближайшей (дидактической) цели.

В известной мере Гриммельсгаузен руководствовался принципом развития, только не в его позднейшем понимании, а получил его в риторико-

дидактической интерпретации барокко. Глубокие связи с фольклором и народной психологией помогли Гриммельсгаузену преодолеть иссушающее влияние схоластической схемы грехов и характеров, но, разумеется, не могли привести его к еще недостигнутой в то время стадии психологического «романа развития».

Формирование личности у Гриммельсгаузена показано не средствами анализа «приватных чувств», как у Гёте, а путем накопления эмпирического знания о мире, в столкновении с ним. Гриммельсгаузен вводит своего героя в такие «готовые ситуации», которые отвечают типическим обстоятельствам, порожденным Тридцатилетней войной. Он прогоняет его сквозь строй жизни, заставляет все увидеть и все испытать. Симплициссимус сталкивается со множеством людей всякого звания и профессий. Его окружают крестьяне, ландскнехты, маркитантки, канцеляристы, даже ведьмы. Он водит знакомство с лекарями и актерами, живет среди католиков и протестантов, сражается на той и на другой стороне. Он проходит через пестроту идей, мнений, вероисповеданий, как через пестроту самого мира. Он смел, предприимчив, удачлив, скор на выдумку и всяческие проделки. Он живет полной жизнью — завидной и великолепной с точки зрения любого ландскнехта, пьет вино и любит женщин. Словом, он солдат Фортуны. Необычайная живучесть роднит его с пикаро, их приключения часто одного пошиба. Однако Симплициссимус не просто немецкий вариант пикаро. Плутовский роман показал жизнь в формах, лишенных внутреннего единства. Приключения пикаро не порождают особого отклика в его душе. Назидательность плутовского романа житейская. Убеленный сединами пройдоха вспоминает бывлые приключения, поучая и предостерегая неопытную младость. Его благочестие напускное, его раскаяние — чистейшая фикция. Он помышляет не о сущности бытия, а о своей выгоде, как найти выход из положения и выбраться сухим из воды. Его цель — обеспечить себе благополучие и обрести вождельный покой. Как только он его достигает, он перестает существовать как пикаро. Дальше писать не о чем. Жанр «плутовского романа» по своему композиционному принципу не имеет конца. Автор всегда может нарушить равновесие и пустить пикаро на новую стезю приключений. Реализм плутовского романа — реализм момента. Он не охватывает проблем, поставленных жизнью, не отвечает на глубокие, этические, социальные и религиозные вопросы, или такие ответы привязаны к нему извне, а не оправданы позицией и отношением героя.

В отличие от пикаро Симплициссимус не только попадает из одной ситуации в другую, но последовательно сталкивается с различными моральными проблемами. Каждое приключение раскрывает перед ним новый аспект бытия, загадку которой он силится разгадать. Начав с горестного недоумения перед злом и жестокостью мира, Симплициссимус приходит в конфликт с ним, ибо люди не отвечали воспринятым им эти-

ческим принципам, и ему еще недоступен путь компромисса. Он взыскует правды, а его превращают в шута. К этой роли он подготовлен и внешне, и внутренне — и своим «неразумием», и отношением к нему мира. Почувствовав невозможность переубедить мир, он начинает, «смеясь, говорить правду». В романе намечается поступательное развитие. Это не непрерывное восхождение, но и не равномерное скольжение по прямой, как в плутовском романе. Каждый эпизод не только «новая ситуация», но и новая «станция» на пути героя, который в водовороте бурных и тревожных событий не теряет свою личность, а приобретает ее. Его приключения воспринимаются уже не как «похождения», а как превратности в его судьбе.

При всем своеобразии облика Симплициссимуса его мышление и поведение не разработаны в индивидуально-психологическом плане, а остаются обобщенно-типическими. Его сентенции либо книжного, либо фольклорного происхождения. Его понимание вещей чаще всего выражено через пословичную мудрость. Личное определяется у него отношением с внешним миром, а потом уже с самим собой. Внутреннее состояние героя не раскрывалось аналитически, а только называлось или упоминалось в связи с положением, в которое он попадал.

Личность Симплициссимуса не лишена условности, что позволяет ему принимать на себя дидактическую и сатирическую «нагрузку» и служить риторической цели. Сам Гриммельсгаузен воспринимал своего героя как аллегорическую фигуру. Он не случайно поместил на фронтисписе фантастическое существо, сопроводив рисунок стихами, которые следует принять как авторское объяснение. Он называет его Фениксом, прошедшим через пламя, знаменующим вечное рождение и становление, изменчивость бытия, многообразие его обликов и сложную противоречивость человеческой природы. Это существо, конечно, не Симплициссимус, но его аллегорический эквивалент.

Солдат Фортуны, Симплициссимус часто говорит о переменчивости судьбы и превратности бытия. И наконец символизирует себя в обобщенном уподоблении: «Я — мяч преходящего счастья, образ изменчивости и зеркало непостоянства жизни человеческой» (VI, 15). Эта метафора эквивалентна предшествующей реальной картине: бурный поток подхватил и понес Симплициссимуса, увлекая на середину Рейна, и, «как мяч, то подбрасывал вверх, то тащил в бездну» (IV, 10). Реальная картина метафоризуется, а метафора закрепляется в конкретном жизненном образе. В образах и размышлениях Симплициссимуса заключено не столько трагическое сознание бренности и непрочности бытия, сколько ощущение собственной детерминированности, зависимости от неумолимого и неотвратимого течения обстоятельств, понимание невозможности повлиять на ход событий, происходящих в мире. Симплициссимус испытал на себе все невзгоды и бедствия опустошительной войны, обрушивающиеся

почти внезапно на простого человека, делавшие ненадежной, шаткой и изменчивой его жизнь и судьбу. Потому-то Симплициссимус и чувствует себя «щепкой» на волнах житейского моря и «мячом» переменчивого счастья. Но он не только безвольно плывет по бурному морю жизни, без руля и ветрил. Он пытается обрести надежный моральный компас. Он борется за свое бытие, за свой разум, за свое этическое оправдание и свои представления о добре и справедливости. Он охвачен динамическим беспокойством, которое пронизывало в то время все роды человеческой деятельности: религию, науку, искусство. «Сущность всего сущего — борющаяся сила», — возвещал Яков Бёме.

Стремление Гриммельсгаузена к истолкованию жизни и ее моральному оправданию делало его восприимчивым к идеям контрреформации. Эти идеи, привязанные чисто внешне к герою немецкого плутовского романа Альбертинуса—Фрейденхольда, попытались теперь забраться в глубь произведения, претвориться через художественное сознание писателя. Проецируясь на личность Симплициссимуса, они получили неожиданное преломление. Симплициссимус часто выступает в роли носителя общих внеличных идей, живым воплощением моральных сентенций. Это и позволяет ему выходить за рамки своей личности, поражать слушателей учеными речами, не соответствующими его возрасту и уровню «развития», поведовать аллегорические сновидения и наконец самому претвориться в условную аллегоризированную фигуру, некий «назидательный пример», частный случай, иллюстрирующий в конкретном воплощении общую отвлеченную идею. Деревенский мальчишка из Шпессерта, с оскаленными от голода зубами, осмысляется как персонифицированная «*tabula rasa*» (I, 9), оказывается предпосылкой для последующего раскрытия общих этических проблем, зла и несправедливости мира, несоответствия провозглашенных и исповедуемых людьми принципов и реальной действительности и т. д. Герой не только ставится во множество типических обстоятельств, но и проводится через них для доказательства и демонстрации общих положений.

Реально примирить изображение действительности с моралистической тенденцией можно было, только разрешив проблему личности героя. Но тогда пикаро приобретает внутреннюю и внешнюю обусловленность. Он сталкивается с внешним миром, а не скользит по его поверхности. Гриммельсгаузен оторвался от циничного реализма плутовского романа и в значительной мере преодолел схематизм немецкого дидактико-сатирического романа, обескровившего пикаро и превратившего его в безжизненную фигуру. «Симплициссимус» — последний этап этого процесса, как бы задержавшийся на оптимальном уровне, когда жизненное содержание и его сатирико-аллегорическая интерпретация взаимно уравновешивали друг друга, создавая два аспекта художественного восприятия. Симплициссимус вырос и окреп как жизненная реалистическая фигура, но

вместе с тем усилилась возможность его сатирико-аллегорического осмысления.

Симплициссимус занимает центральное место в риторическом триптихе, крылья которого образуют две другие «фигуры» романа: Херцбрудер и Оливье, выступающие как олицетворение двух извечных начал добра и зла, борющихся в самом сердце Симплициссимуса.

Жизнь Херцбрудера — агиографическая легенда, житие праведника. Биография Оливье — устрашающий пример жизни и гибели нераскаянного грешника и злодея. Между ними как маятник качается Симплициссимус, который не способен стать ни совершенным негодяем, ни совершенным праведником. Оливье — типичное порождение нескончаемой войны и деморализации общества. Он становится извергом, потерявшим какие бы то ни было моральные устои. Он асоциален и не случайно живет в лесу волчьей жизнью, готовый всем перегрызть горло и знающий, что и его самого никто не пощадит. Его привязывает к Симплициссимусу только злобное и суеверное убеждение, что тот хорошо отомстит за его смерть.

Воспитанный в набожной католической семье, Херцбрудер под влиянием бедствий войны и собственных несчастий обращается к богу. Он хочет отрешиться от всего земного, от самой человеческой греховной природы. Война ему в этом помогает. Она калечит его, превращая в существо, лишённое плотского начала. Аскетический идеал доведен до логического конца, приняв вместе с тем конкретно-жизненное выражение.

Симплиций Симплициссимус — обыкновенный смертный. Он не закостенелый злодей и не самоотверженный подвижник. В сущности он не рожден для великих подвигов, хотя и стремится к ним. Средневековый дуализм духа и плоти, аскетического идеала и земной жизни развертывается в романе как антиномия этических принципов и житейской практики. Как жить в этом мире? Отвергнуть или принять его? То и другое не под силу Симплициссимусу. Он не может ни окончательно порвать с миром, ни согласиться с его злом и несправедливостью. Он сознает нестойкость своего характера. Однажды, когда ему «опостытели все бабы», он размышляет, а не пойти ли ему в капуцины. Но скоро одумывается: «Ты завтра будешь не тот, что сегодня... Нынче ты одержим целомудрием, а завтра воспламенишься похотью» (V, 19). Плавая по житейскому морю и умудряясь не утонуть, Симплициссимус выработал гибкие и лукавые нормы поведения и морали, не слишком для него стеснительные. Он легко пускается на всяческие плутни и проделки, и с помощью обмана однажды даже убивает человека. Но это «военная хитрость», ибо он был в неравных условиях с заносчивым и беспощадным противником, который не задумываясь уложил бы его на месте. Симплициссимус лишь уравнивал силы, и даже товарищи убитого сочли, что он поступил «по правилам» (III, 9).

Симплициссимус стремится сохранить этические принципы, хотя по слабости натуры и в силу обстоятельств ему это не всегда удается. Он оступает, падает, на него сыплются тяжелые удары судьбы. Он податлив, но в то же время удивительно устойчив. Отважен но и расчетлив. Способен рискнуть головой, но не лезет на рожон (III, 14). Он верен своему слову, надежный товарищ, прямодушен с друзьями и откровенен с врагами. Он щедр, незлопамятен, отзывчив, искренен и непосредствен. Как ни ломала его жизнь, в нем сохранилась искорка наивности.

Как и пикаро, Симплициссимус — обыкновенный человек, поставленный силой случая и неумолимых обстоятельств в необыкновенные ситуации. Он не отличается ложной скромностью. Он любит прихвастнуть и с восторгом повествует о своей красоте, великолепии, ловкости, смелости, находчивости, колких ответах. Он упоен своей находчивостью и сметливостью, умением провести за нос кого угодно. В трудную минуту его посещает сознание собственной греховности. Он взывает о спасении и дает обеты исправиться и начать праведную жизнь. Но как только минует опасность, он сразу же забывает о своих намерениях и зароках. Ничто так не чуждо Симплициссимусу, как презрение к плоти и отрицание земных радостей. Когда дело доходит до выбора, Симплициссимус делает его в пользу жизни. Он цепляется за каждую соломинку, чтобы устоять, удержаться, выплыть на поверхность и сохранить милое земное существование. При всей шаткости своих моральных правил Симплициссимус не теряет ни человеческого достоинства, ни душевной чистоты. Он не способен примкнуть к извергу Оливье и жить против своей совести. Поступки Оливье, начиная с самого детства, совершенно другого пошиба, чем проделки Симплициссимуса. Они низки и жестоки изначально: месть школяру, расплатившемуся за чужую шалость (IV, 18), бессмысленное мучение животных (IV, 22). Симплициссимусу претит подобная подлость и бесчеловечность. И когда дело доходит до грабежа на большой дороге, убийства женщины и детей, он восстает против Оливье, ибо это противно «закону природы». Симплициссимус думает прежде всего о преступлении против натуры человека и самой природы, а не божественной заповеди, но примечательно, что в порыве негодования он все же не бросается на Оливье, а выжидает случай, чтобы избавиться от него. Оливье идет на сделку с самим чертом. Симплициссимус остерегается иметь дело с нечистой силой, хотя верит в нее и часто сталкивается с ней на практике. Все, что противно человеческой натуре, он так или иначе отвергает. Он не может проникнуться и благочестивым порывом Хердбрудера, когда тот дает обет совершить паломничество наиболее трудным и изнурительным путем — отправиться в путь без денег и паспорта, пешком, наложив в сапоги твердого гороху. Симплициссимус всем сердцем предан Хердбрудеру, но на такое самомучительство он не способен. Он лукавит, приводит житейские доводы, чтобы запастись деньгами, и наконец велит сварить

для себя горох. И идет себе, как в пуховых туфлях. Все превращается в буффонаду, в которой сквозит удивительная для бывшего ландскнехта человечность.

По своей природе Симплициссимус чужд аскетического идеала. Он не способен до конца отрешиться от мира и умертвить его в себе. В начале романа юный Симплиций знакомится с аскетической практикой, но, не познав мира, не может найти ей внутреннего объяснения. Испытав мир, он сам решает стать отшельником, заканчивая книгу пламенной тирадой из Гевары. Он уходит из мира, подымается над ним на высокую гору, что также имеет аллегорическое значение. Но мир так близок от него и манит его к себе. Его пристрастный, отзывчивый интерес к людям не угасает. Симплициссимус обзаводится «перспективной трубкой», соединив ее с изобретенным им слуховым прибором. Ему необходимо не только видеть, но и слышать людей вокруг себя. Он хочет знать их дела и помыслы. Прославив праведником, он осознает свое отшельничество как разновидность социального паразитизма. В нем пробуждается жажда деятельности, и он с необычайной легкостью сбрасывает с себя обличье анахорета. Симплициссимус живет в мире аллегорий, но ведет существование пикаро, пока не находит успокоение в деятельном подвижничестве на необитаемом острове. Но и здесь он далек от аскетического идеала. Он не умерщвляет свою плоть, а возделывает землю. Пустынножитель, пишуший свои воспоминания на пальмовых листьях, сокрушающийся о эле и нестроении мира, вспоминает о своих похождениях с нескрываемым удовольствием: и как он был «егерем» в Зусте, и как украл сало у священника, представившись чертом, и какие испытал греховные приключения в Париже.

Подвижничество Симплициссимуса не только носит земной характер, но и подсвечено лукавыми огоньками. Шутовской колпак слишком тесно прирос к Симплициссимусу, и он позвякивает незримиыми бубенцами и тогда, когда, казалось, уже навсегда расстался с ним. Юмор не покидает его и в то время, когда он якобы отрешился от всего земного и на необитаемом острове предается благочестивым размышлениям, созерцая премудрость природы. Он сочиняет эпитафию, вернее эпиграмму над прахом своего товарища по несчастью:

Погребен я в сем месте, а не в синем море,
Ибо три вещи из-за меня были в споре:
Первая — бушующий Океан,
Вторая — враг рода людского шайтан.
Сих избежал по милости бога,
Да сока пальмы вкусил слишком много.

Это не отшельник, позволяющий себе пошутить, а шут, который принял на время обличье отшельника, прилепившего к бороде светлячков, чтобы было удобней писать свои мемуары.

Симплициссимус — это пикаро, ставший отшельником. На эту стезю повернула его глубокая неудовлетворенность миром. Симплициссимус не отвергает жизнь и ее земное начало, а отказывается от общества, полного злобы и несправедливости, лицемерия и коварства. Его «уход в пустыню» — форма пассивного протеста против неприемлемого для него социального устройства. Когда голландский капитан предлагает ему возвратиться к людям, Симплициссимус отвечает: «Здесь мир, там война, здесь неведомы мне тщеславие, скупость, гнев, жалость, ревность, лицемерие, обман, всякие заботы о пропитании и одежде, а также о чести и репутации». Симплициус перечисляет не «семь смертных грехов», в которых погряз мир, а пороки и недостатки, прежде всего обусловленные социальным порядком. Он не забывает даже о чести и репутации!

У Симплициссимуса более глубокая и более здоровая социальная основа, чем у деклассированного испанского пикаро. Впервые герой, вышедший из недр плутовского романа, захватывает мир крестьян, с которым редко, неохотно и без всякого сочувствия сталкивается пикаро. Эта связь с «мужиком» и в романе Гриммельсгаузена несколько условна, но именно своему батьке обязан Симплициссимус первыми представлениями о жизни, которые накладывают отпечаток на его последующее отношение к ней. Симплициссимус воспитан крестьянской средой, хотя и не принадлежит ей целиком.

Еще в 1913 г. Фриц Штернберг писал, что Симплициссимусу чужд дух бродяжничества, который гонит беспокойного пикаро с места на место.¹⁹⁹ Его толкают на приключения грозные события войны, добравшиеся до затерянной в глухом лесу «усадыбы» его батьки, а потом и хижины отшельника. Но и в дальнейшем, даже в разгар своего успеха, он не ищет приключений, а попадает в них. При всей своей энергии и изворотливости Симплициссимус удивительно пассивен и выручает его из беды чаще всего другой случай (IV, 12). Даже в галантные приключения в Париже он втягивается не по своей инициативе. Недобровольное существование в роли пикаро имеет глубокий социальный смысл. Симплициссимус в своей основе не бродяга и не искатель приключений, а оторванный войной, согнанный с места труженик. Это крестьянин или горожанин, обыкновенный человек, который не забыл ни приверженности к труду, ни былых заветов и наставлений о пагубности праздной жизни и тунеядства. Он учится всему, чему только можно, охотится за знаниями и в конце жизни на необитаемом острове говорит, что «человек должен трудиться, как птица летать». Эта существенная черта личности Симплициссимуса уже не свойственна пикаро.

¹⁹⁹ F. Sternberg. Grimmelshausen und die deutsche satirisch-politische Literatur seiner Zeit. Triest, 1913, SS. 165—166.

Симплиссимус на протяжении всего романа видит изнанку жизни. Она обманывает его и не только в юности, но и когда он повзрослел и уразумел многое. Но стоит ему лишь чуть довериться ей, предаться иллюзиям, как его подстерегает циничный подвох. Полный печали, только что простившись с отшедшим в вечность Херцбрудером, Симплиссимус ищет успокоения наедине с природой, слушает пенне соловьев и настраивается на лирический лад. Он встречается невинную крестьянку, которая ловко дурачит его, невзирая на весь накопленный им житейский опыт. Но Симплиссимус не становится циником и не теряет веры в жизнь, людей, торжество справедливости. Он всюду ищет добро и правду, только удивляется, что так редко ему удается их повстречать.

«Недобровольность» приключений Симплиссимуса придает им неожиданность и фантастичность. Он с легкостью попадает на шабаш ведьм и подводное царство сильфов и в различных видениях свободно принимает на себя сатирико-аллегорический материал.

Странствование и приключения пикаро открывают возможность панорамного изображения жизни, проходящей перед его глазами. Но пикаро не задумывается о характере общественных отношений и устройстве общества. Он довольно равнодушен к тяготам и страданиям людей и даже не прочь построить на нем свое благополучие. Совсем иначе в «Симплиссимусе», где, по справедливому замечанию Б. И. Пуришева, «эпос больших дорог превращается в летопись всенародных бедствий, порожденных эгоизмом господствующих сословий».²⁰⁰ Сила Симплиссимуса, как Фауста и Дон Кихота, в его многозначности и в то же время цельности. При всей конкретно-исторической и социальной обусловленности этих образов они лишены мелочной прикреплённости к жизни, не так тесно и непоправимо связаны со своей средой, как герои психологических романов XIX в. Они менее локальны, чем последние, и потому выходят за временные, а то и национальные рамки. Ближе всего Симплиссимус к Дон Кихоту. Дон Кихот — «рыцарь печального образа», «Симплиссимус — шут, который, «смеясь, говорит правду». Но оба они проходят через мир, как странники, взыскующие добра и недоумевающие перед злом мира. Был и в жизни Симплиссимуса период, когда он был маленьким Дон Кихотом. И у него были свои ветряные мельницы, когда он стал пажом в Ганау, и он пытался усюветить и образумить несправедливый мир. И также стал всеобщим посмешищем. Тот и другой немедленно расплачиваются за свои представления о мире, не соответствующие реальной действительности. Симплиссимус, сталкиваясь с миром, набирается ума. Дон Кихот остается во власти иллюзий. Дон Кихот смело и безрассудно кидается на ветряные мельницы, Симплиссимус хочет распознать их устройство, а то и обратить себе на пользу. Дон Кихота сжигает внутрен-

²⁰⁰ Б. Пуришев. Очерки немецкой литературы XV—XVII вв. М., 1955, стр. 345.

ний жар. Он обращен к самому себе, находится во власти своих внутренних помыслов. Взор Симплициссимуса устремлен в окружающий мир, он отлично подмечает его слабости и недостатки и сам предается им. Дон Кихот неподкупен и не идет ни на какие сделки со своей совестью. Симплициссимус не прочь поладить с людьми на путях компромисса. Дон Кихот импульсивен. Симплициссимус непосредствен, но умеет выждать и соблюсти осторожность. Он легко обретает чувство реальности. Дон Кихот умирает прозревшим. Симплициссимус редко заблуждается в своем положении, но и он по-своему уходит из мира, полного зла и несправедливости. Дон Кихот устало складывает оружие. Симплициус, даже став отшельником, полон неукротимой энергии и жажды деятельности. Дон Кихота морочат и потешаются над ним. Симплициссимус сам всех водит за нос и при первой возможности казнит мир под личиной шута. Но оба они чисты сердцем. И хотели утвердить на земле справедливость!

Симплициссимус сродни и Санчо Пансе. Санчо, связав свою судьбу с Дон Кихотом, тоже становится недобровольным пикаро. Он простодушен и не лишен здравого смысла и некоторого лукавства. Согласившись наложить на себя епитимью, чтобы расколдовать Дульцинею, Санчо, вместо того чтобы принять пять тысяч ударов плетью, не пошел дальше пяти шлепков. Он доверчив и вместе с тем хитер, плутоват и сердечен. Но, конечно, не только в этих частных чертах характера следует искать его сходство с Симплициссимусом. Важна их общая народная основа и та антифеодалная настроенность, которая врывается в оба романа. Став губернатором, Санчо, простодушно разыгрывая роль, смысл которой он так до конца и не уяснил, восклицает: «Мне сдается, что на нашем острове донов куда больше, чем камней, ну да ладно, господь меня разумеет, и если только мне удастся погубернаторствовать хоть несколько дней, я всех этих донов повыведу: коли их тут такая гибель, то они, уж верно, надоели всем хуже комаров» (Дон Кихот, т. II, гл. 45).

«Мудрые решения», которые выносит Санчо-губернатор, такого же свойства, как «остроумные ответы» Симплициссимуса. Их шванковая природа несомненна. И Санчо Панса и Дон Кихот движутся в сфере «готовых форм» и ситуаций. На них «нанизаны» привычные новеллистические мотивы. Они проходят через цепи эпизодов, число которых можно было бы умножить. В роман Сервантеса включены несколько вставных новелл (например, Повесть о безрассудно-любопытном, т. 1, гл. XXXIII—XXXIV; История пленника, т. 1, гл. XXXIX—XLI), пасторали, шванки, различный книжный материал. Однако, кажется, еще никому не приходило в голову объявить Дон Кихота и Санчо Панса только «фигурами», выполняющими определенную конструктивную функцию, и не увидеть в них ни личности, ни характера, ни художественного обобщения. И Дон Кихот и Санчо Панса не разработаны в индивидуально-психологическом плане и не «развиваются» на протяжении всего романа. Их характеры

даны готовыми. Мерки «образовательного романа», к ним еще меньше применимы, чем к «Симплициссимусу». Характеры их еще меньше подвержены изменчивости и колебаниям. «Просветление», которое приходит к Дон Кихоту перед смертью, — результат не развития и даже не постепенного познания, а внезапного озарения. О Санчо Пансе, правда, сообщается, что он, постранствовав с Дон Кихотом, набрался ума-разума. Но это — опыт пикаро. Санчо, повидав свет, настолько понаторел во всем, что под конец даже пускается в рассуждения о литературе, но это порождает лишь комический эффект. Однако ни о каком «развитии» личности Санчо Пансы говорить не приходится даже в том смысле, что он «созрел», до поста губернатора фантастического острова.

Симплициус Симплициссимус — такая же личность и такой же характер, как Дон Кихот, Санчо Панса и другие герои литературы XVI—XVII вв., ставшие «вечными спутниками» человечества. И он осознает себя как личность. «Не будь я истый Симплициссимус!» — восклицает он, указывая на своеобразие своей натуры. Его литературный наряд шит из лоскутов, как и подобает шутовскому наряду. Но это пестроцветное платье плотно пристало к нему и слилось с его обликом. «Ба! Да это комендантов Теля из Ганау», — сразу признали его в Магдебурге (II, 19). Симплициссимус — это человек из народа, кровно с ним связанный и отражающий народное понимание вещей. Он не только личность, но и точка зрения на мир. В романе показано не столько развитие, сколько рождение личности. В нем прежде всего раскрывается не поступательное «развитие» героя, а его стремление обрести индивидуальность. «Симплициссимус» потому и сложился как большая форма, что назрела проблема личности, ее положения и развития в условиях нарастающего кризиса феодального общества. Новые поднимающиеся социальные слои только нащупывали для этого средства. Не став «романом развития», «Симплициссимус» не раздробился в индивидуально-психологическом анализе. Он очерчен резкими контурами, подан крупным планом. Это не портрет маслом, а фигура с витража или мозаики.

11. РОЖДЕНИЕ РОМАНА

«Симплициссимус» сложился в результате столкновения и взаимодействия различных литературных традиций. В его образовании принимала участие вся совокупность повествовательных жанров его времени. Самую основу романа, его глубинный слой питала простонародная литература — шванки, незатейливые повести и рассказы для календарей, сказки, предания и легенды, побывальщины и другие «малые жанры» низовой литературы и фольклора. Затем уже следуют «народные книги», плутовской роман и высокая проза барокко.

В самой композиции «Симплициссимуса» можно усмотреть много общего с процессом циклизации шванков вокруг излюбленного героя, как например шут Гонелла в Италии, Эйленшпигель в Германии и Нидерландах, Балакирев в России XVIII в. и др. Симплициссимус — прямой потомок Тиля Эйленшпигеля. Он зародился из шванкового брожения и страсти к фабулированию. Но, как мы уже отчасти видели, шванки и анекдоты не просто прикрепляются к имени Симплициссимуса, а связаны с общими сюжетными линиями романа, участвуют в формировании личности главного героя, проецированы на все изображение действительности, развертываемое в романе.

«Симплициссимус» вобрал в себя большое количество пословиц, сентенций, афоризмов, «ходячих выражений» и крылатых словечек как устного, так и книжного происхождения, вступающих в сложное взаимодействие с художественной тканью произведения.

Излюбленным литературным жанром XVII в. были апофегмы. Они стали неперенным украшением устной и письменной речи, признаком образованности и вместе с тем галантности. Они приобрели свои «черты времени», отделявшие их от других афористических жанров, простых сентенций, изречений или наставительных пословиц. Апофегмам придавали не только назидательное значение. В них ценили прежде всего изысканную занимательность, поражающую воображение неожиданность и эпиграмматическую заостренность. Их понимали и толковали как «искусные придворные речи», «находчивые ответы» чаще всего в ситуациях, связанных с именами исторических лиц (наиболее традиционная форма жанра). Апофегмы все же сохраняют связь с назидательной афористикой и не переходят в анекдотическое остроловие. Они забавны, но предполагают если не прямую наставительность, то умный намек, тонкую находчивость житейской мудрости. Наиболее известными сборниками произведений этого рода были: «Немецкие апофегмы» Цинкгрефа (1626)²⁰¹ и приписываемая Харсдёрферу антология «Апофегматическое искусство» (1646).²⁰² Первая книга по материалу и стилю изложения ближе к старинным сборникам изречений, шванкам и, пожалуй, устной традиции. Цинкгреф обращался к немецким хроникам и историческим сочинениям и заботился о том, чтобы прикрепить апофегмы к определенным личностям, тогда как в предисловии к «Апофегматическому искусству» прямо говорится, что это необязательно, так как читатель не столь уж придает этому значение. Важно содержание — эффектность самого изречения или связанного с ним действия. Составитель черпает свой материал из общеевро-

²⁰¹ В Библиотеке АН имеется более позднее издание: J. W. Z i n c g r e f. Teutsche Apophthegmata, das ist der Teutschen Scharfsinnige Kluge Sprüche in zwei Theilen. 3. Theil von Joh. L. Weidner. Amsterdam, 1653.

²⁰² Q. P e g e u s. Ars apophthegmatica, das ist Kunstquellen denckwürdiger Lehrsprüche und ergötzlicher Hofreden. . . Nürnberg, 1655 (БАН).

пейского литературного репертуара. И его антология больше всего приспособлена для светских состязаний в остроумии и находчивости.

Гриммельсгаузен был знаком с обоими сборниками, которые он использовал при составлении народных календарей и для характеристики своего главного героя. Но в то время как апофегмы, выписанные из подобных сборников, включаются в календари почти дословно и лишь оживляются темпераментом прирожденного рассказчика, каким был автор «Симплициссимуса», то в самом романе функция их значительно усложняется. Так, например, в «Вечном календаре» помещена близкая к анекдоту апофегма следующего содержания: «Когда он (Симплициссимус) в некоем знатном городе увидел множество знатных щеголей с индийскими бородками, длинными локонами, в широких штанах, полных складок, как на женских юбках, то сказал: „Это дело означает нечто особенное, а именно, что на свете развелось много гермафродитов“». В романе юный Симплиций, не знающий еще о мире, встречается подобного щеголя у ворот Ганау и почтительно обращается к нему: «Ах, любезный мой гермафродит, оставь мне мой молитвенник». Комизм ситуации усугубляется еще тем, что болван-щеголь отвечает: «Какого черта ты взял, что я зовусь Германом» (I, 19). Вместе с тем весь этот эпизод соотносится с общей концепцией романа как одна из первых коллизий — возвращенного отшельником «простака» с суетным миром. Длинная вереница подобных коллизий и недоразумений и составляет содержание следующие глав романа. Участвуя в создании большой формы, малые афористические жанры меняют свою функцию и назначение. Здесь, как заметил Г. Вейдт, чаще всего происходит «эпическая интеграция мотивов»²⁰³ и содержания апофегм, которые, теряя свою жанровую определенность, становятся зародышем повествования. Они также служат целям создания рефлектирующего фона, долженствующего раскрыть состояние души героя, показать его размышляющим, как например использование часто встречающейся в сборниках апофегмат мысли о «глупых поступках» (III, 17).

«Симплициссимус» лишен аморфности и композиционной расплывчатости, которой отличался плутовской роман, особенно в его немецком варианте. Простое нанизывание мотивов уступило место сложным сюжетным связям. Гриммельсгаузен заостряет ситуации плутовского романа, придает им гротескно-юмористический характер. Таково, например, типичное для бравого пикаро — появление «бастардов». Но у Симплициссимуса три потомка появляются на свет одновременно, причем рожденный в законном браке оказывается не его собственным (V, 9). Эти три рождения завершают побочные сюжетные линии развития, а в одном случае оставляют нить для связи с другими романами симплицианского цикла

²⁰³ G. W e y d t. Apophthegmata Teutsch. Über Ursprung und Wesen der «Simplianischen Scherzreden». Festschrift für I. Trier. Köln-Graz, 1964, SS. 364—385.

(«Дамой», подбросившей в этом эпизоде ребенка Симплициссимусу, оказывается Кураже).²⁰⁴

Социально чуждая проза высокого барокко подала Гриммельсгаузену пример организации материала. Героико-галантные романы, изобилующие сложными линиями с неизбежными мотивами «тайны», «неожиданных встреч» и «узнавания», познакомили его с композиционными приемами «большой формы». К. Луговский писал: «Форма компонуемого романа всего плотнее в том месте, где Симплиций узнает от своего батьки, кто были его родители».²⁰⁵ Эти формы носят общеевропейский характер и «являются готовыми и затвердевшими, как кораллы, образованиями, которые, освобожденные от их жизненной основы, могут передаваться лишь как литературные готовые формы. Однако у Гриммельсгаузена готовые мотивы и традиционные сюжетные ходы резко меняют свою смысловую функцию и даже сюжетную роль. Если в придворно-галантном романе «узнавание» разрешает все запутанные сюжетные связи и приводит повествование к счастливому финалу, то в «Симплициссимусе» герой, неожиданно встретив своего батьку и узнав от него «тайну своего рождения», от этого ровно ничего не выигрывает. Нечаянно обретенное дворянство не изменило социального положения Симплициссимуса. Он не возносится в высший свет, как следовало бы по логике и традициям прециозного романа, и даже не устремляется к этому, а пытается повести жизнь зажиточного мужика. Но даже и это ему не удается. Нескончаемая война разоряет его. Здесь сказывается трезвое понимание Гриммельсгаузенном исторической обстановки и, вероятно, проступает горечь захудалого дворянина. О своем благородном происхождении Симплициссимус узнает уже после того, как женился на простой крестьянской девке, да еще с не очень добродетельным прошлым. Ситуация — не мыслимая в галантном романе. Обычная для прециозной литературы мысль, что «сын благородных родителей» и его «благородная кровь» сказываются, в какую бы обстановку он ни попал и какое бы воспитание ни получил, повисает в воздухе, превращается в буффонаду. Шут берет верх над кавалером. Гриммельсгаузен уже в самом начале «Симплициссимуса» пародирует мотив «благородного происхождения» героя, описывая «резиденцию» своего батьки. После «узнавания» мотив приобретает привкус еще большего сарказма.

Мотив узнавания связывает отдельных персонажей с главным героем и обеспечивает развитие сюжетных линий романа, не дает им распасться.

²⁰⁴ Этот мотив, по-видимому, заимствован Гриммельсгаузенном из «Сонного видения о Тебе и обо Мне», где некоему «доброму человеку» привиделось, «что он забеременел и лежит в родах. На другой день, рано поутру, ему подложили под дверь младенца, а вскоре служанка разродилась сыночком, а его жена дочерью. Два первых младенца были так похожи на него, а третий на конюха, словно вылитые» (об этом произведении и отношении к нему Гриммельсгаузена см. гл. 6 настоящей статьи).

²⁰⁵ C. L u g o w s k i. Literarische Formen und lebendiger Gehalt im «Simplicissimus». Zeitschrift für Deutschkunde, Jg. 48, 1934, H. 9, S. 628.

Появившиеся в конце второй книги «Симплициссимуса» Херцбрудер и Оливье надолго исчезают из поля зрения рассказчика. И только во второй половине четвертой книги Симплициссимус сталкивается в лесу с напавшим на него разбойником и после жестокой схватки с ним не на жизнь, а на смерть, узнает в нем Оливье (IV, 14—15). Здесь же реализуется и мотив «сбывшегося предсказания» старика Херцбрудера о смерти Оливье и о том, что Симплициссимус отомстит за него (II, 24). Мотив «сбывшегося предсказания» усилен тем, что он уже сбылся на самом старике Херцбрудере, предсказавшем свою собственную смерть (II, 24). Целых десять глав романа, после встречи Симплициссимуса и Оливье, тормозят развитие сюжета и вместе с тем создают напряжение повествования, так как читатель ожидает подготовленной и предсказанной развязки (IV, 21). Меж тем Оливье поведывает свою «историю», представляющую цепь вставных новелл и шванков, которые служат для его характеристики, как например эпизод с кошкой, отданной на растерзание псам, но с неожиданными для него самого последствиями (IV, 22). Попутно с помощью дополнительного мотива узнавания получает завершение ранняя вставная новелла о егере из Зуста (III, 2). Симплициссимус узнает, что коварным и злобным «лжеегерем», с которым он с помощью Шпрингинсфельда здорово разделался, был все тот же Оливье (IV, 21). Что же касается молодого Херцбрудера, то мотив узнавания здесь также удвоен. Первый раз после долгой разлуки Херцбрудер встречает Симплициссимуса и выучает его из беды (IV, 12). Второй раз Симплициссимус находит обнищавшего и искалеченного Херцбрудера (IV, 25).

Одним из важнейших структурных элементов «Симплициссимуса» выступает новеллистическая случайность. Многие связи в романе возникают внезапно, почти без предварительной подготовки. Случайно пастушок Симплиций встречает ландскнехтов, которые разоряют дом его батьки и понуждают бежать в лес, где он неожиданно встречается с отшельником. После смерти отшельника он случайно находит «письмецо», которое побуждает его пойти в Ганау. Схваченный как лазутчик, он случайно встречает попавшего в беду священника, и это меняет положение их обоих. Случайно попадает он и в лапы кроатов, когда беспечно играет на крепостном валу. Сбежав от них, он опять-таки случайно в опустевшем доме присаживается на колдовскую скамейку, которая сперва переносит его на шабаш ведьм, а потом в Магдебург, за много миль от первоначального места действия. Новеллистическая случайность играет значительную роль во всей композиции романа. «Случай» не только связывает отдельные мотивы, но и намечает, а то и надолго определяет развитие сюжета. Случайная находка клада в подвале заброшенного дома (III, 12) приводит к тому, что «егерь из Зуста» помещает свое богатство на хранение в Кельн (III, 13), на обратном пути попадает в Липпштадт (III, 14), где почти нечаянно женится (III, 21), а возвратившись в Кельн

за деньгами (III, 23), становится жертвой случайных обстоятельств, которые заводят его в Париж, где его ожидают все новые и новые приключения. Новеллистическая случайность в романе отвечает действительности, когда Тридцатилетняя война срывала людей с насиженного места и бросала в водоворот событий, навсегда меняла их судьбу, когда случай часто бывал сильнее человека. «Случайности» не просто перемещают героя в новую обстановку. Это нечаянный, непредвиденный, но долгожданный случай. Он подготовлен и мотивирован не психологически, а тем, что исчерпана предшествующая жизненная ситуация и в ней герою уже нечего делать. «Случается» как раз то, что нужно для дальнейшего движения романа.

Гриммельсгаузен стремится связать с сюжетным развитием «Симплиссимуса» даже аллегоризованные гротескно-сатирические образы и фигуры, которые становятся персонажами романа. Юпитер, встреченный на опушке леса Симплиссимусом, после того как поведал ему свои утопические мечтания, остается при нем в качестве шута (III, 8), а затем сопровождает его в Кельн (III, 13), где еще раз встречается с ним и дает ему уже разумные советы (III, 23), а в конце книги беседует с ним снова как безумец, однако высказывает горькие истины о войне и мире (V, 5). В конце пятой книги «Симплиссимуса» сделана попытка свести воедино все сюжетные линии романа. Симплиссимус не только последний раз встречает Юпитера, но и узнает об участии своей семьи, оставшейся в Липпштадте, видит своего сына (V, 5), хоронит Херцбрудера (V, 7), встречает своего батьку, от которого узнает «тайну» своего рождения (V, 81). Он посещает мир утопий, созданный «сильфами» на дне Океана, а затем на земле «перекрещенцами», пытающимися осуществить лучшее устройство мира на земле. Он совершает путешествие в Московию, переплывает моря и посещает разные страны. Он возвращается, когда уже кончилась война и заключен «немецкий мир». Но он познал тщету и бренность мира и отрекается от него, заимствовав пламенную тираду у Гевары.

Казалось бы, роман завершен. Сюжетная жизнь Симплиссимуса исчерпана. Отдельные эпизоды связаны между собой. Идейная линия развития проведена с большой последовательностью — от первоначального «неведения» к познанию мира и, наконец, отречению от него. Вся архитекtonика романа представляется такой четкой и законченной, что Схольте сравнил ее с построением пятиактной античной трагедии. Первая книга — экспозиция. Она охватывает детство, пребывание у отшельника и наречение Симплицием. «Возбуждающий момент» наступает в Гауау. Вторая книга — «возрастающее действие», соприкосновение с миром и неизбежное противоречие с ним. Его имя удваивается. Он становится Симплициусом Симплиссимусом. Третья книга — апогей. Симплиссимус — егерь в Зусте. Четвертая книга — перипетия, «падающее действие». Сюда входит жизнь в Париже и эпизод с Оливье. И, наконец, — пятая книга —

катастрофа и отречение от мира. С морально-сатирической точки зрения возвышение Симплициссимуса означает вместе с тем его нравственное падение. Высшая точка его преуспеяния является низшей точкой его морального уровня. Хотя Гриммельсгаузен был самоучкой и ориентировался на народную литературу, но он прошел такую «ренессансную выучку», что «самостоятельно избрал для своего почерпнутого из личных переживаний романа классическую структуру». Схольте полагал, что мотив узнавания в «Симплициссимусе» аналогичен его функции в античной трагедии, является предпосылкой действия — «анагноризисом», как например рассказ батеньки, открывающий герою его происхождение.²⁰⁶ Но, как мы уже знаем, рассказ батеньки не отражается на судьбе героя. Он не служит ни развязкой произведения, ни страшным разрушительным открытием для героя, как «тайна рождения» для Эдипа. Композиция первых пяти книг «Симплициссимуса» не является такой стройной, как это представлялось Схольте. Как раз пятая, «завершающая» книга романа наиболее сбивчива по композиции, а в самом конце ее изложение скомкано. Гриммельсгаузен наскоро перечисляет приключения Симплициссимуса в разных странах, оговаривая, что для их описания понадобилось бы написать целую книгу (V, 22).

В последних строках романа, долженствовавших звучать как заключительный аккорд, Гриммельсгаузен оставляет лазейку, позволяющую ему продолжать роман. Удалившись на высокую гору, чтобы вести жизнь отшельника, Симплициссимус оговаривает: «Пребуду ли я там, как мой блаженной памяти родитель, до конца дней моих, покажет время» (V, 24). И продолжение романа не заставило себя ждать. Оно появилось в том же году, что и первые «пять актов» строго продуманной трагедии.

Законченность романа оказалась мнимой. Схольте пытался объяснить это просто сделкой автора с издателем, вызванной необходимостью борьбы с конкурентами и злостными перепечатками романа. Побуждаемый издателем Гриммельсгаузен якобы поступился цельностью своего произведения, искажил первоначальный замысел, подлинным воплощением которого был лишь «Немецкий Симплициссимус» 1669 г., точнее его первые пять книг. Однако даже если принять во внимание издательские соображения, то вряд ли можно предположить, что Гриммельсгаузен согласился бы на полное разрушение своего художественного замысла, если бы он был проведен им сознательно и последовательно. А может быть, этой проблемы для него не существовало вовсе? И он, сочиняя шестую книгу, а затем одно за другим «продолжения» для календарей, не помышлял о том, нарушает ли это стройность композиции или нет. Г. Борхердт утверждал, что Гриммельсгаузен не сознавал всей глубины и этического значения своего творчества. Р. Невальд со своей стороны полагал, что стройность композиции «Симплициссимуса» «едва ли можно рассматривать, как сознатель-

²⁰⁶ J. H. Scholte. *Simplicissimus und sein Dichter*, S. 13.

ный принцип упорядочивания». Здесь, по его мнению, «правит сама жизнь».

Конечно, Гриммельсгаузену и во сне не мерещились те хитроумные композиционные приемы, которые ему приписывают некоторые исследователи, как например Э. Штреллер, утверждавший, что во всех симплицианских романах все, начиная от заглавия, числа не только глав, но и абзацев, подчинено «композиции чисел», восходящей к средневековым представлениям об их символическом значении.²⁰⁷ Странно было бы думать, что народный писатель больше всего заботился о том, чтобы подогнать все под комбинацию чисел и таким образом выразить некий сокровенный мистический смысл своего романа. Подобная «медиевизация» «Симплициссимуса» безусловно ошибочна. Однако совершенно невозможно отрицать в романе наличие организующего принципа, сознательного применения приемов композиции построения сюжета и ведения действия. Приемы эти иногда наивны. Композиция подчас шита белыми нитками, «стежки» и «швы» проступают наружу. Отсутствие индивидуально-психологической разработки, условность персонажей и ложившаяся на них сатирико-дидактическая «нагрузка», некоторая изолированность и прерывистость эпизодов не лишают роман цельности и внутреннего единства. А это невозможно без общего художественного замысла и продуманности построения.

Композиция «Симплициссимуса» резко отличается от плутовского и сатирико-дидактического романа, немецкого «Гусмана» или «Филандера», аморфных и тяжеловесных, рассыпающихся на отдельные, почти не связанные друг с другом полигисторские пассажи и аллегорические картины. Главы «Симплициссимуса» коротки и стремительны, подавляющее большинство их вводится с достаточной степенью последовательности. Вставные новеллы и аллегории вплетены в художественную ткань романа и находчиво связаны с его сюжетными линиями. По сравнению с галантно-героическими романами «Симплициссимус» имеет преимущество обзорности. Его интрига не запутана. В нем нет переплетения параллельно развивающихся действий, как в романах Циглера, Антона Брауншвейгского или Лоэнштейна. При всей пестроте и разнообразии эпизодов, обилии полигисторских вставок и аллегорических картин «Симплициссимус» сохраняет не только внутреннее единство, но и внешнюю стройность. Это объясняется в первую очередь свойствами главного героя. Он обеспечивает сквозное действие романа и его сюжетное развитие, связывает и объединяет, как в фокусе, различные плоскости и аспекты романа.

Шестая книга «Симплициссимуса», в подлинности которой не сомневались, далеко не случайное явление, которое можно было бы объяснить только чисто внешними причинами, вроде схватки с конкурентами издателя. В первых пяти книгах «Симплициссимуса» Гриммельсгаузен не

²⁰⁷ S. Streller. *Grimmelshausens Simplicianische Schriften*. Berlin, 1957.

решил ни проблемы личности героя, ни стоявшей перед ним этической задачи. Аскетическую позицию, в которую он поставил Симплициссимуса, поселив его на горе в Шварцвальде, он раскрывает как неудовлетворившую его и даже фальшивую. Симплициссимус не преодолел соблазна мира и не застыл на стадии созерцательного подвижничества.

Гриммельсгаузен нащупывает возможность других решений. Он выводит Симплициссимуса из пустыни для новых приключений и размышлений. Содержание романа раздваивается. Симплициссимус продолжает вести существование пикаро, наметившееся в конце пятой книги, и в то же время его жизнь отражается в сатирико-аллегорическом плане и принимает гротескно-фантастические черты. Но ни аллегория, ни гротеск сами по себе не могли привести к финалу. Роман завершает «робинзонада», которую Гриммельсгаузен, по-видимому, разработал, когда шестая книга была уже почти закончена.²⁰⁸

«Робинзонада» пришла к месту весьма кстати, ибо открывала возможность для новой концепции отшельничества. Поселив Симплициссимуса на необитаемом острове, удалив от людей и мирских соблазнов, Гриммельсгаузен раскрывает перед ним перспективу деятельного пустынножительства и душевного покоя. Если в первых пяти книгах романа запечатлен риторизированный жизненный опыт юного Симплиция, ставшего ландскнехтом и искателем приключений, а затем добровольно отрешившегося от мира, то в шестой книге дана обратная ситуация. Пройдя по аллегорическому кругу, Симплициссимус, вставший на путь пикаро, заброшен бурей на необитаемый остров и становится отшельником уже помимо своей воли, но вскоре осознает духовное преимущество своего положения. Католическую тираду, заимствованную у Гевары, заменяет мудрое рассуждение о социальном неустройстве мира.

Шестая книга «Симплициссимуса» знаменовала не спад в творчестве Гриммельсгаузена, а его зрелость. Найденный финал более глубок и содержателен, лучше обоснован с этической и социальной стороны, чем внезапное решение оставить мир, с которым мы встречаемся в пятой книге. И все же Симплициссимус снова, и притом довольно искусственно (его «похищают» разбойники), вырван из достигнутого им совершенства и возвращен в мир уже как странник, вечный бродяга, площадной шарлатан и сочинитель дешевых календарей, которые он сам распродает и выкрикивает из них новости на подмостках. От его аскетических порывов и идеалов не остается ни следа. И все это издано в 1671 г. в одной и той же книге, под одной обложкой! Какая неожиданная судьба для персонажа и автора, сумевшего подняться до больших исторических и религиозно-философских обобщений, создавшего широкую, художественно адекватную картину своего времени.

²⁰⁸ M. Koschlig. Grimmelshausen und seine Verleger, S. 90.

Вывод Симплициссимуса на стезю пикаро и календарщика ничего не разрушал и не обесценивал в художественной концепции романа. Это не было для Гриммельсгаузена ни снижением, ни профанацией сложившегося образа. Симплициссимус подходил на разные роли! Схольте утверждал, что, в то время как первые пять книг «Симплициссимуса» составляют законченный и целостный роман, шестая — уже самостоятельная «новелла» (зерном которой является «робинзонада») или во всяком случае новеллистической природы, а три «продолжения» — типичные «истории для календарей», так что они по существу принадлежат к разным жанрам. Но что же все-таки представляют собой эти новые «продолжения»? «Побочные продукты», «отбросы большого романа», как их иногда называют, ремесленные подделки, спекулирующие на его успехе и популярности имени главного героя? Можно ли вообще связывать их с композицией главного романа? Или следует вовсе их отбросить, как поступил Борхердт, который, воспользовавшись текстом издания «Симплициссимуса» 1671 г., тем не менее напечатал его без календарных «продолжений»? Но ведь, как мы только что видели, точно такие же вопросы возникали и в отношении «шестой книги» «Симплициссимуса», которая рассматривалась как искусственное продолжение, лишь нарушающее первоначальную стройность романа. Именно это обстоятельство и не позволяет с легким сердцем отсечь «календарные истории» как неорганичную часть романа, в котором сталкивается и как бы проверяется на эстетический эффект замкнутая и открытая композиция и, как нам кажется, побеждает последняя, открывающая возможность для бесчисленных продолжений. Гриммельсгаузен и находит принципы организации «большой формы» и теряет их, выходит «за раму». Вступает в свои права экспансия содержания — вторжение побочного и вставного материала, экзотизм и полигисторство, непринужденное фабулирование народного рассказчика.

Личность Симплициссимуса оказалась достаточно сильной, чтобы не только принять на себя разнородный, часто аморфный материал, но и подчинить себе готовые мотивы и сюжетно-композиционные схемы. Но и сам материал продолжал оказывать воздействие на героя и как бы рваться в роман. Открытая композиция романа лучше всего отвечает заложенным в нем тенденциям к безграничному поглощению разнородного материала.²⁰⁹ Его рамки, или, лучше сказать, театральные кулисы, раздвигаются, открывая бесконечную перспективу. Личность Симплициссимуса двойится и множится как бы в ряду освещенных разноцветными огнями зеркал. Симпли-

²⁰⁹ Симплициссимус «возвращается в мир» не только в историях, предназначавшихся для народных календарей, а затем все же приложенных к роману, но и в трактатах, где принимают участие и другие персонажи романа, в том числе его деревенские «матка» и «батка» и Урселе, ставшие совершенно условными фигурами. Эта как бы третья жизнь литературных героев уже не имеет отношения к композиции самого романа.

ссимус воспринимается в различных аспектах. Он проецирован на множество вещей.

Формой изложения в романе является рассказ от первого лица, по большей части от имени Симплициссимуса. Кроме Симплициссимуса, в такой же форме предложены история Херцбрудера (IV, 11—12), «исповедь» Оливье (IV, 18—21), приключения Подтирки (VI, 11—12), реляция голландского капитана (VI, 24—27) и некоторые другие эпизоды романа.

Ближайшая традиция повествования от первого лица, оказавшая влияние на Гриммельсгаузена, идет от плутовского романа. В «Симплициссимусе», как и в плутовском романе, повествование ведется с позиций рассказчика, который представляет события такими, какими они рисуются его воображению или какими он хочет их представить своим читателям, которые, однако, делают свои выводы и дают свои оценки всему, о чем они узнают.

В «Симплициссимусе» читатель (и слушатель) незримо присутствует на протяжении всего рассказа. Иногда он выдает свое присутствие, побуждая рассказчика торопливо вставлять различные пояснения, которые сами по себе не обязательны для изложения, но как бы предупреждают неизбежный вопрос или возглас слушателей (I, 20; III, 11, и др.). Это не воображаемый читатель и не отвлеченная аудитория. Она хорошо знакома рассказчику. Мы так и видим словоохотливого трактирщика, который знает вкусы и повадки своих гостей, умеет поразить их воображение, развлечь, позабавить, дать к слову полезный совет, вставить меткое словцо в чужую беседу. Эта простонародная аудитория однажды в романе прямо названа мужицкой (IV, 8). Она простодушна и слушает, то разинув рот от удивления, то пускается в обсуждение событий, о которых только что услышала. Люди судят вкривь и вкось, спорят и сами наперебой сообщают о своих домыслах (VI, 15). Они охотно передают всякие рассказы, например о Муммельзее (V, 10), чем подзадоривают Симплициссимуса к его путешествию, и таким образом играют роль в развитии сюжета. А иногда и сам рассказчик признается, что наврал с три короба (VI, 11). Это «вранье» подчас даже служит мотивировкой для полигисторских учебных вставок (VI, 14).

В плутовском романе «угол преломления» действительности и «поправка на рассказчика» относительно невелики. Пикаро любит прихвастнуть, преувеличить свои подвиги или опасности, которым он подвергался, поставить себя в самом центре событий, как поступает сплошь и рядом Симплициссимус. Но действительность, о которой идет повествование, чаще всего не соответствует веселому рассказу солдата Фортуны, даже когда он упоен своими успехами. Он хвастает своими подвигами, а его несбыточной мечтой оказывается простой «прапор». Жизненная обстановка и ситуации, в которые он попадает, вовсе не так богаты и бле-

стящи, как он хочет показать. И в этом отношении Симплициссимус еще остается на уровне «плутовского романа».²¹⁰ Но в отличие от него форма изложения от первого лица у Гриммельсгаузена связана с возникновением сложного «второго плана» повествования, ироническим, сатирическим, а иногда и пародийным переосмыслением действительности, ее гротескной интерпретацией. «Сказовая функция» речи усложняется. Тон и слог, которым ведется повествование, часто умышленно не совпадают с характером, смыслом и значением описываемых событий. В начале романа это мотивируется «простотой» Симплициуса, не понимающего, что, собственно, происходит в мире: «Непроглядная ночь укрыла меня, оберегая от опасности, но, по моему темному разумению, она не была достаточно темною; а посему схоронился я в чаще кустарников, куда доносились до меня возгласы пытаемых крестьян и пение соловьев, каковые птички, не взирая на крестьян, коих тоже подчас зовут птицами, не дарили их сочувствием, и сладостное то пение не смолкало несчастья их ради; посему и я прилег на бок и безмятежно заснул» (I, 5). В наиболее патетических местах романа возникает своего рода как бы внеличное и в то же время недоуменное восприятие мира. Симплициссимус в сущности не вживается в окружающую обстановку и потому с необычайной легкостью ее покидает. Он появляется в романе как удивленный странник, пришелец, чужеземец. Отсутствие глухой прикрепленности к житейской обстановке создает дистанцию между действительностью и рассказчиком, который смотрит на нее со стороны. Эта «позиция рассказчика» открывает путь к сатирическому осмыслению действительности. Личность Симплициссимуса объединяет и организует разнородный материал, включенный в роман, создает единство стиля.

В «Симплициссимусе» отразилось языковое брожение, возникшее в результате Тридцатилетней войны. Речь персонажей пересыпана варваризмами, в особенности галлицизмами. Встречаются иноязычные фразы (II, 14), «ломаная речь» (IV, 8). В текст вкраплены образцы различных диалектов. На диалекте говорит не только батька Симплициуса (I, 2), им пользуются рейтар (I, 5), фендрик (II, 13), захваченный в плен «арап» (III, 8), даже куртизанка в Париже, запомнившая несколько немецких слов (IV, 5). Разыгрываются целые сценки (III, 23). В Зусте Симплициссимуса зовут на диалекте «егерек» («dat Jäjerken») (II, 29). Чаще всего рассказчик лишь намекает на диалект, дает его образец, а далее вступает в свои права прямая и косвенная литературная речь. Так поступает он при описании встречи с мужиками-лесовиками. После недоуменного вопроса на диалекте мужики пользуются обычным языком романа (V, 17). Батька Симплициуса, который в первой книге на фоне патетиче-

²¹⁰ Г. Вейдт полагал, что это приводит к структурному упрощению, так как сужает повествование до «поля зрения» Симплициссимуса, и мы узнаем о событиях и вещах «только через посредство Я рассказывающей личности».

ских тирад говорит на дремучем диалекте, в пятой книге открывает тайну рождения героя, почти не выделяясь из общей речевой ткани. «Индивидуальный», язык персонажей, служащий для их характеристики, вливается в общий стиль повествования от первого лица и воспринимается на его фоне. Поэтому следует говорить не о пестроте и разнородности стиля «Симплициссимуса», а о его полифоничности. Литературный риторический стиль проповедей, ученых сочинений и галантных романов, язык рапортов и донесений, сложившийся в имперских военных канцеляриях «писарский слог», в котором был искушен сам Гриммельсгаузен, сталкивается в «Симплициссимусе» с живой стихией простонародной речи.

Гриммельсгаузен не мог оторваться от привычного ему речевого стиля народного рассказчика, выработавшегося у него, когда он еще не стал писателем. Он составляет живую основу романа. Но ему были также необходимы книжная речь и связанные с нею художественные средства. Столкновение различных по своей природе, источникам и стилистической окраске языковых средств, их сложное, контрастирующее взаимодействие и создавало гротескно-сказовую форму романа, открывало возможности для иронического переосмысления, смещения семантических связей и пародирования. Книжно-риторическими средствами дается описание «шляхетской резиденции» батки в Шпессерте, где по ночам волки подвывают друг другу «спокойной ночи!». Симплициус, ничего не ведающий о мире, принимает отряд ландскнехтов за стаю волков, от которых он должен уберечь овец, ибо «почел коня и мужа за единую тварь, подобно тому как жители Америки испанских всадников», и потому вознамерился прогнать «сих кентавров» игрой на пастушеской волынке. Торжественная приподнятость и пафос, подсвеченный иронией, открывают возможность для создания комических эффектов (I, 1—2, 19, и др.). Контрастируя с ужасами действительности, этот гротескный стиль и создает ощущение трагизма. Гриммельсгаузен чужд формалистической изощренности «высокого барокко». У него нет гипертрофии формы, а скорее щедрая экономия художественных средств, сдержанность и чувство меры при изобилии и разнообразии мотивов и образов. Его стиль патетичен без аффектации, риторичен без надутости, живописен без мишурности. Его метафоры не вымучены. Его каламбуры простонародны.

Художественное своеобразие «Симплициссимуса» исторически обусловлено как самой действительностью, так и уровнем ее отображения, достигнутым в литературе. Новая, формирующаяся в демократической среде «большая форма» еще была неустойчива. «Симплициссимус» превращается в роман как бы на глазах, возникая из сложного взаимодействия «готовых форм» и мотивов. Гриммельсгаузен ломал и разрушал жанровую обособленность и обусловленность использованных им старых форм. Шванки, «календарные истории», находчивые ответы не сохраняли свою прежнюю природу. Назидательные притчи разрабатывались как

новеллы и шванки, а шванки и новеллы превращались в «примеры» риторической проповеди. Включаясь в роман со сложными композиционными связями, «малые формы», шванки и анекдоты из народных календарей приобретали необычную для них сюжетную функцию, но вместе с тем приносили и свою жанровую стилистику, которая воздействовала на общую форму и структуру романа. Персонажи «Симплициссимуса», выполняющие сложную сюжетно-композиционную функцию, восходящую к структурным формам героико-галантных романов, опрощаются и приобретают шванковую природу. Социальные тенденции, нашедшие выражение в творчестве Гриммельсгаузена, приводили к переосмыслению и трансформации художественных средств барокко. Приблизившись к адекватному отражению действительности, Гриммельсгаузен наполнил энергией мертвеющие формы барочной риторики, придав им новую выразительность и свежесть. Многие из того, что в прециозной «высокой» литературе уводило от действительности, в «Симплициссимусе» обрело иную функцию и стало служить для правдивого изображения социальных отношений.

Общее замедление исторического развития Германии после Тридцатилетней войны вызвало усиление традиционализма и обращение к художественным формам прошлого. К этому толкал Гриммельсгаузена и его социальный антагонизм по отношению к литературе «высокого барокко». Но была и другая традиция, несколько приглушенная, но не умиравшая и в середине XVII в. В 1640 г. Мошерош с неодобрением перечислял книги, которые под видом молитвенников и душепасаельных книг читают молодые девицы: «Амадис», «Дорожная книжечка» Викрама (1535), «Общество в саду» Якоба Фрея (1556), «Дело и потеха» И. Паули (1522), «Эйленшпигель», «Петер лев» Видмана (1560), «Мелюзина» (1598), «Рыцарь Понтус», («Понтус и Сидония», 1456), «Магелона» и др. В этом перечне приведены названия наиболее распространенных волшебных рыцарских романов, сказочных повестей, сборников шванков и других произведений, составляющих репертуар так называемых народных книг XVI в. И хотя многие из них давно не переиздавались, их еще читали с жаром в протестантской и бюргерской среде, к которой принадлежал и сам Гриммельсгаузен. Он упоминает Эйленшпигеля, шута Клауса,²¹¹ доктора Фауста, Фортуната, страну «Пролежи-бока» («Schlaraffenland») и непроходимо глупых горожан из народной книги «Шильдбюргеры». В «Шпрингсфельде» использована история Мелюзины.

Наиболее ему близок Ганс Сакс,²¹² которого Гриммельсгаузен цити-

²¹¹ Книга протестантского пастора Вольфганга Бютнера «627 Historien von Claus Narren», вышедшая впервые в 1572 г., вероятно, была известна Гриммельсгаузену в одном из более поздних изданий (начиная с 1602 г.), когда она приняла характер народной книги.

²¹² F. Eichler. Das Nachleben des Hans Sachs von XVI bis ins XIX Jahrhundert. Leipzig, 1904, SS. 93—96.

рует в «Сатирическом Пильграме». Он заимствует у него основной мотив для эпизода с Бальдандерсом и одновременно упоминает стихотворение Г. Сакса «О потерянном и говорящем гульдене» (VI, 9). Примечательно, что в одном из фастнахтшпилей Сакса главную роль играет простак Симплиций. Но сама по себе эта традиция не могла привести к тому новому и обобщенному отражению действительности, которое дано в «Симплициссимусе». Она могла лишь предложить ему разрозненные реалистические детали и наблюдения, анекдотические ситуации, социально близкие мотивы сатирического обличения. Потребовалось еще много, чтобы непритязательный и грубоватый шут Эйленшпигель превратился во взыскующего правду простака Симплициссимуса. Обратившись к наследию немецких народных книг, черпая из него полными пригоршнями, Гриммельсгаузен воспользовался опытом плутовского романа, аллегорической сатиры Мошероша, содержанием политических памфлетов и ученых сочинений своего и предшествовавшего века и, наконец, всем тем, что он мог найти для себя в высокой литературе барокко.

«Симплициссимус» был вершиной творчества Гриммельсгаузена, написавшего еще четыре романа, связанных между собой общими мотивами. Героиня романа «Кураже» (1670) — это та самая «благородная дама», которой довелось в жизни повстречать Симплициссимуса и даже якобы от него забеременеть (V, 6). Свои «мемуары» она диктует назло Симплициссимусу, чтобы он не кичился своей победой и знал, «какая честная досталась ему кунца». В остальном действие «Кураже» развивается самостоятельно: Либушка, так, собственно, звали Кураже, выросла в глухом богемском городке Прахатиц. Родителей своих она не знала. Когда ей минуло 13 лет, городок был взят имперскими войсками. Чтобы спасти Либушку от разнузданности ландскнехтов, воспитательница переодевает ее мальчиком. Под именем Янко она становится пажом ротмистра, а когда открывается ее пол, его любовницей. В дальнейшем она испытывает множество приключений, несколько раз выходит замуж — за полковника, лейтенанта, мушкетера и маркитанта, следует за войском, сама участвует в сражениях, сводничает и, наконец, пристает к цыганам. Кураже — антипод Симплициссимуса. Если он, проходя через превратности бытия, все же внутренне совершенствуется, то Кураже идет только вниз. Эгоизм и импульсивная приверженность ко всему земному придают ей жизненную силу и цепкость. Она завистлива, корыстна, мстительна, коварна и бессердечна.

Чувственность ее ненасытна. Ее радуют ожесточенные схватки и кровопролитие. Она знает себе цену и издевается над доверчивой глупостью. Она пробивается в общество и, чтобы приобрести необходимый лоск, читает «Амадиса!» Но истинное ее пристанище — лагерь, где она слоняется в мужском костюме, торгует табаком и водкой, подпадает всем случайностям военной фортуны. Бледным прототипом Кураже была Хустина

Дитцин, героиня испанского плутовского романа Ф. Убеда (псевдоним доминиканца Алонсо Перес), появившегося в немецкой переработке в 1620 г.²¹³ По обилию моралистических рассуждений и посторонних вставок «Хустина Дитцин, по прозванию Пикара», напоминает «Гусмана» Альбертинуса и Фрейденхольда. Гриммельсгаузену же удалось создать необыкновенно яркую и жизненно правдивую историю женщины, попавшей в водоворот Тридцатилетней войны. В своей драматической хронике «Матюшка Кураже и ее дети» Вилли Брехт трансформировал образ Кураже, раскрыв его трагическую сторону.

В «Кураже», традиция плутовского романа сталкивается с традицией немецких народных книг. Повествовательность усиливается за счет сказочных мотивов. Кураже рассказывает, как один старый солдат, который «долго таскался с мушкетом во время богемской смуты», принес ей «в склянице нечто, видом походившее не совсем на паука, но и не совсем на скорпиона». Неожиданно для самой себя она приобрела «spiritus familiaris», так что считала себя счастливее, «нежели Фортунат со своим кошелем» (гл. XVIII).

В следующем романе «Шпрингинсфельд» (1670) в трактуре встречаются возвратившийся из Индии Симплиссимус и инвалид на деревяшке, его старый товарищ, снискивающий пропитание игрой на маленькой скрипке. Он раздобыл несколько кукол, чтобы «доставлять мужикам приятную забаву».²¹⁴ Вместе со своей подружкой, молодой бандуристкой, он скитается по ярмаркам Баварии и Австрии. Всеми повадками и характером бандуристка напоминает Кураже. Но если Кураже презрела и попрали моральные законы, увидев жизнь во всей ее наготе, то для бандуристки они, пожалуй, никогда не существовали. В ее бесстыдстве нет вызова. Это ее естественное состояние. Она безраздельно завладела Шпрингинсфельдом, распутничает у него на глазах, и он покорно следует за ней всюду, «под конец не помышляя ни о какой чести».

Неприметно в роман входит сказочная фантастика. Однажды Шпрингинсфельд и бандуристка сидели в тени на берегу тихой реки. Вдруг Шпрингинсфельд заметил в отражении на воде «нечто на сучке, что на самом дереве не было видно». Бандуристка полезла на дерево и в ту же минуту, как взяла в руки предмет, отражение которого они видели в воде, исчезла. «Однако ж, — продолжает Шпрингинсфельд, с наивной обстоятельностью излагая это происшествие, — я хорошо видел ее облик в воде, именно, как она спускалась с дерева с маленьким птичьим гнездом в руках, которое она сняла с ветвей. Я спросил ее, что это у нее за гнездо, она же в свой черед спросила меня, вижу ли я ее. Я отвечал: „На дереве тебя самое я не вижу, а вот отражение твое в воде хорошо“. „Ладно, —

²¹³ Die Landstörtzerin Justina Dietzin Picara genant. . . Franckfurt a. M., 1646.

²¹⁴ В «Вечном календаре» (1670) помещена история о скрипаче-потешнике, который держал при себе Симплиссимуса за его умение рассказывать шванки (XCI).

сказала она, — когда я слезу, ты увидишь, что тут такое у меня“. Мне было в диковинку, что я слышу, как говорит моя жена, а сам ее не вижу, и еще чудней было, что я вижу на солнце, как бежит ее тень, а ее самое не вижу. . . Она подсела ко мне и дала мне в руки птичье гнездо; и коль скоро я его взял, тотчас же стал ее видеть, она же меня не видела. Мы поочередно испытывали и всякий раз убеждались, что тот, у кого было гнездо в руках, делался совсем невидимым. После чего обернула она гнездо носовым платочком, чтобы камень или зелье, или корешок, который находился в гнезде и оказывал такое действие, ненароком не выпал и не потерялся бы».

В медлительном рассказе Шпрингинсфельда сказочное просто и буднично входит в повествование. Бандуристка предлагает Шпрингинсфельду воспользоваться волшебной находкой для обогащения, но он отказывается, ибо «вещь эта сумнительная и опасная». Тогда бандуристка исчезает, прихватив все наличные деньги. Шпрингинсфельд пристаёт к венецианским вербовщикам и своей игрой на скрипке завлекает рекрутов. Его отвозят в Кандию. Он переносит осаду, теряет ногу и, нищенствуя, возвращается в Германию, где узнает о гибели бандуристки. Завладев волшебной находкой, она упивается своим могуществом, похищает наряды и драгоценности, дорогие кушанья и напитки и просто морочит людей для собственной потехи, поднимая переполох и приводя в смущение умы. Но ее жажда наслаждений не утолена. Ее красота и наряды остаются скрытыми для мира. Она стокочалась по простой жизни. И вот, когда во время купания ее подсмотрел молодой пекарь, она, презрев опасность, обольщает его. Назвав себя Миноландой, она импровизирует историю в духе Мелюзины, предлагая ему тайный брак, чем он освободит ее от чар и даст ей возможность «народить детей и в положенный срок обрести мирную кончину». Пекарь соглашается, но потом им овладевает страх, и он выдает ее. Двенадцать солдат врываются в каморку, где она ночует. Став снова невидимкой, бандуристка успеваеt всадить кинжал в грудь предателя, но случайный удар алебардой поражает ее насмерть. «И удар этот был исполнен такой силы, что не токмо помянутая Мелюзина упала бездыханной, но ее легкое и печень вместе со всеми внутренностями в животе и ее еще трепещущее сердце были зримы. Шея ее была увита драгоценностями, пальцы унизаны дорогими кольцами, голова убрана золотом и жемчугом; кроме того, была на ней одна только рубашка да тафтяная юбка и шелковые чулки; серебрянотканое ее платье, которое ее и выдало, лежало в изголовьи под подушками». «По виду было ей лет двадцать, и тело ее было сожжено как колдуньи; пекарь же похоронен в одной могиле с факельщиком, погибшим в схватке».

Дальнейшая история волшебного предмета, который переходит из рук в руки, изложена в двух романах под одним названием — «Чудесное птичье гнездо» (1672). После гибели бандуристки волшебное гнездо до-

стается убившему ее алебарщику. Сперва он пользуется им для наживы, потом им овладевает возмущение. Перед ним раскрывается изнанка жизни. Он видит нищету и горести, скрытые от посторонних взоров, ложь и обман, всяческие плутни, супружеские измены, наблюдает людей наедине с самими собой, самые тайные и сокровенные стороны их существования. Импульсивный по натуре, он вмешивается в чужую жизнь: распугивает незадачливых любовников, награждает колотушками обманщиков, сечет крапивой крестьянку, отвратительно манипулирующую над сыром, чтобы он созрел к базару, втайне творит добро, остерегает и увещевает. В заключение он разрывает на мелкие куски волшебное гнездо и закапывает его в муравейник. Но на этом дело не кончается. Гриммельсгаузен пишет еще одно продолжение. Остатки волшебного гнезда достаются купцу, которого когда-то обобрала бандуристка. Купец убеждается в суетности мира и позволяет своему спутнику-монаху бросить «волшебное гнездо» в Рейн.

Вся группа романов отличается простотой изложения, языка и стиля. В них почти не чувствуется аллегоризация персонажей или отдельных эпизодов. И хотя «Кураже» и «Шпрингинсфельд» вобрали в себя исторический и книжный материал, но весь характер этих включений резко меняется. Военно-политическое сочинение Эберхарда фон Вассенберга «Обновленный немецкий Флорус» и «Theatrum Euroraеum» служат для поддержания хронологической канвы произведений и снабжают их деталями. Уступая «Симплициссимусу» в художественной глубине и обобщенности, эти романы подкупают жизненной реалистической свежестью, простотой и занимательностью. В них Гриммельсгаузен прежде всего неистощимый рассказчик. И, разумеется, еще дальше уходит от приемов и традиций «высокой литературы» немецкого барокко.

12. УТОПИЯ И САТИРА

В предисловии ко второму роману «Диковинное птичье гнездо» Гриммельсгаузен говорит: «Правда, сей автор и для этой серьезной материи употребил свой обычный веселый слог и подсыпал немало смехотворных шванков, как он это делал и в „Жизнеописании затейливого Симплициссимуса“, так что из каждых семнадцати читателей едва ли один расчухает, чему он его тут хочет наставить, а большая часть подумает, что он насочинял это единственно ради их развлечения; но пусть оставят сие заблуждение и не идут по проторенному пути. Разумные люди, кому удастся, уж сумеют добраться до сути и обратят ее себе на пользу. Хорошо известно, с какой неохотой пациенты глотают горькие, хотя и целебные, пилюли и, напротив, с легкостью принимают позлащенные и обсахаренные; того ради и автор последовал предусмотрительным врачам и так-то

подсластил свои обличительные сочинения, что некоторые неотесанные олухи вкушают их почитай что не как целительные лекарства, а как нездоровые лакомства». Ту же мысль варьирует он в «Шпрингинсфельде» и в первой главе шестой книги «Симплиссимуса». Комизм изложения для него — способ, «смеясь, говорить правду», но служит он серьезной дидактической цели — исправлять людские пороки. На путь сатирического обличения Гриммельсгаузен вступил во всеоружии традиционных средств сатирической дидактики, с характерным для нее абстрактно-аллегорическим изображением действительности.

Отсутствие индивидуально-психологического анализа «приватных чувств» было благоприятно для сатирического развития. Динамика идей и представлений, возникающих и чередующихся в романе, вытесняет и заменяет душевные движения героя. Относительная бедность внутренней жизни Симплиссимуса и связанное с этим внешнее изображение событий и обстановки не позволяют непосредственно прийти к этическим и социальным обобщениям, что и достигается средствами аллегоризации реальных общественных отношений. Условность изображения героя облегчает создание сатирического аспекта. Средством сатиры, оружием «разумного дурака» становится «наивность». «Простота» и «неведение» Симплиссимуса не столько характеризуют его самого, сколько являются художественным приемом изображения действительности, которую герой не понимает. Привычное демонстрируется как нелепое и бессмысленное. Шут Симплиссимус говорит горькую правду, но смотрит на нее часто со стороны. Весь роман повертывается в сторону сатиры, но это только один из его аспектов.

Сатирическая интерпретация действительности у Гриммельсгаузена связана с ее гротескным изображением, в котором смещаются и нарушаются привычные представления о мире и его устройстве. «Мир навыворот», издавна привлекавший внимание Гриммельсгаузена в народных картинках (о чем подробно рассказывает он в «Вечном календаре»), становится средством социальной сатиры. Уже не торжествующие звери тащат на палке связанного или подстрелянного охотника, как на картине Поттера, а осмеиваются и обличаются социальные отношения и порядки, существующие на земле. В брошюре, которая так и названа «Мир навыворот» (1672), рассказчик встречает в аду человека, осужденного за косность и леность души. Он жил в неведении о «божественных вещах», «прилепившись к временному», т. е. земному бытию, «подобно глупому неразумному скоту». Это крестьянин, который спросил, «ибо приметил мое сострадательное удивление»: «Разве на моей родине ведется с мужиками иначе?». «Я ответил: „Конечно, — духовные и светские власти придерживающиеся вовсе не намерены да и впрямь не имеют того в обычае, чтобы вверенных им от бога подданных, а именно мужиков, оставлять в толиком грубом неведении, а пекутся об их душевном спасении“» (гл. VI).

Нереальный «мир навыворот» оказывается совершенным и идеальным миром. А реальный мир — дурной, порочный и несправедливый. Изначально божественная гармония превращается в гримасу и лишь, отразившись в кривом зеркале «мира навыворот», принимает облик совершенства. Такое положение вещей подымает всю совокупность этических вопросов, так и не нашедших исторического решения. «Мир навыворот» не только гротескный, но и трагический. Не земля покрывает трупы, а трупы покрывают землю. Священник учит мальчика обману, а простаки Симплиций обманывает тех, кто считает себя умнее его. Симплиций воспитывает как своего наследника сына слуги, а своего собственного вынужден отдать в чужой дом (V, 9). Таким путем раскрывается противоестественность человеческих отношений и порядков, сложившихся в обществе, которое не принимает и осуждает герой.

Мир совершенный в отвлеченных этических учениях и низменный в реальности облекается в лицемерную личину, которую срывает сатирик. Он показывает изнанку вещей, скрытую под обманчивой видимостью, разрушает иллюзию. Этот сатирический дезиллюзионизм приобретает особую остроту на фоне «простоты» и «невинности» Симплициссимуса, который сперва все принимает за чистую монету и только впоследствии смеется горьким смехом, в том числе и над своим собственным былым неведением.

«Мир навыворот», в литературе барокко противостоял ренессансной гармонии, воображаемым, но исторически не осуществимым политическим и социальным идеалам (особенно в Германии). Их нельзя было достичь с помощью реформ, а до сознания необходимости его революционного разрушения Гриммельсгаузен не подымался, да, пожалуй, и не мог подняться. Он лишь с умной усмешкой указывает на неблагополучие и извращенность социального уклада, самодовольно торжествующие обман и несправедливость.

«Симплициссимус» не только сатирический роман. Сатира в нем лишь один из аспектов, одно из проявлений отношения героя к миру. Сатира рождается из столкновения «простака» с непонятным ему миром. Оно трагично и комично одновременно. За словами и действиями Симплициуса скрывается второй план подлинных реальных отношений. Те же пороки общественного быта, на которые указывали сатирики XVI в.: обжорство и пьянство, сквернословие и невоздержанность, те же уродства моды, которые подвергает осмеянию Мошерош, Гриммельсгаузен не только раскрываются на фоне конкретной немецкой действительности, но и показаны в личном восприятии. Он заставляет Симплициуса прислуживать во время разгульного пиршества, заданного губернатором офицерам. Глядя на неумеренное обжорство, Симплициус не забывает упомянуть, что это пиршество происходит во время страшного голода, когда кушанья немилосердно истреблялись, невзирая на «убогого Лазаря» в образе «многих сот толпившихся возле наших дверей изгнанников, у которых от голода глаза

пучило». Сатира становится у Гриммельсгаузена частью реалистического истолкования действительности и сплетается с описанием бедствий Тридцатилетней войны.

Гриммельсгаузен разоблачает феодальные порядки не только средствами сатиры, но и как писатель, создавший яркие картины действительности, отразивший ее с огромной взрывчатой силой непосредственного видения, окрыленного чувством протеста и возмущения социальной несправедливостью, бедствиями и страданиями народа.

Никто из писателей XVII в. не защищал человеческие права, честь и достоинство крестьянина с такой убежденностью, горячностью и упорством, как Гриммельсгаузен. Он прославляет древнее благородство мужицкого рода, от «самого Адама ведущегося», возвеличивает униженное и бесправное крестьянское сословие, которое «ратоборствует со всей землей» и кормит все другие сословия. Крестьяне составляют корни того аллегорического древа, которое видит во сне Симплиций перед тем, как вступить в мир. Мысль об Адаме, общем праотце всех людей, труженике и первом землепашце, он бросает в лицо знатым господам, как это делали все выразители народных настроений, начиная от средневековья и кончая Гансом Саксом в его фастнахтшпиле «Горожанин, мужик и дворянин» (1540), где крестьянин защищает честь своего сословия и говорит своим обидчикам: «... нам всем один отец Адам», и ежели «вы мужику подрежете жилы, то сами истечете кровью». Гриммельсгаузен с большим сочувствием описывает тяжелую жизнь крестьянина, который терпит зной и стужу, страдает от непогоды, засухи, наводнения, орошает землю кровавым потом, но мало пожинает для себя плодов своего труда, ибо его постоянно обируют и разоряют. На его плечи пали все тяготы и испытания войны. Ландскнехты грабят и разоряют крестьян, глумятся над ними и предают их жестоким пыткам. Приятель Симплиссимуса Шпрингинсфельд в посвященном ему параллельном романе приводит циничную поговорку «честных солдат»:

Коль скоро matka солдата рóдит,
Тотчас ему трех мужиков находят:
Первого, чтобы его кормил,
Второго, чтобы ему своей женой угодил,
Третьего, чтобы солдат его в ад спровадил.

Но крестьяне у Гриммельсгаузена не только пассивная, покорная, страдающая безликая масса. Вечно гонимый крестьянин, оторванный от своего труда на земле, может быть страшен в священном гневе против своих мучителей и поработителей. Он показывает сцены мести озлобленных и доведенных до отчаяния крестьян, жестоко расправляющихся с ландскнехтами, ибо «мужики из Шпессерта и Фогельсберга, подобно

гессенцам, зауерландцам и шварцвальдцам, мало охочи допускать кого глумиться над их навозом» (I, 13).

Гриммельсгаузен прямо и недвусмысленно сказал о ненужности для народа феодальных и религиозных войн. В «Вечном календаре» приведен такой анекдот. Неподалеку от Бодензее всадники из армии Гёца захватили крестьянина и спросили, на чьей он стороне — шведов или имперских войск. Тот же, поразмыслив: «... скажешь имперских, так они выдадут себя за шведов и начешут тебе спину, а скажешь шведских, то тебе опять же не сдобровать», — ответил, что он не знает. Когда же офицер обещал отпустить его, если он поведает, что у него залегло на сердце, то мужик, наконец, сказал: ему хотелось бы, чтобы «имперские солдаты обратились в молочный суп с это озеро, а шведы в крошево в нем, а потом бы дьявол схлебал их всех». Гриммельсгаузен видел в крестьянине активную силу, способную возродить страну, опустошенную войной. Плуг превозмогает меч в своем созидательном труде. Но было бы неправильно видеть в Гриммельсгаузене только выразителя идеологии немецкого крестьянства XVII в. В социальном отношении Гриммельсгаузен скорее всего определяется как предприимчивый горожанин, связанный с крестьянской средой. Он долго жил общей жизнью с народом. Он не только наблюдал, но и несомненно испытал на себе бедствия и тяготы войны. Это обострило его социальную чувствительность и вскормило мечты о лучшем социальном устройстве. Гриммельсгаузен не только запечатлел быт народных низов, но и их умонастроение, чаяния, помыслы, переживания и надежды, внутреннее отношение к событиям и делам своего времени, горечь и боль народа, истерзанного войной.

Роман открывается тирадой, содержащей упоминание о «нашем времени», когда «толкуют, что близится конец света». Эти слова надо отнести к хронологии романа, а не ко времени его написания, когда «толки» о конце мира поутихли и появилась возможность иронического отношения к ним. Начало Тридцатилетней войны совпало с появлением в октябре 1618 г. кометы, что подстегнуло суеверное воображение и породило астрологические сочинения, предвещавшие грозные и неотвратимые события. По взбудораженной и оглушенной бедствиями стране, среди зачумленных деревень и пожарищ бродили странствующие пророки и проповедники, толковавшие на свой лад «Апокалипсис», призывавшие к покаянию и возвещавшие скорый конец мира.

В 1614 г. в обстановке назревающего кризиса появилась загадочная брошюра, содержащая воззвание к «главам государств, сословиям и ученым». В ней сообщалось, что за десять лет перед тем якобы была раскрыта в течение 120 лет запечатанная гробница некоего Христиана Розенкрейца. Тело его найдено нетленным. В руках он держал книгу, кончавшуюся словами: «Ex Deo nascimus, in Iesu morimur, per spiritum rediviscimus» («Из бога родимся, в Иисусе умираем, через дух воскресаем»). Так было поло-

жено основание тайного ордена «розенкрейцеров», стремившихся к обновлению христианства. Воззрения розенкрейцеров представляли собой пеструю смесь из обрывков христианского и иудейского вероучений, гностицизма, арабской философии и гуманистических идей, восходящих к средневековой мистике, сочетающейся с натурфилософией и политикой.²¹⁵ Фанфары Тридцатилетней войны обострили заложенные в розенкрейцестве черты спиритуалистического хилиазма и побудили его адептов к практическим действиям. Розенкрейцером объявил себя некий Филипп Циглер, странствующий по Германии под именем «избранного божией милостью короля Иерусалима». Он возвещал скорое второе пришествие Христа, но не в телесном облике, а в духовном; физическим же исполнителем своей воли он пошлет нового Давида. Циглера упоминает «Theatrum Europaeum» непосредственно за описанием битвы при Виттштоке.

В «Theatrum Europaeum» перед описанием битвы при Виттштоке упомянут «пророк» более низкого пошиба — Иоганн Альбрехт Адельгрейф, в 1636 г. в Кенигсберге объявивший себя «князем всего света», «судией живых и мертвых». Он начитан в Писании и знает латинское и греческое Евангелие не только по главам, но и по отдельным стихам, однако добавляет: «Theatrum Europaeum» сидел на нем, «как дьявол на зубах храма». На его «печати» была изображена рука с обнаженным мечом, простертая из облаков, а под ней розги, чтобы покарать и изгнать с лица земли всех нечестивцев, а заодно с ними и все власти. Он был казнен в том же году, причем обещал воскреснуть через три дня. Внешность несчастного безумца описана следующим образом: «... длинный ястребиный нос, черная с проседью борода и один ус длиннее другого», и его, как и Юпитера, «чрезъестественным образом» заедали насекомые.²¹⁶

Гриммельсгаузену, вероятно, доводилось встречать подобных проповедников и юродивых не только в книгах. «Пророчествовали» обычно люди с обостренной нервной чувствительностью и сильным воображением, а то и просто душевнобольные. Они слышали «призывные голоса», и их посещали «вещие сны» (иногда наяву), в которых они сами и окружающие искали сокровенный смысл, вкладывали в них свои политические помыслы и надежды. Оборванные юродивые и невежественные крестьяне беседовали о своих «видениях» с королями и полководцами, пытавшимися раздвинуть темную завесу будущего. «Пророчества» приобретали политическое значение. Они производили большое впечатление на армию и народ, поддерживали дух борющихся, внушали мысль о временном характере неудач и поражений, ниспосланных лишь для «испытания» твердости их духа, неотвратимом и неизбежном конечном торжестве их дела.²¹⁷

²¹⁵ W. E. Peuckert. Die Rosenkreutzer. Jena, 1928.

²¹⁶ Theatrum Europaeum, Bd. III, S. 646.

²¹⁷ Сведения о «пророках» и «ясновидцах» этого времени можно найти в книгах: G. Arnold. Unparteyische Kirchen und Ketzer-Historie. Franckfurt a. M., 1700 (2. Aufl.,

Наибольшим распространением пророчеств ясновидящих пользовались в протестантской среде, тогда как католики скорее прислушивались к астрологам. Протестантизм, связанный со свободным толкованием Библии, легче уживался с мистическими «откровениями», чем закованный в тысячелетние догмы воинствующий католицизм. Немалое значение имели и чисто политические обстоятельства. В течение первой половины Тридцатилетней войны протестантские силы возлагали восторженные надежды на молодого Фридриха Пфальцского, чешского «зимнего короля».²¹⁸ В 1620 г. Иоганн Пластарариус из Кайзерлаутерна (Пфальц) выпустил сочинение «Чудесное и фигурное Откровение, сиречь: I. Сравнение начала и конца света... V. О новом короле Фридрихе, Пфальцграфе и прочая, и прочая или Льве, рыкающем из леса в 4-й книге Эздры 11-й и 12-й главах», Пластарариус с помощью аллегорического толкования «Апокалипсиса» возвещает о Фридрихе V как о герое «последних дней» (т. е. перед концом света). Бог с первого дня творения назначил всему «время, цель и меру». Когда все свершится, то перед кончиной мира наступят снова мирные и радостные времена. Бог пошлет Будителя, подобного Льву рыкающему, о котором вещает «Апокалипсис». Что это именно Фридрих Пфальцкий, доказывается путем нехитрой подмены букв его имени числами, которые дают дату 1618. Фридрих подобно «льву» выйдет из окруженной лесами Богемии. Запутанная метафора в духе барокко уподобляет Богемию райскому дереву познания и крестному дереву Христа, водруженному в сердце Европы. На этой же земле произрастает и зеленеет дерево Фридриха, и тьмы тем людей наслаждаются в его тени миром и покоем. Голод и нужда исчезнут, будет упразднена барщина, от которой страдали люди больше, чем израильтяне при фараоне, а все безбожные тираны уничтожены. Фридрих V завладеет Римом и поступит, как Фридрих Барбаросса, «который был его прообразом».²¹⁹

Таким образом в сочинении, и притом вышедшем из протестантского лагеря, оживает и трансформируется в сочетании с хилиастической проповедью старая гогенштауфенская легенда. Сама по себе идея «императора-избавителя», «героя», устанавливающего на земле золотой век, уходит

1729); H. Corrodi, Kritische Geschichte der Chiliasmus. Bd. I—III. Franckfurt a. M. und Leipzig, 1781—1783; Joh. Chr. Adelung, Geschichte der menschlichen Narrheit. Bd. I—VII. Leipzig, 1785—1789.

²¹⁸ Об этом же свидетельствуют многочисленные гравюры и «летучие листы» с астрологическими и всякими иными «пророчествами». См.: E. A. Beller, Propaganda in Germany during the Thirty Years War. Princeton, 1940 (альбом).

²¹⁹ J. Plastrarius, Wunder und figürliche Offenbarung. Das ist: I. Vergleichung der Welt Anfang und Ende... V. Von dem neuen König Friderico, Pfalzgrafen ... oder brüllendem Löwen aus dem Walde, im 4. Buch Esdrae an 11. und 12. Kapitel. S. l., 1620. Заметим, что уже Парацельс возвещал пришествие золотого века, в который из стран полуночи явится желтый Лев, подчинит себе Европу и восстановит христианскую церковь в ее первоначальной чистоте. Этот образ «Льва полуночи» играет существенную роль и в учении Якова Бёме.

корнями в античную и еще раньше восточную мифологию. Предвозвещения новой эры в четвертой эклоге Вергилия связывали с торжеством христианства и установлением «Священной Римской империи» Запада. Легенда обратила свое острие против светской власти пап, поддерживав борьбу Фридриха Гогенштауфена с папой Иннокентием IV (XIII в.). Она переплетается с учением Иоахима из Калабрии и его последователей о наступлении на земле «тысячелетнего царства» святого духа, связывается с символикой чисел и всем реквизитом хилиастических чаяний и пророчеств, обрастает фольклорными мотивами, переносится на Фридриха Барбароссу, спящего в пещере Кифгейзера, и снова возвращается к современности, прикрепляясь к именам различных политических деятелей.²²⁰ С императорской легендой сталкиваются социальные чаяния народных масс, в частности нашедшие выражение в распространившемся в XIV в. сочинении «Реформы императора Сигизмунда», якобы замышлявшего отмену крепостного права, засилья цехов, привилегий церкви и т. д.

Во времена Тридцатилетней войны императорская легенда приобрела антигабсбургскую направленность.²²¹ Никакие неудачи Фридриха, даже страшное поражение при Белой горе 8 ноября 1620 г., не могли пошатнуть упований на него антигабсбургского лагеря, они проникли в немецкие и чешские народные песни.²²² Сам Фридрих проявлял настороженное внимание к «пророчествам». В 1626 г. Амос Коменский доставил ему описание «видения» неграмотного чешского крестьянина Кристофа Коттера, с которым король уже встречался в 1620 г.²²³

С 1627 г. подобные же «видения» стали посещать шестнадцатилетнюю Кристину Понятовскую, дочь видного деятеля общины «чешских братьев». Ей «открылось», что близится время, когда свершится «суд божий» над нечестивцами, прежде всего над «F. v. W.» (т. е. Валленштейном). «Белый лев» (Фридрих V) в союзе с двумя другими львами (Турцией и Венгрией) уничтожит «зверя», (габсбургскую монархию и папство). Кристина в своих грезах встречала Фридриха V, пришедшего в виноградник, чтобы срывать гроздь, но когда он хотел вкусить от их сока, то они превратились в «шиповник» (намек на поражение при Белой горе), а затем снова стали гроздьями спелого винограда, что означало его конечное

²²⁰ F. Kamperg. 1) Die deutsche Kaiseridee in Prophetie und Sage. München, 1896; 2) Vom Werdegang der abendländischen Kaisermystik. Leipzig und Berlin, 1924.

²²¹ Но иногда к ней обращались и сочинители политических памфлетов из католического лагеря. В 1642 г. Бартоломей Хольцхаузер в своем толковании «Апокалипсиса» объявил, что приближаются «последние времена» и скоро появится всеильный монарх, который чудесным образом все изменит к полной победе католической церкви. Bartholomäus Holzhausers Erklärung der Offenbarung des Johannes. Herausgegeben von Simon Buchfeiner. Regensburg, 1870.

²²² Deutsche Lieder auf den Winterkönig. Herausgegeben von R. Wolkan. Prag, 1898.

²²³ Gottliche Offenbarungen Christ. Kotters... Amsterdam, 1664; J. Volf. Křištofa Kottera Vidění a zjevení. Časopis Českého Museu, R. 85, Praha, 1911.

торжество. Повинуясь «божественному велению», Кристина отважно явилась в резиденцию самого Валленштейна. Прочитав ее «пророчество», Валленштейн со смехом сказал жене: «Мой повелитель император получает со всего света послания — из Рима, Мадрида, Константинополя, — а я так прямо с небес!». Но когда в 1634 г. он был убит, то многие, в том числе и Амос Коменский, объявили, что над ним свершился давно предвещанный «суд божий».

Чешские визионеры вкладывали в свои «видения» программу национального, религиозного и социального освобождения.²²⁴ Они возлагали надежды на мусульманскую Порту как на реальную политическую силу, способную разгромить Империю и папство. Рассматривая турецкое нашествие на Европу как «бич божий», они успокаивали себя мыслью, что после победы турки и татары непременно обратятся в христианство. Один из соратников Коменского Иоганн Редингер в 1664 г. посетил турецкого великого визиря, предвещая наступление «тысячелетнего царства»²²⁵ и склоняя его принять христианство и примкнуть к протестантам.

Взоры других протестантов были устремлены на север. Избавителя от нашествия имперских войск и ига князей видели в шведском короле Густаве Адольфе, также окруженном роем «видений» и астрологических пророчеств. В 1631 г. анонимным издателем был выпущен «Прогностикон, или Толкование анно 1618 появившейся кометы» — несколько запоздалое по названию, но весьма актуальное по содержанию.²²⁶ Автором книги был назван Пауль Гребнер, которого в то время, по-видимому, уже не было в живых.²²⁷ Ему принадлежало политическое пророчество, предвещавшее гибель «А. Л. В. А.» (т. е. герцога Альба), попавшее и в издание 1631 г. «Пророчество» Гребнера, относящееся к 1573—1574 гг., было наскоро приурочено к появлению кометы 1618 г. и событиям более позднего времени, в частности вступлению в войну Густава Адольфа. Он также возвещает появление «императора-избавителя», который родится в 1634 г. в «низкой» (неблагородной) немецкой семье. Корону он получит не от папы, а от горожан, знатнейших рыцарей и «господ могущественных городов Германии». Он покорит своих противников своим мечом, дарует

²²⁴ Амос Коменский собрал и издал в 1657 г. эти несбывшиеся пророчества в книге «Lux in tenebris» («Свет во тьме»). В нее вошли «видения» Коттера, Понятовской, братского священника Микулаша Драбика, впоследствии (в 1671 г.) казнённого за выступления против Габсбургов, и пражского горожанина Штефана Мелиша, относящиеся уже к 1655 г.

²²⁵ Эту попытку повторил в 1678 г. Квирин Кульман. См.: А. М. Панченко. Квирин Кульман и «чешские братья». Тр. отд. древнерусской литературы, т. XIX, М.—Л., 1963, стр. 330—347; W. Dietze. Quirinus Kuhlmann. Berlin, 1963.

²²⁶ Prognosticon, oder Erklärung über den anno 1618 erschienenen Komet-Stern und dessen Operation ... Beschrieben durch Paulum Gräbneren weiland Pfarrherrn in Stift. Magdeburg, 1631.

²²⁷ Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. IX, 1879, S. 623.

новые привилегии и статуты, даст городам и деревням новых управителей, а в заключение соберет «собор», чтобы учредить «единую истинную религию». Все народы Европы, Азии и Африки обратятся к евангельскому учению, после чего наступит золотой век.

Бросается в глаза близость мотивов «Прогностикона» и вещаний Юпитера, выступающего в «Симплициссимусе» с проповедью политических и религиозных реформ. В романе Гриммельсгаузена это ученый педант — давнишняя мишень литературной сатиры. На сей раз он вообразил себя Юпитером, посланцем богов Олимпа, озабоченных беззакониями и непорядками на земле. Политические и философские сочинения XVI—XVII вв. широко пользовались античной образностью и символикой. В различные трактаты включались «диалоги богов», обсуждавших важнейшие современные вопросы. В памфлете Джордано Бруно «Изгнание торжествующего зверя» (1584) Юпитер обещает наслать огонь на «злополучную Европу». Мелкие политические трактаты и «летучие листы», выходявшие во время Тридцатилетней войны, носили, например, такое заглавие: «Боги Марс и Меркурий перед трибуналом Юпитера как виновники войны и обесценения денег» (1622).²²⁸ В «Симплициссимусе» Юпитер изливает свой гнев в выражениях, заимствованных из предисловия Гарцони к «Piazza Universale», где описан «совет богов», что было использовано уже в «Гусмане» Фрейденольда. Таким образом, Гриммельсгаузен опирался на давно сложившуюся литературную традицию, причем вносил в нее элемент пародии. Здесь сказалось и глубокое различие между ренессансным и барочным обращением к мифологии. Литература периода барокко уже почти не стремилась объяснять современность через античность или взывать к ее ясности и гармонии. Античные образы либо превращаются в сухие аллегории, концептизируются, либо становятся частью сложных метафорических построений, принимают условный характер. Это театральные кулисы, служащие подчас для представлений совершенно чуждых самому духу античности (как, например, в иезуитском театре). Но отсюда же стремление к высмеиванию, персифилированию античности. Демократически настроенные авторы были особенно склонны подхватывать пародийное отношение к античности, что мы несомненно видим и в «Симплициссимусе».

Традиционной была и фигура безумца, выступающего с проектами религиозных и политических реформ. В «Филандере» Псевдо-Мошероша целая часть названа «Гошпиталь фантастов», где помещен человек, помешавшийся на религиозных распрях, которые он намерен устранить.

²²⁸ Указано вместе с названиями других аналогичных трактатов: J. Petersen. Grimmelshausens «Teutscher Held». Euphorion, 1924, XVII Ergänzungsheft, SS. 1—30. Связь Гриммельсгаузена с немецкой политической литературой рассматривал также Ф. Штернберг (F. Sternberg. Grimmelshausen und die deutsche satirisch-politische Literatur seiner Zeit. Triest, 1913).

В «Бусконе» Кеведо двое безумцев также обсуждают политические проекты. Юпитер «Симплициссимуса» обещает, что, после того как он пробудит «немецкого Героя» и тот установит «вечный нерушимый мир», боги Олимпа сойдут на землю, где будут веселиться «посреди виноградников и фиговых деревьев» (III, 4). Эти библейские мотивы связывают вещания Юпитера со стилистикой хилиастических пророчеств. Они характерны для всей поэтики барокко, в которой смешивались античные и библейские представления, создавая причудливые аллегории и метафоры.

Эпизод с Юпитером отразил умственное брожение, охватившее Германию во время Тридцатилетней войны. Он выкристаллизовался из всей совокупности идей, представлений, бытовых воспоминаний и литературных реминисценций Гриммельсгаузена. Хотя Гриммельсгаузен придал Юпитеру сюжетную функцию и заставил его несколько раз появиться в романе, он все же остается условно-литературной эпизодической фигурой. Гриммельсгаузен даже не сделал попытки его психологически разработать. Как справедливо заметил Ю. Петерсен, между Симплициссимусом и Юпитером менее тесная связь, чем с ворожейкой из Зуста, которая по самой своей природе ближе к остальным персонажам романа. Фигуры Юпитера и Симплициссимуса, по замечанию того же Петерсена, лежат в различных плоскостях.²²⁹ Но все же Юпитер проецирован на личность Симплициссимуса, и между ними проводится грустно-юмористическая параллель, включающая мотив непостоянства бытия: «Итак, приобрел я теперь своего собственного шута, которого мне не надо было покупать, хотя всего за год до того сам я принужден был дозволять обходиться с собою так же. Сколь удивительно счастье и переменчивы времена! Недавно еще точили меня вши, а теперь получил я власть над самим блошиным богом!» (III, 8). Юпитер отчасти повторяет в гротескном преломлении простодушие юного Симплициссимуса, который в детском порыве тоже пытался исправить и образумить мир. Но теперь Симплициссимус умудрен жизнью. С грустным сочувствием и умной усмешкой внимает он речам Юпитера о воцарении всеобщей справедливости. Он отчетливо сознает несбыточность и фантастическую отвлеченность бредней этого «архисумасброда», который «заучился выше головы».

Политическая и социальная программа, вложенная в уста такой гротескной фигуры, как Юпитер, неизбежно получает ироническую подоснову, хотя отдельные положения этой программы изложены как будто серьезно. Но и в этих случаях почти каждый пункт завершает комическая «гlossа», гротескный штрих, который почти развеивает намечающуюся серьезность. «Немецкий Герой», добившись победы с помощью

²²⁹ J. Petersen. Grimmelshausens «Teutscher Held». Euphorion, 1924, XVII. Ergänzungsheft, SS. 6—7.

волшебного меча, установит новые порядки почти во всем мире, но, конечно, прежде всего в Германии. Он составит парламент, куда каждый немецкий город пошлет по два умнейших мужа, а затем упряднит «крепостную неволю вместе со всеми пошлинами, податями, оброками и питейными сборами и заведет такие порядки, что больше уже никто не услышит никогда о барщине, караулах, контрибуциях, поборах, войнах и о каком-либо отягощении народа».

Речь как будто идет о восстановлении на новых началах «Священной Римской империи германской нации», причем идеи мира и социальной справедливости преобладают над идеей всемирного государства. Главенствующую роль Юпитер отводит не королям и князьям, а городам, которые объединяют вокруг себя «для мирного управления прилежащую к ним страну». Преобразование социального строя в Германии было невозможно без устранения мелкодержавия и княжеского деспотизма, от которого страдала вся страна. Предложенное устами Юпитера решение задачи носит гротескно-фантастический характер. «Немецкий Герой» разделит великих мира сего на три группы: нечестивых покарает, а остальным предоставит выбор либо остаться в стране, либо покинуть ее. Те, «что пожелают остаться, будут жить наравне с простолюдинами», однако жизнь в страхе будет проходить в большем довольстве, нежели ныне у самого короля. Тем же, которые захотят остаться повелителями, будет предложено забрать с собой «наемных головорезов из всей Германии» и двинуться в далекие азиатские страны, где они могут понадевать себя королями.

В утопические мечтания Юпитера проникают реакционные черты. «Немецкий Герой» объединяет под своей властью германские народы, которым подчиняются другие европейские государства, чьи короли будут «получать свои короны, королевства и входящие в них земли от немецкой нации по доброй воле в ленное владение»; властелины же Китая, Персии, великий могол, священник Иоанн в Африке и великий царь в Москве будут платить неопределенную дань в виде богатых подарков.

Заключительная сцена с блохами, которых Юпитер приютил на себе, так как они пожаловались ему на преследование их женщинами, лишает его, а заодно с ним и «немецкого Героя», всякого ореола. Присматриваясь к императорской легенде, Гриммельсгаузен не присоединяется к ней, а развенчивает ее.²³⁰

²³⁰ «Хотели в этой сцене, — писал Вальтер Мушг, — видеть политическое кредо Гриммельсгаузена, воплощение его веры в грядущее немецкое величие. Но это нечто прямо противоположное. Эта надежда стала у него лишь предметом смеха, пронизанного отчаянием, остротой безумца. Его Юпитер — символ абсурдности всякой политики силы... Никогда не произойдет то, что предвещает жалкий дурак. Это не предвозвещение, а травестия немецкого мирового господства» (W. M u s c h g. *Tragische Literaturgeschichte*. 3. Aufl. Bern, 1957, S. 195).

И все же утопические мечты и планы Юпитера не только травестия. Осмеивая их, Гриммельсгаузен не отказывает им в ироническом сочувствии. Они во многом отражают незрелые политические требования народных масс, их помыслы о всеобщем мире, прекращении религиозных распрей, об изгнании деспотов, национальном единстве раздробленной на мелкие княжества страны. В них слышится отзвук крестьянских движений начала XVI в.

Уничтожение крепостного права, барщины, повинностей, процентов, борьба с ростовщиками, свободное пользование лесами и рыбными угодьями часто встречаются в постановлениях крестьянских собраний и тайных союзов. Со времен «Башмака» (1493—1515) немецкое крестьянство неизменно выдвигало требование раздела церковных имений и единой неделимой германской империи, стремясь найти в ней защиту от растущей силы и грубого произвола князей, пока Томас Мюнцер, по словам Энгельса, «не превращает *раздела церковных имений* в их *конфискацию* ради установления *общности имущества*, а требование единой германской империи в требование единой и неделимой германской *республики*».²³¹ Мечты Юпитера не доходят до такой степени радикализма, как боевая программа Мюнцера, выдвинутая на гребне крестьянской революции в Германии. Они скорее отвечают настроениям отсталой и притом зажиточной части крестьянства, питавшейся цезаристскими иллюзиями и не помышлявшей об общности имущества. Юпитер даже не заикается о разделе церковных имуществ. Он не говорит об уничтожении социальной несправедливости, а лишь делит людей (в том числе и князей) на добрых и злых и обещает всеобщее благоденствие. И все же некоторые его утопические планы перекликаются с отдельными пунктами исторически засвидетельствованных программ крестьянской революции XVI в. Иосс Фриц около 1515 г. предлагал после установления вечного мира «тем, которые непременно хотят воевать, давать денег и посылать против турок и неверных».²³² И даже наиболее последовательный из всех вождей крестьянской революции Томас Мюнцер склонялся к тому, чтобы лишаемых власти князей приглашать вступать в союз «нового царства господня», а изгонять и убивать только тех, кто от этого отказывается.

В опустошенной войной стране крестьянство было закабалено и обессилено, бюргерство запугано и подавлено, потеряло свое достоинство и трусливо пресмыкалось перед крупными и мелкими властителями. Было невозможно надеяться на широкий подъем общественного движения и осуществление нового общественного идеала. Слушая разглагольствованная Юпитера, Шпрингинсфельд насмешливо замечает: «И тогда в Гер-

²³¹ К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, 2-е изд., т. 7, М., 1956, стр. 382.

²³² В. Циммерман. История крестьянской войны в Германии. По летописям и рассказам очевидцев, т. 1. М., 1937, стр. 49, 143.

мании жизнь пойдет, как в стране Пролежи-бока, где дождик моросит чистым мускатом, а крейцерпаштеты вырастают за одну ночь, как сыроежки» (III, 5). Но и сам Симплициссимус, внимательно прислушивающийся к словам Юпитера, пытается уловить в них здравую мысль, не видит, каким путем будет осуществлено торжество этого идеала; ведь для этого «Герой принужден будет набрать солдат, а где солдаты, там война, а где война, там достается правым и неправым». Юпитер не дает своему герою многочисленного войска, но и не ставит его во главе народных масс, добивающихся своего освобождения. «Немецкий Герой», воображаемый Юпитером, не подлинный народный герой, не вождь восставшего народа, а чудесный избавитель, наделенный чертами сказочного персонажа. Он взращен на Олимпе. Античные божества снабдили его силой, мудростью и предусмотрительностью. Он превосходит красотой Нарцисса и Адониса, а силой равен Геркулесу. Вулкан выковал ему оружие и дал в руки чудесный меч, которым он и покорит весь мир. Стоит ему только взмахнуть этим мечом, как слетят головы у всех нечестивцев — «убийц, ростовщиков, воров, плутов и мошенников». В овладении миром с помощью «волшебного меча» нашло отражение чувство бесперспективности, слабость и неустойчивость социальных целей демократических слоев Германии после разгрома народных движений XVI в. и усиления феодальной реакции. И совершенно не случайно, что программу социального и государственного переустройства излагает не человек из народа, не крестьянин, не портной или башмачник, а представитель книжной учености, вдобавок повредившийся в уме.

Особый интерес представляет решение религиозной проблемы. «Немецкий Герой» соберет «со всех концов земли наиострейших, ученейших и богобоязнейших богословов», поставит им уединенные кельи и повелит рассмотреть все распри между вероисповеданиями, а потом установить истинную религию, «согласно священному писанию, древнейшим преданиям и апробованному учению святых отцов». Так как дело сразу не пойдет на лад, то Герой «начнет морить голодом всю конгрегацию», а потом и прочитает им «небольшую проповедь о виселице или покажет свой чудесный меч», что склонит их к уступчивости. Это принудительное примирение отвечало желаниям широких слоев народа, уставшего от ожесточенных войн, совершавшихся под покровом религиозных распрей. Гротескный характер воссоединения церквей лишь подчеркивает его нереальность.

Отличительной чертой Гриммельсгаузена была веротерпимость. Нигде в своих сочинениях он не отстаивал и не защищал какое-либо определенное вероучение, так что даже долго спорили, к какому вероисповеданию он принадлежал. Свое отношение к конфессиональным вопросам Гриммельсгаузен выразил устами Симплициссимуса вполне отчетливо: он не стоит ни за Петра, ни за Павла, т. е. ни за католиков, ни за протестантов. С него довольно, что он христианин (III, 20). Он давно не видел

проку в религиозных разногласиях, но сохранял основы христианского вероучения, ибо в обстановке, порожденной Тридцатилетней войной, видел в нем средство против всеобщей деморализации. Больше всего в религии его интересует, как она определяет взаимоотношения людей. Он видит, что «мир во зле лежит», и не может найти разрешения мирного конфликта на традиционной церковно-теологической основе. Сколько горести в словах Симплициуса о «благостном провидении»: «Любезный читатель, кто бы сказал мне, что есть на свете бог, когда бы воины не разорили дом моего батьки и через такое пленение не принудили меня пойти к людям, кои преподали мне надлежащее наставление?» (I, 4). Религиозные войны и распри — для него самое большое из мыслимых зол. Противоречия провозглашенных христианством принципов и реального поведения людей, именующих себя христианами, — вот что больше всего мучает юного Симплициуса, когда он попадает в мир. Идеализированное христианство Симплициуса противостояло «феодализованному христианству», о котором писал Энгельс. Это делало Гриммельсгаузена устойчивым и в отношении идей Контрреформации, и к проповеди протестантов, и к пророчествам мистиков. Рейнский трактирщик, в молодости столкнувшийся с суровой действительностью Тридцатилетней войны, отлично видел все бессилие и бесплодие хилястических надежд и проповедей для социального освобождения Германии. И, разумеется, не случайно во время разлагательства Юпитера его окружают гогочущие ландскнехты, а самый яркий их представитель Шпрингинсфельд подает насмешливые реплики. Гриммельсгаузен не верил в приближение золотого века. Все предлагавшиеся в его время спасительные средства, проекты, весь реформаторский пыл и настойчивая проповедь не сулили ничего его трезвому реалистическому уму. И хотя некоторые (но далеко не все) идеи Юпитера ему импонировали, он нашел для них лишь ироническую интерпретацию.

Сатира в романе Гриммельсгаузена сливается с утопией, воплощенной в гротескных образах и картинах, отражающих сложное отношение к ним Гриммельсгаузена: насмешку, иронию, симпатию, грустное сознание несбыточности и иллюзорности политических и социальных надежд.

Политическая утопия, провозглашенная устами Юпитера, дополняется социальной, развернутой как сказочная феерия на дне мирового Океана. Идиллия Муммельзее разворачивается вне конкретных земных условий — физических и социальных, не на далеком острове среди дикарей или утопической цивилизации, даже не среди человеческих существ, а отличных от них по самой своей природе силфов. Это, разумеется, не случайно.

Гриммельсгаузен отрывается от привычной сатирико-аллегорической традиции и мотивирует предлагаемые им картины не как обычное «сновидение», а как исследование реального озера, куда привели его жажда знаний и любопытство. Это нельзя рассматривать только как реалистическую

рамку, которой обычно окружены «видения» и другие аллегории романа. Желание познать сокровенные тайны природы одушевляло наступательное естествознание XVII в., продолжавшее и углублявшее тенденции Ренессанса. Наука XVII в. не была только унылым полигисторством и собранием раритетов. Она сочеталась с порывом и экзальтацией. «Когда бы мы узнали силу и действие вещей!», — восклицает Гриммельсгаузен в трактате, посвященном таинственному «Висельному человечку» — альрауну.

Стремление к универсальному постижению природы при неполноте и недостаточности реальных знаний поддерживалось на крыльях фантазии. В учении Парацельса глубокие обобщающие представления о природе уживались с откровенной фантастикой. Именно Парацельсу принадлежал, или с большим основанием ему приписывается, трактат «О нимфах, сильфах, гномах и саламандрах». Эти духи, по словам Парацельса, находятся вне Писания, т. е. за пределами христианской теологической системы. Но они не являются «демоническими существами», а занимают свое место в природе, в единой цепи живых существ. Представляя воплощение четырех основных «стихий» (элементов) — воды, воздуха, земли и огня, — они являются промежуточным звеном между наделенными бессмертной душой людьми и лишенными ее животными. Они обладают разумом, человеческими желаниями и добродетелями. В этом они подобны людям. Но их разум (как бы «телесная душа») умирает вместе с ними, и в этом они подобны животным.

Познание природы Парацельс противопоставлял всему укладу и порочности феодального общества: «Более благочестиво описывать Мелюзину, нежели кавалерию и артиллерию». В натурфилософии Парацельса брезжило освобождение от мистического понимания природы. На первое место он ставит ее исследование: «Долг человека познавать вещи и не быть среди них слепцом, ибо он для того и создан, чтобы возвещать о чудесах творений бога». Познание природы для Парацельса означало познание себя через природу, через обращение к макрокосмосу. Не поэтому ли и Симплициссимус отправляется на Муммельзее, после того как вспомнил и стал размышлять о завещанном ему отшельником правиле: «Познай самого себя».

Вероятно, Гриммельсгаузен познакомился с воззрениями Парацельса через популяризовавшего их Преториуса.²³³ Он превращает сухие и отвлеченные рассуждения Парацельса в феерические картины. Если Парацельс утверждает, что нимфы «едят и пьют так же, как люди», то Симплициссимус совершает с «сильфами» удивительную прогулку по дну Тихого океана, наблюдает, как они запасаются провизией и поедают вместо яиц

²³³ Н. Mielert, Der paracelsische Antheil an der Mummelsee Allegorie in Grimmlshausens «Simplicissimus». Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 20, Jg. 1942. H. 4. SS. 435—451.

незатвердевшие жемчужины «величиною с кулак». Если Парацельс пишет, что «нимфы» не обладают «прирожденным платьем», как звери, и потому вынуждены, как и люди, «прясть и ткать», то Гриммельсгаузен одевает подводных жителей во все одежды мира, как на великолепном маскараде. Парацельс лишь рассуждает о том, что нимфы дышат в «элементе воды», так же как люди воздухом, Гриммельсгаузен претворяет это в сказочный мотив «волшебного камня», который позволяет земному Симплициссиму как бы переключиться на жизнь в другой стихии.

Гриммельсгаузен не чувствует себя связанным представлениями Парацельса и свободно их перерабатывает. Если Парацельс, согласно своей концепции «телесности» стихийных духов, утверждал, что они подпадают всем человеческим болезням, то в царстве сильфов, куда попал Симплициссимус, не ведают о болезнях. В сатирических целях и для того, чтобы мотивировать расспросы князя сильфов о жизни на земле, он заставляет его тревожиться за свое будущее, тогда как Парацельс наделяет стихийных духов даром предвидения и пророчества.

В беседе с князем сильфов Симплициссимус представляет картину земных порядков согласно гротескно-сатирическому принципу «мир навыворот». Всюду царит мир, благоденствие, а главное справедливость. Особенно мудро и «по-христиански» ведут себя представители господствующих классов. Но это только один аспект «мира навыворот». За ним протупает второй, основанный на сравнении образа жизни сильфов с реальным миром. Смертные душой и телом сильфы живут мирной, безмятежной и праведной жизнью, тогда как наделенные бессмертной душой люди закоsnели во зле и беззаконии.

Утопическое общество сильфов отличается от человеческого естественностью отношений. Сильфы трудятся не столько для поддержания своего существования, сколько для общего блага. Их труд проникнут сознанием долга, он является частью общего миропорядка. Если бы они не трудились, то мир испытал бы неисчислимые бедствия или даже вовсе погиб. Полон сатирического смысла и ответ сильфов на вопрос Симплициссимуса, зачем же, если их общество так совершенно, им еще нужен король. Он у них не для того, чтобы вершить суд, а как «матка в улье» как бы дирижирует согласным общественным хором. В резиденции «князя сильфов» Симплициссимус не увидел никакой пышности, трабантов, даже шутов, т. е. всей той разорительной для народа помпы и роскоши, которой окружили себя крупные и мелкие немецкие властители.

Как и в эпизоде с Юпитером, сатира обращается против самих носителей утопических идей. Утопия Муммельзее не только несбыточна, но и обманчива. Само название озера, как указывает Симплициссимус, скрывает в себе идею маскарада, где «все сокрыто под обманчивою личиною» (V, 11). Обманчиво не только хмурое и коварное озеро, но и все увиденное на дне его. Подводная волшебная феерия оказывается не такой уже

привлекательной. Гриммельсгаузен вовсе не рисует в ней идеал человеческого общественного устройства и не предлагает человечеству зажить блаженно-бездушной жизнью сильфов. Никакого радостного физического и духовного благополучия, которое отвечало бы его подлинным интересам и желаниям, он там не обрел и не увидел. И вряд ли бы он поменял свою полную превратностей, далеко не безгрешную жизнь на блаженное прозябание среди непорочных сильфов, лишенных плотских слабостей. Грешный и порочный, закосневший во зле земной мир, полный борьбы и страстей, для него остался более привлекателен. Симплиссимус не только не выражает желания остаться в мире сильфов, но вздыхает полной грудью, когда возвращается на землю и сразу окунается в жестокую действительность.

Покидая царство сильфов, Симплиссимус преисполнен земных планов. Заполучив камень, который должен пробуравить для него источник целебной воды, он собирается стать владельцем модного курорта и обдумывает его устройство, не пренебрегая мелким плутовством и хитростями. Но его мечты оказываются столь же обманчивыми, как и весь аллегорический маскарад Муммельзее.

Когда все пошло прахом и «источник» забил в лесной глуши, то Симплиссимус все же хочет облагодетельствовать мужиков, по вине которых это случилось. Но забытые крестьяне не только не принимают это благодеяние, но чрезвычайно им напуганы. Стоит только прознать об этом источнике их господам, как они всем воспользуются, а крестьянам только прибавится тягот и барщины (V, 18). Читатель резким рывком возвращается к мрачной реальности феодально-крепостнического общества.

В эпизоде Муммельзее дана сатира не только на земные порядки, на социальное устройство мира, но и на утопическое общество самих сильфов. Гриммельсгаузен словно хочет показать, что их общественное устройство противно самой человеческой природе. Их пресное благочестие, бесстрастность, механическое однообразное существование не может послужить идеалом для человеческого общества. Людям нужно что-то близкое, но не то же самое.

Осуществленную на земле утопию Симплиссимус обрел в реально существовавшей общине «перекрещенцев», местом обитания которой он назвал Венгрию (V, 19). Пользовался ли он книжными источниками или имел возможность видеть где-либо поселки анабаптистов, не установлено. Он отмечает у них довольство и изобилие жизненных припасов, добрый порядок во всем и уважение друг к другу, разделение труда, высокое состояние ремесел, заботу о детях. Во всем у них царит «приятная гармония», так что их образ жизни скорее надлежит назвать ангельским, нежели человеческим. Их благочестие, неспорченность и целомудрие во многом напоминает сильфов на дне мирового Океана. Симплиссимус высказывает сожаление, что эти «еретики» не обратились к официальному

христианству. В слегка затушеванном виде в этом эпизоде также проходит сатирический мотив «мира навыворот», ибо «настоящие» христиане живут далеко не так, как эти еретики. Симплициссимус не проникается идеалами «перекрещенцев». Он всего лишь сторонний наблюдатель, сочувствующий пришелец. Он описывает общину перекрещенцев сухо и скупое. Посвященный им эпизод носит отпечаток полигисторской вставки. Вероятно, Гриммельсгаузен почувствовал скудость и ограниченность социального кругозора обособившейся общины перекрещенцев, с которой ему довелось встретиться или узнать об ее образе жизни. Он видел непрочность исторического существования таких разрозненных общин, их неспособность отстоять себя в системе феодального мира. Утратившие первоначальный наступательный пафос, они оторвались от общенародных задач антифеодальной борьбы, эгоистически замкнувшись в своей собственной среде. Измельчавшее движение перекрещенцев не сулило перспектив для освобождения человечества. Уделом Симплициссимуса, а с ним и Гриммельсгаузена осталась вечная неудовлетворенность.

Политические воззрения Гриммельсгаузена не отличались ни зрелостью, ни практической устремленностью. Его пытливая мысль мучительно искала объяснения причин социального неустройства, но он не видел реальной общественной силы, которая могла изменить сложившийся социальный уклад и принести избавление народу.

Идейная противоречивость романа обусловлена как противоречиями самого времени, так и позициями автора, колеблющегося между активным протестом против социальной несправедливости и пассивным созерцанием общественных зол и бедствий, принесенных войной, желанием общественного переустройства и сознанием его неосуществимости, своего социального бессилия в конкретной исторической обстановке подъема реакции, наступившей после Тридцатилетней войны.

Художественные позиции Гриммельсгаузена объективно отражали условия общественной жизни с точки зрения низших классов. Буржуазный литературовед Гюнтер Мюллер, заметив, что Гриммельсгаузен «дал картину мира в перспективе фельдфебеля»,²³⁴ воздал ему нечаянную похвалу. Однако все попытки развенчать «Симплициссимуса», отвергнуть его роль и значение в развитии литературы терпят крах.

²³⁴ G. Müller. Deutsche Dichtung von der Renaissance bis zum Ausgang des Barock. Potsdam, 1930, S. 247. Карл Вьетор утверждал, что сочинения Гриммельсгаузена «отвечают народным и безымянным песням того же времени» и относятся «к области простой развлекательной литературы». «Симплициссимус» основан на «натуралистической реалистике, с помощью которой полуобразованный человек представляет картину эпохи великой войны». Уже по одному этому Гриммельсгаузен находится «за пределами литературного развития» (K. Vietor. Vom Stil und Geist der deutschen Barockdichtung. Germanisch-Romanische Monatsschrift, XIV Jg., 1926, H. 5—6, S. 178.

Гриммельсгаузен первый в немецкой литературе, не покидая народной почвы, поднялся до грандиозного художественного обобщения богатой и противоречивой эпохи. «Симплициссимус» — реальная панорама далекой, ушедшей в забвение жизни, возвращаемой и оживающей перед нашими глазами во всей ужасающей силе. Это роман, где в своеобразной и неповторимой форме запечатлено видение мира, которое гениальный художник сумел передать нам и заставить поглядеть на мир его очами. Простак Симплициссимус, который, «смеясь, говорит правду», стал воплощением народной мудрости, народного здравого смысла, народной ненависти к поработителям, неумирающей народной мечты о справедливости на земле.

Гриммельсгаузен не знал, да и не мог знать объективных законов истории, истинного соотношения ее движущих сил. Но все же, если юный Симплициссимус в лесу в одиночестве тщетно силился постичь причины войны, и в особенности «той антипатии, что заложена меж солдат и крестьян» (I, 15), то Гриммельсгаузен на собственном опыте постиг многое. В «Сатирическом Пильграме» он помещает главу «о войне, ее величии, пользе и необходимости», полагая, что в дом пришла нужда, ибо по заключении мира «повыросло много молодых петушков, коим в охоту поглядеть на войну, ибо не ведают, что такое война». Он остерегает от обманчивого блеска военной славы, описывает тяготы и изнанку войны и утверждает, что всякий, кто «в здравом разуме», посмотрев со стороны на битву, «должен будет несомненно признать, что нет на свете ничего бессмысленнее и плачевнее этого зрелища». Война — «дело больших господ, а простым людям она не сулит ничего, кроме гибели и разорения». Позднее Юпитер добавляет мысль о развращающем влиянии нескончаемой войны на некоторые слои горожан и ремесленников, обслуживающих военную машину и заинтересованных в ее сохранении. А также всех тех, кто уже не может прокормиться трудом рук своих, а связал себя с военной Фортуной (V, 5). И больше, чем описание какого-либо сражения, говорит об этом времени то удивление перед мирной жизнью, которое испытал Симплициссимус, когда он попал в Швейцарию. Человек, возросший в атмосфере нескончаемой войны, продолжает мерять все по ее мерке, так что сама мирная жизнь кажется ему небывало чудесной (V, 1).

Сила и значение «Симплициссимуса» в правдивом и адекватном отражении *всей* действительности своего времени, а не только в отдельных живых и ярких картинах романа, что и позволило Гриммельсгаузену подняться до огромных всечеловеческих обобщений.

Гриммельсгаузен первый немецкий писатель, который во всеуслышание сказал о ненужности для народа феодальных войн, не только об их бессмысленности, кровавой жестокости, но и об их близких и далеких последствиях, развращающем влиянии на целые поколения. Он воочию по-

казал ужасающие бедствия войны, одичание и моральное запустение. И этим прежде всего объясняется успех и слава этого романа во всем мире, с особой силой вспомнившим о нем после первой и второй мировой войны XX в. Война стала еще более разрушительна, бессмысленна и пагубна для судеб всего человечества, нежели в далекие времена мушкетеров Гриммельсгаузена. Созданный им образ Симплициссимуса, так же как Фауст и Дон Кихот, перешагнул границы времени и пространства, стран и языков, стал одним из вечных спутников человечества.

Александр Морозов.

ПРИМЕЧАНИЯ

Перевод и осуществление научного издания «Симплициссимуса» связаны со многими трудностями. До сих пор нет полного (академического) собрания сочинений Гриммельсгаузена на немецком языке. Некоторые его произведения не переиздавались с XVIII в. Появившиеся в середине XIX в. научные издания «Симплициссимуса», а также последнее по времени собрание сочинений Гриммельсгаузена, выпущенное в 1921 г. Борхердтом, серьезно устарели. Переиздания текстов Гриммельсгаузена, осуществленные голландским филологом Я. Схольте, лишены комментариев. Не написана и научная биография Гриммельсгаузена, если не считать сводки материалов, собранных умершим в 1920 г. Густавом Кённеке. Отсутствует и сколько-нибудь полная и надежная библиография литературы о Гриммельсгаузене. Подготовка к изданию «Симплициссимуса» потребовала много времени и специальных разысканий, а работа переводчика столкнулась со множеством сложнейших задач, связанных с воспроизведением своеобразного языка и стиля этого литературного памятника.

Перевод «Симплициссимуса» был начат А. А. Морозовым в 1931 г. Осенью 1932 г. после представления пробных отрывков перевода, получивших положительный отзыв (Б. И. Ярхо и др.), издание книги было включено в план издательства «Academia». Вскоре работа была прервана в связи с болезнью переводчика, а затем ликвидацией издательства. Небольшой отрывок перевода из второй книги романа был напечатан в журнале «Резец» (1934, № 6) со вступительной заметкой А. В. Федорова, который посвятил принципам перевода также несколько страниц в своей книге «О художественном переводе» (Л., 1941, стр. 186—197 и 226). Отрывки из перевода первой и второй книги «Симплициссимуса» были прочитаны и подвергнуты обсуждению на творческом вечере переводчика 3 марта 1941 г. Письменные отзывы о переводе дали М. Л. Лозинский и А. Н. Толстой. Позднее в работе над переводом приняла участие Э. Г. Морозова. В марте 1963 г. перевод был закончен. Стилистика всех частей перевода была согласована при дополнительной работе, причем текст перевода первой книги «Симплициссимуса» был подвергнут частичной переработке согласно с выработанными принципами и некоторыми новыми найденными решениями. Окончательный текст перевода установлен А. А. Морозовым. За это время А. Морозовым была написана глава о Гриммельсгаузене для «Истории немецкой литературы» (т. I, Изд. АН СССР, М., 1962).

В основу перевода положен текст издания «Симплициссимуса» 1671 г., отражающий последнюю волю автора, принятый для издания Г. Борхердтом, а также Г. Курцем и Ф. Бобертагом. Борхердт непоследовательно отсек от первых шести книг романа в издании 1671 г. так называемые «Continuationes». В настоящем издании сохранено расположение материала, принятое Гриммельсгаузеном.

Главной задачей было создание перевода, отвечающего научным требованиям и в то же время художественно адекватного произведению Гриммельсгаузена. Времен-

ная удаленность памятника учитывалась не сама по себе, а в том отношении, в каком она определяла стилистические особенности оригинала.

Поэтому настоящий перевод не следует рассматривать как «стилизацию» с последовательным воспроизведением лексики, прикрепленной к определенному времени. При переводе было обращено внимание прежде всего на то, чтобы воссоздать доступными средствами своеобразную сказовую форму романа, основной особенностью которого является смешение книжного и простонародного языка и стиля, от чего в значительной мере и зависит его ироническое и сатирическое звучание. Это и побуждало к использованию всех потенциальных возможностей русского литературного языка, в том числе архаической и просторечной лексики, однако вполне понятной для современного читателя, знакомого с русской классической литературой и фольклором.

Необычные лексические (в том числе диалектальные), синтаксические и орфографические формы применялись в редких случаях и с большой осторожностью для воспроизведения общей пестроты стиля и орфографии памятника.

Было принято не разбивать громоздкие периоды Гриммельсгаузена на короткие фразы и не прибегать к другим средствам «облегчения» текста или переводческим «вольностям». Лишь в редчайших случаях вставлялись отдельные дополнительные слова, поясняющие реалии XVII в. прямо в тексте или употреблялись отдельные вспомогательные слова для сохранения ритма фразы, чему вообще придавалось особое значение. Смещение книжности и просторечия (даже диалектальных форм), притом в сатирических целях, особенно резко выражено в начальных главах первой книги «Симплициссимуса», вобравших в себя переосмысленный материал книжных сочинений. Здесь присутствует и большое число библеизмов, да и сама тематика этих глав потребовала сравнительно большего числа лексических архаизмов. В дальнейшем (с начала второй книги) нарастает волна галлицизмов, канцеляризм, военной терминологии и жаргонизмов (язык ландскнехтов).

При переводе не казалось необходимым сохранение той же пропорции галлицизмов в русском переводе, как и в немецком тексте. Варваризмы наводняли язык «Симплициссимуса», отражая процессы, происходившие в это время в связи с Тридцатилетней войной. Но в современном русском переводе они воспринимаются острее, чем во времена Гриммельсгаузена, поэтому число их должно быть более ограниченным, причем в первую очередь использовались такие из них, которые известны по русской литературе (не ранее второй половины XVIII в.). Невоспроизведенные в переводе галлицизмы отчасти уравниваются общим характером синтаксиса, отражающим иноязычные (латинизированные) конструкции, свойственные русской старинной прозе.

Особое внимание было уделено переводу народной речи «Симплициссимуса», воспроизведению его характерных словечек, пословиц, поговорок, прибауток и каламбуров. Здесь велись настойчивые поиски, причем при передаче диалектальной речи персонажей необходимый эквивалент создавался не столько путем использования соответствующей лексики, сколько средствами народного синтаксиса, а также с помощью отдельных слов и выражений, вошедших в общерусский литературный язык (но с сохранением оттенка простонародности). Только немногие слова и выражения оригинала эвфемизированы. Библейские и евангельские цитаты приспособлены к тексту Лютера и потому не всегда совпадают с русским синодальным переводом, хотя он учитывался переводчиками.

Необходимо сказать о переводе заглавия романа. Слово *abentheuerlich* во времена Гриммельсгаузена вовсе не означало только «приключенческий». Оно включало целую гамму побочных значений — «искусный», «замысловатый», «хитроумный», образующих как бы параллель к *ingenioso* «Дон Кихота» Сервантеса. Поэтому переводы заглавия как «Приключения Симплициссимуса» или «Похождения Симплициссимуса» не являются даже точными. Это хорошо почувствовала поэтесса Елена Гуро, сделавшая первую попытку перевода романа на русский язык (с сокращенного пересказа), избрав для него название «Чудаковатый Симплициссимус» (М., 1924). Нами избрано заглавие «Затейливый Симплициссимус», так как это слово соединяет в себе хитроумную на-

ходчивость, жажду приключений и насмешливо-ироническое отношение к ним автора.

Комментарии к настоящему изданию должны служить для облегчения понимания трудных мест книги и общей исторической и литературной обстановки, культурно-исторического фона «Симплициссимуса». Кроме пояснения исторических и географических имен, упоминаемых в книге событий, бытовых реалий, специальных терминов и т. п., раскрываются сатирические намеки автора, пародирование, литературные реминисценции, указываются источники отдельных эпизодов и заимствованные мотивы, цитаты и пр.

Важнейшие источники «Симплициссимуса», энциклопедические и ученые сочинения XVII в., издания плутовских романов, «Гусман» Альбертинуса и Фрейденхольда, «Филандер» Мошероша и его поддельные продолжения, различные литературные сборники (Харсдёрфера и др.), исторические хроники, путешествия и реляции были обнаружены в наших крупнейших книгохранилищах (Ленинград, Москва, Львов), и мы смогли привлечь их для изучения и комментирования «Симплициссимуса». Некоторые издания текстов Гриммельсгаузена XVIII в. и его переработок в XIX в., а также ряд книг о нем, статей и диссертаций (в том числе машинописных) получены нами при любезном содействии Библиотеки АН в Ленинграде из университетских и государственных библиотек Берлина, Галле, Марбурга, Гамбурга, Праги, Вены, Токио и других городов.

Сведения об изданиях XVII в., оставшихся нам недоступными, проверены библиографическим путем. В тех случаях, когда в тексте статьи указано (в скобках) первое или наиболее известное издание, в соответствующей сноске приводятся издания, имеющиеся в библиотеках СССР. Заглавия изданий XVII в., обычно очень длинные, даны сокращенно, за исключением основных изданий «Симплициссимуса» и некоторых симплицианских сочинений.

Стихотворение «Феникс» (в начале книги), а также двустушия в кн. II (гл. 2, 5—13, 15, 17, 30—31), III (гл. 2, 7, 11, 15, 19, 21, 22), IV (гл. 8), VI (гл. 6, 7) переведены С. В. Петровым. Остальные стихи переведены А. А. Морозовым. Двадцать гравюр на меди, приложенных к изданию 1671 г., не воспроизводятся. Книга иллюстрирована документальными снимками с изданий XVII в.

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БАН	— Библиотека АН СССР (Ленинград).
ГБЛ	— Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва).
ГПБ	— Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
ADB	— Allgemeine deutsche Biographie.
A. Bechtold. Zur Quellengeschichte	— Arthur Bechtold. Zur Quellengeschichte des «Simplicissimus». Euphoriön, Bd. XIX, 1912.
K ö n n e c k e. Quel- len	— Gustav Könnicke. Quellen und Forschungen zur Lebensgeschichte Grimmelshausens. Herausgegeben von J. H. Scholte. Bd. I (Leipzig, 1926); Bd. III (Leipzig, 1928).
Zedler	— Universal-Lexicon. Herausgegeben von I. Zedler. Halle und Leipzig, 1732—1750.

БЛАГОРАСПОЛОЖЕННОЕ НАПОМИНОВЕНИЕ

Отсутствует в предшествующих изданиях. Вызвано появлением контрафакций. «Напоминовение» в издании 1671 г. сделано от лица Симплициссимуса, что придает ему условный характер, так как, согласно помещенному в конце шестой книги «Заключению», к этому времени автора книги не было в живых. Изданию «Calender-Simplicissimus» было предпослано следующее предисловие:

Высокочтимый преблагосклонный любезный читатель! После того как недавно, когда я находился в отдаленнейшем конце света, обошлись с моим Жизнеописанием, словно с безродною сиротою или словно кот с мышью, как если бы мне вовсе не суждено было бы сюда возвратиться. Но понеже я в равной мере рожден к тому, чтобы странствовать и казнить непомерную жадность до денег и прочие людские пороки, так вот: коль скоро чаятельно, что большая часть моих горячо любимых соотечественников благосклонно примет мое собственное присутствие и конверсацию, то и возродился я снова, подобно Фениксу, и омолодил себя, дабы потешить кое-кого веселою беседою и предстать перед Отчеством. А что же теперь скажет тот, кто передает мои старые истории и тем забавляется, когда я возвращаюсь из неведомых земель, привожу множество новых диковинных историй и уж сумею поведать о том, что со мною с той поры приключилось, о чем и будет объявлено в ближайшее время в различных изданиях!

Рейнек, 7 сентября
1669

Симплициус Симплициссимус.

¹ «гравюрами на меди, изготовленными по моей инвенции». — Речь идет о двадцати гравюрах, помещенных в издании 1671 г., в «изобретении» которых якобы принимала участие вся семья Симплициссимуса. Возможно, они сделаны по замыслу Гриммельсгаузена, на что указывает одно место в романе «Чудесное птичье гнездо» (кн. I, гл. 11). Мнение А. Бехтольда, что в медальоне с изображением «старого Симплициссимуса» на фронтисписе издания 1671 г. запечатлен портрет Гриммельсгаузена, маловероятно.

² Батька, матка — Гриммельсгаузен употребляет диалектальные формы «Кпап», «Meuder» (Веттерауский диалект).

³ «Запускающему лапы в чужое добро беззаконнику по праву обрезанные когти». — Сочинение с таким титульным листом неизвестно.

⁴ arcana (лат.) — тайны.

⁵ Ratio status (лат.) — государственная польза.

КНИГА' ПЕРВАЯ

Первая глава

Первый абзац заимствован из XIX дискурса Гарцони («О знати») и совпадает с соответствующим местом в третьей части «Гусмана» Фрейденхольда (гл. 26). Добавлены ироническая фраза о «конце света» и упоминание о «цехе сахароваров»

в Праге, заимствованное из новеллы Николая Уленхарта «Исаак Винкельфельдер и Иобст фон дер Шнейд» (1617).

¹ «цех сахароваров» («Zuckerbastels Zunft»). — «Сахаровар» — прозвище главаря шайки воров и мошенников. «Когда кто хочет быть в безопасности, то надлежит ему записаться в братство, которое зовется цехом сахароваров, у того, кто там начальник, мастер, отец и утешитель всех тех, кто предается воровству и другим подобным занятиям и желает ими прокормиться» (Zwo kurzweilige Historien. Augspurg, 1617, S. 245).

² «в древности осмелилась с Минервой самой в прядении состязаться» — намек на сказание (первоначально греческое) об искусной пряже Арахне, которая осмелилась вызвать на состязание Афины, за что была превращена в паука. Арахна — по-гречески паук.

³ «Николе Бесстекольному» — в оригинале игра слов — «Sant Nitglas» (ср. «Sant Nicklas»).

⁴ «из конопли, либо льняного семени» — имеется в виду промасленная бумага, заменявшая в бедных домах оконные стекла.

⁵ Мурано — городок, принадлежавший Венецианской республике. Славился своими стеклянными изделиями.

⁶ disciplina militaris (лат.) — военное искусство.

⁷ exercitium corporis (лат.) — телесное упражнение.

⁸ «Заместо пажей ... турниром» — это место заимствовано из XIX дискурса Гарцони и совпадает с аналогичным заимствованием в «Гусмане» Фрейденхольда (гл. 26).

⁹ principia (лат.) — основания.

¹⁰ Амплистид (Апфистид) — персонаж греческой комедии, отличительной чертой которого была глупость. В дискурсе XV («Об Арифметиках или счетчиках») Гарцони сообщает со ссылкой на Свида, что Амплистид не мог считать дальше пяти.

¹¹ Свида — греческий грамматик X—XI вв.

¹² Ялем (греч. мифол.) — сын Аполлона и Каллиопы. Ему приписывается изобретение особого рода жалобных песен (заплачек), служивших для выражения сильного горя.

¹³ «О сколь господское житие...» — в оригинале игра слов («O edeles Leben» — «Esels Leben»).

¹⁴ studium legum (лат.) — изучение законов. Юриспруденция.

¹⁵ «не мог постичь даже того, что ничего не знаю». — Использовано изречение Сократа: «Я знаю (только то), что ничего не знаю».

Вторая глава

¹ Страбон (66 г. до н. э.—24 г. н. э.) — греческий географ. Сведения заимствованы у Гарцони (дискурс XLII «О музыкантах»), со ссылкой на Страбона, однако без упоминания об Аравии.

² Ссылки на Священное писание для прославления угнетенных сословий — обычный мотив в книгах, отражающих антифеодалные настроения народных масс. Я. Бёме писал: «Кто был Авель? пастух овец; кто были Енох и Ной? простецы; кто были Авраам, Исаак и Иаков? они пасли скот; кто был Моисей, муж, любимый богом? пастух скота; кто был Давид, когда уста Господа призвали его? пастух овец; кто были пророки великие и малые? простые незнатные людишки, частью лишь крестьяне и пастухи, бывшие отрпьем мира» (Я. Бёме. Аугога, или Утренняя заря в восхождении. Пер. Алексея Петровского. М., 1914, стр. 106).

³ Бубульки, Статилии, Помпонии, Витулии, Вителли, Аннии, Каперы — фамилии знатных римских родов, этимологически связанные со скотоводством: Bubulcus (волопас) — добавочное прозвание фамилии Юниев, Statilius с дополнительным прозвищем Taurus (бык), Pomponius, Vitulus (теленки), Vitellius (теленочек), Annius, Caper (ко-

зел). Этот перечень имен и дальнейшие сведения (до конца абзаца) заимствованы из LIV дискурса Гарцони («О пастухах»).

⁴ Ромул и Рем — мифические основатели Рима. Были вскормлены волчицей и затем воспитаны пастухом Фаустулом.

⁵ Лукриан (ок. 120—200) — греческий сатирик. В «Dialogus Helenaе» имеется в виду диалог «Суд Париса», где сообщается, что троянский царевич Парис и двоюродный брат царя Трои Приама — Анхис — в юности пасли стада.

⁶ Эндимион (греч. мифол.) — юноша-пастух, взятый Зевсом на небо. По одному из сказаний, богиня луны Селена усыпила Эндимиона, чтобы вечно любоваться им.

⁷ Полифем (греч. мифол.) — одноглазый великан, живший в пещере со своим стадом, о котором рассказывается в «Одиссее» Гомера.

⁸ Люций Форнутус (Корнутус) — философ-стоик времен Нерона. В сочинении «Theologiae Graecae compendium» он говорит, что Аполлон является покровителем стад.

⁹ Адмет (греч. мифол.) — фессалийский герой, участник похода аргонавтов. Аполлон, искупая свою вину (убийство циклопов), служил пастухом у Адмета.

¹⁰ Дафний, или Дафнис (греч. и римск. мифол.) — сын Гермеса (Меркурия) и нимфы, сицилийских пастух, которого Пан научил играть на свирели.

¹¹ Протей (греч. мифол.) — морское божество. Обитал на о. Фарос в Средиземном море, где пас тюленей стада Посейдона.

¹² Меза (ок. IX в. до н. э.) — царь моавитян, воевавший с Израилем. «Вторая книга царств» — одна из книг Библии.

¹³ Гигес — царь Лидии. Согласно Геродоту, был пастухом, который однажды нашел перстень, делавший его по желанию невидимым.

¹⁴ Исмаил Сефи (1487—1524) — основатель персидской династии сефевидов.

¹⁵ Филон Иудей (I в. н. э.) — философ из Александрии.

¹⁶ «Vita Moysis» (лат.) — «Жизнь Моисея».

¹⁷ bellicosa и martialia ingenia (лат.) — воинственные гении.

¹⁸ «возвращаясь к моему стаду» — восходит к выражению из фарса о Пателене и встречается у Рабле.

Третья глава

¹ Фогельсберг — горная местность в Гессене.

² remedium (лат.) — лекарство, средство.

³ «Презрен от всех мужичий род.» — Не установлено, является ли эта песня, прославляющая крестьянское сословие, сочинением самого Гриммельсгаузена или переработкой народной песни. Ее мотивы известны со средних веков. В Англии славил крестьянство и выводил его от самого Адама Лэнгленд в своей поэме «Piers Plowmann». Крестьянская «адамистика» в Германии нашла наиболее яркое выражение в стихотворном сочинении «Богемский пахарь» (Askermann aus Böhmen, 1400). Швейцарец Феликс Геммерлин (1388—1454) в книге «De nobilitate» (без года) описывает «мужика» уродливого, смешного малого, однако вкладывает в его уста похвалу и гордость своим сословием, которое кормит весь мир и ведет свой род от Адама.

⁴ Представление о подагре как о барской болезни, которая заводится от обильной пищи, вина и безделья, было распространено в немецкой демократической литературе XVI—XVII вв., в частности у Ганса Сакса (Избранное, Л., 1959, стр. 131—132) в стихотворении «Подагра и паук» (1548):

Работа, скромная еда
Подагру гонит и гнетет;
У богачей она живет.

(Пер. Т. Гнедич).

В романе «Чудесное птичье гнездо» упоминается богатый бюргер, который елет в постель от подагры (гл. XII).

⁵ Кентавры (*греч. мифол.*) — полулюди-полулошади, обитавшие в лесах. Предания о них встречаются у Гомера и греческих трагиков. По словам конкистадоров, жители Америки, где не было лошадей, принимали испанских всадников за подобные фантастические существа.

⁶ *primum mobile* (*лат.*) — здесь в значении изначальное движение.

Четвертая глава

¹ Шведский напиток — по имени шведов, принимавших участие в Тридцатилетней войне. Аналогичное описание в книге Гриммельсгаузена «Мир навыворот».

Пятая глава

¹ «путь через Ледяное море от Новой Земли» (у Гриммельсгаузена «Nova Zembla»). — Имеется в виду северо-восточный морской путь вдоль берегов Сибири. В западноевропейской науке впервые упоминается Павлом Иовием со слов русского посланника великого князя Московского Дмитрия Герасимова. Книга Иовия об этом посольстве (1525) была напечатана на немецком языке в приложении к сочинению Сигизмунда Герберштейна «Записки о московитских делах» (Базель, 1556). П. Иовий писал: «Хорошо известно, что Двина, увлекая бесчисленные реки, несетя в стремительном течении к Северу и что море там имеет такое огромное протяжение, что, по весьма вероятному предположению, держась правого берега, откуда можно добраться на кораблях до страны Китая» (Сигизмунд Герберштейн. Записки о московитских делах. Павел Иовий Новокомский. Книга о московитском посольстве. СПб., 1908, стр. 262).

Шестая глава

Начиная с этой главы Гриммельсгаузен разрабатывает (внося черты трагического гротеска) хорошо известный в немецкой литературе XVII в. мотив «встречи с отшельником» — в «Гусмане» Псевдо-Мошероша, романе Бальтазара Киндерманна «Злополучная Нисетта» (1660) и др.

¹ Святой Вильгельм (ум. в 1157 г.) — средневековый аскет, совершивший паломничество в Рим и Палестину в веригах и железном колпаке.

² Антоний Великий (ум. в 356 г.) — отшельник, живший и умерший в Египте. В его житии описываются фантастические видения и искушения его дьяволом. Излюбленный сюжет европейских художников (И. Босх, Лука Лейденский, Маттиас Грюневальд, Тинторетто, Жак Калло и др.)

Седьмая глава

¹ Песня «Приди, друг ночи, соловей» сложена на мелодию протестантской песни «Wie schön leuchtet der Morgenstern», положенной на музыку в 1599 г. Шейдеманном. В XVII в. на мелодию этой песни были сочинены и другие тексты (Иог. Геерманн, Михаэль Ширмер, Пауль Герхардт, Филипп Цезен и др.).

Восьмая глава

¹ В оригинале игра слов — «beten» (молиться) и «das Bett» (постель).

² В оригинале тройная игра слов — «Die Kirche» (церковь), «Die Kirschen» (вишни) и «Kriechen» (род диких слив).

³ «красивые нити и на них белые зернышки» — т. е. четки.

Девятая глава

¹ День святой Гертруды приходится на 17 марта. По народному календарю, в этот день начинает отходить земля и давать тепло.

² Aristot. lib. 3. de anima — имеется в виду сочинение Аристотеля «О душе» (кн. 3, гл. 4).

³ Аверроес (1149—1200) — арабский философ, переводчик и комментатор Аристотеля.

⁴ potentia (лат.) — сила.

⁵ in actum (лат.) — в действие.

⁶ scientia (лат.) — наука.

⁷ perfectio (лат.) — образование, совершенствование.

⁸ Cicero lib. 2. Tuscul. quaest. — имеется в виду вторая книга речей Цицерона. Это место (начиная с упоминания Аристотеля) заимствовано из «Генерального дискурса обо всех науках, искусствах и ремеслах» в книге Гарцони.

Одиннадцатая глава

¹ Имеется в виду библейский герой Гедеон (Книга судей, гл. 7).

Двенадцатая глава

¹ Филлинген — город в Бадене. В 1633—1634 гг. трижды подвергался осаде. Во время последней осады (с 16 июля по 9 сентября 1634 г.) шведы соорудили дамбу, чтобы, запрудив реку Бризах, затопить город (Theatrum Europaeum, III. 1644, S. 100). А. Бирлингер опубликовал швабскую легенду о том, как затопленный «до кровельных черепиц» Филлинген спас осужденный на смерть преступник, подпоивший шведскую стражу у песчаной дамбы, перед которой выпустил бочку с ртутью. Плотина прорвалась, и преступник был помилован (A. Birlinger. Aus Schwaben. Bd. I. Wiesbaden, 1874, SS. 11—12).

² funeralia (лат.) — погребальный обряд; eequiae (лат.) — заупокойные моления; luctus gladiatorii (лат.) — поминальные игры гладиаторов. Симплициссимус хочет сказать, что он, как «язычник», похоронил отшельника, т. е. без надлежащих христианских обрядов.

Тринадцатая глава

¹ Зауерландцы — жители Зауерланда, местности, охватывающей часть Рейнской провинции в Вестфалии, между Зигом и Руром.

Четырнадцатая глава

¹ s. v. (salva venia — лат.) — да простит читатель!

² «по окликам признали». — Во время Тридцатилетней войны не существовало единой формы, по которой солдаты узнавали бы, что они принадлежат к одному войску.

³ soleniter (лат.) — торжественно.

⁴ Клафтер — мера длины, приблизительно равная старой русской сажени.

⁵ Фитили для поджигания пороха у пушек и мушкетов делались из конопляных веревок, пропитанных «свинцовым сахаром».

Пятнадцатая глава

¹ Протазаны — копье с топорищем (род алебарды или бердыш).

² Древо как аллегорическое изображение устройства армии встречается у Псевдо-Мошероша («Zauberbecher»), откуда некоторые детали заимствованы Гриммельсгаузеном.

Шестнадцатая глава

¹ Обломайдубины (в оригинале «Wammesklopper») — копейщики, т. е. самые низшие чины пехоты, вооруженные одними пиками.

² «Подмазалия» — в оригинале «Schmiralia».

Семнадцатая глава

¹ «дворянский прихвостень». — Ничем не предваренное введение персонажей встречается также у Мошероша.

² leg. honor. dig. de honor — имеется в виду Lex 14 Digestorum «De muneribus et honoribus» (lib. L, tit. IV), т. е. § 14, дигест «О должностях и почестях», кн. 50, тит. 14 (Corpus juris civilis).

³ Иоанн Плато (XV в.) — болонский ученый юрист.

⁴ Beata terra, cujus rex nobilis est (лат.) — «Блаженна страна, царь которой благороден». — Приведенное место находится не в библейской книге Сираха, а в приписываемом Соломону «Экклесиасте»: «Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода» (гл. X, ст. 17). Гриммельсгаузен спутал принятые в латинской Библии обозначения: Eccli (Ecclesiasticus) и Eccle (Ecclesiastes).

⁵ Faustus Poëta — Публий Фаустус Андрелини (ок. 1450—1517) — итальянский новолатинский поэт. «Si te rusticitas...» (лат.) «Если сельская простота родила тебя столь низменным, то такое благородство не было бы свойственно твоей душе».

⁶ Изречение известно в различных вариантах средневековой поэзии. Близкие стихи у Шпангенберга (Sanvking, 1607, ст. 710).

⁷ Иоганн де Верд (ум. в 1652 г.) — баварский, а с 1646 г. имперский полководец. По происхождению из крестьян. Гриммельсгаузен упоминает его также в романе «Шпрингинфельд» (гл. 20), в трактате «Судейская Плутона» и «Вечном календаре».

⁸ Штаальганс (ум. в 1644 г.) — шведский генерал. В молодости был портным.

⁹ Маленький Якоб — Якоб Мерсье (ум. ок. 1633 г.), гессенский полковник. По преданию, до начала военной карьеры был сапожником.

¹⁰ Даниель Сант Андреас — комендант Липпштадта, который, как предполагают, раньше был пастухом. Упоминается в романе «Шпрингинфельд» (гл. 16).

¹¹ Тамерлан — Тимур (1336—1405), полководец и завоеватель. Легенда о том, что Тамерлан был сыном пастуха и сам пас овец, была распространена в средневековой литературе. Ею воспользовался К. Марло в трагедии «Тамерлан Великий» (1590). Источник Гриммельсгаузена — Гарцони (дискурс XIX «О знати»).

¹² Агафокл (361—289) — тиран в Сиракузах.

¹³ Телефас (Телефан) — раб одного возницы в азиатском городе Кумес. Был избран, согласно предсказанию оракула, царем Индии.

¹⁴ Валентиниан I — римский император с 364 по 375 г.

¹⁵ Маврикий (ум. в 602 г.) — восточно-римский император родом из Каппадокии.

¹⁶ Иоанн Цимисхий — византийский император (с 969 по 976 г.).

¹⁷ Флавий Вописк (ум. ок. 292 г. н. э.) — римский историк.

¹⁸ Боноз — Квинт Боноз (ум. в 281 г. н. э.), римский полководец, провозглашенный императором. Был разбит своим соперником императором Марком Пробом.

¹⁹ Гиперболос — афинский демагог, изгнанный из Афин в 416 г. до н. э. Прозвание «князя Афин» к нему не относится (П л у т а р х. Алкивиад, гл. 13).

²⁰ Юстинус — восточно-римский император (518—527). Юстиниан (527—565) — преемник Юстинуса.

²¹ Гуго Капет (ок. 938—996) — король Франции, основатель третьей династии французских королей (Капетинги). Сыном «мясника» его называла враждебная традиция (в оригинале «Chanson de geste»). В 30-х годах XV в. графиня Елизабет Нассау-Саарбрюкен перевела французский роман о Гуго Капете, где говорилось, что он рожден

«дочерью мясника». В романе показаны жестокость и неразборчивость в средствах Гуго Капета. Печатное издание его на немецком языке пользовалось большим успехом и, вероятно, было известно Гриммельсгаузену (*Histori, wie Hug Schapler, uz metzgers Geschlecht ein gewaltiger kunig zu Franckreuch word. Straßburg, 1500*).

²² Пизарро — Франциско Пизарро (1475—1541), завоеватель Перу.

Восемнадцатая глава

¹ Vale (*лат.*) — прощай!

² Гельнгаузен — город в Гессене на р. Кинциге. Родина Гриммельсгаузена.

³ Нёрдлинген — город в Средней Франконии. Битва при Нёрдлингене — 6 сентября 1634 г. Шведы под командованием Бернгарда Веймарского были разбиты имперскими войсками. Упоминается в романах «Кураже» (гл. 23) и «Шпрингинсфельд» (гл. 15). В «Вечном календаре» под 6 сентября помещено известие: «В сей день в 1634 произошло знаменитое и чрезвычайно кровопролитное сражение под Нёрдлингенем, в котором имперские одержали верх: засим воспоследовали, особливо на Рейне, превеликий голод и мор, так что во многих местах не осталось ни единой живой души и на многие мили пути в деревнях в стране никого нельзя было обрести» (S. 198).

Девятнадцатая глава

При описании Гельнгаузена (и последующих событий) в романе смешаны два события: нападение на город после битвы при Нёрдлингене в сентябре 1634 г. и взятие и разорение его в январе 1635 г. имперскими войсками, когда и был уничтожен полк драгун, о чем сообщается в следующей главе.

¹ spectaculum (*лат.*) — зрелище.

² Ганау — город на р. Кинциге при впадении ее в Майн, куда был проведен канал. Разделялся на Старый и Новый город и был обнесен крепостными стенами с пятью воротами. Крепость занята шведскими войсками и в 1635—1636 гг. (по 13 июня) находилась в осаде. План крепости в осаде: *Theatrum Euroraеum*, III, SS. 664—665. Общий вид города: M. Meri a n. *Topographia Hassiae*, 1646.

³ Святой Вильгельм — см. прим. к гл. 6.

⁴ Фернамбук — бразильская красная краска.

Двадцатая глава

¹ Губернатором и комендантом в Ганау был шведский генерал-майор Якоб Рамзай (1589—1639). Родом из Шотландии. В 1630 г. поступил на шведскую службу с чином полковника. 2 октября 1634 г. вошел в Ганау во главе шведских и гессенских войск. При форсировании Майна был тяжело ранен. Граф Моритц фон Ганау утвердил его губернатором, или первым комендантом крепости и города. Имя Рамзая пользовалось у современников уважением. В 1638 г. Рамзай по военным соображениям отказался передать Ганау его владельцу. Был захвачен в плен, отвезен в Дилленбург, где вскоре умер.

Двадцать первая глава

¹ Подбор красок для гротескного портрета Симплициссимуса, в котором красные служат для изображения век, синие для губ, темно-желтые для зубов и т. д., контрастирует с обычными эпитетами высокой литературы барокко («кораллово-красные уста», «белые зубы» и т. д.). Индиго — краска темно-синего цвета, растительного происхождения. Лазурь — здесь в значении темно-синей краски. Аврипигмент — минерал лимонно-желтого или оранжевого цвета — употреблялся для приготовления «королевской жел-

той краски». Сандрак — смола вино-желтого или красновато-бурого цвета. Применялась для приготовления лаков. Умбра — бурая краска минерального происхождения.

² Трофеум — трофей.

Двадцать вторая глава

¹ У генерала Рамзая был свояк — шведский генерал-вахтмейстер Дромонд.

² «в Шоттенландии» — возможно, намек на Шоттен в Фогельсберге (Гессен) на родине Гриммельсгаузена.

³ Хёхст — город на Майне, где 20 июня 1622 г. имперские войска под командованием Тилли разбили войска герцога Христиана фон Брауншвейга.

⁴ Эрнст граф фон Мансфельд (1585—1626) — выдающийся полководец. С 1610 г. примкнул к протестантскому союзу. С 1618 г. на службе курфюрста Фридриха V Пфальцского (избранного в 1619 г. чешским королем, но не утвержденного императором Фердинандом II).

Двадцать третья глава

¹ Записи в протоколах военного совета в Ганау подтверждают, что в городе укрылось много беженцев из окрестностей (К ö п п е с к е. Quellen, I, S. 168).

Двадцать четвертая глава

¹ Седьмая заповедь — порядок заповедей в протестантском катехизисе иной, чем в православном.

² пОсла — в оригинале «gEsel» (графическая игра слов: «Gesell» — малый, парень, подмастерье и «Esel» — осел). Эта шутка не является изобретением Гриммельсгаузена. Ее можно найти в популярной книге Бурхарда Вальдиса «Басни Эзопа» (1548, кн. 1, басня 90, ст. 78).

³ insecta (лат.) — класс насекомых. Симплиций относит к нему улиток и лягушек.

⁴ Esse Homo (лат.) — се человек! — Здесь имеется в виду изображение распятого Иисуса Христа.

⁵ «бумажное полотнище». — Вещи из Китая являлись большой редкостью. Увлеченные ими отражало интерес к экзотике, свойственный эпохе барокко.

Двадцать пятая глава

¹ «Любите врагов ваших...». — «Евангелие от Матфея» (гл. V, ст. 44—47).

² «другую ланиту» — т. е. подставить другую щеку по евангельскому учению (Евангелие от Матфея, гл. V, ст. 93).

³ «не клянитесь...» — «Евангелие от Матфея» (гл. V, ст. 34—37).

Двадцать шестая глава

¹ Самуель — священник имеет в виду отшельника, который носил это имя. В «Заключении» романа Симплициссимус назван Самуелем Грейфензоном.

Двадцать седьмая глава

¹ spiritus papiri (лат.) — бумажный дух.

² Кошель Фортуната — имеется в виду сказка о кошеле, который вечно полон золота. В 1590 г. рассказ о кошеле Фортуната вышел в числе народных книг.

Двадцать восьмая глава

¹ «Змий на Назика». — Назик — одно из прозваний нескольких Сципионов. К какому относится это упоминание, установить не удалось. Все антагонистические пары заимствованы из LXII дискурса Гарцони («О придворных»).

² Менелай, сын Атрея, вместе со своим братом Агамемноном изгнал Эгиста (убийцу их отца). Позднее Эгист, ставший возлюбленным Клитемнестры, вместе с нею вероломно убил ее мужа Агамемнона.

³ «Палудус на Кореба». — Кореб (Корейбос) — герой Аргоса, убивший фантастическое чудовище Пэна (П а в с а н и й. Описание Эллады, I, 43).

⁴ Несс — кентавр, перевозивший через реку Геркулеса (Геракла) и Деяниру, оскорбил ее и был убит стрелой Геракла. Умирая он открыл Деянире, что его кровь может вернуть ей любовь Геракла, если она ее потеряет. Деянира послала мужу вытканные ею одежды, пропитанные ядовитой кровью кентавра, что и привело к гибели героя.

⁵ Алтея (Алфея) (*греч. мифол.*) — мать участника похода аргонавтов Мелеагра. Согласно мифу о Калидонской охоте (на чудовищного вепря, посланного разгневанной Артемидой), Мелеагр убил во время спора брата матери, и она в ярости бросила в огонь головню, которую вынула из костра при рождении сына, ибо ей было предсказано, что он умрет, как только головня догорит, и таким образом навлекла на него смерть.

⁶ Ионафан — сын Саула, полюбивший Давида после его победы над Голиафом. Ионафан защищал Давида от пронсков своего отца, который намеревался его убить (Библия. Первая книга царств, гл. XVII—XX).

⁷ «Однажды ... прежде чем заснули». — Распространенный в литературе XVI—XVII вв. анекдотический рассказ. См. Поджо Браччолони. Фацеции. М.—Л., 1934, стр. 245 (Шутки скомороха Гонеллы).

⁸ «Je rêle». — Этот французский глагол встречается также у Мошероша (Wortlehre. 1655, S. 200).

Двадцать девятая глава

¹ Браунфельс — замок в Гессене у Венцлара. 3 декабря граф Конрад Людвиг фон Браунфельс после переговоров с фельдмаршалом имперских войск Филиппом фон Мансфельдом открыл «без нужды» ворота своего замка и впустил туда значительный гарнизон. Браунфельс был «освобожден» шведами 18/28 января 1635 г. (Theatrum Europaeum, III, S. 404). Кёнке отмечает допущенный Гриммельсгаузенем анахронизм. Согласно хронологии романа, Симплициссимус через двенадцать дней после отмеченного пиршества в Ганау взятия Браунфельса облачается в телячью шкуру «как раз во время зимнего солнцеворота», т. е. около 21 декабря 1634 г.

² «кушанье благородных шеффенов». — В оригинале «Schüppenessen», что может быть истолковано в связи со словом «Schörpre» (заседатель в судах) и как «несъедобное кушанье». Эпизод с телячьей головой и пажем имеется у Псевдо-Мошероша.

³ Par Dieu! (*франц.*) — клянусь богом!

Тридцатая глава

¹ Капуцины — католический монашеский орден.

² «олла потрида» — испанское национальное блюдо (из овощей и различных сортов мяса).

³ Эней Манлий — римский консул (II в. до н. э.) вел войны в Азии, откуда вывез несметные богатства.

⁴ «Гохгеймерское, Бахерахское и Клингенбергское». — Гохгейм и Бахерах — города на Рейне; Клингенберг — на Майне.

⁵ «не взирая на бедного Лазаря» — имеется в виду притча о бедном Лазаре (Евангелие от Луки, гл. XVI). Используется здесь как традиционное противопоставление бедного богатым.

КНИГА ВТОРАЯ

Первая глава

¹ В книге Гриммельсгаузена «Сатирический Пильграм, или Черное и Белое» (1667) осуждаются танцы, во время которых «встречаются солома и огонь и совершаются такие сделки, коих потом все дружеское общество принуждено стыдиться». Рассуждение заимствовано из XLV дискурса Гардони «О прыгунах, танцорах и всякого рода плясунах (Tripudianten) и состояющихся», которое было использовано и в «Гусмане» Фрейденхольда (кн. III, гл. 23, 32).

² *Preludium Veneris* (лат.) — прелюдия Венеры.

Вторая глава

¹ «проносной кашей» (в оригинале «Latwerg») — лекарство, изготавливавшееся в виде особого муса.

² *Corps de Garde* (франц.) — колегардия, гауптвахта.

³ Гриммельсгаузен издевается над астрологическими советами календарей, дававших указания, в какой день благоприятно что-либо совершить.

Третья глава

¹ Аккордировать — прийти к согласию.

² Девятисил (Девесил) — трава, растущая на юге Европы, с горьким корнем.

³ Квитоловое вино — настоенное на айве. Полынное, шафрановое, девятисиловое и квитоловое — горькие вина, употреблявшиеся для возбуждения аппетита.

⁴ Гиппократова настойка — на различных травах. Названа по имени древнегреческого врача Гиппократа.

⁵ Сатурнический — здесь «свинцовый», налитый свинцом. Сатурн у алхимиков обозначал свинец.

⁶ *scilicet* (лат.) — разумеется.

⁷ «полутелегах» — т. е. лафетах. Гофмейстер «языком Симплиция» рассказывает о пушечной пальбе.

Четвертая глава

¹ «до 5 и до 9» — имеется в виду счет при выбивании дроби на барабане. Прodelки, о которых сообщается в этом эпизоде, были в ходу как в шведском, так и в имперских войсках. В конце войны многие офицеры заносили в списки свою челядь в качестве рядовых солдат, чтобы получить за них деньги, причитающиеся при роспуске войск. Аналогичный рассказ — в «Вечном календаре» (1871) с отнесением к Филиппсбургу, где Симплициссимус служил мушкетером. Здоровые солдаты после проведенного смотра улеглись в постели и были под фальшивыми именами занесены в списки, получив по три дуката от посетившего их комиссариуса (SS. 166, 168).

Пятая глава

Мотив перенесения (во время сна) в другую обстановку, причем героя уверяют, что он попал в ад, в рай, стал царем и т. д., распространен в старинной литературе и фольклоре. Он встречается в «1001 ночи», у Боккаччо (новелла 8, третий день), у Шекспира и многих других. В подложном продолжении «Филандера» два паж, пере-

ряженных ангелами, переносят мертвецки пьяного крестьянина в замок курфюрста, где его всячески убажуют, пока он снова не уснул, после чего его относят обратно в хижину, оставив на всю жизнь в убеждении, что он побывал в раю. В книге Харсдёрфера «Frauen-Zimmer Gesprächspiele» (And. Th., Nürnberg, 1642) подобная же история изложена в серии из шести «ковров» («Teppichen») — гравюр с сопроводительным текстом, излагающим историю захмелевшего простолюдина, потехи ради перенесенного во дворец, где ему услужают пажы, дожидаящиеся его пробуждения, показывают ему кунсткамеру и т. д. Причем подчеркивается, как нелепо держит себя мужик, попавший в светское общество. Непосредственным источником Гриммельсгаузена, по-видимому, был близкий эпизод в первой части «Гусмана» (гл. 14).

¹ Один из способов приручения охотничьих соколов состоял в том, что их лишали сна, чтобы отбить память о жизни на воле.

Шестая глава

¹ Эвмениды — Эриннии (греч. мифол.) — богини мщения, обитавшие в Аиде. Преследовали убийц и клятвопреступников, насылая на них безумие. У Еврипида названы три Эриннии: Тисифона, Алекто и Мегера.

² Атамант (греч. мифол.) — царь в Беотии, возлюбленный богини облаков Нефелы, которая родила ему Фрикса и Геллу. Дочь Кадма Ино, став женой Атаманта, с помощью колдовства наслала засуху и, ссылаясь на оракул, уговорила мужа принести в жертву своих детей от Нефелы. Гера приказала Тисифоне навлечь на него безумие. Ср.: Овидий. Метаморфозы, гл. IV.

³ victoria (лат.) — победа.

⁴ Марципан (от лат. «Marci panes» — хлеб Марса) — пирожное из сладкого миндаля.

Седьмая глава

¹ В оригинале «Ich gedachte wie Goldschmid's Junge» — грубое пословичное выражение в значении резкого отказа или отрицания. Подробнее см.: K. Müller-Fraueuth. Wörterbuch der obersächsischen und erzgebirgischen Mundarten. Bd. I. Dresden, 1911, SS. 429—430.

² Stultorum plena sunt omnia (лат.) — всюду полно глупцов.

³ «телята жрут мясо». — Аналогичное утверждение в книге Иоганна Преториуса (Anthropodemos, II, S. 361).

⁴ «люди здесь были грязнее свиней». — Вся тирада заимствована у Мошероша из предисловия к первому видению «Филандера» (A. Bechtold. Zur Quellengeschichte, S. 64).

⁵ В оригинале «Нале in allen Gassen» — дословно «Ганс на все переулки».

Восьмая глава

¹ Симонид Меликус (556—488) — греческий поэт, родом с о. Кеос. Ему приписывается изобретение мнемоники — искусства запоминания. Сведения восходят к «Естественной истории» Плиния (кн. VII, гл. 24). Гриммельсгаузен заимствовал их из XLVIII дискурса Гарцони («О тех, кто наставляет в различных языках»).

² Метродор Сцеписий (150—70) — греческий философ. Ученик Хармида, с которым разрабатывал приемы мнемоники. Подвизался при дворе понтийского царя Митридата VI Евпатора, которым был казнен за переход на службу к армянскому царю Тиграну.

³ Кир — древнеперсидский царь (558—529). Об его значительной памяти сообщает Плиний (VII, 24).

⁴ Люций Корнелий Сципион Азиатский (II в. до н. э.) — римский консул, младший брат Сципиона Африканского, воевавший в Азии против Антиоха, царя Сирии. О его памяти сообщает Плиний (VII, 24).

⁵ Митридат VI Евпатор (132—63) — понтийский царь, ведший войны с Римом. По преданию, отличался необычайной памятью и мог говорить со всеми народами своего царства на их родном языке (т. е. на двадцати двух языках).

⁶ Марк Антоний Сабелик (1434—1506) — новолатинский поэт и писатель. Автор поэмы энциклопедического содержания «О делах и искусстве изобретателей» (*De rebus et artium inventoribus*, 1507), которую Гриммельсгаузен мог знать по немецкому переводу (Страсбург, 1535).

⁷ Хармид — греческий философ так называемой четвертой академии. По свидетельству Цицерона, отличался необыкновенной памятью.

⁸ Люций Сенека свидетельствует о своей необыкновенной памяти в предисловии к первой книге «*Controversiae*».

⁹ Иоанн Равизий Текстор (1480—1524) — французский филолог. Его сочинение «Мастерская, или Театр истории и поэзии» (*Officina, sive Theatrum historicum et poeticum*, 1522) содержит рассуждение о памяти (кн. IV, гл. 6).

¹⁰ Ездра (V в. до н. э.) — упоминаемый в Библии первосвященник иудеев.

¹¹ Евсевий (270—340) — христианский епископ в Палестине. Церковный историк. Цитата из «Хроники» Евсевия (кн. I, гл. 18) заимствована из книги Т. Цвингера «Зрелище жизни человеческой» (*Theatrum vitae humanum*, Basel, 1565), где приведена неточно. Цвингер в свою очередь выписал ее из кн.: *Vart. Fulgousus. De dictis et factis memorabilibus Pontificum, Imperatorum, Ducum, Principum, Episcoporum aliorumque collectanea lib. IX* (Basel, 1451, § 843). В итоге и получилась нелепая ссылка в «Симплиссимусе»: *Euseb. lib. temp. Fulg. lib. 8, cap. 7*.

¹² Фемистокл (род в 514 г. до н. э.) — афинский полководец, победитель в битве при Саламине.

¹³ Красс (вероятно, Марк Лициний Красс) — римский консул 70 и 55 г., союзник, а затем соперник Цезаря и Помпея.

¹⁴ Элий Адриан — римский император с 117 по 138 г. По словам Аврелия Виктора, «обладал невероятной памятью, запоминал места, дела и мог по имени назвать своих солдат, даже отсутствовавших» (Секст Аврелий Виктор. О жизни и нравах римских императоров. Вестник древней истории, 1964, № 1, стр. 238).

¹⁵ Порций Латрон — римский оратор, друг Сенеки.

¹⁶ Иероним (331—420) — христианский епископ. О его необычайной памяти общал Августин в письме к епископу Кириллу.

¹⁷ Антоний — см. прим. к кн. I, гл. 6.

¹⁸ Иогани Колерус (ум. в 1639 г.) — составитель популярной книги о сельском хозяйстве, выдержавшей большое число изданий (*J. Colerus. Calendarium oeconomicum et perpetuum. Das ist ein stetswerender Calender, darzu ein sehr nützlich und nötiges Haußbuch*. 2. Aufl. Wittenberg, 1592).

¹⁹ Марк Антоний Муретус (1526—1585) — французский филолог, первоначально живший в Италии. Заимствованное Колерусом известие находится в его книге «*Variarum lectionum*» (lib. III, cap. 1).

²⁰ *Plinius lib. 7, cap. 24*. — Приведенные слова находятся не в 7-й, а в 37-й книге «Естественной истории» Плиния.

²¹ Рассказ об ученом афиняине приведен в первой книге «Естественной истории» Плиния. Далее подробно *Valerius Maximus. Exemplorum memorabilium Libri novem*, I, cap. 8.

²² Валерий Мессала Корвин (70 г. до н. э.—3 г. н. э.) — латинский писатель и оратор.

²³ «*fasciculo Historiarum*» — «Пучок рассказов», по-видимому, неточное или вымышленное название. Возможно, Гриммельсгаузен имеет в виду народную книгу Ми-

хаеля Линденера «Катципори» (1558), содержащую 123 шванка о проделках на масленице зальцбургского монаха Шрамханса.

²⁴ Иоганн Вирус — Иоганн Вейер (1515—1588) — немецкий юрист, врач и философ, ученик Агриппы Неттесгеймского. В своей книге «Об обманах демонов» защищал память своего учителя от обвинений в занятиях черной магией и выступил против процессов ведьм (Joh. Wierus. De praestigiis daemonum. Baseliae, 1563. Немецкий пер.: Von Teuffelgespenst, Zauberen und Giftbereiter. Franckfurt a. M., 1586). Гриммельсгаузен, по-видимому, сочинениями Вейера не пользовался, а получил сведения из вторых рук. Неверна и сделанная им ссыла (надо: кн. I, гл. 4).

²⁵ Каллисто (греч. мифол.) — нимфа, возлюбленная Зевса, родившая ему сына Аркада (по другим сказаниям, Пана). Ревнивая Гера превратила ее в медведицу.

Девятая глава

¹ «красовались, словно Бартель». — Известно несколько пословичных выражений с упоминанием Бартеля («Знать, откуда Бартель берет вино» и др.), связанных с днем св. Бартоломея (24 августа), когда обычно начинали сбор винограда. К этим дням приурочены различные шуточные рассказы и прибаутки (например, старофранцузская побасенка о простофиле Бартеле). Согласно средневековой легенде, во время пира в Кане Галилейской, когда не хватило вина и Христос превратил в него воду, виночерпием был Бартоломей, или Бартель. Большие кружки, в которых вино («Most») приносят из погреба, также называли «Бартель». См.: Voghard — Wustmann — Schorre. Die Sprichwörtlichen Redensarten in deutschen Volksmund. Leipzig, 1955, SS. 54—55. Помимо этого «фольклорного фона», необходимо принять во внимание, что Гриммельсгаузен в 1649 г., по-видимому, принимал участие в подавлении мятежа в полку имперских драгун под командованием полковника Бартеля. В «Прибавлении» к «Летучему страннику» упоминается деревенский мастер Бартель из Шпессерта.

² «несла матушка Катарина» — подразумевается лютый понос (в оригинале «schnelle Katharina» — народное выражение, возникшее из шуточного переосмысления греческого слова *κατάρρος* — течь).

Десятая глава

¹ Сатира на титулы встречается у немецких писателей XVII в. (Мошерош, Лауренберг, Логау и др.).

² Навуходоносор (604—563) — царь Вавилона. По библейскому сказанию, в конце жизни впал в безумие и пожирал траву, как бык.

³ Квинт Курций Руф — римский историк I в. н. э., составивший «Историю деяний Александра Великого» в десяти книгах. Гриммельсгаузен почерпнул приведенные им сведения из дополнений, составленных к этим книгам немецким историком, Иоганном Френсхеймом (1608—1660), использовавшим «Жизнеописание Александра» Плутарха (гл. 4) и другие источники.

⁴ У Плиния приведено другое число воинов (1 192 000) и 846 кораблей.

⁵ Марк Сергий Сил — римский полководец, участник второй Пунической войны, потерял в сражении правую руку и сделал себе железную, о чем сообщал Плиний (Естественная история, VII, 29).

⁶ Люций Сиккио Дентат — о нем сообщает Плиний (VII, 29).

⁷ Спурий Турпей и Авл Этерний — римские консулы в 454 г. до н. э. Гриммельсгаузен называет их «бургомистрами».

⁸ Марк Манлий Капитолий — римский политический деятель. В 390 г. до н. э. защищал Капитолий от галлов. Впоследствии был обвинен в намерении объявить себя царем и убит. Плиний сообщает о полученных им 23 ранах (VII, 29). У Гриммельсгаузена — 33.

⁹ Завксис (IV в. до н. э.) — греческий живописец. Согласно легенде, изобразил кисть винограда с такой верностью, что птицы слетались ее клевать.

¹⁰ Сапор (Шапур) — имя нескольких царей из персидской династии сасанидов. Вероятно, Гриммельсгаузен имел в виду Шапура Великого (310—381).

¹¹ Архит из Тарента (первая половина IV в. до н. э.) — математик, завершивший работу Эвклида. Об изобретении Архитом летающего деревянного голубя сообщал Авл Геллий в книге «Аттические ночи».

¹² Альбертус Магнус — Альберт Великий (род в 1193 г., по другим данным в 1206—1207 г., ум. в 1280 г.) — естествоиспытатель средневековья, последователь Аристотеля. Наиболее полное собрание его сочинений (21 том) было издано на латинском языке в 1651 г.

¹³ Мемнонов столп — колосс в Египте, о котором сообщает Плиний (Естественная история, XXXVI, 11), издаваемое им «ворчание» объясняется резким различием в температуре воздуха, наступающим с восходом солнца после ночных холодов.

¹⁴ О писце, который уместил «Илиаду» Гомера на малом листе бумаги, сообщает Плиний (VII, 21).

¹⁵ Об искуснике, сделавшем миниатюрный корабль, сообщает Плиний (VII, 21).

¹⁶ Басня о завистливом псе на стог сена приведена в книге Бурхарда Вальдуса «Басни Эзопа» (I, 64).

Одиннадцатая глава

¹ Мысль об обременительности должности правителя на разные лады варьировалась в сочинениях XVII в., например в завещании Г. Мошероша «Неусыпная забота родителей» (*Insomnis cura parentum*, 1643), «Правящем бургомистре» Бальтазара Киндермана (*Regierender Bürgermeister*. Wittenberg, 1662).

² Орб — город в южной части Гессен-Нассау. 17 декабря 1634 г. был захвачен войсками Рамзая и разорен. Многие жители перебиты или обложены контрибуцией (*Theatrum Euroraem*, III, S. 383).

³ Браунфельс — см. прим. к кн. I, гл. 29.

⁴ Штаден — город в Обер-Гессене. Взят шведами 25 мая 1635 г. Анахронизм. По хронологии романа, Симплициссимуса к тому времени уже не было в Гану. Город не был сожжен войском Рамзая, а только разграблен (*Köpnische Quellen*, I, S. 164).

⁵ Симонид (559—469) — греческий поэт.

⁶ Паникулум — здесь в значении правитель.

⁷ Утика — римская колония на севере Африки, где республиканец Катон покончил с собой, узнав о неизбежной победе Цезаря.

⁸ Ганнибал (247—182) — карфагенский полководец во время второй Пунической войны с Римом. После заключения мира был вынужден в 195 г. бежать из Карфагена.

⁹ Демосфен (384—322) — древнегреческий оратор и политический деятель. Был изгнан из Афин и покончил жизнь самоубийством.

¹⁰ Сократ (469—399) — греческий философ, афинянин. Был приговорен к смерти и принял чашу с ядом.

¹¹ Марк Камилл (403—365) — римский полководец, победитель галлов в 390 г. Был обвинен в присвоении военной добычи и подвергнут изгнанию.

¹² Солон (ок. 630—599) — афинский законодатель. Оба рассказа, приведенные Гриммельсгаузенем, прикреплялись также к имени Ликурга.

Двенадцатая глава

Содержащиеся в этой главе примеры восходят к античным писателям (Аристотель, Плиний, Элиан, Плутарх, Гален и др.). Почти все они собраны в книге Петра Мекса «*Sylva variarum lectionum. Das ist: Historischer Geschicht-, Natur- und Wunderwald*»

(Th. II, Nürnberg, 1669, S. 104). Гриммельсгаузен не мог воспользоваться этим изданием, так как первые книги «Симплициссимуса» написаны ранее, но не исключена возможность заимствования из более ранних латинских изданий Мексиа. В «Дон Кихоте» содержится рассуждение о том, что «от животных люди получили много уроков и узнали много важных вещей: так, например, аисты научили нас пользоваться клистиром, собаки — блеванию и благодарности, журавли — бдительности, муравьи — предусмотрительности, слоны — стыдливости, а конь — верности» (кн. II, гл. 12).

¹ affectus animi (лат.) — душевные волнения.

² Хирогулли (библ.) — кролики.

Тринадцатая глава

Истории о различных безумствах и маниях, приведенные в этой главе, часто встречаются в энциклопедических сочинениях и литературных сборниках XVII в. Много их собрано в сборнике Харсдёрфера (Der grosse Schauplatz Lust und Lehrreichen Geschichte. Hamburg, 1660), которым Гриммельсгаузен также воспользовался в эпизоде с «Юпитером» (кн. III, гл. 3), а также в подложном продолжении «Филандера» Мошероша (часть «Phantasten-Hospital»). Среди вероятных источников отметим новеллу Сервантеса «Стеклянный лицензиат», по-видимому, известную Гриммельсгаузену через посредство Харсдёрфера.

¹ История о человеке, вообразившем себя глиняным сосудом, была известна еще Галену. Источником Гриммельсгаузена была книга Николая Ремигиуса (N. Remigius. Demonolatia, das ist von Unholden und Zauber-Geistern. Franckfurt a. M., 1598, S. 267).

² История о человеке, вообразившем себя петухом (также из Галена), приведена у Бейерлинка (L. Beyerlink. Magnum Theatrum vitae humanae. Köln, 1637, XI, p. 397) и в книге Гулара (Sim. Goulart. Schatzkammer übernatürlichen wunderbaren und wohlendckwürdigen Geschichten. Straßburg, 1613).

³ История о человеке, считавшем себя самого призраком, приведена в книге Преториуса (J. Praetorius. Anthropodemus Plutonica. Th. II. Magdeburg, 1666, S. 360).

⁴ История о человеке, воображавшем, что у него в животе спрятана конская сбруя, также в книге Ремигиуса (N. Remigius. Demonolatia, S. 268).

⁵ История о человеке с длинным носом приведена у Бейерлинка и Гулара.

Четырнадцатая глава

¹ В оригинале пословицное выражение «Narr im Zwiebelland» с оттенком значения, выражающим беззаботность.

² Гану — см. прим. к кн. I, гл. 19.

³ Ришелье (1585—1642) — кардинал, возглавлявший внешнюю политику Франции. В 1636 г. заключил военный союз со Швецией. Для того времени, когда Симплициссимус находился в Гану, обещание презентовать его Ришелье — явный анахронизм.

⁴ Бернгард фон Саксен-Веймар (1604—1639) — герцог. С 1630 г. состоял на шведской службе. Отличился в битве у Люцена, во время которой (после смерти Густава Адольфа) принял командование армией. С 1633 г. начальствовал над шведскими войсками во Франконии (около половины шведской армии). В том же году занял Регенсбург. С 1638 г. под его подчинением находилась крепость Брейзах.

⁵ Зима 1634/35 г. была необычно суровой. Протоколы ратуши Гану подтверждают, что с середины января 1635 г. крепостные рвы действительно замерзли (Königske. Quellen, I, S. 174).

⁶ В январе 1635 г. полковник Корпес, командовавший отрядом кроатов (хорватов), получил приказ произвести разведку в окрестностях Гану и установить, находятся ли там войска герцога Бернгарда, которые к тому времени отошли.

⁷ Солдаты говорят не на хорватском, а на народном чешском языке, искаженном в передаче Гриммельсгаузена. Первая фраза по-чешски будет: *Vezměme toho blázna s sebou; zavedeme ho k panu obrstovi*. Вторая: «*Prísambůh ano, posadíme ho na koně; obrst gozumí německy, bude z něho mit kratochvíli*» (пер. Ярослава Заоралека), что означает: «Возьмем-ка мы этого дурака с собой, отвезем его к господину полковнику». «Вот и ладно, посадим его на лошадь; полковник разумеет по-немецки, ему будет с ним потеха».

Пятнадцатая глава

¹ Бюдингген — город в Гессене в трех милях к северо-востоку от Гануа. Далее через восемь миль Хиршфельд (Херсфельд), где находилось аббатство бенедиктинцев.

² Марко Корпес — полковник одного из десяти кроатских полков в армии Пикколони. Непосредственным начальником его был генерал Изолани. Полк Корпеса насчитывал около 720 всадников и в декабре 1634 — феврале 1635 г. базировался в Хиршфельде. В конце мая 1635 г. войска, находившиеся под командованием Изолани, оставили Хиршфельд и Фульду (K ö p n e s k e. Quellen, I, S. 175). В апреле 1635 г. кроаты (в том числе полк Корпеса) попали в засаду в Эшвеге (горная местность), что привело их в такую ярость, что они сожгли дотла 14 деревень и порубили саблями все население без различия пола и возраста. В отместку шведы, захватив у Зонтра тринадцать кроатов, сожгли их живьем (Theatrum Europaeum, III, S. 459).

³ Меландр — собственно Хольцапфель (1585—1648) — генерал-лейтенант ландграфа Гессен-Касселя. В 1645 г. перешел в имперские войска, где получил чин фельд-маршала (Z e d l e r, Bd. XIII, S. 689).

⁴ Кассель был в то время штаб-квартирой гессенских войск.

Семнадцатая глава

¹ Флейт-траверс (в оригинале «Zwerchpfeife») — дословно «карликовая флейта». Гриммельсгаузен, вероятно, имеет в виду «Querflöte», т. е. поперечную флейту, или флейт-траверс, на которой играли, держа инструмент наискось и пуская струю выдыхаемого воздуха на острый край амбушюра. В XVII в. флейты (прямые) и флейт-траверсы делали различной величины и назначения (дискантовые, альтовые и басовые). «Карликовая флейта», которую упоминает Гриммельсгаузен, может быть так называемая флейта пикколо (flauta piccolo) — одна из самых маленьких флейт.

Восемнадцатая глава

¹ Симон Волхв — легендарный волшебник I в. н. э., упоминаемый в «Деяниях апостолов» (гл. 8).

² Ремигий (Николай Ремигиус) — юрист и теолог XVI в. История об Иоганне Хембахе и Катарине Превоции приведена в его книге «*Demonolatria*» (Frankfurt a. M., 1598, SS. 108—109). На полях этой книги указана дата 1589.

³ Симон Майолус — епископ Волторарии и Монте Корбино (с 1572 по 1597 г.). Его книга «*Dies caniculares...*» (vol. 2. Mainz, 1607) была переведена на немецкий язык под названием «Стодневные отдохновительные часы» (Majolus. Hundstägige Erquickungsstund. Franckfurt a. M., 1650).

⁴ История о сожителе ведьмы, который подсмотрел за нею и решил, подобно герою «Золотого осла» Апулея, испытать на себе снадобье, переносившее ее на шабаш в Лотарингию, подробно рассказана в книге Жана Бодена, переведенной на немецкий язык И. Фишартом (*De daemonomania magorum. Vom Außgelaßnen Wütigen Teuffels-heer. Straßburg, 1581, SS. 296—297*).

⁵ Олаус (Олай) Магнус (1490—1558) — шведский архиепископ. Путешествовал в 1518—1519 гг. по северу Скандинавского полуострова. Составил карту северной Ев-

ропы (1539). Его историко-географический труд «*Historia de gentibus septentrionalibus*» (1555) переведен на немецкий язык (Olaus Magnus. *Historien der mitternächtigen Länder*. Basel, 1567). Гриммельсгаузен заимствовал цитату у Н. Ремигиуса.

⁶ Хадингус (Хадинг) — легендарный датский король. Саксон Грамматик в своей «Истории Дании» (*Gesta Danorum*) рассказывает, что Один (верховное божество скандинавской мифологии) перенес на своем коне Хадинга по воздуху.

⁷ Антонио де Торквемада — испанский юрист и писатель XVI в. Его книга знаменательных историй переведена и издана членом «Плодоносного общества» ландграфом Гессен-Кассельским Германом IV (Hexameron. Kassel, 1652). На книгу Торквемады ссылаются Н. Ремигиус и Ж. Боден.

⁸ Паоло Гриландус — юрист и теолог XVI в. Автор трактата о колдовстве (*Tractatus de hereticis*. Lugduni, 1536) выступал по процессуальным вопросам суда над ведьмами. Вероятно, Гриммельсгаузен заимствовал приведенную им новеллу из книги Ж. Бодена, где она пересказана со ссылкой на Гриландуса. Рассказ отнесен к 1526 г. В одно из подложных продолжений «Филандера» Мошероша включена глава с подробным описанием «Ночных танцев и банкетов» (*Philandri von Sittewaldt Complementum*. Franckfurt a. M., 1648, SS. 583—597). Там же рассказ о том, как муж отправился с женой на шаш и во время пиришества попросил соли, что привело к подобному же результату. Рано утром он узнал, что находится в королевстве Неаполитанском (SS. 594—595). Рассказ приведен без упоминания города Беневенто, который у Бодена отнесен к Папской области. Ремигиус объясняет отсутствие соли во время колдовских пиров и сборищ тем, что она, согласно предписаниям Библии, употреблялась во время жертвоприношений.

⁹ Историческая личность Фауста, странствующего прорицателя и «чернокнижника», рано обросла различными легендами, которые могли быть известны Гриммельсгаузену и в устной традиции. Вероятно, он знал и народную книгу о Фаусте в обработке Иоганна Шписа (1587) или Георга Рудольфа Видмана (1599). Рассказы о полете Фауста были перенесены на него из христианской легенды о Симоне Маге (в русских сказаниях Симоне Волхве). Они содержатся в сообщении Иоганна Манля (со слов Филиппа Меланхтона) и приводятся в различных сочинениях, упоминающих о Фаусте. Возможно, источником Гриммельсгаузена была книга Россета (F. Rosset. *Theatrum Tragicum, oder Wunderlich- und Traurigeschichten*. Ed. 3. Tübingen, 1634). Сведения о докторе Фаусте в изданиях XVI—XVIII вв. собраны в книге Тилля (A. Tille. *Die Faustsplitter in der Literatur des sechzenten bis achtzehnten Jahrhundert nach den ältesten Quellen*, Berlin, 1900). См. также: Легенда о докторе Фаусте. Издание подготовил В. М. Жирмунский. М.—Л., 1958.

¹⁰ «о некоем дворянине из Ломбардии». — Рассказ приведен в девятой новелле десятого дня «Декамерона» Боккаччо.

Девятнадцатая глава

¹ Ветряные мельницы были разбросаны по деревням вокруг Магдебурга. Находившиеся в непосредственной близости от города, сожжены в 1630 г. (Köpnick. Quellen, I, S. 193).

² В 1635 г. по Пражскому миру епископство Магдебургское должно было поступить под власть курфюрста Саксонского, перешедшего к императору, но шведы, занимавшие город, не захотели его добровольно оставить. В апреле 1636 г. саксонские и имперские войска начали осаду города (F. W. Hoffmann. *Geschichte der Stadt Magdeburg*. Bd. III. Magdeburg, 1850, S. 223). Согласно хронологии романа, Симплициссимус появился в лагере под Магдебургом «в конце мая».

³ Цербст — город в Ангальте неподалеку от Магдебурга. Цербстское пиво прославляет Фишарт в своем переводе «Гаргантюа» Рабле (гл. 4).

⁴ Сведения о том, что осаждавшие Магдебург войска стояли отдельными лагерями, отсутствуют в печатных источниках и, вероятно, приведены Гриммельсгаузенom на основании личных наблюдений.

Двадцатая глава

¹ В оригинале игра слов — «Scholderer» (устроитель и содержатель азартных игр, в данном случае в кости) и «Schunderer» (мясник на бойне, живодер).

² Во время игры в кости каждый пользовался своими, что давало возможность обманывать противника. Симплициссимус перечисляет различные виды «фальшивых костей» и плутней во время игры в кости.

³ «голландцы» — у них плоскости с очками «пять» и «шесть» были сделаны выпуклыми с кантом по середине.

⁴ Деревянный осел с острой спиной применялся до середины XVIII в. в армии и помещиками в виде особого наказания. Провинившегося сажали на деревянного осла и привязывали к нему ремнями.

⁵ «оберлендцы» — кости, у которых, вероятно, на месте «пятерок» и «шестерок» были сделаны углубления.

⁶ «показать баварские горы» — народное выражение в значении «подбросить высоко вверх». В новелле Н. Уленхарта Исаак Винкельфельдер похвально, что может «так искусно и с таким проворством кидать кости, что, почитай, с каждым броском наверняка обеспечивал себе по крайней мере одну, если не две шестерки» (Zwo kurzweilige Historien, S. 278).

Двадцать первая глава

¹ Тираса — сетка для ловли птиц.

² «крылатый приплот». — Гриммельсгаузен пародирует заимствованный из античной мифологии образ грифонов, обладающих львиным туловищем и головой орла.

³ Фудер — мера жидкостей (преимущественно для вина), различная в разных местностях. «Воз вина» — от 5 до 24 ведер. В Гессене и Франкфурте фудер вина содержал 6 амов, или 480 кружек.

⁴ «за один день сволочить город в другое место». — Пародируется следующее место из Библии: «А если он войдет в какой-либо город, то весь Израиль принесет к тому городу веревки, и мы стащим его в реку, так что не останется ни одного камешка» (Вторая книга царств, гл. 17).

⁵ *Dicis et non facis* (лат.) — ты говоришь и не делаешь.

⁶ «иовы» — по имени библейского долготерпеливого Иова.

⁷ Актеон (греч. мифол.) — охотник, заставший Диану во время охоты. Разгневанная богиня превратила Актеона в оленя, и его растерзали его собственные собаки.

Двадцать вторая глава

¹ Профосам, ведавшим наказаниями, как и палачам, приписывали в XVII в. знакомство с колдовством и умение заговаривать от пуль. См.: G. Lieber. Soldat. Leipzig, 1899, S. 82.

² «вертеть решето» — вид ворожбы, служившей для раскрытия преступлений, особенно воровства. Вороживший брал двумя пальцами щипцы и клал на них решето, произнося заговор. При упоминании подозреваемого решето начинало дрожать, вращалось и указывало на преступника. См.: J. Praetorius. De coscinomantia, oder vom Sieblaufe. Diatribe curiosa. S. I., 1679 (ГПБ).

³ «напустить в поле целые эскадроны всадников» — т. е. вызвать с помощью чар мираж.

⁴ Сатурн (*римск. мифол.*) — бог посевов (отожествленный с Кроном). Изображался старцем с длинной седой бородой, на костылях и с косой в правой руке.

⁵ Конъюнкция Сатурна и Меркурия — астрологическая констелляция светил. Прорывливый Оливье сравнивается с Меркурием.

Двадцать четвертая глава

¹ Предсказание собственной смерти часто встречается среди новеллистических мотивов литературы позднего Ренессанса и маньеризма. Источником для Гриммельсгаузена скорее всего послужила книга Харсдёрфера, где приведено несколько таких рассказов (*Der Grosse Schauplatz jämmerlicher Mordgeschichte*. Hamburg, 1649—1656). В отличие от «чернокнижника»-профоса старый Херцбрудер посвящен в область гаданий, считавшихся дозволенными христианством (астрология, хиромантия, физиогномика и др.).

² Курфюрст Саксонский — Иоганн Георг I (1585—1656), который после Пражского мира (1635) примкнул к имперским силам.

³ Мельхиор фон Хатцфельд (1593—1658) — генерал имперских войск.

Двадцать пятая глава

¹ Валленштейн был убит 25 февраля 1634 г. в Эгере.

² Ликомед — царь на о. Скирос. В послегомеровских сказаниях мать Ахилла Фетида отправила его к Ликомеду, чтобы удержать от участия в Троянской войне.

³ Магдебург был взят впервые войсками Тилли в 1631 г. и окончательно разрушен 18 января 1632 г. Паппенхеймом. Однако Магдебург продолжал служить укрепленным пунктом (ср. прим. к гл. 19). 13 июля 1636 г. Магдебург был снова взят имперскими войсками (M. Dittmar. Beiträge zur Geschichte der Stadt Magdeburg in den ersten Jahren nach ihrer Zerstörung 1631. Halle, 1885, S. 316).

⁴ Хавельберг — городок в провинции Бранденбург (на Хавеле). 25 августа 1636 г. был взят имперскими войсками.

⁵ Перлеберг — город в Пригнице (провинции Бранденбург). В середине сентября 1636 г. перешел к имперским войскам.

⁶ Иоганн Банер (1593—1641) — шведский генерал, отличившийся в битве при Витштоке (24 сентября 1636 г.) против саксонских войск и в битве под Хемницем 4 апреля 1639 г. против имперских войск.

Двадцать шестая глава

¹ Domine, non sum dignis (*лат.*) — господи, я не достоин! Формула, употребляемая священником во время мессы.

Двадцать седьмая глава

¹ Summa summarum (*лат.*) — в итоге.

Двадцать восьмая глава

¹ Гамм — город в Вестфалии.

² Зуст — город в Вестфалии на р. Хельвеге.

³ «оба меча на больших пальцах» — т. е. ногти.

⁴ «храброго портняжку». — Этот сказочный сюжет известен по сборнику братьев Гримм, где сообщается о бытовании его в Гессене. Встречается в сборнике шванков М. Монтануса (*Wegkürzter*. 1557; M. Montanus. Schwankbücher. Herausgegeben von J. Bolte. Tübingen, 1899, S. 19).

⁵ Отрок — здесь в значении конюха.

Двадцать девятая глава

¹ Парадиз — рай. Под названием «райская обитель» известно несколько женских монастырей XVI—XVII вв. Здесь имеется в виду монастырь в окрестностях Зуста, который после Вестфальской войны был поделен между католиками и протестантами.

² «бломайзер» (в оригинале «Blomeiser») — народное название серебряной монеты стоимостью в одну восьмую талера, чеканившейся на Нижнем Рейне с первой трети XVI в. По-видимому, происходит от сокращения наименования «blaue Mäuse» (дословно «синие мышата»), так как слово «blau» употреблялось для обозначения низкой цены и скверного качества.

³ «ослиное седло» — см. прим. к кн. II, гл. 20.

⁴ «монеток с медведем» (в оригинале «Batzen») — серебряная монета часто с изображением медведя (герб города Вазеля) стоимостью до одной трети талера. Пользовалась распространением на юге Германии. С 1620 г. была значительно обесценена.

⁵ Симпрехт — имя образовано по аналогии с Рупрехт и др.

⁶ Битва при Павии — 15 февраля 1524 г., когда император Карл V победил французского короля Франсуа I.

⁷ Липпштадт — город в Вестфалии на р. Липпе. Был занят гессенцами еще в 1633 г.

Тридцатая глава

¹ Иоганн Венцель граф фон Гёц (1595—1645) — фельдмаршал имперских войск. В его армии Гриммельсгаузен пришел из Вестфалии на Верхний Рейн.

² Дорстен — городок на р. Липпе.

³ Косфельд — небольшой город в Вестфалии к западу от Мюнстера.

⁴ Остенде — город во Фландрии, в 1601—1604 гг. был осажден испанцами. Осажденные дрались с таким мужеством, что их сравнивали с троянцами.

Тридцать первая глава

Рассказанная в этой главе история о похищении сала принадлежит к числу мотивов, часто встречающихся в сборниках шванков. Его можно найти у Ганса Сакса, в сборнике «Отврати печаль» (Wend Unmuth, 1563) Ганса Кирхгофа, в народных театральных представлениях и песенках. В наиболее краткой форме в сборнике И. Мемеля «Веселое общество» (J. P. M. Memel. Lustige Gesellschaft. S. 1., 1660). В этом сборнике вор, захотевший похитить боковушку сала через каминную трубу, проваливается в кухню. Хозяин дома зажигает свет и приходит посмотреть в чем дело. Вор вымазал лицо сажей и на вопрос: «Кто там?» — отвечает: «Черт». — «Зачем пожаловал?» — «Да, принес вот тебе боковушку сала». Хозяин дома отвечает: «Мне она не надобна. Возьми ее и проваливай из дому». Вору только это и было надобно. Источником Гриммельсгаузена, по-видимому, была кн.: E. Franciscus. Die lustige Schaubühne von allerhand Kuriositäten. Nürnberg. 1663, SS. 938—940.

¹ Реклингузен — город в Вестфалии. В 1636 г. был занят гарнизоном имперских войск.

² vevega (лат.) — на самом деле, действительно.

³ convivium (лат.) — здесь в значении пир.

⁴ Стола — церковное облачение, надевавшееся поверх стихаря.

⁵ «черти охотнее всего являются в зеленом платье». — В народных немецких поверьях зеленый цвет часто связывался с духами земли, леса и т. д. Согласно швабским сказаниям, по лесам незадолго до наступления времени охоты проносятся со своей свитой «зеленый Егерь» (A. Birlingen. Aus Schwaben. Bd. I. Wiesbaden, 1874, S. 329). Впоследствии эти сказания были перенесены на дьявола, являющегося

при общении с ним в зеленом платье. Поэтому на процессах ведьм его часто называли в показаниях просто «Зеленым» (K. Amersbach. Aberglaube, Sage und Märchen bei Grimmelshausen. Th. I. Baden-Baden, 1891, S. 15).

КНИГА ТРЕТЬЯ

Первая глава

¹ Бандельеры — ремни для сумок, где хранились рожок с порохом, кошелек с нудами и деревянными патронами. Мушкетеры носили их через плечо.

Вторая глава

¹ Верле — городок в Вестфалии неподалеку от Зуста.

² «дома ли святой Влас» (в оригинале «ob Vlasi zu Haus sei»). Св. Власий считался покровителем животных. Здесь поговорочное выражение в значении «не грозит ли какая опасность?».

³ Контребуха — контрибуция (в оригинале «Konterbission»).

Третья глава

Для объяснения эпизода, начинающегося с этой главы, Схольте предложил натянутую гипотезу, основанную на связи страсбургского поэта Исайи Ромплера фон Левенталя (якобы прообраза Юпитера) с княжеским домом Вюртемберг-Момпельгарт. Момпельгарт считался твердойней протестантизма. В 1586 г. в нем состоялся «коллоквиум» для обсуждения возможности примирения лютеран и кальвинистов. В 1662 г. воспитанник Ромпеля принц Георг побудил свою жену Анну (внучку адмирала Колиньи) перейти в лютеранство. По мнению Схольте, эта «трагедия вероисповедальных противоречий» и нашла отражение в эпизоде с Юпитером, который является «скрытой религиозной сатирой» и вместе с тем объясняет появление города Момпельгарт как фиктивного места издания «Симплициссимуса» (J. H. Scholte. Der religiöse Hintergrund des «Simplicissimus Teutsch». Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, Bd. 82, 1950, H. 3, SS. 267—290).

¹ «великого бога и его золоченое опоясание» — крест пяти фунтов высотой с фигурой Христа из серебра, находившийся в Мюнстере и похищенный оттуда.

² Йове (Иовиш) — Юпитер.

³ Стикс (греч. мифол.) — река подземного царства.

⁴ Ганимед (греч. мифол.) — сын дарданского царя Троя. Любимец и виночерпий Зевса, похитившего его на небо.

⁵ Ликаон (греч. мифол.) — царь Аркадии. По одному из мифов, предложил богам, желая испытать их, угощение, приготовленное из человеческого мяса, за что Зевс превратил его вместе с сыновьями в волков. Разработан Овидием в «Метаморфозах».

Четвертая глава

¹ Нарцисс (греч. мифол.) — сын речного бога Кефиса и нимфы Лириопы. Восхищенный своим отражением в реке, влюбился в него и умер от любовной тоски. Миф разработан Овидием в «Метаморфозах».

² Адонис (греч. мифол.) — сын кипрского царя Кинира, славившийся своей красотой юноша, возлюбленный Афродиты.

³ hora Martis (лат.) — часы (суток), находящиеся под знаком Марса, а потому наиболее благоприятные для дел, связанных с войной.

⁴ Швейцарская миля считалась в 5000 «шагов», немецкая — в 4000.

⁵ Тамерлан — см. прим. к кн. I, гл. 17. В «Симплицианском вечном календаре» (15 апреля) сообщается легенда, что когда родился Тамерлан, то «обе его руки были наполнены кровью».

⁶ Елисейские поля (*греч. мифол.*) — поля блаженных в загробном мире, где обитают праведники.

⁷ Геликон — горный хребет в Беотии, считался местом, где обитали музы.

⁸ Кай Фабриций Люциниус (III в. до н. э.) — римский консул. Был направлен в качестве посла в Тарент к царю Пирру, который всячески склонял его на свою сторону. Имя его вошло в историю как пример честности и неподкупности.

⁹ Геллеспонт — пролив Дарданеллы.

¹⁰ Маноа — легендарный город, отождествлявшийся со «страной золота» (Дорадо). В книге У. Рэли «Открытие обширной богатой и прекрасной Гвианской империи», вышедшей в 1596 г. в Лондоне и появившейся в 1599 г. в Нюрнберге в латинском, а в 1612 г. во Франкфурте в немецком переводе (с добавлениями из голландских источников). Последнее издание снабжено гравюрой с изображением Маноа, о котором сообщалось, что «по величине, по богатству и превосходному расположению он великолепнее любого города в свете». См.: W. Raleigh. Die fünffte kurtze wunderbare Beschreibung deß goldreichen Königreich Guianae in America oder newen Welt... Franckfurt a. M. 1612, S. 5 (ГПБ).

¹¹ Великий могол — наименование властелинов основанного в 1525 г. мусульманского государства в Восточной Индии.

¹² «священник Иоанн в Африке» — легендарный «царь-священник», местопребыванием которого в XII в. считалась Индия и Передняя Азия. Рассказы о его могуществе волновали Европу, надеявшуюся на его помощь во времена Крестовых походов. В связи с этим распространялось мнимое послание св. Иоанна императору Византии Мануиалу Комнину, где рисовалась утопическая картина счастливого и не знающего войн государства. С конца XIV в. государство священника Иоанна перенесено легендой в Африку и представление о нем стало сближаться с христианской Эфиопией (Р. Хенниг. Неведомые земли, т. 2. М., 1961, стр. 441—461; т. 3. М., 1962, стр. 26—34; т. 4, М., 1963, стр. 154—156 и 326—334).

Пятая глава

¹ «страна Пролежи-бока» — страна лентяев в немецких сказках («Schlaraffenland»). Мотив обработан Гансом Саксом.

² Эрисихтон (*греч. мифол.*) — сын царя Фессалии Триопа. Осквернил священную рощу Деметры, вырубив в ней деревья, чтобы построить себе дворец, за что был наказан вечным неутолимым голодом.

³ Мом (*греч. мифол.*) — олицетворение злословия и насмешки. Сын ночи. По преданию, лопнул от злости, не сумев найти в Афродите недостатков.

⁴ Зоил (III в. до н. э.) — греческий ритор из Македонии, стяжавший известность мелочными придирками к Гомеру. Его имя стало нарицательным.

⁵ Феон — язвительный человек, которого упоминал Гораций.

⁶ Гиппонакс (VI в. до н. э.) — представитель ранней ямбической поэзии, писавший острые и злые стихи.

⁷ Баттум — пастух, который обещал Меркурию не разглашать, что тот крад быков из стада Аполлона, но все же выдал его, за что был обращен в камень. Мотив разработан в «Метаморфозах» Овидия.

⁸ Lapis philosophorum (*лат.*) — «философский камень» алхимиков, с помощью которого можно было совершать трансмутацию металлов.

⁹ Птолемей Филадельф (309—246) — египетский царь, покровительствовавший наукам и искусствам. При нем был осуществлен греческий перевод Библии семиде-

сяти двумя сирийскими и израильскими учеными. Согласно легенде, хотя они работали разобщенно, их переводы совпали дословно.

¹⁰ que (лат.) — но (в значении привести возражение).

¹¹ ad infinitum или indefinitum (лат.) — до бесконечности.

¹² Конклав — помещение, предназначенное для избирания папы советом кардиналов. Также название самого избирательного собрания.

¹³ ad rem (лат.) — к делу.

¹⁴ martirium (лат.) — мучение.

¹⁵ «самшитовыми прутьями» — под самшитом здесь разумеется особый вид терновника.

¹⁶ «подарить на новый год Плутону» — т. е. отправить в преисподнюю.

Шестая глава

¹ Дедал (греч. мифол.) — механик, строитель и скульптор, которому приписывалось изобретение различных ремесел. Изготовил крылья, скрепленные воском, для полета человека.

² Мосх — здесь, вероятно, то же, что Мом. См. прим. к кн. III, гл. 5.

³ Дафит (III в. до н. э.) — грамматик из Тельмесса в Кари. Поричал Гомера, высмеивал дельфийский оракул и пергамского царя, за что, по его поведению, был распят у горы Торак. О нем сообщали Страбон и Плиний.

⁴ Анаксарх (IV в. до н. э.) — греческий философ родом из Абдеры, ученик Демокрита. Сопровождал Александра Македонского в его походах. Тиран Крита Никокреонт приказал его за вольнодумство истолочь в каменной ступе.

⁵ Фаларис — тиран в Агригенте (в Сицилии), правивший в 565—549 гг. По преданию, приказывал сжигать живьем людей в медном быке, сделанном скульптором Периллом. Крики сжигаемых заживо людей, вырывавшиеся из пасти быка, должны были имитировать рев быка. Фаларис первым сжег скульптора, чтобы испытать его изобретение.

⁶ Пандора (греч. мифол.) — изготовленная Гепестом (по повелению Зевса) из земли и воды женщина, которой были приданы человеческий голос и движения. Боги наградили ее «лардом», куда были заключены все бедствия и несчастья, она нечаянно выпустила их, когда ее принял к себе брат Прометея.

⁷ Алекто, Мегера, Тисифона — Эриннии, см. прим. к кн. II, гл. 6.

⁸ По мнению Блёдау, «суд над блохами», который учиняет Юпитер, восходит к французскому стихотворению, использованному Фишартом в книге «Flöhhaaz» (С. Blöda u. Grimmelshausens «Simplicissimus» und seine Vorgänger. Berlin, 1908, S. 111).

⁹ Каллисто — см. прим. к кн. II, гл. 8.

¹⁰ Ио (греч. мифол.) — возлюбленная Зевса, превращенная Герой в корову.

¹¹ Европа (греч. мифол.) — дочь финикийского царя Агенора, похищенная Зевсом, явившимся к ней в виде быка.

¹² «Аполлон через своего ворона». — Ворон, служивший Аполлону, известил его о неверности его возлюбленной Коронис. Позднее Аполлон проклял ворона, который стал черным. Мотив разработан в «Метаморфозах» Овидия.

¹³ Вейдманское право — лесное право.

Седьмая глава

¹ Кокит (греч. мифол.) — река в преисподней, приток Ахерона.

² «о той битве, какую вели лапифы с кентаврами». — На свадьбу царя лапифов Перифоя были приглашены кентавры, и один из них хотел увести невесту, из-за чего между лапифами и кентаврами разгорелся бой. Мотив использован Гомером в «Одиссее» и Овидием в «Метаморфозах».

³ Картель (от франц. «cartel») — договор между двумя неприятельскими войсками о выкупе или размене пленных.

⁴ Юганти де Верд — см. прим. к кн. I, гл. 17.

Восьмая глава

¹ Фон дер Валь (ум. в 1644 г.) — баварский полководец. В 1637 г. продвинулся со своим корпусом из Верхнего Пфальца в Вестфалию, что совпадает с хронологией романа.

² Фехт — река в Вестфалии, протекает через Ганновер.

³ Меппен — город в Ганновере на р. Эмсе.

⁴ Линген — город на р. Эмсе.

⁵ Падерборн — город на р. Падере (приток Липпе).

⁶ «даруй мне жись». — В оригинале захваченный Симплициссимусом «арап» говорит на нижненемецком диалекте. Близкая сцена — в «Гусмане» (I, 19).

⁷ Принц Оранский — скорее всего имеется в виду Фридрих Генрих Оранский (1584—1647) — голландский полководец и государственный деятель. Штатгальтер Соединенных Нидерландов. Поддерживал шведов, которым в 1634 г. прислал вспомогательный корпус.

⁸ Эмс — город в Висбадене.

Девятая глава

¹ in floribus (лат.) — здесь в значении вдоволь, в изобилии.

² «сигай через плетень» (в оригинале «Stiegelhupfer») — насмешливое прозвище мушкетеров.

³ «замарай голенище» (в оригинале «Stiefelschmierer») — насмешливое прозвище рейтаров.

⁴ Гермафродит (в оригинале «Zwidder»). — Намек на то, что драгуны сражались пешим строем, а походы совершали на лошадях.

⁵ coujon (франц.) — трус, подлец, «сосунок».

Десятая глава

¹ Пищали (в оригинале «Doppelhacken») — так называемая пищаль с сошкой.

² Фальконеты (в оригинале «Quartirschlengen») — небольшая пушка, стреляющая ядрами в 3—4 фунта.

³ Картаун — короткая пушка, стреляющая ядрами в 25 фунтов. Полукартауны соответственно меньше.

Одиннадцатая глава

¹ «отводной караул» (в оригинале «verlorene Wacht») — караул, выставляемый в опасном месте (во время военных действий).

² «выпускал зайцев из кармана» — пословицное выражение. Заяц был в средние века символом глупости. Здесь в значении транжирить деньги.

³ «святого рыцаря Георгия». — Георгий Победоносец, принц из Каппадокии (III в. н. э.), согласно средневековой легенде, победил змея (дракона), напавшего на город, и принял мученическую смерть от императора Диоклетиана.

⁴ comitem Palatinum — здесь герольдия.

⁵ «на белом поле». — Основными элементами герба были щит, шлем, намет, корона, щитодержатель, девиз, мантия и др. Шлем помещался над щитом. Щит делился на поля различных цветов, по-разному расположенные. На нем помещались как геральдические (условные), так и негеральдические изображения. Герб, описываемый Симплициссимусом, пародийный.

Двенадцатая глава

¹ Царица Савская — полулегендарная царица «сабеев», живших в Счастливой Аравии (на юго-западе Аравийского полуострова). Согласно библейскому сказанию, посетила с богатыми дарами царя Соломона. Ее имя Никаула приведено Иосифом Флавием в «Иудейских древностях» (кн. VIII).

² «ничтожнейший мальчишка с конюшни может убить нахрабрейшего в целом свете героя». — Та же мысль в «Сатирическом Пильграме» и «Шпрингинсфельде» (гл. 15). В «Complimentum» Псевдо-Мошероша говорится: «Добродетель больше ничего не стоит, когда мальчишка с конюшни или даже баба могут уложить благороднейшего рыцаря». Также в «Дон Кихоте» Сервантеса: «Благословенны счастливые времена, не знавшие чудовищной ярости этих сатанинских огнестрельных орудий, кои изобретатель, я убежден, получил награду в преисподней за свое дьявольское изобретение, с помощью которого чья-нибудь трусливая и подлая рука может отнять ныне жизнь у доблестного кавалера» (М. Сервантес, Собрание сочинений в пяти томах, т. I, М., 1961, стр. 436. Пер. Н. Любимова).

³ «как в offensive, так и в defensive» — т. е. в нападении и в обороне.

⁴ «По всеобщей молве». — Рассказы о кладах принадлежат к числу распространенных народных легенд и побывальщин. Аналогичные мотивы Гриммельсгаузен мог найти в книге Гулара, использованной также в «Чудесном птичьем гнезде» (S. Goullart. Schatzkammer übernatürlichen Geschichten. Bd. II. Straßburg, 1613, S. 96 ff). Во время Тридцатилетней войны в окрестностях Зуста было найдено несколько кладов, что, возможно, и вызвало прикрепление мотивов к этой местности в «Симплицисимусе» (A. Bechtold. Zur Quellengeschichte, S. 510).

Тринадцатая глава

¹ Чудесные свойства драгоценных камней приписывались им со времен глубокой древности (Египет и Вавилон). Они приводятся у Плиния, Альберта Великого, Винцетия из Бове (Зерцало природы, XIII в.), Конрада фон Мегенберга (Книга природы, XIV в.), Кардано и др. Драгоценные камни употреблялись как амулеты и с лечебной целью. Объяснения их действия связывались с астрологическими представлениями и религиозной символикой (I. B. Friedreich. Die Symbolik und Mythologie der Natur. Würzburg, 1859).

² «подобно смарагду, возбуждает охоту и любовь к ученым занятиям». — По античным воззрениям, смарагд — камень Гермеса (так же как ртуть — его металл). На смарагдовых скрижалях начертаны основы тайной мудрости, раскрывающей сущность всех вещей, якобы составленные Гермесом Трисмегистосом (восходящим к египетскому богу Тору). Через посредство арабов сокровенные правила «смарагдовой доски» со времен Альберта Великого легли в основу алхимических представлений, согласно которым смарагд играл такую же роль в превращении минералов, как ртуть в превращении металлов (J. Ruská. Tabula smaragdina. Ein Beitrag zur Geschichte der hermetischen Literatur. Heidelberg, 1926). В народных поверьях обладание смарагдом связывалось со стремлением к наукам. В Тироле смарагдам (изумрудам) приписывали свойство укреплять память (J. N. v. Alpenburg. Mythen und Sagen Tirols. Zürich, 1857, S. 412).

³ «Подобно рубину, они уничтожают робость». — В средние века полагали, что рубин предохраняет от злых чар (см. роман Вальтера Скотта «Талисман»).

⁴ Гранат — со времен Альберта Великого относится к пяти медицинским камням. Ему приписывались различные свойства (укрепление сердца, усиление пульса и пр.). В переведенном в 1672 г. с немецкого языка сочинении, названном по-русски «Прохладный вертоград», говорится, что «вениса» (гранат) «веселит сердце человеческое и кручину отгоняет. Тот же камень, кто его во рту носит, и у того человека речь и

смысл к судебным делам направляет» (В. М. Флоринский. Русские простонародные травники и лечебники. Казань, 1880, стр. 156).

⁵ Гиацинт — согласно Мегенбергу, сообщает владельцу «силу, прогоняет печаль и сердечный страх и сохраняет путешествующего в чужих странах, предохраняет человека от смерти во время чумы и от змеиного яда и делает того, кто его носит, приятным богу и людям» (Conrad von Megenberg. Das Buch der Natur. Herausgegeben von Hugo Schulz. Greifswald, 1897, S. 373).

⁶ Сапфир — в христианской и восточной (буддийской) символике считался камнем, отражающим свойства самого неба. По Мегенбергу, вызывал стремление к миру, защищал от неверности и испуга (S. 393).

⁷ Аметист — употреблялся как амулет, в частности предохраняющий от опьянения. Согласно Мегенбергу, «бодрит и прогоняет лихие мысли, приносит добрый разум и делает человека мягкосердым» (S. 370).

⁸ Сардус — коричнево-красный минерал из группы халцедонов (А. Г. Бетехин. Минералогия. М., 1950, стр. 435). Сардусу (а также родственным ему сердоликам и сардоникам) приписывалось много чудесных свойств. Он был вставлен в перстень Поликрата. Служил амулетом против колдовства и придавал мужество робким (U. F. V. Bguckmann. Abhandlung von Edelsteinen. 2. Aufl. Braunschweig, 1773, S. 213).

Четырнадцатая глава

¹ «в крепость» — Липпштадт, как явствует из дальнейшего изложения.

² Пульки (в оригинале «Klicker») — игрушечные пули из глины.

³ «как некогда нашему полковому писарю Кирияку» — см. кн. II, гл. 29.

Пятнадцатая глава

¹ Н. де С. А. — полковник Даниель Сант Андреас, который до 9 ноября 1637 г. был комендантом крепости Липпштадт. В романе «Шпрингинсфельд» сообщается, что полковник Сант Андреас взял Зуст, что случилось 25 января 1638 г. когда в Липпштадте был уже другой комендант (Ренссен). На этом основании, а также благодаря другим неточностям Кёненке заключил, что Гриммельсгаузен в Липпштадте не был, а эпизод лишен биографического значения.

Восемнадцатая глава

¹ «Аркадия» — пастушеский роман Филиппа Сиднея (1554—1586).

² «ловить на клейкий прут перепелочек» (в оригинале «mit der Leimstange zu laufen»). — Имеется в виду особый вид птичьих силков. Здесь в значении соблазнить девушек. Это место восходит к ХСVI дискурсу Гарцони («О волокитах и любовниках»).

³ Томас Томен (Томазо Томаи) — врач и писатель из Равенны. Его книга «Вертоград мира» (Idea del Giardino del mondo. Bologna, 1582) была в 1620 г. переведена на немецкий язык под названием «Hortulus mundi, i. e. Weltgärtlein» (у Гриммельсгаузена ошибочно — «Waldgärtlein»).

⁴ «Аврора преследовала Клита». — Симплициссимус перечисляет имена юношей, любви которых добивались богини. Богиня утренней зари Аврора (Эос) похитила одного за другим прекрасных юношей Клита, Цефала (Кефала) и Титона (у Гриммельсгаузена ошибочно — «Viton»).

⁵ Глаукус — предводитель ликийцев в Троянской войне.

⁶ Ясион (у Гриммельсгаузена ошибочно — «Jason») — сын Зевса и Электры, супруг Деметры (Цереры).

⁷ День святого Мартина — 10 ноября (согласно хронологии романа — 1637 г.).

Девятнадцатая глава

¹ «Иосиф» — роман Гриммельсгаузена «Целомудренный Иосиф» (1667). Это место давало повод для ошибочных биографических толкований и отождествления автора и его героя. Гриммельсгаузен приписал этот роман, написанный им в зрелые года, Симплициссимусу для привлечения внимания к нему читателей.

² Зелиха — имеется в виду жена упоминаемого в Библии вельможи Потифара, соблазнявшая прекрасного Иосифа. Гриммельсгаузен утверждал, что заимствовал это имя из описания «Путешествия» Олеария, что недостоверно.

³ Святой Фельтен — святой Валентин, считавшийся покровителем влюбленных (который, следовательно, знал о похождениях Симплициссимуса).

⁴ «временное благополучие» — земное в отличие от «вечного спасения».

⁵ ingenium (лат.) — дарование.

Двадцатая глава

¹ Женева была центром кальвинизма.

² «не подходил к престолу господнему ни у нас, ни у лютеран». — Из этих, а также дальнейших слов священника, прославляющего свое вероисповедание, основанное на «началах природы и Священного писания», которое он противопоставляет «папистам» (католикам) и лютеранам, явствует, что он принадлежит к реформатской церкви. Однако, как установил Кёнке, в Липпштадте в 1637—1638 гг. (на которые, согласно хронологии романа, приходится эта встреча) не было реформатской общины — она появилась там после 1659 г. (K ö n n e s k e. Quellen, I, SS. 277—278). Фигура реформатского священника, таким образом, введена в роман для обсуждения вопроса о бесплодности споров об «истинной вере» между христианскими вероисповеданиями (ср. высказывания Юпитера в гл. 5).

³ Конрад Феттер (ум. в 1622 г.) — баварский иезуит, деятель контрреформации, автор полемических сочинений против протестантов, особенно Лютера.

⁴ Иоганн Наз (1534—1590) — францисканец, автор различных направленных против лютеран сочинений.

⁵ Кириак Шпангенберг (1528—1604) — протестантский богослов и историк.

⁶ Франциск Ассизский (1182—1226) — монах и писатель. Основатель ордена, получившего его имя.

⁷ Анания — родом из Дамаска, он обратил в христианство апостола Павла.

Двадцать первая глава

¹ «подполковник, ожидавший себе должности» («reformierter Oberstleutenant») — т. е. еще не включенный в штат и не получающий твердого жалованья, хотя уже состоявший в войске.

² «день трех волхов» — 6 января (нового стиля). Был установлен, согласно легенде о приходе трех восточных мудрецов (царей) к колыбели Христа. В Европе к этому дню приурочивалось устройство так называемых вертепов (у Гриммельсгаузена «царства»), изображающих это событие.

Двадцать вторая глава

¹ «подобно Пифагору». — Ямвлих в своем «Жизнеописании Пифагора» сообщает, что тот составил завещание не в пользу своего зятя.

² Гёц (см. прим. к кн. II, гл. 30) устроил свою главную штаб-квартиру в Дортмунде в январе 1638 г. (K ö n n e s k e. Quellen, I, S. 285).

³ Иоганн де Верд — см. прим. к кн. I, гл. 17. Был разбит герцогом Бернгардом Веймарским (см. прим. к кн. II, гл. 14) 3 марта 1638 г. в сражении при Брисгау

(Брейсгау) в южной части Шварцвальда. Это побудило и графа Гёца оставить (21 марта) Дортмунд и покинуть Вестфалию.

⁴ Брейзах — город и крепость на Верхнем Рейне.

Двадцать третья глава

¹ *patientia* (лат.) — терпение.

² Филемон — вероятно, комедиограф Филемон из Сиракуз (ок. 360—265). Якобы умер, закатившись смехом над своей собственной остротой.

³ Демокрит (ок. 460—410) — греческий философ, прозванный «смеющимся Демокритом».

Двадцать четвертая глава

¹ Мафусаил — упоминаемый в Библии «праотец», якобы проживший 969 лет.

² Жирный монашек (в оригинале «Fettmönch») — народное название мелкой серебряной монеты, чеканившейся с конца XVI в. на Нижнем Рейне, стоимостью в восемь геллеров. Прозывалась также «Fettmännchen». Происхождение названия не установлено. Встречающееся утверждение, что оно дано по изображению какого-то святого («монашка»), недостоверно, так как монеты, известные под этим названием, снабжены лишь римской цифрой VIII. Скорее всего название дано по аналогии с прозвищем еще более мелкой монеты (в четыре геллера) «Magermännchen» (A. Nos. Die Münzen von Berg und Jülich-Berg. Bd. I. München, 1929, SS. 26, 65).

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Первая глава

¹ «сочинил песенку». — Подобная песенка помещена в «Сатирическом Пильграме». Содержание ее восходит к фольклорным источникам.

² «каменный болван, что на мосту в Дрездене». — На старом мосту через Эльбу в Дрездене была помещена статуя присевшего на корточки человека, которую звали в народе «Matz-Fotze» (W. Schäfer. Deutsche Stättewahrzeichen. Bd. I. Leipzig, 1858, S. 68).

³ «предложил мне стол и хорошее жалованье». — Прототипом «мусье Канара» послужил страсбургский врач Куфер, у которого в 1662—1664 гг. Гриммельсгаузен служил управляющим.

Вторая глава

¹ «полковнику де С. А.» — т. е. полковнику Сант Андреас. См. прим. к кн. III, гл. 15.

² «в Л.» — т. е. в Липпштадте.

³ *in duplo* (лат.) — с дубликатом.

⁴ *quinta essentia* (лат.) — квинтэссенция. Пятая, наиболее чистая возгонка у алхимиков.

⁵ «нечто княжеское» — моча, которую врачи пробовали на вкус.

Третья глава

¹ *collatio* (лат.) — вечерняя встреча монахов, философов и т. д. Здесь в значении пирушка, вечеринка, закуска.

² Лувр — дворец в Париже, где в XVII в. давались театральные представления.

³ Табуляторная книжка — нотная тетрадь к лютне. Указывает не тон, а место прикосновения пальцев к струнам.

⁴ Орфей (*греч. мифол.*) — фракийский певец. Муж нимфы Эвридики, которая умерла от укуса змеи. Желая вернуть ее из Аида, Орфей спустился в подземное царство и своим пением так растрогал Персефону, что она позволила ему взять ее с собой на землю, но с условием не оглядываться на тень Эвридики и не говорить с нею, куда они не выйдут на дневной свет. Но Орфей нарушил запрет и навсегда потерял Эвридику. Миф об Орфее разрабатывали в многочисленных произведениях поэзии и живописи. Излюбленный сюжет в итальянской опере XVII в., проникшей во Францию. В Германии в 1638 г. появилась опера Генриха Шютца (на текст Августа Бюхнера). Гриммельсгаузен имеет в виду какую-то музыкальную драму со вставными ариями, а возможно, и балетом (на что указывает конец главы). По предположению Буркхарда, возможен отклик на карнавальные представления в Париже в 1647 г., когда в Лувре была представлена опера Луиджи Росси «Орфей», вызвавшая большой шум и полемику, слухи о чем могли проникнуть в Страсбург. Но в таком случае приурочение этого представления, согласно хронологии романа, к 1638 г. является анахронизмом. См.: W. Burkhard, Grimmelshausen. Erlösung und barocker Geist. Franckfurt a. M., 1929, SS. 138—139.

⁵ *oleum talci* (*лат.*) — тальковая пудра, присыпка.

⁶ Beau Alman (*франц.*) — пригожий немец.

⁷ Ахелой (*греч. мифол.*) — речной бог. Сражался за обладание дочерью калидонского царя Ойнея с Гераклом (Геркулесом), приняв облик быка. Миф разработан в «Метаморфозах» Овидия. Маска Ахелоя (бородатое лицо, изо рта бьет струя воды) — излюбленное украшение фонтанов. В Германии сюжет его боя с Гераклом представлен на гравюре Иоганна Баура (ум. в 1640 г.).

Четвертая глава

В этой и следующей главе разработан мотив из новеллы Банделло «Как поступает богатая, благородная и отменно красивая дама, когда она становится вдовой» (новелла 26 VI части сборника Банделло). К Гриммельсгаузену этот мотив дошел, по-видимому, через посредство сборника Харсдёрфера «Великое позорище отдохновительных и поучительных историй» (1660, № 103, стр. 10—13), который в свою очередь заимствовал фабулу Банделло из перевода Беллефореста, на что указывает совпадение отдельных выражений. Эта же фабула переработана Харсдёрфером в «Gesprächspiele» (Bd. VII), где действие перенесено на Рейн, героиня — молодая вдова, графиня, с четырьмя детьми. Этот вариант, по-видимому, был неизвестен Гриммельсгаузену (G. Weydt. Zur Entstehung barocker Erzählkunst. Harsdörffer und Grimmelshausen Wirkendes Wort, 1. Sonderheft, 1953, S. 64). В первом сборнике Харсдёрфера можно указать несколько мотивов и деталей, близких к «Симплициссимусу». Комната, куда приводят юношу, обита гобеленами, в ней стояла «великолепная кровать с пологом», дама является в маске. Но все действие разворачивается иначе. Некий человек открывает юноше, названному Адонисом, что в него влюбилась Армида — знатная замужняя женщина. Он сперва меняет платье со своим другом, но того разоблачают в замке, куда он был приглашен. Наконец, юноша отваживается поехать сам. Проколевив около двух часов в закрытой карете, он попадает в замок, где проводит пять дней, после чего дама дарит ему бриллиант и отсылает в той же карете. Через час его настигают два всадника, отнимают бриллиант, заводят в чашу и привязывают к дереву. Под утро прискакал еще один всадник, освободил его, и он пошел пешком в Париж. В последнем абзаце содержится рассуждение о том, как «провожают безбожные люди дни свои в радостях и каждое мгновение устремляются в ад».

¹ «производил реверберацию». — Симплициссимус перечисляет различные химические операции, производившиеся алхимиками и фармацевтами-практиками в XVII в., а в XVIII в. вошедшими в научную химию. Реверберация — продолжительное обжигание уже превращенного в порошок тела направленным на него пламенем. Производи-

лась в отражательных печах. Перлютация — значение этого термина немецкие комментаторы (Г. Курц, Борхердт) производят от слова «kitten», т. е. замазывание, составление замазок (скорее всего — это изготовление пилуль). Коагуляция — «затверждение», загустение. Дигерирование — длительная обработка тела огнем или умеренным равномерным жаром. Согласно старинному определению, дигерировать означает «варить вещество в умеренной теплоте, близкой к таковой наших желудков». Кальцинирование — прокаливание. В широком смысле кальцинация — превращение вещества в порошок химическими средствами, т. е. действием огня (кальцинация сухим путем) или действием жидкостей (кальцинация мокрым путем). Указано проф. С. А. Погодиным.

Пятая глава

¹ Камбре — город на Шельде (на севере Франции). Славился своим полотном, носившим название «камбрик» (нем. «Sammertuch»).

² Alle, Monsieur Beau Alman (франц.) — Сюда, мусье пригоси́й немец.

³ «Подъ суды» («Gom, rick su mir»). — В оригинале дама говорит на немецком диалекте.

Шестая глава

¹ Маастрих — город в Нидерландах.

² «нахвтал любезных францей» — заболел «французской болезнью».

Седьмая глава

¹ Господин Корнелиус — т. е. бельмо на глазу. См. «Третье продолжение, или Continuatio».

Восьмая глава

Эпизоды этой главы перекликаются с описанием жизни бродяг в третьей части «Гусмана». Роль площадного торговца снадобьями и лекаря, в которой здесь выступает Симплициссимус, прикреплена к его имени, что, вероятно, связано с распространенным в XVI—XVII вв. наименованием собирателей трав «Simplicisten». В книге Гарзони помещена глава: «Von Simplicisten und Kräuterleuten» (Garzoni, Piazza universalae. 2 Aufl. Franckfurt a. M., 1626, SS. 141—145). В «Мире навыворот» Гриммельсгаузена батька Симплициссимуса собирает лечебные травы. Сам Симплициссимус занимается лекарством также во втором «Continuatio». На контрфронтисписе фельсеке-ровского трехтомного издания (1685—1711) помещено изображение ярмарочного шарлатана и торговца снадобьями, расхваливающего перед толпой зевак свои товары, разложенные на столике. Симплициссимус в длинном парике, вооружен указкой.

¹ materialia (лат.) — материалы.

² theriaca Diatesseron (лат.) — териак, средство против отравы, преимущественно от укусов змей и других ядовитых животных, из крови и яда которых оно и приготовлялось. В XVII в. териак пользовался всеобщим доверием уже как универсальное противоядие и средство от многих других болезней. Все дело было в том, чтобы достать «настоящий» териак, который ценился на вес золота. Изготовлением териака, в который стали подмешивать опиум, славилась Венеция.

³ Латверг — густой сок, приготовлявшийся в лечебных целях из различных растений.

⁴ Гальмей (каламин) — минерал (кремнекислый цинк). В природе встречается как в кристаллическом, так и в землистом виде. В Германии залежи в Альтенберге близ Аахена.

⁵ Рачья жерновка — *lat. lapides cancrorum* («Krebsaugen») — затвердевшие тельца, встречающиеся в желудках у раков. Находили применение в старинной медицине (См.: Словарь Академии Российской, ч. 2. СПб., 1809).

⁶ Шмиргель — наждак, порода, состоящая из мелких зерен корунда (природного глинозема).

⁷ Трепел — белая порошковидная порода (инфузорная земля), состоящая из остатков панцирей диатомий. Некоторые разновидности трепела носили название «горной муки» и «полировального сланца».

⁸ «жерлянка, или монашка» (в оригинале «*Reling, oder Möhmlein*»). — Известна в двух видах. Желтобрюхая жерлянка (*Bombina variegata*) — единственная, встречающаяся на западе и юге Германии, т. е. в тех местах, где происходит действие романа. «Спина ее темно-желтоватая с металлическим блеском и без черных пятен, брюшко лимонно-желтое или оранжевое с синевато-серыми или черноватыми пятнами, кончики пальцев, особенно на задних конечностях, всегда желтые. Живет в холмистых местностях» (А. Э. Брэм. Жизнь животных, т. VII. СПб., 1895, стр. 759). Описание в романе ближе подходит к другому виду — Огненной жерлянке (*Bombina bombina*), хотя она и не встречается в указанной местности. У этого вида «спина серовато-черная с черными пятнами и большею частью с двумя темно-зелеными между плечами; брюшко синевато-черное с белыми точками и большими оранжево-красными пятнами; кончики пальцев черные». Длина около 4.5 см. Краснобрюхие жерлянки обитают в низинах, постоянно держатся своих водоемов (прудов, мелких тихих речек, стариц и луж). Пугливы и при малейшей опасности зарываются в ил. Их монотонное пение раздается в течение всей ночи и, по словам Брэма, напоминает звон стеклянных колокольчиков, а поэт Бюргер сравнивал с ним «пение призраков» (там же, стр. 757—760). Гриммельсгаузен, по-видимому, смешал оба вида, что неудивительно, так как зоологи XVII и даже XVIII в. еще не отличали один вид от другого и просто говорили о жерлянке, например А. Рёзел фон Розенхоф (1750) и др. На последнее обстоятельство указано нам доктором Гюнтером Петерсом (Институт специальной зоологии и Зоологический музей университета им. А. Гумбольдта в Берлине).

⁹ Пьетро Андреас Маттиолус (1500—1577) — итальянский врач и ботаник, прославившийся своими комментариями к сочинениям древнегреческого медика Диоскорида (*Commentariolum in Dioscoridem lib. VI. Venetia, 1544*). За короткое время книга разошлась более чем в тридцати тысячах экземпляров (*Zedler, Bd. XIX, SS. 2133—2134*).

¹⁰ Желтый мышьяк — аурипигмент.

¹¹ *Mercurium sublimatum* (*лат.*) — сулема, хлорная ртуть. Приготавливалась нагреванием смеси ртути с обезвоженным железным купоросом и поваренной солью в колбе, причем на верхней части последней конденсировались пары сулемы (указано С. А. Подиным). «Способ» Симплициссимуса, разумеется, ничего общего с этим не имеет.

¹² *aqua fortis* (*лат.*) — крепкая водка, селитряная кислота (азотная кислота).

¹³ *spiritus vitrioli* (*лат.*) — купоросный спирт (серная кислота). У Гриммельсгаузена *spiritus vitril.*

Девятая глава

¹ Золотая вода — вода, в которой остужали раскаленное золото, также настой из различных трав, в которые пускали плавать хлопья листового золота (фольги). Считалась универсальным средством старинной медицины.

² Флекенштейн — баронское владение Флекенштейн в Ваггау (в Нижнем Эльзасе). Гриммельсгаузен получил от баронов Флекенштейн в ленное владение местечко Финкенгартен, которым его потомки пользовались еще в XVIII в. (А. Вештold. *Grimmelshausen und seine Zeit. 2. Aufl. München, 1919, SS. 142, 205*). Баронессе Марии Доротеи Флекенштейн Гриммельсгаузен посвятил роман «Проксимус и Лимпида» (1672).

³ Филиппсбург — город и крепость на правом берегу Рейна. В 1638 г. его занимали имперские войска. Гриммельсгаузен в Филиппсбурге не был, а служил неподалеку в Оффенбурге (K ö p p e s k e. Quellen, I, S. 280).

⁴ Вагельнбург. — Топографическая ошибка Гриммельсгаузена, который, по-видимому, имеет в виду замок Вагхензель (K ö p p e s k e. Quellen, I, S. 283), расположенный к северо-востоку от Филиппсбурга.

Десятая глава

¹ Унтермаркское графство находится в Баден-Дурлахе.

² Оттенхейм — город на правом берегу Рейна, к юго-западу от Оффенбурга.

³ Вердер — небольшой остров на Рейне.

⁴ Гольдшейер — деревня на правом берегу Рейна к северу от Оффенбурга. Ее население занималось промывкой речного золотоносного песка.

⁵ Таможня Страсбургского епископства находилась в то время примерно в одной миле от Гольдшейера (вниз по течению).

⁶ Герцог Бернгард — см. прим. к кн. II, гл. 14.

⁷ Рейнхаузен — город в Бадене неподалеку от Филиппсбурга.

⁸ Визитация — военный осмотр.

Одиннадцатая глава

¹ Удавка (в оригинале «Wipre».) — Имеется в виду повешение на скорую руку без сооружения специальной виселицы. См. гравюру «Повешенные» Жака Калло в серии «Большие бедствия войны» (1632).

Двенадцатая глава

¹ Граф фон Гёц — см. прим. к кн. II, гл. 30.

² Брухзал — город в Бадене, где в июне 1638 г. находилась штаб-квартира Гёца.

³ «под Магдебургом» — см. прим. к кн. II, гл. 19.

⁴ Виттшток — город в Бранденбурге.

Тринадцатая глава

¹ Нейнекский полк — конный полк имперских войск, переформированный в 1638 г. и поступивший под командование баварского полковника Александра фон Нейнек, тяжело раненного под Брейзахом (Z e d l e r, Vd. XXIV, S. 294).

² Кенцинген — город на Эльце в Бадене.

³ «братьев-меродеров» («Merodebrüder» от франц. «maraud») — солдатская острота. Ее происхождение связывают как с именем генерала имперских войск Иоганна графа Мероде (1589—1633), действовавшего в 1622 г. в Германии, так и шведского полковника Вернера фон Мероде, войска которого в 1635 г. попали в тяжелое положение, грабили и бесчинствовали (A. B e c h t o l d. Zur Geschichte der «Merodebrüder». Zeitschrift für deutsche Wortforschung, Vd. XII, 1910, H. 3, SS. 230—235).

Это название стало всеобщим для мародеров и деморализовавшихся солдат. В таком значении употребляет это слово уже «Theatrum Euroraеum» (1646).

⁴ Мансфельд — см. прим. к кн. I, гл. 22.

⁵ «ткача-основу» («Leinenweber» — полотняный ткач) — бранная кличка, распространенная среди солдат во время Тридцатилетней войны. Ткачи слыли людьми робкими и боязливыми. Слово употреблялось в значении «трус», «тряпка».

⁶ «И они не несли караулов». — Пародируется изречение из Евангелия: «Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы; и отец наш

небесный питает их» (Евангелие от Матфея, гл. VI, ст. 26; Евангелие от Луки, гл. XII, ст. 24).

⁷ Виттенвейер — деревня на Рейне в Бадене, где 9 августа 1638 г. состоялось кровопролитное сражение, во время которого Бернгард Веймарский разбил войска Гёца и герцога Савелли.

⁸ Шюттерн — местечко в Бадене, где в бывшем бенедиктинском монастыре расположился штаб Гёца накануне битвы под Виттенвейером.

⁹ Герольдек — графство и замок в Бадене.

¹⁰ «рассовали по полкам». — Во время Тридцатилетней войны противники нередко почти тотчас же включали пленных в свои войска.

¹¹ Филипп Евстахий Хаттштейн — полковник веймарских войск (убит под Фрейбургом 3 августа 1644 г.).

Четырнадцатая глава

¹ Лесные города («Waldstädte») — группа городов в южном Бадене: Рейнфельден, Зекинген, Лауфенбург и Вальдсхут.

² Некарское вино — названо так по имени р. Некара.

³ Брейзах — город и мощная крепость на правом берегу Рейна, считавшаяся во время Тридцатилетней войны твердыней католической лиги. Еще в 1633 г. ее пытались, но безуспешно, захватить шведы. В 1637 г. ее осадил Бернгард Веймарский, трижды разбивший имперские войска, спешившие к ней на помощь, и наконец вынудивший ее к сдаче 19 декабря 1638 г.

⁴ Апроши — зигзагообразные траншеи, служившие для подступа к атакуемому укреплению или позиции противника.

⁵ «заплесневелый хлеб». — Гриммельсгаузен, служивший в это время в армии Гёца, не был достаточно осведомлен о положении в лагере осаждавших Брейзах веймарцев, которые не испытывали нужду в припасах. Участие Симплициссимуса в осаде Брейзаха — один из примеров несовпадения «биографий» автора и героя романа.

⁶ Брисгау — река в Бадене, приток Рейна.

⁷ Эндинген — городок в Бадене к северо-западу от Фрейбурга.

⁸ Китцинг (Кинциг) — река в Бадене, приток Рейна.

Пятнадцатая глава

¹ Вальдкирх — городок в Бадене на р. Эльце.

² «господам в Нюрнберге» — т. е. судьям из Нюрнберга, которым молва приписывает изречение, приведенное Оливье. В издании Фельсекера изменено на «господа из Шильдбурга» (города дураков немецких народных книг).

³ «наиблагороднейшее ремесло». — Подобные рассуждения нередки в сатирической литературе XVII в. В «Филандере» Мошероша разбойник с большой дороги и вор говорят, что они грабят для поддержания своей чести и репутации, ибо воровать достойнее, нежели нищенствовать. Нищий уверяет, что он попрошайничает, чтобы сохранить свою честь, ибо лучше нищенствовать, чем воровать.

⁴ «ты не увидишь на виселице никого, кроме бедных и ничтожных воришек». — Гриммельсгаузен вкладывает в уста Оливье ходячее народное выражение, известное в различных вариантах: «Мелких воров вешают, а перед большими шапки ломают»; «Большие воров вешают воришек» и т. д.

⁵ Николао Макиавелли (1469—1527) — итальянский историк и политик. В своей книге «Князь» выступил как теоретик абсолютизма. Оливье отражает вульгаризованное представление о Макиавелли как о проповеднике беспринципности и коварства в политике и дипломатии.

Семнадцатая глава

¹ «об историях, какие вычитал в книгах». — Намек на «Гусмана», где рассказывается, как отец Гусмана и его мать (любовница рыцаря духовного ордена) завели знакомство в церкви.

² «два духовных отца». — По мнению Борхердта, Гриммельсгаузен имеет в виду распрю епископа Ветцеля фон Хильдесхайма и настоятеля Видерада фон Фульда в соборе в Госларе в 1063 г., изложенную в «Хронике» Готфрида.

Восемнадцатая глава

Рассказ Оливье построен по типу «назидательных притч» («exempla») о роли пугубного воспитания. Основываясь на реальных наблюдениях, Гриммельсгаузен использует и литературную традицию историй «о дурной жизни», содержащихся в таких книгах, как «Зерцало отроков» Георга Викрама, и в особенности в служащей ее продолжением «Истории о некоем блудном сыне» (1554), где поведана история некоего Теобальда, испорченного слепой любовью к нему деда и бабки (G. Wisckgam. Werke. Herausgegeben von J. Bolte. II Bd. Tübingen, 1901, SS. 105—115). История Оливье также примыкает к истории «маленького Якова» из первого «Видения» — «О пороках этого мира» Псевдо-Мошероша.

¹ Аахен — город в нижнем течении Рейна.

² Потифар — упоминаемый в Библии вельможа, у которого служил Иосиф.

Девятнадцатая глава

¹ Люттих (Льж) — город во Фландрии.

² Шатиссимо и болтаниссимо — в оригинале студенческий «латинизм» «Gassatim» (от нем. «Gasse») с тем же значением.

³ «во время проповеди в церкви читаю». — Мотив заимствован из CI дискурса у Гарцони («О наставниках и учениках, студентах и профессорах в высшей школе»).

⁴ Франческо Берни (ок. 1497—1535) — итальянский поэт. Один из создателей «бурлескного стиля». Сочинял легкие, нередко фривольные стихи, в которых снижал и пародировал образы героической поэзии, описывал возвышенным слогом низменные предметы и пр.

⁵ Доменико ди Джованни Бурчелло (ок. 1390—1448) — итальянский поэт, цирюльник во Флоренции. Его «Сонеты» пользовались популярностью до середины XVIII в.

⁶ Пиетро Аретино (1492—1556) — итальянский поэт, драматург, памфлетист. Его стихи изобиловали непристойностями.

⁷ *Ite, missa est* — слова, заканчивающие мессу.

⁸ Монахи-якобиты — паломники, отправлявшиеся в Сант-Яго де Компостелла (в Испании). Они приносили с собой множество раковин, которые продавали верующим. Эта торговля велась столь широко, что впоследствии Вольтер даже пытался объяснить нахождение раковин в горах (и вообще далеко от моря) тем, что они занесены туда якобитами.

Двадцатая глава

¹ *domine* (от лат. «dominus» — господин) — обращение к священнику или ученому (особенно в Голландии).

² *miseriam cum aceto* (лат.) — беда, да еще с уксусом, т. е. горе горькое.

Двадцать первая глава

¹ Оливье описывает со своей точки зрения события, изложенные во второй главе третьей книги «Симплициссимуса».

Двадцать вторая глава

¹ Метреска — любовница.

² День святого Стефана — 3 августа. В этот день лошадей кормили освященным сеном, пускали им кровь, которую потом хранили как средство от разных болезней.

Двадцать третья глава

¹ «купили у нас лошадей». — Торговля краденными лошадьми во время Тридцатилетней войны велась в широких масштабах через Швейцарию. 20 мая 1645 г. курфюрст Макс Баденский, сообщая об этом фельдмаршалу Мёрси, предлагает установить слежку за барышниками на швейцарских рынках, вызнать их имена и местожительство. См.: A. Bechtold. Die Räubergeschichte in Grimmelshausens *Simplicissimus*. Alemannia, Bd. 43, 1916, SS. 65—75.

Двадцать четвертая глава

¹ Калибурн — волшебный меч короля Британии Артура, вокруг имени которого в средние века сложился цикл эпических сказаний.

Двадцать пятая глава

¹ Лихтенек — замок в Брейсгау в одной миле от Эндингена, в долине Кинцингена. В то время был занят веймарцами, которые захватили его вскоре после сражения под Виттенвейером.

² Филлинген — в восьми милях западнее Эндингена. Был занят имперскими войсками. С 21 мая 1638 г. штаб-квартира Гёца (K ö p p e s k e. Quellen, I, S. 303).

³ Л. — Липпштадт.

⁴ «Сокровищница героев» («Heldenschatz»). — Какую книгу имел в виду Гриммельсгаузен, не установлено. Борхердт полагает, что «Книга героев» — сборник героических сказаний XV в. (Heldenbuch, hrg. von A. Keller. Stuttgart, 1867).

Двадцать шестая глава

¹ Гёц — см. прим. к кн. II, гл. 30. В декабре 1638 г. Гёц был арестован и отправлен в Ингольштадт. В августе 1640 г. оправдан и снова вернулся в имперские войска.

КНИГА ПЯТАЯ

Первая глава

¹ Эйнзидлен (Эйнзидельн) — аббатство бенедиктинцев к югу от Цюриха. Основано в IX в. графом Мейнардом. Славится деревянной статуей Мадонны с нагим младенцем, благословляющим правой рукой, а левой держащим птичку, которая клюет его палец (символ Христа). Симплициссимус в следующей главе сообщает, что он и Херцбрудер «вдоволь насмотрелись на святые реликвии, облачения и другие достопримечательности», но не упоминает о главной из них, статуе Мадонны, исторически засвидетельствованной в монастыре с XVI в. Это позволяет думать, что Гриммельсгаузен не был в Эйнзидлене.

² Роттвейль — город в Вюртембергском Шварцвальде (севернее Филлингена).

³ Шаффхаузен — город на правом берегу Рейна.

Вторая глава

¹ Мотив одержимости встречается в «Филандере» Мошероша («Schergenteufel») и у Псевдо-Мошероша («Somnium»). См.: А. Вечтолд. Zur Quellengeschichte, S. 529.

² Экзорцист — изгоняющий бесов.

³ Баден — здесь городок в кантоне Ааргау в Швейцарии.

Третья глава

¹ Констанц — город в Баден-Вюртемберге на границе с Швейцарией.

² Ульм — торговый город в Баден-Вюртемберге на левом берегу Дуная.

Четвертая глава

¹ in prima plana (лат.) — на первом листе. Имеется в виду ротный список, где на первом листе перечислено все начальство (капитан, лейтенант, фендрик, фельдфебель, капрал, писарь, фельдшер).

² «жесточкой перепалки». — Граф Гёц убит в сражении при Янкау 6 марта 1645 г. Здесь, возможно, анахронизм, так как изложение романа доведено до 1640 г.

³ Грисбах — курортное местечко в Ренхтале. В третьем разделе «Вечного календаря» серию шванков, связанных с именем Симплициссимуса, завершает примечание, датированное: Грисбах, 28 июля 1669 г., и подписанное: Христиан Брандштеллер, городской писарь в Шнакенгаузене.

Пятая глава

¹ Фон Шёнштейн — корнет, упоминаемый в кн. IV, гл. 10.

² «кровь потекла из носа» — по суеверной примете, неожиданное кровотечение из носа выдает близкое родство.

Шестая глава

¹ nobilis (лат.) — благородная (дама); mobilis (лат.) — подвижная (здесь в значении распутная).

² Колдун из Гейсхаута — историческая личность (упоминается в решении ратуши от 5 февраля 1649 г.). А. Вечтолд. Zur Quellengeschichte, S. 27.

³ spiritus familiaris (лат.) — здесь в значении домашний дух.

Седьмая глава

¹ «О, дева!». — Гриммельсгаузен пародирует стилистику галантных и пастушеских романов.

Восьмая глава

¹ «в Англии» — каламбур, в котором используется в значении первой части слов: Англия — Engeland (enge — узкий) и Голландия — Holland (hohl — полый). Этот каламбур не является изобретением Гриммельсгаузена. Он нашел его в «Натуральной магии» Хильдебранда, где говорится: «Понеже частенько случается, что иной жених в свой брачной честной день полагает, как пишет Михаэль Пабст, завести свой корабль в Англию, однако ж гонимый ветром попадает паче всякой уверенности в Голландию. А посему я здесь укажу несколько кунштуков, с помощью коих можно выставить на пробу подобных „голландочек“» (W. Hildebrand. Magia naturalis. Erfurt, 1664, S. 35).

² «из местечка» — Гайсбах, где Гриммельсгаузен жил как управляющий имением Шауенбургов и держал трактир («Gaisbach» — козлийный ручей). Крестьянин лукаво шутит и, отказываясь назвать местечко, фактически его называет, раз «речь зашла о козах».

³ «хаптекаря» — в оригинале каламбурное слово «Addecker» — обдирала-аптекарь.

⁴ Мансфельд — см. прим. к кн. I, гл. 22.

⁵ «лопочет не по-нашему» — мать Симплициссимуса (сестра Рамзая) — шотландка.

⁶ Битва при Нёрдлингене — см. прим. к кн. I, гл. 18.

Девятая глава

¹ o, mirum! (лат.) — о, диво!

² «когда жена разрешилась от бремени» — близкий мотив в «Сонном видении о Тебе и обо Мне» Бальтазара Венатора.

³ В 1643—1648 гг. долина Ренхталь находилась под юрисдикцией шведов.

Десятая глава

¹ in re rusticorum (лат.) — в сельском хозяйстве.

² Муммельзее — озеро в Шварцвальде, на высоте 1032 м над уровнем моря. Издавна овеяно преданиями и легендами, засвидетельствованными и в позднейших фольклорных сборниках (А. Birlinger, E. Rochholz, J. Sepp). Поверья, переданные Гриммельсгаузенем, носят фольклорный характер и включены братьями Гримм в сборник «Немецкие сказания» (1816, № 59). Подобные же легенды приведены в описании путешествия Элия Георгия Лоретуса, посетившего в мае 1667 г. Муммельзее и затем передавшего в Риме «реляцию» о нем Афанасию Кирхеру, поместившему ее в своей книге «Mundus subterraneus» (1668). Лоретус провел в районе Хигельсгейма, где находится Муммельзее, около шести месяцев и наслушался от местных жителей рассказов и о «подземном племени человечков» (гномов), которые оказывали помощь крестьянам, попавшим в нужду, и о «нимфах, наядах и чудесах» знаменитого озера, где «примерно сто лет назад обитали наяды, водили с крестьянами хороводы, давали взаимно деньги, хлеб и жизненные припасы». Полагая, что «подобает профессии медика исследовать скрытые тайные камеры природы», Лоретус отклонился от своего пути, чтобы собрать сведения об озере. Ему рассказали, как одна нимфа приходила в праздники на танцы и один крестьянин однажды пошел ее провожать, а потом когда она вошла в озеро, то оно окрасилось кровью. Близкий рассказ в книге Сеппа (J. N. Sepp. Altbayerischer Sagenschatz. München, 1876, S. 484). Лоретусом была записана история о повивальной бабке, которую пригласил оказать помощь жене некий «мужчина». Он ударил прутиком по озеру. Оно расступилось, открыв дно, куда они спустились по лестнице. Когда помощь была оказана, повитухе была предложена в награду связка соломы для подстилки, но она отказалась, уверяя, что дома у нее довольно своей. Возвратившись, она обнаружила незаметно приставшую соломинку из чистого золота. Аналогичный рассказ опубликован А. Бирлингером в «Alemannia» (1874, № 2). Живучесть этих сказаний, дошедших до середины XIX в., оправдывает слова Симплициссимуса, что он «немало наслушался» подобных историй. Направляясь к озеру, Лоретус взял с собой в качестве проводника лесного жителя, охотника, который сообщил, что озер два — Муммельзее и Вильдзее. Блуждая в течение пяти часов, Лоретус и его спутник добрались до вершины, где увидели «озеро, окаймленное со всех сторон чернеющими основными лесами, с водою цвета дегтя». Оно «не терпит никакой рыбы», даже «помещенных туда выбрасывает, как море трупы». «Я только увидел, — пишет Лоретус, — несколько огромных отвратительных жаб и то мертвых, но было в нем много каких-то животных, весьма похожих на саламандр... Хвост у них был продолговатый, чстыре ноги, спина наичернейшая, вдоль хребта блестели маленькие черные звездочки и точки, цвет боков переходил из черного в синеватый с ла-

зурными звездочками, живот был расписан желтым цветом, смешанным с огненным. Взяв одну из них рукою, защищенной перчаткою, я заметил, что это животное принимает форму женского тела, имеет сосцы и женские части, откуда оно испускало какой-то белый яд в перчатку, так что кто-нибудь вместе с суеверными старушками мог бы болтать вздор, что это проклятая девушка». «Считается, — продолжает Лоретус, — что вода озера вредоносна, но я не почувствовал от нее никакого вреда, хотя и выпил оттуда несколько больших глотков». Озеро повсеместно «слывет священным» и «не терпит ни взбудораживания, ни загрязнения, и если кто-нибудь бросит в него камень, то поднимаются дождь, гроза и ужасная буря, и тот, кто ее вызвал, подвергает себя немалой опасности. Один баденский маркграф с монахами и придворными посетил это озеро, и они кидали в него освященные желуди и погружали священные предметы, но внезапно оттуда вынырнуло какое-то ужасающее чудовище необыкновенного вида и обратило их в бегство, причем поднялась жестокая буря на семь дней». «Пусть кто хочет верит или не верит, — заключает Лоретус, — я же могу утверждать по истине, что для выяснения правды я с криком и вызовом бросил туда три камня, причем написал на дереве у озера свое имя и имя моего провожатого 12 мая 1666 года». Затем он взобрался «на лысую вершину горы, именуемую Кошачья голова, и сел там на преогромный камень, который сохраняет начертанную на нем надпись о присутствии на сем месте герцога Вюртембергского и состоявшемся там завтраке, по-видимому, в свидетельстве на вечные времена, что здесь проходит граница Вюртемберга. С каковой вершины открывалась взору свобода беспредельного блуждания по простирающейся внизу широчайшей долине Эльзаса и всего Рейна». «И вот тебе на, едва прошел какой-нибудь час, как небо, до сих пор в течение более месяца ясное и безоблачное, так что поля изнывали от жажды, наморщило чело, покрылось облаками и, нахмурившись, грозило мщением, словно негодуя на наш неосторожный поступок. Сперва долго ворчало, затем, все больше распаяясь, приходило во все больший гнев, сверкало молниями, гремело, преследовало нас, утомленных, ливнем, перемешанным с градом, в то время как природа не предоставляла нам убежища. Меж тем мы, пораженные страхом, двигались к другому озеру по покрытым снегом, заболоченным и обрывистым вершинам гор; повсюду хаотическое неприбранное лицо природы, с ужасными скалами, не дающими пропитания даже зверям, убеждало меня, что здесь гиганты наметали холмы и курганы». Через три часа путники добрались до второго озера Вильдзее размером не меньше первого. О нем шла та же молва, что и о первом, но добавляют, что здесь «некогда стоял храм, славный паломничеством, который сейчас, погрузившись, не знаю уж по каким причинам, скрывается на дне этого озера» (пер. с лат. А. И. Зайцева).

³ Хайдехёфе (Хайдехоф) — местечко неподалеку от Каппельродека в Ахерне (в Бадене).

⁴ Черное озеро — Вильдзее.

Одиннадцатая глава

¹ Немецкое название озера «Mummelsee» в народной этимологии связывается с именем «водяного духа» («Mummel») и значением слова «die Mumme» — маска, личина (об этом и говорит Симплициссимус). Однако, по-видимому, название озера произошло от глагола «mummeln» (murmeln) — в значении ворчать (W. Jensen. Der Schwarzwald. 2. Aufl.. Th. 2. Leipzig [1897], S. 35).

Двенадцатая глава

¹ Дюк де Ангиен — герцог Энгинский, принц Конде — одержал победу под Фрейбургом 3—5 августа 1644 г., а 25 августа того же года подступил к Филиппсбургу.

² Швермеры — шутихи, рассыпающиеся мелкими искрами фейерверочные огни.

³ centrum terrae (лат.) — центр земли.

⁴ Эмпедокл (V в. до н. э.) — греческий философ. Предание, что он бросился в жерло Этны (которая потом выбросила его сандалии), восходит к античности.

⁵ Мотивы встречи героя с обитателями подводного царства встречаются у Опитца. У Санназаро в «Аркадии» поэт, руководимый наядой, познает истоки рек и потоков. Некоторые детали Гриммельсгаузен заимствовал у Преториуса.

Тринадцатая глава

¹ Дионисий Дорус — греческий геометр, родом с о. Мелос. Рассказ о нем Плиния (II, 112) заимствован Гриммельсгаузенем у Гарциони из XXIV дискурса («О геометрах»).

² Стадия — греческая мера длины. 40 стадий равнялось примерно одной немецкой миле. Таким образом, сифф указывает расстояние «до центра земли» — 36 000 стадий.

³ donec auferatur luna. Psal. 71 (лат.) — пока луна исчезнет. — Имеется в виду Псалом 71, ст. 5 («Доколе пребудут солнце и луна»).

⁴ generationes fructuum et animalium (лат.) — роды растений (плодов) и животных.

⁵ «подвергнется кальцинации» — см. прим. к кн. IV, гл. 4.

⁶ Регенерирует — восстановится. — Имеется в виду химический процесс восстановления из окалин.

⁷ in coitu (лат.) — во время полового акта.

Четырнадцатая глава

¹ Пилатово озеро — небольшое озеро в Швейцарии в кантоне Люцерн. О нем ходили легенды, близкие по мотивам к сказаниям о Муммельзее. О Пилатовом озере сообщали Вадрианус в своих комментариях к Помпонии Мела (1540), Себастьян Мюнстер в «Космографии» (1558), Штумпф в «Хронике» (1548) и др. Петр Мексия, ссылаясь на Вадриануса, сообщает, что на озере, если в него бросать камни, куски дерева и прочее, подымается непогода и оно начинает бушевать, так что местные власти воспретили под страхом смертной казни бросать в него какие-либо предметы. По средневековому преданию, в него было брошено тело Пилата, судившего Христа. В известное время Пилат, одетый как судья и прокуратор, появляется в окрестностях этого озера, где его встречали различные люди, мужчины и женщины, которые потом жили не дольше одного года (P. Mexia. Sylva variarum lectionem. II Th. Nürnberg, 1669, SS. 36—37). Имеются сведения, что книга Мексия находилась в библиотеке Гриммельсгаузена, воспользовавшегося ею также в беседе о мудрости животных (II, 17). На существование экземпляра, помеченного именем Гриммельсгаузена, указывал Э. Оффтеринг в своем издании «Вечного календаря» (1925). Однако странно, что Гриммельсгаузен в своей книжке «Rathstübel Plutonis» ссылается на «Petri Mexia ver-teutschte Wunderwald» (вместо «Wunderwelt»). Непосредственным источником Гриммельсгаузена, по-видимому, была «Натуральная магия» Хильдебранда (III, SS. 10—11). Сведения о чудесных свойствах озер и источников Хильдебранд сообщал вместе с циклом стихов Ганса Ребмана, посвященным диковинным явлениям природы.

² Камарина — озеро или, вернее, болотистое место с нездоровым климатом на южном берегу Сицилии. Жители близлежащего одноименного города хотели осушить топь, однако были предупреждены оракулом, чтобы этого не делали, но не послушались, за что были наказаны: враги подступили к городу с этого конца и захватили его. Отсюда пословица: «Samarinam movere» — сердить, раздражать оз. Камарина, т. е. накликают на себя беду. Упоминается в приведенном значении в «Натуральной магии» Хильдебранда в примечании к стихотворению о Пилатовом озере.

³ Иолла — кравчий Александра Македонского — отравил его, поднеся чашу с водой из этого источника. В «Натуральной магии» Хильдебранда помещено стихотворение Ребмана об этом источнике.

⁴ Цепузиум («Scerpsium») — латинское наименование венгерского графства Ципс в Карпатах, в XV—XVIII вв. принадлежавшего Польше. Ныне входит в состав Словакии (Sriš). Славится горными выработками. В «Натуральной магии» Хильдебранда приведено стихотворение Ребмана «Сперва о том, как вода претворяется в камень», с описанием природы Карпат, где в Цепузиуме есть источник, «куда если бросить кусок дерева, то вскоре он покроеется каменной корой». Далее речь идет еще об одном источнике близ Цепузиума, где воды «пожирают железо», и «если какое-либо животное напьется из него, то должно умереть в течение суток».

⁵ «в Фессалии» — на севере Греции.

⁶ Циркниц — озеро в Каринтии. Об его «истинных свойствах» подробно сообщает 47-я глава монументального издания Вальвазера «Честь герцогства Крайн». Озеро расположено в шести милях от Лайбаха и окружено «дикими каменными горами». «В сем озере много скважин или ям, также много потоков или длинных пещер, подобно каналам, а также маленьких холмов, поелику его дно весьма неровно». На этом озере то возникают, то исчезают различные острова и, по мере того как озеро мелеет и отступает, сливаются с материком, так что в иной год там можно ловить рыбу, а в иной косить сено и сеять ячмень. Когда озеро начинает отступать и уходить, об этом возвещают колокольным звоном. Стар и млад, вооружившись большими сачками («Fischreppn»), устремляются ловить и собирать уходящую рыбу (I. W. Valwaser. Die Ehre der Herzogthums Crain. Laybach, 1689, SS. 630—634).

⁷ Энгстлен — озеро в кантоне Берн в Швейцарии. О нем поведано в стихотворении Ребмана, приведенном в «Натуральной магии» Хильдебранда. См. также: I. Scheuchzer. Natur-Geschichte des Schweizerlandes. II Th. Zürich, 1746, SS. 13—14 (БАН).

⁸ Шендлебах — озеро в Эльзасе. Гриммельсгаузен приводит связанное с этим озером сказание в «Вечном календаре» (18 июля). См. также: S. Aug. Stöber. Sagen des Elsasses. St. Gallen, 1852, S. 167.

⁹ Fluvius Sabbathicus (лат.) — ручей в Палестине. Иосиф Флавий в «Иудейской войне» (гл. VIII) сообщает, что он течет только в субботу, тогда как Плиний утверждал, что он в субботу пресекает свое течение. Упоминается Конрадом Мегенбергом, Майолусом и др.

¹⁰ «sal gemmae...» (лат.) — т. е. «каменную соль, микрокосмическую соль, соль из корней растений, природную селитру, нашатырь, селитру из погребов».

¹¹ «victiril, marchasita aurea...» — т. е. «купорос, марказиты золотистый, серебряный, свинцовый, железный, лазуревый камень, квасцы, мышьяк, сурьмяный блеск, реальгар, природный янтарь, хризоколла (бура, также медная зелень), сулема». Здесь речь идет о минерализации подземных пресных вод при соприкосновении их с различными металлами и минералами. Эту мысль неоднократно высказывали ученые древнего мира, например Плиний, Витрувий, Сенека (F. Hoefler, Histoire de la chimie, t. 1, 2-e ed. Paris, 1866, pp. 183—186). Подобные же взгляды развивал в XVI в. французский химик-практик Бернар Палисси (ок. 1509—1590). См. J. R. Partington. A history of chemistry, vol. 2. London, 1961, pp. 72—74. Перевод перечисляемых Гриммельсгаузенем названий минералов и солей представляет трудности, вызываемые, с одной стороны, отсутствием в то время общепринятой терминологии, а с другой — тем, что автор называет не только минералы, встречающиеся в природе, но и продукты деятельности человека. В числе солей, кроме природных минералов: каменной соли (sal gemmae), селитры (sal nitrum), нашатыря (sal ammoniacum), купороса (vitriolum) без указания, какого именно, известны купоросы: железный, или желтый, медный, или синий, и цинковый, или белый, названы sal nativum, или sal microcosmicum, — микрокосмическая соль (так назывался кристаллический осадок из мочи человека, состоящий из двойного фосфата натрия и аммония), sal petrae (селитра, образующаяся на каменных стенах погребов) и sublimatum (сулема, т. е. хлорная ртуть, образование которой в природных условиях невозможно). Название мар-

казит до середины XVIII в. применялось для обозначения различных колчеданов, а также металла висмута. По Лемери, золотистым и серебристым марказитом называются металлические минералы золотисто-желтого и серебристо-белого цвета (N. L. e m e r y. Dictionnaire ou traité universel des drogues simples, 3-е éd. Amsterdam, 1716, p. 337); возможно, что первый — это серный колчедан, а второй — мышьяковый колчедан. Свинцовый марказит, по-видимому, сурьмяный блеск, названный так по своему свинцово-серому цвету. Мышьяком (arsenicum) в то время (и много позже) было принято называть белый мышьяк (минерал арсенолит), т. е. мышьяковый ангидрид. Термином risigallum называли реальгар, или красный мышьяк (односернистый мышьяк). Electrum naturale — естественный янтарь. Термин хризоколла (chrysocolle) имел два значения: 1) природная бура, 2) медная зелень, или землистый малахит (силикат меди зеленого или синевато-зеленого цвета). См.: И. Г. Валерий. Минералогия, или описание всякого рода руд и ископаемых из земли вещей. Пер. с нем. И. Шлаттера. СПб., 1763; В. М. Севергин. Подробный словарь минералогический, тт. 1—2. СПб., 1807; G. Testi. Dizionario di alchimia e di chimica antiquaria. Roma. 1950 (прим. составлено проф. С. А. Погодиным).

¹² Червия — город и епископство в области Равенна; Комакио — город в области Феррара. Оба города славилась соляными месторождениями.

¹³ Центаропио (Кентурипа) — древний городок к юго-западу от Этны. По словам Плиния, там добывалось много соли (Естественная история, XXXI, 7).

¹⁴ Каппадокия — город в Малой Азии. Все сведения о различном цвете соли в этих местах заимствованы у Гарцони из СЛІ дискурса («О солеварах»).

¹⁵ Гекла — огнедышащий вулкан в Исландии.

¹⁶ Гумапи в Банду — Гуонг Апи, вулкан в Индонезии.

¹⁷ После открытия Америки, чтобы согласовать существование там людей с библейскими рассказами, были предложены различные фантастические объяснения. Гриммельсгаузен связывает эти легенды с оз. Титикака на границе Перу и Боливии. На берегах этого озера сохранились остатки древних сооружений перуанцев.

¹⁸ Иосия — предводитель израильтян во время завоевания Ханаана.

¹⁹ Притча о пшенице — в «Евангелии от Матфея» (гл. 13, ст. 24 и сл.).

Пятнадцатая глава

¹ Троглодиты — пещерные люди. Античные писатели так называли обитателей Эфиопии и Судана, живших в горах.

² Дикое и Черное озера. Первое — в Оберкирхе в Ренхтале. Второе — вероятно, Малое Муммельзее (Вильдзее).

³ «ожидаете скорого прихода Страшного суда» — имеются в виду рассказы о конце света, распространившиеся во время Тридцатилетней войны (см. начало романа).

⁴ Сивиллы — предсказательницы в древнем Риме. В средние века были популярны «сивиллины книги» — сборник изречений и пророчеств, по преданию приобретенный римским царем Тарквинием Гордым у Кумской Сивиллы. Позднее к ним присоединены другие сочинения, составившие свод из 12 книг, хранящихся в храме Юпитера в Капитолии, где образовалась коллегия жрецов — толкователей этих пророчеств, представлявших собой пеструю смесь поверий и представлений средиземноморских народов.

⁵ Евсевий — см. прим. к кн. II, гл. 8. Цитата заимствована у Гарцони (III дискурс «О духовных»).

⁶ Иероним — см. прим. к кн. II, гл. 8.

⁷ Беда Достопочтенный (672—736) — англосаксонский теолог.

⁸ Карло Борромео (1538—1584) — кардинал и архиепископ Милана, политический деятель.

⁹ Августин (354—430) — епископ в Африке, прославившийся своими богословскими сочинениями.

¹⁰ Иларрион (291—371) и Пахомий (ум. ок. 348 г.) — проповедники аскетизма; вслед за св. Антонием насаждали монашество в Фиванской пустыне (в Египте).

Шестнадцатая глава

¹ Mare del Sur (Zur) — Южное море. Староиспанское название Тихого океана.

² Polus antarcticus (лат.) — южный полюс.

³ de los latrones (исп.) — воровские острова. Имеются в виду Марианские острова в Тихом океане.

⁴ Пигмен — легендарный народ античных сказаний.

⁵ Аристарх (III в. до н. э.) — греческий философ и астроном, родом из Самоса. Архимед в своем сочинении «Исчисление песчинок» сообщает, что Аристарх полагал, что «неподвижные звезды и солнце не меняют своего места в пространстве, что земля движется по окружности около солнца, находящегося в ее центре» (Архимед. Исчисление песчинок (Псаммит). М.—Л., 1932, стр. 68). Таким образом, Аристарх был провозвестником гелиоцентрической системы мира, впоследствии обоснованной Коперником (1473—1543). Сильфы осмеивают эти «мнения», что, однако, вовсе не означает, будто бы сам Гриммельсгаузен был сторонником принятой в средние века системы Птолемея, как полагал Г. Борхердт. Скорее всего здесь сказались общая ироническая позиция Гриммельсгаузена по отношению к фантастическому царству блаженных сильфов.

⁶ В июне 1633 г. в Гессене действительно забил источник, как о том сообщал «Theatrum Europaeum» (III, 78).

⁷ «marchasitae...» — см. прим. к кн. V, гл. 14.

⁸ Минеральное полотно — асбест.

⁹ Гумор — по античным представлениям, жидкость (род лимфы).

¹⁰ Филипп Аврелий Теофраст Парацельс де Хоеухейм, прозванный Бомбаст (1493—1541), — швейцарский врач и философ.

¹¹ Нефалии — жертвоприношения без вина, которые приносились нимфам, Эвменидам и музам.

Семнадцатая глава

¹ Швальбах — курорт с минеральными водами в Гессен-Нассау.

² lapis (лат.) — камень.

³ «истукан на мосту в Дрездене» — см. прим. к кн. IV, гл. 1.

⁴ Согласно немецким сказаниям, на этой горе Венера обитает во дворце, полном всякой роскоши. Кто туда попадает, ведет блаженную жизнь, но ценой вечной погибели (сказание о Тангейзере).

Восемнадцатая глава

¹ Дорненштедт — городок в Шварцвальде.

² Байерсбрунн — деревня на р. Мурге в Вюртемберге.

³ Зебах — деревня в Шварцвальде в Бадене к юго-западу от Муммельзее.

⁴ Герцог Вюртембергский Эберхард Бородатый (1445—1496) уверял, что он не побойтся в самом глухом лесу переночевать у любого своего подданного.

Деятнадцатая глава

¹ Раймонд Луллий (1235—1316) — каталонский философ, алхимик и поэт. В своей книге «Великое искусство» («Ars magna») пытался создать «логическую машину» для комбинирования различных понятий и вывода всех возможных истин с помощью вра-

щающихся кругов, треугольников и других механических приспособлений. Симплицизмус воспринимает наставления «Великого искусства» Луллия как риторические ухищрения.

² *topica* (лат.) — топики, в схоластической риторике учение об искусстве пользоваться общими местами и доводами при построении речи.

³ Каббала — мистическое учение, распространившееся среди евреев в диаспоре и включавшее в себя вулгаризованные представления пифагорийцев о тайном смысле чисел. Книги «Каббалы» были окружены таинственностью, и сокровенный смысл их был доступен только посвященным.

⁴ В Венгрии (в теперешней южной Словакии) в середине XVII в. еще держались разрозненные общины перекрещенцев, состоявшие из искусных ремесленников, главным образом в области керамики. Общины их носили коммунистический характер, были замкнуты и к тому времени утратили свой первоначально наступательный характер. Гриммельсгаузен, который, по-видимому, не был в Венгрии, внес в описание этих общин черты других перекрещенцев, в том числе немецких «хутеровских братьев», у которых существовала общественная собственность (производственная и потребительская). См.: Б. Кристинкович. Керамика хабанов. Будапешт, 1962 (с библиографией); A. J. F. Zieglschmid. 1) Grimmelshausens ungarische Wiedertäufer. Publications of the modern Language-Association of America, 1939, December, pp. 1030—1040; 2) Die ungarischen Wiedertäufer bei Grimmelshausen. Zeitschrift für Kirchengeschichte, Bd. 54, 1940, SS. 352—387; G. Mühlpfordt. Deutsche Täufer in östlichen Länder. In: Die frühbürgerliche Revolution in Deutschland. Berlin, 1961, SS. 234—294. Вместе с тем к описанию общины перекрещенцев примешиваются представления, восходящие к «Утопии» Томаса Мора, «Государству Солнца» Т. Кампанеллы и «Христианополису» Андрэа. В новелле Н. Уленхарта «Исаак Винкельфельдер и Иобст фон дер Шнейд», использованной Гриммельсгаузенем в самом начале романа, содержится упоминание о перекрещенцах: «А я-то как раз родом из Бринна в Моравии, из местечка, где живет множество перекрещенцев; среди них-то я и возрос и был приставлен к портновскому ремеслу. А когда мне прискучили умеренность и затворническое житие, особливо же как я стал нарушать принятый у перекрещенцев обычай, что все должно быть общее, то был я начальствующим у перекрещенцев исторгнут из общины святых (как они себя прозывают) и прогнан в скверный мир» (Zwo kurzweilige Historien. S. 202).

⁵ Иосиф Флавий (ок. 37—95) — еврейский историк, составивший на греческом языке описание «Иудейской войны» (66—73). Гриммельсгаузен ссылается на его сочинения в «Висельном человечке».

⁶ Ессеи — древнееврейская аскетическая секта, отрицавшая частную собственность. Ессеи придерживались пассивно-созерцательного образа жизни и проповедовали безбрачие.

⁷ Доминикус (1170—1221) — испанский монах, основатель ордена доминиканцев, выделившего из своей среды ученых богословов, проповедников и деятелей инквизиции.

⁸ Франциск — имеется в виду Франциск Ассизский. См. прим. к кн. III, гл. 20.

Двадцатая глава

¹ Город Оффенбург, по преданию, был построен в 600 г. английским королем Оффо. С февраля по сентябрь 1643 г. был осажден веймарскими войсками.

² Леннарт Торстенсон (1603—1651) — граф, командовавший шведской армией на территории Германии в 1641—1646 гг.

³ Байришбрунская долина — в Вюртемберге. См. прим. к кн. V, гл. 18.

⁴ Висмар — торговый город в Мекленбург-Шверине.

⁵ Основным источником сведений о России Гриммельсгаузену послужило «Описание путешествия в Московию и Персию» Адама Олеария (А. А. Могозов. Die

Reise des Simplicius Simplicissimus nach Moskovien. In: Ost und West in der Geschichte des Denkens und der kulturellen Beziehungen. Festschrift für Eduard Winter zum 70. Geburtstag. Berlin, 1966, SS. 143—151). Олеарий сообщает, что по пути в Москву в августе 1634 г. голштинское посольство встречало немецких солдат и офицеров, возвращавшихся после окончания войны под Смоленском, чинивших различные насилия над крестьянами (A. Olearius. Außführliche Beschreibung der kundbaren Reyse nach Moscow und Persien. Schließwig, 1663, SS. 25—26).

⁶ Канвой для рассказа о поведении «шведского полковника» в России и его перехода в «греческую веру» (православие) послужила сообщенная Олеарием история полковника Александра Лесли из Шотландии. Поступив на русскую службу, Лесли получил поместье на Волге и перевез жену и детей. Однако новопожалованные помещики так жестоко обращались с крестьянами, что вызвали целый бунт. В особенности крестьянки, которых мучила полковница и издевалась над их религией, так что однажды сожгла икону, были так ожесточены, что во время суровых допросов на следствии сами «напрашивались на пытку». Лесли, чтобы удержать за собой имение, объявил о своем желании принять русскую веру и даже снова обвенчаться с женой по православному обряду. Но крестьяне продолжали волноваться, и имение в конце концов было передано другому иноземцу «новокрещенному французу Антонию де Грону. Лесли был пожалован «русским платьем» и тремя тысячами рублей (A. Olearius. Außführliche Beschreibung. . ., SS. 275—276). Хотя переходящие в православие получали различные льготы и подарки, однако русское правительство не ставило условием принятия на службу иноземцев перемену религии и сохраняло для них свободу вероисповедания, что подтверждает и наличие «инославных» церквей в «Немецкой слободе» в Москве.

Двадцать первая глава

¹ Подолия — здесь южная Украина.

² Машинах — машинах.

³ «искать селитрянную землю». — Селитряное дело в России XVII в. развивалось не на минеральном сырье, а на основе переработки отвалов на месте бывших поселений и т. д. «Емчугу» (селитру) варили повсеместно уже в XVI в. в Москве, Перми, Сольвычегодске и других местах (А. В. Хабаров. Очерки по истории геологоразведочных знаний в России, ч. 1. М., 1950, стр. 29). И. Кильбургер в своем сочинении о русской торговле (1674) сообщал, что селитра идет в Россию «большой частью из Украины» и продается дешево (Б. Г. Курц. Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича. Киев, 1915, стр. 112).

⁴ Пороховые, или «зеленые», мельницы известны в России со второй половины XVI в. (1583, Новгород). В Москве в 1626 г. уже была пороховая мельница, построенная на Яузе (на плотине выше Андроньева монастыря) Павликом Лукьяновым. С первой трети XVII в. известно также несколько иностранных мастеров порохового дела, в том числе «немчин» Олешка Одреев (1627), «иноземец» Иван Кудра (1628), Иван Магнич и др. Наряду с ними работали русские мастера, подмастерья и ученики (П. М. Лукьянов. История химических промыслов и химической промышленности России до конца XIX в., т. V. М., 1961, стр. 134). Особенное развитие пороховое дело в России получило в царствование Алексея Михайловича (1645—1676). Не может быть и речи, что в это время какой-либо иностранный мастер мог чуть ли не впервые «наладить» производство пороха. Описание пороховой мельницы «под Москвой, на реке» больше всего подходит к упомянутой выше «зеленой мельнице» на Яузе.

⁵ В середине XVII в. в России различали и производили три сорта пороха: грубый пушечный, мушкетный и пищальный. Последние два именовались также «ручной порох» (у Гриммельсгаузена — «Burschpulver»), что, по-видимому, относится к обоим видам тонкого пороха (П. М. Лукьянов, ук. соч., стр. 577).

⁶ Олеарий сообщает, что присутствовавшие на аудиенции во дворце «почтенные мужи с длинными седыми бородами в золотошитых одеждах и высоких собольих шапках» получали их на время таких приемов и потом снова должны были возвратить в кладовую Великого князя (A. Olearius. *Außführliche Beschreibung.*, S. 32).

⁷ Согласно хронологии романа, Симплиссимус попал в Московию около 1645 г., так как возвратился на родину вскоре после заключения Вестфальского мира 1648 г., проведя в странствиях около трех лет. В эти годы после ухода казаков из Азова (1642) возобновились вторжения крымских татар, достигшие особой силы в 1644—1645 гг. Однако ни о каком приближении стотысячного войска к самой Москве в то время не могло быть и речи. Оборонительная «засечная черта» Московского государства к 1638 г. была приведена в хорошее состояние. Орды крымских татар, грабившие и разорявшие обширные области Украины и Польши, избегали столкновений с русскими «ратными людьми» и полагались лишь на стремительность своих набегов. В 1646 г. Московское государство предприняло большой поход под Азов, сорвавшийся подготавливавшийся татарами новый набег (А. А. Новосельский. *Борьба Московского государства с татарами в первой половине XVII в.* М.—Л., 1948, стр. 332—340 и 351—357; А. И. Яковлев. *Засечная черта Московского государства в XVII в.* М., 1916). Сведения об этих событиях проникали в Западную Европу. Источником Гриммельсгауэна был «Theatrum Euroraeum», где под 1644 г. было помещено сообщение о разгроме татар, в честь чего была выбита медаль «Schawpfennig» (Theatrum Euroraeum, Bd. V, S. 597). Под 1646 г. помещено известие, что «между москвитами и татарами произошло престожкое сражение, в коем москвиты одержали викторию и побили около 40 000 татар, по случаю чего в Москве и по всей стране должны быть устроены благодарственные празднества» (Theatrum Euroraeum, Bd. V, SS. 1193—1194).

Двадцать вторая глава

¹ Горгий Леонтин (ок. 496—400) — греческий философ и ритор из Леонтии (в Сицилии).

² Боранец (у Гриммельсгауэна — «Borometz»). — Описание растения «боранец» («баранец») встречается у многих иностранных писателей, в том числе и действительно побывавших в России: Герберштейна (1549), Маржерета (1605), Олеария (1647), Стрейса (1676), Рейтенфельса (1680). В XVI—XVII вв. в существовании его не сомневались даже ботаники, помещавшие его изображения. «Боранец» был особенно популярен в литературе немецкого барокко, пристрастного к различным диковинам и раритетам. В написанном стихами обширном руководстве по поэзии описывается «боранец в Скифии» — «растение с мясом и кровью, животное, растущее на корню», вырастающее из маленького семени, однако наделенное носом, глазами, ртом, рогами, но не имеющее возможности ходить и т. д. (Kurtze Anleitung zur Deutschen Poesie oder Reim-Kunst: mit ihren unterschiedlichen Arten und Mustern Reimweise verfertigt und vorgestellt. Cöthen, 1640, S. 219). Непосредственным источником Гриммельсгауэна было «Путешествие» Олеария, где сообщалось, что это растение похоже на «ягненка» и обладает очертаниями этого животного, отчего и получило свое название. Стебель этого растения начинается «от пупочка», и во время своего роста оно высушивает или «пожирает» вокруг себя траву, затем покрывается «курчавой шерстью», которую выделяют (A. Olearius. *Außführliche Beschreibung.*, S. 155). Герберштейн сообщал о сладости «боранца», мякоть которого похожа на мясо раков, и что его охотно пожирают волки. В описаниях «боранца» смешались представления о сладком арбузе и каракуле (М. П. Алексеев. *Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и писателей*, 2-е изд. Иркутск, 1941, стр. 545—546).

³ В оригинале «Niichischen Tartern». — Источником для Гриммельсгауэна скорее всего послужила книга иезуитского миссионера Мартини (1614—1661), историка и картографа, описавшего историю завоевания Китая маньчжурами, падения ди-

насти Мин и установления новой маньчжурской династии (M. Martinus. Histori von dem Tartarischen Kriege. Amsterdam, 1654). К этой книге приложена небольшая карта, на которой к северу от Великой китайской стены показана область «Nievche Tartaria Orientalis». Мартини сообщает, что эти «восточные татары» образуют особое государство «Niuche», которое и вело войну с Кореей и Китаем (1625—1644). Мартини употребил общее историческое название маньчжурско-тунгусских племен, известных также как Jutsch, Niutsch (L. Schrenck. Reisen und Forschungen im Amurlande in den Jahren 1851—1856. Bd. III, Erste Lieferung. S.-Petersburg, 1881, SS. 92—93). В Западной Европе это обозначение держалось до середины XVIII в. как обозначение особого королевства «Niuche» (Zedler, Bd. XXIV, 1740, S. 1035; Bd. XLII, 1744, SS. 35, 47).

⁴ Венецианско-турецкая война продолжалась с 1645 по 1669 г.

⁵ Левант — общее обозначение стран и берегов, лежащих к востоку от Италии на Средиземном море.

⁶ Лоретто — городок поблизости Анконы в Италии со знаменитым «Святым домом», в котором якобы проживала дева Мария, а в XIII в. он был перенесен сюда из Назарета ангелами.

⁷ «заключен немецкий мир» — Вестфальский мир 1648 г.

Двадцать третья глава

В этой главе Гриммельсгаузен использует, а в следующей полностью заимствует обширную цитату из сочинения испанского духовного писателя Антонио Гевары (ок. 1490—1545).

¹ Nosce te ipsum (лат.) — познай самого себя.

Двадцать четвертая глава

¹ Posui finem curis, spes et fortuna, valet! (лат.) — Я положил конец заботам; надежда и счастье, прощайте!

КНИГА ШЕСТАЯ

Первая глава

¹ В оригинале «theologische Stylus bei Herrn Omnes» (от лат. «omnis» — все). — Гриммельсгаузен имеет в виду лишенный конкретности, общий богословско-риторический стиль назидательных сочинений и отвлеченной сатиры.

² О стечении народа вокруг ярмарочных шарлатанов пишет Гарцони в CIV дискурсе («О тех, кто устраивает разные представления, особенно же о ярмарочных горлодерах, шарлатанах и торговцах териаком»).

³ Гансвурст — шут, персонаж немецкого народного (ярмарочного) театра («Die Wurst» — по-немецки колбаса), поэтому следующий площадной шут назван Ганс Суп, что является переводом имени французского ярмарочного персонажа «Jean Potagé» (ср. аналогичные — «Pickelhäring», «Jack Pudding» и др.) Имя «Hanß-Supp» употреблял уже немецкий сатирик Лауремберг.

⁴ Моховая голова («die Moos») — гора в Шварцвальде юго-западнее Ренхтхалы. Самая большая возвышенность в этой местности — 873 м.

⁵ Оппенану — небольшой город на Ренхе в Шварцвальде.

⁶ Киндигская долина тянется от Хазлоха до истоков р. Киндига.

⁷ Графство и замок Герольдек в Бадене в отличие от одноименного замка назывались Высокий Герольдек. В 1689 г. замок был разрушен французскими войсками.

Сохранились два рисунка с изображением замка, сделанных рукой Гриммельсгаузена (A. Veichtold. Zur Quellengeschichte, S. 39).

⁸ Маркграфство Нижний Баден — Баден-Дурлах.

⁹ Египетские отшельники — христианские пустынножители в Фиваиде.

Вторая глава

С этой главы начинается серия аллегорических картин в традиционном жанре «Видений» (Мошерош и др.). Гриммельсгаузен, по-видимому, использована книга Альбертинуса «Царство Люцифера и охота за душами» (A. Albertinus. Lucifers Konigsreich und Seelengejagt. Augsburg, 1617), где дана классификация грехов, согласно схоластической системе Фомы Аквината.

¹ Gloria in excelsis (лат.) — слава в вышних богу.

² Te Deum laudamus (лат.) — Тебя, бога, хвалим.

³ «среди виноградных лоз и смоковниц» — условная формула благоденствия, заимствованная из Библии.

⁴ Белиал — имя подземного божества, позднее один из верховных дьяволов в иерархии ада.

⁵ Ierna malorum (лат.) — пучина зла (грехов). Лерна — озеро в Пелопоннесе, где Геракл убил многоглавую гидру.

Третья глава

¹ Гиппомен (греч. мифол.) — герой, сын Нептуна, победивший в состязании в беге знаменитую аркадскую охотницу Аталанту.

² in genere (лат.) — в общем.

Четвертая глава

¹ Маммон — халдейское божество, хранитель подземных сокровищ. Позднее олицетворение скупости и вместе с тем преданности земным благам. Скупость по-немецки мужского рода («der Geiz»). Поэтому переведено скряга.

² Ирод Аскалонит — Ирод Великий (62 г. до н. э.—2 г. н. э.) — царь Иудеи, предавший смерти жену Марianne, зятя Аристокла и трех сыновей.

³ Плутон (римск. мифол.) — бог подземного царства. В древности отождествлялся с Плутоном, ведавшим урожаем хлебных злаков и позднее обособившимся в самостоятельное божество богатства, которое и имеет в виду Маммон, путая его с Плутоном.

Пятая глава

¹ Авар — имя произведено от лат. «avarus» — скупой, жадный. История Авара упоминается Гриммельсгаузенем в трактате «Rathstübel Plutonis».

Шестая глава

¹ Геннегау — область в Нидерландах, южная часть которой в 1659 г. отошла к Франции.

² Король Артур — см. прим. к кн. IV, гл. 24.

³ olla potrida — см. прим. к кн. I, гл. 30.

⁴ per fas et nefas (лат.) — правдами и неправдами.

⁵ Кратес Фебанус (IV в. до н. э.) — греческий философ из Фив, последователь Диогена.

Седьмая глава

¹ Галаны (от франц. «galant») — волокиты.

² Купеческий интерес — т. е. проценты.

³ pro cento (лат.) — со ста. Речь идет о восьми процентах по векселю.

Восьмая глава

¹ «золотое кольцо» — намек на рассказ о Поликратовом перстне.

² «обезглавленного короля». — Имеется в виду Карл I, казненный в 1649 г. Сын его Карл II пристал 23 июня 1650 г. к берегам Шотландии, чтобы завоевать престол, но был разбит войсками Кромвеля 3 сентября того же года под Уорчестером.

Девятая глава

¹ Ганс Сакс (1494—1576) — немецкий народный поэт и драматург. Гриммельсгаузен имеет в виду стихотворение Г. Сакса «Зовусь я Бальд-андерс, известен я всему свету», датированное 31 июля 1534 г. В нем рассказано о встрече поэта на берегу Рейна со странным существом, постоянно изменявшим свой облик (H. Sachs. Werke. Herausgegeben von A. Keller. Bd. V. Tübingen, 1870, SS. 310—313).

² История «золотого дуката» изложена Г. Саксом в стихотворении «О потерянном говорящем дукате» (Werke, Bd. IV, S. 216). О «лошадиной шкуре» также рассказывает стихотворный шванк Ганса Сакса (Werke, Bd. V, S. 146).

³ Криптограмма, которую пишет Бальдандерс, состоит из бессмысленных слов, однако первые и последние буквы каждого слова образуют следующую фразу: «Найди сам назначение всех вещей и сочини о сем дискурс, суди посему, где правда, вот что надо твоему дурацкому любопытству». В нашем переводе в криптограмме дан текст этой фразы в латинской транскрипции.

⁴ Имеются в виду «Метаморфозы» Овидия.

⁵ Протей — см. прим. к кн. I, гл. 2.

⁶ Стеганография — искусство «тайнописи». Немецкий историк Иоганн Тритемий (1462—1516) издал книгу «Steganographia» (1499).

Десятая глава

¹ «Житие святого Алексея» — средневековая легенда (ок. V в.) о сыне богатого горожанина, оставившего брачные покои и родной дом и ставшего нищим странником. Была популярна в литературе барокко, в частности обрабатывалась для театра. (См.: В. Адрианова. Житие Алексея человека божия в древнерусской литературе и народной словесности. Пгр., 1917).

² Посох св. Иакова — паломнический посох. Первоначально — отличительный знак паломников, направлявшихся на поклонение в монастырь Сант-Яго де Компостелла.

³ Богемская клюка — первоначально обозначение чешского посоха с топориком.

⁴ Дикий Шаппах — деревенька к юго-востоку от Моховой головы, неподалеку от вюртембергской границы.

⁵ Эмпедокл — см. прим. к кн. V, гл. 12.

⁶ «головушек» (в оригинале «Kopfstück») — немецкое название французских и итальянских тестонов (крупные серебряные монеты с изображением королей).

⁷ Гутах — приток Кинцига.

Одиннадцатая глава

¹ Этшинское вино — тирольское вино.

² Самуэль фон Голау — анаграмма немецкого поэта-эпиграмматика Фридриха фон Логау (1604—1635).

- ³ «в густом лесу Плиния». — В «Естественной истории» Плиний сообщает о «странствующем» лесу, который постоянно перемещается (II, 95).
- ⁴ Aqua Cutilia — озеро неподалеку от Контильяно в Средней Италии.
- ⁵ Боранец — см. прим. к кн. V, гл. 22.
- ⁶ «Предки мои» — о происхождении конопли говорится у Плиния в «Естественной истории» (XX, 97). Возделывание конопли распространено в Ренхтале.
- ⁷ Венцеслав (Венцель) (1361—1419) — германский император.
- ⁸ Золотари (в оригинале «Goldscheur») — деревня неподалеку от Оффенбурга в Бадене.
- ⁹ Сэстер — мера зерновых. В Эльзасе равнялась четырем квартам или фирлингам.
- ¹⁰ «сгонять с себя францей» — имеется в виду потогонное лечение сифилиса.
- ¹¹ Амиант — горный лен (разновидность асбеста).
- ¹² «какое число ангельское» — имеется в виду так называемые девять чинов ангельских.

Д в е н а д ц а т а я г л а в а

- ¹ Цволле — город в Нидерландах.
- ² Фитили вымачивались в коровьем навозе и затем высушивались (для лучшей воспламеняемости).
- ³ Комбре (Каммерих) — город на Шельде во Франции.
- ⁴ Спиналь — город в Вогезах.
- ⁵ Цурцах — город в Швейцарии в кантоне Ааргау.
- ⁶ «Сию книгу» — весь абзац (за исключением примера с Комином) заимствован у Гарцони (дискурс LXVI «О факторах»).
- ⁷ Оппиан (II в. н. э.) — греческий дидактический поэт, живший во времена Марка Аврелия. Автор поэмы «О рыбной ловле». Другой Оппиан, сириец, живший во времена Каракаллы, был автором поэмы об охоте. Кого из них имеет в виду Гриммельсгаузен, судить трудно. В его время этих авторов смешивали.
- ⁸ Антоний (II в. н. э.) — по-видимому, Антоний Каракалла, сын Септимия Севера.
- ⁹ По словам Плиния Младшего, рукопись «Комментариев» его дяди была оценокена одним из представителей богатого плебейского рода Лициниев в 400 000 сестерций.
- ¹⁰ Тертулиан (II в. н. э.) — христианский писатель.
- ¹¹ Киприан (200—258) — епископ Карфагена.
- ¹² «Киропедия» («Воспитание Кира») — сочинение греческого историка Ксенофонта (ок. 445—353).
- ¹³ Филолай Пифагореец (V в. до н. э.) — греческий философ, ученик Пифагора.
- ¹⁴ Спевсипп (ок. 409—339) — греческий философ, племянник и последователь Платона.
- ¹⁵ Корнелий Тацит (54—117) — римский историк. Император Марк Клавдий Тацит (275—276) был его потомком.
- ¹⁶ Филипп де Комин (1447—1509) — французский хронист.
- ¹⁷ Карл V (1500—1558) — германский император.

Т р и н а д ц а т а я г л а в а

- ¹ Кабаний корень (*Carlina ascaulis*). — Его якобы отыскивают больные кабаны. По народным поверьям, обладатель такого корня не испытывает усталости.
- ² Ганнибал Шауенбург (ум. в 1634 г.) — фельдмаршал имперских войск, защитник Брейсхаха.
- ³ Томас Савойский (1596—1656) — принц Савои.
- ⁴ В Цюрихе 10 июня 1652 г. взорвалась пороховая башня («Geisturm»), причем было убито восемь человек.
- ⁵ Эглизау — городок на Рейне в кантоне Цюрих.

Четырнадцатая глава

Сообщаемые в этой главе предания о диковинных племенах, носившие сказочный и отчасти мифологический характер, встречаются у многих античных писателей, в том числе и у Плиния. Особой популярностью пользовались в средние века (L. Tohler. *Über Sagenhafte Völker der Altertums und Mittelalters. Zeitschrift für Volkerpsychologie und Sprachwissenschaften*, Bd. XVIII, 1888). В «Хронике» Гартмана Шеделя помещено двадцать одно изображение фантастических существ, обитающих за гранью ойкумены: киноцефалы (люди с собачьими головами), ипопеды (люди с лошадиными копытами), люди с птичьими головами, люди с глазами и ртом на груди, люди с одной ногой, которой они закрываются от солнца, также одноногие, однако ловящие на бегу оленей, и т. д. (изд. 1493 г., л. XII, экз. ГПБ). Из «Хроники» Шеделя эти изображения попали в «Космографию» Себастьяна Мюнстера (1544) и в различные популярные издания. Источником для Гриммельсгаузена послужил LXXXVI дискурс Гарцони («О паломниках и путешественниках»). Не исключена возможность его знакомства с книгой Рэли (см. прим. к кн. III, гл. 4), немецкое издание которой было снабжено гравюрами с изображением людей, у которых глаза и нос находились на груди.

¹ «понтійское племя» — здесь и далее имеются в виду народы, живущие вокруг Черного моря, в Скифии и на Кавказе. Особенно разукрашивались фантастическими подробностями известия о народах, обитавших к северу от скифов. Аристей из Проконесса (VI в. до н. э.), по преданию, совершивший путешествие в страны Севера, в своей поэме «Аримаспея» сообщает об «иссидонах», которых он смешивает с «аримаспами»: «Эти люди живут в соседстве с Бореем, многочисленны и очень доблестные воины, богатые конями и стадами овец и быков. Каждый из них имеет один глаз на милом челе; они имеют косматые волосы и являются самыми могучими из всех мужей» (В. В. Латышев. *Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. Вестник древней истории*, 1947, № 1, стр. 298). См. также: J. P. Bolton. *Aristeas of Proconnesus*. Oxford, 1962.

² Филарх (II в. н. э.) — греческий историк. Его сочинения не сохранились, но ими пользовался Плутарх.

³ «астомени». — В сочинении писателя II в. н. э., которого принято называть Псевдо-Плутарх, «Беседа о лице, видимом на диске луны», сообщалось, что «по Мегасфену, люди, которые не едят, не пьют, безротые и зажигают фимиам, чтобы питаться запахом», населяли «коренную Индию» (см.: *Филологическое обозрение*, т. VI, 1894, Приложение, стр. 30).

⁴ Илирия — Далмация.

⁵ Тимон Аполлонид (I в. н. э.) — географ и историк. Его цитирует Плиний (*Естественная история*, VII, 17).

⁶ Исигон — древнейший греческий географ, родом из Nikee.

⁷ Милас — гора в Сицилии.

⁸ Мегасфен — греческий историк и географ IV—III вв., составивший изобилующий фантастическими подробностями свод сведений об Индии, бассейне Ганга и Инда. Страбон называл его «живым писателем» (Р. Хенниг. *Неведомые земли*, т. I, М., 1961, стр. 236—243).

⁹ Ктесий (V—IV вв.) — греческий врач, историк и географ, живший при персидском дворе. В своих историко-географических сочинениях («Персия», «Индия») поместил много фантастических сведений.

¹⁰ Кафры — африканское племя. Какие племена названы Гриммельсгаузенем кафрами в Индии, не установлено.

¹¹ *Mare pacificum* (лат.) — Тихий океан.

¹² «язычников, что живут за Лифляндией». — Имеются в виду литовские сказания об оборотнях.

¹³ Ссылка на Геродота не соответствует действительности.

- ¹⁴ «дикивинных источников» — см. прим. к кн. V, гл. 14, где упоминается большинство названных здесь источников (Цепузио, Энгстлен и др.).
- ¹⁵ «колодцы у св. Стефана» — в кантоне Берн.
- ¹⁶ Зааненланд — в том же кантоне Берн.
- ¹⁷ Сибар — река в Нижней Италии.
- ¹⁸ Синесвана — река в Кампании.
- ¹⁹ Энария — остров у берегов Кампании, славившийся теплыми источниками.
- ²⁰ Клитумно — река в южной Умбрии, близ Сполето, описанная Плинием в «Естественной истории» (VIII, 8).
- ²¹ Соленио и Алеос — источники, упоминаемые у Плиния без указания местностей, где они протекают.
- ²² Кронвейсенбург — Вейсенбург в Эльзасе.
- ²³ Наксос — самый большой из Цикадских островов в Эгейском море. Славился своим вином.
- ²⁴ Аретуза — источник в Сиракузах, названный по имени нимфы Аретузы.
- ²⁵ Циркниц — см. прим. к кн. V, гл. 14.
- ²⁶ Федерзее — озеро неподалеку от Бухау в Вюртемберге.
- ²⁷ Пилатово озеро — см. прим. к кн. V, гл. 14.
- ²⁸ Камарина — см. прим. к кн. V, гл. 14.
- ²⁹ Лаку Бебейде — Бебейдское озеро в Фессалии.
- ³⁰ Амбракия — местность в Эпире.
- ³¹ Трасименто — озеро, расположенное не в Умбрии, а в Этрурии.
- ³² Меотид — Азовское море.
- ³³ Гипаним — Буг.
- ³⁴ Баграда — река на Севере Африки, в Утике (в нескольких милях от Карфагена).
- ³⁵ Лакония (Лаконика) — страна в юго-восточной части Пелопоннеса.
- ³⁶ Киликия — юго-восточная страна в Малой Азии.
- ³⁷ Ахелой — река в Акарнании (западной области Эллады).
- ³⁸ Саббатикус — см. прим. к кн. V, гл. 14.
- ³⁹ Додона — источник в Эпире.
- ⁴⁰ Аполлония — город в Илирии, где находится местечко Нимфеум, святилище, посвященное речным нимфам.
- ⁴¹ Теопомпус (IV в. до н. э.) — греческий историк родом из Хиоса.
- ⁴² Каламинские леса — см. прим. 3 к кн. VI, гл. 11.
- ⁴³ Циминский лес покрывал горный хребет в Этрурии.

Пятнадцатая глава

¹ Энгстер («Aengster») — народное название («узенький») мелкой швейцарской серебряной монеты стоимостью около двух пфеннигов. Первоначально броктеат (монета с односторонней чеканкой).

² «государственными персонами». — Мотив заимствован из ученой сатиры Якоба Грависета «Heutelia», выпущенной анонимно в 1658 г., где отмечен обычай швейцарского патрициата при занятии выборных должностей отдавать предпочтение семейным перед холостыми (независимо от заслуг). Трактирщик повел путешественников осматривать город. Возле одного дома «стоял молодой человек в плаще, почти совсем без бороды, вокруг которого столпилось несколько детей». Тирвингиус (один из путешественников) заметил, что тот, «нет сомнения, доводится детям отчимом, ибо борода у него маловата для настоящего отца столько детей; трактирщик рассмеялся и сказал, что мать их уверяет, что тот настоящий отец. Однако здесь в обычае, что в брак вступают почти детьми, дабы заделаться поскорее персонами и тем скорее достичь государственных чинов» (Heutelia, das ist Beschreibung einer Reysso so zween Exulanten durch Heuteliam gethan. Lutetiae [Ulm], 1658, SS. 246—247; W. Kohlschmidt).

Simplicius in Bern. Schweizer Beiträge zur allgemeinen Geschichte, Bd. XIII, 1955, SS. 136—142).

³ Лутцер («Lutzer» или чаще «Blutzer») — мелкая серебряная швейцарская монета с изображением креста и девы Марии, чеканившаяся с середины XVII в. епископством и городом Хур и получившая широкое хождение в качестве разменной монеты по всей Швейцарии.

⁴ Диоген (414—324) — греческий философ из Синопа.

⁵ Гунсвот («Hunnsfott») — немецкое ругательство, считавшееся страшно обидным. В разных диалектальных вариантах было распространено по всей Германии в XVII—XVIII вв., а также и среди петербургских ремесленников, причем в протоколах о нанесенном оскорблении писалось по-русски «гунсвот». См.: Материалы для истории императорской Академии Наук, т. II, СПб., 1886, стр. 29.

⁶ «слабым творогом» (в оригинале «Zieger») — так называют в Швейцарии второй творог из козьей сыворотки, остающейся после приготовления первого сыра.

Шестнадцатая глава

¹ «Philosophia occulta» (лат.) — «Окультная философия». О Парацельсе см. прим. к кн. V, гл. 16.

² «положась на старого императора» — см. прим. к кн. III, гл. 20.

Семнадцатая глава

¹ Лоретто — см. прим. к кн. V, гл. 22.

² in armis (лат.) — быть вооруженным, находиться в состоянии войны.

³ Розетта — город в устье Нила.

⁴ Аль-Каир — Каир. Различные детали пребывания Симплициссимуса в Египте восходят к «Гусману» Фрейденкольда.

⁵ Мумия употреблялась для приготовления красок и в аптечном деле.

⁶ Фараон — здесь Амасис (Яхмос II), египетский фараон в саискую эпоху (ум. в 525 г. до н. э.). Родопа — гречанка из Кирены, танцовщица, одна из жен Амасиса.

Восемнадцатая глава

¹ Arabia Felix (лат.) — Счастливая Аравия. В древности так называлась прибрежная Аравия (нынешний Йемен).

² Arabia Deserta (лат.) — Пустынная Аравия. К югу от Пальмиры.

Девятнадцатая глава

¹ «Якова Компостельского» — см. прим. к кн. VI, гл. 10.

² interim (лат.) — между тем.

³ terra australis incognita (лат.) — неизвестная южная земля (от лат. «auster» — южный ветер). Представление о существовании к югу от экватора огромного континента восходит к античной географии. Птоломей нанес эту землю на свою карту мира в виде полосы суши, простирающейся по всей длине Южного океана. Даже после открытия морского пути в Индию ее продолжали наносить на карты, так как мореплаватели доставляли противоречивые и фантастические сведения о будто бы виденных ими берегах Южной земли. В 1569 г. Меркатор не только нанес эту землю на свою карту, но и теоретически обосновал ее существование тем, что при вращении земного шара она уравнивает массу земли в северном полушарии. На поиски загадочного континента снаряжались особые экспедиции (например, Кироса и Торреса в 1605 г.). В то же время Южная земля становилась удобным местом действия для различных

«воображаемых путешествий» и утопий, как например в «Истории северамбов» Дени Вераса, первая часть которой вышла в Англии в 1675 г. Это название употреблено и в реляции об открытии о. Пинес.

Описание необитаемого острова, на который попал Симплициссимус, преимущественно исходит к пятой части «Восточной Индии» де Бри (1601), в особенности к описанию о. Св. Маврикия, который голландцы обследовали в течение нескольких дней в сентябре 1598 г. Голландцы обнаружили на острове два ручья, сбегающих с гор, множество рыбы и птиц. Но четвероногих там не было. «Сей прежденазванный остров Св. Маврикия необитаем и никогда не был обитаем, как мы могли заметить, поелику мы совершили многократные поездки туда и не нашли никаких людей или их следов, также могли мы о сем заключить, что то необитаемая страна по кротости птиц, которых можно ловить и хватать руками в превеликом множестве. Это земля с весьма высокими горами, по большей части покрытыми облаками, окутанная столь густой дымкой, что ее с трудом можно увидеть. Сам по себе остров по большей части каменист, однако ж вместе с тем это весьма плодородная страна, поросшая бесчисленными дикими деревьями и так тесно, что мы едва сквозь них могли пройти, и все это наилучшее эбеновое дерево, которое только можно где-либо найти, черное как деготь и гладкое как кость (слоновая) с весьма толстой зеленой корой, а под нею-то и находится черное дерево, и под такой же корой и те деревья, у которых красивая красная древесина, далее желтое дерево, как воск, так что мы взяли на пробу древесину этого трехцветного дерева, и она оказалась весьма хороша» (S. 6).

⁴ «лимоны, померанцы и кокосовые орехи». — Упоминание об этих плодах встречается в различных томах «Восточной Индии» де Бри, при описании Бали (III, S. 15), Бенина (VI, S. 140), Гвинеи и др. Там же о пальмовых деревьях и пальмовом вине и торговле им. «Пальмы, соком которых мы хорошо освежились», упоминаются и в описании о. Св. Маврикия (VI, S. 7).

Двадцатая глава

- ¹ Страна Прележи-бока — см. прим. к кн. III, гл. 5.
² Макао — португальская колония на юге Китая.
³ Аннабон — остров в восточной части Гвинейского залива.
⁴ «мигом все исчезло». — Аналогичный мотив в романе Гриммельсгаузена «Дитвальд и Амелинда», где некий «отшельник» исчезает, оставив после себя смрад, как только Дитвальд произносит имя божие.

Двадцать первая глава

- ¹ «светлячки». — О подобных светляках сообщали европейские путешественники, как например Жак Тертр (J. B. Du Tertre. Histoire générale de Antilles. 2 vol. Paris, 1667, p. 270). По мнению Буркхарда, эта книга послужила источником для рассказа Гриммельсгаузена, что маловероятно.

Двадцать вторая глава

- ¹ Черное дерево — эбеновое. — См. прим. к кн. VI, гл. 19.
² «тошнюх» — т. е. дронтов. Гриммельсгаузен употребляет название «Walchen», (от голл. «Walgvogel» — тошнотворная птица, ср. голландское выражение «het walgt mij»). Дронт (додо) *Raphus cucullatus* — крупная птица, водившаяся на острове Св. Маврикия и Родригес. Вес до 12 кг. Вымерла к концу XVII в. Неуклюжая, коротконогая, с едва развитыми крыльями, толстым длинным клювом, покрытым мягкой кожей. Пряталась в кустарниках и лесной чаще. Неспособная летать, она становилась легкой добычей. Моряки приставали к о. Св. Маврикия, чтобы запастись ее мясом. В первой половине XVII в. живых дронтов привозили в Европу. Чучело дронта упо-

минается в описании готторпской кунсткамеры Адама Олеария (A. Olearius. Götterfische Kunstammer. 2. Aufl. Schleßwig, 1674, Tabula XIII, № 5, S. 22). На изображении дронтов специализировался Рулант Саверей. Имеется гравюра Андриана ван дер Фенне и др. В пятой части «Восточной Индии» де Бри на гравюрованном титульном листе помещено изображение дронтов, а кроме того, на большой гравюре в приложении с обозначением: «Сия птица, называемая голландцами „Walg-Vogel“, величиною с лебедя, с толстой головой; вместо крыльев у нее лишь три или четыре комелька, тело кругленько, вместо хвоста три или четыре загнутых перышка. Они варили их, однако ж снедать их не доставляло приятности». В книге сообщалось, что на голове у птиц кожа была наподобие шапочки, зачатки перьев черного цвета. «Мы называли их „Walg-Vogel“, во-первых, потому что, чем дольше их варишь, тем жестче они становились, однако ж пупки и грудка были почти что съедобны, и потому еще, что у нас было вволю горлинок, которые, конечно, были нам куда больше по вкусу. См. также: A. C. Oudemans. Dodo Studien. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Tweede Sectie. Deel XIX. N 4. Amsterdam, 1917; S. Lüttschwager. Zur Systematischen Stellung der ausgestorbenen Drontevogel. Zoologischer Anzeiger, Bd. 162, 1959, Н. 5—6; A. Iwanow. An Indian picture of the Dodo. Journal für Ornithologie, Bd. 99, 1958; E. Stresemann. Wie hat die Dronte (Ruphus cucullatus L.) ausgesehen? Там же, S. 441—459.

³ Пингвины (невозможные в описываемых в «Симплициссимусе» широтах) упоминаются в «Восточной Индии» де Бри (кн. V).

Двадцать третья глава

¹ «мир для него великая книга». — Представление о мире как открытой книге бога было распространено в средние века как на Западе (Орген, Августин, Винцент Бове, Бонавентура, Бертольд фон Регенсбург и др.), так и на Востоке (Григорий Наизанин, Василий Великий). E. R. Curtius. Europäische Literatur und lateinische Mittelalter. Bern, 1948.

² Терновый венец. — Здесь и далее Гриммельсгаузен использует эмблематику и символику католического барокко.

Двадцать четвертая глава

¹ Ян Корнелиссен. — В описании «Восточной Индии» де Бри упоминается, что во главе флотилии стоял корабль «Маврициус» с адмиралом Якобом Корнелиусом Нек, а на седьмом корабле был капитаном Ян Корнелис. 8 августа неподалеку от мыса Доброй Надежды буря рассеяла флотилию. Далее следовало пять судов до Мадагаскара, куда прибыли 24 августа. 20 сентября достигли о. Св. Маврикия. В реляции Яна Корнелиссена события следуют в обратном порядке, чем в издании де Бри, и он попадает на остров Симплициссимуса на возвратном пути с Молуккских островов.

² *contrarii* (лат.) — противные (ветры).

³ Армада — флотилия.

⁴ INRI — *Jesus Nasareanus Rex Judeae* (лат.) — Иисус назарянин, царь иудейский.

⁵ *Memento mori* (лат.) — помни о смерти.

⁶ «Ieschua...» — та же надпись, что «Иисус...» на древнееврейском языке.

Двадцать пятая глава

¹ Гриммельсгаузен заимствовал сведения о дурмящих растениях из четвертой части «Восточной Индии» де Бри, где сообщается о «траве Dutgoa», которая «весьма распространена в Индии и растет повсюду в полях». «Цветок этого растения почти такого же цвета, как розмарин, из него появляется круглый макоподобный плод, в котором находится несколько зернышек, вроде дынных; сии, вымоченные в воде,

вине или ином каком напитке или сваренные с рисом или иным каким кушаньем, переменяют личность человека, так что он становится словно придурковатым и не творит ничего иного, как только смеется и ничего не может увидеть, понять или уразуметь, что бы ни чинили в его присутствии; а иногда делает его таким сонным, словно мертвым, на весьма долгое время, почитай, на целые сутки». Далее сообщается, что «индийские и португальские женщины» тайно дают эти семена своим мужьям «и учиняют так часто, когда хотят охладить свой пыл с любовниками и сожителями, и когда они подсыпят эту траву своим мужьям, то не страшатся в их присутствии насыщать свое любострастие, и они даже тянут и дергают мужей за бороды, называют их рогаками и вытворяют множество подобных дурачеств, и хотя все сие муж видит своими очами, однако ничего не разумеет и ничего не говорит, а только хохочет и кривляется, как придурковатый сумасброд, а когда он снова придет в себя и время его безумия минует, то он не помнит ни о чем и думает, что спал» (IV, 44—45). Гриммельсгаузен заменил по художественным соображениям «траву» на дерево, так как ему понадобилось поместить на нем надпись о превращении людей, подобно тому как это творила древняя волшебница Цирцея (Киркея), упоминаемая в Одиссее.

² В «Вечном календаре» Гриммельсгаузен сообщает, что «персики, которые многие люди вкушают ради их прохлаждательности в слишком большом количестве, вредны, однако же их вредность уничтожается, когда вместе с ними едят и их зерна, которые горячи» (август).

Двадцать шестая глава

¹ Онуфрий — имя одного из отшельников в Фиванской пустыне.

² Иоганн Рауе. — «Космография» Иоганна Рауе вышла в 1612 г. (описание пещеры близ Выборга помещено в 22-й гл.).

³ in specie (лат.) — здесь в значении в частности.

Двадцать седьмая глава

¹ Арака — собственно, арека (агеса) — род пальмы, плоды которой употребляются при жевании бетеля, а также для приготовления крепкого вина. Упоминается в «Восточной Индии» де Бри (IV, гл. 16).

² Пророк Иона — упоминаемый в Библии пророк, проведший несколько дней во чреве кита.

³ В «Восточной Индии» де Бри подчеркивается здоровый климат о. Св. Маврикия. «Это весьма хорошая и здоровая страна, где мы поставили хижину и поместили в ней всех больных, что находились на судне, чтобы они могли снова обрести здоровье, что и произошло в короткое время, а посему мы заметили, что это, должно быть, очень здоровая страна» (V, S. 7).

З а к л ю ч е н и е

¹ «Dat. Рейнек, 22 апреля anno Domini 1671». — В первом (отдельном) издании шестой книги «Симплициссимуса» дана дата — 22 апреля 1668. Г. И. К. Ф. Г. (Н. I. C. V. G.) — инициалы Гриммельсгаузена (Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen). П. в Цернхейне — претор в Ренхене.

ПРИБАВЛЕНИЕ И ПЕРВОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ, ИЛИ CONTINUATIO

Все три «Continuationes» предназначались Гриммельсгаузенем для «Европейского календаря диковинных историй» и были включены в издание «Симплициссимуса» 1671 г.

¹ «в особливом трактатце» — имеется в виду второе продолжение, предназначенное для следующего года издания.

² «подобно летучему страннику» — намек на книгу «Летучий странник» («Der fliegende Wandersmann»), которая была известна Гриммельсгаузену.

³ *Recipe carnes mali medici*. — Симплициссимус, который не был силен ни в латыни, ни в медицине, понял дословно текст этого невинного рецепта, прочитав его, как «возьми мясо дурного медика», тогда как «malum» означает древесный плод, а «malum medici» — лимон. Рецепт гласил: «Возьми мякоть лимона».

⁴ «выкликать ведомости». — Продавцы газет и календарей на ярмарках для привлечения покупателей выкликали нараспев важнейшие известия в газетах. На гравюре, приложенной к Первому продолжению, изображен торгующий календарями Симплициссимус, стоящий на помосте перед большой толпой.

⁵ «прославленный город в Германии» — здесь Нюрнберг, где находилось издательство Вольфа Эбергардта Фельсекера.

⁶ «животные в Аркадии» — имеются в виду ослы.

⁷ Кандия — главный город и крепость на о. Крит. После продолжительной осады, начатой еще в 1645 г., турки взяли Кандию 27 сентября 1669 г.

⁸ «ход морского сражения» — имеется в виду сражение, которое в августе 1668 г. дал туркам венецианский флот, посланный на помощь Кандии. В «Theatrum Euroraеum» (Vd. X) сообщалось о победоносном сражении венецианского капитана Лиона с десятью «варварскими кораблями», вызвавшим ярость великого визиря, так что он «с превеликим неистовством в течение четырех часов безуспешно штурмовал крепостицу Сабиинеру» (форт на Крите).

⁹ «под нечистою тогую нередко скрывается пренязщная мудрость» — изречение восходит к «Tusculanae Quaestiones» Цицерона (кн. III, гл. 23).

СИМплицианских Диковинных Историй ВТОРОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ, ИЛИ CONTINUATIO

¹ Пролив дела Мэр (также пролив св. Винцента) — между Огненной Землей и островом де лос Эстатодос. Открыт в 1616 г. фламандцем Якобом де Ле Мэр.

² «странными и удивительными делами». — В 1667 г. в Португалии произошел дворцовый переворот, в результате которого король Альфонс VI был вынужден отречься от престола (см.: *Theatrum Euroraеum*, Vd. X, S. 712).

³ «пиаигримов-якобитов» — см. прим. к кн. IV, гл. 19.

⁴ «о всеобщем-то мире». — Симплициссимус возвратился в Европу после заключения Вестфальского мира, положившего конец Тридцатилетней войне.

⁵ Цволле — см. прим. к кн. VI, гл. 12.

⁶ Веттерау — равнина в Гессене.

⁷ «великий год Платона». — Согласно представлениям античных писателей, существовал особый космический цикл, в течение которого все расположение светил возвращалось к первоначальному положению, а вместе с тем каждый раз полностью повторялись вся предшествовавшая жизнь и все события, происходившие на земле.

⁸ Мидас (*греч. мифол.*) — фригийский царь. Был судьей на музыкальном состязании между Аполлоном и Паном, присудил победу последнему. Разгневанный Аполлон наградил Мидаса ослиными ушами, которые тот был вынужден скрывать под фригийским колпаком.

⁹ «боязливый зверек» — заяц. Его подавали к столу как жаркое и как рагу.

¹⁰ Фрицлар — городок в Касселе.

¹¹ Метц — мера сыпучих тел и жидкостей. Различался большой метц (3.44 л) и малый (различного объема).

¹² «сеньор Борри» — Джузеппе Франческо Борри (1627—1695) — итальянский авантюрист, алхимик и медик. Известен также под именем Борро (латинизированная форма Буррус). Уроженец Милана. Учился в иезуитской коллегии, затем состоял при римском дворе. В 1654 г. после различных стычек раскаялся в беспутной жизни и

отдал себя под покровительство церкви. В марте 1659 г. был привлечен к суду инквизиции как основатель тайной мистической секты. Борри уверял своих приверженцев, что скоро найдет «философский камень» и будет обладать несметными богатствами, что ему явилось сияющая «пальмовая ветвь», что с помощью архистратига Михаила и ниспосланного ему с неба чудесного меча он истребит нечестивцев и утвердит царство «единого стада» Христа. Узнав о начавшемся следствии, которое велось одновременно в Милане и Риме, Борри бежал в Инсбрук, а оттуда в Страсбург, где практиковал как медик и где в июне 1660 г. вышел панегирик «*Monumentum in laudem gentis Burghorum*». Тем временем Борри был вочно осужден и 21 января 1661 г. в Риме, а 17 марта того же года в Милане сожжен на костре «в изображении». Спасаясь от инквизиции, Борри был вынужден бежать сначала во Франкфурт на Майне, потом в Дрезден и, наконец, в Амстердам, где, по некоторым сведениям, публично сжег изображение папы. В Амстердаме Борри занимался медицинской практикой и стяжал такую славу, что к нему стекались пациенты из других стран, в том числе из Парижа. В декабре 1666 г., запутавшись в денежных делах, он убежал из Амстердама и вскоре обосновался в Дании, где устроил алхимическую лабораторию в Розенборге. В 1669 г. издал в Копенгагене книгу (G. F. Burghi. *Epistolae duae: I. De cerebri ortu et usu medico. II. De artificio oculorum humores restituendi. Ad Th. Bartholinum. Hafniae, 1669*). Пытался принимать участие в датских политических делах. См.: *Istruzioni politiche del cavaliere G. F. Borri date al Re di Danimarck. Coloniae, 1681* (ГПБ). После смерти покровительствующего ему Фредерика III Борри в 1670 г. выехал с паспортом, подписанным королем Кристианом V, направляясь в Константинополь, но по пути был схвачен неподалеку от Вены и передан папским властям. После нового суда заключен в октябре 1672 г. в крепость св. Ангела, где и умер. В 1670 г. вышла «реляция», содержащая изложение проступков Борри, а также приговора инквизиции: *La vita, processo e sentenza di Francesco Borri Milanese. Relatio fidei, actionum ac vitae Burrhianae. Das ist: Eine Erzählung des Glaubens, Thaten und Leben des berühmten Italieners Franciscus Joseph Burrhi. S. I., 1670* (British Museum General Catalogue of printed books. Vol. 23. London, 1963; БАН, микрофильм). Эта брошюра, возможно, не ускользнула от внимания Гриммельсгаузена, который в 1662—1664 гг. служил в Страсбурге у доктора Куфера и, вероятно, слышал еще тогда о появлении Борри и его медицинской практике. Неясно, знал ли он что-либо о мистических откровениях Борри и его рассказях о «чудесном мече» (отчасти напоминающих эпизод с Юпитером), так как в самом романе на это нет намеков. Вероятней всего, изданная в 1670 г. «реляция» и шум, поднятый вокруг имени Борри, побудили Гриммельсгаузена вспомнить о нем в «Приложении», предназначенном для симплицианского календаря. Борри интересовались еще долго, о чем говорят посвященные ему книги и брошюры: *La chiave del Gabinetto del cavaliere Giosepe Francesco Borri. Coloniae, 1681* (ГПБ); *Précis, de la vie de Joseph Francois Borri. S. I., 1786* (ГБЛ, Музей книги). См. о нем также: [A del ung]. *Geschichte der menschlichen Narrheit. Bd. I. Leipzig, 1785, SS. 77—113* (с библиографией); Н. Корр. *Geschichte der Chemie. Th. 2. Braunschweig, 1844*; L. Thorndike. *A. history of magic and experimental science. Vol. VIII. N. Y., 1958*. Литературный портрет Борри дан в романе Йенса Якобсена «Фру Мария Груббе» (1876, русский пер. С. В. Петрова, Л., 1962).

ЕЩЕ ОДНА СИМПЛИЦИАНСКАЯ ДИКОВИННАЯ ИСТОРИЯ ТРЕТЬЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ, ИЛИ CONTINUATIO

В найденном Гертой Цигезар экземпляре «Календаря диковинных историй» на 1672 г. было помещено «Необходимое предисловие к благосклонному читателю, а также к достоялюбезным и весьма приятным соотечественникам», не включенное в издание «Симплициссимуса» 1671 г. Перепечатано в издании: *Grimmelshausens Simpliciana in Auswahl. Herausgegeben von J. H. Scholte. Halle (Saale), 1943, S. 229.*

¹ «как о том поведено в прошлом году» — т. е. в «Календаре» за предыдущий год.

² Брача — итальянская скрипка, род виолы (*viola de braccio*).

³ «побежал что есть мочи рядом с лошадьми». — Подобная же проделка описана в «Декамероне» Боккаччо (день девятый, новелла 4).

⁴ История Андреолуса и Цецилии написана на «бродячий сюжет», встречается в «Декамероне» (день четвертый, новелла 7), у Ганса Сакса («История, как двое любовников померли от листа шалфея») и др.

ДОБАВЛЕНИЕ ОТ ПРЕУДИВИТЕЛЬНОГО СТРАНСТВУЮЩЕГО ПО ВСЕМУ СВЕТУ ВРАЧА СИМПЛИЦИССИМУСА

«Добавление» известно и как самостоятельный «летучий лист» большого формата с гравюрой. Воспроизведено в статье Я. Схольте: J. J. Chr. v. Grimmelshausen und die Illustrationen seiner Werke. Zeitschrift für Bücherfreunde, N. F., Bd. IV. 1912. Ранее: T. Hampe. Fahrende Leute. Bd. 10. Leipzig, 1902. S. 106. В 1862 г. издано отдельной брошюрой А. Келлером. По предположению Герты Цигезар, текст первоначально предназначался для «Календаря диковинных историй» 1670 или 1671 г. и впоследствии был включен без гравюры, которую он сопровождал, в издание «Симплициссимуса» 1671 г. (см.: Н. von Ziegsar. Grimmelshausen als Kalenderschriftsteller und die Felbeckerschen Verlagsunternehmungen. Euphorion, XVII Ergänzungsheft, 1924). Позднее Кошлиг утверждал, что лист был придан «Календарю диковинных историй» на 1671 год. Известен еще один «летучий лист», связанный с именем Симплициссимуса, «Спор мясника и пекаря», более позднего происхождения (80-е годы XVII в.). См.: M. Speter. Grimmelshausens Simplicissimus Flügblätter. Zeitschrift für Bücherfreunde, N. F., Bd. XVIII, 1926, N. 6. Шпегер указал на прототип гравюры, переработанной для листовки о враче Симплициссимусе. Это гравюра 1648 г., осмеивающая «иатрохимиков» (врачей, которые, следуя за Парацельсом, вводили в медицину лечение химическими препаратами). На ней изображена лаборатория с круглой дистиллярной печью посредине. В отверстие, сделанное в печи, кавалер в ботфортах вставил голову. Шпага отброшена в сторону. С противоположной стороны старик в очках и длинном балахоне поддерживает огонь в печи. Из «шлема» печи вместе с густыми клубами дыма вылетают «взоры» и «фантазии», от которых надлежит избавить пациента, скрещенные шпаги и т. д. Воспроизведено: H. Peters. 1) Arzt. Monographien zur deutschen Kulturgeschichte. Herausgegeben von G. Steinhausen. Bd. 3. Jena, 1900, S. III; 2) Arzt und Heilkunst in der deutschen Vergangenheit. Chemiker Zeitung, 1902, № 45. В гравюру летучего листа «Симплициссимус — врач» внесено больше различных мотивов. На первом плане в центре дистиллярная печь, похожая на воздушную колонку. Печь покрыта различными надписями. Охватив ее обеими широко раскинутыми руками, в нее уткнулся пациент (голова которого осталась снаружи). С другой стороны старик с бородой, в круглых роговых очках, помешивает крючкообразной кочергой в печи. Позади точило, на котором укорачивают нос другого кавалера. Кругом изображены в действии и другие аппараты для исправления физических недостатков. Слева группа калек с клюками и батожками дожидается своей очереди. На заднем плане виднеется широкое полуарочное устье другой печи, куда на деревянной лопате засовывают еще одного пациента. В клубах дыма, застилающего лабораторию, изображено множество предметов: игральные карты, игорная доска, кости, ракетка с мячом, нож, рожок, сердце с крылышками, пронзенное стрелой, дама в длинном платье, карета, каменный дом, замок, корабль, спеленатый младенец, две головы в шутовских колпаках, оленьи рога, кабанья, ослиная и заячья головы, голубь, змея, мухи и другие крылатые насекомые, книга, над которой вьется надпись «Grobianus», и др. По мнению Схольте, Гриммельсгаузен ставил своей целью «осмеяние диковинного лечения, применявшегося бродячими шарлатанами и странствующими знахарями» (в какой роли подвизался и сам Симплициссимус), но этому противоречит стационарный характер большой «мастерской», где происходит лечение. На изображение скорее всего повлиял графический

источник (1648 г.), и таким образом оно сохранило следы сатиры на иатрохимиков, что нашло отражение и в тексте «летучего листа» (дистилляция и прочие химические операции). В симплицианской гравюре эти мотивы несколько сбиты и искажены. Здесь нашли отражение и некоторые фольклорные мотивы (переделка стариков на молодых и т. д.).

¹ Доктор Глистогон («Doctor Wurmbrand») — персонаж сатирической литературы XVII в., в «алхимической кухне» которого и происходило лечение «фантастов», изображенное на гравюре 1648 г.

² «верстак для обтесывания молодых лоботрясов» — намек на вышедшую около 1660 г. сатирическую книжку «Подновленный и приметно улучшенный новомодный „верстак“» («Renovierte und merklich vermehrte Alamodische Nobel-Banck»).

³ Граф Моритц (1567—1625) — принц Оранский, возглавивший борьбу Нидерландов против испанского владычества.

⁴ id est (лат.) — то есть.

⁵ «Боже, упаси нас от каторжной тюрьмы» — это выражение связано с рассказом «Утихомирный в каторжной тюрьме крестьянский сын», помещенном в «Календаре диковинных историй» на 1671 г., который был выпущен с приложенным к нему летучим листом (M. Koschlig. Grimmelshausen und seine Verleger. Berlin, 1939, SS. 201, 443). Симплициссимус рассказывает: «Когда мой отец в 1608 г. пребывал в Амстердаме, то ему поведали за достоверное, что у некоего крестьянина в Ватерланде неподалеку от Пурмеренде был весьма недобронравный сын, который, между прочим, был столь упрям, что не хотел есть мясо четвероногих животных, а подавая ему одних цыплят да рябчиков и т. п. Так как сие отцу его довольно прискучило, то повел он дело таким образом, что подарил дурному сыну четырех жирных свиней с условием: забрав их, он должен продать и отправиться в чужие края, и ровно столько же лет не показываться ему на глаза, ибо он не хочет более сносить такое переченье. На что сын ответил: „Вот и ладно!“. И отправился вместе с четырьмя хрюшками ближайшей дорогой в Амстердам, где у самых ворот повстречал двух учтивых мужей, которые заговорили с ним и справились, не продажные ли это свиньи. Он же ответил им утвердительно и запросил кругленькую сумму. На что они, малость поторговавшись, однако ж поладили с ним на изрядной цене. Они пошли вперед, а его заставили гнать свиней, причем бедняга не подозревал, что его ведут прямехонько в каторжную тюрьму, где были по бокам наделаны славные каморки, обшитые изнутри досками; окошки надежно охраняемы железными решетками, двери двойные и так все устроено, что оттуда не выберешься. Туда-то и был препровожден бедный грешник, и ему поднесли там пивка, чтоб подкрепился. Покупатели же удалились под тем предлогом, что пошли за деньгами, но сперва спросили, какими монетами он желает их получить, и, накрепко закрыв двери, заставили его там просидеть так долго, пока он не потерял терпения и не принялся колотить и кричать, да так зычно и громко, как только мог. По прошествии немалого времени поднялось окошечко, и кто-то ему сказал, что он должен сидеть смиренхонько, и ему тут не приличествует отдавать приказания. Невзирая на то что он пытался еще болтать разное о свиньях и уплате, окошечко захлопнулось, и он не получил никакого ответа. И он был принужден сидеть так долго, пока не умягчился и не запросил поесть. Тут принесли ему деревянную миску с бобами, варенными на воде, которую он с презрением швырнул наземь и не захотел отвесть тех бобов. А посему ему больше ничего не давали и не принимали от него никаких прошений, покуда не увидели, что он подобрал те самые бобы, что раньше потоптал ногами и не принялся их уминать. Засим от так отощал от голодухи, что его пришлось подымать. Итак, он был сперва закован в кандалы и выставлен на Хольдраспе, ибо он должен был претерпеть наказание за то, что так строптивился перед своим родителем».

⁶ Имеется в виду гравюра, изображающая «мастерскую» врача Симплициссимуса.

⁷ spiritus vitalis (лат.) — эликсир жизни.

ПЕРЕВОДЫ «СИМПЛИЦИССИМУСА»

Английские:

The Adventurous Simplicissimus; being the description on of the life of a strange vagabond named Melchior Sternfels von Fuchshaim ... now for the first time done into English A. T. S. G. [A. T. S. Goodrick]. London, 1912.

Simplicissimus the Vagabond ... Translated by A. T. S. Goodrick ... With an introduction by William Rose. London—N. Y., 1924.

The adventures of a simpleton: Simplicius Simplicissimus Translated Walter Wollich. N. Y., 1963.

Simplicius Simplicissimus. Translated from the original german Edition of 1669 by Helmuth Weissenborn ann Lesley Macdonald, verses translated by David Rogers. London, 1964.

Венгерский:

A kalandos Simplicissimus. Ford. Julius Háry, vol. 1—2. Budapest, 1964.

Датский:

Den eventyrlige Simplicissimus. Overs. fra tysk Mogen Boisen. Bd. I—III. København, 1963.

Итальянский:

L'avventuroso Simplicissimus. Traduzione di Ugo Dettore c Blanca Ugo. Milano, 1945; ed. 2, Milano, 1954.

Польский:

Przygody Simplicissimusa Przelozla Anna Maria Linke. Warszawa, 1958.

Русский:

Чудаковатый Симплициссимус. Пер. Е. Гуро. М.—Л., 1925. Перевод сделан с сокращенного немецкого пересказа, в свою очередь подвергшегося обработке, что отмечено в предисловии к этому изданию.

Сербохорватские:

Симплициссимус. Превео др. Никола Поповић. Стихове препевао Бранимир Живојиповић. Београд, 1953.

Pustolovni Simplicissimus. Dr. Marija Kon. Sarajevo, 1954.

Словенский:

Simplicius Simplicissimus. Pr.: Ivan Stopar. Ljubljana, 1962.

Финский:

Scikkailukas Simplicissimus. I—II. Rehevin vallaton kuvaus kolmikymmen-
vuotisen sudan ajoilta. Suomenantut Werner Anttila. Helsinki, 1950.

Фламандский:

De avontuurlijke Simplicissimus. Leuven, 1939.

Французские:

Les aventures de Simplicius Simplicissimus. 2 vol. Paris, 1926.

Les aventures de Simplicius Simplicissimus. Trad. M. Colleville. Paris,
1951; ed. 2. Paris, 1963.

Чешские:

Dobrodružný Simplicissimus. Přeložil Jaroslav Zaorálek, Praha, 1929;
2. vydání, Praha, 1951.

Grimmelshausen H. J. Ch. Vojna. Trilogie z třicetileté války. Z nem.
přeložil Pavel Eisner. Rytiny Jacquesa Callota. Praha, 1953.

Шведские:

Den äventyrlige Simplicissimus. Från tyskan av Nils-Olaf Franzen. Företal
av Thomas Mann. Stockholm, 1944.

Grimmelshausen H. S. Ch. Den äventyrlige Simplex Simplicissimus. Ett
soldatide från 30-åriga kriget. Pedagogisk bearb. Holger Nilsson. Ulsh. av
Harold Hägg. Stockholm, 1961.

Японские:

Sekai bungaku zenshu (11—4). Aho monogatari (tazura sensei ichidaiki).
Kiyonobu Kamimura Tomio Tezuki. Tokyo, 1951.

Aho monogatari. 2—3. Ichie Mochizuki. Tokyo, 1953—1954.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Фронтиспис «Немецкого Симплициссимуса» (1669). Экземпляр ГПБ (стр. 6). Перевод стихотворения, помещенного на фронтисписе, см. на стр. 6.
2. Вид города Нёрдлингена. Гравюра из книги «*Torographia Sveviae*» Матиаса Мериана (Франкфурт на Майне, 1643). Экземпляр БАН (стр. 48).
3. Вид города Гельнгаузена. Гравюра из «*Torographia Hassiae*» Матиаса Мериана (Франкфурт на Майне, 1655). Экземпляр БАН (стр. 49).
4. Портрет шведского генерал-майора Якоба Рамзая. Гравюра из «*Theatrum Europaeum*» (Vd. III, S. 910) (стр. 64).
5. Вид города и крепости Ганау. Гравюра из книги «*Torographia Hassiae*» Матиаса Мериана (Франкфурт на Майне, 1655) (стр. 65).

Буквенные обозначенияверху гравюры: *A* — замок; *B* — приходская церковь; *C* — голландская и французская церковь; *D* — госпиталь; *E* — рынок; *F* — форштадт; *G* — мельница; *H* — франкфуртские ворота; *I* — мельничные ворота; *K* — Нюрнбергские ворота; *L* — штейнхеймерские ворота; *M* — ворота у канала; *N* — Куитц (река); *O* — Штейнхейм; *P* — Нижний Штейнхейм; *Q* — Майн; *R* — Кештадт; *S* — Франкфурт; *T* — Берген; *V* — Фельдтберг.

6. Зауэрбрунн (Кислые воды) в Грисбахе. Гравюра из «*Torographia Alsatieae*» Матиаса Мериана (Франкфурт на Майне, 1663) (стр. 304).

7. Гравюра из пятой книги «Восточной Индии» братьев де Бри (Франкфурт на Майне, 1601). Экземпляр БАН (стр. 305).

Надписьверху гравюры: «Показание всего того, что голландцы увидели на острове Св. Маврикия и что они там učinили». Под гравюрой помещены следующие пояснения: 1 — изображение большой черепахи, которые водятся только в сей местности, ибо они не могут плавать, питаются раками, коих они умеют ловить весьма искусно, а некоторые из них величиною с мужской башмак; 2 — птица, названная голландцами тошнюха (*Walg-Vogel*), величиною с лебедя, с толстой головой, а вместо крыльев только три или четыре комелька, тело круглое, заместо хвоста три или четыре загнутых перышка; они варили ее, однако сидеть их не доставляло приятности; 3 — пальмовое дерево, листья которого столь велики, что одним мог укрыться от дождя мужчина; а когда в сем дереве пробуравить дырочку и воткнуть в нее желобок, то натекает оттуда в изобилии вино, по вкусу почти как испанское, однако ж прокисает через два дня; прозвано было пальмовым вином; 4 — птица, названная *Rados Forcados*, у коей хвост словно портновские ножницы, черна, с белой грудью и долгим клювом; они питаются летучими рыбами, и когда их внутренности вынуть и бросить в море, то являются их товарки и пожирают их; 5 — индийский ворон, вдвое более, чем попугай, с оперением в два или три цвета; 6 — дикое дерево, на коем они для приметы и памяти утвердили гербы Голландии, Зеландии и Амстердама; 7 — пальмовое дерево, коих они повалили немало, а затем вырубали кусок, обозначенный буквой *A*, который и употребляли в снедь против цинги и весьма поздоровели; 8 — летучая мышь; голова у нее, как у мартышки, они повисали во множестве указанным образом на деревьях, когда хотели отдохнуть; 9 — здесь кузнец устроил кузницу; 10 — хижина, которую они сделали из ветвей и листьев, где проводили ночь; 11 — на сем месте они слушали проповедь, одна партия перед полднем, а другая после полудня; 12 — здесь они за один раз выловили две с половиной тонны рыбы.

8. Гравюра, приложенная к книге «Симплицию-наперекор, или Пространное и диковинное жизнеописание прожженной обманщицы и побродяжки Кураже» (1670). Экземпляр ГПБ (стр. 320).

9. Фронтиспис «Вечного календаря» (1670). Экземпляр БАН (стр. 321).

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Ганс Якоб Кристоф Гриммельсгаузен. «Симплициссимус»	3
Книга первая	9
Книга вторая	76
Книга третья	156
Книга четвертая	225
Книга пятая	289
Продолжение и конец, или шестая книга	359
Прибавление и Первое продолжение, или <i>Continuatio</i>	444
Симплицианских диковинных историй Второе продолжение, или <i>Continuatio</i>	452
Еще одна симплицианская диковинная история. Третье продолжение, или <i>Continuatio</i>	460
Добавление от преудивительного странствующего по всему свету врача Симплициссимуса	469

Комментарии

Ганс Якоб Кристоф Гриммельсгаузен и его роман «Симплициссимус» (А. А. Морозов)	475
1. Библиографическая загадка	475
2. «Симплициссимус» и немецкие романтики	486
3. Раскрытие псевдонима	492
4. Текстологические трудности	498
5. Биографические поиски и находки	504
6. Установление авторства	510
7. Источники	515
8. Сюжет и историческая действительность	531
9. Гриммельсгаузен и литература его времени.	539
10. Личность Симплициссимуса	556
11. Рождение романа	569
12. Утопия и сатира	586
Примечания	607
Переводы «Симплициссимуса»	669
Список иллюстраций	671

Издание подготовил Морозов Александр Антонович

Ганс Якоб Кристоф Гриммельсгаузен

СИМПЛИЦИССИМУС

*Утверждено к печати Редколлегией серии
„Литературные памятники“*

Редактор издательства А. Л. Лобанова. Художник Д. С. Данилов.
Технический редактор Р. А. Кондратьева
Корректоры К. И. Видре, В. А. Пузиков и Г. И. Шер

Сдано в набор 21/ХІІ 1966 г. Подписано к печати 17/ІІ 1967 г. РИСО АН СССР № 17-182В. Формат бумаги 70 × 90¹/₁₆. Бум. л. 21⁵/₁₆. Печ. л. 42 + 5 вкл. (2/8 печ. л.) = 49,86 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 46,91. Изд. № 3240. Тип. зак. № 1405. Тираж 30 000. Бумага типографская № 2.

Цена 2 р. 90 к.

Ленинградское отделение издательства „Наука“. Ленинград, В-164, Менделеевская лин., д. 1

1-я тип. издательства „Наука“. Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

